



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все заметки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

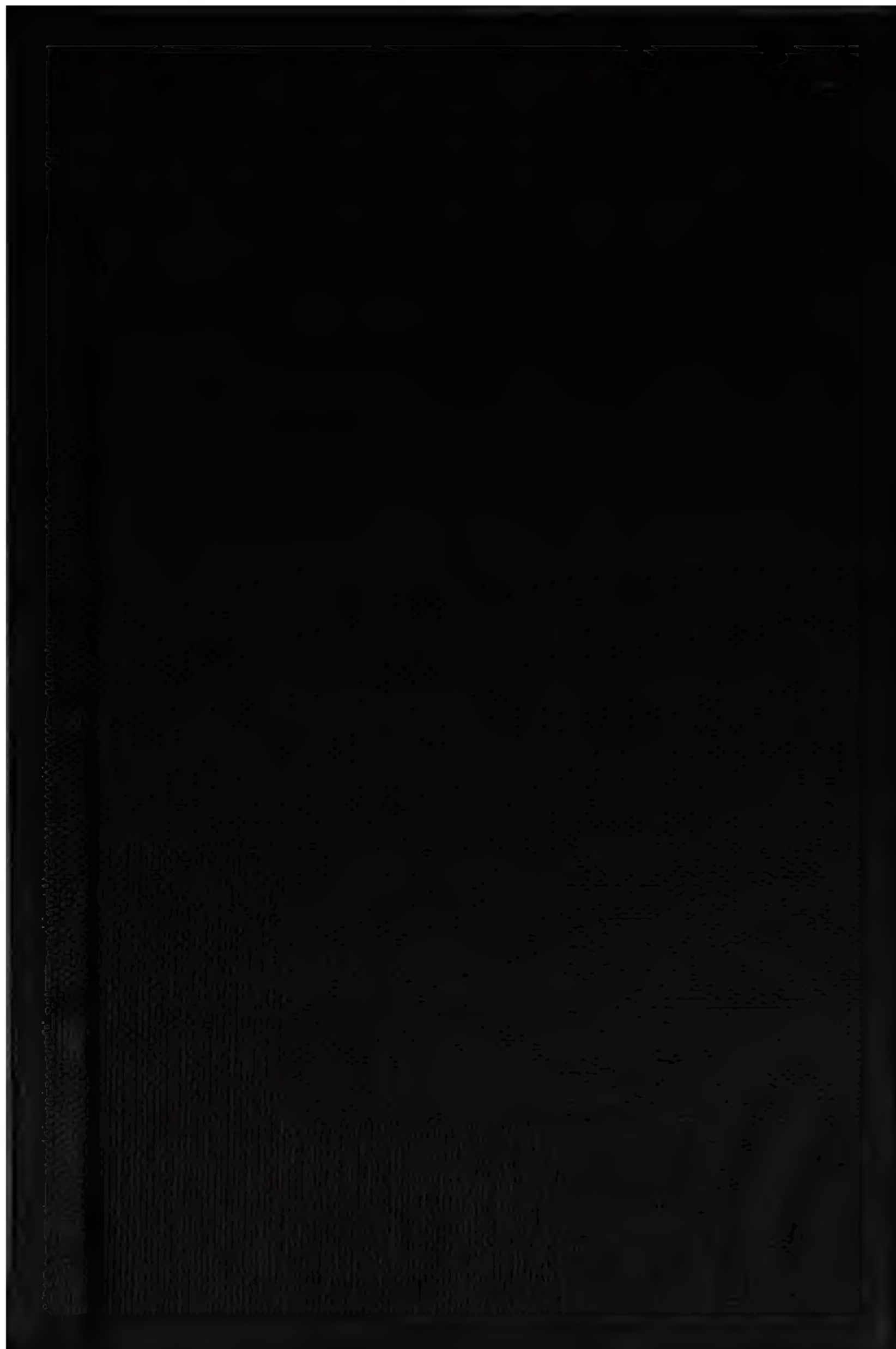
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

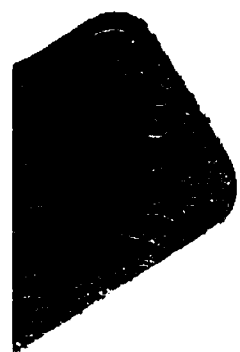
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>







БИБЛИОТЕКА „СЪВЕРА“



G.L. del.

BERG

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.

РУССКІЯ ЖЕНЩИНЫ НОВАГО ВРЕМЕНИ

Біографическіе очерки изъ русской исторіи.

ЖЕНЩИНЫ ДЕВЯТНАДЦАТАГО ВѢКА.

Томъ XL.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. Ѳ. Мертца.
1902.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 20 августа 1902 года.

Типографія „В. С. Балашевъ и Ко“. Спб. Фонтака, 95

*Анниъ Никаноровниъ Мордовцевой,
Вѣрѣ Даниловниъ Мордовцевой,
Натальѣ Іосифовниъ Первольфѣ,*

съ любовью посвящаетъ

мужъ, отецъ и дѣдушка—авторъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Посвятивъ настоящій томъ изображенію женскихъ историческихъ личностей собственно девятнадцатаго вѣка, мы считаемъ необходимымъ пояснить, что въ принятомъ нами выдѣленіи женщинъ первой четверти девятнадцатаго вѣка изъ числа женщинъ послѣдней четверти восемнадцатаго, мы руководствовались чисто внѣшними, хронологическими признаками, потому что между восемнадцатымъ и девятнадцатымъ столѣтіями наша исторія не положила такой рѣзко разграничивающей черты, какую положила она между вѣкомъ восемнадцатымъ и семнадцатымъ: тамъ, въ русской жизни совершилось, такъ сказать, коренное органическое видоизмѣненіе вслѣдствіе особыхъ историко-фізіологическихъ причинъ, такъ что крайніе годы двухъ хронологически-смежныхъ двадцатипятилѣтій такъ же рѣзко отличаются другъ отъ друга по всѣмъ проявленіямъ русской государственной и общественной жизни, какъ крайніе годы, можетъ быть, двухъ смежныхъ тысячелѣтій; здѣсь — крайніе годы двухъ смежныхъ двадцатипятилѣтій восемнадцатаго и девятнадцатаго вѣка имѣютъ между собою много родственнаго, и кажется, будто бы восемнадцатое столѣтіе, его идеи и требованія незамѣтно вливаются въ идеи и требованія девятнадцатаго и смѣшиваются съ ними, подобно тому какъ въ устьѣ рѣки, впадающей въ море, прѣсная рѣчная вода смѣшивается съ морскою, такъ что нельзя различить, гдѣ кончается рѣка и гдѣ начинается море.

Оттого и женщины восемнадцатаго вѣка, съ ихъ внѣшнимъ видомъ и нравственною фізіономіею, съ ихъ понятіями и стремленіями, переходятъ въ девятнадцатый вѣкъ, и если-бъ такія женскія личности, какъ баронесса Криднеръ, графиня Зубова

или иначе „Наташа Суворочка“, Марья Поспѣлова, Анна Бунина и госпожа Свѣчина, не принадлежали всею суммою своей дѣятельности и самыми цвѣтущими годами своей жизни девятнадцатому вѣку, то ихъ смѣло можно было бы оставить между женщинами восемнадцатаго вѣка и они не шли бы въ разладъ съ его жизнью и колоритомъ этой жизни, тѣмъ болѣе, что и по рожденію и по воспитанію они принадлежатъ восемнадцатому столѣтію. Только уже дѣвицы Луполова, Хомутова, „дѣвица-кавалеристъ“ Дурова, г-жа Фролова-Багрѣева, дѣвицы Волкова, Кульманъ и г-жа Осипова отражаютъ въ себѣ вѣянье новой жизни, иного воспитанія, иныхъ общественныхъ симпатій,—и эти-то женщины безспорно могутъ быть уже названы дѣтьми девятнадцатаго вѣка.

Хотя при этомъ мы не можемъ не сознавать, что при изображеніи исторической женщины девятнадцатаго вѣка на насъ должна была бы лежать нравственная обязанность пополнить это изображеніе еще нѣкоторыми женскими личностями, которыя выразили собою одну сторону русской жизни, нами не тронутую, но, въ виду того, что въ настоящее время для безпристрастнаго изображенія и оцѣнки русской женщины этого именнo историческаго типа, говоря юридическимъ языкомъ, земская историческая давность еще не исполнилась, изображеніе и оцѣнку этого богатаго типа русской женщины мы и оставляемъ будущимъ изслѣдователямъ. Тому же, кто замѣтитъ намъ вообще неполноту сдѣланнаго нами подбора женскихъ историческихъ личностей девятнадцатаго вѣка, мы позволимъ себѣ отвѣтить благоразумными словами одного римлянина, обращенными къ другому римлянину по поводу излишней скромности перваго: *quid volumus—non possumus, quid possumus—id nolumus*.

I.

Баронесса Юлія Криднеръ, (урожденная Фитингофъ).

Два послѣднихъ столѣтія, какъ мы и прежде говорили, успѣли дать исторіи не мало крупныхъ женскихъ личностей, съ которыми мы уже отчасти и познакомились въ лицѣ императрицы Екатерины Второй, княгини Дашковой и другихъ; но едва ли между ними найдется такая женщина, которая, помимо своего прирожденного и общественнаго положенія, въ своей личной индивидуальности носила бы такой запасъ нравственной силы, что могла бы единственно лишь могуществомъ своего слова и неотразимостью моральнаго обаянія ставить самыя судьбы Европы въ зависимость отъ этого обаянія и съ помощью этой нравственной силы господствовать надъ нею даже и послѣ своей смерти.

А такую именно женщиною была та, имя которой написано въ заголовкѣ этого очерка.

Достаточно сказать, что когда, послѣ пораженія Наполеона I, императоръ Александръ Павловичъ задумалъ составить политическую коалицію для поддержанія на будущее время политическаго равновѣсія Европы, баронесса Криднеръ близко стояла у начала этого историческаго дѣла, руководила его направлениемъ и дала ему тотъ, отчасти мистическій, характеръ, который обнаруживается даже въ самомъ имени этой замѣчательной политической коалиціи первой половины нынѣшняго столѣтія: составленный императоромъ Александромъ Павловичемъ черновой проектъ европейской коалиціи былъ на предварительномъ просмотрѣ и одобреніи Юліи Криднеръ; она же дала этой коалиціи и мистическое имя, потому что на черновомъ проектѣ слова въ заголовкѣ — „священный союзъ“ — написаны рукою Юліи Криднеръ.

Юлія, по отцу Фитингофъ, а впослѣдствіи по мужу баронесса Криднеръ, родилась въ Ригѣ, 21-го ноября 1764 года. Отецъ ея велъ свой родъ отъ тевтонскихъ рыцарей, а мать была дочь знаменитаго русскаго фельдмаршала Миниха. И отецъ и мать Юліи были личностями далеко недюжинными въ томъ обществѣ, въ которомъ жили: это были личности съ

сильными, энергичными характерами, и, безъ сомнѣнія, зерно этой моральной силы вложено было ими въ природу дочери, которая и проявила эту силу, когда ей пришло время проявиться.

Хотя отецъ Юліи и гордился своимъ древнимъ родомъ, однако, титулами не дорожилъ и за офіціальными отличіями и почестями не гнался, а раньше другихъ понялъ практическую истину, что древность рода и рыцарство не соединимы съ коммерческими дѣлами, и потому велъ эти дѣла съ такимъ успѣхомъ, что сталъ богатѣйшимъ человѣкомъ въ Лифляндіи. Жена его была красавица, и вѣроятно отъ нея дочь наслѣдовала эту красоту, оказавшуюся столь могущественною, что обаяніе этой красоты было неотразимо: красота эта сдѣлалась для Юліи такою же надежною союзницею и силою, какъ и ея богатые дарованія.

Коммерческія предпріятія отца и свѣтская блестящая жизнь матери были, однако, причиною того, что Юлія лишена была основательнаго образованія, хотя, по обычаю того времени, и получила внѣшній лоскъ французскаго воспитанія, и притомъ въ такой мѣрѣ, что могла впослѣдствіи сдѣлаться одною изъ замѣчательныхъ во французской литературѣ писательницъ.

Четырнадцать лѣтъ Юлія успѣла уже побывать въ Германіи, Франціи и Англіи, хотя, конечно, ничего не могла вывезти оттуда, кромѣ пустого знакомства съ внѣшними формами жизни и съ тѣми ея блестящими проявленіями, которыя сами собою бросаются въ глаза, не имѣя цѣны въ глазахъ людей положительныхъ.

Въ шестнадцать лѣтъ Юлія была уже завидною невѣстою, и ее окружилъ рой поклонниковъ. Расчетливый отецъ хотѣлъ было сосватать ее за одного своего сосѣда-помѣщика, чтобъ соединить и округлить имѣнія, и дѣвушка была уже помолвлена, несмотря на отчаяніе съ ея стороны и на безотчетную боязнь этого замужества; однако, неожиданная болѣзнь спасла ее отъ нежелательнаго ей брака: Юлія заболѣла корью, долго оставалась съ обезображеннымъ лицомъ, и этимъ разстроила чуть было не состоявшійся уже бракъ съ нелюбимымъ человѣкомъ.

Но черезъ два года Юлія не миновала замужества, только уже съ такимъ человѣкомъ, котораго она потомъ страстно любила.

Біографы Юліи говорятъ, однако, что „она не была красавица; но у нея было чрезвычайно привлекательное и выразительное лицо, прекрасныя руки, чудесные свѣтлорусые волосы при голубыхъ глазахъ, и плѣнительная грація—это высшая изъ всѣхъ женскихъ прелестей“.

По свидѣтельству же другихъ современниковъ, Юлія была поразительно хороша и обаяніе ея было неотразимое, магическое.

Юлія вышла замужъ за барона Криднеръ, которому было лѣтъ сорокъ и который уже успѣлъ потерять двухъ женъ: на Юліи онъ женился въ третій разъ. Это былъ блестяще-воспитанный по тому времени человѣкъ, хорошій собесѣдникъ въ обществѣ и признанный дипломатъ, котораго дарованія оцѣнены были нѣсколькими царственными особами.

Уже впослѣдствіи баронесса Криднеръ признавалась своему другу, зна-

менту Бернардену де-Сенъ-Пьеру, что выходила замужъ не любя своего жениха, но что на этотъ шагъ подвинуло ее честолюбіе, желаніе блистать въ обществѣ и при дворѣ. Вышло, однако, такъ, что она вскорѣ горячо и страстно привязалась къ своему пожилому и серьезному мужу, и въ известномъ своемъ романѣ „Валерія“, написанномъ ею уже за границею, въ Германіи и Франціи, она, видимо, представила самые счастливые годы своей молодости, и въ то же время изобразила своего мужа съ такою силою и граціей, что современники, отдавая дань уваженія таланту писательницы, узнавали въ герояхъ романа какъ мужа Юліи, такъ и самую писательницу.

Этотъ бракъ барона Криднера и Юліи Фитингофъ соединилъ два замѣчательныхъ въ своемъ родѣ характера, изъ которыхъ каждый проявлялся своеобразно въ теченіе всей ихъ жизни. Въ первые годы послѣ замужества Юліи мужъ ея находился русскимъ посланникомъ въ Берлинѣ, и когда однажды онъ давалъ балъ въ честь дочери своего государя Павла Петровича, великой герцогини Мекленбургъ-Шверинской, отъ государя пришла депеша съ повелѣніемъ немедленно объявить войну Пруссіи. Посланникъ, находя, по своимъ соображеніямъ, объявленіе войны несвоевременнымъ и несправедливымъ со стороны своего правительства, рѣшился не исполнить повелѣніе государя, и тотчасъ же представилъ Павлу I свои доводы относительно этого предмета, съ твердостью отстаивая законность своихъ дѣйствій, повидимому, столь дерзкихъ. Можно было ожидать страшныхъ послѣдствій отъ этого своевольнаго ослушанія посланника, особенно принимая во вниманіе вспыльчивый и порывистый нравъ императора Павла I, и Криднеръ, дѣйствительно, ожидалъ своей гибели: три недѣли онъ ждалъ рѣшенія государя относительно своей участи, ждалъ немилости, отставки, ссылки, не спалъ въ теченіе всѣхъ этихъ трехъ недѣль и такъ разстроилъ свое здоровье, что оно съ той поры оказалось непоправимымъ. Черезъ три недѣли пришелъ этотъ страшный отвѣтъ императора: царь милостиво благодарилъ посланника за праздникъ, устроенный имъ въ честь императорской дочери; но относительно необъявленія Пруссіи войны не высказалъ никакого гнѣва и во всю свою жизнь продолжалъ любить своего смѣлаго посланника.

Такова была личность, съ которою судьба свела Юлію Фитингофъ, теперь уже баронессу Криднеръ. И она со всѣмъ пыломъ молодости прильнула къ этому сильному характеру. Она любила его безгранично и съ нѣжной готовностью старалась исполнять и даже предупреждать всякое его желаніе. Пользуясь этимъ, Криднеръ хотѣлъ заняться развитіемъ ума и природныхъ талантовъ своей молоденькой жены; но Юлія еще не ступила на тотъ путь, гдѣ могла сказаться ея природная богатая сила: эта внутренняя сила проявлялась пока только въ свѣтскомъ лоскѣ и въ томъ обаяніи красоты, которое въ первые годы жизни баронессы Криднеръ такъ могущественно дѣйствовало на всѣхъ, съ кѣмъ она сталкивалась, не терявъ, впрочемъ, своей неотразимости даже и тогда, когда женщина эта была уже стара.

Въ 1784 году баронесса Криднеръ родила сына, и въ томъ же году она была представлена во дворъ императрицы Екатерины II.

Первое путешествіе, которое она предпринимала вмѣстѣ съ мужемъ, это поѣздка въ Венецію, куда баронъ Криднеръ назначенъ былъ посланникомъ отъ русскаго двора. Венеція, какъ самостоятельное государство, какъ независимая и нѣкогда могущественная республика, доживала въ это время свой послѣдній блестящій вѣкъ, доживала, если не такъ, какъ жила, честно и грозно для сосѣдей, не такъ могущественно, какъ бывало когда-то, когда въ рукахъ ея было все Средиземное море и вся почти южная европейская торговля, а дожи ея были пышнѣе римскихъ цезарей, но зато доживала весело, роскошно. Весело жилось тамъ и баронессѣ Криднеръ, страстно влюбленной въ своего мужа. Для того, чтобы набрать ему букетъ любимыхъ имъ цвѣтовъ или рѣдкихъ плодовъ, она отправлялась иногда пѣшкомъ въ очень далекія экскурсіи; она окружала мужа самымъ горячимъ и нѣжнымъ вниманіемъ; но онъ, повидимому, или какъ ей казалось, холодно цѣнилъ всю эту силу любви молодой женщины, потому что нерѣдко усталый отъ исполненія своихъ дипломатическихъ и свѣтскихъ дѣлъ, онъ съ трудомъ могъ принимать ласки жены съ тою же теплотою, на которую она, по свойственной ей природѣ страстности, могла рассчитывать. Это мучило ее и увеличивало ея страсть, потому что натура ея была дѣйствительно изъ таковыхъ, что страсть, какая бы она ни была, страсть любовная или мистическая, увлеченіе человѣкомъ или идеею,—только болѣе разгорались въ ней при видѣ сопротивленія.

Такъ однажды мужъ Юліи долго откуда-то не возвращался. Встревоженная этимъ баронесса, въ ночь, разослала вездѣ гонцовъ искать своего мужа, думая, что онъ погибъ въ Брентѣ, утонулъ, убитъ,—и сама вышла искать его. Встрѣтивъ жену, Криднеръ сдѣлалъ ей за эту напрасную тревогу кроткій выговоръ, и легъ спать.

— Увы!—говорила она сама себѣ, признаваясь въ послѣдствіи въ этихъ увлеченіяхъ:—ему лишь бы добраться до постели и заснуть (какъ часто думаютъ и говорятъ жены вообще о своихъ дѣловыхъ или не особенно ласковыхъ мужьяхъ).

Въ бытность свою въ Венеціи, Юлія Криднеръ внушила къ себѣ глубокую страсть секретарю посольства, Александру Стахѣеву, въ которомъ страсть къ женѣ своего начальника усилилась потому болѣе, какъ онъ самъ признавался, что Юлія слишкомъ пламенно любила своего мужа и не находила въ немъ равной силы привязанности. Но Стахѣевъ былъ безпредѣльно преданъ своему начальнику, и, мучимый своимъ чувствомъ, боясь сознаться въ немъ передъ предметомъ своей привязанности и боясь оскорбить своего любимаго начальника, Стахѣевъ бросилъ Венецію, въ надеждѣ, что разлука и время убьютъ сами собой его страсть и спасутъ его отъ тоски.

Но черезъ годъ они снова встрѣтились—въ Копенгагенѣ. Страсть Стахѣева не угасла въ теченіе годичной разлуки, но только болѣе улеглась въ

немъ подъ давленіемъ разсудка. Онъ видѣлъ, что въ Юліи произошла нѣкоторая перемѣна, что проявленія страсти ея къ мужу нѣсколько утратили прежнія формы вспышекъ, но въ ней замѣтно было новое проявленіе страстности, только эта страстность обратилась въ честолюбивое желаніе свѣтскихъ побѣдъ, въ желаніе покорять людей обаяніемъ красоты и блеска. Стахѣевъ рѣшился бѣжать и изъ Копенгагена; но передъ бѣгствомъ онъ оставилъ своему начальнику письмо, въ которомъ объяснялъ причину своего внезапнаго удаленія отъ посольства и прибавлялъ: „я не могу объяснить, но это вѣрно, что я ее люблю потому, что она васъ любитъ. Если бы она не такъ дорожила вами, она была бы похожа на другихъ женщинъ, и я бы пересталъ ее любить“.

Мужъ имѣлъ неосторожность показать Юліи это письмо—и это, въ числѣ прочихъ мотивовъ, помогало развиваться ея неумѣренному тщеславію и жаждѣ властвовать надъ всѣми своей красотой.

Въ 1789 году, чувствуя, что здоровье ея нѣсколько разстроено, Юлія поѣхала для развлеченія въ Парижъ и отдалась тамъ такой неудержимой свѣтской жизни, что быстро успѣла задолжать знаменитой тогда модисткѣ m-lle Бертенъ до 20,000 франковъ. Въ Парижѣ она познакомилась съ однимъ французскимъ офицеромъ, де-Фрежвилемъ, и, очарованная его красотой и умомъ, увлеклась имъ, равно увлекла и его. Вмѣстѣ съ этимъ новымъ предметомъ страсти она путешествовала по Германіи, и, возвратившись къ мужу въ Данію, все еще подъ обаяніемъ новой страсти, просила у мужа развода. Криднеръ не далъ согласія на разводъ, и Юлія осталась съ нимъ. Изъ Даніи уже она ѣздила къ матери въ Ригу, и, будучи потомъ въ Берлинѣ, окончательно разорвала связь свою съ де-Фрежвилемъ, и съ тѣхъ поръ ни разу съ нимъ не встрѣчалась. Но зато она встрѣтилась вновь съ Стахѣевымъ.

„Это была грустная и оскорбительная для обоихъ встрѣча,—говорятъ біографы баронессы Криднеръ,—и встрѣча эта болѣе не возобновлялась“.

Въ 1792 году Криднеръ поссорилась съ мужемъ, и хотя потомъ нѣсколько и сошлась съ нимъ, но прежняго молодого счастья она уже не могла купить этимъ примиреніемъ съ мужемъ, и бывалое душевное равновѣсіе къ ней уже болѣе не возвращалось. Характеръ ея мѣнялся; начало нравственнаго перелома, подкосившаго потомъ всю ея жизнь, уже замѣчалось въ этой странной женщинѣ, хотя, конечно, никто не зналъ, что изъ этого выйдетъ. Въ ней стала проявляться какая-то нервность, раздражительность, неровность характера, вспышки. Она отдалась литературнымъ занятіямъ, и этимъ только причиняла новыя непріятности мужу: прусскій король Фридрихъ-Вильгельмъ III, при дворѣ котораго баронъ Криднеръ былъ посланникомъ отъ русскаго императора, зналъ литературныя занятія баронессы Криднеръ, подозрѣвалъ въ ней недружелюбныя къ себѣ отношенія, и сталъ холоденъ къ ея мужу. Изъ Берлина Юлія уѣхала путешествовать безъ мужа, даже не посоветовавшись съ нимъ, и это была ихъ послѣдняя разлука — больше они ужъ не видѣлись. Юлія посѣтила

Германію, Францію, Швейцарію. По поводу ея страннаго отъѣзда мужъ написалъ ей грустное, но ласковое письмо,—и скоро послѣ того умеръ.

Юлія узнала о смерти мужа въ 1802 году, въ Парижѣ.

Въ Парижѣ началась для Криднеръ новая жизнь, болѣе богатая духовнымъ содержаніемъ, чѣмъ всѣ доселѣ проведенные ею годы въ гонѣбѣ за удовольствіями, побѣдами, за блескомъ и лестью. Тутъ она вошла въ лучший литературный кружокъ того времени: въ числѣ ея друзей стояли Шатобріанъ, Бенжаменъ-Констанъ, Бернарденъ де-Сенъ-Пьеръ, госпожа Сталь и всѣ свѣтила французской интеллигенціи. Въ Парижѣ, охваченная новою духовною атмосферою, она успѣла кончить свой знаменитый романъ „Валерію“, начатый еще въ Берлинѣ.

Во время этого духовнаго ея возрожденія застала ее вѣсть о смерти мужа, и глубоко поразила впечатлительное сердце этой страстной женщины, которая не знала мѣры ни въ чемъ. Она глубоко тосковала по мужѣ; она отказалась отъ свѣта, отъ друзей, отъ своего избраннаго литературнаго кружка и переселилась въ Ліонъ.

Но время и занятія мало-по-малу заглушали рѣзкія боли сердца и тоску, которыя она переживала послѣ потери мужа, и, наконецъ, она снова рѣшилась отдать себя той жизни, отъ которой было такъ торжественно отказалась. Но поворотъ къ прежнему казался ей неловкимъ: ей стыдно было сознаться, что время побѣдило ее съ ея тоскою и рѣшимостью отказаться отъ жизни,—и она прибѣгла къ хитрости. Въ числѣ ея прежнихъ поклонниковъ былъ докторъ Ге (Gay). Этого стараго друга своего Криднеръ просила написать нѣчто похвальное относительно героини романа „Сидоніи“, и Ге удачно исполнилъ ея просьбу, написавъ и напечатавъ элегію—ловкую рекламу къ роману, еще не вышедшему въ свѣтъ, и къ дѣйствующимъ лицамъ романа. Выдумка удалась вполнѣ. Романъ и авторъ романа сильно заинтересовали весь парижскій интеллектъ. Друзья стали упрекать прекрасную отшельницу Криднеръ за сокрытіе какъ своего таланта, такъ и самой себя въ глуши, упрашивали бросить скромность и отдать талантъ свѣту, которому онъ по праву принадлежитъ; друзья прямо просили Криднеръ явиться снова „украшать Парижъ“.

И вотъ Криднеръ снова въ Парижѣ.

Знаменитый романъ готовится къ выпуску. О романѣ и объ авторѣ его говорятъ вездѣ. Но этого мало для честолюбивой женщины. Криднеръ скачетъ по Парижу, посѣщаетъ всѣхъ модистокъ этого города—законодателя модъ, упрашиваетъ ихъ выпустить въ свѣтъ разныя модныя бездѣлушки—ленты, банты, шарфы—à la Valerie. Модистки весь Парижъ наряжаютъ à la Valerie—реклама небывалая—и вдругъ является сама Valerie, романъ баронессы Криднеръ!

Понятно, какой громадный эффектъ производитъ романъ, какую громкую извѣстность разомъ пріобрѣтаетъ баронесса Криднеръ, какъ писательница!

Она переживала такимъ образомъ вновь торжественныя минуты побѣдителя, но только побѣда совершена была уже инымъ оружіемъ.

Все это, однако, вмѣстѣ съ тревоженіями прежней кипучей жизни, не могло не ложиться извѣстною нравственною тяжестью и чѣмъ-то сокрушающимъ на всемъ характерѣ Криднеръ...

Но скоро она и это пережила.

Приближалась новая нравственная катастрофа въ жизни этой странной женщины, и уже катастрофа послѣдняя.

Криднеръ изъ Парижа поѣхала къ матери въ Ригу. Здѣсь-то, именно, и совершился переломъ въ ея жизни, вслѣдствіе одного весьма страннаго обстоятельства, хотя, можетъ быть, нравственный переломъ въ ней готовился давно, а обстоятельство это было только внѣшнимъ, механическимъ толчкомъ, ускорившимъ самый фактъ перелома. Осенью, утромъ, стоя у окна, она увидѣла проходящаго мимо оконъ одного лифляндскаго дворянина, который когда-то былъ въ числѣ ея горячихъ поклонниковъ; поровнявшись съ Криднеръ, дворянинъ поклонился ей, но тотчасъ же весь задрожалъ, упалъ на землю, и его нашли уже мертвымъ. Случай этотъ навелъ на впечатлительную душу Криднеръ такой ужасъ, что всѣ опасались за ея рассудокъ. Ей стало казаться, что вся ея прежняя жизнь — рядъ самыхъ непростительныхъ увлеченій, противныхъ природѣ и духу человѣческому, что страсть къ свѣтскому блеску, роскоши, къ тщеславнымъ побѣдамъ надъ людьми—преступна, что это прямое оскорбленіе Провидѣнія. Она заперлась въ своемъ домѣ и проводила ужасные дни и ночи. Хотя потомъ это потрясеніе и миновало, однако, слѣды его остались неизгладимыми на лицѣ и на всемъ характерѣ баронессы—это слѣды глубокой меланхоліи.

Тамъ же, въ Ригѣ, послѣ этого случая, она испытала и другого рода потрясеніе, какъ бы указавшее ей, какой нравственный путь должна она избрать въ своей послѣдующей жизни.

Однажды ей понадобился сапожникъ, котораго къ ней и привели. Счастливая, довольная наружность этого человѣка такъ поразила тосковавшую женщину, что она спросила его:

— Вы, кажется, счастливы?

— Да, я самый счастливый человѣкъ!—отвѣчалъ тотъ наивно.

Всю ночь Криднеръ думала объ этой встрѣчѣ, и не могла разрѣшить мучившаго ее вопроса: почему этотъ человѣкъ счастливъ? Наивный отвѣтъ сапожника всю ночь звучалъ у нея въ ушахъ. На утро она сама отправилась къ счастливому человѣку, чтобъ узнать источникъ его счастья. Она долго говорила съ нимъ, узнала, что онъ принадлежитъ къ сектѣ „моравскихъ братьевъ“ или „гернгутеровъ“, которые почему-то вообще сдѣлались предметомъ особеннаго интереса всей Европы въ началѣ девятнадцатаго столѣтія, и даже нашъ Жуковскій писалъ восторженные оды въ честь русской колоніи гернгутеровъ, находящейся въ Сарептѣ, саратовской губерніи. Эту Сарепту поэты называли даже „колоніею Христа“:

Сарепта тихая! Колонія Христа!“

Разговоръ съ гернгутеромъ подѣйствовалъ на Криднеръ успокоительно, но въ то же время произвелъ на нее такое впечатлѣніе, что она избрала послѣднимъ путемъ своей жизни—путь піетизма, дошедшаго у нея до какого-то фантастическаго увлеченія идеей добра, до крайняго притомъ мистицизма, который и далъ ей громадную популярность.

Красавица Криднеръ стала „мистикомъ и пророчицей“.

Такъ рассказываютъ біографы этой необыкновенной женщины о нравственномъ переломѣ, совершившемся въ ея жизни.

Но едва ли не вѣрнѣе исторически объяснить эти явленія не чѣмъ другимъ, какъ естественными фазисами жизни человѣческой, которые у впечатлительныхъ и даровитыхъ натуръ сопровождаются особенно рѣзкими переломами не только въ образѣ жизни, въ убѣжденіяхъ, но и въ самыхъ основахъ характера. Такіе переломы, какъ извѣстно, были въ жизни Игнатія Лойолы, Мартина Лютера, Магомета и другихъ историческихъ личностей—переломы, стоявшіе на рубежѣ двухъ половинъ жизни: первая половина—беззаботная или бурная молодость, работа порывистая, неровная, и послѣдняя половина—сознательная дѣятельность и борьба во имя извѣстной идеи, которой всецѣло отдается впечатлительная натура избраннаго человѣка.

Баронесса Криднеръ была изъ такихъ богатыхъ натуръ: бурная молодость, исполненная побѣдъ, торжества самолюбія, сознанія своей обаятельности и неотразимости своей красоты; но молодость проходила; настаивали сороковые годы—годы вообще очень тяжелые для женщины, особенно же для такой царицы красоты, какъ Криднеръ—и вотъ гдѣ источникъ ея нравственнаго потрясенія, тоски, сомнѣній, меланхоліи и, наконецъ, послѣдняго жизненнаго перелома.

Всепобѣждающая красота прошла; литературная слава была не прочна, должна была поддерживаться нерѣдко тяжкимъ, мучительнымъ трудомъ, да и вообще дальнѣйшія побѣды на этомъ пути были сомнительны; надо было искать новыхъ побѣдъ—и она нашла ихъ въ своихъ богатыхъ нравственныхъ силахъ.

Она пошла проповѣдывать живымъ словомъ и самою жизнью, какъ и слѣдовало пророку.

Въ 1806 году, ровно какъ ей исполнилось сорокъ лѣтъ, Криднеръ отправилась въ Германію въ качествѣ сестры милосердія, чтобы ходить за ранеными во время страшныхъ тогда войнъ съ Наполеономъ I.

Во время своихъ скитаній по Германіи, Криднеръ встрѣтилась съ несчастной прусской королевой, мужа которой Наполеонъ лишилъ царства и унизилъ до послѣдней степени; на королеву Криднеръ произвела глубокое впечатлѣніе, и между ними завязана была тѣсная дружба.

Послѣ скитанья по Германіи, Криднеръ надолго основалась въ Карлсруэ, гдѣ и поселилась въ семействѣ Юнга Штиллинга, извѣстнаго мистика, раздѣлявшаго нѣкоторыя мистическія убѣжденія Сведенборга. Въ Карлсруэ Криднеръ отдалась тихой и уединенной жизни, посвящая все свое время бѣднымъ и занятіямъ литературой. Тамъ она написала свою

повѣсть „Отильда“, которую и читала Гортензіи Богарне, супругѣ бывшаго короля Голландіи и матери Наполеона III. Мистическія доктрины Юнга Штиллинга не могли не увлечь экзальтированную женщину, и Криднеръ стала въ ряды его послѣдователей, все болѣе и болѣе отдаваясь мистическому направленію. Тамъ же она сошлась съ извѣстнымъ Оберлиномъ, пасторомъ въ Van de la Kosche, который имѣлъ репутацію духовидца. Мало того, она вошла въ кружокъ мистическаго шарлатана Фридриха Фонтэна, который держалъ у себя въ домѣ ясновидящую, Марію Кумринъ. Съ помощью денегъ, которыхъ Криднеръ имѣла достаточно, Фонтэнъ задумалъ основать особую мистическую колонію, купилъ для этого, на деньги Криднеръ, имѣніе, земли; но король, зная мистическое шарлатанство Фонтэна, не позволилъ слишкомъ нагло обманывать народъ въ его королевствѣ и приказалъ изгнать изъ своихъ владѣній Криднеръ въ двадцать четыре часа, что и было исполнено строго.

Изгнанная Криднеръ переселилась въ Баденъ и тамъ окончательно утвердила свою репутацію пророчицы.

Это было въ 1814 году, во время заключенія Наполеона I на островъ Эльбѣ.

Въ это время въ Баденѣ находилась королева Гортензія вмѣстѣ съ своею пріятельницею, дѣвицею Кошле. Однажды, когда королева и дѣвица Кошле, находясь у себя дома, вспоминали событія послѣднихъ лѣтъ и оплакивали паденіе Наполеона I, вдругъ входитъ Криднеръ. Появленіе ея навело ужасъ на Гортензію и ея друга: пришедшая казалась необыкновенно возбужденною и взглядъ ея показался имъ какимъ-то вдохновеннымъ, пророческимъ. Она дѣйствительно начала свои страшныя пророчества, какъ бредъ возбужденной женщины. Она говорила, что міръ ожидаютъ новыя бѣдствія, что для Европы скоро наступятъ новыя ужасы, что Наполеонъ покинетъ островъ, на которомъ его заключили союзники, что будетъ новая ужасная война, что Наполеона вновь ожидаетъ болѣе страшное паденіе,—говорила все то, что дѣйствительно и случилось вскорѣ: бѣгство Наполеона съ острова Эльбы, новое восшествіе на престолъ, роковое Ватерлоо, новое и послѣднее его заключеніе на островъ святой Елены. Она говорила это стоя, волосы ея были распущены; она была, говорятъ, прекрасна съ этими ужасными пророческими словами на устахъ.

Криднеръ, несмотря на то, что располагала значительными денежными средствами, жила въ это время съ самой поразительной скромностью: вмѣстѣ съ дочерью она помѣщалась въ одной комнаткѣ, и все, что она имѣла въ домѣ—это было одно распятіе. Всѣ свои средства она отдавала на нищихъ.

Въ это же время положено было начало ея сношеній съ императоромъ Александромъ Павловичемъ.

27-го ноября 1814 года она писала къ фрейлинѣ государыни дѣвицѣ Роксандѣ Стурдза, съ которою была въ дружескихъ сношеніяхъ, письмо страннаго, мистическаго содержанія. Она вновь предсказывала то, что должно было совершиться—бѣгство Наполеона, гибель и униженіе Франціи,

окончательное паденіе наполеонидовъ. „Франція будетъ наказана... Буря поразитъ лиліи“... и т. д. — пророческія предсказанія грядущихъ событій, которыя всякій свѣтлый умъ могъ, конечно, предвидѣть отчасти и безъ дара пророчества. Письмо это было показано императору, и глубоко поразило его своимъ содержаніемъ: особенно государя поразило предсказаніе о томъ (что и случилось), что Наполеонъ покинетъ Эльбу и снова станетъ во главѣ своей арміи.

Еще болѣе поразилъ государя случай въ Гейльбронѣ, гдѣ онъ въ то время находился. Утомленный событіями послѣднихъ лѣтъ, глубоко опечаленный, сидѣлъ онъ за чтеніемъ библіи. По поводу предсказаній Криднеръ о предстоящихъ великихъ событіяхъ въ Европѣ, императоръ вспомнилъ объ этой женщинѣ, и—какъ самъ впослѣдствіи признавался — пожелалъ, чтобъ она была въ это время съ нимъ.

„Хотѣлъ бы я“, думалъ Александръ, „чтобы она была здѣсь и я могъ поговорить съ нею“.

Вдругъ ему докладываютъ, что баронесса Криднеръ тутъ и желаетъ видѣть государя. Это показалось ему необычайнымъ дѣломъ, какою-то таинственною, руководящею нитью въ его судьбѣ.

Криднеръ дѣйствительно явилась къ императору, и глубоко потрясла его своею рѣчью, исполненною строгаго величія и необыкновенной, увлекающей страстности.

Современники говорятъ, что она и въ это время была еще прекрасна: по словамъ ея біографовъ, она была болѣе чѣмъ красива — она была неотразимо обаятельна.

Это свидѣтельство современниковъ едва ли можно заподозрить въ преувеличеніи. Когда Криднеръ была еще молода, то обаяніе ея красоты и какой-то внутренней силы было такъ могущественно, что когда она въ Бережѣ купила въ какой-то лавкѣ простой носовой платокъ и повязала имъ голову, то въ тотъ же почти день всѣ платки изъ той лавки были раскуплены до одного (такъ было всеильно что-то, что она носила въ себѣ: это что-то больше, чѣмъ красота).

Состарѣвшись, Криднеръ потерять своего обаянія не могла, и это обаяніе проявлялось только въ иной формѣ, не въ красотѣ лица, а въ какой-то неотвратимой привлекательности, которую испытывали на себѣ всѣ, на кого она желала дѣйствовать своимъ словомъ, примѣромъ или убѣжденіемъ. Ей и ея мистическимъ силамъ вѣрили даже люди высокообразованные. Такъ Жанлисъ говоритъ о ней: „это необыкновенная и интересная женщина, говорящая самыя странныя вещи съ спокойнымъ убѣжденіемъ!“

Но большинство положительныхъ людей не признавали ея ученія и даже смѣялись надъ ея виѣшними странностями и надъ миссіей, на которую она претендовала.

По желанію императора Александра Павловича, Криднеръ сопровождала его въ Гейдельбергъ, и тамъ окончательно покорила себѣ его волю

въ сферѣ нравственныхъ воззрѣній. Біографы Криднеръ свидѣтельствуютъ, что въ это время женевецъ Эмпейтазъ, раздѣлявшій мнѣнія Криднеръ, дочь его, хорошенькая и восторженная дѣвушка, и будущій зять г-жи Криднеръ, Бернгеймъ, способствовали этой странной женщинѣ „руководствовать въ нравственномъ отношеніи главу православной церкви“.

Разразилась буря при Ватерлоо. Наполеонъ погибъ, какъ предсказывала Криднеръ. Императоръ Александръ, отъѣзжая въ Парижъ, пригласилъ съ собой Криднеръ, и она послѣдовала за побѣдоноснымъ царемъ. Въ Парижѣ она жила рядомъ съ дворцомъ въ Елисейскихъ поляхъ, который занятъ былъ русскимъ государемъ.

Слава Криднеръ росла необычайно. Толпы ея почитателей увеличивались съ каждымъ днемъ. „Скептикъ и насмѣшникъ Бенжаменъ Констанъ, — говоритъ одинъ жизнеописатель Криднеръ, — пережившій страсть свою къ госпожѣ Сталь и въ то время испытывавшій всю горечь безнадежной любви къ прекраснѣйшей женщинѣ во Франціи, искалъ утѣшенія у г-жи Криднеръ. Г-жа Рекамье, причина его страданій, не охотно была допущена на ея молитвенныя собранія, при которыхъ часто присутствовалъ императоръ. Г-жа Криднеръ просила эту обворожительную красавицу не являться къ ней въ такомъ блескѣ красоты и не развлекать молящихся свѣтскими мыслями“.

Когда потомъ императоръ Александръ задумалъ составить политическій союзъ и коалицію для поддержанія на будущее время спокойствія въ Европѣ, то подчиненіе этой коалиціи религіозному вліянію было замѣчательнымъ результатомъ сношеній его съ Криднеръ. Черновой проектъ этой коалиціи, какъ мы сказали выше, подвергнутъ былъ просмотру и одобренію Криднеръ, и самыя слова въ заголовкѣ проекта — „священный союзъ“ — Криднеръ написала своею собственною рукой. Одинъ заголовокъ этого замѣчательнаго политическаго акта даетъ уже необыкновенной женщинѣ, судьбою которой мы заняты, историческое безсмертіе.

Но замѣчательно, что въ описываемое время женщиною этою, какъ свидѣтельствуютъ ея біографы, положительно не руководило ни честолюбіе, ни тщеславіе. Когда Александръ Павловичъ возвращался въ Россію и приглашалъ ее съ собой, Криднеръ не послѣдовала за государемъ, хотя это и было условлено между ними ранѣе.

Криднеръ осталась за границей и направила свою проповѣдь въ Швейцарію. Время это — самыя любопытныя и знаменательныя страницы въ ея жизни. Странная популярность ея дошла до того, что едва она являлась въ какой-либо городъ или мѣстечко, какъ власти тотчасъ же обращались къ ней съ просьбою — немедленно выѣхать отъ нихъ. За нею шли толпы народа дѣйствительно какъ за пророкомъ: эти толпы, всегда жадныя слушать необыкновенную рѣчь или видѣть что-либо необычайное, а еще болѣе жадныя до ея богатыхъ раздачъ милостыни, осаждали дома, гдѣ бы она ни останавливалась; тысячи народа, какъ говорятъ ея біографы, при видѣ Криднеръ, громко требовали отъ нея пищи духовной и тѣлесной,

слова и денегъ. Какъ она ни была богата, но она все раздавала бѣднымъ, такъ что для нея самой съ дочерью Жюльеттою нерѣдко оставался одинъ только черный хлѣбъ, которымъ они и питались. Поведеніе ея дѣйствительно было таково, что не могло не вызывать овацій самыхъ громкихъ и не привлекать къ ней толпы народа, почему ее и изгоняли изъ городовъ, какъ нарушительницу общественнаго спокойствія. Разъ въ Карлсруэ она увидала дѣвушку, которая, сметая пыль и соръ съ лѣстницы одного дома, заливалась горькими слезами. Криднеръ спросила ее о причинѣ слезъ. Дѣвушка объяснила ей, что она прежде занимала высшее положеніе въ обществѣ, но что обстоятельства заставили ее унизиться до роли служанки, до такой постыдной работы.

— Твоя работа не постыдная,—сказала ей Криднеръ:—Дѣва Марія была изъ царскаго рода, а мела сама, и Сынъ Божій часто бралъ метлу изъ рукъ матери и облегчалъ ея труды.

И Криднеръ взяла метлу изъ рукъ плачущей дѣвушки и стала мести соръ вмѣсто нея.

Въ Швейцаріи ходила къ ней бѣдная женщина, лицо которой до того обезображено было ракомъ, что всѣ гнушались ею, и никто не могъ ее видѣть. Эту женщину Криднеръ при всѣхъ собравшихся къ ней слушателяхъ поцѣловала, и когда дочь замѣтила ей неосторожность этого поступка, говоря, что отъ прикосновенія къ зараженному тѣлу можно и самой заразиться, Криднеръ отвѣчала дочери:

— Не брани меня! Подумай, сколько лѣтъ бѣдняжка переносила отвращеніе себѣ подобныхъ.

Въ 1821 году Криднеръ воротилась, наконецъ, въ Петербургъ послѣ продолжительнаго отсутствія. Ей было уже подъ шестьдесятъ лѣтъ; но въ ней оставалась все та же молодая страстность, и тѣ же порывы, что и въ молодости, руководили каждымъ ея дѣйствіемъ, каждымъ словомъ. Однако, императоръ Александръ уже пересталъ желать ея присутствія, какъ желалъ прежде. Ему непріятны были толки о пасторѣ Фонтэнѣ, съ которымъ Криднеръ была въ близкихъ сношеніяхъ по своему мистическому ученію и котораго шарлатанство и разныя другія весьма предосудительнаго свойства дѣла были публично обнаружены. Императору непріятна была пылкость ея рѣчей, которыя она говорила вездѣ, гдѣ представлялся случай, непріятна была настоятельность совѣтовъ вступить за греческое дѣло, непріятны были толпы, собиравшіяся слушать эту экзальтированную старуху. Императоръ намекалъ даже ей, что онъ желалъ бы видѣть ее менѣе ревнивою.

Но она не могла быть иною, не могла молчать и бездѣйствовать—и оставила навсегда Петербургъ.

Здоровье ея было сильно расшатано аскетическою жизнью, особенными трудами и окончательно разрушено тѣмъ внутреннимъ огнемъ, на которомъ она какъ бы сама себя сожигала всю жизнь. Она стала готовиться къ смерти, избравъ для этого полное уединеніе. Друзья совѣтывали ей переселиться въ теплые края, чтобъ возстановить разрушенное здоровье, и съ

этою цѣлью княгиня Голицына, ея другъ и почитательница, увезла ее на зиму въ Крымъ, гдѣ намѣревалась даже основать особую колонію, въ родѣ колоніи для прибѣжища всѣхъ нуждающихся въ духовной помощи этой мистической личности.

Но утомительная дорога въ Крымъ еще болѣе надорвала здоровье старухи.

Послѣ такой неимоверной жизни, какую провела она, Криднеръ скончалась 25-го декабря 1824 года, когда ей исполнилось шестьдесятъ лѣтъ. Смерть ея, говорятъ біографы, была „спокойна и безмятежна“.

За нѣсколько дней до смерти она написала сыну трогательное письмо, въ которомъ вылилась какъ бы собственная оцѣнка ея жизни и дѣятельности и которое было ея послѣднимъ словомъ и духовнымъ завѣщаніемъ:

„Добрыя дѣла мои останутся, а злыя (какъ часто принимала я за голосъ божій то, чтó было только плодомъ моего воображенія и моей гордости!) забудутся, по милости моего Господа. Мнѣ нечего предложить Богу и людямъ, кромѣ многочисленныхъ моихъ прегрѣшеній; но кровь Іисуса Христа очистить меня отъ всякаго грѣха“.

Видно, что богатая силы этой женщины искали исхода и нашли его не тамъ, гдѣ отъ нихъ ожидалась реальная польза.

Не мало, такимъ образомъ, погибло у насъ великихъ женскихъ силъ и въ восемнадцатомъ, и въ девятнадцатомъ вѣкѣ.

II.

Графиня Наталья Александровна Зубова,
урожденная Суворова.

(Суворочка).

Есть женщины, чьихъ историческое безсмертіе не вытекаетъ непосредственно изъ ихъ личной дѣятельности, которыя такъ и умерли бы, не оставивъ по себѣ никакого слѣда въ исторіи, не передавъ позднѣйшему потомству даже своего имени, какъ умираютъ миллионы людей, изъ коихъ одни, какъ поднятая вѣтромъ туча пыли, исчезаютъ безслѣдно, осаживаясь на земной поверхности и смѣшиваясь съ землею, а другіе, хотя и оставляютъ на разныхъ каменныхъ, мраморныхъ и бронзовыхъ плитахъ и крестахъ свои имена, но и эти имена стираются отъ времени, вывѣтриваются отъ непогоды, выѣдаются солнцемъ,—если-бъ жизнь этихъ женщинъ не связывалась какою-либо нитью съ другою жизнью, безсмертную память которой нельзя вытравить изъ страницъ исторіи ни временемъ, ни непогодой.

Къ такимъ историческимъ женскимъ именамъ принадлежитъ имя „Суворочки“.

Историческое безсмертіе такихъ именъ—рефлективное безсмертіе, отраженное.

Имя „Суворочки“ всѣмъ извѣстно, потому что оно освѣщено и про-

славлено именемъ знаменитаго полководца, и если-бъ оно было само по себѣ такъ же ничтожно, какъ имя „Прошки“, лакея того же Суворова, то исторія и въ такомъ случаѣ не могла бы обойти его: сила безсмертія историческихъ лицъ въ томъ и состоитъ, что они бросаютъ лучъ безсмертія на все, что стояло близко ихъ, на что падало ихъ вниманіе, на чемъ отражались ихъ симпатіи, а иногда и гнѣвъ. Тысячи примѣровъ представляетъ этому исторія: Гогартъ обезсмертилъ свою собаку, посадивъ ее рядомъ съ собою на своемъ знаменитомъ портретѣ, а Алкивіадъ—отрубивъ своей собакѣ хвостъ.

Таково могущество историческаго безсмертія.

Если-бъ мы и ничего не имѣли сказать о дочери Суворова, то ужъ одно обращеніе къ ней въ письмахъ такого лица, какъ ея отецъ, въ письмахъ, писанныхъ съ Кивбурна, изъ-подъ Очакова, изъ Фокшанъ, съ рымникскаго кроваваго поля,—одно обращеніе это заноситъ имя Суворочки на страницы исторіи.

Въ 1774 году, Суворовъ, вскорѣ послѣ поимки Пугачова, женился на дочери князя Прозоровскаго, княжнѣ Варварѣ Ивановнѣ Прозоровской. Суворову въ это время было сорокъ пять лѣтъ, а молодой женѣ его двадцать четыре года.

1-го августа 1775 года у нихъ родилась дочь, которую и называли Натальей.

Но Суворовъ не былъ счастливъ въ своей супружеской жизни, хотя первое время послѣ брака супруги жили согласно и не разлучались даже во время непрерывныхъ мыканій Суворова [изъ одного конца Россіи въ другой, отъ одной битвы къ другой.

Такъ онъ возилъ съ собою жену и маленькую Наташу-Суворочку по Кубани, когда сражался съ горцами, жилъ съ нею въ Таганрогѣ и Ростовѣ.

Послѣ, когда дѣвочкѣ исполнилось одиннадцать лѣтъ, ее помѣстили въ Смольный институтъ, гдѣ она жила, повидимому, на нѣсколько исключительномъ положеніи, подъ непосредственнымъ попеченіемъ начальницы института, г-жи Лафонъ.

При постоянно скитальческой жизни отца, дѣвочка рѣдко видѣла его ласки; но неутомимый старикъ любилъ свое дѣтище, свою Наташу, которую называлъ „сестрицей“, и какъ ни былъ поглощенъ дѣлами полководца, непрестанными битвами съ турками и поляками, не забывалъ утѣшать своего ребенка письмами, которыя вполнѣ характеризовали эту безпокойную, подвижную, вѣчно торопливую личность.

Онъ и письма своей дочери писалъ какъ-то натискомъ, наскокомъ, точно бралъ приступомъ Смольный монастырь или посылалъ ультиматумъ—и снова умолкалъ на неопредѣленное время.

Но въ этихъ письмахъ, при всей ихъ шутливой формѣ, при лихорадочной торопливости, звучитъ нѣжное и глубокое чувство.

Среди кровавыхъ сценъ войны, съ полей битвъ, когда еще кругомъ лежали неубранные трупы, Суворовъ шутилъ съ дѣвочкой, рассказывая ей,

какъ они дрались съ турками, сильнѣе чѣмъ дѣвочки дерутся за волосы; шутя, пишетъ ей, что онъ танцевалъ въ балетѣ и ушелъ съ балу съ поврежденнымъ отъ пушечной картечи бокомъ, съ „дырочкою“ въ лѣвой рукѣ отъ пули, что у лошади его „мордочку отстрѣлили“. Говоритъ, что ему такъ весело на морѣ, на днѣпровскомъ лиманѣ—поютъ лебеди, утки, кулики, по полямъ жаворонки, лисички, синички; въ водѣ стерлядки, осетры.

А все-таки видно, что старикъ скучаетъ по своей Наташѣ.

„Любезная Наташа!“—пишетъ онъ изъ Кинбурна, 20-го декабря 1787 года, когда дѣвочкѣ было только двѣнадцать лѣтъ.—„Ты меня порадовала письмомъ отъ 9-го ноября. Больше порадуешь, какъ на тебя надѣнутъ бѣлое платье, и того больше, какъ будемъ жить вмѣстѣ. Будь благочестива, благонравна, почитай свою матушку Софью Ивановну (Лафонъ), или она тебя выдеретъ за уши да посадитъ за сухарикъ съ водицей. Желаю тебѣ благополучно препроводить святки. Христосъ Спаситель тебя соблюди новой и многіе года! Я твоего прежняго письма не читалъ за недосугомъ, отослалъ къ сестрѣ Аннѣ Васильевнѣ (сестра Суворова—замужемъ за княземъ Горчаковымъ). У насъ все были драки, сильнѣе нежели вы деретесь за волосы; а какъ вправду потанцовали, то я съ балету вышелъ: въ бокъ пушечная картечь, въ лѣвой рукѣ отъ пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрѣлили; насилу часовъ черезъ восемь отпустили съ театру въ камеру. Я теперь только что поворотился, выѣздилъ близъ пяти-сотъ верстъ верхомъ въ шесть дней, а не ночью. Какъ же весело на Черномъ морѣ, на лиманѣ! Вездѣ поютъ лебеди, утки, кулики, по полямъ жаворонки, синички, лисички, а въ водѣ стерлядки, осетры,—пропасть. Прости, мой другъ Наташа, я чаю ты не знаешь, что мнѣ моя матушка государыня пожаловала андреевскую ленту за вѣру и вѣрность. Цалую тебя, божіе благословеніе съ тобою. Отецъ твой Александръ Суворовъ“.

Сколько ни старается великій полководецъ замаскировать свое глубокое чувство къ ребенку, но оно пробивается во всемъ, въ ласкѣ, въ шуткѣ, въ каждомъ штрихѣ писемъ его, и этотъ Суворовъ, которому ничего не стоило положить на мѣстѣ до десяти тысячъ человѣческихъ тѣлъ, этотъ новый Ганнибалъ плачетъ всякій разъ, когда получитъ письмо отъ дочери—плачетъ „отъ утѣхи“.

Какъ ни дорога ему слава полководца, слава героя, но чувство къ дочери пересиливаетъ все: хочется ему посмотрѣть на свою Суворочку, какова она въ бѣломъ платьицѣ, каково растетъ.

„Милая моя Суворочка!“—пишетъ онъ 16-го марта 1788 года.—Письмо твое отъ 31-го ч. генваря получилъ. Ты меня такъ имъ утѣшила, что я по обычаю моему отъ утѣхи заплакалъ. Кто-то тебя, мой другъ, учить такому красному слогу, что я завидую, чтобъ ты меня не перещеголяла?.. О ай да Суворочка! Какъ же у насъ много полевого салату, птицъ, жаворонковъ, стерлядей, воробьевъ, полевыхъ цвѣтовъ. Морскія волны бьютъ въ берега, какъ у васъ въ крѣпости изъ пушекъ. Отъ насъ въ Очаковѣ слышно, какъ собачки лаютъ, какъ пѣтухи поютъ. Куда бы я,

матушка, посмотрѣлъ теперь тебя въ бѣломъ платьѣ, какъ-то ты растешь! Какъ увидимся, не забудь мнѣ рассказать какую пріятную исторію о твоихъ великихъ мужахъ въ древности. Поклонись отъ меня сестрицамъ (институткамъ). Благословеніе божье съ тобою“.

29-го мая онъ снова пишетъ изъ Кинбурна. На сценѣ опять зайчики, уточки, кулички — но тутъ же и сто турецкихъ корабликовъ, изъ которыхъ иные большіе, какъ весь Смольный.

„Любезная Суворочка, здравствуй. Кланяйся отъ меня всѣмъ сестрицамъ. У насъ ужъ давно поспѣли дикіе молодые зайчики, уточки, кулички... Недосугъ много писать. Около насъ 100 корабликовъ, иной такой большой какъ смольной; я на нихъ смотрю и купаюсь въ Черномъ морѣ съ солдатами: вода очень студена, и такъ солона, что барашковъ можно солить. Прощай, душа моя!“

А не покидаетъ старика ни мысль о дочери, ни мысль о славѣ древнихъ героевъ: проситъ дочь, когда увидятся, научить его, какъ ему послѣдовать великимъ героямъ древности. И тутъ же слегка приподнимаетъ край завѣсы, за которою скрываются ужасы войны; но онъ рисуетъ эти ужасы опять-таки шутливо, въ видѣ „пѣнія“ собачекъ, „лаянья“ коровъ, блеянья кошекъ; корабли — это лодки, на которыхъ турокъ больше чѣмъ мухъ въ Смольномъ; орудія такіа большія, какъ камеры, въ которыхъ спитъ Суворочка съ другими институтками.

„Голубушка Суворочка, цалую тебя. Ты меня еще потѣшила письмомъ отъ 30-го апрѣля. На одно я вчера тебѣ отвѣчалъ. Когда Богъ дастъ, будемъ живы и здоровы и увидимся, радъ я съ тобою поговорить о старыхъ и новыхъ герояхъ, лишь научи меня, чтобъ я имъ послѣдовалъ. Ай да Суворочка, здравствуй, душа моя, въ бѣломъ платьѣ; носи на здоровье, рости велика... Ахъ, теперь-то Наташа, какой же у нихъ по ночамъ въ Очаковѣ вой: собачки поютъ волками, коровы лаютъ, кошки блеютъ, козы ревутъ, а я сплю на костѣ. Она такъ далеко въ морѣ, въ лиманѣ, какъ гуляю, слышно, что они говорятъ. Они такъ около насъ очень много, на такихъ превеликихъ лодкахъ, шесты большіе къ облакамъ, полотна на нихъ на версту. Видно, какъ табакъ курятъ, пѣсни поютъ заунывныя. На иной лодкѣ ихъ больше, чѣмъ у васъ во всемъ смольномъ мухъ: красненькіе, зелененькіе, синенькіе, сѣренькіе. Орудія у нихъ такіа большія, какъ камера, гдѣ ты спишь съ сестрицами. Божіе благословеніе съ тобою“.

По взятіи Очакова, Суворовъ ѣдетъ въ Петербургъ на свиданье съ своею Суворочкой, которой уже четырнадцатый годъ.

Можно себѣ представить, какъ онъ велъ себя въ институтѣ, съ „сестрицами“ и съ своею „Суворочкою“ — шутки и каламбуры нигдѣ его не покидаютъ. И можно себѣ представить, какъ хохотали молоденькія институтки при видѣ проказъ великаго полководца.

Въ апрѣлѣ 1789 года онъ снова пишетъ своей дочери съ дороги. Черезъ Кіевъ онъ скачетъ въ Яссы, и съ дороги шлетъ привѣтъ своей любимицѣ.

Въ августѣ онъ уже въ Берладѣ, и шлетъ дочери письмо, наполненное

извѣстіями о поющихъ стрепетахъ, о летающихъ зайцахъ, о прыгающихъ скворцахъ, о томъ, какъ онъ самъ кормить изо рта молоденькаго скворца, о томъ, что пишетъ къ ней орлинымъ перомъ—и опять желѣзныя кегли, свинцовый горохъ, а горохъ такой, что если въ глазъ попадетъ, то и лобъ прошибетъ.

И опять хочется старику видѣться съ своей Наташей.

„Суворочка душа моя, здравствуй!.. Поцалуй за меня сестрицъ. У насъ стрепеты поютъ, зайцы летятъ, скворцы прыгаютъ на воздухъ по возрастамъ: я одного поймалъ изъ гнѣзда, кормилъ изъ роту, а онъ и ушелъ домой. Поспѣли въ лѣсу грецкіе да волоцкіе орѣхи. Пиши ко мнѣ изрѣдка. Хоть мнѣ недосугъ, да я буду твои письма читать. Молись Богу, чтобъ мы съ тобой увидѣлись. Я пишу къ тебѣ орлинымъ перомъ; у меня одинъ живетъ, ѣсть изъ рукъ. Помнишь, послѣ того ужъ я ни разу не танцевалъ. Прыгаемъ на конькахъ, играемъ такими большими кеглями желѣзными, на силу подымешь, да свинцовымъ горохомъ: коли въ глазъ попадетъ, такъ и лобъ прошибетъ. Прислалъ бы къ тебѣ полевыхъ цвѣтковъ, очень хороши, да дорогой высохнутъ. Прости, голубушка сестрица, Христосъ Спаситель съ тобою“.

Слѣдующее затѣмъ письмо отъ 11 (22) сентября 1769 года Суворовъ пишетъ съ страшнаго поля рымникской побѣды, говоритъ о томъ, какъ 5000 турецкихъ труповъ легло на мѣстѣ, перечисляетъ свои трофеи, плѣнныхъ и пр.

Вскорѣ затѣмъ онъ уже обращается къ своей дочери какъ къ „графинѣ двухъ имперій“ (*comtesse des deux empires*), потому что за рымникскую побѣду онъ пожалованъ былъ графомъ и россійской и австрійской имперіи. Говоритъ, что ему, точно Александру Македонскому, императрица прислала рескриптъ на полулистѣ,—и за что же?—„за доброе сердце Суворочкина папаша“...

„Comtesse des deux empires, любезная Наташа Суворочка. А сѣла ай да, надобно всегда тебѣ только благочестіе, благонравіе, добродѣтель. Скажи Софѣ Ивановнѣ и сестрицамъ, у меня горячка въ мозгу, да кто и выдержитъ? Слышала, сестрица душа моя, еще де та *magnanime mère* рескриптъ на полулистѣ, будто Александру Македонскому, знаки св. Андрея, тысячъ въ пятьдесятъ, да выше всего, голубушка, первой классъ св. Георгія. Вотъ каковъ твой папенька за доброе сердце! Чуть право отъ радости не умеръ! Божіе благословеніе съ тобою“. И уже подписывается не просто „Суворовъ“, а „графъ Александръ Суворовъ-Рымникскій“.

Въ письмѣ отъ 3-го ноября опять шутки на первомъ планѣ: козочки, тетерки, чижики... Но старикъ тоскуетъ по дочери — „тошно“ ему. Онъ зоветъ къ себѣ всѣхъ институтокъ, и самъ бы полетѣлъ въ Смольный по-смотреть на свою любимицу, да крыльевъ нѣтъ.

„Ай да любезная сестрица!... У меня козочки, гуси, утки, индѣйки, пѣтухи, тетерки, зайцы, чижекъ умеръ; я ихъ выпустилъ домой. У насъ еще листки не упали и зеленая трава. Гостинцевъ много: наливныя яблоки,

дули, персики, винограду на зиму запасъ. Сестрицы, прїѣзжайте ко мнѣ, есть чѣмъ подчивать: и гривенники и червонцы есть. Что хорошаго, душа моя сестрица? Мнѣ очень тошно; я ужъ отъ тебя и не помню когда писемъ не видалъ. Мнѣ теперь досугъ, я бы ихъ читать сталъ. Знаешь, что ты мнѣ мила: полетѣлъ бы въ смольной на тебя посмотришь, да крыльевъ нѣтъ. Куда право какая, еще тебя ждать 16 мѣсяцевъ, а тамъ пойдешь домой. А какъ же долго! Нѣтъ уже не долго; привози сама гостинцу, я для тебя сдѣлаю балъ... Цалую тебя, душа моя“...

Въ декабрѣ того же года онъ пишетъ къ дочери серьезное письмо и притомъ на нѣмецкомъ языкѣ; называетъ ее „графиней и имперской графиней“ Gräfin und Reichsgräfin Наташа Суворочка) — „почтительнѣйше благодарить ея сіятельство за письма“...

Но тутъ же у него невольно прорывается глубокое чувство: онъ говоритъ, что военныя дѣла на время прїостановились, а иначе онъ не читалъ бы писемъ дочери, — „ибо они бы мнѣ помѣшали ради моей нѣжности къ тебѣ“.

„Графиня и имперская графиня Наташа Суворочка. Поцалуй всѣхъ моихъ сестрицъ. Благодарю почтительнѣйше ваше сіятельство за письма ваши отъ 14-го іюня и ноября, и благодарю Бога за сохраненіе твоего, столь мнѣ дорогаго здоровья попеченіями несравненной твоей матери Софьи Ивановны; осчастливь ее за то Всемогущій! Дѣла наши прїостановились. Иначе я не читалъ бы твоихъ писемъ, ибо они бы мнѣ помѣшали ради моей нѣжности къ тебѣ. У насъ здѣсь московская зима, и я прихожу изъ церкви совсѣмъ замерзшій. Съ полнымъ удовольствіемъ провелъ я нѣсколько дней въ Яссахъ, и тамъ былъ награжденъ одною изъ драгоцѣннѣйшихъ шпагъ“... Потомъ вдругъ бросаетъ этотъ солидный нѣмецкій тонъ и оканчиваетъ письмо по-русски: „Ну полно, душа моя сестрица, ужъ я очень серьезенъ. Ай да какъ миръ, такъ я прїѣду съ тобой потанцовать, а коли зарѣзвишься, то пусть тебя Софья Ивановна изволить приказать высѣчь. Богъ дастъ, какъ пройдетъ 15 мѣсяцевъ, то ты пойдешь домой, а мнѣ будетъ очень весело. Черезъ годъ я эти дни буду по ариметикѣ считать.... Какія у насъ здѣсь землетрясенія: на меня однажды чуть печь не упала, такъ что я вспрыгнулъ. Цалую тебя, любезная сестрица Суворочка“.

Суворочка, однако, быстро растетъ. Ей ужъ пятнадцать лѣтъ. Ужъ она умѣетъ, какъ утверждаетъ Суворовъ, „разсуждать, располагать, намѣрять, рѣшать, утверждать“, — а старикъ все продолжаетъ съ нею проказничать.

„И я, любезная сестрица Суворочка, — говоритъ онъ въ 1790 году, — былъ тожъ въ высокой скукѣ, да и такой чорной, какъ у старцевъ кавалерійскія робронды. Ты меня своимъ крайнимъ письмомъ отъ 17 апрѣля такъ утѣшила, что у меня и теперь изъ глазъ течетъ. Охъ, какъ же я радъ, сестрица, что Софья Ивановна слава Богу. Куда какъ она умна, что здорова! Поцѣлуй ей за меня ручки. Вотъ еще, душа моя, по твоему письму, ты ужъ умѣешь разсуждать, располагать, намѣрять, рѣшать, утверждать, въ благочестіи, благонравіи, добродушіи и просвѣщеніи отъ науки: знать, тебя Софья Ивановна много хорошо сѣчетъ... Здравствуйте, мое

солнце, мои звѣзды сестрицы. У насъ въ полѣ и въ лѣсу дикая петрушка, постарнакъ, свекла, морковь, салаты, трава зеленая, спаржи и иного очень много. Великія овощи еще не поспѣли и фрукты. Гуси маленькіе ай да такіе выросли большіе! Караси бѣлые больше скрыпки, стрепеты да дунайскія стерляди, и овечье толстое молоко. Прости сестрица Суворочка“...

Слѣдующее письмо, 21-го августа, намекаетъ Суворочкѣ на страшную битву съ турками.

„Ma chère soeur!.. Въ Ильинѣ и на другой день мы были въ трапезной съ турками. Ай да ахъ, какъ же мы подчивались, играли, бросали свинцовымъ, большимъ горохомъ, да желѣзными кеглями въ твою голову величины. У насъ были такія длинныя булавки и ножницы, кривыя, прямыя, и рука не попадайся, тотъ часъ отрѣжутъ, хоть и голову. Ну, полно съ тебя, заврались. Кончилось иллюминаціей, фейерверкомъ. Съ праздника турки ушли, ой далеко, Богу молиться по-своему. И только, больше нѣтъ ничего“...

Выдержавъ страшную тифозную горячку, старикъ снова развлекаетъ свою дочь шутками:

„Душа моя сестрица Суворочка... У насъ сей ночи былъ большой громъ, и случаются малыя землетрясенія. Охъ какая-жъ у меня была горячка: такъ безъ памяти и упаду на траву, и по всему тѣлу все пятна. Теперь очень здоровъ. Дичины, фруктовъ очень много, рыбы пропасть, такой у васъ нѣтъ, въ прудахъ, озерахъ, рѣкахъ, и на Дунаѣ, дикихъ свиней, козъ, цыплятъ, телятъ, гусей, утятъ, яблоковъ, грушъ, винограду. Орѣхи грецкіе, волоцкіе поспѣли, съ кофеемъ пьемъ буйвольное и овечье молоко. Лебеди, тетеревы, куропатки живые такіе, жирные. Синички ко мнѣ въ спальню летаютъ. Знаешь рой пчелиной, у меня одинъ рой отпустилъ четыре роя. Будь благочестива, благонравна и здорова“...

Но одно письмо, начало котораго отрѣзано, писанное по-французски, не имѣетъ почти ни одной шутки. Это—наставленіе дочери, потому что она уже взрослая дѣвушка.

„Сберегай въ себѣ природную невинность, когда напоследокъ окончится твое ученіе. Насчетъ судьбы своей предай себя вполне промыслу Всемогущаго, и, насколько позволить тебѣ твое положеніе, будь непререкаемо вѣрна великой монархіи. Я ея солдатъ, я умираю за мое отечество; чѣмъ выше возводитъ меня милость ея, тѣмъ слаже пожертвовать мнѣ собою для нея. Смѣлымъ шагомъ приближаюсь къ могилѣ: совѣсть моя не запятнана. Мнѣ шестьдесятъ лѣтъ, тѣло мое изувѣчено ранами, и Богъ оставляетъ меня жить для блага государства. Къ отвѣту за то я долженъ буду и не замедлю явиться передъ великое его судилище. Вотъ сколько разглагольствованій, моя обожаемая Суворочка. Въ эту минуту я забываю, что я ничтожный прахъ и снова обращаюсь во прахъ. Нѣтъ, милая сестрица, я больше не видалъ Золотухина (онъ погибъ на штурмѣ Измаила—а за него Суворовъ прочилъ свою Наташу!): съ письмомъ твоимъ онъ, можетъ быть, блуждаетъ вокругъ скалъ обширнаго и бурнаго моря.

Деньги, данныя на гостинцы, ты могла бы употребить на фортепіаны, если Софья Ивановна прикажетъ. Да, душа моя, тебѣ пойти будетъ домой. Тогда, коли живъ буду, я тебѣ куплю очень лутче съ яблоками и французскіе конфекты. Я больше живу, голубушка сестрица, на форпостахъ, коли *grande dévotion* не мѣшаетъ, какъ прошлаго году, а въ этомъ еще не играли свинцовымъ горохомъ. Прости, матушка“...

Суворочка, наконецъ, кончила курсъ въ Смольномъ, и 3-го марта 1791 года пожалована во фрейлины. Императрица взяла ее во дворецъ и помѣстила въ своей уборной.

Но дочь Суворова не долго оставалась во дворцѣ. Оригинальный старикъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, вызвалъ изъ вологодской деревни свою сестру Марью Олешеву, взялъ Наташу изъ дворца и помѣстилъ ее въ собственномъ домѣ, на Итальянской улицѣ, подъ попеченіемъ тетки.

Отчасти это обстоятельство и послужило началомъ холодности императрицы: рымникскаго героя послали осматривать шведскую границу.

Иногда онъ наѣзжалъ къ дочери, и, конечно, являлся ко двору. Холодность императрицы продолжалась. Въ дневникѣ Храповицкаго подъ 1-мъ декабря записано объ императрицѣ: „Довольны, что откланивались Суворовъ и князь Прозоровскій. *Ils sont mieux à leurs places*. Я сказалъ, что уборная не велика. Усмѣхнулись. „*Oui, cette chambre est trop petite*“.

Къ этому времени принадлежатъ два письма къ Суворочкѣ изъ Финляндіи.

„Душа моя Наташа,—говорится въ одномъ изъ нихъ: —божіе благословеніе съ тобою! Будь благочестива, благонравна и въ праздности не будь. Благодарю тебя за письмо съ дядюшкою. Тетускѣ кланяйся. Какъ будто мое сердце я у тебя покинулъ. Ай да, здѣсь у насъ великое катанье на водѣ, въ лѣсу, на каменныхъ горахъ, и много очень хорошихъ вещей: рыбы, дикихъ птицъ, цвѣтовъ, маленькихъ цыплятъ—жаль! Какъ нашъ колдунъ (Берръ) пріѣхалъ къ намъ въ гости. то и время теперь хорошее: поютъ ласточки, соловьи и много птицъ. Мы вчера кушали на острову, завтра хотимъ плавать въ нѣмецкую обѣдню, а тамъ пойдемъ далеко. Я тебя буду вездѣ за глаза цаловать... Какъ пойдешь куда гулять, и придешь назадъ домой, то помни меня, какъ я тебя помню!“.

Другое письмо заключаетъ въ себѣ наставленіе, какъ Суворочкѣ вести себя при дворѣ. Письмо писано по-французски:

„Богиня невинности да охраняетъ тебя всегда. Положеніе твое перемѣняется. Помни, что дозволеніе свободно обращаться съ собою порождаетъ пренебреженіе. Берегись этого. Приучайся къ естественной вѣжливости, избѣгай людей, любящихъ блистать остроуміемъ: по большей части это люди извращенныхъ нравовъ. Будь сурова съ мужчинами и говори съ ними не много; а когда они станутъ съ тобой заговаривать, отвѣчай на похвалы ихъ скромнымъ молчаніемъ. Надѣйся на Провидѣніе! Оно не замедлитъ упрочить судьбу твою... Я за это отвѣчаю. Когда будешь въ придворныхъ собраніяхъ, и если случится, что тебя обступятъ старики, по-

кажи видѣ, что хочешь поцѣловать у нихъ руку, но своей не давай. Это князь, И. И. Шуваловъ, графы Салтыковы, старики Нарышкины, старый князь Вяземскій, также графъ Безбородко, Завадовскій, гофмейстеры, старый графъ Чернышевъ и другіе“.

Когда Суворочка стала невѣстой и одинъ „молодецъ“ присватался къ ней, Суворовъ преподалъ дочери такой стихотворный совѣтъ (изъ Польши):

Увѣдомляю симъ тебя, моя Наташа:
Костюшка злой въ рукахъ; взяла вотъ такъ-то наша!
Я-жъ веселъ и здоровъ, но лишь немного лихъ,
Тобою что презрѣнъ мной избранный женихъ.
Когда любовь твоя велика есть къ отцу,
Послушай старика, дай руку молодцу.
Но, впрочемъ, никакихъ не слушай, другъ мой, вздоровъ.
Отецъ твой Александръ графъ Рымникскій-Суворовъ.

Дочь на это отвѣчала тоже стихами:

Для дочери отецъ на свѣтѣ всѣхъ святѣй,
Для сердца же ея любезнѣй и милѣй—
Дать руку для отца, жить съ мужемъ по неволѣ,
И графска дочь ничто—ея крестьянка болѣ.
Что можетъ въ старости отцу утѣхой быть?
Печальный вздохъ дѣтей, иль имъ въ весельѣ жить?
Все въ свѣтѣ пустяки, богатство, честь и слава:
Гдѣ нѣтъ согласія, тамъ смертная отравка;
Гдѣ-жъ царствуетъ любовь, тамъ тысячи отрадъ,
И нищій мнитъ въ любви, что онъ какъ Крезъ богатъ.

Надо предполагать, что здѣсь Суворовъ подъ „молодцомъ“ разумѣетъ кого-либо изъ тѣхъ, которыхъ не сама дѣвушка избрала, и оттого она отказывается отъ рекомендуемаго отцомъ жениха.

Но у нея былъ на примѣтѣ другой молодецъ—это графъ Николай Александровичъ Зубовъ, котораго тоже Суворовъ зналъ какъ храбраго и распорядительнаго офицера.

Въ это время, по взятіи Варшавы и Костюшки, Суворовъ имѣлъ торжественный пріемъ въ Петербургѣ. Въ это же время и состоялась свадьба его дочери съ графомъ Зубовымъ.

Съ этой поры характеръ писемъ отца къ дочери нѣсколько измѣняется: Суворовъ попрежнему ласковъ съ дочерью, но уже не называетъ ее Суворочкой—она потеряла это славное имя; иногда продолжаетъ старикъ шутить въ письмахъ, но уже рѣже—герой чувствуетъ, что тѣло его разбито, измождено, что пора ему перейти въ ряды знаменитыхъ мертвецовъ.

Но онъ все еще тотъ же неутомимый Суворовъ.

„О Наташа!—пишетъ онъ съ похода.—Коли-бъ ты здѣсь бѣжала, то бы такъ и плавала въ грязи, какъ въ пруду, сплошь версты двѣ-три на одинъ часъ: 19 ч. марта въ Таршанѣ. Кривы строки, свѣча очень темна, на скамейкѣ. Также ночью много наугались: великой дождь, громъ, молнія, лошади потеряли глаза, увезли въ пустую степь чрезвычайно далеко;

ихъ изъ грязи люди таскали; повозки такъ насъ качаютъ, какъ въ колыбелѣ. Мой очень покорный поклонъ: графу твоему мушинѣ, бабушкѣ, дядюшкѣ, тетускѣ, Аркадію (сынъ Суворова) и всѣмъ нашимъ роднымъ и нероднымъ знакомымъ, и всѣмъ нашимъ пріятелямъ“...

Другое письмо, изъ-за Чернигова, отъ 17-го марта, ограничивается словами: „тепло, дождь, а колеса по ступицу“.

Изъ Кіева, отъ 20-го марта, 1796 года, все письмо состоитъ изъ двухъ словъ: „Великая грязь“.

Въ этомъ году скончалась императрица.

Отецъ Суворочки въ опалѣ. Онъ живетъ въ селѣ Кончанскомъ, звонить на колокольнѣ, читаетъ въ церкви вмѣсто дьячка, поетъ, играетъ съ деревенскими ребятишками въ бабки. Наташа рѣдко получаетъ отъ него письма.

Почти черезъ годъ Суворовъ снова шлетъ коротенькій привѣтъ Наташѣ уже изъ Италіи: „Любезная Наташа! За письмо тебя цалую, здравствуй съ дѣтьми, благословеніе божіе съ вами“.

Такой же коротенькій привѣтъ изъ Тортонѣ къ сестрицѣ Наташѣ: „Сестрица Наташа! твое письмо я получилъ въ Тортонѣ. Христосъ Воскресе! Цалую тебя съ дѣтьми“.

Въ дѣловыхъ письмахъ къ ея мужу онъ также постоянно дѣлаетъ приписки, относящіяся къ Наташѣ: или—„любезной Наташѣ божіе благословеніе“, или—„Наташа! одинъ разъ моя карета такъ катилась бокомъ, бокомъ и чуть гулять не пошла въ пропасть“, или, наконецъ—„Наташа! сего дня вторникъ страстной недѣли; отъ вербнаго воскресенья я буду кушать послѣ завтра. Лѣвою ногою очень хромлю; она къ качелямъ не поспѣетъ“.

Когда, въ 1797 году, Суворочка родила великому полководцу перваго внука, Александра, Суворовъ пишетъ уже изъ ссылки, изъ Кобринѣ: „Вы меня потѣшили тѣмъ, чего не имѣлъ близъ семидесяти лѣтъ: читая дрожаль... Наташа, привези графа Александра Николаевича (это новорожденнаго-то), ко мнѣ въ гости, а онъ пусть о томъ попроситъ своего батюшку, твоего мужчину“.

Когда больной и обиженный герой задумалъ удалиться въ монастырь, въ Нилову пустынь и ходатайствовалъ у императора Павла объ утвержденіи духовнаго завѣщанія, государь, между прочимъ, въ рескриптѣ отъ 2-го октября 1798 года, объявилъ, что назначаемыя графинѣ Зубовой, купленные Суворовымъ деревни и брилліанты, утверждаются за нею.

Послѣднее письмо Суворова къ дочери относятъ къ марту 1800 года. Въ письмѣ этомъ недужный старикъ говоритъ своей Наташѣ, что посылаетъ ей свое благословеніе, и прибавляетъ: „Я одной ногой изъ гроба выхожу. Цалую тебя“.

Но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ уже обѣими ногами лежалъ въ гробу: 6-го мая, едва началось XIX столѣтіе, великаго старика не стало. Дочь не могла быть при его кончинѣ, потому что, по случаю беременности, должна была оставаться въ Москвѣ.

Остальная жизнь графини Зубовой, бывшей Суворочки, не имѣетъ уже историческаго интереса: интересъ этотъ умеръ вмѣстѣ съ ея великимъ отцомъ и историческая миссія Суворочки кончилась.

Дочь Суворова скончалась въ 1844 году, на семидесятомъ году жизни.

III.

Марья Алексѣевна Поспѣлова.

(Муза рѣчки Клязьмы).

Въ свое время о юной Поспѣловой много говорили и писали. Ею интересовались и искали знакомства съ нею наши умственные свѣтила конца восемнадцатаго и начала девятнадцатаго вѣка, и тогдашніе поэты въ стихахъ оплакали ея раннюю смерть.

Поспѣлова—это самородокъ, какіе иногда появлялись на Руси и къ которымъ всегда, по исключительности этого явленія, лежали симпатіи общества въ большей или меньшей степени.

Но, какъ всегда бываетъ, самородокъ, отысканный людьми въ кучѣ щебня и мусора, скоро переставалъ быть самородкомъ, потому что его шлифовали, переливали въ извѣстную форму, чеканили изъ него рубли и гривенники.

Такъ было и съ Ломоносовымъ, и въ послѣднее время съ Кольцовымъ, Никитинымъ.

Такъ было и съ Поспѣловой.

Къ ея судьбѣ когда-то относили сентиментальный стихъ Жуковскаго:

Какъ часто рѣдкій перлъ, волнами сокровенный.
Въ бездонной пропасти сіяетъ красотой!
Какъ часто лилія цвѣтетъ уединенно—
Въ пустынномъ воздухѣ теряя запахъ свой.

„Разительна сія мысль поэта,—поясняли, съ своей стороны, панегиристы Поспѣловой,—и живо представляетъ удѣлъ тѣхъ, которыхъ дары могли быть славою отечества, свойства души—прелестію обществъ, и жизнь—благомъ для свѣта; но коихъ дни, какъ цвѣты, кратковременны, и скрываются въ безвѣстности уединенія, какъ лилія въ пустынѣ, какъ перлъ въ океанѣ.

„Такъ угасла и жизнь Поспѣловой“.

Поспѣлова составляетъ какъ бы запоздалое явленіе умственной жизни второй половины восемнадцатаго вѣка.

Родилась она въ бѣдномъ чиновничьемъ семействѣ, и потому не могла рассчитывать ни на воспитаніе въ Смольномъ монастырѣ, куда поступали въ то время дочери большею частью знатныхъ и старинныхъ дворянъ и откуда выносили исключительно свѣтское направленіе, ни на обстоятельное воспитаніе дома, воспитаніе, которое въ свое время подарило обществу нѣсколько женскихъ личностей, далеко оставившихъ за собою воспитанницъ института.

Поспѣлова сама себя называла „неученою и неопытною воспитанницею природы“.

Другого воспитателя кромѣ природы она и не могла имѣть: пять братьевъ и четыре сестры Поспѣловой требовали отъ отца-чиновника не мало корму, платья и обуви, и ему было не до воспитанія самородки-дѣвочки, которая „возрастала въ углу маленькаго домика“, сама себя образовывая, „сама приуготовляя блестящую стезю своему имени“, какъ выражались ея восхвалители. Но сама Поспѣлова съ большимъ сочувствіемъ отзывалась объ отцѣ, объ его нѣжности, которая дѣлала ихъ всѣхъ счастливыми.

Отецъ кое-какъ успѣвалъ доставать для своей любознательной дѣвочки нѣкоторыя книги, и она, читая съ сестрами все, что попадалось подъ руку, разговаривая о прочитанномъ, приобрѣтая нѣкоторыя свѣдѣнія въ исторіи и литературѣ, сама начала дѣлать попытки къ выраженію своихъ творческихъ стремленій, хотя и незнакома была сначала даже съ рутинными механическими приемами стихотворства, указываемыми въ школахъ.

Не имѣя ни одного учителя, она въ то же время сама научилась по-французски, сама подготовила себя въ музыкѣ, сама училась рисованію, что ея біографы и называли „усиліями торжествующей прилежности“.

Однимъ словомъ, изъ дѣвочки выходило то, что называютъ геніальнымъ ребенкомъ, чудомъ природы, а тогдашніе восхвалители Поспѣловой называли это явленіе чуть не нравственнымъ уродствомъ, аномаліей — „отступленіемъ природы“.

Скоро ея семейство лишилось и послѣдней поддержки: отецъ Поспѣловой умеръ.

Вдовѣ-матери удалось выдать замужъ трехъ старшихъ сестеръ Поспѣловой, а „прелестное дитя, Марія, меньшая дочь, утѣшала семейство опытами въ словесности“.

Опыты эти скоро сдѣлались извѣстными.

Въ то время высшимъ и почетнѣйшимъ творчествомъ считалось сочиненіе „одъ“, надъ которымъ изоощряли свой умъ „отцы россійской словесности“ — Ломоносовъ, Державинъ и всѣ другія, менѣе крупныя литературныя свѣтила того времени. Поспѣлова, только что еще вышедшая изъ дѣтскаго возраста, тоже начала пробовать свои силы на торжественныхъ одахъ, не отказываясь и отъ другихъ стихотворныхъ и прозаическихъ опытовъ.

Произведенія дѣвочки сначала ходили по рукамъ, въ рукописяхъ, а потомъ въ 1798 году, изданы были отдѣльною книгою, подъ заглавіемъ — „Лучшіе часы жизни моей“.

Замѣчательно, что это едва ли не первый въ Россіи опытъ полного изданія сочиненій одного автора, а еще замѣчательнѣе то, что изданіе это явилось не въ Москвѣ и не въ Петербургѣ, а въ провинціи — во Владимірѣ-на-Клязьмѣ, въ типографіи губернскаго правленія.

Въ литературномъ мірѣ тотчасъ же заговорили объ этомъ рѣдкомъ явленіи, и знаменитый тогдашній поэтъ, князь Иванъ Михайловичъ Долгорукій, называлъ Поспѣлову „музою рѣчки Клязьмы“.

Такъ она и пошла съ тѣхъ поръ подъ именемъ „музы рѣчки Клязьмы“.

По обычаю поэтовъ того времени, Пospѣлова написала оду въ честь императора Павла и послала свое произведеніе въ Петербургъ по почтѣ. Ода была принята благосклонно и сочинительницѣ пожалованъ брилліантовый перстень.

„Чиновникъ,—говорить одинъ изъ біографовъ Пospѣловой,—отправленный изъ почтамта съ симъ подаркомъ, спрашивая автора, которому долженъ доставить оный, съ изумленіемъ увидѣлъ дѣвицу, еще въ первыхъ лѣтахъ юности!“

Въ то время о Пospѣловой Москва заговорила еще болѣе. Всѣ старались видѣть молоденькую писательницу, приглашали ее къ себѣ, осыпали похвалами, и, конечно, портили дѣвочку.

Послѣ оды въ честь императора Павла, послѣ его смерти она написала другую похвальную оду,—на восшествіе на престолъ императора Александра Павловича.

Замѣчательно, что впослѣдствіи, когда Пospѣлова уже умерла, и Россія, вывернувшись изъ-подъ тяжелой пяты Наполеона I, высвободила изъ-подъ нея и всю порабощенную имъ Европу, въ одѣ Пospѣловой къ императору Александру найденъ былъ пророческій смыслъ, именно въ слѣдующихъ стихахъ.

Нашъ царь покрытъ щитомъ чудеснымъ:
Кто противъ стать его дерзнетъ?
Онъ громомъ вооружася небеснымъ,
Адъ цѣлый подъ пятой сотретъ.
Его храня сапфирны крылы
Божественны простерли силы...

„Такъ и сбылось,—писали панегиристы Пospѣловой, убѣждаясь въ несомнѣнномъ прорицательствѣ ея стиховъ:—кто забудетъ двѣнадцатый годъ? Александръ ополчился и спасъ Европу“.

Съ тѣхъ поръ, какъ о Пospѣловой заговорили, самородокъ пересталъ уже быть самородкомъ. Явились мастера, которые начали шлифовать и гранить его, и къ такимъ гранильщикамъ принадлежалъ извѣстный тогда въ Москвѣ литераторъ Подшиваловъ, который и принялъ въ свои руки развитіе „музы рѣчки Клязьмы“.

Но какъ бы ни былъ великъ удѣльный вѣсъ самородка, онъ безъ образованія далеко не пойдетъ: и генію нужна почва, подготовка.

Такъ изъ всѣхъ самородковъ, безъ образованія, въ сущности ничего капитальнаго не вышло: самородку надо перестать быть самородкомъ, чтобъ создать что-либо безсмертное.

Подъ руководствомъ Подшивалова дѣвочка стала только литературной соперницей дѣвицъ Свиньиныхъ, дочерей сенатора Свиньина, тоже извѣстныхъ въ свое время писательницъ.

Державинъ и Карамзинъ, съ своей стороны, интересовались даровитой дѣвочкой—„владимірской стихотворицей“, заставляли ее печатать свои произведенія въ Москвѣ, и она вновь издала свои труды, въ 1801 году,

подъ заглавіемъ—„Нѣкоторыя черты природы и истины, или оттѣнки мыслей и чувствъ моихъ“.

Все это, даже самыя названія—такъ пахнетъ далекой, наивной стариной: въ этихъ „Чертахъ“ или „Оттѣнкахъ мыслей и чувствъ моихъ“ есть и стихи, и прозаическія произведенія, въ родѣ „Стенаній при гробѣ друга“, „Вечернихъ размышленій“, „Къ солнцу“, „Дружба“ и т. п.

Извѣстность „клязьминской музы“ растетъ все шире и шире.

„И вотъ,—говорятъ добродушные біографы Пospѣловой, — одинъ изъ почтенныхъ московскихъ дворянъ, человѣкъ очень богатый и уже въ лѣтахъ, читавши книжку—„Лучшіе часы“, любопытствовалъ видѣть автора, и, увидя—забылъ неравенство состоянія и лѣтъ, предложилъ ей руку, желая раздѣлить богатство свое со всѣмъ ея семействомъ, и обезпечить участь всѣхъ ея родныхъ“.

Но почтенному жениху отказали—и „муза рѣчки Клязьмы“ осталась весталкою, т. е. въ дѣвкахъ.

Въ 1803 году, замужняя сестра Пospѣловой ѣдетъ въ Петербургъ, и почитатели юной писательницы восклицаютъ, что „ангелъ утѣшитель ея, Марія, желая умѣрить печаль сестры“, сопровождаетъ ее въ невиданную дотолѣ новую столицу.

Въ Петербургѣ, понятно, Пospѣлова заводитъ новыя литературныя знакомства, и пишетъ оригинальный романъ „Альманзоръ“, но печатать свои произведенія уже боится, понимая всю недостаточность своего образованія, а вмѣсто того, „по совѣту учителей вкуса“, старается пополнить недостатокъ своихъ знаній.

Въ 1804 году она возвращается въ Москву; но хрупкое здоровье ея не выносятъ усилій труда.

То, чего она боялась при наступленіи новаго, 1800 года, настало для нея раньше, чѣмъ она ожидала.

При самомъ наступленіи XIX столѣтія, именно, наканунѣ 1-го января 1800 года, Пospѣлова, между прочимъ, писала:

„Я содрогаюсь, помышляя, что цѣлые милліоны людей, населявшихъ землю, жившихъ, наслаждавшихся жизнію и процвѣтавшихъ юностію,—за одно предъ симъ столѣтіе,—нынѣ покоятся во прахѣ. Пройдетъ нѣсколько времени и мы подобно имъ увянемъ“.

Она увяла скорѣй, чѣмъ ожидала.

По возвращеніи ея изъ Петербурга въ Москву, жизнь ея приходитъ къ исходу. Является упадокъ силъ, скоротечная чахотка, позднія заботы докторовъ, даже московскихъ медицинскихъ знаменитостей Пекена, Мухина и др. и—полная безнадежность на выздоровленіе.

Въ этой безнадежности больная дѣвушка пишетъ въ Петербургъ къ сестрѣ: „Мой долгъ, мое удовольствіе утѣшать милыхъ мнѣ въ горести, даже и въ то время, когда самой нужно утѣшеніе“.

Слѣдуетъ консиліумъ медицинскихъ знаменитостей—и смерть 8-го сентября 1805 года.

Юнаго поэта, не достигшаго двадцатидвухлѣтняго возраста, хоронятъ въ Донскомъ монастырѣ. Гробъ его несутъ черезъ всю Москву почитатели таланта и, по обыкновению, украшаютъ поздними цвѣтами.

На могилѣ пишутъ эпитафію:

Любовь и дружество, рыдая въ сихъ мѣстахъ,
Поспѣловой секрыли прахъ.
Казалось, граціи ее образовали,
Но дни ея пресѣкъ неотвратимый рокъ,
И смерть похитила безсмертія вѣнокъ,
Которой музы обѣщали.

Оплакивая раннюю смерть „музы рѣчки Клязьмы“, писатели цитируютъ ея произведенія и находятъ въ нихъ „умъ, природою образованный, чувствительность, отъ сердца истекающую, задумчивую мечтательность, благоговѣніе къ Творцу и природѣ, любовь къ уединенію и мирнымъ благамъ жизни“.

Въ другихъ ея произведеніяхъ находятъ, что „юная пѣвица идетъ смѣло стезею Державина“:

Темнить, темнить сіянье Норда
Красу и блескъ державъ другихъ!
Съ чела величественна, горда,
Спадаетъ дождь лучей златыхъ!
На щитъ величья опираясь,
Въ десницѣ громъ держащъ побѣдъ,
Вѣнцемъ своимъ—небесъ касаясь,
Онъ славой наполняетъ свѣтъ;
Своей почти полшара звѣздной
Порфиры сѣнію покрылъ,
Волнистыхъ океановъ бездной
Ее какъ перломъ обложилъ! и т. д.

Или въ одѣ „на разбитіе маршала Массены Суворовымъ“ въ Швейцаріи Поспѣлова говоритъ о побѣдителяхъ:

Какъ буря облака—грядю
Онъ гонитъ галловъ предъ собою.

„Сія прелестныя цвѣты поэзіи и философіи возвращены семнадцатилѣтнею музой, которой даръ, еще въ неразвитіи изумляющій, смертью похищенъ отъ отечества на двадцать второмъ году ея жизни, и гробъ сокрылъ на-вѣки отъ земли черты ангела, душею своему виду подобнаго“.

Подобныя причитанья о рано похищаемыхъ смертью талантахъ русской литературы выпало на долю повторять каждый годъ.

IV.

Анна Петровна Бунина.

(Россійская Сафо).

Въ концѣ восемнадцатаго и началѣ девятнадцатаго столѣтія, когда русская интеллигенція начала отражать въ себѣ внѣшнія по преимуществу формы культурной жизни запада и когда, вмѣстѣ съ классицизмомъ и романтизмомъ, въ намъ привилась тогдашняя нѣсколько напускная сентиментальность; когда западная пастораль превратила нашихъ Макаровъ, гонявшихъ телятъ невѣдомо куда, въ буколическихъ пастушковъ, а Акулекъ, пасшихъ гусей и свиней, въ романтическихъ пастушекъ; когда сѣрый мужичокъ-смердь превратился въ „поселянина“, въ „пейзана“, Пошехонье—въ классическую Аркадію, Парголово—въ Парнасъ; когда „россійская земля“ начала „рождать россійскихъ Омировъ“, „россійскихъ Пиндаровъ“, „россійскихъ Виргиліевъ, Овидіевъ и Гораціевъ“,—на Руси появились и классическія женщины — „россійскія Сафо“, „россійскія Коринны“, „муза рѣчки Клязьмы“ и другія.

Мы видѣли, что „музою рѣчки Клязьмы“ была Поспѣлова.

„Россійская Сафо“ явилась въ лицѣ Буниной, современницы Поспѣловой.

Бунина была дочь рязанскаго помѣщика, и, какъ не принадлежавшая къ особенно знатнымъ дворянскимъ родамъ, не попала въ Смольный монастырь, тѣмъ, безъ сомнѣнія, и сохранила свою индивидуальность, которая, какъ мы уже говорили при обзорѣнн другихъ женскихъ личностей того времени, значительно стиралась при институтскомъ воспитаніи.

Бунина воспитывалась дома—не знала монастырскихъ стѣнъ.

Одинъ изъ прежнихъ ея біографовъ говоритъ, что дѣвушка эта, „при обыкновенномъ дворянскомъ воспитаніи, довершила оное съ необыкновеннымъ успѣхомъ собственно сама, и надѣленная дарами музъ при самомъ рожденіи своемъ, стала на первую степень нашихъ стихотворицъ. Рѣшительно можно сказать, что мы не имѣли ей подобныхъ“.

Это сказано было очень давно, когда новая русская женщина еще не пробовала своихъ силъ въ общественной дѣятельности и когда силы эти могли выявляться только случайно.

Поэтому и Карамзинъ могъ сказать о Буниной: „ни одна женщина не писала у насъ такъ сильно“.

На Буниной, какъ и на нѣкоторыхъ другихъ той эпохи женщинахъ, лежитъ печать нравственнаго воздѣйствія кружка Новикова, Державина, Карамзина, еще тогда только пробовавшаго силу своего творчества.

Одновременно съ тѣмъ какъ Поспѣлова начала печатать свои произведенія то въ московскихъ журналахъ, то въ провинціальной губернской типографіи Владиміра-на-Клязьмѣ, въ тогдашнихъ журналахъ стали появляться и произведенія Буниной, обратившія на себя вниманіе современной интеллигенціи.

Какъ почти въ большинствѣ случаевъ, на Буниной отразилось вліяніе среды, и преимущественно мужской, въ то время, когда молодой умъ наиболѣе воспріимчивъ: мужчина былъ и ея первымъ руководителемъ на литературномъ поприщѣ—это родной ея племянникъ, Борисъ Карловичъ Бланкъ, въ свое время извѣстный стихотворецъ.

Затѣмъ кругъ ея литературнаго знакомства значительно расширился, и она могла уже считать въ числѣ своихъ „друзей и совѣтниковъ“ извѣстнаго руссофила и литератора Шишкова, бывшаго впослѣдствіи министромъ народнаго просвѣщенія, князя П. И. Шаликова, Державина, Львовыхъ, графа Хвостова.

По примѣру Поспѣловой, въ то время уже схороненной, однако, на кладбищѣ Донского монастыря, Бунина въ 1807 году издала первое полное собраніе своихъ стихотвореній съ приличнымъ тому романтическому времени заглавіемъ—„Неопытная муза“.

Но „Неопытная муза“ съ каждымъ годомъ завоевывала себѣ почетное мѣсто въ ряду русскихъ дѣятелей, и въ скоромъ времени стала членомъ нѣкоторыхъ тогдашнихъ ученыхъ и литературныхъ обществъ.

За ней утвердилось имя „россійской Сафо“, которой Бунина старалась подражать въ своихъ псевдо-классическихъ произведеніяхъ.

По этому случаю одинъ изъ тогдашнихъ литераторовъ сказалъ о дѣвущкѣ-литераторѣ:

Я вижу Бунину—и Сафо нашихъ дней
Я вижу въ ней.

Имя это такъ за нею и осталось навсегда.

Не ограничиваясь, однако, дилетантизмомъ въ литературѣ, Бунина солидно отнеслась къ своему призванію, и, изучая литературу Запада, старалась положить твердыя основы и русской литературѣ, какъ наукѣ, по отношенію къ современнымъ ея требованіямъ, занявшись изученіемъ законовъ русскаго стопосложенія: этотъ вопросъ стоялъ тогда на очереди, потому что ни Жуковскаго, ни Пушкина въ ту пору еще не было.

Въ 1808 году Бунина перевела въ сокращенномъ видѣ „Правила поэзіи“ аббата Баттё и къ своему изданію приложила примѣры русскаго стопосложенія.

Затѣмъ Бунина издала особое сочиненіе съ свойственнымъ тому времени дидактическимъ характеромъ—сочиненіе „О щастіи“.

Между прочимъ, говоря о себѣ самой, Бунина замѣчаетъ, что счастіемъ она „была всегда отдаленною знакомою“: этимъ она выражала, что жизнь не особенно задалась ей, и дѣйствительно многое, на что она имѣла бы полное право рассчитывать, отнято было у нея обстоятельствами и средою. При всемъ томъ, имя ея изъ литературныхъ и свѣтскихъ кружковъ перешло во дворецъ, гдѣ она нашла покровителя въ императорѣ Александрѣ Павловичѣ. Государь, въ то время еще не озабоченный дѣлами всей Европы, которую ставилъ вверхъ дномъ Наполеонъ, охотно поощрялъ дарованія

Буниной, награждалъ ее, отличалъ своимъ особеннымъ вниманіемъ между другими русскими женщинами, лично ему извѣстными. Бунина была принята ко Двору.

Такое же покровительство оказывала дѣвушка-писательницѣ и государыня Елизавета Алексѣевна. Для нея Бунина перевела на русскій языкъ нравоучительныя и философическія „Бесѣды“ Блера и на счетъ государыни предпринимала путешествіе въ Англію, гдѣ, подобно княгинѣ Дашковой, Свѣчиной и другимъ русскимъ временнымъ и постояннымъ женщинамъ-эмигранткамъ, завязала знакомство съ лучшими умами того времени.

Путешествіе Буниной имѣло и то значеніе, что она какъ бы шла рядомъ съ Карамзинымъ, и когда тотъ прославился „Письмами русскаго путешественника“, Бунина возбуждала всеобщій интересъ своими письмами съ дороги, которыя могли бы быть поставлены въ параллель съ письмами Карамзина и назваться „Письмами русской путешественницы“.

Хотя слава этой женщины росла и ширилась, однако, ни слава, ни общее уваженіе не скрасили ея жизни, которая была полна тревогъ, борьбы, несчастій и разочарованій, чему въ значительной степени способствовали крайняя впечатлительность и цѣльность натуры.

„Тяжко и бурно было бытіе мое!“—говоритъ она въ своемъ предсмертномъ письмѣ къ родственнику.—„Первые годы были исполнены душевныхъ, послѣдніе тѣлесныхъ скорбей и недуговъ. Но да благословится имя Господне! Судьбы его неисповѣдимы, стези праведны: благо ми, яко смирилъ мя еси!“

Подобно Руссо, она оставила свои тайныя признанія, о которыхъ въ предсмертномъ посланіи къ Д. М. Бунину, между прочимъ, говоритъ: „Онѣ вовсе не приносятъ мнѣ особенной чести; не хочу стяжать уваженія, котораго недостойна. Кійждо отъ своихъ дѣлъ прославится и постыдится“.

Къ числу особенныхъ заслугъ Буниной въ то юное для русской литературы время относили сдѣланный ею переводъ „Науки о стихотворствѣ“ Буало.

Что касается до оригинальныхъ ея произведеній, то они дѣлали имя этой женщины почти такимъ же въ свое время почетнымъ, какъ имя Державина. По крайней мѣрѣ о многихъ ея сочиненіяхъ, а наиболѣе объ извѣстной стихотворной повѣсти-баснѣ „Паденіе Фазтона“ говорили, что произведеніе это „усвоивалъ себѣ“ самъ Державинъ, единовластно царившій въ свое время на Парнасѣ.

Въ „Паденіи Фазтона“ есть довольно живыя и остроумныя мѣста, какъ свѣтлые лучи самостоятельнаго таланта. Бунина уже перерастаетъ въ этомъ произведеніи плаксивый и надутый романтизмъ. Между прочимъ, говоря о путешествіи бога Фазтона по небу, въ жилище Феба, Бунина рисуетъ картину, какъ Фазтонъ въ своемъ паденіи едва не сжегъ своими огненными конями всей вселенной. Прежде всего загорѣлись возвышенныя мѣста земной поверхности, горы, и ранѣе всѣхъ вспыхнулъ поэтический Парнасъ.

Гора эта, по выраженію Буниной,—

Всѣхъ прежде запылала,
Всѣхъ прежде жертвою пожара стала,
Затѣмъ что съ низа до верховъ
Была завалена стихами...

Разстроенная жизнью и больная физически, Бунина, въ концѣ двадцатыхъ годовъ, составляетъ духовное завѣщаніе, которое въ свое время было опубликовано какъ замѣчательное литературное явленіе и какъ послѣднее примирительное слово сильнаго ума, подобно тому, какъ напечатано было политическое духовное завѣщаніе знаменитаго Палацкаго, надѣлавшее столько шуму въ славянскомъ мірѣ.

Между прочимъ, въ завѣщаніи своемъ Бунина говоритъ:

„По соизволенію правосуднаго Бога, протекло еще четыре года и три мѣсяца болѣзненнаго моего на землѣ странствія отъ днѣя того, въ который, поруча душу свою Единосущной Троицѣ, во имя ея написала я духовное завѣщаніе. Сколь великое число событій, не возмогшихъ войти въ умъ, ни въ сердце мое, свершилось надо мною въ теченіе сего времени! Не прозорливы очи смертнаго и всѣ пути его во тьмѣ. Ушима нашими слушае, и не слышали; очима нашими соглядае, и не видѣли. Витаю, гдѣ сѣни себѣ не созидала, почію, гдѣ лежа своего не стлала! Созиждаемое мною не мнѣ въ упокой! Покой мой и брашна отынуду.

„Не до конца прогнѣвается Господь, ниже во вѣкъ враждуетъ. Собранный на главу мою скорбь и болѣзнь уготовалъ для ранъ моихъ елей помазанія. Велія благодать твоя, Господи! Не по беззаконію моему сотворилъ еси мнѣ, но утвердилъ надо мною милость свою. Но ты, Господи, положилъ елей въ руки четы, коей имена не были вписаны мною въ число именъ врачей моихъ: ты прилѣпилъ ихъ ко мнѣ сердоболіемъ и обшелъ меня состраданіемъ“.

О комъ это она говоритъ, о какой „четѣ“—неизвѣстно.

„Свидѣтельствуюсь Богомъ, къ которому готовлюсь на судъ не лицепріятный“—говоритъ она далѣе—„что не было въ сердце моемъ противу ближнихъ и кровныхъ моихъ ни злоумышленія, ни лести, ни коварства. Въ простотѣ сердца любила я ихъ; если же кого озлобляла, то просто, по безумію моему, по суетности, или запальчивости. Прошу ихъ простить меня искренно во всѣхъ обидахъ, учененныхъ мною словомъ или дѣломъ, вѣдѣніемъ или невѣдѣніемъ, волею или неволею; подобно такъ и я ихъ искренно, съ непамятозлобіемъ, отъ чистаго сердца прощаю. Господи! Кому, аще не тебѣ, Всевѣдецъ, воздамъ благодареніе за миръ и тишину души моей! Нѣтъ у меня ни враговъ, ни оскорбившихъ, ни опечалившихъ меня. Душа моя не питаетъ досады: воспоминаніе о злѣ изглади въ ней, яко соніе возстающаго. Я не завидовала преуспѣянію другихъ, и не искала препнуть его; позавидовавшихъ же мнѣ и препинавшихъ путь мой съ непамятозлобіемъ прощала.

„Не судите меня, ближніе, во грѣсѣхъ моихъ, да и сами не будете судимы.

„Ослаби, остави прегрѣшенія мои, Господи, и изведи отъ тла животъ мой. Многомилостивый! Въ руцѣ твои духъ мой предаю“.

Любопытно письмо Буниной, при которомъ она передавала свое духовное завѣщаніе родственнику своему, Д. М. Бунину. Письмо это также было опубликовано, какъ литературное достояніе своего времени.

Вотъ оно:

„Истинный другъ и благодѣтель мой! Прими искреннее благодареніе умирающей родственницы за твое простое, безхитростное и дѣятельное дружество, составлявшее въ теченіе четырехъ лѣтъ отраду и щастіе бѣдственной моей жизни. Да вознаградить тебя съ безпримѣрною въ добротѣ твоею супругою здѣсь и за предѣлами гроба общій нашъ отецъ, милосердый и правосудный! Я ничего болѣе не могу сдѣлать, какъ призывать на ваши главы его благословеніе...

...„Оставляю тебѣ духовное свое завѣщаніе; прошу исполнить по немъ неукоснительно и со всевозможною точностію. Сердце твое нѣжно и мягко, и я не боюсь пренебреженія. Оставляю тебѣ мои записки. Онѣ вовсе не приносятъ мнѣ особенной чести: не хочу стяжать уваженія, котораго недостойна. Кійждо отъ своихъ дѣлъ прославится и постыдится. Хочу предстать предъ вами безъ всякихъ внѣшнихъ украшеній. Сіи тайныя записки откроютъ вамъ, почему поступки мои не всегда были сообразны между собою, и одинъ другому часто противурѣчили. Но, готовясь предстать на судилище, чуждое лицепріятія, смѣло исповѣдую, что при другихъ обстоятельствахъ я была бы гораздо лучше, нежели какова нынѣ. Въ сердцѣ моемъ, по благи творческой, насаждено благое сѣмя правоты и чести, которыя чтала я не только отъ юности моей, но и отъ самаго еще младенчества. Орудія, служившія ко вреду моему, могли бы, при лучшемъ воспитаніи, быть направлены къ единому благу. Что вело меня къ напастямъ и гибели? Чрезмѣрная нѣжность сердца, пылкія страсти, мечтательное воображеніе и постоянство въ избранныхъ путяхъ. Мѣняться я не могла, и не взирая на чудесные роды перехода отъ одного рода жизни къ другой, всегда въ сущности оставалась одинаковою. Тѣ же друзья, тѣ же пристрастія, тѣ же самые вкусы и то же влеченіе сердца. Сіи свойства должны обратиться въ достоинства человѣку, если онъ не получилъ превратнаго воспитанія. Я была попущена ловить дурные и хорошіе примѣры безъ указателя, который означалъ бы мѣсто для однихъ одесную, для другихъ ошую. Если Богу было угодно посѣщать меня несчастіями, то я стонала безотрадно; если въ душѣ моей возгорался какой-либо пламень, я думала: „душа моя создана пламенною—охладить ее не въ моей волѣ“. Я даже не подозрѣвала свободы человѣка. Мнѣ никогда не приходило въ голову, что человѣкъ, въ особенности женщина, не должны стремиться ни къ чему иному, кромѣ исполненія своихъ обязанностей. Я знала твердо, что надлежитъ обуздывать себя тамъ, гдѣ необузданность наша можетъ повредить ближнему; никому не вредила и даже не желала зла. Симъ я думала исполнить всѣ свои обязанности. Между тѣмъ падала изъ бездны въ бездну, ввергалась изъ напасти въ напасть.

„Все сіе, мой милый и безцѣнный другъ, увидишь въ моихъ тайныхъ запискахъ. Прочти ихъ внимательно съ милѣйшею сердцу моему и ни въ чемъ не искусившеюся твоею супругою. Когда прочтешь, вникнешь и сообразишь обстоятельства, то вручи сіи записки П. Н. С. Отецъ его былъ нѣжнымъ моимъ отцомъ, дѣйствующею пружиною моего спасенія, и вѣроятно, многое сообщилъ ему. Благословеніе Всевышняго да пребудетъ на васъ. Молитесь за бѣдную душу облагодѣтельствованной вами и любящей васъ“.

Письмо это было писано 4-го декабря 1827 года, а въ 1829 году Бунина умерла.

Что сталося съ ея записками—неизвѣстно; по крайней мѣрѣ, мы ничего не знаемъ о послѣдующей судьбѣ ихъ, а между тѣмъ они, безъ сомнѣнія, многое объяснили бы намъ какъ въ самой жизни этой женщины, такъ и въ особенности въ отношеніяхъ ея къ другимъ лицамъ, къ своему времени и его явленіямъ.

Бунина, между прочимъ, указываетъ на недостатокъ правильнаго воспитанія въ ея жизни, на предоставленіе ей полной свободы „ловить“ хорошіе и дурные примѣры, на недостатокъ разумнаго и нравственнаго руководства. Нѣтъ ничего удивительнаго, что въ словахъ ея слѣдуетъ видѣть только малую долю того, что въ дѣйствительности представляло неутѣшительнаго тогдашнее воспитаніе женщины. Если дѣло это даже въ настоящее время едва можетъ быть названо початымъ, но далеко еще не поставленнымъ такъ, какъ бы того требовала и человѣческая правда и общественное благо, то можно себѣ представить, на чемъ стояло воспитаніе женщины болѣе столѣтія назадъ, во времена дѣтства Буниной.

Съ другой стороны, если Буниной недоставало единственно правильно поставленнаго тогда воспитанія—институтскаго, то едва ли ей слѣдовало объ этомъ жалѣть: суживающее значеніе его даже въ ту эпоху выказалось такъ явственно, что стань въ жизни Буниной на мѣсто Бориса Бланка г-жа Лафонъ, изъ этой женщины быть можетъ не вышло бы и того, что изъ нея вышло.

Въ числѣ прочихъ писателей и писательницъ своего времени Бунина попала въ знаменитую сатиру Батюшкова — „Видѣніе на берегахъ Леты“.

Въ этой сатирѣ всѣмъ досталось—не одной Буниной. Обжора Крыловъ на берегу Леты является особенно забавнымъ: онъ и въ аду спрашиваетъ себѣ пообѣдать. Сатира эта написана около 1809 года, когда литературное имя Буниной было уже очень громко, какъ и имя Крылова; но въ печати сатира эта появилась только въ 1841 году, а до того времени она, въ теченіе тридцати лѣтъ, ходила въ рукописи и жадно читалась всѣми. Бунина въ „Видѣніи“ не названа по имени, а она носитъ тамъ названіе „русской Сафо“, которыхъ тогда уже насчитывалось три—Бунина, Извѣкова и сочинительница драмы „Густавъ“.

Вотъ что говорится въ сатирѣ о „русскихъ Сафахъ“, видѣнныхъ поэтомъ въ аду, на берегу Леты—рѣки забвенія:

Тутъ Сафы русскія печальны,
Какъ бабки наши повивальны,
Несли расплаканныхъ дѣтей.
Одна—прости Богъ эту даму!—
Несла уродливую драму,
Позоръ для ада и мужей,
У коихъ сочиняють жены,
„Вотъ мой Густавъ, герой влюбленный!“
— „Ага!“ — судья пѣвицъ сей:
„Названья этого довольно!
Сударыня, мнѣ очень больно,
Что вы, забывъ послѣдній стыдъ,
Убили драмою Густава.
Въ рѣку, въ рѣку!“ О жалкій видъ!
О тщетная поэтовъ слава!
Исчезла Сафо нашихъ дней
Съ печальной драмою своей.
Потомъ и двѣ другія дамы
(На дамъ живыя эпиграммы)
Нырнули вглубь туманныхъ водъ.

Но сатира сатирой, а исторія говоритъ не то: и Крыловъ не утонулъ въ Летѣ—басня его обезсмертила, и на имени Буниной все-таки покоится лучъ безсмертія.

V.

Софья Петровна Свѣчина.

Имя Свѣчиной еще такъ недавно произносилось какъ имя личности живой и дѣйствующей; личность эта еще на памяти многихъ изъ насъ возбуждала столько толковъ, столько разнородныхъ отзывовъ о своей дѣятельности; еще много осталось лицъ, которыя знали Свѣчину близко, у которыхъ хранятся еще ея письма, не успѣвшія пожелтѣть отъ времени, — однимъ словомъ, все это было еще такъ недавно, что госпожу Свѣчину можно было бы поставить въ числѣ историческихъ личностей нашего времени, смотрѣть на нее какъ на достояніе исторіи еще, такъ сказать, не остывшей, не ставшей исторіею мертвыхъ или исторіею въ полномъ значеніи этого слова,—если-бъ Свѣчина по характеру своей дѣятельности не принадлежала исключительно чуждому для насъ, XVIII вѣку. Отъ всего историческаго образа Свѣчиной, когда она была еще жива, вѣяло уже чѣмъ-то прошлымъ, отжившимъ свое время, вѣяло этою именно историческою мертвенностью, которая называется историческимъ безсмертіемъ; а теперь, когда имя Свѣчиной отнесено, такъ сказать, на великое кладбище человечества, стало достояніемъ исторіи, она по праву, по времени своего рожденія и по идеямъ, выраженіемъ которыхъ служила вся ея жизнь, исключительно должна принадлежать восемнадцатому и началу девятнадцатаго вѣка. Свѣчина умерла только въ концѣ 1858 года.

Вотъ что вкорѣ послѣ смерти этой, безспорно замѣчательной, русской женщины писала о ней другая русская женщина, живой талантъ которой несомнѣнно даетъ и ей право на историческое бзмертіе.

„Очень недавно, — говоритъ эта даровитая русская женщина, въ 1860 году, — съ небольшимъ годъ, какъ она (Свѣчина) сошла въ могилу, и вотъ уже являются во Франціи два большіе тома, вмѣщающіе въ себѣ ея біографію, переписку и сочиненія, найденныя послѣ ея смерти въ ея бумагахъ. Графъ Фаллу взялъ на себя трудъ этого изданія и раздѣлилъ честь разбиранія бумагъ покойницы съ ея многочисленными друзьями, которыхъ счелъ долгомъ назвать по имени или въ предисловіи или при заглавіи отрывковъ изъ ея соичненій. Все это свидѣтельствуеъ о необыкновенной важности, которую придаютъ жизни и дѣятельности покойной. Дѣйствительно, г-жа Свѣчина была извѣстна всему знатному, фэшенебельному, ученому и особенно богомольному Парижу; она была вліятельнымъ членомъ, почти центромъ ультрамонтанской партіи. Гостиная ея соединяла всѣхъ знаменитыхъ католиковъ, всѣхъ яростныхъ приверженцевъ папы; въ Парижѣ носился слухъ, что г-жа Свѣчина своими совѣтами, разговорами, своимъ вліяніемъ дѣйствовала на молодые таланты католической церкви, славилась своею горячею къ ней любовью, только что не доходившею до изувѣрства, и проповѣдывала всѣмъ обращеніе въ католицизмъ. Послѣ ея смерти, глубоко поразившей всѣхъ друзей римской церкви, какъ говорятъ, рѣчь шла даже о томъ, чтобы причислить ее къ лику католическихъ святыхъ“.

Свѣчина родилась въ Москвѣ, 22 ноября 1782 года.

Отецъ ея былъ знаменитый въ то время санктпетербургскій генералъ-губернаторъ и одинъ изъ приближенныхъ къ императрицѣ Екатеринѣ Второй статсъ-секретарей (*secrétaire intime*), Петръ Соймоновъ. Это былъ человекъ глубоко-образованный по тому времени, знакомый съ философскими теоріями XVIII вѣка, слѣдовательно — ярый вольтеріанецъ, на глазахъ у котораго происходили самыя крупныя событія того замѣчательнаго времени: и французская революція, и попытки какого-то новаго движенія въ передовыхъ людяхъ Россіи, и вообще все, чѣмъ ознаменовался переходъ общества отъ XVIII къ XIX вѣку.

Софья — такъ называлъ Соймоновъ свою дочь въ честь императрицы Екатерины Алексѣевны, которая до принятія православія носила тоже имя Софіи — съ самаго ранняго дѣтства сдѣлалась предметомъ горячей заботливости умнаго отца, который ничего не жалѣлъ для ея образованія и вообще для развитія своей любимицы, оказавшейся, притомъ, очень даровитымъ ребенкомъ. Дѣвочкѣ дано было самое блестящее по тому времени воспитаніе, которое, конечно, главнымъ образомъ отразилось на знаніи языковъ, на развитіи вкуса къ изящному посредствомъ рисованія, музыки и танцевъ.

Уже въ дѣтствѣ Софья проявила зародыши будущаго своего характера и той крупной воли, которою она безспорно была съ избыткомъ надѣлена.

Нѣсколько разсказовъ изъ ея дѣтства могутъ до нѣкоторой степени обрисовать зачатки слагавшагося въ ребенкѣ характера.

Маленькой дѣвочкѣ страстно хотѣлось имѣть часы, и обладаніе часами она считала чѣмъ-то недосягаемымъ. Зная это пламенное желаніе ребенка, отецъ подарилъ ей часы, которымъ Софья обрадовалась выше всякой мѣры. Но вдругъ эта странная дѣвочка рѣшила въ своемъ умѣ слѣдующую трудную и не для ребенка задачу: лучше часовъ, думала дѣвочка, нѣтъ ничего на свѣтѣ; отказаться отъ самаго дорогого предмета—большая побѣда надъ собой, какъ она это не разъ слышала отъ старшихъ — и вотъ маленькая Софья рѣшилась побѣдить себя. Она принесла часы къ отцу, отдала ему ихъ; тотъ понялъ мотивы, руководившіе странной дѣвочкой, спряталъ часы въ бюро, — и съ тѣхъ поръ объ этихъ часахъ у отца съ дочерью никогда не было рѣчи.

Конечно, это могли быть проблески будущей упругой воли, но могло руководить ребенкомъ и тщеславіе.

Замѣчательную волю проявила дѣвочка и въ другомъ случаѣ. У Соймонова былъ кабинетъ рѣдкостей, въ которомъ, кромѣ картинъ, статуй и прочихъ замѣчательныхъ предметовъ, находились и муміи. Для Софьи кабинетъ этотъ представлялся чѣмъ-то страшнымъ, таинственнымъ, потому что сухія муміи внушали ей ужасъ. Но она и здѣсь рѣшилась побѣдить себя: однажды дѣвочка вошла въ кабинетъ, когда тамъ никого не было, вынула мумію, обхватила ее руками, прижала къ себѣ, поцѣловала и — лишилась чувствъ. Въ этомъ положеніи засталъ ее отецъ, и только тутъ понялъ, что дѣвочка боялась мумій и хотѣла побѣдить въ себѣ чувство невольнаго ужаса.

Разсказываютъ еще одинъ случай изъ ея дѣтства, изъ котораго видно, что дѣвочка осмысленно прислушивалась ко всему, что вокругъ нея говорилось и дѣлалось, и замѣчательно своеобразно относилась къ тому, что ей западало въ умненькую головку.

Въ 1789 году Софья было семь лѣтъ, когда въ Петербургѣ особенно были горячіе толки о французской революціи и о нѣкоторыхъ наиболѣе крупныхъ событіяхъ того смутнаго времени. Однажды Соймоновъ подъѣзжаетъ къ своему дому и видитъ, что онъ необыкновенно освѣщенъ. Оказалось, что это сдѣлано по приказанію семилѣтней дѣвочки.

Изумленный отецъ спросилъ ее, что за причина такого освѣщенія.

— Намъ слѣдуетъ отпраздновать взятіе Бастиліи и освобожденіе несчастныхъ арестантовъ, — отвѣчала дѣвочка.

До шестнадцати лѣтъ продолжалось воспитаніе Софьи; но это было все-таки чисто французское воспитаніе, потому что о иномъ воспитаніи въ то время не понимали въ русскихъ высшихъ классахъ. Біографъ Свѣчиной, графъ Фаллу, говоритъ, что въ четырнадцать лѣтъ Софья хорошо знала по-нѣмецки, по-французски и по-итальянски; прибавляетъ даже, что знала хорошо и по-русски, хотя послѣднее извѣстіе очень сомнительно, такъ какъ Свѣчина во всю свою жизнь ничѣмъ не доказала своихъ по-

знаній въ русскомъ языкѣ и всю жизнь писала, говорила и думала по-французски, что и неудивительно для конца XVIII и начала XIX вѣка, такъ какъ въ извѣстныхъ слояхъ русскаго общества и по настоящее время господствуетъ плохое знаніе родного языка, не только литературнаго, но и разговорнаго. Но взамѣнъ этого Софью учили языкамъ еврейскому и латинскому, такъ какъ тогда знаніе этихъ языковъ считалось фундаментомъ высшаго и основательнаго образованія.

Шестнадцать лѣтъ Софья представлена была ко двору и пожалована во фрейлины къ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ.

Относительно наружности молодой Свѣчиной біографы ея говорятъ, что она не была хороша собой, но прелестна своею неотразимою симпатичностью и своимъ свѣтлымъ умомъ: ея ничѣмъ не выдававшемуся лицу придавали особую красоту маленькіе, добрые, голубые глаза, свѣжесть молодого лица и грація походки.

О матери Свѣчиной нѣтъ никакихъ извѣстій. Видно, что на нее не легла печать вліянія нѣжной матери.

Въ семнадцать лѣтъ, Софья, по волѣ отца, вышла замужъ за генерала Свѣчина, которому въ то время было 42 года. Есть основаніе полагать, что она выходила за него, не чувствуя къ нему никакого расположенія, а единственно изъ уваженія къ желанію отца, тѣмъ болѣе, что говорятъ, дѣвушка была равнодушна къ одному молодому человѣку, любившему ее, но не имѣвшему на своей сторонѣ такихъ качествъ и преимуществъ, которыя бы заставили отца Софьи предпочесть его заслуженному генералу. При всемъ томъ отецъ нѣжно любилъ свою дочь, и, безъ сомнѣнія, не распорядился бы такъ самопроизвольно всей ея будущей жизнью, если-бъ въ самой Софѣ проявилась такая же воля не отдавать своей руки нелюбимому человѣку, какую она проявила еще въ дѣтствѣ, возвративъ отцу самую дорогую для нея вещь или до обморока пересиливъ въ себѣ ужасъ, возбуждаемый въ ней видомъ мумій.

Но скоро послѣ свадьбы, отца Софьи постигло большое несчастіе: онъ былъ удаленъ отъ дѣлъ, высланъ въ Москву, гдѣ вскорѣ и умеръ отъ удара. Это было страшнымъ горемъ для дочери, потому что это былъ единственный человѣкъ, котораго Софья горячо любила, котораго не могла не любить за тѣ добрыя отношенія, въ какихъ онъ находился къ своей дочери съ самаго ея дѣтства. Это горе было первымъ крупнымъ горемъ въ ея молодой жизни, и оно-то заставило ее сосредоточиться въ себѣ, искать утѣшенія въ такой нравственной силѣ, которой люди не въ состояніи были дать ей.

Отсюда начало ея піетизма, ставшаго руководящею силою всей ея, послѣдовательной до могилы, но какой-то странной жизни.

Въ то время въ Россіи, въ особенности же въ Петербургѣ и Москвѣ, находилось очень много французскихъ эмигрантовъ, и одною изъ выдающихся между ними личностей былъ кавалеръ д'Огаръ (chevalier d'Augard), ревностный приверженецъ бурбонской династіи и еще болѣе ревностный

приверженецъ католицизма. Онъ былъ въ Россіи уже на службѣ и занималъ должность императорскаго бібліотекаря. Свѣчина, страстно любившая чтеніе, сошлась съ д'Огаромъ и подружилась съ нимъ. Со стороны д'Огара было первое сильное вліяніе на развитіе піетизма въ Свѣчиной и это вліяніе прошло потомъ черезъ всю ея послѣдующую жизнь, вылившись въ опредѣленную форму—страстной приверженности къ идеямъ римской церкви.

Уже тридцать лѣтъ спустя, послѣ своего знакомства съ д'Огаромъ, Свѣчина писала въ одномъ изъ своихъ писемъ: „Честъ введенія католицизма между русскими принадлежитъ кавалеру д'Огару. Все зависитъ отъ начала“.

Но видно, что не все зависѣло отъ начала...

Скоро на жизненной дорогѣ Свѣчиной явилась другая личность, которой вліяніе оказалось еще болѣе неотразимо, чѣмъ вліяніе д'Огара, и послѣдствія этого вліянія оказались уже безповоротны для всей послѣдующей жизни Свѣчиной.

Это былъ знаменитый графъ Жозефъ де-Местръ, нравственное обаяніе котораго испытывала не одна Свѣчина, но и болѣе непреклонныя личности.

Здѣсь лежитъ начало національнаго, религіознаго и политическаго ренегатства Свѣчиной.

Свѣчина дѣлается окончательно католичкой, потомъ окончательно перестаетъ быть русской и окончательно даже теряетъ симпатіи къ своей родинѣ, къ своему народу, ко всей Россіи, хотя иногда и называетъ ее своею родиной, сама, впрочемъ, не зная вполнѣ, какой странѣ предпочтительно отдать это дорогое названіе и связанныя съ этимъ названіемъ дорогія чувства—Россіи или Франціи.

Свѣчиной было двадцать пять лѣтъ, когда она познакомилась съ графомъ де-Местромъ и вынесла на себѣ давленіе его моральной силы.

„Въ ту пору,—говоритъ графъ Фаллу,—она горѣла желаніемъ учиться, была робка мыслію, весела и откровенна въ дружескомъ кружкѣ, серьезна и строга, когда отдавалась мысленію, понимала все, что было высоко, была снисходительна къ низшимъ, нѣжна и милосердна къ бѣднымъ, дружественна къ людямъ, погруженнымъ въ горе и раскаяніе. Ужъ и тогда рѣчь ея не проходила незамѣченною“.

Въ это время она читала янсениста Флери. Графъ де-Местръ, узнавъ объ этомъ, горячо возсталъ противъ этого писателя, ревниво оберегая догматы чистаго католицизма, и совѣтывалъ Свѣчиной читать критиковъ и противниковъ философскихъ и богословскихъ теорій. Флери. Свѣчина горячо ухватилась и за это чтеніе.

Въ тридцати пяти томахъ или тетрадяхъ оставшихся послѣ нея замѣтокъ, выписокъ, личныхъ отзывовъ и соображеній, около этого времени встрѣчаются уже такіе афоризмы, ея собственные или чужіе, изъ которыхъ видно, что воля ея была уже не совсѣмъ свободна и быстро шла—если можно такъ выразиться—къ принесенію себя въ жертву другой, болѣе неподатливой волѣ и идеямъ, болѣе, по ея мнѣнію, послѣдовательнымъ. Она уже дѣлаетъ афоризмическія замѣтки во всѣхъ тетрадяхъ своихъ, замѣтки

въ родѣ того, что „сомнѣваться—значить, никогда не знать“ или „не хотѣть знать“ (*douter c'est toujours ignorer*) и т. п.

Не успѣла она перечитать всѣхъ книгъ, рекомендованныхъ ей де-Местромъ, какъ уже сдѣлалась католичкой—и Россіи съ ея народными интересами для нея не существовало уже болѣе. Между тѣмъ, это было—если можно такъ сказать — такое народное время! Наступалъ „двѣнадцатый годъ“, и Свѣчина ничѣмъ, повидимому, не отозвалась на общее народное дѣло. Правда, она была въ числѣ знатныхъ дамъ, участвовавшихъ въ сборѣ пожертвованій на сожженную Москву, но за этими пожертвованіями она обращалась въ помощи и къ посредству находившихся въ Россіи католическихъ аббатовъ!..

Какъ отразились на Свѣчиной и на ея симпатіяхъ къ Франціи самыя событія двѣнадцатаго года, кто погибъ изъ ея родныхъ въ этой великой народной гекатомбѣ, что пережила она въ это второе русское „лихолѣтье“—изъ оставшихся послѣ нея бумагъ ничего не видно.

Видно только, что и глаза ея и сердце уже исключительно смотрѣли на западъ, въ дорогой Парижъ, въ центръ католичества, а отъ Россіи сердце ея совсѣмъ отворотилось.

Когда, въ 1816 году, де-Местръ выѣхалъ изъ Россіи, выѣхала за нимъ и Свѣчина, а за собой увлекла и своего безцвѣтнаго безвольнаго супруга. Мужъ Свѣчиной—это была дѣйствительно какая-то мутная личность, о которой ничего не было слышно и которая ничѣмъ и нигдѣ не проявляла своего человѣческаго существованія. Сорокъ лѣтъ Свѣчина таскала его за собой, или скорѣе онъ тащился за нею, бросая Россію, и жилъ за ея спиной, постоянно въ тѣни, никѣмъ невидимый и никому невѣдомый. Даже дѣтей отъ него не было у Свѣчиной.

Тройственное ренегатство Свѣчиной было громадною побѣдою для католиковъ: они хотѣли, чтобъ эта побѣда всѣмъ казалась громадною. Поселившись въ Парижѣ, она сблизилась со всѣмъ блестящимъ свѣтомъ этой столицы міра: тутъ были и государственные люди, и литераторы, и художники, и представители духовной, клерикальной аристократіи. Особенной дружбой она связана была съ герцогинею Дюрâ, у которой она и познакомилась съ тогдашнею свѣтскою, литературною и политическою женскою знаменитостью, съ звѣздой первой величины парижскаго свѣта, съ госпожею Сталь, знакомства и сближенія съ которой Свѣчина страстно добивалась.

Вотъ съ какимъ чисто-французскимъ эффектомъ произошло это знакомство. Герцогиня Дюрâ, чтобы свести двѣ женскія знаменитости, устроила у себя званый обѣдъ и пригласила госпожу Сталь и Свѣчину. Во весь обѣдъ Свѣчина упорно молчала. Госпожа Сталь, послѣ обѣда, подошла къ ней и спросила:

— Миѣ говорили, что вы желаете со мною познакомиться: правда ли это?

— Конечно, правда. Но вы знаете, что право начать разговоръ принадлежитъ королю,—отвѣчала Свѣчина.

Для этого-то краснаго словца она весь обѣдъ принуждала себя молчать.

Фраза, сказанная Свѣчиною, разнеслась по Парижу, по свѣтскимъ гостинымъ, и разомъ завоевала Свѣчиною громкую извѣстность. Съ тѣхъ поръ побѣды ея слѣдовали за побѣдами, и Свѣчина сама становилась центромъ кружка, а потомъ центромъ партіи и главою цѣлой католической лиги, всѣ политическія нити которой она такъ искусно умѣла стянуть къ себѣ и крѣпко держать въ своихъ ловкихъ рукахъ до самой своей смерти. Все шло къ ней за совѣтомъ, за репутаціей, за покровительствомъ, за мѣстомъ: она была всеильна у кардиналовъ и у папы.

Въ этомъ чаду славы и силы, гдѣ ужъ было ей скучать о Россіи и интересоваться муравьиною работою русскаго народа?

Въ 1818 году она, однако, воротилась въ Россію, чтобъ устроить дѣла по имѣнію, и навсегда потомъ покинуть свою родину.

Опять видно, что на Свѣчиной съ дѣтства не легло теплое вліяніе матери: для нея не существовало родины.

Впрочемъ, была у нея истинная родина, родина ума и сердца — это Франція, а самое сердце этой родины — Парижъ и католицизмъ. У нея у самой сердце превратилось въ „французское сердце“ — это буквально такъ было, по ея же собственнымъ словамъ.

— Благодарю Бога отъ всего моего всецѣло французскаго сердца, — говорила она однажды. (*C'est avec un coeur tout français que je remercie Dieu!*).

Когда въ Парижѣ ей говорили иногда, что она иностранка и многого французскаго понять не можетъ, она огорчалась и плакала отъ всего своего „французскаго сердца“.

„Русскаго сердца“ въ нее не вложили ни жизнь, ни воспитаніе.

Въ Парижѣ Свѣчина пережила и страшную для нея революцію 1848 года: она уже была старушкой, и такія потрясенія были ей, конечно, не легки.

Прервавъ окончательно всякія умственные и кровныя связи съ Россією, съ ея судьбой, съ ея народомъ, Свѣчина не хотѣла, однако, продавать своихъ русскихъ имѣній съ крестьянами, говоря, что не хочетъ окончательно разрывать связь съ родиною, что хочетъ оставить неприкосновеннымъ свое наслѣдіе, свое русское достояніе, и что „не можетъ отказаться отъ крестьянъ, ввѣренныхъ ей Провидѣніемъ!“

Это патріотическое рѣшеніе объясняютъ, впрочемъ, тѣмъ, что, продавъ свои имѣнія и крестьянъ, ввѣренныхъ ей Провидѣніемъ, она во Франціи получала бы менѣе доходовъ чѣмъ въ Россіи, такъ какъ тамъ капиталъ и рента даютъ не болѣе 3—4%, а въ Россіи былъ казенный процентъ 6 да даровыя крѣпостныя рабочія руки.

Между тѣмъ, по поводу войны Россіи съ Франціей, Свѣчина выражалась, можетъ быть, искренно:

— Для всѣхъ — это только война: для меня же — это междоусобная война.

Въ послѣдніе годы своей жизни она была дружна съ знаменитымъ публицистомъ и историкомъ Алексисомъ Токвилемъ и часто съ нимъ переписывалась, дѣлясь съ историкомъ своими взглядами, соображеніями, со-

чувствуя его историческимъ работамъ, вызывая его на откровенныя объясненія относительно его политическихъ и нравственныхъ воззрѣній, относительно задуманныхъ имъ работъ и т. п.

Вотъ одно изъ множества къ ней писемъ Токвиля, до нѣкоторой степени характеризующее отношенія его къ этой во всякомъ случаѣ замѣчательной русской женщинѣ:

Замокъ Токвиль, 1856 г., января 7.

.....„Спѣшу благодарить васъ за послѣднее ваше письмо, которое меня заинтересовало и тронуло; въ немъ вы высказались вполне. Вы показываете такую ко мнѣ благосклонность, которую я хотѣлъ бы заслужить; дружба людей, подобныхъ вамъ, налагаетъ обязательства: за нее мало просто благодарить—ее надо оправдать.

„По мѣрѣ того, какъ я подвигаюсь въ трудѣ, которымъ вы такъ любезно интересуетесь, я чувствую, что потокъ чувствъ и мыслей влечетъ меня въ сторону, противную той, куда стремятся мои современники. Я продолжаю страстно любить то, къ чему они равнодушны. Теперь, какъ и всегда, я считаю свободу первымъ благомъ въ мѣрѣ, какъ и всегда, я вижу въ ней источникъ мужественныхъ добродѣтелей и великихъ дѣйствій. Ни спокойствіе, ни благосостояніе не замѣняютъ свободы. Между тѣмъ, я вижу, что люди моего времени—говорю о людяхъ честныхъ (образъ мыслей людей другого разбора меня не интересуетъ)—примириются легко съ другимъ порядкомъ дѣлъ. Хотѣлъ бы думать и чувствовать какъ они, но не могу: природа моя противится этому еще болѣе, чѣмъ моя воля.

„Впрочемъ, не думайте, что бы предметъ моей книги сколько-нибудь касался событій и лицъ нашего времени (книга о которой говоритъ Токвиль—это „L'Ancien Régime et la Revolution“); но вы знаете не хуже меня, что книга, самая чуждая обстоятельствамъ эпохи, заключаетъ въ своемъ направленіи нѣчто пріятное или непріятное для современниковъ. Какая бы ни была книга, это „нѣчто“ составляетъ ея духъ: этимъ-то она привлекаетъ или отталкиваетъ читателей. Я слишкомъ долго заговорился о самомъ себѣ; но въ томъ виноваты вы сами: увѣряю васъ, что говорить о себѣ не моя привычка“.

Изъ русскихъ Свѣчина была дружна съ извѣстною фрейлиною императрицы Елизаветы Алексѣевны—Роксандой Стурдзой. Объ этой дружбѣ свидѣлствуютъ многочисленныя письма, равно и переписка Свѣчиной съ Александромъ Тургеневымъ о разныхъ благотворительныхъ дѣлахъ.

Свѣчина, когда еще была въ Россіи, сильно возставала противъ распространеннаго тогда въ Европѣ иллюминатства и мистицизма, господствовавшего и при дворѣ императора Александра Павловича, который въ то время находился подъ сильнымъ нравственнымъ вліяніемъ странной мистической личности, баронессы Кріднеръ, о коей мы уже говорили въ одномъ изъ предшествовавшихъ очерковъ.

Свѣчина дожила почти до освобожденія крестьянъ, которыхъ она никакъ не рѣшалась ни освободить, ни продать, какъ существа, „въѣренныя

ей Провидѣніемъ“. Свѣчина, какъ мы видѣли выше, окончалась въ концѣ 1858 г. послѣ тяжелой болѣзни.

Изъ всего, что осталось послѣ этой, безспорно крупной, исторической женской личности послѣдняго времени, видно, что это была дѣйствительно недюжинная личность, но только далеко не реальная современная сила, а смѣсь какого-то резонерства и религіознаго педантизма съ нѣсколько сухимъ и холоднымъ сердцемъ. Тутъ сила была разбита въ мелкіе куски подъ молотомъ насильно привитой, мертвенной идеи католицизма.

Начитанность Свѣчиной была огромная. Въ ея замѣткахъ попадаются сотни выписокъ изъ всего ею прочитаннаго и передуманнаго, начиная отъ Пинеагора, Ликурга, Марка-Аврелія, Бернардена де-Сенъ-Пьера, „Ночей“ Юнга, проповѣдей Бурдалу, Жанлиса, Горація и кончая Жанъ-Жакомъ-Руссо, Мармонтелемъ, Лагарпомъ, Паскалемъ, Дюсисомъ, Фенелономъ, Массильономъ и госпожею Сталь. Все это пересыпано личными афоризмами, куплетцами, въ родѣ слѣдующихъ резонерствующихъ стихковъ:

Bonheur et malheur sont deux frères
Qui furent toujours ennemis.
Fortune et hazard sont leurs pères
Qui furent toujours fort amis.

„Добро и зло—это два брата, которые всегда были врагами. Счастьѣ и случай—это ихъ отцы, которые всегда были большими друзьями“. Развѣ это не резонерство?

Или ея собственные афоризмы: „Une amitié serait jeune après un siècle, une passion est déjà vieille après trois mois“.

Странно: дружба и дѣловая переписка съ Токвилемъ—и такіа институтскія умственные занятія.

Мало того, въ особой книгѣ, которая носитъ странное названіе— „Airelles, klukva podsnejnaja“ (клюква подснежная)—попадаютъ такіе софизмы: „Есть души, которыя, подобно ветхозавѣтнымъ жрецамъ, живутъ только жертвами, ими приносимыми“.

Вся эта книга, носящая странное заглавіе „клюквы подснежной“, и изображенное французскими буквами, наполнена подобными, не менѣе странными замѣтками, иногда исполненными глубокаго смысла, иногда же дѣтски-наивными.

Видно, что сильный женскій умъ не нашелъ своей дороги: онъ думалъ найти ее въ склепѣ мертвыхъ идей, чуждыхъ живой, реальной работѣ человѣческой мысли.

Какъ бы то ни было, но надъ судьбой этой женщины, какъ и надъ судьбой всѣхъ русскихъ католиковъ, въ родѣ іезуита Мартынова, іезуита князя Гагарина, княгини Гагариной и другихъ,—нельзя не задуматься.

Россія въ правѣ сожалѣть, что Свѣчина не была ей ничѣмъ полезна.

VI.

Дѣвица Луполова.

(Параша-сибирячка)

Въ типахъ русскихъ женщинъ начала девятнадцатаго столѣтія насъ не могутъ не поражать нѣкоторыя весьма замѣчательныя явленія.

Одна изъ нихъ, напримѣръ, какъ баронесса Криднеръ, своимъ личнымъ обаяніемъ, прелестью своего блестящаго ума и своею блестящею красотою увлекаетъ за собою все, что только сталкивается съ ней на жизненной дорогѣ. Когда красота ея стала проходить, у нея въ запасѣ остается еще одна надежная сила—сила ея таланта, и она, разъ явившись на литературное поприще, увлекаетъ всю интеллигенцію Парижа силою своего творчества, какъ незадолго передъ тѣмъ она увлекала все окружающее ее силою своей красоты и личнаго обаянія. Ея „Валерія“ становится на-время идеаломъ и образцомъ подражанія для милліоновъ женщинъ образованной Европы, отъ ея творчества ждутъ новаго еще не сказаннаго никѣмъ слова—и вдругъ, въ то время, когда Парижъ еще не успѣлъ бросить моды à la Valérie, Криднеръ отказывается отъ всего, чѣмъ свѣтла и блестяща была ея жизнь, отъ своихъ друзей, отъ обаянія славы, и становится нищимъ пророкомъ, ѣстъ черный хлѣбъ, своими собственными руками мететъ улицу, кормитъ нищихъ, погружается въ какой-то странный, но опять-таки обязательный для всего окружающаго мистицизмъ. И вотъ, этотъ по своей волѣ нищій мистикъ, становится совѣтникомъ могущественнѣйшаго въ мірѣ государя, даетъ извѣстное направленіе его нравственнымъ, политическимъ и религіознымъ стремленіямъ, кладетъ не послѣдній камень въ основу зданія политическаго „священнаго союза“ сильнѣйшихъ государей Европы. Женщина эта становится страшна для общественнаго спокойствія мелкихъ государствъ Европы, потому что за нею и за ея словомъ идутъ массы, она возбуждаетъ народное движеніе, гдѣ бы ни появилась, гдѣ бы ни раздалось ея слово.

Рядомъ съ нею и одновременно съ нею выходитъ изъ Россіи другая женская личность, которая становится нравственнымъ средоточіемъ громадной политической силы, нѣсколько вѣковъ заправлявшей судьбами всего міра, средоточіемъ католической пропаганды и сильнѣйшимъ орудіемъ всемогущаго католическаго рычага—іезуитовъ. Мы говоримъ о Свѣтиной. Весь аристократическій и католическій Парижъ, вся католическая интеллигенція, какъ, напримѣръ, знаменитый историкъ и публицистъ Гоквиль или извѣстный французскій министръ и писатель Фаллу, весь монашествующій Римъ—все это преклоняется передъ какою-то непостижимо-моральною силою этой женщины, съ нею совѣщаются старые вожаки католицизма, она даетъ протекцію молодымъ, будущимъ вожакамъ католической идеи. Эту женщину хотятъ канонизировать, внести въ тотъ списокъ безсмертія, который дѣлаетъ чловѣка рѣдко живучимъ—и не ста-

рѣющимъ, и не умирающимъ въ умахъ массъ, и превращаетъ его въ предметъ поклоненія, въ религіозный культъ. Но эта женщина, какъ и Криднеръ, отвернулась отъ Россіи; для той и другой чужды ея интересы, потребности и нужды ея народа; одна изъ нихъ умираетъ, порываясь обратиться симпатіи Россіи на мнимо-возрождающійся древне-греческій міръ; другая—борясь за преобладаніе надъ міромъ идей католичества, чуждыхъ ея покинутой родинѣ.

Тутъ же, наконецъ, является еще и третья женская личность, которая также предъявляетъ обаяніе своей нравственной силы на все, съ чѣмъ она сталкивается, и эта женщина также становится пророчицей и мистикомъ. И гдѣ же? Въ средѣ петербургской конно-гвардейской молодежи, открываетъ свою мистическую проповѣдь въ Михайловскомъ дворцѣ, становится главою какой-то религіозной секты, какого-то страннаго раскола, похожаго на цивилизованную хлыстовщину, пока правительство не обращаетъ на нее вниманія и не лишаетъ ея возможности дѣйствовать на несоотвѣтствующемъ ея званію и общественному положенію поприщѣ. И между тѣмъ эта женщина, эта хлыстовская пророчица—бывшая фрейлина; женщина изъ знатной фамиліи, получившая воспитаніе въ Смольномъ монастырѣ, и притомъ не православная по религіи своего рожденія. Это—Татаринова, урожденная фонъ-Буксгевденъ.

Ясно, что въ трехъ этихъ личностяхъ проявляется избытокъ нравственной силы, которая ищетъ исхода и находитъ его тамъ, гдѣ указываютъ условія мѣста и времени.

Но тутъ же рядомъ, въ періодъ этого начинающагося броженія нравственныхъ силъ, стоятъ и другія женскія личности, у которыхъ избытокъ внутренней силы тоже ищетъ исхода, но условія, въ которыя жизнь поставила эти личности, не даютъ имъ этого исхода: для этихъ послѣднихъ личностей заперта дверь и въ Европу, гдѣ бы они могли, подобно Криднеръ и Свѣчиной, развернуть во всей широтѣ богатства своего духа, да притомъ этимъ личностямъ, не получившимъ европейскаго образованія, и дѣлать было бы нечего въ Европѣ; для нихъ заперта дверь и къ такой дѣятельности, которая фрейлину Буксгевденъ превратила въ хлыстовскую пророчицу и могла удовлетворить требованіямъ ея духа.

Въ то время, когда дѣятельность Криднеръ и Свѣчиной привлекаетъ къ себѣ вниманіе всей Европы, изъ самыхъ далекихъ захолустьевъ русской земли, изъ Сибири и Вятки выходятъ двѣ молоденькія дѣвушки, которыя, не будучи никѣмъ руководимы, не видя ни отъ кого ни матеріальной, ни нравственной поддержки,—одна пробирается пѣшкомъ изъ Сибири до Петербурга и спасаетъ своего отца отъ вѣчной ссылки, другая надѣваетъ на себя грубую солдатскую аммуницію, и лѣтъ восемь скрываетъ подъ этой грубой одеждой свой полъ, перенося невѣроятныя трудности войны и всякія лишенія.

Мы говоримъ о дѣвицѣ Луполовой и „кавалеристъ-дѣвицѣ“ Дуровой.

Читая современныя—1805 года—извѣстія о походахъ первой,

мы невольно останавливаемся на мысли, что едва ли скромные, но благородные подвиги Луполовой не были тою нравственною возбуждительною силою, которая дала толчокъ и исходъ богатымъ нравственнымъ силамъ послѣдней. Насъ утверждаетъ въ этомъ предположеніи и то обстоятельство, что начало походовъ Дуровой, тайно бѣжавшей изъ отцовскаго дома въ 1806 году, совпадаетъ именно съ тѣмъ временемъ, когда вся Россія заговорила о походахъ Луполовой. А Луполова, между тѣмъ, пробираясь, въ 1804 году, изъ Тобольска въ Петербургъ, должна была пѣшкомъ проходить черезъ тотъ городъ, гдѣ росла Дурова, проводя свою юность въ такихъ занятіяхъ, которыя такъ не гармонировали съ ея поломъ.

Какъ бы то ни было, но Луполова и Дурова—это двѣ родственныя богатая силы, которыя въ жизни пошли разными путями потому только, что одна изъ нихъ получила хотя какое-либо среднее дворянское, домашнее образованіе, другая же не получила никакого.

И замѣчательно, что первоначальная родина и той и другой дѣвушки—Малороссія, безспорно давшая Россіи не одну даровитую личность за все время своего нераздѣльнаго съ Великою Россіею политическаго существованія.

Прасковья Луполова родилась въ Елисаветградѣ, Херсонской губерніи, въ 1784 году. Отецъ ея былъ бѣдный дворянинъ, Григорій Луполовъ, состоявшій въ чинѣ прапорщика.

Жизненная обстановка, въ которой родилась Луполова, была до того скудна, что дѣвочки не только не дали никакого воспитанія, но даже она лишена была возможности узнать русскую грамоту.

Впрочемъ, семейное несчастіе, постигшее всѣхъ Луполовыхъ въ то время, когда Парашѣ исполнилось только тринадцать лѣтъ, едва ли не было причиной того, что дѣвочка осталась даже безъ такого первоначальнаго образованія, которое могло быть доступно и семейству бѣднаго прапорщика: въ 1798 году отецъ Луполовой, за какія-то преступленія, сосланъ былъ въ Сибирь съ лишеніемъ чиновъ и дворянства.

Позоръ и ссылка были, такимъ образомъ, тою жизненною школою, въ которой пришлось бѣдной дѣвочкѣ брать первые, тяжелые уроки жизни.

Но эти уроки, большею частью деморализующіе и ожесточающіе людей, въ настоящемъ случаѣ дали совершенно иные результаты, и именно тѣ, которые разумѣлъ Пушкинъ говоря:

... Такъ тяжкій млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.

„Любя нѣжно отца своего,—говоритъ Бантышъ-Каменскій въ „Словарѣ замѣчательныхъ людей,“—Луполова послѣдовала за нимъ въ самое заточеніе, утѣшала, подкрѣпляла горестную его старость. Въ сіе бѣдственное для нихъ время, одна только мысль занимала Луполову: освобожденіе родителей. Три года неотступно просила она, чтобы отпустили ее въ С.-Петербургъ, гдѣ надѣялась исходатайствовать прощеніе у милосердаго государя.

Дорожа ея присутствіемъ, находя въ ней послѣднюю отраду жизни своей, отецъ долго не соглашался; наконецъ, уступилъ ея убѣжденіямъ“.

Недостаточность свѣдѣній объ этой замѣчательной личности, къ сожалѣнію, не позволяетъ намъ уяснить самый процессъ, съ помощью котораго сложилась въ молодой дѣвушкѣ ея упрямая воля, не позволяетъ намъ выяснитъ и тѣхъ нравственныхъ побужденій, подъ которыми естественное чувство привязанности къ отцу, сожалѣніе о его несчастьѣ и желаніе помочь ему превратились въ то могучее чувство, называемое иногда словомъ *idée fixe*, иногда вѣрою, которое горами ворочаетъ, какъ образно выражается это въ нашей народной рѣчи; чувство, которое дѣлаетъ чудеса тамъ, гдѣ, кажется, даже самое чудо невозможно; чувство, которое изъ слабого человѣка дѣлаетъ силача, труса превращаетъ въ героя, невѣдѣніе дѣлаетъ равносильнымъ знанію; чувство, однимъ словомъ, которое граничитъ съ фанатизмомъ и безуміемъ, съ одной-стороны, и геніальностью, съ другой. Сказка ли, слышанная дѣвочкою въ дѣтствѣ о могучихъ богатыряхъ, о поискахъ живой и мертвой воды, сказаніе ли какое о подвигахъ великихъ угодниковъ, рассказы ли старыхъ людей о примѣрахъ великаго милосердія царей—безъ сомнѣнія, что-нибудь подобное зашло въ молодую голову и превратилось въ неотвязную мысль, выросло въ непоколебимую идею, стало дѣлю, призваніемъ жизни.

Какъ бы то ни было, но когда дѣвушкѣ исполнилось двадцать лѣтъ, она пустилась въ путь, какъ сказочный царевичъ, чтобъ отыскать свободу своему отцу: она намѣревалась изъ Tobolska пробраться въ Петербургъ.

Всѣ денежные средства Луполовой заключались въ одномъ рублѣ.

Съ такими же средствами Ломоносовъ вышелъ изъ дому искать по бѣлу свѣту знаній.

Понятно, что при такихъ средствахъ и при извѣстной обстановкѣ молодой странницы, далекая дорога представляла для одинокой дѣвушки, повидимому, непобѣдимыя трудности. Но она побѣдила ихъ несокрушимостью своей воли.

Добравшись до Екатеринбурга и, конечно, питаясь въ пути подаяніемъ, какъ питаются до сихъ поръ многіе изъ нашихъ богомольцевъ, изъ Сибири доходящіе до Кіева и до Почаева, Луполова нѣкоторое время оставалась въ Екатеринбургѣ, гдѣ начала учиться грамотѣ. Опять замѣчательный фактъ, свидѣтельствующій о томъ, что жизненные цѣли и требованія дѣвушки были широки, а, между тѣмъ, сама же жизнь сузила ихъ до самыхъ обидныхъ размѣровъ.

Изъ Екатеринбурга до Вятки Луполовой удалось доплыть водою, потому что тамъ каждую весну ходили суда и лодки съ желѣзными и другими товарами.

Отъ Вятки до Казани ей опять пришлось идти пѣшкомъ, съ котомкою за плечами, и вотъ въ этотъ-то переходъ она должна была посѣтить и тотъ скромный городъ, гдѣ тосковала по несвойственной для женщины дѣятельности другая, подобная Луполовой, дѣвушка, другая замѣчательная

женская личность девятнадцатаго вѣка—Дурова, „дѣвица-кавалеристъ“, о которой мы скажемъ особо.

Наконецъ, только 5-го августа 1804 года Луполова достигла Петербурга.

Въ продолженіе своего труднаго пути, когда Луполовой выпадали особенно тяжелыя минуты и когда менѣе сильная личность упала бы духомъ, эта упрямая дѣвушка настойчиво повторяла:

— Живъ Богъ! Жива душа моя!

Вѣдь, это то же, что у Галилея, осуждаемаго на смерть, срывается съ языка историческая фраза объ обращеніи земли вокругъ солнца: „а все-таки вертится!“ Эта мысль о движеніи земли засѣла въ мозгу, и ее не вытѣснить изъ головы даже боязнь смерти. Это то же что у Колумба, въ самые страшные моменты его жизни, живо было засѣвшее въ его мозгу упрямое убѣжденіе: „есть же какая-нибудь земля къ западу отъ Европы“—и земля нашлась. Такое непобѣдимое упрямство убѣжденія возможно только у великихъ людей, которые похожи на сумасшедшихъ и дѣйствительно дѣлаются ими, когда въ ихъ голову засядетъ идея, невозможная по времени, несбыточная по обстоятельствамъ.

Не легко было, однако, и въ Петербургѣ Луполовой привести въ исполненіе завѣтную мечту своей молодой жизни. Время чудесъ прошло: достиженіе всякаго задуманнаго предпріятія обусловливается теперь извѣстными формами жизни, бываетъ обставлено такими рамками, о которыхъ люди, жившіе во времена чудесъ, и понятія не имѣли.

Надо было написать прошеніе, и притомъ такъ, чтобы дѣло, о которомъ взялась хлопотать упрямая дѣвушка, выступило изъ ряда обыкновенныхъ, выступило изъ рамки. Надо было это прошеніе подать въ установленномъ порядкѣ, а согласно установленному порядку, всего скорѣе надо было ожидать отказа на прошеніе: въ Сибири не мало Луполовыхъ, сосланныхъ туда съ лишеніемъ правъ дворянства—законъ ни для кого не долженъ дѣлать исключеній.

Но природа и жизнь сами иногда дѣлаютъ исключенія. Не у всѣхъ Луполовыхъ, не у всѣхъ сосланныхъ въ Сибирь есть такія дочери, какая была у Григорія Луполова.

И дѣйствительно, упрямая дѣвушка добивается своего. Она находитъ въ Петербургѣ покровительницу въ одной госпожѣ, „славившейся,—какъ говоритъ біографъ Луполовой,—христіанскою любовью къ бѣднымъ и несчастнымъ“. Эта особа дала случай дѣвущкѣ познакомиться съ однимъ сенаторомъ, находившимся въ комиссіи для пересмотра прежнихъ уголовныхъ дѣлъ. Въ немъ дѣвушка возбудила къ себѣ участіе своею самоотверженностью, своею непоколебимою волею и настойчивымъ рѣшеніемъ спасти отца, котораго она страстно любила. Чувство удивленія и участія къ необыкновенной дѣвущкѣ возбуждено было и въ другихъ членахъ комиссіи,—и просьба Луполовой была особо доложена государю Александру Павловичу.

„Александръ изрекъ виновному помилованіе за добродѣтели его дочери,—

говорить біографъ Луполовой,—дозволилъ ему возвратиться въ прежнее жилище и имѣть пребываніе, гдѣ пожелаетъ, исключая обѣихъ столицъ“.

Мало того, государь пожаловалъ дѣвушкѣ двѣ тысячи рублей на обезпеченіе ея участи. Августѣйшая фамилія, съ своей стороны, оказала ей денежное пособіе. Петербургъ, „узнавъ о необыкновенной дѣвушкѣ, о „Парашѣ-сибирячкѣ“—подъ этимъ именемъ Луполова сдѣлалась извѣстна всей Россіи—охотно поспѣшилъ ей на помощь, оказывая знаки вниманія и удивленія „избавительницѣ отца“.

О Парашѣ-сибирячкѣ заговорила вся Россія. Эта была дѣйствительно та Параша Луполова, подвигамъ которой русскій народъ до сихъ поръ удивляется и до сихъ поръ рукоплещетъ тѣмъ исторической женщины, когда тѣмъ эта является на сценѣ въ извѣстной театральной пьесѣ, подъ названіемъ „Параша-сибирячка“.

Когда въ Петербургѣ спрашивали дѣвушку, какъ не боялась она одна пуститься въ далекій путь, не имѣя ни денегъ, ни поддержки, она увѣренно отвѣчала:

— А для чего мнѣ было бояться? Я знала, что Богъ не оставляетъ несчастныхъ.

Когда дѣвушку хвалили за ея необыкновенный подвигъ, она также наивно отвѣчала:

— За что меня хвалить? Развѣ дочь не должна все терпѣть для отца?

Но не одинъ Петербургъ и не одна Россія говорили о Парашѣ-сибирячкѣ: объ ней заговорили въ Европѣ; иностранныя газеты разнесли ея скромное имя по всему свѣту. Знаменитая въ то время и особенно извѣстная въ Россіи французская писательница, г-жа Котень, сочинила особый романъ, взявъ канвою для него подвиги Луполовой и опозитизировавъ ея личность. Романъ этотъ, подъ заглавіемъ „Елизавета, или примѣръ дѣтской любви“, долго читался у насъ на Руси и въ остальной Европѣ.

Но какъ часто бываетъ съ личностями, подобными Луполовой, — она вышла изъ своего торжества не тѣми дверями, въ которыя обыкновенно выходятъ люди благоразумные и практическіе и въ которыя, по ихъ мнѣнію, должна была выйти и Луполова. Луполова и въ этомъ случаѣ поступила такъ, какъ никто бы ни поступилъ на ея мѣстѣ, потому что такія личности, какъ Луполова, наша Антигона, не ходятъ путями проторенными и никогда не кончаютъ самодовольнымъ успокоеніемъ.

Луполова, въ самый моментъ своего торжества и славы, отвернулась отъ всего этого и ушла въ монастырь.

Богатство, замужество, счастье—все брошено.

„Уже навсегда была обезпечена участь ея,—говоритъ Бантышъ-Каменскій,—оставалось ей только наслаждаться славою въ цвѣтущихъ лѣтахъ, вознаградить скучные дни, проведенные на сѣверѣ, жизнь шумною, разсѣянною, которую мы привыкли называть веселіемъ; но Луполова среди счастья вспомнила о своемъ обѣтѣ и удалилась въ Десятинскій дѣвичій монастырь, новгородской епархіи“.

Но не долго прожила она и въ монастырѣ.

Въ декабрѣ 1809 году Луполова умерла, на двадцать пятомъ году жизни.

Вотъ что по поводу ея смерти новгородскій корреспондентъ писалъ въ тогдашнюю „Сѣверную Почту“:

„Въ прошедшемъ мѣсяцѣ скончалась здѣсь, извѣстная всему свѣту добродѣтелями своими, дѣвица Праськовья Луполова. Шестъ лѣтъ тому назадъ пришла она пѣшкомъ изъ Тобольска въ С.-Петербургъ, пройдя около четырехъ тысячъ верстъ, сопровождаемая одною бѣдностью и состраданіемъ человѣчества, пришла повергнуться къ престолу милосердаго государя и просить о помилованіи отца своего, сосланнаго въ Сибирь въ 1798 году, по лишеніи дворянскаго достоинства, за нѣкоторое преступленіе. Еще въ юныхъ лѣтахъ жизни постигъ ее съ матерью несчастный жребій родителя, за которымъ она изъ дѣтской горячности послѣдовала и въ самое заточеніе: желаніе быть избавительницею отца, возродясь тогда въ ея невинной душѣ, и возрастая купно съ ея лѣтами, заставило ее, наконецъ, совершить толикій подвигъ, не взирая на всѣ препятствія и трудности столь дальняго пути, но полагаясь во всемъ на Провидѣніе Божіе“.

Дальше мы увидимъ, что въ то время, когда Луполова умирала въ монастырѣ, другая дѣвушка, для которой Луполова была тѣмъ, чѣмъ Геродотъ былъ для Фукидида, доказывала современнымъ и будущимъ женщинамъ, что если существуетъ въ мірѣ рабство женщины, то дѣли для этого рабства куютъ себѣ сами же женщины, и что разрѣшеніе такъ называемаго „женскаго вопроса“ находится въ рукахъ у самихъ же женщинъ.

VII.

Анна Григорьевна Хомутова.

Хомутова въ нашихъ очеркахъ является не первою историческою женщиною изъ этой фамиліи.

Съ одною изъ Хомутовыхъ мы уже знакомы, но только подъ другою фамиліей.

Мы знакомы съ несчастною фрейлиною Марьей Даниловною Гамильтонъ; которая была „дѣвкой“ (какъ тогда называли фрейлинъ) при дворѣ Екатерины Алексѣевны, супруги царя-преобразователя Петра Великаго, и которой прекрасную голову, за дѣтоубійство, Петръ сначала приказалъ отрубить чрезъ палача, потомъ цѣловалъ эту мертвую, отрубленную голову въ виду толпы народа, затѣмъ велѣлъ положить ее въ спиртъ и хранить сначала въ кабинетѣ своей супруги, а потомъ въ музеѣ академіи наукъ.

Фамилія графовъ „Гамильтоновъ“, еще въ смутное время Стюартовъ вышедшая въ Россію изъ Шотландіи, въ послѣдствіи, по законамъ естественнаго обрусѣнія и народной русской фонетики, передѣлана была въ фамилію „Хомутовыхъ“. Уже при Петрѣ I „Гамильтоны“ писались то „Гаментовы“,

то „Гамонтовы“, то „Хаментовы“, то, наконецъ, „Хамантовы“, а потомъ и окончательно превратились въ русскую фамилію „Хомутовыхъ“.

Фрейлина Гамильтонъ-Хомутова казнена въ 1719 году.

Почти черезъ столѣтіе послѣ этой несчастной дѣвушки выступаетъ на историческое поприще другая женская личность изъ этой обрусѣвшей фамиліи—Анна Григорьевна Хомутова.

Она родилась въ Москвѣ, въ 1784 году, и первое ея развитіе принадлежитъ тому времени, когда общественное направленіе умовъ екатерининской эпохи уступало уже мѣсто другому направленію, когда въ обществѣ начало господствовать поколѣніе женщинъ „институтокъ“ или „монастырокъ“, смѣнившееся затѣмъ поколѣніемъ женщинъ-мистиковъ.

Хомутова, по счастью, составляетъ исключеніе изъ этихъ двухъ поколѣній русскихъ женщинъ: она не принадлежитъ ни поколѣнію „монастырокъ“, ни поколѣнію женщинъ-мистиковъ, потому что домашнее воспитаніе не наложило на ея направленіе того своеобразнаго оттѣнка, какой налагало на женщину воспитаніе институтское, а счастливо сложившіяся условія спасли ее отъ увлеченія мистическимъ направленіемъ женщинъ начала XIX вѣка.

Благопріятныя условія, подѣ которыми самостоятельно развивалась личность Хомутовой, состояли, главнымъ образомъ, въ слѣдующемъ:

Во-первыхъ, Хомутова родилась въ Москвѣ и первое время своего развитія провела въ Москвѣ же, въ семействѣ, стоявшемъ нѣсколько поодаль отъ петербургскаго общества, которое въ это время испытывало на себѣ вліяніе эмигрировавшаго изъ Франціи католическаго дворянства, разныхъ графовъ и маркизовъ, которые вмѣстѣ съ іезуитами напустили на высшее петербургское общество тонокій, но одуряющій туманъ мистицизма и нѣкоторыхъ изъ русскихъ женщинъ аристократическихъ фамилій увлекли въ католицизмъ: оттого Хомутова не вышла похожею ни на Татаринову, ни на Криднеръ, ни на Свѣчину.

Во-вторыхъ, живя и воспитываясь въ Москвѣ, Хомутова не попала въ Смольный монастырь и потому не выработалась подѣ общій типъ женщинъ „монастырокъ“, съ слабыми сторонами которыхъ мы познакомились въ лицѣ Глафиры Ржевской и Нелидовой.

Въ-третьихъ, живя въ Москвѣ на свободѣ, она училась дома, и хотя пріобрѣла въ своемъ воспитаніи французскій лоскъ, французскую рѣчь, но въ то же время въ богатомъ и гостепріимномъ домѣ своего отца она постоянно видѣла и слышала лучшихъ русскихъ людей тогдашняго времени, постоянно находилась въ сношеніяхъ съ литературнымъ кружкомъ, и оттого сердце ея больше лежало къ русскимъ писателямъ своего времени и къ ихъ идеямъ, чѣмъ къ французскимъ аристократамъ-эмигрантамъ, бросившимся въ набожность, и іезуитамъ.

Впослѣдствіи, общество Хомутовой постоянно составляли Раевскіе, Ермоловъ, слѣпецъ-поэтъ Козловъ, князь Вяземскій, Жуковскій и потомъ Пушкинъ и Лермонтовъ.

Отецъ ея былъ генералъ-лейтенантъ и сенаторъ Григорій Аполлоновичъ Хомутовъ, а мать—Екатерина Михайловна, урожденная Похвиснева.

Богатый домъ Хомутовыхъ въ Москвѣ былъ постоянно посѣщаемъ избраннымъ московскимъ обществомъ и такъ называемою литературною знатью. Кругомъ себя дѣвушка видѣла не тѣ примѣры, какіе видѣли монастырки, а рѣчь вокругъ нея велась не о тѣхъ предметахъ, о которыхъ могли вести бесѣду эмигрировавшіе маркизы и католическіе патеры.

Вотъ почему одна особа, знавшая Хомутову лично, говоритъ о ея наклонностяхъ слѣдующее:

„Руководльемъ она мало занималась, а съ любовью и увлеченіемъ слѣдила за литературой. Имѣя свѣтлый умъ, прекрасную память и удивительную, щеголеватую легкость выражать свои мысли, она писала большую часть времени, записывала все, что видѣла и слышала, и излагала въ видѣ повѣстей происшествія, случавшіяся въ большомъ свѣтѣ, поэтизируя и конечно мѣняя имена и названія мѣстностей“.

Бывая въ Петербургѣ, она дружескимъ образомъ сблизилась тамъ только съ двумя женщинами, которыхъ понятія не противорѣчили съ ея умственнымъ міромъ,—съ Марьей Никитичной Дурновой и графиней Анной Владиміровной Бобринской.

Первая была ея руководительницей въ большомъ свѣтѣ, на гуляньяхъ, на придворныхъ балахъ.

Графиня же Бобринская вводила ее въ такое общество, гдѣ вопросы науки и литературы не были вытѣсняемы другими вопросами, которыми тогда болѣла петербургская аристократія, вопросами мистики, какимъ-то напускнымъ піетизмомъ и худо скрываемымъ ханжествомъ. У графини Бобринской устраивались литературные и музыкальные вечера, чтенія, импровизація.

О личномъ характерѣ Хомутовой особа, близко ее знавшая, говоритъ, что „душа ея была пылкая, поэтическая, сердце самое любящее“; что „для родныхъ, для друзей она забывала себя и отдавалась имъ съ полнымъ самоотверженіемъ“.

Важно для ея развитія было и то, что въ первой своей молодости она находилась въ самой искренней дружбѣ съ извѣстнымъ нашимъ поэтомъ слѣпцомъ, Козловымъ, который приходился ей двоюроднымъ братомъ.

Знакомство это и молодая дружба окончательно опредѣлили направленіе и симпатіи дѣвушки на всю послѣдующую жизнь, какъ это почти всегда бываетъ съ впечатлительной молодостью.

„Одна изъ самыхъ сильныхъ ея привязанностей, въ первой молодости была къ двоюродному брату, слѣпцу-поэту Козлову,—говоритъ госпожа Розе въ своихъ воспоминаніяхъ о Хомутовой.—Сходство въ пылкости характеровъ, въ любви къ поэзіи, въ сочувствіи ко всему высокому ихъ тѣсно связывало. Они оба были молоды, счастливы и часто вмѣстѣ увлекались свѣтскими веселостями; но когда страстная любовь запала въ душу Козлова (это къ Софьѣ Андреевнѣ Давыдовой, на которой онъ потомъ и

женился) и долго, отчаянно его волновала, Хомутова едѣлалась ему постояннымъ, неизмѣннымъ другомъ утѣшителемъ, со всею женственною преданностію“.

Хомутова осталась дѣвушкой.

Послѣ нашествія французовъ на Москву, Хомутова переѣхала на время въ Петербургъ, гдѣ и жила преимущественно въ обществѣ Дурновой и графини Бобринской.

Въ это время Хомутова вела уже свои записки, въ которыя вносила все замѣчательное въ ея жизни, все ею видѣнное и слышанное, характеристики событій и личностей, съ которыми она сталкивалась или которыя проходили мимо нея.

Въ бытность ея въ Петербургѣ, въ 1814 году, изъ Европы тревожно ожидались извѣстія о томъ, что дѣлаютъ тамъ наши войска, вышедшіе вслѣдъ за Наполеономъ I для освобожденія всѣхъ европейскихъ народовъ отъ желѣзной диктатуры этого человѣка.

И вотъ въ дневникѣ Хомутовой подъ 21 апрѣля записано, между прочимъ, что во время ея гулянья вмѣстѣ съ Дурновой вѣсть о гибели Наполеона принесъ имъ знаменитый Александръ Ивановичъ Тургеневъ.

„Тургеневъ,—говорится въ дневникѣ,—подошелъ къ намъ на набережной и сказалъ: „Великая европейская драма разыграна. Наполеонъ отказался отъ престола; онъ на островѣ Эльбѣ. Нашъ императоръ во всемъ блескѣ своего величія“. Пока мы разговаривали; къ намъ присоединился Сергѣй Уваровъ (тогда еще не графъ и не министръ, а только попечитель петербургскаго учебнаго округа) и вмѣшался въ разговоръ. „Делиль,—сказалъ онъ,—угадалъ эту славную будущность въ своихъ двухъ стихахъ, адресованныхъ Александру:

Sur le front de Louis tu mettras la couronne:
Le sceptre le plus beau est celui, que l'on donne“.

„Графиня Бобринская, проѣзжавшая въ эту минуту въ каретѣ, остановилась и показала намъ портретъ генерала Сакена, назначеннаго губернаторомъ Парижа. Въ честь этого стараго друга ихъ дома, она затащила насъ въ кондитерскую Молинари, гдѣ донельзя угостила бисквитами и конфектами“.

Все это невольно переноситъ воображеніе въ ту знаменательную эпоху и ставитъ насъ лицомъ къ лицу съ людьми, давно исполнившими свою историческую миссію и давно уже умершими.

Въ другомъ мѣстѣ она въ нѣсколькихъ бойкихъ строкахъ живо рисуетъ передъ нами картину тогдашняго высшаго петербургскаго общества, и преимущественно тогдашнихъ женщинъ, которыя тоже всѣ уже давно покончили свое существованіе, однѣ забытыя всѣми, другія — оставившія по себѣ слѣдъ на землѣ.

Гуляетъ она въ Лѣтнемъ саду и видитъ все петербургское общество, томимое ожиданіемъ изъ Европы императора и побѣдоносныхъ войскъ, гдѣ

у каждой изъ гуляющихъ есть или мужъ, или братъ, или отецъ, или какой-либо другой изъ родственниковъ, друзья, дорогіе сердцу, возлюбленные женихи.

„Каждое утро тамъ, въ Лѣтнемъ саду,—пишетъ Хомутова 10-го мая,—сходило все общество: князь Юсуповъ всегда былъ подлѣ княжны Полины Щербатовой, для которой мечтали о замужествѣ, но увы! оно не долго продолжалось. Княгиня Салтыкова (урожденная княжна Долгорукая) гуляла, сопровождаемая большой свитой, опираясь на руку Сафоновой, какъ Калипсо на Евхарисъ; княгиня Долгорукая (урожденная княжна Гагарина), во всемъ блескѣ красоты и счастья, подъ руку съ мужемъ, не замѣчая всѣхъ своихъ поклонниковъ; княжна Лопухина, блѣдная, граціозная, скользила между деревьевъ, какъ очаровательное видѣніе; красавица Нарышкина скрывала подъ улыбкой свое безпокойство: вѣтка полыни, которую она хотѣла вплести въ вѣнокъ изъ лавровъ, дрожала въ ея рукѣ; Лунина и Демидова пестро одѣтыя; князь Гагаринъ, вѣчно озабоченный, скрестивъ руки; Тургеневъ, исправлявшій тогда важныя должности, приходилъ въ садъ поздно“.

Съ Пушкинымъ Хомутова познакомилась только въ 1826 году, и вотъ что по этому случаю записано въ ея дневникѣ подъ 26-мъ октября:

„Поутру получаю записку отъ Корсаковой (это—Марья Ивановна Римская-Корсакова, мать дочерей-красавицъ, на которыхъ Пушкинъ уронилъ лучъ безсмертія въ своемъ „Онѣгинѣ“): „Пріѣзжайте непременно, нынче вечеромъ у меня будетъ Пушкинъ“,—Пушкинъ, возвращенный изъ ссылки императоромъ Николаемъ, Пушкинъ, коего дозволенные стихи приводили насъ въ восторгъ, а недозволенные имѣли въ себѣ такую всеобщую завлекательность. Въ 8 часовъ я въ гостиной у Корсаковой; тамъ собралось уже множество гостей. Дамы разошлись и рассчитывали привлечь вниманіе Пушкина, такъ что, когда онъ вошелъ, всѣ онѣ устремились къ нему и окружили его. Каждой хотѣлось, чтобы онъ сказалъ ей хоть слово. Не будучи ни молода, ни красива собою и по обыкновенію одержимая несчастною застѣнчивостью, я не совалась впередъ, и, непримѣтно для другихъ, издали наблюдала это африканское лицо, по которому такъ и сверкаетъ умъ. Я слушала его безъ предупредительности и молча. Такъ прошелъ вечеръ. За ужиномъ кто-то называлъ меня, и Пушкинъ вдругъ встрепенулся, точно въ него ударила электрическая искра. Онъ всталъ и, послѣшно подойдя ко мнѣ, сказалъ: „вы сестра Михаила Григорьевича; я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности“.

Послѣ Хомутова очень сблизились съ Пушкинымъ; часто потомъ они видѣлись, бесѣдовали о литературѣ. Лѣтомъ 1836 года, уже передъ смертью поэта, Хомутова постоянно видала его, особенно у Раевскихъ.

Но съ Козловымъ ей пришлось вновь свидѣться не ранѣе тридцатыхъ годовъ. Лѣтъ двадцать они не видѣли другъ друга: разстались молодыми, полными надеждъ и силъ, а встрѣтились почти стариками, хотя, какъ говоритъ г-жа Розе, „съ живымъ чувствомъ постоянной дружбы и яркимъ воспоминаніемъ молодости, не увядающей въ такихъ сердцахъ“.

Козловъ давно уже былъ живой развалиной: разбитый параличемъ, слѣпой, безногій—онъ самъ уже не могъ двигаться, а какъ евангельскій разслабленный постоянно лежалъ на своемъ одрѣ.

Встрѣча съ Хомутовой, которую онъ когда-то любилъ, съ которою дѣлился каждымъ движеніемъ своего сердца, каждою мыслью, сильно потрясла больного поэта.

Глубокое впечатлѣніе этой встрѣчи излилось въ прекрасныхъ стихахъ поэта подъ названіемъ: „Къ другу весны моей послѣ долгой разлуки“.

Въ это же время Хомутова познакомилась и съ Лермонтовымъ.

Послѣдній,—говорить г-жа Розе,—узнавъ случайно изъ оживленнаго разсказа поэта Козлова, сколько былого счастья шевельнулось въ его душѣ при этой неожиданной встрѣчѣ въ тогдашней его грустной жизни, написалъ къ Хомутовой эти прекрасные стихи, которыми какъ бы освѣтилъ историческую память и поэта-слѣпца и его друга-женщины:

Слѣпецъ страданьемъ вдохновенный
Вамъ строки чудныя писалъ,
И прежнихъ лѣтъ восторгъ священный
Онъ передъ вами изливалъ.
Онъ васъ не зрѣлъ; но ваши рѣчи,
Какъ отголосокъ юныхъ дней,
При первомъ звукѣ новой встрѣчи
Его встревожили сильнѣй.
Тогда признательную руку
Въ отвѣтъ на вашъ привѣтный взоръ,
Навстрѣчу радостному звуку
Онъ въ упоеніи простеръ.
И я—повѣренный случайный
Надеждъ и думъ его живыхъ,
Я буду дорожить, какъ тайной,
Печальнымъ выраженьемъ ихъ.
Я вѣрю, годы не убили,
Изгладить даже не могли
Все, что вы прежде возбудили
Въ его возвышенной груди.
Но да сойдетъ благословенье
На вашу жизнь за то, что вы
Хоть на единое мгновенье
Умѣли снять вѣнецъ мученья
Съ его преклонной головы.

О Хомутовой рассказываютъ, что память у нея была удивительная: она помнила рѣшительно все, что читала, могла сказать наизусть цѣлыя поэмы и запоминала цѣликомъ разговоры. Она знала дни рожденія и именинъ всѣхъ знакомыхъ и напоминала имъ всѣ эпохи ихъ жизни.

Въ сороковыхъ годахъ, она, разставшись съ Москвою, съ литературными и великосвѣтскими кружками, жила въ Ярославлѣ съ старшимъ братомъ своимъ Сергѣемъ, и тамъ занималась воспитаніемъ его семейства. Она учила исторіи дѣтей его, двухъ племянниковъ, племянницу и одну сиротку, Екатерину Розе, сообщившую въ печати нѣкоторыя любопытныя свѣдѣнія о жизни

своей учительницы, одной изъ самыхъ симпатичныхъ женскихъ личностей стараго времени, еще, впрочемъ, такъ недалеко отъ насъ отошедшаго.

При своихъ урокахъ Хомутова не пользовалась ни книгами, ни руководствами, но просто диктовала своимъ ученикамъ по памяти исторію каждаго государства отдѣльно, и никогда при этомъ не путалась ни въ фактахъ, ни въ хронологическомъ ихъ размѣщеніи.

Въ Ярославлѣ она прожила до смерти старшаго брата.

Затѣмъ вмѣстѣ съ дочерью его она является вновь въ Петербургъ, но уже дряхлою старухой. Немногіе встрѣтили ее изъ старыхъ знакомыхъ, потому что раньше ея покончили счеты съ жизнью; а что удѣлѣло отъ стараго времени, то встрѣтило ее попрежнему сочувственно.

Но Петербургъ, который она когда-то такъ хорошо описывала, теперь видѣлся ей только изъ окна: старушка уже въ креслахъ доживала свой вѣкъ, перешагнувъ за вторую половину девятнадцатаго столѣтія.

Умерла она въ 1856 году, на семьдесятъ второмъ году жизни, и отвезена въ ярославскую деревню Хомутовыхъ, гдѣ и похоронена.

Не такъ похоронена была, какъ мы видѣли, ея бабушка или прабабушка—фрейлина Гамильтонъ.

Но другое время—другіе люди.

VIII.

Надежда Андреевна Дурова.

(Кавалеристъ-дѣвица).

Если бы женская личность, имя которой поставлено въ заголовкѣ настоящаго очерка, жила въ болѣе отдаленныя времена, то, прочитавъ рассказъ о ней въ какомъ-либо древнемъ хронографѣ, мы подумали бы, безъ сомнѣнія, что это—продуктъ творческой фантазіи народа, повѣствовательная фабула, измышленная по примѣру средневѣковыхъ легендарныхъ сказаній объ Александрѣ Македонскомъ, о Карлѣ Великомъ, о рыцарѣ Баярдѣ, что это, однимъ словомъ, романтическій вымыселъ, которымъ услаждается воображеніе челоуѣка, сознающаго въ то же время, что выводимая передъ нимъ личность—не реальная личность, а идеалъ, достиженіе котораго возможно лишь только въ представленіи.

Но женская личность, о которой мы говоримъ, жила такъ недавно, умерла на нашей памяти—это была реальная женская личность, которую многіе до сихъ поръ помнятъ, вспоминаютъ о ней, потому что любили ее, были съ ней дружны, видѣли ея старческое увяданье и смерть. Могила ея еще не пострадала отъ времени. То, что она писала—до сихъ поръ читается съ интересомъ.

А, между тѣмъ, жизнь этой странной женщины представляется тѣмъ-то сказочнымъ, невѣроятнымъ, отдающимъ далекою, неслыханною, положительно мифическою стариною.

Женщина эта—Недежда Дурова, известная под именем „кавалериста-дѣвицы“.

Событія ея молодости возбуждаютъ глубокое удивленіе, и именно въ настоящее время Дурова, какъ необыкновенное явленіе, заслуживала бы серьезнаго изученія, потому что то, что сдѣлала эта женщина, служить самымъ вѣскимъ аргументомъ въ пользу того, что женщина способна на всякое великое дѣло въ такой же мѣрѣ, какъ и мужчина, и что, при известномъ направленіи ея воли и при известномъ воздѣйствіи на нее обстоятельствъ жизни и воспитанія, различіе, полагаемое между мужчиною и женщиною и основанное на нѣкоторомъ фізіологическомъ неравенствѣ или скорѣе половомъ несходствѣ, окончательно падаетъ передъ живымъ доказательствомъ совершенно противнаго, представляемымъ личностью этой именно дѣвицы Дуровой.

Нельзя безъ особеннаго глубокаго чувства удивленія смотрѣть на портреты этой женщины, находящіеся въ устарѣлыхъ нынѣ изданіяхъ и, безъ сомнѣнія, известные большинству читателей.

Одинъ изъ этихъ портретовъ приложенъ къ изданнымъ въ 1839 году Дуровою собственнымъ „Запискамъ“, въ которыхъ она говоритъ о своей богатой приключеніями жизни. На портретѣ этомъ, къ сожалѣнію, очень не искусно сдѣланномъ, Дурова изображена молоденькою дѣвочкою четырнадцати лѣтъ: личико дѣвочки полно дѣтской невинности; но оно нѣсколько задумчиво, грустно и даже, повидимому, робко; дѣвическая коса ея не подчинена никакимъ законамъ прически, а просто спадаетъ на спину позади плечъ; бѣленькое простое платьице безъ всякихъ украшеній ясно говоритъ, что это ребенокъ, еще не сознающій въ себѣ женщины; но признаки физической возмужалости несомнѣнно обнаруживаютъ, что дѣвочка развивается въ женщину, растетъ, крѣпнетъ.

Другой портретъ, приложенный къ известному изданію—„Сто русскихъ литераторовъ“—изображаетъ Дурову уже пожилою женщиною, пожалуй старухою; но эта старушка облечена въ военную форму; на груди у нея блеститъ георгіевскій крестъ. Кроткое, хотя некрасивое, но симпатичное лицо смотритъ также задумчиво, повидимому, грустно и даже нѣсколько робко.

Шестьдесятъ лѣтъ назадъ именемъ Дуровой была полна вся Россія: объ ней говорили, начиная отъ царскаго дворца и кончая бѣдной мужицкой хатой. Теперь только ея имя забыто, какъ забывается все на свѣтѣ, вытѣсняемое другими именами, другими событіями.

Вотъ что, въ 1836 году уже, писалъ знаменитый поэтъ нашъ А. С. Пушкинъ въ тогдашнемъ „Современникѣ“.

„Въ 1808 году, молодой мальчикъ, по имени Александровъ, вступилъ рядовымъ въ конно-польскій уланскій полкъ, отличился, получилъ за храбрость солдатскій георгіевскій крестъ и въ томъ же году произведенъ былъ въ офицеры въ маріупольскій гусарскій полкъ. Впослѣдствіи перешелъ онъ въ литовскій уланскій, и продолжалъ свою службу столь же ревностно, какъ и началъ.“

„Повидимому, все это въ порядкѣ вещей и довольно обыкновенно; однако-жъ это самое надѣлало много шуму, породило много толковъ и произвело сильное впечатлѣніе отъ одного нечаянно открывшагося обстоятельства: корнетъ Александровъ былъ дѣвица Надежда Дурова.

„Какія причины заставили молодую дѣвушку, хорошей дворянской фамиліи, оставить отеческій домъ, отречься отъ своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугаютъ и мужчинъ, и явиться на полѣ сраженій—и какихъ еще?—наполеоновскихъ! Что побудило ее? Тайныя, семейныя огорченія? Воспаленное воображеніе? Врожденная, неукротимая склонность? Любовь?.. Вотъ вопросы, нынѣ забытые, но которые въ то время сильно занимали общество.

„Нынѣ Надежда Андреевна Дурова сама разрѣшаетъ свою тайну. Удостоенные ея довѣренности, мы будемъ издателями ея любопытныхъ записокъ. Съ неизъяснимымъ участіемъ прочли мы признанія женщины, столь необыкновенной; съ изумленіемъ увидѣли, что нѣжныя пальчики, нѣкогда сжимавшіе окровавленную рукоять уланской сабли, владѣютъ и перомъ быстрымъ, живописнымъ и пламеннымъ“.

Вотъ какой глубокой интересъ возбуждала эта женщина въ людяхъ, до которыхъ доходили только отголоски о томъ, что была эта женщина для своихъ современниковъ.

Мы позволяемъ себѣ нѣсколько долѣе остановиться на этой дѣйствительно замѣчательной личности нашего, еще столь свѣжаго, прошлаго.

Дурова, по матери, энергическія наклонности которой она, повидимому, наслѣдовала и силою своей воли направила ихъ такимъ необыкновеннымъ путемъ, ведетъ свой родъ изъ Малороссіи, неоспоримо давшей Россіи не мало личностей, которыми смѣло можетъ гордиться великая семья русскаго народа.

Она была изъ роду Александровичей и противъ воли родителей вышла замужъ за гусарскаго ротмистра Дурова. Когда отецъ не соглашался выдать ее замужъ за Дурова, дѣвушка бѣжала ночью изъ своего дома и тайно обвѣнчалась съ тѣмъ, кого избрало ея своевольное сердце. Отецъ проклялъ непокорную дочь.

Молодые Дуровы вели скитальческую, полковую жизнь—постоянно на маршѣ, постоянно въ походахъ, въ лагерѣ, въ палаткѣ.

Мать страстно желала имѣть сына, котораго она намѣривалась назвать Вадимомъ или инымъ романтическимъ именемъ, и вмѣсто сына, послѣ страшныхъ мукъ, доведшихъ ее до продолжительнаго обморока, родила дѣвочку.

Когда родильница пришла въ чувство, она потребовала къ себѣ ребенка. Вмѣсто сына ей подали дочь. Мать оттолкнула отъ себя несчастную дѣвочку и съ тѣхъ поръ возненавидѣла ее.

Вслѣдствіе походной жизни родителей, дѣвочка и родилась и воспиталась на маршѣ. Бродячая жизнь, неудобства скитанья съ груднымъ ребенкомъ еще болѣе ожесточили мать противъ неудачно родившейся дочери.

Однажды ребенокъ такъ сильно раскричался въ дорогѣ, такъ долго не

давалъ матери спать, что она, выведенная изъ терпѣнія, выбросила малютку изъ окна кареты, прямо подъ копыта гусарскихъ лошадей.

„Гусары,—говорятъ о себѣ Дурова въ своихъ запискахъ,—вскрикнули отъ ужаса, соскочили съ лошадей и подняли меня всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни; они понесли было меня опять въ карету, но батюшка подскакалъ къ нимъ, взялъ меня изъ рукъ ихъ, и проливая слезы, положилъ къ себѣ на сѣдло“.

Сѣдло—первая колыбель Дуровой.

Огорченный отецъ боялся потомъ отдать малютку матери, а передалъ ее на попеченіе своего фланговаго гусара Астахова.

„Воспитатель мой Астаховъ,—говоритъ Дурова,—по цѣлымъ днямъ носилъ меня на рукахъ, ходилъ со мною въ эскадронныя конюшни, сажалъ на лошадей, давалъ играть пистолетами, махалъ саблею, а я хлопала руками и хохотала при видѣ сыплющихся искръ и блестящей стали; вечеромъ онъ приносилъ меня къ музыкантамъ, игравшимъ передъ зарею разныя штучки; я слушала и, наконецъ, засыпала“.

Такъ своеобразно росъ ребенокъ.

Начавъ сознавать себя, дѣвочка стала бояться матери. Увидя ее, ребенокъ обмиралъ со страху и хватался рученками за гусарскую грубую шею своего любимца Астахова.

Дѣвочкѣ пошелъ пятый годъ, когда отецъ ея вышелъ въ отставку.

Маленькая Надя (такъ звали дѣвочку) должна была разлучиться съ своимъ пестуномъ Астаховымъ, къ которому успѣла сильно привязаться.

„Взявъ меня изъ рукъ Астахова, мать моя не могла уже ни одной минуты быть ни покойна, ни весела; всякій день я сердила ее странными выходками и рыцарскимъ духомъ своимъ; я знала твердо всѣ командныя слова, любила до безумія лошадей, и когда матушка хотѣла заставить меня вязать шнурокъ, то я съ плачемъ просила, чтобъ она дала мнѣ пистолетъ пощелкать“.

Выростая, дѣвочка усвоиваетъ себѣ привычки и наклонности самаго живого и рѣзваго мальчика; она бѣгаетъ вездѣ, вездѣ раздается ея голосъ: „эскадронъ направо! заѣзжай! съ мѣста маршъ-маршъ!“ Мать въ отчаяніи, журить, наказываетъ ее; но все напрасно.

Отецъ получилъ мѣсто городничаго въ одномъ городѣ, на Камѣ—и они переѣхали жить въ этотъ городъ.

Дѣвушка говоритъ, что мать ея сама развила въ ней страсть къ свободѣ и къ военной жизни, не понимая того, что дѣлаетъ.

„Она не позволяла мнѣ,—говоритъ Дурова,—гулять въ саду, не позволяла отлучаться отъ нея ни на полчаса; я должна была цѣлый день сидѣть въ ея горницѣ и плестъ кружева; она сама учила меня шить, вязать и, видя, что я не имѣю ни охоты, ни способности къ этимъ упражненіямъ, что все въ рукахъ моихъ и рвется, и ломается, она сердилась, выходила изъ себя и била меня очень больно по рукамъ“.

Но вотъ дѣвочкѣ уже десять лѣтъ. Мать говоритъ отцу при ребенкѣ,

что боится огня ея глазъ, боится этой дикой воспитанницы фланговаго гусара и что „желала бы лучше видѣть свою дочь мертвою, нежели съ такими наклонностями“.

Вслѣдствіе этого упрямая мать продолжаетъ держать дѣвочку взаперти, не позволяеть ей ни одной дѣтской радости.

„Я молчала и покорялась,—замѣчаетъ Дурова: — но угнетеніе дало зрѣлость уму моему; я приняла твердое намѣреніе свергнуть тягостное иго и какъ взрослая начала обдумывать планъ успѣть въ этомъ. Я рѣшилась употребить всѣ способы выучиться ѣздить верхомъ, стрѣлять изъ ружья, и переодѣвшись уйти изъ дома отцовскаго. Чтобы начать приводить въ дѣйство замышляемый переворотъ въ жизни моей, я не пропускала ни одного удобнаго случая украсться отъ надзора матушки; эти случаи представлялись всякій разъ, какъ къ матушкѣ пріѣзжали гости; она занималась ими, а я, я, не помня себя отъ радости, бѣжала въ садъ къ своему арсеналу, то есть, темному углу за кустарникомъ, гдѣ хранились мои стрѣлы, лукъ, сабля и изломанное ружье; я забывала цѣлый свѣтъ, занимаясь своимъ оружіемъ, и только пронзительный крикъ ищущихъ меня дѣвокъ заставлялъ меня съ испугомъ бѣжать имъ навстрѣчу“.

За этимъ слѣдовали, конечно, выговоры, жесткая, несдержанная брань, и наказаніе не всегда умѣренное, даже жестокое.

Прошло еще два года.

Отецъ купилъ себѣ черкасскаго жеребца подъ верховую ѣзду. Съ этой поры всѣ планы дѣвочки сосредоточиваются на этомъ дикомъ конѣ: она учить его привыкать къ себѣ, кормить хлѣбомъ, сахаромъ, солью, всѣмъ, что она могла отыскать,—и дикій конь привязывается къ дѣвочкѣ, знаетъ ее, ходитъ за ней, какъ овца.

Каждое утро, когда еще всѣ спали, маленькая Надежда садилась на своего „Алкида“—такъ звали коня—и скакала по двору. Алкидъ сдѣлался ея другомъ въ полномъ значеніи этого слова, какъ мы и увидимъ далѣе.

„Съ каждымъ днемъ,—продолжаетъ Дурова,—я дѣлалась смѣлѣе и предприимчивѣе, и исключая гнѣва матери моей, ничего въ свѣтѣ не страшилась. Мнѣ казалось весьма страннымъ, что сверстницы мои боялись оставаться однѣ въ темнотѣ; я, напротивъ, готова была въ глубокую полночь идти на кладбище, въ лѣсъ, въ пустой домъ, въ пещеру, въ подземелье“...

По ночамъ она скакала на своемъ конѣ въ полѣ, карабкалась по горамъ. Въ семействѣ ея думали даже, что она лунатикъ, когда видѣли ее въ ночное время пробирающуюся къ конюшнѣ, къ своему Алкиду.

На четырнадцатомъ году дѣвочку отвезли въ Малороссію, къ бабкѣ Александровичевой.

„Мнѣ наступалъ уже четырнадцатый годъ, я была высока ростомъ, тонка и стройна; но воинственный духъ мой рисовался въ чертахъ лица, и хотя я имѣла бѣлую кожу, живой румянецъ, блестящіе глаза и черныя брови, но зеркало мое и матушка моя говорили мнѣ, что я совсѣмъ не хороша собою. Лицо мое было испорчено оспою, черты неправильны, а

безпрестанное угнетеніе свободы и строгость обращенія матери, а иногда и жестокость напечатлѣли на фізіономіи моей выраженіе страха и печали. Можетъ быть, я забыла бы, наконецъ, всѣ гусарскія замашки и сдѣлалась бы обыкновенною дѣвицею, какъ и всѣ, если бы мать моя не представляла въ самомъ безотрадномъ видѣ участь женщины. Она говорила при мнѣ въ самыхъ обидныхъ выраженіяхъ о судьбѣ этого пола: женщина, по ея мнѣнію, должна родиться, жить и умереть въ рабствѣ; что вѣчная неволя, тягостная зависимость и всякаго рода угнетеніе есть ея доля отъ колыбели до могилы; что она исполнена слабостей, лишена всѣхъ совершенствъ и не способна ни къ чему; что, однимъ словомъ, женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презрѣнное твореніе въ свѣтѣ! Голова моя шла кругомъ отъ этого описанія; я рѣшилась, хотя бы это стоило мнѣ жизни, отдѣлиться отъ пола, находящагося, какъ я думала, подъ проклятіемъ Божиимъ“.

И отецъ говорилъ нерѣдко, что желалъ бы имѣть сына на старость, вмѣсто нее—Надежды. А она, между тѣмъ, такъ любила отца.

Все это, само собою разумѣется, развило въ ней отвращеніе къ ея собственному полу—и она искала выхода изъ своей нравственной каторги.

Въ Малороссіи она нѣсколько отдохнула, успокоилась, даже немного помирилась съ мыслью, что она женщина. „Здѣсь,— говоритъ она,— меня не шнуровали и не морили надъ кружевомъ“.

И дѣвущкѣ стало тамъ легко, свободно—женщину не бранили тамъ, не проклинали самую принадлежность къ несчастному полу; тамъ, напротивъ, занялись дѣвущкой, ласкали ее, сводили загаръ съ ея лица; тамъ нашлась для нея и сверстница, сосѣдка, дѣвица Остроградская. Дурова скоро сошлась съ ней—и дѣвущки начали читать вмѣстѣ, рисовать, гулять.

Тамъ же, въ Малороссіи, молодая дѣвущка почувствовала было въ себѣ пробужденіе женскихъ инстинктовъ—она увлеклась было однимъ молодымъ человѣкомъ, Кирѣякомъ, и уже вполне покорила было своему призванію, какъ женщина, покорила безъ протеста, безъ сожалѣнія, безъ боязни, потому что испытала приливъ новаго чувства...

Но мать молодого человѣка поставила пропасть между имъ и дѣвущкой—и послѣдняя должна была сама раздавить въ себѣ только что зарождавшееся чувство.

Она воротилась домой—и въ ней снова воскресли ея прежнія симпатіи; Малороссія была забыта... Снова на сценѣ Алкидъ, ружье, дикая скачка по полю.

По ея просьбѣ, отецъ, ни въ чемъ не отказывавшій своей любимой дочери, велѣлъ сшить ей „казачій чекмень“ и подарилъ въ ея собственность Алкида. Дѣвущка ѣздитъ съ отцомъ кататься, привыкаетъ къ жизни наѣздника; отецъ учитъ ее красиво сидѣть, крѣпко держаться въ сѣдлѣ и ловко управляться съ лошадью.

Дѣвущкѣ пошелъ шестнадцатый годъ.

Но вотъ въ ихъ городъ приходитъ казачій полкъ. Полковникъ и офицеры этого полка часто бывають у отца Дуровой; но дѣвущка прячется

отъ нихъ, потому что, задумавъ бѣжать за этимъ полкомъ, она боялась, чтобъ казаки впослѣдствіи не узнали ее, приглядѣвшись къ ея наружности.

15-го сентября 1806 года казаки вышли изъ города. Дѣвушка рѣшилась бѣжать 17-го числа—въ день своихъ именинъ.

„Въ день семнадцатаго сентября,—говорить она,—я проснулась до зари, и сѣла у окна дожидаться ея появленія: можетъ быть, это будетъ послѣдняя, которую я увижу въ странѣ родной. Что ждетъ меня въ страшномъ свѣтѣ? Не понесется ли вслѣдъ за мною проклятіе матери и горестъ отца? Будутъ ли они живы? Дождутся ли успѣховъ гигантскаго замысла моего? Ужасно, если смерть ихъ отниметъ у меня цѣль дѣйствій моихъ! Мысли эти толпились въ головѣ моей, то смѣняли одна другую...“.

Передъ нею на стѣнѣ висѣла отцовская сабля.

„Я сняла саблю со стѣны,—продолжаетъ она,—и, смотря на нее, погружилась въ мысли; сабля эта была игрушкою моею, когда я была еще въ пеленахъ, утѣхою и упражненіемъ въ отроческія лѣта, и почему-жъ теперь не была бы она защитою и славою моею на военномъ поприщѣ? „Я буду носить тебя съ честью“,—сказала я, поцѣловавъ клинокъ, и вкладывая ее въ ножны.

„День этотъ я провела съ моими подругами. Въ одиннадцать часовъ вечера я пришла проститься съ матушкою, какъ то дѣлала обыкновенно, когда шла уже спать. Не имѣя силъ удержатъ чувствъ своихъ, я поцѣловала нѣсколько разъ ея руки и прижала ихъ къ сердцу, чего прежде не дѣлала и не смѣла дѣлать. Хотя матушка и не любила меня, однако же, была тронута необыкновенными изъясненіями дѣтской ласки и покорности; она сказала, цѣлуя меня въ голову: „поди съ Богомъ“! Слова эти весьма много значили для меня, никогда еще не слыхавшей ни одного ласковаго слова отъ матери своей. Я приняла ихъ за благословеніе, поцѣловала впослѣднее руку ея, и ушла.

„Комнаты мои были въ саду. Я занимала нижній этажъ садоваго домика, а батюшка жилъ вверху. Онъ имѣлъ обыкновеніе заходить ко мнѣ всякій вечеръ на полчаса. Онъ любилъ слушать, когда я рассказывала ему, гдѣ была, что дѣлала или читала. Ожидая и теперь обычнаго посѣщенія отца, положила я на постель за занавѣсъ мое казацкое платье, поставила у печки кресла, и стала подлѣ нихъ дожидаться, когда батюшка пойдетъ въ свои комнаты. Скоро я услышала шелестъ листьевъ отъ походки человѣка, идущаго по аллеѣ. Сердце мое вспрыгнуло! Дверь отворилась и батюшка вошелъ! „Что ты такъ блѣдна?“ спросилъ онъ, садясь въ кресла:—„здорова ли“? Я съ усиліемъ удержала вздохъ, готовый разорвать грудь мою; послѣдній разъ отецъ мой входитъ въ комнату ко мнѣ, съ увѣренностію найти въ ней дочь свою! Завтра онъ пройдетъ мимо съ горестію и содроганіемъ. Могильная пустота и молчаніе будутъ въ ней... Батюшка смотрѣлъ на меня пристально: „что съ тобою? Ты вѣрно нездорова?“—Я сказала, что только устала и озябла.—„Что-жъ не велишь протапливать свою горницу? Становится сыро и холодно“.

Настала минута прощанья.

„Прощай, ложись спать“,—сказалъ батюшка, вставая и цѣлуя меня въ лобъ. Онъ обнялъ меня одною рукою и прижалъ къ груди своей; я поцѣловала обѣ руки его, стараясь удержать слезы, готовые градомъ покатиться изъ глазъ. Трепетъ всего тѣла измѣнилъ сердечному чувству моему. Увы! Батюшка приписалъ его холоду. „Видишь, какъ ты озябла“,—сказалъ онъ. Я еще разъ поцѣловала его руки. „Добрая ночь!“—промолвилъ батюшка, потрепавъ меня по щекѣ, и вышелъ. Я стала на колѣни близъ тѣхъ креселъ, на которыхъ сидѣлъ онъ, и склоняясь передъ ними до земли, цѣловала, орошая слезами то мѣсто пола, гдѣ стояла нога его“.

Дѣвушка, сколько боялась матери, столько любила отца, къ которому страстно была привязана. Это былъ, повидимому, добрый, хорошій человекъ, и Дурова вездѣ его хвалить съ увлеченіемъ, хотя и не скрываетъ, что онъ имѣлъ слабости—былъ невѣренъ ея матери и не только любилъ другихъ женщинъ, но, какъ сама она выражается „переходилъ отъ привязанности къ привязанности“.

„Черезъ полчаса,—продолжаетъ Дурова,—когда печаль моя нѣсколько утихла, я встала, чтобъ скинуть свое женское платье; подошла къ зеркалу, обрѣзала свои локоны, положила ихъ въ столъ, сняла черный атласный капоть, и начала одѣваться въ казачій униформъ. Стянувъ станъ свой чернымъ шелковымъ кушакомъ и надѣвъ высокую шапку съ пунцовымъ верхомъ, съ четверть часа я разсматривала преобразившійся видъ свой: остриженные волосы дали мнѣ совсѣмъ другую фizioномію; я была увѣрена, что никому и въ голову не придетъ подозрѣвать полъ мой“.

Такимъ образомъ возврата къ прежнему для этой странной, энергической дѣвушки уже не было.

„Наконецъ,—говоритъ она далѣе,—дверь отцовскаго дома затворилась за мною, и—кто знаетъ?—можетъ быть, никогда уже болѣе не отворится для меня“!..

На берегу Камы она бросила на песокъ капоть свой съ всѣми принадлежностями женскаго туалета: „Я не имѣла варварскаго намѣренія заставить отца думать, что я утонула, и была увѣрена, что онъ не подумаетъ этого“.

Дѣвушка вышла на гору.

„Ночь была холодная и свѣтлая; мѣсяцъ свѣтилъ во всей полнотѣ своей. Я остановилась взглянуть еще разъ на прекрасный и величественный видъ, открывающійся съ горъ: за Камою, на необозримое пространство видны были Пермская и Оренбургская губерніи. Темные, обширные лѣса и зеркальныя озера рисовались какъ на картинѣ. Городъ, у подошвы утесистой горы, дремалъ въ полуночной темнотѣ; лучи мѣсяца играли и отражались на позолоченныхъ главахъ собора и свѣтили на кровлю дома, гдѣ я выросла... Что мыслить теперь отецъ мой? Говоритъ ли ему сердце его, что завтра любимая дочь его не придетъ уже пожелать ему добраго утра?“

Слуга ждалъ ее на горѣ съ Алкидомъ. Дѣвушка собралась какъ бы

на обыкновенную ночную прогулку—и, сѣвъ на коня, ускакала надолго, очень надолго, если не навсегда...

„Версты четыре Алкидъ скакалъ съ одинакою быстротою; но мнѣ въ эту ночь надобно было проѣхать пятьдесятъ верстъ до селенія, гдѣ, я знала, что была назначена дневка казачьему полку. Итакъ, удержавъ быстрый скокъ моего коня, я поѣхала шагомъ; скоро въѣхала въ темный сосновый лѣсъ, простирающійся верстъ на тридцать. Желая сберечь силы моего Алкида, я продолжала ѣхать шагомъ, и, окруженная мертвою тишиною лѣса и мракомъ осенней ночи (такъ какъ луна успѣла скрыться), погрузилась въ размышленія: итакъ я, на волѣ... свободна... независима! Я взяла мнѣ принадлежащее—мою свободу!—драгоценный даръ неба, неотъемлемо принадлежащій каждому человѣку. Я умѣла взять ее, охранить отъ всѣхъ притязаній на будущее время, и отнынѣ до могилы она будетъ и удѣломъ моимъ и наградою!“

На разсвѣтѣ она пріѣхала къ мѣсту казацкой дневки. Для нея началась жизнь—и какъ тяжело добывался ею каждый шагъ въ этой жизни, буквально ею созданной.

При разспросахъ полковника казачьяго полка, дѣвушка назвалась Александромъ Васильевичемъ Дуровымъ, сыномъ дворянина, ушедшимъ тайно отъ отца, потому что отецъ не хотѣлъ отпустить молодого человѣка въ войско.

Полковникъ позволилъ ей ѣхать съ своимъ полкомъ до того мѣста, гдѣ она могла приписаться въ одинъ изъ регулярныхъ полковъ, такъ какъ въ казаки ей, не урожденному казаку, поступить было нельзя.

Казакамъ она сразу понравилась. Она казалась имъ „малолѣткомъ“. У „малолѣтка“ этого они находили „черкесскую талію“; у него была хорошая посадка на сѣдлѣ, хорошій конь, и грубымъ, но добрымъ казакамъ одинокая дѣвушка, принятая ими за мальчика, пришлась по душѣ.

Въ тотъ же день она уѣхала съ полкомъ. Казаки, выступивъ въ походъ, запѣли свою любимую пѣсню:

„Душа добрый конь!“

„Меланхолическій напѣвъ ея,—говоритъ Дурова,—погрузилъ меня въ задумчивость: давно ли я была дома, въ одеждѣ пола своего, окруженная подругами, любимая отцемъ, уважаемая всѣми, какъ дочь градоначальника! Теперь я казакъ, въ мундирѣ, съ саблею; тяжелая пика утомляетъ руку мою, не пришедшую еще въ полную силу. Въмѣсто подругъ, меня окружаютъ казаки, которыхъ нарѣчіе, шутки, грубый голосъ и хохотъ трогаютъ меня. Чувство, похожее на желаніе плакать, стѣснило грудь мою. Я наклонилась на крутую шею коня своего, обняла ее и прижалась къ ней лицомъ... Лошадь эта была подарокъ отца. Она одна оставалась мнѣ воспоминаніемъ дней, проведенныхъ въ домѣ его... Наконецъ, борьба чувствъ моихъ утихла, я опять сѣла прямо, и, занявшись разсматриваніемъ грустнаго осенняго ландшафта, поклялась въ душѣ никогда не позволять воспоминаніямъ

ослабить духъ мой, но съ твердостію и постоянствомъ идти по пути мною добровольно избранномъ“.

Такъ дошла она до земель донского войска.

Когда полкъ былъ распущенъ по домамъ, то полковникъ взялъ юнаго война съ собой въ станицу, догадываясь, что мальчикъ самъ не найдетъ дороги къ арміи, а что удобнѣе ему будетъ дойти вмѣстѣ съ казаками. Жена полковника приласкала этого страннаго, застѣнчиваго юношу, какъ своего сына, и дѣвушка довольно долго оставалась въ этой доброй семьѣ, въ Раздорской станицѣ.

Наконецъ, она вышла въ походъ вмѣстѣ съ атаманскимъ полкомъ. Походъ продолжался всю зиму, и только къ веснѣ полкъ дошелъ до м. Дружкополя, на Бугѣ. Тамъ квартировалъ брянскій мушкетерскій полкъ генерала Лидерса.

Оттуда казаки пошли въ Гродно. Пошла за ними и дѣвушка.

Въ Гродно она поступила въ конно-польскій полкъ—и вотъ она уланъ, кавалеристъ... Каждый день она на ученьѣ. Она усердно изучаетъ военное дѣло, изучаетъ неустанно, энергически, такъ что нельзя не удивляться этой упругой, несокрушимой волѣ поистинѣ удивительной дѣвушки, почти ребенка—вѣдь, ей только шестнадцать лѣтъ!

Молоденькаго уланика всѣ полюбили сразу: ротмистръ Казимірскій ласковъ къ ней, часто приглашаетъ къ себѣ, бережетъ ее какъ матушкина сына,—а это, между тѣмъ, была „батюшкина дочка“. Добрый ротмистръ, офицеры и товарищи уланы-солдаты не подозрѣваютъ, что подъ уланскимъ киверомъ кроется погибшая дѣвичья коса...

Для дѣвушки начинается настоящая жизнь солдата, рядового труженика, чернорабочаго война—трудовая жизнь.

И вотъ въ это-то время Дурова обращается съ своимъ замѣчательнымъ словомъ къ женщинѣ вообще и по преимуществу къ дѣвушкамъ:

„Свобода, драгоцѣнный даръ неба, сдѣлалась, наконецъ, удѣломъ моимъ навсегда! Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую въ душѣ, въ сердцѣ! Ею проникнуто мое существованіе, ею оживлено оно! Вамъ, молодая мои сверстницы, вамъ однѣмъ понятно мое восхищеніе! Однѣ только вы можете знать цѣну моего счастья! Вы, которыхъ всякой шагъ на счету, которымъ нельзя пройти двухъ сажень безъ надзора и охраненія, которыя отъ колыбели и до могилы въ вѣчной зависимости и подъ вѣчною защитою, Богъ знаетъ отъ кого и отъ чего! Вы, повторяю, однѣ только вы можете понять, какимъ радостнымъ ощущеніемъ полно сердце мое при видѣ обширныхъ лѣсовъ, необозримыхъ полей, горъ, долинъ, ручьевъ, и при мысли, что по всѣмъ этимъ мѣстамъ я могу ходить, не давая никому отчета и не опасаясь ни отъ кого запрещенія. Я прыгаю отъ радости, воображая, что всю жизнь мою не услышу болѣе словъ: „Ты, дѣвка, сиди. Тебѣ неприлично ходить одной прогуливаться“. Увы, сколько прекрасныхъ ясныхъ дней началось и кончилось, на которые я могла только смотрѣть заплаканными глазами сквозь окно, у котораго матушка приказывала мнѣ плести кружево“.

Но тяжело подчасъ приходилось дѣвушка и въ этой новой, добровольно избранной ею, жизни. Не всякому и мужчине было бы по плечу то, что она выносила на своихъ нѣжныхъ плечахъ, созданныхъ для кружевъ, газа, блонды или для того, чтобы быть обнаженными на блестящемъ балѣ.

Ротмистръ Казимірскій назначилъ Дурову въ первый взводъ вмѣстѣ съ новымъ товарищемъ ея, Вышемірскимъ, подъ команду поручика Бошнякова.

Квартируютъ они въ Литвѣ, въ этой бѣдной, безхлѣбной сторонѣ. Голодаютъ привыкшіе ко всему солдаты, голодаетъ и не привыкшая къ этому дѣвушка. Но она голодаетъ по волѣ—живуча ея энергія, и эта энергія поддерживаетъ ея слабѣющее молодое тѣло.

Какая бы дѣвушка вынесла хоть бы слѣдующую жизнь:

„Болѣе трехъ недѣль сидимъ мы здѣсь; мнѣ дали мундиръ, саблю, пику, такую тяжелую, что мнѣ кажется она бревномъ; дали шерстяные эполеты, каску съ султаномъ, бѣлую перевязь съ подсумкомъ, наполненнымъ патронами; все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело! Надѣюсь, однако-жъ, привыкнуть; но вотъ къ чему нельзя уже никогда привыкнуть—такъ это къ тиранскимъ казеннымъ сапогамъ! Они какъ желѣзные! До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую; нога моя была свободна и легка, а теперь! Ахъ, Боже! Я точно прикована къ землѣ тяжестью моихъ ногъ и огромныхъ бряцающихъ шпоръ!

„Съ того дня, какъ я надѣла казенные сапоги, не могу уже болѣе по-прежнему прогуливаться, и будучи всякій день смертельно голодна, провожу все свободное время на грядкахъ съ заступомъ, выкапывая оставшіяся картофели. Поработавъ прилежно часа четыре сряду, успѣваю нарыть столько, чтобы наполнить имъ мою фуражку; тогда несу въ торжествѣ мою добычу къ хозяйкѣ, чтобы она сварила ее; суровая эта женщина всегда съ ворчаньемъ вырветъ у меня изъ рукъ фуражку, нагруженную картофелемъ, съ ворчаньемъ высыпаетъ въ горшокъ, и когда поспѣетъ, то, выложивъ въ деревянную миску, такъ толкнетъ ее ко мнѣ по столу, что всегда нѣсколько ихъ раскатится по полу. Что за злая баба! А кажется, ей нечего жалѣть картофелю, онъ весь уже снятъ и гдѣ-то у нихъ запрятанъ; плодъ же неусыпныхъ трудовъ моихъ не что иное, какъ оставшіяся очень глубоко въ землѣ, или какъ-нибудь укрывшіяся отъ вниманія работавшихъ“.

Но дѣвушка не унываетъ, не падаетъ духомъ, не думаетъ о возвратѣ домой къ нѣжно любящему ее отцу.

Прошло немного времени—и вотъ она мечтаетъ о битвахъ, она счастлива, что полкъ ихъ идетъ въ дѣло, за границу, противъ страшнаго Наполеона.

„Мы идемъ за границу! Въ сраженіе!—воскликаетъ она.—Я такъ рада и такъ печальна! Если меня убьютъ, что будетъ со старымъ отцомъ! Онъ любилъ меня“...

„Черезъ нѣсколько часовъ я оставляю Россію и буду въ чужой землѣ... Пишу къ отцу, гдѣ я и что я теперь. Пишу, что, падая къ стопамъ его, и обнимая колѣна, умоляю простить мнѣ побѣгъ мой, дать благословеніе и позволить идти путемъ, необходимымъ для моего счастья. Слезы мои па-

дали на бумагу, когда я писала, и онъ будутъ говорить за меня отцовскому сердцу. Только что я отнесла письмо на почту, велѣно выводить лошадей; мы сію минуту выступаемъ; мнѣ позволяютъ ѣхать, служить и сражаться на моемъ Алкидѣ. Мы идемъ въ Пруссію“...

Наконецъ, она сталкивается лицомъ къ лицу со смертію — и не пачтется назадъ.

22-го мая 1807 года, въ Гутштадтѣ, она записываетъ въ своемъ дневникѣ:

„Въ первый разъ еще видѣла я сраженіе и была въ немъ. Какъ много пустого наговорили мнѣ о первомъ сраженіи, о страхѣ, робости и, наконецъ, отчаянномъ мужествѣ. Какой вздоръ! Полкъ нашъ нѣсколько разъ ходилъ въ атаку, но не вмѣстѣ, а эскадронно. Меня бранили за то, что я съ каждымъ эскадрономъ ходила въ атаку: но это, право, было не отъ излишней храбрости, а просто отъ незнанія; я думала, такъ надобно, и очень удивлялась, что вахмистръ чужого эскадрона, подлѣ котораго я неслась какъ вихрь, кричалъ на меня: „Да провались ты отсюда! Зачѣмъ ты здѣсь скачешь?“ Воротившись къ своему эскадрону, я не стала въ свой ранжиръ, но разѣзжала по-близости: новость зрѣлища поглотила все мое вниманіе; грозный и величественный гулъ пушечныхъ выстрѣловъ, ревъ или какое-то рокотанье летящаго ядра, скачущая конница, блестящіе штыки пѣхоты, барабанный бой и твердый шагъ и покойный видъ, съ какимъ пѣхотные полки наши шли на непріятеля, все это наполняло душу мою такими ощущеніями, которыхъ я никакими словами не могу выразить“...

Во время битвы она увидѣла, что нѣсколько человѣкъ непріятельскихъ драгунъ, окруживъ русскаго офицера, выбили его выстрѣлами изъ сѣдла. Раненый офицеръ упалъ и драгуны хотѣли рубить его лежащаго. И что же дѣлаетъ эта шестнадцатилѣтняя дѣвочка?

„Въ ту же минуту, — говоритъ она, — я понеслась къ нимъ, держа пикъ на перевѣсъ. Надобно думать, что эта сумасбродная смѣлость испугала ихъ, потому что они въ то же мгновеніе оставили офицера и разсыпались врозь“...

Она спасла раненаго, посадила его на свою лошадь и отправила въ обозъ, а сама осталась сиѣшенной въ самой жаркой сѣчѣ. Спасенный ею раненый былъ, Панинъ, офицеръ изъ знатной фамиліи.

Труды боевой жизни истомили, наконецъ, этого необыкновеннаго ребенка, истомили физически, но не сломили ея духа, ея упрямой воли: истомили ее необычайныя трудности летучей войны — голодъ, холодъ, недостатокъ сна, сырость, спанье въ болотахъ.

„Есть однако-жъ, границы, далѣе которыхъ человѣкъ не можетъ идти! — записываетъ она въ своемъ дневникѣ. — Я падала отъ сна и усталости; платье мое было мокро. Двое сутокъ я не спала и не ѣла, безпрерывно на маршѣ, а если и на мѣстѣ, то все-таки на конѣ, въ одномъ мундирѣ (у меня украли шинель), безпрестанно подверженная холодному вѣтру и

дождю. Я чувствовала, что силы мои ослабѣвали отъ-часу болѣе. Мы шли справа по три, но если случался мостикъ или какое другое затрудненіе, что нельзя было проходить отдѣленіями, тогда шли по два въ рядъ, а иногда и по одному; въ такомъ случаѣ четвертому взводу приходилось стоять по нѣскольку минутъ неподвижно на одномъ мѣстѣ; я была въ четвертомъ взводѣ, и при всякой благодѣтельной остановкѣ его, вмигъ сходила съ лошади, ложилась на землю, и въ ту же секунду засыпала. Взводъ трогался съ мѣста, товарищи кричали, звали меня, и, какъ сонъ часто прерываемый не можетъ быть крѣпокъ, то я тотчасъ просыпалась, вставала и карабкалась на лошадь, на своего Алкида, таща за собою тяжелую дубовую пику. Сцены эти возобновлялись при каждой самой кратковременной остановкѣ; я вывела изъ терпѣнія своего унтеръ-офицера и рассердила товарищей: всѣ они сказали мнѣ, что бросать меня на дорогѣ, если я еще хоть разъ сойду съ лошади.—„Вѣдь, ты видишь, что мы дремлемъ, да не встаемъ же съ лошадей и не ложимся на землю; дѣлай и ты такъ“. Вахмистръ ворчалъ вполголоса: „Зачѣмъ эти щенята лѣзутъ въ службу! Сидѣли бы въ гнѣздѣ своемъ!“ Остальное время я оставалась уже на лошади—дремала, засыпала, наклонялась до самой гривы Алкида, и поднималась съ испугомъ: мнѣ казалось, что я падаю! Я какъ будто помѣшалась. Глаза открыты, но предметы измѣняются какъ во снѣ. Уланы кажутся мнѣ лѣсомъ, лѣсъ уланами. Голова моя горитъ, но сама дрожу, мнѣ очень холодно. Все на мнѣ мокро до тѣла“...

Трудно повѣрить, чтобы человѣкъ могъ все это выносить, а между тѣмъ, это выносила нѣжная дѣвочка — и ужасы битвъ, пожженные села, трупы убитыхъ товарищей и непріятелей—и дѣвочка видѣла все это, и не пятилась назадъ.

Она выносить на своихъ плечахъ и Фридландъ—это страшное воспоминаніе изъ нашего прошлаго.

„ Въ этотъ жестокомъ и неудачномъ сраженіи,—говоритъ она,—храброго полка нашего легло болѣе половины! Нѣсколько разъ ходили мы въ атаку, нѣсколько разъ прогоняли непріятеля и, въ свою очередь, не одинъ разъ были прогнаны. Насъ осыпали картечью, мозжили ядрами, а пронзительный свистъ адскихъ пуль совсѣмъ оглушилъ меня. О, я ихъ терпѣть не могу! Дѣло другое ядро. Оно по крайней мѣрѣ реветъ такъ величественно и съ нимъ вездѣ короткая раздѣлка. Послѣ нѣсколькихъ часовъ жаркаго сраженія, остатку полка нашего велѣно нѣсколько отступить для отдохновенія. Пользуясь этимъ, я поѣхала смотрѣть, какъ дѣйствуетъ наша артиллерія, вовсе не думая того, что мнѣ могутъ сорвать голову совершенно даромъ. Пули осыпали меня и лошадь мою; но что значать пули при этомъ дикомъ, безумномъ ревѣ пушекъ“...

И тутъ она спасаетъ одного улана своего полка. Раненый въ голову, уланъ обезумѣлъ—вздитъ по полю, но не падаетъ—приросъ къ сѣдлу, по привычкѣ: кажется, и мертвый онъ не упалъ бы съ своего коня, потому что дѣвушкѣ прямо говорили старые солдаты, что уланъ никогда,

даже убитый, не долженъ падать съ лошади—онъ имѣетъ право упасть только вмѣстѣ съ конемъ!

Дѣвушка беретъ ополоумѣвшаго отъ раны товарища и доставляетъ въ безопасное мѣсто, сама подвергаясь тысячамъ опасностей.

Генералъ Каховскій, когда она разъ воротилась къ эскадрону послѣ спасенія одного товарища, не вытерпѣлъ и сталъ браниить ее за безразсудную храбрость, говоря, что „храбрость ея сумасбродная, сожалѣніе безумно“, что „бросается она въ пылъ битвы, когда не должно, ходить въ атаку съ чужими эскадронами, среди сраженія спасаетъ встрѣчнаго и отдаетъ лошадь свою кому вздумается, а самъ (самъ—онъ!) остается свѣшеннымъ среди сильнѣйшей сшибки“.

Послѣ этой боевой, тяжелой жизни войска возвращаются въ Россію. Они въ Полоцкѣ.

Слухи о необыкновенной дѣвушкѣ доходятъ, наконецъ, и до государя императора Александра Павловича.

Вотъ что она пишетъ по этому случаю въ Полоцкѣ:

„Какой-то важный переворотъ готовится въ жизни моей. Каховскій спрашивалъ меня: согласны ли были мои родители, чтобы я служила въ военной службѣ, и не противъ ли ихъ воли это сдѣлалось? Я тотчасъ сказала правду, что отецъ и мать моя никогда-бъ не отдали меня въ военную службу; но что, имѣя непреодолимую наклонность къ оружію, я тихонько ушла отъ нихъ съ казачьимъ полкомъ. Хотя мнѣ только семнадцать лѣтъ, однако-жъ я имѣю уже столько опытности, чтобы угадать тотчасъ, что Каховскій знаетъ обо мнѣ болѣе, нежели показываетъ, потому что, выслушавъ мой отвѣтъ, онъ не оказалъ и виду удивленія къ странному образу мыслей моихъ родителей, не хотѣвшихъ отдать сына въ военную службу, тогда какъ все дворянство предпочтительно избираетъ для дѣтей своихъ военное званіе. Онъ сказалъ только, что мнѣ должно ѣхать въ Витебскъ къ Буксгевдену съ господиномъ Нейдгардтомъ, его адъютантомъ“.

Тутъ былъ и Нейдгардтъ. Молча поклонившись необыкновенной дѣвушкѣ, онъ повелъ ее къ себѣ на квартиру. У нея взяли оружіе. Когда онъ ввелъ ее въ залъ, изъ всѣхъ дверей повысовывались головы—всѣ догадывались, что подъ этой странной личностью кроется что-то не то, за что выдаетъ себя молодой уланикъ.

Привезли ее затѣмъ въ Витебскъ къ главнокомандующему.

Точно сказочная Анна д'Аркъ воскресла въ Россіи и явилась продолжать свое дѣло.

— Я много слышалъ о вашей храбрости,—сказалъ Буксгевденъ:—и мнѣ очень пріятно, что всѣ ваши начальники отзывались объ васъ самымъ лучшимъ образомъ... Вы не пугайтесь того, что скажу вамъ,—продолжалъ онъ:—я долженъ отослать васъ къ государю. Онъ желаетъ видѣть васъ. Но повторяю, не пугайтесь этого: государь нашъ исполненъ милости и великодушія; вы узнаете это на опытѣ.

Дѣвушка, однако, испугалась. Ей представилась картина прощанья съ полкомъ, съ своею полною тревогъ жизнью, съ товарищами.

— Государь отошлетъ меня домой, ваше сіятельство, — и я умру съ печали! Этотъ порывъ тронулъ главнокомандующаго.

— Не опасайтесь этого, — сказалъ онъ: — въ награду вашей неустрашимости и отличнаго поведенія, государь не откажетъ вамъ ни въ чемъ. А какъ мнѣ велѣно сдѣлать о васъ выправки, то я, къ полученнымъ мною отзывамъ вашего шефа, эскадроннаго командира, взводнаго начальника и ротмистра Казимірскаго, приложу еще и свое донесеніе. Повѣрьте мнѣ, что у васъ не отнимутъ мундира, которому вы сдѣлали столько чести“.

Дѣвушку сдали на руки флигель-адъютанту государя, Зассу. Съ нимъ она и отправилась въ Петербургъ.

Когда дѣвушка въ формѣ рядового улана вошла въ кабинетъ императора, „государь, — говоритъ самъ этотъ необычайный уланъ, — сейчасъ подошелъ ко мнѣ, взялъ за руки и, приблизясь со мною къ столу, оперся одной рукой на него, а другою, продолжая держать мою руку, сталъ спрашивать вполголоса и съ такимъ выраженіемъ милости, что вся моя робость исчезла и надежда снова ожила въ душѣ моей“.

— Я слышалъ, — сказалъ государь, — что вы не мужчина: правда ли это?

„Я не вдругъ собралась съ духомъ сказать: „да, ваше величество, правда“. Съ минуту стояла я, потупивъ глаза, и молчала; сердце мое сильно билось и рука дрожала въ рукѣ царевой. Государь ждалъ. Наконецъ, поднявъ глаза на него и сказывая свой отвѣтъ, я увидѣла, что государь краснѣетъ; вмигъ покраснѣла я сама, опустила глаза и не поднимала уже ихъ до той минуты, въ которую невольное движеніе печали повергло меня къ стопамъ государя“.

Императоръ разспрашивалъ, что было причиною, побудившею ее поступить такимъ образомъ.

Дѣвушка все сказала, что уже намъ извѣстно.

Государь хвалилъ ея неустрашимость, говорилъ, что „это первый примѣръ въ Россіи“, что „всѣ ея начальники отозвались о ней съ великими похвалами, называя храбрость ея безпримѣрною“.

— Мнѣ очень пріятно этому вѣрить, — продолжалъ государь: — и я желаю сообразно этому наградить васъ и возвратитъ съ честью въ домъ отцовскій, давъ...

Она не дала кончить государю. Вскрикнувъ отъ ужаса, дѣвушка упала къ ногамъ императора.

— Не отсылайте меня домой, ваше величество! Не отсылайте! Я умру тамъ, непременно умру! Не заставляйте меня сожалѣть, что не нашлось ни одной пули для меня въ эту кампанію. Не отнимайте у меня жизни, государь! Я добровольно хотѣла ея пожертвовать для васъ...

Дѣвушка обнимала колѣна государя.

Императоръ былъ тронутъ, поднялъ ее и спросилъ измѣнившимся голосомъ:

— Чего-жъ вы хотите?

— Быть воиномъ, носить мундиръ, оружіе. Это единственная награда,

которую вы можете дать мнѣ, государь. Другой нѣтъ для меня. Я родилась въ лагерѣ. Трубный звукъ былъ колыбельной пѣснью для меня. Со дня рожденія люблю я военное званіе. Съ десяти лѣтъ обдумывала средства вступить въ него—въ шестнадцать достигла цѣли своей, одна, безъ всякой помощи. На славномъ постѣ своемъ поддерживалась однимъ только своимъ мужествомъ, не имѣя ни отъ кого ни протекціи, ни пособія. Всѣ согласно признали, что я достойно носила оружіе, а теперь, ваше величество, хотите отослать меня домой. Если-бъ я предвидѣла такой конецъ, то ничего не помѣшало-бъ мнѣ найти славную смерть въ рядахъ воиновъ вашихъ.

Государь былъ видимо растроганъ.

— Если вы полагаете,—сказалъ онъ,—что одно только позволеніе носить мундиръ и оружіе можетъ быть вашею наградою, то вы будете имѣть ее, и будете называться по моему имени — Александровымъ. Не сомнѣваюсь, что вы сдѣлаетесь достойною этой чести отличностію вашего поведенія и поступковъ. Не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно быть безпорочно и что я не прощу вамъ никогда и тѣни пятна на немъ.

Послѣ этого государь приказалъ опредѣлить ее офицеромъ въ маріупольскій гусарскій полкъ.

Когда дѣвушка вышла изъ кабинета, ее окружили пажы: „что говорилъ съ вами государь? Произвелъ ли васъ въ офицеры?“

Въ другой разъ, когда она входила въ кабинетъ государя, императоръ встрѣтилъ ее словами:

— Мнѣ связывали, что вы спасли офицера. Неужели вы отбили его у непріятеля? Расскажите мнѣ объ этомъ.

Она рассказала о томъ, какъ спасла Панина.

— Это извѣстная фамилія,—замѣтилъ государь:— и неустрашимость ваша въ этомъ одномъ случаѣ сдѣлала вамъ болѣе чести, нежели въ продолженіе всей кампаніи, потому что имѣла основаніемъ лучшую изъ добродѣтелей—состраданіе. Хотя поступокъ вашъ служить самъ себѣ наградою, однако-жъ справедливость требуетъ, чтобъ вы получили и ту, которая вамъ слѣдуетъ по статуту: за спасеніе жизни офицера дается гергіевскій крестъ.

И онъ вдѣлъ ей въ петлицу этотъ орденъ.

Изъ Петербурга дѣвушка опять поѣхала въ полкъ.

Опять начались труды военной жизни.

Не будемъ слѣдить шагъ за шагомъ за невѣроятными переходами и подробностями этой жизни—въ цѣломъ и въ частяхъ вся эта жизнь такъ драматична, исполнена такого глубокаго интереса, что многому съ трудомъ бы вѣрилось, если бы все это не было въ дѣйствительности такъ, какъ оно дошло до насъ и какъ это могли засвидѣтельствовать сотни лицъ, между которыми обращалось это странное, непонятное для нихъ существо и изъ которыхъ нѣкоторые еще остались въ живыхъ. Драматизмъ событій, связанныхъ съ жизнью Дуровой, усиливается отъ того именно, что главное, дѣйствовавшее въ этой драмѣ лицо было не тѣмъ, за что всѣ его принимали.

Наконецъ, дѣвушка захотѣлось къ отцу: три съ половиной года она не видала его. Мать ея, между тѣмъ, умерла.

„Я много перемѣнилась — выросла, пополнила (пишетъ она по этому случаю); лицо мое изъ бѣлаго и продолговатаго сдѣлалось смуглымъ и круглымъ; волосы, прежде свѣтлорусые, теперь потемнѣли“.

И вотъ она ѣдетъ одна, на перекладныхъ, за тысячи верстъ.

„Я пріѣхала домой точно въ ту пору ночи, въ которую оставила кровь отеческій — въ часъ пополудни. Ворота были заперты. Я взяла изъ саней саблю и маленькій чемоданъ, и отпустила своего ямщика въ обратный путь“.

Съ печалью входитъ она въ домъ отца, пробравшись въ садъ черезъ то отверстіе, въ которое она лазила еще ребенкомъ. „И теперь я вошла черезъ него. Думала ли я, когда выѣзжала изъ этой лазейки въ бѣломъ канифасномъ платьѣ, робко оглядываясь и прислушиваясь, дрожа отъ страха и холодной ночи, что войду нѣкогда въ то же отверстіе и тоже ночью — гусаромъ!“

Все спитъ кругомъ. Словно Одиссей, и она находитъ дома престарѣлыхъ друзей своихъ — собакъ: ее узнали эти собаки, а люди сначала не узнали.

Отецъ плакалъ отъ радости, и всѣ плакали, глядя на нее — да и было отчего. Это была уже не та рѣзвая дѣвочка, которую всѣ знали — это былъ другой человѣкъ, пережившій такъ много, создавшій изъ своей собственной жизни такую глубокую драму.

Но не долго жилось ей дома. Жизнь, полная потрясающихъ ощущеній и контрастовъ тянула ее къ себѣ, потому что еще не израсходовала ея богатыхъ, дерзкихъ силъ.

И вотъ она снова на походахъ, на маршахъ. Ей самой рассказываютъ ея исторію, — а никто не знаетъ, что та сказочная личность, о которой рассказывается, тутъ же, съ ними, слушаетъ, что о ней рассказываютъ.

Въ необходимыхъ случаяхъ она прямо обращалась къ государю съ своими письмами. Когда она нуждалась въ деньгахъ, то писала объ этомъ лично императору, и онъ приказывалъ выдавать ей деньги, сначала черезъ графа Ливена, потомъ черезъ Аракчеева, а послѣ черезъ Барклая-де-Толли. Имъ велѣно было доводить до свѣдѣнія государя „всѣ просьбы и желанія“ таинственнаго молодого офицера.

Въ апрѣлѣ 1811 года она вновь перешла въ уланы, въ литовскій полкъ.

Наступилъ, наконецъ; памятный 1812 годъ. Войскамъ много работы.

„Сегодня сказали мы послѣднее прости гостепріимному дому Платера, всему жилищу нашему въ Домбровицѣ, и всему, что насъ любило, и всему, что насъ плѣняло (пишетъ она отъ 11-го марта 1812 года). Мы идемъ въ Бѣльскъ, выостримъ свои пики, сабли, и пойдемъ далѣе.“

„Говорятъ старики уланы, что всякій разъ, какъ войско русское двинется куда-нибудь, двинутся съ нимъ и всѣ непогоды. На этотъ разъ надобно имъ повѣрить: со дня выступленія провожаютъ насъ снѣгъ, холодъ, вьюга, дождь и пронзительный вѣтеръ. У меня такъ болитъ кожа на лицѣ,

что не могу до нея дотронуться; по совѣту товарищей, я каждый вечеръ умываюсь сывороткой, и отъ этого средства боль немного прошла, но я сдѣлалась такъ черна, такъ черна, что ничего уже не знаю чернѣе себя“.

Видно, что нѣжное лицо дѣвушки не для вьюгъ и вѣтровъ создано, хоть она подставляетъ это лицо подъ вьюги и подъ палящее солнце вотъ уже шестой годъ.

„Подъямпольскій (пишетъ она далѣе о своемъ эскадронномъ начальникѣ) занять расчетами въ штабѣ; я осталась старшимъ офицеромъ по немъ и команду эскадрономъ; впрочемъ, я калифъ на часъ; черезъ два дня царствованіе мое кончится“.

Изъ шестнадцатилѣтней дѣвочки вышелъ уже эскадронный командиръ, и старые усачи уланы не подозрѣваютъ, что ими командуетъ дѣвочка.

А вотъ и ея повседневная обстановка въ кругу этихъ усатыхъ уланъ:

„Въ этомъ селеніи,—говоритъ она о с. Кастюхновкѣ,—назначена эскадрону нашему дневка. Квартирою намъ четвернымъ офицерамъ служить крестьянская хижина, почернѣлая, закоптѣлая, напитанная дымомъ, съ расстрепанною соломенною кровлею, землянымъ поломъ, и похожая снаружи на раздавленную черепаху. Передній уголъ этой лачуги принадлежитъ намъ; у порога и печи расположились наши деньщики, прилежно занимаясь чисткою удила, мундштуковъ, стремянъ, смазываніемъ ремней и тому подобными кавалерійскими работами. Неужели намъ оставаться цѣлый день въ такой конурѣ и въ такомъ товариществѣ? Мы рѣшились ѣхать на весь день къ помѣщику селенія, Соколовскому“.

Но черезъ нѣсколько дней опять начинается трудовая жизнь сторожевыхъ пикетовъ: всю ночь на сѣдлѣ, въ разъѣздахъ, потому что тутъ подъ бокомъ страшный непріятель, который уже поработилъ и унизилъ всю Европу—надо сторожить зорко.

„Мы стоимъ въ бѣдной деревушкѣ, на берегу Наревы. Каждую ночь лошади осѣдланы, мы одѣты и вооружены; съ полуночи половина эскадрона садится на лошадей и выѣзжаетъ за селеніе содержать пикетъ и дѣлать разъѣзды; другая остается въ готовности на лошадяхъ. Днемъ мы спимъ. Этотъ родъ жизни очень похожъ на описаніе, которое дѣлаетъ мертвецъ Жуковского:

Близъ Наревы домъ мой тѣсной:
Только мѣсяцъ поднебесной.
Надъ долиною взойдетъ,
Лишь полночный часъ пробьетъ,
Мы коней своихъ сѣдлаемъ,
Темны кельи покидаемъ.

„Это точь-въ-точь мы, литовскіе уланы: всякую полночь сѣдлаемъ, выѣзжаемъ, и домикъ, который занимаемъ—тѣсенъ, малъ и близъ самой Наревы. О, сколько это положеніе опять дало жизни всѣмъ моимъ ощущеніямъ! Сердце мое полно чувствъ, голова мыслей, плановъ, мечтаній, предположеній; воображеніе мое рисуетъ мнѣ картины, блистающія всѣми

лучами и цвѣтами, какіе только есть въ царствѣ природы и возможностей. Какая жизнь, какая полная, радостная, дѣятельная жизнь! Какъ сравнить ее съ тою, какую вела я въ Домбровицѣ! Теперь каждый день, каждый часъ я живу и чувствую, что живу: о, въ тысячу, въ тысячу разъ превосходи́те теперешній родъ жизни! Балы, танцы, волокитства, музыка... О, Боже, какія пошлости, какія скучныя занятія!“

Дѣйствительно, странное, непостижимое существо эта дѣвушка.

Она переноситъ все—и не жалуется. Какъ мономанъ извѣстной идеи она и тѣло и нервы отдаетъ въ кабалу этой идеѣ—и то, отъ чего другому больно, не причиняетъ ей боли.

Эскадронъ переходитъ черезъ узкую плотину. Переходъ затрудненъ, и эскадронъ Дуровой стѣсненъ другими, напирающими сзади, кавалеристами. Лошади бьются, бѣсятся, стоятъ на дыбахъ. Дѣвушку вдавили въ самую середину кавалерійской свалки. „Хотя я и видѣла,—говоритъ она,—какъ стоящая передо мною лошадь располагалась меня ударить своею, хорошо подкованною, ногою, но во власти моей было только съ мужествомъ дожидаться и вытерпѣть этотъ ударъ. Отъ жестокой боли я вздохнула отъ глубины души!..“ Ногу разнесло—и бѣдный кавалеристъ, долженствовавшій бы носить юбку вмѣсто рейтузъ, смачиваетъ раненую ногу водкою, своею ежедневною порціею, которой до сихъ поръ она не знала употребленія. Ногу такъ разнесло, что едва-едва дѣвушка спаслась отъ ампутированія больного члена.

Наши войска отступаютъ передъ страшнымъ Наполеономъ. Идутъ безъ дороги, лѣсами, болотами... А сзади идетъ битва... Уланы пока еще не въ дѣлѣ.

Дурова уже старый солдатъ. Она умѣетъ командовать, знаетъ всѣ порядки, всѣ тонкости и хитрости военнаго дѣла, даже партизанскаго. Она разставляетъ ведеты, смѣняетъ ихъ, по ночамъ рыщетъ отъ ведета къ ведсту, чтобъ все было въ порядкѣ, чтобъ страшный непріятель не захватилъ ихъ врасплохъ...

Ведеть она отрядъ—но надо, чтобъ непріятель не услышалъ бряцанья кавалерійской сбруи. „Я приказываю уланамъ ѣхать по травѣ, прижать сабли колѣномъ къ сѣдлу и не очень сближаться одному съ другимъ, чтобъ не бренчать стремями“...

И это дѣвушка, попавшая въ наполеоновскую бойню изъ-за плетень кружевъ..

А Наполеонъ все напираетъ, все подвигается вглубь Россіи. Русскія войска все отступаютъ.

Все тяжеле и тяжеле становится для необыкновенной дѣвушки эта воинская страда. Она не спитъ ни дни, ни ночи, не сходитъ съ коня, то рыщетъ съ ведетами, то съ квартирьерами отводитъ мѣста подъ лагери, то летаетъ на своемъ скакунѣ, какъ ординарецъ.

Наконецъ, не выносить этого мыканья слабый организмъ молоденькой дѣвушки—и вотъ какъ трогательно ея признаніе въ томъ, что разъ она не вынесла гонки по полямъ и нечаянно заспалась въ своей временной квартиркѣ.

Три дня и три ночи она не смыкала глазъ, пока занимали мѣсто подъ

Кадневымъ. „Я не въ силахъ долѣе выносить,— говоритъ она въ своемъ журналѣ,— возвратясь изъ лагеря въ мѣстечко, я послала улана на дорогу смотрѣть, когда покажется полкъ, и дать мнѣ знать, а сама пошла въ квартиру въ намѣреніи что-нибудь съѣсть и послѣ заснуть, если удастся. Въ ожиданіи обѣда легла я на хозяйскую постель и болѣе ничего уже не помню... Проснувшись поздно вечеромъ, я очень удивилась, что дали мнѣ такъ долго спать—въ горницѣ не было ни огня, ни людей. Я поспѣшно встала и, отворя дверь въ сѣни, кликнула своего унтеръ-офицера. Онъ явился. „Развѣ полкъ не пришелъ еще?“—спросила я. Онъ отвѣчалъ, что нѣтъ, а что пришелъ только одинъ кіевскій драгунскій. — „Для чего-жъ вы не разбудили меня?“— „Не могли, ваше благородіе,—вы спали сномъ смертнымъ; мы сначала будили васъ тихонько, но послѣ трясли за руки, за плечи, посадили васъ, поднесли свѣчу къ самымъ глазамъ вашимъ, наконецъ, брызнули холодною водою въ лицо ваше; все напрасно—вы даже не пошевелились. Хозяйка, при которой все это происходило, заплакала, увидя, что мы, не успѣвъ разбудить васъ, положили опять въ постель. „Бѣдное дитя! Онъ какъ мертвый! Зачѣмъ вы берете такихъ молодыхъ въ службу?“ Она, наклонясь къ вамъ, прислушивалась, дышите ли вы“...

И между тѣмъ все еще не разоблачалась тайна ея пола. Она тихонько отъ своихъ товарищей офицеровъ и отъ солдатъ ходитъ на рѣку купаться, и никто не подозрѣвалъ, что подъ уланскими рейтузами и грубымъ мундиромъ—непривычное къ этой жесткой одеждѣ тѣло женщины, знавшее только кисею да шелкъ.

А Наполеонъ все гонится по пятамъ. Нѣтъ отдыху нашимъ войскамъ. То тамъ, то здѣсь происходятъ стычки, партизанская расправа. Но армія все бѣжитъ вглубь своего неизмѣримаго отечества.

Дѣвушка изнемогаетъ, и всего больше боится, что это изнеможеніе отъ нечеловѣческаго труда припишутъ ея полу, ея хрупкости, неспособности, недостатку энергіи.

„Охота же такъ бѣжать!“—воскликаетъ она въ своихъ любопытныхъ запискахъ...— „Я не знаю, что мнѣ дѣлать. Смертельно боюсь изнемочь. Впослѣдствіи это припишутъ не чрезмѣрности столькихъ трудовъ, но слабости моего пола. Мы идемъ и день и ночь. Отдохновеніе наше состоитъ въ томъ только, что, остановя полкъ, позволятъ намъ сойти съ лошадей на полчаса. Уланы тотчасъ ложатся у ногъ своихъ лошадей, а я, облокотясь на сѣдло, кладу голову на руку, но не смѣю закрыть глазъ, чтобъ невольный сонъ не овладѣлъ мною. Мы не только не спимъ, но и не ѣдимъ. Спѣшимъ куда-то! Ахъ, бѣдный нашъ полкъ!“

„Чтобъ прогнать сонъ, меня одолевашій, я встаю съ лошади и иду пѣшкомъ, но силы мои такъ изнурены, что я опять спѣшу съѣсть на лошади и съ трудомъ поднимаюсь на сѣдло. Жажда палитъ мою внутренность. Воды нѣтъ нигдѣ, исключая канавъ, по бокамъ дороги. Я сошла опять съ лошади и съ величайшимъ неудобствомъ достала на самомъ днѣ канавы отвратительной воды, теплой и зеленой. Я набрала ее въ бутылку, и,

сѣвъ съ этимъ сокровищемъ на лошадь, везла еще верстъ пять, держа бутылку передъ собою на сѣдлѣ, не имѣя рѣшимости ни выпить, ни бросить эту гадость. Но чего не дѣлаетъ необходимость! Я кончила тѣмъ, что выпила адскую влагу“...

„Если-бъ я имѣла милліоны, — говоритъ она далѣе, — отдала бы ихъ теперь всѣ за позволеніе уснуть. Я въ совершенномъ изнеможеніи. Всѣ мои чувства жаждутъ успокоенія... Мнѣ вздумалось взглянуть на себя въ свѣтлую полоску своей сабли (вмѣсто зеркала!) — лицо у меня блѣдно, какъ полотно, и глаза потухли! Съ другими нѣтъ такой сильной перемѣны, и вѣрно отъ того, что они умѣютъ спать на лошадяхъ; я не могу...”

„Въ эту ночь Подъямпольскій бранилъ меня и Сазарова за то, что люди нашихъ взводовъ дремлютъ, качаются въ сѣдлѣ и роняютъ каски съ головъ. Полчаса спустя послѣ этого выговора, мы увидѣли его самого ѣдущаго съ закрытыми глазами и весьма крѣпко спящаго на своемъ шагистомъ конѣ. Утѣшаясь этимъ зрѣлищемъ, мы поѣхали рядомъ, чтобъ увидѣть, чѣмъ это кончится; но Сазаровъ хотѣлъ непременно отмстить ему за выговоръ: онъ прищипорилъ свою лошадь и проскакалъ мимо Подъямпольскаго; конь его бросился со всѣхъ ногъ, а мы имѣли удовольствіе видѣть испугъ и торопливость, съ какою Подъямпольскій спѣшилъ подобрать поводъ, выпавшіе изъ руки его“.

Но вотъ русскія войска уже передъ Смоленскомъ. Имъ объявляютъ манифестъ, что „государь не удерживаетъ болѣе мужества войскъ и даетъ свободу отмстить непріятелю за скуку противувольнаго отступленія, до сего времени необходимаго“.

И вотъ дѣвушка заноситъ въ свой любопытный дневникъ:

„Я опять слышу грозный, величественный гулъ пушекъ! Опять вижу блескъ штыковъ. Первый годъ моей воинственной жизни воскресаетъ въ памяти моей... Нѣтъ! Трусъ не имѣетъ души, — иначе какъ могъ бы онъ видѣть, слышать все это и не пламенѣть мужествомъ? Часа два дожидались мы приказанія подъ стѣнами крѣпости Смоленской; наконецъ, велѣно намъ идти на непріятеля. Жители города, видя насъ проходящихъ въ порядкѣ, устройствѣ, съ геройскою осанкою и увѣренностію въ своихъ силахъ, провожали насъ радостными восклицаніями; нѣкоторые, а особливо старики, непрерывно повторяли: „Помоги Богъ! Помоги Богъ!“ какимъ-то необыкновенно торжественнымъ голосомъ, который и заставлялъ меня содрогаться и приводилъ въ умиленіе“.

Подъ Смоленскомъ дѣвушка участвовала въ битвѣ и была на волосокъ отъ смерти.

Когда ея эскадрону велѣно было повернуть отъ непріятеля, чтобъ завлечь его далѣе, въ середину русскаго войска, Дурова скакала позади своего эскадрона, надѣясь на быстрый бѣгъ своего коня.

„Удерживая коня, — говоритъ она, — неслась я большимъ галопомъ вслѣдъ скачущаго эскадрона, но, слыша близко за собою скокъ лошадей и увлекаясь невольнымъ любопытствомъ, не могла не оглянуться. Любопытство

мое было вполне награждено: я увидѣла скачущихъ за мною на аршинъ только отъ крестца моей лошади трехъ или четырехъ непріятельскихъ драгунъ, старавшихся достать меня палаши въ спину. При семъ видѣ, я хотя не прибавила скорости моего бѣга, но сама не знаю для чего закинула саблю за спину остриемъ вверхъ“.

Дѣвушка, однако, спаслась.

А вотъ описаніе случая, гдѣ видна такая трогательная заботливость о Дуровой ея начальника, ротмистра Подъямпольскаго, которому такъ жаль и страшно было за нѣжнаго мальчика (какъ ему казалось) въ этомъ царствѣ ужаса и смерти.

Войска стоятъ другъ противъ друга. Идетъ артиллерійское дѣло въ перемену съ ружейнымъ огнемъ.

„На этомъ мѣстѣ мы будемъ до завтра (говоритъ дѣвушка). Бутырскій полкъ смѣненъ другимъ, и теперь пули не только долетаютъ до насъ, но и ранятъ. Подъямпольскому это очень непріятно. Наконецъ, наскуча видѣть, что у насъ то того, то другого уводили за фронтъ, онъ послалъ меня въ Смоленскъ къ Штакельбергу сказать о критическомъ положеніи нашемъ, и спросить, что онъ прикажетъ дѣлать? Я исполнила, какъ было велѣно: сказала Штакельбергу, что у насъ много ранено людей, и спросила, какое будетъ его приказаніе? „Стойте, — отвѣчалъ Штакельбергъ, стойте, не трогаясь ни на шагъ съ мѣста. Странно, что Подъямпольскій присылаетъ объ этомъ спрашивать!“ Я съ великимъ удовольствіемъ повезла этотъ прекрасный отвѣтъ своему ротмистру. „Что, — кричалъ мнѣ издали Подъямпольскій, — что велѣно?“ — „Стойте, ротмистръ!“ — „Ну, стойте, такъ стойте“, — сказалъ онъ спокойно, и оборотясь къ фронту съ тѣмъ неустрашимымъ видомъ, который такъ ему свойственъ, хотѣлъ было иѣсколько ободрить солдатъ, но къ удовольствію своему увидѣлъ, что они не имѣютъ въ этомъ нужды: взоры и лица храбрыхъ уланъ были веселы: недавняя побѣда одушевила черты ихъ геройствомъ. Весь ихъ видъ говорилъ: бѣда непріятелю! Къ вечеру второй полуэскадронъ спѣшился, и я, имѣя тогда свободу отойти отъ своего мѣста, пошла къ ротмистру спрашивать о всемъ томъ, что въ этотъ день казалось мнѣ непонятнымъ. Подъямпольскій стоялъ у дерева, подперши голову рукою, и смотрѣлъ безъ всякаго участія на перестрѣлку; примѣтно было, что мысль его не здѣсь. „Скажите мнѣ, ротмистръ, для чего вы посылали къ Штакельбергу меня, а не унтеръ-офицера? Не правда ли, что вы хотѣли укрыть меня отъ пуль?“ — „Правда, — отвѣчалъ задумчиво Подъямпольскій, — ты такъ еще молодъ, такъ невинно смотришь, и среди сихъ страшныхъ сценъ такъ веселъ и безпеченъ. Я видѣлъ, какъ ты скакалъ позади всего эскадрона во время безпорядочнаго бѣгства нашего отъ кирпичныхъ сараевъ, и мнѣ казалось, что я вижу барашка, за которымъ гонится стая волковъ. У меня сердце обливается кровью при одной мысли видѣть тебя убитымъ. Не знаю, Александровъ, отчего мнѣ кажется, что если тебя убьютъ, то это будетъ убійство противное законамъ. Дай Богъ, чтобъ я не былъ этому свидѣ-

телемъ! Ахъ, пуля не разбираетъ. Она пробиваетъ равно какъ грудь стараго воина, такъ и сердце цвѣтущаго юноши“.—Меня удивило такое грустное расположеніе духа моего ротмистра и необыкновенное участіе ко мнѣ, какого прежде я не замѣчала; но, вспомня, что у него братъ, нѣжно имъ любимый, остался въ мариупольскомъ полку одинъ, предоставленный произволу судьбы и собственнаго разума, нашла весьма натуральнымъ, что мой видъ незрѣлаго юноши и опасности войны привели ему на память брата, дѣтскій возрастъ его и положеніе, въ какомъ онъ можетъ случиться при столь жаркой войнѣ“.

Не дрогнуло сердце дѣвушки и передъ страшною бородинскою битвою. Она дралась вмѣстѣ съ прочими, изъ коихъ одни погибли, а другіе уцѣлѣли.

Заглянемъ въ ея дневникъ.

„26-е августа. Адскій день! Я едва не оглохла отъ дикаго, неумолкаемаго рева обѣихъ артиллерій. Ружейныя пули, которыя свистали, визжали, шипѣли и, какъ градъ, осыпали насъ, не обращали на себя ничьего вниманія, даже и тѣхъ, кого ранили—и они не слышали ихъ: до нихъ ли было намъ!... Эскадронъ нашъ ходилъ нѣсколько разъ въ атаку“... и т. д.

Дурова пишетъ, что она зябла весь бородинскій день, хоть дѣло и было жаркое—вѣтеръ пронизывалъ насквозь; самъ Наполеонъ получилъ насморкъ—историческій насморкъ, помѣшавшій ему выиграть роковую битву...

Дѣвушка получила контузію въ ногу отъ ядра—и все оставалась въ рядахъ, пока ее не отослали къ прочимъ раненымъ.

Въ высшей степени интересно знакомство дѣвушки съ знаменитымъ „дѣвушкою Кутузовымъ“, отдавшимъ Москву французамъ.

— Что тебѣ надобно, другъ мой?—спросилъ Кутузовъ, смотря пристально на явившагося къ нему молоденькаго, безусаго уланика.

— Я желалъ бы имѣть счастье быть вашимъ ординарцемъ во все продолженіе кампаніи и пріѣхалъ просить васъ объ этой милости,—отвѣчалъ молоденькій уланикъ.

— Какая же причина такой необыкновенной просьбы, а еще болѣе способа, какимъ предлагаете ее?

Дѣвушка рассказала, что заставило ее принять эту рѣшимость, и увлекаясь воспоминаніемъ незаслуженнаго оскорбленія въ полку за невольное несоблюденіе формальности, говорила съ чувствомъ, жаромъ и въ смѣлыхъ выраженіяхъ.

— Я рѣдилась и выросла въ лагерѣ,—говорила она между прочимъ:—я люблю военную службу со дня моего рожденія, посвятила ей жизнь мою навсегда, готова пролить всю кровь свою, защищая пользу государя, котораго чту какъ Бога, и, имѣя такой образъ мыслей и репутацію храбраго офицера, я не заслуживаю быть угрожаемъ смертію...

Она остановилась, какъ сама признается, отчасти отъ полноты чувствъ, частью же отъ замѣшательства: она замѣтила, что при словѣ „храбраго офицера“ на лицѣ главнокомандующаго показалась легкая усмѣшка. Это

заставило дѣвушку покраснѣть: она угадала мысль Кутузова, и чтобъ оправдаться, рѣшилась сказать о себѣ все.

— Въ прусскую кампанію, ваше высокопревосходительство, всѣ мои начальники такъ много и такъ единодушно хвалили смѣлость мою и даже самъ Буксгевденъ называлъ ее „безпримѣрною“, что послѣ всего этого я считаю себя въ правѣ назваться храбрымъ, не опасаясь быть сочтенъ за самохвала.

— Въ прусскую кампанію! Развѣ вы служили тогда? Который вамъ годъ? Я полагалъ, что вы не старѣе шестнадцати лѣтъ.

Дѣвушка сказала, что ей уже 23-й годъ и что въ прусскую кампанію она служила въ конно-польскомъ полку.

— Какъ ваша фамилія?—спросилъ поспѣшно главнокомандующій.

— Александровъ.

Кутузовъ всталъ и обнялъ дѣвушку.

— Какъ я радъ,—говорилъ старикъ:—что имѣю, наконецъ, удовольствіе узнать васъ лично! Я давно уже слышалъ объ васъ. Оставайтесь у меня, если вамъ угодно,—мнѣ очень пріятно будетъ доставить вамъ нѣкоторое отдохновеніе отъ тягости трудовъ военныхъ. Что-жъ касается до угрозы разстрѣлять васъ,—прибавилъ Кутузовъ, усмѣхаясь,—то вы напрасно приняли ее такъ близко къ сердцу: это были пустые слова, сказанныя въ досадѣ. Теперь пойдите къ дежурному генералу Коновницину и скажите ему, что вы у меня безсмѣннымъ ординарцемъ.

Дѣвушка пошла было, но Кутузовъ позвалъ ее.

— Вы хромаете? Отчего это?

Дурова сказала, что въ сраженіи подъ Бородинымъ получила контузію отъ ядра.

— Контузію отъ ядра! И вы не лѣчитесь! Сейчасъ скажите доктору, чтобъ осмотрѣлъ вашу ногу.

Дурова отвѣчала, что контузія была очень легкая и что раненая нога почти не болитъ.

„Говоря это (прибавляетъ дѣвушка), я лгала: нога моя болѣла жестоко и была вся багровая“.

Немного послѣ она пишетъ:

„Лихорадка изнуряетъ меня. Я дрожу, какъ осиновый листъ... Меня посылаютъ двадцать разъ на день въ разные мѣста. На бѣду мою, Коновницинъ вспомнилъ, что я, бывъ у него на ординарцахъ, оказалась отличнѣйшимъ изъ всѣхъ, тогда бывшихъ при немъ. „А, здравствуйте, старый знакомый!“—сказалъ онъ, увидя меня на крыльцѣ дома, занимаемаго главнокомандующимъ, и съ того дня не было уже мнѣ покоя: куда только нужно было послать скорѣе, Коновницинъ кричалъ: „Уланскаго ординарца ко мнѣ!“—и бѣдный уланскій ординарецъ носился какъ блѣдный вампиръ отъ одного полка къ другому; а иногда и изъ одного крыла арміи къ другому“.

Наконецъ, Кутузовъ велѣлъ позвать къ себѣ этого блѣднаго ординарца.

— Ну, что,—сказалъ онъ, взявъ дѣвушку за руку, какъ только она

вошла:—покойнѣ ли у меня, нежели въ полку? Отдохнулъ ли ты? Что твоя нога?

Дѣвушка принуждена была сказать правду, что нога болитъ до нестерпимости, что отъ этого у нея всякій день лихорадка, и что она машинально только держится на лошади, по привычкѣ, но что силъ у нея нѣтъ: „и за пятилѣтняго ребенка“.

— Поѣзжай домой,—сказалъ главнокомандующій, смотря на дѣвушку съ отеческимъ состраданіемъ: — ты въ самомъ дѣлѣ похудѣла и ужасно блѣдна. Поѣзжай, отдохни, вылѣчись и пріѣзжай обратно.

„При семъ предложеніи,—говоритъ Дурова,—сердце мое стѣснилось“.

— Какъ мнѣ ѣхать домой, когда ни одинъ человѣкъ теперь не оставляетъ арміи?—сказала она печально.

— Что-жъ дѣлать! Ты боленъ. Развѣ лучше будетъ, когда останешься гдѣ-нибудь въ лазаретѣ? Поѣзжай! Теперь мы стоимъ безъ дѣла, можетъ быть, и долго еще будемъ стоять здѣсь: въ такомъ случаѣ успѣешь застать насъ на мѣстѣ.

„Я видѣла необходимость (пишетъ Дурова) послѣдовать совѣту Кутузова: ни одной недѣли не могла бы я долѣе выдерживать трудовъ военной жизни“.

— Позвольте ли, ваше высокопревосходительство, привезть съ собою брата моего?—спросила она.—Ему уже четырнадцать лѣтъ. Пусть онъ начнетъ военный путь свой подъ начальствомъ вашимъ.

— Хорошо, привези,—сказалъ Кутузовъ:—я возьму его къ себѣ и буду ему вмѣсто отца.

Черезъ два дня послѣ этого разговора, Кутузовъ опять потребовалъ къ себѣ Александрова—дѣвушку.

— Вотъ подорожная и деньги на прогоны,—сказалъ онъ, подавая то и другое:—поѣзжай съ Богомъ. Если въ чемъ будешь имѣть надобность, пиши прямо ко мнѣ, я сдѣлаю все, что отъ меня будетъ зависѣть. Прощай, мой другъ.

„Великій полководецъ обнялъ меня съ отеческою нѣжностію“,—прибавляетъ дѣвушка въ своемъ дневникѣ.

И вотъ блѣдный больной офицерикъ скачетъ домой. Путь его лежитъ на Калугу, на Казань, на Каму—къ отцу.

„Лихорадки и телѣга трясутъ меня безъ пощады (читаемъ мы въ дневникѣ дѣвушки). У меня подорожная курьерская, и это причиною, что всѣ ямщики, не слушая моихъ приказаній ѣхать тише, скачутъ сломя голову. Машиновые лампасы и отвороты мои столько пугаютъ ихъ, что они, хотя и слышатъ, какъ я говорю, садясь въ повозку—„ступай рысью“, но не вѣрятъ ушамъ своимъ, и, заставя лихихъ коней рвануть разомъ съ мѣста, не прежде останавливаютъ ихъ, какъ у крыльца другой станціи“.

Промчались мимо Калуги, Казани. Вездѣ разспросы о Москвѣ, о войскѣ, о Наполеонѣ...

А вотъ и знакомыя мѣста—Кама, свой городъ.

„Наконецъ, я дома! Отецъ принялъ меня со слезами. Я сказала, что пріѣхала къ нему отогрѣться. Батюшка плакалъ и смѣялся, рассматривая шинель мою, не имѣющую никакого уже цвѣта, прострѣленную, подожженную и прожженную до дыръ. Я отдала ее Натальѣ (старой служанкѣ), которая говоритъ, что сошьетъ себѣ капоть изъ нея“.

Выздоровѣвъ и отдохнувъ у отца, дѣвушка опять хочетъ покинуть его и даже беретъ у него сына.

Весной они выѣхали къ войску. Впереди опять трудъ, опасности, вѣроятная возможность смерти. Но много еще энергіи въ этомъ молодомъ существѣ...

Она въ Москвѣ—въ сожженной, разрушенной. Въ Москвѣ она узнаетъ, что Кутузова уже не стало.

Надо вновь скакать, догонять армію, которая шла брать Парижъ, освобождать Европу.

Дѣвушка показываетъ брату развалины Смоленска, находитъ то мѣсто, гдѣ французскіе палаши махали за ея спиной.

Доскакали до Слонима.

Но таинственное имя необыкновенной дѣвушки уже пронеслось по всей Россіи. Объ ней говорятъ, ею интересуются, объ ней рассказываютъ сказки; однако, ее никто не видалъ въ лицо, никто ея не знаетъ, никто не догадывается, что сказочная дѣвушка, предметъ толковъ всей Россіи — это и есть тотъ самый молоденькій, блѣдный уланикъ, котораго всѣ принимаютъ за мальчика, за слишкомъ юнаго офицера, успѣвшаго, однако, получить солдатскаго Георгія.

„Замѣчаю я,—говоритъ она уже въ 1813 году,—что носится какой-то глухой, невнятный слухъ о моемъ существованіи въ арміи. Всѣ говорятъ объ этомъ, но никто ничего не знаетъ; всѣ считаютъ возможнымъ, но никто не вѣритъ. Мнѣ не одинъ уже разъ рассказывали собственную мою исторію со всѣми возможными искаженіями: одинъ описывалъ меня красавицею, другой уродомъ, третій старухою, четвертый давалъ мнѣ гигантскій ростъ и звѣрскую наружность, и такъ далѣе. Судя по симъ описаніямъ, я могла бы быть увѣренною, что никогда ничьи подозрѣнія не остановятся на мнѣ, если-бъ одно обстоятельство не угрожало обратить, наконецъ, на меня замѣчанія моихъ товарищей: мнѣ должно носить усы, а ихъ нѣтъ, и разумѣется—не будетъ. Наши офицеры уже часто смѣются мнѣ, говоря: „А что, братъ, когда мы дождемся твоихъ усовъ?“ Разумѣется, это шутки; они не полагаютъ мнѣ болѣе восемнадцати лѣтъ; но иногда примѣтная вѣжливость въ ихъ обращеніи и скромность въ словахъ даютъ мнѣ замѣтить, что если они не совсѣмъ вѣрятъ, что я никогда не буду имѣть усовъ, по крайней мѣрѣ сильно подозрѣваютъ, что это можетъ быть. Впрочемъ, сослуживцы мои очень дружески расположены ко мнѣ и весьма хорошо мыслятъ; я ничего не потеряю въ ихъ мнѣніи: они были свидѣтелями и товарищами ратной жизни моей“.

Изъ Брестъ-Литовска она вмѣстѣ съ войскомъ направляется за границу.

Не станемъ слѣдить за ея походною жизнью: въ ней такъ много чего-то необычайнаго, романтическаго, что всего и передать невозможно въ сжатомъ очеркѣ. Притомъ же записки ея составляютъ цѣлыхъ три тома.

Часть войска подошла къ Модлину. Дѣвушка со своимъ эскадрономъ содержитъ сторожевые пикеты.

„Вчера,—говоритъ она,—полковникъ прислалъ мнѣ бутылку превосходныхъ сливокъ въ награду за маленькую сшибку съ непріателемъ и за четырехъ плѣнныхъ“.

Послѣ этого она стоитъ съ войскомъ подъ Гамбургомъ. Въ Богеміи дѣвушка описываетъ красоту тамошнихъ горъ. Въ Прагѣ русскіе войска привлекаютъ толпы.

Подъ Гамбургомъ до нихъ дошли вѣсти о взятіи Парижа союзными войсками. Эта вѣсть заставила Даву сдать ту часть войска, гдѣ находилась наша героиня.

Военныя дѣйствія на время прекращаются.

Дурова съ однимъ товарищемъ офицеромъ путешествуетъ по Даніи, по Голштиніи. Съ большою занимательностью рассказываетъ она разные случаи изъ своихъ поѣздокъ по этой послѣдней странѣ.

Затѣмъ войскамъ велѣно возвратиться въ Россію. Дуровой особенно грустно было разставаться съ голштинскимъ гостепріимствомъ.

Ужъ не полюбила ли она тамъ кого? А что-то похоже на это.

„Голштинія, гостепріимный край, прекрасная страна!—воскликаетъ она, конечно, не даромъ.—Никогда не забуду я твоихъ садовъ, цвѣтниковъ, твоихъ свѣтлыхъ, прохладныхъ залъ, честности и добродушія твоихъ жителей. Ахъ, время, проведенное мною въ семъ цвѣтущемъ саду, было одно изъ счастливейшихъ въ моей жизни!..

„Я пришла къ полковнику сказать, что полкъ готовъ къ выступленію. Полковникъ стоялъ въ задумчивости передъ зеркаломъ и причесывалъ волосы, кажется, не замѣчая этого. „Скажите, чтобъ полкъ шелъ; я остаюсь еще на полчаса“,—сказалъ онъ, тяжело вздохнувъ.—„О чемъ вы вздохнули, полковникъ? Развѣ вы не охотно возвращаетесь на родину?“—спросила я. Вмѣсто отвѣта, полковникъ еще вздохнулъ. Выходя отъ него, я увидѣла меньшую баронессу, одну изъ хозяекъ нашего полковника, прекрасную дѣвицу лѣтъ двадцати-четырехъ, всю расплаканную. Теперь я понимаю, отчего полковнику не хочется идти отсюда... Да, въ такомъ случаѣ родина—Богъ съ ней!“

Покрытая славою войска воротились въ Россію. Наполеона забросили въ такую даль, куда воронъ костей не заноситъ.

Приходилось и Дуровой прощаться съ боевой жизнью, съ конемъ и товарищами.

Отецъ истосковался по ней и зоветъ ее къ себѣ.

„Мнѣ казалось,—пишетъ она, заканчивая свою эпопею,—что вовсе не надобно никогда оставлять меча, и особливо въ мои лѣта. Что я буду дѣлать дома? Такъ рано осудить себя на монотонныя занятія хозяйствомъ.

Но отецъ хочетъ этого—его старость. Ахъ, нечего дѣлать! Надобно сказать всему прости — и свѣтлому мечу, и доброму коню, друзьямъ, веселой жизни, ученью, парадамъ, конному строю, скачкѣ, рубкѣ, всему, всему конецъ!.. Все затихаетъ, какъ не бывало, и одни только незабвенныя воспоминанія будутъ сопровождать меня на дикіе берега Камы, въ тѣ мѣста, гдѣ цвѣло дѣтство мое, гдѣ я обдумывала необыкновенный планъ свой...

„Минувшее счастье, слава, опасности, шумъ, блескъ, жизнь, кипящая дѣятельностью—прощайте!..“

Дальнѣйшая судьба этой женщины такъ же замѣчательна, хотя уже и теряетъ тотъ высокій драматизмъ, которымъ поражались умъ и воображеніе ея современниковъ и который продолжаетъ поражать и насъ, имѣющихъ передъ своими глазами женщинъ иного закала, иныхъ стремленій, исходящихъ, однако, изъ того же нравственнаго источника—изъ врожденной человѣку любви къ свободѣ, къ самостоятельному труду, къ самостоятельному распоряженію своею личностью и своею волею.

Дурова—это прародительница всѣхъ новыхъ русскихъ женщинъ, всего этого множества дѣвушекъ, ищущихъ знанія, труда, посѣщающихъ публичную библіотеку, лекціи профессоровъ, медицинскіе курсы, жаждущихъ поступленія въ университетъ, въ акушерки, въ доктора, оставляющихъ свои дома, свои примитивныя женскія занятія, бросающихъ родину, чтобы учиться тамъ, гдѣ это представляетъ болѣе удобствъ, больше приспособленности, хотя, повидимому, дорога, которою шла Дурова, такъ широко расходится съ тою дорогою, по которой пошло современное поколѣніе русскихъ женщинъ.

Дурова была первая русская женщина, которая своею собственною жизнью доказала, что съ твердою волею и для женщины, какъ и для мужчины, все достижимо, и что если еще есть противники истиннаго женскаго вочеловѣченія, утверждающіе, будто бы для женщины не все то возможно, что возможно для мужчины, то, напротивъ, защитники женщины, всегда могутъ указать имъ на примѣръ Дуровой и сказать, что то, что возможно для мужчины, возможно и для женщины, и что нѣтъ ничего, доступнаго мускульнымъ и духовнымъ силамъ мужчины, что не было бы, въ одинаковой мѣрѣ, не недоступно и для женщины.

Шестнадцать лѣтъ, когда всякая другая дѣвушка не рискуетъ еще снять съ себя коротенькаго платица и считаетъ слишкомъ дерзкимъ выѣздъ на балъ, когда сверстницы ея не ходятъ даже въ церковь безъ провожатыхъ, безъ нянекъ, гувернантокъ и маменекъ, подъ предлогомъ, что это неприлично и небезопасно, Дурова, этотъ полудикій ребенокъ, учившійся на мѣдные гроши, не зная ни свѣта, ни людей, въ темную ночь скачетъ глухимъ боромъ, верхомъ на дикомъ конѣ, для соединенія съ казачьимъ полкомъ — и не падаетъ духомъ при всѣхъ трудностяхъ, какія встрѣчаетъ въ дальнѣшемъ ходѣ своей жизни.

Вспомнимъ также, что это было много лѣтъ назадъ, когда взглядъ на призваніе женщины былъ еще уже, еще исключительнѣе, чѣмъ теперь.

Каждый рискованный шагъ, каждое неосторожное слово, движеніе—могутъ выдать тайну ея пола, разрушить „необыкновенный планъ“ ея—и она не выдаетъ себя ничѣмъ.

Она слышитъ кругомъ себя грубыя шутки казаковъ, далеко недвусмысленныя выраженія своихъ товарищей боевой жизни, далеко недвусмысленныя поступки ихъ, потому что они въ своемъ мужскомъ кружкѣ ничѣмъ не стѣснялись,—и хоть ея дѣвственное сердце сжимается, краска молодого лица обличаетъ ея тревогу, ея дѣвственную стыдливость и подчасъ брезгливость,—но она все-таки не падаетъ духомъ.

Старыя женщины, видя въ ней ребенка, пустившагося въ такой рискованный путь, ласкаютъ ее, жалѣютъ ее одинокую, какъ бы осиротѣлую; дѣвушка глотаетъ тайкомъ слезы, но духомъ не падаетъ.

Цѣлую зиму, едва вырвалась изъ дому въ одномъ „казацкомъ чекменикѣ“, она въ походѣ ищетъ полка, рискуетъ попасть въ „вербунку“, терпятъ униженія—и не отступаетъ отъ своего „необыкновеннаго плана“.

Обращаютъ ее въ простого солдата, одѣваютъ въ грубую солдатскую форму, надѣваютъ на нѣжныя ноги дѣвушки, словно желѣзные, казенныя сапоги, приковывающіе ее къ землѣ, цѣпляютъ къ ногамъ, привыкшимъ къ тонкимъ и мягкимъ ботинкамъ, желѣзныя, громко бряцающія, шпоры—и желѣзные эти сапожищи не должны жать ея нѣжную ногу, она должна принуждать себя не чувствовать боли ногъ, не слышать тяжести этихъ желѣзныхъ сапогъ—и не отступаетъ отъ своего „необыкновеннаго плана“.

Даютъ ей въ руку тяжелую дубовую уланскую, словно бревно, пику, заставляютъ дѣлать этимъ бревномъ всевозможныя эволюціи, способныя вывихнуть въ плечѣ самую здоровую, самую грубую мускулистую руку солдата, привыкшаго къ сохѣ и цѣпу—и это дубовое бревно не вывихиваетъ ея нѣжной руки, не заставляетъ ея отступить отъ своего необыкновеннаго плана.

Она голодаетъ по цѣлымъ суткамъ, питается картофелемъ, вырывае-мымъ ею же съ тяжелымъ трудомъ изъ земли, тогда какъ дома всякая Наталья горничная могла накормить свою барышню самыми лакомыми кушаньями, не спать ни дни, ни ночи—и не жалѣетъ о томъ, что промѣняла рабскую жизнь барышни на мучительную, но вольную жизнь улана.

Она тоскуетъ по своему отцѣ; мучать ее сомнѣнія и опасенія, что, быть можетъ, нѣжно любившій ее „батюшка“ встосковался по ней, боленъ, умеръ—и она заставляетъ свое сердце молчать, глаза—не плакать, и вихремъ бросается въ первую битву, подъ градъ пуль, картечи, ядеръ.

Первая битва, видъ раненыхъ и убитыхъ товарищей, кровь, весь этотъ адъ и ужасъ человѣческой рѣзни—не пугаютъ ея, сердце дѣвушки не только не коченѣетъ отъ ужаса, но оно полно мужества, и дѣвочка спасаетъ закаленныхъ въ бою товарищей, очертя голову бросается въ самыя жаркія сѣчи, вся пробитая дождемъ до рубашки, до тѣла—и не жалѣетъ о своемъ бѣлен-комъ, непромоchenномъ дождемъ платицѣ, которое бросила дома, не жалѣетъ

о своей одинокой, теплой постельке, брошенной въ домъ отца, въ своемъ спокойномъ, садовомъ флигелькѣ.

Сколько именъ, лицъ, міровыхъ событій проходитъ передъ ея глазами — несчастный Фридландъ, битва подъ Смоленскомъ, далѣе Бородино, Наполеонъ, Кутузовъ, Барклай-де-Толли; сколько мучительныхъ сомнѣній, тревоги, боязни; какіе контрасты въ положеніи — стоянки въ сырыхъ литовскихъ лачугахъ... спанье въ болотѣ... тамъ Петербургъ... кабинетъ государя... опять полкъ, жизнь на пикетахъ — отъ однихъ этихъ контрастовъ могла закружиться голова, подкоситься ноги; а дѣвушка, между тѣмъ, тверда на ногахъ, все переноситъ, все переживаетъ.

Семь лѣтъ она не знаетъ другого общества, кромѣ общества лихихъ, не совсѣмъ нѣжныхъ гусарскихъ и уланскихъ офицеровъ и солдатъ, которые передъ нею на распашку, не подозрѣвая ея пола.

Въ теченіе семи лѣтъ дѣвушка могла, наконецъ, и полюбить кого-либо изъ своихъ товарищей; но она и любить не смѣетъ.

Напротивъ, были случаи, что дѣвушки и молодыя женщины, принимая ее за молодого человѣка, привязывались къ ней, открывались ей въ любви, просили взаимности — и ей предстояла новая нравственная борьба, сожалѣніе о тѣхъ несчастныхъ, которыя принимали ее не за то, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ.

Нѣжное лицо ея горитъ на солнцѣ, осенній вѣтеръ и пыль чернятъ ея розовыя щеки; руки, привыкшія только къ иголкѣ, грубѣютъ отъ тасканья тяжелой пики, такой же тяжелой сабли, заступа, лошадиной скребницы — и женщина не жалѣетъ того, что для женщины дороже жизни — не жалѣетъ своей красоты, забываетъ даже то, что и она могла бы нравиться, быть любима.

Но уже въ дѣтствѣ она какъ бы притупила въ себѣ чувствительность женщины.

Вотъ, напр., что говоритъ она о своемъ дѣтствѣ.

Живя въ Малороссіи и часто гуляя по полямъ и лѣсамъ, она, если находила змѣю, тотчасъ же наступала на нее ногою, „наклонялась, брала ее осторожно рукою за шею, близъ самой головы, и держала, но не такъ крѣпко, чтобъ она задохлась, и не такъ слабо, чтобъ могла выскользнуть. Съ этимъ завиднымъ пріобрѣтеніемъ, — говоритъ она, — я возвращалась въ комнаты бабушки, и когда ея не было дома, то бѣгала за Гапкою, Хиврею, Вивдею, Миртою и еще нѣсколькими, такихъ же странныхъ именъ, дѣвками, которыя всѣ хотя были гораздо старше меня, но съ неистовымъ воплемъ старались укрыться куда попало отъ протянутой впередъ руки моей, въ которой рисовалась черная змѣя — въ настоящемъ смыслѣ рисовалась, потому что она то яростно шипѣла, выставляя что-то изо рта, то очень картинно обвивала хвостомъ мою руку, обнаженную до локтя, то опять развивала и махала имъ въ воздухѣ“.

Собираясь проститься навсегда со своею лагерною жизнью, со спаньемъ подъ открытымъ небомъ, она пишетъ:

„Я не знаю, какъ мнѣ привыкать будетъ жить въ комнатахъ. Мнѣ

кажется, что иначе (какъ въ полѣ) и не должно помѣщаться; по крайности такъ просторно, какъ на открытомъ воздухѣ, среди обширныхъ полей. Теперь мнѣ уже нисколько не смѣшно, что Торнези (товарищъ ея) брѣется, умывается и одѣвается на большой дорогѣ, по которой то идутъ полки, то скачутъ курьеры, и невѣжливая пыль облакомъ налетаетъ на его намыленную бороду. Я также просыпаюсь поутру, безъ малѣйшаго безпокойства, что открываю глаза на большомъ, столбовомъ трактѣ; встаю, скидаю галстухъ, мундиръ, подбираю рукава до самыхъ плечъ и умываюсь, то есть обливаю водою голову, лицо, руки, шею, и прежде нежели успѣю обтереть все это полотенцемъ, пыль налетитъ и сдѣлаетъ меня чернѣе, нежели я была до умыванья“.

Дѣвушка приходилось привыкать и не къ такимъ неудобствамъ. Волосы становятся дыбомъ при чтеніи хоть бы слѣдующихъ строкъ:

„Близъ нашего полка стоитъ Новороссійскій драгунскій полкъ. Мы послали къ своимъ сосѣдямъ просить чайника, чтобъ согрѣть воду. Усаковский принесъ его самъ, говоря, что и онъ будетъ пить съ нами; пришелъ и Стремоуховъ.

— „Вотъ еще какія затѣи! До чаю ли теперь! Можетъ быть, черезъ часъ ты будешь корчиться на самомъ этомъ мѣстѣ, на которомъ теперь грѣется твой чайникъ.

— „Тогда то и будетъ,—отвѣчалъ добрый Усаковский,—а теперь мы напьемся чаю.

„Однако-жъ мы не напились чаю: вода только вскипѣла, раздалось: „мундштучь!—садись“! Вмигъ воду вылили; все пришло въ движеніе, въ порядокъ; все выстроилось, выровнялось, и прежде нежели тронулось съ мѣста, ядра начали скакать по фроту нашему и драгунскому, и—увы!—Усаковский въ самомъ дѣлѣ корчился съ полминуты съ расшибленной головой на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ кипѣлъ его чайникъ...

„Всякій вечеръ мы сходимся къ огню, всѣ кто уцѣлѣетъ въ продолженіе дня. Если кого уже не станетъ въ кругу нашемъ, о томъ поговоримъ, пожалѣемъ съ четверть часа, а тамъ опять разговоръ нашъ веселъ. Теперь не то время, чтобъ долго сожалѣть о потерѣ друзей, потому что всякій имѣетъ надежду или опасеніе послѣдовать за нимъ на другой же день, если еще не въ эту ночь.

„Въ теперешней жизни нашей нѣтъ ничего такъ обыкновеннаго и такъ мало обращающаго на себя вниманія, какъ смерть. Здѣсь ея владычество и здѣсь именно никто объ ней не думаетъ, не боится и въ грошъ ея не ставитъ.

— „А гдѣ такой-то?

— „Убить.

— „Ну, такъ позови ко мнѣ того-то.

— „И онъ убить.

— „Ну, глупецъ! Затвердилъ: убить! убить! Пошли, кто тамъ остался въ живыхъ изъ унтеръ-офицеровъ.

„И приказанія, и вопросы, и отвѣты дѣлаются такъ холодно, такъ покойно, какъ бы дѣло шло о людяхъ куда-нибудь посланныхъ, а не отпавившихся на вѣчный покой. Все, что мы видимъ, слышимъ, испытываемъ каждый день теряемъ въ разумъ нашъ: хорошее—все то, что въ немъ было хорошаго; дурное начинаетъ казаться дурнымъ вполнину, а иногда и съ примѣсью хорошаго“.

Замѣчательную психологическую тонкость выказываетъ Дурова, говоря, что она чувствовала себя женщиной только тогда, когда она, какъ кавалеръ, на балѣ, должна была уступать мѣсто дамамъ и исполнять разныя ихъ порученія.

„Эта обязанность моего костюма вовсе мнѣ не нравится. Въ танцахъ я всегда мысленно браню свою даму, если она говоритъ со мной вполголоса, взглядываетъ на меня чаще, нежели водится, особливо если даетъ глазамъ своимъ выраженіе, которое для мужчины имѣло бы свою цѣну, но для меня... Мнѣ кажется тогда, что она передразниваетъ меня! Но ничто не бынаетъ мнѣ такъ досадно, какъ то, когда, уставъ отъ мучительнаго вальса, только успѣю сѣсть на стулъ и вдругъ кто-нибудь изъ моихъ товарищей подводитъ ко мнѣ свою даму и говоритъ: „уступи, братъ, свое мѣсто... *Le cede au coeur!*“ Я встаю, забываю свой колетъ, шпоры; помню только свои права и хмурю брови, но стулъ все-таки отдаю“...

Послѣ невѣроятныхъ трудовъ боевой жизни, Дурова перенесла свою дѣятельность на другое поприще. Это была богатая натура: убивъ около десяти лѣтъ лучшей поры своей жизни, отъ шестнадцати до двадцати-пяти лѣтъ, она не заглохла въ своемъ уединеніи — напротивъ, она доказала, что непостижимое увлеченіе военною славой было только однимъ изъ проявленій ея богатыхъ силъ, которыя раньше не могли найти исхода, а между тѣмъ силы эти искали живого дѣла.

Въ своемъ камскомъ захолустѣ дѣвушка никого не видала, кромѣ отца-гусара; въ дѣтствѣ знала только фланговаго Астахова да конюшню: возбудить ея творческихъ силъ никто не могъ; научить ее чему-нибудь другому, кромѣ верховой ѣзды, никто же не могъ — и она понесла свои богатые силы подъ пули и ядра.

Но когда Дурова вышла изъ-подъ вліянія узкой гусарской среды—она понесла свои силы на служеніе другой идеѣ. Самоучка—она стала однимъ изъ замѣтныхъ въ свое время писателей, и всю свою остальную жизнь посвятила литературѣ. Если бы раньше кто-либо натолкнулъ ее на этотъ путь; если-бъ раньше она, подъ вліяніемъ не фланговаго гусара, а хоть бы подъ вліяніемъ одной дѣльной, попавшейся ей книги, а еще больше подъ вліяніемъ умнаго человѣка почувствовала въ себѣ жажду знанія—изъ нея могъ бы выйти, безъ сомнѣнія, одинъ изъ самыхъ крупныхъ дѣятелей мысли и слова.

Литературная дѣятельность ея началась въ 1836 году изданіемъ записокъ о своей жизни, подъ заглавіемъ „Кавалеристъ-дѣвица“, а затѣмъ дополненіемъ къ этой книгѣ, изданнымъ въ 1839 году.

Тонкое чутье А. С. Пушкина отгадало въ ней писательницу.

Дурова писала много, печатая свои статьи преимущественно въ тогдашнихъ лучшихъ журналахъ—въ „Библіотекѣ для чтенія“ Сенковского и въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1837, 1838, 1839 годовъ. Это были романы, повѣсти, рассказы. Изъ нихъ наиболѣе извѣстны: „Гудишки“, „Павильонъ“, „Елена“, „Ярчукъ“, „Уголь“, „Графъ Маврицій“, „Два слова изъ житейскаго словаря“, „Сѣрный ключъ“ и другія.

Вообще Дурова, какъ историческая личность недавняго прошлаго, ждетъ исторической оцѣнки.

Стыдно сознаться, но эта замѣчательная женщина умерла въ крайней бѣдности, въ чинѣ штабъ-ротмистра. |

IX.

Настасья Федоровна Минкина.

(Аракчеиха).

На долю рѣдкаго изъ историческихъ дѣятелей выпадало такое единое нерасположеніе и современниковъ, и потомства, какое выпало на долю Аракчеева, всемогущаго временщика императора Александра I-го. Суровымъ рисуется образъ Аракчеева въ понятіяхъ нашего времени; не-симпатичною представляется дѣятельность этого человѣка въ приложеніи имъ къ дѣлу своего могущества; жестокъ онъ былъ, и какъ человѣкъ и какъ временщикъ; зато жестко относится къ нему и память ближайшаго потомства, и есть основаніе полагать, что жестокъ будетъ по отношенію къ нему и судъ исторіи, хотя послѣдняя всегда смягчаетъ свой приговоръ по отношенію къ каждому историческому дѣятелю въ той степени, въ какой дѣятель этотъ былъ и продуктомъ и выраженіемъ своего времени.

Какъ бы то ни было, но Аракчеевъ не былъ, повидимому, никѣмъ любимъ при жизни, какъ остается нелюбимымъ и по смерти. Даже народъ, рѣдко и почти никогда не произносящій въ своей пѣснѣ и былинѣ жестокаго приговора объ исторической личности, какова бы она ни была, если только онъ удостоитъ ее своею памятью,—народъ не добромъ поминаетъ Аракчеева, распѣвая иногда и донинѣ о томъ, что—

....Ракчей дворянинъ
Солдатъ голодомъ поморилъ.

Но была одна личность при жизни Аракчеева, которая его любила, хотя и тутъ является сомнѣніе, искренно ли она его любила: нѣкоторые факты разоблачаютъ, что едва ли...

Это была женщина, имя которой стоитъ въ заголовкѣ настоящаго очерка.

Едва ли можно считать дѣломъ особенной важности знакомство съ біографическими подробностями Настасьи Минкиной. Достаточно знать, что она была любима Аракчеевымъ, замѣнила ему жену, любовницу, друга,

хозяйку дома, слѣдовательно, удовлетворяла, всѣмъ духовнымъ и инымъ потребностямъ суроваго временщика, и такимъ образомъ можетъ до извѣстной степени служить мѣриломъ той суммы духовнаго содержанія, которое вмѣщала въ себѣ личность Аракчеева.

Послѣ Аракчеева остались въ высшей степени любопытныя письма къ нему отъ Настасьи Минкиной. Въ этихъ письмахъ рисуется цѣликомъ образъ этой женщины, умѣвшей побѣдить и сердце, и волю, и умъ непобѣдимаго государственнаго сподвижника императора Александра Благословеннаго; рисуются ея отношенія къ Аракчееву и роль, какую она играла при временникѣ и въ обществѣ, самомъ высшемъ въ Россіи, неизбежно сталкивавшемся съ Аракчеевымъ въ его государственной и частной жизни и неизбежно преклонявшемся предъ нимъ, вслѣдствіе высоты его положенія.

Настасья Минкина—это простая женщина, едва умѣющая писать, но пишущая толково, съ дѣловымъ практическимъ навыкомъ и легкостью, хотя съ безбожнымъ невѣдѣніемъ, доходившимъ повидимому до дерзкаго пренебреженія всѣми этимологическими, синтаксическими и фонетическими законами письменной русской рѣчи. Это баба самая расторопная, дѣятельная, подвижная, съ характеромъ, который былъ по плечу ея возлюбленному временщику. Это страстная личность, которая, какъ львица за дѣтенышемъ слѣдитъ не только за сыномъ любви, за своимъ и Аракчеева сыномъ „Мишей“, прижитымъ, какъ она увѣряетъ, отъ влюбленнаго въ нее суроваго временщика, но какъ львица слѣдитъ и за самымъ львомъ Аракчеевымъ, за его любовью къ себѣ, хотя и изображаетъ изъ себя покорную рабу, готовую на всякія жертвы для своего господина.

Настасья Минкина—это и эконожка въ богатомъ, почти царскомъ домѣ Аракчеева, и его метръ-д'отель и управляющій его обширныхъ имѣній, и строгій староста надъ крестьянами, и неумолимый ревизоръ надъ всѣмъ, что касается порученныхъ ему вотчинъ.

Минкина—это дѣйствительно око Аракчеева, и не только его око, но и его правая рука, съ палкой и плетью въ этой рукѣ.

Дѣятельность Минкиной изумительна, и ея глазъ вездѣ доглядаетъ, начиная отъ аракчеевскихъ кухонь, поварскихъ и кладовыхъ, гдѣ она царствуетъ, и кончая аракчеевскими садами, цвѣтниками, прудами, полями, лѣсами, сѣнокосами, аракчеевскими крестьянами, управляющими, старостами, головами, рабочими, архитекторами, фельдъегерями:—она все держитъ въ своихъ крѣпкихъ рукахъ, и обо всѣмъ даетъ отчетъ постоянно отсутствующему по дѣламъ государства и по личнымъ дѣламъ императора Аракчееву.

О характерѣ и наружности Минкиной вообще говорятъ, что „это была страстная женщина, смуглой кожи, съ магнетизмомъ въ черныхъ глазахъ“.

Еще рассказываютъ, что Минкина, кромѣ домохозяйства, очаровывала суроваго графа умѣньемъ гадать на картахъ и предугадывать будущее, что, близкая къ народу черезъ хожалыхъ и богомолковъ, она все знала, что дѣлалось въ Петербургѣ, и потому гаданья ея были иногда

удачны до поразительности, чѣмъ она и побѣждала суевѣрнаго, мало развитого, всесильнаго временщика.

Но обратимся къ самымъ письмамъ Минкиной: капитальнѣе этихъ свѣдѣтельствъ о ней самой ничего нельзя найти другого.

У Аракчеева было богатое имѣніе, село Грузино съ деревнями. Имѣніе это устроено было дѣйствительно богато, по-царски, потому что и Аракчеевъ, управлявшій всею Россіею и устроивавшій ее по своему разумію, умѣлъ, конечно, устроить и свое собственное богатое гнѣздо, а Минкина, геніальный помощникъ Аракчеева, умѣла дать этому гнѣзду и домашнему въ немъ хозяйству все то, что могла ему дать самая неутомимая и притомъ самая полномочная хозяйка.

Зимой она жила съ графомъ въ Петербургѣ, на лѣто же всегда перѣзжала въ имѣніе, а когда графъ бывалъ въ отсутствіи, что, при его полновластномъ завѣдываніи почти всѣми государственными дѣлами въ Имперіи, случалось чрезвычайно часто, Минкина вела съ нимъ самую дѣятельную переписку.

Часть опубликованной въ „Русскомъ архивѣ“ переписки Минкиной съ Аракчеевымъ относится къ 1816—1820 годамъ.

Печатая письма Минкиной, редакція помянутаго журнала поясняетъ: „правописаніе возстановлено“; въ подлинникахъ оно, разумѣется, вопіющее.

Вотъ что писала Минкина своему господину и возлюбленному 17-го августа 1816 года:

„Батюшко, ваше сіятельство Алексѣй Андреевичъ. Прибывъ въ Грузино 15 числа августа къ ночи, нашла все въ домѣ благополучно и въ порядкѣ — люди всѣ здоровы, а также и скоть благополученъ. У флигелей музыканскаго и людскаго крыльца передѣланы; въ погребномъ флигелѣ полъ опустили ниже и лѣстницу для входа въ комнату перенесли къ южной стѣнѣ — къ церкви; теперь дѣлаютъ крыльца у сего флигеля и у башнаго; дорожку изъ плиты, между флигелей музыканскаго и людскаго перестилаютъ вновь и дѣлаютъ подъ плиту изъ щебня бутъ. Въ саду послѣ отъѣзда вашего сіятельства дорога отъ оранжереи къ домику, называющемуся моимъ именемъ, и до чугунныхъ воротъ отдѣлана. Клубника вышита и вновь посажена; деревья и всѣ растенія убраны въ оранжерею 3-го числа; стрижка по дорогамъ кончена, а теперь продолжается обрѣзка по куртнамъ, по лѣсу верхи и прорѣзаютъ липовыя аллеи; изъ еловой рощи назначенныя лишнія елки вынуть — вынаты. На цвѣточномъ островѣ по берегу посажено флоксовъ красныхъ дикихъ 300 кустовъ. При семъ посылаю образчики парчи и бархату и перевязь для вашего сіятельства. 12-го числа пріѣзжалъ въ Грузино генералъ Левашевъ съ своимъ адъютантомъ, кои переночевавъ на другой день катались по деревнямъ и предъ отъѣздомъ заходили въ церковь во время службы, а также и въ первый день были въ соборѣ. Цѣлую руки ваши. Слуга ваша Настасья Ѳедорова“.

Никакой управляющій и никакой староста лучше этого дѣловаго письма не могли бы, кажется, написать.

Въ письмѣ этомъ обращаетъ на себя вниманіе и то мѣсто, гдѣ Минкина говоритъ о „домикѣ, называющемся ея именемъ“.

Письмо отъ 9-го сентября имѣетъ уже совершенно другой характеръ. Минкина пишетъ о посѣщеніи Грузина Ланскимъ и двумя дамами, о томъ, что она „женила“ какого-то Герасима на крестьянской дѣвкѣ, получила коверъ изъ Парижа и проч. Но что особенно характерно — это ея рѣзкій отзывъ о Ланскомъ, котораго она называетъ то „бѣшенымъ“, то „дуракомъ“, то „глупымъ“ и проситъ даже своего возлюбленнаго графа запретить посѣщать Грузино „такимъ дуракамъ“ какъ Ланской, почему-то крайне не любившійся строгой Настасьѣ Ѳедоровнѣ.

„Батюшко, ваше сіятельство Алексѣй Андреевичъ. Вчерашній день поутру былъ у насъ Ланской Сергѣй Сергѣевичъ съ двумя дамами, былъ въ обоихъ домахъ и въ Лѣтней Горѣ, а послѣ былъ въ соборѣ у обѣдни; предлагали имъ, что не угодно ли чай или кофе и послѣ обѣдни фриштыкать, но отъ всего отказались, торопясь ѣхать. Герасима женила на крестьянской дѣвкѣ изъ Черницъ-Мелеховской крестьянина Якова Денисьева, Палагеѣ. Въ домѣ слава Богу, все благополучно, и люди всѣ здоровы, а также скоть и птицы благополучны. Коверъ для собора, присланный изъ Парижа, полученъ, коего мѣрой 22 аршина 15 вершковъ. Настасья Ѳедорова, цѣлую ручку вашу вѣрная слуга.

„Скажу вамъ, отецъ мой, горница гостиная готова, только не повѣсила занавѣски, потому что зимнія рамы буду ставить—какъ хороша вышла эта комната! У насъ былъ бѣшенный Ланской. Ахъ, другъ, этотъ дуракъ не стоитъ, чтобы быть въ Грузинѣ. Повѣрь, графъ, что я столь сердита на него—скакалъ во весь упоръ—я была это время на пристани—подумала, что вы ѣдете во весь духъ, но карета желтая показалась, догадалась, что Ланской, и думала, что спѣшитъ къ обѣдни. Подумай, душа моя—прямо въ садъ и въ домъ, а потомъ въ соборъ, и всего три четверти былъ въ миломъ Грузинѣ. Спросить его, что онъ видѣлъ, то вѣрно не можетъ сказать—какіе глупые были вопросы у человѣка! Бѣгалъ почти по саду,—сдѣлайте милость, не позволяйте навѣщать дуракамъ. Скажу, что я обижена осталась и тѣмъ и сѣмъ, дѣлала приглашенія, но не въ часъ все. Прости, ожидаю въ скоромъ времени увидѣть отца своего“.

Оказывается, что Минкина считала себя обиженной, зачѣмъ Ланской не принялъ ея любезнаго приглашенія какъ хозяйки — зайти къ ней въ гости, побесѣдовать, умненько все осмотрѣть и „пофриштыкать“. Ясно, что бывшія съ Ланскимъ дамы не рѣшились явиться гостями у Настасьи Ѳедоровны.

Прошло три года послѣ этого письма.

Отношенія Минкиной къ Аракчееву становятся еще задушевнѣе, еще дружественнѣе, интимнѣе: видно, что они—свои люди. Но зато эти письма обнаруживаютъ, насколько Минкина умѣла угождать, своему могущественному другу и чѣмъ именно угождать: всякой мелочью она старалась доказать ему, что думаетъ только о немъ, о его привычкахъ, о его вкусахъ.

Видно также, что и суровый Аракчеевъ отвѣчалъ на ея нѣжности такими же нѣжными письмами. Это доказываетъ „приписочка“ въ его письмѣ къ своей черноглазой возлюбленной.

Она называетъ его своимъ „единственнымъ другомъ“, увѣряетъ, что любить его „болѣе своей жизни“. Она считаетъ себя нераздѣльною съ нимъ: „окороки — для стола намъ“, „мороженое—замѣна намъ въ десертъ“ и т. д. Она хвалится ему, что ее приглашаютъ къ себѣ люди „превосходительные“.

Съ Клейнмихелемъ, сильнымъ лицомъ и какъ бы преемникомъ Аракчеева въ слѣдующее затѣмъ царствованіе, Настасья Минкина, повидимому, свой человѣкъ: Клейнмихель даритъ ей разливательную ложку, книжку отъ пьянства, посылаетъ ей записки.

Отвѣчая на письмо графа и извѣщая его о томъ, что она выписала изъ Петербурга новую посуду, Минкина говоритъ: „меня очень тронула ваша приписка: я вамъ говорила, что не доставало и что выдала изъ запасной у меня посуды. Не думайте, отецъ мой,—я нарочно все такъ поставлю, чтобы вы увидѣли мою преданность къ вамъ“.

Умѣлая предупредительность ея поистинѣ замѣчательна.

„Въ молошникѣ,—продолжаетъ она,—разбилъ крышку Матюшка, но я хотѣла такую достать, зная, что вы любите ихъ; у меня къ ней крышка хрустальная, но все хотѣла купить точно такую. Я получила отъ Петра Андреевича разливательную ложку, фаянсовую, желтую, еще книжку какъ излѣчать пьяницъ, все положено у васъ въ кабинетѣ. Любезный мой отецъ, посылаю вамъ двойную георгину. Вы не изволили ее видѣть, а я боюсь, чтобы не отцвѣла безъ васъ, также письмо—вы увидите, что меня просятъ превосходительные. У меня работаютъ въ саду, именно чистятъ прудъ и косятъ лугъ, который къ Волхову, а я занимаюсь своими вареньями. Васъ прошу, чтобы Тимофея отдать поучиться мороженое дѣлать—намъ будетъ замѣна въ десертъ, также формочки поискать для мороженаго. Прошу васъ, отецъ, купить два маленькихъ окорока, они выгодны для стола намъ, и лимоноватой воды, дрождей два куш... Я получила конфеты. Я получила теперь лучше не въ примѣръ, какъ конфеты, такъ и укладка ихъ. Вѣрьте, что ни одна конфетка не испортилась, вы увидите, также ихъ везли какъ прежнія. Вамъ было угодно купить сафьяну для стульевъ, которые изъ Высокаго. Прошу васъ, мой единственный другъ, беречь свое здоровье; я прошу всевышняго отца о сохраненіи вашемъ. Будьте покойны по дому вашему. Я сказала, что люблю болѣе жизни васъ, то и хочу всѣмъ доказать, что слуга вѣрная своему графу“.

Черезъ три дня она опять пишетъ своему, повидимому, покорному ей, повелителю, и это письмо открываетъ новыя стороны въ ея отношеніяхъ къ могущественному временщику: письмо все пересыпано нѣжностями, увѣреніями въ страстной любви, восклицаніями въ родѣ того что—„о другъ, сколь любовь мучительна!“ и проч.

Сама она увѣренно говоритъ о любви къ ней сильнаго графа, но же-

даетъ только, чтобъ и его любовь была такова, какую она къ нему чувствуетъ. Она проситъ его не сомнѣваться въ ея любви и признается, что сама-то въ немъ сомнѣвается, но „все прощаетъ“ своему единственному другу. „Что-жъ дѣлать,—прибавляетъ она,—что молоденькія берутъ верхъ надъ дружбою“!

Но тутъ же очень ловко напоминаетъ ему, что у нихъ есть сынъ, „общій сынъ“ ихъ, какъ она выражается: это извѣстный Михаилъ Шумскій, обучавшійся тогда въ пажескомъ корпусѣ. Мальчикъ, повидимому, не зналъ, кто его отецъ; но Минкина открыла ему тайну его происхожденія, и теперь въ письмѣ къ Аракчееву проситъ простить ее за это открытіе.

Послѣ мы увидимъ, что Минкина обманывала и Аракчеева, и своего названнаго сына „Мишу“ насчетъ происхожденія этого ребенка: онъ не былъ сынъ Аракчеева.

Но вотъ это замѣчательное письмо:

„20 іюля 1819 года—утро, иду къ обѣдни, мой отецъ.

„Любезный мой отецъ графъ!

„Сколь ваше милое письмо обрадовало—какъ вы ко мнѣ милостивы! Ахъ, душа, дай Богъ, чтобы ваша любовь была такова, какъ я чувствую къ вамъ—единъ Богъ видитъ ее. Вамъ не надобно сомнѣваться въ своей Н...., которая каждую минуту посвящаетъ вамъ. Скажу, другъ мой добрый, что часто въ васъ сомнѣваюсь, но все вамъ прощаю,—что дѣлать, что молоденькія берутъ верхъ надъ дружбою,—но ваша слуга Н.... все будетъ до конца своей жизни одинакова. Желаю, чтобъ нашъ сынъ общій былъ примѣромъ благодарности; я ему всегда говорю, что Богъ намъ далъ отца и благодѣтеля васъ, душа единственная моему сердцу, прости моему открытію: любви много и болѣе не могу любить. У насъ все, слава Богу, хорошо: люди и скотъ здоровы, я немножко своимъ желудкомъ страдаю—но все пройдетъ. Дай Богъ васъ видѣть въ вашемъ миломъ Грузинѣ. Одно утѣшеніе васъ успокоивать. О другъ! сколь любовь мучительна, прости! Три дня еще ожидать васъ—прошу Мишу поцѣловать, если онъ заслуживаетъ вашихъ милостей. Я занимаюсь домашнимъ—при васъ некогда будетъ—какъ вареньемъ, такъ и сушкою зелени и бѣльемъ и постелями; все хочется до васъ кончить, мой другъ чтобы видѣлъ, что Настасья васъ любитъ“.

Опасаясь, однако, чтобы „молоденькія“ въ самомъ дѣлѣ „не взяли верхъ надъ дружбой“, Минкина хочетъ вытѣснить изъ сердца и помысловъ графа этихъ соперницъ своею оригинальною красотою и потому проситъ его о пріобрѣтеніи ей нарядовъ—дорогого бархату на капоть, турецкій платокъ и проч.

„Отцу моему графу,—пишетъ она,—прошу, прости мою смѣлость.

„Отецъ мой, милый графъ, прости великодушно моей смѣлости, что смѣю васъ беспокоить своими нарядами. Прошу, когда вы будете въ Москвѣ, то купите мнѣ чернаго бархату на капоть 14 аршинъ хорошаго, за что я буду заслуживать ваши великія ко мнѣ милости. Также когда будете въ Варшавѣ, то, батюшко, прошу по образцу 6, а если можно 12 паръ про-

стынь. Другъ и отецъ мой! Еще если будете въ Одессѣ, прошу купить турецкій черный платокъ хорошій. У меня есть жалованья 400 р.; когда буду благополучна до вашего пріѣзда, то вѣрно заслужу. Прости смѣлости моей, если безпокою отца моего. Я бы въ Петербургѣ купила, но зимою очень дорого, а лѣтомъ не живу въ немъ. Умоляю у ногъ вашихъ—не сердитесь на свою Н... Вы знаете, что не могу безъ слезъ просить лично васъ. Цѣлую ручки ваши. Вѣрная слуга ваша Настатся Ф.“

Въ февралѣ 1820 года Минкина переѣзжаетъ изъ Грузина въ Петербургъ, навѣщаетъ въ пажескомъ корпусѣ своего сына и обо всѣхъ подробностяхъ сообщаетъ вѣчно отсутствующему по дѣламъ сіятельному сожителю своему, жалуюсь, что скучно безъ него.

„Что могу писать окромѣ своей скуки безъ васъ, мой другъ“?

Далѣе переносить рѣчь на сына.

„Когда я пріѣхала въ Петербургъ, нашла Мишу, слава Богу, здоровымъ, и я пріѣхала на вторникъ, но Миша не былъ еще камеръ-пажемъ,—въ среду я была у Ав... Семеновны Ерш... и слышу, что мой Миша въ лазаретѣ. Ахъ, отецъ мой, какъ мнѣ было тяжело на сердцѣ“!

Въ другомъ мѣстѣ опять возвращается къ тому же предмету:

„5-го числа у меня была Екатерина Григорьевна съ радостной вѣсточкой, что Миша камеръ-пажъ, но все еще въ лазаретѣ, у него болитъ горло“...

Говоря, что во время масленицы къ ней пріѣзжали разные гости, она прибавляетъ, конечно, не безъ горечи: „вы можете судить, какъ я веселилась,—нѣтъ отца, нѣтъ сына со мною, однѣ слезы и грусть; хотя посѣщали довольно, но все ложно. Не будь у васъ, то вѣрно не заглянуть ко мнѣ“...

Безъ сомнѣнія, изъ высшихъ гостей къ ней лично никто не заглянулъ бы, если-бъ она не была такъ близка къ Аракчееву и такъ сильна у него.

Но вотъ Миша выходитъ изъ лазарета.

„Въ воскресенье поутру я послала къ Мишѣ и слышу, что Миша вышелъ и будетъ представляться государынѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ. Ахъ, отецъ мой, какая радость разлилась по сердцу моему! Въ два часа послала я лошадей за нимъ; когда мы увидали другъ друга, однѣ слезы были благодарностію къ Богу и къ вамъ, мой отецъ“.

Затѣмъ Минкина выражаетъ безпокойство относительно здоровья Аракчеева.

„Вы пишете, что болитъ у васъ грудь. Прошу, берегите свое здоровье—оно дорого для меня, вы нашъ отецъ и другъ. Просимъ Бога о сохраненіи вашей жизни и здоровья. Цѣлую ножки и ручки ваши. Ожидаю отца благодѣтеля къ намъ“.

Вообще письма ея такъ и пестрятъ выраженіями — „цѣлую ручки и ножки ваши“.

Ловкость и умѣнье этой женщины замѣчательны во всѣхъ отношеніяхъ.

У Аракчеева заболѣваетъ мать. Сынъ спѣшитъ къ старухѣ. И вотъ Минкина пишетъ своему сожителю новыя нѣжныя письма, говорить о его сыновней привязанности, о „чувствительности“ его сердца и о томъ, что только она одна можетъ ходить за нимъ и угождать ему.

„Любезный мой отецъ графъ! Что могу сказать вамъ послѣ вашего дружескаго письма? Грусть мучить мою душу, не могу придумать, гдѣ вы теперь, мой благодѣтель. Если вашей матушки нѣтъ лучше, и вы у ней, то позвольте мнѣ быть съ вами. Я знаю ваше чувствительное сердце—сколь вы мучите себя—я буду дѣлить съ вами горестъ. А если вы останетесь одни тамъ, то вѣрьте, что и я не менѣе буду чувствовать мученіе, не въ силахъ выдержать послушанія. Къ вамъ пріѣду въ телѣжкѣ, чѣмъ представлять каждую минуту васъ съ растерзаннымъ сердцемъ. Я увѣрена въ Карлѣ Крестіановичѣ, но все не я съ вами! Отецъ, умоляю у ногъ вашихъ, успокойте себя и свою преданную слугу. Вотъ три дня какъ я не найду мѣста, воображая васъ плачевнымъ. Вѣрю, что дорога родительница, но что дѣлать!“

И тутъ же посылаетъ ему списокъ гостей, бывшихъ въ воскресенье въ Грузинѣ „для любопытства“.

Съ своей стороны, Аракчеевъ проситъ возлюбленную „не оставлять его“.

„Вы пишете,—отвѣчаетъ она ему,—чтобъ не оставила и была бы вѣрная слуга. Одинъ гробъ заглушить чувства моей къ вамъ любви, и я люблю васъ столь много, что не могу болѣе любить, этому Богъ свидѣтель“.

Тутъ все пускается въ ходъ—и одиночество, и страждующее сердце: „есть облегченіе для страждущаго сердца, когда есть съ кѣмъ дѣлить печаль“.

Черезъ нѣсколько дней опять посланіе на нѣсколькихъ листахъ:

„Отецъ мой графъ! Я получила ваши милыя письма, за которыя цѣлую ваши ручки и ножки, за галстукъ также цѣлую ваши ручки. Если васъ мнѣ не беречь и не любить, то я недостойна и по землѣ ходить. Вы мой отецъ и все мнѣ сдѣлали. Вы любите моего Мишу, неужели я могу все это забыть! Нѣтъ, мой любезный другъ, нѣтъ минуты, чтобъ могла васъ забыть: всегда прошу Бога о сохраненіи вашего здоровья и продолженіи жизни вашей на многіе годы, чтобъ намъ сиротамъ видѣть отца и благодѣтеля веселаго между своихъ подданныхъ. У насъ въ домѣ все, слава Богу, хорошо—люди здоровы, а также скотъ и птицы благополучны; лошадей проѣзжаютъ, какъ при васъ было. Посылаю къ вамъ записку. Вы можете видѣть, что я ѣзжу по деревнямъ“.

Въ деревняхъ—она и староста, и голова, и управляющій, и ревизоръ, и судья. „Бранить голову“ за упущенія, распоряжается рабочими, буквально обо всемъ доносить своему повелителю, какъ „подданная“ его.

„Также я нашла въ Любуни не порядочно у старшины въ домѣ: онъ худо смотритъ за своимъ домомъ—за что также пожурила: когда у него не порядочно, то можно требовать, чтобъ было у другихъ хорошо? И за голову бранила, что онъ худо смотритъ“.

Самымъ обстоятельнымъ образомъ Минкина сообщаетъ графу о проис-

шествiяхъ въ его имѣнiяхъ, о томъ, кто изъ крестьянъ захворалъ, кто лѣнится, кого змѣя укусила. Случаются воровства—она тотчасъ дѣлаетъ разслѣдованiя и допросы. Это губернаторъ въ вотчинахъ временщика. Но губернаторъ этотъ не прочь заговорить и о цвѣтникѣ—что хорошо-де она его устроила, и прибавляетъ: „Я воображаю, мой отецъ, что вы выходите изъ спальни и цѣлуете за сюрпризъ“...

Сообщаетъ, какова погода, каковъ хлѣбъ, каковъ умолоть, какiя произошли ошибки въ постройкахъ, что не досмотрѣно архитекторомъ.

„Бѣдныхъ не забываю я, если только можно гдѣ помочь, я всегда и буду дѣлать: все ваше, мой другъ, и я ваша, моя душа“.

Заключенiе также трогательно: „Прости, истинно другъ сердцу моему. Вѣрная слуга ваша по гробъ свой Настасья Федорова — жива, здорова, любитъ очень васъ, мой отецъ“.

Мало того, она слѣдитъ за ученiемъ сына въ корпусѣ:

„Отъ Миши получила я письмо, слава Богу, здоровъ. Я писала Екатеринѣ Григорьевнѣ объ учителѣ математическомъ; она пишетъ, что постарается прiискать, но мнѣ Семенъ сказалъ, что Петрушевскаго братъ хорошо знаетъ; я спросила у Петрушевскаго—онъ говоритъ, что-де учениками занимается, когда готовятся къ выпуску—онъ знаетъ хорошо“.

Нѣсколько времени Аракчеевъ не пишетъ ей—и она въ отчаянiи.

„Мы писемъ не получали отъ васъ, мой родной отецъ,—видно вы забыли свое милое Грузино, или вы на меня сердитесь,—скажи, отецъ, мой! Вчерашнiй день 22-го числа былъ у насъ В. Ф. Ильинъ, сказалъ, что вы къ нимъ пишете. Это сокрушаетъ меня; я не вѣрила ему, потому, что вы любите свое Грузино, то вѣрно напишете, чтобъ въ немъ все было хорошо. Не говорю о себѣ, несчастная; скажу, что у васъ все, слава Богу, хорошо и благополучно—какъ по дому, такъ и по вотчинѣ“.

Какими средствами Минкина держала Аракчеева въ нравственной отъ себя зависимости, можно отчасти видѣть изъ письма отъ 2-го сентября 1820 года:

„Отецъ мой графъ! Я получила сейчасъ записку отъ Клейнмихеля, что можно писать къ вамъ, но, мой другъ, не знаю, какъ ваше здоровье. Послѣднее письмо писано было вами 17-го августа, за которое благодарю душевно. Цѣлую ваши милыя ручки. Самъ Богъ спасетъ васъ. Онъ единъ утѣшитель намъ. Вы всегда слышали отъ меня, что я надѣюсь на него, а послѣ на васъ, душа моя.“

„Слышу, въ Петербургѣ получили письма, ко мнѣ нѣтъ. Скажи, душа, если вы любите кого, то тяжело сердцу вашему было бы — такъ и я, несчастная женщина, которая посвятила свою жизнь собственно для вашего спокойствiя, не могу узнать, какъ мой отецъ въ своемъ здоровьѣ, но надѣюсь на всевышняго отца, онъ спасетъ ваше здоровье. За платъе и за платокъ цѣлую ваши ручки и ножки. Мишѣ послала письмо и платъя Софьѣ Карловнѣ,—для меня все хорошо, что вы только пожалуете. Марья Яковлевна цѣлуетъ ваши ручки за подарокъ. Описать мнѣ, душа моя, о сво-

ихъ знакомыхъ я не смѣла, и болѣе при горести не пришло въ голову— только думала, гдѣ мой другъ и отецъ? какъ его здоровье? Вотъ что было съ моимъ сердцемъ; оно видѣло всю мою горестъ. Платья людямъ шьютъ; прислали одну пару очень хорошо сшитую; теперь дошиваютъ послѣднія. Думаю, что будетъ готово къ вашему пріѣзду“.

Наконецъ, приведемъ отрывки изъ послѣдняго письма, писаннаго на другой день послѣ вышеприведеннаго.

Минкина получила письмо отъ Аракчеева, и тотчасъ посылаетъ нарочнаго въ Чудово отслужить молебенъ. Затѣмъ поясняетъ— „сколь оное обрадовало мое сердце, увидѣвъ милый вашъ почеркъ и названія столь лестныя вашему преданному слугѣ и другу. Я сказала единожды: единъ гробъ заглушить чувства моей къ вамъ благодарности; служить и беречь и любить—одна моя отрада есть“.

Затѣмъ снова высказываетъ радость по случаю полученія письма. „Ахъ, какъ я рада, что получила письмо ваше—вижу, что любима еще. Что не придетъ въ горестное мое сердце! Дай Богъ государю многіе несчетныя годы, что любить моего отца, и вамъ—прошу Бога о сохраненіи здоровья вашего. Онъ одинъ спасетъ и подкрѣпитъ васъ. Письмо посылаю наудачу: не знаю, дойдетъ ли до рукъ вашихъ милыхъ. Вы поберегите себя, душа моя; когда поѣдете, то не жалѣйте сдѣлать потеплѣе шинель себѣ, тамъ дешевле. Вспомните, что годы не прежніе, молодость прошла. Прошу, ради Бога, поберегите себя. Дай Богъ, чтобы вы скорѣе, мой отецъ, пріѣхали“.

Такою рисуется въ своихъ письмахъ эта женщина, умѣвшая словно ягненокъ укрощать неукротимаго временщика. Ясно, что для того, чтобы быть довольными другъ другомъ и по своему счастливыми, Аракчеевъ и Минкина сошлись характерами, и Аракчееву болѣе развитой женщины чѣмъ Минкина не желалось.

Какъ бы то ни было, но и эта женщина жестоко обманула Аракчеева.

Когда Минкина умерла, Аракчеевъ узналъ, что тотъ мальчикъ Миша, впослѣдствіи извѣстный Михаилъ Шумскій, котораго Аракчеевъ считалъ своимъ сыномъ отъ Минкиной, былъ не только не его сынъ, но даже и не Минкиной. Онъ былъ подложный.

Х.

Елизавета Михайловна Фролова-Багрѣва.

(урожденная Сперанская).

Если законы физической и духовной наслѣдственности какъ въ животныхъ, такъ и въ людяхъ, указываемые Дарвиномъ и Декандалемъ, до извѣстной степени справедливы, если добрыя и дурныя свойства родителей, ихъ геніальность, умъ и безуміе, ихъ добродѣтели и пороки въ зна-

чительной долѣ переходять къ дѣтямъ, то болѣе всего явленіе это подтверждается фактомъ по отношенію къ дочери знаменитаго русскаго историческаго дѣятеля Сперанскаго.

Дочь Сперанскаго явилась въ свѣтъ какъ разъ съ наступленіемъ XIX столѣтія, а потому всею своею жизнью и дѣятельностью принадлежитъ первой половинѣ этого вѣка, хотя на первоначальномъ домашнемъ воспитаніи ея отразилась система воспитанія самаго конца XVIII столѣтія.

Но дочь Сперанскаго, по счастью, спаслась отъ господствовавшаго тогда въ высшихъ слояхъ русскаго общества институтско-монастырскаго воспитанія, о которомъ часто самъ Сперанскій, въ своей многосложной перепискѣ съ дочерью, отзывался какъ о воспитаніи, лишаящемъ женщину лучшей ея силы—подготовленности къ семейной жизни во всѣхъ ея положеніяхъ, на всѣхъ высотахъ, при всѣхъ переходахъ счастья и крайняго несчастья, замыкаемаго нищетою.

Елизавета была единственная дочь Сперанскаго, рожденная отъ брака его съ миссъ Стивенсъ, кровною англичанкою.

До двѣнадцати лѣтъ дѣвочка воспитывалась такъ, какъ бы она была рождена въ англійскомъ семействѣ, а потому едва ли не первые стихи, которые она начала писать, были англійскіе.

Отецъ ея, весь поглощенный въ это время кипучею своею неимоверно многоплодною дѣятельностью, преобразовавшею внутренній государственный строй, а равно упорною борьбою со своими сильными, завистливыми врагами, не могъ удѣлить ни своего времени, ни своего вниманія на личное руководство воспитаніемъ дочери, и старался наверстать это упущеніе уже впослѣдствіи, въ горькіе и долгіе годы своей опалы.

Мать Елизаветы умерла рано, и дѣвочка осталась сиротою въ домѣ отца, поглощеннаго день и ночь своею неутомимою, поистинѣ изумительною дѣятельностью.

Но враги Сперанскаго добились своего: въ памятный всей Европѣ 1812 годъ у императора Александра „отняли“, какъ государь самъ выражался, Сперанскаго, и отняли его не только у государя, для котораго онъ, по собственному сознанію императора, былъ „правою рукою“, но эту правую руку отняли и у всей Россіи.

Сперанскій поѣхалъ въ ссылку. Съ нимъ поѣхала и единственная дочь его „Лиза“, съ которою онъ только въ этомъ изгнаніи познакомился и въ этомъ же изгнаніи отецъ и дочь сблизились такъ, что надо удивляться той страстной привязанности, которая выросла изъ этого сближенія и которая всю жизнь всецѣло соединяла эти два замѣчательныя существа.

Впослѣдствіи, въ Сибири, Сперанскій вспоминалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ дочери о своей жизни съ ней въ ссылкѣ, въ Великопольѣ: „это было, — говоритъ онъ, — счастливѣйшее время моей жизни, когда я занимался только Богомъ и тобою: бѣдность, грозя желѣзнымъ своимъ прутомъ, одна могла меня оттуда выгнать“.

Около пяти лѣтъ прожилъ Сперанскій съ дочерью въ изгнаніи, и дѣй-

ствительно въ этомъ изгнаніи принадлежалъ только Богу и своей страстно любимой Лизѣ: здѣсь онъ пополнялъ недостаточность ея русскаго образованія—въ исторіи, въ языкѣ, въ литературѣ, и здѣсь-то развивалъ онъ въ ней ту глубоко-сознательную любовь къ Россіи и къ русскому народу, которою проникнуты были потомъ всѣ сочиненія его дочери.

Въ 1816 году, когда прошло время напрасныхъ опасеній относительно питаемыхъ будто бы Сперанскимъ симпатій къ Наполеону, Сперанскій былъ вызванъ изъ ссылки и посланъ губернаторомъ въ Пензу.

Къ этому времени относится его многосложная переписка съ дочерью, которая оставлена была на время этой почетной ссылки отца въ деревнѣ, въ Великопольѣ, на попеченіи г-жи Вейкардтъ, дочери извѣстнаго банкира Амбургера, и въ то время жены домашняго врача у графа Шувалова.

Каждую почту отецъ и дочь посылали другъ другу письма, и если проходило нѣсколько дней безъ извѣстій другъ о другѣ, то оба они страдали и мучились другъ за дружку. Письма положительно летали между отцомъ и дочерью раза по два и по три въ недѣлю,—и сколько умильнаго въ этихъ заботахъ великаго человѣка о своей любимой дѣвчкѣ, которой въ это время было уже семнадцать лѣтъ, сколько теплоты и геніальной отзывчивости на все въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ, котораго ошибочно обвиняли въ педантизмѣ и бюрократической сухости.

Напротивъ, это была богатая, высоко-даровитая и поэтическая личность—и всѣ эти качества какъ въ зеркалѣ отразились въ его любимой дочери.

Но лучше всего, мы надѣемся, самыя письма познакомятъ насъ и съ дочерью великаго Сперанскаго и съ самимъ Сперанскимъ.

Первое письмо его къ дочери изъ Пензы было отъ 22 октября 1816 года.

„Третьяго дня,—пишетъ онъ,—въ три часа утра, наконецъ, достигъ я Пензы. Въ семь часовъ я былъ уже въ мундирѣ и на службѣ. Стеченіе зрителей необыкновенное. Въ крайней усталости Господь даетъ мнѣ силы. Доселѣ все идетъ весьма счастливо. Кажется, меня здѣсь полюбятъ. Городъ дѣйствительно прекрасный. Всѣ потребности жизни довольно дешевы и въ изобиліи. Но что мнѣ въ изобиліи и потребностяхъ, когда нѣтъ главной, единственной, нѣтъ моей Лизы? Приносятъ съ почты письма; множество вещей пріятныхъ отъ друзей изъ Петербурга—но отъ тебя ни строчки. Это не упрекъ и не жалоба; я заключаю изъ сего только то, что вы въ Великопольѣ послѣ меня прожили больше недѣли. Съ нетерпѣніемъ ожидаю слѣдующей почты“.

Черезъ день: „Почта еще не пришла, а наша отходитъ. Прости моя милая. Поручаю тебя всѣмъ милостямъ Небеснаго Отца. Не забывай утреннихъ нашихъ молитвъ; не разрывай начатаго знакомства съ единымъ другомъ, съ которымъ ни смерть самая разлучить тебя не можетъ. Лобызаю тебя заочно... Господь съ тобою“.

Но вотъ письмо отъ Лизы получено, и Сперанскій отвѣчаетъ:

„На другой день послѣ предыдущаго моего письма получилъ я твое первое письмо изъ Великополья. Благодаренъ, любезнѣйшая моя Елисавета,

что съ такою точностію держишь свое слово. Письма твои суть мой насущный хлѣбъ. Описаніе хлопотливыхъ вашихъ сборовъ столь вѣрно, что всѣ лица я какъ бы вижу предъ собою. Наука различать характеры и приспособляться къ нимъ, не теряя своего, есть самая труднѣйшая и полезнѣйшая въ свѣтѣ. Тутъ нѣтъ ни книгъ, ни учителей; природный здравый смыслъ, нѣкоторая тонкость вкуса и опытъ—одни наши наставники. Я предчувствую, что въ сей наукѣ ты сдѣлаешь великіе успѣхи. Благодаря промыслу, который, не безъ причины и не безъ благости, посылаетъ намъ несчастія и разлуки, ты скорѣе или вѣрнѣе другихъ будешь ходить безъ подпоры. Можетъ быть, кой-гдѣ и спотыкнешься; но и тутъ бѣда не велика; зато менѣе самолюбія и болѣе снисхожденія къ ошибкамъ другихъ“.

...„Обѣдамъ и пирамъ я конца не вижу. Зима угрожаетъ театромъ, балами и собраніями. Еще сносно, ежели бы ты была здѣсь. Но безъ тебя—исчисли всѣ мои жертвы, всю потерю моего времени, всю разлуку съ моими греческими и еврейскими сѣдыми бородами“...

Елизавета отвѣчаетъ отцу на первыя его письма. Сперанскій въ восторгѣ отъ писемъ своей Лизы.

„Нѣтъ, моя милая Елизавета, тебѣ не надобно учиться у Sévigné, чтобы прельщать меня твоими письмами. Желалъ бы расхвалить тебя, но боюсь собственнаго своего самолюбія. Пиши, моя прелестница, точно такъ, какъ доселѣ писала; описывай твое общество, твои свиданія, твои разговоры; раздробляй иногда собственные свои ощущенія: это познакомитъ тебя болѣе съ собою и оживитъ въ мысляхъ моихъ всю картину настоящаго твоего бытія. Повтори здѣсь переведенную тобою изъ Lady of the Lake пѣсню: „Тѣнь друга вѣется“ и проч.

Дѣвушка постоянно занята уроками, чтеніемъ въ своемъ уединеніи, и не тяготится имъ. У нея такъ много работы, а съ нею и знаній: она даже латинскую біблію читаетъ въ подлинникѣ. Она даже отъ удовольствій отказывается, и отецъ называетъ такую жизнь дѣвушки „произвольною неволею“.

„Я называю ее произвольною по кротости, съ кою входишь ты во всѣ изгибы твоего положенія. Все къ лучшему, мой другъ; неволя сія даетъ еще болѣе мягкости твоему характеру, а ты знаешь, что всего мягче и тягучѣе—золото.

„Благодаренъ, моя милая, и истинно благодаренъ, что ты читаешь латинскую біблію. Это совершенно личный мнѣ подарокъ“.

Дѣвушка—вся въ отца: это такой же гибкій умъ, способность анализа, обаятельный умъ.

Дѣвушка въ письмѣ къ отцу высказываетъ удивленіе, за что ее находятъ умною.

„Ты дивишься, что тебя находятъ умною,—отвѣчаетъ онъ.—Я точно въ томъ же положеніи здѣсь. Это доказываетъ вообще слабость разума человѣческаго; одна линія выше обыкновеннаго, и всѣ кричатъ: чудо!“

Дѣвушка не останавливается на тѣхъ знаніяхъ, которыя пріобрѣла отъ отца. Она идетъ далѣе—находитъ себѣ учителей и вновь учится.

„Повое твое завоеваніе, нѣмецкій языкъ,—пишетъ по этому случаю Сперанскій,—весьма меня радуетъ. Нѣкогда ты будешь меня водить, какъ слѣпого Велизарія. Въ языкахъ ты настоящій русскій богатырь: ибо всѣ наши богатыри родились сиднями. Не оставь, однако же, итальянскаго и напиши, кто будетъ учителемъ“.

А эта милая заботливость о своей Лизѣ въ письмѣ отъ 21 ноября 1816 года:

„Прошедшая почта не принесла мнѣ ни одного письма изъ Петербурга; сія почтовая запутанности весьма непріятныя, а особливо у кого есть за тридевять земель Лиза. Одно утѣшеніе, что завтра получу отъ тебя вдругъ два письма. Тебѣ уже извѣстно, моя милая Елизавета, что го-еударь наградилъ насъ съ тобою арендою и жалованьемъ. Самая справедливость требуетъ, чтобъ я съ тобою подѣлился; дарю тебѣ, мой другъ, съ Сонюшкою (дочь г-жи Вейкардтъ) на обновку къ новому году по вашему выбору—угадай сколько? По сто рублей каждой. Признайтесь, большія мои дуры, что это очень щедро“.

Говоря о томъ, что почетное удаленіе его въ Пензу развязываетъ ему руки и что онъ теперь можетъ быть совершенно свободенъ, выйдя въ отставку, Сперанскій прибавляетъ, что онъ этого не сдѣлаетъ, не посоветовавшись съ своею Лизой.

„Ты смѣешься?—прибавляетъ онъ.—Но знаешь ли ты, дурочка, что по мѣрѣ того, какъ мой разумъ съ лѣтами слабѣетъ, твой долженъ укрѣпляться, и что я съ тобою только составляю одно цѣлое; безъ тебя же я не могу имѣть всей полноты моего бытія“.

Дочь проситъ отца сообщать ей подробно о Пензѣ, о томъ, какъ бы они могли тамъ вдвоемъ устроиться.

Сперанскій отвѣчаетъ, что былъ бы счастливъ жить вмѣстѣ съ нею, но пока проситъ не пріѣзжать къ нему по разнымъ соображеніямъ, потерпѣть—и прибавляетъ: „Правда, что мы съ тобою и не избалованы... Вся опасность только въ томъ, чтобъ не избаловаться и не принять случайнаго за непремѣнное — чтобъ не отучиться спать на жесткой постели“...

Свои стихи, переводы, упражненія—дѣвушка все это шлетъ отцу.

„Муза твоя не дремлетъ,—отвѣчаетъ, между прочимъ, Сперанскій.— Стихи твои прекрасны и, что до меня, какъ стараго твоего учителя, всего драгоцѣннѣе, ни одной погрѣшности въ языкѣ!“.

Время, между тѣмъ, идетъ. Дочь и отецъ тоскуютъ другъ о другѣ.

„Уже 12-е декабря! — пишетъ Сперанскій: — уже поворотъ солнца съ зимы на лѣто! Какъ время течетъ; мнѣ его не жаль, пусть себѣ течетъ; оно для того и сдѣлано, чтобъ идти и вести насъ къ вѣчности. Сверхъ той большой, таинственной вѣчности, къ которой всѣ мы должны готовиться, у меня есть своя, особенная,—свиданіе и соединеніе съ моею милою Лизою. Когда придетъ этотъ мартъ или май мѣсяцъ? Но онъ, нако-

нецъ, придетъ; ранѣе или позже, мы будемъ вмѣстѣ и уже будемъ неразлучны“.

Дѣвушка спрашиваетъ, можетъ ли она кому-нибудь показывать письма отца—этого ей не хочется.

„Весьма справедливо не показывать никому моихъ писемъ. Это было бы разглашеніемъ святыни. Совсѣмъ иначе говорятъ съ глаза на глазъ, нежели втроемъ, даже и между друзьями. А мои письма къ тебѣ суть бесѣда моего сердца съ твоимъ, и я не желалъ бы, чтобъ кто-нибудь насъ подслушалъ“.

Сперанскій собирается купить себѣ имѣніе подъ Пензой, и сообщаетъ объ одной деревнѣ. „Я хотѣлъ бы купить ее на твое имя; не знаю, что-то есть для меня привлекательное, чтобъ тебѣ все принадлежало, а мнѣ ничего; мнѣ что-то пріятно отъ тебя, мой другъ зависѣть“.

Много пишетъ онъ своей Лизѣ на первый день рождественскихъ святыхъ и, между прочимъ, говоритъ: „Прошедшая недѣля была для меня счастливѣе предыдущихъ. Я получилъ отъ тебя два письма: одно съ почтою, другое съ Агафьинымъ братомъ. Последнее есть картина подлинно живописная чтенія твоего Маріи Стюартъ. Съ какимъ удовольствіемъ буду я тебя слушать, моя чародѣйка, когда ты будешь мнѣ волшебнымъ твоимъ жезломъ открывать и указывать сіи неизвѣстныя мнѣ земли! Письмо твое написано прекрасно и правильно даже! Это значитъ, что ты писала его не торопясь и не была развлекаема“.

Говоря о томъ, что онъ любитъ и пріятельницу своей Лизы—„Сонюшку“ Вейкардтъ, Сперанскій оговаривается:

„Истинно я люблю ее, какъ дочь; но не такъ люблю, какъ тебя: она по тебѣ занимаетъ у меня второе мѣсто; но перваго безъ тебя никто бы, кажется, не занялъ; оно безъ тебя осталось бы на вѣки праздно, если бы ты и дѣйствительно имѣла десять родныхъ сестеръ—и лучше тебя и сто разъ умнѣе. Есть какая-то неизмѣняемая форма для любви родительской, и ты именно для меня вылита въ сію форму“.

1-го января Сперанскій поздравляетъ свою дочь съ новымъ 1817-мъ годомъ.

„Сегодня мнѣ исполнилось 45 или 46 лѣтъ (прибавляетъ онъ). Сколько времени потеряннаго въ наукахъ тщетныхъ, въ исканіяхъ ничтожныхъ, въ мечтахъ воображенія! Если бы Богъ не даровалъ мнѣ тебя; то я могъ бы сказать, что я 45 лѣтъ работалъ Лавану за ничто. Полезнѣйшимъ временемъ бытія моего я считаю время моего несчастія и два года, которые посвятилъ я тебѣ“.

Все, что онъ своимъ великимъ умомъ и своими нечеловѣческими усиліями сдѣлалъ для Россіи—все это онъ считаетъ ничтожнымъ съ тѣмъ, что могъ бы сдѣлать для своей любимицы!

Уже въ январѣ Сперанскій задумалъ о томъ, какъ переѣдетъ къ нему его Лиза—готовитъ деньги, маршруты, экипажи.

„Съ какимъ восхищеніемъ встрѣчу я тебя на границѣ благословенной

нашей губерніи, покажу тебѣ новую нашу деревню и, наконецъ, водворю тебя, послѣ толикихъ странствованій, въ новомъ твоёмъ отеческомъ домѣ!“

Елизавета снова присылаетъ къ отцу свои стихи.

„Благодаренъ за стихи,—отвѣчаетъ Сперанскій:—но скажи мнѣ, стихи „Къ Надеждѣ“—переводъ или сочиненіе? Это не привѣтъ, но сущая правда. Они имѣютъ такое сходство въ оборотѣ своемъ съ лучшими нѣмецкими стихами, что я въ недоумѣніи. Если это сочиненіе, какъ я и люблю вѣрить, то сіе доказываетъ, что умъ твой занятъ и напоенъ нѣмецкою словесностію. Я радъ: ибо она и изящна и оригинальна. Есть нѣкоторыя неисправности въ языкѣ, но и это мнѣ пріятно; это значить, что въ Пензѣ я буду еще имѣть удовольствіе тебя доучивать и содержать тебя въ моей зависимости“.

Дѣвушка пишетъ о своихъ занятіяхъ Шекспиромъ и Шиллеромъ. Говоритъ, что увлечена Шиллеромъ, и совѣтуетъ отцу учиться по-нѣмецки.

Отецъ отвѣчаетъ, что послѣ Шиллера французская словесность будетъ для дочери „казаться безъ цвѣта и безъ вкуса“.

„Я о семъ не жалѣю,—прибавляетъ онъ,—но вотъ о чемъ ты сама, можетъ быть, пожалѣешь: если увлеченный твоими живописными картинами, пущусь я, по совѣту твоему, въ море нѣмецкой словесности: тогда что будетъ съ моимъ губернаторствомъ? Я долженъ буду все оставить, даже и еврейскій мой языкъ; и ты одна всего будешь виною. Продолжай, однако же, писать ко мнѣ о новыхъ твоихъ открытіяхъ, не взирая на всѣ послѣдствія“.

Сперанскій теперь ни о чемъ другомъ не думаетъ, кромѣ свиданья со своей Лизой. А между тѣмъ еще январь.

„Со слѣдующею почтою пришлю твой маршрутъ. Удивительно, какъ идетъ время. Думаю о тебѣ каждый день, каждый часъ, а писать къ почтѣ не успѣваю. Это отъ того, что думать и любить тебя несравненно легче, нежели писать, хотя и писать пріятно. Прости. Христосъ съ тобою“.

Черезъ нѣсколько писемъ, въ которыхъ рѣчь идетъ о поѣздкѣ дочери, Сперанскій не можетъ удержаться, чтобъ не сказать: „Съ какимъ удовольствіемъ слышу я стукъ плотниковъ и слесарей въ комнатахъ, которыя для тебя готовлю! Это сокращаетъ разстояніе предлинныхъ трехъ мѣсяцевъ, кои долженъ я еще провести безъ тебя. Прощай, моя милая. Христосъ съ тобою“.

Въ другомъ мѣстѣ, говоря о своей любви къ дочери, Сперанскій оговаривается, что ради ея счастья онъ готовъ на все—даже ее не видѣть, если это необходимо: „Я не чувствую почти тяжести жертвъ, когда онѣ тебѣ только полезны. Богъ не попуститъ, чтобъ я изъ тебя когда-нибудь пожелалъ сдѣлать собственную мою куклу“.

Переписка между Лизой и отцомъ идетъ неустанная.

Въ первый день пасхи Сперанскій пишетъ первой ей—своей „Лизутѣ“. Привѣтствуетъ ее со всею нѣжностью.

„Вмѣсто краснаго яичка посылаю тебѣ собственный мой ликъ; пусть онъ тебя поздравитъ и за меня поцѣлуетъ. Здѣсь находятъ его весьма схожимъ. Его писалъ одинъ здѣшній дворянинъ, amateur, кисть не самая

мастерская, но удивительная въ сходствѣ. Онъ и тебя напишетъ, мою милую дуру, когда ты сюда прїѣдешь“.

Наконецъ, дочь ѣдетъ. Цѣлая масса писемъ идетъ ей навстрѣчу съ разными распоряженіями, пожеланіями, деньгами, экипажами. Ёдетъ она съ г-жею Вейкардтъ.

„Желаю только, чтобъ дорога ваша какъ можно болѣе походила на прогулку. Слѣшить слишкомъ нѣтъ нужды; лишь бы вы были покойны. Не забывайте каждый день поутру и ввечеру по нѣскольку верстъ ходить пѣшкомъ; это существенно. Да не загорите, чтобъ не прїѣхать вамъ сюда арапками“.

Еще письмо: ...„Здѣсь полная весна (конецъ апрѣля); деревья распустились; воды упали; все тебя ожидаетъ; все призываетъ твою музу, чтобъ воспѣвать здѣшнія красоты. Ты смѣешься, дура, а я увѣренъ, что ты будешь здѣсь писать и лучше и охотнѣе“.

Задержка въ отъѣздѣ. Горе съ обѣихъ сторонъ. Письма еще учащаются. Уже іюнь наступилъ.

„Еще одно письмо къ Лизѣ наудачу, и это уже послѣднее. Какъ не вѣрить мнѣ положительному твоему обѣщанію отправиться 15-го іюня? Я такъ давно сего желаю. И такъ, добро пожаловать; все здѣсь у меня готово; а готовѣ всего мое сердце“.

...„Прощай моя милая; мнѣ такъ близко кажется свиданіе съ тобою, что уже и писать не хочется. Жаль уменьшить предметы разговоровъ. На двѣ недѣли предаю уши и вниманіе мое въ полную твою волю. Прощай. Христосъ съ тобою“.

Но и это не послѣднее письмо. Еще одно письмо встрѣчаетъ „милую дуру“ на дорогѣ—это поздравленіе съ приближеніемъ къ предѣлу пути.

...„Еще пять, шесть дней—и ты дома!.. Цѣлую обѣ руки твоего ангела-хранителя“...

И вотъ „милая дура“ съ отцомъ, въ Пензѣ. Какъ одинъ день пролетѣлъ годъ и нѣсколько мѣсяцевъ счастья—общей жизни.

И снова у Сперанскаго отнято его счастье—его „милую дуру“ опять увезли въ Петербургъ.

„Какая пустота, любезная моя Елисавета, съ тѣхъ поръ, какъ вы уѣхали,—пишетъ онъ 1-го октября.—Вотъ двѣ недѣли уже минуло, а я не имѣлъ еще духу сойти внизъ и быть въ вашихъ комнатахъ. Съ лѣтами, кажется, я становлюсь малодушенъ“.

Въ слѣдующемъ письмѣ онъ предостерегаетъ дочь отъ извѣстнаго нечистотою своихъ дѣяній Магницкаго.

„Съ Магницкимъ будь осторожнѣе: ибо и въ Петербургѣ поведеніе его не одобряютъ. Прїѣздъ твой вѣрно произведетъ толки. Старайся разрушить ихъ, увѣряя, что въ концѣ зимы или въ началѣ весны ты сюда возвратишься, хотя, впрочемъ, между нами, дѣло не совсѣмъ невѣроятное, что мы зимою будемъ вмѣстѣ“. И тутъ же поправляетъ грамматическія ошибки своей Лизы: „Не пиши превозходителству, но превосходительству“.

Снова письмо за письмомъ летятъ въ Петербургъ. Изъ Петербурга тоже.

„Первое письмо моей Елисаветы изъ Петербурга; съ сего времени начнется опять письменная наша бесѣда, и Богу одному извѣстно, скоро ли превратится она опять въ разговоры“.

Дѣвушка пишетъ о Магницкомъ, — далеко не хвалитъ его.

„Замѣчаніе твое о Магницкомъ весьма справедливо, — отвѣчаетъ Сперанскій. — ...Онъ давно пересталъ меня слушать. Въ слабой его головѣ совѣты мои потеряли всю силу съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ счастье лишило ихъ очарованія. Съ тѣхъ поръ онъ сталъ умнѣе, а я предъ нимъ глупѣе. Это одно даетъ точную мѣру разсудительной его силѣ. Впрочемъ, должно быть справедливымъ: я забавлялся, игралъ нѣкогда умомъ его; теперь должно платить за сіи игрушки“...

...„Ради Бога не оставляй пѣнія: ибо на сто музыкантовъ едва найдешь одну пѣвицу. Тебѣ же и стыдно оставить сіе упражненіе послѣ толикихъ усилій — и дозвожь себѣ сказать — успѣховъ“.

...„У насъ новаго ничего нѣтъ. Балы наши еще не начались; да и что мнѣ до баловъ, когда нѣтъ моей волшебницы?“...

...„Внизу еще не бывалъ, и быть не могу до зимы“...

Дочь пишетъ, что хочетъ учиться композиціи, генераль-басу. Отецъ поддерживаетъ эту мысль.

„Вообще во всякой наукѣ, — говоритъ онъ, — надобно добираться до того, чтобъ мыслить и самому изображать свои мысли. Что за стихотворецъ, который умѣетъ только читать стихи чужіе? Что за стихотворецъ, на примѣръ, я? Дѣло другое ты. Вотъ для чего мнѣ всегда хотѣлось, чтобъ ты получила понятіе о генераль-басѣ... А итальянскій языкъ?“

Говоря, что продаетъ свой домъ въ Великопольѣ и тѣмъ дѣлаетъ себя независимымъ отъ долговъ. Сперанскій прибавляетъ: „независимость есть единое благо, коего намъ не доставало; все прочее, по милости божіей, я имѣю: Лиза, здоровье и друзья, какъ твоя мама (г-жа Вейкардтъ). Чего же болѣе?“...

...„Весьма умно распорядилась ты съ деревьями, и можетъ ли Лиза сдѣлать что-либо худо? Вездѣ умъ и особливо здравый, зрѣлый разсудокъ“...

Дѣйствительно, оба эти существа жили какъ бы однимъ умомъ, однимъ сердцемъ.

„По согласію мыслей твоихъ съ моими, — пишетъ отецъ, — мнѣ остается почти только пожелать чего-либо, чтобъ и считать уже исполненнымъ. Какимъ образомъ двое часовъ на такомъ разстояніи могутъ идти столь согласно?“...

Письмо къ дочери отъ 17-го декабря 1818 года Сперанскій начинаетъ эпиграфомъ изъ „Донъ-Карлоса“ Шиллера:

Wie schön ist es und herrlich, Hand in Hand,
Mit einem theuern, vielgeliebten Sohne (Tochter! прибавляетъ
Сперанскій),

Der Tugend Rosenbahn zurück zu eilen,
Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen!

„Тебѣ, любезная моя Елисавета, по всей справедливости, принадлежать всѣ мои успѣхи. На прошедшей недѣлѣ я прочиталъ Донъ Карлоса сперва начерно; теперь читаю набѣло и съ удовольствіемъ... Но сдѣлай милость, ни учись по-турецки, ни по-татарски; ты меня замучишь, если мнѣ вездѣ за тобой слѣдовать должно. И нѣмецкій твой языкъ мнѣ довольно дорого стоитъ. Были дни, въ кои я сидѣлъ за нимъ часовъ по 12-ти; *c'est une rage*. Нѣтъ ничего лучше въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ заупрямиться; мнѣ же всегда нужно заняться чѣмъ-нибудь весьма труднымъ, чтобъ отбить отъ себя приливъ мыслей и воспоминаній“...

Новый 1819-й годъ попрежнему дочь и отецъ встрѣчаютъ въ разлукѣ.

Сперанскаго тяготитъ мысль, что его въ Петербургѣ забыли, и тяготитъ самая жизнь.

„Поздравляю тебя, любезная моя Елисавета,—пишетъ онъ,—съ новымъ годомъ, и со днемъ моего рожденія. Если-бъ не было тебя: то день сей былъ бы для меня, по истинѣ, днемъ печали и горестныхъ воспоминаній“.

Черезъ нѣсколько писемъ Сперанскій какъ бы шутя даетъ знать дочери, что онъ болѣе не вынесетъ своей пензенской ссылки.

„Предваряю тебя, любезная моя Елисавета, пишетъ онъ въ половинѣ января, что если въ теченіе сего мѣсяца ты не приплешь ко мнѣ курьера, чтобъ я явился къ тебѣ въ Петербургъ: то 1-го февраля отправлю я на тебя жалобу государю и буду просить отпуска на 4 мѣсяца. Въ самомъ дѣлѣ, я на сіе рѣшился. Не думаю, чтобъ мнѣ отказали, и такимъ образомъ въ мартѣ я буду въ Петербургѣ, а далѣе что Богъ дастъ“.

Графъ Кочубей пишетъ изъ Петербурга Сперанскому, что „дивится“ образованію его дочери.

Съ своей стороны, дѣвушка, постоянно занятая, сообщаетъ отцу свое мнѣніе о русской литературѣ.

„Разсужденія твои о литературѣ нашей,—отвѣчаетъ Сперанскій,—справедливы; но мнѣ горько думать, что она осуждена всегда на игрушки. Мнѣ кажется, недостатокъ силы происходитъ отъ ея младенчества. Съ возрастомъ придетъ и сила. Для легкой шутки надобенъ только умъ; но для сильныхъ произведеній потребно размышленіе и сила воображенія, возбуждаемая и управляемая классическими образцами. А у насъ именно сего-то и не достаетъ. Авторы, тобою приводимые, суть не что иное, какъ остроумная неучь. Я ихъ помню. Самъ Крыловъ есть порядочный невѣжда. Впрочемъ, есть невѣжество генія и невѣжество остроумія; первое мы видимъ въ Шекспирѣ“.

Отецъ и дочь ждутъ свиданья какъ спасенья. Но свиданья не разрѣшаютъ.

„Мысль съ тобою видѣться, любезная моя Елисавета,—пишетъ Сперанскій 11-го февраля,—такъ мною овладѣла, что мнѣ кажется и писать уже къ тебѣ нечего. Для чего происшествія сего тяжелаго, грубаго, свинцоваго міра не летятъ такъ, какъ мое воображеніе? Еще двѣ или три вѣчныя недѣли я долженъ провести между страхомъ и надеждою“...

А 18-го февраля онъ вновь пишетъ: „Правда ли, любезная моя Елисавета, что еще двѣ-три недѣли, и мы съ тобою опять вмѣстѣ? Признаюсь, горько мнѣ будетъ въ семь обмануться; лучше бы не надѣяться. Трудно мнѣ будетъ извинить обстоятельства: трудно, но не возможно. Въ расчетѣ благоразумія я долженъ бы былъ теперь готовиться къ отказу; но нещадный разумъ едва смѣетъ прикоснуться къ крыльямъ воображенія. И неумолимый смягчается!“

Но страшнымъ ударомъ былъ для Сперанскихъ не только отказъ въ отпускѣ, но приказъ немедленно ѣхать въ Сибирь генераль-губернаторомъ.

Враги никакъ не хотѣли выпустить его въ Петербургъ.

„Что сказать тебѣ, — пишетъ онъ въ отчаяніи своему единственному другу, — о новомъ ударѣ бурнаго вѣтра, который вновь насъ разлучаетъ по крайней мѣрѣ на годъ. Вчера я получилъ вѣсть сію и признаюсь, еще не образумился. Думаю, однако же, что Господь дастъ мнѣ силы перенести и сіе огорченіе, по всей вѣроятности послѣднее: ибо есть конецъ всякой силѣ изобрѣтенія и есть же конецъ всякому и терпѣнію. Я надѣюсь, что моего станетъ еще на годъ; но не болѣе“.

...„Въ положеніи моемъ есть нѣчто таинственное, почти суевѣрное“ — пишетъ онъ въ слѣдующемъ письмѣ, выражая надежду, что черезъ годъ, наконецъ, онъ доберется до Петербурга — черезъ Сибирь!.. „Есть надежда, что я къ той же цѣли приду, хотя путемъ довольно длиннымъ и вмѣсто 1,500 верстъ долженъ буду сдѣлать около 12,000 (оказалось еще больше!). Надежда сія, однако же, есть тайна, которую тебѣ одной я ввѣряю“...

Черезъ три дня Сперанскій вновь пишетъ:

„Третьяго дня, въ самый день свѣтлаго воскресенья, отправилъ я съ фельдъегеремъ къ тебѣ мрачное письмо мое. Не печалься, моя любезная Елисавета; чѣмъ болѣе я всматриваюсь въ свое положеніе, тѣмъ болѣе нахожу въ немъ перстъ Провидѣнія; а гдѣ Провидѣніе, тамъ надежда. Описавъ большой кругъ, я приду къ той же самой точкѣ, къ соединенію съ тобою и къ жизни безмятежной. Богъ дастъ мнѣ силы. Здоровье мое самымъ видимымъ образомъ укрѣпляется; а съ здоровьемъ и съ духомъ бодрымъ чего перенести невозможно!“

Письма дочери поддерживаютъ его энергію: дочь проситъ отца не падать духомъ.

„Письмо твое, любезная моя Елисавета, отъ 27 марта, весьма меня обрадовало, — отвѣчаетъ Сперанскій. — Я привыкъ все относить къ тебѣ; все чувствовать въ тебѣ. Русское твое сердце на сей разъ весьма кстати пособило твоему разсудку. Одна разлука съ тобою составляетъ всю мрачную сторону моего новаго назначенія; все прочее довольно ясно и даже блистательно; а лучше всего то, что сія переменна вѣнчаетъ мою службу хотя страннымъ, но весьма приличнымъ иб лаговиднымъ образомъ. Думаю, впрочемъ, что и безъ расчетовъ самолюбія, путешествіе мое для образованія сего края будетъ не бесполезно. Можетъ быть Жуковскіе и Мерзляковы, изъ рода тунгусовъ и остяковъ, воспоютъ нѣкогда мое имя, какъ греки

воспѣвали своего Кадма или скандинавцы Одина. Само собою разумѣется, что въ сихъ пѣсняхъ и ты не будешь забыта, и имя Елисаветы — моей дуры, займетъ нѣсколько полустипій въ ихъ гекзаметрахъ“.

8-го мая Сперанскій выѣхалъ изъ Пензы. 13-го мая онъ уже пишетъ дочери изъ Казани. 18-го — изъ Перми.

„Сегодня отсюда пускаюсь въ Тобольскъ, гдѣ надѣюсь быть въ самый Троицынъ день 25-го мая. Нельзя и для свиданія съ тобою болѣе спѣшить!“

И въ Сибири у него одна дума — его милая Лиза.

„И здѣсь, любезная моя Елисавета, — пишетъ онъ изъ Тобольска, — то же небо, тотъ же благотворный свѣтъ солнечный, тѣ же люди, смѣшеніе добра и зла, тотъ же отеческій промыслъ, объемлющій всѣ пространства, сближающій меня съ тобою во всѣхъ разстояніяхъ, укрѣпляющій и исполняющій сердце мое довѣріемъ и надеждою“.

Какъ новый генераль-губернаторъ, скачетъ онъ, не зная устали, вдоль и поперекъ всей Сибири, и вездѣ его розыскиваютъ письма его Лизы, а его письма со всѣхъ мѣстъ летятъ навстрѣчу письмамъ дочери.

„Трудно видѣть луга болѣе тучные, лучше испещренные, — пишетъ онъ изъ Томска уже, — и если-бъ не былъ я за 4500 верстъ отъ тебя, то можно бы симъ повеселиться; но сердце мое сжато и не прежде раскроется, какъ при обратномъ отсюда путешествіи“.

„Письмо твое, любезная моя Елисавета, отъ 8-го іюня, дошло ко мнѣ 14-го іюля, — говоритъ онъ въ слѣдующемъ письмѣ, — какое ужасное разстояніе; а черезъ двѣ недѣли я буду отъ тебя еще далѣе. Какъ же не желать, какъ не искать намъ вѣчности все соединяющей, когда здѣсь все раздѣлитъ насъ можетъ?“

„Разсужденіе твое о чувствительности прекрасно и даже весьма основательно. Упражняйся, любезная, чаще въ сихъ размышленіяхъ; но упражняйся съ перомъ въ рукѣ: ибо симъ однимъ образомъ можешь ты установить и удержать полетъ твоихъ мыслей“...

Тоскуетъ дѣвушка, боится будущаго.

„Ты старѣешь, — пишетъ ей отецъ на это, — ради Бога не допускай себя старѣть; не теряй розовыхъ твоихъ мыслей; не позволяй входа въ сердце твое пустымъ страхамъ; не всѣ ли, не вездѣ ли мы въ рукахъ всевышняго промысла; не ломаютъ ли себѣ ногъ на паркетахъ, и сверхъ того прошедшее должно тебѣ ручаться за настоящее и будущее. Что бы ни говорили, а есть предчувствіе, и сіе предчувствіе удостовѣряетъ меня, что судьба моя еще не исполнилась и не прежде исполнится, какъ по соединеніи съ тобою“...

Положительно можно сказать, что дѣвушка, едва вышедшая изъ дѣтскаго возраста, одна спасала великаго человѣка отъ отчаянья, которому онъ готовъ былъ поддаться, когда будущее его было такъ мрачно.

„Среди нестройныхъ криковъ страстей и жалобъ, здѣсь меня окружающихъ я читалъ, любезная моя Елисавета, письмо твое и мысли о не-

счастіи, какъ музыку Гайдена... Продолжай утѣшать меня; мнѣ нужны твои утѣшенія“...

Много работая надъ своимъ развитіемъ, хорошо подготовленная отцомъ, Елисавета въ то же время беретъ на себя обязанность учить дѣтей.

„Поздравляю тебя въ званіи учительницы дѣтей, — пишетъ ей Сперанскій. — Весьма не худо учить и лучший способъ учиться. Ты будешь современемъ miss Edgeworth“...

5-го сентября, въ день именинъ дочери, Сперанскій пишетъ уже изъ Иркутска: „Давно ли, любимая моя Елисавета, день твоего ангела праздновали въ Пензѣ? Это кажется вчера. Между тѣмъ, сколько происшествій, какая разлука, какая отдаленность! Но сила любви не знаетъ разстояній. И въ Иркутскѣ праздную сей день, счастливѣйшій въ моей жизни, благодареніемъ Всевышнему Отцу, который, вмѣсто всѣхъ благъ жизни, даровалъ мнѣ тебя. Ангелъ хранитель невинности и чистоты душевной да будетъ съ тобою!“

Въ это время дѣвушка познакомилась съ Жуковскимъ, и сообщаетъ объ этомъ отцу.

...„Свиданіе съ Жуковскимъ, — отвѣчаетъ на это Сперанскій, — есть дѣйствительно происшествіе; рѣдко встрѣчаются геніи, и съ того времени какъ встрѣтился Шиллеръ съ Гете, нынѣ случилось это въ первый разъ. Тутъ нельзя ошибиться; если онъ Шиллеръ, то ты Гете. Соразмѣрность почти вѣрная“...

Тоскуя по отцѣ, дѣвушка выражаетъ желаніе быть мальчикомъ, чтобъ имѣть свободу пуститься въ Сибирь.

„Запрещаю тебѣ желать быть мальчикомъ, — отвѣчаетъ Сперанскій: — ты рождена именно для того, чтобъ быть моею Елисаветою, и десяти мальчиковъ за сіе я не возьму. Сверхъ того это и не нужно; даже и въ томъ предположеніи, въ предположеніи для меня горестномъ и слишкомъ невѣроятномъ, чтобъ ты принуждена была посѣтить Сибирь, никакое превращеніе къ сему не нужно“...

Въ одномъ письмѣ дѣвушка говоритъ о „твердости“, о томъ, что она есть у женщинъ.

„Смѣло говори и разсуждай, любезная моя Елисавета, о твердости, — отвѣчаетъ ей на это отецъ, — истинная твердость въ нашемъ вѣкѣ можетъ быть болѣе принадлежать женщинамъ, нежели мужчинамъ. И съ чего мужчины взяли присвоить себѣ исключительно сіе достоинство? Можно имѣть въ самой высшей степени чувствительность и вмѣстѣ твердость; я подозреваю даже, что одно безъ другого быть не можетъ, и истинная чувствительность едва ли не родная сестрица твердости. Какъ можно, на примѣръ, быть твердымъ въ несчастіи безъ живого чувства какой-либо главной идеи, нами обладающей? Кто скорѣе бросится въ рѣку за утопающимъ ребенкомъ? Отецъ или мать? Мать безъ сомнѣнія. А развѣ пренебреженіе опасностей не есть твердость? Можетъ быть, намъ можно съ вами подѣлиться; мы возьмемъ себѣ на нашу часть твердость продолжительную, упорную; а

вы внезапную, стремительную, хотя впрочем и не знаю, справедливъ ли будетъ и сей раздѣлъ. Жизнь вашего пола есть почти непрерывное терпѣніе.

„Какъ бы то ни было, сочиненіе твое о твердости принесло мнѣ много утѣшенія. Мысли вообще основательны; много есть тонкихъ и счастливыхъ выраженій, одному женскому перу свойственныхъ. Съ небольшими поправками оно могло бы быть съ удовольствіемъ прочитано и не отцомъ. Ты спрашиваешь, неужели въ слогъ твоимъ нѣтъ ошибокъ? Есть, но они уменьшаются такъ, что и изъ Пензы поправлять ихъ не стоило бы труда, а изъ Иркутска!“

Наступилъ, наконецъ, и 1820 годъ. Дѣвушка все въ разлукѣ съ отцомъ, и чтобъ хоть чѣмъ-нибудь утѣшить его, посылаетъ ему къ новому году свой портретъ.

Сперанскій благодаритъ свою любимицу за это нѣжное вниманіе. „Предо мною на столѣ всегда стоятъ двѣ твои пензенскія миниатюры,—пишетъ онъ,—къ сожалѣнію, одна изъ нихъ, въ сарафанѣ, болѣе сходная, линяетъ. Теперь будетъ чѣмъ замѣнить“.

Передъ одной Елисаветой своей Сперанскій ничего не скрывалъ. „Къ тебѣ одной,—говоритъ онъ,—моему единственному другу, пишу я съ полною откровенностію и довѣріемъ“.

Ей довѣряетъ онъ и слѣдующее: „Сибирь для меня есть театръ довольно выгодный, — говоритъ онъ. — Если не много я здѣсь сдѣлалъ: по крайней мѣрѣ много осушилъ слезъ, утишилъ негодованій, пресѣкъ вопіющихъ насилій и, что можетъ быть еще и того важнѣе, открылъ Сибирь въ истинныхъ ея политическихъ отношеніяхъ. Одинъ Ермакъ можетъ спорить со мною въ сей чести. Все сіе, разумѣется, я пишу только къ тебѣ и для тебя“.

Въ февралѣ Сперанскій скачетъ въ Кяхту, оттуда въ Верхне-Удинскъ, потомъ въ Нерчинскъ, гдѣ спускается „въ преисподнюю на 36 сажень подъ землею, чтобъ видѣть своими глазами послѣднюю линію человѣческаго бѣдствія и терпѣнія“, и отовсюду письма его направляются въ Петербургъ — все къ той же Лизѣ: каждое свое впечатлѣніе онъ одной ей довѣряетъ.

Даже подъ заглазнымъ руководствомъ такого отца крѣпнетъ характеръ и воля дѣвушки, закаляемая несчастьемъ.

„Буря застала тебя въ такія лѣта,—пишетъ ей отецъ изъ Иркутска,—когда ты ея не чувствовала. Ты играла въ Нижнемъ; играла въ Перми и начала чувствовать бытіе твое въ Великопольѣ. Всѣ вѣроятности есть, что, оставаясь въ Петербургѣ, ни умъ, ни характеръ твой не получили бы ни развитія, ни твердости. Я не могъ бы тобою заниматься; обстоятельства болѣе изнѣжили бы тебя, нежели укрѣпили. Ты была бы по сіе время не что иное, какъ вялый ребенокъ. Таковы суть большая часть женщинъ... Несчастіе! Его должно было бы называть другимъ именемъ, именемъ благороднѣйшимъ, какое только есть въ происшествіяхъ человѣческихъ. Въ духовномъ смыслѣ оно есть помѣщеніе въ число чадъ божіихъ, сынополо-

женіе. Въ моральномъ—сопричтеніе въ дружину великодушныхъ. Несчастіе! Его должно было бы вводить въ систему воспитанія и не считать его ни оконченнымъ, ни совершеннымъ безъ сего испытанія“.

Ни Сперанскій, ни дочь его не знали, что имъ готовится новое испытаніе. Они надѣялись лѣтомъ 1820 года быть уже вмѣстѣ.

Но враги ихъ не дремали. И на эту предстоящую зиму отца отрывали отъ дочери.

„Какъ бы то ни было,—пишетъ Сперанскій въ маѣ 1820 года,—я долженъ буду провести будущую зиму въ Сибири и именно въ Tobольскѣ. Мои собственныя огорченія тутъ не должны быть въ счетъ принимаемы; я всегда найду силу ихъ перенести... Чувствительность моя вся въ тебѣ. Если при семъ отдаленіи нашего свиданія нужны тебѣ мои какіе-либо совѣты, требуй ихъ откровенно и не полагай никакихъ предѣловъ моимъ чувствамъ. Не бери въ счетъ моего бытія; думай только о своемъ счастіи и будь увѣрена, что я буду совершенно счастливъ, когда за 6000 верстъ буду знать, что ты счастлива“...

Безнадежность свиданья еще болѣе учащаетъ письма между отцомъ и дочерью. Они желаютъ знать другъ о другѣ — все, всякую мельчайшую подробность.

„Ты ничего мнѣ не пишешь о твоемъ пѣніи, — спрашиваетъ Сперанскій.—Какъ жалко, что люди такъ глупы, что не слышатъ въ твоемъ голосѣ будущаго его раскрытія, не знаютъ цѣны его timbre, который требуетъ только упражненія и гибкости. Некому слушать, и я очень понимаю, что и пѣть для глухихъ не хочется; но пой для меня и вѣрь, что за 6000 верстъ я услышу!“

Время идетъ медленно. Даже письма дочери не сокращаютъ его для изгнанника. Въ половинѣ іюня къ Сперанскому пріѣзжаетъ изъ Петербурга курьеръ съ бумагами. „Сей курьеръ, глупый человѣкъ, не зналъ, что у меня есть дочь въ Петербургѣ, не привезъ мнѣ ни одного письма“, съ горестью говоритъ ссыльный генералъ-губернаторъ.

Но зато другая радость, хотя минутная, оживляетъ его. Изъ Петербурга возвращается одинъ енисейскій купецъ, который видѣлъ своими глазами Лизу. „И онъ и товарищъ его,—пишетъ по этому случаю Сперанскій къ дочери,—не могутъ тобою нахвалиться и безъ слезъ не могутъ вспомнить, что такіе высокіе люди, какъ Елизавета Михайловна и Марья Карловна такъ съ ними были ласковы“.

Дѣла опять загнали Сперанскаго вглубь Сибири. Въ августѣ онъ пишетъ уже изъ Красноярска. Говоритъ, что письма дочери и выраженные въ нихъ надежды на свиданье раздираютъ его душу. Кромѣ того, изъ нѣкоторыхъ ея писемъ онъ заключаетъ, что его Лиза еще кого-то любитъ кромѣ него. Онъ говоритъ ей объ этомъ—дѣвушка не понимаетъ, и спрашиваетъ отца, что это значитъ.

„Первое движеніе мое во всякой глубокой душевной скорби есть бѣжать въ горнее мое отечество. Въ семъ расположеніи мыслей я стараюсь

скорѣе распорядить земныя дѣла мои и сдѣлать послѣднее мое завѣщаніе, и какое другое могу я имѣть дѣло на землѣ, кромѣ твоего счастья? Письмо мое къ тебѣ было въ существѣ своемъ не что иное, какъ вопросъ: можешь ли ты найти другого въ жизни спутника, кромѣ меня, который, по странному сдѣленію судьбы, вмѣсто того чтобъ тебя вести, запинаятъ твой путь. За шесть тысячъ верстъ я не могъ разрѣшить сего вопроса. Ты еще не знаешь всей заботливости, всей тонкости отческаго сердца. Нѣкоторыя черты твоихъ писемъ открывали мнѣ, что нѣчто лежитъ у тебя на сердцѣ; я не могъ опредѣлить, что именно. Я видѣлъ четыре дѣйствующія лица; но не зналъ, какъ ихъ сложить. Все что могъ и долженъ былъ я сдѣлать, было предоставить тебѣ полную свободу, разрѣшить тебя на всѣ случаи, увѣрить, что одно знаніе, одинъ слухъ о твоемъ счастьи есть уже для меня дѣйствительное счастье. Я долженъ былъ сіе сдѣлать потому, что въ любви къ тебѣ не имѣю я никакого самолюбія, и что, жертвуя всѣмъ, я желаю одного—чтобы ты была неприкосновенною, чтобъ на одного меня излили все, что есть горестнаго въ судьбѣ моей. Я не могу чувствовать радостей жизни безъ тебя. Но могу жить и безъ радостей; одного желаю и прошу у Бога, чтобъ ты была счастлива. Вотъ содержаніе письма моего. Никогда не перестанешь ты меня привязывать къ землѣ, доколѣ желаніе сіе не совершится, и если бы должно было еще пять разъ быть въ Сибири, я чувствую себя въ силахъ все перенести безъ ропота и безъ ослабленія... Мысль отдѣлить мое бытіе отъ твоего счастья есть выше всего моего терпѣнія“...

И это говоритъ Сперанскій — холодный будто бы формалистъ, бюрократъ... Мало того, о томъ, кого его Лиза изберетъ себѣ въ мужа, онъ говоритъ: „тотъ, кто искренно любитъ мою Елисавету, долженъ по первому ея знаку прилетѣть съ того свѣта, иначе онъ ея не знаетъ или любовь его есть игра ума и воображенія“...

Возвращаясь изъ Красноярска на западъ Сибири, Сперанскій находитъ въ Томскѣ новыя письма отъ дочери. „Еще два письма отъ моей Елисаветы,—говоритъ онъ.—Если бы и не было другой выгоды возвращаться съ востока на западъ: то одна встрѣча твоихъ писемъ стоила бы путешествія“...

Въ другомъ письмѣ благодаритъ свою Лизу за присланные ею рисунки своей кисти. Пишетъ уже изъ Семипалатинска: „Живопись твоя прекрасна... Италіанскій языкъ есть послѣдняя черта моихъ о тебѣ желаній. Окончивъ ее, кажется, все будетъ окончено, что было начато и безъ тщеславія можно быть покойнымъ. Ты не отстанешь отъ своего вѣка, сколько бы ходъ образованія его не былъ обширенъ и стремителенъ. Всѣ двери познаній, всѣ источники чистыхъ удовольствій тебѣ открыты“...

Изъ Tobольска, 9-го октября: „Если сердце моей Елисаветы спокойно: то нѣтъ для меня горестей на свѣтѣ. Сіе одно существенно; все прочее исчезаетъ какъ мечта, какъ призракъ при первомъ нашемъ взглядѣ другъ на друга“...

Дѣвушка слѣдитъ за литературой и замѣчанія свои сообщаетъ отцу. Является, какъ литературная новость, „Русланъ и Людмила“ Пушкина. Чутье подсказываетъ дѣвукѣ, что изъ Пушкина выйдетъ что-то большое, и она дѣлится этимъ открытіемъ съ отцомъ. Сперанскій отвѣчаетъ: „Руслана я знаю по нѣкоторымъ отрывкамъ. Онъ дѣйствительно имѣетъ замашку и крылья генія. Не отчаивайся, вкусъ придетъ; онъ есть дѣло опыта и упражненія. Самая неправильность полета означаетъ тутъ силу и предприимчивость. Я такъ же, какъ и ты замѣтила сей метеоръ. Онъ не безъ предвѣщанія для нашей словесности“.

А вотъ какъ превосходно Сперанскій очерчиваетъ характеръ своей дочери:

„Итакъ, къ тебѣ опять возвратился ребяческій твой нравъ. Увѣряю тебя, что и въ шестьдесятъ лѣтъ онъ тебя не оставитъ, если силою ты его не выгонишь. Это есть печать, которую на извѣстные характеры налагаетъ сама природа; горести могутъ ее затмить, но не изгладить, проглянетъ солнце надежда—и печать тутъ. Я первый ее въ тебѣ примѣтилъ, для другихъ и теперь еще это тайна; они не знаютъ къ чему отнести все это, что есть въ характерѣ твоёмъ пріятнаго; а это *sandeur*; это не есть откровенность *franchise*, ни простота *simplicité*, ни то, что называютъ *paivété*, хотя часто смѣшиваютъ одно съ другимъ (собственно говоря, ты не имѣешь *paivété*). Это есть нѣчто невыражаемое на словахъ; но въ природѣ это можно отличить и указать. Я бы назвалъ это бѣлизною нрава: ибо и въ самомъ дѣлѣ *sandeur* по-нашему означаетъ бѣлизну. Даръ безцѣнный, источникъ тонкой, глубокой, внутренней чистоты и невинности. тихихъ удовольствій и кроткаго веселонравія. Дѣти всѣ почти имѣютъ сей даръ; но у кого онъ не глубоко на сердцѣ положенъ, тотъ теряетъ его скоро. Рѣдкіе сохраняютъ. Но я знаю примѣры, что сохраняютъ до глубокой старости. Я его совсѣмъ не имѣю. У тебя онъ отъ матери.

О литературныхъ занятіяхъ своей дочери Сперанскій пишетъ:

„Я тебѣ предсказывалъ, любезная моя Елисавета, что слава стиховъ твоихъ промчится до предѣловъ міра. Англія есть средоточіе всѣхъ сообщеній; слѣдовательно, чрезъ годъ, чрезъ два—имя твое извѣстно будетъ и въ Америкѣ... Съ твоими стихами дѣлается то же, что съ моими мыслями: ихъ печатаютъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ“.

Мы бы никогда не кончили, если-бъ продолжали дѣлать хотя самыя характеристическія выписки изъ писемъ Сперанскаго къ дочери. Ограничимся нѣсколькими строками изъ его послѣднихъ сибирскихъ писемъ.

На новыи 1821 годъ онъ, между прочимъ, пишетъ дочери: „Мнѣ кончилось сегодня пятьдесятъ лѣтъ. По общему счету жизнь довольно долго-временная—а готовъ ли я?... Одно достовѣрно, что собственно для себя я не привязанъ къ міру; но слишкомъ много привязанъ къ твоему счастью и по странному противорѣчію чего не желаю себѣ, того желаю тебѣ. Вотъ тонкая игра самолюбія“...

Все еще подозрѣвая, что дѣвушка, быть можетъ, уже привязалась къ

кому-либо и ждать только отца, чтобъ сообщить ему о своемъ выборѣ, Сперанскій пишетъ:

„Время еще не ушло и спѣшить я не вижу никакой нужды. У меня есть множество идей, кои должно сообщить тебѣ. Ты знаешь, что я прежде никогда не говорилъ съ тобою о сихъ предметахъ: ибо считалъ сіе неблагоприятнымъ. Вотъ почему нужно намъ прежде все сіе разобрать и уложить вмѣстѣ: ибо, что бы ни говорили, но самая пламенная любовь зависитъ отъ идеала и въ правильномъ составленіи сего идеала состоитъ все дѣло. Можно утвердительно сказать, что каждый предметъ любви знакомъ былъ намъ прежде. Мы образъ его нашли уже въ душѣ своей, и человекъ тутъ есть только подлинникъ сего образа. Тутъ двѣ ошибки быть могутъ. Ошибка въ образѣ и ошибка въ приложеніи его къ человеку. Сколько слезъ пролито отъ сихъ двухъ ошибокъ; какія ужасныя они имѣли послѣдствія“.

5-го февраля Сперанскій пишетъ дочери послѣднее свое письмо изъ Сибири: „скоро буду съ тобою въ одной части свѣта... въ Европѣ“...

1-го марта онъ пишетъ уже изъ Пензы. Какъ ни усталъ, но торопится къ дочери: „каждый лишній день безъ тебя—для меня жертва“...

17-го марта онъ уже въ Москвѣ.

„Москва! — воскликнулъ онъ: — Москва! И семьсотъ только верстъ разстоянія отъ моей Елисаветы. Легко понять все, что въ сей мысли есть для меня радостнаго“...

До сихъ поръ, слѣдя за жизнью дочери Сперанскаго, мы по необходимости должны были говорить больше о ея отцѣ. Это потому, что самъ Сперанскій въ своихъ обращеніяхъ къ дочери сумѣлъ очертить ея нравственную фізіономію и познакомить съ главными моментами ея дѣвической жизни такъ, что лучшаго источника для знакомства съ его дочерью и желать нельзя.

Теперь мы обратимся къ дальнѣйшимъ эпохамъ жизни собственно Елизаветы Михайловны Сперанской.

Вскорѣ по возвращеніи изъ Сибири отца, она вышла замужъ за Фролова-Багрѣва. Насколько отецъ оправдывалъ ея выборъ въ этомъ случаѣ, насколько „подлинникъ“, о которомъ говорилъ Сперанскій въ письмѣ изъ Сибири, отвѣчалъ идеалу его дочери о человекѣ, могшемъ замѣнить ей отца на всю послѣдующую жизнь—мы не знаемъ.

Извѣстно только, что, и послѣ замужества, дочь Сперанскаго продолжала жить съ отцомъ. Лучшаго общества для такой женщины, какъ дочь Сперанскаго, трудно было бы и желать. Въ домѣ Сперанскаго собиралось все, что было лучшаго, развитого и образованнаго въ Россіи. Пріѣзжія знаменитости, путешественники, иностранные послы, артисты и представители русской литературы—все это соединялось въ домѣ Сперанскаго, и центромъ всего этого избраннаго общества была молодая и образованная дочь славнаго русскаго государственнаго дѣятеля.

Изъ числа русскихъ литераторовъ она пользовалась особенно друж-

бою Пушкина, „полеть генія“ котораго, она едва ли не раньше других угадала своимъ чуткимъ умомъ, когда отецъ ея былъ еще въ Сибири, и писала объ этомъ отцу.

Въ 1839 году Сперанскій умеръ.

Страстно привязанная къ своему геніальному отцу, Багрѣва-Сперанская не въ силахъ была оставаться послѣ его смерти въ томъ домѣ, гдѣ столько счастливыхъ лѣтъ они провели вмѣстѣ, и потому она бросила не только этотъ домъ, но и Россію надолго.

Багрѣва-Сперанская уѣхала въ Европу. Тамъ лично могла она провѣрить свои знанія на тѣхъ образцахъ и явленіяхъ, которые на каждомъ шагу представляла культурная жизнь образованныхъ народовъ. Явленія эти имѣли такое сильное на нее вліяніе, что она нравственно подчинилась имъ, и хотя отъ отца еще наслѣдовала сознательную любовь къ Россіи и къ ея народу, хотя покойный отецъ усердно поддерживалъ въ ней русскія симпатіи, помогалъ ея литературному развитію и давалъ ему направленіе исключительно русское, однако, Европа и первоначальное нерусское воспитаніе осилили: изъ дочери Сперанскаго не вышло русской писательницы; Багрѣва-Сперанская сдѣлалась извѣстною, какъ писательница европейская.

Возвратившись въ Россію, Багрѣва-Сперанская поселилась въ своемъ украинскомъ имѣніи и занялась воспитаніемъ своихъ дѣтей, улучшеніемъ положенія крестьянъ и литературными работами, которыя, однако, сдѣлались извѣстными уже почти подъ конецъ ея жизни, когда она стала печатать ихъ въ Европѣ.

Но тревожная жизнь ея не обошлась безъ катастрофъ и въ этотъ періодъ жизни. Дѣти ея подросли; сынъ подавалъ большія надежды и могъ рассчитывать на блестящую будущность; но, поступивъ безъ согласія матери въ военную службу, онъ нашелъ тамъ смерть въ средѣ развращеннаго товарищества: въ одной ссорѣ, за попойкой, желая защитить жизнь своего товарища, онъ самъ палъ отъ руки пьянаго его противника.

Это было страшнымъ ударомъ для матери.

Въ тоскѣ по сынѣ она нигдѣ не могла найти утѣшенія—ни въ Россіи, ни въ Европѣ. Надѣленная отъ природы впечатлительностью и восторженностью отца-энтузіаста, она думала, что найдетъ это утѣшеніе въ пилигримствѣ и, по старому русскому обычаю, отправилась въ Іерусалимъ на богомолье, отдавъ предварительно свою дочь замужъ за князя Кантакузена и освободивъ такимъ образомъ себя отъ материнскихъ заботъ.

Полтора года она ходила по святымъ мѣстамъ, и, возвратившись въ Россію, вся отдалась единственной страсти, развитой въ ней еще отцомъ—страсти къ литературнымъ занятіямъ.

Первое, что ею было издано въ свѣтъ—это „Русскіе богомольцы въ Іерусалимѣ“ (*Les pelerins russes a Jerusalem*). Собственно же она выступила на литературное поприще еще при жизни отца, именно въ 1829 году, издавъ книгу о воспитаніи дѣтей, которая не прошла незамѣченной

въ Россіи, особенно въ то время, когда самыя педагогическія понятія въ русскомъ обществѣ были только въ зародышѣ.

Но такъ какъ уже не было въ живыхъ ея руководителя-отца, который ревниво и съ любовью слѣдилъ за образованіемъ ея русскаго литературнаго языка и вкуса, поправлялъ каждую малѣйшую ошибку въ ея слогѣ, самъ училъ ее писать стихи и серьезные трактаты о разныхъ предметахъ,—то симпатіи ея вновь перешли на сторону Европы въ такой мѣрѣ, что первое свое большое сочиненіе она издала на французскомъ языкѣ подъ упомянутымъ нами выше заглавіемъ—„*Les pelerins russes a Jerusalem*“.

Однако, здоровье ея, разбитое волненіями и несчастіями прежней жизни и потрясенное трагическою смертью любимаго сына, требовало, чтобъ она избрала себѣ мѣсто жительства въ болѣе здоровомъ, чѣмъ въ Россіи, климатѣ.

Багрѣва-Сперанская избрала для своей жизни Вѣну, гдѣ и поселилась съ 1850 года.

И въ Вѣнѣ, какъ и въ Петербургѣ у отца, домъ ея былъ средоточіемъ самаго образованнаго литературнаго и артистическаго кружка.

Въ Вѣнѣ она продолжала свои литературныя занятія, и вскорѣ Европа прочла въ „*Revue des Deux-Mondes*“ отрывокъ изъ большого сочиненія „*Xénia Damianowna*“ („Ксенія Демьяновна“), обратившій на себя всеобщее вниманіе и не безъ удивленія прочитанный русскою публикою, которая почти ничего не знала объ авторѣ.

Съ тѣхъ поръ Багрѣва-Сперанская начала работать еще съ большимъ жаромъ.

Хотя иностранный біографъ ея (*Auguste-Schnée*) и говоритъ, что Багрѣва-Сперанская представляетъ рѣдкій психологическій феноменъ, потому что у нея будто бы уже подъ старость открылся литературный талантъ, однако, намъ извѣстно изъ писемъ ея отца, что талантъ этотъ обнаруженъ былъ отцомъ ея лѣтъ тридцать пять еще назадъ, когда она была еще дѣвочкой, а потомъ она выступила въ свѣтъ въ 1829 году съ самостоятельнымъ педагогическимъ сочиненіемъ.

Послѣ „Ксенія“ написала она еще нѣсколько сочиненій, какъ-то „Тунгусское семейство“ (*Une famille tongouse*), „Старовѣръ и его дочь“ (*Le starowèr et sa fille*), „Невскіе острова“ (*Les îles de la Néva*), и много другихъ сочиненій.

Но въ то время когда она готовила ихъ къ печати и отдала уже въ переписку, усиленные умственные занятія окончательно сломили ея разстроенное здоровье, и она въ четыре дня умерла воспаленіемъ въ мозгу.

Это было 14-го апрѣля 1857 года.

Умирая, она передала свои сочиненія Августу Шнее, который и издалъ большую часть изъ нихъ въ такъ называемой „Международной библіотекѣ“.

Къ сочиненіямъ этимъ принадлежатъ:

- 1) Irène, ou les bienfaits de l'éducation.
- 2) La vie de chateau en Ukraine.
- 3) Lettres sur Kiew.
- 4) Un tzar des cosaques—изъ времени пугачевщины.
- 5) La couronne de Hongroie.
- 6) Le premier Romanoff—трагедія на нѣмецкомъ языкѣ.
- 7) Souvenir d'un voyage en orient.
- 8) Le livre d'une femme.

Въ семидесятихъ годахъ въ Европѣ явилась особая біографія этой женщины, принадлежащая г. Виктору Дюре, подъ заглавіемъ: „Un portrait russe, l'oeuvre et le livre d'une femme, de m-me Bagreef-Speranski, par Victor Duret. 1867. Leipzig“.

„Доброта, умъ и талантъ суть дары такіе рѣдкіе, скажу болѣе, такіе несовмѣстимые, что тотъ, кто обладаетъ однимъ изъ этихъ даровъ, можетъ уже считаться избранникомъ неба. Багрѣева-Сперанская обладала всѣми этими дарами.

„Въ жизни она нашла однѣ горести, зато въ смерти — безсмертіе“.

Такъ отзывается о дочери Сперанскаго заграничный издатель ея сочиненій и одинъ изъ друзей этой женщины.

XI.

Марья Аполлоновна Волкова.

Едва ли не болѣе всего на исторіи русской женщины отразилась борьба умирающаго, но живучаго XVIII вѣка съ молодымъ, не установившимся броженіемъ вѣка XIX, и хотя въ этой борьбѣ и въ этомъ броженіи еще не видно, что выйдетъ изъ русской женщины, однако, уже начинается намѣчатся ея моральный и общественный образъ.

Молодая Поспѣлова, эта юная „муза рѣчки Клязьмы“, русскій женскій самородокъ и въ то же время едва ли не послѣдній отколокъ XVIII вѣка, не переживаетъ этого броженія и, съдаемая своимъ собственнымъ внутреннимъ огнемъ, кончаетъ чахоткой, не выполнивъ своего призванія.

Дочь Суворова—историческая Суворочка—исчезаетъ какъ дымъ, едва уложили въ гробъ ея отца, тоже обломокъ XVIII вѣка.

Криднеръ, Татаринова, Свѣчина и почти всѣ женщины высшаго общества, охваченныя этимъ броженіемъ, въ которое вкинули западныхъ дрожжей въ видѣ католическихъ патеровъ и эмигрантовъ-аристократовъ, бѣжавшихъ отъ французской революціи, — эти женщины отворачиваются отъ Россіи для того, чтобы погрузиться въ мистицизмъ, пророчество, ханжество, наконецъ, въ католичество.

Тѣ русскія женщины, которыя очутились внѣ этого мистическаго круга или случайно, или по своему общественному положенію, тоже ищутъ выхода изъ нравственнаго хаоса: Хомутова вся отдается умственной жизни,

потому что luckily попадаетъ въ подходящую умственную сферу; Дурова, воспитанная на дикой волѣ, выходитъ изъ космическаго хаоса, надѣвъ на себя уланскій мундиръ и взявъ въ руки боевую саблю отца.

У этихъ послѣднихъ женщинъ начинается уже биться сердце за что-то болѣе или менѣе определенное, не изъ-за придворныхъ интригъ, не изъ-за мистическихъ и католическихъ вопросовъ, а изъ-за чего-то болѣе близкаго, за что-то болѣе осязательное и реальное — за Россію, за русскій народъ, за его благосостояніе.

А тутъ нагрянулъ памятный „двѣнадцатый годъ“.

Страшное общественное бѣдствіе могло заставить задуматься и самую пустую женщину, а для личностей болѣе развитыхъ этотъ неожиданный ударъ и этотъ, вслѣдствіе самой оглушительности удара, необычайный подъемъ народнаго духа, этотъ общій крикъ страны, ухватившейся за спасеніе своего послѣдняго достоянія, своей свободы, своей жизни, это сожженіе городовъ, оттѣсненіе Россіи отъ своей исторической сердцевины куда-то на востокъ, къ Волгѣ, за Волгу, въ степи, къ Азіи — все это отозвалось спасительнымъ ужасомъ въ самыхъ беззаботныхъ умахъ и создало женщину новаго русскаго типа, подобно тому, какъ севастопольское лихо создало Россію конца пятидесятихъ и начала шестидесятихъ годовъ, Россію, лучшую, какою она была когда-либо, создало всѣхъ насъ такими, какими мы явились въ то хорошее, памятное время.

Такою новосозданною русскою женщиною, женщиною, выдвинутою исключительно „двѣнадцатымъ годомъ“, является Марья Аполлоновна Волкова, не похожая ни на тотъ типъ русской женщины, представительницами котораго служили Криднеръ и Татаринова, ни на тотъ, который выразился въ Свѣчиной, ни даже на тотъ, котораго образцы мы видимъ въ Поспѣловой и Багрѣвой-Сперанской.

Дѣвица Волкова была дочь дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Аполлона Андреевича Волкова и Маргариты Александровны, урожденной Коселевой.

Росла она въ богатомъ московскомъ домѣ, въ которомъ собиралось все знатное московское общество, князья и графы, княгини и графини, и проводили время такъ, какъ это времяпровожденіе изображено въ „Горѣ отъ ума“.

Какъ большинство тогдашнихъ аристократическихъ дѣвушекъ, молоденькая Волкова воспитывалась въ Смольномъ монастырѣ и получила шифръ, который ее въ первое время по выходѣ изъ института очень радовалъ, потому что съ этимъ новымъ знакомъ своего ученаго женскаго отличія, съ этимъ женскимъ аксельбантомъ, дѣвушка могла гордо танцовать на балахъ и въ собраніи, могла похвалиться своею ученостью, наконецъ, шифромъ могла привлекать къ себѣ толпы поклонниковъ.

Такъ было и начала свою свѣтскую жизнь Волкова по выходѣ изъ Смольнаго и по переселеніи на житье въ Москву.

Изъ Волковой могла выйти пустая свѣтская женщина. Но „двѣнадца—

тый годъ“ передѣлалъ всю ея природу, и изъ нея вышло существо мыслящее, серьезное, думающее о пользахъ своей страны.

А такихъ женщинъ между русскими до того времени еще не было, по крайней мѣрѣ они не выявились ничѣмъ.

За нравственнымъ переломомъ этимъ можно слѣдить шагъ за шагомъ, моментъ за моментомъ по самымъ письмамъ Волковой, писаннымъ ею въ Петербургъ къ пріятельницѣ, Варварѣ Ивановнѣ Ланской, и сохраненнымъ для потомства дочерью этой послѣдней, Анастасіею Сергѣевною Ланскою, по мужѣ Перфильевою.

„Двѣнадцатый годъ“ почти только въ началѣ.

Въ то время когда „кавалеристъ-дѣвица“ Дурова героически несетъ уже тяжелую ношу боевой жизни, защищая, вмѣстѣ съ цѣлою русскою арміею наши границы отъ налетающихъ ордъ Наполеона, Волкова вотъ что пишетъ Ланской 11-го апрѣля изъ Москвы:

„Вчера мы снова появились въ свѣтѣ, на ужинѣ у графини Разумовской: это былъ день ея рожденія. Я слышала у нея Штейбеля, который, однако, отнюдь не привелъ меня въ восторгъ. Что касается игры, то онъ Фильдова мизинца не стоитъ. При этомъ хвастунъ, всѣхъ презираетъ, лицо у него препротивное и окончательно не понравилось мнѣ. Вотъ какое впечатлѣніе сдѣлалъ на меня вашъ лучший петербургскій артистъ. Кромѣ его я слышала братьевъ Бауеръ, изъ которыхъ одинъ играетъ на віолончели, а другой на скрипкѣ. У перваго, дѣйствительно, пріятный талантъ. Я слушала его съ большимъ удовольствіемъ, несмотря на то, что другъ Ромбергъ избаловалъ мой слухъ. Вечеръ закончили длиннымъ и вовсе не интереснымъ макао. Нынче я ѣду ужинать въ небольшомъ обществѣ у графини Соллогубъ, которая сидитъ постоянно дома, такъ какъ собирается родить. Мама отправляется на ужинъ къ Апраксиной, и я очень рада, что могу провести вечеръ у Соллогубъ, которая жалуется, что я совсѣмъ у нея не бываю. Мнѣ очень весело въ ея обществѣ.

„Говорятъ, что на Пасхѣ въ собраніи будетъ большой праздникъ въ честь статуи императрицы Екатерины. Если это правда, то я буду имѣть случай обновить мой шифръ“.

Объ общественныхъ вопросахъ—ни слова. А Россія, между тѣмъ, уже стонетъ отъ ужасовъ войны.

22-го апрѣля Волкова вновь пишетъ:

„Христосъ Воскресе, мой милый другъ. Вчера былъ праздникъ въ собраніи и весьма неудачный. Графъ Мишо очень дурно распорядился, такъ что празднество это своею нелѣпостію вполне соответствовало уродливымъ украшеніямъ залы. Вообрази себѣ тысячу особъ, разряженныхъ какъ куклы, которыя ходятъ изъ одного угла въ другой, на подобіе тѣней, не имѣя другого развлеченія, кромѣ заунывнаго пѣнія хора, состоящаго изъ 30 человекъ. Не было ни ужина, ни танцевъ, словомъ—ничего. Двѣнадцать болвановъ, стоящіе во главѣ нашего бѣднаго собранія, вчера вполне выказали свою глупость. Надѣюсь, что нынѣшній годъ будетъ послѣднимъ го-

домъ ихъ царствованія. Четырехъ уже смѣнили, и поступившіе на ихъ мѣсто хотятъ начать съ того, что велятъ нынѣшнимъ лѣтомъ уничтожить страшныхъ чудовищъ, поставленныхъ въ видѣ украшенія ихъ предшественниками.

„Какъ видишь, я весьма неудачно дебютировала съ моимъ шифромъ.

„Вотъ тебѣ новость. Камеръ-юнкеръ Мухановъ женится на маленькой княжнѣ Мещерской, племянницѣ графини Головкиной, которая, слѣдовательно, приходится тебѣ сродни“.

Болтовня и свѣтскія сплетни—больше ничего.

Та же самая свѣтская болтовня повторяется и въ письмахъ отъ 29-го апрѣля, 9-го, 13-го, 18-го, 26-го мая и 1-го іюня.

Въ этихъ письмахъ только и рѣчи о томъ, что „Пушкина выходитъ замужъ за Гагарина“; что свадьба будетъ пышная и великолѣпная, на подобіе свадебъ, которыя праздновали пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ“; что „Пушкина непременно хочетъ показать всѣ кружева, купленные ею въ приданое дочери“; что ради этого всѣ московскія маменьки должны подчиняться несносному этикету“, что Соллогубъ „обсчиталась, предполагая, что родить въ концѣ марта; что „графиня Сень-При, пріѣхавшая изъ Каменецъ-Подольска, распустила слухъ о свадьбѣ“ Волковой „съ герцогомъ де-Граммонъ“; что „это извѣстіе облетѣло всю Москву“; что въ Москвѣ „нѣтъ другихъ новостей, кромѣ дуэли Мордвинова съ Шатиловымъ (въ которой первый велъ себя прескверно, а послѣдній былъ раненъ) и еще свадьбы Даши Нащокиной съ Бахметьевымъ, у котораго прекрасное состояніе“; что „у Гудовичъ родился сынъ“; что „всѣ московскія дамы беременны“; что „нынѣшнее лѣто акушерки заработаютъ много денегъ“; что „женихъ молодой Мещерской совершенный олухъ“, и такъ далѣе, и такъ далѣе въ подобномъ же родѣ.

Повторяемъ,—это такая болтовня, которая ужъ ни въ какомъ случаѣ не заслужила бы историческаго безсмертія, если-бъ болтовнѣ этой не суждено было, подъ ударомъ общественнаго грома, превратиться въ осмысленную рѣчь, полную ума, чувства и гражданскаго такта.

Россія ждетъ бѣды съ часу на часъ. Начальство надъ Москвою ввѣряется Растопчину.

Тонъ писемъ Волковой мѣняется.

Уже 7-го іюня она пишетъ изъ деревни, изъ подмосковнаго имѣнія Высокаго, куда было ея семейство переѣхало на лѣто:

„Вообрази, Растопчинъ нашъ московскій властелинъ! Мнѣ любопытно взглянуть на него, потому что я увѣрена, что онъ самъ не свой отъ радости. То-то онъ будетъ гордо выступать теперь! Курьезно бы мнѣ было знать, намѣренъ ли онъ сохранить нѣжныя расположенія, которыя онъ выказывалъ съ нѣкоторыхъ поръ. Вотъ почти десять лѣтъ какъ его постоянно видятъ влюбленнымъ и, затѣмъ, глупо влюбленнымъ. Для меня всегда было непонятно твое высокое о немъ мнѣніе, котораго я вовсе не раздѣляю. Теперь всѣ его качества и достоинства обнаружатся. Но

пока я не думаю, чтобы у него было много друзей въ Москвѣ. Надо признаться, что онъ и не искалъ ихъ, дѣлая видъ, что ему нѣтъ дѣла ни до кого на свѣтѣ. Извини, что я на него нападаю; но, вѣдь, тебѣ извѣстно, что онъ никогда для меня не былъ героемъ ни въ какомъ отношеніи. Я не признаю въ немъ даже и авторскаго таланта. Помнишь, какъ мы вмѣстѣ читали его знаменитыя творенія“.

Въ письмѣ отъ 14-го іюня она, между прочимъ, говоритъ: „Мнѣ интересно знать подробности перевода „Дмитрія Донскаго“ на французскій языкъ. Признаюсь, я не высокаго мнѣнія объ этомъ произведеніи“.

24-го іюня семейство Волковыхъ, въ виду грозныхъ событій, ожидаемыхъ Москвою, возвращается въ этотъ городъ.

Какъ быстро мѣняется языкъ писемъ Волковой!

„Мы дожили,—говоритъ она,—до такой минуты, когда, исключая дѣтей, никто не знаетъ радости, даже самые веселые люди. Насъ, быть можетъ, ожидаетъ страшная будущность, милый другъ!“..

Она не обманулась.

О Растопчинѣ она говоритъ: „Третьяго дня у насъ вечеромъ былъ Растопчинъ, и просидѣлъ нѣсколько часовъ. Мундиръ его не украсилъ, и онъ ужасно уродливъ безъ пудры. Громадный лобъ его весь открытъ. До сихъ поръ имъ довольны, быть можетъ потому, что все новое нравится; впрочемъ, я никогда не сомнѣвалась, что у него въ тысячу разъ болѣе ума и дѣятельности, чѣмъ у бывшаго нашего фельдмаршала. Остается знать, какъ онъ будетъ дѣйствовать“.

Но Москва еще веселится — не знаетъ, что пируетъ на собственной своей могилѣ. Волкова пишетъ, что московскіе баре всѣ живутъ цинично, развратно, особенно кружокъ близкихъ ея семейству аристократовъ.

„Это общество мужей-холостяковъ устроило за городомъ пикники, на которые дамъ не приглашаютъ, а на мѣсто ихъ берутъ цыганокъ, карты и вообще не стѣсняются. Спрашиваю тебя, каково видѣть это женщинѣ, у которой есть хотя сколько-нибудь чувства. Н. слишкомъ глупа и безалаберна, а Гагарина слишкомъ молода, чтобы видѣть вещи въ настоящемъ свѣтѣ. Одна Соллогубъ все понимаетъ. Я ее застала съ опухшими глазами; она призналась мнѣ, что плакала, не говоря причины, но я готова пари держать, что толстый графъ причина ея слезъ. Меня приводятъ въ негодованіе подобныя вещи. Спрашивается, какъ же не бояться замужества, имѣя подобныя примѣры передъ глазами?“.

И Волкова, дѣйствительно, всю жизнь осталась въ дѣвушкахъ.

Между тѣмъ, страшная драма все болѣе и болѣе усложняется; а развязка еще такъ далека и такъ страшна.

„Мы здѣсь всѣ грустны и приуныли,—пишетъ Волкова 1-го іюля.—Я нахожусь въ постоянномъ страхѣ. До сихъ поръ до насъ доходятъ лишь ложные слухи. Въ Москвѣ говорятъ, что французовъ побили разъ пять или шесть. Хорошо бы, если бы мы въ дѣйствительности одержали хотя одну побѣду, тогда бы мы скоро отдѣлались отъ жестокаго врага человѣка“.

чества. Слѣдуетъ желать, чтобы въ настоящемъ случаѣ оправдалась русская пословица: гласъ народа—гласъ Божій. Въ настоящее время я чувствую болѣе чѣмъ когда-либо, какое счастье не быть лишенною вѣры въ Провидѣніе: она не даетъ впадать въ отчаяніе, что непременно случилось бы, если-бъ полагались на силы и геній жалкаго человѣчества“.

Черезъ недѣлю Волкова пишетъ своей пріятельницѣ очень любопытное письмо, въ которомъ выказался взглядъ тогдашней московской женщины на петербургскую и высокое мнѣніе о себѣ самой Москвы.

Въ Москву пріѣхало семейство графовъ Віельгорскихъ. Молодая графиня—„премилый ребенокъ“; но ребячество ея, по мнѣнію Волковой, слишкомъ безнадежно.

„Что касается до ея ребячества,—пишетъ Волкова,—не могу дать тебѣ лучшаго образчика его, какъ рассказавъ, что она понять не можетъ, почему настоящая война всѣхъ интересуется. Я изъ силъ бьюсь, объясняя ей, что отъ этого зависитъ общее спокойствіе; слова мои даромъ пропадаютъ: она гораздо болѣе думаетъ о кружевахъ и тряпкахъ, нежели о судьбѣ страны, въ которой живетъ. На первыхъ порахъ я примѣтила въ ней желаніе разыгрывать петербургскую барыню (впрочемъ, со мной она очень вѣжлива) въ отношеніи нѣкоторыхъ особъ, которыхъ она даже оттолкнула своимъ обращеніемъ. Третьяго дня, оставшись одна съ ней и Дашей, я начала разговоръ о томъ, какое непріятное впечатлѣніе производитъ важничанье особъ, пріѣзжающихъ изъ Петербурга. Я говорила вообще, никого не называя, и потому свободно могла высказывать, до чего это кажется смѣшно намъ, москвичамъ. Я прибавила, что такія особы обыкновенно бываютъ всѣми покинуты, такъ какъ у насъ не любятъ тѣхъ, кто высоко задираетъ носъ.

„Мы очень хорошо знаемъ, что говорится про насъ въ Питерѣ; но такъ какъ это не мѣшаетъ ни нашему счастью, ни спокойствію, ни удовольствіямъ, то мы мало обращаемъ вниманія на то, что объ насъ говорятъ. Но, коль скоро попадаютъ въ наше общество, мы хотимъ, чтобы дѣйствовали по-нашему“.

Таковою осталась Москва до настоящаго времени.

Въ концѣ вышеприведеннаго письма, Волкова, между свѣтскими новостями, не забываетъ прибавить:

„Сердца, умъ и глаза устремлены у всѣхъ на берега Двины. Только объ этомъ и говорятъ“.

Съ каждымъ днемъ дѣвушка, повидимому, преобразуется—напоръ событій перерабатываетъ ее, вырабатывая изъ нея мыслящую женщину.

„Въ теченіе прошлой недѣли,—говоритъ она 15 іюля,—я столько видѣла, слышала и перечувствовала, что, при всемъ моемъ желаніи, милый другъ, я не могу передать тебѣ словами всего мной испытаннаго въ послѣднее время“...

„Спокойствіе покинуло нашъ милый городъ,—пишетъ она черезъ недѣлю.—Мы живемъ со дня на день, не зная, что ждетъ насъ впереди. Нынче

мы здѣсь, а завтра будемъ Богъ знаетъ гдѣ. Я многое ожидаю отъ враждебнаго настроенія умовъ. Третьяго дня чернь чуть не побила камнями одного вѣмца, принявъ его за француза. Здѣсь принимаютъ важныя мѣры для сопротивленія въ случаѣ необходимости; но до чего будемъ мы несчастны въ ту пору, когда намъ придется прибѣгнуть къ этимъ мѣрамъ“...

Еще черезъ недѣлю она, между прочимъ, пишетъ:

„Я нахожу, что всѣхъ одолѣлъ духъ заблужденія. Все, что мы видимъ, что ежедневно происходитъ передъ нашими глазами, а также и положеніе, въ которомъ мы находимся, можетъ послужить намъ хорошимъ урокомъ, лишь бы мы захотѣли имъ воспользоваться. Но, къ несчастію, этого-то желанія я ни въ комъ не вижу, и признаюсь тебѣ, что расположеніе къ постоянному ослѣпленію устрашаетъ меня болѣе, нежели сами непріатели... Сумасбродство и развратъ, которые господствуютъ у насъ, сдѣлаютъ намъ въ тысячу разъ болѣе вреда, чѣмъ легіоны французовъ“...

„Народъ ведетъ себя прекрасно“, говоритъ эта дѣвушка аристократка въ письмѣ отъ 5 августа: едва ли она не первая русская женщина, которая сказала это слово о русскомъ народѣ.

Въ другомъ мѣстѣ она говоритъ: „Мы отложили нашу поѣздку въ деревню, узнавъ, что тамъ происходитъ наборъ ратниковъ. Тяжелое время въ деревняхъ, даже когда на сто человѣкъ одного берутъ въ солдаты и въ ту пору, когда окончены полевые работы. Представь же, что это должно быть теперь, когда такое множество несчастныхъ отрывается отъ сохи. Мужики не ропщутъ, напротивъ, говорятъ, что они всѣ охотно пойдутъ на враговъ и что во время такой опасности всѣхъ ихъ слѣдовало бы брать въ солдаты. Но бабы въ отчаніи, страшно стонутъ и вопятъ, такъ что многіе помѣщики уѣхали изъ деревень, чтобъ не быть свидѣтелями сценъ, раздирающихъ душу“.

Москва запружается ранеными.

„У Татищева, который служитъ въ комиссаріатѣ и, слѣдовательно, находится во главѣ всѣхъ госпиталей, не достало корпіи, и онъ просилъ всѣхъ своихъ знакомыхъ наготовить ему корпіи. Меня,—пишетъ Волкова,—первую засадили за работу, такъ какъ я ближайшая его родственница, и я работаю цѣлые дни. Масловъ искалъ смерти и былъ убитъ въ одной изъ первыхъ стычекъ; люди его вернулись... Сердце обливается кровью, когда только и видишь раненыхъ, только и слышишь, что объ нихъ. Какъ часто ни повторяются подобные слухи и сцены, а все нельзя съ ними свыкнуться“...

Въ августѣ пріѣхала въ Москву знаменитая тогда во всей Европѣ женщина—госпожа Сталь—личный врагъ Наполеона.

Вотъ какъ самостоятельно и оригинально отнеслась Волкова къ этой звѣздѣ первой величины:

„Объявляю тебѣ, что я вполне раздѣляю мнѣніе твоего мужа о г-жѣ Сталь. Она недѣлю пробыла въ Москвѣ, бывала въ знакомыхъ мнѣ домахъ, и я не имѣла ни малѣйшаго желанія видѣть ее и ничуть не искала встрѣтиться съ нею. Что же она сдѣлала такого прекраснаго, чтобы возбу-

ждать восторгъ? Сочиненія ея безбожны и безнравственны или базалаберны (extravagantes); послѣднія по-моему лучше, по крайней мѣрѣ, онѣ никого не совратятъ съ истиннаго пути. Свѣтъ погибъ именно потому, что люди думали и чувствовали такъ, какъ эта женщина. Я почти того же мнѣнія о Коцебу. Правда они оба извѣстные писатели; но, признаюсь, не стоятъ того, чтобъ ими восхищались“.

Назначеніе Кутузова главнокомандующимъ вызвало въ Волковой большую радость.

„По всему видно, что намъ приходится поплатиться за безразсудство двухъ нашихъ главнокомандующихъ“, говоритъ она по поводу пораженія русскихъ подъ Смоленскомъ. „Негодяи, продавшіе себя Наполеону, не имѣютъ у насъ вліянія надъ войскомъ, и потому не удивительно, что оно отвергаетъ нововведенія тѣхъ злодѣевъ, которые исключительно овладѣли умомъ нашего бѣднаго монарха... Французы провели нашихъ какъ простаковъ“...

Въ числѣ измѣнниковъ Волкова указываетъ и на Сперанскаго—странное подозрѣніе!

Въ Москвѣ больше оставаться нельзя. Волковы ѣдутъ въ Тамбовъ, чтобъ не видѣть ужасовъ, которые уже совершались въ Москвѣ.

Мастерскою кистью описываетъ дѣвушка и путешествіе свое до Тамбова... Все бѣжитъ вглубь страны, въ глушь... Вездѣ новобранцы... Въ дорогѣ дѣвушка страшно тоскуетъ, не спитъ—но здорова, и даже усталости не чувствуетъ: такъ наэлектризована ея мысль.

По дорогѣ дѣвушка видитъ вездѣ плѣнныхъ. Города тоже наполнены французами и всѣми европейскими націями.

Въ Козловѣ ихъ окружили плѣнные турки... „Двое изъ нихъ,—говоритъ дѣвушка,—влюбились въ Полину Валугу и въ меня и пришли предложить тама обвинить насъ за двухъ полковниковъ. Матушка замѣтила, что дружба ихъ зашла слишкомъ далеко, и отослала насъ“...

Множество драгоцѣнныхъ замѣчаній, отзывовъ, характеристикъ и сценъ записано Волковою, и письма ея становятся для насъ богатымъ историческимъ матеріаломъ.

Изъ Тамбова она, между прочимъ, пишетъ о Москвѣ: „Растопчинъ отлично дѣйствуетъ; за это я его полюбила болѣе, чѣмъ ты когда-либо любила его. Не можешь вообразить, какъ всѣ и вездѣ презираютъ Барклая“...

Дошли до нея слухи и о Бородинѣ.

„У насъ дыбомъ стали волосы отъ вѣстей 26 и 27 августа,—пишетъ она 3 сентября.—Прочитавъ ихъ, я не успѣла опомниться, выхожу изъ гостиной, мнѣ навстрѣчу попался человѣкъ, котораго мы посылали къ губернатору, чтобы узнать всѣ подробности. Первая вѣсть, которую я услышала, была о смерти братца Петра Валуге, убитаго 26-го. У меня совсѣмъ закружилась голова; удивляюсь, какъ изъ сосѣдней комнаты не услышали моихъ рыданій несчастныя двоюродныя сестры. Домъ нашъ не великъ; я выбѣжала во дворъ, у меня сдѣлался лихорадочный припадокъ, дрожь продолжалась съ полчаса“...

Въ это время она получила письмо отъ Ланской, съ извѣстіями о Петербургѣ, о г-жѣ Сталь.

„Въ моемъ грустномъ настроеніи, — писала ей на это Волкова, — я далеко неблагоприятно встрѣтила твои размышленія о г-жѣ Сталь. Скажи, что случилось съ твоимъ умомъ, если можешь ты такъ ею интересоваться въ минуты, когда намъ грозитъ бѣдствіе. Вѣдь, ежели Москва погибнетъ, все пропало! Бонапарту это хорошо извѣстно; онъ никогда не считалъ равными обѣ наши столицы. Онъ знаетъ, что въ Россіи огромное значеніе имѣетъ древній городъ Москва, а блестящій, нарядный Петербургъ почти то же, что всѣ другіе города въ государствѣ. Это неоспоримая истина. Во время всего путешествія нашего, даже здѣсь, вдалекѣ отъ театра войны, насъ постоянно окружаютъ крестьяне, спрашивая извѣстій о матушкѣ-Москвѣ. Могу тебя увѣрить, что ни одинъ изъ нихъ не поминалъ о Питерѣ. Жители Петербурга, вмѣсто того чтобы интересоваться общественными дѣлами, занимаются г-жею Сталь; имъ я извиняю это заблужденіе, они давнымъ давно впадаютъ изъ одной ошибки въ другую; доказательство — приверженность вашихъ дамъ къ католицизму. Но вѣдь твоимъ, милый другъ, рѣдкимъ умомъ я всегда восхищалась, а ты поддаешься вліянію атмосферы, среди которой живешь! Это меня крайне огорчаетъ. Я этого отъ тебя не ожидала. Да что же такого сдѣлала эта дрянная Сталь, чтобы возбудить такой восторгъ? Коринна сумасшедшая, безнравственная, ее бы слѣдовало посадить въ домъ умалишенныхъ за ея сумасбродство и за бѣганіе по Европѣ пѣшкомъ съ капюшономъ на головѣ, въ намѣреніи отыскать своего дурака Освальда. Послѣдній — такая личность, которой я не могу себѣ вообразить; онъ меня бѣситъ, я не терплю этихъ нерѣшительныхъ характеровъ, которые вѣчно колеблются; въ мужчинѣ это болѣе чѣмъ нестерпимо. Дельфина, по моему, въ тысячу разъ хуже Коринны. Этотъ отвратительный романъ представляетъ смѣсь беззаконій и сумасбродства, его и нельзя читать хладнокровно. Можно ли восхищаться женщиной, осмѣлившейся изобразить такую скверную сцену въ церкви, а именно: женатый Леонъ требуетъ отъ Дельфины клятвы передъ алтаремъ, что она будетъ принадлежать ему? Развѣ это не отвратительно? И ты восторгаешься авторомъ такой гадости? Меня это крайне огорчаетъ; я понимаю, что мужъ твой долженъ радоваться, что ты противъ собственной воли излѣчилась отъ этого восторга!.. Г-жу Сталь я не уподоблю Вольтеру. Какъ онъ ни былъ дурень, все же онъ гениаленъ, онъ гадости говорилъ и проповѣдывалъ прелестнымъ слогомъ; но и этого достоинства нѣтъ у г-жи Сталь. Я сдѣлала усиліе надъ собою, чтобы толковать съ тобой о постороннемъ предметѣ: лишь одно занимаетъ меня; я не знаю ни минуты покою, и если бы не вѣра въ Божіе милосердіе и убѣжденіе, что Богу все возможно, я бы сошла съ ума какъ Зинаида“...

Событія, одно другого поразительнѣе, бьютъ, такъ сказать, прямо въ голову и не даютъ опомниться.

Французы въ Москвѣ...

„Что сказать тебѣ, съ чего начать? — пишетъ Волкова 17-го сентября. —

Надо придумать новыя выраженія, чтобы изобразить, что мы выстрадали въ послѣднія двѣ недѣли. Мнѣ извѣстны твои чувства, твой образъ мыслей; я убѣждена, что судьба Москвы произвела на тебя глубокое впечатлѣніе; но не могутъ твои чувства равняться съ чувствами лицъ, жившихъ въ нашемъ родномъ городѣ, въ послѣднее время передъ его паденіемъ, видѣвшихъ его постепенное разрушеніе и, наконецъ, гибель отъ адскаго могущества чудовищъ, наполняющихъ наше несчастное отечество. Какъ я ни ободряла себя, какъ ни старалась сохранить твердость посреди несчастій, нища прибѣжища въ Богѣ, но горе взяло верхъ: узнавъ о судьбѣ Москвы, я пролежала три дня въ постели, не будучи въ состояніи ни о чемъ думать и ничѣмъ заниматься. Окружающіе не могли поддержать меня. Какъ я предвидѣла, ударъ на всѣхъ одинаково подѣйствовалъ, на лица всѣхъ сословій, всѣхъ возрастовъ, всевозможныхъ губерній—произвелъ ужасное впечатлѣніе“...

Понятно, послѣ этого, то недоброе чувство, съ которымъ дѣвушка начинаетъ относиться вообще къ нашему нравственному порабоженію, проявлявшемуся въ вышнихъ классахъ русскаго общества въ видѣ — весьма, впрочемъ, естественнаго—преклоненія передъ всѣмъ западнымъ. Чувство это въ данный моментъ доходитъ у нея до крайности, граничащей съ обскурантизмомъ. „Когда я думаю серьезно о бѣдствіяхъ, причиненныхъ намъ этой несчастной французской націей—говоритъ она въ другомъ мѣстѣ—я вижу во всемъ Божію справедливость. Французамъ обязаны мы развратомъ; подражая имъ, мы приняли ихъ пороки, заблужденія, въ скверныхъ книгахъ ихъ почерпнули мы все дурное“...

Но это недоброе чувство не мѣшаетъ ей, однако, вполне человѣчно относиться къ тѣмъ несчастнымъ плѣннымъ врагамъ, которыхъ толпами гоняли изъ одного города Россіи въ другой. „Несмотря на все зло, которое они намъ сдѣлали,—говоритъ она,—я не могу хладнокровно подумать, что этимъ несчастнымъ не оказываютъ никакой помощи, и они умираютъ на большихъ дорогахъ, какъ безсловесныя животныя“.

Какъ результатъ всего пережитого и передуманнаго, у дѣвушки вырабатывается въ это тяжелое для Россіи время истинная оцѣнка добрыхъ качествъ русскаго народа. Русская аристократка — она начинаетъ вглядываться въ народъ, и любить его.

„Мы живемъ,—пишетъ она все еще изъ Тамбова,—противъ рекрутскаго присутствія, каждое утро насъ будятъ тысячи крестьянъ: они плачутъ, пока имъ не забрѣютъ лба, а сдѣлавшись рекрутами, начинаютъ пѣть и плясать, говоря, что не о чемъ горевать, видно такова воля Божія. Чѣмъ ближе я знакомлюсь съ нашимъ народомъ, тѣмъ болѣе убѣждаюсь, что не существуетъ лучшаго, и отдаю ему полную справедливость“.

Въ другомъ письмѣ она говоритъ: „Крестьяне, видѣнные нами вчера, были разорены нашими же войсками; мнѣ ихъ стало еще жалче оттого, что, рассказывая о всемъ съ ними случившемся, они не жаловались и не роптали. Въ такія минуты желала бы я владѣть милліонами, чтобы возвратить счастье милліону людей,—имъ же такъ мало нужно!“

.... „Что ни говори, а быть русскимъ... есть величайшее счастье; хотя бы мнѣ пришлось остаться въ одной рубашкѣ, я бы ни чѣмъ инымъ быть не желала, вопреки всему“...

Зато всякій разъ ее возмущаетъ негодованіе, когда до нея доходятъ вѣсти, что, несмотря ни на что, Петербургъ продолжаетъ веселиться.

„Намъ говорятъ, — пишетъ она 15-го октября, — что между тѣмъ какъ вся Россія въ траурѣ и слезахъ, у васъ даютъ представленія въ театрѣ и что въ Петербургѣ въ русскій театръ ѣздить болѣе чѣмъ когда-либо. Нечего вамъ дѣлать! Не знаю, какъ русскій, гдѣ бы онъ ни былъ теперь, хоть въ Перу, можетъ потѣшаться театромъ!“...

Въ письмѣ отъ 27-го ноября она вновь возвращается къ этому предмету: „я не могу удержать своего негодованія касательно спектаклей и лицъ, ихъ посѣщающихъ. Что же такое Петербургъ? Русскій ли это городъ, или иноземный? Какъ это понимать, ежели вы русскіе? Какъ можете вы посѣщать театръ, когда Россія въ траурѣ, горѣ, развалинахъ и находилась на шагъ отъ гибели? И на кого смотрите вы? На французовъ, изъ которыхъ каждый радуется нашимъ несчастіямъ!“

Но страшное время прошло. Въ Россіи не осталось ни одного француза, кромѣ плѣнныхъ и мертвыхъ...

Однако, прежней Волковой уже не было. Она сама сознается, что съ іюня по ноябрь состарѣлась на десять лѣтъ — и что уже ей не помолодѣть: она стала другимъ человекомъ.

„Я никогда не была щеголихой, — говоритъ она въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ, — и потому мнѣ ничего не значитъ обойтись безъ щегольства. Но я не могу съ такой же философіей отказаться отъ талантовъ, которые развивала съ самаго дѣтства и коими забавляла тѣхъ, кому желала доставить удовольствіе. Я болѣе не буду въ состояніи позабавить тебя пѣніемъ, потому что я совершенно потеряла голосъ“...

Послѣднее свое письмо, отъ 31-го декабря 1812 года, она заключаетъ слѣдующими словами: „Вообрази — теперь открывается, что величайшія неистовства совершены были въ Москвѣ нѣмцами и поляками, а не французами. Такъ говорятъ очевидцы, бывшіе въ Москвѣ въ теченіе шести ужасныхъ недѣль.

„Я теперь ненавижу Растопчина и имѣю на то причины. О! ежели мы съ тобой когда-нибудь увидимся, сколько мнѣ придется рассказать тебѣ“.

Всматриваясь вообще въ нравственную физіономію этой женщины, мы не можемъ не замѣтить, что въ ней довольно явственно уже обозначаются тѣ черты, которыя потомъ вполне опредѣлительно выразились во всемъ — если можно такъ сказать — московскомъ направленіи русской мысли: это сознательный патріотизмъ въ той исключительной формѣ, которая отрицала всякій компромиссъ съ такъ называемымъ западничествомъ.

Волкова отражаетъ въ себѣ первыя попытки того направленія, которое болѣе конкретно выразилось въ цѣломъ рядѣ русскихъ дѣятелей и послѣднею формою котораго было ученіе славянофиловъ: Кирѣевскіе, Аксаковы,

Хомяковъ и другіе состоятъ въ такомъ же, такъ сказать, двоюродномъ родствѣ съ Волковою, въ какомъ, съ другой стороны, Бѣлинскій можетъ быть поставленъ по отношенію къ Багрѣвой-Сперанской, княгинѣ Голицыной и другимъ.

Издатель писемъ Волковой говоритъ, что „высокими нравственными качествами пріобрѣла она уваженіе самого императора Николая Павловича, который выслушивалъ ея правдивыя рѣчи и около 1839 года вызывалъ ее къ себѣ въ гости въ Петербургъ, гдѣ приказалъ отвести ей помѣщеніе въ зимнемъ дворцѣ и окружалъ вниманіемъ“; что „Волкова не должна быть забыта въ историческихъ преданіяхъ, какъ благороднѣйшая представительница стариннаго московскаго быта“; что письма Волковой напоминаютъ собою извѣстный рассказъ Пушкина—„Рославлевъ“, и что не ее ли, можетъ быть, и имѣлъ въ виду поэтъ въ помянутомъ рассказѣ и отъ нея, быть можетъ, собралъ бытовыя черты „двѣнадцатаго года“.

Двухъ лѣтъ не дожила Волкова до освобожденія крестьянъ, которыхъ она научилась любить въ памятную для нея и для всей Россіи эпоху: умерла Волкова въ 1859 году, почти въ одинъ годъ съ Багрѣвой-Сперанской, Хомутовой и Свѣчиной.

XII.

Енатерина Филипповна Татаринова.

(Урожденная фонъ-Буксгевденъ).

Странное, болѣзненное время переживала Россія во всю первую половину нынѣшняго столѣтія.

Общественная мысль, лишенная возможности безбоязненнаго проявленія, или замыкалась сама въ себѣ, или разбивалась, такъ сказать, на какіе-то осколки общественнаго мнѣнія, бросалась въ мистицизмъ, въ „иллюминатство“, въ „адамитство“, въ исковерканное франкъ-массонство, въ разныя не имѣвшія ни числа ни смысла ереси, толки, ученія: мысль эта, не имѣя возможности быть общественною, подобно крови, лишенной правильной и здоровой циркуляціи, портилась, заражалась отъ недостатка воздуха, загнивала весь общественный организмъ и, опять-таки, подобно испорченной крови, выходила наружу въ видѣ прыщей, злокачественныхъ вередовъ и всякихъ наружныхъ язвъ и нагноеній.

Изъ коноводоѡ раскольниковъ вышли раскольничьи боги, христы, богородицы, на которыхъ послѣдователи ихъ молились, какъ на чудотворные образа, какъ язычники на своихъ идоловъ. Мистики превратились въ пророковъ и пророчицъ, въ родѣ баронессы Криднеръ. Хлыстовство и скопчество заразило всѣ слои русскаго общества, перекинулось въ самыя высшія сферы, въ придворную знать, заразило войско, гвардію.

Мало того, въ Россіи явилась даже секта—„Наполеоновщина“! „По-

клонники“ и „поклонницы Наполеону“ были изъ православныхъ русскихъ въ Псковѣ и изъ католиковъ въ Вѣлостокѣ. Оттуда „наполеоновщина“ перекинулась въ Москву, въ тамошнее богатое купечество. „Поклонники Наполеону“ въ собраніяхъ своихъ поютъ разныя нелѣпыя молитвы и поклоняются бюсту Наполеона, какъ образу, пророчествуя (уже послѣ смерти Наполеона), между прочимъ, о томъ, что онъ живъ, а только до-времени вознесся на небо. Они заказываютъ въ Парижѣ изящную гравюру, изображающую это вознесеніе, ставятъ ее къ бюсту—и молятся!

Всѣхъ подобныхъ болѣзненныхъ сумасбродствъ даже перечислить невозможно.

Въ чадѣ этого умственного угара, вслѣдъ за баронессою Криднеръ, выступаетъ другая такая же изступленная, но болѣе темная по своимъ дѣяніямъ личность—это Татаринова, бывшая смолянка, дѣвушка аристократической фамиліи, придворная особа, превратившаяся въ хлыстовскую богородицу!

Изумительное явленіе!

Татаринова родилась въ 1783 году. По отцу и матери она принадлежала къ знатной фамиліи русскихъ нѣмцевъ: отецъ ея былъ изъ рода фонъ-Буксгевденовъ, а мать—баронесса Мальтицъ.

Рожденная въ аристократическомъ кругѣ, маленькая Екатерина фонъ-Буксгевденъ должна была получить и аристократическое воспитаніе: она, какъ водится, поступила въ Смольный институтъ, гдѣ и находилась подъ особымъ покровительствомъ графини Адлербергъ.

Слѣдовательно, по институту она была совоспитанницей такихъ знаменитостей-смолянокъ какъ любимица Императрицы Екатерины „Алимушка“ или Алымова-Ржевская, въ которую былъ влюбленъ славный дѣятель екатерининскаго времени И. И. Бецкій, какъ красавица Левшина, которую особенно любила Екатерина и въ своихъ письмахъ называла „черномазою Левушкой, затѣмъ какъ любимица великаго князя, а потомъ императора Павла I-го, Екатерина Ивановна Нелидова; и наконецъ, Наташа Суворочка.

По выпускѣ изъ института, молоденькая фонъ-Буксгевденъ, какъ говоритъ одинъ изъ послѣдователей ея аристократическо-хлыстовскаго ученія, „награждена была фрейлинскимъ приданымъ“, и жила первое время у своего брата, лейбъ-гвардіи измайловскаго полка капитана фонъ-Буксгевденъ, у котораго постоянно видѣла самую высшую знать Петербурга—Чернышевыхъ, Паскевича, Эттингена и другихъ.

Подъ вліяніемъ мистическаго настроенія эпохи, увлекшей такія личности, какъ баронесса Криднеръ, г-жа Свѣчина, и даже высшихъ представителей русской интеллигенціи, какъ, на примѣръ, Новиковъ, а затѣмъ и самъ императоръ Александръ Павловичъ,—молоденькая Буксгевденъ, какъ утверждаютъ ея прозелиты, не любила блистать въ свѣтѣ, а поддавалась другой, господствовавшей въ то время, модѣ,—внѣшней благотворительности, дѣламъ милосердія и посѣщенію бѣдныхъ. Въ ея время быть аристократкой—значило отдать нѣкоторую дань піетизму, ханжеству.

Юная Буксгевденъ вполнѣ послѣдовала за этой модой.

Находясь въ кружкѣ знатной военной молодежи, между гвардейскими офицерами, дѣвушка избрала себѣ и мужа въ этой сферѣ: она вышла замужъ за офицера Татаринова.

Начавшіеся въ то время походы русскихъ войскъ заставили и Татаринову постоянно слѣдовать за полкомъ мужа, съ которымъ она не разлучалась и въ послѣдующія заграничныя кампаніи 1812—1815 годовъ.

Когда она находилась за границей, въ ней окончательно совершился нравственный кризисъ.

Какъ въ Дуровой, „дѣвицѣ-кавалеристѣ“, лишенія и трудности походной жизни закалили врожденную энергію до стойцизма, такъ въ Татариновой эта бродячая жизнь, иногда тяжелая, иногда безобразная по обстановкѣ, развила еще болѣе пѣстическія и мистическія наклонности, особенно же когда у нея умеръ единственный восьми-лѣтній сынъ, такъ что, по возвращеніи изъ походовъ, она уже окончательно готова была замѣниться въ тѣсный кругъ какого-либо мистическаго общества, начиная отъ франкъ-массонства и кончая хлыстовщиной и скопчествомъ. Кризисъ, такимъ образомъ, совершился въ пользу религіознаго фанатизма.

Татаринова попала на одного изъ тогдашнихъ „теософовъ“, который и отуманилъ ее и безъ того экзальтированную голову.

Это былъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Багинскій, находившійся въ Варшавѣ.

— Возлюбите, сударыня, Спасителя паче всѣхъ и паче всего,—говорилъ Багинскій Татариновой. — Онъ одинъ утѣшитъ и успокоитъ сокровищное сердце ваше. Читайте на первый разъ вотъ эту книжку—„Капли меда“.

Онъ далъ ей эту мистическую книжку и, кромѣ того, снабдилъ письмомъ въ Ригу къ фонъ-Гюне, тоже одному изъ „теософовъ“ еще екатерининскаго времени.

Татаринова явилась къ Гюне.

— Желаете ли вы,—сказалъ этотъ послѣдній:—я познакомлю васъ съ людьми, которые имѣютъ въ себѣ духа любви Божіей?

— Вы осчастливите меня этимъ,—отвѣчала и безъ того уже отуманенная Татаринова.

И Гюне ввелъ ее въ свою мистическую сферу.

Раньше этого времени, мать Татариновой, г-жа фонъ-Буксгевденъ, опредѣлена была еще императоромъ Павломъ Петровичемъ къ великой княжнѣ Александрѣ Александровнѣ въ качествѣ главной статсъ-дамы, и потому имѣла свое мѣстопробываніе во дворцѣ, именно въ Михайловскомъ.

По возвращеніи изъ заграничныхъ походовъ и послѣ вступленія въ мистическій кружокъ фонъ-Гюне, Татаринова разошлась съ мужемъ, который былъ назначенъ директоромъ гимназіи въ Рязань, и поселилась во дворцѣ, у матери.

„Вскорѣ потомъ отверзлись уста Екатерины Филипповны“, говоритъ одинъ изъ послѣдователей ея мистическаго ученія.

Что всего удивительнѣе, такъ это то, что такія фразы какъ „отверзлись уста“ для пророчествованія говорятся не въ XVI или XVII вѣкѣ, даже не въ началѣ XIX-го, а почти въ наши дни, въ семидесятыхъ годахъ, какимъ-то статскимъ совѣтникомъ Іоанновымъ, сообщившимъ, въ 1872 году, въ „Русскій Архивъ“ свѣдѣнія о „духовномъ союзѣ“ Татариновой.

Татаринова, бывшая воспитанница Смольнаго института, аристократка, нѣмка по происхожденію и по религіи, вдругъ принимаетъ православіе и изъ придворной особы превращается въ пророчицу, и притомъ хлыстовскую, хотя этотъ оттѣнокъ ея раскольническаго ученія сначала маскировался какимъ-то особеннымъ піетизмомъ и мистицизмомъ, такъ что она казалась чѣмъ-то въ родѣ фанатички Криднеръ.

Къ новой пророчицѣ въ Михайловскій дворецъ начали стекаться толпы слушателей преимущественно изъ военной и статской аристократіи, чтобы внимать ея поученіямъ, нерѣдко бессмысленнымъ, переходившимъ въ горячечный бредъ. Тутъ были Милорадовичи, Миклашевскіе, князья Енгальчевы, князья Крапоткины, Лермонтовы, Урбановичи, Рачинскіе, Пилецкіе, Бригены, Пиперы, знаменитые Головины, князья Голицыны, оберъ-гофмаршалъ Кошелевъ и знатнѣйшій изъ русскихъ живописцевъ, академикъ Боровиковскій, называвшій Татаринову своею „матерью“.

Когда Татаринова усомнилась затѣмъ въ божественности своего призванія, а быть можетъ и по другимъ менѣе благовиднымъ причинамъ отказалась отъ роли пророчицы и удалилась было въ деревню, къ ней явились ея духовные ученики и „дѣти“—Милорадовичъ, Миклашевскій и другіе,—и просятъ ее воротиться, не оставлять ихъ безъ своей духовной пищи, безъ поученій, безъ пророчествъ.

Татаринова внемлетъ ихъ мольбамъ и возвращается къ своей паствѣ.

Слава ея піетической жизни и пророчествъ дошла, наконецъ, до императора Александра Павловича, и онъ пожелалъ ее видѣть—это обстоятельство, вѣроятно, было не послѣднею побудительною причиной мистическаго настроенія тогдашняго высшаго общества: мистиками интересовались такія даже лица, какъ императоръ Александръ I, освободившій Европу отъ тиранніи Наполеона.

Государь, находившійся до того времени въ самыхъ добрыхъ и дружескихъ отношеніяхъ съ баронессою Криднеръ, два раза призывалъ къ себѣ Татаринову и говорилъ съ нею о ея религіозныхъ мнѣніяхъ. Въ нихъ, говорятъ, не оказалось ничего предосудительнаго, и государь, какъ утверждаютъ послѣдователи секты Татариновой, остался ею доволенъ.

— Продолжайте, —сказалъ будто бы ей императоръ: —нынѣ распространились на западѣ карбонаріи и проникли уже въ мою державу.

Вообще, по свидѣтельству поклонниковъ Татариновой, Александръ Павловичъ благоволилъ къ этой женщинѣ, и всякій разъ, когда проѣзжалъ черезъ Рязань, гдѣ, какъ мы сказали, Татариновъ былъ директоромъ гимназій, приглашалъ его къ своему столу и любилъ съ нимъ разговаривать. Съ своей стороны, Татариновъ, пріѣзжая иногда въ Петербургъ, оказывалъ своей женѣ знаки глубокаго уваженія.

Огромное стеченіе поклонниковъ Татариновой и ея доктринъ, поклонниковъ, которыхъ она принимала въ отведенномъ ея матери помѣщеніи Михайловскаго дворца, стоило пророчицѣ не дешево, такъ что на поддержаніе этихъ духовныхъ бесѣдъ не хватало ея фрейлинскаго содержанія.

Тогда, обитавшая въ ней сила пророчества, по свидѣтельству послѣдователей Татариновой, вывела пророчицу изъ этого финансоваго затрудненія. Они рассказываютъ, будто бы Александръ Павловичъ, по внушенію свыше, вновь призвалъ къ себѣ Татаринову и бесѣдовалъ съ нею о ея ученіи.

— Я на молитвѣ получилъ расположеніе предложить вамъ по восьми тысячъ ассигнаціями ежегодно для вашего вспомоствованія,—сказалъ будто бы императоръ пророчицѣ:—прошу васъ принимать ихъ чрезъ князя Александра Николаевича Голицына.

Нѣтъ сомнѣнія, что „расположеніе“ это пришло къ государю иными путями и оно явилось у него потому, что за Татаринову кто-либо искусно умѣлъ ходатайствовать; поклонники же пророчицы объясняли это таинственной силой.

Вскорѣ, однако, о Татариновой стали ходить темные слухи, такъ что правительство принуждено было обратить на нее вниманіе.

Въ сентябрѣ 1817-го года правительство получило доносъ, что Екатерина Татаринова содержитъ какую-то особенную секту и приводитъ въ нее другихъ. Это послѣднее обстоятельство доносъ подтверждалъ письмомъ, писаннымъ Татариновою къ женѣ польской службы маіора Францъ, Аннѣ. Въ письмѣ этомъ Татаринова, называя Анну Францъ „дрожайшею во Христѣ сестрицею“, просила ее не открывать никому ихъ тайны, ибо-де Господь запрещаетъ бросать перлы предъ „нечистыми животными“. При этомъ Татаринова изъясняла, что вся тайна ихъ секты заключается въ гл. 14 посл. 1-го къ коринѣянамъ, въ ст. 1—5, гдѣ говорится: „Держитесь любви, ревнуйте же духовнымъ: паче же да пророчествуете. Глаголай бо языки, не человѣкомъ глаголетъ, но Богу. Никто же бо слышитъ, духомъ же глаголетъ тайны. Пророчествуя же, человѣкомъ глаголетъ созиданіе, утѣшеніе и утвержденіе. Глаголай бо языки, себе зиждетъ: а пророчествуя, церковь зиждетъ“, и т. д. Наконецъ, Татаринова въ письмѣ этомъ увѣдомляла Анну Францъ, что мать ея, г-жа Буксгевденъ, уѣдетъ изъ дворца до сентября, и тогда она, Францъ, можетъ занять ея комнату въ Михайловскомъ дворцѣ.

При принятіи въ секту, г-жа Францъ приведена была въ безчувствіе, и будто бы явившійся ей пророкъ сказалъ, что вскорѣ явятся ангелы и возьмутъ ее отъ сей жизни, а потому совѣтовалъ ей, для пріобрѣтенія спасенія, быть благотворительною (этимъ пророчествомъ, надо полагать, желали выманить у своей жертвы деньги). Другая же жертва Татариновой, Варвара Осипова, рассказывала, что при пріемѣ ея въ секту, она положена была въ постель, и, не зная отъ чего, пришла въ безпамятство; когда же очуствовалась, то явился ей пророкъ, предрекавшій, что при-

детъ къ ней корабль съ деньгами, и тогда она сама будетъ раздавать бѣднымъ деньги.

Приверженцы секты Татариновой собирались каждое воскресенье, утромъ въ шесть часовъ, въ квартиру пророчицы.

Въ комнатѣ, гдѣ происходили самыя собранія, повѣшенъ былъ на стѣнѣ большой образъ— „тайная вечеря“. Всѣ собравшіеся садились вокругъ комнаты, вставали, читали вслухъ „Отче нашъ“, потомъ изъ евангелія, а затѣмъ майоръ Пилецкій, бывшій секретаремъ человѣколюбиваго общества, и Ѳедоровъ, отставной придворный музыкантъ, говорили проповѣди по смыслу чтенія, и, наконецъ, всѣ присутствующіе, ставъ на колѣни, пѣли на распѣвъ слѣдующіе стихи, которые обыкновенно поются въ собраніи хлыстовъ, а равно и у скопцовъ:

Дай намъ, Господи,
Къ намъ Іисуса Христа!
Дай намъ Сына Твоего!
Господи, помилуй грѣшныхъ насъ!
Изъ Твоея полноты,
Дай, Создатель, теплоты;
Наряди изъ насъ пророка,
Чтобы силы подкрѣпить;
Засуди судомъ небеснымъ
И не дай врагу мѣшать;
Ниспосли живое слово
Здѣсь просящимъ всѣмъ сердцамъ;
Ты Христосъ, Ты нашъ Спаситель!
Иного Бога нѣтъ у насъ;
Твоей силой укрѣпимся,
За Тобой во слѣдъ идемъ.
Прими слезы Твоей твари,
И поставь всѣхъ на пути.

Во время молитвъ, одинъ становился на середину, вертѣлся кругомъ на востокъ, по окончаніи же молитвы подходилъ къ каждому и пророчилъ, большею частью лестными предсказаніями, на распѣвъ, скороговоромъ, безъ всякаго порядка въ рѣчахъ и часто безъ смысла, такъ что изъ этихъ пророчествъ едва ли что можно было понять. Пророчествовали же больше женщины, и преимущественно „глава союза“, сама Татаринова. Вообще всѣ сектанты заражены были мыслью, что на нихъ сходитъ божественное вдохновеніе. Пророки и пророчицы увѣряли притомъ, что когда они бываютъ въ состояніи пророчествованія, то не помнятъ себя и говорятъ не собою, но святымъ духомъ, и потому сами не знаютъ, что кому предрекаютъ.

Изъ этихъ свѣдѣній генераломъ Вязмитиновымъ составлена была записка для государя, который, разсмотрѣвъ ее, приказалъ оставить происходившія у Татариновой собранія безъ вниманія, какъ не заключающія въ себѣ важности.

При всемъ томъ Татариновой оставаться во дворцѣ больше было не велѣно.

Прошло послѣ этого двадцать лѣтъ.

Въ 1837 году, находившійся въ услуженіи у тайнаго совѣтника Попова одинъ крѣпостной человѣкъ обнаружилъ правительству, что въ Петербургѣ, на выѣздѣ, близъ московской заставы, на дачахъ, принадлежащихъ чиновнику Ѳедорову и медику Косовичу, статскою совѣтницею Татаринovou учреждена религіозная секта.

Вслѣдствіе этого показанія, 8-го мая, въ десять часовъ вечера, по высочайшему повелѣнію, петербургскій оберъ-полицеймейстеръ генераль-маіоръ Кокоскинъ, начальникъ штаба корпуса жандармовъ генераль-маіоръ Дубельтъ и оберъ-прокуроръ синода графъ Протасовъ прибыли на помянутыя дачи и приняли предварительныя мѣры, чтобъ, во время осмотра внутренняго жилья и допроса живущихъ тамъ лицъ, не могло что-либо укрыться отъ наблюденія, а потомъ, послѣ нѣкоторой задержки, были впущены во внутренность дачъ.

Въ этихъ дачахъ найдены были слѣдующія лица:

Статская совѣтница Татаринова; ея пріемышъ и воспитанница Анна Александровна Васильева; генераль-лейтенантша Елизавета Павловна Головина, ея дочь Екатерина и сынъ Сергѣй; тайный совѣтникъ Василій Михайловичъ Поповъ, членъ совѣта главноначальствующаго надъ почтовымъ департаментомъ; его дочери — Вѣра восемнадцати лѣтъ, Любовь — шестнадцати и Софья — двѣнадцати; статскій совѣтникъ Пилецкій; инженеръ-капитанъ Буксгевденъ, братъ Татариновой; титулярный совѣтникъ Ѳедоровъ, придворный музыкантъ, его жена и дочь. Кромѣ того, у этихъ лицъ имѣлось четырнадцать человѣкъ прислуги.

Производившіе обыскъ посѣтили сначала тайнаго совѣтника Попова, котораго нашли спящимъ. Онъ указалъ устроенную въ занимаемомъ имъ домѣ особенную молельню, состоящую изъ двухъ покоевъ, внутренность коихъ имѣла видъ церкви, съ образами и огромными церковными подсвѣчниками, но безъ иконостаса и алтаря. Въ одной изъ этихъ комнатъ находился столъ съ ящиками для храненія церковныхъ свѣчей; другая обставлена стульями, между коими одни кресла, назначенныя, какъ показалъ Поповъ, для „старшины союза“ — конечно, Татариновой.

Дочери, поочередно, показали не то, что говорилъ отецъ, а именно: что въ назначенные дни собирались въ одну изъ молелей всѣ, живущіе на дачѣ Ѳедорова, и нѣкоторые изъ постороннихъ посѣтителей, какъ-то: князь Енгальчевъ съ женою, служащій въ канцеляріи государя императора коллежскій асессоръ Родіоновъ и сынъ генерала Головина, юнкеръ инженернаго училища. Собиравшіеся обыкновенно одѣвались въ бѣлую одежду, женщины въ платья обыкновеннаго покроя, а мужчины въ бѣлые халаты. Тутъ начинали пѣть разныя духовныя пѣсни; одинъ или одна изъ принадлежащихъ къ союзу начинали вертѣться и такое движеніе продолжалось обыкновенно до тѣхъ поръ, какъ вертящійся почувствуетъ въ себѣ „вдохновеніе“; иногда же это круженіе исполнялось всѣми вдругъ.

Средняя изъ дочерей Попова, шестнадцатилѣтняя Любовь, непрерывно

оказывала отвращеніе къ этимъ обрядамъ, и тѣмъ навлекала на себя гнѣвъ отца, и въ особенности Татариновой, которая, выдавая себя вдохновенною, приказывала Попову тѣлесно наказывать дочь свою. Поповъ въ теченіе болѣе года билъ ее палками по два, иногда по три раза въ недѣлю, иногда до крови, не позволялъ ей имѣть сообщенія съ сестрами, держалъ ее въ строгомъ уединеніи, на ночь запиралъ въ чуланъ и бралъ къ себѣ ключъ. Она дѣйствительно найдена была запертою въ чуланѣ, между жилыми комнатами, не имѣющемъ оконъ, кромѣ одной только двери, отъ которой ключъ былъ у отца. Сестры ея утверждали, что она всегда пользовалась цвѣтущимъ здоровьемъ, и только со времени этихъ истязаній начала чахнуть, и, какъ сказано въ актѣ обыска, „на ней осталась, такъ сказать, одна кожа и кости, такъ что видъ сей дѣвицы внушаетъ невольно состраданіе“.

Послѣ этого осмотрѣнъ былъ домъ занимаемый Татариною. У ней всѣ пріемныя комнаты украшены были образами огромной величины, съ такими же подсвѣчниками передъ каждымъ. Образа эти были почти всѣ работы знаменитаго академика Боровиковскаго; каждый изъ нихъ оцѣненъ былъ въ 1500 и 1000 руб.; особенно замѣчательна была икона архистратига Михаила у престола; затѣмъ были образа академика Олешкевича и художника Залѣскаго. Всѣ эти картины оцѣнены въ 10.000 руб. сер. и находятся теперь въ соборѣ Александро-Невской лавры.

Въ спальнѣ Татариновой, на маленькомъ столикѣ, стояла дароносица, въ которой найденъ кусокъ бѣлаго сдобнаго хлѣба.

Татаринова, какъ сказано въ актѣ обыска, приняла объявленную ей высочайшую волю съ должнымъ благоговѣніемъ, выдала немедленно всѣ свои бумаги и, въ безусловной преданности православной церкви, старалась, однако же, доказать истину своего ученія. По ея собственнымъ словамъ, она достигаетъ до высочайшей степени духовнаго совершенства исполненіемъ своихъ обрядовъ, и еще слѣдующимъ средствомъ: предъ началомъ какого-либо намѣренія, посредствомъ письма на имя Христа Спасителя, вопрошаетъ его: должно ли исполнить предначертанное, или отказаться отъ своего намѣренія? Письмо это кладетъ она вечеромъ къ подножію образа Спасителя, а утромъ всегда уже въ невольныхъ пѣсняхъ возглашаетъ полученный ею отвѣтъ. .

И всему этому вѣрили люди болѣе или менѣе образованные, принадлежавшіе къ высшему кругу!

Въ домѣ, занимаемомъ Ѳедоровымъ, болѣе всего обнаружено было, какъ сказано въ актѣ, признаковъ сильнѣйшей преданности къ этой фанатической сектѣ. У него двѣ молельни, изъ коихъ одна украшена какъ самая лучшая церковь: образа, паникадила, плащаница, хоругви—все въ изящномъ вкусѣ, и, сверхъ того, рядъ отдѣльныхъ комнатъ, также украшенныхъ различными священными предметами и отдѣланныхъ съ нѣкоторою даже роскошью.

Въ заключеніе акта было выражено: „сколько судить можно изъ сдѣ-

ланныхъ вопросовъ упомянутымъ лицамъ, тайный совѣтникъ Поповъ и генералъ-лейтенантъ Головина, въ особенности первый, предались ученію Татариновой единственно изъ сильнаго чувства фанатизма. Татаринова же, повидимому, извлекаетъ изъ своего ученія и довольно выгодное средство къ существованію. Пилецкій и Буксгевденъ также находятъ въ своемъ религіозномъ обрядѣ возможность жить спокойно и въ довольствѣ безъ трудовъ. Федорова можно подозрѣвать въ томъ, что онъ, подъ личиною смиренія, скрываетъ свои корыстные виды, и основалъ свои доходы на щедрыхъ приношеніяхъ особъ, принадлежащихъ къ союзу Татариновой, ибо, послѣ неоднократно сдѣланныхъ ему вопросовъ объ источникахъ его избытка, онъ не далъ отвѣта удовлетворительнаго“.

Что это былъ „союзъ“ отчасти фанатиковъ, отчасти мошенниковъ, видно изъ того, что тайный совѣтникъ Поповъ состоялъ дѣлопроизводителемъ всѣхъ вообще дѣлъ о скопцахъ, и онъ же, послѣ допросовъ извѣстнаго пророка скопческаго, Селиванова, сказалъ: „Господи! Если бы не скопчество, то за такимъ человѣкомъ пошли бы полки полками“.

Подобно нѣкоторымъ раскольникамъ, союзники Татариновой не употребляли мясной пищи.

Дѣло о Татариновой, послѣ арестованія главныхъ ея союзниковъ, разсматривалось въ особомъ секретномъ комитетѣ, и пророчица присуждена была къ заключенію въ кашинскій женскій монастырь Тверской губерніи. Туда же заключена была и ея воспитанница.

Другіе члены союза также разосланы были по монастырямъ.

Но монастырская жизнь пророкамъ и пророчицамъ была не по душѣ.

Родственники Татариновой и она сама нѣсколько разъ просила объ освобожденіи ея изъ монастырскаго заключенія; но графъ Протасовъ въ 1843 году отозвался, что Татаринова остается упорною въ своемъ фанатизмѣ и увѣряетъ, что „она оскорбитъ святого духа, если плоды, какіе видитъ отъ своихъ религіозныхъ занятій, признаетъ заблужденіемъ“.

На всеподданнѣйшемъ объ этомъ докладѣ написано было карандашомъ: „нельзя послѣ такого отзыва“.

Въ 1846 году, вслѣдствіе вновь поступившаго ходатайства объ освобожденіи Татариновой, графъ Протасовъ требовалъ у нея отзыва—„согласна ли она дать письменное обязательство оказывать неизмѣнное повиновеніе православной церкви, не входить ни въ какія не благословенныя церковью общества, не распространять ни тайно, ни явно прежнихъ своихъ заблужденій и не исполнять никакихъ особенныхъ обрядовъ, подъ опасеніемъ строжайшаго по законамъ взысканія“.

Сперва Татаринова упорствовала; но въ 1848 г. дала подписку, вслѣдствіе которой ей и разрѣшено было жить въ Москвѣ.

Но ей и въ Москвѣ не жилось покойно: она и тамъ завела свое пророческое гнѣздо.

Въ октябрѣ же 1848 года графъ Орловъ получилъ безыменное письмо отъ какой-то женщины, которая извѣщала его, что разсѣянное въ 1837 году

общество, носившее имя „тайнаго общества адамистовъ“, не совсѣмъ истреблено, а что пагубное сборище это вновь возрождается и т. д.

Дѣйствительно, сборище Татариновой не только возрождалось, но пускало корни еще глубже, завело обширную переписку съ своими прозелитами и снова перебралось въ Петербургъ.

Замѣчательно, что въ эту хлыстовскую секту Татариновой втянуть былъ и извѣстный дѣятель и писатель сороковыхъ-пятидесятихъ годовъ, Яковъ Владиміровичъ Ханыковъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, состоявшій по министерству внутреннихъ дѣлъ. Ханыковъ женатъ былъ на дочери Головина, Екатеринѣ Евгеньевнѣ Головиной, рьяной послѣдовательницѣ Татариновой, съ которою они и были взяты въ сборищѣ 1837 года.

Ханыковъ, по свидѣтельству лицъ, близко его знавшихъ, „былъ человѣкъ высокаго образованія, но, попавъ въ закоренѣлое сектатское семейство и общество, не имѣя твердаго характера и къ тому же влюбленный, подчинился вліянію обстоятельствъ и воздуха, его окружившаго, и, мало-по-малу, конечно, не раздѣляя сумасбродствъ семейства и близкихъ къ оному посѣтителей, терпѣлъ, для сохраненія семейнаго спокойствія, происходившія тамъ таинственныя чтенія, въ которомъ тестъ его принималъ такое живое участіе, образованный и заслуженный генералъ-отъ-инфантеріи Е. А. Головинъ“; къ нимъ примкнулъ и отецъ Ханыкова, у котораго замѣчались „меланхолическіе приступы“, послѣ того какъ младшій сынъ его замѣшанъ былъ въ извѣстномъ дѣлѣ Петрашевскаго.

Какъ бы то ни было, но хлыстовскія собранія Татариновой происходили въ квартирѣ Ханыкова...

До какихъ нелѣпостей доходилъ дикій фанатизмъ учениковъ Татариновой, можно судить, напримѣръ, по слѣдующему обстоятельству.

Одинъ изъ учениковъ Татариновой, нѣкій „статскій совѣтникъ Іоанновъ“, о которомъ мы уже упоминали, пишетъ въ „Русскомъ Архивѣ“ 1872 года, что однажды знаменитый Головинъ, довѣренное лицо государя Николая Павловича, командовавшій отдѣльнымъ корпусомъ, уходя изъ собранія Татариновой, былъ остановленъ пророчицею.

— Огромная сила взята отъ меня и отражена на васъ, — сказала пророчица: — но я не знаю нынѣ, что это значитъ.

Старикъ генералъ перекрестился, и откланялся. Воротившись домой, онъ положилъ двадцать пять поклоновъ, и затѣмъ „объявилъ объ этомъ событіи Екатеринѣ Филипповнѣ, восходя потомъ до сотенъ, тысячъ и, наконецъ, до пяти тысячъ еженочно, какъ побуждалъ его духъ съ легкостію полета птицы, въ теченіе пяти часовъ, перемѣняя потное бѣлье каждый часъ и чувствуя себя потомъ чрезвычайно хорошо, душевно и тѣлесно, что и есть отчасти принятая имъ съ довѣренностію сила, дѣйствию коей онъ не воспротивился“.

И это говорится въ 1872 году!

Тутъ что-либо одно изъ двухъ: или огромная нравственная сила са-

мой Татариновой, сила фанатизма, если она была не обманщица, или неизмѣримая глупость ея послѣдователей.

Странная женщина эта умерла 12-го іюня 1856 гола. Уже одно то поразительно, что нѣмка и фрейлина фонъ-Вуксгевденъ стала хлыстовскою богородицею.

XIII.

Елизавета Борисовна Кульманъ.

„Елизавета Кульманъ принадлежитъ къ лицамъ, которыхъ имена удерживаются въ памяти, какъ прекрасное мѣстоположеніе тамъ, гдѣ оно встрѣчается рѣдко, какъ свѣтлый день въ глубинѣ нашего мрачнаго и непріязненнаго сѣвера. Она безспорно—необыкновенное явленіе въ нравственномъ мірѣ. Это была одна изъ тѣхъ душъ, въ которую природа бросаетъ горстью сѣмена сильныхъ стремленій и богатыхъ надеждъ; которымъ даетъ все—мысль зиждущую, свѣтлую, образы стройные, къ нимъ звуки или краски животворящіе для представленія ихъ людямъ, наконецъ, волю жить единственно для избранной цѣли или мечты. Это была душа гениальная. Представьте же себѣ грубую, отвратительную нищету, оспаривающую у искусства и славы сію душу, рожденную для высокаго назначенія; вообразите себѣ, какъ она, разбивъ цѣпи позорныхъ нуждъ, развертываетъ орлиныя крыла свои и, изумивъ насъ быстротою и могуществомъ своего полета, неожиданно падаетъ въ могилу, чтобы изумить насъ снова ничтожествомъ надеждъ, которыя человекъ называетъ великими, вопреки урокамъ судьбы; представьте себѣ сію смѣсь высокаго, отраднаго, малаго и злополучнаго, отпечатанную яркими чертами на одной и той же ткани, и вы, можетъ быть, захотите узнать нѣкоторыя подробности о семъ замѣчательномъ явленіи“.

Такъ въ тридцатыхъ годахъ дѣвятнадцатаго столѣтія, одинъ изъ извѣстныхъ русскихъ писателей и профессоръ петербургскаго университета говорилъ объ одной, нынѣ почти всѣми забытой, очень молоденькой особѣ, почти дѣвчкѣ, по поводу удостоенія императорскою академіею изданія ея сочиненій.

Имя этого дѣйствительно необыкновеннаго ребенка было то, которое выставлено въ заголовкѣ настоящаго очерка.

Хотя отзывъ почтеннаго профессора о дѣвицѣ Кульманъ не совсѣмъ свободенъ отъ восторженности и преувеличенія, въ свое время весьма понятныхъ и естественныхъ, но нашимъ поколѣніемъ не вполне раздѣляемыхъ; хотя отодвинутая отъ насъ почти на столѣтіе дѣятельность Кульманъ и является передъ нами въ видѣ отрывочныхъ, несовсѣмъ законченныхъ порывовъ дѣйствительно творческой силы, еще не окрѣпшей и недоразвившейся до опредѣленнаго направленія; хотя, наконецъ, самый образъ Кульманъ представляется, правда, какимъ-то свѣтлымъ, фантастическимъ, но

въ то же время слабо и блѣдно очерченнымъ обликомъ; при всемъ томъ, личность эта не должна быть пройдена незамѣченною въ исторіи умственной жизни Россіи.

Въ самомъ дѣлѣ, было что-то обаятельное въ личности этой женщины, почти ребенка, и что-то далеко нерядовое въ процессѣ развитія ея духа, такъ что современники ея были поражены этой личностью, какъ необычайнымъ явленіемъ, и когда дѣвочка умерла (къ Елизаветѣ Кульманъ нельзя даже примѣнить имени „дѣвушка“ или „женщина“, такъ какъ самое высшее развитіе ея творческихъ силъ проявилось уже между тринадцатымъ и пятнадцатымъ годами ея жизни, а умерла она семнадцати лѣтъ отъ роду)—русская академія спѣшитъ издать все, что осталось отъ ея мимолетнаго существованія и отъ ея слишкомъ кратковременной дѣятельности, приводитъ въ порядокъ найденныя послѣ нея бумаги, записываетъ устные о ней рассказы, составляетъ ея біографію, и издаетъ все это какъ небывалый образчикъ поразительно ранняго развитія творческихъ силъ человѣка, выявившихся притомъ среди самыхъ неблагопріятныхъ жизненныхъ условій.

Дѣвица Кульманъ вся принадлежитъ уже XIX-му столѣтію.

Родилась она въ Петербургѣ, 5-го іюля 1808 года, въ то самое время, когда другая эксцентрическая женская личность нашего столѣтія, дѣвица Дурова, уже второй годъ носила уланскій мундиръ и въ рядахъ русскихъ войскъ дралась съ непріателемъ русской земли.

Елисавета Кульманъ представляетъ собою явленіе совершенно иного характера, чѣмъ вышепоименованная личность.

Отецъ ея былъ Борисъ Ѳедоровичъ Кульманъ, служившій прежде въ войскахъ графа Румянцева-Задунайскаго и храбро сражавшійся подъ его знаменами.

Оставивъ военную службу, онъ избралъ гражданское поприще, и съ чиномъ коллежскаго совѣтника продолжалъ свое скромное служеніе въ одной изъ некрупныхъ гражданскихъ должностей, зарабатывая скудное пропитаніе огромному семейству, въ которомъ, кромѣ семи сыновей, имѣлась еще и дочь Елизавета, во всѣхъ отношеніяхъ необыкновенный ребенокъ.

Огромная семья эта скоро осталось безъ опоры: Борисъ Кульманъ умеръ, когда дочь его была совсѣмъ крошечнымъ ребенкомъ, и умеръ—какъ выражается біографъ Елизаветы Кульманъ—„оставивъ въ наслѣдіе дѣтямъ своимъ честное имя и глубокую нищету“.

Огромная осиротѣлая семья не только не имѣла на что воспитаться и образоваться, но даже нуждалась въ простомъ прокормленіи.

Но у жены покойника, у матери огромной семьи Кульманъ, не было недостатка въ умѣ и энергіи: это былъ сильный характеръ, и одинокая женщина эта, при глубокой нищетѣ, не только спасла себя отъ отчаянья, но и дѣтей своихъ умѣла вытащить изъ той пропасти, въ которую обыкновенно падаетъ большинство людей бѣдныхъ, не находящихъ ни въ комъ поддержки.

Въ эту нищенскую пропасть не допустила она упасть и свою богато одаренную природою дѣвочку.

„На Васильевскомъ острову,—говорить упомянутый нами выше профессоръ, біографъ Елизаветы Кульманъ,—подъ кровомъ ветхой хижины, нанимаемой за самую скудную плату, жило это дитя, едва имѣя насущный хлѣбъ, купленный цѣною тяжкихъ материнскихъ трудовъ. и, незнаемое свѣтомъ, готовило ему примѣръ рѣдкихъ дарованій и необычайной воли. Природа любитъ свое дѣло совершать въ тайнѣ, безъ шума; какъ-бы ревнуя къ своей славѣ, она не хочетъ, чтобы люди портили его своимъ надменнымъ и своекорыстнымъ соучастіемъ“.

До пятаго году дѣвочка была очень слабымъ, хилымъ ребенкомъ, такъ что мать справедливо опасалась за ея жизнь; но ребенокъ выросъ кое-какъ, не умеръ въ періодъ хилости, и скоро затѣмъ началъ крѣпнуть и развиваться физически и умственно.

Уже на пятомъ году дѣвочка проявила необыкновенныя способности.

Порывы творчества начали въ ней сказываться въ самомъ раннемъ дѣтствѣ: такъ, все, что она видѣла, все, что приходилось ей слышать отъ другихъ, дѣвочка превращала въ образы, олицетворяла въ своей поэтической фантазіи,

Около домика, гдѣ жила она съ матерью, расположенъ былъ маленькій садикъ, замѣнявшій для дѣвочки весь пока ею видѣнный міръ. Въ этомъ садикѣ она проводила большую часть лѣтнихъ дней, заботилась о цвѣтахъ, которые тамъ росли и которые составляли предметъ ея страстной привязанности, сохранившейся въ ней въ продолженіе всей ея кратковременной жизни. Особенной ея любовью пользовался небольшой кустикъ жасмина, подаренный ей хозяиномъ дома, гдѣ жило семейство Кульманъ, и сдѣлавшійся предметомъ самыхъ нѣжныхъ ея попеченій.

На этомъ жасминномъ кустикѣ дѣвочка начала свое творчество, потому что съ нимъ она постоянно говорила какъ съ живымъ, думающимъ и чувствующимъ существомъ, которое ее понимало и могло ей отвѣчать: этому кусту дѣвочка повѣряла все, о чемъ ей самой думалось, и если, при колебаніи жасмина вѣтромъ, листья его шевелились, дѣвочка увѣрена была, что листья говорятъ съ ней, и сама начинала вести съ ними бесѣду.

На заборѣ ихъ домика часто садились вороны, которые искали для себя корма во всякихъ оброскахъ и въ помойныхъ ямахъ, и дѣвочка думала, что когда воронъ каркалъ, то это онъ благодарилъ Бога за то, что онъ послалъ ему кормъ, когда воронъ голодалъ.

Этого достаточно было, чтобъ дѣвочка создала и вложила въ уста ворону такую рѣчь:

„Хоть я и черенъ, какъ уголь, и люди меня гонятъ отъ себя, но Богъ, отецъ людей и птицъ, меня не покидаетъ: по его милости у меня все-таки есть пища на день, и дерево, гдѣ провести ночь“.

Въ палисадникѣ, недалеко отъ оконъ домика Кульманъ, растетъ тополь.

Когда вѣтеръ качаетъ вѣтви дерева и вѣтви наклоняются къ окну, у котораго стоитъ дѣвочка, ей кажется, что тополь зоветъ ее къ себѣ.

Дѣвочка бѣжитъ къ матери, просить, чтобъ та отпустила ее въ садъ.

— Зачѣмъ?—спрашиваетъ мать:—теперь холодно и ты простудишься.

— Нѣтъ, мама,—отвѣчаетъ дѣвочка:—мнѣ непременно надо пойти вонъ къ этому тополю: онъ киваетъ мнѣ головою и что-то шепчетъ; но отсюда ничего не слышно.

Идутъ въ садъ и мать, и дѣвочка. Но тополь ничего не говоритъ.

Видитъ дѣвочка мухъ въ паутинѣ.

— Паукъ уложилъ ихъ спать,—говоритъ дѣвочка.

— Какъ?—спрашиваетъ мать.

— Да вѣдь пауки — няня мухъ,—отвѣчаетъ странный ребенокъ. — Я видѣла, какъ онъ сперва уложить муху, потомъ качаетъ ее въ свѣточкѣ изъ паутины, пока муха не уснетъ, а тамъ сидитъ надъ ней долго, долго, чтобъ съ ней не случилось чего худого.

Послушная во всемъ, дѣвочка крайне упорна, когда у нея оспариваютъ то, что она создала въ своей не въ мѣру безпокойной фантазіи. Что она выдумала—того у нея нельзя отнять или заставить не вѣрить продуктамъ своего творческаго воображенія.

Воображеніе это было дѣйствительно не въ мѣру безпокойное, развитое до болѣзненности.

Кромѣ того, у дѣвочки была необычайная память: все, что она слышала и видѣла, она помнила необычайно долго и отчетливо, а что ей читали—передавала цѣлыми тирадами.

Наконецъ, когда пришло время учить маленькую Кульманъ, то она показала такую же выше мѣры развитую способность усваивать сообщаемыя ей знанія, какъ выше мѣры развито было творчество ея фантазіи. За отсутствіемъ учителей, которыхъ не на что было нанять, дѣвочку взялъ на свое попеченіе старый другъ ея отца, г. Гроссъ-Гейнрихъ, который былъ наставникомъ во многихъ домахъ Петербурга.

Г. Гроссъ-Гейнрихъ страстно привязался къ своей необыкновенной ученицѣ и рано распозналъ въ ней задатки рѣдкихъ дарованій.

До десятилѣтняго возраста дѣвочка очень хорошо знала языки русскій, нѣмецкій и французскій. Съ десяти лѣтъ она уже начала учиться по-итальянски, очень полюбила этотъ языкъ и изучила его въ совершенствѣ, какъ изучала все, за что ни принималась.

Любознательность развивалась въ ребенкѣ въ такой возростающей прогрессіи, что нельзя было не удивляться; равно изумительна была и ясность ея мысли, быстрота соображенія и способность анализа, комбинацій, выводовъ.

Пристратившись къ итальянскому языку, она скоро перенесла свои симпатіи на лучшихъ творцовъ итальянской поэзіи, и въ укладистой памяти ея вмѣщались цѣлыя поэмы.

„Нельзя было смотрѣть безъ удивленія на сію одиннадцатилѣтнюю дѣвочку,—замѣчаетъ ея біографъ,—когда она, сидя въ маленькомъ своемъ

садикъ, проникнутая тайнымъ сочувствіемъ съ геніемъ, пѣвцомъ Іерусалима, повторяла своимъ серебрянымъ голосомъ прелестныя его октавы“.

Дѣвочка, повидимому, скоро переживала всѣ возрасты, какъ бы торопясь жить и умереть.

Священникъ горнаго корпуса Абрамовъ, овдовѣвшій и потерявшій дочь, предложилъ г-жѣ Кульманъ пріютъ въ своемъ домѣ. Предложеніемъ этимъ воспользовались, и это помогло дѣвочкѣ сблизиться съ директоромъ горнаго корпуса Медеромъ, также имѣвшимъ вліяніе на развитіе богатыхъ дарованій маленькой Кульманъ.

При содѣйствіи Медера, съ дѣтьми котораго дѣвочка подружилась, она съ свойственной ей любознательностью увлеклась изученіемъ исторіи, естественныхъ наукъ, часто посѣщала минералогическій кабинетъ горнаго корпуса, и усваивала себѣ такимъ образомъ самыя разнообразныя познанія.

Однажды, когда дѣвочкѣ пошелъ двѣнадцатый годъ, она спрашивала своего учителя, — знаетъ ли онъ рай?

Гроссъ-Гейнрихъ сначала затруднился отвѣтомъ, зная, что неполнота и неопредѣленность отвѣта не удовлетворитъ, а только больше возбудитъ любознательность дѣвочки и вызоветъ ее на новыя, труднѣйшіе вопросы, но потомъ, воспользовавшись тѣмъ, что онъ помнилъ изъ произведеній Данта и Клопштока о раѣ, а изъ Виргилія объ элизіумѣ, онъ, на основаніи изображаемыхъ этими писателями идеаловъ блаженной жизни, нарисовалъ ей по возможности полную картину того, о чемъ дѣвочка любопытствовала слышать.

Картина рая глубоко поразила ребенка.

— Хорошо! И я напишу рай, если буду жива, — рѣшила дѣвочка.

На двѣнадцатомъ же году она приступила къ изученію еще одного языка — латинскаго. Желаніе это явилось въ ней вслѣдствіе не столько прямой, личной любознательности, сколько желанія сдѣлать пріятное для старика Абрамова.

Дѣвочка рѣшила въ своемъ умѣ сказать старику священнику поздравительное слово на языкѣ Цицерона, и тотчасъ же приступила къ изученію этого языка.

Въ нѣсколько мѣсяцевъ она уже могла читать Корнелія Непота, а потомъ и письма Цицерона.

Въ день именинъ священника она дѣйствительно привѣтствовала его на языкѣ Цицерона въ такой мѣрѣ, въ какой этотъ языкъ могъ быть доступенъ дѣвочкѣ и усвоенъ ею до возможности писать на немъ.

Въ благодарность за латинскую рѣчь, священникъ началъ учить дѣвочку церковно-славянскому языку, и она охотно изучала языкъ Кирилла и Меѳодія.

Разъ въ обществѣ зашелъ споръ о классическихъ языкахъ, и нѣкоторые изъ спорящихъ доказывали ихъ практическую бесполезность, отдавая преимущество языкамъ живымъ, новѣйшимъ, какъ имѣющимъ ближайшее примѣненіе къ требованіямъ и понятіямъ современной жизни.

Гроссъ-Гейнрихъ доказывалъ, напротивъ, превосходство и безотнositельныя достоинства греко-классической рѣчи, превозносилъ красоты и прелесть Гомера, недостигаемость созданія въ новѣйшее время поэтическихъ образовъ древней Греціи.

Услыхавъ это, дѣвочка затосковала. Жадный умъ ея требовалъ новой пищи, которой ему еще не пришлось отвѣдать, требовалъ знакомства съ классическимъ міромъ.

И вотъ она учится по-гречески.

Необычайная память дѣлаетъ то, что черезъ четыре мѣсяца дѣвочка сама уже читаетъ на языкѣ „семидесяти толковниковъ“ евангеліе отъ Матвѣя.

Все это происходило тогда, когда дѣвочка успѣла пережить только двѣнадцать лѣтъ своей коротенькой жизни.

Затѣмъ въ скорости она уже переводитъ Анакреона, и не останавливается на простыхъ переложеніяхъ, а переводитъ Анакреона русскими, нѣмецкими и итальянскими стихами!

„Не удивительно послѣ всего этого,— говоритъ біографъ Елизаветы Кульманъ въ тридцатыхъ годахъ,— что такой человѣкъ, какъ г. Гроссъ-Гейнрихъ, сидѣлъ часто возлѣ нея, не говоря ни слова, смѣшанный, сбитый съ своего учительскаго пути могучимъ стремленіемъ сего необычайнаго ума, дѣлался простымъ наблюдателемъ, и вмѣсто того, чтобы учить, самъ учился таинствамъ природы, раскрывавшимся передъ нимъ въ лицѣ ея помазанницы“.

На четырнадцатомъ году она уже изучала Гомера.

Скоро потомъ ознакомляется она съ литературами, англійскою, испанскою и португальскою: безпокойный умъ ея постоянно требуетъ увеличенія пріемовъ новой пищи, и она не останавливается ни передъ какими трудностями.

Она, наконецъ, изучаетъ новогреческій языкъ, и притомъ въ такомъ совершенствѣ, что возбуждаетъ изумленіе въ природныхъ грекахъ.

Одинъ грекъ,—говорятъ ея біографы,—искавшій въ Россіи убѣжища отъ кровавыхъ тревогъ, раздиравшихъ тогда возрождавшуюся Грецію, сталъ говорить съ нею на своемъ языкѣ, и, не бывъ предудовѣдомленъ о ея родинѣ и происхожденіи, совершенно былъ убѣжденъ, что она гречанка, и, судя по ея произношенію, онъ назначилъ даже мѣсто ея родины на одномъ изъ острововъ Архипелага.

Нищета не убиваетъ этой замѣчательной силы.

Стоя въ кухнѣ у печки—такъ какъ дѣвочка сама готовила для своей семьи скудный обѣдъ, таскала дрова и проч.—она въ то же время успѣвала подбѣгать къ столу и продолжать свои учебныя и авторскія занятія.

Бѣдность, повидимому, не тяготила ее и не смущала ясность ея духа.

Въ своей нищетѣ она сравнивала себя съ дочерями древнихъ царей, которыя сами ходили за водой и бѣлье въ морѣ полоскали.

— О! я высоко цѣню себя,—смѣялась она, держа въ одной рукѣ кухон-

ную ложку, а въ другой перо: — это символы моей верховной власти — одинъ надъ домашнимъ хозяйствомъ, а другой надъ царствомъ мечты.

Біографъ Кульманъ такъ описываетъ ея наружность и интеллектуальныя черты ея:

„Въ этомъ существѣ природа, казалось, хотѣла соединить все, чѣмъ возносить она избранныхъ своихъ надъ толпою людей обыкновенныхъ. Дѣвица Кульманъ была отличной красоты. Стройный, довольно высокій ростъ, возвышенное чело, длинные каштановые волосы, алебастровая бѣлизна лица, отбѣненная легкимъ румянцемъ, и совершенно греческій профиль, глаза большіе, ярко-лазуреваго цвѣта, — все это ничего еще не значило въ сравненіи съ удивительною выразительностью ея фізіономіи. Въ ней было что-то необыкновенное, поражающее всякаго при первомъ взглядѣ на нее, — что-то не отъ здѣшняго міра. Какое-то царственное величіе дышало въ чертахъ лица ея; взоръ ея былъ важенъ, большею частію задумчивъ. Но улыбка ея была исполнена невыразимой прелести, точно такъ, какъ и ея голосъ, которымъ, по словамъ знавшихъ ее, она особенно отличалась. Гибкій, серебряный, онъ принималъ на себя, казалось, всѣ впечатлѣнія, всѣ тоны ея богатыхъ чувствованій, и онъ доходилъ къ сердцу, какъ очаровательная музыка, особенно, когда она говорила что-нибудь отъ полноты души. Она прекрасно пѣла и декламировала. Можно сказать, что геній древней Греціи, воодушевивъ ее своими изящными идеями, разлилъ во всей ея особѣ то очарованіе полной красоты, коего памятники мы видимъ въ классическихъ изваяніяхъ. Въ обществѣ она невольно увлекала къ себѣ вниманіе всѣхъ. Одна знатная дама, увидѣвъ ее въ первый разъ, не могла скрыть своего восхищенія, и сказала окружающимъ ее: „Кто эта дѣвица? Она должна быть высокаго рода“...

Относительно процесса ея творчества и внѣшнихъ проявленій этого процесса біографъ говоритъ:

„Въ эти торжественные часы душевнаго преображенія, углубленная нѣ мысль, которую намѣрена развить въ сочиненіи, она дѣлалась неподвижною; чело ея было нахмурено, уста полуотверсты, взоръ устремленъ былъ на одинъ предметъ; лицо становилось блѣднымъ и фізіономія ея выражала что-то суровое. Все положеніе ея принимало видъ страдательный. Казалось, она принадлежала какой-то мощной, таинственной силѣ, которая налагала на нее знаменіе своей непобѣдимой власти.

„Такое состояніе было непродолжительно.

„Взоръ ея прояснялся, она начинала ходить скорыми шагами по комнатѣ, станъ ея выпрямлялся, голова принимала видъ величавый, — она вся была исполнена радости, сіянія и жизни.

„Это былъ торжественный праздникъ ея духа, та священная минута, въ которую она могла сказать себѣ:

„Созданіе готово!“

При этомъ въ ней замѣчали странное фізіологическое явленіе: руки

ея во время этого творческого процесса были холодны какъ ледъ, и она терла ихъ одна о другую, чтобъ отогрѣть.

Это былъ тотъ священный холодъ, о которомъ говоритъ и Гейне, когда къ нему прилетала таинственная птица—его вдохновеніе, и онъ забывалъ все окружающее.

Въ обществѣ Елизавета Кульманъ была застѣнчива, робка, пока не увлекалась, или не была чѣмъ-либо особенно возбуждена, когда голосъ ея переходилъ въ серебряное бряцанье.

Творчество ея было прямымъ продуктомъ избытка внутреннихъ силъ, которыя требовали исхода.

„Она хотѣла,—говоритъ ея восторженный біографъ,—чтобъ ее нѣкогда прочли и поняли. Кто же изъ ангеловъ не хотѣлъ бы, чтобы прочли и поняли его сердце? Такъ! Она была ангеломъ на землѣ, и умерла въ семнадцатъ лѣтъ, чтобы не перестать быть имъ“.

Такъ можно было увлекаться личностью Кульманъ только въ 30-хъ годахъ.

Для болѣе полной характеристики Кульманъ, приведемъ еще одно замѣчаніе ея біографовъ, основанное на показаніяхъ людей, лично знавшихъ „русскую Коринну“, какъ ее не стѣснилась назвать даже наша академія:

„Въ характерѣ дѣвицы Кульманъ,—говорятъ ея біографы,—было одно качество, которое неразлучно сопутствуетъ людямъ, предназначеннымъ совершить на землѣ что-нибудь важное,—это постоянство усилій въ достиженіи предположенной цѣли. Ее нельзя было отклонить отъ какого-нибудь предпріятія словами — оставьте, это трудно. Напротивъ, подобный совѣтъ производилъ только то, что она сосредоточивала свою дѣятельность именно на этотъ трудный предметъ“.

Такъ и Дурова, мы видѣли, обыкновенно брала на себя то, что казалось бы ей не по силамъ: такъ всегда любить испытывать себя истинная человѣческая сила, выходящая изъ ряда золотой посредственности.

Самая дѣятельность Кульманъ была не рядовая: внутренняя сила толкала ее дѣлать больше того, что можетъ сдѣлать обыкновенный человѣкъ.

Постоянно занятая и торопящаяся жить, дѣвушка спала обыкновенно не болѣе семи часовъ въ сутки, вставала всегда въ семь часовъ утра, а лѣтомъ раньше, и въ теченіе восемнадцати часовъ въ сутки работала. Отвлеченій отъ работы у нея было не много. При бѣдности, у нихъ не всегда былъ даже чай, который поэтому не отнималъ у нея рабочаго времени, затѣмъ, занятія по кухнѣ, раздѣляемые съ умственной работою, и чтеніе. Выѣздами и гостями она также не убивала своего времени.

Въ работахъ своихъ она держалась извѣстной системы и строго опредѣленнаго порядка. Шутя она говорила, что превосходить въ этомъ отношеніи самого Франклина, который въ одномъ изъ своихъ сочиненій сознавался, что ему было очень трудно привыкать къ порядку жизни и въ распредѣленіи занятій.

Біографы превозносятъ доброту и нѣжную деликатность Кульманъ въ обхожденіи со всѣми.

Однажды на выставкѣ въ академіи художествъ она замѣтила молодого персіянина, посланнаго Аббасъ-Мирзою въ Европу для развитія замѣченныхъ въ немъ дарованій художника. Картины этого персіянина, выставленныя съ прочими, мало обращали на себя вниманіе публики, занятой другими картинами. Самъ художникъ-персіянинъ стоялъ въ толпѣ, въ надеждѣ узнать, какое впечатлѣніе на зрителей произведутъ работы, и что будутъ о нихъ говорить. Но о нихъ ничего не говорили; ими никто не былъ заинтересованъ. Дѣвушка стало жаль художника, и она подошла къ нему, вызвала его на разговоръ, расспросила его о поѣздкѣ въ Англію, о впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ имъ изъ Европы, о его занятіяхъ живописью; хвалила его картины и проч., и такимъ образомъ возбудила въ немъ упавшее было мужество.

Кульманъ сама занималась рисованіемъ, несмотря на постоянную работу надъ пріобрѣтеніемъ знаній во всемъ, на чемъ только могъ остановиться ея пытливый умъ.

Нельзя не удивляться, какъ у нея на все это хватало времени.

Но этой необыкновенной личности не суждено было жить и довести своего призванія до полной законченности.

„Рука смерти,—говоритъ ея восторженный біографъ,—держалась за стебель сего прекраснаго цвѣтка въ то самое мгновеніе, когда онъ развертывался во всей полнотѣ жизни и красоты“.

Смерть подкосила ее такъ рано не потому, что дѣвушка злоупотребляла своими силами, убивая ихъ излишнимъ умственнымъ трудомъ, а просто съѣла ее бѣдность.

У Кульманъ теплаго пальто не было, не на что было купить шубу—и она поплатилась жизнью за гнусную нищету человѣческую.

Не усиленный трудъ,—говорятъ панегиристы Кульманъ,—отнял у Россіи будущую гордость русскихъ женщинъ, а недостатокъ лисьей или заячьей шкурки для прикрытія нѣжнаго тѣла дѣвушки: „трудъ для нея былъ наслажденіемъ, а природа человѣческая въ такихъ случаяхъ нѣсколько крѣпче, нежели какъ думаютъ. Судьба не столь изысканными путями привела дѣвицу Кульманъ ко гробу: она употребила для этого самое дѣйствительное средство—бѣдность“.

Простудилась она въ половинѣ октября 1824 года. На свадьбѣ у одной своей родственницы, при выходѣ изъ церкви, ей пришлось долго оставаться на крыльцѣ, и ее продуло холоднымъ осеннимъ вѣтромъ.

Она занемогла тотчасъ же, хотя, можетъ быть, и не смертельно.

Но 7-го ноября того же года, какъ извѣстно, было страшное, доселѣ памятное наводненіе.

Васильевскій островъ, гдѣ жили Кульманъ, былъ особенно затопленъ водою, и во время этого наводненія больная дѣвушка еще болѣе простудилась.

Скоро показались признаки опасной болѣзни—скоротечной или такъ называемой „галопирующей“ чахотки.

Когда вѣсть о болѣзни этой замѣчательной дѣвушки дошла до высо-

чайшаго двора, то государыня императрица Александра Ѳеодоровна, вдовствующая императрица Марія Ѳеодоровна и великая княгиня Елизавета Алексѣевна, знаяшія о необыкновенныхъ дарованіяхъ Елизаветы Кульманъ отъ статсъ-секретаря Лонгинова, поспѣшили оказать ей всевозможную помощь; но для больной все уже было бесполезно.

Она таяла какъ свѣчка, по мѣткому народному выраженію.

Больная сама поняла, что скоро должна умереть, и пользуясь послѣдними днями жизни, писала объ этомъ своей подругѣ, говорила, что ей уже снилось, будто она умерла, привыкла къ образу новой, невѣдомой людямъ жизни, и т. д.

Но только матери она не хотѣла пугать своею страшною тайною.

Другу же своему Гроссъ-Гейнриху она все сказала—призналась, что спокойно ждетъ смерти и готова встрѣтить ее.

Гроссъ-Гейнрихъ утѣшалъ дѣвушку — отрицалъ неизбежность скорой смерти, говорилъ о выздоровленіи.

На его позднія утѣшенія больная отвѣчала словами своего любимаго поэта Шиллера.

Ein mächtiger Vermittler ist der Tod.

— Два мои брата,—прибавила она:—пали съ честью на полѣ битвы (въ 1812 году). Они были такъ же молоды. Я не должна уступать имъ въ твердости.

Она, почти уже умирая, диктовала свои сочиненія, поправляла ихъ, дѣлала переводы своихъ поэтическихъ произведеній на другіе языки, читала любимыхъ авторовъ, какъ бы прощаясь съ ними навѣки.

Передъ смертью, какъ это всегда бываетъ съ чахоточными, она нѣсколько оживѣлась; но это было уже предсмертное оживленіе.

19-го октября 1825 года сошлись къ ея постели немногіе родные и знакомые. Она потребовала священника и просила читать надъ ней отходную, чтобы самой выслушать эту послѣднюю на землѣ молитву.

Во время чтенія отходной больная оборотилась на лѣвый бокъ, склонилась головой на руку—и умерла; а чтеніе продолжалось надъ мертвой.

Похоронена она была на Смоленскомъ кладбищѣ.

Памятникъ надъ нею сдѣланъ изъ каррарскаго мрамора искуснымъ художникомъ Трескорни, въ греческомъ стилѣ.

Памятникъ изображаетъ прекрасную женщину въ гробѣ. Эта мраморная женщина тоже склонилась головой на лѣвую руку, какъ и умиравшая Елизавета Кульманъ.

Гробъ увѣнчанъ листьями аканфа, а межъ ними видна роза, оторванная отъ стебля.

Кругомъ гроба надписи на славянскомъ, греческомъ, латинскомъ и на всѣхъ новѣйшихъ европейскихъ языкахъ, такъ хорошо знакомыхъ усопшей.

Но особенною глубиною смысла, примѣнимаго къ данному случаю, отличается надпись испанская, которая гласитъ:

„Богъ послалъ ее на землю не для того, чтобъ оставить ее здѣсь, но чтобы показать людямъ свое твореніе“.

Осуществленіемъ своимъ памятникъ обязанъ участію государынь Александры Ѳеодоровны и Елизаветы Алексѣевны.

Въ 1833 году, русская академія, какъ мы сказали выше, издала все, что осталось послѣ Елизаветы Кульманъ, и все, что относилось до ея жизни.

Вторая часть стихотвореній Кульманъ носить названіе „стихотвореній Коринны“.

Названіе это дано имъ вотъ по какому случаю.

Извѣстно, что греческая стихотворица Коринна, по преданію, одержала побѣду надъ знаменитымъ Пиндаромъ. Елизавета Кульманъ не вѣрила этому преданію о торжествѣ Коринны.

— Я этимъ побѣдамъ Коринны не очень вѣрю,—говорила она:—характеръ Пиндара столь возвышенъ, столь стремителенъ, что едва ли можно было кому-либо превзойти его, особенно женщинѣ; или же судьи, присудившіе вѣнецъ Кориннѣ, были слишкомъ пристрастны. Однако-жъ, все жаль, что изъ произведеній ея ничего не осталось намъ: въ Греціи не легко было приобрѣсть славу поэта, а она имѣла ее.

Гроссъ-Гейнрихъ сказалъ на это, что она сама, Елизавета Кульманъ, можетъ воскресить Коринну, можетъ написать стихотворенія, а потомъ сказать, что нашла ихъ въ никому неизвѣстномъ манускриптѣ, и перевела, сдѣлавъ при этомъ ученныя примѣчанія, аннотации и проч., подобно Макферсону, поступившему такимъ образомъ съ поэмами будто бы Оссіана.

Дѣвушка смѣялась этой выдумкѣ; но вскорѣ послѣ этого разговора показала Гроссъ-Гейнриху написанное ею стихотвореніе въ формѣ обращенія къ Миртѣ, которую, какъ свою воспитательницу, Коринна благодаритъ за развитіе и усовершенствованіе своего таланта.

Стихотвореніе оканчивается такъ:

Когда въ теченьи жизни
И мнѣ своимъ искусствомъ
Плѣнить другихъ удастся,
То я, Мирто, кумиръ мой,
Тебѣ за всѣ успѣхи
Обязанною буду:
Ты, лиры златострунной
И пѣнія царица,
Съ младенчества со тщаньемъ
Коринну приучала
Къ радивому служенью
Дающимъ славу музамъ.

Гроссъ-Гейнрихъ одобрилъ этотъ опытъ, и съ тѣхъ поръ Кульманъ составила цѣлую серію стихотвореній отъ лица Коринны.

Она и называлась поэтому „русскою Коринною“.

Теперь стихотвореній Кульманъ почти никто не знаетъ.

XVI.

Княгиня Зинаида Александровна Волконская.

(Урожденная княжна Бѣлосельская).

Къ началу XIX вѣка Россія переживала уже цѣлое столѣтіе съ той поры, какъ перестала, повидимому, быть и казаться старою Россіею. Цѣлое столѣтіе, говоря словами довѣрчивыхъ поэтовъ, русскія двери были открыты настежъ въ Европу для свободнаго циркулированія живительныхъ соковъ цивилизаціи.

Цѣлое столѣтіе, такимъ образомъ, русская женщина имѣла въ своемъ распоряженіи, чтобы, повинаясь естественнымъ законамъ движенія, продолжать наступательный ходъ далѣе отъ того мѣста, на которомъ остановились ихъ до-петровскія бабушки.

Мы видѣли уже отчасти, какъ прожиты были русскою женщиною эти сто лѣтъ новой жизни. Мы не могли не замѣтить при этомъ, что женщина большею частью, и въ XVIII столѣтіи, какъ и въ XVI, при Новиковѣ и Державинѣ, какъ и при Сильвестрѣ и Адашевѣ, являлась такою, какою хотѣлъ ее видѣть мужчина.

Когда Новиковъ говорилъ ей, что она будетъ способнѣе исполнять назначеніе человѣка, если ей одинаково будутъ повиноваться игла и перо, рисунокъ на выкройкѣ и корректурный листъ изъ-подъ типографскаго станка, женщина бралась за перо и за корректуру, не оставляя, однако, иголки. Когда же Боратынскій сказалъ ей, что чернилами она только способна свои пальчики испачкать, женщина задумывалась, и бросила перо для канвовой иглы.

Дѣйствительно, и въ первой половинѣ XIX столѣтія все еще далеко не рѣшеннымъ оставался вопросъ о томъ, имѣетъ ли право и должна ли женщина раздѣлять свой трудъ и свой умъ между иглой и перомъ.

Боратынскій едва ли шутилъ, когда обращался къ женщинамъ съ такимъ словомъ:

Не трогайте парнаскаго пера,
Не трогайте, смазливыхъ вострушки.
Красавицамъ не много въ немъ добра,
И имъ амуръ другія далъ игрушки.
Любовь ли вамъ оставить въ забытѣи
Для жалкихъ риѣмъ? Надъ риѣмами смѣются!
Уносятъ ихъ дѣтійскія струи...
На пальчикахъ чернила остаются.

Ясно, что, по понятіямъ того времени, перомъ женщина могла заниматься какъ несовсѣмъ опрятною „игрушкою“—это было не дѣло, а забава, потому что на перо и мужчины того времени смотрѣли отчасти какъ на игрушку, на забаву ума, дозволенную при сытости желудка.

Въ это-то время и подъ вліяніемъ высказанныхъ нами воззрѣній общества, русская жизнь дала еще нѣсколько болѣе или менѣе замѣтныхъ

женскихъ личностей, изъ которыхъ объ однихъ мы уже сказали, что могли, а о другихъ постараясь сказать, что можемъ.

Въ то время когда изъ Волковой, подъ давленіемъ событій двѣнадцатаго года, вырабатывалась вполнѣ русская женщина, вѣрнѣе московская, дошедшая въ своемъ патріотизмѣ до исключительности; когда дочь Сперанскаго, подъ вліяніемъ генія своего отца, посвящаетъ свои силы на разработку вопроса о необходимости пополнить недостаточность и безсистемность воспитанія юношества, а потомъ, почувствовавъ, что, со смертью горячо любимаго ею отца, связь ея съ Россіею какъ бы порвалась, окончательно разрываетъ эту связь и отказывается даже отъ русскаго языка, чтобы замѣнить его французскимъ и нѣмецкимъ; когда Хомутова, послѣ разлуки съ другомъ своимъ, поэтомъ Козловымъ, котораго нравственное вліяніе на нее было несомнѣнно, тоже впадаетъ въ какую-то апатію; когда, наконецъ, Дурова промѣняла саблю, которою билась въ рядахъ соотечественниковъ противъ легіоновъ Наполеона I, на перо писательницы едва ли не подъ косвеннымъ воздѣйствіемъ Пушкина, а Кульманъ, чуть ли не единственная женская личность, взявшаяся за перо не для забавы, а по неотразимымъ велѣніямъ своего собственнаго генія, погибла потому лишь, что не имѣла теплаго салопъ,—въ это время появляется новая блестящая женская личность, изъ которой могло выйти нѣчто замѣчательное, если-бъ и эта женщина не сдѣлалась жертвою нравственныхъ болѣзней своего времени.

Мы разумѣемъ княгиню Волконскую.

Это была женщина,—говоритъ одинъ изъ почтенныхъ знатоковъ исторіи XVIII и XIX вѣковъ,—„необыкновенная по уму, красотѣ, разнообразнымъ талантамъ и душевной энергіи, женщина, оставившая довольно яркій слѣдъ въ исторіи нашего общества и въ нашихъ литературныхъ преданіяхъ“.

Но „яркій слѣдъ“ этотъ, къ сожалѣнію, и остается пока лишь только „слѣдомъ“, потому что вообще свѣдѣнія о жизни и дѣятельности этой женщины очень скудны. Между тѣмъ, жизнь эта, по словамъ того же почтеннаго изслѣдователя нашей старины, „возбуждаетъ живѣйшее любопытство“.

Княгиня Волконская была дочь оберъ-шенка князя Александра Михайловича Бѣлосельскаго, по матери родного племянника знаменитыхъ графовъ Чернышовыхъ, крупныхъ государственныхъ дѣятелей елизаветинскихъ и екатерининскихъ временъ. Мать ея была изъ рода Татищевыхъ.

Княжна Бѣлосельская рано лишилась матери, которая умерла въ 1792 году, въ Туринѣ, гдѣ жила съ мужемъ, представлявшимъ лицо русскаго посланника. Оставшись на попеченіи отца, маленькая княжна всѣмъ своимъ дальнѣйшимъ развитіемъ обязана личнымъ его заботамъ: подобно Сперанскому, учившему свою Лизу, князь Бѣлосельскій первый далъ литературное и эстетическое развитіе своей дочери, потому что самъ считался страстнымъ любителемъ словесности, хотя, къ сожалѣнію, по обычаю того времени, могъ скорѣе назваться французскимъ писателемъ, чѣмъ русскимъ: стихи его читались больше въ Европѣ, чѣмъ въ Россіи; князя Бѣлосель-

скаго, какъ писателя, ближе знали Вольтеръ и Делиль, чѣмъ Державинъ и Новиковъ; имя князя Бѣлосельскаго славилось литературною извѣстностью больше на берегахъ Сены, чѣмъ на берегахъ Невы и Москвы-рѣки.

Понятно, что и сердце дочери, выросшей на рукахъ этого отца, должно было больше тяготѣть къ Парижу, къ Риму, къ Турину, чѣмъ къ Москвѣ и Петербургу.

Воспитывалась ли молодая княжна въ Смольномъ институтѣ, по обычаю всѣхъ тогдашнихъ юныхъ аристократокъ—достоверно неизвѣстно. Мы знаемъ только, что въ 1808 году она была уже фрейлиной и состояла при особѣ королевы Луизы-прусской, бабки царствовавшего тогда императора Александра Павловича, пріѣзжавшей погостить въ Россію.

Объ этомъ обстоятельствѣ сама княгиня Волконская вспоминала черезъ тридцать уже лѣтъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, именно въ „Пѣсни невской“. Въ стихотвореніи этомъ, содержаніе котораго, главнымъ образомъ, относится къ пожару Зимняго дворца, княгиня Волконская говоритъ, между прочимъ (относительно сгорѣвшаго Зимняго дворца), слѣдующее:

Тамъ царицы въ фатахъ да повойникахъ
Говорили купцамъ слово ласково.
Изъ Порусьи давно тамъ являлася
Королева краса чужеземная,
Словно лунный свѣтъ въ окна царскія.
Она много терпѣла за свой край родной
И въ день черный ему всѣмъ пожертвовала!
Ему все отдала, камни, золото
И одни жемчуга сохранила себѣ,
Въ жемчугахъ и въ слезахъ она помнится мнѣ.

Молодая княжна Бѣлосельская, вышла потомъ замужъ за князя Никиту Григорьевича Волконскаго.

Пока она жила съ мужемъ въ Петербургѣ, то и по сану мужа, и по своему уму, и по красотѣ, и по образованію, занимала самое высокое положеніе при дворѣ. Когда, затѣмъ, послѣ 1812 года, она оставила Россію, то такое же блестящее положеніе занимала и въ Европѣ, особенно въ Теплицѣ и Прагѣ, гдѣ императоръ Александръ, находившійся въ то время въ Германіи, любилъ бывать въ ея обществѣ, равно какъ и тогда, когда она жила въ Парижѣ послѣ 1813 года, а затѣмъ, въ Вѣнѣ и Веронѣ, во время блестящихъ европейскихъ конгрессовъ.

Въ это время княгиня Волконская постоянно вращалась въ самомъ центрѣ придворной и дипломатической жизни. Политическія литературныя и художественныя знаменитости искали ея знакомства и тяготѣли къ ея кружку, потому что тяготѣніе это вызывалось и обуславливалось благоприятными условіями, которыя соединяла въ себѣ Волконская: знатность ея и богатство еще болѣе казались привлекательными, потому что возвышались ея красотой и любезностью; красотѣ и любезности, въ свою очередь, помогали признанная всѣми разнообразная ученость княгини и ари-

стократическая талантливость. Музыкальные знаменитости охотно окружали ее потому, что она блестящимъ образомъ исполняла лучшія музыкальныя пьесы того времени и считалась самою даровитою исполнительницею новыхъ произведеній Россіи. Знаменитости сценическаго міра уважали въ ней сценическія знанія, потому что она доказывала ихъ практически, сама исполняя на сценѣ модныя пьесы своего времени. Ученыя знаменитости не скучали съ ней потому, что она считалась ученою женщиною — слыла за женщину-филолога, знала латинскій языкъ и признавалась лучшею ученицею члена нашей академіи филолога Андрея Меріана; она же была другомъ извѣстнаго нашего ученаго Гульянова.

Поэтъ и композиторъ—она сама писала кантаты и сочиняла къ нимъ музыку: такъ извѣстна ея кантата, написанная въ память императора Александра Павловича и положенная ею же на музыку. Къ этой кантатѣ, составляющей теперь библіографическую рѣдкость, приложенъ ея портретъ, гравированный съ подлинника работы К. П. Брюллова.

Воротившись изъ Европы въ Россію, она поселилась въ Москвѣ, гдѣ и жила, какъ говорятъ недавно опубликованныя о ней свѣдѣнія, въ богатомъ домѣ брата своего, у Тверскихъ воротъ, въ домѣ, „который она умѣла обратить въ настоящую академію наукъ и искусствъ“.

По всѣмъ проявленіямъ, это была натура крайне впечатлительная, увлекающаяся, и потому, къ сожалѣнію, не настолько стойкая и постоянная, чтобы отдаться одному какому-либо дѣлу: когда она была въ Европѣ — европейская жизнь всецѣло овладѣла ея симпатіями, и она умѣла сама приковать къ себѣ вниманіе и сочувствіе всего, что было въ Европѣ умнаго, образованнаго, талантливаго, ученаго. Въ Россіи—на нее повѣяло новыми вліяніями, и, въ свою очередь, она стала центромъ тяготѣнія всего, что могла дать въ то время русская жизнь самаго образованнаго и даровитаго.

„Все, что было лучшаго въ русской словесности, съ почтеніемъ окружало высокоталантливую внягиню“, говоритъ одинъ изъ современныхъ московскихъ писателей, для котораго еще живы преданья двадцатыхъ-тридцатыхъ годовъ.

Пушкинъ подъ вліяніемъ обаянія, разливаемаго на всѣхъ окружавшихъ эту женщиною, пишетъ ей свое знаменитое посланіе при посвященіи одной изъ удачнѣйшихъ поэмъ своихъ—„Цыгане“:

Среди разсѣянной Москвы,
При толкахъ виста и бостона,
При бальномъ лепетѣ молвы,
Ты любишь игры Аполлона.
Царица музъ и красоты,
Рукою нѣжной держишь ты
Волшебный скипетръ вдохновеній,
И надъ задумчивымъ челомъ,
Двойнымъ увѣнчаннымъ вѣнкомъ,
И вьется и пылаетъ геній.
Пѣвца, плѣненнаго тобой,

Итальянскіе и голландскіе.

Вился плющъ на ширмахъ рѣшетчатыхъ,

А подъ плющемъ царица сиживала,

Думу думала съ дѣтенышками.

Поджидала царя, какъ проглянетъ на нихъ

Промежъ дѣлъ и заботъ государственныхъ.

Тамъ бывало народъ начиналъ съ царемъ

Новый русскій годъ въ gridняхъ свѣтлыхъ, златыхъ.

Что гудить рѣка? Что ворчить Нева?

„Охъ ты Ладога! Ты зачѣмъ на меня

Повалила свой ледъ? Онъ мѣшаетъ мнѣ!

Ты не слышишь тамъ что-то кроется,

Словно въ крѣпость тать забирается.

Тамъ трещитъ вездѣ... мнѣ не нравится.

Скоро воды мои всѣмъ понадобятся,

Не всегда-жъ отъ меня злу потопному быть!

Ой готовьте вы, братцы, ломы острые,

Топоры, да пѣшны, ведра новыя!

Да смотрите-жъ въ ведрахъ, чтобъ не мерзла вода!“

Загорѣлся дворецъ, и сгорѣлъ дворецъ,

И народъ готовъ, какъ вездѣ за царя

Положить свои тамъ головушки.

Золы черныя ужъ надъ ними курганъ.

Гдѣ надѣжамъ-царямъ хорошо было,

Тамъ валятся снѣга въ жерло черное!

Вы зачѣмъ собрались, люди умные,

Люди умные, мастера-столяры,

А и плотники новгородскіе!

Ужъ не новый дворецъ ли затѣяли.

Ахъ, и впрямь ужъ дворецъ въ мысли строится,

Скоро сказывается сказка русская,

Скоро дѣлается дѣло съ русскими.

Станетъ скоро дворецъ, что волшебный домъ,

Живописный дворецъ и весь мраморный.

А искусство у насъ, вѣдь, привозный цвѣтъ;

Хоть привозный цвѣтъ, да сроднился онъ

Съ почвой русскою, съ русскимъ разумомъ.

Грудь ея ужъ полна сѣмянъ собственныхъ.

Ахъ, расти, южный цвѣтъ, ты на сѣверѣ!

Ты въ теплицѣ цвѣти, какъ на солнышкѣ?

И туда, вѣдь, глядитъ оно ясное,

Вѣтеръ ласковый, сила южная,

Благодатная роса райская!

Ясно, что на языкѣ этого стихотворенія лежитъ еще печать увлеченія русскимъ народнымъ говоромъ, русскимъ народомъ, русскою стариною.

Вообще достойно глубокаго вниманія замѣчательное явленіе въ исторіи русской женщины первой половины XIX вѣка—это католическій прозелитизмъ.

Явленіе это и его историческія причины ожидаютъ еще самостоятельнаго ученаго изслѣдованія, и желательно было бы, чтобы этотъ важный пробѣлъ въ исторіи русской женщины былъ возможно скорѣе пополненъ.

На этотъ пробѣлъ должно занестись имя княгини Волконской, какъ и имя Свѣчиной и иныхъ.

Прасковья Александровна Осипова.

Для исторіи русской женщины, какъ и для исторіи всей Россіи, драгоценны и такія женскія личности, нравственный обликъ которыхъ, даже при положительной недостаточности біографическихъ подробностей о ихъ жизни, какою-либо хотя лишь одною чертою, ярко выступаетъ изъ хаоса обыденной жизни и становится неизгладимымъ по отношенію къ исторіи нашего развитія вообще и въ особенности по отношенію къ другимъ историческимъ личностямъ, которыя налагали свою собственную, индивидуальную печать на это развитіе и помогали ему своею нравственною силой.

Какъ дорогъ для потомства цѣльный осколокъ какого-либо древняго, въ мусорѣ отысканнаго, произведенія геніальнаго ваятеля, если цѣлое изваяніе и утратилось, такъ дороги для цѣлой картины исторической русской жизни цѣльные такъ сказать осколки женскихъ личностей, осколки, по которымъ до нѣкоторой степени воссоздается цѣльный образъ человѣка и само собой уясняется его значеніе, его удѣльный вѣсъ среди всего, что его окружало, на что этотъ человѣкъ имѣлъ прямое или рефлективное, отраженное вліяніе.

Такимъ—можно сказать — осколкомъ художественнаго произведенія русской жизни представляется намъ Прасковья Александровна Осипова — этотъ спасительный другъ Пушкина и оживляющій другъ Языкова, можетъ быть, болѣе воздѣйствовавшій на возбужденіе творческихъ силъ двухъ наиболѣе любимыхъ когда-то Россіею поэтовъ русскихъ, чѣмъ самыя сложныя и самыя вліятельныя условія жизни, среды и обстановки.

Есть историческія женскія имена, которыя такъ и останутся лишь именами; но имена эти бессмертны: исторія не сохранила ни какихъ-либо подробностей о ихъ жизни и дѣятельности, ни даже яснаго представленія о ихъ нравственномъ образѣ; она и не сохраняетъ этихъ подробностей, какъ ничтожныхъ частицъ въ общей массѣ крупныхъ историческихъ фактовъ, но историческое бессмертіе за этими именами все-таки сохраняетъ.

Имя Форнарины стоитъ рядомъ съ именемъ Рафаэля—и этого достаточно, чтобы первое имя было бессмертно, какъ бессмертно второе. Имена Стеллы и Ванессы входятъ въ жизнь бессмертнаго Свифта; потому ли что эти женщины обѣ любили поэта, потому ли что поэтъ любилъ обѣихъ этихъ женщинъ, и если кромѣ этого простого, примитивнаго, такъ сказать факта ничего не было бы извѣстно о Стеллѣ и Ванессѣ, то все-таки бессмертіе этихъ женщинъ не могло бы стереться съ страницъ исторіи, и скорѣе сотрутся безличныя образы скифовъ, даковъ и другихъ народовъ на бессмертной колоннѣ Траяна, скорѣе время истребитъ бронзу и мраморъ, увѣковѣчившіе нѣкоторыя имена древности, чѣмъ сотрутся съ исторической памяти имена женщинъ, какъ тѣхъ, о которыхъ мы кстати упомянули, такъ и другихъ, о которыхъ мы не упоминали.

Да исторія и не нуждается въ мелкихъ, анекдотическихъ подробностяхъ.

стяхъ о нѣкоторыхъ личностяхъ: для потомства достаточно знать имя лица и единый рельефъ его жизни, чтобы преемственно воссоздавать его нравственный обликъ... Гекуба, Андромаха, Аспазія, Клеопатра, Мессалина, Беатриче—все это лишь облики...

Такъ по двумъ-тремъ чертамъ возсоздается и образъ русской женщины, имя которой освѣщается однимъ воспоминаніемъ рядомъ съ именами Пушкина и Языкова—этого для насъ достаточно: мы можемъ обойтись и безъ біографическихъ подробностей, которыя могутъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ составлять лишь историческій балластъ.

Ирасковья Александровна Осипова была сосѣдка Пушкина по его псковскому имѣнію, селу Михайловскому, гдѣ впоследствии и похороненъ поэтъ.

Осипова жила въ сосѣдствѣ съ селомъ Михайловскимъ, въ своемъ имѣніи, селѣ Тригорскомъ, вмѣстѣ съ безсмертными именами дѣятелей русской мысли тоже получившемъ историческое безсмертіе, какъ остается цѣлая тысячелѣтія безсмертнымъ невѣдомое мѣстечко на берегу Чернаго моря, гдѣ жилъ въ изгнаніи Овидій.

Осипова давно уже была дружна съ семействомъ Пушкина — съ его отцемъ Сергѣемъ Львовичемъ и матерью Надеждою Осиповною, и всегда оказывала самое теплое расположеніе къ молодому поэту, котораго значеніе въ исторіи русскаго развитія уже провидѣло общество. Осипова, съ своей стороны, женскимъ чутьемъ угадывала гениальныя силы, таившіяся въ молодомъ писателѣ, и всегда радушно принимала его въ своей семьѣ: у Осиповой, когда она особенно оказалась спасительною силою для Пушкина, придавленнаго временнымъ несчастьемъ, были уже взрослые дочери, и оттого радушная семья ея представляла еще большую, такъ сказать, духовную полноту и законченность, гдѣ можно тоскующему изгнаннику, какимъ былъ въ то время Пушкинъ, вполне отдохнуть душой.

Осипова была для Пушкина больше чѣмъ мать, и именно тогда, когда Пушкинъ нуждался въ поддержкѣ и ласкѣ.

Вотъ тотъ свѣтлый историческій лучъ, который освѣщаетъ обликъ этой женщины.

Въ 1824 году, Пушкинъ, за свои литературныя вины и за неосторожность въ словахъ, былъ привезенъ съ юга Россіи къ отцу въ село Михайловское и отданъ подъ надзоръ мѣстнаго жандармскаго начальства, мѣстной полиціи и мѣстнаго, псковскаго губернатора, которымъ тогда былъ Адеркасъ.

Отецъ Пушкина, встревоженный ссылкой сына, неосторожно вызвалъ его на рѣзкіе и непочтительные отвѣты—и между отцомъ и сыномъ вышли крупныя неудовольствія.

Въ этомъ случаѣ нетерпѣливая горячность Пушкина, безъ сомнѣнія, окончательна бы погубила поэта, если-бъ его не спасла именно Осипова.

Въ раздраженіи противъ отца, Пушкинъ имѣлъ неосторожность послать губернатору Адеркасу слѣдующее странное прошеніе:

„Милостивый государь, Борисъ Александровичъ! Государь Императоръ

высочайше соизволилъ меня послать въ помѣстье моихъ родителей, думая тѣмъ облегчить ихъ горестъ и участь сына. Но важныя обвиненія правительства пали на сердце моего отца и раздражили мнительность, прости-тельную старости и нѣжной любви его къ прочимъ дѣтямъ. Рѣшаюсь для его спокойствія и своего собственнаго просить его Императорское Величе-ство, да соизволитъ меня перевести въ одну изъ своихъ крѣпостей. Ожи-даю сей послѣдней милости отъ ходатайства вашего превосходительства“.

Осипова случайно узнала объ этомъ сумасбродномъ посланіи своего друга, и желая по возможности поправить дѣло, постѣшила написать въ Петербургъ къ Жуковскому, который былъ въ то время приближеннымъ къ государю лицомъ, прося его содѣйствія въ томъ критическомъ и опа-сномъ положеніи, въ которое самъ себя поставилъ Пушкинъ.

Вотъ это письмо Осиповой къ Жуковскому, безспорно имѣющее исто-рическое значеніе.

„Милостивый государь Василій Андреевичъ. Искреннее участіе (не свѣтское), которое я, съ тѣхъ поръ какъ себя понимать начала, принимаю въ участи Пушкина, пусть оправдываетъ въ сію минуту передъ вами меня, милостивый государь, въ томъ, что, не имѣя чести быть вамъ знакомою, рѣшилась начертать сіи строки. Изъ здѣсь приложеннаго письма усмотрите вы, въ какомъ положеніи находится молодой, пылкій человѣкъ, который, кажется, увлеченный сильнымъ воображеніемъ, часто къ несчастію своему и всѣхъ тѣхъ, кои берутъ въ немъ участіе, дѣйствуетъ прежде, а обду-мываетъ послѣ. Вслѣдствіе нѣкоторыхъ недоразумѣній, или лучше ска-зать, разныхъ мнѣній, по одному же, однако, предмету съ отцомъ своимъ, вотъ какую просьбу послалъ Александръ къ нашему Адеркасу. Я все то сдѣлала, что могла, чтобъ предупредить слѣдствіе оной; но я не знаю, удачно ли; потому что г. Адеркасъ, хотя человѣкъ и добрый, но былъ прежде полицеймейстеръ. Я трепещу слѣдствій для нѣжной матери, да и отца! Можетъ вогнать прежде времени во гробъ. Несмотря на все, что теперь происходило, Александръ, кажется, имѣетъ счастье пользоваться вашимъ доброжелательствомъ. Не дайте погибнуть сему молодому, но право хорошему любимцу музъ. Помогите ему тамъ, гдѣ вы; а я, пользуясь нѣсколько его дружбою и довѣріемъ, постараюсь, если не угасить вулканъ, по крайней мѣрѣ, направить путь лавы безвредно для него.

„Если вамъ угодно отвѣчать Александру Сергѣевичу такъ, чтобы кромѣ его никто не видалъ вашихъ писемъ, то мое имя да служить вамъ эгидою“.

Въ этомъ письмѣ Осипова удачно характеризуетъ Пушкина какъ чело-вѣка, который прежде дѣйствуетъ, а послѣ ужъ обдумываетъ то, что сдѣ-лалъ. Письмо обнаруживаетъ также, что женщина эти принимала завистѣвшія отъ нея мѣры, чтобы сдѣлать безвредною для Пушкина посланную имъ къ губернатору просьбу.

Къ счастью, просьба не попала въ руки Адеркаса, потому что послан-ный Пушкина не засталъ губернатора въ Псковѣ.

Жуковскій отвѣчалъ на письмо Осиповой, и какъ видно изъ слѣду-

ющаго письма этой послѣдней къ Жуковскому, писалъ и самому Пушкину и его отцу, повидимому, въ примирительномъ духѣ.

На письмо Жуковского Осипова отвѣчаетъ ему новымъ, въ высшей степени замѣчательнымъ письмомъ, обнаруживающимъ и свѣтлый умъ этой женщины и глубокое пониманіе натуры любимѣйшаго изъ русскихъ поэтовъ, погибшаго, черезъ тринадцать лѣтъ, именно такимъ образомъ, какъ предвидѣло умное сердце женщины.

Приводимъ вполнѣ и это письмо, ставшее теперь для Россіи драгоценнымъ историческимъ памятникомъ.

„Вчерашній день получила я письмо ваше и пріятною обязанностію себѣ поставлю исполнить желаніе ваше насчетъ положенія дѣлъ любезнаго нашего поэта. Къ похожденію письма его можно смѣло сказать, что на сей разъ Pouschkine fût plus heureux que sage. У васъ былъ ужасный потопъ (знаменитое наводненіе Петербурга 7-го ноября 1824 года), а у насъ распутица; нигдѣ нѣтъ проѣзду. Посланный его, не нашедъ губернатора во Псковѣ, черезъ недѣлю возвратился, не отдавъ письма никому. Теперь отдалъ его Александру Сергѣевичу, и онъ сказалъ мнѣ вчера, что его уничтожилъ, и душѣ моей стало легче.

„Желаю искренно, чтобъ совѣты ваши приняты были Сергѣемъ Львовичемъ и исполнены. Мнѣ пріятно было замѣтить изъ письма вашего, что мы съ вами совершенно согласны во мнѣніи насчетъ несогласія сихъ двухъ особъ, отца и сына. А причина сихъ вѣчныхъ между ними несогласій есть странная мысль, которая, не знаю отчего, вселилась съ обѣихъ сторонъ въ ихъ умахъ. Сергѣй Львовичъ думаетъ, и его ничѣмъ не можно разуверить, что сынъ его не любитъ, а Александръ увѣренъ, что отецъ къ нему равнодушенъ и будто бы не имѣетъ попеченія о его благосостояніи. Отъ сего происходитъ, что они обоюдно толкуютъ, каждый въ свою очередь, поступки одинъ другого ложно, а потому дѣйствуютъ равно ошибочно. Бывъ лишь чуждая и посторонняя совершенно между ими, я болѣе правды говорила любезному нашему анахорету, чѣмъ бы онъ выслушалъ отъ своей нѣжной Надежды Осиповны.

„Я живу въ двухъ верстахъ отъ села Михайловскаго, гдѣ теперь Александръ Пушкинъ, и онъ бываетъ у меня всякій день. Желательно бы было, чтобъ ссылка его сюда скоро кончилась; иначе я боюсь быть нескромною, но желала бы, чтобы вы, милостивый государь, Василій Андреевичъ, меня угадали. Если Александръ долженъ будетъ оставаться здѣсь только, то прощай для насъ русскихъ его талантъ, его поэтический геній, и обвинить его не можно будетъ. Нашъ Псковъ хуже Сибири, и здѣсь пылкой головѣ не усидѣть. Онъ теперь такъ занятъ своимъ положеніемъ, что безъ дальняго размышленія изъ огня вскочитъ въ пламя;—а тамъ поздно будетъ размышлять о слѣдствіяхъ.

„Все здѣсь сказанное не пустая догадка, но прошу васъ, чтобы и Левъ Сергѣевичъ (братъ поэта) не зналъ того, что я вамъ сіе пишу. Если вы думаете, что воздухъ и солнце Франціи или близъ лежащихъ къ ней, черезъ

Альпы, земель, полезенъ для русскихъ орловъ, — и онъ не будетъ вреденъ нашему, то пускай останется то, что теперь написано, вѣчною тайною. Когда же вы другого мнѣнія, то подумайте, какъ предупредить отлетъ.

„Я не буду извиняться передъ вами, что пишу такъ много. Сердце было на концѣ пера, и я слишкомъ искренно привержена къ семейству Пушкиныхъ, чтобы равнодушно видѣть ихъ въ горестяхъ. Я забывала въ недавнемъ времени всю грусть души своей и каждую минуту думала только о Сергѣѣ Львовичѣ и Надеждѣ Осиповѣ“...

Пушкинъ былъ спасенъ.

Въ приведенномъ нами письмѣ говорится хорошая женщина и хорошій человекъ, который могъ быть дѣйствительнымъ другомъ нашихъ поэтовъ.

„Пушкинъ болѣе счастливъ, чѣмъ благоразуменъ“... если Пушкинъ будетъ оставленъ въ Псковѣ, „то прощай для русскихъ его талантъ, его поэтический гений“... „Псковъ хуже Сибири и тамъ пылкой головѣ Пушкина не усадѣтъ“... „Пушкинъ безъ дальняго размышленія изъ огня вскочитъ въ пламя“... — это такія мысли, которыя очерчиваютъ всего Пушкина, тѣмъ болѣе, что опасеніямъ Осиповой, къ несчастью, суждено было сбыться: именно эта горячность, за которую преимущественно боялась Осипова, заставила Пушкина стать подъ пулю, которая и уложила его въ могилу. Дѣйствительно, у Осиповой сердце было на концѣ пера, когда перо это высказывало тѣ роковыя опасенія, которыя тяготѣли надъ всею жизнью Пушкина и изъ опасеній перешли въ дѣло.

Нѣсколько инымъ характеромъ отличались отношенія Осиповой къ Языкову.

Лѣтомъ 1826 года, молодой поэтъ, еще въ качествѣ студента дерптскаго университета, пріѣхалъ въ Тригорское, чтобъ погостить у радушной хозяйки этого села. Тамъ Языковъ подружился съ Пушкинымъ, и эта страстная дружба поэтовъ кончилась лишь со смертью старѣйшаго изъ нихъ.

Въ семействѣ Осиповой и Языковъ, какъ и Пушкинъ, былъ какъ бы любимымъ и балованнымъ сыномъ: молодой студентъ тѣмъ болѣе подходилъ подъ положеніе сына для Осиповой, что съ сыномъ ея, Вульфомъ, Языковъ связанъ былъ самой тѣсной дружбой.

Лѣто, проведенное Языковымъ въ гостяхъ у Осиповой, осталось самымъ дорогимъ для него воспоминаніемъ на всю жизнь.

„Я вопрошалъ совѣсть мою и внималъ отвѣтамъ ея, — писалъ онъ къ Вульфу въ началѣ 1827 года, — и не нахожу во всей моей жизни ничего подобнаго красотою нравственною и физическою, ничего пріятнѣйшаго и достойнѣйшаго сіять золотыми буквами на доскѣ памяти моего сердца, нежели лѣто 1826 года“.

Мало того, черезъ двадцать лѣтъ, 17-го сентября 1846 года, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, Языковъ, больной, разбитый морально и физически, снова вспоминалъ лѣто, проведенное имъ въ гостяхъ у Осиповой, и такъ писалъ тому же Вульфу:

„Вези мой поклонъ и почтеніе въ Тригорское всѣмъ и каждому, кто

меня помнить, и всѣмъ мѣстамъ, кои я помню о сю пору и никогда не забуду“... Не долго, впрочемъ, оставалось ему помнить...

Съ временемъ пребыванія Языкова у Осиповой связаны не только лучшіе годы его жизни, но и лучшія его поэтическія произведенія, изъ которыхъ одно носить названіе „Тригорскаго“, другое—посланіе къ Пушкину, и два посланія къ П. А. Осиповой.

Отпуская, послѣ каникулъ, Языкова въ Дерптъ, Осипова приглашала его пріѣхать погостить и на слѣдующія каникулы; просили его пріѣзжать и дочери Прасковьи Александровны; но молодой поэтъ, страдавшій крайнею застѣнчивостью, не рѣшился пріѣхать на слѣдующій годъ.

...„Я тяжело виноватъ передъ Прасковьей Александровной—писалъ онъ къ Вульфу въ 1827 году,—... моя многогрѣшная (добро) застѣнчивость принудила меня не отвѣчать на почтенное письмо: зане стыдилась отвѣчать отрицательно“...

Но вмѣсто себя Языковъ 1-го мая отправилъ къ Осиповой слѣдующее граціозное посланіе въ благодарность за присланные ему цвѣты:

Благодарю васъ за цвѣты,
Они священны мнѣ: порою
На нихъ задумчиво покою
Мои любимыя мечты;
Они плѣнительно и живо
Тѣ дни напоминаютъ мнѣ,
Когда на волѣ въ тишинѣ,
Съ моею Каменою лѣнливой
Я своеюравно отдыхалъ
Вдали удушливаго свѣта
И вдохновеннаго поэта *)
Къ груди кипучей прижималъ!
И нынѣ съ грустью безутѣшной
Мои желанія летятъ
Въ тотъ край возвышенныхъ отрадъ,
Свободы милой и безгрѣшной,
И часто вижу я во снѣ:
И три горы, и домъ красивый,
И свѣтлой Сороти извивы,
Златаго мѣсяца въ огнѣ,
И тамъ, у берега, тѣнь ивы,—
Пріютъ прохлады въ лѣтній зной,
Наяды пологъ, пологъ продувной:
И тѣ отлогости, тѣ нивы,
Изъ-за которыхъ, вдалекѣ,
На ворономъ аргамакѣ,
Заморской шляпою покрытый,
Спѣша въ Тригорское одинъ—
Вольтеръ и Гёте и Расинъ—
Являлся Пушкинъ знаменитый;
И ту площадку, гдѣ въ тиши
Насъ нѣжила, насъ веселила

*) Пушкина, конечно.

Вина чарующая сила—
Оселокъ сердца и души;
И все божественное лѣто,
Которое изъ рода въ родъ,
Какъ драгоценность, перейдетъ,
Зане Языковымъ воспѣто!
Златые дни! Златые дни!.. и т. д.

И дѣйствительно, память о лѣтѣ 1826 года, воспѣтомъ Языковымъ, переходитъ изъ рода въ родъ, какъ перейдетъ, конечно, къ позднѣйшимъ временамъ и имя воспѣтой и Пушкинымъ и Языковымъ П. А. Осиповой.

Другое посланіе Языковъ написалъ Осиповой изъ Дерпта въ благодарность за присланные ею изъ тригорскаго сада плоды.

Вотъ это стихотвореніе, связанное съ памятью женщины, которая становится безсмертною рефлексивнымъ безсмертіемъ другихъ историческихъ именъ.

Плоды воспѣтаго мной сада,
Благословенные плоды.
Они души моей отрада,
Какъ славы свѣтлая награда,
Какъ вдохновенные труды,
Прекрасныхъ рядъ воспоминаній
Они возобновляютъ мнѣ,
И волны прежнихъ упованій
Встаютъ въ сердечной глубинѣ!
Скучаю здѣсь: моя Камена
Оковы умственного плѣна
Еще носить осуждена;
Мнѣ жизнь горька и холодна,
Какъ вялый стихъ, какъ Мельпомена
Ростовцева или Княжнина;
Съ утра до вечера я занятъ
Мірскимъ и тягостнымъ трудомъ,
И Богъ поэтовъ не помянетъ
Его во царствіи своемъ.
И долго сонному забвенью
Мой не потухнетъ эпиграммъ;
Но я покоренъ провидѣнью
И жду чего?.. не знаю самъ...
Я утѣшаюсь горделиво
Мечтой, что въ вашей сторонѣ
Самостоятельное живо
Воспоминанье обо мнѣ.
И благодаренъ вамъ душою
За вашъ подарокъ, и въ отвѣтъ
Изъ края скуки и суетъ,
Вы благосклонною рукою
Мои убогіе дары
Примите—пару книжекъ модныхъ
Произведеній ежегодныхъ
Словоохотной нѣмчуры.
Мои-жъ стихи да будутъ знакомъ,
Что скоро и легко для васъ
Мой пробуждается Парнассъ,
И что поэтъ Языковъ лакомъ

Вездѣ всегда воспоминать
Свой рай и вашу благодать.

Хотя, какъ мы видѣли въ предшествующемъ очеркѣ, и княгиня Волконская, подобно г-жѣ Осиповой, принадлежала уже къ числу русскихъ женщинъ, завершающихъ собою циклъ того женскаго поколѣнія, которому современная русская женщина, женщина шестидесятыхъ и начала семидесятыхъ годовъ, приходится, можно сказать, родною дочерью, хотя и Волконской и Осиповой выпало на долю служить до нѣкоторой степени центромъ нравственнаго тяготѣнія такихъ умственныхъ силъ русскаго общества, какъ Пушкинъ и вся современная ему интеллигенція наша,—однако, разными путями шли обѣ эти женщины, и въ то время, когда первая, при своихъ бесспорно богатыхъ внутреннихъ задаткахъ, потерявъ почву подъ ногами, перенесла свои симпатіи на чуждые и ей, и ея родной землѣ интересы, другая, сколько могла и сколько научена была своимъ временемъ, всецѣло сберегла свои симпатіи къ тому близкому и родному ей міру, которому всякая живая сила должна служить по мѣрѣ возможности.

Въ этомъ явленіи достойно вниманія то обстоятельство, что современная намъ женщина, подобно этимъ двумъ, только что нами упомянутымъ, женскимъ личностямъ, унаслѣдовала отъ женщины сороковыхъ и тридцатыхъ годовъ эту необъяснимую, повидимому, двойственность стремленій: болѣе шаткія изъ нихъ не знаютъ сами, чему отдать свои симпатіи, и готовы отдать ихъ хотя бы живучему при своей дряхлости католицизму; болѣе же цѣльныя женскія натуры дѣйствительно поняли назначеніе женщины, и честно, съ изумительною стойкостью, учатся служить дѣлу своей родины, какъ служила ему, насколько умѣла и могла, и та симпатичная женская личность, блѣдный обликъ которой мы сейчасъ старались сколько возможно воспроизвести.

XVI.

Унтеръ-офицерша Надежда Кириллова.

Римская исторія сохранила намъ поэтическій образъ несчастной дѣвушки, красота которой была причиною ея трагической смерти, а смерть этой невинной дѣвушки вызвала народное волненіе: отецъ собственноручно зарѣзалъ свою любимую дочь, чтобъ она не досталась сластолюбивому патрицію, а народъ, въ виду окровавленнаго трупа жертвы-красавицы, жестоко отмстилъ всѣмъ патриціямъ и смерть дѣвушки и свои старыя давно накопившіяся обиды.

У насъ, въ тридцатыхъ годахъ, повторилось нѣчто подобное въ Севастополѣ, но это было далеко не то, что въ Римѣ—не тѣ краски, не тѣ тѣни, не тѣ образы: вмѣсто поэтической римлянки и ея гордаго отца-плебея у насъ является унтеръ-офицерша Надежда Кириллова и ея мужъ, а вмѣсто сластолюбиваго патриція—выходить на сцену сластолюбивый штабъ-лѣкарь Верболозовъ.

Уже прежде мы высказали мысль, что какъ не рѣдко женщина вообще появляется на страницахъ исторіи, какъ ни блѣдны вообще историческіе образы женщинъ какъ у насъ, такъ и у всѣхъ народовъ, какъ ни прикрыта отъ постороннихъ глазъ ея закулисная историческая роль, однако, несомнѣнно то, что вліяніе женщины на ходъ историческихъ событій неотразимо, что, повидимому, слабая рука ея руководить, невидимо для другихъ, волею мужчины, и изъ своей скромной области, изъ спальни, изъ дѣтской, женщина такъ или иначе направляетъ событія своего времени то мольбой, то совѣтомъ, то любовью, то лаской, то своею женскою слезою.

Но когда женщина оставляетъ спальную и дѣтскую, когда страсть и общее дѣло увлекаетъ ее на улицу, на площадь — сила ея бываетъ неотразима.

Примѣромъ этому можетъ служить такъ называемый „женскій бунтъ въ Севастополѣ“ — событіе, случившееся въ 1830 году, страшное по той формѣ, въ которой оно выразилось, и ужасное по своимъ послѣдствіямъ.

Хотя событіе это не исключительно связано съ именемъ женщины, стоящей въ заголовкѣ настоящаго очерка, однако, ближайшимъ исходнымъ пунктомъ его такъ или иначе служила именно эта женская личность.

Лѣтомъ 1829 года въ Севастополь завезена была чума изъ Бессарабіи, гдѣ она тогда свирѣпствовала во время турецкой войны. Зараза завезена была въ Севастополь не сухимъ путемъ, а моремъ, на корабляхъ.

Для предупрежденія распространенія заразы городъ былъ отрѣзанъ отъ моря и отъ всѣхъ окрестностей строгою карантинною цѣпью. Карантинное оцѣпление продолжалось около года. Бѣдное населеніе, лишенное всякихъ средствъ имѣть посторонній заработокъ, пришло въ самое ужасное положеніе, и хотя къ веснѣ 1830 года зараза, повидимому, совершенно прекратилась, однако, мѣстное начальство, изъ предосторожности, не снимало карантинной цѣпи и тѣмъ привело населеніе до положительнаго отчаянія. Въ самомъ бѣдственномъ положеніи находилось населеніе примыкавшихъ къ городу слободокъ, особенно же Корабельной.

„Жители Корабельной слободки, — говорится въ одномъ офиціальномъ документѣ, относящемся къ этому событію, — въ сіе бѣдственное для нихъ время, которое, по причинѣ необыкновенно въ то время холодной зимы, было весьма для нихъ ощутительно, столько претерпѣли, что не имѣютъ словъ достаточно изъяснить тогдашнее ихъ бѣдственное положеніе. Будучи лишены всякаго съ городомъ и близкими селами сообщенія, не имѣя что ѣсть и пить, равно и отопить свои жилища, они ежедневно видѣли несчастныя свои семейства и малолѣтнихъ дѣтей своихъ, изнуряемыхъ голодомъ и холодомъ, и, при малѣйшей кому-либо изъ нихъ приключившейся болѣзни, по освидѣтельствованіи медицинскихъ чиновъ, были забираемы въ карантинъ, на Павловскій мысокъ, гдѣ и были содержимы по пятидесяти и болѣе дней, и многіе изъ нихъ тамъ умирали, возвратившіеся же изъ онаго находили дома свои совершенно опустошенными. Раздаваемое

имъ продовольственною комиссіею въ сіе время пособіе было столь незначительно, что онаго многимъ изъ нихъ и на одну недѣлю не было достаточно, какъ-то: по одной мѣркѣ муки на цѣлое семейство за все время опѣленія, по одной или по двѣ вязанки дровъ, нѣкоторымъ же по сорока и пятидесяти копѣекъ, а многіе совсѣмъ ничего не получали. Представляя себѣ будущее свое состояніе въ настоящемъ его видѣ, они усматриваютъ, что будетъ едва ли не хуже прошедшаго относительно продовольствія ихъ будущей зимою, ибо они прежними годами въ продолженіе лѣтнихъ мѣсяцевъ выходили изъ мѣста жительства и въ ближнихъ мѣстахъ нанимались къ уборкѣ сѣна, для жатвы хлѣба, гдѣ и зарабатывали въ теченіе лѣта по сто и болѣе рублей и симъ способомъ зимою содержали и кормили свое семейство. Но какъ уже второе лѣто проходитъ въ непрерывномъ опѣленіи города отъ окрестностей, гдѣ они и старались что-либо заработать, и не имѣя къ зимѣ ни хлѣба, ни топлива и едва ли какое рубище для прикрытія наготы своей и дѣтей своихъ, умоляли всѣхъ членовъ комиссіи войти въ ихъ жестокое положеніе и довести оное до свѣдѣнія благодѣтельнаго начальства. Положеніе ихъ представляется имъ тѣмъ ужаснѣе, что въ теченіе прошедшей зимы всѣ они вообще прежде заработанныя кое-какія деньги принуждены были изтратить; кромѣ того, не будучи въ состояніи, по дороговизнѣ, въ достаточномъ количествѣ покупать дрова, принуждены были сжигать многія свои необходимыя вещи, какъ-то: столы, скамейки, сундуки, кровати, полы и даже выламывали кусками кровли домовъ, только бы не замерзнуть отъ холода“.

Положеніе населенія было тѣмъ болѣе отчаянно, что рабочая пора проходила, а опѣленіе съ города не было снято, и жители справедливо заявляли, что если не скоро освободятъ ихъ отъ карантинной цѣпи, то они совсѣмъ погибнутъ „и начальство о семъ не узнаетъ, ибо оное никогда, исключая сіе время существованія заразы, не имѣло надобности входить въ ихъ положеніе и снабжать ихъ хлѣбомъ и топливомъ, а потому открытіе города не только не представляетъ ни малѣйшей для нихъ пользы, но еще наводитъ страхъ отъ голоду и холоду“.

Между тѣмъ, чума дѣйствительно давно прекратилась, а карантинная цѣпь все стоитъ, народъ не смѣетъ пробраться за цѣпь даже тайно, а кто пробирается—того хватаютъ и отсылаютъ на Павловскій мысокъ; голодный скотъ, не имѣя корма, тоже рвется за цѣпь, а сторожевые солдаты его пристрѣливаютъ. Ужасные „мортусы“, съ ногъ до головы зашитые въ кожи и облитые смолою, вооруженные желѣзными крюками, все еще рыщутъ по городу, и всякаго подозрѣваемаго въ чумѣ хватаютъ и тащутъ въ карантинъ. Обязанности „мортусовъ“ исполнялись людьми, приговоренными къ каторжной работѣ. По городу, вмѣстѣ съ „мортусами“, продолжаютъ рыскать доктора, и ищутъ зачумленныхъ. На улицахъ, на площадяхъ — мертвая тишина, уныніе; церкви заперты; звона колоколовъ не слышно. Больныхъ приобщаютъ посредствомъ лжицы, навязанной на

длинный шестъ. Имущество и платье умершаго сжигается. Народъ гоняють въ бухту и силой купаютъ въ водѣ „подобно скотамъ“. Подозрительныхъ окуриваютъ.

Народъ начинаетъ думать, что причиной этого бѣдствія—доктора, что они держатъ въ осадномъ положеніи городъ и въ заблужденіи начальство, чтобы получать двойной окладъ жалованья. Въ городѣ распространяется слухъ, какъ это было и во время холерныхъ эпидемій, будто „мортусы“, подкупленные начальствомъ и докторами, морятъ народъ, бросая ядовитыя вещества въ колодцы и источники.

Эти нелѣпые народные толки превратились въ непоколебимое убѣжденіе, когда унтеръ-офицерская жена Надежда Кириллова заявила, что штабъ-лѣкаръ Верболозовъ уморилъ все ея семейство, и хотя она сама спаслась, но двое ея дѣтей дѣйствительно умерли отъ отравы.

Надежда Кириллова была отчасти права; но она бросила въ массу слишкомъ горючій матеріалъ.

Кириллова нравилась Верболозову, и онъ ухаживалъ за нею. Русская Лукреція отвергала всѣ предложенія влюбленнаго доктора, и тогда онъ рѣшился поступить съ нею по-римски, но только приемы для этого употребилъ болѣе современные, далеко не героическіе.

У Кирилловой умеръ отецъ, восьмидесятилѣтній старикъ. Такъ какъ, по карантиннымъ правиламъ, всякаго умершаго во время чумы нужно освидѣтельствовать, чтобы удостовѣриться, не умеръ ли онъ отъ заразы, и по этому уже назначать способъ и приемы его погребенія, то Верболозовъ, желая хотя косвенно побѣдить упрямую красавицу, объявилъ отца Надежды умершимъ отъ чумы и распорядился оцѣнить домъ ея, какъ чумный.

Но и эта мѣра не побѣдила цѣломудренной унтеръ-офицерши: она вела себя, какъ настоящая римлянка.

Тогда Верболозовъ прибѣгъ къ другимъ мѣрамъ: онъ не послалъ за своею жертвою, подобно римскому консулу, своихъ ликторовъ—„мортусовъ“, а употребилъ для этого орудіемъ робкую еврейку, Ривку Зильбербергъ.

— Поди уговори Надежду Кириллову, — сказалъ онъ ей:—а не то я тебя объявлю чумною и отправлю на Павловскій мысокъ.

Напуганная еврейка отправилась исполнять порученіе страшнаго доктора; но и ея посредничество не имѣло успѣха.

Но сластолюбивый и изобрѣтательный старикъ не остановился и на этомъ: видя бесполезность угрозъ, онъ прибѣгъ къ задобриванью предмета своей страсти. Верболозовъ принесъ Кирилловой коробку конфетъ; но когда она и ея маленькія дѣти попробовали этого приношенія, то съ ними тотчасъ же сдѣлалась рвота, перешедшая въ кровавый поносъ. Хотя сама Надежда осталась жива, но двое ея малютокъ на другой же день померли.

Народъ положительно и громко заговорилъ, что лѣкаря морятъ народъ для своихъ выгодъ, и потому продолжаютъ держать городъ на чумномъ положеніи.

Другой случай, послѣ происшествія съ Кирилловой, раздражилъ население еще болѣе.

Жена одного солдата заболѣла чумною горячкою и три дня мучилась ужаснымъ образомъ. Боясь дать знать объ этомъ медикамъ, чтобы они не объявили больницу чумною и не оцѣпили всего дома, мужъ этой женщины обратился къ „мортусу“ Тыщенко, прося превратить ея страданія. „Мортусъ“ далъ больной растворъ яду, послѣ котораго несчастная и умерла. Объ этомъ происшествіи узнали власти и нарядили слѣдствіе: оказалось, что Тыщенко не первый уже разъ давалъ больнымъ свои сильныя лѣкарства на случай предсмертныхъ мученій, и всѣ его пациенты умирали быстро.

Тогда народъ пришелъ къ положительному убѣжденію, что лѣкаря и „мортусы“ морятъ людей и для своихъ выгодъ объявляютъ городъ чумнымъ, тогда какъ, по его понятіямъ, чума давно оставила городъ.

Однимъ словомъ, чаша была полна съ краями — оставалось только влить въ нее еще одну каплю, чтобы глухой ропотъ перешелъ въ открытый мятежъ.

Этою каплею была смерть матросской вдовы Зиновьи Щегловой, въ Корабельной слободѣ.

Щеглова умерла 31-го мая 1830 года. Между тѣмъ, за нѣсколько дней до этого, именно 27-го мая, карантинное оцѣпленіе было снято съ самаго Севастополя, какъ признаннаго уже не чумнымъ городомъ, а съ Корабельной слободки, вѣроятно изъ осторожности, велѣно было снять карантинную цѣпь только 3-го іюня.

По карантиннымъ правиламъ, Щеглову нужно было освидѣтельствовать, и для этого въ слободку командированъ былъ штабъ-лѣкарь Шрамковъ.

Объ этой личности слѣдуетъ сказать, что онъ, къ несчастію, былъ одною изъ главныхъ причинъ женскаго бунта въ Севастополѣ. Подобно Верболозову, преслѣдовавшему Надежду Кириллову, Шрамковъ нагло относился ко всѣмъ женщинамъ, и изъ девятисотъ показаній, отобранныхъ послѣ бунта отъ женщинъ слѣдственной комиссіею, каждое оканчивалось такою фразою: „претерпѣвала истязанія отъ штабъ-лѣкаря Шрамкова“, который самымъ непозволительнымъ образомъ нарушалъ женскую скромность, и если въ числѣ показаній нѣкоторыя и были безъ вышепомянутой фразы о Шрамковѣ, то показанія эти принадлежали женщинамъ, перешедшимъ уже сорокалѣтній возрастъ.

По освидѣтельствованіи умершей Щегловой, Шрамковъ объяснилъ ея смерть чумою.

Народъ пораженъ былъ этимъ извѣстіемъ. Когда начальство, чтобы удостовѣриться окончательно въ истинѣ донесенія Шрамкова, командировало для освидѣтельствованія трупа еще старшаго врача Ланга, то этотъ послѣдній, къ несчастію, найдя у покойной на шеѣ нарывъ, съ своей стороны, призналъ ее умершею отъ чумы и распорядился взять тѣло Щегловой въ карантинъ для преданія его землѣ, по карантиннымъ правиламъ, какъ чумное.

Случай этот повелъ къ тому, что начальство города должно было вновь признать существованіе чумы и постановить: „такъ какъ чума въ Корабельной слободкѣ прошла еще не совершенно, то продлить срокъ ея оцѣплению еще на четырнадцать дней“. При этомъ постановлено было, чтобы слободка не сообщалась съ населеніемъ самаго Севастополя, уже свободнаго отъ оцѣплениа раньше установленнаго для слободки срока.

Тогда населеніе Корабельной, не видя конца карантиннымъ мѣрамъ, рѣшилось не выдавать тѣла Щегловой и, кромѣ того, настаивать на томъ, что она умерла не отъ чумы, а отъ преклонныхъ лѣтъ, потому что ей было уже шестьдесятъ лѣтъ.

Пока карантинное начальство распорядилось прислать „мортусовъ“ за трупомъ Щегловой, около трупа собралось уже до пятидесяти женщинъ, готовыхъ силою защищать тѣло отъ перенесенія въ карантинъ.

Явились четыре „мортуса“ съ чиновникомъ Яновскимъ, чтобы взять трупъ. Женщины, защищая его, вступили съ „мортусами“ въ драку, избили самого Яновскаго и такъ пробили камнями головы двумъ „мортусамъ“, что тѣ вскорѣ послѣ этого и умерли.

Дали знать объ этой неожиданной вспышкѣ военному губернатору, которымъ былъ тогда генералъ-лейтенантъ Сталыпинъ.

Но пока губернаторъ успѣлъ прислать вооруженныхъ солдатъ, женскій бунтъ уже вспыхнулъ: разъ что раздраженіе прорвалось наружу, его уже трудно было затушить, пока горючій матеріалъ самъ не перегоритъ и не потухнетъ.

Раздраженіе женщинъ прежде всего опрокинулось на докторовъ, и въ особенности на того, который прежде подвергалъ ихъ неприличнымъ истязаніямъ—на штабъ-лѣкаря Шрамкова, объявившаго притомъ, что слободка продолжаетъ быть чумною: разъяренныя женщины окружили несчастнаго доктора, били его по головѣ, по шеѣ, подъ бока, таскали по землѣ, рвали на немъ мундиръ, и, кромѣ того, наиболѣе озлобленныя изъ нихъ и наименѣе скромныя дѣлали съ нимъ и то, о чемъ говорить въ печати неприлично. Затѣмъ, обезумѣвшія отъ своего собственнаго увлеченія тигрицы стали обыскивать свою жертву, надѣясь найти у него отраву, раздѣли несчастнаго до-нага, таская его съ рукъ на руки разбили стекло находившихся у него въ карманѣ часовъ и приняли осколки стекла за слѣды пузырька съ ядомъ. Обобравъ у него деньги, женщины не взяли ихъ себѣ, а передали часовому, оставивъ у своей жертвы только одинъ рубль. Затѣмъ подняли несчастнаго съ земли, повели по улицамъ Корабельной и кричали, что поймали его съ отравой.

Случай Верболозова съ Кирилловой былъ у всѣхъ въ памяти—доктора должны быть отравители!

День былъ знойный. Чтобы удобнѣе производить допросы своей жертвѣ, женщины притащили изувѣченнаго доктора подъ тѣнь одного дома, и начали надъ нимъ свой судъ.

— А скажи, Шрамковъ, кто тебя послалъ морить людей? — спрашивали его.

— Зачѣмъ ты ихъ опаивалъ?—допытывались другія.

— Какой это мы у тебя разбили пузырекъ?

— Отчего умерла Щеглова и мортусы ли ее задавили?

Требуя отвѣтовъ на всѣ эти вопросы, женщины въ то же время принуждали его дать имъ подписку въ справедливости ихъ подозрѣній относительно чумы, и увѣряли, что послѣ подписки его отпустить.

Докторъ умолялъ ихъ не требовать отъ него подписки; говорилъ, что онъ не имѣетъ на это права; но его не слушали—отъ него требовали подписку.

— Да что вы его слушаете! Онъ заодно со всѣми,—кричали изъ толпы.

Снова началось битье и тасканье по землѣ злополучнаго доктора. Затѣмъ его повели въ бухту и искупали въ наказаніе за то, что и ихъ гоняли для купанья въ бухту „подобно скотамъ“.

Послѣ купанья докторъ приведенъ былъ снова въ слободку, запертъ въ тотъ самый домъ, въ которомъ умерла Зиновья Щеглова, и снова потомъ выпущенъ.

Между тѣмъ, съ такъ называемой „южной стороны“ Севастополя показался небольшой отрядъ вооруженныхъ солдатъ, но, замѣтивъ толпу болѣе чѣмъ изъ пятисотъ женщинъ, не рѣшился идти на явную опасность, а воротился назадъ за подкрѣпленіемъ.

Съ „сѣверной стороны“ Севастополя видно было, что дѣлалось на „южной“: тамъ происходили приготовленія войскъ къ формальному походу противъ „сѣверной стороны“.

Замѣтивъ это, женщины пришли въ ужасъ, и подняли вой. На этотъ вой выбѣжало еще до полуторы тысячи женщинъ съ дѣтьми—вопли и крики отозвались во всемъ городѣ.

Узнавъ въ чемъ дѣло, матросы, въ числѣ трехсотъ человекъ, пришли на помощь своимъ женамъ, дѣтямъ и родственницамъ. Улицы оказались тѣсны для такой многочисленной толпы, и вся масса волнующейся черни повалила на площадь. Тѣло Щегловой было также вынесено на площадь.

Наконецъ, съ „южной стороны“ является и войско. Нѣсколько взводовъ вооруженныхъ солдатъ, подъ предводительствомъ контръ-адмирала Скаловскаго, войдя въ слободку, обложили бунтовщиковъ съ двухъ сторонъ.

Такъ какъ Скаловскій не имѣлъ отъ губернатора полномочія дѣйствовать силою оружія, то онъ приказалъ одной ротѣ солдатъ пробиться сквозь толпу женщинъ къ трупу Щегловой, чтобы взять ее и похоронить по карантиннымъ правиламъ.

Толпа, впрочемъ, вела себя благоразумно, и, не оказывая никакого сопротивленія, выдала солдатамъ не только трупъ Щегловой, но и доктора Шрамкова, бывшаго какъ бы въ плѣну, съ тѣмъ, чтобы онъ отправленъ былъ на Павловскій мысокъ для выдержанія установленнаго карантина, такъ какъ на нѣкоторое время онъ былъ заключенъ, по его же увѣреніямъ, въ чумномъ домѣ и могъ поэтому заразиться чумою.

Но Скаловскій имѣлъ еще два другихъ порученія отъ губернатора—угovorить толпу разойтись по домамъ и потомъ склонить все населеніе Ко-

рабелной слободки къ тому, чтобы оно вышло во временный лагерь, такъ какъ мѣра эта всегда считалась самою успѣшною для искорененія чумы.

Но на оба предложенія контръ-адмирала толпа отвѣчала дерзостью и негодованіемъ.

Скаловскій, видя неудачу, долженъ былъ удалиться на „южную сторону“, а приведенное войско оставилъ на „сѣверной“ для того, чтобы оно препятствовало сообщенію бунтовщиковъ съ Севастополемъ.

Тогда Сталыпинъ посылаетъ къ бунтовщикамъ новую вооруженную силу. Тотъ же Скаловскій привелъ еще три роты елецкаго пѣхотнаго полка, чтобы поддержать уже высказанныя толпѣ свои требованія; но толпа продолжала стоять на своемъ—ни по домамъ не расходилась, ни въ лагерь не уходила.

Такъ прошелъ первый день мятежа.

1-го іюня въ Севастополь пріѣхалъ таврическій гражданскій губернаторъ и настойчиво совѣтовалъ Сталыпину принять противъ бунтовщиковъ самыя рѣшительныя мѣры. Мнѣніе гражданского губернатора поддерживали и всѣ прочія военныя власти, сознававшія невозможность дѣйствовать на раздраженную толпу увѣщаніями. Но Сталыпинъ, вслѣдствіе своего мягкаго характера и все еще надѣясь, что бунтовщики образумятся, никакъ не рѣшался прибѣгнуть къ вооруженной силѣ.

Гражданскій губернаторъ, поссорившись съ Сталыпинымъ, уѣхалъ въ Симферополь, ничего не сдѣлавъ для подавленія мятежа.

Къ бунтовщикамъ снова являются власти—Скаловскій, генераль-губернаторскій чиновникъ по особымъ порученіямъ Семеновъ и другіе.

Вмѣсто увѣщаній начинаются жесткія и неумѣстныя угрозы.

— Если вы не покоритесь,—кричитъ Семеновъ къ толпѣ:—то васъ погонятъ на купанье какъ скотовъ, пожгутъ ваше имущество и насильно выведутъ въ лагерь.

На эти угрозы женщины отвѣчали:

— Ни по домамъ не пойдѣмъ, ни въ лагерь не выйдѣмъ, ни купаться не станѣмъ и ни на какую новую окурку не согласны.

Сталыпинъ посылаетъ, наконецъ, къ бунтовщикамъ священниковъ.

Бунтовщики со слезами говорятъ священникамъ, что они нисколько не хотятъ упорствовать передъ начальствомъ, что они съ радостью разошлись бы по домамъ, но что они дольше не могутъ выносить оцѣпленія.

— За все время оцѣпленія,—говорили они:—у насъ, по причинѣ окурки и карантинныхъ мѣръ, не осталось никакой одежды и обуви, ни у кого нѣтъ чего ѣсть, чѣмъ избу вытопить. Весь скотъ нашъ или подохъ съ голоду, или проданъ за безцѣнокъ, или его пострѣляли. Мы сами отъ голоду пришли въ совершенное изнеможеніе и не можемъ кормить грудныхъ ребятъ, которыя отъ этого страждутъ и неминуемо должны умереть. Мы не бунтовщики, мы ѣсть хотимъ, а Семеновъ говоритъ, что насъ будутъ купать какъ скотовъ и имущество наше пожгутъ.

Ушли и священники, а толпа все стоитъ на площади въ осадномъ положеніи.

Сталыпинъ посылаетъ къ толпѣ съ новыми предложеніями: чтобы склонить толпу выйти въ лагерь, онъ общаетъ, сверхъ положеннаго провіанта, топлива и воды, по пяти копѣекъ ассигнаціями на душу на приварокъ.

Сталыпину отвѣчаютъ, что прежняго провіанта было недостаточно, а на пять копѣекъ никакого приварка приготовить нельзя по причинѣ страшной дороговизны припасовъ.

Старикъ губернаторъ теряетъ, наконецъ, терпѣніе и велитъ розыскать всѣхъ зачинщиковъ: „буде такими окажутся мужчины, то предать ихъ военному суду, а если женщины, то наказать ихъ сильно розгами черезъ мортусовъ въ разныхъ частяхъ города, для лучшаго примѣра“. Бунтовщикамъ, кромѣ того, объявляютъ, что противъ нихъ употребятъ оружіе.

— Мы не бунтовщики и зачинщиковъ между нами никакихъ нѣтъ, и намъ все равно—умереть ли съ голоду, или отъ чего другого.

Въ заключеніе толпа объявила, что она намѣрена быть въ оцѣпленіи только до 3-го іюня, когда кончится первый семидневный срокъ, и что никоимъ образомъ не желаетъ быть въ оцѣпленіи второй, четырнадцатидневный срокъ, назначенный для снятія цѣпи по случаю смерти Зиновьи Щегловой.

Положеніе дѣлъ было критическое. Женскій бунтъ переходилъ въ общій мятежъ. Всѣ матросы, которые и не находились на площади, а оставались въ гавани и въ бухтѣ при своихъ обязанностяхъ, пришли въ то же непокорное состояніе, потому что у многихъ изъ нихъ между оцѣпленными на площади были или жены, или дѣти, или другіе родственники.

Сталыпинъ понялъ опасность положенія города и доносилъ генераль-губернатору князю Воронцову, между прочимъ, слѣдующее:

„Я не долженъ скрыть отъ вашего сіятельства, что расположеніе умовъ частей морскихъ экипажей, въ Севастополѣ находящихся, весьма неблагонадежно, такъ что они, почти не скрываясь, говорятъ въ случаѣ, если бы начальство вознамѣрилось дѣйствовать на мятежниковъ силою оружія, то они выжидаютъ только перваго выстрѣла, чтобы идти къ нимъ на помощь“.

Въ виду такой грозной перспективы, Сталыпинъ созвалъ военный совѣтъ. На совѣтѣ рѣшено: „содержать Корабельную слободку въ строгомъ оцѣпленіи и стѣсненіи тѣмъ усиленнымъ количествомъ войскъ, которыя имѣются въ распоряженіи, доколѣ ослушники не придутъ въ надлежащее повиновеніе“.

Но повиновеніе было невозможно—ослушникамъ нечего было ѣсть.

При всемъ томъ, на своемъ совѣтѣ толпа рѣшила—до 3-го іюня, до конца положеннаго начальствомъ срока, не пробиваться черезъ цѣпь даже и въ томъ случаѣ, если-бъ она состояла не изъ вооруженныхъ войскъ, а изъ однихъ только деревянныхъ рогатокъ.

Дѣйствительно, эта нестройная и голодная масса вела себя вполне разумно. Когда къ оцѣпленнымъ явился Скаловскій, чтобы лично освѣдомиться о положеніи дѣлъ, оцѣпленные съ клятвами общали ему не нарушать оцѣпленія. Они только просили милости, пощады, потому что были голодны.

Но когда Скаловскій объявилъ оцѣпленнымъ рѣшеніе военнаго совѣта, то осажденные пришли въ ужасъ, женщины подняли плачъ, слившійся въ одинъ общій вой. Онѣ рвали на себя волосы, цѣловались другъ съ другомъ и въ отчаяньѣ бѣжали по всему оцѣпленію. Дѣти слѣдовали примѣру матерей. Мужчины плакали навзрыдъ.

Сцена эта произвела на войско самое тяжелое впечатлѣніе, поддерживавшееся постоянными причитаньями женщинъ и ревомъ дѣтей во всю ночь на 3-е -іюня.

Это была роковая ночь.

Во время всеобщаго воя и плача, многія изъ оцѣпленныхъ женщинъ и находившіеся съ нимъ мужчины составили нѣчто въ родѣ военнаго совѣта. На этомъ совѣтѣ рѣшено было, что на другой день осажденные такъ или иначе должны прорвать цѣпь. Такъ какъ безъ борьбы дѣло не могло обойтись, то шкиперскій помощникъ Кузьминъ вызвался научить осажденных боевому фронту, на что и получилъ единодушное согласіе. Тотчасъ же, въ качествѣ командира, Кузьминъ началъ обучать всѣхъ осажденных боевымъ приѣмамъ, и въ этомъ странномъ ученѣ, среди ночного плача, женщины принимали весьма дѣятельное участіе. Въ теченіе ночи оцѣпленнымъ преподаны были приемы маршировки, различныхъ боевыхъ эволюцій, группировки по ротамъ, по взводамъ и указывались выгодныя позиціи въ предстоящей битвѣ.

А между тѣмъ сторожевыя войска должны были смотрѣть на эти странныя, небывалыя ночныя боевыя приготовленія и ждать дальнѣйшей развязки.

На военномъ же совѣтѣ осажденные опредѣлили время начатія дѣйствій и самый планъ наступленія на войска и на городъ. На совѣтѣ же составленъ былъ списокъ всѣмъ лицамъ, которыя должны были пасть жертвою народнаго озлобленія.

Севастопольскій военный губернаторъ, генералъ-лейтенантъ Сталыпинъ внесенъ былъ въ списокъ жертвъ первымъ. За нимъ слѣдовали члены продовольственной комиссіи, члены медицинскаго совѣта, далѣе — флотскій начальникъ контръ-адмиралъ Сальти и прочіе члены, начальникъ карантинной линіи князь Херхуладзевъ и карантинные чиновники.

Смерть ожидала, слѣдовательно, и Верболозова, оскорбителя и врага Надежды Кирилловой.

На совѣтѣ же, наконецъ, постановлено было—послать лазутчиковъ для возмущенія Артиллерійской и Каторжной слободокъ, а равно и всего Севастополя или, по крайней мѣрѣ, для развѣдыванья, какъ они отнесутся къ предпріятію осажденныхъ.

Исполненіе этого порученія возложено было на матроса первой статьи Соловьева. Ему была дана подробная инструкція какъ дѣйствовать и какъ донести осажденнымъ о результатѣ командировки. По инструкціи, въ числѣ доводовъ для начатія бунта были слѣдующіе: жители Корабельной слободки умираютъ съ голоду; ихъ всѣхъ хотятъ перебить или сослать въ Сибирь, и поэтому они хотятъ взбунтоваться; наконецъ, какъ скоро начнется воз-

мущеніе, въ немъ примутъ участіе татары и арнауты, а „турки пришлютъ изъ Константинополя свой флотъ, о чемъ имъ въ свое время дано знать. Условный знакъ для начатія возмущенія—колокольный звонъ и крики „ура“.

Соловьевъ отправился. На дорогѣ онъ встрѣтился съ плотникомъ Никитинымъ и уговорилъ его идти съ собой для совмѣстнаго выполненія взятаго имъ на себя порученія.

Прежде всего лазутчики посѣтили адмиралтейство, гдѣ находились казармы рабочихъ экипажей. Рабочіе экипажи всѣ были готовы пристать къ бунтовщикамъ.

Въ Адмиралтейской слободкѣ лазутчики нашли расположеніе умовъ еще болѣе для нихъ благопріятное и готовое къ мятежу.

Наконецъ, они зашли и на „хребетъ Беззаконія“—уголокъ, преимущественно заселенный матросами и голытьбою. Голытьба и матросы съ радостью шли помогать осажденнымъ.

Но здѣсь, часовъ уже въ одиннадцать, лазутчики были схвачены и приведены къ губернатору.

Ни мало не медля, Сталыпинъ отряжаетъ противъ бунтовщиковъ бригаднаго командира Воробьева съ тремя батальонами сухопутнаго войска и двумя орудіями, совершенно обнажая такимъ образомъ городъ отъ войскъ, въ которомъ остался одинъ только орловскій батальонъ.

Но и Воробьевъ не долженъ былъ еще употреблять въ дѣло вооруженную силу, а только строго наблюдать за оцѣпленными.

Въ пять часовъ къ оцѣпленнымъ командируется Скаловскій, который къ немалому удивленію узнаетъ, что осажденные ведутъ себя смирно и никакихъ признаковъ возмущенія не обнаруживаютъ, а, напротивъ, клятвами завѣряютъ, что не думали и не думаютъ выходить изъ карантинной цѣпи.

Но тишина эта была передъ бурей. Раньше вечера бунтовщики ничего не думали предпринимать. Они ждали, что къ вечеру цѣпь будетъ снята. Они сами рѣшили, что будутъ повиноваться до срока, раньше опредѣленнаго начальствомъ для снятія цѣпи, а срокъ этотъ, по ихъ мнѣнію, кончался вечеромъ.

Но вотъ наступилъ и вечеръ, а цѣпь не снимается.

Толпа стала волноваться. Осажденные заявили открытое намѣреніе прорвать цѣпь, и стали напирать на нее, выставя впередъ малолѣтнихъ дѣтей и грудныхъ ребятишекъ. Женщины опять подняли рыданіе и вой, лѣзли на цѣпь массою, защищаясь дѣтьми, какъ щитами.

Воробьевъ немедленно посылаетъ къ губернатору спросить: что ему дѣлать?

Но, между тѣмъ, цѣпь отъ напора массы начала уже прорываться.

Въ этотъ критическій моментъ получается приказъ губернатора чрезъ плацъ-адъютанта: дѣйствовать противъ толпы оружіемъ и продолжать стрѣльбу до тѣхъ поръ, пока непокорные съ площади не пойдутъ прямо въ лагерь.

Воробьевъ командуетъ баталіонамъ строиться въ боевой порядокъ и наводить на бунтовщиковъ пушки. Испуганная толпа съ крикомъ бросается назадъ, и, припавъ къ землѣ, снова ставитъ передъ собою дѣтей.

Это былъ ловкій маневръ со стороны бунтовщиковъ.

Когда бригадный командиръ далъ приказъ стрѣлять, артиллеристы, видя передъ собою дѣтей, пришли въ недоумѣніе—куда направить выстрѣлы, и первый залпъ пустили на воздухъ.

Такой неожиданный исходъ перваго выстрѣла ободрилъ бунтовщиковъ; но онъ навелъ ужасъ на бригаднаго командира. Канониръ Елисѣенко наотрѣзъ отказался стрѣлять въ дѣтей, и такимъ образомъ единственная надежда на артиллерию — пропала.

Воробьевъ очутился въ рукахъ бунтовщиковъ. Цѣпь разорвана. Оцѣпленные и оцѣплявшіе смѣшались, бросаясь цѣловать другъ друга. Пушки взяты. Всѣ офицеры также взяты въ плѣнъ, потому что они не значились въ числѣ приговоренныхъ къ смерти.

Воробьевъ тотчасъ же былъ растерзанъ самымъ звѣрскимъ образомъ.

Затѣмъ вся эта смѣшанная толпа—женщины, за ними матросы и солдаты съ торжествомъ и неистовыми криками „ура“ двигается на „южную сторону“, на Севастополь.

Чтобы охватить городъ со всѣхъ сторонъ, толпа раздѣляется на партіи. Одна изъ этихъ партій, подъ предводительствомъ яличника Кондратія Шкарелупова, отправляется на Павловскій мысокъ, къ церкви св. Владиміра, взламываетъ дверь колокольни и бьетъ въ набатъ; вмѣстѣ съ набатнымъ звономъ колоколовъ раздается нескончаемое „ура“. Это было сигналомъ для жителей всего Севастополя съ слободами.

Партія Шкарелупова бросается по всѣмъ домамъ и казармамъ искать, нѣтъ ли тамъ кого изъ приговоренныхъ къ смертной казни, и находитъ лишь одного Шрамкова.

Всѣ доктора—и Шрамковъ, признавшій Зиновью Щеглову зачумленною, и Верболозовъ, оскорбившій Надежду Кириллову, и Лангъ—всѣ были въ числѣ приговоренныхъ.

Но странно, какъ это часто бываетъ съ обезумѣвшею толпою, Шрамковъ былъ пощаженъ: такъ какъ онъ находился въ карантинѣ, то толпа рѣшила не трогать казеннаго зданія, не разорять карантина — и Шрамковъ остался въ живыхъ.

Затѣмъ партія Шкарелупова идетъ на Севастополь, гдѣ должны были совершаться всѣ ужасы возмущенія, и соединяется съ другими партіями.

Первымъ дѣломъ бунтовщиковъ, по переходѣ на южную сторону, было броситься на кабаки. Но полиція предупредила ихъ. Угадывая, на что можетъ быть способна опьянѣвшая толпа, и безъ того уже обезумѣвшая, полиція поспѣшила, пока имѣла возможность, разбить бочки въ питейномъ подвалѣ и въ тѣхъ кабакахъ, къ которымъ за толпою доступъ былъ еще возможенъ. При всемъ томъ водка не вся была уничтожена, и бунтовщики, бросившись на оставшіеся въ цѣлости питейные дома, успѣли выпить дароваго вина на 3712 руб. 40 коп.

Водка поддаетъ жару дикимъ звѣрямъ, и эти несчастные звѣри, подъ именемъ „доброй партіи“, вновь дѣлятся на отдѣльныя партіи и разсы-

паются по всѣмъ улицамъ Севастополя словно на охоту — за ловлею своихъ жертвъ.

Пескончаемое „ура“ и набатный звонъ сопровождаютъ это возмутительное дѣло.

Одна партія бросается на адмиралтейство, разбиваетъ его ворота и принимаетъ къ себѣ двѣсти матросовъ рабочихъ экипажей.

Другая хватаетъ плацъ-адъютанта Родіонова, того самаго, который привезъ растерзанному толпою Воробьеву приказъ губернатора дѣйствовать противъ мятежниковъ пушками, и начинаетъ его истязать, не предавая, однако, смерти.

Вотъ какъ Родіоновъ самъ говоритъ о нападеніи на него толпы.

„Около 8-го часу окружило меня со всѣхъ сторонъ до 200 человекъ матросовъ и разнаго званія людей съ дубинами, мнѣ неизвѣстныхъ. Видя я ихъ такое дурное и законамъ противное предпріятіе, обратился для спасенія жизни на дворъ къ г-жѣ Быченской, но со двора онаго стоявшимъ тамъ унтеръ-офицеромъ былъ выгнанъ съ произнесеніемъ словъ: „пустъ васъ всѣхъ перебьютъ“, то я полагаю, что и онъ въ семъ случаѣ содѣйствовалъ; на выѣздѣ же моемъ изъ онаго двора, тоже полнаго бунтовщиками, встрѣченъ былъ бунтовщиками, которые, не говоря ни слова, начали меня бить дубинами въ грудь, и только слышалъ произносящіяся ими слова: „это губернаторскій помощникъ, бей его!“ Отъ такихъ ударовъ свалился я съ лошади на землю, на которой лежащему также нанесли нѣсколько жестокихъ ударовъ, отчего сдѣлался я совершенно безчувственнымъ; наконецъ, вырвали полусаблю и сорвали съ мундира эполеты и тащили по землѣ отъ дому Быченской до питейной конторы, и въ сіе время отрубили лѣвое ухо, дали въ голову нѣсколько ранъ, плечо и локоть побито саблею, грудь и бока отбиты дубиною“.

Такъ какъ въ программу бунта не входили ни истязанія, ни грабежи, ни убійства раньше опредѣленнаго времени, потому что бунтовщики хотѣли прежде отобрать у лучшихъ людей города подписки въ несуществованіи чумы, чтобы потомъ уже имѣть законныя, по ихъ мнѣнію, причины къ возмущенію и убійствамъ,—то плацъ-адъютанта и не убили до смерти, а только поистязали его нѣсколько за то, что онъ кстати подвернулся на глаза и притомъ онъ же привезъ покойному Воробьеву приказъ стрѣлять въ нихъ.

Губернаторъ, узнавъ, что весь городъ охваченъ бунтомъ и что въ его распоряженіи не осталось ни одной роты солдатъ, которые всѣ пристали къ мятежникамъ, тотчасъ же далъ вѣсть о беззащитномъ положеніи Севастополя во всѣ мѣста и просилъ присылки войскъ изъ Крыма, Одессы и съ Кавказа.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Сталыпинъ отправилъ къ бунтовщикамъ контръ-адмирала Скаловскаго и севастопольскаго коменданта, генераль-адъютанта Турчанинова.

Скаловскій бросился къ питейной конторѣ, и его тотчасъ же окружила пьяная и разъяренная толпа.

„Я требовалъ,—говорить онъ,—чтобы толпа разошлась по своимъ мѣстамъ, но народъ кричалъ, что ихъ хотятъ еще мучить карантиннымъ оцѣпленіемъ, и въ ту же минуту говорили, окруживъ меня, многими голосами, чтобы убить меня. Находясь среди свирѣпствующаго народа, я предавая жизнь свою въ руки ихъ, требовалъ, чтобы они образумились и вошли бы въ обязанность своей присяги и не подвергали себя такому буйству. Никакія убѣжденія не были приняты; толпа народа стѣснила меня съ шумомъ, ругательствами и угрозами на жизнь мою, которая уже и безъ того была во власти ихъ. Въ такомъ положеніи толпа народа умножалась и подвигалась внизъ къ соборной церкви, на которой били тревогу въ колокола. Приближаясь къ церкви, начали рвать съ меня мундиръ и эполеты, потому что я не имѣлъ ни одного человѣка для своей защиты“.

Турчаниновъ былъ уже около собора. Его также били и истязали, но онъ спасъ свою жизнь тѣмъ, что далъ бунтовщикамъ подписку въ несуществованіи чумы.

Около собора въ это время стоялъ въ каре орловскій батальонъ, не ходившій на сѣверную сторону вмѣстѣ съ прочими войсками и не принимавшій никакого участія ни въ бунтѣ, ни противъ бунтовщиковъ. Скаловскій успѣлъ протѣсниться въ это каре, гдѣ былъ и Турчаниновъ, и предлагалъ этому послѣднему начать дѣйствія съ помощью орловскаго батальона, но Турчаниновъ отвѣчалъ, что батальонъ слабъ и что на вѣрность его нельзя разсчитывать. Во всякомъ случаѣ стрѣлять въ бунтовщиковъ было опасно.

Другія партіи, съ дубинками въ рукахъ, разсыпались по домамъ и выгоняли жителей на площадь, чтобъ оттуда идти въ церковь. Бунтовщикамъ хотѣлось церковью освятить свое ужасное дѣло, которое они считали правымъ, и потому всѣхъ гнали къ церкви.

Но имъ также нужны были и подписки, какъ бы разрѣшительные документы на мятежъ. Такую подписку они взяли у городского головы Носова и у нѣкоторыхъ другихъ вліятельныхъ гражданъ.

Одна толпа ворвалась въ домъ протоіерея Гаврилова и, вмѣстѣ съ прочимъ духовенствомъ, повела его къ соборной церкви.

Это было уже къ девяти часамъ вечера. Все, что рыскало по городу, собралось около этого времени къ собору. Соборная площадь едва вмѣщала это сборище, состоявшее тысячъ изъ шести мужчинъ и женщинъ.

Такъ какъ церковь была заперта, то бунтовщики требовали отъ Гаврилова, какъ отъ главнаго духовнаго лица въ городѣ, церковныхъ ключей; но протоіерей отвѣчалъ толпѣ, что ключей онъ имъ не дастъ, что они могутъ довольствоваться и колокольной, которую уже взяли для произведенія набата. Хотя нѣкоторые мятежники и бросились было на священника, чтобы рвать на немъ ризы, такъ какъ онъ выведенъ былъ изъ своего дома въ облаченіи, но другіе закричали, что дверь церковная уже разбита—и толпа хлынула въ церковь, ведя съ собой и духовенство.

Но надо было освятить кровавое дѣло. А освятить его можно только тогда, когда оно правое, доброе дѣло.

И вотъ безумная толпа добивается своей правоты. Она вынуждаетъ протоіерея, тамъ же въ церкви, въ алтарѣ, дать подписку такого содержанія:

„1830 года іюня 3 дня, по требованію доброй партіи, симъ свидѣтельству, что въ городѣ Севастополѣ нѣтъ чумы.

Протоіерей Софр. Гавриловъ“.

„и не было“...

(м. п.)

„Протоіерей Софр. Гавриловъ“.

Послѣднюю добавку—„и не было“—толпа настояла вписать въ подписку послѣ.

Такую же подписку далъ іеромонахъ Пахомій и прочее духовенство.

Взявъ подписки, коноводы мятежа вынесли эти листки на площадь и, показывая ихъ толпѣ, говорили:

— Вотъ подписки, данныя лучшими въ городѣ, и по нимъ видно, что въ Севастополѣ чумы не было и нѣтъ,—значить, насъ морили доктора.

Толпа отвѣчала громогласнымъ „ура!“

Итакъ, кровавое дѣло сдѣлано правымъ—теперь его надо освятить.

Подобно гайдамакамъ, которые святили ножи, которыми собирались рѣзать поповъ-ляховъ и евреевъ, севастопольскіе бунтовщики также требовали освятить предстоявшія имъ убійства.

Они требовали, чтобы протоіерей служилъ имъ молебенъ на убіеніе. Священникъ отказывался, говорилъ о беззаконіи ихъ дѣла; но народная ярость заставила его повиноваться—онъ благословилъ убійства!

Теперь только должно было начаться самое дѣло, согласно тому рѣшенію, какое принялъ военный совѣтъ бунтовщиковъ въ предшествовавшую ночь. Надо было убивать тѣхъ, которые занесены были въ смертный списокъ.

Но многіе изъ обреченныхъ на смерть, предвидя свою гибель, успѣли скрыться изъ города. Бѣжала продовольственная комиссія, бѣжало карантинное начальство, бѣжала полиція съ полицеймейстеромъ Грушецкимъ во главѣ, и бѣжалъ медицинскій совѣтъ. Бѣжалъ и тотъ штабъ-лѣкарь Верболозовъ, который своими притязаніями къ Надеждѣ Кирилловой былъ отчасти причиною того, что буря, которая могла сама собою утихнуть, разразилась надъ Севастополемъ.

Но въ городѣ еще оставался губернаторъ,—старикъ не оставилъ своего поста.

Толпа, получивъ благословеніе на свое нечистое дѣло, окружила домъ губернатора. Сталыпинъ былъ дома. Бушующая масса ворвалась во дворъ. Желая образумить безумцевъ, старикъ вышелъ на балконъ, и хотѣлъ говорить къ народу. Но бунтовщики были уже въ его комнатахъ, пробрались на балконъ, и не дали старику говорить: его сбросили на руки толпы, въ объятія смерти.

Долго таскали по землѣ несчастнаго старика, рвали на немъ мундиръ,

эполеты. Дружное „ура“ привѣтствовало это скверное дѣло. Во время истязанія старика, прапорщца Дарья Семенова, завладѣвъ саблею Сталыпина, неистовствовала самымъ неприличнымъ образомъ.

Старикъ былъ растерзанъ. Но этого мало: мѣщанинъ Яковъ Панковъ проплясалъ на изуродованномъ трупѣ Сталыпина.

Также растерзанъ былъ инспекторъ военнаго карантина Стулли, а домъ его разграбленъ.

Страшная и вмѣстѣ съ тѣмъ поразительно-эффектная была картина этого бунта.

Когда народъ вышелъ изъ собора и затѣмъ покончилъ съ жизнью Сталыпина и Стулли, наступила ночь. Толпа только что разгулялась послѣ долгаго сидѣнья въ цѣпи, а между тѣмъ по улицамъ мракъ, въ домахъ мракъ—не видно кого бить, кого миловать. Надо освѣтить городъ, иллюминовать это постыдное торжество.

И вотъ придумывается оригинальное освѣщеніе, доказывающее притомъ, что бунтовщики въ ослѣпленіи своемъ надѣялись, что Богъ помогаетъ ихъ дѣлу. Укрѣпивъ по улицамъ и на площади длинные шесты и привѣсивъ къ нимъ иконы, они зажигали передъ иконами свѣчи какъ въ церкви—и такимъ образомъ освѣщали свое кровавое дѣло.

Надо было теперь покончить со всѣми лѣкарями, которые выдумывали чуму и морили народъ въ оцѣпленіи, голодомъ, купали въ бухтѣ, окуривали, а скотъ его пристрѣливали. Надо было такъ же надругаться надъ Шрамковымъ, какъ онъ надругался надъ трупомъ старухи Щегловой и надъ всѣми молодыми женщинами, надо сдѣлать надъ Верболозовымъ то, что онъ сдѣлалъ надъ дѣтьми Надежды Кирилловой.

Но доктора, какъ мы сказали выше, всѣ бѣжали изъ города. Остался одинъ только Каменскій, который и былъ убитъ. Слуга медика Салоса имѣлъ несчастье быть похожимъ на своего господина—и тоже былъ убитъ ошибкой, вмѣсто барина.

Бросились къ вице-инспектору Семенову, къ тому самому, который, два дня тому назадъ, грозилъ оцѣпленнымъ женщинамъ, что ихъ „погонятъ на купанье какъ скотовъ и пожгутъ ихъ имущество“. Но онъ также исчезъ изъ города. Толпа пришла въ крайнее остервенѣніе, когда узнала что у него нѣтъ даже собственнаго дома, что онъ живетъ въ наемной квартирѣ—и поэтому даже разрушить нечего въ ознаменованіе мести надъ бѣглецомъ.

Бросились въ домъ вице-адмирала Патаніоти, и также не нашли его дома. Этотъ генераль, по своей трусости, въ самомъ началѣ бунта передалъ команду флотомъ контръ-адмиралу Скаловскому и бѣжалъ въ рейдъ на корабль. Бунтовщики ограбили его домъ.

— Ребята!—кричалъ при этомъ одинъ пощаженный бунтовщиками офицеръ:—зачѣмъ вы разоряете домъ начальника? Вѣдь, онъ хорошій человекъ и былъ для матросовъ какъ отецъ, да къ тому же онъ прибылъ въ Севастополь, когда городъ былъ уже оцѣпленъ.

— Врешь!—отвѣчали ему изъ толпы: — какой онъ отецъ и хорошій человѣкъ, когда онъ насъ, плотниковъ, билъ по зубамъ?

И домъ былъ дѣйствительно ограбленъ.

Бросились на домъ контръ-адмирала Прямо, не нашли его самого, а домъ разграбили.

Нахлынули затѣмъ на домъ унтеръ-лейтенанта Боровича—и также разорили. Боровичъ спрятался. Сначала нашли на чердакѣ его жену и убили. Но его никакъ не могли найти. Нѣкоторые изъ толпы уговаривали товарищей не искать и не убивать его.

— Онъ добрый человѣкъ, и всегда стоялъ за матросовъ.

— Это такъ точно, но онъ благородный, и его надо убить,—отвѣчали другіе.

Несчастнаго нашли спрятавшимся въ тарантасъ—и убили.

Послѣ того убили еще комиссара.

Больше бить было некого: всѣ власти, какъ сухопутныя, такъ и морскія, приговоренныя „доброй партіей“ къ смерти, скрылись—кто на корабли, кто за городскую заставу.

Кровавая ночь кончалась. Начинало свѣтать. Кончилась и безумная оргія озлобленнаго населенія.

Въ этомъ бунтѣ замѣчательно слѣдующее явленіе: убивая приговоренныхъ къ смерти и разрушая ихъ дома до основанія, мятежники не дотронулись ни до одного казеннаго зданія и даже не приблизились къ казначейству. Даже пушки и ружья, отнятыя у войска, возвращены въ цѣлости.

Слѣдующій день прошелъ въ волненіи, но безъ убійствъ. Бунтовщики были полными обладателями города. Но въ немъ еще оставался комендантъ, генералъ Турчаниновъ. Около девяти часовъ утра бунтовщики окружили его домъ и требовали формальнаго распоряженія о снятіи карантиннаго оцѣпленія съ Корабельной слободки и о возобновленіи церковнаго богослуженія. Турчаниновъ отвѣчалъ, что это выше его власти. Ему грозили возобновленіемъ опустошенія и убійствъ—и онъ далъ требуемое разрѣшеніе.

Послѣ этого толпы отхлынули по домамъ на отдыхъ. Они не спали четыре дня и четыре ночи.

Но въ два часа городъ опять на ногахъ. Надо освятить конецъ бѣдствія церковнымъ торжествомъ.

Толпа идетъ на Павловскій мысокъ, призываетъ священника, объявляетъ ему распоряженіе коменданта о снятіи оцѣпленія, велитъ открыть церковь, облачиться причту, выдать иконы и хоругви и отслужить передъ всѣмъ народомъ благодарственное молебствіе.

Пропѣвъ „Тебе Бога, хвалимъ“, толпа съ иконами и хоругвями обходитъ Корабельную слободку, проходитъ по всѣмъ ея улицамъ, переходитъ на южную сторону, и, несмотря на сопротивленіе коменданта, приказываетъ ему распорядиться, чтобы соборное духовенство, въ полномъ облаченіи, съ крестами, хоругвями и образами, встрѣтило торжественную процессію, двигавшуюся съ сѣверной стороны.

Соборное духовенство и все населеніе Севастополя, съ иконами и хо-

ругвами, съ хлѣбомъ и солью, встрѣчаетъ торжественное шествіе. Пять баталіоновъ вооруженнаго сухопутнаго войска и моряки отдають ему честь.

Снова молебствіе и пѣніе „Тебе Бога хвалимъ“, снова шествіе народа по улицамъ, по бухтѣ: въ торжественномъ гимнѣ принималъ участіе едва ли не весь городъ.

Все обойдено, все освящено — все, что было осквернено чумою и убійствами.

И вотъ настаетъ въ городѣ и въ предмѣстьяхъ совершенная тишина. Матросы попрежнему работаютъ на своихъ мѣстахъ, женщины — дома. Сознаніе вины засѣло въ голову cadaго; но воротить того, что сдѣлано, нельзя.

Съ 6-го числа въ Севастополь начали со всѣхъ сторонъ стекаться войска, и на другой день уже составилаcя цѣлая армія.

Начался судъ надъ бунтовщиками и убійцами. Однихъ зачинщиковъ, предводителей, убійцъ и грабителей найдено 980 человекъ — мужчинъ и женщинъ.

29-й флотскій экипажъ приговоренъ къ смертной казни весь.

Въ 17-мъ и 18-мъ экипажахъ приговоренъ къ смертной казни десятый.

Изъ простого народа осуждено на смерть 75 человекъ.

Наконецъ, многіе приговорены къ кнуту, къ розгамъ, къ каторгѣ, къ прогнанію сквозъ строй.

Но князь Воронцовъ отнесся вполнѣ гуманно къ причинамъ возмущенія и смягчилъ приговоры, подтвердивъ казнить смертю только семерыхъ.

Канониръ Елисѣенко, отказавшійся стрѣлять въ малолѣтнихъ и грудныхъ дѣтей, былъ приговоренъ къ смерти, но Воронцовъ отмѣнилъ казнь, повелѣвъ сослать его на поселеніе безъ всякаго наказанія.

Изъ женщинъ, поднявшихъ все это кровавое дѣло и отчасти руководившихъ имъ, триста семьдесятъ пять подтверждены къ гражданской смерти.

Была ли въ числѣ ихъ и унтеръ-офицерша Надежда Кириллова — неизвѣстно.

Результатомъ женскаго бунта въ Севастополѣ было слѣдующее повелѣніе государя императора Николая Павловича, выраженное въ рескриптѣ къ князю Воронцову:

„Печальныя событія, совершившіяся въ Севастополѣ, показываютъ необходимость, привести, наконецъ, въ исполненіе предположеніе, чтобы чины морского вѣдомства не имѣли въ семъ городѣ собственныхъ домовъ, также принять и другія мѣры для истребленія духа своеволія и непокорности, столь неожиданно оказавшагося на самомъ дѣлѣ. Убѣждаясь симъ, я приказалъ адмиралу Грейгу всѣхъ женатыхъ нижнихъ чиновъ, находящихся въ Севастополѣ, равно и имѣющихъ тамъ собственные дома, перевести въ Херсонъ, а вамъ вмѣстѣ съ симъ поручаю: женамъ ихъ и всѣмъ прочимъ женщинамъ, живущимъ въ такъ называемыхъ слободкахъ, выдать паспорта и высылать ихъ изъ Севастополя, куда кто пожелаетъ, слободки же тѣ уничтожить совершенно“.

XVII.

Домна Анисимова.

(Слѣпая Доманя).

Въ то время когда русская академія, желая почтить достойною памятью замѣчательный талантъ поэта-дѣвушки, похищенной у жизни нуждою въ тотъ самый моментъ, какъ геній этого необыкновеннаго ребенка—говоря немножко цвѣтистымъ языкомъ той эпохи — только что начиналъ развертывать свои могучія крылья, когда академія собирала и приводила въ порядокъ оставшіяся послѣ Елизаветы Кульманъ произведенія и, вмѣстѣ съ любопытными свѣдѣніями о ея недолголѣтней жизни, удостоивала ихъ особымъ изданіемъ,—въ то время, гдѣ-то на Окѣ, въ глухомъ, мало кому извѣстномъ рязанскомъ захолустѣ, деревенская дѣвушка, нянька чужихъ крестьянскихъ дѣтей, слѣпая и обезображенная оспой, качая деревенскихъ ребятишекъ, пѣла надъ ними колыбельныя пѣсни своего собственнаго сочиненія, и притомъ импровизировала не только эти простыя колыбельныя пѣсни, но создавала цѣлыя оригинальныя стихотворенія, никѣмъ и ничему не ученая и, по своей слѣпотѣ, конечно, не умѣвшая ни читать, ни писать.

Такъ началъ свои пѣсни и Кольцовъ, разъѣзжая по воронежскимъ и донскимъ степямъ, въ качествѣ прасола или табунщика, за „нагуливаемыми“ для убоя стадами. Кольцовъ также слагалъ свои думы въ уединеніи безъ всякаго руководства, какъ слагаетъ ихъ дикарь въ лѣсу, киргизъ въ степи и въ кибиткѣ. Только Кольцовъ былъ зрячій человекъ, умѣлъ читать и писать, жилъ въ губернскомъ городѣ, а не въ захолустѣ, могъ видѣть книги, могъ учиться изъ книгъ и даже нѣсколько обучался въ гимназій.

Между тѣмъ, слѣпой рязанскій Оссіанъ-дѣвушка, никогда не видавшая даже города, не видала и книгъ, а, убаюкивая чужихъ ребятишекъ, въ то время когда крестьяне работали въ полѣ, создавала свои думы изъ такого же матеріала, изъ какого создаетъ свои пѣсни птица, сидящая въ лѣсу на вѣткѣ. Но и птица, видитъ зелень, лѣса, поля, солнце, другихъ птицъ—это матеріалы для ея творчества; а слѣпая деревенская дѣвушка и этого матеріала не имѣла въ своемъ распоряженіи.

Вотъ что, между прочимъ, говорилъ объ этой слѣпой пѣвицѣ одинъ изъ ея современниковъ, открывшій этого слѣпота Оссіана-няньку въ деревенской глуши:

„Верстахъ въ двухъ отъ низменныхъ береговъ родной Оки, не вдали отъ древняго жилища князей рязанскихъ стоитъ бѣдное село Дегтяное, безпорядочно разбросанное вокругъ широкаго безвольнаго озера. Вѣчно зеленѣющія, угрюмыя, непривѣтливыя ели, словно чугунная рѣшетка монастыря, опоясываютъ его со всѣхъ сторонъ. Сквозь эту натуральную рѣшетку, съ одной стороны, виднѣется шелковый лугъ съ многочисленными стадами околныхъ селеній, съ другой, виднѣются богатые тучныя нивы

трудолюбивыхъ поселянъ; въ углу селенія въ небольшомъ отдаленіи отъ людскихъ жилищъ, пріютовъ мелкой суеты и земного безнокійства, красуется на зеленомъ холмѣ смиренный Божій храмъ, тихое, безмятежное пристанище душъ. Часто лѣтомъ и зимою, весной и осенью, во всякую пору года и дня, я люблю переноситься въ это безвѣстное селеніе на коврѣ-самолетѣ.

„Признаюсь, меня манитъ туда не прекрасный шелковый лугъ, художницей природой усѣянный прелестными, разнообразными цвѣтами, по которому въ тихій вечеръ майскаго дня любо гулять вдвоемъ съ завѣтною своею мечтою; меня влечетъ туда не зеркальное льдистое покрывало рѣки, на которомъ въ ясный декабрьскій полдень есть гдѣ размыкать свое горе на борзомъ конѣ. Нѣтъ, меня манитъ, влечетъ туда совсѣмъ другое,—къ дымнымъ лачужкамъ Дегтянаго меня влечетъ горькая доля и поэтический талантъ слѣпца-дѣвушки...

„Этотъ несчастный поэтъ-дѣвица, съ перваго знакомства завладѣвъ всею моею душою, познакомила и сроднила меня съ селеніемъ, дотолѣ мнѣ самому неизвѣстнымъ, и какою-то магическою силой заставила меня, по крайней мѣрѣ мыслію, никогда съ нимъ не разставаться“.

Конечно, это очень сентиментально и трогательно; но фактъ остается фактомъ.

Говорилось это очень давно, въ 1838 году, въ одномъ изъ наиболѣе распространенныхъ въ то время нашихъ литературныхъ журналовъ.

Открытіе было сдѣлано, и объ немъ заговорила литература.

Тогдашняя „Сѣверная Пчела“ написала особую статью объ этомъ открытіи и озаглавила ее—„Необыкновенное явленіе въ нравственномъ мірѣ“.

Рѣчь шла о слѣпой дѣвушкѣ-поэтѣ, Домнѣ Анисимовой.

Домна Анисимова, или какъ ее больше называли крестьяне ея родного села—„слѣпая Доманя“, родилась въ 1807 году, отъ одного изъ самыхъ бѣдныхъ дьячковъ села Дегтянаго, не носившаго даже другого имени кромѣ „дьячка Анисима“.

Нищета, въ которой родилась Доманя, конечно, была хуже той нищеты, въ которой, въ бѣдномъ домикѣ на Васильевскомъ острову, родилась и жила Елизавета Кульманъ.

„Если бы вамъ, милостивые государи, — продолжаетъ тотъ же писатель, открывшій слѣпца-поэта въ его захолустѣ, — если-бъ вамъ когда-либо удалось взглянуть на тѣхъ, при чьихъ глазахъ она выросла, кто пеленалъ ее грубыми толстыми пеленками, кто напоилъ ее живою водою познанія, изъ вашихъ глазъ невольно выкатилась бы крупная слеза состраданія къ этой несчастной“.

Дѣйствительно, отецъ Домани былъ настолько ученъ и развитъ, что „съ трудомъ на клиросѣ читалъ“. Еще у нея былъ братъ-ровесникъ; но этотъ послѣдній нигдѣ не учился. Мать Домани, какъ и водится, постоянно возилась около печки съ горшками и ухватами, полоскала бѣлье, ходила за водой, жала и косила съ мужемъ.

Маленькая Доманя была зрячею всего только три года; на четвертомъ году ее изуродовала оспа, которую въ то время въ деревняхъ очень мало прививали, а лѣчить и подавно не лѣчили, потому что докторовъ не было ни земскихъ, ни казенныхъ.

Слѣпая дѣвочка, чтобы даромъ не ѣсть скудный отцовскій хлѣбъ, поступила нянькою въ чужимъ дѣтямъ у своихъ же односельцевъ-крестьянъ. и росла исключительно между „мужиками“, по выраженію біографа Домани тридцатыхъ годовъ.

„Ихъ (т. е. этихъ крестьянъ) черствыя души,—говоритъ біографъ Анисимовой,—чужды всякаго образованія, отъ невѣжества почти совсѣмъ потерявшія врожденное эстетическое чувство, могли ли понять и разгадать поэтическій талантъ бѣдной няни чужихъ дѣтей?“

Слѣпота дѣвушки была, однако, такого рода, что она нѣсколько могла различать цвѣта, если они очень ярко выдавались—зеленый отъ краснаго, бѣлый отъ чернаго и другія разнородные цвѣта, но только тогда, когда окрашенные въ разные цвѣта предметы поставлены были одинъ выше другого.

Равнымъ образомъ, слѣпая нѣсколько видѣла тѣнь отъ дерева въ ясный солнечный день; но самага дерева не видала.

Поэтическій талантъ ея обнаруженъ былъ, когда дѣвушкѣ было уже двадцать пять лѣтъ, хотя самая способность творчества явилась въ ней довольно рано.

Первое стихотвореніе, которое обнаружило въ ней способность импровизаціи, было случайно подслушано, когда слѣпая пѣла его надъ ребенкомъ. Это были стихи „Къ колыбельному дитяти“.

„Слѣпая дѣвушка, въ рубищѣ, въ лаптяхъ“ сочиняетъ стихи, не умѣя читать пугливо прячетъ отъ другихъ свои пѣсни—вотъ что вездѣ заговорили, едва прошла вѣсть о слѣпой стихотворицѣ.

Надо не забывать, что, когда прошла молва о слѣпой деревенской стихотворицѣ, Кольцовъ еще ходилъ съ своего постоялаго двора въ воронежскую гимназію и пѣсни его еще не раздавались на Руси: слѣпая Доманя указала дорогу Кольцову и была его прототипомъ.

Самое обнаруженіе дарованій дѣвушки произошло совершенно случайно; не подозрѣвая, чтобы кто-либо ее слышалъ, слѣпая пѣла свою импровизированную колыбельную пѣсню надъ ребенкомъ, а попадья села Дегтяного подслушала незнакомыя слова пѣсни, была поражена этимъ чудомъ и сказала попу, своему мужу. Обнаруженіе стихотворскаго таланта дѣвушки потому произошло такъ поздно, что слѣпая была очень робка и осторожна, боялась пѣть при другихъ, и тогда только рѣшилась удовлетворять своей эстетической потребности, когда всѣ крестьяне лѣтомъ, въ страдную пору, выѣзжали въ поля убирать хлѣбъ, а Домна оставалась на селѣ, чтобы нянчить и кормить оставляемыхъ дома крестьянками своихъ ребятишекъ.

Удивленный священникъ съ трудомъ могъ заставить робкую нищую пропѣть одно изъ своихъ стихотвореній, и біографъ Анисимовой при этомъ

наивно поясняетъ, что, когда дѣвушка догадалась, что ея тайну узнали люди, „яркій румянецъ мгновенно покрылъ длинныя ея щеки и высокій открытый лобъ“ (некрасива была слѣпая пѣвица!).

Когда быстро разошлась по губерніи вѣсть, которую передавали возвышеннымъ языкомъ того времени, что въ селѣ Дегтяномъ открытъ самородокъ, что „незнаемая бѣдная дѣва обладаетъ правомъ занять почетное мѣсто въ ряду доморощенныхъ геніевъ-самоучекъ“.

Съ этимъ вмѣстѣ сосѣдніе помѣщики и другіе любители чтенія стали присылать Анисимовой книги, какъ напрямѣрь— „Конька горбунка“ Ершова, „Чернеца“ Козлова—что во что гораздъ, какъ говорится, а кто-то подарилъ ей и Пушкина.

Оказалось, что раньше этого въ избу дьячка Анисима какъ-то случайно попали три книги— „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ Жуковского, „Душенька“ Богдановича и „Опыты въ стихахъ и прозѣ“ Лажечникова, и слѣпая слышала, какъ кто-то читалъ ихъ, и эти-то книги вызвали въ ней дремавшія дотолѣ творческія силы.

Съ тѣхъ поръ слѣпая стала уже безбоязненно диктовать свои стихотворенія, и молва о ней разросталась все шире и шире.

Начались донесенія по начальству.

Исправникъ донесъ губернатору объ Анисимовой, какъ о „присшествіи“,—и имя слѣпой дѣвушки стало извѣстно въ губернскомъ городѣ. О ней заговорили уже не съ точки зрѣнія полиціи, а какъ о необыкновенномъ явленіи.

Губернаторъ, которымъ тогда въ Рязани былъ Прокоповичъ-Антонскій, донесъ объ Анисимовой министру. Министръ, какъ „членъ россійской академіи“, довелъ объ Анисимовой до свѣдѣнія академіи и препроводилъ стихи слѣпой дьячковой дочери на разсмотрѣніе этого высшаго словеснаго учрежденія.

И академія, раньше этого оцѣнившая произведенія безременно погибшей Кульманъ, по возможности оцѣнила и стихи Анисимовой.

Чтобы не оставить дарованіе въ совершенной неизвѣстности и безъ поддержки, академія тотчасъ же напечатала стихотворенія Анисимовой отдѣльнымъ изданіемъ въ небольшомъ числѣ экземпляровъ, и выручку съ изданія предназначила въ пользу сочинительницы; кромѣ того, академія выдала ей въ пособіе сто рублей, и, наконецъ, выслала нѣсколько необходимыхъ для чтенія книгъ, какъ-то: „Исторію государства россійскаго“ Карамзина, „Часы благоговѣнія“ и другія.

Для нѣкотораго ознакомленія съ характеромъ поэтическаго таланта ничему не учившейся деревенской дѣвушки, съ объемомъ ея міровоззрѣнія, со степенью, наконецъ, умѣнья владѣть стихомъ, при незнакомствѣ не только съ правилами стихосложенія, но даже и съ грамматикою, мы позволяемъ себѣ привести здѣсь одно изъ ея стихотвореній, подъ названіемъ „Вѣтеръ“.

Стихотвореніе это имѣетъ то исключительное значеніе, что въ немъ

выказывается особенность психологическаго положенія, въ которое поставлена была слѣпая сочинительница: по этому психологическому своему значенію названное стихотвореніе Анисимовой имѣетъ глубокій смыслъ. Понять, что для человѣка лишеннаго зрѣнія, не имѣющаго возможности различать предметы и ихъ положеніе, не могущаго даже видѣть ни очертаній, ни движенія окружающихъ его живыхъ силъ, ни слѣдить за постоянно совершающимся вокругъ жизненнымъ процессомъ,—понять, что только при помощи слуха и фантазіи слѣпому остается возможность наблюдать за жизнью и комбинировать явленія жизненнаго процесса,—сознать, вслѣдствіе этого, что только при помощи звука, шума и—главное—вѣтра для слѣпца мертвая природа становится живою и говорящею—для этого необходимо такое поэтическое чутье, которое не всякому образованному человѣку удѣляется скупой природою.

И вотъ именно стихотвореніе „Вѣтеръ“ обнаруживаетъ, что слѣпая дѣвушка въ лаптяхъ обладала и этимъ тонкимъ чутьемъ и способностью комбинированія невидимыхъ, но слышимыхъ лишь при помощи вѣтра явленій природы и жизни. Остановиться именно на подобной мысли—это уже признакъ таланта, замашка настоящаго художника.

Вотъ это стихотвореніе:

Шуми, шуми, о вѣтеръ бурный,
Надъ кровлей гуль свой удвой;
Товарищъ ъудъ печальной думы,
И томны мысли оживляй.

Все спитъ; и ночь даетъ свободу
Тебѣ внимать, о бурный вѣтръ!
Шуми, напоминай природу;
Мнѣ зрѣть ее надежды нѣтъ.

Судьба во мракѣ вѣчной ночи
Ее сокрыла отъ меня;—
Во гробъ мой занеси очи,
Во тѣмѣ судила жить стена.

Траву, цвѣты, долины, горы,
Ручьи прозрачные, лѣса
Мои не встрѣтятъ вѣчно взоры,
Мнѣ такъ судили небеса.

Навѣки для меня несчастной
Померкли солнце и луна;
Ужъ мнѣ не зрѣть весны прекрасной,
Она цвѣтетъ не для меня.

И нивы класами златыми
Не могутъ духъ во мнѣ плѣнить,
И рощи вѣтвями густыми
Подъ тѣнь не могутъ приманить.

Съ тобой однимъ, товарищъ милый,
Я чувства горести дѣлю,
Нося при жизни мракъ могилы,
Въ тебѣ одномъ природу зрю.

Шуми, взывай межъ деревьями,
Зеленымъ листомъ трепещи,

Греми ужаснѣе водами,
Ихъ волны на берегъ хлещи.

Во тьмѣ живущей среди свѣта
Пустынницѣ въ кругу людей
Шуми, яви картину лѣта
Въ гармоніи природы всей.

Напомни шумъ ручьевъ серебристыхъ,
Бѣгущихъ быстро по песку,
Отрадну зелень древъ вѣтвистыхъ,
Луга цвѣтушіе, рѣку.

Напомни въ жизни мигъ безцѣнный,
Разсвѣтъ моихъ минувшихъ дней;
Сіи минуты незабвенны
Яснѣй представь душѣ моей.

Рисуй поляны мнѣ съ цвѣтами,
Съ душистой зеленью молодой,
Гдѣ я съ малютками-друзьями
Рѣзвилась вешнею порой.

Представь мнѣ лѣсъ густой, тѣнистый,
Съ листьями мелкими въ дали,
Воды источникъ тихій, чистый
Въ разливъ вечернія зари.

Увы! и мнѣ покрытой тьмою
Природа знать себя дала,
Явивъ всѣ прелести зарею,
Потомъ на вѣкъ ихъ отняла.

Ищу представить въ мысли томной
Луну и звѣзды въ небесахъ;
Но все въ дали сокрылось черной
Давное мелькнувшее въ глазахъ.

Лишь ты всю вѣрность сохраняя,
Взываньемъ сладость въ сердце льешь,
Шумишь, себѣ не измѣняя,
И мнѣ жизнь чувствовать даешь.

Мысль и постановка мысли—дѣйствительно поэтическія и въ самомъ исполненіи такъ хорошо осмысленныя.

Вотъ все, что мы можемъ сказать объ этомъ странномъ явленіи—о самосозданіи таланта почти безъ всякаго, повидимому, созидающаго стимула и безъ матеріаловъ для созиданія.

Что случилось послѣ съ Анисимовой какова была ея дальнѣйшая жизнь—свѣдѣній объ этомъ мы не могли достать.

Скажемъ только въ заключеніе этого бѣглаго очерка, что не удивительно было послѣ Анисимовой явиться Кольцову, какъ послѣ Ломоносова—Державину.

К о н е ц ъ.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	СТР.
Предисловіе	V—VI
I. Баронесса Криднеръ.	1
II. Графиня Зубова („Суворочка“).	13
III. Марья Поспѣлова.	23
IV. Аня Бунина	28
V. Софья Свѣчина.	34
VI. Дѣвица Луполова („Параша-сибирячка“)	43
VII. Анна Хомутова.	49
VIII. Надежда Дурова („Кавалеристъ-дѣвица“).	55
IX. Настасья Минкина („Аракчеиха“)	87
X. Елизавета Фролова-Багрѣва	96
XI. Марья Волкова	115
XII. Екатерина Татаринова	127
XIII. Елизавета Кульманъ.	137
XIV. Княгиня Волконская	148
XV. Прасковья Александровна Осипова	155
XVI. Унтеръ-офицерша Кириллова	162
XVII. Домна Анисимова („Слѣпая Доманя“).	180

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

I.

МАМАЕВО ПОБОИЩЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ.

II.

„Поиманы есте Богомъ и великимъ государемъ!..“

ИСТОРИЧЕСКІЙ ФРЕСКЪ.

III.

ТЫСЯЧА ЛѢТЪ НАЗАДЪ

ИСТОРИЧЕСКІЕ СИЛУЭТЫ.

Томъ XLI.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. Ѳ. Мертца.
1902.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 28 августа 1902 года.

Типографія „В. С. Балашевъ и Ко“. Спб. Фонтака, 95.

МАМАЕВО ПОВОИЩЕ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ.

I.

Игрище Дидъ-Ладо и татарскій набѣгъ.

Въ тихій, свѣтлый лѣтній вечеръ, у села Карачарова, на берегу Оки, на лужайкѣ, называемой „дѣвичьимъ полемъ“, совершается „игрище“: дѣвки и парни хоромъ водятъ.

Это было лѣтомъ 1376 года. Въ то далекое время народныя игрища совершались такъ же, какъ и въ настоящее время въ глухихъ захолустьяхъ русской земли, но только съ большею обрядностью, словно бы это было нѣчто религіозное, торжественное, съ такими унаслѣдованными отъ старины приемами, отступленіе отъ которыхъ казалось неумѣстнымъ, чѣмъ-то какъ бы грѣховнымъ. Въ этихъ игрищахъ и въ ихъ приемахъ, и въ напѣвахъ, жила нетронуто та незапамятная старина, когда браки совершались посредствомъ „умыканія дѣвицъ у воды“, на этихъ самыхъ игрищахъ, когда „молились подъ овиномъ“, „кланяясь роду и рожаницѣ“, пѣли пѣсни Перуну, и Дидъ-Ладѣ, и Дажбогу. Для этихъ обрядовыхъ игрищъ были особыя мѣста у селъ и городовъ—большею частью лужайки у воды, и назывались они „дѣвичьими полями“, каковыя имѣлись около каждаго города и села.

Такое игрище совершалось въ одинъ лѣтній вечеръ 1376 года у села Карачарова, у того знаменитаго села Карачарова, въ которомъ когда-то родился богатырь Илья Муромецъ. Дѣвки въ бѣлыхъ сорочкахъ и понявахъ, а инны, по дѣвственной наивности того наивнаго времени, въ однихъ срачицахъ и съ бусами или съ краснымъ шиповникомъ, вмѣсто бусъ на шеѣ, а парни въ рубахахъ и портахъ, и босикомъ, точь-въ-точь какъ изображены они еще въ видѣ „скиѳовъ“ на Трояновой колоннѣ въ Римѣ и на куль-обской скиѳской вазѣ,—взявшись за руки и сплетаясь и расплетаясь, то сходясь плетнями, то разступаясь, ведутъ то „коло“, то „конъ“—и поютъ звонкими, здоровыми, чистыми, какъ у дѣтей, голосами величаніе таинственному Дидъ-Ладѣ.

Въ то время, когда молодежь творитъ игрище и оглашаетъ воздухъ величаніями невѣдомыхъ боговъ старины, старцы и пожилые мужи и жены сидятъ кто подъ своими избушками на заваленкахъ, кто на травѣ, кто

подъ стариннымъ дубомъ, подъ которымъ когда-то совершались еще приношенія лѣшему и русалкамъ, сидятъ, любятъся играми молодежи и говорятъ о старинѣ, о современныхъ порядкахъ, о татарщинѣ, объ „удѣльныхъ которахъ“, „усобицахъ“ и „розратяхъ“. Тутъ же и дѣти, большею частью бѣлоголовые, непременно босыя, часто совсѣмъ голенькія, то, копаясь въ песокъ, играютъ въ „татаръ“, „темниковъ“ и „баскаковъ“, то „собираютъ дань великому князю“, то „гонятъ въ орду полоняниковъ“, большею частью дѣвочекъ.

А „коло“ звенитъ молодыми голосами. Парни, наступая лавой на дѣвокъ и хорохорясь, молодецествуя передъ ними, потряхивая русыми кудрями и притопывая босыми, широкими, какъ у молодого медвѣдя, лапами, выкрикиваютъ:

А мы просо сѣяли, сѣяли
Ой Дидъ-Ладо, сѣяли, сѣяли,

А дѣвки, держась за руки плетнемъ, задорно улыбаясь и поводя плечами и широкими какъ квашни бедрами, какъ бы нехотя уклоняются отъ парней и вызывающе вывизгиваютъ:

А мы просо вытравимъ, вытравимъ,
Ой Дидъ-Ладо, вытравимъ, вытравимъ.

— А Илья Муромецъ, поди, тоже, какъ молодымъ былъ, такъ здѣсь на игрищѣ игривалъ.

Это говорила молодая, курносенькая, свѣтлоглазая бабенка, которая сидѣла на землѣ у заваленки и „искала“ въ склоченной рыжей головѣ съ такою же бородою, лежавшей у нея на колѣняхъ. Косматая голова повернулась бокомъ.

— Что баишь?—проговорила она спросонья.

— Я, чай, и Илья Муромецъ, баю, игривалъ здѣсь на игрищѣ, какъ молодымъ былъ,—повторила бабенка, продолжая „искать“ въ головѣ мужа.

— Что ты, дура баба! Илья, чай, тридцать и три года сидѣлъ сиднемъ сидячимъ, покуль не пришли къ ему калики перехожіе, и онъ не выпилъ съ ими ковшъ браги... Гдѣ-жъ ему на игрищахъ было игривать!—наставительно проговорила косматая рыжая голова.

— Ахъ что-й то я, дура! и забыла, Перунъ те бей!—спохватилась баба.

— Мама! мама!—подскочила къ ней голенькая съ льняными волосками дѣвочка лѣтъ пяти:—Добрынька велитъ мнѣ по-татарски молиться—кусту.

— Да онъ играетъ, онъ тебя нарокомъ въ полонъ взялъ,—успокоивала мать мнимую полонянку.

А голоса парней гудѣли въ „колѣ“:

А чѣмъ-ту вамъ вытравить, вытравить?
Ой Дидъ-Ладо, вытравить, вытравить!

А горластыя дѣвки перекрикиваютъ:

А мы коней запустимъ, запустимъ,
Ой Дидъ-Ладо, запустимъ, запустимъ!

— Я не хочу, мама, въ полонъ!—твердила бѣлоголовая дѣвочка.

— Ну инъ не играй съ Добрынькой, — утѣшала ее мать: — играйте сами дѣвочки въ Ярилу.

Дѣвочка побѣжала къ сверстницамъ, радостно восклицая: „въ Ярилу! въ Ярилу!“.

— Ишь дѣвка боится полону татарсково, — улыбнулся плечистый, рослый, молодой мужикъ съ огромной, словно браслетъ, мѣдной серьгой въ ухѣ, сидѣвшій тутъ же на заваленкѣ рядомъ съ сѣдымъ какъ лунъ старикомъ. — А топереве татары-те ужъ не то, что въ старину были — не больно страшны... Вонъ какъ въ тѣ поры мы ходили съ суждальскими, да съ мижегородскими, да съ московскими дружины, подъ воеводой подъ князь Димитріемъ подъ Болынскіемъ, Казань городъ громить, такъ выпускали они татаровя, на насъ громы-те со стѣнъ — ужъ и перунили же гораздо собаки! — да выпускали на насъ велбудовъ стадо, страховиты таковы, съ горбами, шеи что у гуся, либо у лебедя — ревуть и саплютъ страхъ! А мы ну ихъ громить, ну громить, и вогнали въ городъ-атъ, и князи ихъ, Гасанки да Махметки, намъ челомъ добили и окупъ большой дали.

— А мы коней выловимъ, выловимъ,
Ой Дидъ-Ладо, выловимъ, выловимъ.
А чѣмъ-ту вамъ выловить, выловить?
Ой Дидъ-Ладо, выловить, выловить!
А мы уздомъ шолковымъ, шолковымъ,
Ой Дидъ-Ладо, шолковымъ, шолковымъ...

— Такъ-ту, такъ, Малютушка, — качалъ сѣдой головою старикъ, прислушиваясь къ звонкимъ голосамъ игрища, какъ парни хотятъ выловить коней „уздомъ шолковымъ“. — Токмо коли бы у насъ, на Руси, не усобицы князьи, коли бы Москва съ Тверью не которалася да суждальски князи съ рязанскими розратья не чинили да татаровей на насъ не водили... А то, что годъ, то насъ же и свои князи и татаровя пустошатъ и бьютъ и въ полонъ продаютъ... Послѣдни времена настали...

— Что-жъ дѣдушко, ноли въ стары времена лучше было?

— Не въ примѣръ... При покойномъ царѣ Озбьякѣ насъ, русскихъ людей, никто не смѣлъ обижать: какъ онъ десять князей-ту нашихъ сказнилъ въ ордѣ, такъ наши-те князи стали ниже травы, тише воды, да и дань-ту брали побожески... А нонѣ съ насъ и рязанской князь кожу сдираетъ, и московской, и суждальской: станешь за Олега рязансково — Митрей московской зорить и пустошить, за суждальсково станешь — Пронской доѣзжаетъ... Пропадай они пропадомъ!

И старикъ, казалось, весь погрузился въ созерцаніе прошлаго, когда жилось лучше, когда и царь Озбьякъ былъ могущественнѣе всѣхъ царей, и великіе князья были тише воды, ниже травы, и солнышко грѣло жарче молодыя кости, и небо было голубѣе, зеленъ зеленѣе... Онъ, казалось, и

видѣлъ, и слышалъ это дорогое, незабываемое прошлое въ чужой молодости, вотъ въ этихъ звукахъ, что неслись съ игрища... Все, все измѣнилось; не измѣнились одни старыя игрища, не измѣнился голосъ величанія Дидъ-Лада, величанія, подъ которое когда-то и онъ, старъ-престаръ человѣкъ, скакалъ молодыми босыми ногами, выслѣживая свою зазнобушку, толстокосую и широкобедрую, въ одной, въ единой лишь срачицѣ, лебедь бѣлую, младую Рогнѣдь-дѣвку, которая такъ же, какъ вотъ и эти дѣвки, своимъ лебединымъ гласомъ величала:

А мы дадимъ сто куницъ, сто куницъ,
Ой Дидъ-Ладо, сто куницъ, сто куницъ!

А онъ, нынѣ старъ-престаръ человѣкъ, а тогда еще младъ, русокудръ Рогволодушко, своимъ зычнымъ голосомъ выгукивалъ своей Рогнѣдь-дѣвкѣ:

Не надоть намъ сто куницъ, сто куницъ,
Ой Дидъ-Ладо, сто куницъ, сто куницъ!

А она, Рогнѣдь-дѣвка, заплетаясь плетнемъ съ другими дѣвками, какъ свирѣлъ свиристѣла:

А мы дадимъ семь вдовицъ, семь вдовицъ,
Ой Дидъ-Ладо, семь вдовицъ, семь вдовицъ!

А онъ, младъ Рогволодъ парень, съ прочими парнями отвѣтствовалъ.

Не надоть и ста вдовицъ, ста вдовицъ,
Ой Дидъ-Ладо, ста вдовицъ, ста вдовицъ!

Тогда Рогнѣдь-дѣвка, подымая на Рогволода свои глаза—эки были зенки съ поволокой!—тихо выговаривала, маня къ себѣ Рогволода:

А мы дадимъ дѣвицу, дѣвицу,
Ой Дидъ-Ладо, дѣвицу, дѣвицу!

И Рогволодъ, широко разставляя босыя лапища, медвѣдемъ шелъ на Рогнѣдь и выговаривалъ:

Охъ надоть намъ дѣвицу, дѣвицу,
Ой Дидъ-Ладо, дѣвицу, дѣвицу!...

Плетень дѣвичій и плетень изъ парней совсѣмъ переплетались и слышались возгласы то мужскіе, гогочущіе, жеребьячи, то дѣвичьи-лебединые:

— А котору вамъ дѣвицу?—звенѣлъ лебединый голосокъ.

— Доброгнѣву! Доброгнѣву!—орало нѣсколько глотокъ.

— Прекрасу! Гориславу!—перекрикивали ихъ другія глотки.

— Верхуславу! Милолику! Вышеславу!—орали третьи, смотря по тому, какая кому дѣвка нравилась.

— Давай всѣхъ дѣвокъ! Мы ихъ всѣхъ!—завершалъ здоровенный голосище широкоплечаго, широколицаго, почти безъ профиля парня, который,

раскрывъ мускулистыя руки и растопыривъ толстые какъ обрубки пальцы, казалось, хотѣлъ заграбить подъ себя всѣхъ дѣвокъ. — Всѣхъ ихъ!...

— Любо! любо! Ярополкъ правду говоритъ! Ай да Ярополкушко! Всѣхъ ихъ, всѣхъ! — восторженно кричала вся мужская половина.

Но эти восторженные возгласы покрыты были мгновенно отчаянными, раздирательными криками дѣтей, которыя, нѣсколько въ сторонѣ, на возлѣсьѣ, „играли въ татаръ и въ великихъ князей“, заставляя меньшихъ ребятишекъ и дѣвочекъ кланяться „царю Мамаю“, котораго изображалъ изъ себя босой и безъ штановъ Добрынька, шустрый черноголовый мальчуганъ, заставлявшій потомъ своихъ „улусниковъ“ и полоняниковъ кланяться калиновому „кусту“.

— Татары! татары! — кричали не своимъ голосомъ дѣти, стремглавъ несясь отъ лѣсу къ селу, цѣпляясь другъ за дружку, падая и снова отчаянно голоса: — татары! татаровя!

Дѣйствительно, изъ-за лѣсу показались характерныя шапки золотоордынцевъ, синеордынцевъ, ясовъ и черкесовъ съ саблями въ рукахъ и зубахъ, съ арканами и луками за плечами. Съ страшнымъ гикомъ и алаканьемъ неслись они прямо на игрище, поднявъ высоко правыя руки съ арканами...

Какъ испуганное стадо, бросились вразсыпную парни и дѣвки, послѣднія съ страшнымъ визгомъ — кто въ село, къ избамъ, кто мчался къ лѣсу, кто прямо бросался въ Оку и плылъ на ту сторону.

Началась дикая ловля полоняниковъ: кто скакалъ за убѣгавшей дѣвкой, кто пускалъ арканъ во слѣдъ бѣгущему парню, и арканъ, описывая въ воздухѣ дугу и свистя, захлестывалъ шею бѣгущаго, и тотъ со всего размаху падалъ навзничь, вскидывая къ небу отчаянныя руки; иной уже тащился на арканъ, какъ снопъ; другого страшная волосяная петля захлестнула въ водѣ и тащила къ берегу; тотъ отчаянно бился въ рѣкѣ и тонулъ; то тамъ, то здѣсь извивалось на сѣдлѣ женское тѣло, болтались голыя ноги и руки, развивались по вѣтру распущенныя дѣвичьи косы, жалобно выли дѣтскіе и женскіе голоса, ревѣлъ скотъ, отгоняемый отъ села хищниками, голосили бабы, причитали старухи...

Зажженное съ разныхъ сторонъ Карачарово горѣло, какъ гигантская свѣча, словно бы сіяясь лизнуть голубое небо своими огненными языками...

Вихремъ налетѣвшіе хищники вихремъ и исчезли... Оставшіеся цѣлыми и спасшіеся въ лѣсу, въ водѣ и по оврагамъ карачаровцы сходились къ пылающему селу, отчаянно ломая руки и тщетно розыскивая тѣхъ, которые еще такъ недавно величали милосерднаго Дидъ-Ладу.

А тѣ, кого оставшіеся искали — Доброгнѣвы, Верхуславы, Гориславы, Прекрасы, Милолики, Переславы, Добрыни и Ярополки велись въ далекій, невѣдомый край, въ страшную, ненасытимую орду...

II.

Царевичъ Арапша и пораженіе русскихъ при Пьянѣ-рѣнѣ.

Старый Рогволодъ, помнившій еще владычество надъ Русью грознаго царя Узбека, былъ отчасти правъ, говоря, что подъ прежними золотоордынскими царями Руси жилось легче, чѣмъ стало теперь, при Мамаѣ. Все это произошло, можно сказать, на глазахъ стараго Рогволода. Татары, а еще менѣе ихъ цари, сами никогда не вмѣшивались въ то, какимъ образомъ шла жизнь въ покоренныхъ ими „улусахъ“—на святой Руси, и что дѣлали тамъ ихъ „улусники“, великіе и малые князья въ своихъ удѣлахъ. Золотоордынскіе цари одно наблюдали, чтобы русскіе князья неукоснительно разъ въ годъ являлись въ ихъ ставку предъ свѣтлыя очи царя—для поклона и для поднесенія разъ положенной дани. Но едва какой-нибудь изъ князей забывалъ свой долгъ передъ грознымъ властителемъ, какъ тотчасъ же изъ Орды являлись баскаки, темники, и всякая темная сила и вооруженною рукою собирала дань—„взимала недоимку“. Тѣмъ дѣло и кончалось. Но зло росло не въ Ордѣ, а въ нѣдрахъ самой русской земли. Царская власть, какую князья видѣли въ Ордѣ, стала прельщать и ослѣплять ихъ: имъ самимъ захотѣлось быть царями; а этого можно было достигнуть—или утопивши другихъ удѣльныхъ князей клеветой передъ царемъ Кипчака, или подольстившись къ нему данью большею, чѣмъ давали другіе князья, другіе „улусники...“

И вотъ съ этихъ поръ, какъ замѣтилъ сѣдой Рогволодъ, „стала стоять русская земля“. Князья ссорились между собой изъ-за болѣе крупныхъ ломтей русской земли—и ходили войною одинъ на другого, воевали такимъ образомъ свою же, русскую землю, пустошили русскіе города и села. Грызясь другъ съ другомъ, они обирали свой народъ, какъ липку, лишь бы было чѣмъ выслужиться въ Ордѣ—поднести большій кушъ „владыкѣ владыкъ“, и тѣмъ насолить князю сосѣду. Тверской князь грызся съ московскимъ, московскій съ рязанскимъ, рязанскій съ пронскимъ, но болѣе всѣхъ грызъ сосѣдей московскій, который забиралъ силу, понявъ ранѣе другихъ, что сила—въ деньгахъ. А понявъ это, онъ сталъ собирать дани втрое больше того, что давалъ въ Ордѣ, а остальное—копилъ на черный день...

Въ ту пору, съ которой начинается нашъ разсказъ, Москва уже богаче стала всѣхъ своихъ противниковъ, и Твери, и Рязани, и Нижняго, и осилила всѣхъ ихъ, а Орда послѣ грознаго Узбека стала понемногу расшатываться. Москва это видѣла и иногда показывала самой Ордѣ, что не дастъ себя въ обиду. Мало того, Москва успѣла побывать подъ стѣнами Казани и тамъ показала свою силу. Это, по выраженію стараго Рогволода, „Москва показала Ордѣ зубы...“

„Такъ надо эти зубы выбить“, рѣшилъ Мамай, ставшій около этого времени царемъ въ Ордѣ и владыкою всей русской земли. Онъ такъ и сдѣлалъ.

Самъ Мамай пока не двигался съ мѣста, а послалъ наказать своихъ „рабовъ и улусниковъ“ царевича Арапшу, пришедшаго къ нему изъ Синей Орды съ толпою хищниковъ. Хищники разсѣялись небольшими партіями по окраинамъ рязанской, муромской и нижегородской земли. Лѣвымъ крыломъ они захватили Карачарово, Муромъ и съ добычею повернули къ востоку, чтобы соединиться съ главными силами Арапши, двигавшимися по направленію къ Нижнему.

Вѣсть о нашествіи Арапши быстро пронеслась по нижегородской, суздальской и московской землѣ. Удѣльные князья этихъ областей поняли опасность и поспѣшили соединить свои рати, усиливъ ихъ свѣжими дружинами. Союзныя рати бодро шли навстрѣчу врагу, помня, что онѣ уже не разъ въ прежнихъ стычкахъ съ татарами „давали сдачи“ своимъ бритоголовымъ господамъ, а недавно и подъ самою Казанью „ратоборственно утерли пота за русскую землю“. Рати двигались на полдень, по направленію къ рѣкѣ Пьяной, которой не должны были миновать „толпища“ Арапши, слѣдовавшія по возвышенному сырту отъ Волги, по сырту, составлявшему водораздѣлъ трехъ системъ рѣкъ—Волги, Дона и Оки и представлявшему наименѣе трудныхъ переправъ черезъ рѣки, чего особенно не любили степные хищники. Къ московскимъ и суздальскимъ дружинамъ примкнули муромцы и карачаровцы, уцѣлѣвшіе отъ послѣдняго набѣга лѣваго крыла „арапшатины“, захватившей въ Карачаровѣ и въ Муромѣ не малый полонъ дѣвками, парнями и малыми дѣтьми. Захваченъ былъ и тотъ маленькій, босоногій, еще „не доросшій до портовъ“ Добрынька, который на послѣднемъ игрищѣ изображалъ изъ себя „царя Мамая“ и заставлялъ своихъ босоногихъ сверстниковъ и сверстницъ, якобы „великихъ князей“, кланяться и себѣ и калиновому „кусту“, вызывая тѣмъ неудержимый плачь маленькихъ дѣвочекъ, боявшихся, что въ кусту сидитъ „бука“, самъ „дѣдушка лѣшій“.

Русскія рати шли, по любимому тогдашнему выраженію, „аки борове“—словно лѣсъ, словно темный боръ, а не какъ ошибочно переводилъ это выраженіе покойный историкъ, высокочтимый Сергѣй Михайловичъ Соловьевъ: „точно боровы, кабаны“... Нѣтъ—словно темный боръ... Рати перешли черезъ Пьяну рѣку: уже за „шеломянемъ“ осталась русская земля. Начиналась земля мордовская. Наступалъ августъ—самая жаркая пора, послѣдніе знойные дни лѣта. Рати двигаются тихо, съ развалкою; да иначе нельзя, и не вмоготу: солнце, поворотивъ съ лѣта на зиму и какъ бы прощаясь съ зеленью полей и луговъ, съ голубыми озерами и рѣками, съ красножелтыми песками изъ береговъ и яругъ, съ темною зеленью лѣсовъ,—печетъ и жаритъ невыносимо. Птицы, что еще кое-гдѣ покрикивали и звѣнѣли въ зелени дубравъ, отъ жару и упеки попрятались въ чащу и смолкли. Ратные кони, допекаемые жарой и удрученные тяжелыми боевыми доспѣхами, идутъ лѣниво, потряхивая головами и пофыркивая. И конникамъ жарко и душно: они ѣдутъ, разстегнувши всѣ петли, распахнувши охабни и сарафаны. Пѣшія рати, истомленные упекой, идутъ вразбродъ, словно

стада съ водопоевъ, раздѣтыя до рубахъ и портовъ, босикомъ и съ голыми большею частью руками: сулицы, копья, рогатины и стрѣлы съ луками и колчанами свалены въ обозъ, на телѣги, чтобы волюготиѣ было идти... Гулъ, говоръ, ржаніе коней, да и то лѣнивое, скрипъ немазанныхъ телѣгъ, и надъ всѣмъ этимъ пылъ клубами такъ и стоитъ, лѣниво клубясь, не будучи относима вѣтромъ... Вѣтру нѣтъ—и ему жарко, и онъ усталъ дуть... Два-три стяга трепались въ воздухѣ, блестѣли золотомъ шитья бѣлыхъ княгининыхъ да боярышнихъ ручекъ, да и тѣ ужъ не треплются—сложены въ обозъ.

— Привалъ бы ужъ, могутъ нѣтъ братцы,—слышатся усталые голоса.

— Вотъ тамотка, гдѣ борочекъ зеленъ, добро бы...

— Да и вода тамотка, братцы, ахъ!

— Да то Пьяна рѣка, чу—лукою излучилась...

Слышны рѣчи въ передовомъ полку. Имъ отвѣчаютъ на крыльяхъ, вездѣ...

— Привалъ! Любо! любо!

Все оживилось—куда и усталость дѣвалась! Лошади весело поднимали головы и ржали словно на перебой одна другой. Ратники бросились къ водѣ, на бѣгу срывали съ себя рубахи, крестились и со всего размаху кидались въ воду. Крикъ, смѣхъ, плескъ воды, перебрасыванье шутками—стономъ стоналъ весь излучистый берегъ рѣчки, которая скоро совсѣмъ была запружена человѣческими тѣлами и, казалось, вышла изъ берега отъ этихъ массъ брошеннаго въ нее живого жаркаго человѣческаго мяса... Самая вода, казалось, нагрѣлась этими жаркими тѣлами и больше не холодила купающихся. Выкупавшіеся спѣшили одѣваться, прыгая и валяясь по примятой травѣ. Кто потерялъ рубаху, кто искалъ порты. Путались одеждой, отнимали другъ у дружки: тотъ кричитъ — „не замай — мое!“ — тотъ: „анъ мои порты—мой гашикъ!“—„Врешь! Моя рубаха!“... Полетѣли въ воздухъ крѣпкія слова, какія и татарину „неудобъ есть глаголати“... „Да ты не лайся! Не крѣпи словесами!“—„Я не крѣплю! Я не песъ!“—„Да мнѣ что! Да я тебя разтакъ!...“

— Стой, братіе, не лайся!—усовѣщиваетъ товарищей старый воинъ, благочестивый, расчесывая мѣднымъ гребешкомъ мокрые волосы. — Аще который человѣкъ коего дни матерны излаетъ, и тово дни уста его кровію закипятъ злаго ради словесе и нечистаго ради смрада, исходящаго изъ устъ...

— Ну, пошелъ, святитель, плести „аще“!—смѣется молодежь:—поучи татаровой, какъ придуть, а то еще!..

— Аще, братіе, великое слово, не смѣйся надъ имъ—не лайся... Сія бо брань...

— Сказывай! Слышали...

— Се есть, братіе, брань песья; псомъ бо дано есть лаяти. А въ которое время человѣкъ матерное излаетъ, и въ то время небо и земля потрясется о таковомъ словеси...

— Анъ вонъ, чу, не потряслась, какъ Мияитка тебѣ загнулъ...

Къ привалу, между тѣмъ, подоспѣлъ и обозъ, нагруженный оружіемъ—

сулицами, рогатинами, копьями, стрѣлами, красными какъ огонь щитами, провіантомъ, боченками съ пивомъ, медами, зеленымъ и не зелеными винами для князей и воеводъ. Цѣлый огромный таборъ образовался изъ обоза. Обозные распрягали лошадей, кричали, ругались, спѣша скорѣе выкупаться и выкупать лошадей. Шатровая прислуга разбивала наскоро шатры для военачальниковъ и бояръ, которые также, томимые жаромъ, плескались въ Пьяной, охлаждая свое боярское тѣло и выполаскивая свои бороды и головы отъ пыли и поту.

Изъ возовъ выгаскивались боченки съ прохладительными и горячительными напитками и подкатывались къ разбитымъ шатрамъ. Вынимались дорожные погребцы съ золотою и серебряною посудой для ѣды и питья—съ чарами, стопами, кубками, ендавами, братинами.

Скоро все союзное войнство начало утѣшаться брашнами и питіемъ. Простые ратники ѣли сухари и хлѣбъ, заѣдая лукомъ и огурцами, у кого таковые были, и запивая водой, брагой и зеленымъ виномъ. Бояре кушали кокурки, печеные яйца, всевозможные копченые и соленые полотки—гусиные, утиные и лебединые. Тотъ поѣдалъ копченаго курова, тотъ баранью ногу, гложя прямо изъ рукъ, побожески, и вытирая засаленные пальцы либо объ ширинки, либо прямо объ русы кудерюшки. Бояре кушали распоясавшись, потому—упека, Богъ теплыню пожаловалъ. Петли у рубахъ и охабней отстегнуты—вольготно такъ, хорошо. А меды пьяные такъ и пѣнутся въ рогахъ и чарахъ: рога и полныя братины переходятъ изъ рукъ въ руки, отъ однихъ жаркихъ устъ къ другимъ боярскимъ да княжескимъ устамъ. Хмѣль бьетъ въ голову, вызываетъ хороборство, похвальбу, засучиванье рукавовъ...

— Да мы-ста ихъ, кобыльихъ дѣтей! Мы имъ покажемъ, каковы суть нонѣ русичи хоробрые!—похвалялся молодой воевода, князь Иванъ Димитріевичъ, сынъ нижегородскаго князя Димитрія Константиновича, тестя московскаго великаго князя Димитрія Ивановича.

— Мы ихъ, кобылятниковъ, вспаримъ! Не то нынѣ времячко стало, что было—мы ихъ, конейдцевъ!..—подбавлялъ жару московскій воевода, засучивая рукава и рыкая на всю княжескую ставку.

— Не утратить нонѣ хоробрихъ русичей и самъ Мамайшко, песъ, а то на! Арапша, Арапшишко нѣкій, синеордянинъ... Мы нонѣ и на Золоту Орду плевать хотѣли!

— Намъ нонѣ подавай семерыхъ татаровей на единого русича!

— Противу насъ никто! Никто же на ны! Съ нами самъ Гюрги-побѣдоносецъ—вотъ кто!

Въ сторонѣ отъ воеводскихъ и боярскихъ шатровъ, по берегу Пьяной, кучами сидѣли простые воины и также проклажались. Карачаровецъ Малута рассказывалъ, какъ они съ воеводою, съ княземъ Димитріемъ Волинскимъ, Казань добывали, какъ при этомъ на нихъ „велбуды“ ревѣли и какъ они тѣхъ „велбудовъ“ не испужались. Одинъ молодой воинъ, что звали Микиткой и что хитрецъ былъ всякое крѣпкое слово загнуть, сидѣлъ

вмѣстѣ съ другими ратными подѣ раки́товымъ кустомъ и лѣниво тянулъ, подперши щеку ладонью:

Ажѣи во Москвѣ у насъ, братцы, нездорово!
Заунывно въ большой колоколъ звонили...

— Полно выть!—перебивалъ его другой ратный:—и безъ твоего вытья кручинно.

— Что кручинно? Или по бабѣ? Такъ не спѣть ли тебѣ про Чурилью-игуменью?

Кабы русая лиса голову клонила,
Пошла то Чурилья къ заутрени,
Будто галицы летятъ, за ней старицы идутъ,
Молоды бѣлички съ дѣвѣимъ старостою,
Съ молодымъ пономаремъ Иванушкою,
Что больно гораздъ былъ къ заутрени звонить...

— Тѣфу ты, окаянный!—огрызался невеселый ратный.

— Такъ не ту завелъ? Не любя?—дразнилъ его Микитка:—такъ може эту?

При старцѣ было при Макарьѣ,
Было беззаконство великое..
Старицы по кельямъ родильницы,
Черницы по дорогамъ разбойницы...

— А въ кое время кой человѣкъ что бологое поетъ, доброе, и въ оно веремѣ а́нделъ ево радуется, а бѣсъ плачетъ, а въ кое веремѣ человекъ той похабъ поетъ, и въ то веремѣ а́нделъ, крылышками закрывшись, плачетъ, а бѣсъ скачетъ и руками плещетъ,—ораторствовалъ старый благочестивый воинъ въ назиданіе молодымъ играцамъ.

А молодой игрецъ, какъ бы на зло благочестивцу, играя пальцами на губахъ, какъ на балалайкѣ, затянулъ еще болѣе разухабистую:

Отъ обѣдни да къ игумнѣ,
Отъ вечерни да въ харчевню,
Всякой день онъ напиваетца,
Въ кабакѣ пьяной валяетца...

— Ну, выходи, кто есть живъ человекъ! Подавай мнѣ татаровой поганныхъ! Всѣхъ зашибу!—хорохорился совсѣмъ уже опьянѣвшій суздалецъ, поплеывая въ ладоши и грозя невѣдомо кому.

— Такъ ихъ! Такъ жеребѣчьихъ сыновъ!—подзадоривалъ Микитка.

— Ай да богатырь! Ай да ратнище Игримище! Не спущай имъ босымъ головамъ!

Вдругъ съ разныхъ сторонъ слышалось дикое, неистовое гиканье, точно бы неслись откуда-то цѣлыя стада взбѣсившихся звѣрей, собакъ и волковъ. Въ воздухѣ засвистали и завывали стрѣлы, зазвенѣло оружіе, заржали лошади. Облака пыли полужакрывали что-то страшное, темною тучею охватывавшее съ трехъ сторонъ растерявшіяся русскія рати

— Арапша! Арапша!—пронеслись по всему стану испуганные крики. Растерянные от неожиданности, обезумѣвшіе отъ страха, пьяные и непьяные кидались воины къ обозу, ища своего оружія, спотыкаясь и падая. Испуганные кони неслись черезъ станъ къ рѣкѣ, опрокидывая все на пути—шатры, телѣги, боченки съ медами, мечущихся ратныхъ.

А стрѣлы напирającego со всѣхъ сторонъ нежданнаго врага уже пронизывали шатры, вбивались въ землю, сбивали листья съ деревьевъ, вонзались въ беззащитное тѣло русичей, ранили и доводили до бѣшенства коней...

Татары уже тутъ, въ самомъ станѣ. Князь Иванъ Димитріевичъ, наскоро облачившись въ тяжелые боевые доспѣхи и ступивъ въ стремя подведеннаго къ нему коня, крича, надрывая грудь, чтобы строились въ ряды, подымали стяги... Напрасно! голосъ его замиралъ въ невообразимомъ гамѣ и ревѣ нечеловѣческихъ голосовъ и воплей... Пошли въ ходъ арканы, сабли, рукопашная свалка... Впереди татарскаго войска, на бѣломъ арабскомъ конѣ, какой-то маленькій, сухой, тщедушный и черный какъ зѣюпъ татарченокъ дико визжалъ, отдавая приказанія и сверкая въ воздухѣ изогнутымъ клинкомъ: это былъ самъ Арапша царевичъ, свирѣпый азіатецъ, выросшій на сѣдлѣ и вскормленный постоянною войною.

Русичи опрокинуты въ воду... Какъ овцы бросились они въ рѣку, тонутъ, топили и давили другъ дружку. Пьяна была скоро запружена русскими тѣлами. Иные по этимъ тѣламъ перебирались на тотъ берегъ рѣки и спасались бѣгствомъ... Весь обозъ, шатры, запасы, оружіе, одежда—все было во власти татаръ...

По ту сторону Пьяной, у самаго берега, изъ помятой осоки блестѣлъ золоченый шлемъ надъ молодымъ мертвымъ лицомъ: молодой утопленникъ былъ военачальникъ злополучныхъ русичей, князь Иванъ Димитріевичъ нижегородскій...

Долго помнили потомъ русичи рѣку Пьяную.

III.

Русскіе полоняники въ Ордѣ.

Послѣ несчастной для русскихъ битвы на берегахъ рѣки Пьяной, Арапша, опустошивши на сотни верстъ кругомъ города и села, съ огромною добычею и полономъ возвращался въ Орду. Черезъ земли мордовскихъ князей, которые ему помогали, онъ вышелъ на Волгу и направился къ малой столицѣ хановъ—къ Укеку, стоявшему на возвышенномъ берегу этой рѣки, въ двѣнадцати верстахъ ниже нынѣшняго Саратова.

Въ концѣ августа, когда загоны Арапши приблизились къ Укеку, погода стояла ясная, совершенно лѣтняя, хотя уже безъ лѣтняго зноя. Загоны слѣдовали по возвышенію, съ котораго глазамъ путника открывались виды на необозримое пространство. Полоняники и полонянки, которыхъ было нѣсколько сотъ, шли съ обозомъ, а болѣе слабые, особенно же молодыя дѣвушки и

дѣти были посажены на телѣги, нагруженные добычею, или же на смиренныхъ вьючныхъ лошадей. Пѣшіе шли сворами, навязанные на длинные канаты, и только нѣкоторые изъ нихъ, болѣе безпокойные и сильные, были прикованы къ телѣгамъ или скованы попарно ручными и ножными кандалами. На одной сворѣ шли, рядомъ съ телѣгою, знакомые уже намъ карачаровцы, которыхъ татары захватили на игрищѣ, въ самый разгаръ величавѣй таинственнаго Дидѣ-Лада. Ражій, здоровенный дѣтина, котораго называли Ярополкушкой и который за „выкупъ коней“, „потоптавшихъ просо“, требовалъ не одну „дѣвицу“, а „всѣхъ дѣвокъ“, былъ прикованъ къ телѣжной оглоблѣ и шелъ словно продажный жеребецъ въ легкой пристяжкѣ, безъ хомута. Рядомъ съ нимъ шла большекосая и полногрудая Доброгнѣва, карачаровская красавица, босая, какъ была и дома, и съ каменными пестрыми бусами на загорѣлой шеѣ. Хотя татары иногда и отгоняли ее отъ прикованнаго молодца, отводили въ другую свору полоняниковъ, но она отъ этого такъ худѣла и спадала съ тѣла, что ее опять, какъ телку къ коровѣ, подпускали къ Ярополку, и она опять полнѣла и здоровѣла. Тутъ же шли и другія карачаровскія дѣвки—Горислава, Прекраса, Верхуслава. Маленькій Добрынька, что еще недавно выдавалъ себя за Мамаю, не могъ выносить долгаго пути въ Орду и потому былъ посаженъ татарами на телѣгу въ видѣ погонщика.

Полоняники пораженъ были видомъ, который развернулся передъ ихъ глазами съ нагорнаго берега рѣки, никогда ими невиданной. Прямо передъ ними—городъ, обнесенный высокими зубчатыми стѣнами. Это Укекъ, отъ котораго въ настоящее время уцѣлѣли только кучи мусора. На поворотахъ стѣнъ возвышаются остроконечныя башни. Въ разныхъ мѣстахъ торчатъ тонкія иглы минаретовъ. Чѣмъ-то сказочнымъ вставалъ передъ глазами изумленныхъ полоняниковъ этотъ городъ, въ которомъ не было ничего похожего на то, что доселѣ ими было видано. Казалось, что не люди тамъ живутъ, а что-то тоже сказочное: змѣи-горынычи, стерегущіе прекрасныхъ полонянокъ, бабы-яги, летающія въ ступахъ, или соловьи-разбойники. А тамъ далѣе—широкая, какъ море, рѣка. Не видать ни начала, откуда она несетъ цѣлое море воды, ни конца, къ которому стремится эта голубая вода. Тамъ и сямъ виднѣются плывущія суда...

— Ока-матушка! родненька!—невольно вырвалось изъ груди Доброгнѣвы.

— Не Ока это, Гнѣвынька,—печально покачалъ головой прикованный къ оглоблѣ молодецъ.

— Не Ока, баишь?—удивилась Доброгнѣва.

— Не Ока—Ока у насъ, въ Карачаровѣ... А это, поди, Дунай...

— Что въ пѣснѣ-то поется?

— Ояъ, Гнѣвынька.

И оба замолчали въ тяжеломъ, безнадежномъ сознаніи, что ихъ загнали на край свѣта, къ пѣсенному тихому Дунаю да къ морю Хвалынскому... А за этимъ Дунаемъ виднѣется безконечная степная даль, которая сходится съ концомъ свѣта и на которую опустилось краемъ голубое небо.

Въ это время впереди показался обозъ изъ нѣсколькихъ колымагъ и телѣгъ крытыхъ и некрытыхъ. Новый обозъ пересѣкалъ путь, по которому слѣдовали полоняники. Въ колымагахъ и около нихъ виднѣлись черныя фигуры съ черными шапочками и покрывалами на головахъ, напоминавшія монаховъ. Татары, сопровождавшіе полоняниковъ, съ криками и высвистами обскакали обозъ со всѣхъ сторонъ, повидимому, требуя, чтобъ обозъ остановился. Онъ дѣйствительно тотчасъ же остановился. Нѣкоторыя изъ черныхъ фигуръ перекрестились.

— Мати Божя! Никакъ наши кресты творять!—изумленно воскликнула Доброгнѣва.

— И то наши: не то попы, не то чернецы—Микола угодникъ!—удивился и прикованный малый.

— Чернецы—чернецы и есть! Матушки!..

И полоняники толпою сунулись къ обозу, обступили его, несмотря на татарскія нагайки, которыми отгоняли любопытныхъ отъ колымагъ.

Подскакалъ и Арапша на своемъ бѣломъ аргамакѣ. Слышались крики, вопросы. Изъ передней, самой обширной и богато убранной колымаги, поддерживаемый чернецами, вышелъ высокій старикъ въ бѣломъ клобукѣ и съ золотымъ крестомъ на груди. Въ рукѣ у него былъ посохъ. Сѣдая длинная борода, старческій видъ и кроткіе, проникающіе въ душу глаза, внушали, повидимому, страхъ и почтеніе самимъ татарамъ.

— Миръ вамъ, людіе, чада единаго Бога!—кротко произнесъ старикъ, благословляя на всѣ стороны.

Арапша, приподнявшись на сѣдлѣ всею своею тщедушною фигурою, сказалъ что-то стоявшему рядомъ съ нимъ всаднику въ богатомъ татарскомъ одѣяніи. Тотъ кивнулъ головой, на которой красовалась зеленая чалма.

— Ты кто еси, старче? —спросила зеленая чалма съ горловымъ татарскимъ выговоромъ.

— Азъ есмь Михайло, Божією милостію и ярлыкомъ Атюляка-царя, митрополить кіевскій и всея Руссіи,—отвѣчалъ старикъ.

Зеленая чалма передала эти слова Арапшѣ. Арапша снова сказалъ что-то чалмѣ.

— А гдѣ твой ярлыкъ Атюляка-царя?—спросила чалма.

Митрополить распахнулъ свою черную мантию, подъ которой висѣлъ у него на груди складной образъ, украшенный дорогими камнями, и, раскрывъ складень, досталъ оттуда сложенную вчетверо бумагу.

— Се ярлыкъ Атюляка-царя, —сказалъ онъ, подавая бумагу зеленой чалмѣ.

Чалма взяла бумагу, бережно развернула ее и, показавъ Арапшѣ, тихо пояснила: „тамга — салгаты — карапчи“... Арапша кивнулъ головой и опять что-то промолвилъ.

„Безсмертнаго Бога силою и величествомъ“, громко читала ярлыкъ зеленая чалма. „Изъ дѣдъ, изъ прадѣдъ, изъ первыхъ царей и отъ отецъ нашихъ, Атюлякъ-царь слово рекъ, Мамаевою мыслію дядиною“.

При словахъ „Атюлякъ“ и „Мамай“ Арапша прикасался пальцами ко лбу и прижималъ ладонь къ тому мѣсту, гдѣ у него должно бы было быть сердце.

„Ординскимъ и улуснымъ всѣмъ и ратнымъ княземъ“, продолжала зеленая чалма: „и волостнымъ дорогамъ и княземъ, писцемъ и тамошникомъ, и побережникомъ, и мимохожимъ посломъ, и сокольникомъ, и пардусникомъ, и бураложникомъ, и сотникомъ, и заставщикомъ, и лодейникомъ, или кто на каково дѣло ни пойдетъ, и многимъ людямъ. Отъ первыхъ царей при Чингисъ-царь, и по немъ иные цари, Азизъ и Бердибекъ, и тѣ жаловали церковныхъ людей, а они за нихъ молились. И весь чинъ поповскій, и всѣи церковніи люди, не токмо жаловали ихъ, какова дань ни буди, или какая пошлина, или которые доходы, или заказы, или работы, или кормы,—ино тѣмъ церковнымъ людямъ ни видити, ни слышати того не надобъ, чтобъ во упокой Бога молили и молитву за нихъ-воздавали Богу...“

Арапша прервалъ чтеніе, взялъ изъ рукъ читающаго ярлыкъ и сталъ его разсматривать: посмотрѣлъ на „алую“ тамгу, оборотивъ ее, взглянулъ на шнурокъ и, снова приложивъ руку ко лбу и къ сердцу, подалъ бумагу митрополиту.

— Великъ ярлыкъ,—улыбнулась зеленая чалма:—и ала тамга есть... Данъ ярлыкъ не заячьяго, а овечья лѣта — дарыка въ семьсотъ осьмое лѣто... Хорошъ ярлыкъ, крѣпка... А куда, старче святой, ѣдешь? — спросила чалма.

— Изъ Орды въ Кіевъ, на свой столъ,—отвѣчалъ митрополитъ, пряча ярлыкъ въ складни.

— Съ Богомъ, старче.

Арапша ударилъ въ ладоши. Стоявшій за нимъ татаринъ затрубилъ въ рогъ, и Арапша вмѣстѣ съ зеленой чалмой поѣхали далѣе къ Укеку.

Полоняники бросились къ митрополиту цѣловать руки. Женщины и дѣти плакали. Старикъ усердно крестилъ ихъ, поднимая къ небу глаза, на которыхъ тоже блистали слезы.

— Не плачьте, дѣти... Молитесь Богу единому въ Троицѣ, Той свободить вы изъ плѣненія,—говорилъ онъ, усаживаясь въ свою колымагу.

— Батюшка! голубчикъ! угодничекъ! — плакалась Доброгнѣва, цѣлуя мантию митрополита.

— Молись за насъ, святой митрополитъ! — слышались другіе голоса полоняниковъ.

— Буду, буду молиться о страждущихъ, плѣненныхъ, — буду, дѣтки мои, — говорилъ старикъ, осѣняя крестомъ толпившихся около колымаги злополучныхъ соотечественниковъ.

Опять затрубили рога, слышались татарскіе возгласы, удары нагаекъ... Все двинулось въ путь — и колымаги, и телѣги съ черными фигурами скоро скрылись изъ виду.

Встрѣча полоняниковъ съ своими черными соотечественниками была

такъ неожиданна и такъ глубоко поразила ихъ, была притомъ такъ кратко-временна, что имъ казалось, будто они все это видѣли во снѣ въ этомъ заколдованномъ царствѣ змѣя-горынища. А вотъ и его городъ за высокими стѣнами, городъ Укекъ... Съ испугомъ глядятъ на него карачаровцы, крестятся со страху... Что-то еще будетъ съ ними? — куда-то еще погонять ихъ?

— Я убѣгу, какъ только откуютъ меня, — сказалъ вдругъ Ярополкъ, глядя на укекскія стѣны.

Доброгнѣва съ боязнью и тоской посмотрѣла на него.

— Дорогу я помню—найду... все степью да междулѣсьемъ,—продолжалъ какъ бы про себя прикованный.

— А я-то... что со мною будетъ?—съ испугомъ спросила Доброгнѣва.

— И ты, Гнѣвынька, со мною, — успокоили ее.

Но полоняниковъ не погнали въ городъ, а расположили на берегу Волги, вдоль городскихъ стѣнъ.

Едва въ городѣ узнали о пришествіи загоновъ съ добычею и полонномъ, какъ кучи татаръ и татарчатъ высыпали на берегъ поглядѣть на полоняниковъ. Татары разсматривали ихъ, прицѣнивались, иногда плотоядно посматривали на дѣвушекъ. Татарчата прыгали около нихъ, пѣли, дразнили, высовывали языки.

Между тѣмъ, на берегу уже готовились лодки для перевоза полоняниковъ на ту сторону Волги: одна часть ихъ должна была идти къ Сараю тою стороною Волги, луговою, а другая—нагорною. Карачаровцы оказались въ числѣ той половины, которая должна была переправиться за Волгу.

Все это было такъ скоро сдѣлано, что полоняники разныхъ городовъ и селъ, успѣвшіе за дорогу перезнакомиться и привыкнуть другъ къ другу, теперь не могли и проститься порядкомъ, какъ очутились ужъ въ большихъ плоскодонныхъ лодкахъ. Поднялся плачъ и съ той, и съ другой стороны. Пошли гулять по спинамъ несчастныхъ татарскія нагайки.

Но вотъ лодки отчалили. Татары-гребцы налегли на весла, и лодки быстро удалялись отъ берега. Вдругъ на одной изъ лодокъ послышался отчаянный крикъ, и что-то, мелькнувъ передъ глазами, бултыхнуло въ воду.

— Матушки! Кто-то въ воду кинулся! Богородица, спаси!

— Верхуслава! Верхуславушка кинулася!

Нѣкоторыя изъ лодокъ пріостановились и ждали. На томъ мѣстѣ, гдѣ исчезла подъ водою молодая полоняночка, выходили изъ воды пузыри, отходя все далѣе и далѣе внизъ по теченію. Наконецъ, далеко ниже лодокъ, что-то вынырнуло изъ воды. Показалась рука, голова мелькнула.

— Вымырнула! голубушка, вымырнула!—всплеснула руками Доброгнѣва.

Не успѣла она вскрикнуть, какъ ражій Ярополкушко, рванувъ цѣпь, которою онъ былъ прикованъ къ носу лодки, оборвалъ ее и кинулся въ воду. Снова отчаянные крики. Но ражій дѣтина не пошелъ ко дну. Напротивъ, работая руками и встряхивая мокрыми волосами, онъ въ нѣсколько взмаховъ очутился около утопающей и схватилъ ее за косу. Онъ

упорно боролся съ теченіемъ рѣки, но его относило все ниже и ниже. Лодка ударила по водѣ веслами и погналась за утопающими полоняниками. Она скоро настигла ихъ. Ярополку подали багоръ, и онъ уцѣпился за него, держа другою рукою утопленицу. Скоро ихъ обѣихъ втащили въ лодку, но съ несчастной дѣвушкой, казалось, все уже было покончено: она лежала блѣдная, бездыханная... Другія дѣвушки, ея подруги по игрищу, горько плакали надъ нею...

IV.

„Мамай идетъ“. Русскіе князья у Сергія. Пересвѣтъ и Ослябя.

Оставимъ злополучныхъ полоняниковъ въ ихъ томительномъ странствіи къ далекой столицѣ хановъ и воротимся на святую Русь, гдѣ также было немало горькаго.

Пораженіе русскихъ на берегахъ Пьяной рѣки не успокоило и не удовлетворило алчнаго Мамай: ему одного хотѣлось—больше и больше денегъ, цѣлыя горы денегъ, цѣлыя груды блестящаго „алтынъ-денга“. Его, „всегомогущаго царя царямъ“, возмущало и то, что русскіе „улусники“ и „подручники“ его, „рабы рабовъ“ его, которыхъ его прадѣдъ, пресвѣтлый Чингисъ, держалъ у своего стремени, а пресвѣтлый дѣдъ его, Узбекъ-ханъ, рѣзалъ десятками, какъ барановъ на шашлыкъ, что вдругъ эти князья-„улусники“ не только не гнутъ покорно свои рабыи шеи, но еще смѣютъ поднимать головы и даже вступать въ бой съ его загонами, какъ это было на Пьяной. Надо унять ихъ, надо доказать имъ, что „великъ Богъ Мамаевъ“, что какъ онъ одинъ — владыка всей вселенной, земли и воды, солнца и свѣту, луны и звѣздъ, такъ и онъ, великій Мамай-ханъ, одинъ ханъ подъ луною, одинъ можетъ поить коня своего во всѣхъ рѣкахъ и озерахъ вселенной, и какъ всѣ рѣки несутъ свою дань океану, такъ и всѣ его князья—„улусники“, всѣ эти Дмитріи и Олеги, Михайлы и Александры, московскіе и рязанскіе, тверскіе и суздальскіе,—всѣ должны покорно нести ему дань, много дани, какъ много воды изливаютъ въ океанъ подручныя ему рѣки.

И вотъ въ 1377 году Мамай опять посылаетъ новую орду на Русь. Орда валитъ на Нижній, беретъ его на вѣропъ, пустошитъ, палитъ огнемъ и тысячи плѣнныхъ гонитъ въ свои необозримыя заволжскія степи. Другая орда идетъ на московское княжество черезъ рязанскую землю — наказать „улусника“ Дмитрія, московскаго „князя“. Но московскій князь не ждетъ гостей къ себѣ на домъ, въ Москву, и спѣшитъ перестрѣть ихъ въ дорогѣ. Съ нимъ два союзника — полоцкій князь Андрей Олгердовичъ и князь пронскій. Москва сшибается съ татарами на Вождѣ рѣкѣ и повторяетъ татарамъ урокъ, данный русичамъ Арапшею на рѣкѣ Пьяной. Татары захлебываются мутными и кровавыми Вожи, а что не захлебнулось—безпорядочно бѣжитъ въ свои степи.

Мамай окончательно свирѣпѣеть. Онъ посылаетъ третье полчище— разорить рязанскую землю за то, что одинъ изъ ея князей, пронскій, участвовалъ въ битвѣ при Вождѣ, и самъ собирается идти и посыпать пепломъ, залить кровью всю московскую землю и загатить рѣки ея трупами князей, бояръ, и ратныхъ, и нератныхъ людей. Онъ начинаетъ собирать несмѣтное ополченіе, но не изъ однихъ татаръ, а изъ народовъ всего извѣстнаго ему міра. Глашатаи его разсыпались по Азіи, по предгоріямъ и горамъ Кавказа, по ногайской землѣ и по Крыму: Фряги изъ Крыму, Черкесы и Ясы—все шло въ его „толпища“...

Олегъ, князь рязанскій, видѣлъ неминуемую гибель и сталъ просить пощады у разсвирѣпѣвшаго татарина. Онъ называлъ себя „вѣрнымъ рабомъ“ Мамай, его „посаженикомъ“ и „присяжникомъ“, а самого Мамай— „восточнымъ вольнымъ великимъ царемъ царямъ“, „пресвѣтлымъ“ и „милостивымъ“. Онъ совѣтывалъ ему идти на Дмитрія, называя его Мамаевымъ „служебникомъ“ и „улусникомъ“, который осмѣлился оказать своему повелителю „непокорство“ и „гордость“. Олегъ только для себя просилъ пощады и милости, но не для Дмитрія. „Мы оба,—писалъ онъ въ своей униженной грамотѣ,—рабы твои; но я служу тебѣ со смиреніемъ и покорствомъ, а онъ къ тебѣ съ гордостію и непокорствомъ...“

Въ то же время Олегъ снесся съ Ягелломъ, княземъ литовскимъ. И его онъ просилъ идти противъ Дмитрія, соединиться съ Мамаемъ, выгнать московскаго князя изъ Москвы и овладѣть московскою землею...

Вотъ какая гроза собиралась надъ московскою землею.

Весною 1380 года Мамай со всѣми своими силами изъ Орды двинулся на русскую землю. Онъ шелъ лѣвымъ путемъ, къ Воронежу, чтобъ пощадить землю покорнаго „улусника“ и „раба“ своего, Олега рязанскаго.

Дмитрій московскій видѣлъ, что грозная туча, нависшая надъ русскою землею, должна была разразиться громами надъ его именно головой и потомъ уже пронестись разрушительнымъ ураганомъ надъ всею тогдашнею Русью—надъ землями московскими, суздальскими, владимірскими, нижегородскими, тверскими, бѣлозерскими, каргопольскими, устюжскими, ярославскими, ростовскими, серпейскими, новосильскими и иными, надъ всѣми мелкими удѣлами, на которые была тогда разбита русская земля, словно риза, сшитая изъ лоскутковъ. Надо было всѣ эти лоскутки сплотить воедино, чтобъ укрыться отъ грозы—и это трудное дѣло пришлось дѣлать Дмитрію. Онъ сдѣлалъ его: онъ первый объединилъ всю русскую землю въ Москвѣ, и съ тѣхъ поръ Москва стала сердцемъ Руси. Это величайшая заслуга Дмитрія: не Иванъ III и не Иванъ IV были „собирателями“ русской земли, а Дмитрій—онъ ее совокупилъ духомъ. Не будь этого духовнаго совокупленія, едва ли скоро послѣдовало бы и объединеніе земельное, гражданское.

Какъ же Дмитрію удалось сдѣлать такое великое дѣло? А очень просто: ему помогъ тотъ же Мамай своею ошибкой—и ошибка эта была громадная, непоправимая. Прежніе ханы владѣли русскою землею, не насилуя ея вѣры;

мало того—они даже оберегали русскую церковь своими ярлыками, какой мы уже видѣли въ предыдущей главѣ въ рукахъ кievскаго и „всея Русіи“ митрополита Михаила Митяя: этотъ ярлыкъ данъ былъ ханомъ Атюлякомъ по совѣту своего дяди, Мамай — „Мамаевою мыслию дядиною“. И вдругъ этотъ добрый дядюшка, сковырнувъ съ ханскаго трона своего недалекаго племянничка Атюляка и разсердившись на Дмитрія московскаго, велѣлъ объявить русской землѣ „Мамаево слово таково“:

— Возьму русскую землю, разорю христiанскія церкви, ихъ вѣру на свою переложу и велю кланяться Магомету; гдѣ были у нихъ церкви, тамъ поставлю мечети...

Понятно, что Мамай этимъ уже не Дмитрію грозилъ, а задиралъ всякаго „русича“ — и Карпа, и Сидора, Митяя и Миняя, Рогволода и Микитку, который умѣлъ „загибать гораздо“. Услыхавъ таковое „Мамаево слово“, всѣ Микитки и Добрыньки, что называется, „окрысились“ за себя: „нѣтъ, шалишь, братъ: не трошь насъ, не замай нашу вѣру — „сдачи дамъ!“

И дѣйствительно дали!... Дмитрій понялъ духъ Микитокъ да Добрынекъ — и воспользовался имъ. Онъ разослалъ по всей сѣверной русской землѣ увѣщательныя и призывныя грамоты къ великимъ и малымъ князьямъ и князькамъ удѣльнымъ, а тѣ оповѣстили своихъ бояръ, ратныхъ и черныхъ людишекъ—этихъ безсмертныхъ въ своей совокупности Микитокъ да Добрынекъ, что такъ и такъ-де: „безбожный-де Мамай хочетъ православную вѣру переложить на бусурманскую, на агарянскую да на срацынскую ересь“... Каково! на срацынскую! Да ужъ срамнѣе этой, срацынской-то вѣры и на свѣтѣ нѣтъ — сказать стыдно! — а! срацынская! Да ужъ это послѣднее дѣло. Не роди мати на свѣтѣ, коли срацынами подѣлаться и срацынскимъ крестомъ креститься! Ужъ это что-жъ! За это помирать надо!..“

Загалдѣли Микитки да Добрыньки объ срацынской вѣрѣ, взвыли бабы по всей русской землѣ! А ужъ коли бабы взвоютъ, такъ тутъ и святыхъ вонъ уноси...

И вотъ валомъ повалили русскіе люди — князи и бояре, ратные и охотные люди, чернопашенные людишки и всякая смердь — все повалило къ Москвѣ со своими князьями:—„не пущать на Русь срацынскую вѣру, биться за свою вѣру до послѣдней капли крови“...

Въ теченіе лѣта въ Москву сползли, словно мыши въ овинъ, тучи ополченцевъ со своими князьями и князцами, лыкомъ шитыми, да все же православными—съ каргопольскими, устюжскими, бѣлозерскими, ярославскими, ростовскими, серпейскими...

Первымъ дѣломъ Дмитрій московскій повелъ ихъ къ Троицѣ. Это была тогда еще бѣдненькая обитель, вся охваченная дремучимъ дѣвственнымъ лѣсомъ, сколоченная изъ этого же лѣсу руками преподобнаго Сергія и его немногочисленной братіи. Мрачно смотрѣлъ пустынный боръ, когда раннимъ утромъ Дмитрій вмѣстѣ съ другими удѣльными князьями узкою тропою пробирался въ святую обитель. Тропа была такъ узка, что можно было

пробираться только гуськомъ, конь за конемъ. Мертвенно тихо было въ бору. Слышалось только, какъ дятель долбилъ кору сухого дерева, да бѣлка, прыгая съ вѣтки на вѣтку, стучала сбитыми ею еловыми шишками. Гигантскія вѣтви елей и сосенъ, протягиваясь черезъ тропу надъ головами путниковъ, казалось, силились закрыть отъ нихъ просвѣты голубого неба, которое смотрѣло слишкомъ отрадно для этой уединенной, прячущейся и отъ неба, и отъ людей дорожки, протоптанной въ обитель горькихъ слезъ и отчужденія отъ свѣта и его радостей. Димитрій и его спутники ѣхали молча, съ задумчиво опущенными головами, какъ будто бы каждому, словно передъ послѣднею исповѣдью, хотѣлось припомнить прожитую жизнь, оглянуться на пройденный путь, которому нѣтъ возврата и къ тому роковому рѣшенію, которое каждый изъ нихъ принялъ безповоротно, неизмѣнно, какъ обѣтъ, какъ послѣднюю схиму. Раздавалось иногда въ этой мертвой тиши фырканье лошади, брязгъ стремени или оружія, трескъ переломленнаго копытомъ сушника—и снова невозмутимая, могильная тишина... Тамъ, выше этого мрачнаго бора, въ голубой, почти невидимой выси, иногда прокрячетъ своимъ звонкимъ крикомъ соколъ; а здѣсь, подъ шатромъ вѣтвей, тихо, мертвенно, какъ будто бы строгая и молчаливая природа отогнала отсюда всякую жизнь, всякое движеніе, отогнала туда, гдѣ живутъ люди съ ихъ обманчивыми радостями, съ ихъ мимобѣгущимъ счастьемъ, которое отлетаетъ какъ сновидѣніе при пробужденіи, какъ кадильный дымъ надъ могилой.

Длинна и узка, какъ путь ко спасенію, эта лѣсная тропа. Вотъ уже который часъ ѣдутъ, а конца ей нѣтъ. Солнце уже высоко поднялось надъ боромъ, но его, этого Божьяго ока, не видать за гигантскими деревьями, и только въ просвѣтахъ небо кажется еще голубѣе да видимыя вершины бора ярко окрашиваются имъ однимъ видимымъ свѣтомъ. Но вотъ по чащѣ пронесся плачущій металлическій звукъ. Всѣ вздрогнули и перекрестились; кони подняли головы, насторожили уши. Звукъ повторился, за нимъ третій, четвертый—ожилъ лѣсъ, заговорилъ...

— Било благовѣстное... То голосъ Божій зоветъ насъ,—набожно промолвилъ Димитрій.

— Добрая година, въ пору достигли обители,—отвѣчалъ ѣхавшій за нимъ другъ его, князь Владиміръ Андреевичъ.

Скоро боръ какъ бы раздвинулся. Въмѣсто узкаго голубого просвѣта показалась цѣлая голубая пелена, раскинувшаяся надъ лѣсною полянкою, на которой стояла бѣдная обитель, ставшая въ послѣдствіи первоклассною святынею русской земли. Маленькая деревянная церковка, крестъ которой не достигалъ даже до вершинъ сосѣднихъ столѣтнихъ елей и сосенъ; маленькія низенькія келейки съ маленькими же оконцами, болѣе приличными надмогильнымъ голубцамъ, чѣмъ жилью человѣческому,—все это, вся эта полянка съ обителью въ чащѣ бора казалась живымъ кладбищемъ...

Пріѣзжіе, очутившись на полянкѣ, сошли съ коней и привязали ихъ къ сосѣднимъ деревьямъ. Ни души кругомъ: вся обитель была въ церкви на молитвѣ.

Пріѣзжіе пошли въ церковь. Станнымъ казалось, какъ массивное, тучное тѣло Димитрія могло пройти въ эту узенькую дверь скромнаго храма, помѣститься въ немъ; странно бросались въ глаза эти золотые и серебряные доспѣхи на пріѣзжихъ, это бряцающее оружіе...

Въ мрачной церкви шла служба. Тускло теплились восковыя свѣчи въ паникадилахъ и въ свѣчныхъ ячейкахъ у образовъ. Дымъ отъ ладону ходилъ клубами надъ невысокимъ амвономъ и запахомъ своимъ напоминалъ смерть, отпѣваніе, „последнее цѣлованіе“ кого-то... Все отдавало могилей, смертью, послѣднимъ расчетомъ съ жизнью...

Князя тихо, боясь бряцать оружіемъ, вошли и какъ-то оторопѣли. Молодой, прекрасный грудной голосъ читалъ: „Братіе моя, не на лица зряще имѣйте вѣру Господа нашего Іисуса Христа славы. Аще бо увидеть въ сонмище ваше мужъ, златъ перстень нося въ ризѣ свѣтлѣ...“ Великій князь невольно глянулъ на своего друга Владиміра, потупился на себя, и краска стыда залила его полное, красивое лицо, окаймленное густою русою бородой... Ему казалось, что это именно объ немъ читаютъ: у него и „перстень златъ“, и „риза“ цвѣтная, золотная, и золотая гривна на шеѣ... И Владиміръ глянулъ на него и понялъ его мысль...

— „Видеть же и нищъ въ худѣ одеждѣ—продолжалъ звучный молодой голосъ:—и воззрите на носящаго ризу свѣтлу и речете ему: ты сяди здѣ добръ. И нищему речете: ты стани тамо, или сяди здѣ на подножіи моемъ. И не разсмотрите въ себѣ и бысте судіи помышлений злыхъ...“

Великій князь сталъ всматриваться въ того, кто читалъ это. Лицо показалось ему знакомымъ. Это молодое, мужественное, хотя блѣдное лицо, оттѣняемое черною, какъ смоль, и мягкой, какъ шелкъ, небольшою бородою, этотъ низкій, матовой бѣлизны лобъ, полузакрытый черною скуфейкою въ видѣ повязки, эта статная, массивная фигура, обрисовывшаяся и подъ черною рясою, мужественная осанка, ростъ, голосъ:—все приковывало къ себѣ вниманіе князя. Знакомо ему это красивое лицо. Не тутъ, не въ этой мрачной обстановкѣ онъ видѣлъ его, и не тутъ ему мѣсто, не въ этомъ живомъ склепѣ съ заживо похороненными людьми, вдали отъ жизни и ея жгучихъ требованій. Въ золотномъ платьѣ ему слѣдовало бы быть, въ блестящемъ вооруженіи, съ золотою гривною на шеѣ, въ самомъ водоворотѣ жизни... Гдѣ онъ видѣлъ его? Кто онъ?... А онъ, этотъ молодой чернецъ-богатырь, продолжалъ все читать что-то въ душу проникающее...

— „Слышите, братія моя возлюбленная!—звучалъ прекрасный голосъ:—не Богъ ли избра нищія міра сего, богаты въ вѣрѣ и наслѣдники царствія, еже обѣща любящимъ его? Вы же укористе нищаго. Не богатіи ли насилуютъ вамъ и тѣи влекутъ вы на судища? Не тѣи ли хулятъ доброе имя, нареченное на васъ?“...

Великому князю становится страшно: это его обличаютъ... Онъ обходилъ нищихъ, отвращалъ лицо свое отъ ихъ лохмотьевъ, потому что ему, князю, этихъ нищихъ, было стыдно и ихъ лохмотьевъ... Не за это ли Богъ посылаетъ на него мечъ свой, чтобъ отнять у него достояніе его и людей

его, которыхъ онъ не одѣлъ, а обобралъ, пригнетая поборами многими? Онъ обвелъ церковь глазами, какъ бы ища помощи... Черныя головы стоятъ, низко склонившись, и что-то глубокое думаютъ... О немъ думаютъ, объ его неправдахъ, о томъ, какъ онъ забывалъ этихъ нищихъ, ползая передъ Мамаемъ, выпрашивая ярлыкъ на великое княженіе... Онъ глянулъ на образа—и тѣ спрячутъ отъ него лики свои...

Кто-то глубоко и тяжело вздыхаетъ... Кто-то тяжело бьетъ себя въ перси...

Смущенный и тревожный стоялъ князь во все время службы и за молебномъ. Онъ, казалось, неслышно исповѣдывался невидимому Богу во всемъ, что тяготѣло надъ его совѣстью, надъ его памятью, надъ всѣми его дѣлами... Не онъ ли погубилъ тверскихъ князей? Не на его ли душѣ кровь многихъ погибшихъ и въ Ордѣ, и на Руси? Не за его ли грѣхи изнываютъ въ полонѣ, въ степяхъ Кипчака и далѣе, тысячи несчастныхъ?

Къ нему подошелъ ветхій, согбенный старичекъ съ крестомъ въ рукѣ и глянулъ ему въ глаза своими дѣтскими, моргающими глазами... Какъ глубоко взглянули въ него эти добрые глаза!... Они, казалось, видѣли все, что было въ его жизни дурного, злого, грѣшнаго, неправдаго—и некуда спрятаться отъ этихъ добрыхъ, но неумолимыхъ своимъ всевѣдѣніемъ глазъ...

— Отче святыи! — робко пробормоталъ великій князь, склоняясь передъ крестомъ.

— Благодать Господня на тя, княже! — прошепталъ внятно старческій голосъ.

Старичекъ благословилъ князя. Князь опять глянулъ на него: блѣдное, мертвенно-матовое лицо, серебро волосъ, выбившихся изъ-подъ клобука, блѣдная рука съ крестомъ, рука такая худая и безсильная, что едва держитъ крестъ... Гдѣ же эта сила въ этомъ живомъ мертвецѣ?... А князь пришелъ просить у него силы, поддержки и чувствовалъ, что тутъ эта сила, тутъ, въ этомъ видимомъ безсиліи... Это былъ преподобный Сергій.

По окончаніи службы, Сергій пригласилъ князей въ обитель, въ трапезную. Бѣдно и мрачно было и въ трапезной, какъ бѣдно кругомъ и какъ мрачно въ дремучемъ лѣсу, черезъ который путники проѣхали. И трапеза была бѣдна—совсѣмъ не княжеская. Всѣ иноки были въ трапезной, и трапеза совершалась, такъ сказать, соборнѣ. Дмитрій часто поглядывалъ на того красиваго, мужественнаго чернеца, который читалъ въ церкви. Онъ вспомнилъ, что видѣлъ его когда-то въ числѣ дружинниковъ князя Волынскаго, въ то время, какъ дружины его возвратились изъ-подъ смиренной ими Казани. Чернеца этого звали Пересвѣтомъ: военная слава его, какъ и слава брата его Осляби, гремѣла тогда на всю Москву; храбрость ихъ была безпримѣрная; о силѣ ихъ говорили, какъ о силѣ сказочныхъ богатырей; московскія дѣвушки, боярыни и княгини, видѣвшія ихъ хоть разокъ, хоть мелькомъ, не могли забыть ихъ красоты и долго потомъ вздыхали по младомъ Пересвѣтушкѣ и свѣтъ-Ослябушкѣ. Были они изъ богатаго и знатнаго роду. Впереди ихъ ждали слава, почетъ, власть, счастливая, полная радостей жизнь... И вдругъ они отказались отъ всего—

отъ почестей, отъ друзей, отъ славы и отъ всего свѣта: знакомою уже намъ лѣсною тропою пробрались они къ преподобному отшельнику Сергію и умолили его принять ихъ въ свою обитель... Какъ ни отговаривалъ ихъ этотъ святитель, видя красоту и молодость воиновъ, но, когда они открыли ему свою душевную тайну и выдержали строжайшій искусъ, онъ совершилъ надъ ними обрядъ постриженія.

Ослябя былъ тутъ же—великій князь тотчасъ узналъ его, какъ увидѣлъ и услыхалъ его голосъ. Такой же рослый, красивый, какъ близнецъ похожій на брата, только съ оттѣнкомъ грусти на блѣдномъ лицѣ и въ задумчивыхъ сѣрыхъ глазахъ. Ослябя читалъ затрапезныя молитвы, и тутъ Димитрій услыхалъ его мелодическій голосъ.

Трапезованіе совершилось безмолвно: всѣ молча слушали то, что читалъ Ослябя. Это, казалось, не былъ обѣдъ, а поминовеніе кого-то, или того, кого уже нѣтъ на свѣтѣ, или тѣхъ, которые сегодня здѣсь, сидятъ и трапезуютъ, а завтра, можетъ быть, надъ ними будутъ плакать тѣ, отъ кого они уйдутъ въ невѣдомый міръ... Великому князю уже казалось, что въ голосѣ Осляби онъ слышитъ знакомый, надрывающій душу плачъ по немъ, по князѣ—и это ея плачъ, дорогой ему княгини... И Димитрію почему-то вспоминается Путивль... раннее утро... заря еще чуть брезжить, а на городской стѣнѣ уже стоитъ кто-то, смотритъ въ туманную даль, и, ломая руки, жалобно плачетъ-надывается... Это та, которая давно когда-то горькою кукушкою куковала по своему другѣ миломъ, по князѣ Игорѣ, и вѣтру-вѣтрилѣ плакалася, и Днѣпру-славутичу... И на московской стѣнѣ рисуется ему плачущая женщина, и она глядитъ въ туманную даль, ждетъ кого-то... Кого же больше, какъ не его?... А дождется ли?...

Трапеза кончилась. Князь сталъ просить у святителя благословенія на брань. Сергій задумался: на лицѣ его отразилась глубокая скорбь...

— Отче святой, благослови, помолись за насъ,—повторилъ князь.

Сергій поднялъ на него свои грустные глаза.

— Княже! Да мимо идетъ чаша сія,—тихо сказалъ онъ.

— Не како же я хочу, но како онъ, — возразилъ князь тѣмъ же текстомъ.

Старецъ грустно покачалъ головой.

— Онъ... нечестивый Мамай, — какъ бы съ собою разсуждалъ онъ.

— Такъ, отче, то его воля.

— Его... Ино почти его дарами и честью... Господь узритъ смиреніе твое и вознесетъ тя, а его неукротимую ярость низложитъ.

— Отче!—снова возразилъ Димитрій:—я уже сотворилъ тако, и онъ тѣмъ паче несется на меня съ гордостію.

— Да будетъ воля Господня!

Старецъ велѣлъ подать стоявшую на столѣ чашу съ святою водою, благословилъ и покропилъ князя и всѣхъ его подручниковъ.

Димитрій взглянулъ на Пересвѣта и Ослябя, которые стояли рядомъ и молча смотрѣли на то, что около нихъ происходило. Что-то неуловимое

пробѣгало по ихъ лицамъ, что-то особое свѣтилось въ сѣрыхъ глазахъ: сожалѣніе ли то о прошломъ, воспоминаніе ли о томъ, что они не въ силахъ были забыть, отогнать отъ себя, похоронить въ этихъ тихихъ кельяхъ?.. Князь видѣлъ это что-то на ихъ лицахъ, чуюлъ своимъ сердцемъ; но что оно такое было—онъ не зналъ.

— Отче! — обратился онъ къ Сергію: — отпусти со мною на брань сихъ двухъ иноковъ! Мы вѣдаемъ про нихъ: они были великіе ратники, крѣпкіе богатыри, смышлены къ воинскому дѣлу и къ наряду.

Сергій взглянулъ на братьевъ. Они стояли блѣдные, безмолвные, съ потупленными въ землю глазами.

— Братія мои возлюбленная! — сказалъ старецъ дрожащимъ голосомъ: — слышите, что молвилъ великій князь?.. Великую честь воздалъ онъ вамъ...

Румянецъ залилъ блѣдныя щеки Пересвѣта. Онъ глянулъ на брата — глаза ихъ встрѣтились, и румянецъ радости и счастья перешелъ со щекъ Пересвѣта на красивыя щеки Осляби.

— Буди воля Господня и твоя, владыко! — разомъ сказали они, кланаясь.

— Я велю вамъ готовиться на ратное дѣло, — рѣшилъ старецъ.

Подойдя потомъ къ аналою и отворивъ его, онъ вынулъ двѣ черныя мантии. На мантияхъ было нашито по большому бѣлому кресту, а подъ крестами — такія же бѣлыя мертвыя головы, покоившіяся на положенныхъ крестъ-на-крестъ костяхъ. Это были схимы — мертвая одежда молчальниковъ. Сергій возложилъ схимы на голову Пересвѣта и Осляби.

— Се вамъ покровъ — носите въ шлемовъ мѣсто... Се вамъ доспѣхъ нетлѣнный, вмѣсто тлѣннаго.

Братья припали къ сухимъ плечамъ игумена и цѣловали его ризы.

— Возьми же ихъ съ собою, великій княже! — обратился святой мужъ къ Дмитрію: — се тебѣ мои оруженники — твои извольники.

Князь со слезами на глазахъ благодарилъ старца. Всѣ присутствующіе оживились. Нѣкоторые изъ братія плакали: они такъ полюбили этихъ прекрасныхъ, сильныхъ, благородныхъ молчальниковъ, которые своими могучими руками помогали каждому иноку, брали на себя самую тяжелую работу, ходили за больными.

Слезы дрожали въ голосѣ Сергія, когда онъ обратился къ молодымъ схимникамъ съ прощальнымъ, задушевнымъ словомъ.

— Миръ вамъ, возлюбленные братья, Пересвѣтъ и Ослябя!.. Да не смущается сердце ваше, да не ослабѣетъ ваша мощь бранная... Пострадайте, братія, аки доблестные воины Христовы! Аминь.

— Аминь! — повторила вся обитель.

— Аминь! аминь! аминь! — съ воодушевленіемъ воскликнули князья.

Выступленіе въ походъ.

Утромъ 20 августа 1380 года Москва провожала свои рати противъ „безбожнаго“ Мамаю.

Въ то время Москва была еще далеко не тѣмъ, чѣмъ она стала впослѣдствіи. Въ 1380 году она не была еще „сердцемъ Россіи“,—куда! объ этомъ громкомъ названіи она не смѣла и думать. Въ то время еще и самой „Россіи“ не существовало, не было такого слова, а было нѣчто похожее на него: было одно слово, которое иногда произносилось для обозначенія русской земли, слово робкое, ничего почти не выражавшее въ то время, хотя уже носившее въ себѣ залогъ будущаго величія и силы. Слово это—„Русія“, „вся Русія“. Слово это понималось не въ государственномъ, не въ политическомъ смыслѣ, а въ народномъ. Подъ понятіемъ „всеа Русіи“ разумѣлись всѣ эти Микитки и Добрыньки, Карпы и Сидоры, Митяи и Миняи, Рогволодушки да Ярополкушки, Доброгнѣвушки да Верху-славушки,—всѣ эти русыя и рыжія бороды, босыя и въ лаптяхъ, жившія „нечисто, яко звѣрь нѣкій“, „сѣявшія просо“ и величавшія Дидъ-Ладу,—всѣ эти „мужики“—не „мужикі“, а „мужики“, уменьшительные и уничижительные отъ „мужа“, „мужіе“, „мужи“, которыми имѣли право называться только князья, бояре да воеводы, а все остальное—не „мужи“, а „мужики“, нынѣшніе „мужикі“, коихъ попы и называли собирательно „хрестыанствомъ“ въ отличіе отъ „поганыхъ“ и кои впослѣдствіи превратились въ „крестьянъ“, какъ „человѣкъ“ — въ „лакея“, въ „челаэка“: „эй, челаэкъ! подай трубку!..“ Вотъ кто составлялъ „всю Русію“.

А вмѣсто „Россіи“ въ настоящемъ смыслѣ были „княжества“—„великія“ и просто княжества—тверское, рязанское, москвское, нижегородское и инныя, которыя назывались и „землями“ — земля рязанская, суздальская, московская и многія инныя. А не было „Россіи“, не могло быть и „сердца“ ея. Не могла быть поэтому и Москва „сердцемъ Россіи“. Да и гдѣ было ей думать объ этомъ, когда надъ нею брали перевѣсъ то Тверь, то Суздаль, то Нижній. Да и величиною Москва была тогда не больше Суздаля, не болѣе Твери, Рязани, а ужъ съ „Господиномъ Великимъ Новгородомъ“ или съ „вольнымъ“ Псковомъ ей и тягаться было нечего: тѣ не въ примѣръ были и многолюднѣе, и богаче ея. И вмѣщалась вся-то она въ предѣлахъ Кремля, а за Кремлемъ были бѣдныя хижинки, изъ которыхъ обыватели тотчасъ убѣгали въ Кремль, какъ только грозила опасность—нашествіе сосѣдей или иноплеменниковъ.

Не была еще тогда Москва и „бѣлокаменною“, потому что была вся срублена изъ дерева.

Не было тогда въ Москвѣ ни „Ивана Великаго“, ни „Василія Блаженнаго“, ни вообще „сорока-сороковъ“, ни „царь-колокола“, ни „царь-пушки“, ибо тогда еще о „пушкахъ“ и понятія не имѣли, а „цари“ си-

дѣли не въ Москвѣ, а въ Сараѣ, да и „царей“ тогда еще не было, а назывались они „ханами“, и „царемъ“ тогда надъ „Русією“ былъ Мамай „безбожный“. Ничего тогда не было такого, чѣмъ теперь славна Москва.

Но и тогда уже существовалъ „Охотный рядъ“: въ немъ-то и образовалось то, что потомъ стало „сердцемъ Москвы“, а послѣ—„сердцемъ Россіи“. Существовала тогда и Красная площадь—нѣчто въ родѣ свѣтлаго и обжорнаго базара, на который окрестные Микитки да Добрыньки свозили для продажи свои нехитрые продукты и на которомъ этихъ самыхъ Микитокъ и Добрынекъ, за „воровство“ и другія вины, сѣкли внудомъ „нещадно“ или казнили смертью, на особомъ, весьма уютномъ мѣстечкѣ, названномъ „Лобнымъ“.

Такъ вотъ эта-то маленькая, но уже загребистая Москва, 20 августа 1830 года провожала свои и союзныя рати противъ „безбожнаго сыроядца“ Мамай.

Въ Успенскомъ соборѣ шла служба, на которой присутствовалъ великій князь, какъ старшій стратигъ. Онъ жарко молился, хотя, повидимому, мысли его часто убѣгали изъ собора и витали то въ теремъ его, гдѣ онъ провелъ столько счастливыхъ лѣтъ съ дружиною своею, съ княгиней Евдокією, то въ мрачной обители преподобнаго Сергія Радонежскаго, то тамъ, далеко, на невѣдомомъ полѣ кровавомъ, гдѣ ждетъ его судъ Божій.—А каковъ будетъ этотъ судъ — этого никто не знаетъ... Рядомъ съ нимъ стоитъ другъ его и родственникъ — неизмѣнное копьѣ, Володимеръ-свѣтъ Андреевичъ, серпуховскій князь: онъ также горячо молится, изрѣдка поглядывая то на друга своего Дмитрія, то на ликъ Богородицы, освѣщенный полосой лѣтняго солнца, ворвавшася сквозь узенькое соборное окно. Его лицо покойно и мужественно. Тутъ же молятся и другіе князья—Бѣлозерскіе, Каргопольскій, Устюжскій, Ростовскій, Серпейскій, и всѣ главные воеводы, между которыми особенно бросаются въ глаза своею молодцоватостью Михайло Бренкъ и братья-иноки Пересвѣтъ и Ослябя, съ схимами на головахъ.

Когда кончилась служба, Дмитрій и всѣ другіе князья приблизились къ мощамъ Петра митрополита и упали передъ ними ницъ.

— О, чудотворный святителю! — воскликнулъ Дмитрій, стоя передъ мощами угодника:—поганіи идутъ на меня, неизмѣннаго раба твоего и крѣпко ополчились, вооружаются на градъ твой Москву!.. О, чудотворче! тебя проявилъ Господь послѣднему роду нашему... Тебѣ подобаетъ молиться—мы твоя паства...

Далѣе онъ не могъ говорить—слезы заглушили его голосъ...

Владиміръ Андреевичъ задумчиво глядѣлъ на мощи. Открытое, мужественное лицо его, казалось, говорило: экое махонькое, сухонькое тѣльцо святительское... Что въ емъ вѣсу! — однѣ косточки... А великая сила въ костяхъ сихъ праведныхъ обрѣтается—гдѣ нашей силѣ!“...

И онъ съ жалостью взглянулъ на свои мускулистыя руки, на тучное, все трепыхавшее отъ плача тѣло друга своего Дмитрія...

Изъ Успенскаго собора князя и воеводы пошли въ Архангельскій. Молились и тамъ. Димитрій кланялся гробамъ своихъ прародителей... Изъ Москвы, изъ этого темнаго собора, мысль его почему-то невольно перенеслась въ Кіевъ—въ далекій Кіевъ, котораго онъ никогда не видѣлъ... „И тамъ мои прародители, думалось ему: и баба Ольга—прабаба наша великокняженецкая, и Володимеръ равноапостольный, и Ярославъ мудрый, и Володимеръ Мономахъ... блаженни въ успеніи своемъ... ими не володѣли поганые... а мы — мы улусники татарскіе, холопи Мамаевы... Соромъ мнѣ передъ вами, отцы и праотцы мои!..

И краска стыда залила его полныя щеки... Онъ взглянулъ на Владиміра Андреевича—и со стыдомъ отвернулся отъ него...

— Ты что, господине княже?—съ недоумѣніемъ спросилъ тотъ.

— Соромъ, друже... Изсоромотили есмы сами себе,—загадочно отвѣчалъ Димитрій.

— Чѣмъ изсоромотилисмо, княже?

— Неволею татарскою... передъ прародителями соромъ.

Владиміръ понялъ своего друга и судорожно сжалъ рукоятку своего длиннаго меча...

— Такъ ляжемъ костью... мертвія бо сорома не имуть,—съ дрожью въ голосѣ сказалъ онъ.

— Аминь... Положимъ головы за гробы отцовъ и за честь нашу...

Князя вышли на площадь, гдѣ происходило молебствіе передъ дружинами. Громко и стройно пѣло все собравшееся московское духовенство, призывая побѣду на христіанское воинство и гибель на „поганые агаряны“. Торжественно звонили колокола московскихъ церквей, которыхъ было тогда еще немного, но звонъ этотъ, казалось, воодушевлялъ бородатыхъ рати, чувствовавшихъ всю строгость минуты. По многимъ щекамъ текли слезы.

Когда князя были покроплены святою водою, и начались уже проводы—„последнее цѣлованіе“, тогда весь Кремль огласился женскимъ плачемъ. Больше всѣхъ, казалось, плакала великая княгиня Евдокія. Свѣтлые и голубые, какъ незабудки, глаза ея совершенно распухли. Обхвативъ своими пухлыми бѣлыми руками воловью шею своего „лада милаго“, она такъ и застыла на высокой, обтянутой кольчугою груди князя и только шептала пересохшими губами: „На кого ты меня, хотя юну твою, ладо мое, покидаешь?... Охъ, ладо мое, ладушко! Княжецъ мой Митюшка! о-охъ!“ — „Не плачь, не стени, хотя моя милая, супруга моя Евдокія желанная! Не стени, кукушечка моя, младо зезулица!“ утѣшалъ ее Димитрій... А у самого слезы тоже готовы были брызнуть—да нельзя... соромъ передъ ратью... вся Москва смотреть...

Всѣхъ оплакивали, обнимали, крестили, цѣловали... Только и видны были взмахи женскихъ рукъ, что заплетались за шеи своихъ воевъ милыхъ, да слышались женскія причитанья, словно свирѣли голосистыя, и шмелиное жужжанье мужскихъ голосовъ, утѣшавшихъ своихъ другихъ, женъ сестеръ, матерей...

Одни только схимники Пересвѣтъ и Ослябя одиноко стояли въ сторонѣ,

потупивъ глаза въ землю и стараясь никого не видать: съ ними некому было прощаться, некому было пожалѣть объ нихъ, припасть на могучія груди, потому что... потому... да потому, что ужъ имъ такъ на роду было написано... не было тутъ милыхъ женскихъ рукъ, которыя бы обхватили ихъ шеи, прикрытыя черными схимами...

Послѣ молебствія, рати, по трубному знаку, стали выходить изъ Кремля тремя воротами: Фроловскими, что нынѣ Спасскія, Никольскими и Константино-Еленинскими, выходившими тогда къ Москвѣ-рѣкѣ и нынѣ не существующими. Въ воротахъ стояли дяконы и протодіаконы съ огромными мисами святой воды, а попы и архіереи, макая въ мисы кропилами, брызгали святою водою на войнство, шедшее рядами и блиставшее доспѣхами на тѣлѣ и слезами на глазахъ и щекахъ. Сзади шли толпы женъ, матерей, дѣтей и иныхъ сродниковъ и оглашали воздухъ, рыданіями: послѣдній разъ они обнимали своихъ ладушекъ милыхъ, послѣдній разъ взмахивали на нихъ трепетными руками, словно птицы бѣлыми крыльями, а теперь этими руками останется только отирать горячія слезы... Выѣхали изъ Кремля со своими ополченіями князь и воеводы. Дмитрій ѣхалъ на своемъ бѣломъ арабскомъ конѣ, котораго онъ любилъ такъ, какъ Олегъ вѣщій любилъ своего коня боевого, отъ котораго ему и смерть приключилась. Грузно, но картинно сидѣлъ великій князь на своемъ любимцѣ, опираясь на золоченныя стремяна и блистая доспѣхами своими—золотою „кордою“ и золоченымъ шлемомъ, блестящею „колонторою“ и великолѣпною княжескою „подволокою“..

— Охъ, въ якову лѣпоту облечеса князь нашъ великій, — слышалось въ толпѣ.

— Дюрди побѣдносецъ, воистину Дюрди...

Рядомъ съ нимъ ѣхалъ другъ его неразлучный—Володиміръ. Взоръ его былъ полонъ отваги: „ляжемъ костью — не посраимъ земли русскія“, такъ, казалось, и говорили сѣрые глаза его, сверкавшіе изъ-подъ нависшихъ бровей. Выѣхавъ изъ Кремля, они невольно остановились въ нѣмомъ восторгѣ. Ратямъ, казалось, конца не было, и красота ихъ была неописанная. Онѣ стояли нескончаемымъ рядомъ вдоль кремлевской стѣны, глядя на московскія святыни и какъ бы въ нихъ самихъ почерпая отвагу. Копья и сулицы торчали какъ лѣсъ, и солнце, играя на остріяхъ колчаръ, на металлическихъ бляхахъ колонторъ, на гловцахъ остроконечныхъ шлемовъ, кидало густую тѣнь отъ тѣсно сплоченныхъ коней, украшенныхъ цѣпами и гремучею наборною сбруею. А огромные красные щиты, которыми былъ прикрытъ лѣвый бокъ и плечо cadaго ратника, зловѣще говорили о багровой крови врага, о цѣлыхъ потокахъ крови, которые потекутъ подъ этими огненными щитами.

— О княже господине! — невольно воскликнулъ Владиміръ: — какова рать наша!

— Воистину таковой рати не бывало, какъ и Русь стоитъ, — тихо отвѣчалъ Дмитрій.

Онъ поѣхалъ вдоль строя, и, остановившись на серединѣ, поднялъ

правую руку, какъ бы на молитву. Все замолкло кругомъ; даже женщины и дѣти удержали свой плачь.

— Братія!—воскликнулъ великій князь голосомъ, который пронесся отъ одного конца ополченія до другого:—лѣпо намъ, братія, положить головы наши за правовѣрную вѣру христіанскую!... Да не возьмутъ поганыя городовъ нашихъ, да не запустѣютъ церкви наши, да не будемъ разсѣяны по лицу земли, а жены наши и дѣти да не отведутся въ полонъ на томленіе отъ поганныхъ! Да умолитъ за насъ Сына Своего и Бога нашего Пречистая Богородица!

— Слава великому князю! Слава!—загремѣло по рядамъ.

— Мы приговорили положить свой животъ за русскую землю и прольемъ кровь свою за нее!—слышались ближайшіе голоса.

Всѣ князья и воеводы проѣхали по рядамъ, осматривая каждый свою часть, свой полкъ, свои отдѣльныя рати, конниковъ и пѣхотинцевъ. Все оказалось въ порядкѣ.

По знаку великаго князя, ударили походъ. Завыли ратныя трубы страшнымъ, нечеловѣческимъ воемъ, загремѣли варганы. Прощальный, проводной звонъ колоколовъ, топотъ и ржаніе коней, невообразимый брызгъ и лязгъ оружія, сбруи и всякихъ звенящихъ доспѣховъ, вопль провожающаго населенія, лай испуганныхъ собакъ—все это заставляло трепетать удалю и „хороборствомъ“ сердца „хоробрыхъ“ витязей и ныть тоскою и обливаться кровью—сердца робкихъ и провожающихъ.

Впереди чернымъ пологомъ колыхалось въ воздухѣ огромное, черное какъ ночь, великокняжеское знамя—„стягъ великій“, съ изображеніемъ на немъ страстей Христовыхъ... Знаменіе, приличное страшному, кровавому дѣланію, которое должно было твориться подъ его сѣнью... Издали оно казалось черною птицею, которая рѣяла надъ войскомъ... Великій князь ѣхалъ подъ самымъ стягомъ: это его голову осѣняла своими крыльями черная птица, рѣявшая надъ ратями „хоробрыхъ русичей“...

А сзади, въ Кремлѣ, на вершинѣ золотоверхаго терема великокняжескаго, подъ южными окнами, въ набережныхъ сѣняхъ сидѣла великая княгиня, окруженная воеводскими женами. Удерживая потоки слезъ, которыя мѣшали имъ видѣть удаляющееся войско и которыя все-таки лились неудержимо, покинутыя своими „ладами“, женщины не спускали глазъ ни съ этой, кажущейся птицею, черной точки—великокняжескаго стяга, ни съ этой массы двигающихся коней и всадниковъ съ блестящими на солнцѣ остріями копій; но ни лицъ, ни отдѣльныхъ фигуръ уже нельзя было отличить—все покрывалось дымкою дали и пылью, встававшей надъ войскомъ. Москва сразу, казалось, опустѣла, какъ опустѣло въ сердцѣ каждой изъ этихъ плакавшихъ женщинъ, и все казалось унылымъ, осиротѣлымъ, мрачнымъ какъ могила..

— Сестрицы мои, голубицы мои! охъ!—плакалась Евдокія:—стягъ... стягъ-отъ черный, княженецкій, вижу... вонъ онъ, аки вранъ черенъ рѣетъ... а его, князя моего милаго, не вижу... О! тошно мнѣ!...

VI.

Ополченіе въ Коломнѣ.

Ополченіе двинулось по направленію къ Коломнѣ.

Тамъ, гдѣ въ наши времена лежитъ гладкій, широкій шоссейный путь съ сторожевыми будками и станціонными домами и гдѣ теперь неумолкаемо гремятъ день и ночь паровозы съ сотнями товарныхъ и пассажирскихъ вагоновъ, пролетая желѣзнымъ путемъ мимо тысячъ телеграфныхъ и верстовыхъ столбовъ съ нитями телеграфныхъ проволокъ, мимо сторожекъ, будокъ, заставъ и богатыхъ станціонныхъ зданій, обдавая дымомъ воздѣланныя поля, оголенные, какъ русскій подбородокъ при Петрѣ, лѣсныя рощи, города, села, деревни, сады и роскошные замки желѣзнодорожныхъ „русичей“, „нѣмцевъ“, „агарянъ“ и иныхъ „бесерменъ“,—тамъ въ описываемое нами время лежала кругомъ ужасающая глушь—лѣса, болота и невоздѣланныя поля. Только узкая полоса земли, по которой иногда проходили караваны купцовъ „сурожанъ“ да проѣзжали за данью и „поминками“ татарскіе баскаки и темники, или проходили немногочисленные рати удѣльныхъ князей, чтобъ погрызться другъ съ дружкой изъ-за стола великокняжескаго или изъ-за города, нахрапомъ взятаго сосѣдомъ,—только эта проѣзжая полоса представляла возможность передвиженія; все же кругомъ было пустынею дремучею и трясиною невылазною съ медвѣжьими, волчьими, куньими, рысьими и иными звѣриными путями, по которымъ свободно рыскало всякое звѣрье, а иногда хоробые Микитки да Добрыньки для добычи шкуръ и мяса этого звѣрья—шкуръ на подати князю и его тіунамъ, а мяса—себѣ и своимъ двуногимъ звѣренышамъ „хрестьянамъ“ на кормъ.

Этимъ-то дикимъ путемъ, прародителемъ нынѣшняго цивилизованнаго рельсоваго пути, двигались къ Коломнѣ рати „русичей“. Понятно, что онѣ двигались медленно, часто гуськомъ, между непроходимыми борами, а иногда вразбродъ, стадами, гдѣ открытое поле представляло къ тому возможность. Десятки верстъ заняты были этими ратями, за которыми, бѣшено скрипя колесами, тащились тысячи телѣгъ съ провизіею, котлами, таганями и всевозможнымъ скарбомъ. Дикая пустыня ожила: никогда не видала она такого множества людей и коней, никогда мертвая тишина ея не нарушалась такимъ невообразимымъ ржаніемъ лошадей, людскимъ говоромъ и громомъ оружія. Дикіе звѣри, слышавъ необычайный шумъ, спѣшили укрыться въ чащѣ лѣсовъ, а иногда, озадаченные нечаяннымъ появленіемъ такого множества народа, застигнутые какъ бы врасплохъ звѣри эти, мало еще напуганные, приходили въ необыкновенное смятеніе—медвѣди, выходя изъ чащи лѣса, становились на заднія лапы и рычали страшно на людей и на коней, волки отчаянно выли на скрипящіе обозы, лисицы выползали изъ норъ и трущобъ и, точно въ „Словѣ о полку Игоревѣ“—„лаяли на червленые щиты“ ратниковъ и на ихъ блестящіе до-

спѣхи. Птицы кружились стаями и наполняли воздухъ криками, ибо и непривычной птицѣ казалось, что это не люди двигались, а что лѣса дубравныя, „борове великіе“, снялись съ своихъ мѣстъ и идутъ невѣдомо куда на полдень.

Во время приваловъ, по вечерамъ и на утренней зарѣ, гулъ надъ ратями стоялъ еще болѣе страшный и въ этихъ пустынныхъ мѣстахъ неслыханный. Прислужники, холопы и рабы разбивали княжескіе, воеводскіе и боярскіе шатры и наметы. Пестрота шатровъ была невообразимая, и чѣмъ владѣлецъ шатра былъ богаче и знатнѣе, тѣмъ шатеръ былъ больше и пестрѣе. Въ самой серединѣ обоза разбивался наметъ великокняжескій, пестрѣвшій всѣми цвѣтами, возможными въ природѣ, и блиставшій позолотою украшеній—коньковъ, пѣтушковъ, еловцовъ, и мишурою шнуровъ и кистей. Надъ нимъ всегда чернѣлъ большой великокняжескій стягъ, тоже съ золочеными еловцами и золотными кистями. Вокругъ этого шатра, какъ вокругъ соборнаго храма, разбивались меньшіе шатры—наметы удѣльныхъ князей. За этими шатрами—шатры простыхъ воеводъ и бояръ. И эти шатры пестрѣли цвѣтами своихъ удѣловъ и областей: гдѣ рѣзалъ глаза красный цвѣтъ, гдѣ зеленѣлъ яркозеленый, гдѣ синій и алый. Удѣльные и полковые стяги имѣли также свои отличительные цвѣта и изображенія:—на одномъ страсти Христовы, на другомъ святой „Дюрди“ или Георгій Побѣдоносецъ, на третьемъ „Микола чудотворецъ“.

Ратные люди разводили костры, зажигали цѣлыя рощи, и распускали такое зарево, что оно будило всѣхъ звѣрей и птицъ, и всю ночь окрестности стонали отъ звѣринаго реву и вою, отъ птичьяго грая и клекота.

Къ кострамъ приставлялись таганы и треноги, кипѣли котлы съ варевомъ, шипѣли волю и бараны на огромныхъ вертелахъ.

Въ палаткахъ слышался говоръ князей и бояръ, звонъ чашъ, стопъ и братинъ: одинъ удѣльный князь угощалъ другого съ его воеводами и боярами, а бояре, князья и воеводы другихъ земель чествовали сосѣдей и не сосѣдей, пировали и братались, мѣняясь крестами и оружіемъ, ибо въ то время боярамъ и князьямъ разныхъ удѣловъ, городовъ и земель не легко было сѣзжаться при непроходимости путей и при постоянныхъ усобицахъ: муромцы пировали и обнимались съ суздальцами, верейцы цѣловались и братались съ серпуховцами, боровитяне угощали угличанъ, тверитяне бѣлозеровъ... Вспоминались общія обиды, претерпѣнныя отъ „поганныхъ“, упоминались имена князей и бояръ, замученныхъ въ Ордѣ, не забывалось и о тяжелыхъ даняхъ, наложенныхъ „безбожными срацинами“...

И простые воины разныхъ земель и удѣловъ знакомились между собою: всѣ эти „хрестьяне“, Рогволоды да Ярополки, Микиты да Добрыни, карачаровцы и москвитяне, устюжане и володимерцы, синія рубахи съ красными ластовками и красныя рубахи съ синими ластовками по землямъ и городамъ—все это сходилось къ общимъ шатрамъ, говорило и шутило разными мѣстными говорами, „окали“ и „акали“, „цовокали“ и „човокали“, „вякали“ и „дзякали“. Москвитяне смѣялись надъ половчанами,

тверитяне надъ нижегородцами, у однихъ хаялись шапки, у другихъ шляпы, у тѣхъ порты осмѣивались, у этихъ зипуны и лапти, „звычай“ и „обычай“, „норовъ“ и „ухватка“: тѣхъ дразнили, что они якобы „своего бога съ кашей съѣли“, другихъ—якобы „овину свѣчи ставятъ“, третьи—„лаптемъ шти хлебають“, у четвертыхъ—„чортъ дѣтей качаетъ“... Говоръ, смѣхъ, а тамъ—сонъ всего ополченія и сторожевые оклики часовыхъ да вой потревоженныхъ звѣрей по полю и по дубравамъ...

Чуть заря—все снималось съ прежнимъ шумомъ и гамомъ и двигалось далѣе на полдень...

На восьмой только день ополченіе подошло къ Коломнѣ. Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ этого города ополченіе встрѣчено было воеводами новыхъ полковъ, которые, по увѣщательнымъ грамотамъ изъ Москвы, сошли къ Коломнѣ изъ разныхъ областей земли русской: Микула Васильевичъ—воевода полка коломенскаго, Андрей Серкизь—воевода полка переяславскаго, Иванъ Родіоновичъ—воевода полка костромскаго, Тимоѣей Валуевичъ—воевода полка юрьевскаго, князь Романъ Прозоровскій—воевода полка владимірскаго, князь Ѳедоръ Елецкой—воевода полка мещерскаго, князья Юрій и Ондрей—воеводы муромскаго полка. Военачальники обнимались и цѣловались между собою, словно бы это было свѣтлое Христово воскресенье...

Въ коломенскихъ воротахъ ополченіе встрѣчено было епископомъ Герасимомъ, а коломенскія церкви звонили во всѣ колокола. Никогда такого множества ратей не видала Коломна и вся высыпала на улицы, на площади, за городъ. Бабы коломнянки и богатые люди расхаживали по рядамъ и поили ратныхъ квасами, медами, брагами и угощали калачами и баранками: всѣ эти вои, сошедшіеся въ первый разъ со всѣхъ концовъ русской земли, казались „своими“, „ближними“, „сродниками“, несмотря на различіе одежды и говоромъ...

— Сестрицы мои милыя!—съ умиленіемъ говорила одна коломнянка другимъ бабамъ съ ведрами за плечами:—какъ они, ратные-те, погнали своихъ коней на Оку-рѣку на водопой, такъ я, голубушки мои, думала, что кони-то всею Оку выпьютъ—таково много коней!

— Гдѣ, мать моя, комонемъ Оку испити! Не испить ее,—успокоивала ее другая баба.

— Ковшомъ моря не исчерпати,—пояснила третья.

— Что и говорить! А много воевъ—охъ много! ино голуби со старуху послетали съ церквей и не вѣдаютъ, гдѣ сѣсти.

Особенно поражали всѣхъ два рослыхъ красивыхъ воина, которые на богатыхъ коняхъ и въ дорогихъ доспѣхахъ неотлучно слѣдовали за великимъ княземъ, имѣя на головахъ черныя покрывала съ нашитыми на нихъ бѣлыми черепами... То были Пересвѣтъ и Ослябя.

На другой день по прибытіи ополченія къ Коломнѣ, великій князь велѣлъ всѣмъ ратямъ, и съ нимъ прибывшимъ, и до него, выстроиться на лугу, подъ самымъ городомъ, на мѣстѣ, гдѣ совершали коломняне свои

обрядовыя „игрища“ и пѣли „ой Дидъ-Ладѣ“ да величали Ярилу. Лугъ, этотъ какъ и въ Карачаровѣ, какъ и подъ Москвою, назывался „дѣвичьимъ полемъ“.

Нельзя было безъ умиленія и восторга, конечно, со стороны тогдашняго „русича“, смотрѣть на это небывалое зрѣлище—на обширное, ровное, зеленое поле, устѣянное несмѣтнымъ воинствомъ, необозримыми полчищами, какихъ еще ни разу не приходилось видѣть ни одному русскому съ тѣхъ поръ, какъ почалась русская земля: ни на печенѣговъ и половцевъ, ни на хозаръ и касоговъ, ни на черныхъ клобуковъ и грековъ, русская земля не высылала такого множества ратей, и притомъ такого поражающаго разнообразія—разнообразія въ цвѣтѣ одежды, въ ея покроѣ и качествахъ, разнообразія въ доспѣхахъ, въ вооруженіи, шишакахъ и кольчугахъ... И надъ всѣмъ этимъ царилъ, поражая зрѣніе, яркій, огненнокрасный, „червленый“ цвѣтъ огромныхъ щитовъ, которые стояли и колыхались въ полѣ, точно живые, подвижные заборы, съ глядящими черезъ нихъ человѣческими головами въ шишакахъ и съ длинными копьями—„колчарами“... И надъ всѣмъ этимъ рѣяли, какъ большекрылыя птицы, разноцвѣтные стяги, знаменовавшіе собою всю собравшуюся воедино сѣвернорусскую землю...

— О, велика ты, земля русская, земля православная!—съ трепетомъ воскликнулъ великій князь при видѣ поразительнаго зрѣлища и молитвенно поднималъ къ небу руки, какъ бы призывая милость неба на этотъ цвѣтъ русской земли.

— И еще не вся она, княже, собралася,—со вздохомъ замѣтилъ Володиміръ Андреевичъ.

— Не вся, друже... Кто же будетъ кокошъ оный, иже соберетъ птенцы своя подъ крылы—вся птенцы!

— Ты, господине княже, кокошъ оный...

Великій князь грустно покачалъ головой, свѣтя золотою еловцею шлема...

— Ни-ни, друже... Малъ бѣхъ въ дому матерѣ моея—святой Руси—малъ и буду...

— Слава великому князю! слава!—прогремѣли ряды, завидѣвъ Дмитрія.

— Слава великому и христолюбивому воинству! слава!—отвѣчалъ громко великій князь, кланяясь на сѣдлѣ и подѣзжая къ „первому суйму“—къ переднимъ рядамъ середины ополченія, расположившагося полукругомъ, такъ что по сторонамъ его были „правая рука“ и „лѣвая“ или правое крыло и лѣвое.

Ополченіе расположено было „по землямъ“—земля суздальская, земля московская, земля тверская, земля володимірская, а всѣ вмѣстѣ изображали собою русскую землю. „Большимъ воеводою“ „правой руки“ былъ Владиміръ Андреевичъ, „лѣвой“—Левъ Брянскій, „средины“—самъ великій князь.

Войска осмотрѣны. Приказъ отданъ: протрубили трубы звонкія—выступать въ походъ назавтра, августа 30, на память славнаго и святого князя Александра Невскаго, прародителя великаго князя Дмитрія.

Ратнымъ людямъ уготовано было всѣмъ городомъ великое кормленіе—

трапеза и питіе богатое. Трапезовали тутъ же, на „дѣвичьемъ полѣ“, подъ открытымъ небомъ, сядя купами на травѣ. За трапезою служили всѣ коломняне поголовно, отъ мала до велика, разносили по купамъ яства, разливали зелено вино, квасы и меды сладкіе. А князья и воеводы трапезовали особо, въ городѣ: ихъ почтилъ трапезой Герасимъ епископъ.

Хорошо потрапезовали и выпили ратные. Разгорѣлась кровь молодецкая, развязались языки—пошелъ гуль и говоръ по полю.

Особенно живая бесѣда шла въ одномъ кругу, именно въ муромскомъ полку. Ратные люди собрались вокругъ знакомаго уже намъ краснобая, Малюты карачаровца, того самаго ратнаго, котораго мы видѣли въ селѣ Карачаровѣ около „игрища“ въ бесѣдѣ съ старымъ старцемъ Рогволодомъ и который хвалился, что когда-то онъ съ княземъ Волынскимъ Казань громилъ, а потомъ вмѣстѣ съ прочими бѣжалъ съ поля битвы на берегахъ рѣки Пьяной, когда русскіе потерпѣли пораженіе отъ царевича Арапши. Теперь Малюта сидѣлъ на травѣ поджавши ноги и важно отвѣчалъ на предлагаемые ему вопросы.

— Такъ землякъ твой былъ Илья-то Муромецъ?

— Стало землякъ, коли изъ одного села.

— Ой ли! Съ самаго Карачарова?

— Изъ нево... И избы-те наши, моя и Ильина, чу, Муромца, рядомъ стоятъ.

— Что ты!—ахъ! И сказку про нево сказывать, поди, гораздъ?

— Гдѣ не гораздъ!

— А ну, скажи, человѣче, мы послушаемъ.

— Скажи, братецъ, потѣшь насъ, уважь,—приставали другіе ратные.

Малюта началъ было ломаться; но потомъ, внявъ общимъ мольбамъ, откашлялся и началъ тягучимъ, однообразнымъ голосомъ, покачиваясь изъ стороны въ сторону:

Въ старину было въ стародавнюю,
Ишшо Володимеръ князь да столъ держалъ,
Въ ту пору было въ славномъ городѣ во Муромѣ,
Во большомъ селѣ Карачаровѣ
Жилъ хрестьянинъ Иванъ Тимоѣевичъ.
У тово ли у хрестьянина изъ всѣхъ дѣтей
Было дѣтище едино любимое,
Илья Муромецъ да сынъ Ивановичъ.
Какъ сидѣлъ онъ сиднемъ ровно тридцать лѣтъ,
Тридцать лѣтъ не имѣлъ ни рукъ, ни ногъ,
На печи ли яму подъ собой протеръ.

— Ахъ! — не вытерпѣлъ одинъ ратничекъ: — подъ собой яму протеръ, слышь...

— А ты не перебивай!... Ишь бога-ту свою съ кашей съѣлъ, да туда-жъ лѣзетъ!—осадили его сосѣди.

Ратничекъ, съѣвшій якобы своего бога съ кашей, заморгалъ глазами и замолчалъ.

Поощренный общимъ вниманіемъ, Малюта продолжалъ:

Приходило тутъ веремѣ-то лѣтнее,
Веремѣ страдное, дни сѣнокосные,
Уходилъ осударь ево батюшка,
Со родителемъ ево, со матушкой
Да со всѣмъ сѣмьемъ любимымъ .
На работушку на ту хрестыянскую,
Очищать отъ дубья-колоды поженку—
Оставался дома одинъ Илья.
Идутъ тутъ мимо старцы незнамые,
Нища братія, калики перехожіи,
Становились подъ окошечко косящато,
Говорили Ильѣ таковы слова:
...Ай ты гой еси, Илья Муромецъ, хрестыянской сынъ!
Возставай-ка на рѣзвы ноги,
Отворяй-ко ворота широкіи,
Впускай-ко каликъ во храмину,
Подавай-ко каликамъ напиться“...

— Испей, касатикъ, испей на здравіе.

Это словно изъ земли выросла баба съ ведрами на плечахъ, та самая, что боялась, какъ бы ратные кони всей Оки не выпили. Только теперь у нея была не вода въ ведрахъ, а брага, да такая ядреная, что какъ стали ратные люди испивать ее ковшами, то забыли и про Илью Муромца— да такъ до ночи и кружилъ коломенскій ковшъ...

VII.

Таинственный Бобронъ.

Прошла еще недѣля. Ополченіе продолжало двигаться къ югу, оставивъ за собою Оку и вступивъ въ совершенно уже невѣдомыя области — такъ мало знали тогда русскіе люди свою, русскую землю. Тутъ уже приходилось ополченію идти подъ руководствомъ знающихъ дѣло „вожей“. Кто-жъ могъ быть тогда этими „вожами“—проводниками, какъ не торговые люди „сурожане“, которые бродили изъ страны въ страну, пробирались отъ моря Сурожскаго къ морю Хвалынскому, отъ Хвалынскаго въ страны тматороканскія, торговали и въ Булгарахъ на Волгѣ, и въ Сараѣ, и въ Итидѣ, толкались и по базарамъ Херсонеса и Козлова, прислушивались и къ звяканью кандаловъ на ногахъ невольниковъ, продаваемыхъ въ Кафѣ на рынкѣ, и къ рокотанью струнъ „Бояновъ вѣщихъ“ на полузапустѣлыхъ улицахъ города Кіева.

Такихъ „вожей сурожанъ“ находилось при русскомъ ополченіи десять человекъ. Одинъ изъ нихъ особенно поражалъ своимъ умомъ, всезнаніемъ и „вѣдовствомъ“. Сорокъ лѣтъ онъ ходилъ и ѣздилъ морями изъ одной земли въ другую, зналъ норovy и обычаи всѣхъ странъ и народовъ, говорилъ на всѣхъ языкахъ—зналъ онъ и по-сурожски, и по-русски, разумѣлъ и

татарскую рѣчь, и греческую, говорилъ и по-нѣмецки, и по-венедицки, и по-ка-фински, и польскою, и сербскою рѣчію. А какъ станетъ рассказывать о своихъ походахъ да торгахъ, да чудесахъ заморскихъ—такъ волосъ дыбомъ становится! Въ Цареградѣ онъ видѣлъ самого царя греческаго Палеолога и ризу Богородицы, что руссовъ, сказываютъ, потопила. Въ Кіевѣ въ пещерахъ бывалъ и Золотыя Врата видѣлъ, и пѣсни кіевскихъ слѣпцовъ слышалъ. Когда была на Руси „черная смерть“, такъ онъ тогда былъ молодымъ, и, прослышавъ про моръ, ушелъ изъ Пскова за море въ Галанскую землю. Когда ходилъ въ сербинскую землю, то видѣлъ какъ хоронили царя ихъ, Степана Душана, и кутью на его поминкахъ ѣлъ. И въ Булгарахъ за Волгой алатыремъ-камнемъ торговалъ, и въ Сараѣ бывалъ и самому Озбяку царю большой алатырь-камень подарилъ, а Мамаю—саблю „едимашку“.

Таковъ былъ этотъ „сурожанинъ!“ Путь онъ узнавалъ по звѣздамъ да по мѣсяцу. Зналъ, гдѣ въ какой землѣ какіе звѣри есть и птицы невиданныя и камни самоцвѣтные, что ночью безъ огня горятъ и путь показываютъ. Видѣлъ и кита въ морѣ, и людей морскихъ, что до половины баба, до половины же рыба съ плесомъ и плавниками—въ ясный день, передъ бурей, изъ моря выскакиваютъ и въ ладоши плещутъ.

Но болѣе всего поразилъ этотъ „сурожанинъ“ великаго князя и его дружину рассказомъ о томъ, какъ онъ на одномъ венедицкомъ кораблѣ, когда ѣхалъ въ Кафу, ѣлъ ту самую рыбку, которую сама Богородица-матушка ѣла да не доѣла...

— Какъ же сіе приключися, человѣче? — съ удивленіемъ спросилъ его Димитрій.

— Сицевымъ образомъ, сказываютъ, княже: когда жидове распяли на крестѣ Господа нашего Исуса Христа, пречистая мати его, Богородица, много молилась и плакала и три дни постъ держала. А черезъ три дни нача оная Богородица поминати Сына своего и Бога нашего и поминала его рыбкою — рыбку кушала. Въ онъ часъ приде къ ней Марія Магдалина и рече: „Христось-деи воскресъ“. А Богородица отвѣща ей: „како можетъ мертвый кресити не?—Тогда, говоритъ, мертвый Христось воскреснетъ, когда-де сія рыбка оживетъ“... А рыбку оную Богородица уже до половины скушала—одинъ бочокъ начисто обглодала... И какъ она рекла словеса оныя, что тогда-деи повѣрю, что Христось воскресе, когда сія рыбка оживетъ,—рыбка та--оле чудесе!—сковъ на столъ, да со стола—и оживе!—и живетъ доселѣ въ морѣ...

— И ты ѣдалъ?—изумился великій князь.

— Ёдалъ, господине княже.

— Какова-жь она?

— Нарочито невеличка—съ лещика будетъ, токмо круглѣе, аки ладонь большая—и одинъ бочокъ, такъ и видно, обглоданъ, и одново глаза нѣтъ—съ однимъ глазомъ рыбка...

— А какъ именуютъ рыбку ту?

— Камбалою именуютъ.

Въ это время вдали, за передовымъ отрядомъ, завывли рога. Рати невольно стали прислушиваться—какія вѣсти трубятъ рога? Привалу еще рано быть: — солнце клонилось къ западу, но вечеръ еще не наступилъ, хотя въ этомъ завываньѣ роговъ не было ничего тревожнаго, боевого, а напротивъ слышалось что-то привѣтственное, однако, всѣ изумленно и тревожно смотрѣли впередъ... А если „поганные?“... А „литва?“...

— Рогъ незнакомый,—замѣтилъ великій князь:—это не наши рога.

— Не наши,—подтвердилъ и Владиміръ Андреевичъ: — голоса чужіе.

— Кіевскіе голоса,—замѣтилъ, въ свою очередь, всевѣдущій „суро-жанинъ“:—хохлацки... это кіевски рога—я знаю...

Димитрій, Владиміръ, Пересвѣтъ, Ослябя и другіе „извольники“ князя поскакали впередъ.

Навстрѣчу ополченія шло облако пыли, привѣтливо трубили звонкіе рога и изъ-за пыли виднѣлись цвѣтныя знамена, полоскавшіяся въ воздухѣ. На еловцахъ знаменъ блестѣли кресты...

— Наши! наши! кресты видать!—закричали ратные.

— У поганныхъ крестовъ нѣтъ на стягахъ—хрестыяне идутъ!

— Трубчане, братцы, идутъ, да брянчане—ихъ одежда, ихъ посадка и стяги!

Дѣйствительно, во вновь приближавшихся ратяхъ ничего не было видно враждебнаго, либо иноплеменнаго: все — и люди, и стяги, и доспѣхи, и одѣяніе — все напоминало „русичей“. Впереди, подъ алымъ съ золотомъ стягомъ, ѣхали два молодыхъ всадника, а третій—уже пожилой. Подъ первыми были вороные кони, а подъ третьимъ—громадная рыжая лошадь, съ необыкновенно развитою грудью и съ цѣлымъ лѣсомъ волосъ въ гривѣ. Хотя вся внѣшность этихъ трехъ всадниковъ и особенно рати ихъ ясно говорили, что это не татары и не литва, однако, чѣмъ-то особеннымъ вѣяло отъ этихъ трехъ молодцоватыхъ фигуръ:—двое младшихъ были бѣлокурые, тонкіе, жидкіе, съ голубыми глазами, юноши, совершенно не русскаго „образа“, а какъ бы литовскаго; такихъ тоненькихъ и стройныхъ княжичей на Руси не видывано—русичи полноувѣснѣе, тѣльнѣе, сдобнѣе; да русичи притомъ—или бородатые или совсѣмъ безбородые отроки, какъ мученики княженята Борисъ и Глѣбъ; а у этихъ нѣтъ бородъ, за-то есть усики, да еще подвитые кверху, по тараканьи... Нѣтъ, это не русичи... А ужъ третій, старшій, совсѣмъ смотреть чѣмъ-то невиданнымъ: черные усы, „аки косы дѣвичьи“, падаютъ на грудь, а борода голена—вотъ диво! — А еще дивнѣе диво: изъ-подъ высокой шапки виднѣется бритая голова, бритые виски—и—оле чуда невиданнаго!—настоящая коса дѣвичья, черная, что смола, только не заплетена, а перекинута за ухо... Вотъ чудище!—точно Соловей-разбойникъ, либо идолище какое... А смотреть ласково, оскабляется и усомъ моргаетъ...

Увидавъ первыхъ двухъ молодыхъ всадниковъ, великій князь тотчасъ же узналъ ихъ и замѣтно обрадовался. Онъ приподнялся на сѣдлѣ, ротъ его невольно раскрылся въ привѣтливую улыбку, и правая рука приложилась къ груди, на которой висѣлъ массивный золотой крестъ подъ такою же гривною.

— Добро пожаловати, князи честніи!—воскликнулъ онъ.—Благословенъ грядый во имя Господне.

Молодые всадники поклонились и приложили руки къ груди.

— Другъ друга обьемемъ!—продолжалъ великій князь, подъѣзжая къ всадникамъ.

Онъ обнялъ поочередно и того, и другого.

— Добраго пути и врагѣмъ одолѣнія!—сказали разомъ оба молодые всадника:—мы и рати наши челомъ бьемъ тебѣ, господине княже.

— Братія моя милая! Оба есте князя, оба Олгердовича — Ондрей и Димитрій! положимъ есмы головы за Русскую землю, за дома божіи!—говорилъ Димитрій.

— Затѣмъ пришли—того и искать будемъ, а съ нами и наши добрыи молодцы—брянчане и трубчане,—отвѣчали Олгердовичи.

Прибывшіе молодые всадники были братья, князя Андрей и Димитрій Олгердовичи. Они были братья и Ягелла, великаго князя литовскаго, но, будучи обижены имъ, перешли на сторону Димитрія московскаго, и одинъ изъ нихъ, Андрей, былъ призванъ на княженіе въ Полоцкѣ. Теперь они и привели съ собою въ помощь русскимъ ратямъ противъ Мамаю свои дружины—брянчанъ и трубчанъ.

— А се, господине княже,—началъ было Андрей Олгердовичъ, показывая на страннаго черномазаго всадника съ огромными усищами и косою за ухомъ, который молча сидѣлъ на своемъ богатырскомъ ковѣ и крутилъ усь:—се, княже..., и остановился...

Къ великому князю, на страшно взмыленныхъ коняхъ, едва переводя духъ, подскакали еще два всадника. Потъ ручьями лилъ съ ихъ лицъ, шишаки ихъ и бороды были въ пыли, кони тяжело дышали...

— Съ какими вѣстями, братіе? — тревожно спросилъ великій князь прибывшихъ.

— Язъ, Петрушка Горской, да Карпунько Олексинъ—мы есмя гонцы съ воеводы Семена Мелика,—торопливо отвѣчалъ одинъ изъ прибывшихъ.

— Такъ съ чѣмъ прислалъ васъ Семенъ?—торопилъ ихъ Димитрій.

— Прислалъ сказать: нечестивый-де Мамай стоитъ на Дону, на Кузьминой-Гати и ждетъ къ себѣ Олега рязансково, да Ягелла литовсково.

Точно облачко пробѣжало по полному, красноватому лицу Димитрія... Дрогнули вѣки... Зрачки расширились... Рука судорожно ухватилась за сердце...

— Такъ и Олегъ... окаянный,—невольнo шептали его губы.

Краска сходила съ его полныхъ щекъ, губы дрожали. Но онъ силился овладѣть собою.

— А сколько у Мамаю силы?—спросилъ онъ гонцовъ.

— Не перечесть,—былъ короткій, но страшный отвѣтъ.

Димитрій опустилъ голову, снова поднялъ ее, глянулъ на Олгердовичей, которые стояли бодро и весело, — на черномазаго съ косою—и тотъ глядитъ бойко, соколомъ, и улыбается однимъ усомъ, Димитрій глянулъ на

друга своего, на Владиміра Андреевича, на воиновъ-схимниковъ—и видъ ихъ нѣсколько ободрилъ его.

— Обь-онъ-поль Дона стоитъ нечестивый? — снова обратился онъ къ гонцамъ:—за Дономъ?

— За Дономъ, господине княже,—отвѣчалъ одинъ.

— У Красной Мечи,—пояснилъ другой.

— А что дѣлаетъ Семенъ Меликъ съ дружиною?

— Бьется съ передними ордами,—отвѣчалъ первый.

— Развѣдному полку путь преграждаетъ,—пояснилъ второй.

— А крѣпокъ Семенъ? Стоитъ?

— Крѣпокъ, господине княже.

— Ево дружина—все нарочиты мужи-богатыри, что дубы стоятъ...

— Сѣкутъ поганныхъ гораздо...

Великій князь, снова оглянувшись кругомъ и поглядѣвъ на солнце, уже спускавшееся къ горизонту, приказалъ трубить привалъ. Взвыли рожки и трубы, заржали кони, застонала окрестность отъ тысячъ голосовъ. Великій князь, обратясь къ стоявшимъ около него князьямъ и воеводамъ, просилъ ихъ къ себѣ въ ставку, которая тутъ же и была разбита на маленькомъ возвышеніи, а Пересвѣта и Ослябю послалъ сейчасъ же звать остальныхъ князей и воеводъ въ свой шатеръ.

— Совѣтъ держать,—пояснилъ онъ.

Воины-схимники стрѣлой помчались въ разные стороны.

Черезъ полчаса всѣ князья и воеводы были въ сборѣ. Великій князь сидѣлъ по срединѣ шатра, а кругомъ него всѣ военачальники. Рядомъ съ нимъ—Владиміръ Андреевичъ, противъ—оба Олгердовича съ своимъ черномазымъ, усатымъ и косатымъ спутникомъ, въ сторонѣ, у выхода—Пересвѣтъ и Ослябя, какъ двѣ черныя каріатиды.

Великій князь перекрестился, а за нимъ замахало руками и все собраніе.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!—началъ Димитрій.

— Аминь!—былъ общій откликъ.

— Отъ воеводы отъ Семена сына Меликова пришли вѣсти: нечестивый Мамай стоитъ обь-онъ-поль Дону, на Кузьминой-Гати, что къ Красной-Мечи, и ждетъ окаяннаго Олега рязанскаго и Ягелла литовскаго... Сила поганныхъ неисчислима... Воевода Семенъ съ нарочитыми мужи преграждаетъ путь переднимъ ордамъ...

Димитрій остановился и глянулъ кругомъ, какъ бы желая почерпнуть мужества у воеводъ и перевести духъ. Грудь его, высоко подымаясь, колыхала золотой наперстный крестъ. Въ палаткѣ было тихо, несмотря на то, что кругомъ, надъ всѣмъ ополченіемъ, стоялъ гулъ и смѣшанный рокотъ.

— Братія!—продолжалъ Димитрій дрогнувшимъ голосомъ: — приспѣ година... Что совѣтуете, да учинимъ?... Переходить ли на ту страну Дона?—ждать ли на сей странѣ?

Онъ замолчалъ, тяжело и ускоренно дыша. Всѣ молчали, сопя и дыша усиленно.

— Идти или стоять?—повторилъ великій князь.

— Стоять, княже господине,—послышался одинъ робкій голосъ.

— Подобаеть остатися на сей сторонѣ Дона,—заговорилъ другой, смѣлѣе.

— Правда: врагъ неисчислимы—и татаровя, и рязанцы, и литва,—подкрѣплялъ третій.

— Истинно: покинѣмъ за собою рѣку—ино трудно будетъ назадъ идти... ненадобеть переходить...

— Овва!—раздался вдругъ странный голосъ, точно изъ трубы.

Всѣ оглянулись. Это тотъ уса́тый и черномазы́й, что сидѣлъ рядомъ съ Олгердовичами издалъ такой странный звукъ. Димитрій посмотрѣлъ на него вопросительно. Олгердовичи лукаво улыбались.

— Я, Митро Боброкъ, волынянинъ, совѣтъ даю такі́й тоби, пане великій князю, и всѣмъ панамъ княземъ и воеводамъ: ити на тотъ бокъ и битись съ погаными, бо хто самъ бьетъ, того не бьютъ, а хто самъ не бьетъ, того бьютъ...

Эта неожиданная, сказанная никому неизвѣстнымъ пришлецомъ и такимъ страннымъ языкомъ рѣчь произвела сильное впечатлѣніе. Всѣ сидѣли ошеломленные. Пересвѣтъ и Ослябя, видимо, любовались незнакомцемъ.

— Панъ Боброкъ истину говоритъ, господине княже,—поддержалъ незнакомца Олгердовичъ, Андрей:—коли ты хочешь крѣпкаго бою, вели нынѣ же перевозитись за Донъ, дабы ни у кого и въ мысляхъ не было возвращатца вспять. Пускай всякъ изъ насъ безъ хитрости бьетца, пусть не думаетъ о спасеніи, а съ часу на часъ себѣ смерти ждетъ. Тогда мы одолѣемъ поганныхъ.

— Добре! добре, князю Олгердовичу!—отозвался таинственный Боброкъ.

— И я реку: добре!—сказалъ и другой Олгердовичъ, Димитрій:—а что, сказываютъ, у поганныхъ силы велики—такъ что на сіе смотреть? Не въ силѣ Богъ—въ правдѣ!

Какъ бы въ подтвержденіе этихъ словъ о томъ, что и Богъ и сила—въ правдѣ, въ палатку вошелъ старый чернецъ, весь запыленный, видимо съ дороги, и осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, низко всѣмъ поклонился.

— Миръ вамъ!—сказалъ онъ.—Преподобный Сергій, игумень смиренныя обители святыя Троицы, прислалъ тебѣ, великому князю, и всѣмъ соратникомъ твоимъ свое пастырское благословеніе и грамоту.

Всѣ встали съ мѣстъ. Черный посланецъ досталъ изъ кожаной сумы маленькій свитокъ и подалъ его великому князю. Дрожащими руками развернулъ князь свитокъ, нагнулся къ нему, пробѣжалъ глазами, и лицо его освѣтилось радостью.

— Благодарю тебя, Господи!—воскликнулъ онъ, поднимая руки.—Святой отецъ вторицею благословляетъ меня на брань... Знаменіе сіе—великое! За насъ помощь всемогущаго Бога и Пресвятыя Богородицы!... „Дерзай, чадо!“ глаголетъ преподобный... Воскликнемъ и мы съ псалмопѣвцемъ: „си на колесницѣхъ, и си на конѣхъ, мы же во имя Господа возстахомъ и исправихомся!“... Возстанемъ же, братіе! Честная смерть унѣ

есть злаго живота: унѣ бо было не ити противу безбожныхъ, не чѣмъ пришедъ до сихъ мѣстъ и ничто же сотворивъ, возвращатися вспять...

— Добре! добре!—прогудѣлъ таинственный Боброкъ.

Въ этотъ моментъ въ палатку вошло новое лицо. Пришедшій былъ видимо съ дороги. Это былъ мужчина уже не молодой, съ сильно хваченною просѣдью бородою и ясными сѣрыми глазами на шибко загорѣломъ лицѣ. Доспѣхи его были покрыты рубцами и запекшеюся кровью...

— Брате Семене! Съ какими вѣстями?—тревожно воскликнулъ князь Дмитрій.

— Съ добрыми для хоробраго!—отвѣчалъ прибывшій.

— Что нечестивый Мамай?

— Всѣ силы темныя, силы всѣхъ властей и князей своихъ ведетъ на насъ Мамай... Уже онъ на Гусиномъ-Броду. Едина токмо ночь промежу нашими и его полками. Вооружайся, княже! Завтра нападутъ на насъ поганые. Уже слышно ржаніе коней ихъ.

— Добре! добре! — снова прогудѣлъ голосъ Боброка.—Комони ржутъ за Сулою, гремитъ лава по Дону, великій князь Дмитрій вступаетъ въ златъ стремень. Идемъ на поганныхъ!

Всѣ съ изумленіемъ посмотрѣли на говорившаго; но никто не возражалъ. Только великій князь возвелъ очи горѣ и перекрестился.

— Быть по сему. Да будетъ воля твоя, Боже всемогущій!...

VIII.

Ночь наканунъ битвы. Предсказаніе Боброка.

Кто же былъ этотъ таинственный Боброкъ, слово котораго, можно сказать, рѣшило судьбу русской земли, двинуло нерѣшительнаго Дмитрія и его рати за русскій Рубиконъ?

Лѣтописи говорятъ, что онъ былъ „волынецъ“, выходецъ изъ южной Руси, которая во время татарскаго ига порвала всѣ связи съ сѣверной—московской, тверской, владимірской, суздальской и всей прочей подтатаренной. Прикрывшись Днѣпромъ и восточными степями, этими естественными преградами, отъ страшныхъ поработителей сѣверной Руси, южная—кіевская, волынская и подольская Русь медленно воскресала послѣ перваго, Батыевскаго погрома, распускалась и зацвѣтала новыми цвѣтами, какъ потоптанная конскими копытами трава. Въ ней все оставалось прежнее, какъ было еще при кіевскихъ князьяхъ — при Игорѣ и Святославѣ, при Ольгѣ и Ярославѣ—„законникѣ“, при Владимірѣ—„красномъ солнышкѣ“ и Владимірѣ „Мономахѣ“: не было только князей, а были и прежніе Бояны, которые свои „вѣщіе персты на живыя струны возлагали“ и „славу“ не княземъ, а своимъ удалымъ богатырямъ „рокотали“, и удалые богатыри въ родѣ „Ивася Кожемяки“ — древняго „Яна-Усмошевця“ и Добрыни Никитича. Къ такимъ южнорусскимъ богатырямъ принадлежалъ

и Митро Боброкъ-волянянинъ. Онъ любилъ свою пѣвучую и цвѣтущую сторонку, любилъ ея пѣсни, ея „красныя дѣвы—дивчата“, зналъ наизусть старую богатырскую думу—„Слово о полку Игоревѣ“...

Въ то время самую окраину южной Руси составляла Червонная Русь—могучая отчина князей Романа и Давида галицкихъ, по своей столицѣ Галичу такъ прозванныхъ, страна, не потоптанная копытами татарскихъ коней, забиравшая подъ свою руку и Литву, которая плакалась на Романа: „Романе! Романе! не добромъ живеша—Литвою реши“... Въ этой-то сторонкѣ, на Волини да въ Червонной Руси, выросталъ Митро Боброкъ, а когда выросъ, то вольною птицею леталъ и по возрождавшейся Кіевщинѣ, и по Литвѣ, и по степямъ лѣвобережнаго Поднѣпрія, задираючи съ такими же, какъ онъ самъ, вольными сынами „казаками“ поганую татарву, что пробовала иногда отъ Дона и Волги пробраться саранчою въ оживавшую и расцвѣтавшую цвѣтами и людьми южную Русь—„мати Украину“. Называлъ себя Митро Боброкъ почему-то „козакомъ“, какъ называли себя и другіе подобные ему молодцы. А что значило слово „козакъ“—онъ и самъ не зналъ, да и никто этого не вѣдалъ: „такъ люде дражнятъ козаками—козаки и пошли гулять по свѣту“... И говорилъ Боброкъ какъ-то особенно, кажись бы и по-русски, и слова больше русскія, знакомыя, такъ выговоръ какой-то чудной, новгородскій, да и того чуднѣе: „хлѣбъ“ у него выходитъ „хлибъ“, „человѣкъ“ — „чоловикъ“, „конь“—какъ-то ужъ совсѣмъ чудно—не то „кинь“, не то „кунь“, не то „куинь“. А иное такое совреть словцо, что и не уразумѣешь его: „годъ“ у него „рокъ“, „сапоги“—„чоботы“, собака „лаеть“—у него она „брешеть“, и „вретъ“ у него „брешеть“, и бояръ да господъ у него нѣтъ, а все „паны“: — такъ чудной языкъ, косноязычіе нѣкое, казалось русскимъ и особенно московскимъ людямъ... „Маленько сшиблись языкомъ хохлатые люди“, говорили они съ сожалѣніемъ. Вотъ изъ такихъ-то „хохлатыхъ людей“ былъ и Боброкъ. Пришелъ онъ изъ своей земли, изъ „хохлатой“, въ Литву, служилъ и у Кейстута и Олгердовичей; а какъ услышалъ, что русскіе люди поднимаются на поганыхъ, то не утерпѣлъ и онъ — просилъ Олгердовичей взять его съ собою. А Олгердовичи уважали его, какъ отца родного,—ужъ очень былъ свѣдущій человѣкъ въ ратномъ дѣлѣ и „вѣдунъ“ великій: зналъ все, что прежде было; знаетъ и то, что будетъ. И по „птичьему-то граю“ онъ узнаетъ будущее, и по „чоуху“, и по „встрѣчѣ“; слышитъ, какъ и земля говоритъ, разумѣетъ и то, что трава шепчетъ, листь на дрѣвѣ выговариваетъ...

Несказанно дивился его „вѣдовству“ и великій князь, котораго „хохлатый человѣкъ“ сразу расположилъ въ свою пользу и своимъ открытымъ, умнымъ лицомъ, и своими смѣлыми, мудрыми рѣчами, особенно же, когда Димитрій узналъ, что Боброкъ бывалъ и въ Кіевѣ, и маливался печерскимъ угодникамъ, лобызалъ ихъ святыя мощи. Только эта странная коса у Боброка, этотъ длинный „хохолъ“ приводилъ князя въ смущеніе.

— Ишь ты! — дивился великій князь вмѣстѣ съ дружиною, — у насъ

на головѣ гуменце простригаютъ, а у нихъ вонъ что—хохолъ еще оставляють.

— И усы нарочитые!—дивились прочіе русичи.

Но Боброкъ объяснилъ великому князю, что и предки его, князя, великіе князья кіевскіе носили „хохлы“, только они называются въ Кіевской землѣ „чубами“. Увѣрялъ этотъ чудной Боброкъ, что и хоробрый Святославъ князь носилъ „чубъ“, и Игорь князь, и Олегъ вѣщій...

— Да откуда ты все сіе вѣдаешь, брате Дмитріе?—еще болѣе дивился великій князь.

И Боброкъ объяснилъ, что когда онъ маливался въ кіевскихъ пещерахъ и живалъ въ нихъ подолгу, такъ читалъ тамъ „Лѣтописца“, руки самого преподобнаго Нестора „книжнаго“, и знаетъ, „откуда пошла есть русская земля“, и что въ ней было, и какіе князи княжили, и какія знаменія на небеси бывали...

Однимъ словомъ, Боброкъ сразу очаровалъ всѣхъ. Еще была въ немъ одна особенность, которая пришлась по душѣ всѣмъ: это его веселость, живость характера при внѣшней, казалось бы, суровости и насупленности; но насупленность происходила просто отъ расположенія бровей и крутизны лба и надглазныхъ костей. Боброкъ умѣлъ пошутить и разсмѣшить, и подъ его шуткой какъ-то сглаживалось, смягчалось и расплывалось все, даже самое страшное... Какъ ни торжественъ былъ моментъ, когда Боброкъ соединился съ ополченіемъ великаго князя и когда рѣшено было перевозиться черезъ Донъ, какъ ни тревожно всѣ были настроены, Боброкъ и тутъ казался беззаботнымъ и веселымъ; мало того—онъ шутилъ, снуя на своемъ рыжемъ жеребцѣ по берегу Дона и указывая, гдѣ удобнѣе наводить мосты, гдѣ пускаться въ бродъ, и, какъ бы въ подтвержденіе легкости этого подвига, перекинулъ на ту сторону Дона свою шапку и тутъ же бросился въ воду, стоя, а не сидя на сѣдлѣ, и черезъ нѣсколько секундъ былъ уже тамъ и махалъ оттуда своей барашковой шапкой съ краснымъ верхомъ.

Увидя „хохлатаго дьявола“ на той сторонѣ, всѣ тотчасъ же стали переходить Донъ то въ бродъ, то по наскоро сколоченнымъ плотамъ, и раньше полуночи русскія рати были уже за Дономъ и расположились на ночлегъ.

За полночь, когда великій князь, оберегаемый Пересвѣтомъ и Ослябею, еще не спалъ, а молился, стоя на колѣняхъ и съ трепетомъ помышляя о завтрашнемъ днѣ, какъ бы сился поклонами и слезами разорвать страшную пелену будущаго, повисшую между этою ночью и предстоящимъ днемъ, въ шатеръ вошелъ кто-то тихонько и остановился у входа. Дмитрій вздрогнулъ, но тотчасъ узналъ Боброка, и успокоился.

— Се ты, брате Дмитріе?—спросилъ онъ неожиданнаго гостя.

— Я бувъ колись, княже,—былъ отвѣтъ.

— Почто пришелъ еси, брате?

— Та по казацкому дилу, княже... Хочешь — я покажу тобі такі прикметы, що тобі знати буде, що станеться завтра,—отвѣчалъ Боброкъ таинственно.

— Прикметы, сказываешь, брате? Какія оныя прикметы? — удивился князь.

— Та такъ-таки прикметы казацки, княже... У насъ есть таки прикметы...

Димитрій задумался. Ему тотчасъ же пришло въ голову—не грѣховное ли это дѣло, не бѣсовское ли искушеніе. Ему припомнился и Саулъ царь у Аэндорской волшебницы, и Олегъ князь у кудесника. Но въ то же время брало сильное искушеніе заглянуть за эту страшную пелену, приподнять ее, взглянуть въ очи невѣдомому будущему.

— А не грѣховно ли сіе, брате Димитріе?—нерѣшительно спросилъ онъ.

— Ни, княже, не грѣховно... мы съ святыми крестами,—успокоивалъ его Боброкъ:—помолимось...

Послѣ нѣкотораго раздумья, Димитрій рѣшился. Они сѣли на коней и, не говоря никому ни слова, какъ будто бы ѣхали осмотрѣть сторожевые посты, выѣхали изъ обоза, стараясь не звякнуть ни стременемъ, ни доспѣхами, ни тупнуть копытами коней.

Передъ ними разстилалось окутанное ночью мглою, широкое, ровное, казалось, безконечное поле, сходящееся съ темнымъ, зловѣще смотрѣвшимъ на нихъ своими очами-звѣздами, небомъ. Ни вправо, ни влево не видно было ничего, кромѣ темной дали и неба, и не слышно было ни звука—все спало: и небо, и земля, и это безконечное поле. Только иногда по темноглубой выси золотистою ниткою пробѣгала падающая звѣзда и исчезала въ пространствѣ. При видѣ падающей звѣзды, Димитрій всякій разъ крестился. Ему казалось, что черезъ эти очи на него кто-то глядитъ. „Души умершихъ прародителей глядятъ отсюда. Страшно... Молитесь обо мнѣ, души почивающихъ съ миромъ. Можетъ, и княгиня не спитъ и глядитъ на сіе небо, звѣздами, аки бисеромъ, измечтанное“... Ему пришли на память пророческія слова преподобнаго Сергія: „Господь Богъ будетъ тебѣ помощникъ и заступникъ... Онъ побѣдитъ и низложитъ супостаты и прославитъ тя“... Вспомнилась и вчерашняя благословенная грамота Сергія: „держай, чадо!“

Долго они ѣхали молча. Мертвая тишина, казалось, давила болѣе и болѣе. Чувствовалась какая-то оторванность отъ всего живого, такъ томительно было это молчаніе природы...

— Мнѣ страшно,—невольно прошепталъ Димитрій.

— Не бойся, княже. Се, Куликово поле,—тихо сказалъ Боброкъ:—куликовъ десь до-гаспида—сто копанокъ...

Онъ остановился. Остановился и великій князь.

— А ну, княже, повернись до татарской стороны и слухай,—еще тише сказалъ Боброкъ.

Князь вперилъ очи передъ собою, во мракъ, гдѣ должны были быть татары, и напряженно слушалъ, такъ напряженно, что слышалъ, какъ подъ кольчугою тукало его сердце... И онъ услышалъ... Въ ночной тишинѣ дѣйствительно слышалось въ той, въ татарской сторонѣ, какъ звучали трубы, стучало и звенѣло глухо оружіе, раздавались неясные голоса...

Справа слышны были завыванья волковъ, ихъ грызня, протяжный лай... Съ лѣвой стороны тоже говорила ночная мгла: кричали невѣдомыя птицы, граяли вороны, клеттали орлы...

— Що чуешь?—спросилъ Боброкъ.

— Страхъ и гроза,—трепетно отвѣчалъ Димитрій.

— Теперь,—сказалъ Боброкъ:—повернись, княже, на рускій полкъ.

Оба они повертели коней и стали лицомъ къ Дону. Опять стали прислушиваться. У Димитрія еще болѣе колотилось сердце — онъ только его и слышалъ...

— Что чуешь?—снова спросилъ Боброкъ.

— Ничего не слышу,—отвѣчалъ великій князь: — тишина великая... Вижу токмо, якобы отъ множества огней зарево...

Боброкъ немного помолчалъ. Еще разъ повернулся на сѣдлѣ, поглядѣлъ на всѣ четыре стороны, какъ бы нюхая воздухъ или ища движенія вѣтра. Снова послушалъ. Князь тревожно ждалъ.

— Господине княже! — торжественно сказалъ, наконецъ, Боброкъ: — благодари Бога и пречистую Богородицу и великого чудотворца Петра и всихъ печерськихъ угодниковъ: огни—то доброе знаменіе тоби. Призывай Бога на помочъ и молись Ему часто, не оскудивай вирую до Его и до пречистой Богородицы и до пастыря вашего московскаго и молебника, великого чудотворца Петра, и до нашихъ печерськихъ угодниковъ. Се добри прикметы. А въ мене есть ще одна прикета.

Боброкъ сошелъ съ коня, легъ на землю и припалъ къ ней правымъ ухомъ. Онъ долго такъ лежалъ и къ чему-то, ему одному слышному, прислушивался.

Страшно опять стало великому князю въ этой тишинѣ. Ему вспомнилась старая сказка про богатыря Добрыню Никитича, какъ онъ бродилъ въ полѣ незнаемѣ, отыскивая Змѣя Горыныча, и прикивалъ ухомъ къ сырой землѣ:

Припадалъ Добрынюшка ко сырой землѣ,
Услыхалъ тутъ посвистъ по-змѣиному,
Услыхалъ онъ покрикъ по-звѣриному...

Боброкъ всталъ съ земли, снова припалъ на траву, приложилъ ухо къ землѣ и слушалъ.

Димитрій ждалъ. Тревога росла въ немъ отъ этой неизвѣстности, отъ мертвой тишины... „Молчитъ Боброкъ—знать, дурное слышитъ“...

Боброкъ всталъ и казался тревоженъ. Онъ, видимо, не смѣлъ взглянуть въ глаза Димитрію и стоялъ понуро, мрачно.

— Ну, что, брате Димитріе?—съ боязнью спросилъ князь.

Молчитъ Боброкъ, на лицѣ его смута и печаль. Великій князь опять спрашиваетъ. Боброкъ продолжаетъ упорно молчать. Великій князь умоляетъ его Господомъ Богомъ. Боброкъ горестно замоталъ головой и закрылъ лицо ладонями. Ужасъ напалъ на великаго князя...

— Димитріе! брате мой! прорцы мнѣ—повѣдай... У меня сердце зѣло болитъ—все изныло...

Боброкъ отнялъ руки отъ лица и рѣшительно тряхнулъ головой, чтобы отрясти слезы, которыя текли по его загорѣлымъ щекамъ.

— Господине княже!—сказалъ онъ глухо:—тоби одному повѣдаю, а ты никому не кажи о моихъ прикметахъ. Одна на велику радость тоби, друга—на велику скорбь и тугу.

Князь приложилъ руку къ сердцу и поднялъ глаза къ темному небу.

— Сказывай все,—чуть слышно прошепталъ онъ.

— Я,—продолжалъ Боброкъ такъ же тихо:—припадавъ до земли ухомъ и чувъ, якъ земля горько и страшно плакала: съ одного боку, сдается, будто плаче женщина-мати о дѣтяхъ своихъ и голосить по-татарськи и розливаться слезами; съ другого боку, чулось мени, будто дѣвица плачетъ свирѣлымъ голосомъ, у великій скорби и печали. Не мало я битвъ перебувъ, много прикметъ испытавъ, и знаю я ихъ: уповай, княже, на милость Божію—одолишь татаръ; но твоего христіяньского воинства паде подъ гостріемъ меча многое множество.

Заплакалъ великій князь, услыхавъ это, и припалъ къ гривѣ своего борзаго коня, какъ бы чуя сердцемъ, что и вѣрный конь раздѣлитъ его горе. Умный конь тихо заржалъ, поворачивая къ князю свою красивую голову. Но князь не долго плакалъ. Онъ выпрямился на сѣдлѣ и перекрестился.

— Како угодно Господу—такъ и да будетъ! Кто воли Его противникъ? Онъ обнялъ Боброка и поцѣловалъ.

— Отнынѣ будешь мнѣ другъ и совѣтникъ,—сказалъ онъ съ чувствомъ.

— Господине княже!—еще разъ сказалъ Боброкъ:—не подобае тоби казати о сихъ прикметахъ никому въ полкахъ, дабы у многихъ не уныло сердце. Призывай Господа Бога на помочь, и Пречисту Богородицю, и великого чудотворца Петра, и всѣхъ святыхъ и печерськихъ угодниковъ... Оружися животворящимъ хрестомъ Исусовымъ—то Его оружіе непобидиме. И они повернули въ свой станъ. Ночь казалась еще непрогляднѣе, еще страшнѣе: за ними во мракѣ протяжно выли волки, такъ что волосы становились дыбомъ: казалось,—говорить современное повѣствованіе о „Мамаевомъ побоищѣ“, — будто волки со всего свѣта сбѣжались... А съ другой стороны каркали вороны, звонко клетали орлы, поджидая зорю... Страшна, ужасна была эта ночь.

Димитрій, воротившись въ свой шатеръ, такъ и не уснулъ до утра: ему казалось, что онъ все слышитъ то плачъ женщины-матери о дѣтяхъ, татарское причитанье, то свирѣлый голосъ плачущей дѣвицы, то вой волковъ, то грай вороновъ и клетоть орловъ...

А тамъ начинала заниматься заря—наступалъ роковой день—8-е сентября 1380 года.

IX.

Полчища сходятся.

Туманное вставало роковое утро. Тревожно, но безъ шума вставало войско, зная, къ чему оно готовится. Будили другъ друга молча, безъ словъ, или шепотомъ, встряхивали съ себя росу, крестились на востокъ, молча прощались другъ съ дружкой, кланялись въ ноги, припадая головами къ росистой землѣ и травѣ, и троекратно цѣловались, какъ съ покойникомъ. У кого была чистая рубаха, тотъ надѣвалъ ее, какъ подобаетъ передъ смертью или передъ причастіемъ. Молча сѣдлали коней, надѣвали доспѣхи, вынимали изъ-за пазухъ родную землицу, что по шепоти завернута была въ тряпицы и повѣшена на крестахъ, крестились, цѣловали эту землицу—кто суздальскую, кто московскую, кто тверскую, кто муромскую, карачаровскую, верейскую, коломенскую, серпуховскую...

Не видать солнышка роднаго... Можетъ и не увидать ужъ больше—туманомъ затянуто, что мертвымъ саваномъ повито... Такъ и ходить туманъ клубами по полю, можетъ, по кладбищу...

Тихо передавали другъ другу ратные о дивномъ чудѣ нѣкоемъ, какъ въ эту самую ночь, „глубоцѣ нощи, бысть нѣкому мужу знаменіе — видѣніе дивное“... Одни говорили, что мужъ сей, сподобившійся видѣнія, былъ Оома Кацюгей, другіе утверждали—что Оома Хаберцыевъ. Мужъ сей былъ нѣкогда разбойникомъ, но прииде въ покаяніе, раскаялся во всемъ, рассказалъ все попу на духу, и попъ наложилъ на него „питимью“—омыть свои злодѣянія своею собственною кровью за правое дѣло. А Кацюгей этотъ былъ богатырь, необычайной силищи человекъ и отваги несказанной. Вотъ этого-то Кацюгея—передавали другъ дружку ратные—и поставили на ночь въ сторожевое мѣсто отъ татаръ. Вотъ стоитъ онъ ночью, „глубоцѣ нощи“, и видитъ: отъ восточной страны выступаетъ на воздухѣхъ невѣдомо какое полчище, а полагать надо—татарское. Выступаетъ оно такъ страховито, ужаса исполненно. И ужасеся мужъ тотъ, рекомый Кацюгей, и нача крестное знаменіе творити. И се абіе видитъ—оле чюда дивнаго! — видитъ со полудня два व्यюноша, идуща, на воздухѣхъ же, и доспѣхами вооружены гораздо. И начаша оные व्यюноши поражать оное татарское полчище—мечами сѣчи—такъ и сѣкутъ, какъ капусту. И слышитъ оный Кацюгей, какъ оные व्यюноши запрещали оному полчищу иди на русскую землю, аркучи тако: „кто-де вамъ велѣлъ погублять наше воеводство? — намъ-де ево даровалъ Господь!“ И многихъ оные व्यюноши посѣкли мечами, а другихъ разогнали и распудили, словно овецъ. На утро оный Кацюгей и повѣдалъ о томъ видѣніи великому князю, а великій князь и уразумѣ, яко оные व्यюноши—суть стратотерпцы Борисъ и Глѣбъ, ево прародители, иже выну молятся ко Господу о родной Руси и помогали нѣкогда, также на воздухѣхъ, князю Александру Невскому въ битвѣ ево со свеями.

Такъ разсказывалъ всѣмъ старый благочестивый ратникъ, что всегда возставалъ противъ „крѣпкаго слова“ и въ особенности противъ буюслова Микитки-серпуховитина, любившаго „загинать“ и кстати и некстати.

Солнце взошло, но туманъ, нависшій надъ полемъ непроницаемою пеленою, заслонялъ его и всѣ окрестные предметы. Не было видно и татаръ, которые, можетъ быть, оставаясь на прежнемъ мѣстѣ, поджидали къ себѣ Олега рязанскаго и Ягелла литовскаго, чтобъ ударить разомъ на „забрыкавшихъ рабовъ, безрогихъ телятъ московскихъ и овецъ“ и загнать ихъ всѣхъ въ овчарню, а быть можетъ, прикрываясь туманомъ, они двигались на несчастное русское воинство и вотъ-вотъ заалалакаютъ и закричатъ, какъ верблюды... Надо готовиться ко всему, надо готовить груди свои для стрѣлъ и копій, а шеи для аркановъ поганныхъ, надо строиться въ ряды въ „суймы“ и въ „лавы“... И русскіе строились такъ же тихо, какъ тихо они вставали передъ тѣмъ и молились.

Великій князь, выйдя изъ палатки въ сопровожденіи Владиміра Андреевича, Боброка, Пересвѣта и Осляби, приказалъ „искреннему“ своему, Михайлѣ Бренку, везти черное великокняжеское знамя впередъ, на первый „суймъ“—на передній, и самъ послѣдовалъ за нимъ, осматривая двигавшіеся, въ туманѣ и строившіеся по полю полки. По временамъ, казалось, по немъ пробѣгала дрожь отъ этого тумана, и онъ глядѣлъ въ ту сторону, гдѣ должно было показаться или солнце, или—страшное лицо непріятеля; по ни солнца, ни татаръ не было видно. Лицо Дмитрія было блѣднѣе обыкновеннаго и необыкновенно задумчиво. Владиміръ Андреевичъ тревожно на него посматривалъ и тоже что-то раздумывалъ. Пересвѣтъ и Осляба были молчаливы и спокойны, слѣдуя, какъ двѣ черныя тѣни, за великимъ княземъ. Одинъ Боброкъ былъ оживленъ и сообщалъ свои замѣчанія то великому князю, то присоединившимся къ великокняжеской свитѣ Олгердовичамъ.

Въ самой серединѣ поля, вмѣстѣ съ переднимъ „суймомъ“, осѣняемый великокняжескимъ стягомъ, поставленъ былъ бѣлозерскій полкъ съ своими князьями, Ѳеодоромъ и сыномъ его Иваномъ Бѣлозерскими, тутъ же долженъ былъ находиться и самъ Дмитрій съ любимцемъ своимъ Бренкомъ и „извольниками“ Пересвѣтомъ и Ослябею. На правомъ крылѣ становился предводителемъ или „воеводою правой руки“—Владиміръ Андреевичъ съ Боброкомъ и Олгердовичами. Воеводою лѣвой руки оставался Левъ Брянскій.

— Готовы ли есте, милая братья?—ласково обратился великій князь къ Олгердовичамъ, когда они съ Владиміромъ Андреевичемъ и Боброкомъ, построивъ въ „суймы“ правое крыло ополченія, подѣхали къ серединѣ его для окончательныхъ уговоровъ насчетъ предстоящаго боя.

— Все ли въ порядкѣ живетъ? На своемъ ли мѣстѣ ваши трубчане и брянчане хоробры?

— На своемъ мѣстѣ, господине княже,—отвѣчали въ одинъ голосъ Олгердовичи, осаживая коней.

— Наши-те трубчане и брянчанѣ, — улыбаясь проговорилъ Боброкъ,

свѣдоми кмети, подѣ шеломами повити, концемъ копія вскормлены, луги ихъ натянуты, тули отворены, яруги имъ знаемы, сами скачутъ, якъ сиріи вовцы, ищучи соби чти, а князю славы...

Великій князь, мало начитанный, не понялъ поэтического намека Боброка, думая, что это онъ говоритъ отъ себя...

— Такъ-такъ, друже,—замѣтилъ онъ при этомъ:—токмо не мнѣ подобаетъ та слава, а Господу Богу и пречистѣй Богородицѣ...

Олгердовичи переглянулись съ Боброкомъ.

— Изъ писни, княже, слова не выкинешь,—пояснилъ этотъ послѣдній и прибавилъ:—а у насъ, княже, въ кievской и волинской земли, такъ поводится,—коли вовкъ ускочетъ у овчарню и задереть овцю, такъ его не заразъ бьютъ, а тогда якъ нажреться и не зможе скоро бигати... Такъ повели, княже, намъ у засадѣ зайти и тамъ вовка ждать...

Къ Боброку присоединился и Владиміръ Андреевичъ и Олгердовичи.

— Мы на черную годину пригодимся,—пояснилъ Владиміръ.

Великій князь согласился—и Владиміръ съ Боброкомъ и Олгердовичами повели свое крыло вверхъ по Дону, гдѣ темнѣлся лѣсокъ: они застѣли въ засаду.

Никто, а тѣмъ менѣе непріятель, не могъ видѣть это боковое движеніе праваго крыла русскихъ.

Наконецъ, когда все ополченіе расположилось въ боевой порядокъ, великій князь сталъ объѣзжать ряды въ сопровожденіи Пересвѣта и Осляби. Издали виднѣлась его массивная фигура, одѣтая въ богатую княжескую „подволоку“ съ золотою гривною на шеѣ и блестящимъ крестомъ на груди. Конь его, поводя ушами, нетерпѣливо грызъ серебряныя удила и фыркалъ, видя такое множество своей братіи—коней и какъ бы гордясь тѣмъ, кто сидѣлъ на немъ такъ величаво, хотя и съ холодомъ, съ тайною тоскою и боязнью въ сердцѣ.

— Отцы и братья!—то и дѣло возглашалъ онъ, останавливаясь передъ рядами:—ради Господа, подвизайтесь за вѣру христіанскую и за святыя церкви... Умрите бодро за божье дѣло: смерть тогда не въ смерть, а въ животъ вѣчный.

— Постоймъ, княже, положимъ головы свои за вѣру!—гудѣло по рядамъ.—Утремъ пота за русскую землю! Костями ляжемъ, ино тылу не покажемъ!

— Я буду на челѣ вашемъ, отцы и братія!—возглашалъ Димитрій.—Я поведу васъ на нечестивыхъ... Съ нами Богъ и преподобный Сергій: онъ далъ мнѣ сихъ оружниковъ своихъ, Пересвѣта и Ослябя...

Всѣ съ удивленіемъ смотрѣли на эти мужественныя молодые лица, прикрытыя схиною, на ихъ борзыхъ боевыхъ коней, на dospѣхи воинскіе, выглядывавшіе изъ-подъ черныхъ савановъ съ мертвыми головами, и на длинныя, какъ жерди, копья.

А они ѣхали за княземъ молча, опустивъ глаза на гривы коней...

— Матушка! помолись за насъ окаянныхъ!—съ какимъ-то стономъ прошепталъ Пересвѣтъ.

Ослябя услыхалъ этотъ знакомый голосъ—стонъ своего брата и глянулъ на него...

— Она молится, — прошепталъ онъ: — нынѣ мы увидимъ ее.

И память, острая и жгучая память переносить ихъ въ прошлое, въ далекую татарскую сторону... Они, молодые ратники, вмѣстѣ съ суздальцами, нижегородцами и московскими полками князя Волынскаго добываютъ крѣпкую, злую Казань... Вотъ уже сколько дней гремятъ они таранами эти несокрушимыя стѣны, а съ этихъ проклятыхъ стѣнъ что-то страшное гремитъ на нихъ громомъ и огнемъ, словно самъ Перунъ съ неба посыпаетъ ихъ каменнымъ градомъ, а съ боковъ напираютъ на нихъ съ своими ревущими верблюдами проклятые татары... Со стѣнъ татары и татарки поливаютъ ихъ кипящею смолою, льютъ на ихъ головы горячую воду, посыпаютъ истомившіеся ряды горящею сѣрою... Жупель, адъ кругомъ... Страшная жажда мучить, палить ихъ внутренности... А надо добыть Казань, особенно имъ, братьямъ, юнымъ воинамъ Пересвѣту и Ослябѣ: тамъ у нихъ, за этими грозными стѣнами, скрыто то, что имъ, Пересвѣту и Ослябѣ, дороже и роднѣе всего на свѣтѣ — тамъ ихъ мать родная вотъ уже болѣе десяти лѣтъ томится въ полону... Какъ живую они видятъ ее передъ собою—да она и должна быть жива — такая красивая, ласковая, съ соколиными бровями... Ихъ родной городъ горитъ, а татары, запалившіе его, грабятъ дома, хватаютъ женщинъ, убиваютъ мужчинъ... Вотъ и отецъ ихъ лежитъ въ крови, съ разсѣченною дамасскимъ клинкомъ надвое головою, а мать ихъ татары уводятъ... Она оглядывается на трупъ мужа, на дѣтей, на Пересвѣта и Ослябу, что припали къ мертвому тѣлу отца и не видятъ, какъ уводятъ ихъ мать... Она вскрикиваетъ страшнымъ голосомъ... Пересвѣтъ и Ослябя бѣгутъ за ней; но татаринъ, перекинувъ полонянку черезъ сѣдло, скрывается въ толпѣ своихъ бѣшующихъ соплеменниковъ... И вотъ они идутъ добывать свою мать изъ полону...

Теперь передъ ними встаетъ, какъ мертвецъ изъ могилы, воспоминанье этого страшнаго дня. Сыплется на нихъ каменный градъ съ казанскихъ стѣнъ. Ревутъ верблюды, высоко подымая свои длинныя, змѣиныя шеи. Татары тѣснятъ русскихъ, и князь ихъ, Гассанъ, стоя на стѣнѣ, поднимаетъ къ небу руки въ знакъ торжества. Но онъ не видитъ, что по приставленной къ стѣнѣ лѣстницѣ, за угломъ башни два русскихъ воина уже взобрались на стѣну. Это Пересвѣтъ и Ослябя — они ищутъ мать свою. За ними взбираются другіе. Пересвѣтъ и Ослябя по карнизу обходятъ башню и уже вынули свои мечи-кладенцы, чтобы разить Гассана и молніей вмѣстѣ съ прочими упасть на внутренній городъ... Но въ этотъ моментъ изъ башни выбѣгаетъ татарка... Съ отчаяннымъ воплемъ — „Гассанъ! Гассанъ!“ она бросается къ своему князю... „Гассанъ! Гассанъ!..“ Но мечъ Осляби поражаетъ ее въ спину у самой лопатки... Она вскрикиваетъ и оборачивается къ нему... Въ этотъ моментъ Пересвѣтъ колетъ ее въ грудь... Страшный, нечеловѣческій крикъ вырывается изъ груди пораженной татарки:

— Пересвѣтъ! Ослябя! дѣтушки мои милыя, съкодики! вы мать свою убили!..

Эта была ихъ мать, татарская княгиня, любимая жена Гассана, мать, которую они искали... Холодѣющею рукою она указала имъ крестъ на своей груди — она осталась христіанкою...

Несчастные юноши не видѣли, что дѣлалось кругомъ нихъ, внизу, на стѣнахъ, въ городѣ... Они припали къ умирающей матери, рвали на себѣ волосы, а она истекала кровью изъ двухъ страшныхъ ранъ, нанесенныхъ ей руками ея любимцевъ, „соколиковъ“ близнецовъ, которыхъ она съ такими муками родила когда-то и вскормила своею молодою грудью.

— Пересвѣтикъ мой, Ослябушка, дѣтки мои... какіи-жъ вы хорошіи выросли,—шептала она, умирая на рукахъ Пересвѣта...

А тамъ, городъ уже взятъ. Въ воротахъ развивается русскій стягъ... Побѣжденный Гассанъ проситъ пощады, предлагаетъ выкупъ...

— А отецъ... родитель вашъ?—спрашиваетъ умирающая.

— Переставися, матушка,—убить.

— А я... я жила окаянная... Богъ такъ судилъ...

— Богъ, матушка—не мы это... А бусурманена ты?

— Нѣтъ... не бусурманена... свою вѣру держала... вотъ хрестъ святой...

— Благослови насъ, матушка,—помолись за насъ.

— Благослови васъ Богъ, дѣтушки... въ своей вѣрѣ помираю...

И померла—такъ на казанской стѣнѣ и померла... А Пересвѣтъ и Ослябя, похоронивъ ее съ честію, пошли къ Сергію, все повѣдали ему и навѣки остались въ обители замаливать свой великій, хотя невольный грѣхъ...

А великій князь все слѣдовалъ вдоль рядовъ, воодушевляя воиновъ своею рѣчью, хотя у самого на душѣ былъ холодъ. Пересвѣтъ и Ослябя молча сопровождали его, погруженные въ тяжелыя думы и переживая прошлое. Когда Дмитрій воротился на свое мѣсто, на первый „суймъ“, Бренокъ, передавъ стягъ Пересвѣту и сойдя съ коня, поклонился великому князю до земли.

— Ты что, друже Михайло?—удивленно спросилъ князь.

— Челомъ бью тебѣ, господине княже, отъ всея русской земли, — отвѣчалъ великокняжескій знаменосецъ:—соблуди животъ твой, княже.

— Животъ мой, друже, въ руцѣ Божіи, я же повиненъ блюсти вся, яже есть Богова.

— Молю тебя, господине княже,—продолжалъ Бренокъ.—Не стой на первомъ суймѣ, но стани позади: паче тысящъ воиновъ стоитъ намъ животъ твой.

Подѣхали и другіе князья и воеводы и молили Дмитрія о томъ же.

— Ей-ей, княже, сохрани животъ твой, укройся плечами нашими, — упрашивалъ храбрый Меликъ.

— Братія!—возражалъ Дмитрій:—како же дерзну я глаголати тогда: братья! потягнемъ вси, какъ одинъ человекъ!—самъ же буду хорониться... Азъ же не словомъ токмо, но паче дѣломъ, хочу быть первымъ посреда васъ, и язъ первый предъ всѣми готовъ есмь положить голову за христіанъ!

— Ей-ей господине княже!—настаивалъ Меликъ:—падетъ пастырь, и разбѣгутся овцы.

Тогда Бренокъ, высокій и здоровенный мужичинище, массивнѣе самого Дмитрія, снялъ съ себя шлемъ и охабень и поднесъ къ великому князю.

— Возьми, княже, мой охабень и мой шлемъ,—сказалъ онъ:—прикрой ими величіе и ясность твою: гривну блистающую и подволоку златомъ исткану, да не познають тебя поганіи посреда насъ, како солнце красное на небѣ...

И воеводы приступили съ этою же просьбою. Тогда великій князь, переѣвившись одеждою съ Бренкомъ и вкусивъ благословеннаго хлѣбца, повелѣлъ ратямъ двинуться. Онъ ѣхалъ впереди подъ самымъ великокняжескимъ стягомъ и читалъ молитву, прикладывая руку ко кресту, что висѣлъ у него на груди...

Воздухъ колыхнулся вѣтеркомъ, и туманъ погнало на ту сторону Перядвы. Показалось солнце и освѣтило все поле, по которому двигались русскія рати.

Скоро они увидѣли, что и татарскія полчища, какъ черныя тучи двигались на нихъ съ противоположнаго холма.

— Потягнемъ, братія, за вѣру! Приспѣ година! Потягнемъ!—воскликнулъ великій князь.

Завыли рога съ той и другой стороны и огласили все поле: это враждебныя полчища привѣтствовали одно другое боевыми кликами, это люди глянули въ очи смерти и хотѣли криками отогнать ее, какъ страшное привидѣніе...

Х.

Единоборство Пересвѣта съ Телебеемъ.

Мамаевы толпища двинулись рядами, словно облака тучами. Тучи эти были черны, потому что татары одѣты были въ одежды темнаго цвѣта. Страшнѣе всего казались ихъ копья: это былъ цѣлый лѣсъ копейныхъ древковъ и притомъ различной длины—въ первомъ ряду копья были обыкновенной длины, во второмъ ряду были уже длиннѣе, въ третьемъ еще длиннѣе. Это дѣлалось для того, что задніе ряды клали свои копья на плечи переднимъ, и такимъ образомъ первый рядъ превращался въ какой-то страшный частоколь, въ которомъ только и видѣлись острія копій, разомъ поражающихъ противниковъ во всю ширь колонны. Такъ устроены были и знаменитыя фаланги македонскія—нѣчто въ родѣ страшныхъ чудовищъ съ безчисленнымъ множествомъ смертоносныхъ ногъ. Толпища двигались медленно, сверкая на солнцѣ остріями копій и кольчугами и производя страшный, неувимый шумъ движенія многихъ тысячъ тѣлъ и неясный топотъ еще большаго количества ногъ. Поле все болѣе и болѣе заполнялось этими черными, безмолвно двигавшимися массами, и ползло, надвигалось,

медленно, зловѣще... Вотъ уже можно различать лица тѣхъ, которые двигались все ближе и ближе, можно крикнуть—и они услышатъ... Черная туча нависала все грознѣе и грознѣе.

Двигались навстрѣчу имъ и русскія рати, такъ же медленно и молча, какъ и татары, тучею; но эта туча не была черна, какъ татарская. Солнце свѣтило ей почти въ лицо; притомъ русскіе воины были не въ темныхъ одѣянiяхъ, а большею частью въ свѣтлыхъ и цвѣтныхъ, а кто познатнѣе и богаче—такъ въ шелковыхъ и золотыхъ платьяхъ, въ блестящихъ шеломахъ съ позолоченными еловцами, на коняхъ съ наборною сбруею, съ свѣтлыми знаменами, кромѣ чернаго великокняжескаго, иногда съ очень яркими, отъ которыхъ пестрѣло поле, словно отъ весеннихъ цвѣтовъ. Ярко горѣли на солнцѣ золото, серебро и сталь—золото на образахъ цвѣтныхъ знаменъ, на стяжныхъ золоченыхъ яблокахъ и вистяхъ, на золотыхъ гривнахъ князей, на золотыхъ грудныхъ крестахъ; серебро—на серебряной сбруѣ коней, на чумбурахъ и стремянахъ; сталь—на кольчугахъ и на острияхъ копій, на шеломахъ и на ихъ острыхъ еловцахъ... Но ярче всего горѣли щиты русскихъ—большіе, красные, горѣвшіе какъ жаръ... Не даромъ „лисицы брехали на эти червленые щиты“... А теперь на нихъ играетъ яркое солнце и, отражая свой „червленый“ блескъ, слѣпнеть имъ глаза татаръ...

Тихій вѣтерокъ колышетъ и поскрипываетъ знаменами и образами... Сдается, что это крестный ходъ на водосвятіе—вотъ-вотъ запоютъ попы.

Великому князю разомъ почудилось, что онъ въ Москвѣ, что вотъ-вотъ загудятъ колокола. Онъ глянулъ на черное знамя. Нѣтъ, не то, не Москва. Онъ вспомнилъ, что забылъ что-то въ Москвѣ, а что забылъ—забылъ ли сдѣлать или сказать, или такъ что забылъ очень необходимое ему, очень теперь дорогое—онъ не зналъ, не могъ припомнить... Княгиню? Нѣтъ, онъ зналъ, что покидаетъ ее. Нѣтъ, что-то другое онъ забылъ, болѣе важное. Хоть бы вспомнить—такъ нѣтъ, не вспоминается. Вотъ такъ и винтитъ въ мозгу, въ сердцѣ, а не припоминается.

Онъ глянулъ вдаль, чтобъ отвязаться отъ этой назойливой мысли... На возвышеніи, за татарскими полчищами, онъ ясно увидалъ кого-то... Онъ узналъ его—да, это онъ, тотъ ужасный человѣкъ, котораго онъ трепеталъ, которому униженно кланялся, у котораго выпрашивалъ себѣ ярлыка, Москвы, власти... Онъ, этотъ страшный человѣкъ, стоитъ на холмѣ и черезъ голову своего коня глядитъ на него, на Дмитрія... Онъ узнаетъ его, узнаетъ, что онъ переряженъ въ одежды Бренка—изъ страху переодѣлся... И краска отъ сердца бьетъ къ лицу, разливается по щекамъ—жарко становится, въ потъ бросаетъ.

Что-жъ онъ забылъ въ Москвѣ? Не помнить, не помнить! Та же мысль скребла его душу и тогда, когда онъ ѣздилъ въ первый разъ въ Орду кланяться хану и Мамаю—и тогда онъ все вспоминалъ, что что-то оставилъ въ Москвѣ, забылъ, не захватилъ съ собой. Что же это было? И теперь оно скребетъ его.

Ни друга Володиміра нѣтъ близко, ни Боброка — безъ нихъ еще тошнѣе.

Вдругъ отъ татарской конницы отдѣляется что-то большое, черное, и движется по полю—все ближе и ближе... Это всадникъ—это ясно видно. Въ рукѣ у него длинное копьѣ, и онъ бросаетъ его въ воздухъ и ловитъ на лету. Это татаринъ—росту невиданнаго—широта въ плечахъ богатырская. Опять мечетъ копьѣ въ воздухъ и ловитъ. Многимъ вспомнилась „былина“ про „Сокольника-нахвальщика“:

„А нахвальщикъ ѣдетъ на добромъ конѣ,
Потѣшается утѣхою молодецкою:
Мечетъ остро копьѣ въ поднебесье,
Говоритъ самъ, похваляется:
„Какъ легко вертѣтъ мнѣ острымъ копьемъ,
Такъ же будетъ мнѣ вертѣтъ Ильею-Муромцемъ“...

Но вотъ татаринъ подѣхалъ уже почти на полетъ стрѣлы. Конь поднимъ такъ и роетъ землю—и конь богатырскій, и самъ чудищемъ богатыремъ смотреть. Слышно—кричатъ что-то, вызываетъ на бой кого-либо—силой помѣряться. Да, точно, кричитъ зычно.

— Гой-гайда! хто са мною силамъ мѣрилъ? Хады суды! гайда!

Татаринъ кричитъ и потрясаетъ копьемъ вызывающе, задорно.

— Богатырь Телебей, богатырь Телебей! — прошелъ ропотъ по русскимъ рядамъ.

— Супротивъ нево никто не устоитъ.

— Онъ быка за рога черезъ себя перекидываетъ.

— У нево копьѣ въ полтретя пуда и больши тово.

А богатырь все задорнѣе и задорнѣе гаркалъ:

— Гайда! хады суды! хады капьемъ! Гайдай!..

Димитрій глянулъ на Бренка, стоявшаго около него и державшаго стягъ, глянулъ по рядамъ—всѣ, казалось, прятали глаза въ землю. Великому князю страшно стало... „Голіаѣъ... Голіаѣъ—зѣло страшень“, промелькнуло у него въ умѣ:—„а я не Давидъ... нѣтъ у меня Давида“...

— Хады, московъ! хады суды! Ля илляхъ иль Аллахъ!—кричалъ богатырь:—ала-ла-ла!

Пересвѣтъ глянулъ на брата. Глаза ихъ встрѣтились. И въ тѣхъ, и въ другихъ сверкнулъ огонь.

— Я иду,—глухо сказалъ первый.

— Нѣтъ, я,—также глухо возразилъ второй.

— Нѣтъ, я первый...

— Я первый прокололъ ее въ спину...

— А я въ грудь... я убилъ ее...

— Я началъ...

— А я кончилъ... отъ моей руки умерла она... мнѣ и подобаетъ идти...

Ослябя уступилъ и молча поднялъ глаза къ небу. Пересвѣтъ сталъ передъ великимъ княземъ и поклонился.

— Я господине княже, иду на него,—сказалъ онъ.

У Дмитрія не то радостью, не то жалостью сверкнули глаза.

— Богъ благословить тебя... Богъ подкрѣпитъ, — торопливо заговорилъ онъ.

Пересвѣтъ опять поклонился.

Съ краю перваго „суйма“ стоялъ священникъ съ крестомъ. Пересвѣтъ подѣхалъ къ нему, сошелъ съ коня и сталъ на колѣни.

— Благослови, отче, — сказалъ онъ: — положи голову за русскую землю и за дома божіи.

Священникъ благословилъ его. Пересвѣтъ поцѣловалъ крестъ и руку священника,

— Дерзаешь, сыне, противу Телебея?—спросилъ священникъ.

— Дерзаю, отче... повелѣніемъ игумена Сергія...

Пересвѣтъ снова сѣлъ на коня, надвинулъ схиму черезъ еловецъ шелома почти на глаза и выступилъ впередъ.

— Отцы и братья!—громкимъ, зычнымъ голосомъ крикнулъ онъ такъ, что слышно было во всѣхъ рядахъ:—простите мя грѣшнаго. Брате Ослябя! моли за меня Бога! Отче Сергіе, помози ми молитвою твоею!

— Хады суды! Хады, гайда—го!—продолжалъ выть богатырь.

Сколько дикаго и ужасающаго было во всей фигурѣ, постати и воѣ татарича-Голіаза, столько же страшнаго и фантастическаго представлялъ видъ скачущаго Пересвѣта съ копьемъ на-перевѣсъ и съ треплющеюся въ воздухѣ черною схимою на головѣ и на плечахъ.

Вихремъ несся Пересвѣтъ на своего ужаснаго противника, а иной, сисясь творить молитву, невольно повторялъ въ умѣ докучливый стихъ изъ „былины“.

Поразѣхались они на добрыхъ коняхъ,
Да назадъ съѣзжались, сразились,
Пріударили во копья мурзамецкіи,
Били другъ друга не жалѣючи,
Не жалѣючи да по бѣлымъ грудямъ—
Копья въ чивьяхъ поломались,
Другъ друга они не ранили—
Только оба изъ сѣделъ попадали...

И эти съѣхались, остановились, смѣрили другъ друга глазами, крикнули каждый по-своему—и разѣхались на цѣлыя полверсты вдоль рядовъ обоихъ ополченій. Постояли съ секунду, крикнули и понеслись другъ на дружку. Страшно было видѣть эти двѣ несущіяся одна на другую силы съ огромными копьями на-перевѣсъ...

И вотъ они столкнулись... Великій князь невольно зажмурилъ глаза и перекрестился.

Бѣгъ былъ такъ стремителенъ и столкновение такъ велико, что оба копья пробили насквозь груди противниковъ и на полъ-аршина вышли сзади, пониже лопатокъ. Стонъ прошелъ по рядамъ и того, и другого полчища.

Кони сразившихся пали окрестъ; лѣтописецъ говоритъ даже, что „кони падоша мертви“, а противники лежали на землѣ безжизненные, и изъ груди Пересвѣта торчало длинное и толстое какъ жердь древко копья Телебеева, а изъ груди Телебея торчало древко копья Пересвѣтова... Помѣнялись!..

Первый актъ страшной битвы кончился — ничья не взяла: взяла смерть двухъ самыхъ могучихъ бойцовъ...

Ржущіе кони богатырей, чувствуя свою осиротѣлость, поскакали каждый къ своему войску.

Ослябя схимой утиралъ слезы, тихо катившіяся по блѣднымъ щекамъ: и онъ остался сиротой... только надолго ли?...

XI.

Побоище. Мамай одолеваетъ.

Паденіе Пересвѣта и Телебея было сигналомъ къ битвѣ стоявшихъ другъ противъ друга полчищъ.

По всѣмъ рядамъ затрубили трубы, ударили въ варганы.

— Боже, помоги намъ! — раскатами грома прошелъ крикъ по рядамъ русскихъ ратей.

— Алла! Алла! Алла! — страшно, потрясающе взывала другая сторона.

И полчища сшиблись. Казалось, что дрогнули земля и воздухъ, и небо. Съ первыхъ же моментовъ слышались среди бранныхъ кликовъ отчаянные, раздирающіе душу вопли, крики и стоны раненыхъ, проколотыхъ копьями, разсѣченныхъ мечами. Татарскія копья, цѣлыми частоколами упиравшіяся въ русскіе ряды, пронизывали насквозь эти ряды и клали ихъ на мѣстѣ, какъ скошенную траву. За скошеннымъ рядомъ стоялъ новый рядъ — и его прободали и повергали на землю кровавыя жерди враговъ. Эти кровавыя жерди двигались все впередъ, сметая цѣлые ряды, и татарскія ноги уже шагали по трупамъ первыхъ рядовъ передняго „суйма“ и скользили по горячей крови. Раненыхъ, не доколотыхъ до смерти, давили ногами или разсѣкали саблями, когда иной, не добытый и не задавленный еще, хватался за татарскія ноги и въ безсильномъ отчаяньѣ грызъ ихъ зубами, какъ собака грызетъ распоровшаго ей животъ кабана. Другой раненый подымался съ земли и, принявъ въ объятія не ждавшаго его врага, какъ снопъ падалъ съ нимъ на землю, на мертвыхъ, въ лужу крови, и давилъ его колѣнками, грызъ его лицо, стараясь перегрызть шею. Это была не стрѣлометательная битва, не огнестрѣльная, а ужасная рукопашка — даже не сѣча — негдѣ размахнуть руку, поднять мечъ... Сплошь и рядомъ среди этой страшной рукопашки катались по кровавой землѣ кровавыя клубки — это противники, иногда нѣсколько татаръ и нѣсколько русскихъ, которые сплелись руками и ногами и, катаясь клубкомъ по землѣ, душатъ одинъ другого, рвутъ за волосы, стараются вывихнуть у врага руку, ногу, сломать пальцы или своими пальцами и когтями выр-

вать у врага глаза, разорвать ротъ. Иной ногами топталъ лицо поверженнаго на землю противника и съ разсѣченною другимъ противникомъ головою падалъ мертвымъ на своего врага. Вотъ одинъ громадный ростомъ москвитянинъ, проколотый насквозь татарскимъ копьемъ, хрипя и изрыгая потокомъ кровь, самъ вдавливаетъ въ себя это пронзившее его копье, чтобы по нему добраться до своего врага и задушить его. Другой въ безумномъ изступленіи хватаетъ съ земли свою собственную, отсѣченную татарскою саблею, руку и неизвѣстно зачѣмъ суетъ за пазуху, а самъ нечеловѣкомъ рычитъ отъ боли и отъ ярости... Вопли, стоны, трескъ ломаемыхъ копій, хрясть разбиваемыхъ щитовъ, лязгъ желѣза...

А съ боковъ напирала и производила страшное опустошеніе туча татарской конницы. Сминая подъ себя цѣлые ряды русскихъ, она топтала ихъ копытами, докалывала копьями. Тамъ лошадиная нога, ступивъ на голову упавшаго ратника, превращала ее въ безобразную массу, а другими ногами ломала ребра несчастнаго, руки, пробивала грудь... Озвѣрѣли и лошади: онѣ съ визгомъ кусали одна другую, вздымались на дыбы, били копытами...

Часа два шла эта страшная, небывалая на Руси бойня. Люди задыхались въ тѣснотѣ свалки, живые умирали, будучи задавлены грудями мертвыхъ, раненые захлебывались и тонули въ лужахъ русской и татарской крови...

Русскіе, наконецъ, дрогнули... Дрогнули собственно московскіе люди — „небывальцы въ браняхъ“, какъ ихъ называетъ новгородскій лѣтописецъ. Они бросились вразсыпную — пустились къ Дону... Татары вломились въ самую гущину ихъ...

Огромное великокняжеское знамя, черное какъ воронъ, подобно ворону ширило подъ вѣтромъ свои крылья среди цѣлаго лѣса другихъ мелкихъ знаменъ — среди мелкихъ воробьевъ. Подъ этимъ знаменемъ татары думали найти великаго князя — и яростно устремились къ этому пункту, все опрокидывая и сминая подъ ногами, въ своемъ стремительномъ натискѣ. Они достигли, наконецъ, этого знамени — и увидѣли великаго князя въ его блестящей одеждѣ. Призывая на помощь своей ярости Аллаха, котораго они считали такимъ же глупымъ и свирѣпымъ по глупости какъ сами, они всею силою налегли на тотъ пунктъ, гдѣ надѣялись найти его — и нашли. Черное знамя было подбито, грохнуло на татаръ же, схвачено ими, скомкано, изодрано въ клочки и брошено въ кровь. Древко отъ знамени изломано въ щепки и также разметано по крови и среди труповъ. Подъ знаменемъ палъ и обезображенный Бренокъ, котораго татары, судя по его блестящей одеждѣ и по княжеской „подволоцѣ“, приняли за самого Димитрія..

Гдѣ же былъ Димитрій и что онъ дѣлалъ?

Вопросъ этотъ, судя по расколу, возникшему по поводу него въ русской исторической литературѣ, сталъ однимъ изъ тѣхъ вопросовъ, которые Гейне называетъ „проклятыми“.

Почему же онъ сталъ „проклятымъ“? Что обострило его такъ?

Да все этот ужасный нигилист-историк Костомаров — всему причиной его ядовитое историческое шипенье. Тысячу лѣтъ вонъ вѣрили россияне, что былъ у нихъ нѣкогда доблестный мужъ Гостомысль, который якобы призывалъ изъ-за моря варяговъ — „правити и володѣти русскою землею, которая велика и обильна, а порядку въ ней нѣтъ“. И вдругъ этотъ историческій змѣй-горынчище, Костомаровъ, доказываетъ, что никакого Гостомысли не было и никакихъ варяговъ онъ не призывалъ — что все это бабьи бредни, сочиненныя впоследствии, какъ сочинено и самое имя Гостомысль: „гость“ и „мыслити“, то-есть „призывающій гостей“. Тысячу лѣтъ вѣрили также добрые россияне, что были призваны изъ-за моря три брата, три варяжскихъ князя — Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ. И эту вѣру ужасный старецъ Костомаровъ разрушилъ — „ни во что же вѣрни:“ — говорить, что и это сказка, совершенно такая же сказка, какъ и понынѣ существуютъ подобныя — „о трехъ братьяхъ“ — „о двухъ умныхъ и третьемъ дуракѣ“. Вѣрили россияне, что у нихъ былъ Сусанинъ, наслаждались даже музыкой Глинка въ „Жизни за царя“, гдѣ этотъ Сусанинъ поетъ такія прелестныя вещи, какъ „Что гадать о свадьбѣ — свадьбѣ не бывать“, или „Страха не страшусь“ и т. д.; самъ ужасный Костомаровъ страстно любитъ этого музыкальнаго Сусанина — и вдругъ все разрушилъ разомъ: говорить, что и Сусанина не было! Мало того, самъ этотъ ужасный человекъ написалъ цѣлые томы о Богданѣ Хмѣльницкомъ, о его подданствѣ Россіи, и прочая, и прочая... Теперь Хмѣльницкому благодарная Россія ставить памятникъ, а ужасный Костомаровъ вдругъ объявляетъ, на основаніи документовъ, что Хмѣльницкій былъ союзникомъ и данникомъ султана!

Точно такимъ же образомъ поступилъ этотъ историкъ-Тамерланъ и съ Димитріемъ Донскимъ. Всѣ россияне съ дѣтства научались вѣрить, что Димитрій Ивановичъ, великій князь московскій, получилъ наименованіе „Донского“ за свои личныя доблести на Дону, на Куликовомъ полѣ, въ битвѣ съ Мамаемъ. Не тутъ-то было! Неумолимый историкъ-Тамерланъ разбилъ и эту иллюзію: онъ доказывалъ, что во время Куликовской битвы Димитрій лежалъ, спрятавшись подъ вѣтвями срубленнаго дерева...

Правда, за всѣ эти продерзости покойный Погодинъ обѣщалъ Костомарову „ребра переломать“, но умеръ, не исполнивъ своего обѣщанія.

Вотъ вслѣдствіе чего вопросъ о поведеніи великаго князя Димитрія на Куликовомъ полѣ сталъ вопросомъ „проклятымъ“.

Однако, по преклонности ли своихъ лѣтъ, или чая приближеніе того момента, когда великій историкъ долженъ стать лицомъ къ лицу съ тѣми историческими дѣятелями, о которыхъ онъ при жизни повѣдалъ міру то или иное слово, маститый старецъ, во второмъ изданіи своихъ монографій, вышедшихъ въ нынѣшнемъ году, старается смягчить свой приговоръ о Димитріи Донскомъ.

Почтенный и даровитый, хотя такой же, какъ Тацитъ, сердитый историкъ говоритъ, что извѣстіе о трусости якобы Димитрія взято изъ извѣстной древней „повѣсти о Мамаевомъ побоищѣ“.

„Повѣсть эта,—продолжаетъ Костомаровъ:—заключаетъ въ себѣ множество явныхъ выдумокъ, анахронизмовъ, равнымъ образомъ и преданій, образовавшихся въ народномъ воображеніи о Куликовской битвѣ уже позже. Эта повѣсть вообще въ своемъ составѣ никакъ не можетъ считаться достовернымъ источникомъ... Въ этой повѣсти разсказывается, будто Димитрій еще передъ битвою надѣлъ свою княжескую „подволоку“ (мантію) на своего любимца Михаила Бренка, самъ же въ одеждѣ простого воина замѣшался въ толпѣ, а впослѣдствіи, когда Бренокъ въ великокняжеской одеждѣ былъ убитъ и битва кончилась, Димитрій былъ найденъ лежащимъ въ дубравѣ подъ срубленнымъ деревомъ, покрытый его вѣтвями, едва дышавшій, но безъ ранъ. Такое переряживаніе могло быть только изъ трусости, съ цѣлью подставить на мѣсто себя другого, во избѣжаніе опасности, грозившей великому князю, котораго черное знамя и особая одежда издали отличали отъ другихъ: естественно врагамъ было всего желательнѣе убить его, чтобы лишить войско главнаго предводителя. Если принимать это сказаніе, то надобно будетъ допустить, что Димитрій перерядился въ простого воина подъ предлогомъ биться съ татарами заурядъ съ другими, а на самомъ дѣлѣ для того, чтобы скрыться отъ битвы въ лѣсъ. Судя по поведенію Димитрія во время случившагося позже нашествія татаръ на Москву, можно было бы допустить вѣроятіе такого разсказа; но слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что въ той же повѣсти говорится, что русскіе гнали татаръ до рѣки Мечи и начали искать великаго князя, уже возвратившись съ погони. Искали его долго, наконецъ, нашли лежащимъ подъ вѣтвями срубленнаго дерева. Отъ мѣста побоища до рѣки Мечи верстъ тридцать слишкомъ; неужели, пока русскіе гнали татаръ до Мечи и возвращались оттуда (вѣроятно, возвращались они медленно, вслѣдствіе усталости и обремененные добычей), Димитрій, не будучи раненымъ, все это время пролежалъ подъ „срубленнымъ деревомъ“? Очевидная нелѣпость! (Историч. монограф. и изслѣд. Н. Костомарова. Т. III-й. Изданіе второе. 1880, 39—41).

Такъ говоритъ историкъ. Историкъ иначе и не можетъ говорить—ему на все подай „документы“, факты: нѣтъ документовъ—онъ и ни утверждать, ни отрицать не можетъ и ограничится лишь заключеніемъ: „можетъ быть да, можетъ быть нѣтъ“. Такъ и тутъ. Въ одномъ только сказаніи говорится, что Димитрія нашли подъ деревомъ; другія сказанія этого не повторяютъ, да они и вообще ничего не говорятъ о томъ, гдѣ былъ и что дѣлалъ Димитрій въ разгаръ битвы. Но такъ какъ въ сказаніи, гдѣ говорится о лежаніи подъ срубленнымъ деревомъ, историки не все считаютъ вѣрнымъ, то, значить, и извѣстіе о лежаніи подъ деревомъ не вѣрно. Имъ, видите ли, подавай на все документы, да не по одному документу, а по два, по три: имъ хочется, чтобъ всѣ лѣтописи сказали о срубленномъ деревѣ. Конечно, это пріемъ хорошій. Но зато, за недостаткомъ „документовъ“, исторія почти ничего и не знаетъ навѣрное и сегодня отрицаетъ то, что утверждала вчера, а завтра будетъ отрещиваться отъ

того, что утверждаетъ сегодня. Оттого исторія и является часто порядочною сплетницею и во всякомъ случаѣ напоминаетъ собою двухъ гоголевскихъ дамъ—„даму просто пріятную“ и „даму пріятную во всѣхъ отношеніяхъ“, которыя по поводу того, что на одной матеріи былъ узоръ—„глазки да лапки“—все спорили: одна—„ахъ пестро!“—другая „ахъ не пестро!“—„ахъ пестро!“—„ахъ не пестро!“—Такъ и историки! „ахъ лежалъ подъ срубленнымъ деревомъ!“ — „ахъ не лежалъ!“ — „ахъ лежалъ!“—„ахъ не лежалъ!“...

Совсѣмъ иначе относится къ этимъ вопросамъ „незаконное дитя исторіи и фантазіи“, то есть „дитя любви“, какъ называлъ когда-то Севьковский „историческій романъ“ (а говорятъ, что „дѣти любви“ всегда бываютъ даровитѣе и талантливѣе дѣтей законныхъ, „дѣтей долга“ и обязанности, что и понятно). Этотъ „незаконный сынъ исторіи“ рѣшаетъ „проклятые вопросы“ на основаніи общихъ законовъ жизни, не обходя въ то же время и историческихъ „документовъ“: если исторія не даетъ ему „документовъ“, то, принимая въ соображеніе всю сумму данныхъ объ извѣстномъ лицѣ, объ извѣстномъ событіи и эпохѣ и исходя изъ требованій общихъ законовъ жизни, онъ говоритъ: хотя документы и ничего не говорятъ о томъ, было или нѣтъ то-то и то-то, но по суммѣ такихъ-то и такихъ-то данныхъ—оно должно было быть, и потому *было*... Если влюбленные были на свиданіи, то они не только что „вѣроятно“ поцѣловались, но поцѣловались „непремѣнно“... а тайные поцѣлуи рѣдко заносятся въ „документы“... Такъ ихъ и отвергать исторія?...

Такія-то преимущества находятся на сторонѣ „незаконнаго сына исторіи“. На его сторонѣ есть и еще одно—громадное преимущество передъ своею „матушкою“, исторіею: старушка исторія, по своей дряхлости и слѣпотѣ (ея очки—„документы“, а эти очки—не всегда бываютъ у старушки), не можетъ сама рыскать по полямъ сраженій, переноситься изъ столѣтія въ столѣтіе и видѣть все своими глазами; а незаконное чадо ея, „тайный плодъ любви несчастной“, прижитый съ фантазіею, видитъ все самъ, живетъ во всѣ вѣка, былъ на всѣхъ битвахъ... Онъ былъ и на Куликовомъ полѣ и все видѣлъ самъ...

И видѣлъ онъ слѣдующее.

На несчастье Дмитрія московскаго и всего союзнаго воинства русскихъ князей, татары всею своею тяжестью обрушились на центръ союзнаго ополченія, а этотъ центръ—„середину“ ополченія—и составляли по преимуществу рати великаго князя, неумѣлые москвитяне, „небывальцы въ браняхъ“, какъ ихъ называетъ лѣтописецъ. Въ „серединѣ“ же этой находился и самъ великій князь. Татары потому именно наперли прежде всего и сильнѣе всего на „середину“, а не на „правую“ и не на „лѣвую руку“, что видѣли въ этой серединѣ огромный черный великокняжескій стягъ: онъ-то и манилъ ихъ; онъ указывалъ, что тамъ ядро и матка всего русскаго ополченія, что, убивъ матку, они легче распудятъ осиротѣлыхъ пчелъ и всѣхъ ихъ передавятъ. Да и притомъ все, что было блестящаго въ русскихъ ра-

тяхъ, золотыя гривны, богатые кольчуги, лучшіе кони, блестящіе доспѣхи, цвѣтныя одѣянія—все кучилось около середины, около чернаго знамени.

Когда пали первые ряды русскихъ, пронизанные копьями, а за ними и на нихъ упали вторые и третьи, когда началась затѣмъ рукопашка со всѣми ея ужасами — съ грызней, вытьемъ и стонами, когда тутъ же налетѣла вихремъ татарская конница и стала давить и людей, и коней, когда сабли крошили москвитянъ и коломнянъ съ боровитянами и серпуховитянами, какъ капусту, великій князь, котораго испугавшійся конь вынесъ изъ этой сѣчи, почувствовалъ внезапный холодъ въ тѣлѣ, и ему опять припомнилось, что онъ забылъ что-то въ Москвѣ, такое что-то забылъ, что теперь бы ему очень пригодилось; но что — онъ опять не могъ вспомнить... Холодъ, несмотря на жаръ солнца и на жаръ сѣчи, заставлялъ дрожать его, а это что-то забытое въ Москвѣ сверлило его мозгъ, мучило душу... „Что-жъ оно такое! Боже Господи! что я забылъ въ Москвѣ!“ стоналъ въ душѣ несчастный...

„А впереди все рѣдѣло и рѣдѣло...

Вдругъ, какъ подкошенный колосъ, упало черное знамя... Димитрій вздрогнулъ и перекрестился — онъ пришелъ въ себя, онъ понялъ весь ужасъ своего положенія... Онъ увидѣлъ — лица русскихъ! — русскіе поворотили тылъ — и бѣжали!.. Онъ ясно видѣлъ и испуганныя русскія лица и свирѣпыя, торжествующія татарскія...

„Алла! Алла! Алла!“ завывли кругомъ него страшные волки.

„Княже! Княже! Спасайся!“

Димитрій узналъ голосъ Осляби — и увидѣлъ его, словно во снѣ... Ослябя, впереди его, неистово махалъ мечемъ, отбиваясь отъ цѣлой толпы нападавшихъ на него... Онъ сразу перерубалъ копья; но въ щитѣ у него торчало уже ихъ до пяти древковъ... Онъ бросилъ щитъ и сталъ снова рубиться... Одно копье вонзилось ему въ грудь — а онъ все рубится... Вонзилось другое, третье...

„Княже! княже!“ захрипѣлъ онъ и свалился съ коня, зацѣпившись ногою за стремя.

Удары посыпались на Димитрія... Онъ окончательно опомнился и сталъ махать мечомъ направо и налево... Но удары продолжали падать ему на голову, на плечи, на бока... Онъ изнемогалъ... только шлемъ и дорогая кольчуга защищали его голову, тѣло...

„Забылъ, забылъ что-то въ Москвѣ... прощай, княгиня моя, прощай, Евдокія... Господи!.. Конецъ мой пришелъ... Пріими духъ мой!..“

Но конь, раненый копьемъ, одыбился, сдѣлалъ отчаянный скачекъ и унесъ обезумѣвшаго князя...

Князь пропалъ безъ вѣсти... Русскія рати, уничтоженные наполовину, спасались бѣгствомъ... Куликовская битва была проиграна — Мамай побѣдилъ...

ХІІ.

Засада и пораженіе. Димитрій подъ ранитовымъ нустомъ

Такъ казалось всѣмъ—и татарамъ, и русскимъ.

Казалось такъ и тому крылу русскаго ополченія, которое, подъ начальствомъ Владиміра Андреевича, вмѣстѣ съ князьями Олгердовичами и Боброкомъ, еще до начала битвы отошло по теченію Дона и засѣло въ засаду, прикрываемое лѣсомъ и возвышеніемъ.

Оттуда, изъ-за лѣсу, русскіе съ трепетомъ и потомъ съ ужасомъ слѣдили за ходомъ битвы. Они видѣли, какъ сходились рати и молча измѣряли силы другъ друга. Они видѣли, какъ изъ татарскаго полчища выѣхалъ богатырь и долго вызывалъ охотника на единоборство, потрясая въ воздухѣ огромнымъ копьемъ. Видѣли, какъ потомъ отъ русскихъ ратей отдѣлилась черная фигура — и узнали въ ней Пересвѣта. Съ ужасомъ и горемъ увидѣли они дальше, какъ Пересвѣтъ, оставивъ свое копье въ груди великана, съ его копьемъ въ своей груди грохнулся на землю.

— Охъ, Редедю закололи и Редедя закололъ,—бачая головою, горестно проговорилъ про себя Боброкъ.

— То не Редедя, а Телебей,—поправилъ его Владиміръ Андреевичъ:— а у насъ Пересвѣта не стало...

Боброкъ ничего не отвѣчалъ.

Видѣли изъ засады, какъ произошла затѣмъ общая сшибка и кровавая сѣча, какъ пали первые русскіе ряды, пронизанные татарскими копьями, какъ падали, подкашиваемые, какъ спѣлая рожь, вторые и третьи, какъ увеличивались вучи мертвыхъ, какъ отражалось солнце въ разлитой крови...

— Охъ, наши падаютъ,—стоналъ тихо Владиміръ Андреевичъ.

А Боброкъ все молчалъ, не спуская глазъ съ битвы.

Видѣли изъ засады, какъ татары, по трупамъ русскихъ и поражая живыхъ, ринулись къ черному знамени, какъ упало это знамя, и Бренокъ упалъ...

— Стягъ великокняжой палъ—охъ, братцы, православные!—послышались испуганные крики въ засадѣ.

— И князь упалъ—горе намъ!

— Горе! горе!.. Идемъ на поганныхъ!

Владиміръ Андреевичъ, весь блѣдный, съ сжатыми кулаками и стиснутыми челюстями, схватился за голову...

— Братія! православные!

— Стой! стой!—грозно крикнулъ на него Боброкъ.

Владиміръ бросился было на него съ мечемъ, но Боброкъ осадилъ его взглядомъ.

— Димитрій! Что-жъ это такое?—дрожалъ князь серпуховскій.—Кому пользуетъ наше тутъ стояніе? Кому мы помогать будемъ?.. Бѣда приходитъ!

— Такъ, княже, бѣда великая, — тихо отвѣчалъ Боброкъ:—та намъ

ще не пришла година... Потерпимо ще мало, пока прїйде намъ часъ воздати противнику...

— Чего терпѣть? Вонъ нашихъ бьютъ, что овецъ...

— Молись Богу да дожидай восьмого часу—буде вамъ благодать и Христова помочь.

— Осьмой часъ... Господи! сжался надъ люди твоими!

Владиміръ безпомощно опустился на траву, ломая руки.

— Охъ, горе, горе!—слышалось по рядамъ засады:—вонъ князь Федоръ Бѣлозерскій палъ, ево конь скачетъ сиротою по полю...

— И сынъ ево Иванъ палъ же—все отца собою заслонялъ...

— А вонъ-вонъ, братцы—охъ! На Волуй Окатыча, на воеводу наперли—вонъ онъ разить ихъ... ихъ! И ево закололи!.. Вонъ съ сѣдла, родной, падаетъ...

— А вонъ и Семенъ Мелика обошли поганые...

— И Микулъ Васильича—охъ, братцы!

— Ослябя-то, Ослябя—гляди—разить! ахъ! Въ щитъ копій-то что! Ахъ, братцы! бросилъ щитъ...

— Упалъ! упалъ Ослябя!

— Охъ, бѣда головамъ нашимъ! Послѣдній часъ пришелъ...

— Бѣгутъ наши... Володычица!.. На угонъ пошли... охъ! оо!

Многіе ратники со слезами бросились къ Владиміру Андреевичу и къ Боброку.

— Веди насъ, княже! Что намъ ждать?

— Наши братья всѣ головы положили, а мы ждемъ!

— Намъ соромъ передъ людьми! Умремъ съ братьями!

Заволновались и брянчане съ трубчанами, которыхъ привели Олгердовичи.

— Ведите насъ, княжичи! Али мы пришли на соромъ свой смотрѣть?

— Лѣпо намъ умерети, нечѣмъ соромъ такой!

Олгердовичи съ трудомъ остановили ихъ.

— Братія!—сказалъ имъ Андрей Олгердовичъ:—уже бо намъ мертвыхъ не кресити, а о себѣ помыслимъ скоро... Пождите осьмаго часу...

— Какой тамъ осьмой!

— Скоро будетъ осьмой, братцы: когда татары притомятся,—пояснилъ другой Олгердовичъ, Димитрій.—Коли у поганыхъ поту не станетъ, тогда и мы утремъ пота...

Но войны никого не слушались. Они готовы уже были сами броситься изъ засады на одолеваящихъ враговъ. Тогда выступилъ Боброкъ съ обнаженной саблей. Онъ былъ страшенъ, глаза его горѣли

— Вы знаете Боброка?—обратился онъ къ брянчанамъ.

— Знаемъ,—робко отвѣчалъ одинъ старый воинъ, на котораго смотрѣлъ Боброкъ.

— А знаете, что Боброкъ учинилъ съ Литвою подъ Смоленскомъ?—продолжалъ этотъ послѣдній.

— Знаемъ... потопилъ цѣлую рать...

— А чѣмъ потопилъ?

— Единымъ словомъ,—былъ робкій отвѣтъ.

Боброка считали „вѣдуномъ“, который повелѣваетъ и водою, и вѣтрами, и громами. Всѣ его боялись и всѣ ему вѣрили.

— Эхъ, дурни вы дити, русичи! — сказалъ Боброкъ: — погудить малость — ще есть исъ кимъ вамъ утишатися, пити и веселитися...

Но вотъ насталъ и „осьмой часъ“ по тогдашнему счету часовъ. Не нашъ восьмой, а тогдашній: это былъ часъ третій пополудни...

Татары ушли далеко впередъ, гоня русскія рати и добивая недобитыхъ... Русскіе падали отъ утомленія — утомились не менѣе того и татары побѣдители... Засада очутилась въ тылу татарскаго войска, въ упоеніи побѣды потерявшаго всякій строй. Это было уже не войско, а стадо...

Боброкъ выступилъ впередъ.

— Княже Володиміре и вы князи Ондрій и Димитрій, и вы, сыны русичи, братія и други! — громко торжественно возгласилъ онъ: — часъ приспѣ, и година пришла... Идемъ! и да поможетъ намъ благодать Святого Духа!..

Засада выступила изъ-за лѣсу. Съ неистовымъ гикомъ и крикомъ бросились свѣжія русскія силы на разбившееся на безпорядочныя кучи и истомившееся татарское ополченіе: летѣли соколы, по выраженію лѣтописца, на стадо журавлиное. И Богъ, и природа, казалось, помогали имъ: южный теплый вѣтеръ дулъ имъ въ тылъ, унося къ татарамъ грозные клики, точно изъ земли выросшаго ополченія... Татары оглянулись и остолебенѣли. Имъ казалось, что небо послало на нихъ свои небесныя силы и что насталъ ихъ послѣдній часъ. Строиться вновь въ боевой порядокъ было некогда, да и невозможно. Все спуталось и перемѣшалось; конница разсѣялась въ погонѣ, или сбилась въ кучи съ пѣхотою; однѣ части стали на мѣсто другихъ; отряды не знали, гдѣ ихъ военачальники; военачальники отбились отъ своихъ отрядовъ; сами отряды спутались, перебились, растерялись. Растерялось все... Одни перемѣняли тылъ на лицо, другіе бѣжали дальше... Русскіе не давали имъ опомниться. Боброкъ съ своими страшными усами и косою казался дьяволомъ.

— Го-го-го! — стонали свѣжія русскія силы: — бей поганыхъ!

— Руби! коли! не оставляй на сѣмѣны!

— За падшую братію! За кровь хрестіянскую!

Стонъ прошелъ по татарскому ополченію — стонъ ужаса, отчаянья... Слышалось только имя Аллаха...

— Ала-ла-ла-ла-ла! Ала-ла-ла-ла! — лопотали тысячи языковъ, тысячи пересохшихъ отъ утомленія глотокъ.

Но не помогалъ Аллахъ. На мертвыя кучи русскихъ валились новые мертвецы — убійцы прежнихъ... Татарскіе трупы укрывали трупы русскіе; но покрывавшихъ было болѣе, чѣмъ покрытыхъ...

Татары шатались, какъ пьяные, и падали. Ихъ тутъ же кололи, раз-

сѣкали саблями и топтали. Бѣжавшіе запрудили ручьи, и скоро вода ихъ превратилась въ кровь...

— Братцы! пить нечево, вода кровава,—говорили русскіе воины, искавшіе, гдѣ бы имъ промочить пересохшее горло.

— Пей! Они нашу пили...

— Ихъ кровь погана...

— Это вамъ за Пьяну рѣку, проклятые!—кричалъ Микитка-серпуховитинъ, загоняя въ воду цѣлый загонъ обезсилѣвшихъ и обезумѣвшихъ татаръ.

— Это вамъ за село Карачарово! —ревѣлъ Малюта-карачаровецъ, бывшій подъ Казанью.—Это за Доброгнѣву! за Гориславу! за Верхуславу!

— Око за око, зубъ за зубъ,—пояснялъ благочестивый воинъ, что преслѣдовалъ Микитку-серпуховитина за „крѣпкія, неудобъ сказуемыя слова“.—Въ писаніи сказано—оже убьетъ мужъ мужа...

— Али татаринъ мужъ?—огрызается Микитка.—Татаринъ собака, кобылій внукъ!

Другіе части татарскаго ополченія, преимущественно конница, ударились въ бѣгство въ другую сторону, правѣе, къ Красной Мечѣ. За ними погнался Боброкъ съ отборными „комонниками“. Поражаемые ужасомъ и русскими копьями, татары падали съ коней и погибали подъ копытами и ударами побѣдителя. Другіе поднимали руки къ небу, прося пощады...

— Они не пощадили великаго князя, не щади и ихъ! —охрипшимъ голосомъ кричалъ Владиміръ Андреевичъ.

— За князя, братцы: за хрестыанску, за княженецку душу, собачьи губи!—кричали разсвирѣпѣвшіе ратные.—У ихъ нѣту души, паръ одинъ собачій.

— За княженецкой животъ самово Мамаю давай! десять Мамаевъ!

— Князь живъ,—сказалъ Боброкъ:—не поминайте князя.

— Живъ ли воистину?—обрадовался Володнміръ серпуховскій.

— Живъ... побачишь, княже... а теперь—пійте, братцы, кроваве пиво...

Мамай, увидавъ съ возвышенія гибель своихъ полчищъ, затрепеталъ и, поднявъ къ небу руки, воскликнулъ, говорятъ лѣтописцы:

— Расуль Аллахъ! Великъ Богъ хрестіанскій!...

Онъ такъ былъ потерянъ неожиданной кровавой развязкой, что не догадался послать въ дѣло свѣжія, находившіяся около него рати, а самъ поворотилъ своего коня и бѣжалъ, окруженный сонмомъ своихъ князей, мурзъ и баскаковъ...

Пораженіе татарскаго войска было полное. Не добитое, не утонувшее въ рѣчкѣ, оно въ безпорядкѣ бѣжало, покинувъ свой обозъ, возы, шатры, добычу...

— Не достало, братцы, кроваваго вина,—говорилъ Боброкъ, возвращаясь отъ Красной Мечи по полю, усыянному трупами и умирающими въ мукахъ.

— Довольно—досыта упились и такъ, брате Димитріе,—грустно замѣтилъ Владиміръ Андреевичъ:—а великаго князя все нѣтъ...

Гдѣ же былъ великій князь?

Когда Ослябя, выпустивъ изъ рукъ щитъ съ вонзившимися въ него

нѣсколькими копьями, былъ самъ пробить тремя ударами и свалился съ коня, великій князь, поражаемый ударами, потерялъ сознание. Изъ глазъ его все исчезло—небо, люди, кровь... въ ушахъ только раздался звонъ—словно всѣ колокола московскіе зазвонили. Не это ли онъ забылъ въ Москвѣ? Не звонъ ли? Онъ потерялъ память.

Когда онъ очнулся, то увидѣлъ надъ собою голубое небо и зеленныя вѣтви ракитоваго куста... Онъ лежалъ около этого куста, а коня около него не было... Онъ слышалъ какой-то особенный шумъ битвы, не такой, какой былъ раньше. Что съ нимъ? Онъ чувствовалъ боль во всѣхъ членахъ, въ головѣ, въ рукахъ... Онъ видѣлъ, что доспѣхи его покрыты рубцами и кровью... Но чья это кровь? Его собственная?...

Онъ ясно услышалъ голосъ Боброка и голоса русскихъ..

— „За падшую братью! за кровь хрестіянскую!“ „За великаго князя!“.

Сердце его болѣзненно сжалось. Неужели онъ убить? Такъ вотъ что забылъ онъ въ Москвѣ, животъ свой, свое великокняженіе, свою княгиню милую, все забылъ, все пропало.

Онъ приподнялся было на колѣни, хотѣлъ встать и не могъ. Внутри у него горѣло, губы запеклись, горло засохло: онъ чувствовалъ пожирающую жажду. А гдѣ взять воды? Донъ далеко, а онъ двинуться не могъ. Да и Донъ ли это? Не сонное ли видѣніе все это? И вся жизнь не была ли сонъ? Нѣтъ, не сонъ, не сонъ—онъ видитъ это бездонное голубое небо, которое раскинулось надъ нимъ и надъ всею землею, и надъ Москвою—тамъ, далеко, далеко, гдѣ онъ забылъ что-то... Нѣтъ, не сонъ! Онъ видитъ, какъ качаются надъ нимъ зеленныя вѣтви ракитоваго куста и какъ шелеститъ ими вѣтерокъ... Такъ не на кладбищѣ ли ужъ онъ? Не изъ могилы ли все это видитъ?—Да, разъ когда-то, утомленный охотой, онъ заѣхалъ къ Сергію и легъ тамъ на чьей-то могилѣ подъ деревомъ и такъ же видѣлъ голубое небо, и такъ же думалъ о смерти. Не сонъ, не сонъ это: онъ чувствуетъ, какъ огонь палитъ его внутренности, какъ болятъ всѣ его члены. И глухой шумъ битвы онъ слышитъ, все глуше, глуше—вѣрно дальше уходятъ, дальше гонять. А кто кого гонитъ?—русскіе татаръ, татары русскихъ? Да что ему до этого! Какъ все это, что дѣлаютъ люди и что онъ дѣлалъ, какъ все это жалко и мелко, и грѣховно. И для чего онъ добивался великокняженія, для чего кланялся хану и Мамаю? Суета суеть! И что въ томъ, что онъ одолѣлъ тверскаго князя, что ему теперь изъ этого! А сколько погибло душъ хрестіанскихъ изъ-за того, что ему нужно было это великокняженіе!

Смолкъ шумъ битвы. Все ушло куда-то, тихо, мертво кругомъ. Забыли, бросили его, бросили своего великаго князя. Да что онъ имъ! Что ему самому великокняженіе, престолъ, подволока! Суета суеть! Вонъ и Бренокъ былъ въ княжой подволокѣ и гривнѣ, а палъ, лежитъ мертвъ. Все суета...

Нѣтъ, не все мертво кругомъ: слышны стоны—это такіе же, какъ и онъ, умирающіе. А отчего онъ не стонетъ? И великій князь глухо засто-

налъ. Что это? На кустѣ сидѣла ворона, и стонъ испугалъ ее—она слетѣла съ куста. Чего она тутъ сидѣла? А! она сидѣла затѣмъ, чтобы его, великаго-князя, клевать. Великокняжеское тѣло въ снѣдь воронѣ, хуже того, червямъ. Что-то такое сдѣлали съ великимъ княземъ, повергли его на землю, въ прахъ, подъ раки товъ кустъ—и онъ уже не великій князь, а снѣдь враномъ.

И конь жалобно проржалъ... по комъ? По себѣ—онъ тоже раненъ... слабо проржалъ... И конь, и великій князь, конь и всадникъ — добыча птицамъ. Кости однѣ останутся на полѣ Куликовѣ. А онъ еще думалъ, что его кости будутъ покониться въ Архангельскомъ соборѣ, рядомъ съ костями прародителей. А и они были великіе князья, а что отъ нихъ осталось! Кости сухія, истлѣвшіею великокняжескою подволокою прикрыты... Вонъ и кости Бренка будутъ тлѣть подъ подволокою. Все тлѣнъ, все суета. А только схимы на главахъ Пересвѣта и Ослабя — не тлѣнъ, то не тлѣнъ..

Опять ворона сѣла на кустъ, заглядываетъ ему въ глаза. Что глядишь? Лети въ поле. Тамъ много такихъ, что уже не смотреть глазами. А не все ли равно? Только бы залить этотъ пекельный огонь въ груди, въ душѣ, во всемъ тѣлѣ. А не огонь ли это вѣчный? Не онъ ли палить?

Пчела жужжитъ надъ головою. Чего она жужжитъ? Цвѣтовъ она ищетъ, какъ онъ тоже всю жизнь искалъ. А для кого? Вотъ для вороны этой. И пчела не для себя ищетъ—и у нея отнимутъ и медъ, и воскъ. И будетъ изъ воску свѣча, и изъ меду—канунъ поминальный... И будутъ поминать великаго князя Дмитрія, на брани убіеннаго, а княгиня будетъ плакать и горько причитать...

Онъ чувствовалъ, какъ что-то горячее—не то кровь, не то слеза—выкатилось изъ глазъ и по щекѣ сбѣжало подъ забороло.

Муха жужжитъ—кровь и смерть чувствуетъ. На шеломахъ сѣла, съ шелома на лицо... Лицо сморщилось судорожно. Муха перелетѣла на грудь, на руку... крови ищетъ... а кровь уже засохла... Господи! сжался... хоть бы капля воды... палить внутренности... За что же? А за неправды, за зло, за князя тверского, за его гибель, за Олега рязанскаго. О Господи! все бы княжество за ковшъ воды!

Онъ опять сдѣлалъ усиліе и со стономъ поднялся. Ворона замахала крыльями и улетѣла...

Онъ глянулъ на поле... и се поле полно тѣлъ человеческихъ!.. И кожа на нихъ, плоть—духа же не бѣ... Волосы, казалось, встали подъ шеломахомъ на головѣ... Одни тѣлеса, а гдѣ духъ? Душе живой! гдѣ ты? куда отлетѣлъ?

Вонъ лошадь на трехъ ногахъ... треплется грива... четвертая нога поджата. Это его конь, великокняжескій. Одна нога пробита копьемъ, и копье въ ногѣ торчитъ, а конь щиплетъ кровавую траву. Бѣдный! А о своемъ князѣ забылъ, всѣ объ немъ забыли...

Князь, держась за кусты и деревья, двинулся въ дубраву, къ Дону.

Тамъ онъ найдетъ воду. Онъ остановился, чтобы передохнуть, и оглянулся назадъ. Конь, попрыгивая на трехъ ногахъ, продолжалъ щипать траву.

„Забылъ меня добрый конь... забылъ... всѣ забыли меня...“

Какъ бы въ отвѣтъ на его мысль, конь жалобно заржалъ и сталъ глядѣть по полю, ища кого-то—должно быть хозяина, а скорѣе конюха.

„Нѣтъ, не забылъ конь... люди забыли. Гдѣ-жъ они всѣ? Неужели всѣхъ въ полонъ угнали татары и оставили его только съ этими — съ мертвецами?“

У него потемнѣло въ глазахъ. Онъ схватился за вѣтви какого-то срубленнаго дерева и упалъ головой подъ срубленный стволъ...

XIII.

Осмотръ поля битвы.

Когда великій князь вторично пришелъ въ себя, онъ замѣтилъ надъ собою то же голубое небо и ту же зелень вѣтвей, только вѣтви казались гуще, и солнце склонилось уже къ западу. Онъ видѣлъ, какъ надъ нимъ съ вѣтки на вѣтку прыгала бѣлка, поглядывая на него своими живыми глазками, а когда онъ пошевелился и тяжело вздохнулъ, бѣлка ускакала на другое дерево. Димитрію показалось, что онъ чувствуетъ себя легче, хотя жажда попрежнему палила внутренности, и тѣло все ныло отъ боли. Ему явственнѣе стало припоминаться все, что было еще такъ недавно, и въ то же время казалось такъ давно случившимся. Но теперь онъ слышалъ гулъ огромнаго множества голосовъ и ржаніе коней. Скоро голоса слышались совсѣмъ недалеко—и радостный трепетъ пробѣжалъ по всему его тѣлу. Онъ узналъ голоса Боброка, князя Владиміра Андреевича, Олгердовичей...

— Должно его конь занесъ куда, а куда—Богъ вѣдаетъ,—узналъ Димитрій голосъ друга своего Володиміра:—спаси его Господи...

— Коня нашли и князя найдемъ,—увѣренно прозвучалъ голосъ Боброка.

— Среди убіенныхъ не обрѣтаютъ великаго князя,—сказалъ кто-то, голосъ котораго былъ, казалось, незнакомъ Димитрію:—я раненыхъ напутствовалъ Святыми Дарами и вопрошалъ о князѣ, никто не слыхалъ о немъ.

— Я здѣсь!—сильно крикнуть великій князь, но только глухо простоналъ.

— Кто-то стонетъ...

— Гдѣ? кто?

— Сейчасъ простонало, а гдѣ—не вѣдаю...

— Ищите, други, Бога-деля...

Стонъ повторился ближе, явственнѣе.

— Стонетъ! стонетъ!

— Вблизи, подъ деревомъ точно.

— Друже мой! брате!—совсѣмъ явственно слышалось.

— Княже! Господине! гдѣ ты?

— О, Владычица!

— Здѣсь я...

— Тутъ... тутъ онъ... охъ! Ищите!...

— Та ось винъ пидъ ялиною... Найшли! Живый!

Зоркіе глаза Боброка первые увидали лежавшаго подъ вѣтвями срубленной ели великаго князя. Всѣ съ радостнымъ крикомъ бросились къ нему, свернули ель въ сторону...

— Княже! друже искренній!—припалъ передъ нимъ на колѣни Володиміръ:—что съ тобой? Охъ, Боже!

— Умираю я, друже,—слабо отвѣчалъ великій князь.

Всѣ припали къ нему, стоя на колѣняхъ.

— Нѣтъ... Богъ милостивъ... теперь только жить...

— Медъ-вино пить та татарву бить,—весело добавилъ Боброкъ.

— Ты побѣдилъ, княже,—торопливо говорилъ Володиміръ:—мы все поле загатили трупомъ... Нечестивый Мамай бѣжалъ, гонимъ гнѣвомъ Божиимъ...

— Я побѣдилъ, — горько сказалъ великій князь, приподнятый друзьями:—кого я побѣдилъ? Меня побѣдила сѣнь смертная...

— Побѣда преславная, каковой не бывало, какъ и свѣтъ стоитъ...

— Охъ! Промочите гортань мою... умираю... огонь жжетъ мою душу,—съ усиліемъ проговорилъ поддерживаемый раненый князь.

— Я напою тебя кровію Христовою, господине княже, и дамъ ти воду живу.

Это проговорилъ тотъ голосъ, что упоминалъ о напутствованіи раненыхъ. То былъ священникъ, благословлявшій Пересвѣта на единоборство съ Телебеемъ и теперь стоявшій около князя съ сосудомъ и Дарами, которыми онъ причащалъ все время раненыхъ, ходя по полю и отыскивая великаго князя.

Князь радостно взглянулъ на священника.

— Отче! сподоби мя, грѣшнаго, тѣла и крови Спасителя нашего...

Князя приподняли. Онъ набожно крестился, повторяя за священникомъ причастную молитву.

— Причащается рабъ Божій Димитрій...

— Тѣло Христово пріимите, источника безсмертнаго вкусите,—проговорили присутствующіе.

Боброкъ, между тѣмъ, снялъ висѣвшіе у него за плечами на перевязи фляжку и рогъ въ серебряной оправѣ, налилъ въ рогъ изъ фляжки то, что въ ней оставалось, и поднесъ къ губамъ великаго князя.

— Пій, господине княже,—сказалъ онъ:—се теплота...

— Что се, брате Димитріе?—спросилъ князь.

— Вода жива... оковита... аква витэ римски... послѣ причастна теплота...

— Вино?... церковное?

— Угорське—добре... запридохъ.

Князь съ жадностью припалъ губами къ краямъ рога.

— Пій, усе пій, живъ и здоровъ будеши,—пояснялъ Боброкъ.

Димитрій жадно пилъ. По мѣрѣ того, какъ все выше поднимался острый

конецъ рога, блѣдное лицо князя болѣе и болѣе играло краскою, глаза оживлялись.

Рогъ опорожненъ дочиста... Боброкъ даже крякнулъ отъ удовольствія.

— Оттакъ добре буде.

— Добре — добре, брате, — оживился Димитрій: — во мнѣ силы при-
было, слышу сіе.

— Та прибуло-жъ, якъ у Ильи Муромця съ ковша браги.

Дѣйствительно, вино и радостныя вѣсти такъ оживили великаго князя, что онъ самъ могъ идти къ своему шатру, раскинутому наскоро, хотя Владиміръ Андреевичъ и поддерживалъ его. Онъ видѣлъ, что все поле, отъ лѣса, гдѣ онъ лежалъ, до самой Непрядвы, устѣяно тѣлами человѣческими, и по этому полю ходятъ люди, нагибаются къ землѣ, разсматриваютъ убитыхъ и раненыхъ, переворачиваютъ, приподымаютъ ихъ и то перетаскиваютъ съ мѣста на мѣсто, то сваливаютъ одного мертвеца на другого, то отдѣляютъ одного убитаго отъ другого, если случалось, что русскій и татаринъ, въ предсмертной борьбѣ, удушая одинъ другого или перегрызая противнику горло, умирали или другъ на дружкѣ, русскій на татаринѣ, татаринъ на русскомъ, или обнявшись въ этой борьбѣ и сплетясь руками и ногами. Казалось, люди ходили по полю и искали ягодъ, цвѣтовъ или грибовъ, нагибаясь и всматриваясь въ то, что у нихъ подъ ногами. Но это не было исканіе ягодъ и грибовъ: иной, увидя что-либо ужасное, горестно ломалъ руки или отчаянно всплескивалъ ими, другой — съ яростію прикалывалъ коньѣмъ къ землѣ, или рубилъ саблей ненавистный трупъ врага, или домучивалъ его, если онъ еще обнаруживалъ признаки жизни — стоналъ, ползалъ, безнадежно поднималъ руки къ небу, прося смерти у неба и, рѣдко, пощады у побѣдителя. Иной обдиралъ — раздѣвалъ или разувалъ богато одѣтаго мертвеца татарина, снималъ съ него золотыя и серебряныя украшенія и обвѣшивался ими самъ, или ловилъ на арканъ, либо голыми руками оставшуюся безъ хозяина либо раненую лошадь, снималъ съ нея сѣдло и дорогую сбрую, или загонялъ къ себѣ въ обозъ. Зрѣлище представляло видъ ярмарки и жатвы въ одно и то же время, но только жнецы нагибались не надъ спѣлыми колосьями ржи и пшеницы, а надъ мертвецами. Слышался говоръ и стонъ и ржаніе коней. Раздавались и отдѣльныя причитанья, плачь по роднымъ, друзьямъ и товарищамъ ратнаго дѣла... И на всемъ этомъ играли золотисто-красноватые лучи заходящаго солнца, южный вѣтерокъ просушивалъ травку и землю, обрызганную кровью, и превращалъ въ черный, застывшій кисель кровавыя лужи и ложбины наполненныя кровью...

Какъ ни было потрясающе зрѣлище, которое открылось глазамъ великаго князя, однако, теперь оно не произвело на него того безнадежно-подавляющаго и мрачно отчаяннаго впечатлѣнія, какое произвело нѣсколько часовъ назадъ, когда онъ, послѣ паденія съ лошади, въ первый разъ очнулся подъ ракитовымъ кустомъ и когда надъ нимъ сидѣла ворона, ожидая себѣ поживы, а съ мертваго поля доносились только стоны ране-

ныхъ да тоскующее ржаніе его осиротѣлаго коня. Это мертвое поле казалось ему живымъ, цвѣтущимъ, радостнымъ: — оно представлялось теперь роскошнымъ вертоградомъ, полнымъ цвѣтовъ и плодовъ, за которыми прятались и лужи крови, и страшныя лица мертвецовъ, и которые радостно окрашивались лучами солнца—солнца, свѣтившаго въ его душѣ, въ немъ во всемъ, солнца, каждый лучъ котораго радостно дрожалъ въ немъ, согрѣвалъ его и неустанно шепталъ: „ты побѣдиши“, „ты побѣдиши“, „ты побѣдиши!“...

И только теперь онъ отчетливо вспомнилъ, что казалось ему, онъ забылъ въ Москвѣ. Теперь то, что казалось ему забытымъ въ Москвѣ и утраченнымъ, что гвоздемъ винтило его мозгъ и сердце, отъ чего въ душу проникалъ холодъ и отъ чего не могъ онъ отмахиваться всею своею волею и памятью, — теперь это забытое въ Москвѣ, утраченное—само воротилось, нашлось вотъ на этомъ мертвомъ полѣ, среди тысячъ мертвецовъ, пришло съ воздуха, съ неба, принеслось къ нему на крыльяхъ южнаго вѣтерка... Это забытое было—покой духа, бодрость, увѣренность, безбоязненность, чувство жизни и сладость надежды, которыя вновь забили въ немъ ключемъ, полились по всѣмъ жиламъ горячею кровью... „Ахъ это и точно вода жива, что далъ мнѣ Боброкъ? Или же се есть пречистое тѣло Христово и кровь Его живая?“ думалось ему... А еще такъ недавно все это было забыто, потеряно, задавлено глухимъ и слѣпымъ страхомъ невѣдомаго грядущаго часа.

Въ палаткѣ его раздѣли и осмотрѣли — нѣтъ ли ранъ на тѣлѣ. Но ранъ не оказалось. Видно было лишь нѣсколько синяковъ; на нѣкоторыхъ частяхъ тѣла чувствовались ушибы, но не тяжкіе: ясно, что хорошій панцырь и кольчуга, а равно шлемъ хорошо защищали великаго князя.

Онъ хотѣлъ въ подробностяхъ знать, какъ совершена была побѣда, когда, казалось, все было потеряно, и Владиміръ Андреевичъ вмѣстѣ съ Боброкомъ рассказали ему, какъ они выжидали въ засадѣ роковой минуты, какъ боялись за исходъ дѣла, какъ рвались на защиту братій, которые гибли на ихъ глазахъ тысячами, и какъ Боброкъ удерживалъ ихъ, оттягивая роковую минуту. Боброкъ при этомъ отпускалъ шутки, говорилъ, что всѣ ратные люди, бывшіе въ засадѣ, слишкомъ торопились попасть на кровавый пиръ, когда ни вино, ни брага еще не были готовы, и что если-бъ его не послушались, то вышло бы по пословицѣ: „попереду батька на шибеницю“.

Великій князь плакалъ отъ радости и обнималъ всѣхъ, а на Боброка сталъ смотрѣть, какъ на высшее существо и посланника Божія.

Онъ спрашивалъ потомъ — радость помѣшала ему вспомнить объ этомъ раньше — кто изъ князей и воеводъ палъ въ бою, и пришелъ въ ужасъ, когда передъ нимъ произнесли рядъ именъ, которыми гордилась русская земля и для которыхъ ничего больше не осталось, кромѣ „вѣчной памяти“ и „со святыми упокоенія“...

— А князь Бѣлозерскій Ѳеодоръ?—спрашивалъ великій князь.

- Паде съ честію,—отвѣчали ему.
- А князь Ѳеодоръ Торусской?
- Паде съ честію.
- А князь Иванъ, княжъ сынъ Ѳеодоровъ Бѣлозерской.
- Пригвожденъ копіемъ къ тѣлу отца своего.
- Охъ!.. А князь Торусской Мстиславъ?
- Посѣченъ во главу.
- А князь Иванъ Михайловичъ?
- Прободенъ пятью копіями.
- А Семеновичъ князь Ѳеодоръ?
- На куски изсѣченъ.
- А Монастыревъ князь Димитрій?
- Конскими копытами задавленъ.
- А хоробрый воевода Семенъ Меликъ?
- Прободенъ въ лицо... Копье вышло въ затылокъ, умре.

Когда по полю разнеслась вѣсть, что великій князь найденъ и что онъ живъ и здоровъ, то къ великокняжеской ставкѣ стали собираться всѣ оставшіеся въ живыхъ князья и воеводы и другіе именитые люди. Димитрій, наскоро потрапезовавъ и подкрѣпившись виномъ, вышелъ изъ палатки. Слѣдовъ утомленія или болѣзни на лицѣ какъ и не бывало. Напротивъ, онъ казался еще здоровѣе, выше, дороднѣе и осанистѣе...

— Ишь ты, диво какое!—шептались промежъ себя воеводы:—словно бы великій князь выросъ...

— И точно выросъ... и глазъ-те словно бы не ево...

— Не ево и есть... орелъ орломъ... Эко диво!

Великій князь милостиво похвалялъ и благодарилъ воеводъ „за службу“. Воеводы кланялись. Димитрій расспрашивалъ, кого изъ воеводъ не стало и какъ кто животъ свой положилъ.

— Волуй Окатыча, госнодине княже, не стало,—отвѣчалъ одинъ воевода.

— Царство ему небесное и вѣчный покой. А како умре?

— Череву поганые ножемъ распороли и череву вышло.

— А Ондreja Шубы токмо тулово нашли, господине княже, а головы не нашли.

— А воевода Серкизь Ондрей въ крови утопъ, захлебнулся.

Каждый изъ воеводъ сообщалъ какую-нибудь страшную и печальную новость.

— А Семенъ Михайловичъ воевода загрызенъ,—слышалось съ одной стороны.

— А Микула Васильичъ подъ конемъ задохся.

— Тимошеей Васильичъ арканомъ удушенъ.

— А отъ Шатнева Тараса токмо голова въ шлемѣ найдена, а тулово не знать гдѣ.

Великому князю подвели новаго коня, и онъ сѣлъ на него. Въ это время позади столпившихся у Димитріевой ставки воеводъ слышалось

жалобное ржаніе. Князь узналъ голосъ своего стараго боевого товарища и оглянулся: ковыляя на трехъ ногахъ, къ ставкѣ приближался любимый бѣлый конь Дмитрія, на которомъ онъ выѣхалъ изъ Москвы и сегодня выѣхалъ на битву. Бѣдное животное узнало своего господина и радостно и жалостливо ржало. Князь подѣхалъ къ нему, погладилъ гриву, потрепалъ ласково морду, причемъ тотъ конь, на которомъ теперь сидѣлъ Дмитрій, сталъ грызть раненаго, но былъ остановленъ плеткой.

— Ишь ты! тварь безсловесная, а зависть имѣетъ, — замѣчали воеводы: — я-де теперево въ чести, подѣ великимъ княземъ, аки боляринъ, а ты смердъ...

— И точно боляринъ, такъ ушми и прядеть.

Но великій князь велѣлъ увести смерда-коня и перевязать ему рану, а самъ, въ сопровожденіи всѣхъ военачальниковъ, поѣхалъ осматривать кровавое поле.

Теперь только онъ понялъ жестокость битвы, разыгравшейся на этомъ полѣ, и увидѣлъ всѣ ужасы, ее сопровождавшіе. Онъ видѣлъ кучи тѣлъ, словно недавно сметанныя копны, и изъ-подъ этихъ человѣческихъ копенъ иногда слышались стоны. Ратные люди, по щиколотки въ крови, разбирали эти копны, отдѣляя русскихъ отъ татаръ, бросая въ новыя кучи трупы послѣднихъ, или вынимая изъ-подъ мертвыхъ тѣлъ еще не успѣвшихъ задохнуться или захлебнуться кровью раненыхъ.

Въ одномъ мѣстѣ, тамъ именно, гдѣ бились московскія рати и гдѣ была особенно кровавая сѣча и рукопашка, великій князь невольно остановился и всплеснулъ руками. Онъ наткнулся на семью князей Бѣлозерскихъ и ихъ сродниковъ: отецъ и сынъ и весь ихъ обширный родъ — весь цвѣтъ рода представлялъ потрясающую мертвую группу... Всѣ они лежали почти рядомъ: — какъ пришли вмѣстѣ на кровавый пиръ, „вмѣстѣ кроваваго вина испиша и вмѣстѣ полегоша“ на вѣчную постель... Старое и молодое, въ богатыхъ доспѣхахъ, въ цвѣтной и золотной одеждѣ — все это лежало почти обнявшись: кто съ копьемъ въ груди, кто съ разсѣченной головой, кто съ распоротымъ животомъ... Только сынъ, князь Иванъ, казалось, обнималъ своего отца, князя Федора... Нѣтъ, онъ не обнималъ его теперь, или же — обнималъ навѣки: въ пылу сѣчи сынъ прикрылъ собою тѣло отца, который былъ поверженъ на землю, и самъ былъ пригвожденъ копьемъ къ тому, кого прикрывалъ собою и обнималъ...

Великій князь заплакалъ, увидавъ эту картину, исполненную трагической умиленности...

— Братья! князи рустіи, — воскликнулъ онъ горестно: — аще имате дерзновение ко Господу, молитесь нынѣ о насъ, дабы и намъ нѣкогда быти вмѣстѣ съ вами!..

Даже Боброкъ о чемъ-то горько задумался... Онъ вспомнилъ, что-то изъ своей жизни, вспомнилъ отца, мать, свой далекій прекрасный край, гдѣ когда-то улыбалось молодое счастье, а потомъ все развѣялось, какъ и счастье Ярославны, по степному ковылю...

Проѣзжая далѣе по полю среди мертвыхъ тѣлъ, узнавая межъ ними знакомыхъ, нѣкогда близкихъ къ нему воителей, теперь лежавшихъ на землѣ съ зіяющими ранами или съ вражьей стрѣлой въ груди, великій князь снова остановился. Среди массы еще не разобранныхъ труповъ бросились въ глаза своею величавостью два изъ нихъ, у каждаго изъ коихъ торчало въ груди по огромному копью. Князь узналъ этихъ величавыхъ мертвецовъ: то были Пересвѣтъ и противникъ его, татарскій богатырь, Телебей. Черная окровавленная схима отбѣняла строгое, блѣдное, мертвое лицо перваго. Оно, казалось, глядѣло на небо и думало глубокую думу... А можетъ и въ правду думало...

Димитрій тоже задумался. Боброкъ глядѣлъ грустно. При видѣ этого молодого мертваго лица ему невольно вспомнилось другое, молодое женское личико—„хоти юна“, что шитымъ рукавомъ утирала слезы, катившіяся по милому лицу... Тутъ же вспомнился и „бебрянъ рукавъ“, и „Днѣпръ словутичъ“, и „Каяла-рѣка“...

— Се, братіе, нашъ починальникъ!—прервалъ его размышленія великій князь, и Боброку стало почему-то непріятно отъ этихъ словъ—до словъ ли теперь, до говоренья ли, когда хочется только думать и думать...

— Се онъ,—продолжалъ великій князь:—иже провозвѣсти намъ побѣду пораженіемъ онаго сильнаго, отъ него же бы довелось намъ испити горькую чашу... Князи и сыны рустів! помѣстніи бояре, сильніи воеводы, дѣти всея русскія земли! Тако подобаетъ вамъ служити, а мнѣ радоватися на столѣ своемъ, на великомъ княженіи, и награждати васъ ..

„И зачѣмъ онъ это говоритъ!“ думалось Боброку:—„до того ли теперь!.. Вамъ служить, а мнѣ радоваться на столѣ своемъ—нагорожать... Эхъ! московски примхи“.

Онъ нетерпѣливо повернулся на сѣдлѣ. У него не такія слова звучали въ сердцѣ, не „служба“ и „награда“, а что-то другое... „щекоть славій усне“... „говоръ галичъ убуди“... „звенить слава въ Новѣгородѣ“... „слава“, а не „награда“... У Боброка была поэтическая душа, сердце, взлелѣянное жаркимъ солнцемъ юга, отзывчивая, творческая мысль.

— Братіе!—продолжалъ великій князь:—да предасть земли кійждо изъ васъ тѣло ближняго своего и да не будутъ въ снѣдъ звѣремъ тѣла христіанскія.

„Оце добре“, подумалъ Боброкъ.

А великій князь, оглянувъ глазами поле и трупы, которыхъ и сосчитать было невозможно, воскликнулъ:

— Се день, его же сотвори Господь, — возрадуемся и возвеселимся въ онъ!

Огнянувшись на Боброка, онъ увидѣлъ на лицѣ его необычные слѣды грусти и задумчивости.

— Брате Димитріе!—обратился онъ къ нему:—воистину ты разумливъ еси: неложна сталася твоя примѣта. Отнынѣ буди присно всеводою.

Боброкъ поклонился, но ничего не отвѣчалъ. На него нашелъ молчаливый стихъ. Слова великаго князя о „службѣ“ ему и о „наградахъ“ навели на него раздумье.

„Ему служить, его боронити, а не землю русскую... Оттавой! А давно бувъ пидъ ялиною? Лежавъ, мовъ вовкъ съ кисткою въ горли. А журавель кистку вызволивъ изъ горла, такъ теперь журавлеви голову долой. О, московська торбина! Забере колись вона и насъ, волянянъ, и подолянъ, и киянъ до себе въ службу. Забере...“

XIV.

Мамаево побоище продолжается понынѣ.

Мы снова въ селѣ Карачаровѣ.

Около девяти мѣсяцевъ прошло со дня, когда совершилось „Мамаево побоище“. Весна начинаетъ уже впадать въ лѣто. Травы въ полномъ цвѣту, хотя косовица еще не наступила. Кукушка еще не откуковала. Рожь еще не выкинула колоса, и соловей не потерялъ голоса—все еще шебечетъ на зарѣ и по ночамъ. Страдная пора еще не наступила—самая, значить, пора водить „игрища“.

И „игрище“ опять идетъ на „дѣвичьемъ полѣ“ въ Карачаровѣ. Плетутъ дѣвки плетни и расплетаютъ, а парни разрываютъ эти плетни, врываясь въ „конъ“, словно татары. А тутъ же на лугу, подъ старымъ дубомъ, который помнилъ еще и Андрея Боголюбскаго и какъ, во время неурожая, волхвы избивали „старую чадъ бабы“, что держали „гобино и жито“, и вѣшали бабъ на этомъ дубѣ,—подъ этимъ дубомъ опять сидѣли мужи, жены и старцы и вспоминали свою молодость, глядя на игрища молодежи и прислушиваясь къ ихъ пѣнію, напоминавшему еще „Трояновы вѣка“ и „Дажбоговыхъ внуковъ“...

— А какъ стали мы отбирать хрестыянски тѣла отъ поганныхъ, да рыть ямы, да сносить въ тѣ ямы нашихъ ратничковъ побитыхъ, такъ и не приведи Богъ что было!—говорилъ, сидя подъ дубомъ, знакомый намъ Малюта-карачаровецъ, что былъ и подъ Казанью, и на Пьянѣ рѣкѣ съ Арапшою бился, и въ Мамаевомъ побоищѣ утеръ поту.

— Это еще слава ти, Господи, что тѣла хрестыянски похоронить можно было,—въ свою очередь, замѣтилъ бѣлый, какъ лунь, дѣдушка Рогволодъ.—А вотъ какъ я отъ дѣдовъ да прадѣдовъ слыхалъ, а тѣ отъ своихъ дѣдовъ да прадѣдовъ слыхивали про Калку рѣку:—тамъ и похоронить никого не дали поганные... Съ той самой Калки рѣки они и обволодѣли русскою землею,

— А топереву имъ ужъ не володѣть...

— Про то Богъ вѣдаетъ...

— А мы просо сѣяли—сѣяли,

Ой Дидъ-Ладо, сѣяли—сѣяли—

опять доносилось съ игрища однообразное величанье...

— Восемь дёнъ копали ямы да зарывали ратничковъ...

— А поганныхъ?

— Ихъ птицѣ да звѣрю оставили... А что птицы налетѣло да звѣря нашло! Со всего свѣта, кажись, собралось воронѣ да орлы. Да только не всѣхъ нашихъ похоронили.

— А по́что такъ не всѣхъ?

— Да по́что! А какъ ты, дѣдушка Рогволодъ, распознаешь — чьи кости бѣлыя остались? Многихъ такъ звѣрь обглодалъ да птица ислевала, что ни глазъ, ни виду, ни плоти—одна кость...

— А по портамъ да dospѣхамъ?

— Каки порты, дѣдушка! Все звѣрь растащилъ. А то найдешь руку, либо ногу, а чья она—Богъ вѣсть.

Старикъ задумчиво покачалъ головой. А игрище звенѣло молодыми голосами:

А мы уздомъ шелковымъ—шелковымъ,
Ой Дидъ-Ладо, шелковымъ—шелковымъ...

— А что съ Боброкомъ стало?—спросилъ старикъ, прислушиваясь къ пѣнію.

— Сказываютъ, оборотился сѣрымъ волкомъ и бѣжалъ въ Тмутаракань.

— Такъ ужъ онъ не Вольга ли Всеславьевичъ?

— Какой Вольга Всеславьевичъ?

Обучался первой хитрости—мудрости—
Обертываться яснымъ соколомъ,
Обучался другой хитрости—мудрости—
Обертываться сѣрымъ волкомъ,
Обучался третьей хитрости—мудрости—
Обертываться туромъ—золотыи рога...

— А може и онъ, Боброкъ-отъ, былъ самъ Вольга, только не хотѣлъ на Москвѣ оставаться.

Въ это время изъ-за лѣсу показались какіе-то прохожіе. Ихъ было человѣкъ пять-шесть. Одѣты они были въ какія-то лохмотья. Они шли тихо, опираясь на длинныя палки.

Прохожіе подошли къ игрищу. Игрище прекратилось—послышались крики изумленія и радости...

— Матыньки мои! Доброгнѣва пришла, Доброгнѣвушка!

— Ярополкушко! ты ли это?

— Верхуслава! Милолика! полоняночки наши!

Это дѣйствительно были полоняники, пять лѣтъ тому назадъ угнанные Арапшою въ Орду.

Здоровенный Ярополкъ, который былъ въ числѣ полоняниковъ и полонянокъ изъ Карачарова, сдержалъ свое слово: убѣгъ изъ полону и съ собой дѣвокъ увелъ...

— А какъ же ты убѣгъ, Ярополкушко?—дивились карачаровцы.

— А какъ убѣгъ! Пришелъ это на Орду Тактамышій богатырь, погромилъ Орду, татары на-убѣгъ отъ ево, а мы отъ татаръ—да вотъ и

пришли домой. А Мамай, сказываютъ, бѣжалъ на море на кіянь, на островъ на Буянъ, да оборотился сѣрой птицей. А откуда ни возмись младъ ясенъ соколъ—и убилъ утицу.

— Это Боброкъ,—увѣренно сказалъ Малюта.—Не даромъ онъ оборотился сѣрымъ волкомъ и бѣжалъ въ Тмутаракань. Вотъ тебѣ и Мамай!...

Да, Мамай дѣйствительно погибъ. Убѣгая отъ русскихъ, онъ наткнулся на новаго противника, на Тохтамыша, и поворотилъ къ морю, не къ океану, какъ сообщалъ Ярополкушко, а къ Черному морю, къ Тмутаракани, въ Крымъ. Тамъ, въ Кафѣ, генуэзцы и убили этого хищнаго звѣря.

„Русь торжествовала“, говоритъ нашъ почтенный историческій живописатель Н. И. Костомаровъ, въ своей прекрасной статьѣ о „Куликовской битвѣ“. „Русь одною битвою, трудами одного дня, покупала себѣ свободу отъ полуторавѣковаго рабства. Но свобода не дается ни быстро, ни дешево. Черезъ два года послѣ того Тохтамышъ, ниспровергнувши державу Мамай и ставши самъ ханомъ Золотой Орды, нагрянулъ на Москву, онъ искалъ возвращенія правъ ханскихъ надъ строптивымъ рабомъ. Москва была разорена. Русь признала снова такъ внезапно сверженное иго. Зато Куликовская битва все-таки предуготовила на будущее время независимость русскихъ земель и открыла борьбу на жизнь и на смерть между славянами и татарами. Память объ этой побѣдѣ напечатлѣлась въ русскомъ духѣ. Много разъ послѣ того татары давали русскимъ чувствовать себя, но впечатлѣніе Куликовской битвы не умирало. Русь уже испытала, что можно не только отбивать грозныхъ татаръ, но истреблять многочисленныя ихъ полчища, а въ многочисленномъ полчищѣ была вся сила, все могущество Орды. Съ памятью Куликовскаго побоища Русь возростала и дождалась лучшихъ временъ, и когда пришли они, Русь совершила надъ всею силою завоевательнаго полчища то, что сдѣлала прежде на Куликовомъ полѣ надъ полчищемъ Мамаевымъ. Русь разсѣяла, истребила, стерла съ земли эту грозную завоевательную силу. Такимъ образомъ, побѣда куликовская нравственнымъ вліяніемъ на духъ народный стала какъ бы первообразнымъ событіемъ не только освобожденія Руси отъ татаръ, но и обратнаго покоренія первою послѣднихъ,—господства славянскаго племени надъ завоевательными и разрушительными племенами Средней Азіи“.

Эту работу—прибавимъ мы отъ себя—славянское племя продолжаетъ и понынѣ:—„Мамаево побоище“, начавшееся 8 сентября 1380 года, прошло уже черезъ пять столѣтій и еще, вѣроятно, потянется на много вѣковъ:—„восточныхъ звѣрятъ“ послѣ Мамай остались сотни милліоновъ. Сначала воевали съ ними одни „сѣверные русичи“—московскіе, суздальскіе и иные Микитки да Добрыньки, съ Боброками, да Меликами да Серкизами, да Волуй Окачьичами во главѣ; потомъ пошли бить „звѣрятъ“ и „южные русичи“—Петруси да Грицьки, внуки Боброка, „козаки“ да „запорожцы“ съ Байдами, Хмѣльницкими да Сирками, да Паліями во главѣ... Пало не одно татарское царство: пали царства Казанское, Астраханское,

Крымское... Мамай и Тохтамыши ходятъ теперь подъ окнами и продаютъ „халаты“, какъ прежде продавали русскихъ князей, княженъ и иныхъ полоняниковъ... Тамерланы стали хорошими дворниками, а Чингисханы и Гирей — лучшими лакеями у Дюссо и Бореля... Поэтъ прекрасно передалъ судьбу этихъ восточныхъ царствъ, обращаясь къ татарину:

Ваше царство славно было,
Съ предпочтенной, мощной дланью:
Много нашихъ спитъ костями
Въ пирамидѣ подъ Казанью.
Ваше царство славно было,
А цари его богаты...
Продаютъ теперь ихъ внуки
Полосатые халаты.
Въ нашихъ избранныхъ трактирахъ
Не выходятъ вонъ изъ моды...
Дарвинъ правъ былъ, что повѣрилъ
Въ силу крови, въ мощь породы...

Послѣ стали бить „восточныхъ звѣрятъ“ — собственно не бить, а „сдачи давать“ — и южные славяне: болгары, сербы, черногорцы...

„Мамаево побоище“ продолжается... Стукъ ломаемыхъ копій мы слышали ровно четверть вѣка назадъ... Боброковъ, Волуй Окатычей да Серкизовъ, да Меликовъ замѣнили только Черняевы, Гурки, Скобелевы, Драгомировы, Лорисъ-Меликовы съ своими „великими князьями“... Мы слышимъ этотъ стукъ и сейчасъ... Въ этомъ прекрасномъ мірѣ все такъ странно сложилось, что люди, по своей глупости, постоянно грызутся какъ звѣри и страдаютъ, когда могли бы жить въ полномъ согласіи и дружно работать для общечеловѣческаго счастья... Жалкіе, глупые люди, создавшіе для себя вѣчную „мамайщину“...

К о н е ц ъ.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	СТР.
I. Игрище Дидъ-Ладо и татарскій набѣгъ	3
II. Царевичъ Арапша и пораженіе русскихъ при Пьянѣ-рѣкѣ .	8
III. Русскіе полоняники въ Ордѣ.	13
IV. „Мамай идетъ“. Русскіе князья у Сергія. Пересвѣтъ и Ослябя.	18
V. Выступленіе въ походъ.	26
VI. Ополченіе въ Коломиѣ	31
VII. Тайнственный Боброкъ	36
VIII. Ночь наканунѣ битвы. Предсказаніе Боброка.	42
IX. Полчища сходятся	48
X. Единоборство Пересвѣта съ Телебеемъ	53
XI. Побоище. Мамай одолѣваетъ	57
XII. Засада и пораженіе. Дмитрій подъ ракитовымъ кустомъ. .	63
XIII. Осмотръ поля битвы	69
XIV. Мамаево побоище продолжается понынѣ	76

„Поиманы есте Богомъ и великимъ государемъ!..“

ИСТОРИЧЕСКІЙ ФРЕСКЪ.

1509—1510.

„О, славнѣйшій граде Пскове-Великій! Почто бо сѣтуеши и плачеша? И отвѣща прекрасный градъ Псковъ!—Како ми не сѣтовати, како ми не плакати и не скорбѣти своего опустѣнія? Прилетѣлъ бо на мя многокрыльный орелъ, исполнь крилъ львовыхъ ногтей, и взять отъ мене три кедра Ливанова—и красоту мою, богатство, и чада моя восхити, Богу попустившу за грѣхи наша, и землю пусту сотвориша, и градъ нашъ разориша, и люди моя плѣниша, и торжища моя раскопаша, а иные торжища коневымъ каломъ заметаша, а отецъ братію нашу разведоша, гдѣ не бывали отцы и дѣды и прадѣды наша“—..

Псковская лѣтопись, I, 287.

I.

„Горе тебѣ, Хоразине!“

— Копитесь, копитесь, жалобники, копитесь!

Такимъ возгласомъ оглашалась площадь Живоначальная Троицы, въ Псковѣ, 25-го декабря 1509 года, подъ вѣчевымъ колоколомъ, висѣвшимъ на главной башнѣ городской стѣны, имени Давмонта.

На вѣчевомъ помостѣ, на возвышеніи стоялъ среднихъ лѣтъ мужчина въ черномъ съ откидными рукавами и съ отложнымъ краснымъ воротомъ опашнѣ.

Изъ-подъ распахнушагося опашня виднѣлась на свѣтло-малиновой однорядкѣ съ поперечными темными нашивками массивная золотая гривна. Высокіе изъ красной юфти сапоги и высокая соболья шапка довершали одѣяніе знатнаго обывателя вольнаго города. Въ рукахъ у него была развернутая бумага.

— Копитесь, псковичи, жалобники, копитесь!—продолжалъ онъ возгласать, махая въ воздухъ бумагой.

Обѣдня у Троицы только что кончилась, и народъ толпами валилъ изъ церкви, заполняя собою вѣчевую площадь. День былъ ясный, морозный, но тихій. Зимнее солнце ярко горѣло на золотыхъ крестахъ церквей и коло-

коленъ Великаго Пскова. Надъ площадью носились стаи голубей, встревоженныхъ необычайнымъ движеніемъ на площади.

Псковичи были въ праздничныхъ нарядахъ. Шубы съ бобровыми и куньими и собольими воротниками, опашни, однорядки и мятели, пестрѣли, словно маковое поле, яркими цвѣтами красныхъ, малиновыхъ, зеленыхъ и голубыхъ шелковъ и суконъ. Женщины—въ такихъ же яркихъ одеждахъ, старушки и молодицы, дѣвушки и дѣти—все это, какъ живое цвѣточное поле, двигалось изъ церкви къ вѣчевому помосту, и на всѣхъ лицахъ виднѣлось особенное, болѣе чѣмъ праздничное оживленіе.

А съ высоты вѣчевого помоста не умолкалъ призывной голосъ:

— Копитесь, копитесь, псковичи, вольные люди! Копитесь, жалобники!

Въ это время къ помосту приблизилась высокая среднихъ лѣтъ женщина въ лисьемъ, бурой лисицы, шугаѣ, покрытомъ рытымъ зеленымъ аксамитомъ, и въ собольей шапкѣ, повязанной бѣлымъ съ золотымъ шитьемъ убрисомъ. Съ нею рядомъ—молоденькая дѣвушка въ собольей шубкѣ, крытой нѣжнымъ малиновымъ аксамитомъ, и въ собольей шапочкѣ съ высокимъ, малиновымъ же верхомъ. Въ черную косу ея, толстымъ жгутомъ спускавшуюся ниже талии, вплетены были широкія голубыя ленты, цвѣтъ которыхъ, подъ морознымъ зимнимъ солнцемъ, невольно напоминалъ весну, зелень и незабудки. За ея руку въ изящной малиновой варежкѣ,—перстатца изъ свейской рудожелтой кожи,—держался хорошенькій, кудрявый мальчикъ, лѣтъ семи или восьми.

Щеки дѣвушки горѣли румянцемъ—отъ морозу ли или отъ общаго оживленія.

— Съ праздникомъ, Остафьюшко, съ Рождествомъ! — привѣтствовала высокая псковитянка того, кто возглашалъ съ помоста—„копитесь!“

— И васъ такожде, матушка Олѣна Митревна, съ праздникомъ! — отвѣчалъ онъ, снимая шапку и низко кланяясь: — и васъ, Ефимья Левонтьевна, и Петрика!

Дѣвушка еще больше зарумянилась. Глаза Остафьюшки заискрились внутреннимъ огнемъ и теплотою.

— Что-й-то ты, родимый, оглашаешь?—спросила высокая псковитянка.

— Грамотку изъ Новагорода, матушка,—отвѣчалъ тотъ.

— Отъ кого грамотка-то, Остафьюшко?

— Отъ посадника, матушка.

— Отъ Юрья?

По лицу вопрошавшей пробѣжала неуловимая тѣнь.

— Точно отъ Юрья Микитича, отъ Копыла.

— А въ какой силѣ грамотка-ту?

— Пищеть: пушай-де копятся жалобники на князь Ивана въ его обидахъ Великому Пскову, пушай-деи спѣшать въ Новгородъ на очи великому князю московскому—бить челомъ на князь Ивана и на его нелюбье и неправды, а то-деи вся земля наша останется виновата: псковичи-деи крамолу куютъ.

— Самъ онъ крамольникъ!—не вытерпѣла высокая псковитянка.— Поѣхалъ бить челомъ на мужа моего, на Левонтія. А почто?

Она съ любовью глянула на дѣвушку, у которой нѣжный румянецъ молодыхъ щечекъ точно полинялъ сразу, и розовыя губки сложились точно для плача.

— Зеленъ виноградъ,—загадочно продолжала высокая псковитянка.— А коли и созрѣлъ, такъ не для него, беззубаго! Не про него и виноградъ мой сажень.

Глаза говорившей сверкнули недобрымъ огонькомъ.

— И я ему, матушка Олѣна Митревна, вѣры не иму,—тихо сказалъ глашатай:—не даромъ онъ съ нашимъ князюшкой, отай ото всѣхъ, разговоры разговаривалъ, ѣдучи въ Новгородъ. А все выкликать жалобниковъ надоть—на томъ и старшіе и молодчіе людишки, мужики-вѣчники, приговорили.

— Вѣстимо, выкликай: на то ты сотскій Великаго Пскова, — согласилась высокая женщина.

— А вонъ и самъ соколъ залетный,—съ улыбкой презрѣнія указалъ глашатай своими живыми сѣрыми глазами на дальній конецъ площади.

— Не соколъ онъ, а воронъ хижій!—отвѣчала высокая женщина.

На дальнемъ концѣ площади показался всадникъ на великолѣпной бѣлой лошади подъ богатымъ чапракомъ. Горностаевая мантия, драпировавшая всадника съ блѣднымъ лицомъ и безжизненными глазами, придавала всей его фигурѣ что-то фантастическое: казалось, что на бѣломъ конѣ сидитъ мертвецъ въ саванѣ.

Бѣлаго всадника сопровождалъ небольшой отрядъ вершниковъ.

— Найдѣнь! Найдѣнь!—прошелъ ропотъ по площади отъ одного конца до другого.

— Не сымать шапокъ, псковичи братія! не сымать! — слышались голоса.

— Долой Найдѣна! Пусть идетъ, откудова пришелъ! Путь-дорогу изъ Пскова-града Найдѣну!

Такъ псковичи называли своего послѣдняго намѣстника, сподручника великаго князя московскаго, князя Ивана Михайловича Оболенскаго. „Найденомъ“ — этимъ презрительнымъ прозвищемъ они величали его потому, что онъ не былъ избранъ Псковомъ, по старинному обычаю, на вѣчѣ, вольными голосами, а былъ присланъ изъ Москвы, и ни духовенство Великаго Пскова не встрѣтило его, по обычаю, съ крестами и хлѣбомъ-солью, ни самъ онъ не далъ о себѣ знать заранѣе, а остановился на загородномъ дворѣ, гдѣ его нашли псковичи, и оттуда уже провели на торгъ и къ Живоначальной Троицѣ: — „Найдень, Найдень!“—такъ и пошло съ тѣхъ поръ.

Князь не поѣхалъ дальше. Онъ на мгновеніе пріостановилъ коня, сказалъ что-то ближайшему вершнику и показалъ на вѣчевой помостъ. Зло-радная улыбка передернула блѣдное лицо его, и онъ, поворотивъ коня, скрылся за уступомъ Довмонтовой стѣны.

— Ой, леле, леле, леле! — слышался на площади горькій, надрывающій душу плачь.

Площадь всколыхнулась. Изъ-за уступа Довмонтовой стѣны дѣйствительно показался мертвецъ въ саванѣ, но только не въ горностаевомъ, а въ обыкновенномъ бѣломъ саванѣ. Онъ шелъ, опираясь на длинный посохъ, на верхнемъ концѣ котораго, вмѣсто набалдашника, вѣтъ былъ пожелтѣвшій отъ времени человѣческій костякъ-черепъ. Босые ноги пришельца, загрубѣлыя какъ ноги собаки, хрустѣли по снѣгу словно деревянные.

— Ой, леле, леле, леле! — продолжалъ онъ горько плакать.

— Иванушка... Иванушка юродъ! — пронесся испуганный говоръ на площади. — Иванушка — Божій человѣкъ, юродъ Божій.

Юродивый приближался, продолжая плакать. Его обступили псковичи.

— Съ праздникомъ, Иванушко, человѣче Божій! — привѣтствовали его ближайшіе. — Откудова Богъ несетъ?

Юродивый остановился, пересталъ плакать и кроткими, глубокими глазами посмотрѣлъ на окружающихъ. Худое лицо его съ жиденькою бородкою было полуприкрыто саваномъ, закрывавшимъ ему и голову и уши.

— Откудова, Иванушко? — снова спросили его.

— Отъ Марьицы, дѣтушки, — былъ загадочный отвѣтъ.

— Отъ какой такой Марьицы, человѣче? — недоумѣвали псковичи.

— Отъ Марьицы, дѣтушки, отъ Акимовны, — былъ тотъ же неясный отвѣтъ.

Псковичи знали, что юродивый имѣлъ обыкновеніе говорить загадочно, притчами и иносказаніями, и потому старались разгадать таинственный смыслъ отвѣта Иванушки.

— А гдѣ, Иванушко, она, Марьица, твоя живетъ? — спрашивали его.

— На Романовой горѣ, дѣтушки.

— На Романовой горѣ, слышь. Кто-жъ бы она такая была?.. Боярыня?

— Ой, ой, ой! — покачалъ головой юродивый. — Выше подымай.

— Посадница, ноли? Токмо какая же тамъ посадница?

— Выше, выше подымай, дѣтушки.

— Али какая княгиня?

— Выше и превыше.

— Да выше, человѣче Божій, никого ужъ нѣту-ти.

— А царица? — вмѣшался кто-то. — Она выше княгини.

— Подлинно, подлинно! царица — Царица Небесная! — она, матушка, воистину, превыше всѣхъ бояръ и князей, превыше всѣхъ человѣкъ! Подлинно, подлинно! Это онъ, видите ли, былъ на Романовой горѣ, въ церкви Похвалы Богородицы... Точно — у Марьицы былъ Божій человѣкъ, у самой у Марьицы, у дѣвы Маріи.

— А какъ же онъ назвалъ ее Акимовной? — спросилъ кто-то.

— Въ томъ-то, братцы, и премудрость вся! — возгласилъ одинъ грамотѣй: — дѣва-то Марія была дочь преподобныхъ Іоакима и Анны — вотъ она и Марья Акимовна живетъ — въ этомъ, братцы, и загвоздка вся...

Н-ну! удружилъ Иванушка! У самой, сирѣчь, у Богородицы въ гостяхъ былъ—нну!

Въ это время къ юродивому приблизилась та высокая псковитянка, которую мы видѣли у вѣчевого помоста. Передъ нею всѣ почтительно раступились и сняли шапки.

— Олёна-посадница съ дочкой и сыночкомъ,—шептали нѣкоторые.

— Здравствуй, Иванушко!—ласково проговорила посадница.—Приходи ко мнѣ разговѣться.

Юродивый глянулъ на нее и горестно всплеснулъ руками.

— Матушка моя! жено благочестивая!—проговорилъ онъ:—и ты, голубица чистая (это онъ къ дѣвушкѣ), и отроча малое—о, леле, леле, леле!

Онъ прижался головой къ холодному костяку и зарыдалъ еще горестнѣе.

— Горе тебѣ, Хоразине!—горе тебѣ, Внесаидо!—о леле-леле-леле!

И онъ направился къ вѣчевому помосту, хрустя босыми ногами по снѣгу.

II.

Г а д а н ь е.

Въ тотъ же день, вечеромъ, въ Кромѣ, близъ Дѣтинца, въ домѣ посадника Леонтія Макарьевича, выходившемъ на Торговище, собрались гости.

Самъ посадникъ, Леонтій, мужъ той высокой псковитянки, которую мы видѣли съ ея дѣтьми, утромъ на площади Живоначальныя Троицы, находился въ это время въ Новгородѣ, куда онъ поѣхалъ къ великому князю московскому, Василю Ивановичу, въ октябрѣ мѣсяцѣ торжественно прибывшемъ въ отчину свою, въ Великій Новгородъ, недавно повергнутый подъ державныя нозѣ въ Бозѣ почившимъ родителемъ его, блаженный памяти великимъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ всеа Русіи. Посадникъ Леонтій отправился въ Новгородъ, чтобы судиться передъ великимъ княземъ съ обидчикомъ своимъ, степеннымъ посадникомъ Юрьемъ Копыломъ, вмѣстѣ съ княземъ Иваномъ Михайловичемъ—„Найденомъ“, правившимъ нынѣ дѣлами Великаго Пскова; въ Псковѣ же оставалась теперь его жена, посадница Елена Дмитріевна, съ молоденькою дочкою, красавицею Офимьицею, и съ маленькимъ сынишкою Петрикомъ.

Такъ какъ почти всѣ знатнѣйшіе псковскіе мужи находились теперь въ Новгородѣ, у великаго князя, ради дѣлъ своихъ и въ особенности ради челобитія на разныя обиды Пскову со стороны великокняжескаго намѣстника, князя Ивана-„Найдена“, то между гостями Елены-посадницы были исключительно женщины, псковскія боярыни и жены большихъ людей со своими дѣтьми.

Гости собрались въ главной горницѣ, надъ подклѣткою, а дѣвушки—въ свѣтлицѣ, въ комнатѣ хорошенькой Офимьицы.

Домъ посадника Леонтія былъ каменный, двухъ-ярусный, съ жилою подклѣткою и просторною свѣтлицею. Главная горница, въ которую входили

съ каменнаго крыльца съ колоннами чрезъ пристѣнокъ и просторныя съ окнами на Торговище сѣнями, была ярко освѣщена лампадами, спускавшимися со сводчатаго, раскрашеннаго яркими красками потолка и напоминавшими скорѣе церковныя висячія паникадила, въ которыхъ горѣло по дюжинѣ желтыхъ восковыхъ свѣчей. Стѣнныя ниши и горки красиво сверкали разставленною на нихъ золотою и серебряною посудю, братами, кубками и турьими рогами, оправленными въ серебро и золото. Лавки были покрыты дорогими заморскими коврами, а столы—браными скатертями.

На столахъ наставлены были разныя лакомства — пряники медовые и сахарные, леденцы, орѣхи каленые, волоцкіе и кедровые, разныя пастилы, изюмъ; тутъ же меды розовые и бѣлые, а также разныхъ сортовъ браги—тверезыя и пьяныя съ хмѣлемъ.

Привѣтливая хозяйка хлопотливо угощала своихъ дорогихъ гостей; но какъ она ни старалась — не видно было ни веселья, ни оживленія. Чувствовалось, что что-то тяготѣетъ надъ Псковомъ: мужья въ отсутствіи; по городу ходятъ зловѣщіе слухи; у церкви Похвалы Богородицы — сказываютъ—ночью колокола сами звонили, а Иванушка юродивый сказывалъ, что въ эту заутреню, тамъ же у Похвалы, икона Богородицы плакала.

— Что и говорить! — грустно покачала головой хозяйка: — онамедни говорилъ мнѣ отецъ Ермилъ, что нонѣ въ Филипповъ постъ явился на небѣ знаменіе—два мѣсяца хвостаты на небеси, въ нощи, и ударилися вмѣстѣ, и одинъ у другою хвостъ отшибъ, и тотъ мѣсяцъ отшибенной хвостъ приволокъ къ себѣ, и знати стало на мѣсяцы томъ какъ перепояска *). Къ чему оно?

— Полагать надо не къ добру: розратье будетъ, — замѣтила одна гостья, полная блондинка. — А мнѣ сказывалъ человѣкъ — таково бысть знаменіе: на новцы явишася два мѣсяца рогами противу себѣ, одинъ повыше, а другой пониже, и человѣкъ тотъ не дозрѣлъ конца — что бысть докончаніе **).

— Оно то же на то же и выходитъ, — вздохнула гостья, благообразная старушка.

— Какъ на то же, матушка?—спросила хозяйка.

— А на розратье, лебедушка моя: тамъ мѣсяцы хвостаты, а тутай—рогаты; тамъ они сшиблися и одинъ у другою хвостъ отшибъ...

— Такъ такъ, истинно: а тутай, надо полагать, рогъ отшибъ у другого.

— Безпремѣнно такъ, милыя!—вмѣшалась третья гостья. —А вотъ, скажите мнѣ, милыя, къ чему сіе знаменіе? Сказывали мнѣ старицы изъ Копорья, якобы изыдоша коркодилы, лютіи звѣри, изъ рѣки и путь затвориша!..

— Ахъ, мать моя!—всполошилась полная блондинка:—въ какой рѣкѣ коркодилы? Ноли въ Великой?

*) Псковская лѣтоп., I. 317.

**) Тамъ же, 318.

— Ужъ того, милая моя, не вѣдаю, — отвѣчала рассказчица: — а только сказывали, изыдоша оныя коркодилы, и путь затвориша, и людей много поядоша, и ужасающася людѣ, и молиша Бога по всей земли, и пакн спряташася, а иныхъ избиша *).

— Господи, Господи! — качала головой благообразная старушка: — видно, послѣднія денечки пришли, свѣту переставленье, переставится свѣтъ-отъ, родимыя.

— А то еще соловецкіе старицы сказывали, — вступилась хозяйка, разливая меды по чарамъ: — сказывали — будто взыде въ морѣ кить-рыба, и хотѣ потопити Соловецкой монастырь и островъ...

— Охъ, страхи каки! — воскликнули слушательницы. — И потопилъ?

— Нѣту, касатая, — успокоила хозяйка: — молитвами преподобныхъ опять въ море пошелъ **).

— И это матушка, Алена Митревна, какая же рыба-кить? — полюбопытствовала полная блондинка, пригубливая чару меду пьянаго.

— А та рыба-кить, касатая, что землю на себѣ держитъ.

— Владычица! какова же должна быть рыбина, что всю землю на себѣ содержитъ!

— Да она, мать моя, не одна, — поправила благообразная старушка: — ихъ три кита.

Таковы были гостинные разговоры именитыхъ россіянокъ добраго стараго времени.

Другіе разговоры и другія затѣи велись наверху, въ свѣтлицѣ, у Офимьюшки. Тамъ собрались только красныя дѣвушки, подружки хорошенькой Офимьицы. Дѣвушки тоже угощались разными сластями и медами, только не пьяными, и занимались гаданьями — лили воскъ и олово топленое въ мисы съ водою, и тѣмъ узнавали свою судьбу и своихъ суженыхъ.

Потомъ стали „хоронить золото“, и звонкими молодыми голосами запѣли.

„Ужъ я золото хороню, хороню,
„Ужъ я серебро стерегу, стерегу!
„Палъ, палъ перстень
„Въ калину-малину,
„Въ черну самородину:
„Очутился перстень
„Да у Остафея
„На правой на ручкѣ,
„На лѣвомъ мизинцѣ“...

— Что вы! что вы, дѣвыньки! — вся вспыхнула Офимьица.

— Ахъ ты тихоня! — коварно замѣтила курносенькая непосѣда Дарьица Манухина, отецъ которой тоже уѣхалъ въ Новгородъ съ прочими чело-битниками: — а нонѣ, у вѣчевого помосту?

*) Тамъ же, 320.

**) Тамъ же, 321. — И все это съ дѣтскимъ довѣріемъ вносилось благочестивыми лѣтописцами въ ихъ хронографы, и все это такъ пугало всѣхъ.

— Что у вѣчевого помосту?—еще пуще зардѣлась Офимьяца.

— Какъ что!—задорно продолжала Дарьца, качая русою головкою и сверкая самоцвѣтными „колтками“ въ розовенькихъ ушкахъ.—Слушайте, дѣвыньки! Стоитъ это нонѣ на вѣчевомъ помостѣ ясный соколъ въ красныхъ запогахъ и въ собольей шапкѣ, и таково голостно выкрикиваетъ: „копитесь, жалобники, копитесь!“ Откудова ни возмись царевна-несмѣяна и какъ лебедь бѣлая подплываетъ къ помосту... Матыньки! Какъ увидѣлъ ее нашъ ясенъ соколъ, да такъ полынемъ и вспыхнулъ, ажно гривна золотая у него на груди ходенемъ заходила... А кто этотъ младъ ясенъ соколъ, дѣвыньки?

— Остафій, Остафій!—послышались голоса.

— А развѣ онъ не хорошъ-пригожъ?—сказала сѣнная дѣвушка, поднося сласти боярышнямъ.

— Нѣтъ, дѣвушка,—коварно улыбнулась длиннокосая непосѣда Дарьца:—ужъ если кто хорошъ-пригожъ, такъ это Юша милъ сердечный другъ.

— Какой это Юша, боярышня?—удивилась сѣнная дѣвушка.

— А Юшенька, самъ посадникъ степенный.

— Это Копыль-то? Тьфу-тьфу! Онъ и вправду подбивается къ нашей боярышнѣ, только не видать ему, старому чорту, нашей красавицы-боярышни какъ ушей своихъ. Мы, сѣнныя дѣвушки, такъ и прозвали его—„старчище-Терентьище“... Ему ужъ чуть ли не восьмой десятокъ пошелъ, а туда же аспидъ!

— А вотъ что, дѣвыньки-подруженьки,—заговорила Офимьяца, желая замять щекотливый разговоръ:—пойдемте на дворъ гадать—слушать съ какой стороны собачка голосъ подастъ.

— Любо! любо! Идемъ на дворъ!—согласились другія дѣвушки.

— И снѣгъ полоть, и прѣхожихъ пытать,—добавила Дарьца:—авось, Остафій откликнется: „копитесь, дѣвушки, копитесь!“

Всѣ засмѣялись и шумно стали собираться на дворъ. Спустившись съ лѣстницы, дѣвушки чрезъ присѣнокъ пробрались на крыльцо, а потомъ вышли за ворота.

— Ну, Офимьяца, гадай ты первая,—сказала Дарьца.

— Нѣтъ, ты начинай, милая: мнѣ страшно таково,—отнѣкивалась Офимьяца.

— Ты хозяйка,—возражали другія подружки:—твой конъ, ты на кону.

— Ну, инъ я начну,—сказала Дарьца, и громкимъ голосомъ проговорила:

„Залай, залай, собаченька,
„Залай, сѣренъкій волчокъ:
„Откуда мнѣ судьбу ждать,
„Гдѣ мнѣ вѣкъ вѣковать“?

Какъ бы въ отвѣтъ на это, гдѣ-то завывла собака, да такъ жалобно, что дѣвушки съ испугомъ переглянулись.

— Ахъ, какъ страшно, дѣвыньки!—струсила сама гадальщица, Дарьца.—Гдѣ это?

— Кажись, за Смердымъ мостомъ, за Псковой рѣкой,—отвѣтила сѣнная дѣвушка.

Собака продолжала выть. Ей отвѣчали другія въ разныхъ мѣстахъ—и въ Дѣтинцѣ и за Дѣтинцемъ, и въ Кромѣ, и на Полонищѣ.

— Господи, какъ страшно! — испуганно заговорили дѣвушки.—Нѣтъ, мы не будемъ больше гадать—говорять это грѣхъ... Охъ, страшно, дѣвыньки! И всѣ стремглавъ бросились на дворъ, а оттуда въ свѣтлицу.

III.

Тѣнь Марѣы-посадницы.

Проводивъ гостей и простившись на ночь съ матерью, Офимьица, прежде чѣмъ лечь спать, долго молилась въ своей свѣтлицѣ передъ кіотою, сверкавшею золотыми и серебряными окладами старинныхъ иконъ. Особенно жарко молилась она Богородицѣ — Утоли моя печали, кроткій ликъ которой, казалось, съ такою любовью смотрѣлъ на колѣнопреклоненную дѣвушку. Ей сегодня особенно было что-то и радостно, и боязно. Отчего радостно? Даже здѣсь, предъ кроткимъ ликомъ Богородицы, она не могла отогнать отъ себя дорогой, желанный образъ суженаго, котораго мужественная красота особенно поразила ее сегодня, когда онъ стоялъ на вѣчевомъ помостѣ, сверкая морознымъ инеемъ своей пушистой бороды. А глаза его, а щеки, жаркимъ полымемъ вспыхнувшія на морозѣ при видѣ... ея, Офимьицы...

И въ постели, подъ голубымъ атласнымъ одѣяломъ, дѣвушка не могла долго заснуть. Ея радужныя дѣвическія грезы смѣнялись то и дѣло предчувствіемъ чего-то страшнаго, невѣдомаго. Не даромъ Иванушка-юродивый такъ плакалъ сегодня. Онъ святой человѣкъ, у него есть даръ провидѣнія. И сегодня у нихъ за обѣдомъ онъ ничего не ѣлъ, и разговляться не захотѣлъ. Онъ все твердилъ, что настаетъ великій постъ для Пскова, а глядя на матушку, онъ горестно качалъ головой и все говорилъ: „Марео, Марео!“

Какую онъ Мареоу разумѣлъ? Вѣдь, ея матушка не Мареоа, а Елена. Мамушка Степанида говоритъ, что онъ намекалъ это на Мареоу-посадницу, на новгородскую. Мамушка видѣла ее когда-то, очень-очень давно, когда ходила въ Новгородъ на богомолье. Она видѣла, какъ везли эту Мареоу въ Москву, а за нею вѣчевой колоколъ, и какъ всѣ новгородцы плакали, провожая свой колоколъ. И мамушка плакала, глядя на нихъ.

При чемъ же тутъ Мареоа-посадница? Эта мысль не давала дѣвушкѣ покоя, и она не могла сомкнуть глазъ, невольно прислушиваясь къ тихому дыханію мамушки, давно спавшей, въ той же свѣтлицѣ, на лежанкѣ.

А во всемъ Псковѣ такъ смутно эти дни. Не даромъ и собаки жалобно воютъ по ночамъ. Всѣ именитые псковскіе люди уѣхали въ Новгородъ къ великому князю московскому. И батюшка уѣхалъ, и они безъ него встрѣтили святой праздникъ. Ужели же бѣда какая ждетъ ея родной го-

родъ? Иванушка даромъ не сталъ бы плакать. А онъ говорить, что и Богородица въ Похвалѣ у заутрени плакала—„святыя слезки аки бисеръ безцѣненъ по суху древу катились“...

Вдругъ дѣвушка приподнялась на локтѣ и стала къ чему-то прислушиваться...

„Звонить, звонить“,—испуганно шептала она, и снова прислушивалась.

— Мамушка! а мамушка!—тихо позвала она.

— Что, мое золото червонное? откликнулся голосъ съ лежанки.

— Слышишь, вѣчной колоколъ, кажись, звонить?

— Что ты, что ты, ягодка! Какъ ему, колоколу-то, звонить ночью?

— Я слышала, мамушка.

— Можетъ, дитятко, слышала въ тонцѣ снѣ, въ ночномъ мечтаніи?

— Нѣтъ, мамушка, я совсѣмъ не спала... Вонъ и собаки воютъ.

Старушка, охая и крестясь, слѣзла съ лежанки и подошла къ постели своей ненаглядной вскормленницы.

— Ахти-хти! И косынька вся по подушечкѣ разметана... Что съ тобой, золото мое?

— Не спится что-й-то, мамушка.

Старушка стала ее крестить.

— О-о-хо-хо! Намъ, старымъ да немощнымъ, ину пору не спится по ночамъ, особливо какъ расходится недугъ въ головѣ, разыграется утинъ въ хребтѣ да пустить недугъ къ сердцу, какъ у привередливой жены старчища-Терентьища, а вамъ бы, молоденькимъ, съ чего не спать? Наигрались, нагадались—и баньки,—бормотала старушка, качая головой.

— Да я все, мамушка думала объ Иванушкѣ юродивомъ да объ Марѣ-посадницѣ.

— Что объ ней думать, дитятко? Поди, она давно на томъ свѣтѣ.

— И объ вѣчномъ колоколѣ, мамушка, какъ его на Москву везли, а ты плакала.

— Нашъ-отъ вѣчевой колоколець не повезутъ, ягодка.

— А коли повезутъ?

— Не за что, ягодка.

— А что, мамушка, нашъ колоколъ больше новгородскаго?

— Нѣту, золото мое, нашъ поменѣ будетъ. Да что ты все объ колоколѣ?.. Перекрестись и банькай себѣ съ Богомъ. Ну, ложись, дай я тебѣ косыньку улажу, ишь коса-то богатая!—и головкѣ, поди, тяжело отъ этакой ваги... Ужъ и коса! Кому-то она достанется? А, поди,—Остафью добру молодцу.

Поворчавъ нѣсколько, старушка опять забралась на лежанку; по-теперь уже сонъ бѣжалъ и отъ ея старыхъ очей. Старушка поминутно вздыхала, шептала молитвы и крестилась.

— Мамушка!—снова послышался голосъ Евфиміи.

— Что, дитятко? А ты все не спишь?

— Не сплю—все думаю.

— О чемъ же думать, золото мое червоное, коли ужъ и вторые пѣтухи пропѣли?

— Обо всемъ думаю, мамушка... А какая изъ себя была эта Марѳа-посадница новгородская?

— Жена была видная, огрядная.

— А она похожа была на матушку?

— Что-й-ты, дитятко! Марѳа была ужъ старуха, а мать-то твоя—въ самомъ соку.

— А давно это было, что ее увезли на Москву?

— Давно, ягодка, я тогда еще молода была, а твою матушку только отъ груди я отняла, когда шла въ Новгородъ, ко святой Софѣи премудрости. За мать-ту твою я и молиться ходила, да, за нее, голубушку. Такъ оно и будетъ болѣ тридцати лѣтъ, какъ Марѳу-то на Москву взяли. Ужъ и слезъ тогда что было въ Новѣгородѣ!

Старушка невольно разговорила. Она вспомнила старину, свою молодость, войны Пскова съ Новгородомъ и съ нѣмцами, пожары, опустошавшіе городъ, и моровыя повѣтрія. Старушка увлеклась незамѣтно, и особенно яркими красками описала моръ, свирѣпствовавшій въ Псковѣ болѣе двадцати лѣтъ назадъ.

— И что-й-то былъ за гнѣвъ Божій, ягодка моя! Отъ того гнѣва Божія мужи и жены по монастырямъ разбѣгались, ангельскій чинъ принимали, а что было въ городѣ—и сказать-то страшно! Мертвецовъ негдѣ было хоронить. По пяти и по шести въ одну яму клали. А болѣзнь была такова: человѣка-то словно рогатиною ударить, а потомъ железы вспухнуть, и станетъ тотъ человѣкъ кровію харкать и горѣть весь аки въ огнѣ, а тамъ скоро и душеньку Богу отдасть... Ужъ и пролито было тогда слезъ, Господи!

Она замолчала и стала прислушиваться. Слышно было, какъ гдѣ-то благовѣстили къ заутренѣ.

— Кажись, уснуло дитятко мое милое.

Она встала и тихо подошла къ постели Евфиміи. Дѣвушка дѣйствительно спала.

— Подъ сказочку уснула ягодка,—прошептала старушка и направилась къ своему жесткому ложу, нашептывая молитвы.—Далась ей Марѳа-посадница, — бормотала она, укладываясь: — и точно, словно бы тѣнь-ея бродить надъ Псковомъ... Охъ, быть бѣдѣ, быть бѣдѣ...

IV.

„Похоронный колоколъ“.

Что же въ эти тревожные для Пскова дни дѣлали псковичи въ Новгородѣ?

Они ожидали праздника Крещенья.

— Копитесь, копитесь, жалобники! Придетъ Крещенье Господне, тогда я вамъ всѣмъ дамъ управу.

Такъ возгласилъ псковичамъ слово государево, на владычномъ дворѣ, думный дьякъ, Третьякъ Далматовъ, не глядя ни на кого изъ жалобщиковъ, громадною толпою тѣснившихся на дворѣ владыки новгородскаго.

Многимъ псковичамъ показалось при этомъ, что Третьякъ, гордо поднявъ сѣдую голову при возглашеніи слова государева, какъ будто незаметно усмѣхнулся въ бороду.

Ждутъ псковичи Крещенья. А челобитчики, по зову степеннаго посадника, Юрья Копыла, валять изъ Пскова сотнями: у cadaго за душой есть не одна обида и жалоба на князя Ивана-„Найдена“. А еще больше навалило изъ Пскова и пригородовъ чернаго люду, „молодчихъ людей—худыхъ мужичковъ-вѣчниковъ“. У этихъ—жалобы на псковскихъ бояръ и купцовъ, на людей знатныхъ, которые будто бы бѣдныхъ смердовъ заѣдаютъ урочными работами и всякими тяготами.

А это-то послѣднее и на руку великому князю: онъ заступился за смердовъ и проглотить Псковъ, какъ батюшка его блаженные памяти проглотилъ Новгородъ.

Великій князь вызвалъ, наконецъ, изъ Пскова и князя-„Найдёна“ къ отвѣту.

Князь Иванъ явился въ Новгородъ уже не въ горностаяхъ, а въ скромной одеждѣ великокняжескаго сподручника. Онъ явился, чтобы мстить посылу Пскову за его высокомеріе, за глумленіе надъ нимъ, за позорную кличку „Найдёнь“, которую бросали ему въ глаза псковскіе ребяташки.

Злоба душила его, когда онъ проходилъ владычнымъ дворомъ, чтобы стать на очахъ великаго князя. На дворѣ толпились псковичи-жалобщики и злорадно шептались, когда князь Иванъ проходилъ мимо нихъ, какъ простой челобитчикъ.

— „Найдёнь“, „Найдёнь“ идетъ! — пересмѣивались псковичи, показывая на своего князя пальцами.—Ишь какъ хвостъ-отъ поджалъ, не во Псковъ, видно. Горностаи-то свои припряталъ... А то на!—фу ты, ну ты!—чортъ ему не братъ... Мы и не такихъ князьковъ спроваживали вѣчемъ по добру, по здорову—скатертью дорога! „Найдёнка“ и есть „найдёнка“—щербатый алтынъ и цѣна-то ему вся. Погоди, ужь, на Крещенье Господне, мы тебѣ отпоемъ—все отпоемъ отъ „блаженъ мужъ“ до „вскую шаташася“.

Князь все это слышалъ и задыхался отъ злобы; но молчалъ.

Блѣдный, взволнованный онъ предсталъ предъ ясныя очи великаго князя. Молодой государь сидѣлъ на высокомъ владычномъ сидѣньѣ съ двуглавымъ орломъ надъ головою. По правую отъ него руку сидѣлъ коломненскій епископъ Мартирій, а по лѣвую—братъ Андрей Ивановичъ. Рядомъ съ княземъ Андреемъ—крымскій царевичъ Абдулъ-Летифъ, а нѣсколько въ сторонѣ—дьякъ Третьякъ Далматовъ.

Машинально, почти ничего не видя отъ волненія, князь-наместникъ Пскова приблизился къ государю и поцѣловалъ его руку.

— Здравствуй, князь Иванъ,—сказалъ великій князь ласково.

Князь Иванъ снова поцѣловалъ державную руку.

— Что, Иванушко,—съ улыбкой заговорилъ Василій Ивановичъ: — я чаю, псковичи плохо тебя кормили—вонъ, какой ты худой да блѣдный.

Князь-намѣстникъ въ третій разъ приложился къ рукѣ великаго князя.

— Вижу, вижу, плохое тебѣ тамъ кормленье было, постное, — вижу, Иванушко.

Ласковый приѣмъ „обладателя всеа Русіи“ ободрилъ псковскаго намѣстника. Онъ выпрямился.

— Челомъ бью великому государю на отчину твою, на Псковъ городъ,—началъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Къ стопамъ твоимъ, великій государь, хочу положить вины отчины твоей, Пскова-города.

— А въ чемъ его вины передъ мною, великимъ государемъ?—спросилъ Василій Ивановичъ, и голубые глаза его сверкнули гнѣвомъ.—Тертій! — глянулъ онъ въ сторону дьяка Далматова: — записывай вины отчины моей, Пскова-города.

Третьякъ спокойно разложилъ передъ собою свитокъ и, незамѣтно улыбнувшись въ бороду, взялся за огромное орлиное перо, торчавшее султаномъ изъ массивной бронзовой чернильницы.

— Сказывай! — выронилъ слово великій князь.

— Вѣдомо тебѣ, великому государю, буди, — началъ все еще дрожащимъ голосомъ намѣстникъ Пскова: — мнѣ, холопу твоему государеву и намѣстнику, было великое безчестіе отъ псковичей: они, великій государь, въ мои суды и пошлины вступались самоуправно, держали меня, великій государь, не такъ, какъ прежнихъ твоихъ государевыхъ намѣстниковъ допрежъ сего держали, и чинили мнѣ всякое безчестіе словомъ браннымъ и дѣломъ врамольнымъ. Еще же, великій государь, отъ посадниковъ псковскихъ и отъ бояръ чинятся великія обиды и оскорбленія ихъ же братьи, псковичамъ, черному и бѣдному люду...

— Тертій!—возвысилъ голосъ великій князь, взглянувъ на дьяка: — пиши: обиды чинятъ моимъ государевымъ людямъ—смердамъ и рольникамъ, и всей молодчей братьи... Ну?—обратился онъ снова къ князю-намѣстнику.

— Богатые люди, государь, утѣсняють бѣдныхъ, — продолжалъ тотъ все болѣе и болѣе смѣло...—А наипаче всего, великій государь, псковичи презирають твое государево имя...

— Мое государское имя! — грозно вскричалъ великій князь и гордо выпрямился. — А! такъ вотъ куда уже зашло! Мое имя безчестятъ! Такъ я же имъ покажу!.. Я напому имъ Марѳу Борецкую и вѣчевой колоколъ: будетъ и ихъ колоколъ звонить у меня на Москвѣ по покойникамъ... Отнынѣ псковской вѣчевой колоколъ—похоронный колоколъ.

Великій князь всталъ съ мѣста и въ сильномъ гнѣвѣ удалился въ другіе покои, успѣвъ только кинуть черезъ плечо князю-намѣстнику:

— Спасибо, князь Иванъ, похваляю.

V.

Іорданское дѣйство.

Наступило Крещенье.

Новгородъ, нисколько не оправившійся послѣ разгрома, учиненнаго надъ нимъ блаженныя памяти великимъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ Третьимъ, собирателемъ русской земли, наполовину опустошенный и разрушенный и заселенный москвичами, желая, однако, достойно почтить державнаго гостя... „не жалѣючи своихъ холопскихъ великаго государя животешекъ“, на славу устроилъ „іорданское дѣйство“ на рѣкѣ Волховѣ. Іорданская сѣнь была обита золототканною парчою и дорогими заморскими золотными кистями. На куполѣ сѣни, подъ золоченымъ восьмиконечнымъ крестомъ, ярко блисталъ подъ морозными лучами крещенскаго солнца золотой двуглавый орелъ со скипетромъ и державнымъ яблокомъ въ мощныхъ когтяхъ, а правымъ клювомъ державный орелъ придерживалъ на шелковомъ шнурѣ сдѣланнаго изъ сахара бѣлаго голубя, который долженъ былъ спуститься къ водѣ въ самый главный моментъ „іорданскаго дѣйства“ — погруженія креста въ Волховъ.

Съ утра по городу ходили пріѣхавшіе съ великимъ княземъ изъ Москвы дѣти боярскіе и государевымъ словомъ кличъ кликали.

— Посадники псковскіе и бояре, и всѣ псковичи, жалобные люди!.. По указу великаго государя, идите къ Волхову на іорданское дѣйство, на водосвятіе!

И псковичи толпами повалили къ Волхову, къ іорданской сѣни. На лицахъ у всѣхъ свѣтилось оживленіе, радость. Наконецъ-то они дождались великокняжеской управы! Наконецъ-то отъ нихъ возмуть постылаго князя-„Найдѣна“, безсовѣстнаго грабителя и самоуправца, который что хотѣлъ, то дѣлалъ съ беззащитными псковичами, не находившими поддержки даже своемъ собственномъ посадникѣ, въ срамникѣ старомъ, въ Юркѣ Копылѣ: вмѣсто того, чтобъ править Псковомъ побожески, по старинѣ, онъ только и думалъ какъ бы ему, старому, лысому и беззубому „старчищу-Терентищу“, жениться на молоденькой Евфиміи, дочери посадника Леонтія Макарьевича, первой красавицѣ и скромницѣ на весь Псковъ-Великій. При томъ же они и испроторились, живучи въ Новгородѣ межъ чужими людьми, и соскучились по своимъ семьямъ—по своимъ женушкамъ и дѣтишкамъ. И праздникъ-то они встрѣтили безсемейно, на чужой сторонѣ, словно полоняники. Теперь и крещенскія святки будутъ справлять въ Псковѣ безъ нихъ—сироты сиротами!

Но сегодня—конецъ всему, конецъ ихъ долготерпѣнію!

Весь Волховъ запрудили собою псковичи, „жалобные люди“, какъ ихъ выкликали сегодня дѣти боярскіе.

Но вотъ показалась церковная процессія со стороны святой Софіи. Засверкали и заискрились на солнцѣ церковныя хоругви, кресты и иконы.

Впереди всѣхъ въ полномъ облаченіи шли Мартирій, епископъ коломенскій, да архимандритъ Симонова московскаго монастыря и все новгородское духовенство.

Вслѣдъ за духовенствомъ слѣдовалъ великій князь въ сопровожденіи бояръ, окольничихъ и думныхъ. Тутъ же находились и братъ великаго князя Андрей и псковскій намѣстникъ, князь Оболенскій.

Псковичи замѣтили его.

— Вонъ и нашъ „Найдѣнъ“ съ поджатымъ хвостомъ,—трунили издали псковичи...

— И точно—„Найдѣнка“... И какъ это пса смердящаго пуцаютъ на водосвятіе!

— Подижь ты! Собака на іорданскомъ дѣйствѣ.

— Чтожь, собакамъ не возбраняется по улицамъ бѣгать.

Началось водосвятіе. Особенно торжественна была минута, когда, при погруженіи креста въ воду, пѣвчіе возгласили: „Во Іордани крещающуся тебѣ, Господи!..“

— Глянь-ко-сь, глянь, братцы! Голубокъ спускается на воду,—прошелъ шопотъ по толпѣ.

— Это святой духъ—это дѣйство...

Народъ толпами повалилъ сподобиться святой воды, а духовенство и великій князь съ боярами направились обратно къ святой Софіи.

По Волхову и по берегу рѣки, среди псковичей, слышались громкіе возгласы:

— Посадники псковскіе, и бояре, и всѣ псковичи, жалобные люди! Великій государь Василій Ивановичъ всеа Русіи повелѣлъ вамъ собраться на владычный дворъ! Приходите всѣ до единого! Бойтесь государевой казни—кто не придетъ! Нынѣ великій государь хочетъ всѣмъ дать управу.

Это выкликали бояре по указу великаго князя.

Псковичи радостно двинулись къ владычному двору... „Слава тебѣ, Господи!“..

Вдругъ откуда ни возмись псковскій юродивый Иванушка, все въ томъ жѣ саванѣ и босикомъ. Но теперь онъ сидѣлъ верхомъ на своемъ посохѣ, какъ это дѣлаютъ ребятишки, играя въ лошадки. Юродивый, осѣлавъ свой посохъ, скакалъ впереди псковичей, свисталъ и похлестывалъ свою мнимую лошадку, приговаривая:

— Гоцъ-гоцъ, лошадка! Вывози псковичей, во царствіе небесное!

Потомъ онъ остановился и повернулся лицомъ къ озадаченнымъ псковичамъ.

— Садитесь на палочки, псковичи!—закричалъ онъ:—садитесь всѣ до единого! Поѣдемъ въ гости къ матушкѣ, къ Марьѣ Акимовнѣ...

У Марьицы палаты богаты,
У Акимовны обители многи:
Самъ Христосъ о томъ сказывалъ
И смущаться намъ не приказывалъ.

— Но-но, лошадка! гопъ-гопъ, псковичи! за мною въ царствіе Божіе!

Никто не понялъ ни дѣйствій юродиваго, ни его иносказаній. Только посадникъ Леонтій Макарьевичъ, хорошій знатокъ священнаго писанія, истолковалъ намеки юродиваго не въ пользу своего дѣла. Онъ понялъ, что ѣздою на палочкѣ онъ уподоблялъ псковичей дѣтямъ несмысленнымъ, „ихъ бо есть царствіе Божіе“; а словами объ „обителяхъ многихъ“ юродивый намекалъ на слова Іисуса Христа: „да не смущается сердце ваше; вѣруйте въ Бога и въ мя вѣруйте: въ дому Отца моего обители многи суть...“

Отецъ Евѣиміи догадался, что ихъ ждетъ несчастье, опала, быть можетъ—казнь...

— Бѣдная Офимьяца! Бѣдныя дѣтушки мои! — невольно защемило у него на сердцѣ:—это все Юрій Копыль по злобѣ за Офимьяцу: онъ погубитель Великаго Пскова...

VI.

Арестованіе псковичей.

Псковичи, предшествуемые юродивымъ верхомъ на палкѣ, всѣ вошли на владычный дворъ.

Тамъ ихъ встрѣтили московскіе бояре съ дьякомъ Далматовымъ.

— Господо псковичи, лучшіе люди!—обратился къ нимъ Третьякъ:—вы, господо посадники, бояре, купцы и всѣ лучшіе люди; пожалуйста во владычную палату; а вы, люди молодчіе, пообождите малость на дворѣ.—Всѣмъ вамъ будетъ управа отъ великаго государя.

„Лучшіе люди“ гурьбой вошли въ палату и ждали выхода великаго князя. Тишина въ палатѣ водворилась необычайная, когда дьякъ Далматовъ и московскіе бояре скрылись во внутреннихъ покояхъ. Тамъ, за дверьми, все было тихо, какъ въ могилѣ.

Впереди сборища псковичей стояли посадники, въ томъ числѣ степенный Юрій Копыль и бывшій степенный Леонтій Макарьевичъ: но они не глядѣли другъ другу въ глаза.

Мучительно было ожиданіе. Одинъ только юродивый, который тоже пробрался въ палату, чувствовалъ себя какъ дома. Онъ продолжалъ сидѣть на своемъ деревянномъ конѣ съ черепомъ мертвеца вмѣсто набалдашника, и прохаживался по палатѣ, подходя то къ одному, то къ другому посаднику.

Вдругъ онъ неожиданно остановился передъ Юріемъ Копыломъ.

— Юша! — сказалъ онъ: — поцѣлуй меня за весь Псковъ! Дай ми лобызаніе, Юша.

Озадаченный посадникъ не зналъ, что это значить и въ смущеніи поцѣловалъ юродиваго.

— Его же еще лобжу, той есть: имите его,—сказалъ этотъ послѣдній словами Евангелія.

„Іудино лобзаніе“,—подумалъ про себя отецъ Евѣиміи.

Въ это время дверь изъ внутреннихъ покоевъ неожиданно отворилась, и всѣ вдрогнули. Но въ дверяхъ былъ только дьякъ Далматовъ.

— Сполна ли всѣ собрались?—спросилъ онъ, оглядывая сборище.

— Всѣ сполна,—отвѣчалъ посадникъ Юрій.

Дьякъ опять скрылся. Опять ждутъ. Теперь уже навѣрно выйдетъ самъ великій князь.

Но онъ не выходитъ. Минуты кажутся часами. Юродивый подѣзжаетъ на своей палкѣ къ посаднику Леонтію и съ грустью смотритъ ему въ глаза.

— Что, Левушка,—говоритъ онъ:—скучаешь по Олѣнѣ Митревнѣ да по дѣтушкамъ?

— Зѣло скучаю, Иванушка.

— А что велишь имъ сказать отъ тебя?

— Какъ что?—удивился посадникъ.

— Да что пожелаешь — поклонъ ли сожитѣльницѣ, благословеніе ли чадамъ... Я сегодня ѣду во Псковъ, такъ и свезу имъ отъ тебя гостинецъ словесный.

— Да я самъ, Иванушка, може сегодня же поѣду во Псковъ.

— Э-эхъ! — покачалъ головой юродивый: — улита ѣдетъ, когда-то будетъ.

На лицѣ посадника отъ этихъ словъ юродиваго выразился испугъ: онъ зналъ, что юродивый наобумъ ничего не скажетъ, и весь Псковъ вѣрилъ въ пророческое ясновидѣніе своего юродиваго.

— О-охъ, Левушка!—повторилъ юродивый:—чья улита ѣдетъ, а наша еще и саней не запрягала.

Въ это время дверь изъ внутреннихъ покоевъ растворилась настежь. Въ дверяхъ показался дьякъ Далматовъ съ боярами. Всѣ замерли въ ожиданіи.

— Поиманы есте Богомъ и великимъ княземъ Васи́ліемъ Ивановичемъ всеа Русіи!—торжественно провозгласилъ дьякъ.

Слова эти какъ громъ поразили псковичей.

— О-о!—послышались стоны:—поиманы! Боже правый!

Псковичи попали въ западню. Они сразу теперь поняли это, но поняли слишкомъ поздно: они неожиданно очутились плѣнниками великаго князя.

„Поиманы“ это значитъ: арестованы! Ужасъ овладѣлъ всѣми.

— Тертій! а, Тертюшка! — подскочилъ вдругъ къ дьяку Далматову юродивый на своей лошаdkѣ.

— Что, человѣче Божій?—почтительно спросилъ дьякъ.

Старая московская Русь глубоко чтитъ своихъ юродивыхъ, называя ихъ „людьми Божьими“, „святými“, „Христа ради юродъ“—и они смѣло говорили въ глаза рѣзкую, по своему времени, правду и царямъ, и владыкамъ.

— Что, человѣче Божій?—почтительно повторилъ дьякъ свой вопросъ.

— Есть тутъ у васъ по близости осина?—загадочно спросилъ юродивый.

— Осина, человѣче Божій?—удивился дьякъ.—На что осина? Ради коея потребы?

— А для Іуды, Тертюшка,—помнишь: и „шесть удавился“...

Дьякъ ничего не отвѣчалъ. Онъ и всѣ присутствовавшіе поняли весь трагизмъ намека юродиваго:—совершилось предательство...

Между тѣмъ, московскіе бояре, заперевъ владычный дворъ и поставивъ у воротъ стражу, уже переписывали, поименно всѣхъ псковичей „жалобныхъ людей“, которые находились на дворѣ.

Въ палатѣ же, гдѣ находились арестованные посадники и бояре псковскіе, послѣ нѣмой сценѣ, полной глубокаго отчаянія, снова раздался голосъ дьяка:

— Подумайте, псковичи, какъ вамъ добить челомъ великому государю!—и дьякъ удалился.

VII.

„Холопи, холопи, холопи!“

По уходѣ дьяка и бояръ московскихъ, въ палатѣ произошла бурная сцена. Многіе въ отчаяніи ломали руки. По сѣдымъ бородамъ текли безмолвныя слезы.

— Іуда! гдѣ Іуда?—спохватились иные.

Но того, кого называли Іудой, уже не было въ палатѣ.

Когда улеглись первые порывы отчаянія и псковичи поняли свою безвыходность, они начали обсуждать: что же имъ дѣлать, на что рѣшиться? Дьякъ Далматовъ прямо сказалъ: „подумайте, какъ вамъ добить челомъ великому государю“. Онъ не сказалъ—„великому князю“, а прямо „государю“. Ясно, что хотятъ не „княженія“, а „государствованія“,—и на послѣднемъ только и возможно обоюдное соглашеніе.

— Что-жъ, господо псковичи, отцы и братія! —дрогнувшимъ голосомъ сказалъ посадникъ Леонтій: — скажемъ то словечко, котораго отъ насъ хотятъ и котораго ни у отцовъ, ни у дѣдовъ, ни у прадѣдовъ нашихъ на устахъ не бывывало, какъ Псковъ стоитъ! Добьемъ челомъ этимъ словечкомъ.

— Какое же есть оное словечко?—спросили нѣкоторые: —какова его сила?

— А словечко то, господо псковичи,—медленно произнесъ посадникъ: — „холопи“!

— Холопи!—послышались испуганные голоса: — мы, Псковъ, отчина великихъ князей, а не холопи!

— Что дѣлать, господо: мы пойманы. Намъ ли противу рожна прати?—возразилъ посадникъ.

— Па то воля Божія,—согласились другіе:—Его святая воля.

Опять вошелъ дьякъ Далматовъ.

— Надумались, господо псковичи?—спросилъ онъ.

— Надумались,—отвѣчалъ посадникъ Леонтій.

— А какова сила вашей думы?—продолжалъ дьякъ.

— Такова!—отвѣчалъ посадникъ:—познаемъ вину свою и бьемъ челомъ государю...

При словѣ — „государю“, а не „великому князю“ — чуть замѣтная улыбка прозмѣилась подъ сѣдыми усами стараго дьяка-дипломата.

— Бьемъ челомъ государю,—продолжалъ посадникъ:—чтобъ онъ пожаловалъ насъ, холопей своихъ...

Снова усмѣшка скользнула подъ усами дьяка.

— Пожаловалъ насъ, холопей своихъ, и весь Псковъ, какъ ему Богъ извѣститъ!—съ подавленнымъ рыданіемъ закончилъ посадникъ, между тѣмъ какъ на душѣ его влекотало: — „дитятко мое! Офимьца! радость очей моихъ!—и ты холопка, холопка, холопка!“

Дьякъ удалился. Псковичи остались въ глубокомъ безмолвіи. Только слышно было, какъ юродивый, обхвативъ холодный черепъ руками и припадая къ нему головой, тихо плакалъ, почти беззвучно повторяя: „ой, лѣле-лѣле-лѣле“!..

Внезапно дверь распахнулась и въ ней показались дьякъ Далматовъ и пятеро московскихъ бояръ.

— Государь нашъ,—торжественно провозгласилъ дьякъ: — государь нашъ Василій Ивановичъ, царь и государь всеа Русіи и великій князь, велѣлъ вамъ, своимъ слугамъ, сказать: прародители наши, великіе князья, и отецъ нашъ, и мы, держали отчину свою, Псковъ, въ своемъ государевомъ жалованьи въ старинѣ до сихъ дней и берегли отовсюду; а вы, наша отчина, Псковъ, имя наше держали честно и грозно, по старинѣ, и оказывали честь своимъ князьямъ, нашимъ намѣстникамъ. А нынѣ вы, отчина наша, Псковъ, наше имя и нашихъ намѣстниковъ держите не попрежнему. И къ намъ пришли жалобники—на посадниковъ и на земскихъ судей быють челомъ, что отъ нихъ нѣтъ управы и дѣлають большое разореніе. За то слѣдуетъ на васъ, отчину свою, положить великую опалу. Но великій государь кажетъ вамъ, отчинѣ своей, милость и жалованье, если только вы сотворите волю государеву: свѣситъ прочь вѣчевой колоколъ и впредь вѣчамъ не быть...

Стонъ прошелъ по палатѣ... „Оо!-лѣле-лѣле-лѣле!—слышались всхлипыванья юродиваго.

— Вѣчамъ не быть,—продолжалъ дьякъ:—и не быть во Псковѣ двумъ намѣстникамъ; и по пригородамъ псковскимъ тожъ будутъ намѣстники. А какъ во Псковѣ и по пригородамъ будутъ судить намѣстники, и ту пору государь самъ прибудетъ во Псковъ поклониться Живоначальной Троицѣ, и всему тому учинить указъ. Если вы познаете государево жалованье и по его волѣ будете тѣмъ довольны, то государь васъ жалуетъ вашимъ достояніемъ и не будетъ вступаться въ земли ваши. А коли вы не познаете государева жалованья и не учините его воли, и тогда государь будетъ свое дѣло дѣлать какъ ему Богъ поможетъ. И кровь христіанская взыщется на тѣхъ, которые государево жалованье презирають и воли его не творять!

Всѣ плакали, выслушивая этотъ жестокий приговоръ.

Впередъ выступилъ посадникъ Леонтій, но за слезами долго не могъ говорить.

— Мы,—говорилъ онъ, пересиливая съ трудомъ истерическія спазмы въ горлѣ: — мы всѣ здѣсь головами на томъ государевомъ жалованьѣ. Бьемъ челомъ государю за то, что отлагаетъ казнь свою надъ нами, холопами своими, и отдаетъ опалу свою отчинѣ своей, Пскову, чтобы кровь христіанская не проливалась!

— Кровь, кровь!—съ ужасомъ шептали нѣкоторые.

Но посадникъ опять овладѣлъ своимъ голосомъ.

— Отчина государева,—продолжалъ онъ:—отъ прародителей его, государей русскихъ, и при отцѣ его, и при немъ государѣ нашемъ, была неотступна и неизмѣнна ни въ чемъ до сего часу, и нынѣ и напредки такъ останется. Вѣдаетъ Богъ да государь—въ какомъ жалованьи похочетъ онъ учинить свою отчину.

Выслушавъ это, дьякъ и бояре удалились.

— Да не смущается сердце ваше,—тихо проговорилъ юродивый, переставъ плакать:—да будетъ Его святая воля!

Уже никто не плакалъ. Глухая тоска заступила мѣсто отчаянія: худшее, что могло совершиться,—совершилось!

Снова явились бояре вмѣстѣ съ дьякомъ Далматовымъ. На этотъ разъ волю государеву говорилъ не дьякъ, а старѣйшій изъ бояръ—князь Михайло Даниловичъ Щенятевъ.

— Государь великій князь,—сказалъ онъ:—приговорилъ было своимъ боярамъ послать на Псковскую землю рать; но теперь вы бьете челомъ за себя и за нашу отчину, Псковъ, отдаете государево жалованье въ его волю. И посему государь говоритъ вамъ: дайте намъ крѣпкое слово за себя и за нашу отчину и за всю Псковскую землю, что Псковъ, отчина наша, пожелаетъ нашего жалованья и учинить волю нашу во всемъ томъ, о чемъ бояре наши вамъ говорили; а государь пошлетъ съ этимъ своимъ жалованьемъ во Псковъ дьяка Третьяка Далматова. Да и вы сами не хотите ли отъ себя послать отсюда о томъ же къ нашей отчинѣ, Пскову, къ своимъ пріятелямъ, которые у васъ тамъ есть, чтобъ и они хотѣли нашего жалованья и учинили во всемъ нашу волю.

Князь Щенятевъ кончилъ. Псковичи молчали. Да и что они могли сказать? Слышны были только ихъ тяжелые, задавленные вздохи, да юродивый какъ бы про себя шепталъ: „горе тебѣ, Хоразине! — горе тебѣ, Виесаидо!“...

— Пошлете?—спросилъ князь Щенятевъ.

— Спосылаемъ,—безучастно отвѣчали нѣкоторые.

Князь Щенятевъ глянулъ на дьяка Далматова. Третьякъ удалился и черезъ минуту воротился, предшествуемый Мартиріемъ, епископомъ воломенскимъ, съ распятіемъ въ одной рукѣ и крестоцѣловальною записью въ другой.

Псковичи повлонились епископу.

— Чада моя!—произнесъ этотъ послѣдній:—говорите со мною слово по слову... Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Обѣщаюсь и клянусь

Господомъ Іисусомъ Христомъ предо святымъ его распятіемъ — во всемъ повиноваться государю своему Василю Ивановичу, царю и государю всеа Русіи и великому князю, хотѣтъ ему добра во всемъ же, безъ единыя хитрости, не мыслить и не думать лиха ни ему, великому князю, ни его княгинѣ, ни его дѣтямъ, ни его землямъ, и пребывать не отступно отъ своего государя до конца живота своего.

Псковичи повторили отъ слова до слова.

— Аминь! — произнесъ Мартирій. — Цѣлуйте животворящій крестъ Христовъ

Псковичи приложились къ распятію. Присяга была кончена.

Черезъ минуту въ послѣдній разъ явился къ псковичамъ дьякъ Далматовъ и проговорилъ:

— Государь вашъ Василій Ивановичъ, царь и государь всеа Русіи и великій князь, указалъ васъ, холопей своихъ государевыхъ, жаловать — звать васъ къ нему, великому государю, обѣдать.

Покорною толпою двинулись проголодавшіеся псковичи во внутреннія палаты.

„Холопи, холопи, холопи!“ — эти слова, казалось, стучались въ сердца посадника Леонтія, когда онъ вмѣстѣ съ прочими шелъ къ столу государеву: — „и она, моя голубица — холопка!..“

VIII.

„Батюшка и Псковъ“.

Мы опять въ Псковѣ.

Не весело встрѣтили псковичи крещенскій праздникъ. По обыкновенію шумный во все время святокъ, теперь городъ казался словно бы нѣсколько обезлюдѣвшимъ. Да и неудивительно: большинство лучшихъ и богатѣйшихъ псковичей, всѣ посадники почти и бояре, находились въ Новгородѣ; а тѣ, которые оставались въ городѣ, не могли быть вполне спокойны за будущее; большинство псковитянокъ скучало по своимъ отсутствующимъ мужьямъ, — и оттого святки были не въ святки. Хорошо еще, что не долго оставалось ждать: сегодня, на Крещенье, всѣ должны воротиться домой или къ обѣдамъ или послѣ обѣда. Но пришлось обѣдать безъ мужей, безъ отцовъ.

Только дѣти да молодежь не унывали, а даже радовались, что вотъ-вотъ скоро воротятся изъ Новгорода ихъ отцы и привезутъ обѣщанные гостинцы. Юные псковичи и псковитянки устроили даже себѣ на Торговищѣ, подъ Довмонтовой стѣной, ледяную горку и катаются съ нея на салазкахъ при общемъ хохотѣ и дружныхъ крикахъ.

Вмѣстѣ съ прочими катаются на салазкахъ и знакомыя намъ пріятельницы — Офимья Макарьевичева, дочка посадника Леонтія, и Дарья Манухина. Крещенскій морозъ такъ нарумянилъ ихъ щеки, что розовыя

личики ихъ выглядывали изъ-подъ темныхъ собольихъ шапочекъ словно весенніе цвѣты.

— А ну, Фима, кто кого перегонить? — задирала свою пріятельницу веселая Дарьца.

— Посмотримъ. Только чуръ, Даша, разомъ.

— Знамо, разомъ. Слушай: разъ, два, три!

И обѣ разомъ пустились съ горы. Дарьца такъ усердствовала, что на полпути налетѣла на чьи-то порожнія салазки, не убранныя съ дороги, и опрокинулась вмѣстѣ съ санками, такъ что только мѣдныя подковки ея красныхъ сапожковъ сверкнули на солнцѣ.

— Обогнала! обогнала! — радостно билъ въ ладоши Петрикъ, братъ Офимьицы.

— Обогнала назадъ пятками! — смѣялись другіе ребяташки.

— Ай-ай! смотрите! Дарьцына коса зацѣпилась за салазки! — вотъ такъ возжи!

Всѣ смѣялись, а Дарьца смѣялась больше всѣхъ, хоть ей со стыда и хотѣлось плакать.

Вдругъ на Торговище, со стороны Новгорода, примчались сани тройкой.

— Православные! — кричалъ кто-то изъ саней: — князь великій переловилъ нашихъ въ Новгородѣ!

Говоръ, смѣхъ, веселье — разомъ стихли.

— Поиманы всѣ наши великимъ княземъ, православные! — продолжалъ вопить пріѣзжій.

Офимьица и Дарьца стояли испуганныя, трепещущія.

— Кажись, это голосъ Филиппа, — нерѣшительно замѣтила первая.

— Да, это Поповичевъ голосъ, Филипповъ, — отвѣчала послѣдняя: — побѣгимъ, распытаемъ его.

И дѣвушки побѣжали, забывъ про свои салазки.

— И мой батюшка поиманъ княземъ? — кричала издали Офимьица.

— Поиманъ, милая, поиманъ!

— И мой, дядюшка?

— И твой, Дарьца, Онисимъ Ильичъ поиманъ.

Между тѣмъ, началъ сбѣгаться на площадь народъ. Въ одно мгновеніе заговорилъ вѣчевой колоколъ.

Ужасомъ поразила всѣхъ страшная вѣсть, привезенная Филиппомъ Поповичемъ. Онъ ѣхалъ въ Новгородъ съ товаромъ, и около Веряжи услышалъ отъ встрѣтившихся новгородцевъ, что всѣ псковичи и посадники, и бояре, и купцы, и черные люди, прибывшіе въ Новгородъ съ жалобами и челобитьями, — всѣ, по приказанію великаго князя, переловлены обманнымъ образомъ. Поповичъ бросилъ на дорогѣ товаръ — все равно пропадаетъ Псковъ, а съ нимъ и псковичи и ихъ достояніе! — и налегкѣ помчался назадъ, чтобы сообщить родному городу ужасную вѣсть.

Въ нѣсколько минутъ вѣчевая площадь была затоплена народными волнами. Слышался всеобщій вопль отчаянія, который, сливаясь съ не-

умолкаемымъ звономъ вѣчевого колокола, наводилъ еще большій ужасъ на всѣхъ. Женщины падали въ обморокъ. Казалось, стоналъ самый воздухъ надъ несчастнымъ городомъ. Изъ этого стона и вопля по временамъ выдѣлялись энергическіе возгласы...

— Ставьте щитъ противу государя! Запремся въ городъ.

— Ляжемъ костью за Живоначальную Троицу и за дома отцовъ нашихъ!

— За вѣчный колоколъ! За вѣчную волю нашу!

Но слышались и другіе голоса голоса людей болѣе благоразумныхъ:

— Отцы и братія! послушайте! Какъ же мы поставимъ щитъ противу государя, коли наша братья, посадники и бояре и всѣ лучшіе люди у него въ полону! За наше непокореніе онъ ихъ всѣхъ предастъ лютой казни.

— Опомнитесь, господа псковичи! опомнитесь! Кровь нашихъ братьевъ падетъ на насъ и на чадъ нашихъ! Опомнитесь!

Въ эти страшныя минуты шатанія умовъ на площади неожиданно появляется Овисимъ Манухинъ, отецъ Дарьицы. Онъ пригналъ гонцомъ въ Псковъ отъ арестованныхъ въ Новгородъ согражданъ своихъ. Издали онъ махалъ поднятою вверхъ бумагою и кричалъ:

— Помедлите мало, псковичи, помедлите! Я привезъ грамоту отъ отцовъ и братьи нашей!

Прямо съ коня, гонца тотчасъ же взвели на вѣчевой помостъ. Знакомый уже намъ красавецъ, сотскій Евстафій, подалъ знакъ, чтобы вѣчевой колоколъ замолчалъ.

На минуту на площади воцарилась мертвая тишина.

— Отцы и братья!—кланялся гонецъ на всѣ четыре стороны:—вотъ грамота отъ посадниковъ нашихъ, отъ бояръ, купцовъ и всѣхъ лучшихъ людей!

— Вычитывай грамоту! — раздались голоса.

— Пускай Остафій вычитаетъ! — кричали другіе. — У него голосъ на весь Псковъ.

— Остафій! Остафій сотскій!

Красавецъ сотскій снялъ шапку и поклонился на всѣ четыре стороны. Вдругъ глаза его упали на чье-то блѣдное, какъ полотно, миловидное личико. Онъ узналъ Евфимію и краска залила его красивое, мужественное лицо.

— Читай! читай!

— Осѣнитесь крестомъ, псковскіе люди!

Вся площадь шумно перекрестилась.

Дрожащими руками взялъ Евстафій грамоту, перекрестился, въ свою очередь, и сталъ читать.

Могучій голосъ его сначала обрывался, но съ половины чтенія онъ окрѣпъ и поднялся до того, что въ самыхъ отдаленныхъ частяхъ площади каждое слово его било по слуху, словно молотомъ изъ серебра.

— И мы,—читалъ онъ:—подумавши между собою, сколько насъ ни есть здѣсь посадниковъ и бояръ и всѣхъ псковичей, дали государю крѣпкое слово за себя и за всю псковскую землю потому, что мы, государева отчина, всѣ какъ одинъ человекъ до сихъ поръ. Господо и братья наша! посад-

ники, и всѣ псковичи, и вся земля псковская! Похотите вмѣстѣ съ нами государева жалованья и учините его волю. Мы за себя и за васъ дали своими душами крѣпкое слово своему государю, и вы не учините съ нами розни. А если не сотворите государевой воли во всемъ по его хотѣнію, то будетъ вамъ вѣдомо, что государь нашъ съ яростію и съ гнѣвомъ пойдетъ на свою отчину, Псковъ, дѣлать свое дѣло съ великимъ и многонароднымъ воинствомъ, и пошлетъ воеводъ своихъ со многими людьми, и прольется христіанская кровь, и наши головы погибнуть. И то будетъ на васъ за то, что не захотѣли государева жалованья и не учинили его воли. Государь учинилъ и срокъ дьяку Третьяку Далматову въ 10-й день генваря. Господо и братья! сотворите сіе великое дѣло и не задержите государева посланника. Потщитесь, пока царевъ гнѣвъ еще не пришелъ съ яростію на землю. Здравствуйте!

Пославіе прочитано. Неясный говоръ, какъ ровотъ морскихъ волнъ, снова всколыхнулъ всю площадь; но въ говорѣ этомъ не слышалось уже ни воплей отчаянія, ни страстныхъ призывовъ къ борьбѣ, къ сопротивленію—къ послѣдней отчаянной попыткѣ—или устоять, или погибнуть—погубить и себя и все, что было на землѣ дорогого и священнаго. Пскову предлагали на выборъ: жизнь или смерть. Какъ ни позорною казалась Пскову предлагаемая ему жизнь, жизнь подневольныхъ холопей; какъ ни страстно хотѣли бы мужественныя сердца псковичей истечь кровью за свободу родного города, перестать биться подъ ударами московскихъ копей и бердышей; но въ стѣнахъ этого погибающаго Кареагена остаются еще женщины и дѣти... А хотятъ ли они смерти? Не пощадить ли ихъ? Не купить ли ихъ жизнь и безопасность цѣною своего личного позора?

Эти мысли молніей пронесли въ прекрасной головѣ мужественнаго Евстафія, когда онъ увидѣлъ съ высоты вѣчевого помоста блѣдное личико Евфиміи и заплаканное лицо ея матери, которыя стояли среди взволнованной толпы и беспомощно ломали руки.

— Отцы и братья,—крикнулъ онъ все тѣмъ же металлическимъ голосомъ:—не попустимъ, чтобы погибли головы нашихъ посадниковъ и бояръ, нашихъ отцовъ и наставниковъ—лучшихъ людей Пскова-Великаго! Не попустимъ такого дѣла!

— Не попустимъ! не попустимъ!—раздались согласные возгласы.

— Глядите!—указалъ Евстафій на толпу:—вонъ лучшія жены Пскова плачутъ! дѣти плачутъ! Ихъ мужья и отцы — тамъ, у великаго князя въ неволѣ! Пощадимъ дѣтей и женъ—спасемъ полоняниковъ великаго князя!

— Любо! любо! Спасемъ отцовъ и братью нашу!—застонала площадь.

Евстафій видѣлъ, какъ Евфимія и мать ея радостно перекрестились и посмотрѣли на него полными слезъ и благодарности глазами.

Евстафій сошелъ съ помоста и съ нѣсколькими старѣйшими и почтеннѣйшими лицами, какія еще оставались въ Псковѣ, вошелъ въ церковь Живоначальныя Троицы.

Народъ оставался ждать ихъ: они пошли писать челобитную великому князю.

Черезъ нѣсколько минутъ они вышли изъ церкви, и Евстафій опять взошелъ на ступени вѣчевого помоста, держа въ рукахъ только-что написанное и подписанное старшинами челобитье.

— Отцы и братія! матери и сестры!—началъ онъ, кланяясь на всѣ четыре стороны.—Вотъ челобитье Великаго-Пскова къ князю московскому.

— Вычитай! вычитай!—раздались голоса.

— Государь нашъ, Василій Ивановичъ!—читалъ Евстафій:—царь и государь всеа Русіи и великій князь! Весь Псковъ отъ мала до велика бьетъ челомъ тебѣ, государю, чтобы ты, государь нашъ, великій князь Василій Ивановичъ, пожаловалъ свою старинную отчину; а мы, сироты твои, прежде всего и нынѣ отъ тебя не отступали и не противны тебѣ, государь, Богъ воленъ и ты съ своею отчиною, и съ нами, твоими людишками! — Любо ли, отцы и братья?

— Любо! любо! Стоимъ на семъ челобитѣ!

И тутъ же приговорили: послать гонцомъ къ великому князю съ челобитьемъ того же Евстафія.

Площадь стала пустѣть—всѣ спѣшили къ своимъ домамъ, тѣмъ болѣе, что наступалъ уже вечеръ.

Евстафій быстро собрался въ путь и передъ отъѣздомъ зашелъ на минуту къ посадницѣ Еленѣ Дмитріевнѣ Макарьевичевой, чтобы проститься съ нею и спросить, не будетъ ли отъ нея какого-либо порученія къ мужу, посаднику Леонтію, задержанному вмѣстѣ съ прочими псковичами въ Новгородѣ.

Уходя затѣмъ отъ нея, онъ въ полутемномъ присѣнкѣ замѣтилъ чью-то фигуру, робко прислонившуюся къ стѣнѣ. Онъ тотчасъ же узналъ, кто это.

— Ефимья Леонтьевна!—радостно и испуганно окликнулъ онъ.

Ему не отвѣчали. Онъ подошелъ ближе и услышалъ, что дѣвушка плачетъ.

— Ефимья Леонтьевна! Офимьяца! что съ тобою?

Онъ взялъ ее за руку и тихо привлекъ къ себѣ. Дѣвушка вся дрожала.

— Милая! дѣвынька! объ чемъ? Я вѣдь къ батюшкѣ ѣду—его привезу.

Дѣвушка обхватила руками его шею.

— Ты ѣдешь... мнѣ за тебя страшно... и тебя поймаютъ, свѣтъ очей моихъ!

Она страстно прижалась къ нему, а онъ, нѣжно лаская ее и прижимая къ себѣ ея головку, шепталъ:

— Радость моя! солнышко ясное! не плачь—я скоро ворочусь, я твой... А теперь—батюшка и Псковъ.

Съ трудомъ онъ вырвался изъ объятій плачущей дѣвушки.

IX.

Снятіе вѣчевого колокола.

Въ 1510-мъ году, Крещенье приходилось въ воскресенье.

До субботы, до 12-го января, псковичи напрасно ждали вѣстей изъ Новгорода.

Наконецъ, утромъ, въ субботу, раздался вѣчевой колоколъ—въ послѣдній разъ заговорилъ Пскову его историческій голосъ.

Изъ Новгорода прибылъ посолъ государевъ—дьякъ Третьякъ Далматовъ. Что-то привезъ онъ? Что ждетъ псковичей? Чѣмъ рѣшена будетъ участь Великаго-Пскова?

Всѣ спѣшили на площадь съ этими мыслями. Но мысли эти не были мрачны: на лицахъ у всѣхъ проглядывала смутная надежда. Съ утра городъ облетѣла вѣсть, что посолъ показался встрѣтившимъ его боярамъ такимъ ласковымъ, обходительнымъ. Великому князю понравилась безпрекословная покорность псковичанъ—это не то, что нѣкогда строптивый Новгородъ съ его кичливою посадницею Мареою!

Вѣче приготовилось „почетно и почестно“ встрѣтить посла государева. Вѣчевой помостъ и ступени были покрыты краснымъ сукномъ. Вся площадь и прилегающія къ ней улицы были запружены народомъ. Даже верхъ Довмонтовой стѣны былъ покрытъ псковичами. Женщины явились съ грудными дѣтьми на рукахъ. „Худые мужики вѣчники“ — этотъ плебсъ Великаго-Пскова, словно черныя галки и вороньё устѣяли всѣ сосѣднія крыши домовъ и ближайшія колокольни.

День выдался пасмурный, но теплый.

Посолъ государевъ вышелъ изъ церкви Живоначальныя Троицы, гдѣ онъ служилъ молебень о здравіи царя и государя Василя Ивановича всеа Русіи, и, сопровождаемый духовенствомъ и старшинами города, медленно направился сквозь раздвигавшіяся передъ нимъ толпы къ вѣчевому помосту, который онъ, по разсѣянности, что ли, назвалъ „лобнымъ мѣстомъ“.

— „Кого же тамъ распинать будутъ?“ — мысленно спрашивалъ себя ветхій-преветхій старецъ, Игнатій Логиновичъ, бывшій когда-то тоже степеннымъ посадникомъ, слѣдуя за великокняжескимъ посломъ:— „эко выдумалъ—лобное мѣсто!.. И приведоша его на Голгоу, мѣсто, еже есть сказаемо лобное мѣсто!..“

Дьякъ медленно взошелъ на вѣчевой помостъ, снялъ шапку, поклонился на всѣ четыре стороны, и громко, явственно и ласково произнесъ:

— Поклонъ всему Пскову отъ великаго князя! Велитъ вамъ великій князь сказать:—если вы, отчина моя, посадники и всѣ псковичи, хотите прожить въ старинѣ, то учините мои двѣ воли: чтобъ у васъ вѣчья не было и вы бы колоколъ вѣчевой свѣсили; да чтобъ въ городѣ были два намѣстника и на пригородахъ намѣстники же. Тогда вы въ старинѣ проживете. А только тѣхъ двухъ воль вы не сотворите, то будетъ съ вами, какъ государю Богъ на сердце положить. Есть у него много силы готовой, и станется кровопролитіе надъ тѣмъ, кто не сотворитъ государевой воли. Государь нашъ, великій князь, хочетъ побывать на поклонъ къ святой Троицѣ во Псковъ.

Какъ громъ поразили эти слова псковичей. Казалось, они сначала не поняли того, что слышали. Они ждали продолженія рѣчи — думали, что они ослышались...

Но дьякъ спокойно сѣлъ на ступени помоста и съ деревяннымъ равнодушіемъ ждалъ отвѣта. Что-то зловѣщее теперь было въ его фигурѣ, въ позѣ, въ выраженіи лица. Онъ казался чудовищемъ на красномъ фонѣ помоста—чудилось, что онъ сидѣлъ по колѣна въ крови!

Площадь огласилась рыданіями... „Не плакалъ тогда развѣ грудной младенецъ при сосцахъ матернихъ!“—говорить лѣтописецъ.

Евфимія, уткнувшись лицомъ въ плечо матери, беззвучно рыдала: — „ни его, ни батюшки!—оо!..“

А дьякъ какъ истуканъ сидѣлъ на ступеняхъ и ждалъ.

„Такъ вотъ оно почему лобное мѣсто!“—качалъ сѣдою головою старецъ Игнатій:—„на томъ лобномъ мѣстѣ Псковъ распинаютъ!..“

— Посолъ государевъ!—сказалъ онъ громко, глотая слезы:—подожди до утра... Мы себѣ подумаемъ и потомъ тебѣ все скажемъ.

— Быть по сему!—отвѣчалъ дьякъ и сошелъ со ступеней, опираясь на массивный посохъ.

Стая вороновъ, летѣвшихъ съ востока куда-то черезъ Псковъ, надлетѣвъ къ площади, устѣянной колыхавшимися массами народа, съ испуганнымъ карканьемъ шарахнулась въ сторону и скрылась за рѣкой Великой.

— Къ худу, къ худу каркаетъ вороньё,—боязно говорили псковичи, съ щемящею тоскою расходясь по домамъ.

Сталъ дождикъ накрапывать.

— И небо святое плачетъ, — суевѣрно шептали псковичи: — что-то на утрѣе будетъ?

Говорили потомъ, что ночью самъ собою тихо, жалобно звонилъ вѣчевой колоколъ, какъ бы самого себя оплакивая: и звонъ — увѣряли слышавшіе—былъ погребальный. У Троицы, изъ глазъ иконы Богородицы, „изъ суха дерева текли слезы“.

Не стало во Псковѣ и Иванушки-юродиваго: и онъ вмѣстѣ съ прочими пойманъ былъ въ Новгородѣ и прислалъ Пскову поклонъ съ Онисимомъ Манухинымъ:

— Кланяюсь Пскову и костямъ предковъ нашихъ; а наши кости будутъ тлѣть тамъ, куда и воронъ не залетывалъ.

Утромъ, 13-го января, снова весь Псковъ былъ на площади у вѣча.

На вѣчевой помостъ вступилъ посолъ и ждалъ послѣдняго отвѣта. Къ помосту подошелъ старѣйшій изъ всѣхъ сыновъ вольнаго города, Игнатій Логиновичъ, поддерживаемый внуками.

Площадь замерла въ ожиданіи.

— Посолъ государевъ!—окинувъ глазами надвинувшіяся къ помосту толпы, сказалъ старецъ.—У насъ въ лѣтописцахъ записано такъ: съ пра-дѣдомъ и дѣдомъ и отцомъ великаго князя и со всѣми великими князьями было у насъ положено крестное цѣловаще: намъ, псковичамъ, отъ государя своего великаго князя, кто будетъ княземъ въ Москвѣ, не отойти ни въ Литву, ни къ нѣмцамъ, а жить намъ по старинѣ въ доброй волѣ. А ежели мы, псковичи, отойдемъ отъ великаго князя въ Литву или къ

нѣмцамъ, или сами собой станемъ жить безъ государя, то падеть на насъ гнѣвъ Божій—гладъ, оговъ, потопъ и нашествіе невѣрныхъ; а если государь нашъ великій князь этого же крестнаго цѣлованья не станетъ хранить и насъ не будетъ держать въ старинѣ, то и на него тотъ же обѣтъ, который на насъ, и тотъ же гнѣвъ Божій на его голову и на царство его. Теперь Богъ и государь воленъ въ своей отчинѣ, надъ городомъ Псковомъ и надъ нашимъ колоколомъ: мы прежняго крестнаго цѣлованія не хотимъ измѣнять и навлекать на себя гнѣвъ Божій и кровопролитіе. Мы не поднимаемъ рукъ на своего государя и не станемъ запирается въ городъ. Если государь нашъ хочетъ помолиться Живоначальной Троицѣ и побывать въ своей отчинѣ, — мы рады всѣмъ сердцемъ и тому, что не погубилъ насъ до конца! Доложи же, посолъ, государю, что мы на него не подыдемъ рукъ никогда: но будутъ ли потомки наши такъ же вѣрны крестному цѣлованію, какъ мы, противу того, кто самъ ломаетъ крестъ, и противу потомковъ его—то вѣдомо единому Богу.

Старецъ кончилъ. Сѣдая голова его дрожала.

Какъ ни привыкъ владѣть собой старый, закоренѣлый въ коварствѣ дьякъ, но рѣчь старца поразила его. Онъ не ожидалъ ничего подобнаго отъ этой развалины, слова которой должны бы были повергнуть въ смущеніе самого великаго князя; ничего подобнаго не слышали они прежде и отъ Новгорода, который былъ сильнѣе и строптивѣе Пскова. Ошеломленный дипломатъ не нашелся что отвѣчать—и безмолвно указалъ рукою на вѣчевой колоколъ.

— Сымите его!—глухо сказалъ онъ псковичамъ.

Но псковичи не тронулись съ мѣста. Да и кто рѣшился бы прикоснуться къ святыни своего города.

Тогда дьякъ обратился къ отряду алебардщиковъ, прибывшихъ съ нимъ, въ качествѣ охраны, изъ Новгорода. Это были касимовскіе татары.

— Касимовцы!—сказалъ онъ, махнувъ рукой:—долой колоколъ!

— Айда!—отвѣчали татары, и полѣзли на башню.

Снова вопль и плачъ огласили площадь. Татары, между тѣмъ, отвѣзали колоколъ и спускали его съ башни, а желѣзный языкъ его, глухо колотясь о края, издавалъ такой звукъ, точно бы это стоналъ отъ боли нѣмой человѣкъ. Все плакало...

„Какъ у насъ зѣнцы не упали со слезами! Какъ сердце не урвалось отъ горести!“ оплакиваетъ этотъ моментъ псковскій лѣтописецъ.

Внизу, подъ Довмонтовою стѣною, уже ждали сани-розвальни, на которыя и спустили вѣчевой колоколъ. Псковичамъ казалось, что это „снимали со креста Распятаго за ны“...

Колоколъ повезли на Снѣтогорское подворье. Весь городъ со слезами провожалъ его, какъ дорогого покойника. Шла за колоколомъ и Евфімія съ матерью: ей казалось, что она провожаетъ своего Евстафія.

— Се бысть—и се не бѣ!—тихо качалъ сѣдою головою старѣйшій изъ псковичей:—буди воля твоя, Господи.

Московская ловушка.

Ничто такъ не живуче, какъ надежда, особенно—надежды молодости.

Попрощавшись съ вѣчевымъ колоколомъ и вѣчевою волею своею родного города, Евфимія ждала теперь возвращенія изъ Новгорода отца и своего возлюбленнаго.

Она не могла забыть того, что было, на Крещенье вечеромъ, у нихъ въ сѣнцахъ. И теперь краска невыразимаго смущенья и тайной радости заливала ея щеки, когда она вспомнила эти дорогія минуты, и ей казалось, что она слышитъ милый голосъ: „радость моя! солнышко мое!“—Что ей колоколь! Что ей эта воля!—Ея солнце скоро взойдетъ вонъ оттуда, изъ-за тѣхъ снѣжныхъ холмовъ, между которыми извивается дорога въ Новгородъ. Вѣдь, посолъ княжескій сказалъ, что великій князь скоро пріѣдетъ во Псковъ поклониться Живоначальной Троицѣ. А съ княземъ пріѣдутъ и они всѣ—и онъ, и онъ...

Она то и дѣло бѣгала къ своей пріятельницѣ, къ Дарьицѣ Манухиной, но ни однимъ намекомъ не выдала ей своей дѣвичьей тайны—того, что у нея было съ ея возлюбленнымъ въ присѣнкѣ на Крещенье вечеромъ.

— Ахъ, Офимьица! какая ты стала скрытная,—не разъ говорила ей Дарьица, замѣчая что-то особенное въ своемъ другѣ.—Прежде бывало у тебя Остафій не сходилъ съ языка, а теперь ты словно воды въ ротъ набрала и боишься пролить.

— До него ли теперь, Даша!—лукавила плутовка, а у самой сердце билось-билось, и она все спрашивала, какой сегодня день, много ли прошло послѣ Крещенья?

— Знаю, знаю! На Крещенье онъ уѣхалъ,—коварно улыбалась Дарьица:—не бойся, еще свадьбу успѣете сыграть до масленицы.

Наконецъ, прошла вѣсть, что великій князь ѣдетъ. Псковичи порѣшили встрѣтить его съ великою честію, на самомъ рубежѣ Псковской земли; но присланные впередъ великимъ княземъ московскіе бояре объявили, что государь не желаетъ, чтобъ его встрѣчали „далече“. Василю Ивановичу не хотѣлось, конечно, чтобы псковичи заранѣе провѣдали, что онъ ѣдетъ въ Псковъ не какъ гость, не какъ смиренный богомолецъ у Живоначальной Троицы, а какъ завоеватель и что идетъ онъ на Псковъ во главѣ сильныхъ ратей, предводительствуемыхъ тремя воеводами. Видно было, что онъ не довѣрялъ видимому смиренію и покорности Пскова. А если обманутый въ своихъ ожиданіяхъ этотъ строптивый городъ вошелъ въ союзъ съ нѣмецкимъ орденомъ или Литвою и московскаго князя встрѣтятъ нѣмецкія и литовскія рати? Какъ бы московскому князю не попасть въ ту же западню, какую онъ устроилъ довѣрчивымъ псковичамъ въ Новгородѣ! Что если и псковичи, залучивъ его въ свой Дѣтинецъ, въ свою очередь, ехидно скажутъ: „пойманъ еси, княже, Богомъ и Великимъ-Псковомъ?“ Что тогда?

Кто самъ легко ломаетъ крестное цѣлованье и топчетъ ногами договоры, тотъ долженъ ожидать этого и отъ другихъ. Старецъ Игнатій Логиновичъ ясно высказалъ это дьяку Далматову: „за наше вѣроломство—на насъ кара Божья; за вѣроломство великаго князя—на него гнѣвъ Божій и кара“.

Дьякъ это хорошо растолковалъ Василию Ивановичу, и потому онъ не только отправилъ впередъ своихъ бояръ, чтобъ они раньше его прихода привели всѣхъ псковичей къ крестному цѣлованію, но—этого мало!—„что крестъ поцѣловать стоитъ?—можно потомъ и вытереть губы“ (такъ объяснялъ хитрый дьякъ значеніе присяги),—но,—надо копьями, бердышами и конскими копытами закрѣпить крестное цѣлованье. Въ виду копій и бердышей не скажутъ: „пойманъ еси, княже“... Смиранный богомолецъ, князь, и шелъ поэтому на Псковъ завоевателемъ, на челѣ грозныхъ полковъ, какъ главный воевода московскихъ силъ. Паралельно съ нимъ, вправо и влево, другими дорогами двигались воеводы съ другими полками.

Но вотъ рубежъ Псковской земли — Рубиконъ послѣдняго вольнаго города древней, вѣчевой Руси.

Alēa jacta est!.. Московскій Цезарь—„кесарь“—безстрашно перешелъ черезъ Рубиконъ вѣчевыхъ вольностей.

Вонъ бѣлѣются покрытыя снѣгомъ крыши перваго поселенія Псковской земли. Надъ крышами вьется къ вольному небу синій дымокъ—это топятся печи въ Загряжѣ.

Гдѣ же крамольники, гдѣ враги: — псковскія, нѣмецкія, литовскія?— гдѣ ихъ воеводы?

Вонъ они! Вдоль утопанной дороги, по обѣ стороны, лежатъ эти крамольники „крыжомъ“, не покрытыми головами прямо въ снѣгу.

Слышенъ стукъ копытъ великокняжескаго коня по замерзшей землѣ. Слышны тысячи копытъ—дрожма дрожить Псковская земля. А крамольники—лежатъ головами въ снѣгу...

— Здравствуйте!—раздается ласковый голосъ великаго князя.

Лежація ницъ толпы шеvedятся, поднимаются съ земли. Самый главный и старѣйшій крамольникъ, старецъ Игнатій Логиновичъ, не можетъ отъ дряхлости самъ подняться. Его съ трудомъ поднимаютъ внуки.

— Здравствуйте, псковичи!—еще ласковѣе говоритъ великій князь, съ участіемъ глядя на дрожащую сѣдую голову старѣйшаго изъ псковскихъ людей.

— Ты бы, государь нашъ, великій князь, здоровъ былъ!—прошамкалъ старецъ, а за нимъ и всѣ.

Но вотъ близко и Псковъ. Тамъ ждутъ страшнаго гостя съ трепетомъ и... нѣкоторые съ тайною надеждою.

Офимьца съ мамушкой и Петрикомъ идутъ къ Живоначальной Троицѣ, чтобы вмѣстѣ съ духовенствомъ идти за городъ встрѣчать великаго князя. Конечно, они шли не его встрѣчать, а кого-то другого.

— Какой-то гостинецъ привезетъ мнѣ батя?—болталъ дорогою Петрикъ.

— А московскую плетку,—отвѣчала со смѣхомъ мамушка.

— Какъ бы не такъ! А тебѣ что, Фима?—обратился онъ къ сестрѣ.

— Не знаю, Петя,—отвѣчала дѣвушка.

— А я знаю,—лукаво замѣтила мамка.

— А что?—покраснѣла дѣвушка.

— То же плѣтку, только псковскую, ту, что на свадьбѣ жениху въ руки даютъ.

Дѣвушка еще больше зардѣлась: она поняла намекъ старой мамки, которая очень хорошо видѣла, какого гостинца ждала ея любимица.

У Живоначальной Троицы они нашли въ сборѣ духовенство всѣхъ церквей города Пскова. Готовились къ выходу за городъ для встрѣчи великаго князя.

Но въ это время является туда раньше прибывшій въ Псковъ отъ великаго князя святитель, владыка Вассіанъ Кривой.

— Остановитесь, отцы!—обратился онъ къ псковскому духовенству.— Камо грядете?

— Встрѣчать великаго государя,—отвѣчали отцы.

— Не надо,—остановилъ ихъ Вассіанъ:—не ведѣлъ себя великій князь встрѣчать далече.

— Гдѣ-жъ мы встрѣтимъ его, владыко?—спросили псковичи.

— Въ городѣ, на торгу,—былъ отвѣтъ.

Шествіе двинулось на Торговище. Всѣ были въ полномъ облаченіи. Цѣлый лѣсъ высокихъ крестовъ, свѣтильниковъ и хоругвей выстроился на торгу въ двѣ линіи.

Скоро по звонкимъ, промерзшимъ плитамъ Торговища гулко застучали кованыя свейскою сталью копыта великокняжескаго коня. Князь подѣхалъ къ линіи хоругвей и крестовъ и остановился, чтобы сойти съ коня. Отдавъ своего кабардинскаго жеребца ближнему боярину, онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Тогда къ нему подошелъ съ крестомъ, коломенскій епископъ и благословилъ. Поцѣловавъ крестъ, князь поклонился святынь и пѣшкомъ вошелъ въ ворота Дѣтинца къ Живоначальной Троицѣ. За нимъ двинулись ближніе бояре, а площади заняла конница московская.

Въ церкви служили молебенъ, пѣли многолѣтіе великому князю.

— Богъ тебя, княже, благословляетъ, Псковъ взявши!—послѣ многолѣтія привѣтствовалъ его владыка коломенскій.

„Взявши!“—точно непріятельскій городъ...

„И кои псковичи были въ церкви и то слушали, и заплакали горько“, говоритъ лѣтописецъ.

Евфимія и маленькій Петрикъ видѣли все это издали и напрасно надѣялись увидѣть отца въ толпѣ прибывшихъ—его не было тамъ!

Всѣ псковичи, захваченные въ Новгородѣ, тамъ и оставлены.

— Гдѣ же батя?—заплакалъ вдругъ маленький Петрикъ.

— Онъ послѣ пріѣдетъ, дитятко,—утѣшала его старая мамушка:—онъ, я чаю, ѣдетъ за московскими ратными людьми и везетъ тебѣ съ Офимьей гостинцы.

Заплакала и Евфимія. Она поняла, что и тотъ, о комъ она думала

дни и ночи, кто далъ ей столько счастья въ тотъ памятный вечеръ на Крещенье,—тоже сдѣлался плѣнникомъ князя московскаго.

Теперь только Псковъ понялъ, что онъ попалъ въ московскую ловушку...

XI.

„О х ъ, у в ы!“

Василій Ивановичъ вступилъ въ Псковъ 24-го января

Ни 24-го, ни 25-го, ни 26-го числа, псковичи больше его не видѣли. Онъ оставался на своемъ дворѣ. Каждый день съ утра до ночи къ нему во дворъ и въ grids приходили московскіе бояре, дѣяки и воеводы. Что они тамъ дѣлали, о чемъ говорили—никто изъ псковичей не зналъ. Псковичи попрятались въ своихъ домахъ, какъ бѣлки въ дуплахъ отъ собакъ, и ждали, что будетъ.

По улицамъ и по площадямъ рыскали только московскіе ратные люди пѣшіе и конные, „торжища коневымъ каломъ замата“, какъ выражается лѣтописецъ.

Только утромъ 27-го января по улицамъ Пскова и на торжищахъ раздались клики государевыхъ московскихъ людей.

— Копитесь, копитесь! — кликали: — копитесь, псковичи, и лучшіе, и середніе, и молодчіе люди, копитесь на государевъ дворъ!

И псковскіе улицы опять ожили. Все мужское населеніе повалило къ княжескому двору. За мужчинами слѣдовали, изъ любопытства и съ тайнымъ страхомъ, ихъ жены и дѣти.

Толпы запрудили ворота Дѣтинца.

Въ это время къ воротамъ приближалась какая-то странная процессія. Шесть дюжихъ парней, одѣтые въ богатые однорядки и цвѣтные опашни, въ высокихъ бобровыхъ шапкахъ съ малиновыми верхами и въ красныхъ сапогахъ, несли на своихъ плечахъ рѣзную изъ краснаго дерева кровать съ постелью и подушками. На постели изъ-подъ опушеннаго еболями шелковаго голубого одѣяла виднѣлась брошенная на бѣлыя подушки старческая голова, окаймленная бѣлою какъ снѣгъ бородою и такими же бѣлыми волосами.

Толпы псковичей почтительно разступались передъ этимъ шествіемъ и снимали шапки.

Это шесть взрослыхъ внуковъ-богатырей несли на княжескій дворъ разбитаго параличомъ больного дѣда своего, посадника Игнатія Логгиновича. Старецъ желалъ передъ смертью выслушать послѣднюю волю великаго князя московскаго.

За этими носилками двигалось многочисленное потомство маститаго старца: старики уже сыновья, старухи невѣстки, замужнія дочери, внуки, внучки... Женщины плакали... Плакали и постороннія псковитянки, видя это печальное шествіе.

Въ толпѣ видѣлись печальныя личики неразлучныхъ Офимьицы и Дарьицы.

Вдругъ сѣдая голова старца отдѣляется отъ подушки и изъ устъ старѣйшаго псковича слышится горькое обращеніе къ плачущимъ:

— Дщери іерусалимски! не плачитесь о мнѣ, обаче себе плачите и чадъ вашихъ: яко се дніе грядутъ, въ няже рекутъ: блажены неплоды, и утробы, яже не родиша, и сосцы, иже не доиша. Тогда начнутъ глаголати горамъ: падите на ны, и холмомъ: покройте ны. Зане, аще въ суровѣхъ дровѣхъ сія творять, въ сусѣхъ что будетъ *).

Рыданія еще болѣе усилились отъ этихъ словъ.

Толпы проходили ко двору великаго князя. Мужчины входили во дворъ, а женщины и дѣти оставались за воротами.

Дворъ скоро наполнился. Внесли во дворъ и разбитаго параличомъ старца.

Изъ княжеской гридни на крыльцо вышелъ дьякъ Далматовъ съ боярами.

— Господо псковичи!— громко сказалъ Третьякъ:— посадники и бояре, и купцы, и всѣ лучшіе люди! Идите въ большую гридню—слушать управу, государеву. А вы, молодчіе люди, повремените на дворѣ малость: и вамъ будетъ управа великаго князя.

По этому зову всѣ знатные и богатые псковичи вступили въ большую княжескую гридню. Внесли въ гридню и немощнаго посадника Игнатія Логиновича.

Когда дверь за послѣднимъ псковичемъ затворилась и всѣ перекрестились на большую икону Богородицы Утоли-моя-печали, дьякъ Далматовъ произнесъ:

— Господо псковичи! государь нашъ Василій Ивановичъ, царь и государь всеа Русіи и великій князь, велѣлъ вамъ говорить: какъ прежде я пожаловалъ васъ, мою отчину, Псковъ, такъ и теперь жалую, не вступаясь въ животы и достоянія ваши, и напредки хочу жаловать. Ино здѣсь въ нашей отчинѣ, во Псковѣ, быть вамъ непригоже, для того, что допрежъ сего были многія жалобы на ваши неправды, непорядки, обиды и оскорбленія, и разоренія людямъ. Я васъ жалую нынѣ своимъ жалованьемъ въ Московской Землѣ. И вамъ теперь же ѣхать въ Москву, съ женами и дѣтьми!

Громъ не поразилъ бы такъ, какъ эти страшныя слова. Бросить Псковъ, дома, имущество, скотъ, все хозяйство и нищими, плѣнниками перебраться въ Москву! Бросить церкви, могилы отцовъ и дѣдовъ, родное небо!

„Поиманы! всѣ поиманы!“ колотилось въ душѣ у cadaго.—„Гдѣ же правда! Гдѣ Богъ!“

А солнце, между тѣмъ, такъ ярко, такъ ласково глядѣло въ окна гридни... „Родное солнышко!“ невольно шептали уста несчастныхъ,—„и тебя намъ не видать больше!“

Дьякъ и бояре ждали, однако, отвѣта.

Поддерживаемый внуками, дряхлый посадникъ приподнялся на постели

*) Еванг. отъ Луки, XXXIII, 28—31.

и перекрестился на икону, шепча полумертвыми губами: „утоли моя печали! утоли печали всѣхъ!“ Перекрестились и остальные псковичи.

Голова несчастнаго посадника тряслась и надала на грудь, когда онъ говорилъ послѣднее слово его родного города:

— Прародителямъ его, государямъ, и ему, государю, мы всегда были неизмѣнны и не отступны до сихъ поръ. И нынѣ мы положились на Бога и на своего государя и царя во всей его волѣ, какъ онъ хочетъ, такъ насъ и жалуетъ. Вѣдаютъ Богъ да государь!

И голова старца безсильно упала на подушку.

Въ то же время изъ гридни на крыльцо вышелъ окольничій, князь Петръ Васильевичъ Великій. Всѣ стоявшіе на дворѣ псковичи — молодчіе люди — сняли шапки.

— До васъ, — сказалъ князь Великій: — государю дѣла нѣтъ. Тѣмъ псковичамъ, что отобраны въ избѣ, государь велѣлъ сказать: симъ псковичамъ, что отобраны и пойманы въ гриднѣ, я, великій князь, не велю быть во Псковѣ, а посылаю ихъ въ Московскую Землю. Это я дѣлаю потому, что я жалую васъ, свою отчину, Псковъ, для того, что допрежь сего на нихъ бивали челомъ мелкіе люди, псковичи, что отъ нихъ чинятся насилія и обиды. А васъ какъ я пожаловалъ уже свою отчину, Псковъ, такъ и впредь тѣмъ же хочу жаловать. Развода не бойтесь. Только тѣхъ посадниковъ и псковичей, что въ избѣ отобраны, велѣлъ я вывезти, да и ихъ въ Московской Землѣ я пожалую своимъ жалованьемъ, какъ будетъ пригоже. А вы живете въ нащдѣ отчинѣ, Псковѣ, и слушайтесь тѣхъ бояръ и псковскихъ намѣстниковъ, которыхъ я пожалую намѣстничествомъ въ своей отчинѣ.

— Мы челомъ бьемъ за то государево жалованье и рады слушать во всемъ государева намѣстника! — отвѣчали молодчіе псковичи, низко кланаясь.

Ихъ тотчасъ распустили по домамъ.

Но тѣмъ, которые заперты были въ большой гриднѣ, не суждено уже было увидѣть домовъ своихъ!

Къ нимъ явились въ гридню бояре и дѣти боярскія и всѣхъ переписали по именамъ. По росписи этой, разбитой на мелкія росписи, какъ товаръ по накладнымъ, дѣти боярскіе въ тотъ же день должны были везти арестованныхъ псковичей особымъ обозомъ въ Москву. Жены же и дѣти ихъ должны были отправиться въ Москву подъ конвоемъ дѣтей боярскихъ и подъ начальствомъ князя Михайлы Даниловича Щенятева — на другой же день!

Только посадникъ Игнатій Логгиновичъ не поѣхалъ въ Москву: его вынесли изъ гридни мертвымъ!

„И все то за наше прегрѣшеніе такъ Богъ повелѣлъ быть!“ — горестно восклицаетъ лѣтописецъ. — Зане же писано во Апокалипсисѣ глава 54: пять бо царей минуло, а шестой есть, но не у бѣ пришелъ; шестое бо царство именуется въ Русіи Скиѣскаго острова; сій бо именуется шестой, а

седмый потомъ еще, а осмый — антихристъ. Се бо Христось во святомъ Еуангеліи глагола: да не будетъ бѣжство ваше зимѣ, ни въ субботу. — Се убо пріиде на ны зима. Сему бо царству расширится и злодѣйству умножится. Охъ, увы!“ *).

ХІІ.

Невольные переселенцы.

28-го января 1510 года, по снѣжной дорогѣ, пролегающей отъ Пскова къ рѣкѣ Шелони, на разстояніи нѣсколькихъ верстъ, двигался безконечный обозъ. Сотни каретъ, крытыхъ возковъ и колымагъ, троечныя и парныя сани, огромныя розвальни, нагруженныя живностью, съѣстными припасами и разною провизіею, рѣчныя лодки, поставленныя на полозья и влекомыя цугомъ, на выносъ, по четыре, по шести и по восьми лошадей—все это безконечною змѣею извивалось между сугробами придорожнаго снѣга, между покрытыхъ инеемъ сосенъ и елей, и представляло собою печальную картину не то бѣгства изъ Египта, не то осколокъ великаго переселенія народовъ.

Нѣтъ, это было не бѣгство евреевъ изъ Египта и не переселеніе народовъ, а изгнаніе псковичей изъ ихъ родного города.

То тамъ, то здѣсь, раздавался плачь дѣтей или жалобныя причитанья женщинъ. Многія женщины постоянно оглядывались назадъ или стояли на саняхъ съ лицами, обращенными къ западу, въ надеждѣ хоть еще разъ увидѣть издали родныя колокольни или струйки бѣлаго дыма надъ покинутыми ими навѣки домами, гдѣ протекло ихъ дѣтство и молодость, — и горько, горько плакали.

Впереди безконечнаго обоза, по бокамъ его и сзади, ѣхали верхами московскіе ратники—дѣти боярскіе, конвоировавшіе обозъ переселенцевъ.

Около громоздкой кареты, запряженной осьмеркою цугомъ и слѣдовавшей во главѣ поѣзда, на прекрасномъ ворономъ конѣ ѣхалъ пожилой мужчина въ ратномъ богатомъ одѣяніи и по временамъ наклонялся къ открытому окну кареты, въ которое виднѣлись, въ глубинѣ кареты, заплаканныя лица женщинъ.

Воинъ этотъ былъ—князь Михайло Даниловичъ Щенятевъ, подъ главнымъ начальствомъ котораго совершалось переселеніе трехсотъ псковскихъ семействъ въ Москву.

— Не плачь, матушка Олѣна Митревна,—говорилъ князь, нагибаясь къ окну кареты:—Богъ милостивъ, все къ лучшему: пойманы есте Богомъ и великимъ государемъ не на лихо; милостивъ Богъ.

— Богъ-отъ милостивъ, княже, да государь не милостивъ,—съ горечью отвѣчали изъ кареты.

— И государь будетъ милостивъ, пожалуетъ васъ попригожаю. А

*) Псковск. лѣтоп., I, 282.

тебѣ, милая Офимьица, великій князь такого женишка на Москвѣ подыщетъ, какова у тебя и въ мысляхъ не было.

Евфимія еще пуще заплакала.

— Дитя по батюшкѣ убивается,—послышался изъ кареты голосъ старой мамки:—а онъ, на-поди, женихомъ ее утѣшаетъ.

— Что-жъ, и батюшка изъ Новагорода въ Москву прибудетъ, да они, я чаю, давно ужъ по дорогѣ къ матушкѣ Москвѣ,—какъ бы въ утѣшеніе несчастнымъ замѣтилъ князь.

Вдругъ ратники, ѣхавшіе верхами впереди обоза, остановили какія-то встрѣчныя санишки.

— Стой! Кто ѣдетъ?—спросилъ одинъ ратникъ.

— Мертвецъ!—отвѣчали изъ санишекъ.

И изъ саней вышелъ человекъ въ саванѣ. Испуганныя лошади ратниковъ шарахнулись въ сторону.

Человекъ въ саванѣ шелъ прямо къ каретѣ.

— А! Иванушка Божій человекъ!—воскликнулъ князь Щенятевъ.

— Здравствуй, фараонъ!—отвѣчалъ юродивый.

— Фараонъ!—улыбнулся князь:—что такъ? Откуда и куда путь держишь?

— Иду изъ полона египетскаго въ землю обѣтованную—къ себѣ домой.

— А гдѣ твой домъ, Иванушка?

— На кладбищѣ.

Юродивый подошелъ къ каретѣ. Оттуда выглядывали знакомыя ему лица.

— А! матушка, Алёна Митревна! И ты, голубица чистая, и Петрушенька, и мамушка, здравствуйте!—ласково заговорилъ юродивый.

— Здравствуй, родной!—отвѣчали ему.—Откуда?

— Изъ Новагорода — поклонъ привезъ вамъ всѣмъ отъ милостивца, отъ посадника Левонтія.

— Отъ батюшки!—воскликнула Евфимія.

— И отъ добра молодца Евстафія,—добавилъ юродивый.

— Что они? какъ?—спросила посадница-полонянка.

— Въ добромъ здоровьи. Вчера проводилъ ихъ въ плѣненіе египетское, къ фараонамъ.

— Такъ ужъ повезли на Москву?

— Повезли, матушка. А у васъ какъ?

— Какъ видишь, родной: вчера и нонѣ слезами, -кажись, рѣку Великую и Пскову дополнили.

— Такъ-то все у Бога: видимое дѣло, возлюбилъ насъ Господь, посѣтилъ.

— Да, точно, посѣтилъ—велика Его милость!

— Велика, истинно велика!—строго проговорилъ юродивый:—не смѣй роптать!—сказано: кого люблю, того и наказую. Слышишь?

— Слышу, родной, а все тяжело. Какая вина на дѣтяхъ нашихъ?

— И дѣтей возлюбилъ Господь: сихъ же есть царствіе Божіе... Такъ-то, голубица моя!—ласково обратился юродивый къ Офимьицѣ.

Та съ усиліемъ глотала слезы.

— А теперь ты куда же, родной?—спросила посадница Елена.

— Дальше — другимъ слезы утирать: вонъ сколько ихъ! — указалъ юродивый вдоль обоза:—всѣмъ надо поклоны передавать.

— А потомъ—съ нами?

— Во Египеть? Нѣтъ, матушка, мое мѣсто дома.

— Во Псковѣ?

— Да, на скудельницѣ великой, на кладбищѣ: буду стеречь гробы отцовъ и дѣдовъ вашихъ.

— Поклонись имъ отъ насъ—намъ и проститься съ ними не дали.

— Поклонюсь и помолюсь... А теперь—да хранить васъ Богъ.

И юродивый пошелъ далѣе вдоль обоза—„слезы утирать“. А впереди ратники весело пѣли:

„Ужъ я сѣяла, сѣяла ленъ,
„Ужъ я сѣяла, приговаривала,
„Чеботами приколачивала“...

Евфимія глядѣла изъ окна кареты на разстилавшуюся передъ нею снѣжную равнину, на эти посеребренные инеемъ стебли сухой травы, и грустно думала, что не видать уже ей родной зелени, когда, весной, она выглянетъ изъ-подъ снѣжнаго покрова, и родныя поля заестрѣютъ цвѣтами алыми и лазоревыми... Не завивать ужъ ей больше вѣнковъ, не ходить въ хоровахъ съ красными дѣвицами, не пускать вѣнки на рѣку Великую...

А впереди—непривѣтливое свинцовое небо и незнакомая чужая сторона...

К о н е ц ъ.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	СТР.
I. „Горе тебѣ Харазине!“	81
II. Гаданье	85
III. Тѣяъ Марѣы-посадницы	89
IV. „Похоронный колоколъ“	91
V. Иорданское дѣйство	94
VI. Арестованіе псковичей.	96
VII. „Холопи, холопи, холопи!“	98
VIII. „Батюшка и Псковъ“	101
IX. Снятіе вѣчевого колокола	105
X. Московская ловушка	109
XI. „Охъ, увы!“	112
XII. Невольные переселенцы	115

ТЫСЯЧА ЛѢТЪ НАЗАДЪ.

Историческіе силуэты.

I.

Перунъ сердится.

Воображеніе переноситъ насъ за тысячу лѣтъ назадъ—къ ранней веснѣ 882 года.

Многоводный Днѣпръ въ полномъ разливѣ. Мутныя воды его, затопивъ песчаные и каменистые берега, прибрежные камыши, кустарники и рощи, несутъ на себѣ все, что только удалось имъ сорвать и смыть съ пологихъ береговъ и кручъ,—и сухую траву, и цѣлые снопы прошлогоднихъ, пересохшихъ за лѣто и зиму камышей, и весь сушникъ береговыхъ рощей съ перегнившимъ мертвымъ листомъ. Черныя стрижи и ласточки, чубатая чайки и бѣлогрудыя мартышки звонко выкрикиваютъ въ утреннемъ воздухѣ, носясь надъ широкой водной равниной, вылавливая изъ воды и перехватывая на лету все, что есть живого и съѣдобнаго для голодной птицы.

Яркое утреннее солнце играетъ тысячами переливовъ на этой водной равнинѣ, брызгая повсюду бриліантами и изумрудомъ, золотя вершины горъ и полугорья, сыплетъ золотыми снопами сквозь вершины и прогалины темнаго бора, бросаетъ причудливыя тѣни отъ множества темныхъ и ярко разукрашенныхъ лодокъ, цѣлою флотиліею тихо двигающихся по этой водной шири, отъ ихъ тонкихъ мачтъ и работающихъ на веслахъ гребцовъ.

Что же это за ладьи, куда плывутъ онѣ и что за люди сидятъ въ нихъ—въ шеломахъ и кольчугахъ, съ копьями и мечами?

Днѣпръ привыкъ почти каждую весну видѣть эти ладьи и этихъ кольчужниковъ и копейщиковъ.

Это—варяги, съ новгородскими и другими сѣверно-русскими дружинами.

Первая ладья была особенно богато украшена. Носовая, далеко выдававшаяся впередъ часть ея изображала какое-то чудовище въ видѣ дракона съ разинутою пастью, а корма представляла чешуйчатую спираль огромнаго змѣинаго хвоста. Высокая деревянная настилка съ перилами надъ палу-

бой также изображала собой чешуйчатую спину чудовища, а весла, дружно опускаемые въ воду и также дружно вскидываемыя на воздухъ двѣнадцатью гребцами, напоминали собой растопыренныя крылья дракона.

На этой высокой настилкѣ виднѣлись двѣ человѣческія фигуры: пожилой мужчина въ богатой одеждѣ иноземнаго „гостя“ и мальчикъ лѣтъ пяти-шести—въ бѣлой атласной, шитой золотомъ и шелками, рубашкѣ съ прямымъ воротомъ, въ малиновыхъ широкихъ шароварцахъ, убранныхъ въ красныя сафьянныя сапожки. Русую курчавую головку мальчика прикрывала соболья шапочка съ малиновымъ верхомъ, а съ открытой бѣлой шейки спадала на грудь узорочно-сплетенная изъ тонко-кованныхъ нитей золотая „гривна“—ожерелье.

— А далече еще, дядя Олегушко, до Кіева? — спросилъ мальчикъ, прыгая по ковру чешуйчатой настилки и побрякивая золотой гривной.

— А не далече, Игорюшко княжичъ,—былъ отвѣтъ.

— А что мы тамъ дѣлать будемъ?

— Княжить да володѣть, князюшко.

— Какъ въ Новгородѣ?

— Какъ въ Новгородѣ, Игорюшко.

— И ты мнѣ подаришь тамъ коноя (коня)?

— Подарю печенѣжскаго скакуна.

Съ запада, между тѣмъ, надвигалась сизая туча, которая, точно живая, выползая изъ-за нагорья праваго берега, облежала собою все болѣе и болѣе яркую лазурь безоблачнаго неба.

Порывисто пробѣжалъ по Днѣпру шальной вѣтеръ, завизжавъ и заскрипѣвъ веревками снастей и иглоподобными мачтами ладей. Днѣпръ точно полинялъ отъ этого набѣжавшаго изъ-за горы вѣтра, а птицы безпокойно заматались въ воздухъ. Высоко гдѣ-то раздался одинокій крикъ ворона.

Сизая туча, постепенно измѣняясь въ цвѣтъ, разросталась все шире и шире, и ее, словно громадные клочья разодранной гигантской пелены съ сѣро-сизыми отливами, гнало уже черезъ все небо, съ котораго, казалось, невѣдомо куда сбѣжало солнце.

Вдругъ что-то яркое прорѣзало потемнѣвшія, словно бы косматыя массы клубящихся облаковъ и глухо загрохотало.

Юный Игорь испуганно бросился къ Олегу и прижался къ его колѣнямъ.

— Охъ, уйдемъ, уйдемъ! Боженька сердится.

— Ничего, князюшко, не бойся.

— Нѣтъ, я боюсь Перуна—ой!

Свинцовыя тучи, точно застывшія на моментъ, снова какъ бы разверзлись надъ флотиліей, и изъ багровой, мгновенно опять закрывшейся заоблачной пасти, вырвались огненные стрѣлы, и, ломаясь, скрещиваясь въ застывшемъ воздухѣ, съ страшнымъ трескомъ попадали въ Днѣпръ. Ударъ былъ такъ оглушительнъ, что даже невозмутимый Олегъ схватился за голову.

— Ой! ой! ой!—отчаянно закричалъ ребенокъ:—онъ убьетъ...

— Ино и вправду осерчалъ богъ,—согласился и Олегъ, торопливо вставая и уводя растерявшагося мальчика подъ „чердакъ“ ладьи, въ богато убранное коврами и болгарскою, тисненою золотомъ юфтью, помѣщеніе.

— Боженька! Перунушко! помилуй! не сердитуй!—лепеталъ мальчикъ:—я тебѣ барана заколю, корову, коня бѣлаго, пѣтуха...

II.

Перуново игрище.

Гроза также скоро улеглась, какъ и налетѣла. Солнце засіяло еще привѣтливѣе. Днѣпръ, оба его берега, зеленые взгорья и рощи—все освѣтилось какою-то радостью омытой, освѣженной грозой и ливнемъ природы, которая, какъ живое существо, вся заговорила тѣмъ чарующимъ языкомъ жизни, который можно только понимать и чувствовать сердцемъ, но не передавать словами.

Не доѣзжая нѣсколько до Кіева, флотилія остановилась и Олегъ, приказавъ дружинамъ на время укрыться съ своими ладьями въ ближайшемъ затонѣ, за зеленымъ боромъ, а затѣмъ, по данному сигналу, выйти на берегъ и незамѣтно обложить со всѣхъ сторонъ Кіевъ,—самъ, съ двумя наиболѣе богатыми и обширными ладьями и своими ближайшими и надежнѣйшими дружинниками, двинулся прямо къ городу.

Кіевъ скоро выглянулъ изъ-за зелени густого бора. Небольшой, но хорошо обстроенный городокъ красиво раскидывался по полугорью. Яркое солнце играло на гладкихъ дощатыхъ крышахъ и на узорной рѣзбѣ коньковъ и карнизовъ. Плотный частоколъ и земляной валъ охватывали городъ со всѣхъ сторонъ, а изъ-за нихъ красиво выглядывали отдѣльныя клѣти и подклѣти богатыхъ полянъ со скворешнями и голубятнями. Надъ главными изворотами частокола высились островерхія деревянные „вѣжи“—башни съ прозорами и отверстіями для бойницъ.

Отъ города по водѣ доносилось монотонное, протяжное пѣніе. По мѣрѣ приближенія олеговыхъ ладей, пѣніе становилось явственнѣе: рѣзко, по временамъ, оглашали воздухъ стройные хоры мужскихъ голосовъ, а за ними чередовались женскіе и дѣтскіе.

Это была хороводная мелодія — мелодія обрядовая, игрищная. Кіяне творили игрище на берегу Днѣпра, у воды, недалеко отъ Перуна, въ то время, какъ выше, на холмѣ крутого спуска, гдѣ высился и угрюмо вырисовывался на синевѣ неба чудовищный, безобразный истуканъ этого самаго Перуна-бога, горѣвшаго на солнцѣ золотыми и серебряными частями своей массивной фигуры,—жрецы-кудесники въ бѣлыхъ одеждахъ и съ бѣлыми бородами приносили своему полудеревянному, полуметаллическому богу кровавыя жертвы за то, что пронесшійся сейчасъ надъ Кіевомъ свирѣпымъ ураганомъ и грозой разгнѣванный стихійный богъ не поразилъ

трепетавшій отъ страха городъ ни одною изъ своихъ огненныхъ стрѣлъ, а послалъ ихъ за Дяблръ, на голову хищнымъ печенѣгамъ.

Картина народнаго игрища и жертвоприношеній кровожадному богу поражала и слухъ, и зрѣніе. На головахъ молодыхъ вѣянокъ пестрѣло цѣлое поле цвѣтовъ, особенно васильковъ и маку, барвинковъ и руты съ любисткомъ, между тѣмъ какъ молодыя, здоровыя тѣла ихъ едва прикрыты были короткими, изукрашенными разными цвѣтными узорами „срачицами“ — сорочками, или обмотаны вокругъ стана и бедръ лоскутами грубыхъ цвѣтныхъ тканей. На парняхъ костюмы были не менѣе дѣвственны — едва сметанные грубыми нитками льняныя и посконныя полотнища, которыя и назывались „портами“.

Слышалось мрачное пѣніе жрецовъ-кудесниковъ:

Ой, кровушки, кровушки наточимъ,
Ой, Перуна боженьку напоимъ, напоимъ!
Сла-ава! сла-ава!

А съ берега доносились другія, ласкающія слухъ мелодіи. Хоръ дѣвицъ пѣлъ:

Ой, весна красна, что намъ принесла?
Ой, принесла тепло и красное лѣтничко:
Малымъ ребяткамъ — ладушки бити,
Старымъ старикамъ — раду радити,
А мужамъ мужатымъ — поле орати,
А молодушкамъ — краснеца ткати,
А намъ краснымъ дѣвицамъ да поиграти.
Ой, Дунай — Дунай!

Юный Игорьъ, забывъ свой недавній страхъ, стоялъ на чешуйчатомъ возвышеніи своей ладьи и радостно плескалъ рученками.

— Дядюшка! Олегушко! пусти меня на игрище, — умолялъ онъ своего опекуна.

— Нѣтъ, князюшка, тебѣ не подобаетъ играть со смердыми дѣтьми: ты, Игорюшко, великій князь земли русской, — отвѣчалъ Олегъ, лаская мальчика.

— Я не хочу княземъ быть не буду.

— Ты ужъ и такъ великій князь.

— А ты кто?

— И я князь — сижу на „столѣ“ (престолѣ) въ Новгородѣ.

— А я на какомъ столѣ буду сидѣть?

— На кievскомъ и всея Руси.

— Ахъ, дядя, я не хочу.

— Почто, князюшко? — улыбнулся Олегъ.

— Скучно на столѣ все сидѣть... Я играть хочу на игрищѣ.

Въ это время великокняжеская ладья, поровнявшись съ кievской пристанью, бросила якорь у отмели, въ значительномъ разстояніи отъ берега, а меньшую ладью Олегъ тотчасъ отправилъ съ своими дружинниками и

„отроками“ къ берегу на пристань, чтобы они шли въ городъ и просили ихъ милости—Аскольда и Дира пожаловать къ нему въ ладью: прѣхали-де изъ Новгорода „гости“ съ поклономъ отъ великаго князя Олега и съ дорогими заморскими подарками—какіе-де подарки угодно будетъ ихъ милостямъ выбрать.

III.

Убіеніе Аскольда и Дира.

Скоро окруженные своими дружинниками и дружинниками Олега съ отроками, Аскольдъ и Диръ, на богато убранныхъ коняхъ приблизились къ берегу. Сошедши съ коней, они вошли въ ожидавшую ихъ ладью, а дружинникамъ своимъ велѣли дожидаться ихъ возвращенія на берегу.

Неустрашимые варяги, которые незадолго передъ этимъ навели ужасъ на Царьградъ, запрудивъ живописный Босфоръ сотнями своихъ ладей и угрожая взять на копье и на разграбленіе славную Византію, довѣрчиво вступили въ ладью, не подозрѣвая, что это была для нихъ роковая ладья Харона *).

На палубѣ великокняжеской ладьи ихъ встрѣтили ближайшіе дружинники Олега и провели съ почетомъ въ то крытое и изукрашенное дорогими коврами и золототисненою юфтью помѣщеніе, гдѣ находился Олегъ съ маленькимъ Игоремъ. Послѣдній не по-дѣтски чинно возсѣдалъ на великокняжескомъ „столѣ“—на украшенномъ кованымъ золотомъ и золотыми кистями возвышеніи, а на груди ребенка висѣла золотая великокняжеская гривна. Самъ Олегъ сидѣлъ рядомъ съ нимъ, но на болѣе низкомъ сидѣньѣ.

Увидавъ, вмѣсто „гостя“, Олега, Аскольдъ и Диръ остановились въ глубокомъ смущеніи.

— Добро пожаловать, господо!—не то ласково, не то язвительно проговорилъ „вѣщій“ Олегъ.

— Челомъ бьемъ господину великому князю,—отвѣчали пришедшіе, низко кланаясь.

— Челомъ, а не Кіевомъ и всею кіевскою землею?—спросилъ Олегъ. Пришедшіе не знали, что отвѣчать.

— Токмо челомъ бьете, а не Кіевомъ?—переспросилъ Олегъ.

Тѣ въ недоумѣніи молчали.

— Кому вы челомъ бьете?—снова спросилъ „вѣщій“.

— Тебѣ, господине княже.

— Не мнѣ, а вонъ кому добейте челомъ.

*) Язычники-греки называли Харономъ старика, будто бы перевозившаго души умершихъ грѣшниковъ въ адъ, черезъ рѣки Стиксъ и Ахеронъ.

И онъ указалъ на Игоря, который съ любопытствомъ осматривалъ пришедшихъ и болталъ ногами.

Аскольдъ и Диръ поклонились.

— Кіевомъ бьете челомъ своему господину и великому князю?—допытывался Олегъ.

— Кіевомъ, господине княже.

— А ноли (развѣ) онъ вашъ?—уже болѣе суровымъ голосомъ спросилъ Олегъ.

Смущенные Аскольдъ и Диръ молчали. Юный Игорь, соскучившись сидѣть чинно на престолѣ, взобрался на него совсѣмъ съ ногами. Въ рѣзное оконце онъ слѣдилъ, какъ большая бѣлогрудая птица стремглавъ опустилась на воду, схватила лапами и клювомъ большую рыбу и поднялась съ нею на воздухъ.

— Ахъ! унесла рыбку!

— Я,—продолжалъ, между тѣмъ, Олегъ:—отпустилъ васъ изъ Новгорода съ дружиною на море—промышлять надъ чужими городами, а вы, съ соромомъ ушедъ изъ-подъ Царя-града, стали промышлять надъ русскими городами, и то вамъ вина. Ночто вы своею волею Кіевомъ володѣете?

— Мы его добыли копьемъ,—гордо отвѣчалъ Аскольдъ.

— Мы ради кіевской земли утерли не мало пота,—добавилъ Диръ. Олегъ быстро выпрямился.

— Утерли пота! А почто вы на столъ кіевскій сѣли?

Голосъ его звучалъ, словно металлическій. Голубые, холодные, какъ сталь, глаза злобѣще сверкнули.

— Вы не князи, ни княжа рода... Вотъ вашъ князь!

И онъ снова указалъ на Игоря, безпечно игравшаго гривной.

— Колите ихъ!

Въ тотъ же моментъ, стоявшіе позади Аскольда и Диры дружинники Олега пронзили ихъ мечами, не давъ имъ времени опомниться, даже вскрикнуть.

Съ глухимъ стономъ и хрипѣньемъ трупы несчастныхъ какъ снопы повалились на полъ, громяхая оружіемъ, которое было уже бесполезно для нихъ.

— Ой!-ой! не бейте ихъ! не бейте!—съ ужасомъ закричалъ маленькій Игорь и закрылъ лицо руками.

Въ такой кровавой школѣ учился править русскою землею будущій великій князь кіевскій и всея Руси—гроза Византіи и жертва мщенія полудикихъ древлянъ.

А съ берега все еще доносилось мрачное пѣніе:

Ой, кровушки-кровушки наточимъ!

Ой, Перуна боженьку напоимъ-напоимъ!

Сла-а-а-ва!

Таково было то кровавое время, и кровожадныхъ людей воспитывало оно...

IV.

Не сбывшееся предсказаніе.

Но вотъ великокняжеская ладья у берега. Ее вытаскиваютъ изъ воды и съ торжествомъ несутъ въ городъ на могучихъ плечахъ варяговъ и новгородцевъ. Плавню двигается въ воздухъ ужасное чудовище, колыхаясь изъ стороны въ сторону. Его окружаетъ сомкнутая цѣпь дружинниковъ и отроковъ съ мечами на голо. За ладьей ведутъ коней Аскольда и Дира.

Весь Кіевъ высыпалъ на берегъ встрѣчать невиданное шествіе.

— Гдѣ же наши князи?—спрашиваютъ иные.

— Отчего они не на коняхъ?

— А они тамъ, въ ладьѣ—въ той золотой палаткѣ.

— Это имъ честь воздаютъ новгородскіе гости.

— А какая ладья!—страшилище!

— Это не ладья, а змѣй-горынище.

Но вотъ ладья и въ городѣ уже, на площади, на томъ возвышеніи, откуда глядитъ на Днѣпръ и на далекое заднѣпровье мрачный истуканъ Перуна.

Ладью ставятъ на землю у ногъ Перуна, жрецы-кудесники окружаютъ ее и, поднимая къ небу руки, торжественно величаютъ:

Слава богу Перуну на небѣ—сла-а-ава!

Слава нашимъ князьямъ Аскольду и Диру на землѣ—

Сла-а-ава!

Вдругъ на ладьѣ, у той палатки, внутри которой кіяне думали увидѣть своихъ князей, распаиваются на обѣ стороны полы, и глазамъ жрецовъ-кудесниковъ представилось ужасное зрѣлище.

Въ палаткѣ, съ роскошнаго возвышенія глядитъ блѣдное, испуганное личико прелестнаго ребенка съ золотою гривною на груди, а въ ногахъ его, у ступеней трона плаваютъ въ крови два трупа!

Съ ужасомъ жрецы узнаютъ, что это князья ихъ Аскольдъ и Диръ!

А рядомъ съ прелестнымъ мальчикомъ стоитъ Олегъ въ княжескомъ одѣянніи.

Онъ беретъ мальчика за руку и, подведя къ краю ладьи, торжественно говоритъ:

— Се князь вашъ—великій князь Игорь Рюриковичъ!

А потомъ, обратясь къ воинамъ и указывая на трупы Аскольда и Дира, говоритъ:

— Унесите ихъ и похороните съ честію.

Въ этотъ моментъ, въ толпѣ собравшихся на невиданное зрѣлище кіяне раздались испуганные крики:

— Батюшки! въ городѣ варяги и новгородцы!

— Городъ взятъ! Стѣны заняты! Горе! горе!...

.

Кіевъ, дѣйствительно, во власти Олега.

— Отнынѣ Кіевъ будетъ матерью городовъ русскихъ,—говоритъ онъ, кланаясь Перуну,

Опять льется кровь во славу этого кровожаднаго бога—это уже Олегъ умилоствуетъ его кровью.

А жрецы-кудесники опять тянутъ свою кровавую литію:

Ой, мы кровушки наточили-наточили,
Ой, мы Перуна боженьку напоили-напоили!
Сла-а-ава!

Вездѣ только кровь, кровь и кровь...

И вотъ съ тѣхъ поръ тысячу лѣтъ стоитъ Кіевъ. Кого и чего не видалъ онъ въ своихъ стѣнахъ! Сколькихъ историческихъ интересныхъ, кровавыхъ и славныхъ событій былъ онъ свидѣтелемъ!

Онъ видѣлъ, какъ этого самаго бога Перуна, сверженнаго съ холма и привязаннаго къ лошадиному хвосту, били тѣ самые, которые недавно молились ему.

Онъ видѣлъ крещеніе Руси. Онъ пережилъ Батю, разрушившаго его до основанія. Онъ видѣлъ славу Хмельницкаго и его паденіе. Онъ видѣлъ въ своихъ стѣнахъ славное запорожское войско, гетмановъ—и самъ пережилъ свою славу.

Но сталъ ли онъ „матерью городовъ русскихъ?“

Нѣтъ. Онъ сталъ простымъ губернскимъ городомъ...

К о н е ц ъ.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	СТР.
I. Перунъ средится.	119
II. Перуново игрище.	121
III. Убіеніе Аскольда и Дира	123
IV. Не сбывшееся предсказаніе	125

СОДЕРЖАНІЕ ХLІ ТОМА.

- I. „Мамаево побоище“, истор. пов. 3— 79
- II. „Поиманы есте Богомъ и великимъ государемъ!..“
истор. фрескъ 81—117
- III. „Тысяча лѣтъ назадъ“, ист. силуэты 119—126



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

ЛЖЕДИМИТРІЙ

Историческій романъ изъ смутнаго времени.

Томъ XLII.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. О. Мертца.
1902.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 25 сентября 1902 года.

Типографія „В. С. Балашевъ и Ко“. Спб. Фонтака, 95.

I.

Гришна Отрепьевъ на Дону.

Тихая, теплая весенняя ночь окутываетъ обрывистый берегъ Дона и далекое, ровное Задонье. словно бессонныя очи, смотрять съ темнаго неба группы созвѣздій—Кассіопея, Возница—съ яркоглазою Капеллою, съ трепетно блестящимъ Альдебараномъ и Плеядами, отражаясь въ темномъ зеркалѣ спящаго „тихаго Дона Ивановича“. Спитъ и желтопесчаная отмель-коса, недавно вынырнувшая изъ-подъ вешняго разлива водъ и просохшая подъ жаркими лучами неугомоннаго южнаго солнца.

Тихо, беззвучно кругомъ. Лишь иногда, какъ бы сквозь сонъ, жалобно пропищитъ береговой куличекъ, оберегая, какъ зеницу ока, свое песчаное гнѣздышко съ пестрыми крохотными яичками—будущими дѣтками своими, куличатками.

— Славенъ городъ Черкасской! Слушай! — раздается гдѣ-то въ этой сонной тиши звонкій голосъ, невѣдомо кому принадлежащій.

— Славенъ городъ Асавулгородъ!—отвѣчаетъ на этотъ голосъ другой возгласъ гдѣ-то въ сторонѣ.

— Славенъ городъ Раздоры!—вторитъ третій голосъ.

— Славенъ городъ Рай-Айдаргородъ!—едва слышно доносится откуда-то еще одинъ голосъ.

И снова тихо, сонно... Что это за голоса, въ ночной тиши славящіе Черкасскъ, Асавулъ-городъ, Раздоры, Рай-Айдаръ-городъ? И кто оспариваетъ славу этихъ городовъ?—Ночь не отвѣчаетъ... А бессонныя очи-звѣзды мерцаютъ попрежнему. Попрежнему куличекъ отъ времени до времени пропискиваетъ спросонья свою маленькую жалобу—онъ и во снѣ, бѣдненькій, видитъ своихъ враговъ лютыхъ, воронъ да коршуновъ, что ищутъ похитить и расклевать его сокровище, крохотныя яичушки.

Медленно двигаются бессонныя очи-звѣзды по темному небу. Медленно идетъ ночь задумчивая. Медленно катится „тихій сонный Донъ Ивановичъ“...

— Ночь-то какая благодатная, Господи Боже! Очи твои всевидящія, сый Вседержителю, съ умиленіемъ и любовію взираютъ на сіе дѣло рукъ Твоихъ, Боже Всесильный... Да, давно я такихъ ночей не видывалъ, когда внимая дыханію Бога въ семъ тихомъ плесканіи воды, въ семъ благомъ вѣяніи духа Божія надъ землею — плакать хочется слезою молитвенною.

— Такъ-такъ, чоловіче Божій: се така нічъ, що заразъ дівчина чернобрива згадується, якъ ото вона виходить до тебе у вишневый садочекъ, ниженъки свої тобі у шапку ховає, а само, мале, до тебе, козака, тулиться — пригортається, мовъ та хмелиночка до явора... такъ-такъ... А хиба у васъ у Москви не такі ночі?

— Нѣтъ, не такія. Холодно тамъ у насъ, хмуро, зябели ночныя — нерадостно.

— Такъ-такъ... У Москви, кажуть, и солнце холодне и небо понуре... А довго-жъ таки, чоловіче Божій, ты бувъ у того патріарха, у Іова?

— Долго-таки. Возлюбилъ я книжное дѣло паче всего міра — прилѣпилось къ нему сердце мое, аки къ служенію самому Господу. А меня за сіе книгочіе веліе въ чернокнижіи оговорили.

— Ахъ вони гаспидови дити!

Темными пятнами вырисовываются въ темени ночи двѣ конныя фигуры. Это они разговариваютъ. Слышится мѣрное туканье копытъ о сухую землю.

— Ото дурный москаль! Самъ бачъ собі царемъ татарина обравъ... Отъ дурный.

— А то дурно отъ дьявола — Божіимъ попущеніемъ.

— Та воно не безъ того... Заливъ вамъ чертяка сала за шкуру

— Богъ милостивъ — раздѣлаемся съ Борисомъ, лишь бы донскіе казаки нашу сторону взяли.

— Возьмутъ! Подончики возьмутъ. Вони хочъ за чорто такъ встануть, абы москаливъ пошарпати.

— Дай Богъ.

Въ ночномъ воздухѣ опять пронесся окрикъ:

— Славенъ городъ Черкасской! Слушай!

— Славенъ городъ Асавулгородъ!

Всадники остановились какъ вкопанные. Одинъ изъ нихъ перекрестился. Оклики продолжались.

— Та се-жъ вони, подончики... тутъ у ихъ, мабудъ, становище, — шопотомъ замѣчаетъ одинъ всадникъ.

— А почто они оклики дѣлають?

— Та, мабудъ, орды ждуть.

— А какъ они по насъ стрѣлятъ учнутъ?

— Ни, мы свиту дождемось, та тоди й у становище заявимось. А теперъ коней сховаємо тутъ, та сами тихесенько, крадькома, по-пидъ кручею долиземо до становища, то може й пизнаємо, якого се отамана станъ — чи Корелы, чи Нижака, чи може Заруцького... Щось у Корелы съ Заруцькимъ замутилось, то коли-бъ насъ якій бисъ кіями не нагодувавъ.

И они своротили коней въ боярышникъ, колючіе кусты котораго мѣстами устилали холмистое побережье Дона. Немного погода, они вышли изъ кустовъ и, прикрываемые береговою кручею, стали прокрадываться къ тому мѣсту, откуда доносились оклики часовыхъ.

Снова мертвая тишина. Слышенъ только шопоть Дона — это вода за-

дѣваетъ прибрежные камни и словно шепчется съ ними. Шопотъ этотъ думы наводитъ и страхъ — это темная, нѣмая вода говорить, это ея непонятный лепетъ. А темныя тѣни невѣдомыхъ путниковъ все двигаются вдоль кручи. Иногда звякнетъ оружіе и замираетъ тутъ-же...

„Ги-ги-ги-ги! го-го-го-го!“ — слышится чей-то крикъ изъ-за Дона, изъ лѣсу.

— Эчъ бисова сова гогоче!

Въ это мгновеніе что-то зашуршало впереди, словно шаги чужаки. Путники припали къ кручѣ, ждутъ... Восточная окраина неба начинаетъ свѣтлѣть.

Впереди, у берега, очерчивается фигура женщины, опирающейся на клюку. Она что-то шепчетъ. По всему очертанію фигуры видно, что это старуха. Она приближается къ самой рѣкѣ, зачерпываетъ въ ладони воды, дуеетъ на нее крестообразно и выплескиваетъ въ Донъ. Зачерпываетъ во второй разъ и дѣлаетъ то же. Въ третій разъ — опять то же.

— Ухъ-ухъ! водяной духъ-духъ! Я те спеленала — крестомъ знаменала, — глухо шамкаетъ старуха.

Потомъ, обращаясь на всѣ четыре стороны и какъ бы маня кого-то, она продолжаетъ:

— Бѣсы полуденны, бѣсы полуночны, бѣсы утренни, послушайте слова Божія.

Она снимаетъ что-то съ шеи, и, нагнувшись къ водѣ, водить по ней тѣмъ, что сняла съ шеи. Путники невольно крестятся.

Наконецъ, старуха поднимается и, вытянувъ впередъ руки, тихо, но внятно причитаетъ:

— Донъ ты батюшка! тихій Донъ Ивановичъ! что течешь ты съ заката солнышка ко полудню, ко полуднему граду Ерусалиму, что бѣгутъ твои воды со горъ горнихъ, со холмовъ холмленныхъ, со тѣхъ ли суходоливъ, круты бережечки омываячи, древесные и травесные коренья ломаючи... Ухъ-ухъ, водяной духъ-духъ!.. Омой ты, батюшка, омой ты, Донъ Ивановичъ, донское войско хороброе, оторви ты отъ рабовъ Божіихъ, казачушекъ, ото всего войска хоробраго, оторви всяки болѣсти-хворости отъ головушекъ буйныхъ, отъ очушекъ ясныхъ, отъ плечей могутныхъ, ото всей кровушки казацкіе. Во тебя ли, Донъ Ивановичъ, я, раба Божія, святой крестъ мокала, молитвы читала, бѣсовъ изгоняла... Чуръ-чуръ-чуръ, вы, бѣсы-дьяволы лукавые, земляные и водяные, вѣтровые и вихровые, подуманные и погаданные, посланные и насланные, съ водою выпитые, съ ѣдою съѣденные! Идите вы, бѣсы, съ тихова Дону, идите въ поле невѣдомо, гдѣ птицы не поютъ и звѣри не воютъ, гдѣ кони не ржутъ — собаки не лаютъ, гдѣ кошка не мяучитъ, пѣтухъ не поетъ и голосу человѣческаго слыхомъ не слыхано...

Востокъ все болѣе и болѣе брежжеться. Предметы становятся явственнѣе. Предразсвѣтный вѣтерокъ шевелитъ сѣдыми космами волосъ, выбившимися изъ-подъ колпака старухи, который въ видѣ чулка свѣсилъ на сторону.

— Дитятко мое... сыночекъ мой рожонъ... не наглядѣлся на тебя глазыньки мои старыя, не насытилася тобою душа моя матерняя, дитятко мое, атаманушка... А давно ли, кажись, я тебя на рученькахъ носила, въ зыбочкѣ качала, пѣсни казацкія надъ тобой пѣвала?... Опять уходишь ты отъ меня—ведешь свое войско хоробрее... О-о-хо-хо! горюшко мое горячее, житье мое плакучее...

— Се мати Заруцького,—шепчетъ одинъ изъ путниковъ.

— Такъ надо полагать, самъ Заруцкій въ станѣ,—шепчетъ другой.

— Та вже, мабуть, самъ.

Старуха скрывается за пригоркомъ.

— Отъ баба такъ баба! Усихъ чортивъ перелякала. У матушку й сынокъ вдався.

— А что—молодецъ?

— А то-жъ! Такій головосика, що чертови й хвистъ одруба. А изъ себе мовъ дивчина гарный.

— А Корела?

— Овва! се таке маленьке, пыкاته та кирпате, та усе подряпане й порубане, а якъ на коневѣ—то й чортови тертого хрину пиднесе.

— А намъ не лучше ли до коней воротиться?

— Та й вернемось... не забаромъ и весь станъ прокинеться.

И они тихо поползли къ своимъ конямъ. Утро наступало быстро. Стрижи уже вылетали изъ своихъ маленькихъ норъ, черняющихъ въ кручѣ, словно пули изъ дулъ и съ пискомъ спѣшили на работу—ловить мухъ, мошекъ и всякую иную мелюзгу, для которой и крохотный стрижь представляется страшнымъ чудовищемъ. Вылетало и выползало на работу все живое—летучее, ползучее, красивое и некрасивое... Заговорили кусты, трава, небо, Донъ...

Очерчивалась задонская даль, ровная, мѣстами всхолмленная, окаймленная песчаными буграми. Темная поверхность Дона синѣла все больше и больше. Влѣво выдвигались мѣловыя горы, вскрапленные темными пятнами, и вершины ихъ уже золотились словно маковки церквей. Не заставилъ себя ждать и великій художникъ-чародѣй, солнышко: золотая кисть его скользила по вершинамъ горъ, по верхушкамъ деревьевъ, по распущеннымъ крыльямъ мартина бѣлобрюхаго, тоже вылетѣвшаго на работу—и все оживало и преобразовывалось подъ этой магической кистью... И откуда взялись эти краски, тѣни, красивые изломы линій, живописныя очертанія? Кто разомъ просыпалъ на землю, на лѣса, на воды эти миллионы звуковъ, эту нестройную, но глубоко чарующую разноголосицу жизни, счастья, страданій?

— Тю-тю, москалю! Отъ удравъ! ха-ха-ха!

— Ты что смѣешься?

— Та якъ-же-жъ не сміятися? Отъ москаль! Мовъ квочка на яйцяхъ, такъ винъ на коневѣ сидить.

— Ничего, я не ратный человекъ.

— Не ратный! Отъ дурна Москва! Та козакѣ-жѣ сміятимуться съ тебе...

— Ничего, сойдегь.

— Овва! яки тамъ ничаво? Отъ лубьяный языкъ—ничаво та ничаво! Не диво, що у васъ и царь татарюга.

Это были ночные путники. Первый изъ нихъ красиво, молодцовато сидѣлъ на ворономъ конѣ, поглядывая черезъ плечо на товарища. Высокая мѣховая шапка заломилась на бокъ. Красная верхушка ея горѣла точно макъ. Изъ-подъ шапки, словно грива, свѣшивался черный чубъ, перекинутый за ухо. Смоляные усы висѣли кнззу. Изъ-за цвѣтной, расшитой яркими шнурами навидки торчали громадные пистолеты, длинные ножи. Широкія плечи перекрепчивались ремнями, на которыхъ болтался цѣлый арсеналь всякаго оружія. Длинное ратище у самаго копья перевито красною лентою „изъ дивочои косы—на не забудь“. Голубые, широкіе китайчатые шаровары попачканы дегтемъ и прожжены порохомъ... А лицо доброе, открытое, съ веселыми сѣрыми глазами и тонкими какъ шнурокъ бровями... Улыбка дѣтская...

— И таки у васъ вси москали погани та мишкувати?—добродушно допрашиваетъ онъ товарища.

А товарищъ дѣйствительно не особенно ловокъ. Несмотря на богатое польское одѣяніе, онъ смотритъ какимъ-то причетникомъ на конѣ. Длинные руки и длинные ноги какъ-то не прилажены. Посадка неуклюжая—вся фигура какая-то сгорбленная. Но лицо умное, задумчивое, сосредоточенное. Черные глаза не скользятъ, не смѣются, какъ глаза перваго всадника, а смотрять глубоко. Лицо моложавое, но не въ мѣру серьезное.

— И царевичъ у васъ такій же—не вміе издѣть верхи?

— Нѣтъ, царевичъ на конѣ, аки орелъ,—отвѣчаетъ допрашиваемый.

— Ну, якій тамъ орелъ.

Казацкій станъ уже близко. Ржаніе лошадей невообразимое. Слышенъ брызгъ и лязгъ оружія, возгласы, перебранка, смѣхъ. Вozy съ поднятыми вверху оглоблями сбиты въ кучу. Тамъ и сямъ торчатъ казацкія пики, воткнутыя въ землю. У однихъ древки красныя, у другихъ синія. Однѣ лошади бѣгутъ къ Дону, на водопой, другія скачутъ въ гору. То тамъ, то здѣсь взовьется въ воздухѣ арканъ. Захлестнутый арканомъ дикій конь вскидывается на дыбы и снова падаетъ. Крохотные казачата, босикомъ, безъ шапокъ бѣшено кружатся на неосѣдланныхъ коняхъ. Иной мчится, стоя на спинѣ лошади и дико гикая. Другой скачетъ лежа, головой къ хвосту коня...

— Отъ бисова дитвора—яка-жѣ-то прудка!—одобрительно восклицаетъ запорожець, одинъ изъ ночныхъ путниковъ: — и не чортовы-жѣ дити! Отъ дити!

А тамъ сѣдой, какъ лунь, старикъ, на такомъ же сивомъ, какъ самъ, конѣ, бѣшено мчится за черномазымъ, крохотнымъ казаченкомъ, который, гикая и звонко смѣясь, далеко обогналъ старика. Запорожець даже объ полы руками ударился.

— Отъ чортиня! Се бачъ воно свого дидо перегнало, а, мабуть, тилько вчора одъ материной цыцьки видняли.

— Не дѣда, а прадѣда, поди,—замѣчаетъ неуклюжій товарищъ.

Кое-гдѣ виднѣются женщины съ дѣтьми на рукахъ. Другія крошки цѣпляются за подола матерей. Это казачки со своимъ приплодомъ—будущими головорѣзами—пришли провѣдать кто мужа, кто брата, кто батю, кто дѣда. Мѣстами вьется дымокъ—казачки кашу варятъ своимъ соколкамъ ненагляднымъ.

Чѣмъ ближе, тѣмъ гвалтъ неизобразимѣе. Въ самой гущинѣ спящаго и гудущаго на всѣ лады и на всѣ голоса человѣческіе и нечеловѣческіе табора казацкаго, на высокихъ дѣревкахъ, вѣютъ значки и знамена—то чорный осьмиконечный крестъ на красномъ полотнѣ съ кистями, то бѣлый крестище на черномъ полѣ, то конскіе хвосты словно змѣи извиваются надъ всѣмъ этимъ и отдають чѣмъ-то дикимъ, угрожающимъ.

Ночные путники замѣчены. Въ таборѣ какъ бы все притихаетъ. На пикѣ поднимается шапка и снова спускается. Въ свою очередь, одинъ изъ ночныхъ путниковъ, одѣтый по-запорожски, выкидываетъ на концѣ своего длиннаго ратища бѣлый пукъ ковыль-травы.

Изъ табора выскакивають два верховыхъ казака и несутся къ путникамъ. Одинъ изъ нихъ, старшій, съ посѣдѣлою бородою, осаживаетъ коня на всемъ скаку, бросаетъ въ воздухъ яйцо и стрѣляетъ въ него изъ пистолета. Яйцо разлетается вдребезги.

— Пугу! пугу!—глухо стонетъ онъ филиномъ.

— Казакъ съ лугу!—громко отвѣчаетъ запорожець.

— Съ чѣмъ?

— Съ листомъ одъ коша. Пугу-пугу!

— Добрѣ. Скатертью дорога къ нашему кругу.

Путники и казаки сблизились. Младшій, длинноусый казакъ съ русою курчавою бородою и курчавою головою, съ удивленіемъ смотритъ на путника въ польскомъ одѣяніи. У того тоже на лицѣ изумленіе и радость.

— Юша! ты ли это?—говоритъ первый взволнованнымъ голосомъ.

— Я, Треня.

— Какими путями къ намъ на тихій Донъ попалъ?

— Божьимъ изволеніемъ.

— А твоя ряса мнишеская?

— У Господа въ закладѣ.

— Кто-жъ ты нынѣ—польскій панъ?

— Милостію Всемогущаго Бога посоль государя царевича и великаго князя Дмитрія Іоанновича всея Русіи.

Треня даже на сѣдлѣ покачнулся.

— Такъ живъ царевичъ?

— Живъ и здравствуетъ.

— Гдѣ же онъ?

— Въ благополучномъ мѣстѣ.

— Господи! слухомъ не слыхано, видомъ не видано... Какъ же тебя зовутъ нынѣ, по изочеству величаютъ?

— Былъ я Юшка, Юрій, Богдановъ сынъ, Отрепьевъ, когда съ тобой въ бабки игрывалъ и четью-пѣтью церковному учился. Послѣ сталъ черноризцемъ-мнихомъ, изъ Юшки-Георгія возродился во ангельскій чинъ, въ старца Гришку Отрепьева, а нынѣ паки Юшкою сталъ, посломъ государя царевича къ славному войску донскому.

— Ахъ, Юша, Юша! А мнѣ все думалось, что ты тамъ въ своемъ Чудовѣ, въ келейкѣ своей, все сидишь надъ Меѳодіемъ Патарійскимъ да надъ Даніиломъ Заточникомъ—сидишь, аки пчела любодѣльна.

Голосъ его дрожалъ слезами. Задумчивые глаза Отрепьева тоже искрились влагою и теплотою.

Старые друзья обнялись.

— Вотъ други-пріатели сыскались,—замѣтилъ старый казакъ.

— Гай-гай! Москали якъ раки въ торби—заразъ перешепчутся,—подмигнулъ запорожецъ.

— Съ Богомъ! на майданъ — во казацкій кругъ, — громко сказалъ старшій казакъ.

— Эчъ, цилуются мовъ дивчата—ото вже чудна московська вира... Скоро всѣ четверо скрылись въ таборной толпѣ.

II.

Явленіе Димитрія.

Что за жизнь-раздольице на тихомъ Донѣ! Что за волюшка-слабодушка въ казацкихъ юртахъ, на станичныхъ лугахъ, на донецкихъ степяхъ! Разливался—расплескался Донъ Ивановичъ со полуночной страны, къ полуденной, заливалъ онъ, затоплялъ онъ, Донъ Ивановичъ, круты красны берега и зеленые луга, поразмыль онъ, поразметывалъ рудожелтые пески. День и ночь идетъ Донъ Ивановичъ—не умается, со станицами витеется, со станицами прощается: что привѣтъ тебѣ, станица Казанская, что поклонъ тебѣ, станица Хоперская, отъ Хоперской поклонъ Усть-Медвѣдицкой, отъ Медвѣдицкой привѣтъ станицѣ Качалинской, отъ Качалинской Трехъ-Островинской, а отъ той идетъ до Распопинской, и поклонъ несетъ Нижнечировской съ Курмояровской, съ Пяти-Избинской, а земной поклонъ всего войска донска славному городу Черкасскому!

Не бѣдно живетъ тихій Донъ Ивановичъ. Вдоволь у него и лѣсу дремучаго, и звѣря прыскачаго, и птицы летучія, и рыбы пловучія. Вдоволь у него и травушки-муравушки добрымъ конямъ на потравушку. Оттого и идутъ на Донъ, какъ пчелы на цвѣтущую липу, и холопъ кабальный, и бояринъ опальный, купецъ проторговавшійся и подъячій проворовавшійся, и конюхъ царскій, и сынъ боярскій—всѣхъ принимаетъ тихій Донъ Ивановичъ, всѣхъ принимаетъ, никого не обижаетъ. Станицы растутъ, какъ

цвѣты цвѣтутъ, и тихій Донъ все шумѣе и шумѣе становится. Расползается вольная земля все вширь и вдаль; повыросли казацкіе курени по Хопру и по Медвѣдицѣ, по Базулуку, Иловлѣ, по Донцу, по Чирамѣ и по Айдарь-рѣкѣ. На Волгу перекинулась казацкая вольница, а оттуда и въ Сибирь прошла—Сибирь взяла.

— Пріобыкъ и я, Юша, къ вольной волюшкѣ. Здѣсь не то, что въ каменной Москвѣ—рогатины да заставины: здѣсь казацкая душа словно жемчугъ бурмицкой по серебряному блюду перекатывается. А все сердечушко щемить по каменной Москвѣ—по родной сторонѣ.

— Что-жъ, Треня, теперь мы и побывать можемъ въ матушкѣ Москвѣ.

— Нѣту, Юша, туда мнѣ путь-дороженька заказана, что печатью мертвой припечатана.

— По что? Коли царство російское добудемъ, такъ и всѣ печати распечатаемъ.

Треня махнулъ рукой. Курчавая голова его повернулась къ сѣверу.

А изъ-за сосѣдняго боярышника неслось разудалое пѣніе:

Полюбилъ Дуню поповичъ молодой,
Сулилъ Дунюшкѣ червенецъ золотой:
Червенчику Дунѣ хочется,
А любить кутьи не хочется.
Полюбилъ Дуню гостиный сынъ купецъ,
Посулилъ Дунѣ китаечки конецъ:
Китаечки Дунѣ хочется.
А любить купца не хочется.
Полюбилъ Дуню подончикъ молодой,
Посулилъ Дунѣ мякины яровой:
Мякинушки ей не хочется,
А любить донца ухъ хочется...

— Эхъ, Юша! неладно московское царство скроено, да крѣпко сшито; по живому разорвется, а не распорется. Али 'мало его поролъ грозный батюшка царь Иванъ Васильевичъ? Али не сплеча кроили его опричники сыродцы? А все порядки тѣ же остались. Эти порядки, словно рогатина, поперекъ мнѣ въ горлѣ стали.

— Это, братъ, ненадолго: рогатину эту вынуть скоро.

— Кто это у щуки-то зубы вынетъ смѣльчакъ такой.

— Да тотъ, что послалъ меня.

Треня покачалъ головой. Русыя кудри такъ и заходили ходенемъ.

— Какъ бы во рту у щуки и рука его не осталась Юша!

— Чья?

— Да того, что въ Краковѣ проявился.

— Нѣтъ, Треня, не таковъ онъ человѣкъ.

— Да ты самъ-отъ раскусилъ его добрѣ?

— Не такой онъ человѣкъ, чтобъ его раскусывать; а вижу я, что самъ-отъ онъ раскусить аки гнилой орѣхъ московское царство.—Попомни меня.

Какимъ же побытомъ ты на слѣдъ-то его попалъ?

— А вотъ какимъ. Когда ушелъ это я изъ Москвы и сошелъ въ Кіевъ, нашелъ я тамъ не мало московскихъ людей: одни сбѣжали еще за время опричины, другихъ выгнала изъ родной земли годуновщина. Толкался межъ ними и невѣдомой инокъ молодой, именемъ Димитрій. У него на щекѣ бородавка, и оттого всѣ такъ его и звали—чернецъ Димитрій съ бородавкой. Держался онъ какъ-то ото всѣхъ поодаль: хорониться не хоронился, а все межъ нимъ и другими словно какая пелена висѣла, и за пеленой той аки бы еще нѣчто невѣдомое таилось. И на лицѣ его, и на очахъ его пелена сія видѣлась, словно бы въ немъ двѣ души было и два человѣка въ его тѣлѣ обрѣталось: глянешь въ очи ему—и видишь, что изъ оныхъ, аки изъ кладезя глубокаго, другой человѣкъ смотритъ, не тотъ, что съ тобою разговариваетъ.

Отрепьевъ остановился и задумался. Курчавая голова Трени тоже раздумчиво оперлась на руку...

Меня матушка плясамши родила,
Меня кстили во царевомъ кабацѣ,
А купали во зеленымъ винѣ,
Отецъ крестный—цѣловальникъ молодой,
А мать крестна—винокурова жена,
А попъ-батька—со гудочнаго двора...

Пѣсня переходила въ хоръ, но одинъ женскій голосъ покрывалъ всѣ.

— Ай да Дуня!—доносилось восклицаніе изъ-за кустовъ боярышника.

— Ты смотрѣлъ когда-нибудь въ открытыя мертвыя очи?—продолжалъ Отрепьевъ, какъ-бы не слыша пѣнія.

— Какъ?—спросилъ курчавый Треня, не поднимая головы и во что-то вслушиваясь.

— Когда у мертвеца еще не закрыты очи, и онъ смотритъ ими, а заглянешь въ нихъ и видишь бездну какую-то, и что въ этой безднѣ—не угадаешь, не прочтешь; а есть что-то... Видалъ?

— Видывалъ.

— Такъ и у него—у этого невѣдомаго Димитрія: есть что-то тамъ въ глубинѣ кладезя очей... И чудомъ нѣкимъ прозрѣлъ я въ кладезь тотъ, прозрѣлъ не окомъ, но слухомъ моимъ. Единожды молился я во святыхъ пещерахъ кіевскихъ. Тихо было въ пещерахъ и суморочно. Чудилось мнѣ—дыханіе нѣкое ходитъ по аеру, тихое вѣянiе крилъ нѣкихъ надо мною, и волосы мои аки живы, встаютъ у корней своихъ—и трепеть нападе на мя. Тѣни ли то угодниковъ Божіихъ посѣщаютъ жилище свое земное, крилы ли ангеловъ невидимо сметають, аки сметіе, прахъ столѣтій съ нетлѣнныхъ мощей угодниковъ тѣхъ—не вѣдаю; но ужасъ вѣчности объять мя, и я лежалъ поверженный предъ единою ракою священною. И абіе слышу аки въ соніи тонцѣ гласъ отъ раки преподобнаго Θεодосія: Боже всесильный! молитвами святыхъ угодниковъ здѣ лежащихъ, молитвами великому-ченика Димитрія Селунскаго, молитвами ангель и архангель и всего невидимаго чина небеснаго, возврати мнѣ, Боже, царство мое, царство отцовъ и дѣдовъ моихъ, великое царство Московское, Борисомъ у меня, аки та-

темъ ношнымъ, похищенное. Возврати мнѣ Господи, скифетро мое, и престолъ мой, и державу мою и вѣнецъ отцовъ моихъ, и прослаблю имя Твое святое изъ конца въ конецъ вселенныя, отъ истока водъ до моря и отъ вершинъ горъ высокихъ до пропастей земныхъ, до послѣднихъ морей и океановъ великихъ. Господи! влянусь Тебѣ влятвою великою: я поведу народъ мой путемъ, Сыномъ Твоимъ указуемымъ; я отру слезы вдовицы; срачицею моею я прикрою нагое тѣло нищихъ земли моея; отъ стола моего царскаго я напитаю ихъ, алчныхъ и неимущихъ; послѣдній укрукъ хлѣба я раздѣлю съ царствомъ моимъ; я положу сердце мое въ руцѣ народа моего добраго; думу мою царскую я солью съ думою народною; изгоню я гнѣвъ и казнь, и кровь изъ царства моего; я просвѣщу народъ мой свѣтомъ истины. Всемогущій Боже! и се другая клятва моя великая передъ тобою: уврачевавъ раны царства моего, я поведу его, всю страну мою, весь народъ мой возлюбленный, стара и млада, богата и убога, князя и боярина до послѣдняго смерда и рольника, поведу на враговъ твоихъ, на агарявъ невѣрныхъ, и изгоню ихъ изъ земли Твоей въ землю агарянскую, изгоню ихъ и изъ Царяграда и изъ святого Іерусалима. Я возвращу негнѣнный гробъ Сына Твоего, Господа нашего Іисуса Христа, возвращу гробъ сей, неопѣненный цѣною человѣческою—возвращу его церкви Твоей святой, православной греческой. Господи! Владыко! преклони ухо Твое къ моленію моему, Боже, Боже!

А за боярышникомъ тянется новая хоровая:

Не спасибо тѣ, игумену тебѣ,
Не спасибо тѣ, безсовѣстному,
Молодешеньку въ монашенки постригъ,
Зеленешеньку посхимилъ меня...

— Ужасомъ повѣяло на меня отъ словъ сихъ,—продолжалъ Отрепьевъ, какъ бы силясь отогнать отъ своего слуха назойливое пѣніе хорова. — А голосъ былъ знакомый.

— Чей же это голосъ былъ?

— Его—инока Димитрія съ бородавкой.

— Кто-жъ его голосомъ говорилъ-то въ пещерахъ? Кто молился?

— Онъ-же, Димитрій съ бородавкой.

— И ты видѣлъ его тамъ?

— Видѣлъ, послѣ.

— А онъ тебѣ?

— И онъ потомъ замѣтилъ меня и зѣло смущенъ былъ.

— „Ты слышалъ молитву мою?—говорить.—„Слышалъ“, говорю.— „Никому же, говорить, не повѣждь тайну сію, дондеже Господь не возставитъ меня на царствѣ моемъ“.

— Когда же онъ объявился царевичемъ?

— На третій годъ послѣ сего.

— А кому объявился?

— Польскому князю Вишневецкому Адаму. И объявился случаемъ. Въ Кіевѣ проживалъ онъ у князя Острожскаго, у воеводы, на княжомъ дворѣ, гдѣ московскихъ людей, а наипаче иноковъ, принимали съ охотою; но Острожскому онъ не объявился. Изъ Кіева онъ перешелъ въ Гощу, къ панамъ Гойскимъ, и тамо въ ученіе вдаль себя, и побѣди всѣ книжныя мудрости даже до риторики и философіи.

— Да откуда-жъ онъ взялся, когда онъ былъ маленькимъ зарѣзанъ въ Угличѣ?

— Зарѣзанъ не онъ былъ— его подмѣнили на погибель Годунова.

— Какъ же, Юша, такъ, коли Годуновъ тогда еще не царствовалъ?

— Не царствовалъ, такъ дорогу торилъ ко престолу, а на дорогѣ-то царевичъ стоялъ. Ну, на него ножъ и точили.

— Да какъ же подмѣнить-то человѣка, Юша? Это, вѣдь, не иголка. И игла иглѣ розъ. А онъ былъ уже отрокомъ.

— Подмѣнила сама мать царица, да ближніе. Отого, когда въ Угличѣ случилось то, что якобы царевича зарѣзали, такъ царица-мать, замѣсть того, чтобы убиваться по младенцѣ, накинулась съ полѣномъ на мамку Василису Волохову, дабы убить ее. Мамка-то ближе всѣхъ видала настоящаго царевича и могла показать, что не его зарѣзали. И послѣ, когда уже зарѣзанный отрокъ лежалъ въ церкви и когда въ церковь, привели сына мамки, Осипа Волохова съ Битяговскими, царица закричала: „вотъ убійца царевичевъ!“ И его убили. Кто всѣхъ ближе зналъ царевича въ лицо, тѣхъ всѣхъ побили, и некому уже было сказать—подлинной ли царевичъ лежитъ въ церкви.

— Дивно, дивно дѣло сіе,—замѣтилъ Треня:—точно въ сказкѣ.

— Да, сказка сія ужаса исполнена,—сказалъ Отрепьевъ.

— Ну, такъ какъ же объявился онъ Вишневецкому-то?

— Случаемъ, говорю. Отъ пановъ Гойскихъ перешелъ онъ въ Брагинъ, на службу къ князю Вишневецкому. А я его не покидалъ изъ виду: онъ въ Гощу и я въ Гощу; онъ въ Брагинъ—и я въ Брагинъ, и все эта пелена таинственная надъ нимъ висѣла, и все изъ глубины очей его глядѣлъ другой человѣкъ и никто имени того человѣка не вѣдалъ. И приключися ему тамо болѣзнь тяжкая. И призвалъ онъ къ себѣ отца духовнаго для напутствія въ загробную жизнь. И по исповѣди говоритъ оному священнику: „аще Господь пошлетъ мнѣ смерть нынѣ, завѣщаю тебѣ, отче, похоронить меня съ честію, како дѣтей царскихъ погребаютъ“. И спроси его іерей: „что есть сіе“—„Не открою ти тайны, отвѣща, дондеже живъ: тако Богу угодно. Егда же умру, возьми писаніе подъ изголовьемъ у меня,—и тогда познаешь, кто я“. Ужасеся священникъ и повѣда о томъ князю. Князь же возьмъ писаніе, прочиталъ въ ономъ, что лежащій предъ нимъ невѣдомый человѣкъ есть сынъ царя московскаго, Ивана Васильевича, Димитрій.

— Те-те-те! онде вони, бисови москали, шепчуться!—раздался вдругъ голосъ запорожца.

Передъ ними стоялъ знакомый уже намъ казакъ, заломивъ шапку и фертомъ упершись въ боки.

— Якого вы тутъ гаспида шушукаете?

— О царевичѣ Дмитріи я ему повѣстую,—отвѣчалъ Отрепьевъ.

— Я такъ и знавъ. Отъ народецъ! Що москали, що ляхи—одна пара чобитъ, да й те стоптанныхъ. Якъ двое зійдуться докупы, такъ заразы про свое: одни про свою вольность, якъ имъ вольна хлопа бити, а москали—заразы про царивъ: коли нема въ ихъ царя, то хочъ выдумаютъ соби, або намалюють. Отъ овеча порода! Теперь піймали десь якогось волоцюгу, та й носяться зъ нимъ, якъ дурень съ писаною торбою.

Треня засмѣялся.

— Не смѣйся, Тренюшка,—серьезно сказалъ Отрепьевъ:—онъ только шутить. Малороссійскіе люди всѣ великіе скомрахи.

— Кто мы, кажешь?—спросилъ запорожець.

— Скомрахи—веселый народъ сирѣчь.

— Тимъ мы й весели, що нема надъ нами стели,—гордо отвѣчалъ казакъ.

— Такъ вотъ я говорю,—продолжалъ Отрепьевъ, указывая на запорожца:—онъ только шутить; а все запорожское низовое войско ужъ обѣщало стать подъ стягъ царевича Дмитрія, и его вотъ прислало со мною и къ войску донскому—просить и донцовъ стать заедино.

— Що-жъ, и станемо! и намъ и подончикамъ—все одно: кого ни бить, абы бить, та чужи кашуки трусить—хочъ то московськи, хочъ то турецьки, хочъ то й лядьски.

А за боярышникомъ кто-то притоптывалъ, выгаркивалъ, выговаривалъ:

На Иванушкѣ чапанъ,
Чортъ мочалами тачалъ...

Вечерѣло. Лѣтняя ночь начинала спускаться и надъ Дономъ, и надъ станицей, около которой казаки расположились таборомъ въ ожиданіи похода. Это была Усть-Медвѣдичья станица. Раскинувшись небольшими куренями по полугорью, она спускалась къ песчаной отмели, на которой казачата каждый день устраивали ристалища, гоня коней своихъ отцовъ и дѣдовъ на водопой. Лѣвымъ крыломъ станица всходила на обрывистый, каменистый берегъ, такой высокій, что когда казачата сталкивали съ вершины его камень, то, скатываясь и колотясь о другіе камни, онъ увлекалъ за собою массы плитняку, который съ грохотомъ и прыгалъ въ Донъ, словно стадо дикихъ козъ. За Дономъ зеленѣлся лѣсъ. Вправо отъ станицы песчаная отмель суживалась въ узкій рукавъ, называемый Каптюгомъ, по которому весною шумно бурлилъ Донъ, образуя за Каптюгомъ особый, живописный, покрытый серебристыми тополями, островъ.

Эхъ, ты, островъ зеленый, островокъ песчаный! Исходили, истоптали тебя казацкія ноженъки, полнвали тебя, словно дождичкомъ, дѣвичія слезыньки. Оттого на тебѣ, островокъ песчаный, и травынька муравынька не вырастывала, не всходила, что тебя, островокъ песчаный, горючьми слезами

красны дѣвицы кропили. На тебѣ, островокъ зеленый, красны дѣвицы съ казаками соколами совыкались-цѣловались, на тебѣ ли, островокъ зеленый, и навѣки съ ними разставались.

На этомъ Каптюжномъ островѣ, подъ развѣсистымъ тополемъ, сидѣлъ и Треня съ Отрепьевымъ, когда къ нимъ подошелъ запорожецъ.

— Подождемъ, что скажетъ атаманъ Корела. Онъ долженъ скоро подойти съ своимъ войскомъ. А коли и онъ во едину думу съ Заруцкимъ станетъ, такъ тогда и на Москву пойдемъ—Бориса выбивать изъ чужого орлиного гнѣзда,—говорилъ Треня. — Только все что-то сердечушко вѣры не даетъ.

— Чему?—спросилъ Отрепьевъ.

— Да тому, что моимъ глазынькамъ повидать вновь золотыя маковки, моимъ ноженъкамъ ступать по тѣмъ по дороженькамъ, гдѣ мы съ тобой, Юша, малыми ребятами хаживали, бѣды-горюшка не знаывали. Эхъ!

— Та-же-жъ у васъ у Москви, кажутъ, погано, холодно, — протестовалъ запорожецъ, который такъ любилъ свое южное солнышко.—Тамъ у васъ, кажутъ, и черешня не расте.

— Зато рябинушка кудрявая растеть, бѣлая березынька листочками шумить, боръ зеленый разговоры говорить... Эхъ! помнишь Юша, какъ мы за грибами хаживали, бѣлую березыньку заламливали?

— Помню.

— А помнишь, какъ Меодія Патарійскаго читывали, какъ онъ о гогохъ и магогахъ повѣстуетъ, что Александръ Македонскій въ горы заклепалъ?

— Какъ не помнить? Еще ты все хотѣлъ Александромъ Македонскимъ быть, дабы Годунова, аки царя персидскаго, въ полонъ взять, да на прекрасной его Ксеніи жениться.

— Эхъ, Ксенюшка, Ксенюшка! высоко ты, птичка перепелочка, гнѣздо свила! Не залетѣть туда ясну соколу... Вотъ и теперь, какъ вспомню эти косы трубчаты, что трубами по плечамъ лежать, эти бровушки союзныя, соболиныя... я, вѣдь, видалъ ее на переходахъ... какъ вспомню все это, такъ и свѣтъ Божій не милъ становится.

Онъ потрянулъ своими русыми кудрями и гордо закинулъ голову.

— Оттого и на Донъ больше ушелъ.

— Се-бѣ то одѣ дивчины? Отъ сорома!—вмѣшался запорожецъ.—Та я-бѣ ии вкравъ, бутъ вона хочъ царська дочка.

— Да она-жъ и есть царская дочъ.

— Ну, и вкравъ бы...

— Руки, братъ, коротки.

— Овва! У мене руки довги... та отъ якъ будемо у Москви, то я ии, трубокосу, и вкраду-таки... Ось побачете.

— Куда тебѣ, хохоль эдакой!

— А все-жъ таки вкраду.

Отрепьевъ не вмѣшивался въ этотъ споръ. Его другое что-то занимало. „И поведу народъ мой на агаряны, и изгоню ихъ изъ земли Твоей въ

землю агарянскую, и изъ Царяграда и изъ Іерусалима изгону ихъ”, — шепталъ онъ въ задумчивости.

— Ты что, Юша, шепчешь? Али Настеньку Романову вспоминаешь?

Эхъ ты, Настенька, Настенька,
Походочка частенька, частенька,

Сильно подѣйствовали эти слова на Отрепьева. Онъ какъ-то растерянно и съ укоромъ посмотрѣлъ на своего кудряваго товарища и провелъ рукою по лбу, какъ бы вспоминая что-то.

— Что, али забылъ Настеньку Романову—грудь высоку, глаза съ поволокой, щочки аленьки, черевички маленьки? Али забылъ ея длинны косыньки плетены, рукава строчены, шейку лебедину, голосъ соловьиный? Забылъ, запамятовалъ, Юша?—приставалъ неугомонный Треня.

Отрепьевъ молчалъ, упорно глядя въ темную даль, все болѣе и болѣе закутываемую дымкою ночи.

— Забылъ Настеньку?

— Се московка така? Хиба-жъ у москаливъ гарни дивчата?—подсмѣивался жартливый запорожецъ,

— Почище вашихъ черномазыхъ.

Запорожецъ на это свистнулъ только.

— Ну, такъ что-жъ Настенька—походочка частенька?—допытывался Треня.

— Пропала Настенька, всѣ Романовы пропали,—какъ бы нехотя отвѣчалъ Отрепьевъ:—всѣхъ Романовыхъ Годуновъ позасылалъ туда, куда и воронъ костей не занашивалъ. Нѣту ужъ болѣ на Москвѣ лѣповидна мужа Ѳедора Никитича—не видать его шапки горластой, не скрипятъ по Кремлю его сапожки—золотъ сафьянъ, не блестятъ на Красной площади его платье золотное... Старцемъ Филаретомъ сталъ Федоръ-отъ Никитичъ, во келейкѣ сидитъ онъ во темной; — замѣсть шапки—клобукъ иноческій, а золотно платье—черна ряса дерюжная...

— Что ты?

— Истинно говорю. А и семью его, аки волкъ овечекъ, распудилъ Борисъ: Ксенію Ивановну въ Заонежье, на Егорьевъ погостъ, малыхъ дѣтушекъ—Мишеньку съ сестрицей на Бѣлоозеро. А и богатыря Михайлу Никитича въ Чердынъ заточилъ, желѣзами заковалъ. Александра Никитича—къ Бѣлому морюшку самому, Василья Никитича—въ Пелымъ... Нѣту болѣ Романовыхъ—исчезоша аки прахъ возметаемый вѣтромъ.

— А ихъ Настенька?

— И не спрашивай, не распытай... Углебоша воды слезы до души моей...

Онъ замолчалъ, подавленный воспоминаніями. Гдѣ-то шелкалъ соловей надъ гнѣздомъ своей возлюбленной, коротая темную лѣтнюю ноченьку безъ своей подруженьки, которой теперь ужъ не до любви, не до пѣсенъ—въ гнѣздышкѣ дѣтишки попискиваютъ, такъ надо ихъ вскормить-вспоить,

доглядѣть-выростить, а соловью мужику до этого и нуждушки мало — только бы пѣньемъ заниматься, да молодыхъ соловушекъ подманивать. На Каптюгѣ, межъ водяными порослями, заливались лягушки, празднуя свой лягушачій медовый мѣсяцъ.

— Что-жъ онъ, взбѣсился что ли, Бориска-то? — спросилъ Треня.

— Да чуетъ волкъ, что по шкуру его скоро придутъ, онъ и лютуетъ... Царевича ищетъ — нюхомъ чуетъ, что не царскую-то кровь въ Угличѣ пролили, а царская-то кровушка по бѣлу свѣту бродить, спокою волку не даетъ.

— Бѣдная Ксенюшка! Жаль ее, что отъ такого-то батюшки-аспида родилась.

— А яки се Романовы таки? Москали-жъ? — любопытствовалъ запорожецъ.

— Родичи старыхъ московскихъ царей... Ну, вотъ тутъ и иди на Бориса, коли у него такая дочушка... Руки не поднимутся, — говорилъ Треня.

— Тю-тю, дурный! Такъ ты его вбій, а дивчинку озьми соби, коли я и не озму, — совѣтовалъ запорожецъ.

Опять всѣ замолчали. Только соловей пощелкивалъ своимъ маленькимъ горлышкомъ, да лягушки радовались, словно бы на долю ихъ выпало великое счастье... Да оно и правда: счастье невѣдѣнія — великое счастье, хоть и жалко оно для вѣдающихъ...

Тихо. Всѣхъ окутала ночь. Всѣхъ взяла дума раздумчивая... И запорожцу что-то вспомнилось... Маленькія ножки въ казацкой шапкѣ... „Поведу народъ мой на агаряны“...

— Ластушка моя... лебедушка бѣлая... постой...

— Охъ, Ванюшка... страшно мнѣ... пусти...

Слышится вблизи гдѣ-то шопоть: два голоса — мужской и женскій.

— Золотцо мое червоное... жемчужинка моя перекатная... жди меня... дай мнѣ съ Москвы повернуться...

— Охъ, Ваня... Ванюшка... соколикъ...

Треня вздрогнулъ, прислушиваясь къ этому шопоту... Шопоть смолкъ... Слышны были неясные звуки, словно бы сыпалось просо на просо...

— Это Заруцкій... его голосъ... Съ кѣмъ онъ тамъ?..

III.

Пророчество стараго Заруцнаго.

На другой день въ Усть-Медвѣдицу пришли вѣсти, что Корела, возвращаясь съ своимъ войскомъ изъ ногойскихъ улусовъ, куда онъ ходилъ для наказанія ногоевъ за нападеніе на Черкасскъ, находится уже въ небольшомъ разстояніи отъ Усть-Медвѣдицы. Слышно было, что Корела идетъ съ большою добычею.

И станица, и таборъ казацкій оживились. На майданѣ, у станичной избы, гдѣ обыкновенно собирается казацкій кругъ, толкались и старые станичники, и походные казаки, и „выростки“, и „малолѣтки“. Казачки бро-

дили съ грудными дѣтьми на рукахъ и съ цѣлыми стаями другихъ ребятшекъ у подоловъ. На лицахъ ожиданіе и безпокойство: кто-то воротится живъ-здоровъ съ золотой казной, съ добычею? О комъ принесутъ вѣсточку черную, слово мертвое? Дѣвушки убраны, принаряжены: либо милъ сердечный другъ со походнаго сѣделечка глазкомъ накинеть соколинымъ, либо дѣвичьимъ глазынькамъ по миломъ дружкѣ вѣкъ плакати, что лежитъ милъ сердечный другъ въ землѣ незнаемой—бѣлы рученьки разметаны, русы кудри не расчесаны, ясны глазыньки исклеваны, промежъ ребрушекъ трава мурава растеть.

Тутъ же бурлитъ и юное поколѣніе будущихъ головорѣзовъ—будущихъ дѣвичьихъ зазнобушекъ. Грѣется на солнышкѣ и ветхая, столѣтняя старость. Концы и начала двухъ столѣтій сошлись на майданѣ посмотрѣть другъ на друга: прошлое столѣтіе едва ползаетъ отъ старости, новое столѣтіе едва ползаетъ отъ младости. Отцы и дѣти—посерединѣ майдана: это дѣяти, это ихъ мѣсто. Дѣды и бабушки съ внучками и правнучками—по краямъ майдана: это дѣяти—или бывшіе или будущіе.

Ветхій, матерой, столѣтній атаманушка Заруцковъ или попросту дѣдушка Зарука, дѣдъ атамана Ивашки Заруцкаго, сидитъ на солнышкѣ, на завалинкѣ станичной избы, и съ любовью смотритъ на молодыхъ казаковъ, шумящихъ на майданѣ, въ томъ числѣ и на своего внучка-атаманушку, на Ивашку Заруцкова. Всѣ сыновья его полегли въ полѣ—остались только внучки, а любимый внучекъ, молокососъ Иванушка, ужъ и въ атаманье попалъ; изъ молодыхъ да ранній.

Вокругъ дѣдушки Заруки—свой майданъ. Цѣлая орава ребятшекъ окружаетъ дѣдушку и слушаетъ его рассказы о старыхъ, допрежнихъ бояхъ, когда они съ Ермакомъ Тимофѣевичемъ Сибирушку брали и сибирскаго царя Кучумку громили. Свѣтятся молодостью столѣтнія очи дѣдушки, только голова дрожитъ и рученьки старья дрожатъ у рассказчика. Да и не диво: эко сколько эта сѣдая голова на своемъ вѣку видовъ видывала отъ Азовушка-града турецкаго до самой Сибирушки! А сколько этой сѣдой головошкой было продумано, прогадано! Не диво, что и стары рученьки дрожатъ; эко сколько этими рученьками помахано, головушекъ вражьихъ покошено, острою пикою сколько реберъ-грудей прободено, ко сырой землѣ тѣлушекъ пригвождено, на тотъ свѣтъ сколько душенекъ отправлено!

— Эхъ, ты, Сибирушка студена, Сибирь матушка! Разнесла ты, Сибирушка, казацкую славушку по своей землѣ, во всѣ концы конечные! Разлеглося отъ той казацкой славушки московское царство промежъ четырехъ морей—промежъ Чернаго моря, промежъ Бѣлаго, да еще промежъ Сине-краснаго—разлеглося, разметалоса московское государствіе, и нѣту ему удержу-супротивины. Вспучило Москву отъ той славушки казацкой, разнесло московское царствіе отъ Сибирушки—и забыла Москва святу правдушку, надругается она надъ казацкой славушкой, называетъ казаковъ ворами-разбойниками. А мы не воры, не разбойники,—говоритъ дѣдушка Зарука, сверкая столѣтними очами.

Сверкаютъ и юные глазки его слушателей—огонь въ нихъ дѣдушка забрасываетъ и искрами брызжетъ огонь этотъ изъ разгорѣвшихся глазъ казачать.

— А ты, дѣдушка, расскажи, какъ вы Сибирь брали, сибирскаго царя громили,—звенить своимъ металлическимъ голосомъ шустрый внучекъ Захарушка, младшій братенекъ Ивашки Заруцкова.

— Ахъ ты, востроглазый! Все ему расскажи да расскажи. А который разъ-отъ я тебѣ рассказываю? А поди, сотый?

— Нѣту, дѣдушка родненькій, не въ сотый.

— Дѣдушка, болѣзненъкій, хорошенъкій, расскажи,—звенѣли другіе дѣтскіе голоса.

— Ахъ вы, пострѣлята!

— Дѣдушечка! красавецъ!

— Цыцъ, воробы вы эдакіе! Инъ ужъ такъ и быть—расскажу.

И старикъ снова налаживается на лиризмъ. Бѣлая голова поднимается. Зрачки расширены—глядятъ куда-то вдаль, въ старину, вглубь прошлаго.

— Эхъ, и похожено было, поброжено, Волгой-матушкой поплавано, на Камушкѣ-рѣкѣ погуляно, на Обѣ-рѣкѣ погромлено. Ужъ и громили мы не день, не два, погромили татаровей не двѣ, не три тысячи. Идетъ это станица атаманушки Ермака Тимофѣевича, идетъ не шарахнется, а Кучумово-отъ войско, что темный боръ надвигается. Зазвенѣли тетивушки пѣвчія, засвистали стрѣлы каленыя—и бысть бой великій. Гдѣ Ермакъ махнетъ—тамъ и улица, а Кольцо махнетъ—переулокъ, а Зарука бьетъ, словно пашню жнетъ.

— Это ты, дѣдушка?—не терпится Захарушкѣ.

— Я, соколикъ... Постой, дай припомнить... Сбилъ ты меня, дьяволенокъ...

— Не буду, дѣдушка.

Старикъ опять налаживается на лиризмъ. Казачата замерли на мѣстѣ—глазъ съ него не спускаютъ. А на майданѣ шумные возгласы: „Любо! дѣло говоритъ Заруцковъ!“... „За царевича Димитрія, атаманы-молодцы, стоимъ! за вѣру!“... „Любо! любо!“

— Ишь, Иванушка короводитъ,—улыбается старикъ:—въ меня пошелъ, горяченькій: въ кипяткѣ маленькаго купывали, кипяткомъ и вышелъ.

— А ты, ну, дѣдушка, рассказывай!

Старикъ задумывается. Беззубый ротъ что-то беззвучно шамкаетъ. Лицо мало-по-малу туманится, и изъ старческой груди вырываются хриплые, плачущія причитанья:

— Эхъ, и высоко звѣзда восходила, выше лѣсу, выше темнова, выше садику зеленова! Эхъ ты, звѣзда наша, казацкая славушка, атаманушка ты нашъ, Ермакъ Тимофѣевичъ! Высоко ты, соколъ, залетывалъ, выше куреня Кучумова, что повыше улуса Алеева... И скатилась наша звѣзда полуночная, скатилась наша славушка въ Иртышъ-рѣку глубокую... Не стало у насъ атаманушки, не стало Ермака Тимофѣевича—разбрелось наше войско хороброе... Остался одинъ я, сиротинушка...

Старикъ плакалъ тихо-тихо, какъ ребенокъ... Оплакивалась жизнь, оплакивалась молодость, хоронилась пережитая, закатившаяся славушка...

Казачата робко смотрятъ на старика. Иные всхлипываютъ.

— Дѣдушка, не плачь, не плачь, родненькій! — молится Захарушка, припадая къ сивой, поникшей головѣ дѣда.

А на майданѣ шумъ, говоръ. Особливо звучитъ здоровый голосъ кудряваго, длинноусаго Трени: „Атаманы-молодцы, помолчите! Гришка Отрепьевъ говоритъ! Григорій Богдановъ сынъ Отрепьевъ отъ московскаго царевича Дмитрія рѣчь держитъ! Помолчите, атаманы-молодцы!“ — „И будетъ сподобитъ его Господь Богъ на прародительскомъ царствѣ сѣсть и скифетро московское воспріять, и онъ, царевичъ, васъ, донскихъ казаковъ, не оставитъ — великимъ жалованьемъ пожалуетъ. А будетъ онъ, царевичъ, то московское скифетро закрѣпитъ за собой и родомъ своимъ сызнова, и даетъ онъ зарокъ великій — со всѣмъ своимъ царствомъ и съ донскими и запорожскими казаками идти на проклятые агаряны, сирѣчь на татарскихъ и ногайскихъ, и нѣмецкихъ, и аглицкихъ, и францовскихъ, и турецкихъ людей войною, боемъ великимъ, и изъ Царяграда агарянъ высѣчи и изъ Іерусалима-града высѣчи тако-жъ“, мѣрною рѣчью, нараспѣвъ, нѣсколько надтреснутымъ голосомъ вызываетъ Отрепьевъ.

— Любо-ль, атаманы молодцы? — гудитъ молодой баритонъ Ивашки Заруцкаго.

— Любо! Любо! — дрожитъ майданъ.

— Не-любо! не хотимъ! — отзываются другіе голоса.

— Любо! любо! — перекрикиваетъ майданъ.

— Почто не-любо? — зычитъ Ивашка Заруцкій.

— Любо! любо!.. Любо! разнесемъ!.. Долой Бориса!.. За Дмитрія стоимъ!.. Любо! стоимъ! — Голоса стономъ стонутъ. Майданъ превращается въ одну громадную глотку, — разгорается народная буря.

Но въ это время отъ группы дѣтей отдѣляется массивная, хотя и согбенная фигура столѣтняго старца Заруки. Опираясь на плечо внука, онъ входитъ на середину майдана и стучитъ костью о сухую землю.

— Стойте, дѣтушки! послушайте вы меня, казака стараго, матеріова! — заговорилъ онъ, сверкая глазами.

Въ одно мгновеніе майданъ затихаетъ. Всѣ съ изумленіемъ смотрятъ на старика. Онъ стоитъ среди майдана, опираясь дрожащею рукою на курчавую головку Захарушки. Въ этой согбенной фигурѣ, въ этой бѣлой какъ кипень головѣ съ развѣвающимися по вѣтру прядями волосъ, въ этихъ старыхъ, заплаканныхъ глазахъ такъ много величія, что буря мгновенно утихаетъ.

— Послушайте, дѣтушки! — продолжаетъ старикъ дрожащимъ голосомъ: — повнемлите моему смертному наказу!

Потомъ, протянувъ руку по направленію, къ Дону, синяя поверхность котораго виднѣлась за отмелью, старый ермаковецъ начинаетъ медленно причитать, словно по писанному:

— Эхъ ты, Донъ-Донина, тихой Донъ Ивановичъ! повнемли ты моему наказу смертному. Не мало я пожилъ съ тобою, тихой Донушка, не мало и Волгой-рѣкой хаживалъ, и Камой-рѣкой плаывалъ, и въ Сибирушкѣ студеной бывалъ,—не мало пожито, не мало продумано-погадано. Родился ты, Донъ Ивановичъ, въ московской землѣ, и поятъ-кормятъ тебя московскія рѣченьки, и дѣтки твои, донскіе храбрые казаченьки — все тоей же московской земли дѣтушки, — инъ и быть тебѣ, тихой Донъ Ивановичъ, со московскою землею заодно!

— Любо! любо!—гудить майданъ.

— Дѣдушка Зарука дѣло говоритъ: заодно съ Москвою!

— Заодно! заодно!

Старикъ поднялъ клюку, какъ-бы требуя снова вниманія. Голоса умолкли.

— Много пожито мною, много думано, дѣтушки!—продолжалъ старикъ, глядя куда-то вдаль, какъ-бы заглядывая въ будущее. — И видятъ мои старыя очи то, чего не видятъ ваши молодыя. Жить Москвѣ вѣковѣчно, до скончанія свѣта, а тихому Дону Ивановичу служить своей матушкѣ московской землѣ вѣрой и правдой тако-жъ вѣчно. Таковъ мой навазъ, дѣтушки, и таково мое благословеніе. А будетъ перечить Донъ Москвѣ—инъ не будь надъ нимъ мое благословеніе.

— Аминь! аминь! аминь!—громко произнесъ Отрепьевъ.—Пророческое сіе слово, атаманы-молодцы,—пророческое: будетъ Донъ заодно, постоятъ съ Москвою, и будетъ чрезъ то Донъ силенъ и славенъ, и какова слава будетъ Москвѣ, такова и Дону, и какова честь Дону, такова и Москвѣ.

— Такъ-такъ,—подтвердилъ старый Зарука; таково и мое благословеніе... А теперь прощайте, дѣтушки... Мнѣ съ майдану пора въ могилу...

Дальше онъ не могъ говорить—ему измѣнили силы, ноги, голосъ.

— Ой, батюшки! дѣдушка падаетъ, — съ испугомъ закричалъ Захарушка, сисясь поддержать старика.

Но было уже поздно: дряблѣе старое тѣло какъ снопъ свалилось на землю, на майданъ, по которому когда-то бодро ступали крѣпкія ноги Заруки.

Старика подняли и повели. Майданъ продолжалъ шумѣть, тысячи глотокъ рычали разомъ:

— Подождемте, братцы, атамана Корелу, да съ нимъ и въ походъ.

Казачата также взволновались—общее возбужденіе перешло и на нихъ. Когда дѣдушку Заруку увели въ курень, ребятишки подняли шумъ и визгъ невообразимый.

— Пойдемте, въ походъ, атаманы-молодцы!—звонко кричалъ бѣлокурый мальчикъ, босикомъ и въ казацкой шапкѣ, гордо изображавшій изъ себя атамана.

— Пойдемте Сибирь брать!—кричали другіе.

— Любо! любо!

— А кого, братцы, въ атаманы хотите?—звенить тотъ же бѣлокурый казачонокъ, воображающій себя аманомъ.

— Лаверку Баловня хотимъ!—раздаются дѣтскіе голоса.

— Любо! Лаверку Баловня!

— Не любо! не хотимъ! — возражаютъ другіе: — подавайте намъ Захарку Заруцкова!

— Любо! любо! Захарку Заруцкова волимъ!

Послѣдніе пересилили. Когда Захарушка, проводивъ дѣда, вышелъ изъ куреня вмѣстѣ съ старшимъ братомъ своимъ Иваномъ, толпа ребятишекъ бросилась къ нему и, подавая чекмарь, кричала на разные голоса:

— Вотъ тебѣ булава! Вотъ тебѣ атаманская насѣка! Будь нашимъ атаманомъ... Веди насъ въ походъ—Сибирь брать, Орду громить!

Захарушка, радостно, но съ напускною важностью, взялъ поднесенную ему палку, кланялся на всѣ четыре стороны и говорилъ торопливо:—Спасибо, атаманы-молодцы, за честь! я не стою...

— Бери, коли даютъ! Войско даетъ! Любо! Войска слушайся!—волнуются дѣтскіе голоса.

— Ахъ вы, пострѣлята, мразь эдакая, клопы, а тоже войскомъ себя называютъ,—смѣется старшій Заруцкій, Иванъ.—Что, на сусликовъ вздумали походомъ идти, стрижиныя гнѣзды разорять?

— Сибирь брать!

— Въ походъ! на-конь, атаманы-молодцы, на-конь!

И толпа сорванцовъ, съ гордо поднятыми головами, съ крикомъ, визгомъ и гикомъ, подражая большимъ, оставила майданъ и хлынула изъ станицы на черкасскую дорогу.

Ярко свѣтитъ солнце на оживленные дѣтскія личики, словно ему самому отрадно смотрѣть на эту молодую беззаботность, на ту беззаботность, которая не имѣетъ за плечами прошлаго, на спину которой не налегла еще тяжесть годовъ, а на памяти, какъ на кладбищѣ, не покоятся еще дорогіе покойники.

Голубая лента Дона, видимая за десятки верстъ, отъ Усть-Хоперской станицы до Усть-Медвѣдицкой, не зарябитъ вѣтромъ, не потухнетъ и не замутился вихрями, какъ и молодая память, Задонская даль такая таинственная, заманчивая, свѣтлая, словно далекія свѣтлыя и заманчивыя загадыванья беззаботной молодости.

Черкасская дорога идетъ по возвышенному сырту, мѣстами всхолмленному и тянувшемуся вдоль нагорнаго берега Дона. Влѣво отъ дороги, проложенной между рощами дикорастущихъ яблонь, грушъ, вишенниковъ, боярышниковъ, шиповниковъ, терновниковъ и всякихъ колючихъ растеній, всхолмленное побережье прорыто глубокими оврагами. И рощи, и прогалины, и холмы, и песчанья косы Дона полны жизни, которая неумолкаемо сказывается въ птичьемъ говорѣ, пискѣ, трескѣ и тысяче-голосомъ щебетаньѣ, въ свистѣ сусликовъ и сурковъ, оберегающихъ свои норки и маленькія трущобинки, въ жужжаньѣ и гудѣньѣ всего летающаго, ползающаго, скачущаго...

Прежде всего буйная ватага казачатъ дѣлаетъ набѣгъ на сусликовъ и тарантуловъ, норки которыхъ нерѣдко чернѣлись рядомъ съ норами сусликовъ.

— На ногахъ ударимъ, атаманы-молодцы!—командуетъ Захарушка Заруцкій.

И юные разбойники, стремглавъ спустившись въ глубокій оврагъ, по которому звенѣлъ ручей холодной родниковой воды, наполнили водою—кто свои сапоги, кто шапки, и, взобравшись снова на кручи, выливаютъ воду въ сусликовыя и тарантуловыя норы.

Напуганныя водою суслики выскакиваютъ изъ норъ и погибаютъ подъ ударами маленькихъ хищниковъ.

— Бей-руби орду поганую!—кричитъ Лаверка Баловень, рѣзвое личико котораго покраснѣлось, глаза горятъ, доказывая, что изъ ребенка вырабатывается образцовый хищникъ.

И неповоротливые, мохнатые тарантулы выползаютъ изъ норъ. Казачата дразнятъ ихъ, трогая палками. Отвратительные пауки злятся, поднимаются на мохнатыхъ лапкахъ—и погибаютъ, какъ и суслики.

— За мной, охотники!—трещитъ неугомонный Баловень, и вокругъ него собирается другой отрядъ маленькихъ хищниковъ на птичьи гнѣзда и на стрижовыя норы.

На деревьяхъ, въ кустахъ, въ оврагахъ—вездѣ мелькаютъ казачата: это они достаютъ изъ гнѣздъ птичьи яички и наполняютъ ими свои шапки.

— Эй, атаманы-молодцы, посмотрите! — кричитъ съ высокаго дуба Захарушка Заруцкій: — я громлю престолъ московскаго царя Бориса Годунова.

Всѣ бросились къ дубу. На вершинѣ его чернѣлось огромное орлиное гнѣздо. Обхвативъ босыми ногами одну изъ сухихъ вѣтвей, поддерживавшихъ гнѣздо, и придерживаясь рукою за сукъ, торчавшій выше гнѣзда, смѣлчакъ Захарушка другою рукою вытаскивалъ изъ гнѣзда молодыхъ орлятъ.

— Вотъ вамъ царевичъ Ѳеодоръ Годуновъ! Ловите.

И молодой неоперившійся орленокъ падаетъ на землю и убивается.

— Вотъ вамъ царевна Ксенія Годунова.

И другой орленокъ также падаетъ мертвымъ.

Но въ это время въ воздухѣ что-то зашумѣло. Всѣ оглянулись. Надъ дубомъ распустивъ саженныя крылья, вился громадный орелъ-беркутъ. Сдѣлавъ взмахъ кверху, онъ молніей прорѣзалъ воздухъ и камнемъ упалъ на гнѣздо. Послышался крикъ—всѣ вздрогнули: когти орла вцѣпились въ курчавую голову Захарушки и подняли его на воздухъ. Ужасъ оковалъ юныхъ хищниковъ—они такъ и окаменѣли на мѣстѣ... Пропалъ Захарушка!..

Но мягкіе волосы не выдержали тяжести тѣла: оно упало на землю мертвое, неподвижное...

Орелъ кружилъ высоко въ воздухѣ... Слышенъ былъ только жалобный, не то злобный клекотъ обиженнаго человѣкомъ пернатаго хищника-царя... Птица плакалась на человѣка...

Вблизи слышались визгливые звуки пискалокъ, пѣсни, говоръ и лошадиный топотъ. Показались знамена, значки, торчавшія на пикахъ ногойскія мертвыя головы. Слышался плачъ полонянокъ...

.. Это шелъ Корела со своимъ войскомъ. Хоръ пѣсенниковъ заливался:

По рѣчушкѣ, по рѣкѣ
Плыветъ Дуня въ каюкѣ.
Охъ-охъ-охо-хохъ,
Плыветъ Дуня въ каюкѣ!

IV.

Димитрій у Мнишна.

Съ береговъ тихаго Дона перенесемся на далекій западъ, за окраины нынѣшней русской земли.

Въ городѣ Самборѣ, нынѣ австрійско-галицкомъ, а нѣкогда польскомъ— въ городѣ „крулевскихъ добръ“, у сендомирскаго воеводы Юрія Мнишка, идетъ богатое столованье—роскошный панскій пиръ.

Довольствомъ, избыткомъ и, повидимому, нескончаемымъ, вѣчнымъ счастьемъ надѣлило небо своихъ избранниковъ, родовитыхъ пановъ вольной, могучей, непобѣдимой Польши. Надѣлило щедрое небо довольствомъ и счастьемъ и выродившагося чеха Юрія Мнишка-Мнишечка.

Радостно смотреть съ неба яркое солнце на это довольство. Богатый замокъ раскинулся широко и привольно. Окружающія его башни, блестя словно серебромъ жестяными крышами, тянутся къ небу, высоко вознося панскую славу богатыхъ Мнишковъ. Широкія ворота съ башнями и золочеными маковками распахнули свои широкія панскія объѣзды для званныхъ и незванныхъ гостей: иди, благородное панство—ѣшь, пей и веселися во славу Мнишковъ и золотой польской вольности. *Niech żyje Polska!*

Панскій палацъ, костелъ, садъ, обширныя гумна, оборы, шпихлеры, пивоварни, служба для гостей и прислуги, скотни—все дышетъ довольствомъ. *Niech żyje złota wolność!*

На панскомъ палацѣ высокія вышки еѣ золочеными маковками. Надъ фронтономъ палаца красуется гордый гербъ Мнишковъ—пучокъ перьевъ. Ни время, ни вѣчность, ни люди, ни боги—ничто не потемнитъ этого герба, какъ не потемнитъ ничто блеска Польши, могучей и славной, какъ не потемнитъ ничто вѣчной славы вѣчнаго панства... *Niech żyje państwo!*

А внутри палаца—рай да и только! Затѣйливо разрисованные потолки, узорчатые карнизы, рѣзныя створки дверей—все блеститъ золотомъ, горитъ яркими красками. Стѣны, столы, скамьи, полы—это выставка дорогихъ тканей, ковровъ, шелковъ съ пестрыми, веселящими глазъ и сердце картинами любви, охоты, войны, болтливой мифологіи и лживой исторіи. На стѣнахъ—картины, портреты королей и предковъ, и все это въ дорогихъ золоченыхъ рамкахъ. Лавки и кресла—на золоченыхъ ногахъ, съ золочеными рукоятками и рѣзбою. Вездѣ золото, золото и золото! Какъ много его выкапывали глупые хлопы изъ земли, какъ много его выплавлялось

изъ человѣческихъ слезъ, крови и хлопскаго мяса! О, золотое, невозвратное прошлое!

Пиръ только начинается. Недавно между палацомъ и официной привѣтливо прозвучалъ призывной колоколъ—этотъ вѣчевой колоколъ старой Польши. Гости, заранѣе съѣхавшіеся въ Самборъ и въ помѣстительный дворъ воеводы, спѣшатъ въ обширную столовую. О, какъ много этихъ гостей, какъ много этихъ счастливыхъ, обитающихъ въ счастливой Польшѣ, текущей медомъ и млекомъ! А теперь наѣхало ихъ еще больше. Да и какъ не пріѣхать? Говорятъ, что въ домѣ воеводы будутъ показывать нѣкое чудо, *cos moskiewskie*, съ помощью котораго вольная и счастливая Польша можетъ прибрать къ рукамъ неизмѣримыя царства хлопской, варварской, отатареной Московщины. О, какъ широко разольется тогда вольность польская! Какъ далеко, неизмѣримо далеко разнесетъ эта дорогая вольность благозвучную, поэтическую рѣчь польскую—этотъ языкъ любви, поэзіи, свободы!

И Боже мой! сколько же злата, блеска, пурпура, драгоценныхъ камней и каменныхъ сердецъ навезли съ собой и на себѣ эти роскошные гости! Сколько красоты, изящества и пестроты стекается въ помѣстительную столовую, словно въ блестящій цвѣтникъ! Что за прелесть женщины, что за красота мужчины! Сколько обаянія и кокетства въ первыхъ, сколько неотразимаго мужества въ послѣднихъ: закрученные усы такъ и кричатъ о гордости и благородствѣ, блестящіе карабели звенятъ о побѣдахъ и военной славѣ, большіе буты стучатъ такъ внушительно о свободѣ...

Полъ столовой, въ которую вступали гости, весь усыпанъ пахучими травами и ароматными цвѣтами—это ароматъ вольности и славы. Въ воздухѣ—облака благовонныхъ куреній: это слава и гордость великаго царства возносится къ небесамъ. Въ одномъ углу столовой, за перилами, возвышается пирамида, унизанная сверху донизу золотою и серебряною посудой; въ противоположномъ углу, также за перилами—богатый оркестръ, духовые инструменты котораго горятъ, какъ чистое золото. Гости входятъ чинно, по рангамъ, по реестру. Маршалокъ, почтительно стоя у дверей, слѣдитъ за порядкомъ этого вступленія благородныхъ гостей въ святилище пира, наблюдая въ то же время за стаями хлоповъ, облеченныхъ въ гербовыя ливреи и готовыхъ провалиться сквозь землю при всякомъ мановеніи маршальской или панской руки. По мѣрѣ вступленія гостей въ столовую, четыре отлично дрессированныхъ хлопа почтительно подходятъ къ нимъ для совершенія обряда омовенія: одинъ хлопъ держитъ тазъ, другой изъ серебрянаго кувшина льетъ на руки гостю благовонную воду, два послѣдніе подаютъ шитое по краямъ полотенце, которымъ гость и вытираетъ свои благородныя руки.

Хозяинъ, вельможный панъ Мнишекъ, съ изысканною любезностью принимаетъ дорогихъ гостей. Полнотѣлая, короткошея, невысокорослая, упитанная довольствомъ и сознаніемъ собственного достоинства фигура пана воеводы сендомирскаго и скользитъ, и катается по цвѣтному полу обшир-

наго покоя отъ одного гостя къ другому. Высокій лобъ, утратившій не мало волосъ въ теченіе болѣе чѣмъ пятидесятилѣтняго служенія ясновельможному королю Сигизмунду-Августу и безсмертной богинѣ Афродитѣ, небольшая, круглая, какъ и панскій животъ, борода, выдающійся впередъ, какъ у плотояднаго звѣря, подбородокъ, и голубые, чешскіе, но болѣе, чѣмъ у простого чеха, плутоватые глаза, — весь этотъ типическій ликъ принимаетъ оттѣнки всевозможныхъ выраженій, смотря по тому, къ кому обращается это слащаво-плутовское лицо: покорно-лисъе передъ высшими, изящно-пѣтушиное передъ низшими и положительно неизобразимое передъ хорошенькими пани и паннами.

Для каждого изъ гостей у хозяина готово привѣтствіе, вопросъ, шутка, любезный каламбуръ, выразительная улыбка, изящный поклонъ. Хозяину платится тѣмъ-же: наклоненіе головъ, шарканье ногъ, бряцанье карabelей и шпоръ, рыцарскія осанки, закручиванье усовъ, въ знакъ удовольствія и чести, стрѣлянье хорошенькими глазками изъ-подъ черныхъ соболиныхъ и русыхъ соколиныхъ бровокъ прелестныхъ пани; присѣданье и показываніе блестящихъ перламутровъ изъ-за розовыхъ губокъ восхитительныхъ паненокъ — голова, кажется, пойдетъ кругомъ отъ всего этого, только не у такого боевого коня гостинной, какъ панъ воевода сендомирскій.

Но вотъ во внутреннихъ покояхъ палаца слышится особенное движеніе, таинственный шумъ, что-то чрезвычайное... Шумъ близится къ приѣмному покою... Хлопы суетятся, словно имъ за чулки и за пазухи жару насыпано... Панскіе глаза и глазки разгораются...

„Cos moskiewskie!...“.

И въ сопровожденіи ясновельможнаго князя Константина Вишневецкаго входитъ это „нѣчто московское“... Всѣ головы и взоры обращаются въ ту сторону...

Входитъ невысокій, сухощавый, съ рыжевато-русыми волосами юноша... Смуглое, некрасивое, кругловатое лицо, изобличающее необычайную, львиную мощь въ скулахъ, ту именно мощь, которая, какъ выразился Гришка Отрепьевъ, въ состояніи раздавить цѣлое московское царство, словно гнилой орѣхъ; большой, широкій, съ широкими, энергически очерченными ноздрями носъ, въ свою очередь изобличающій необычайно энергическую работу легкихъ, которымъ нужно слишкомъ много и втягивать и выдыхать воздуха, чтобы удовлетворить кипучую натуру этого пришельца; голубые глаза, какъ-то, если можно такъ выразиться, постоянно о чемъ-то „своемъ“ думающіе и никому этого „своего“ не выдающіе, — все это невольно и повелительно приковываетъ вниманіе къ этому задумчивому юношѣ... И въ самой бородавкѣ, что сидитъ подъ носомъ, видится что-то необычайное... Отъ всего этого широкаго, угловатаго черепа отдаетъ упрямою, безумно-самонадѣянною силою. Чувствуется, что и сила это угловатая, неровная...

А! такъ вотъ оно то, что можетъ поставить вверхъ дномъ всю необозримую Московщину, залить ее кровью, выпалить пожарами и издыхающую бросить подъ ноги, подъ золотыя подковы свободолубивой Польши...

Какъ, однако, онъ неловко, несмѣло выступаетъ среди блестящей обстановки воеводскихъ покоевъ. Но это молодой левъ, выступающій изъ кѣтки, не размявшійся, невыправившій стальныхъ мускуловъ, не видящій еще жертвы, на которую онъ бросится...

Хозяинъ представляетъ ему наиболѣе знатныхъ гостей. Пришлецъ присутствуетъ ихъ кратко, угловато, но царственно, съ дикимъ, московскимъ царственнымъ величіемъ... Шея его не гнется, а холодные, какъ московскіе льды, глаза, глубоко забираясь въ душу, заставляютъ кланяться ему, робѣть передъ нимъ, когда онъ самъ, кажется, робѣетъ, но только дико, по львиному...

Да, это онъ... эта угловатая голова необычно сдѣлана—этотъ угловатый черепъ выкованъ по формѣ короны—тутъ должна крѣпко сидѣть корона...

Это—московскій царевичъ Дмитрій, сынъ страшнаго покорителя Казани и Астрахани, могучихъ царствъ татарскихъ, царя Ивана Грознаго, чудесно спасшійся отъ ножей убійцъ.

Мнишекъ сажаетъ царевича на почетное мѣсто. По правую сторону его помѣщается князь Вишневецкій, по лѣвую — прелестнѣйшее существо, съ черными, какъ вороново крыло, роскошными волосами, съ черными, какъ вороненная сталь, и подчасъ холодными, какъ эта сталь, подчасъ жаркими, бросающими въ ознобъ глазами. Это—дочь воеводы, Марина, сестра той, которая сидитъ рядомъ съ княземъ Вишневецкимъ, своимъ мужемъ,—сестра хорошенькой Урсулы. Марина старше Урсулы; но младшая сестра опередила старшую замужествомъ, потому... да потому, что Урсула—не Марина. Марина не удовольствовалась бы Вишневецкимъ. Марина не изъ такихъ дѣвушекъ, конечная цѣль стремленій которыхъ замужество: хоть чертъ—да мужъ, хоть скотъ—да супружеское ложе даетъ... Хорошенькая головка Марины не о скотоложствѣ помышляла... Иные образы, иные видѣнія окутывали ея дѣтство, отрочество, молодость... Идеалы недостижимые, картины невиданныя носились въ этихъ чудныхъ видѣніяхъ, надъ задумчивою головою дѣвочки...

Словно и теперь на мгновенье посѣтили ее эти видѣнія... Мысли и взоры ея унеслись куда-то... зрачки ея большихъ прелестныхъ глазъ расширены...

Да, она унеслась далеко — въ дѣтство свое, въ отрочество, въ сферу своихъ видѣній... „Они исполняются“, что-то шепчетъ внутри нея: „ухъ, страшно до ужаса стоятъ на такой высотѣ... на милліонахъ головъ... выше царствъ... и спасти эти милліоны... ухъ, страшно, страшно!“...

Еще маленькими дѣвочками, обѣ сестры, и Урсула и Марина, были такъ непохожи одна на другую. Нарядненькая, разодѣтая, завитая Урсула охорашивается передъ зеркаломъ, напѣваетъ веселыя пѣсенки, мечтаетъ о томъ, какъ она въ воскресенье, въ костелѣ, поразить своего вздыхателя, Дольцю, новымъ пунсовымъ бантомъ въ волосахъ...

— Ахъ, Марыню, посмотри — идетъ ли ко мнѣ этотъ пунцовый бантъ? — лепечетъ маленькая кокетка.

А Марыня не видитъ, не слышитъ... Она стоитъ у окна и смотритъ на

развертывающіяся передъ ея глазами живописныя картины берега Днѣстра съ грандіозными изломами горнаго кряжа, на величественную панораму Заднѣстровья... Но ни этихъ картинъ, ни этой панорамы не видитъ она... Видитъ она невиданныя страны, невиданныхъ людей... Передъ нею дивныя невѣдомыя царства, невѣдомыя народы, невѣдомая природа... Эти невѣдомыя царства она, Марыня, просвѣщаетъ свѣтомъ божественнаго ученія... Она стоитъ на возвышенной равнинѣ подъ жгучимъ солнцемъ, и одинокая пальма, подъ которою она стоитъ, не можетъ даже бросить тѣни, потому что экваторіальное солнце печетъ ее вертикальными лучами... Вокругъ, сколько въ силахъ окинуть глазъ, волнуется море изъ головъ человѣческихъ—это народы, пробужденные ею къ новой жизни... О! какія массы ихъ! какъ велико это море людское! И вѣютъ надъ этимъ живымъ моремъ знамена, и на знаменахъ—новые кресты—цѣлый лѣсъ, цѣлый боръ знаменъ, преклоняемыхъ передъ нею, Марынею, и она благословляетъ этотъ лѣсъ знаменъ, эти волны народовъ, ею обращенныхъ къ свѣту евангелія, этихъ царей въ золотыхъ коронахъ и въ барсовыхъ да львиныхъ шкурахъ, съ копьями и стрѣлами... Эти цари, народы, цѣлыя страны невѣдомаго міра пришли поклониться ей Марынѣ, великому миссіонеру великаго, вѣчнаго Рима, послу намѣстника Христова... .

— Марыню! Марыню! Да посмотри же! Ахъ, какая ты дикая!—нетерпѣливо щебечетъ Урсула, рисуясь передъ зеркаломъ.

А дикая Марыня все стоитъ у окна и смотритъ, далеко куда-то смотритъ и что-то далекое видитъ... Видитъ она себя въ вѣчномъ Римѣ, въ капитоліи, на возвышеніи, рядомъ со святымъ отцомъ... И святой отецъ возвѣщаетъ народу о ней, о Марынѣ, о ея великихъ проповѣдническихъ подвигахъ, о томъ, что она словомъ Божіимъ завоевала церкви новыя, невѣдомыя страны, обратила въ христіанство миллионы народовъ невѣрныхъ... И вѣчный Римъ ликуетъ... Гремитъ имя Марыни—новаго апостола невѣдомыхъ странъ, и также передъ нею вѣютъ знамена, и также этотъ лѣсъ знаменъ преклоняется предъ Марыней, и стонетъ голосами великій Римъ, прославляя имя Марыни... .

— Да у тебя коса распустилась, Марыню. Ахъ, ты дикарка! — волнуется Урсулочка.

А дикарка все стоитъ неподвижно, не замѣчая, что ея вороненая сталь-коса дѣйствительно распустилась, тяжелыя пряди свѣсились ниже пояса... Да и какъ этимъ прядямъ не упасть съ головки Марыни? На этой головкѣ—Марыня чувствуетъ—царская корона... Марыня, подобно Іоаннѣ д'Аркъ, ведетъ легіоны для спасенія своей дорогой Польши отъ дикихъ турокъ, отъ схизматиковъ москалей-варваровъ... И вся Польша рукоплещетъ ей, Марынѣ, и татко рукоплещетъ, и Урсула.

— Просимъ! просимъ!—раздались голоса гостей.

Марыня опомнилась. Она—не Марыня, а уже Марина. Около нея сидитъ московскій царевичъ... Неужели видѣнія дѣтства сбываются?..

— Когда Богъ съ помощію великодушнаго и во всемъ свѣтѣ гремя-

щаго славою польскаго народа, возстановить меня на прародительскомъ престолѣ, я изведу московское царство изъ мрака варварства, я насажу въ моемъ отечествѣ цвѣты просвѣщенія — и великодушная Польша съ ея прекрасными обычаями будетъ служить для меня примѣромъ, — говорилъ съ воодушевленіемъ этотъ таинственный юноша, котораго называли московскимъ царевичемъ.

— Да здравствуетъ царевичъ Димитрій! — воскликнуло нѣсколько голосовъ...

Марина вздрогнула... Да, это онъ — царевичъ Димитрій, который не смѣетъ поднять на нее глаза. А она видѣла эти глаза — странные, глубокіе, съ какимъ-то двойнымъ свѣтомъ, словно тамъ, въ глубинѣ, виднѣются другіе глаза, и другой обликъ тамъ виднѣется человѣческій...

Безконечный обѣдъ подвигается къ концу. И подстолій, и крайчій, и подчашій, распоряжающіеся стаями слугъ, сбились съ ногъ. Устали и слуги, бѣгая съ блюдами уже третьей и четвертой перемѣны и ставя на столы всевозможныя яства: жаворонки, воробьи, чижи, коноплянки, чечетки, кукушки, пѣтушьи гребешки, козьи хвосты, хвосты бобровые, медвѣжьи лапы — все перебывало на столахъ.

А сколько тостовъ! Сколько пролито вина въ разгоряченные пиромъ и шумною бесѣдою глотки!

А какіе невиданные цукры украшаютъ столы! Цѣлыя горы издѣлій и печеній изъ сахару — люди, города, деревья, животныя... А это что за небывалые цукры? Двуглавые орлы изъ сахару, московскій Кремль съ позолоченными куполами церквей... А это что такое? Сахарный тронъ. на тронѣ, въ странной шапкѣ, въ видѣ короны — юноша... Да это — московскій царевичъ... вонъ и бородавка изъ сахару, и сахарная корона — это шапка Мономаха...

И музыка играетъ неустанно... Съ музыкантовъ потъ катится, а духовые инструменты гудятъ и завываютъ...

У Марины голова кружится, какъ ни привыкла она къ подобнымъ пирамъ; но тутъ въ воздухѣ что-то особенное, одуряющее...

— И Киръ царь персидскій, и Ромулъ римскій — были пастухами... А какія великія государства zaloжили... А я — царской крови, я прирoжoнный державца, — говоритъ кто-то около Марины.

Это онъ говоритъ — онъ — съ непонятными глазами.

— Онъ истинный царевичъ! — слышится возгласъ.

Марина опять въдрагиваетъ... Онъ — рядомъ съ нею... а потомъ будетъ не рядомъ — высоко на тронѣ... Куда же исчезли видѣнія дѣтства?..

— Москва — народъ грубый, варварскій, пане... А этотъ знаетъ и исторію и риторикy... Онъ долженъ быть царскій сынъ, пане, — долетаетъ до слуха Марины смѣшанный говоръ.

А Урсула щебечетъ съ кѣмъ-то... Ей весело... И татко веселъ... Только Маринѣ не весело — ей что-то страшно... Какъ душно кругомъ!.. Жарко, словно тамъ, подъ экваторіальнымъ солнцемъ, подъ одинокой пальмой...

— Вы достигнете благихъ цѣлей, ваше царское высочество, если отдадите себя могущественному покровительству святаго отца, — ласкающимъ голосомъ говорить ксендзъ Помасскій.

— Я буду просить покровительства святаго отца, — отвѣчаетъ таинственный юноша.

— Я бы совѣтовалъ вашему высочеству прежде всего написать нунцію Рангони, выяснить ему ваше положеніе, ваши надежды и дальнѣйшія намѣренія, — продолжаетъ ласкающій голосъ отца Помасскаго.

— Я напишу...

— По благословенію его святѣйшества вся Польша пойдетъ за вашимъ высочествомъ.

— Идемъ! всѣ идемъ! — реветъ собраніе.

Обѣдъ подходитъ къ концу. Говоръ становится смѣшаннымъ, неяснымъ... Дамы удаляются на другую половину...

Выходить и Марина. Она шатается.

— Поддержи меня... мнѣ дурно... я упаду, — шепчетъ она сестрѣ.

Испуганная Урсула ведетъ ее въ спальную.

— Московія... Сибирь... Азія...

— Что съ тобой Марыню? Ты что-то шепчешь... Ты больна... Езусъ-Марія.

Дойдя до гипсоваго, обвитаго плющемъ большого распятія, Марина крыжомъ упала передъ нимъ и заплакала.

V.

На охотѣ.

Въ Самборѣ шли пиры за пирами. Со всѣхъ сторонъ съѣзжалась шляхта, чтобы посмотреть на московское чудо и попить. Какъ волны отъ брошеннаго въ воду камня, расходились слухи отъ Самбора, и чѣмъ дальше проникалъ слухъ, тѣмъ фантастичнѣе становился онъ, тѣмъ таинственнѣе и привлекательнѣе дѣлался образъ того, около котораго носились эти облака слуховъ, легендъ, предположеній и загадываній въ далекое будущее.

Когда онъ еще былъ ребенкомъ, то его переводили изъ монастыря въ монастырь, чтобы скрыть отъ Годунова. Всю Московію прошелъ онъ, до Сибири дошелъ; но и тамъ искали его шпионы Бориса. Онъ ушелъ къ лопарямъ, оттуда на Ледовитый океанъ. Норвежскіе китоловы взяли его на льдинахъ сѣвернаго моря... Изъ Швеціи пробрался онъ къ ливонскимъ рыцарямъ, а оттуда съ рыцаремъ Корелою пошелъ на Донъ... Онъ отлично ѣздитъ на конѣ, превосходно владѣетъ оружіемъ, убиваетъ ласточку на лету... Онъ не схизматикъ, а католикъ — принялъ католичество въ Римѣ... Тамъ его видѣли пилигриммы, въ власяницѣ и въ веригахъ. Онъ молился и плакалъ о своей холодной Московіи, которую Богъ наказалъ за схиму — посадилъ на московскій престолъ татарина, казанскаго мурзу... Царевичъ

далъ обѣтъ святому отцу вывести изъ Московіи проклятую схизму и насадить католичество... Онъ сольетъ всю Московію и Сибирь съ Польшею, какъ слилась съ нею Литва, и тогда Польша раскинется отъ Одера и Вислы до Китая, до Ледовитаго и Тихаго океана... Оттуда польскіе удалцы переплывутъ въ Америку—и золотая польская рѣчь зазвучитъ на развалинахъ царства Монтесумы, и останутся только два великихъ народа въ мірѣ—поляки и французы...

Послѣ одного изъ самыхъ роскошныхъ пировъ, Мнишекъ, провозгласивъ тостъ за здоровье московскаго царевича и за предстоящую дружескую связь Польши съ Москвою, объявилъ гостямъ, что остальную часть дня они должны посвятить охотѣ и показать дорогому московскому гостю всю прелесть польскаго полеванья.

И мужчины и дамы приняли это извѣстіе съ восторгомъ. Охота сама по себѣ—наслажденіе для благородныхъ сердецъ, а охота въ присутствіи посторонняго наблюдателя—да при томъ не простого, а птицы самаго высокаго полета—это ужъ актъ національнаго торжества.

Вскорѣ было все готово къ выступленію—и выступленіе началось. Рога трубятъ что-то необычайное, дворовые охотники давно на своихъ мѣстахъ. Лошади ржутъ отъ нетерпѣнія. Собаки прыгаютъ и визжатъ отъ радости.

А что за прелесть эти пани и панны на красивыхъ выхоленыхъ коняхъ. Все блеститъ золотомъ и серебромъ. Солице играетъ на гладко полированномъ оружіи, на серебряныхъ уздечкахъ, на рыцарскихъ шпорахъ, на дамскихъ ожерельяхъ, на собачьихъ ошейникахъ...

Тутъ и самъ Мнишекъ во главѣ поѣзда. На сѣдлѣ онъ кажется много выше, величественнѣе. Тутъ и Урсула и Марина. Послѣдняя смотритъ оживленнѣе: сквозь матовую бѣлизну щекъ просвѣчиваетъ нѣчто въ родѣ румянца, такого нѣжнаго, едва уловимаго глазомъ, но тѣмъ еще болѣе чарующаго; глаза ея кажутся еще чернѣе, еще больше... Да и какъ имъ не быть больше? Они, кажется, начинаютъ прозрѣвать въ ту темную бездну, изъ которой смотрѣли на нее другіе глаза съ непонятною для нея думою... Теперь она, кажется, что-то уловила тамъ, въ безднѣ—что-то блеснуло оттуда, словно изъ другого міра, и освѣщаетъ путь въ этотъ далекій, невѣдомый міръ... Вмѣсто пальмы, тамъ стоитъ одинокая сосна, вмѣсто экваторіальнаго солнца — ледяное море; даже небо какое-то ледяное... Да что за дѣло до этого ледяного моря, когда внутри ея души что-то теплится?...

— Посмотри, Марыню, какъ онъ странно сидитъ на конѣ,—шепчетъ шаловливая Урсула:—точно истуканъ на тронѣ.

Марина смотритъ и ничего не видитъ страннаго. Онъ сидитъ спокойно, ровно, твердо, не вертляво, какъ панъ Стадницкій, не закручиваетъ своихъ усовъ, какъ панъ Тарло, не рисуется, какъ панъ Домарацкій.

— А какой татко смѣшной. Точно самъ панъ круль,—болтаетъ неугомонная Урсула.

Марина смотритъ въ сторону отца и улыбается. Тотъ торжественно шлетъ ей поцѣлуй по воздуху и словно бѣсъ вертится около царевича.

Подъ царевичемъ бѣлый конь выступаетъ грузно, солидно, выгибая свою лебединую шею. Самъ Дмитрій смотритъ молодымъ шляхтичемъ— модный портной съ головы до ногъ превратилъ его въ поляка и только маленькой шапочкѣ придалъ что-то неуловимое, что-то такое, что напоминало корону.

— Знаешь, Марина, кого онъ теперь напоминаетъ?— снова болтаетъ Урсула.

— А кого?

— Помнишь московскій гербъ, что намъ татко показывалъ?

— Помню.

— Помнишь—тамъ въ серединѣ герба кто-то скачетъ на бѣломъ конѣ и копьемъ бьетъ въ пасть страшнаго змѣя съ ногами.

— Да, это, отецъ говоритъ, Георгій-побѣдоносецъ, онъ поражаетъ дракона, чтобы спасти царскую дочь.

И сказавъ это, Марина покраснѣла. Урсула замѣтила это.

— А! тихоня!... Кто эта царская дочь? Ну, говори—кто?—приставала она.

— Не знаю...

— То-то, тихоня, не знаю!... А знаешь, Марыню, въ Москвѣ на него, вмѣсто хорошенькаго контуша, надѣнуть зипунъ золотой, безъ рукавовъ.

Марина потупилась и ничего не отвѣчала, тѣмъ болѣе, что въ это время къ ней подѣхала на красивомъ аргамакѣ полненькая блондинка въ лиловомъ баретѣ съ страусовыми перьями. Бѣлокурые волосы, выбиваясь изъ-подъ барета, развивались по вѣтру. Не смотря на свою полноту и, повидимому, не первую молодость, блондинка ловко сидѣла на сѣдлѣ.

— А молодой московскій медвѣдь, кажется, раненъ, панна Марина?— сказала она, лукаво улыбаясь.—Панна замѣчаетъ это?

— Ахъ, пани Тарлова! Марыня ничего не замѣчаетъ! Она не замѣтила даже за обѣдомъ, какъ московскій медвѣдь чуть цыпленкомъ не подавился, когда она на него взглянула,—заболтала Урсула.

Пани Тарлова расхохоталась. Только Марина ѣхала молча.

— Ахъ, панна Марина! панна Марина! не миновать вамъ московской кики и душегрѣи... Видите, какъ медвѣдь косится на васъ?—продолжала пани Тарлова.—Надѣнуть на васъ московскій сарафанъ и кикю.

— Кикю, пани? Ахъ, какъ смѣшно! Что это за кика такая, пани?— смѣялась Урсула.

— Кика? Это—цось московске—мода у нихъ такая... Этакій баретъ съ рогами...

Съ рогами? Ахъ, какой ужасъ, пани! Ахъ, Езусъ, Марія!

— Не смѣйтесь, пани,—серьезно прибавила пани Тарлова:—можетъ быть, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ вы сочтете за честь, пани, быть покоевой у московской царицы, у вашей младшей сестры.

— Ахъ, пани, ни за что въ мірѣ!—протестовала Урсула.

— А вообразите, пани, царскую корону на этой черненькой головкѣ—а?—настаивала пани Тарлова, указывая на головку Марины въ пувцовомъ баретѣ, изъ-подъ котораго сыпались пряди черной какъ смоль косы.

А черная головка Марины думала, настойчиво думала—только не о коронѣ. Въ головѣ ея и во всѣхъ нервахъ, словно горячечный бредъ, неумолчно звучали слова, брошенные ей сегодня въ костелѣ паномъ пробощемъ, отцемъ Помасскимъ, когда она прикладывалась къ иконѣ святой Дѣвы: „Помни, дочь моя, что Богъ избралъ орудіемъ своего благого промысла для спасенія рода человѣческаго Дѣву чистую... Способна ли и достойна ли ты стать орудіемъ Бога для оказанія новаго промысла надъ слѣдующею половиною рода человѣческаго?... Подумай объ этомъ, любимая дочь моя въ Богѣ... Подумай—перстъ божій на тебя направляется...“

„Перстъ божій... Какъ страшенъ этотъ перстъ... Господи! что-жъ это такое?... Спаси меня, Дѣва святая!.. Я не достойна... Я не вынесу страданій... Охъ, страшно, до ужаса страшно стать надъ этой пропастью... А если эта пропасть меня ждетъ, какъ жертвы?... Но я—малая жертва, я пылинка въ мірѣ... А великія дѣла требуютъ великихъ жертвъ... Мамо! Мамо! научи меня...“

— О чемъ мечтаетъ черная головка подъ пувцовымъ баретомъ?—вдругъ раздается мужественный голосъ надъ ухомъ Марины.

Дѣвушка вздрогнула. Рядомъ съ нею ѣхалъ панъ Домарацкій, перегнувшись на сѣдлѣ и заглядывая Маринѣ въ лицо.

— Какъ вы прелестны, панни Марина, и въ особенности сегодня,—продолжалъ Домарацкій.—Я не удивляюсь, если князь Корецкій, съ отчаянья, пойдетъ одинъ на медвѣдя и найдетъ смерть въ его объятіяхъ, вмѣсто другихъ объятій, о которыхъ онъ мечталъ.

Марина поблѣднѣла. Она какъ-бы вспомнила что-то и, немного помолчавъ, сказала:

— Панъ зло шутитъ—я этого не ожидала отъ пана.

Ей стало жаль почему-то молодого Корецкаго. Они были давно дружны—онъ такъ непохожъ на всѣхъ остальныхъ. И вдругъ въ послѣднее время онъ какъ-то ускользнулъ изъ ея глазъ, изъ ея памяти... Бѣдный Дольцю! Марина чувствовала, что она—не то жестока, не то несчастна... Ей плакать хотѣлось... А тутъ въ сердцѣ наболѣваетъ что-то острое: „Подумай дочь моя,—перстъ божій на тебя направляется...“ Дольцю! Дальцю!

Въ это время къ ней подѣхали еще два всадника, и взоры всѣхъ охотниковъ обратились въ ту сторону. Подѣхавшіе были—самъ Мнишекъ и царевичъ.

— Куда ты вдругъ дѣвала свой румянецъ, пуречка моя? — нѣжно обратился старикъ къ Маринѣ.—А за обѣдомъ была такая розовенькая. Не болитъ головка?

— Нѣтъ, татуню,—это—волненіе передъ битвой,—отвѣчала дѣвушка, улыбаясь.

— А панна любить битву?—спросилъ царевичъ какъ то загадочно.

— Съ звѣрями, князь? О нѣтъ, мнѣ жаль бѣдныхъ звѣрей.

— Панна права. Но битва—удѣлъ мужчины.

— И женщины,—добавила Марина тоже загадочно.

— О! она у меня Іоанна д'Аркъ!—весело сказалъ Мнишекъ, взглядывая многозначительно на царевича.

Марина чувствовала, что она вновь краснѣетъ. Она чего-то ждала и—боялась.

— О! счастливъ долженъ быть тотъ монархъ, который найдетъ свою Іоанну,—медленно сказалъ Дмитрій.

Затрубили рога. Поле охоты и лѣсъ были близко. Поле было ровное, открытое, съ двухъ сторонъ окруженное лѣсомъ, который раскидывался съ одной стороны по полугорью и кое-гдѣ открывалъ небольшія прогалины, съ другой стороны синѣлся сплошной боръ, упиравшійся въ извилистые берега Днѣстра.

Въ лѣсу тихо. Но это не мертвая тишина: это не сѣверный боръ, угрюмую тишину котораго изрѣдка нарушаетъ трескъ сухихъ вѣтвей, ломающихся подъ тяжелою ступнею медвѣдя-анакорета; южный лѣсъ говорливъ столько же, сколько сѣверный молчаливъ, задумчивъ. Тутъ говорить и дикій голубь-припутень, и пестрый сорокопудикъ, и задорливый кобчикъ. Особенно настойчиво выговариваетъ что-то голубь-припутень, котораго рѣчь напоминаетъ рѣчь гугняваго ребенка.

Слышны въ лѣсу и человѣческіе голоса, но тихіе, сдержанные. За опушкой лѣса, подъ темнымъ, развѣсистымъ грабомъ сидятъ нѣсколько человѣкъ и изрѣдка перекидываются словами. По костюму видно, что это хлопы, мѣстные крестьяне. Около cadaго лежитъ мѣшокъ, и въ мѣшкѣ иногда движется что-то живое.

— А ты, дядьку Ничипоре, самъ, кажешь, бачивъ его? — говоритъ молодой парень въ бѣлой, шитой саполочью рубахѣ и въ соломенной шляпѣ.

— Та бачивъ, якъ возивъ лисицю на паньскій двіръ, — отвѣчаетъ другой въ тепломъ малахаѣ.

— Его, кажутъ, маленькаго хтили заризати паны, такъ царское тило буцимъ просте зализо не бере.

— Не бере-жъ,—поясняетъ третій, въ овчинномъ полушубкѣ:—треба, щобъ те зализо коваль ковавъ у велику п'ятницю, коли жида Христа мучать.

— Отъ диво!—удивляется парень въ соломенной шляпѣ.—Такъ винъ и утикъ?

— И утикъ.

Парень засвисталъ. Ему очень понравилось, какъ „тотъ утикъ“.

— Що жъ винъ теперъ на москаля вдаре?

— Вдаре.

— Пропавъ же теперъ москаль! А кажутъ люди москалеви добре жити:

у ихъ нема панивъ, а пидпанки. У ихъ и хлопивъ нема, кажуть: у По-
чанивъ приходили москали-богомольци, такъ казали, що нема хлопивъ. Оде
поживе чоловікъ у пана лиго та зиму, а якъ прійде святой Юрко, такъ
той чоловікъ и йде куды схоче.

— Овва! дурни москали!—замѣтилъ полушубокъ: — а якъ-же винъ
свою хату повине?

Этотъ вопросъ, повидимому, озадачилъ бесѣдующихъ. Но вопросъ такъ
и остался вопросомъ, потому что въ это время изъ-за кустовъ показалась
человѣческая фигура въ темнозеленомъ коротенькомъ казакинѣ со множе-
ствомъ ремней, шнурковъ и огромнымъ буйволовымъ рогомъ въ мѣдной
оправѣ. Хлопы встали и сняли шапки, поглядывая то на пришедшаго, то
на свои мѣшки.

— А гдѣ-жь Марекъ?—спросилъ пришедшій.

— Марко тамъ, пидъ тройчатымъ грабомъ,—отвѣчалъ малахай.

— У него лисица?

— Лисиця та зайць, пане.

— А у тебя что?

— У мене зайць, пане, та дике козиня—молоде сайгачиня.

— А у тебя?—обратился пришедшій къ парню въ шитой сорочкѣ.

— Зайчикъ.

— Что-жь онъ у тебя не шевелится?

Спать, мабудъ, пане.

Остальные переглянулись.

— Что ты врешь, — пся кровь?—И пришедшій потрогалъ мѣшокъ
парня.—Ты его задавилъ?

— Ни, пане, се, мабудъ, винъ самъ.

Нагайка пришедшаго свистнула и хлестко пришлась по спинѣ парня.
Тотъ не поморщился.

— Чтобъ къ слѣдующей охотѣ поймалъ двухъ зайцевъ и лисицу!
Слышишь?

— Чую.

— Чтобъ поймалъ, псяюха!

— Піймаю.

Потомъ, обратясь къ остальнымъ хлопамъ, панскій псарь-дозорца сказалъ:

— Какъ услышите два рожка—мой и пана Непомука, заразъ развя-
зываютъ мѣшки и пускаютъ звѣрей.

— Добре, пане,—знаемо якъ робить, щобъ на верби груши були,—
отвѣчалъ малахай, лукаво улыбаясь.

— То-то же, смотрите, чтобъ передъ московскимъ царевичемъ лицомъ
въ грязь не ударить.

— Не вдаримо, пане.

Дозорца скрылся. Хлопецъ въ шитой сорочкѣ, ухватившись за бока,
такъ и покатился со смѣху. Онъ и забылъ, что нагайка оставила красную
полосу на его широкой спинѣ. Да что спина? Обтерпѣлась...

— Отъ продова дитина, бисивъ заяць, не дождавсь московського царевича—взявъ та и здохъ...

И веселый хлопецъ снова заливался, развязывая свой мѣшокъ и вынимая оттуда мертваго зайца.

— Я его продамъ Непомукови.

Засмѣялся и малахай.

— Ты чому, дядьку, смієшься?—спросилъ хлопецъ.

— Та надъ Неповумомъ же—якъ винъ свою пани зайцемъ подарувавъ.

— А якъ дядьку?

— Такъ подарувавъ, що ажъ пальци знати... Приносить винъ до своєї пани зайця.—„Де ты, каже пани, его взявъ?“—Убивъ, каже, пани. „А якъ?“ пытається вона.—Та отъ-якъ, каже, пани ласкава: оце поихавъ я у дозоръ до лису... Отъ и бачу: вискочило двухъ заенцовъ...

Вдругъ раздался протяжный вой сигнальнаго рожка. На этотъ вой отвѣчали съ другой стороны, и въ то же время десятки голосовъ огласили лѣсъ изъ конца въ конецъ: „Ату-ату! ого-го-го! ого! ату-ату!“

Эго кричали хлопы, облавой обступившіе лѣсъ по панскому наказу и выгонявшіе звѣря на охотниковъ. Развязали свои мѣшки и тѣ хлопы, что сидѣли въ засадѣ, и выпустили своихъ плѣнниковъ. Вѣдныя звѣри, долго томившіеся въ мѣшкахъ и снова вспугнутые голосами облавщиковъ, стремглавъ понеслись изъ лѣсу въ открытое поле—на вѣрную смерть.

— А на полѣ уже шла отчаянная травля. За каждымъ звѣремъ, выскочившимъ изъ лѣсу, неслись собаки вперемежку со всадниками. Переливчатый лай собакъ, возгласы охотниковъ и псарей, разноголосое гудѣнье рожковъ и стоны лѣсныхъ облавщиковъ—отъ всего этого и не звѣрь могъ растеряться и броситься въ пасть смерти.

Впереди всѣхъ несется князь Корецкій. Лиса, которую онъ намѣтилъ, вытянувшись въ струнку и ушуливъ подвижныя уши, забираетъ къ Днѣстру—надо ей перерѣзать дорогу, бросить или на собакъ, или на доѣзжачихъ. Старый, толстый Мнишекъ силится перегнать поджараго зайца. Панъ Тарло, панъ Домарацкій, панъ Стадницкій, маленькій паничъ Осмолевскій, котораго едва видно на сѣдлѣ, князь Вишневецкій, знатная и незнатная шляхта—все за работой.

Одинъ царевичъ стоитъ среди поля въ какомъ-то раздумьи. И лошадь подъ нимъ стоитъ смирно, поводя ушами. Для нихъ, какъ видно, нѣтъ достойнаго противника-звѣря.

А дамы стоятъ въ сторонѣ, на возвышеньи. Все поле передъ ними—словно развернутый листъ бумаги. Тамъ и сямъ двигаются темныя точки, едва замѣтныя, и человѣческія фигуры на коняхъ. Все это какъ-то странно. Что нужно этимъ людямъ? Голодны они что-ли, что такъ отчаянно мчатся за обезумѣвшимъ отъ ужаса звѣремъ? Нѣтъ, не голодны они. И зачѣмъ такъ всегда бываетъ, что сытый преслѣдуетъ голоднаго?

— Что жъ онъ стоитъ статуей? — нетерпѣливо спрашиваетъ панъ Тарлова.

— Кто, пани?

— Царевичъ.

— О! пани, онъ ждетъ дракона, — лукаво замѣчаетъ Урсула, взглядывая на Марину.

— Какого дракона, пани?

— Того, котораго Марыня видѣла.

Но вмѣсто дракона изъ лѣсу показывается медвѣдь. Дамы ахаютъ. Медвѣдь, преслѣдуемый криками облавщиковъ и собаками, грузно бѣжитъ черезъ поле. Бросившаяся-было на него собака взвизгиваетъ и словно скомканная тряпка отлетаетъ на нѣсколько шаговъ... Медвѣдь идетъ по направленію къ царевичу. Охотники замѣчаютъ это и поднимаютъ крикъ. Мишекъ, Вишневецкій, панъ Тарло и панъ Домарацкій поворачиваютъ коней и скачутъ къ царевичу.

— Борисъ! Борисъ идетъ на васъ, ваше высочество! — громко кричитъ панъ Домарацкій.

— Спасайтесь, ваше высочество! — отчаянно кричитъ Мишекъ. — Не подвергайте вашей драгоцѣнной жизни опасности — она нужна милліонамъ вашихъ подданныхъ.

— Ваше высочество! Идите на Годунова! Ссадите его съ престола! — продолжалъ Домарацкій.

Царевичъ точно опомнился. Поднявшись на сѣдлѣ и одной рукой подобравъ удила, а въ другой держа большой двустольный пистолетъ, онъ поскакалъ панерерѣзъ медвѣдю... Медвѣдь остановился, какъ бы нюхая землю... Дамы вскрикнули отъ ужаса... Остановился и царевичъ — медвѣдь былъ въ нѣсколькихъ шагахъ...

Раздался выстрѣлъ — пуля царевича угодила въ звѣря. Послѣдовало еще нѣсколько выстрѣловъ со стороны.

Звѣрь зарычалъ отъ боли и, вставъ на заднія ноги, пошелъ, словно старая грузная баба. Онъ шелъ прямо на царевича. Послѣдній не дожидаясь страшнаго противника, соскочилъ съ коня и, выхвативъ изъ-за пояса блестящую граненую сталь, въ одинъ прыжокъ очутился подъ звѣремъ... Дамы закрыли глаза. Марина въ безмолвномъ ужасѣ протянула впередъ руки, какъ бы хватаясь за воздухъ... Мгновенье — и звѣрь, раскрывши свои мохнатые объята, чтобы заключить въ нихъ тщедушнаго противника, такъ и грохнулся наземь съ растопыренными передними лапами, вдавивъ лезвіе громаднаго ножа глубоко подъ свою мясистую лопатку, а рукоятку ножа — въ землю...

Въ это мгновенье изъ-за пригорка показался всадникъ, скакавшій изъ Самбора. Онъ держалъ въ рукахъ бумагу.

— Грамота, пане воеводо, грамота! — кричалъ онъ.

Пестрая толпа пановъ, окруживъ царевича и медвѣдя, не знала, на кого глядѣть отъ изумленія — на царевича ли, стоявшаго въ задумчивости надъ трупомъ звѣря, на страшный ли трупъ этотъ, или на гонца, привезшаго грамоту... Нашелся лишь панъ Домарацкій.

— Страшный Борисъ у ногъ вашего высочества, — сказалъ онъ торжественно. — Это — знаменіе!

VI.

Димитрій у короля Сигизмунда.

У воротъ королевскаго дворца въ Краковѣ собралась огромная масса народа. Свободная, слоняющаяся безъ всякаго дѣла разношерстная шляхта съ карабелями у бока, съ закрученными до нельзя усами, въ высокихъ, на металлическихъ подковахъ бутахъ, съ звенящими, словно сталепроватный заводъ, шпорами, съ заломленными на бекрень ухорскими шапками и щеголеватыми чапечками, съ ухватками, вызывающими на бой всякаго дерзкаго, который рискнулъ бы наступить на шляхетскую мозоль; мастеровые въ разноцвѣтныхъ, изодранныхъ, закопченныхъ дымомъ и лоснящихся отъ сала и дегтя курткахъ и штанахъ; хлопы въ бѣлыхъ и пестрыхъ свиткахъ и рубахахъ; евреи въ типичныхъ длиннополыхъ сюртукахъ и ермолкахъ, съ историческими пейсами и исторически-сладкими, исторически-умными, исторически-лукавыми и исторически-хищными выраженіями и очертаніями глазъ, носовъ, губъ и подбородковъ, — все это, словно изъ гигантскаго, опрокинувшагося надъ Краковомъ горшка, высыпано на площадь въ самомъ невообразимомъ безпорядкѣ — гудить, шумить, толкается, ругается...

Но болѣе всего толкотни около приземистаго, коренастаго, съ лицомъ на подобіе закопченнаго сморчка, съ свинными, заплывшими слезою глазками и съ усами закрученными въ видѣ пороссячьяго хвоста, шляхтича, который былъ, казалось, виновникомъ и душою всей этой сумятицы, который, казалось, самъ опрокинулъ на краковскую площадь этотъ чудовищный горшокъ съ народомъ и теперь самъ болтается въ этой народной кашѣ... Это — панъ Непомукъ, тотъ самый, который въ порывѣ болтливости и хвастовства, угостилъ пани Мнишкову рассказомъ о „двухъ заенцахъ“, а теперь пріѣхалъ изъ Самбора въ Краковъ, неизвѣстно въ качествѣ чего, но только въ свитѣ Мнишковъ и московскаго царевича.

— А цо-жъ, пане, у него есть и войско? — спрашиваетъ оборванный шляхтичъ, у котораго вмѣсто высокихъ бутовъ на ногахъ зіяли дырявые женскіе коты, но зато огромная сабля колотилась о мостовую, словно молотъ кузнеца о наковальню. — Есть у него, пане, армія?

— О! да у него, пане, десять армій — армія казацкая, армія московская — это двѣ, армія запорожская — это три, армія, пане, татарская — это четыре, армія боярская — это пять, армія пане... армія сибирская — это шесть, армія... армія... э! да всѣхъ армій, пане, и не сосчитаешь, — ораторствуетъ панъ Непомукъ, довольный тѣмъ, что его слушаютъ.

— А дукаты у него, пане, есть — пенендзы, ясневельможный пане? — робко интересуется сухой, словно сушеный лещъ, поджарый, словно голодная собака, и извивающійся, словно угорь на сковородѣ, еврейчикъ.

— Дукаты! га!.. да онъ золотыми дукатами можетъ всѣхъ жидовъ засыпать, какъ мышей просомъ,—гордо отвѣчаетъ Непомукъ, искоса поглядывая на еврея.—Онъ мнѣ вчера за то только, что я ему по-рыцарски честь отдалъ, приказалъ отсыпать три корца дукатовъ.

— Ай-вай! ай-вай! какой богатый!

— А вы-жъ, пане, у его воевода, чи що?—лукаво спрашиваетъ хлопъ въ сѣрой свиткѣ.

— Нѣтъ, я еще не воевода, а какъ мы возьмемъ Москву, такъ онъ обѣщалъ сдѣлать меня воеводою на самой Москвѣ, — продолжалъ безза-стѣнчивый панъ Непомукъ.—Вчера онъ это сказалъ мнѣ, когда я стоялъ за его стуломъ у монсиньора Рангони и подавалъ тарелки. А монсиньоръ Рангони и говоритъ ему: „рекомендую вамъ, говоритъ, ваше высочество, пана Непомука: хорошій католикъ и отличный рубака. Онъ, говоритъ, будетъ у васъ бѣдовымъ воеводою на Москвѣ“—„О, я давно, говоритъ его высочество, замѣтилъ этого молодца, и какъ только на себя въ Москвѣ корону надѣну, такъ пану Непомуку тотчасъ же дамъ гетманскую булаву“.

— А я, пане гетмане, могу быть у васъ на Москвѣ хорошимъ полковникомъ крулевской стражи,—закручивая усы сказалъ шляхтичъ въ женскихъ котахъ.—Меня лично зналъ покойный король Баторій (вѣчная ему память), когда мы съ нимъ брали Вѣну. Ужъ и погуляла же тогда вотъ эта добрая сабля по турецкимъ шеямъ! А сколько мы, вельможи, попили венгржина, старей вудки! Эхъ ты, сабля моя вѣрная! погуляемъ еще мы съ тобой и въ Московщинѣ!

И шляхтичъ въ женскихъ котахъ такъ брязнулъ своею саблей о мостовую, что любознательный поджарый еврей струсилъ и юркнулъ въ толпу.

Въ это время по толпѣ прошелъ говоръ: „ѣдутъ! ѣдутъ!“—и всѣ головы обратились въ ту сторону, откуда ожидался прїѣздъ во дворецъ невиданнаго гостя.

Дѣйствительно, въ отдаленіи показались всадники. Это былъ конный отрядъ, сопровождавшій коляску монсиньора Рангони съ московскимъ царевичемъ, а также коляски Мнишковъ, Вишневецкихъ и другихъ пановъ, ѣхавшихъ ко дворцу въ общемъ кортежѣ папскаго нунція.

По мѣрѣ приближенія кортежа головы толпы обнажались. Конники гарцовали молодцовато, напоказъ, съ свойственною военнымъ вообще и польскимъ жолнерамъ въ особенности рисовкой, съ бряцаньемъ сабель, шпоръ и прочихъ металлическихъ принадлежностей воинскаго люда.

Царевичъ сидѣлъ рядомъ съ монсиньоромъ нунціемъ въ богатой коляскѣ. На открытія головы толпы монсиньоръ посылалъ свое пастырское благословленіе и кланялся.—Кланялся и царевичъ, но не увѣренно, робко.

— Вивѣтъ! нѣхъ жіе великій князь московскій!—крикнулъ панъ Непомукъ съ опасностью разорвать свою глотку.

— Нѣхъ жіе! нѣхъ жіе! — подхватила толпа.

— Нѣхъ жіе панъ нунцій!—кричали другіе.

— Вивать! вѣхъ жіе!

Кортежъ въѣхалъ въ ворота замка, охраняемые часовыми.

— Ахъ, Езусъ-Марія! какой же онъ молоденькій!—удивлялась старуха съ корзинкой за плечами.

— А ты думала такой же сморчокъ, какъ ты бабуня,—сострилъ мастеровой, лудильщикъ, съ слѣдами полуды на лицѣ. — Ты такъ, бабуня, стара, что тебя и полудить нельзя.

— Да онъ-зе совсѣмъ не страшный, — болталъ курчавый мальчуганъ въ курточкѣ: — а мама говорила, что москаля — страшные, какъ медвѣди, и маленькихъ дѣтей ѣдятъ.

— Да и съѣли-бъ тебя, пархатый жиденокъ, если бы ты чеснокомъ не вонялъ,—обрѣзалъ лудильщикъ.

Жиденокъ скрылся. Непомукъ важно смотрѣлъ на толпу, словно бы онъ самъ былъ царевичъ.

— А панъ не будетъ у его величества короля вмѣстѣ съ царевичемъ?—спросилъ шляхтичъ въ женскихъ котахъ.

— Нѣтъ, пане. Я сегодня не расположенъ, усталъ, хочу отдохнуть, потолкаться здѣсь между паньствомъ,—лѣниво процѣдилъ панъ Непомукъ, съ любопытствомъ посматривая на дворецъ.

А во дворцѣ между тѣмъ шла аудіенція.

Царевичъ вошелъ въ королевскіе покои вмѣстѣ съ пунціемъ Рангони, съ паномъ Мнишкомъ, который ни на минуту не покидалъ его, и съ княземъ Вишневецкимъ. Дмитрій шелъ смѣло, почти не глядя по сторонамъ и какъ бы сосредоточившись на одной мысли. Обнаженная голова его казалась еще болѣе угловатою. По мускуламъ лица его видно было, что и плотно сжатые губы, и сильно стиснутые, нѣсколько звѣринныя челюсти выражали непреклонную внутреннюю рѣшимость. Глаза, въ которыхъ виднѣлся всегда какой-то двойной блескъ, какъ будто потускнѣли.

Сигизмундъ стоялъ у маленькаго столика, на который и опирался лѣвою рукой. Осанка его была величественная, замѣтно дѣланная, но лицо и глаза смотрѣли привѣтливо. Въ сторонѣ стояли паны въ стрѣйномъ, но тоже дѣланномъ величіи.

Царевичъ вошелъ съ открытою головою. Не снимая шапки и привѣтствуя вошедшаго только глазами, полными наблюдательности, король, протянулъ ему руку. Царевичъ поцѣловалъ эту руку и — смѣшался. Что думала эта угловатая, упрямая голова, нагибаясь къ рукѣ Сигизмунда III? О! не нагнулась бы она, если бы на ней уже сидѣла тяжелая, но могучая шапка Мономаха... А ее еще приходится искать...

— Я пришелъ просить покровительства и защиты вашего королевскаго величества, — началъ онъ тихо, неровнымъ, нѣсколько хриплымъ голосомъ. — Сынъ московскаго царя и наслѣдникъ московскаго престола, я лишенъ и престола, и моей родины. Я скитаюсь десять лѣтъ, боясь моего собственнаго имени. Я не смѣлъ произнести дорогого каждому человеку имени даже во снѣ...

Онъ остановился. Хриплые слова съ трудомъ выходили изъ горла, сдавленного волненіемъ.

Король молчалъ. Все молчало кругомъ.

Какъ бы отстраняя отъ себя какой-то, ему одному видимый образъ, царевичъ продолжалъ:

— Съ дѣтскихъ лѣтъ, оторванный отъ матери, отъ родныхъ, отъ наслѣдственнаго куска хлѣба, я, какъ воръ, долженъ былъ прятать себя, свою жизнь. О! тяжело, ваше величество, не смѣть даже сказать, что ты не мертвецъ, что тебя не убили подосланные твоимъ врагомъ убійцы. Убили, зарѣзали, похоронили меня!.. А я живъ, живъ на мою собственную муку... Тотъ, кто искалъ моей смерти, занимаетъ теперь мой наслѣдственный тронъ, тронъ моего отца, тронъ моихъ предковъ, а я—скитаюсь...

Онъ опять остановился, какъ бы подавленный воспоминаньями. Глаза слушателей не отрываются отъ этой угловатой головы, отъ этого задумчиваго, сосредоточеннаго лица. Что-то искрится въ глазахъ нѣкоторыхъ изъ присутствующихъ, словно бы слезы.

А Сигизмундъ упорно молчитъ. Ему нужна полная исповѣдь того, кто стоитъ передъ нимъ.

Какъ-бы чувствуя безсиліе своихъ словъ, царевичъ ищетъ извлечь эту силу изъ глубины своего убѣжденія въ правоту своего дѣла, изъ глубины неправды, которая тяготѣетъ надъ нимъ. Голосъ его начинаетъ крѣпнуть, слова бьютъ рѣзче на слухъ.

— Ваше королевское величество! могущественный монархъ! Я не ищу моей личной обиды, я не жалуюсь на Бориса за себя — за меня говорить мой народъ, мой вѣрный русскій народъ. Онъ стонетъ подъ немилостивою рукою Годунова: за меня, за мою тѣнь, которая отняла у Бориса сонъ, проливаютъ кровь моего народа... Ищутъ мою тѣнь—и мучать, пытаются, отравляютъ ядомъ, отягощаютъ ссылкой всякаго, кто только произнесетъ имя этой блуждающей тѣни... За меня, за мое имя Борисъ заточилъ всѣхъ Романовыхъ... Мою мать принудили признать трупъ чужого ребенка за трупъ сына... Расточили и сослали весь Угличъ... Ваше величество! Я долженъ вырвать московское государство изъ рукъ похитителя, я долженъ защитить мой народъ отъ притѣснителя... Для меня нѣтъ другой дороги — или могила, или тронъ московскій... Но я и умереть не смѣю!

Голосъ его дрогнулъ. Визгнула какая-то рѣзкая, рѣжущая по нервамъ нота. Холодное лицо короля какъ бы согрѣвалось участіемъ.

— Ваше величество! Московскіе бояре знаютъ о моемъ спасеніи, они тайно доброжелательствуютъ мнѣ, тайно одобряютъ мои намѣренія. Вся московская земля оставитъ похитителя царской власти и станетъ за меня, какъ только увидитъ, что отрасль ихъ законныхъ царей сохранена Богомъ... Мнѣ нужно только нѣсколько войска, чтобы войти съ нимъ въ московскіе предѣлы—и московское царство будетъ мое.

А Сигизмундъ все молчитъ. Страшнымъ становится это молчаніе—тонетъ надежда, обрываются внутри струны, закипаетъ ѣдкое, жгучее отчаянье.

Царевичъ невольно закрываетъ глаза рукою. Пропало, все пропало! Нѣтъ, не все... Въ груди еще есть голосъ, чтобы закричать послѣдній разъ. О! не все пропало! На плечахъ еще сидитъ угловатая голова, а въ ней много и воли, и силы, и добра, и злобы.

— Ваше величество!—звучитъ послѣдняя рѣзкая нота: — вспомните, что и вы родились узникомъ. Богъ освободилъ васъ и вашихъ родителей— и вы даете мудрые законы и счастье своему народу. А я—я родился царемъ, въ порфирѣ пеленался, и изъ порфиры выброшенъ на гноище, прикрытъ рубищемъ. Теперь Богъ хочетъ, чтобы вы освободили меня отъ изгнанія и возвратили мнѣ похищенный врагами престолъ моего отца...

Все выкрикнуто! Нѣтъ больше голосу. А Сигизмундъ все молчитъ — ужасное молчаніе! Только глаза его добры... еще есть свѣточъ въ этой могилѣ.

Паны переглядываются между собой. Въ глазахъ ихъ теплится глубокое сочувствіе къ тому, что они здѣсь видѣли и слышали — у каждого разбредилось сердце. Ждутъ, что же скажетъ король — всѣмъ стало невыносимо тяжело.

Отъ короля ни слова, ни звука. Молча переглянулся онъ съ нунціемъ, молча далъ знакъ панамъ, чтобы они всѣ, вмѣстѣ съ царевичемъ удалились.

Съ поникнутою головой вышелъ царевичъ изъ пріемнаго покоя. Углы губъ конвульсивно дергаются. И у пановъ поникнутыя головы говорятъ о томъ, чему теперь не слѣдовало бы быть...

— Я увѣренъ, панове,—прервалъ молчаніе князь Вишневецкій: — я увѣренъ, что король, его милость, узнавъ мнѣніе его святости монсиньора, дастъ его высочеству обнадеживающій отвѣтъ.

— Но какъ—ни словомъ, ни даже звукомъ ничего не обнаружить! Такое терпѣніе можетъ быть только у королей!—горячо зазвонилъ своимъ звучнымъ голосомъ, словно саблей, панъ Домарацкій.—Ни да, ни нѣтъ—ни звука.

— У пана слухъ неразвитой,—шутливо заговорилъ Мнишекъ:—панъ при дворѣ не жилъ. А я жилъ при дворѣ; придворная жизнь очень развиваетъ слухъ. Только при дворѣ органъ слуха — не уши, а глаза: при дворѣ глаза и говорятъ и слушаютъ. Мои придворные глаза что-то хорошее слышали, заключилъ онъ лукаво.

— Что же, панъ?—спросилъ панъ Домарацкій.

— А то, что глаза его величества короля сказали: „да“... А теперь онъ это скажетъ губами.

— Почему же?

— Потому что губы его величества были заперты римскимъ замкомъ, и ключъ находился въ Римѣ, у святого отца. Теперь же, пане, монсиньоръ Рангони привезъ съ собой этотъ ключъ и отпираетъ высочайшія губы короля Рѣчи Посполитой.

И панъ Мнишекъ многозначительно подмигнулъ, какъ онъ это дѣлалъ обыкновенно на охотѣ, показывая, что глупый-де заенчекъ попался.

— О! панъ воевода мудрецъ!—засмѣялся панъ Домарацкій.—А я до сихъ поръ зналъ только, что дамскіе глазки стрѣляютъ...

Всѣ оживились, заговорили. Одинъ царевичъ молчалъ, неподвижно стоя у окна и устремивъ глаза на сѣверъ, можетъ быть въ далекую Московщину.

Дверь отворилась и маршалокъ попросилъ царевича и всѣхъ пановъ вновь войти къ королю. Сигизмундъ приблизился къ молодому претенденту на московскій престолъ, положилъ ему на плечо руку и торжественно, какъ бы по заученному, проговорилъ:

— Боже тебя сохрани въ добромъ здоровьѣ, московскій князь Дмитрій. Мы признаемъ тебя княземъ. Мы вѣримъ тому, что слышали отъ тебя, вѣримъ письменнымъ доказательствамъ, тобою доставленнымъ, и свидѣтельствамъ другихъ. Вслѣдствіе этого, мы назначаемъ тебѣ на твои нужды сорокъ тысячъ злотыхъ въ годъ. Съ этого времени ты другъ нашъ и находишься подъ нашимъ покровительствомъ. Мы позволяемъ тебѣ имѣть свободное обращеніе съ нашими подданными и пользоваться ихъ помощію и совѣтомъ, насколько ты будешь имѣть въ томъ нужду.

Король замолчалъ и нѣсколько отступилъ назадъ.

Царевичъ наклонилъ голову, показавъ при этомъ Сигизмунду свою широкую, приплюснутую, угловатую, какъ и вся голова, маковку. Когда голова эта поднялась опять прямо и гордо, то по блѣдному лицу скользило что-то неуловимое—не то тѣнь, не то свѣтъ. Одно можно было уловить—это то, что свѣтъ глазъ, до того момента какъ бы нѣсколько потускнѣвшій или слинявшій, снова обострился, снова принялъ ту неуловимую двойную игру и двойную цвѣтность, которая поражала когда-то и Григорія Отрепьева, видѣвшаго въ этой двойной цвѣтности „пелену“, закрывавшую „въ кладезѣ души“ этого таинственнаго юноши какъ бы „другаго человѣка“, поражали и Марину, для которой глаза этого непонятнаго человѣка были такъ же непонятны, какъ и неразгаданный для астрономовъ блескъ Сиріуса.

— Благодарю васъ, ваше величество, и за участіе, и за милость,—сказалъ онъ, скользнувъ своими неразгаданными глазами по глазамъ Сигизмунда:—участіе я принимаю, какъ неоплатный долгъ моего сердца, а милость—какъ временный, обезпечиваемый моею совѣстью и моею царскою гордостью, заемъ. Проценты по немъ я возвращу вашему величеству и Рѣчи Посполитой съ евангельской точностью.

Теперь голова его уже не наклонялась, и король долженъ былъ въ свою очередь потупиться. Но онъ не сказалъ больше ни слова, потому что не былъ на то уполномоченъ страной, надъ которою царствовалъ.

Дмитрій вышелъ медленно, какъ бы ощупывая почву, по которой ступалъ. Сопровождавшіе его паны хранили молчаніе. Одинъ Мнишекъ юлилъ и разсыпался мелкимъ бѣсомъ.

— Поздравляю выше высочество съ признаніемъ вашихъ правъ королемъ Рѣчи Посполитой,—лепеталъ онъ, немножко картавя.—Половина дѣла ужъ сдѣлана: конь осѣдланъ, нога въ стремя - остается только сѣсть на сѣдло.

— Ну, ойче,—конь-то брыкливый,—замѣтилъ Вишневецкій.

Димитрій молчалъ. Его упрямая голова работала, взвѣшивала слова и оттѣнки словъ короля. „Ни слова о прямой поддержкѣ моихъ притязаній. Хочетъ, да не смѣетъ. Колпакъ, надѣтый на чучело въ порфирѣ, за которое должны говорить тысячи голосовъ,—а чучело своего голоса не нашло подъ колпакомъ. Расправляйся, значить, самъ, а мы твоими руками московскій жаръ загребемъ. О, я-то расправляюсь, только вамъ же жару за пазуху наложу“,—шепталъ онъ, неслышно шевеля губами и медленно слѣдуя чрезъ королевскіе апартаменты къ ожидавшей его коляскѣ.

Толпа у дворцовыхъ воротъ была еще больше. Тутъ же, у воротъ, находились два всадника, видъ которыхъ и одѣяніе привлекали неудержимое любопытство всей массы народа, собравшейся на площади. Всадники нмѣли на головахъ высокія, стоячія изъ черныхъ барашковъ шапки съ красными верхушками, въ видѣ мѣшковъ, свѣшивавшимися на бокъ. Въ рукахъ у нихъ было по длинному копью. И сами они и лошади ихъ были обвѣшаны оружіемъ. Тутъ же, около нихъ, стоялъ монахъ и цѣлая толпа какихъ-то пришельцевъ съ бородами и въ необычномъ для Кракова одѣяніи. Наконецъ, тутъ же хлопоталъ и панъ Непомукъ, энергически размахивая руками.

Когда коляска съ Дмитріемъ и Мнишкомъ выѣхала изъ дворцовыхъ воротъ изумлявшіе своимъ видомъ краковянъ всадники наклонили и скрестили свои копья въ знакъ того, что отдають честь сидящему въ коляскѣ. Коляска остановилась. Димитрій глянулъ на всадниковъ, на монаха, на толпу бородатыхъ людей—и по лицу его пробѣжала молнія, голова поднялась—весь онъ словно выросъ и словно отъ лица его брызнули искры.

Монахъ низко поклонился ему—они видимо узнали другъ друга.

— Здравствуй, Григорій,—сказалъ Димитрій ласково.

— Государю царевичу много лѣтъ здравствовать,—отвѣчалъ монахъ.

— А вы что за люди?—обратился Димитрій къ всадникамъ.

— Мы атаманы славнаго войска донского, государь царевичъ,—отвѣчали всадники, продолжая держать свои пики крестообразно.

— Кто именно и за какимъ дѣломъ пришли ко мнѣ?

— Я атаманъ Корела, государь царевичъ,—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ.

Это была низенькая, съ пепельными волосами и голубыми глазами, невзрачная фигурка. Все лицо его было въ рубцахъ, шрамы перекрещивались и по щекамъ, и по лбу. Но тѣмъ страшнѣе выглядывало это странное лицо изъ подъ мѣховой высокой шапки, и невольно наводило страхъ на толпу. Даже панъ Непомукъ—„отличный рубака“, по словамъ якобы нунція, и шляхтичъ въ женскихъ котахъ, бравшій якобы Вѣну съ Стефаномъ Баторіемъ,—и тѣ пятились отъ маленькаго чудовища, ловко сидѣвшаго на борзомъ кобѣ...

— Я атаманъ Нѣжакъ,—отвѣчалъ другой, высокій, статный, хотя калмыковатый товарищъ его.

— За какимъ дѣломъ вы пришли съ Дону?—повторилъ Димитрій.

— Челомъ бьемъ тебѣ, государю царевичу, и кланяемся всѣмъ тихимъ Дономъ,—отвѣчалъ Корела.

Точно слезы блеснуло что-то на глазахъ Дмитрія, и онъ глубоко-взволнованнымъ голосомъ произнесъ:

— Спасибо вамъ, атаманъ Корела и атаманъ Нѣжакъ. Спасибо вамъ, атаманы-молодцы... Спасибо всему тихому Дону и славному войску донскому. Я не забуду вашей службы, когда стану царемъ на Москвѣ. Ступайте за мною.

Коляска тронулась.

— И насъ—и насъ, государь царевичъ, насъ, московскихъ людей, возьми съ собою!—закричала та часть толпы, которая своими бородами и длинными зипунами привлекала такое вниманіе краковянъ.— Не покидай насъ, батюшка, въ чужой землѣ,—гудѣла толпа.

Дмитрій сдѣлалъ знакъ, чтобъ и они слѣдовали за нимъ. Вся площадь заволновалась, полетѣли въ воздухъ шапки, запищали евреи, словно прищемленные поросята; но голоса всѣхъ покрывались ревомъ двухъ глотокъ—пана Непомука и шляхтича въ женскихъ котахъ:

— Нѣхъ жіе! нѣхъ жіе! Нѣхъ бендзе Езусъ похвалены!

VII.

Димитрій и Марина у гнѣзда горлинни.

Раннимъ майскимъ утромъ 1604 года, по глухой части воеводскаго парка въ Самборѣ пробираются двѣ женскія фигуры. По самому цвѣту платьевъ, въ которыя онѣ одѣты, по цвѣту шляпъ, бантиковъ и иныхъ украшеній, можно издали безошибочно догадаться, что та изъ нихъ, которая повыше—блондинка, а которая немножко по меньше—брюнетка. Тѣнь, падающая отъ деревьевъ, скрываетъ ихъ лица, и только изрѣдка солнечный лучъ скользнетъ то по голубому банту блондинки, то по бѣлымъ лентамъ брюнетки.

— Ахъ, Сульцю, Сульцю!—говоритъ эта послѣдняя съ тономъ печали въ голосѣ:—если бъ ты знала, какъ я вчера плакала, когда увидала ихъ. Прихожу, а онѣ, бѣдненькія, приняли меня за свою маму, обрадовались, пищать, плачутъ отъ радости...

— Плачутъ?.. И ты видѣла ихъ слезки?—насмѣшливо спрашиваетъ блондинка.

— Ахъ, Сульцю, какая ты нехорошая. Развѣ же можно смѣяться надъ такими вещами? У тебя сердца нѣтъ; я тебя и любить послѣ этого не буду,—говоритъ огорченная брюнетка.

И она, отвернувшись, ускорила шаги.

— Нѣтъ, нѣтъ, душечка Масю, я пошутила—вѣдь ты знаешь меня. Ну, прости, Расскажи же. Ну, такъ обрадовались, плачутъ?

— Да, да, гадкая Урсулка, да, плачутъ, злая медвѣдица—вѣдь

Урсула значить медвѣдица. Плачутъ, дѣйствительно плачутъ, только птички плачутъ не по нашему, не грубо, не почеловѣчески—у нихъ нѣтъ слезъ; только онѣ плачутъ. Плакали и маленькія горлинки, когда я пришла къ нимъ.

— Ну-ну, Масю, я вѣдь такъ только, нарочно подразнила тебя. Я люблю, когда ты огорчаешься: у тебя такіе хорошіе, добрые глаза дѣлаются, когда ты огорчена бываешь неправдой какой-нибудь. Ну, такъ рассказывай же, Масцю моя.

— То-то же. Ну, хорошо—обрадовались они. А мнѣ такъ жаль ихъ стало. Я хотѣла погладить ихъ головки, а они, крошечки, думаютъ, что мама хочетъ ихъ кормить, да своими розовыми ротиками и хватаютъ меня за пальцы. Я и разревѣлась.

— Да гдѣ жъ ихъ мама?

— Ахъ, все это противный Непомукъ надѣлалъ. Вчера, вѣдь ты знаешь, былъ у папочки званый обѣдъ въ честь этого Дмитрія царевича. Въ этотъ день, говорятъ, 15 мая 1591 года, гдѣ-то въ московскомъ городѣ Угличѣ зарѣзали того мальчика, которымъ подмѣнили настоящаго царевича. Такъ папочка и вздумалъ праздновать,—конечно, изъ любезности, свойственной всѣмъ полякамъ,—вздумалъ праздновать день спасенія царевича.

— Ахъ, татко, татко! какой онъ у насъ умный и милый!—прервала Урсула.

— Да... Только глупый Непомукъ, думая оказать особую честь царевичу, приказалъ хлопамъ наловить всевозможныхъ птичекъ. Они и наловили ихъ—принесли цѣлые плетеные птичники. А моя покоювка Ляля, убирая мнѣ къ обѣду голову, и говоритъ, что въ поварскую принесли цѣлый птичникъ хорошенькихъ живыхъ птичекъ и что Непомукъ поймалъ и горлинку, у которой въ парѣ есть маленькія дѣти, и говоритъ, что и ее хотятъ зарѣзать къ обѣду. Я и побѣжала сама въ поварню. Гляжу, а горлинка ужъ зарѣзана. Жаль мнѣ ее стало, такъ жаль!—и такую противною показалась мнѣ вся поварская, съ разложенными на столахъ маленькими трупиками бѣдныхъ птичекъ, что я за обѣдомъ совсѣмъ не дотронулась до жаркого. Ты замѣтила это, Сульцю?

— Какъ же, замѣтила. Да и царевичъ замѣтилъ моему мужу, что панна Марина ничего не кушаетъ.

— Ну, ужъ этотъ царевичъ! Для него вѣдь и птичекъ всѣхъ зарѣзали.—Противный москаль!

— Да онъ, Марыню, не виновать въ этомъ.

— Конечно, не виновать. Виновать во всемъ противный жукъ этотъ—Непомукъ... Ну, такъ послѣ обѣда, мы и пошли съ покоювкой къ гнѣзду горлинки. Лялька знала это гнѣздо. Вотъ какъ пришли мы и стала я ихъ гладить, они и ухватились своими ротиками за мой палецъ—я и разревѣлась, и Лиля плакала со мной.

— Ну, что же вы сдѣлали дальше? Это и меня интересуеть. Бѣдныя птички!

— Мнѣ Ляля и говоритъ: „я пойду въ палацъ и принесу имъ кушать“. Я осталась около нихъ, а она сбѣгала и принесла имъ рисовой кашки. Ахъ, бѣдненькіе! какъ они жадно кушали.—А такъ какъ ужъ ночь была близка, то мнѣ и страшно стало за нихъ: какъ же они безъ мамы ночь проведутъ? Ихъ могла унести хищная птица, сова или ястребъ. Я и говорю покоевой, что надо около нихъ на ночь оставить часового. Ляля обрадовалась этой мысли и сказала, что она позоветъ сюда на ночь Тарасика.

— Какого Тарасика, Масю?

— Такъ, хлопъ какой-то.

— А! знаю, знаю этого пахолка. Ахъ, какая хитрая Лялька! Я знаю, что она въ него влюблена и вѣроятно имѣла съ нимъ, какъ съ часовымъ, свиданье ночью у гнѣзда этихъ горлинокъ.

Марина покраснѣла.

— Такъ что-жъ?—сказала она:—если они другъ друга любятъ. Онъ мнѣ показался такимъ добрымъ и красивымъ пахолкомъ.

— Да, онъ красивъ.

— А вотъ и онъ.

Передъ ними, недалеко, у терноваго куста, вдругъ выросла стройная фигура парня въ шитой рубахѣ, того парня, котораго мы уже видѣли въ лѣсу, въ охотничей засадѣ. У него тогда случилось несчастье: заяцъ, котораго онъ долженъ былъ, по панскому наряду, выпустить изъ мѣшка на охотниковъ, задохся въ этомъ мѣшкѣ, за что молодцу и досталось отъ дозорцы. Только теперь этотъ хлопецъ былъ въ новой небольшой шапочкѣ.

Увидавъ господъ, парень снялъ шапку.

— Ну, что птички?—спросила его Марина.

— Слава Богу, пани ласкава,—здоровеньки и веселеньки.

— А ночью спали?

— Спали, пани ласкава.

— А имъ не холодно было?

— Ни, не було, пани ласкава. Я догадавсь та й накрывъ своею шапкою... а шапка въ мене новенька, гарна—батько на ярмарку купивъ.

Марина и Урсула ласково улыбнулись.

— Ахъ, какой ты добрый! Какъ тебя зовутъ?

— Тарасомъ, пани.

И Урсула, и Марина переглянулись.

— Спасибо тебѣ, Тарасъ. Я не забуду твоей службы.

И Марина бросилась къ гнѣзду горлянки, цѣпляясь своими роскошными волосами и платьемъ за иглы терновника. Приблизившись къ гнѣзду, она начала осторожно гладить головки птенцовъ, еще не вполне оперившихся. Тѣ сидѣли смирно, только ежились.

— Что жъ вы теперь не радуетесь мнѣ, не машете крылышками, не

берете меня за палецъ?—говорила она, глядя птичекъ.—Вы, вѣрно, голодны бѣдненькія? Я вамъ кушать принесла.

— Ни, пани ласкава, вони не голодны,—вмѣшался пахолокъ.

— Какъ не голодны? Всю ночь не кушали.

— Ни, пани ласкава, вони сегодня вже снідали.

— Чѣмъ?

— Та ваша жъ покоева, Ляля, приносила имъ источки—кашки приносила,—сказалъ парень и покраснѣлъ, какъ макъ.

Покраснѣла и Марина. Только Урсула лукаво улыбалась. Парень переминался на мѣстѣ, теребя, свою шапку. Марина спохватилась, достала изъ кармана кошелекъ и, вынувъ изъ него золотую монету, подала парню.

— Возьми это, добрый Тарасъ. Я буду помнить тебя. Я попрошу папу устроить твою судьбу, какъ тебѣ захочется. А теперь можешь идти домой.

Парень поклонился, поцѣловалъ протянутыя ему панскія ручки и исчезъ въ кустахъ.

— Какова Лялька! Устроила себѣ тутъ свиданье съ своимъ коханкомъ—вотъ хитрячка. По крайней мѣрѣ не скучно провела ночь,—сказала весело Урсула.

— То то сегодня она была такая разсѣянная и все цѣловала мнѣ босыя ноги, когда надѣвала чулки,—замѣтила Марина.

— Ноги цѣловала.

— Да, и такъ жарко.

— О! значитъ, понравилось. Испробовала сама и хотѣла испытать это ощущеніе на другихъ.

— Какъ на другихъ, Сульцю?

— Да какъ же? Ночью цѣловалъ ея ноги коханекъ этотъ, Тарасикъ, такъ она и хотѣла сама узнать вкусъ женскихъ ножекъ.

— Ахъ, ты, насмѣшница,—перебила ее Марина.—Только какъ намъ быть съ птичками? Вѣдь нельзя же ихъ такъ оставить сиротами.

— Ну, ты будешь ихъ мама, будешь кормить своей грудью.

— Ахъ, гадкая! медвѣжонокъ! да вѣдь не могу же я постоянно быть здѣсь.

— Такъ чего-жъ лучше? Поставь здѣсь Тараса несмѣннымъ часовымъ, пока птички не выростутъ. Вотъ Лялька-то будетъ счастлива! Каждую ночь свиданье...

— Нѣтъ, надо все гнѣздо перенести ближе къ палацу—въ оранжерею. Только какъ это сдѣлать?

— Приказать садовнику—онъ и сдѣлаетъ.

— Да, это хорошо. И надо сейчасъ же сдѣлать, а то я боюсь ихъ оставить, бѣдненькихъ. Жаль, что мы не взяли съ собой Ляли,—я-бъ ее тотчасъ послала отыскать садовника.

— Я его видѣла въ оранжереѣ. Онъ тамъ что-то распоряжается—всѣхъ хлопковъ изъ парка согналъ туда.

— Милая, душа моя! Сулечко!—заговорила Марина умоляющимъ го-

лосомъ: — сходи въ оранжерею, прикажи садовнику придти сюда съ хлопамн. А я посмотрю здѣсь за птенчиками. Теперь ихъ нельзя оставлять однихъ: вонъ постоянно летаетъ тутъ этотъ страшный коршунъ—онъ ихъ сейчасъ унесетъ. Сходи, душечка!

Урсула ушла. Марина, оставшись одна, сначала полюбовалась на птичекъ, которыя, скукожившись въ клубочки, повидимому, дремали; потомъ, сорвавши цвѣтокъ махроваго шиповника, глубоко задумалась о чемъ-то. За минуту лицо ея имѣло совсѣмъ почти дѣтское выраженіе, и говорила она, и высказывалась совсѣмъ какъ ребенокъ, наивно; теперь же и тѣни и краски инныя легли на ея лицо, и вся она словно возмужала...

Машинально обрывая цвѣтокъ шиповника, лепестокъ за лепесткомъ, она шептала: „коха — не коха, коха — не коха...“ Послѣдній лепестокъ вышелъ „не коха“.

Дѣвушка, бросивъ общипанный цвѣтокъ, съ минуту постояла въ раздумьи, а потомъ подошла къ гнѣзду и замѣтила, что птички не спятъ. Она протянула къ нимъ руку. Птенцы снова стали ловить ея палецъ — проголодались ужъ. Тогда Марина осторожно вынула ихъ изъ гнѣзда, присѣла на траву, положила птичекъ себѣ на колѣни и стала ихъ кормить варенымъ рисомъ.

Въ это время вблизи послышались чьи-то быстрые шаги. Марина оглянулась — передъ нею стоялъ Дмитрій... Онъ казался страшно взволнованнымъ: лицо было блѣдно, глаза горѣли.

Увидавъ дѣвушку, онъ робко остановился.

— Ради Бога, простите меня! — заговорилъ онъ нерѣшительно, запинаясь:—я, можетъ быть, испугалъ васъ, помѣшалъ вамъ. Простите, я не ожидалъ васъ встрѣтить здѣсь.

— Я также случайно пришла сюда, немножко взволнованнымъ голосомъ отвѣчала дѣвушка: —я узнала, что эти бѣдныя птички вчера лишились матери, и пришла ихъ накормить. Я распоряжусь, чтобы перенесли ихъ въ безопасное мѣсто.

Она встала и бережно положила птичекъ въ гнѣздо. Потомъ, обернувшись къ Дмитрію, она съ испугомъ спросила:

— Но что съ вами, князь! Боже мой! у васъ кровь на щекѣ... вы ранены...

Дмитрій еще болѣе растерялся.

— О, ради Бога, простите, простите меня! — говорилъ онъ торопливо. — Это — ничего... пустая царапина... я не желалъ этого... не смѣлъ... но меня вызвали на поединокъ... я не могъ не принять вызова... долгъ рыцарской чести... Простите!

— Но кто васъ вызывалъ на поединокъ? —спросила дѣвушка испуганно.

— Онъ — князь... князь Корецкій...

Дѣвушка вспыхнула, потомъ тотчасъ же поблѣла какъ полотно.

— И что же, князь? —спросила она чуть слышно.

— Я не хотѣлъ убивать его... Я только сбилъ его съ коня. Но онъ

бросился на меня, оцарапалъ шпагой мою щеку. Я долженъ былъ защищаться, и ранилъ его.

— Опасно?—еще тише спросила Марина.

— Нѣтъ, пани, я только прокололъ ему руку. Его увели — онъ въ безопасности. Но я хотѣлъ, чтобъ это осталось тайной. Простите же, если это нечаянно обнаружилось передъ вами. Я хотѣлъ пройти паркомъ, чтобы быть незамѣченнымъ.

Къ дѣвушкѣ воротилось ея обычное самообладаніе. Изъ ребенка, какою она казалась за нѣсколько минутъ, когда заботилась о судьбѣ горлинокъ, она вдругъ стала женщиной.

— Вы еще можете пройти незамѣченнымъ, — сказала она спокойно.

Димитрій стоялъ въ нерѣшительности. Онъ казался спокойнѣе, но, по-видимому, еще болѣе робѣлъ, чѣмъ за минуту передъ этимъ. Наконецъ, онъ осилилъ себя.

— Панна Марина, — сказалъ онъ тихо, почти шопотомъ, приближаясь къ ней:—моя звѣзда привела меня къ вамъ — отъ васъ зависитъ сдѣлать ее счастливою.

Марина потупилась. Видно было, что въ груди у нея не хватаетъ дыханія. Точно она не здѣсь, не у этого гнѣзда горлинокъ. И одинокую пальму, и горячую голову ее жжетъ экваторіальное солнце. Знамена вѣютъ и преклоняются передъ ней. Снѣжное поле... обледенѣлая сосна... обледенѣлая корона...

Нѣсколькими годами разомъ, кажется, постарѣла дѣвушка.

— Ваше высочество!—отвѣчаетъ она медленно, обдуманно: — звѣзда ваша слишкомъ высоко возшла. Она — не для такой простой дѣвушки, какъ, я...

Не такого отвѣта ждалъ бродяга-царевичъ, — царевичъ, непомнящій родства. Онъ бросается на колѣни. Не того ожидала и дѣвушка. Она протягиваетъ руки, чтобы поднять царя. Царь на колѣняхъ! Но бродяга-царь хватается ея руки и цѣлуетъ. Передъ нею царь на колѣняхъ. Въ дѣвушкѣ оказывается разомъ великая сила, та сила, которая уносила ее въ невѣдомыя страны, къ невѣдомымъ людямъ — завоевывать невиданныя царства. Новый апостолъ... ликующій Римъ... Іоанна д'Аркъ... спасеніе Польши...

„Дочь моя! перстъ Божій на тебя направляется“, звучитъ гдѣ-то въ душѣ, въ мозгу страшное слово...

— Ваше высочество!—говоритъ дѣвушка такъ же медленно, взвѣшивая каждое слово:—моя рука слаба для вашего дѣла. Вамъ нужны руки, владеющія оружіемъ, а моя можетъ только возноситься къ небу вмѣстѣ съ молитвами о вашемъ счастьи.

— Но безъ васъ для меня нѣтъ счастья! — безумно говоритъ тотъ, который съ непостижимо дерзкимъ упрямствомъ думаетъ завоевать великое царство, имѣя въ своемъ прошломъ только посохъ бродяги.

Вотъ что дѣлаетъ съ людьми, съ людьми даже небывалой нравственной силы, простая земная страсть, присущая и человѣку, и звѣрю, и генію и

отребью человечества. Бродягъ-царю не нужны царства, когда не удовлетворена эта земная страсть.

— Безъ васъ мнѣ не нужны всѣ троны міра!—продолжаетъ говорить безумный.

— Такъ оставьте меня, опомнитесь, перестаньте обо мнѣ думать. Или станьте на челѣ войска, побѣдите вашихъ враговъ, тогда подумайте, какъ побѣдить мое сердце. Только славными подвигами и доблестями вы меня завоюете.

Опять передъ нею носится ледяная корона. Туда, на сѣверъ, на льдины, ведетъ ее перстъ Божій. Ей припоминается дѣтство, дѣтскія видѣнія, апостольство. Нѣтъ, только съ ледяною короною на головѣ онъ долженъ придти и взять ее на апостольство.

— Но я не завоюю моего царства, когда моимъ оружіемъ, и моимъ щитомъ, и моимъ войскомъ не будетъ—надежда: въ ней мои легіоны,—продолжаетъ тотъ свое безуміе.

И,—странное дѣло!—сошлись дѣти около гнѣзда горлинки, около осиротѣвшихъ, вслѣдствіе человѣческой глупости, холопства и звѣрства, маленькихъ птенцовъ,—сошлись дѣти: ему лѣтъ двадцать, ей — семнадцать-восемнадцать—и только бы играть да любиться дѣтямъ; такъ нѣтъ! — хотимъ царства завоевывать, хотимъ искать коронъ. И найдутъ, и завоюютъ—для дѣтей все возможно. Безъ дѣтскихъ порывовъ молодости, безъ дѣтской вѣры въ свою звѣзду не существовало бы творчества въ мірѣ, не существовалъ бы геній, не существовалъ бы міръ.

Запищали птички въ гнѣздѣ. Дитя-Марина бросилась къ нимъ.

— Панна Марина!—говоритъ снова дитя-царь:—вы спасаете осиротѣлое гнѣздо горлинки. Бѣдная Россія! Она тоже осиротѣлое гнѣздо горлинки. Плачутъ бѣдныя птички—на ихъ гнѣздѣ коршунъ сидитъ. Панна Марина! дайте мнѣ надежду — и я его сгоню, коршуна, съ осиротѣлаго гнѣзда русскаго.

Марина молчитъ. Она слишкомъ поглощена заботами о сиротахъ — она снова кормитъ прожорливую птичку, а у самой щеки пунцовыя... руки дрожатъ... кашка не попадаетъ въ ротъ птичекъ...

— Панна Марина!..

Молчитъ. Она боится, что онъ услышитъ, какъ ее сердце колотится. Срамъ.

— Панна Марина!..

Нѣтъ мочи молчать. И ему нѣтъ мочи... Онъ беретъ ее за руку—молчитъ, только рука дрожитъ... голова наклонена къ гнѣзду. Слезы... Онъ беретъ ее за подбородокъ.

— О чемъ слезы, панна Марина?..

— Птичекъ жаль...

— Охъ, ужъ эти птички!

Слышатся шаги—это идетъ Урсула. Будетъ пока, читатель.

VIII.

Запорожцы въ Кіевѣ.

Въ Кіевѣ на праздникъ Спаса-Маковія, у Крещатицкаго спуска, окруженный парубками и дівчатами, старухами, молодницами и дѣтворю, сидитъ кобзарь и тихо перебираетъ пальцами по своей сильно затасканной, но симпатично пѣвучей бандурѣ. Сѣдой чубъ, расчесанный вѣтеркомъ, съ высокаго лба свѣсился прямо на лицо старика и совсѣмъ закрылъ его слѣпые глаза. Да и зачѣмъ старину глаза, когда онъ весь живетъ прошлымъ, когда передъ его духовными очами стоятъ однѣ пережитыя картины, встаютъ мертвыя лица, которыхъ, все равно, онъ не увидалъ бы, еслибъ и остался зрячимъ? Зачѣмъ глаза старости, все скоронившей и постоянно навадъ оглядывающейся, но не для того, чтобы видѣть, а чтобы вспоминать только, воспроизводить въ представленіи? А вспоминается все лучше съ закрытыми глазами, чѣмъ съ открытыми, а со слѣпыми глазами вспоминается еще лучше, чѣмъ даже съ закрытыми. Такъ зачѣмъ глаза передъ могилой?—все равно, и безъ глазъ добредешь до нея.

Около кобзаря сидитъ черномазенькая, съ кругленькимъ загорѣлымъ личикомъ и съ большими сѣрыми глазами дѣвочка. Кромѣ бѣлой, допалеза запачканной арбузнымъ и дыннымъ сокомъ рубашонки и прилипшихъ къ босымъ ногамъ слоевъ уже засохшей грязи, на ней ничего нѣтъ; но за то голова, со спутавшимися черными волосами, вся утыкана яркими цвѣтами, да на груди болтается большой мѣдный крестъ. Это внучка кобзаря, его мѣхоноша и его глаза. А глаза у нея пребойкіе, такъ что нельзя не удивляться, какъ на это загорѣлое, давно немытое личишко могли попасть такіе чистые, свѣтлые, съ огромными рѣсницами глаза. Все это—капризница природа: она такъ любитъ шутить контрастами.

Всѣ смотрятъ на кобзаря и на дѣвочку-мѣхоношу съ любовью и жалостью.

— Мати Божа! такое мале, а вже й лихо знає,—говорить, пригорюнившись и вздыхая, баба въ полосатой плахтѣ, повязанная большимъ платкомъ въ видѣ чалмы.—И въ мене такое було, та теперъ не ма... Де-то вона, бѣдна дитина, мотається?

И баба утерла рукавомъ слезы.

— Дівчинка,—Титанка, а дити „Лялькою“ звали. Такъ за Лялю и пишла.

— Де-жъ вона, бабусю? — снова спрашиваетъ дѣвушка въ голубой лентѣ.

— И сами не знаемо. Кажуть, було десь у Самбори—десь дуже далеко въ покоевыхъ у воеводы, у пана Мнишка. А теперъ чи жива, чи вмерла—незнаемо. Се була рокивъ десять назадъ, якъ паны Вишневецьки та Гойськи набирали собі маленькихъ дівчатокъ та хлопчиківъ въ покоювки та въ пахолки,—забрали и мою Лялю.

А бандура кобзаря все тренькает что-то заунывное, раздумчивое. Вспоминает старая голова все прошлое, мертвое, сохранившееся только въ звукахъ его бандуры.

Всѣ ждутъ—не споетъ ли онъ какой-нибудь думы, не поплачетъ ли на своей бандурѣ.

Дѣти, сначала робко, а потомъ все смѣлѣе и смѣлѣе, подходятъ къ дѣвочкѣ мѣхоношѣ, улыбаются ей, заигрываютъ съ ней, а потомъ и заговариваютъ.

— Якъ тебе, дивчинко зовуть?—спрашиваетъ ее пузатый мальчуганъ, обстриженный такъ кругло и высоко, что свѣтлые, густые волосы его представляютъ подобіе засохшаго подсолнечника безъ сѣмячекъ, опрокинутого ему на маковку.—Якъ тебе зовуть?

— Палазя,—отвѣчаетъ бойко дѣвочка, сидя на „призьбѣ“ и болтая ногами.

— А въ тебе мати е?

— Ни, нема.

— А батько?

— И батька нема. Тато та мама орали въ поли, а ихъ и взяли татары.

— А мій тато двохъ татаръ убивъ, якъ козаки у Крымъ ходили,—хвалится мальчуганъ.

— Мій дѣдушка, якъ у его ще очи були, козакувавъ та у городи у Козлови турка та туркеню заризавъ,—съ своей стороны похваляется дѣвочка.

Дѣдушка-кобзарь слышитъ это, и рука его невольно замираетъ на бандурѣ. Вспоминается ли ему, какъ этою рукою, для которой теперь осталась одна работа—переборъ струнъ говорливыхъ, разрубилъ онъ топоромъ бритый черепъ галерника и убилъ „дивку-бранку“, у которой находились ключи отъ невольницкой галеры? Или всплыло въ его памяти воспоминаніе, какъ въ молодости онъ бѣжалъ съ товарищемъ изъ Азова, изъ турецкой неволи, и на Савуръ-могилѣ долженъ былъ похоронить своего товарища, истаявшаго въ неволѣ и не вынесшаго долгаго пути на родину?

— А вы-бъ, старче Божій, заспивали-бъ намъ де-що, — обращается къ нему статный парубокъ въ смушковой шапкѣ, въ синихъ широкихъ шароварахъ и въ чоботахъ на такихъ высокихъ „закаблукахъ“, что между каблукомъ и подошвой свободно могъ пролетѣть воробей.

И парубокъ вложилъ въ руку кобзаря какую-то монету.

— Заспивайте-бо кобзарю,—повторилъ онъ.

— Та що-жъ вамъ заспивати, люди добри? — спрашиваетъ кобзарь.

— Про неволниківъ, або про Марусю-Богуславку.

— Або про Байду,—пояснялъ другой парубокъ.

— Або про казака Гоготу...

— Ни, дидушка, заспивайте про трехъ братівъ, якъ вони изъ города Озова утикали—изъ турецької неволи,—упрашивали дивчата, которымъ эта дума особенно была по душѣ, какъ самая душевная.

— Добре. Про трехъ братьевъ—такъ про трехъ братьевъ,—соглашался кобзарь, который самъ наиболѣе любилъ эту думу, напоминавшую ему его молодость, его молодые страданія въ неволѣ. Ахъ, зачѣмъ не воротится эта неволя—только бы съ молодостью, съ молодыми глазами, съ молодыми горями и молодыми радостями?—думается ему иногда.

И вотъ онъ настраиваетъ свою бандуру, внимательно прислушиваясь чуткимъ ухомъ къ нестройному говору струнъ, изъ которыхъ онъ долженъ извлечь тѣ плачущія ноты, ту тоскливую мелодію и тѣ дорогіе образы, коими же столько лѣтъ питается, и плачетъ, и живетъ этими сладкими слезами прошлаго его старое, но все-еще не уснувшее казацкое сердце. Все стройнѣй и стройнѣй становится перебойчатый говоръ струнъ, все плавнѣе и плавнѣе дѣлается ихъ треньканье. На минуту онъ останавливается, и потомъ нѣсколько хриплымъ, дрожащимъ, но глубоко симпатичнымъ голосомъ начинаетъ протяжный, плачущій речитативъ:

Ой то не пыли пылили,
Не туманы уставали,—
То изъ земли турецькой,
Да изъ виры бусурменської,
Изъ города изъ Озова, изъ тяжкой неволи
Три братика втикали.
Два кинныхъ, третій пишій пишениця,
Якъ бы той чужій чужениця,
За кинными бижить-пидбигае,
На сыре кориння, на биле каминня
Нижки свои козацкіи посикае, кровью сліды заливае.
До кинныхъ братьевъ добигае,
За стремяна хватае,
Словами промовляє:

„Станьте вы, братця! коней попасите, мене подождите,
Съ собою возьмите, до городивъ христіянськихъ хочъ мало пидвезите.
Нехай же я буду знати,
Куды въ города христіянські до отця матери дохождати“.

Разбитый, надтреснувшій, но горько плачущій голосъ умолкаетъ—одна бандура плачетъ заливаясь... И откуда беретъ она столько надрывающаго чувства, хоть такъ просты ея звуки, такъ дѣтски-проста мелодія?

Все замерло, слушая этотъ плачъ. Даже дѣти присмирѣли—готовы, кажется, разревѣться...

— Катруню, голубко,—слышится гдѣ-то сдержанный шопоть.

— Та ну-бо, Максиме, не рушь мене,—слышится протестующій женскій голосъ.

— О, яка-бо ты...

А кобзарь продолжаетъ:

„И ти браты тее зачували,
Словами промовляли:
„Ой братику нашъ меншій, милый,
Якъ голубонько сивый!“

Ой та мы сами не втечемо
И тебе не ввеземо:
Бо изъ города Озова буде погоня вставати,
Тебе пишого на тернахъ та въ байракахъ минати,
А насъ кинныхъ буде доганяти,
Зтриляти-рубати,
Або живыхъ въ полонъ завертати.
А якъ живъ-здоровъ будешъ,
Самъ у землю христіянську увійдешъ“.

И опять перерывъ. Голосъ умолкаетъ—духъ захватываетъ у старого кобзаря; только бандура не умолкаетъ, какъ бы заставляя еще глубже вдуматься, вчувствоваться въ то, что сейчасъ выплакано было голосомъ, словами...

И слушатели напряженно ждутъ — что же дальше будетъ съ этимъ бѣднымъ младшимъ братомъ?.. Бандура не говоритъ, а только готовится къ чему-то печальному, глубоко-горестному... Не слышно и шопота Максима, и Катруни не слышно—слышится лишь что-то очень горькое въ звукахъ, въ воздухѣ...

„И тее промовляли,
Видтиль побигали,
А меншій братъ, пиша-пишаниця.
За кинными братами вганяе,
Кони за стремена хватае,
Словами промовляе,
Стремена слезами обливае:
„Вратики мои ридненьки,
Голубоньки сивеньки!
Коли жъ мене, братця, не хочете ждати,
Хочъ одно-жъ вы милосердіе майте:
Назадъ коней завертайте,
Изъ пиховъ шабли выймайте,
Мини съ плічъ голову здіймайте,
Тило мое порубайте,
Въ чистимъ полю поховайте,
Звиру та птици на поталу не дайте!“

И снова плачетъ одна бандура, и чѣмъ дальше, тѣмъ страстнѣе этотъ плачъ, тѣмъ горестнѣе качается въ тактъ игры сивая голова бандуриста...

— Охъ, матинко!—слышится женскій стонъ.

Дивчата плачутъ, тихо утирая слезы шитыми рукавами—то одинъ, то другой рукавъ поднимется къ молодому лицу и опустится... Не выдержалъ и пузатый мальчуганъ—заревѣлъ.

— Чого ты, Хведирецъ, плачешъ?—спрашиваетъ бѣлокурая дивчина съ голубой лентой на головѣ.

— Жалко...

— Кого жалко?

— Онъ-того—дидушку...

А дѣдушка все качается да тренькаетъ. И чортъ его знаетъ откуда

что берется у этого хилаго старикашки, у этой затасканной бандуренки! Такъ вотъ и рѣжетъ и тянетъ душу, такъ и поливаетъ слезами, захватываетъ горло невольнымъ стономъ.

— У—и гаспидова-жъ муха! Якъ жалко кусается, сердито говоритъ статный парубокъ въ смушковой шапкѣ и на высокихъ закаблукахъ, смахивая со щеки предательницу слезу.

Да—муха—она кусается до слезъ. Вонъ и дивчатъ, вѣрно, все мухи кусаютъ: бѣлые рукава все чаще и чаще поднимаются къ заплаканнымъ глазамъ. Молодые лица туманятся жалостію. Чортовы мухи!

Нѣтъ, господа Росси, не вызвать вамъ такихъ искреннихъ слезъ изъ души слушателей, какія вызываетъ вотъ этотъ слѣпой, старый, оборванный, безголосый кобзарь Данило Полудитько у своихъ слушателей. И не понять вамъ разницы между вами и ими, между вашими слезами и ихними.

— Тютю на васъ! Огъ дурни! Уси разхлюпались — плачутъ мовъ москаля ховють!—неожиданно раздался веселый голосъ позади всѣхъ.

Очарованіе разомъ исчезаетъ. Бандура умолкаетъ. Всѣ невольно оглядываются.

По серединѣ улицы стоитъ „козакъ“, упершись руками въ боки. На немъ высочайшая барашковая шапка, почти въ видѣ конуса, съ малиновымъ верхомъ, свѣсившимся на правое плечо, и едва держащаяся на бритой головѣ. Длинный оселедецъ закинутъ за ухо. Бѣлая, растегнутая у ворота сорочка—вся въ дегтю. Желтые шаровары—тоже въ дегтю и въ пыли. Красные „сапьянцы“—въ грязи. Шаблюка волочится по землѣ и при малѣйшемъ движеніи поднимаетъ страшную пыль. Загорѣлое лицо казака черно, какъ голенище: видно, не мало палило его лѣтнее горячее солнце гдѣ-нибудь въ степяхъ и не мало „годувались“ по камышамъ комары казацкую кровь.

— А ну, кобзарю, утни веселой—такой, щобъ шкварчала,—хрипите казакъ. — Казаки низови йдуть Москву плюндровать, москаливъ лякать, московськи капшуки трусить та москалеви на шію нового царя садовить. А нубо, старче, вдарь казацкою.

Фигура стараго кобзаря преобразуется. Сивая голова поднимается выше—молодость, молодая казацкая удалъ вспоминается. Стени, байраки, татарва, дивчата, веселая улица.

Бандура начинаетъ вытренькивать что-то говорливое, пересыпчатое, бойкое, и старое горло и старый языкъ шибко вывертываютъ неподражаемые выкрутасы:

Ой ходила дивчина бережкомъ,
Загоняла селезня батожкомъ:
„Гиля, гиля, селезню, до дому!
Продамъ тебе жиловину рудому“.
За три копы селезня продала,
А за копу дударика наняла.
—Заграй мени, дударикю, на дуду.
Теперь же я свое горе забуду...

— Добре, добре, диду!—кричитъ казакъ, выплясывая среди улицы, то навприсядки, то семеня ногами и поднимая невообразимую пыль. — Добре! добре! Ще накинъ, ще пиддай жару, старче!

И старецъ поддаетъ жару.

— Оттакъ! оттакъ! Добре! Ще вдарь...

А старый ротъ вмѣстѣ съ бандурой выговариваетъ:

„Коли бѣ тоби горенько та печаль,
То-бѣ ты выйшовъ на улицу та й кричавъ,
А то-жѣ тоби горенька немає:
Ой хто-жѣ тоби ци кучери звивае?“

Откуда ни возьмись еще одинъ казакъ, маленькій, рябой, кирпатенькій съ шапкою въ половину своего роста, и тоже взявшись въ боки, начинаетъ выплясывать лицомъ къ лицу съ высокимъ товарищемъ, и выговаривать:

„Була въ мене дивчина Орися,
Тоби въ мене ци кучери вилися;
Була въ мене дивчина Уляна,
Вона-жѣ мени ци кучери звивала;
Була въ мене дивчина Варвара,
Вона-жѣ мени ци кучери порвала;
Була въ мене дивчина паскудна,
Вона жѣ мени ци кучери паскубла...“

— Тютю, чоровы дити! Якого вы гаспида бисетесь? Хиба не бачете—ось свята Покрова, корогви.

„Чоровы дити“, усатые плясуны, оглядываются—передъ ними на конѣ батько-отаманъ впереди своего войска. Знамена съ образами на нихъ и крестами. Войско валить Крещатикомъ—конные, пѣшіе, босые и обутые, разодѣтые и ободранные. Батько-отаманъ, да это тотъ самый запорожецъ, котораго мы видѣли на Дону съ Отрепьевымъ.

— Оце-жѣ и е наше войско,—говорятъ оторопѣлые „чоровы дити“ плясуны:—идемо съ московскимъ царевичемъ... А мы отъ и разтаньцювались тутъ собі на лихо.

Войско двигалось въ безпорядкѣ. Это была небольшая часть его, исключительно днѣпровскіе казаки, часть того двухтысячнаго отряда казацкаго, который соединился съ Димитріемъ и его польскими отрядами, не доходя Кіева, въ дорогѣ. Этотъ отрядъ шелъ развѣдать о мѣстѣ переправы черезъ Днѣпръ, собрать и приготовить кіевскіе паромы. Батько-отаманъ ѣдетъ впереди своихъ „хлопцивъ“.

Снизу, отъ Днѣпра, скачетъ какой-то всадникъ и машетъ шапкой.

— Зрада! зрада!—кричитъ онъ, подскакивая къ отряду на взмыленномъ конѣ.

— Якого-жѣ чорта ты кричишь? Яка тамъ зрада?—осаживаетъ его батько-отаманъ.

Этимъ развѣдочнымъ отрядомъ или авангардомъ и командовалъ Куцько-отаманъ. Чтобы придать отряду болѣе обаянія, онъ по дорогѣ, въ одномъ

селѣ, захватилъ церковныя хоругви, которыя передалъ ему священникъ того села, не хотѣвшій, чтобы его церковь обращали въ уніатскій костелъ.

— Яка зрада?—спрашиваетъ отаманъ вѣстового.

— Ходу нема черезъ Днипро. Паромы вси пропали.

— Якъ пропали?

— Такъ и пропали. Мени тамъ казавъ одинъ старецъ печерскій, що се московська закарючка.

И они оба отъѣхали въ сторону. Толпа, что слушала кобзаря, глазѣла на отрядъ. Казаки заигрывали съ дивчатами, перекидывались островами съ парубками, называя ихъ „лежебоками“, „винниками“, „броварниками“, звали съ собой въ казачество. Тоже говорилъ и кобзарь:

— Идить, хлопци, погуляйте въ полн.

— Яка закарючка, кажешъ ты?—спрашиваетъ отаманъ вѣстового.

— А отъ-яка. Сюды изъ Москвы отъ патріарха Іова пріихавъ до воеводы пана Острожскаго москаль—Ахвонька Пальчикъ зъ грамотою, бунимъ-то царевичъ—не царевичъ, а биглый дьяконъ... Такъ панъ Острожскій и поховавъ уси паромы. Чернецъ знае, де вони.

— Овва! биглый дьяконъ. Мы имъ дамо биглаго дякона. Гайда до воеводы!

IX.

Годуновъ и мать Димитрія.

Со временъ самой Опричины никто не запомнить, чтобы на Москвѣ стояла такая молчаливая угрюмость, какая окутала этотъ всегда шумный городъ съ лѣта и особенно съ осени 1604 года. Словно моровое повѣтріе согнало всѣхъ съ улицъ и площадей въ дома, словно невидимая черная немочь неслышно ходитъ по базарамъ, стогнамъ и закоулкамъ города, и стуча костлявыми пальцами въ окна, ворота и двери домовъ, лавокъ и амбаровъ, зловѣще проситъ: „отоприге, отоприге“,—и люди, слыша этотъ зловѣщій стукъ, еще крѣпче запираютъ ворота, двери, ставни... Показывающіеся на улицахъ прохожіе спѣшатъ скорѣе пройти, чтобы не встрѣтиться съ кѣмъ, а встрѣчаясь, спѣшатъ разойтись, не глядя другъ другу въ лицо. Уныло звонятъ церковныя колокола къ утрениямъ, обѣднямъ, вечерамъ: богомольцы тихо сходятся въ церквахъ, горько плачутъ и молятся, и такъ же тихо, безмолвно расходятся по домамъ. Словно зачумленныя бродятъ по городу собаки, поднявъ хвосты, и, не видя обычнаго оживленія на улицахъ, воютъ, наводя тѣмъ еще пущую угрюмость и тоску.

Да и какъ не угрюмиться Москвѣ?—Каждый день эту угрюмость увеличиваетъ стукъ топоровъ, который отъ зари до зари раздается то на Красной площади, то на Самотекѣ, то на Болотѣ, то, наконецъ, въ самомъ Кремлѣ, у тайницкаго обрыва, противъ самыхъ оконъ кремлевскаго дворца.

И что за странныя, а для Москвы страшныя постройки мастерять новго-

родскіе да костромскіе плотники? Что это за маленькія рубленныя горенки возводятся на показанныхъ мѣстахъ, горенки безъ оконъ и дверей, какіе-то остовы домиковъ, срубы квадратные, да столбы, заостренные кверху, словно гигантскія иглы? Постучать-постучать топорами костромскіе плотнички, построятъ горенку-другую, а на другой день—глядь—вмѣсто горенки одна кучка золы вѣтромъ развѣвается да изъ-подъ золы иногда косточки обугленные, крестики, запойки да пуговицы желѣзныя да мѣдныя виднѣются. И вновь стучать топоры, и вновь поднимаются надъ испепеленною землею маленькіе срубы-горенки, а рядомъ съ ними иногда торчатъ гигантскія иглы—колья заостренные. И какое это платье, какія полотнища шьются этими иглами великими, какіе охабни да порты да зипуны узорочные расшиваются да изукрашиваются иглами-великанами?

Шьетъ этими иглами Борисъ Годуновъ свою, раздирающуюся по швамъ, царскую порфиру, нацѣтую имъ на себя не по праву. Сколачиваетъ онъ топорами костромскихъ плотниковъ расшатывающійся тронъ свой, на который онъ вступилъ черезъ трупъ младенца невиннаго. Подпираетъ царь Борисъ высокими заостренными кольями неплетно сидящую на головѣ его тяжелую шапку Мономаха. Охъ, тяжела, тяжела ты, шапка Мономахова. Не въ пору ты, шапка старая, круглой татарской головѣ потомка татарскаго мурзы—Четя. А въ пору была бы ты, шапка старая, молодой головушкѣ царевича Димитрія, не то зарѣзаннаго, не то безъ вѣсти пропавшаго.

Шьетъ Борисъ свою порфирушку, а порфирушка все не сошьется, а все больше и больше по швамъ распускается. Сколачиваетъ Борисушка тяжелую шапочку-мономашечку на своей буйной головушкѣ, а шапочка-мономашечка съ буйной Борисовой головушки на землю валится.

Охъ, тяжело, тошно Борисушкѣ—не радуютъ палаты бѣлокаменные, переходы высокіе, столы-скатерти бранныя, ширинки шитыя, чаши серебряныя, кубочки золоченые; не радуютъ его яства сахарныя, меды сладкіе, платье узорочное; не веселитъ его очушки свѣтлыя казна царская, дума боярская... Не радуютъ его дѣтушки малыя—что ни соколъ ясный царевичъ Ѳедюшенька младъ, что ни свѣтъ млада Аксиньюшка царишна, лицомъ бѣлая и румяная, съ косами трубчатыми, со бровями союзными, со походкою лебединою и со рѣчію соловьиною... Эхъ ты, горе-гореваньице, охъ ты горе горячее, невсыпучее!...

Подойдетъ Борисушка ко косящету ко окошечку своего дворца бѣлокаменнаго, поглядитъ-поглядитъ на своихъ костромскихъ плотниковъ, что строятъ день и ночь срубы-горенки, поглядитъ-посмотритъ, какъ горятъ эти горенки со тѣлами воровъ измѣнниковъ, какъ корчатся на высокихъ кольяхъ царевичевы стороннички, а все на сердцѣ не легче у Борисушки.

Стукъ-стукъ-стукъ топорики по горенкамъ, екъ-екъ-екъ сердечушко Борисово. Охъ, тяжело! охъ, тяжка душенька младенца безгрѣшнаго! охъ, горяча кровушка невинно-пролитая! Охъ, тошнымъ-тошно-тошнехонько!

Охъ, и смертушка желанная! Охъ, дѣтушки малыя, сироточки—что сыночекъ младъ Ѳедюшенька да млада дочушечка свѣтъ-Аксиньюшка...

Задумалъ Теренька женицца.
Тетка да Домна бранитца:
Куды тее черти носили?
Мы бѣ тея дома жанили—
Или-или-или-или-или—
Мы бѣ тая дома жанили...

— Чу! кто-то поетъ за окномъ. Господи, Владыко живого моего! благодарю тебя, что и единый счастливый обрѣтется въ царствѣ моемъ подданный, что поетъ радостно и счастье, надо полагать, и покой душевный обрѣтаеги. А то такъ-то сумарочно глядитъ моя Москва, все царство мое смутилося... Благодарю тебя, Владыко!

Это говорить царь Борисъ, подходя къ окну своего дворца и желая взглянуть на счастливца, поющаго въ это тяжкое время. Подходить онъ и видитъ, что это поетъ одинъ изъ плотниковъ, строящихъ горенки, рыженькій мужиченко, поетъ, потюкивая топорикомъ и подмигивая лукаво своему товарищу. И легче становится у Бориса на сердцѣ. И видитъ онъ въ то же время, что ко плотникамъ, черезъ площадь, стремительно бѣжитъ перепуганный приставъ, оглядываясь на царскія окошки.—И Борисъ нетерпѣливо машетъ рукой приставу, останавливаетъ его усердіе—приставъ догадывается и быстро возвращается ко дворцу.

— Что-жъ Теренька? А Теренька и впрямь нонѣ женится, какъ въ домамъ воротимся,—говоритъ тотъ плотникъ, молодой, плечистый парень съ добродушнымъ лицомъ, къ которому рыжій мужиченко относилъ свою игривую пѣсенку.—Нонѣ у Тереньки завелась денежки.

— Что и говорить,—замѣчаетъ съ своей стороны мужиченко-пѣвунъ:—у царя Бориса Ѳедорыча, дай Богъ ему здоровье, работка намъ есть. Топорикомъ по бревнышку тю-тюкъ-тюкъ, а денежки въ мошонушку звякъ-звякъ.

— То-то и есть. Котору ужъ горенку сгрозимъ?

— А Богъ ихъ вѣдаетъ,—я ужъ и счетъ потерялъ.

— Да, намъ-то что?—выѣшался трегій плотникъ, угрюмый мужикъ:—а каково боярамъ да дьякамъ, да посадскимъ людямъ въ этихъ горенкахъ грѣться?

— Что-жъ, паря? Не болтай лишняго. Я вотъ смердъ—и свое смердые дѣло знаю, а въ царское да въ боярское не суюсь.

— Да намъ что? Намъ наплевать.

— Вѣрно,—одобряетъ угрюмый мужикъ Тереньку.—А то на поди—царевичъ, слышь.

— Ну и что-жъ? И пуцай его царевичъ—намъ какое дѣло?—благоданѣренничаетъ Теренька.

— Такъ вотъ поди ты—живъ, говорятъ.

— Пустое!—говоритъ рыжій мужиченко:—самъ тады въ Угличѣ былъ—полы въ царскихъ хоромахъ перемашивали.

— Ну, что-жь, и видалъ?—спрашиваетъ Теренька.

— Видалъ. Послѣ полудня эдакъ услышали мы набать—мы въ ту пору поддичали—квасъ съ лукомъ хлебаи. Слышимъ набать у Спаса въ земляномъ городѣ—пометали ложки, бѣгимъ,—пожаръ, думаемъ. Аяъ бѣжить на колокольню къ царю Костянтину Огурецъ-пономарь, вопить въ истошнйй голосъ: царевича не стало!—и ну набатить въ мертву голову. Мы туда! И притча же, братецъ ты мой, тутъ со мной случилася—ужъ и притча!

— Что, паря?—любопытствовалъ Теренька.

— Бѣгу это я, крещуся со страху—и вдругъ, братецъ ты мой окаянный гашникъ у меня и порвисъ отъ натуги то—портки-то и свались съ меня. Ребятамъ смѣхъ, а мнѣ не до смѣху.—Какъ тутъ быть? думаю. Да Богъ надоумилъ: размоталъ паволоки огъ лаптя, да и подвяжи портки. Ладно, бѣгу, прибѣгаю и вижу, братецъ ты мой: мамка царевичева, Орина Жданова, стоитъ и держитъ на рукахъ мертваго ребенка—кровь эдакъ аленькая изъ горлышка черезъ ожерельице капъ-капъ-капъ. Таково жалко стало. А царица Марья тутъ же своими царскими рученьками Василису Волохову—не то мамка, не то кормилка царевичева—такъ царица ее полвномъ, полвномъ. Ну, и по дѣломъ—какъ дитю не доглядѣла?

— Вѣстимо, по дѣломъ,—подтверждаетъ угрюмый мужикъ:—царскую-то дитю—это не наше, смердье.

— Такъ-такъ, братцы: смердье-то дите и свинья съѣстъ, такъ бѣда не велика.

— Ну, паря,—снова любопытствовалъ Теренька.

— Ну, какъ царица-то сказала, что царевича зарѣзали. Волоховъ, братъ мамкинъ, да Качаловъ да Битяговскіе—мы на нихъ. А Михайло Нагой кричитъ: „бей ихъ, робята,—мы съ царицей все на себя беремъ“. Ладно. Битяговскій на утекъ—въ брусяную избу—еще мы ее, братецъ ты мой, избу-то и рубили—ну, онъ въ избу и мы въ избу—разнесли избу—разнесли и Битяговскаго... А тутъ Третьяковъ—и его баць!—уложили. Кинулись въ разрядную избу—руки расходились—уложили Качалова и другого Битяговскаго—Данилку. Еще тамъ кто подвернулся—уложили тоже. Тутъ ужъ, паря, не глядѣли, кого бить, кого не бить: увидалъ боярское платье—и готово. Знатная была работа, скажу вамъ.

— А царевичъ же что?

— Что ему, лежить.

— Все у мамки?

— Нѣту. Мы и ее потрепали.

— Убили?

— Не привелъ Богъ. Какъ кинулись это на нее, сбили волосникъ...

— Что ты, паря! Опростоволосили бабу?

— Опростоволосили—такъ косой и засвѣгил.

— Охъ, срамъ какой! Да такого сраму ни одна баба не переживетъ.

— Нѣтъ, пережила эта. Мы бѣ и ее порѣшили, да отцы Ѳндоритъ да Савватій отняли:— „Не трошь, говорить, робята, въ храмѣ“.

— А рази въ храмѣ ихъ били?

— Да ты слушай! Что пустое мелешь?

— Какъ же, паря!

— Ну, сказано тебѣ по-русски—порѣшили тѣхъ-то, что на дворѣ были да въ брусяной да въ разрядной избѣ...

— А какъ же храмъ-то?

— Да ты, чортъ, не перебивай. До храма-то далеко еще.

— Ну?

— Ну, и порѣшили, вспотѣли шибко. Выпили это...

— Выпили?

— А какъ же? Жарко, ну—и дѣло царское, такъ мы ендову и роспили, а тамъ ужъ и въ храмъ. Ну, приходимъ къ Спасу: вотъ это мы, примѣрно, и это царица. Ну, и держитъ она, братецъ ты мой, на рукахъ зарѣзаннаго ребеночка... Таково жалко!—Рыженькой такой, худенькой, и въ мертвой ручкѣ, братецъ ты мой, такъ и замерзли орѣшки... Орѣшками игралъ ребенокъ, какъ его зарѣзали,—такъ орѣшки такъ и зачоченѣли въ мертвой рученкѣ, и кровь на нихъ...

— Какъ же теперь люди болтаютъ, что онъ живъ?—спрашиваетъ Теренька.

— Пустое болтаютъ,—осаживаетъ его угрюмый мужикъ.

— Сказываютъ—подмѣнили.

— Какъ подмѣнили?—протестуетъ рыжій разскащикъ.—Самъ видѣлъ—рыженькой, вотъ какъ я.

Даже угрюмый мужикъ на это разсмѣялся.

А топоры все тюкъ да тюкъ. Подойдетъ Борисъ къ окну, поглядитъ поглядитъ, и опять скрывается его мрачное лицо.

А тамъ иногда выглянуть изъ оконъ царскаго дворца молоденькія лица—то строгое, красивое личико Ѳедора царевича, съ книгой въ рукѣ или съ перомъ, то прелестное, молочнаго цвѣта, личико Ксеніи царевны, съ убрисомъ въ рукахъ и иглою,—выглянуть, увидеть строящіяся горенки и съ испугомъ убѣгаютъ отъ оконъ...

А топоры тюкъ да тюкъ—горенки все выше да выше поднимаются. Надъ Москвой опускается ночь—еще угрюмѣе становится Москва, еще безлюднѣе. Уходятъ и плотники изъ Кремля на ночовку—умолкаютъ ихъ живые голоса, умолкаетъ тюканье топоровъ, развлекавшее Бориса—и мертвенная тишина опускается на Кремль, опускается, какъ туча передъ грозой.

За полночь. Изъ Новодѣвичья монастыря тихо, словно бы украдкой, пробирается къ городу крытая колымага-каптана съ конвоемъ. Кого везутъ въ каптанѣ—не видно. Осторожно постукиваютъ колеса каптаны, а все-таки стукъ этотъ гулко отдается въ ночной тишинѣ. Каптана въѣзжаетъ въ городъ, подѣзжаетъ къ Кремлю, ее свободно пропускаютъ

въ Кремль. Не одинъ москвичъ проснулся, услыхавъ стукъ колесъ въ необычный часъ, и съ испугомъ творилъ крестное знаменіе.

Каптана подъѣзжаетъ къ дворцу, останавливается. Изъ каптаны высаживаютъ женщину, всю въ черномъ. Монахиня... Монахиню кто-то проводитъ во дворецъ, во внутренніе покои царя.

Борисъ не спитъ — нѣтъ ему сна — онъ самъ зарѣзалъ свой сонъ, и сонъ-мертвецъ нейдетъ къ нему.

Борисъ въ опочивальнѣ. Съ нимъ и царица Марья. Они ждутъ кого-то. Какъ постарѣли они съ тѣхъ поръ, какъ на нихъ въ первый разъ торжественно, передъ народомъ, надѣвали царскія короны! А прошло не болѣе шести лѣтъ. О, какъ старятъ людей эти короны тяжелыя! На лицо Бориса эти шесть лѣтъ съ короной на головѣ наложили такіе страшныя тѣни, провели по лбу, подъ глазами и у угловъ рта такія борозды, какія никакой плугъ, никакая соха прорѣзать не могутъ. А этотъ огонь въ глазахъ, не оживляющій, не согрѣвающій, а испепеляющій человѣка, изсушающій его мозгъ, сердце, кости, мозгъ костей. А эти судорожныя подергиванья лица, всего тѣла, это частое повикновеніе нѣкогда гордой, ненагибающейся головы. О, короны! сколько же въ васъ тяжести, нечеловѣческой силы, разрушительности.

И царица Марья постарѣла, осунулась... И по ея лицу прошли рѣзцы времени, а въ густыя пряди волосъ сами вплелись серебряныя нити. Сѣдина, сѣдина, сѣдина—и на головѣ, и въ сердцѣ.

Тихо въ Борисовой опочивальнѣ. Тускло горятъ въ высокихъ паникадилахъ, словно въ церкви, восковыя свѣчи. Въ опочивальню кто-то входитъ въ черномъ. Это монахиня—ее-то привезли въ каптанъ изъ Новодѣвичья монастыря. Свѣтъ свѣчей падаетъ на ея блѣдное, старое лицо. Это—старица Марѳа, послѣдняя жена Грознаго, мать царевича Дмитрія. Старица крестится и молча останавливается у порога опочивальни.

— Подойди сюда, старица Марѳа,—тихо говоритъ Борисъ.

Старица приближается. Борисъ и царица пристально смотрятъ ей въ глаза.

— Говори правду: живъ твой сынъ или нѣтъ?—грознымъ шопотомъ спрашиваетъ Борисъ.

— Я не знаю, царь,—тихо отвѣчаетъ старица.

Борисъ отшатывается отъ нея, точно отъ привидѣнія. Голова его затряслась какъ-то неправильно, словно у какой старухи.

— Не знаешь... *ты* не знаешь, живъ ли *твой* сынъ! — не заговорилъ, а засипѣлъ Борисъ.

— Не знаю.

— *Теперь* не знаешь! о!

Царица Марья, выхвативъ изъ паникадила горящую свѣчу, съ визгомъ бросается на старицу.

— А! окаянная! и ты смѣешь говорить — не знаю, коли вѣрно знаешь!

И она хочет ткнуть ей въ очи горящей свѣчей, но Борисъ останавливаетъ ее. Разсвирѣпѣвшая царица все-таки швыряетъ свѣчею въ глаза старицы.

— Вотъ тебѣ, окаянная!

Борисъ вновь подходитъ къ старецѣ и вновь смотритъ ей въ глаза.

— Ты же видѣла, что его зарѣзали?—говоритъ онъ съ дрожью въ голосѣ.

— Зарѣзали—видѣла.

— И что-жъ?

— Не знаю—не вѣдаю.

Царица снова порывается къ ней. Борисъ раздѣляетъ ихъ и снова допрашиваетъ.

— Не вѣдаешь! Кого-жъ ты держала на рукахъ въ церкви?

— Мертваго младенца.

— Сына?

— Не вѣдаю. Я отъ печали помутилась.

— А! помутилась! змѣя подколотная!—не вытерпѣла царица.

— Такъ ты думаешь, что не сына твоего зарѣзали?—болѣе спокойно спросилъ Борисъ.

— Мнѣ говорили, что не его-де.

— А кого же?

— Не вѣдаю.

— А о сынѣ твоёмъ, что говорили?

— Что-де его увезли тайно изъ россійской земли безъ моего вѣдома.

— Кто увезъ?

— Не вѣдаю.

— А кто говорилъ?

— Тѣ, что мнѣ говорили, уже померли.

Борисъ стоялъ, не зная, что сказать. Ему становилось страшно этой женщины. Ему чудилось, что за ней стоитъ окровавленный ребенокъ и улыбается, улыбается, насмѣшливо улыбается. Волосы задвигались на головѣ у Бориса. Что съ ними? что они поднимаются? Корону сбросить хотятъ съ головы? Но короны нѣтъ тутъ. Охъ, какая страшная черница. Какъ страшно улыбается ребенокъ... рыженькій... И тотъ былъ рыженькій...

— Пошла вонъ!—говоритъ онъ, опомнившись.

Старица вышла неслышными шагами, какъ тѣнь. А рыженькій ребенокъ все стоитъ. Чуръ-чуръ-чуръ!..

Царица, упавъ на лавку, плакала въ безсильномъ и зломъ отчаяньи. Она рвала на себѣ душегрѣю, рубашку.

А рыженькій ребенокъ все стоитъ... Но онъ уже не улыбается...

Х.

Пѣсня Ксеніи.

Подъ самымъ Кремлемъ, на Красной площади, вокругъ лобнаго мѣста толпится народъ — посадскіе и гостинные люди, лабазники, суконники и всякаго званія московскіе и подмосковные людишки и холопишки. А на самомъ Лобномъ мѣстѣ стоитъ старый подъячій съ чернилицею — мѣдною съ ушками — за поясомъ и съ огромнымъ орлинымъ перомъ за ухомъ и держитъ въ рукахъ какую-то бумагу. По временамъ подъячій читаетъ эту бумагу, нѣсколько въ носъ и нараспѣвъ, а потомъ размахиваетъ руками и громко объясняетъ прочитанное.

— Изъ крамолы, значить, врага и поругателя христіанской церкви этого самаго Жигимонтишки, короля литовскаго, весь сыръ-боръ, загорѣлся,—поясняетъ подъячій.

— Вѣстимо не отъ христіанина такое непутевое дѣло пошло,—соглашается почтенная сѣдая борода, стоящая ближе другихъ къ Лобному мѣсту.

— Что они, кормилецъ, баютъ? — спрашиваетъ глуховатый старикъ своего сосѣда, толстаго купчину съ сережкой въ ухѣ.—Кто этотъ Жигимонтишка—не пойму я.

— Нечистый—вотъ кто: церковный ругатель—въ церкви, слышь, матерно ругается,—комментируетъ купчина съ серьгой.

— Ахъ, онъ песъ эдакой!

— И хочеть-де, — снова разглагольствуетъ подъячій, — разорить въ россійскомъ государствѣ православныя церкви и построить костелы латинскіе, капища люторскія да жидовскія—вотъ что.

— Кто это, родимый?—вновь любопытствуетъ глуховатый старикъ.

— Все онъ же.

— Песъ Жигимонтишка?

— Нѣту, говорятъ тебѣ толкомъ: песъ Жигимонтишка само-по-себѣ, а Гришка Отрепьевъ разстрига—само-по-себѣ.

— Что-жъ онъ?

— Царевичемъ, слышь, Дмитріемъ назвался, чтобы-де за то, что его разстригли, всѣ церкви въ капища повернуть.

— Ахъ, онъ кобылій сынъ!

— А ты слушай—не лайся...

— И онъ не царевичъ Дмитрій,—поучалъ подъячій,—а Юшка Богдановъ, по реклу Отрепьевъ, что жилъ у Романовыхъ, да проворовался—мясо ѣлъ...

— Мясо ѣлъ? Ахъ, онъ окаянный! — ужасается почтенная сѣдая борода.

— Мясо ѣлъ, точно. А опосля постригся, и сталъ чернецъ Гришка, и въ Чудовѣ въ діаконахъ былъ—и учалъ воровать—впаде въ черно-книжіе и мясо ѣлъ.

— И мясо ѣлъ? Ахъ, ты, Владычица! И какъ его земля-то за это держала!—удивляется и ужасается сѣдая борода.

— А какъ ушелъ это онъ въ Литву, и сталъ блевать неподобное, якобы онъ—царевичъ углицкой, и та блевотина его ни во что: святѣйшему патріарху и всему освященному собору и всему міру вѣстно, что Дмитрія царевича не стало вотъ уже четырнадцать годовъ,—продолжалъ ораторствовать подъячій.

— А что у него, у подъячево-то, за ухомъ, родимый? — любопытствуетъ старикъ.

— Перо.—Аль не видишь?

— Не похоже будто на перо—велико ужъ шибко.

— Да то перо орлиное.

— Ахти, дѣло какое!

— То-то же—орлиное, царское, значить, отъ самого царя: царь все орлиными перьями пишетъ,—поясняетъ образованный купчина съ серьгой въ ухѣ.—Орлиное, а ты мнилъ простое?

— Диво! диво! ишь ты...

— Орлинымъ-то оно крѣпче. Какъ написалъ „быть-де по сему“—такъ ужъ этого топоромъ не вырубишь, потому орелъ—царь-птица.

— Господи! вотъ что значить грамота-то.

— И вотъ за это самое святѣйшій патріархъ со всѣмъ освященнымъ соборомъ онаго Гришку вора проклялъ — анаѣмъ предалъ,—снова слышутся слова подъячаго:—и проклятъ всякъ, кто его за царевича почитаетъ.

Многіе въ толпѣ крестятся съ испугомъ. „Святъ-святъ-святъ! помилуй насъ.“ А подъячій, поднявъ кверху бумагу, громко вскрикиваетъ:

— Гришка Отрепьевъ—анаѣема! анаѣема! анаѣема!

— Анаѣема!—гудятъ голоса въ толпѣ... но — не всѣ... этого никто не замѣчаетъ...

— Инъ теперь пойду и на Верхъ—къ царевнѣ. Что-то она безъ меня, перепелочка, подѣлывала? Расскажу ей, что слышала, — бормочетъ про себя какая-то старушка, продираясь изъ толпы.

Старушка смотритъ простой бабой-горожанкой, хотя одѣта богато, только скромно. Спасскими воротами она входитъ въ Кремль, крестится подъ воротами, и черезъ площадь проходитъ во дворецъ, въ теремъ—на женскую половину. Всѣ встрѣчающіеся съ ней снимаютъ шапки, кланяются и привѣтствуютъ почтительно словами: „Здравствуй, мамушка.“ Это и есть мамушка Ксеніи царевны, ея пѣстунья и первая на Москвѣ сказочница. А когда-то была и пѣвица знатная: какъ запоетъ бывало „славу“—и царю, и царскому платью, и царскимъ конямъ, какъ поведетъ своимъ лебединымъ голосомъ подблюдную пѣсню — такъ весь теремъ заслушается... И Оксиньюшку-царевну, золото червонное, плечико точное, шейку лебединую, голосъ соловьиный—научила она, мамушка, всякія пѣсни пѣть.

Входитъ мамушка въ теремъ царевнинъ и видитъ, что Оксиньюшка

царевна съ четырьмя другими дѣвушками дворскими большую пелену золотомъ и жемчугомъ вышивають. Заняты, значить,—дѣло хорошее. Только видитъ мамушка, что у Оксиньюшки царевны какъ-быдто глазки заплаканы.

— Что это, матушка царевна, глазыньки-то у тебя словно бы недавно умывались?—ласково спрашиваетъ она.

Ксенія молчитъ, низко нагибаясь надъ пеленой.

— Что-й-то, дѣвыньки, у васъ тутъ было?—спрашиваетъ мамушка у другихъ дѣвушекъ.

— Плакать изволила царевна,—отвѣчала бойкенькая большеглазая Наташа Котырева-Ростовская.

— А объ чемъ это плакынькать ты вздумала, золотая моя? — снова допытывается мамушка.

— Такъ, мамушка, скучно мнѣ.

— Нѣту, мамушка, царевнѣ сначала покойный женишокъ, дацкой прынецъ Яганушка, припомнился, и она изволила заплакать,—защебетала востроносенькая, съ сильно развитыми плечами и бюстомъ Оринушка, княжна Телятевская. — Все припомнить изволила, что было на прынцѣ Яганушкѣ, какъ царевна его въ окошечко увидала: и платье на немъ—атласъ алъ, дѣлано съ канителью по-нѣмецки, и шляпочка пуховая, на ней кружевцо дѣлано—золото да серебро съ канителью,—и чулочки шолкъ алъ, и башмачки сафьянъ синь...

Мамушка только качала головой.

— А вы бѣ ее потѣшили—пѣсенки спѣли,—говорить мамушка.

— Пѣли, мамушка, такъ царевна сама изволила намъ такую пѣсенку спѣть, что и мы всѣ разревѣлись,—щебетала Оринушка.

— Какая жѣ это такая пѣсенка? Али неслыханная?

— Неслыханная, мамушка, подлинно неслыханная! Про себя изволила царевна пѣть да про Ростригу, про Гришку Отрепьева.

— Господи! съ нами крестная сила! Вотъ сейчасъ его, окаяннаго, на лобномъ мѣстѣ проклинали.

— Проклинали, мамушка?

— Проклинали.

Дѣвушки кинулись къ ней съ разспросами.

— Да отстаньте вы отъ меня, сороки, (отбивалась отъ нихъ мамушка),—дайте мнѣ царевну-то допытать.

— Не почто меня пытатъ, мамушка-голубушка, и сама тебѣ свою пѣсенку спою,—ласково говорила, улыбаясь и цѣлуя старушку, Ксенія.—Сама ты мастерица пѣть, и меня научила гласы воспѣваемые любить. Я вотъ и напѣла себѣ пѣсенку, и спою ее тебѣ.

— А ну-ну, послушаемъ.

И Ксенія, отойдя въ сторону и подперевъ свою бѣлую полную щеку такою же бѣлою, точною ручкой, тихо, заунывно запѣла:

Ой и сплachtetца мала птичка,
Бѣлая целепелка:

Охте мнѣ, молоды, горевати!
Хотятъ сырой дубъ зажигаѣи,
Мое гнѣздышко разорити,
Мои малыя дѣти побити,
Мене, пелепелку, поимати...

— Охъ, ужъ и мастерица ты у меня, золотая моя,—ужъ и подлинно млада пелепелочка, — шептала старушка, съ любовью и со слезами на глазахъ глядя на свою вскормленницу:—охъ, ужъ и пѣсенка утробистая— всю утробушку съ душенькой вымучить.

— А ты, мамушка, послушай что дальше-то, — не утерпѣла Оринушка княжна Телятевская.

— Слушаю, слушаю, сорока ты эдакая.

Ксенія, взявъ глубокія грудныя ноты, продолжала:

Охъ, и сплachtetца на Москвѣ царевна,
Борисова дочь Годунова:
Охте мнѣ, молоды, горевати!
Что ѣдетъ къ Москвѣ измѣнникъ,
Ино Гришка Отрепьевъ рострига,
Что хочетъ меня полонити,
А полонивъ меня, хочетъ постритчи,
Чернеческой чинъ наложити.

При пѣніи послѣднихъ стиховъ мамушка встала, съ боязнью и мольбой протянула впередъ руки—да такъ и застыла на мѣстѣ.

— Что ты! что ты, царевна! Господь съ тобой! что ты непутящее выдумала! Да не дай Богъ батюшка-осударь услышитъ — такъ онъ сказнитъ мою сѣдую голову,—шопотомъ говорила старуха, мѣняясь въ лицѣ.

— Да, мамушка, и мы тоже говорили—такъ не слухаетъ царевна,— снова затрещала Оринушка.

— Да ты, мамушка, дослушай до конца,—тихо настаивала Ксенія:— батюшкѣ я не скажу объ этомъ.

— Охъ, Господь съ тобой! Всю душеньку мою вымотала,—бормотала старуха.

— Ну, слушай же—еще меня не постригли, — улыбаясь, говорила Ксенія, перебирая свою трубчатую косу.—Слушай.

Охъ, ино мнѣ постритчися не хочетъ,
Чернеческаго чину нездержати,
Отворити будетъ темна келья,
На добрыхъ молотцовъ посмотрити.
Иня—охъ милыи мои переходы,
А кому будетъ по васъ да ходити
Послѣ царскаго нашего житья
И послѣ Бориса Годунова?
Ахъ, и милыи наши теремы,
А кому будетъ въ васъ да сѣдети,
Послѣ царскаго нашего житья
И послѣ Бориса Годунова?

Когда Ксенія кончила и оглянулась на подружекъ, то увидѣла, что двѣ изъ нихъ, и въ томъ числѣ большеглазая Наташенька, княжна Котырева-Ростовская, забившись въ уголъ, горько плакали.

— Голубушки мои! — бросилась къ нимъ Ксенія: — а вы и вправду подумали, что меня ужъ постригли. Перестаньте плакать. Ну, будетъ, будетъ, пучеглазая моя Натунюшка! Будетъ и тебѣ, чернобровочка моя Парасковьюшка! Не плачьте. Меня еще не постригли—мы еще съ вами на добрыхъ молодцовъ посмотримъ.

И царевна ласкала и цѣловала своихъ подружекъ.

— Охъ, уже ты мнѣ, егоза!—ворчала мамушка:—всѣхъ перемutila, и меня, старую, чуть въ слезы не ввела.

— А какъ, мамушка, Одея братецъ за эту пѣсенку на меня взлютовался, такъ святыхъ вонъ понеси: „ты, говоритъ, обиду чинишь нашему царскому роду“...

— И подлинно чинишь. Пронеси только, Господи, все это мимо царя-осударя! Охъ, страшно. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его,—крестилась мамушка.

— Нѣтъ, мы уже съ Одей помирились, и онъ больше на меня за это не сердитуется и показывалъ мнѣ свой чертежъ россійскаго государства,—успокоивала всѣхъ Ксенія.

— Какой чертежъ, голубушка царевна?—спросили дѣвушки.

— А на большой бумагѣ, да киноварью съ синимъ крашенъ,—защептала было востроносенькая Оринушка Телятевская, да и прикусила языкъ, вспыхнула какъ макъ цвѣтъ и закрылась руками.

— А что, стрекоза, развѣ ты видала?—накинулась на нее мамушка.

— Нѣту... Онъ... царевичъ... чертежъ этотъ... я нечаянно... и царевичъ нечаянно,—бормотала растерявшаяся дѣвушка.

— То-то у васъ все нечаянно.—Поди и поцѣловались нечаянно,—ворчала старушка.

— Нѣту, мы не цѣловались, мамушка.

И Оринушка совсѣмъ присмирѣла. Присмирѣли и другія дѣвушки. Ксенія, глядя на нихъ, только улыбалась.

А царевичъ, котораго мамушка поклепала, будто онъ цѣловался нечаянно съ княжной Телятевской, съ Иришей, сидитъ въ это время въ своей комнатѣ и серьезно занятъ своимъ чертежомъ, надѣлавшимъ во дворцѣ столько шуму, особенно въ женской половинѣ, въ теремѣ.

Чертежъ этотъ — ничто иное какъ ландкарта, на которой изображено московское царство. Ландкарту эту чертилъ самъ царевичъ, который былъ большой искусникъ и всякой книжной мудрости навъченъ.

Царевичъ Оедоръ—юноша лѣтъ шестнадцати, хорошо упитанный, бѣлотѣлый, бѣлолицый и румяный, и въ отца—черноволосый и черноглазый. Онъ сидитъ надъ своей ландкартой и подрисовываетъ ее то тамъ, то здѣсь. Около него пожилой мужчина въ богатомъ боярскомъ одѣяннѣ стоитъ въ большомъ недоумѣннѣ.

— И ты, царевичъ, доподлинно сказываешь, что тутъ вся россійская земля на этой бумагѣ умѣстилася?—спрашиваетъ онъ недовѣрчиво.

— Вся, дядя, доподлинно вся,—отвѣчаетъ Ѳеодоръ.

Дядя съ изумленіемъ разводитъ руками.

— Да и тутъ и Кремлю-то одному не помѣститься, царевичъ, а то на! вся россійская земля! Да россійскую-ту землю и въ кои годы объѣдешь.

— А вотъ на чертежѣ-то, дядя, ее всю и видно,—успокаиваетъ его царевичъ.

— Какъ же ты говоришь — всю? А покажи-тка ты мнѣ мою звенигородскую вотчину.

Царевичъ ткнулъ пальцемъ въ одну точку.

— Вотъ и Звенигородъ.

Дядя нагибается надъ картой и внимательно смотритъ на непонятныя ему точки.

— Гдѣ жъ это, говоришь ты, Звенигородъ?

— Да вотъ этотъ кружочекъ.

— Э! только-то? Да развѣ это Звенигородъ?

— Звенигородъ, дядя.

— Чудеса! Ну, а гдѣ-жъ тутъ моя вотчина съ пустошами?

— Ея тутъ нѣтъ.

— Ну, вотъ и нѣтъ! А ты говоришь—вся россійская земля—анъ не вся!

Царевичъ улыбнулся наивности своего дяди и ничего не сказалъ. Это былъ Иванъ Годуновъ, человѣкъ хотя и не глупый, но совершенно необразованный, и географическія карты были для него — „темна вода во облацѣхъ“.

Онъ задумался и, глядя на карту, разводилъ руками.

— А мудеръ твой отецъ, осударь-царь Борисъ Ѳеодорычъ, ухъ какъ мудеръ!—говорилъ Годуновъ, тыча пальцемъ въ карту:—ишь чему сынка-то научилъ. Мудеръ, мудеръ... И ты въ него, государь племянничекъ, въ батюшку-то пошолъ. Мудеръ, ужъ и такъ-то мудеръ, что и-и-и!.. Ну, а что это за червячки такіе длинненькіе написаны тутъ-во?

— Это рѣки, дядя.

— Рѣки—поди ты! И Москва-рѣка есть, и Яуза, и Неглинна?

— Есть и Москва-рѣка. Вотъ она.

— Экой червячокъ махонькой—мизинцемъ закроешь. Ну, а Волга рѣка?

— Вотъ она—до самаго моря дошла.

— Ишь ты, какой кнутище—подлинно кнутъ, а Волга, значить. Ну, а, примѣромъ сказать, и города тутъ есть?

— Есть и города, дядя. Вотъ Москва, вотъ Новгородъ, Тверь, Псковъ, Нижній, Рязань.

Иванъ Годуновъ даже руками объ полы ударилъ.

— И Клинь, поди, есть?

— Вотъ и Клинь, дядя.

— Ахъ, ты, Боже мой! Вотъ эта маковая росинка—Клинь?

— Онъ и есть.

— Ай-ай-ай! подлинно макова росинка. А Москва-матушка?

— Вотъ кружокъ.

— Те-те-те! кружочекъ махонькой—вижу, вижу! Вотъ и вышло, какъ въ пословицѣ: „Москва Клиномъ сошлась“. Что Клинь, что Москва—макова росинка. Ну, а ежели бы сказать Путивль городъ—этого поди нѣтъ?—спросилъ онъ какъ-то нерѣшительно.

— Нѣтъ, дядя, и Путивль есть.

— Ой-ли! Есть?

— Вотъ онъ.

Годуновъ такъ нагнулся, что полкарты прикрылъ своей бородой.

— Путивль... Ахъ ты, собачій сынъ! Такъ вонъ онъ гдѣ—на поди! Да это до Москвы рукой подать.

Годуновъ видимо растерялся.

— Ахъ онъ, анаеема-проклять! ахъ, онъ, сатанинъ хвостъ, Гришка дьяволъ! а! въ Путивлѣ ужъ, — бормоталъ онъ, глядя на точку, изображавшую Путивль.—И что-жъ это царское войско не беретъ его, анаемому? А! куда затесался...

И царевичъ глядѣлъ смущенно. Ему вспомнилась пѣсня Ксеніи.—Охъ, какая страшная пѣсня! Ножомъ по сердцу рѣжетъ... „Иво охте мнѣ горевати“... И Ириша Телятевская вспомнилась — покраснѣлъ царевичъ. Нагнулась это она надъ чертежомъ — Москву ищетъ, и онъ, Федя-царевичъ, ищетъ Москву—и щеки ихъ вмѣстѣ; горитъ щечка у Ириши—и на самой-то Москвѣ и сошлись ихъ губы воедино... нечаянно, ненарокомъ... да такъ и остались...

— Осударь-царевичъ! — раздался вдругъ голосъ Семена Годунова:—царь-государь указалъ тебѣ явиться на очи. Здравствуй, царевичъ!

Царевичъ молча последовалъ за посланнымъ.

XI.

Борисъ у заживо-погребенной.

Время шло, стуча то въ тотъ, то въ другой домъ своею желѣзною клюкою и унося того или другого въ вѣчную могилу. Въ Москву приходили все болѣе и болѣе тревожныя вѣсти, что у того, кто называетъ себя царевичемъ Дмитріемъ, сила все растеть, а Борисова сила, Борисовы рати тають, какъ воскъ передъ иконою.

Борисъ сидѣлъ одинъ почти постоянно, думая свою страшную думу и не зная, что предпринять... Вспоминались старые грѣхи, вспоминались неправды цѣлой жизни, длинною лентою разстилалась позади кровавая дорога, которая привела его на тронъ... А поворота нѣтъ—и не на кого надѣяться: ни коварство, ни отравы, ни огонь, ни колья, что прежде помогало,—теперь не помогаютъ... Къ кому обратиться?—къ Богу? Но какъ

главу его вѣнцемъ златымъ. И ты былъ ужомъ при царѣ Грозномъ: ты, аки ужъ, спасъ російскій ковчегъ отъ потопленія... А безумный Иванъ потопилъ бы его. Помнишь, какъ ты игралъ съ нимъ въ шашки въ день его смерти?

Пришедшій съ ужасомъ попятился назадъ.

— Не пятася. Теперь ты болѣ не ужъ. Тогда былъ ужомъ, когда въ шашки игралъ съ обезумѣвшимъ Иваномъ. Помнишь, какъ ты на него взглянулъ? Помнишь, отчего онъ впаде въ ярость и внезапно умре? Ты видалъ тогда свои глаза? Какіе у тебя они были, у тихонькаго, словно у ягненокка, а убили его...

— Охъ!—застоналъ пришедшій:—помилуй меня... пощади... ты все знаешь...

— Нѣтъ, не все,—сказала страшная женщина и, усѣвшись съ ногами въ гробъ и взявъ въ руки черепъ, сказала:—садись и ты вонъ тамъ—это мѣсто чище того, на которомъ сидишь ты въ ворованной шапкѣ.

Пришедшій невольно повиновался и сѣлъ на земляную лавочку.

— Нѣтъ, не все я знаю, не далъ Богъ,—продолжала женщина въ саванѣ:—я вотъ не знаю, чья это была голова—царская или смердя. Этого я не вѣдаю.

И, взглядываясь въ черепъ, тихо, но внятно шептала:—Ужомъ былъ... ковчегъ спасъ... это хорошо... послѣ кошкой сталъ—увидалъ бѣсовску мышъ въ ковчегѣ—и сѣлъ бѣса съ мышью. Помнишь, какъ ты сѣлъ бѣса съ мышью?—вдругъ спросила она, обращаясь къ пришедшему.

— Не вѣдаю, матушка святая, прости, ничего не вѣдаю.

— Не вѣдаешь. А мышъ-то въ шапкѣ была, только не въ ворованной, а въ своей. И шапочка эта попала потомъ въ глупую головушку, и сошла эта глупая головушка въ темную могилушку, а шапочка на колышкѣ осталася. Некому надѣтъ шапочку. Надо было надѣтъ ее Уарушкѣ. Ты знавалъ Уарушку?—спросила она, помолчавъ.

— Не знаю, матушка, о какомъ Уарушкѣ молвишь ты,—сказалъ пришедшій, боясь взглянуть въ глаза своей собесѣдницѣ.

— А, не знаешь? А глянь мнѣ въ глаза, тогда, можетъ, припамятуешь, что когда у царя Иванъ Васильича родился послѣдній сынокъ, то нарекли ему имя Уаръ, понеже рожденіе ему бысть девятого-на-десять дня мѣсяца октемврія, когда празднуется память мученика Уара. Рыженькій Уарушка... А послѣ нарекли его Митей—Димитріемъ. Въ Москвѣ сиверко стало, такъ Митю свезли въ Угличъ—потепле тамъ, да и орѣшки растутъ тамъ. Игралъ Уарушка орѣшками, а послѣ въ тычки игралъ. На Уарушкѣ ожерельице жемчужно. А тамъ—охъ! кровушка брызнула черезъ ожерельице... не стало Уарушки... нѣту...

— Нѣту?—радостно, задыхаясь, спросилъ пришедшій.

— Нѣту, нѣту, да вдругъ есть! Два Уарушки стало...

— Два?

— Два... А угадай—который настоящій? Тотъ ли, что въ Угличѣ лежитъ, тотъ ли—что въ Путивлѣ сидитъ?

— А ты знаешь, который настоящій?

— На—смотри и угадывай: царскій или смердїй?

И она подала ему черепъ. Дрожащими руками онъ взялъ холодный костякъ.

— Не угадаю, — не отличу, — говорилъ онъ съ трепетомъ, возвращая черепъ.

— А! не отличишь? А кровь царскую отъ смердьею отличишь?

— Нѣтъ, матушка, не отличу.

— А мясо царское отъ смердяго отличишь?

— Нѣтъ, не отличу.

— То-то же... У путивльскаго Уарушки то же мясо, что и у углицкаго, а у углицкаго то же, что и у путивльскаго... поди-тко, разбери ихъ.

Пришедшій тяжело вздохнулъ и опустилъ голову.

— А что, тяжела шапка Уарушкина?—спросила отшельница.

Тотъ съ отчаяньемъ покачалъ головой.

— А тепла шапочка?—продолжала ужасная женщина. — Охъ, горяча она, горяча шапочка ворованная! Горитъ она у вора на головѣ, горятъ и сѣдѣютъ безъ времени волосы подъ этой шапочкой. А есть на тебѣ рубашка?—неожиданно спросила она.

Пришедшій не зналъ что отвѣчать—такъ поразилъ его этотъ вопросъ.

— Есть, на тебѣ рубаха—срачица?—повторила женщина.

— Есть...

— Вижу, вижу... И шуба соболя есть, и шапка у тебя горласта. А вѣдаешь ты—у всѣхъ ли въ россійской землѣ рубахи есть, посконныя хотъ?

— Не вѣдаю, матушка.

Женщина, приложивъ губы къ той сторонѣ черепа, гдѣ когда-то на черепѣ этомъ было ухо, шептала:

— А былъ нѣкій мужъ въ нѣкоемъ царствѣ, силенъ властію и богатствомъ. И божіимъ изволеніемъ, дьявольскимъ же наущеніемъ бысть той мужъ избранъ на царство. И вѣнча его святитель вѣнцемъ царствія земного и помаза его помазаніемъ. И умилися духомъ царь той, и воздѣвъ руки горѣ, возопи къ святителю предъ лицомъ всего народа: „Богъ свидѣтель, отче! въ царствіи моемъ не будетъ ни нища, ни убога“. И взявъ воротъ срачицы своей, рекъ: „и сію послѣднюю раздѣлю со всѣми“... Зналъ ты такого царя?—обратилась она къ пришедшему.

— Зналъ,—отвѣчалъ тотъ едва слышно.

— А гдѣ жъ онъ нынѣ?

— Я здѣсь! — простоналъ пришедшій и упалъ на колѣни передъ распятіемъ. Голова его упала на грудь, волосы свѣсились — все въ немъ выражало глубокое отчаяніе.

Женщина, быстро утеревъ слезу, скатившуюся на ея блѣдную щеку, тихонько перекрестила стоявшаго на колѣняхъ Бориса. Это былъ онъ.

— Господи! Владыко всесильный! не вмѣни мнѣ въ судъ мой пре-

грѣшенія... Не за себя молю ты, Отче, — за дѣтей невинныхъ, — щепталъ несчастный царь московскій.

Когда онъ всталъ, то увидѣлъ, что и женщина стоитъ въ гробѣ на колѣняхъ и молится.

— Святая! научи меня, настави мя, святая! — съ плачемъ умоляетъ Борисъ.

— Не грѣши, царь, не называй меня святою... Святъ-святъ-святъ Господь Саваоѣ—единъ Онъ святъ,—строго сказала отшельница.

— Прости, блаженная! Научи, настави мя...

— Царь московскій говорить со мною или рабъ Божій? — спросила отшельница.

— И царь, и грѣшникъ.

— Царству своему и владычеству ты ищешь помощи или душъ своей?

— Не могу я отдѣлить себя отъ царства моего, аки голову отъ туловища.

— Господь отдѣлитъ, — строго сказала отшельница. — Видишь ты мою жизнь?

— Вижу... не житіе, а подвижничество.

— А ищешь ли твоя душа такого житія?

— Не смѣю, пока я царь, пока царство мое въ опасности обрѣтается. Скажи мнѣ, какъ мнѣ спасти русскую землю?

— Отъ кого?

— Отъ злодѣя, отъ вора, отъ самозванца.

Отшельница покачала головой.

— А онъ отъ тебя ее спасти хочетъ,—сказала она какъ бы про-себя. Потомъ, выйдя изъ гроба и ставъ лицомъ къ лицу съ Борисомъ, спросила:

— Сказывай, какъ передъ Богомъ: ты повелѣлъ убить царевича?

— Ни, Господу всевидящу, ни! Нѣсть на мнѣ грѣха сего.

— Такъ онъ самъ себѣ смерть сотвори — на ножъ палъ, въ тычку играючи—да?

— Ей-ей, Богу попустившу сіе.

— Самъ-то ты видѣлъ его зарѣзана?

— Нѣтъ, таково было донесеніе князя Василія Шуйскаго.

— А нынѣ Шуйскій стоитъ на первомъ донесеніи?

— Стоитъ, пока я стою надъ нимъ; а станетъ другой — онъ другое скажетъ: лукаво сердце Шуйскаго.

— А что, коли то не онъ былъ зарѣзанъ, а другой кто?

— То одному Богу вѣдомо да царицѣ-матери,—покорно отвѣчалъ царь

— А царица-мать жива?

— Жива... На концѣ языка ея сѣде нынѣ гибель и спасеніе русской земли.

— А гдѣ она?

— Здѣсь, въ Новодѣвичѣхъ.

— Ты видалъ ее?

— Видѣлъ—на горе мѣѣ.

— Что сказываетъ она о сынѣ?

— Сказываетъ: не царевичъ-де зарѣзанъ былъ; царевича-де увезли отъ нея невѣдомо—изъ російской земли за польской рубежъ.

— А Василиса Волохова, мамка царевича, жива?

— Не знаю, матушка.

— А кормилица Орина Жданова?

— Не вѣдаю тако жъ.

— А останки того, кого ты за царевича считаешь—въ Угличѣ доселѣ?

— До сегодня въ Угличѣ, матушка.

— Такъ слушай же, царь: пошли мертвеца воевать съ живымъ.

— Какъ, матушка? Не разумѣю я.

— Повели патриарху и всему освященному собору ѣхать въ Угличъ и открыть останки того, кого ты за царевича считаешь. Коли тѣло его нетлѣннымъ осталось, такъ сіе будетъ указаніемъ Божиимъ, что останки тѣ—мощи мученика. И пошли ты святые мощи на челѣ войска твоего—да защититъ истинный царь московскій землю свою отъ вора. И мощи святые побѣдятъ рати того, кто похитилъ имя мученика.

Царь видимо колебался. Отшельница проникла въ его душу и сказала:

— А! ты самъ мощей боишься. И онъ, тотъ, что въ Путивлѣ, мощей же боится.

Борисъ чувствовалъ всю безвыходность своего положенія и молчалъ.

— Вижу, вижу... Передъ тобой и за тобой яма: коли мощи обрѣтены будутъ—скажутъ: Борисъ убилъ царевича. Это одна яма, въ нюже впадеши. Коли обрѣтены будутъ тлѣнные останки—скажутъ: Борисъ промахнулся—мѣтилъ въ царевича, а угодилъ невѣдомо въ кого. Это другая яма!

— Что-жъ я сдѣлаю, Боже! — съ отчаяніемъ воскликнулъ Борисъ, обращаясь къ распятію.

Отшельница, поднявъ глаза къ потолку своей трущобы, торжественно проговорила:

— Нѣтъ тебѣ другого ходу, Борисъ, царь московскій, токмо въ яму, юже ископа десница твоя. И глубока яма сія, охъ какъ глубока! Не одинъ въ ней сидитъ путивльскій врагъ твой. Горе великое, горе изыдетъ изъ ямы той и на тебя, и на всю російскую землю. Не станетъ тебя, не станетъ путивльскаго Дмитрія, а изъ ямы той страшной изыдутъ друзіи и примутъ на себя имя убіеннаго. И будетъ на русской землѣ плачъ и скрежетъ зубомъ. И поплѣнятъ русскую землю языци иноплеменные, и осквернятъ они храмы Божіи, поругаются надъ гробницами нашими, не пощадятъ и праха царей московскихъ. И будутъ невѣрніи изъ сосудовъ священныхъ вино пить, обдерутъ ризы святые съ иконъ угодниковъ Божіихъ и самого Господа нашего Іисуса Христа и пречистыя Богоматери. И снимутъ драгіе покровы съ гробовъ царей московскихъ, и одѣнутъ покрывами тѣми женъ своихъ и дѣтей пришельцы иноземные. И застучатъ копыта

коней ихъ о священную землю кремлевскую, идеже ходили смиренныя стопы святителей русской земли. И будетъ ржаніе конское тамо, идѣ же гласи молитвенніи ко Господу возносилися. И сметеніемъ и каломъ конскимъ покроются стогны московскіе, и Красная площадь, и дворы царей московскихъ. И раны дикіе російскими тѣлесами питатися имуть. И мерзость запустѣнія посѣтитъ храмы и дома наши, и святые обители осквернены будутъ, и чернецы и черницы поруганы даже до послѣдняго поруганія. И не будетъ кому оплакати землю російскую и сыновъ и дщерей земли нашея.

Борисъ лежалъ передъ распятіемъ, и только плечи его вздрагивали.

— И долго будетъ зять яма, тобою, о царю, ископанная. О горе, горе тебѣ, земля російская! Прииде на тя лихолѣтье великое. Горе! горе!

XII.

Первыя удачи Димитрія.

Что же дѣлалъ тотъ призракъ, который отнялъ и сонъ, и спокойствіе духа, и увѣренность въ свои силы, и даже умъ Бориса, а теперь уже шаталъ его тронъ и отнималъ царство—отрывалъ землю за землей, городъ за городомъ, рать за ратью?

Нѣтъ, это уже былъ не призракъ... Да это былъ и не Гришка Отрепьевъ.

И польскіе жолнеры, и рыцари, выдавшіе на своемъ вѣку многое и умѣвшіе отличать всякую птицу по полету, и лихіе донскіе казаки, для которыхъ лошадиная холка — и колыбель и могила, и усатые запорожцы, умѣвшіе ѣздить на „чортахъ коняхъ“, и московскіе ратиные люди, — всѣ, глядя на этого круглоголоваго юношу, какъ онъ, почти не слѣзая съ боевого коня, носился передъ своими, сначала скромными, а потомъ выроставшими какъ лавина отрядами, начиная отъ Самбора до Кіева, отъ Кіева до Остра, отъ Остра до Моравска, до Чернигова, до Новгородъ-Сѣверска, Путивля, Рылска, — менѣе всего могли думать, что въ этой обаятельной фигурѣ кроется московскій дьяконъ разстрига, Гришка Отрепьевъ, за котораго его выдавалъ обезумѣвшій отъ страху Борисъ. Не разстригнѣ видъ, не разстригина осанка, не разстригина рѣчь... Все въ немъ величавое, умѣлое, находчивое, внушительное... Въ немъ—царственная увѣренность, въ немъ все царское, хоть можетъ быть, да это и вѣрно—ни капли, ни атома царской крови Грознаго не текло въ его жилахъ, наполненныхъ вмѣсто крови ртутью... Надо было большое умѣнье, чтобы сочинить такой экземпляръ царевича, какой сочинили невѣдомые мастера и какого русскимъ мастерамъ сочинить было бы не въ силахъ... Мастера, большіе мастера его выработали, выучили, увѣрили, что онъ царевичъ, и посадили на боевого коня,—о, очень искусные мастера!

Сильно промахнулся Борисъ, назвавъ его разстригой. Вонъ настоящій разстрига потрукиваетъ на ледащей, на смирной лошаденкѣ рядомъ съ зна-

комымъ намъ запорожцемъ, Купцькомъ-отаманомъ, который, взявшись за бока, заливается отъ смѣху:

— Го-го-го-го! га-га-га-га! отъ бисова гава! И доси не навчивсь на коневѣ сидѣти.

— Ворона, ворона и есть мой Юша книжникъ,—замѣчаетъ и донецъ Треня, усатый пріятель Отрепьева, глядя на своего друга.—А еще Борисъ говорить, что ты якобы назвался царевичемъ... Вотъ царевичъ! Да такого царевича и куры московскія заклевали бы... А вонъ того — не бось не заключють... Тебѣ дай Меѳодія Патарійскаго въ руки да хронографъ—такъ ты и Іова патріарха заткнешь за поясъ, а на конѣ сидѣть не умѣешь.

Отрепьевъ на это только улыбается задумчивою улыбкою.

— Что, видно, въ головѣ-то Настенька-походочка частенька? шутить Треня.

— А ты постой, вонъ тамъ на возу что-то читають,—говоритъ Отрепьевъ, указывая на толпу мужиковъ, скучившуюся около воза.

На возу стоитъ молодой дьячокъ въ лаптяхъ и громко читаетъ:

— „И Богъ милосердый по своему произволенію покрывалъ насъ отъ измѣнника Бориса Годунова, хотѣвшаго насъ предать злой смерти, не восхотѣлъ исполнить злокозненнаго его замысла, укрылъ меня, прироженнаго вашего государя, своею невидимою рукою и много лѣтъ хранилъ меня въ судьбахъ своихъ. И я, царевичъ Дмитрій, теперь приспѣлъ въ мужество и иду съ Божіею помощію на прародителей моихъ, на московское государство и на всѣ государства россійскаго царствія. Вспомните наше прироженіе, православную христіанскую истинную вѣру и крестное цѣлованіе, на чемъ вы цѣловали крестъ отцу нашему, блаженной памяти государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русіи, и намъ, дѣтямъ его—хотѣть во всемъ добра. Отложите нынѣ отъ измѣнника Бориса Годунова къ намъ государю своему прироженному, какъ отцу нашему блаженной памяти государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русіи, а я стану васъ жаловать по своему царскому милосердому обычаю и буду васъ свыше въ чести держать, ибо мы хотимъ учинить все православное христіанство въ тишинѣ и покоѣ и въ благоденственномъ житіи“.

— Хотимъ служить и прямить прироженому осударю Мнтрій Иваннычу всея Русіи—раздаются голоса въ толпѣ.

— Хотимъ прямить!

— Ишь, Юша, какъ ты ловко грамотку-ту эту соскребѣ, — говоритъ Треня Отрепьеву.

— Да не я одинъ писалъ ее,—замѣчаетъ Отрепьевъ:—самъ царевичъ грамотѣ гораздъ—бойко пишетъ.

Грамотки эти, точно птицы перелетаютъ изъ города въ городъ, изъ села въ село—и все приходитъ въ колебаніе: колеблются воеводы, дьяки, служилые и ратные люди, гости торговые, посадскіе и черные людишки — и сила этого летающаго на конѣ, съ золоченымъ древкомъ копья, юноши, растеть не по днямъ, а по часамъ.

— Ну, пане,—хвастается панъ Кубло (тотъ, котораго мы видѣли въ Краковѣ въ женскихъ юбкахъ: теперь онъ одѣтъ жолнеромъ и нестерпимо ломается, сидя на рыжей кобылѣ, которую ему подарилъ Мнишекъ):—ну, пане,—говорить, обращаясь къ пану Непомуку, (который тоже на конѣ)—славную штуку сыграла вотъ эта моя сабля: когда мы брали Моравскъ съ паномъ Швайковскимъ и отаманомъ Куцько, такъ московскіе воеводы Лодыгинъ и Безобразовъ не хотѣли намъ покоряться. Ну, я, пане, знаешь, по нашему, по-рыцарски: подношу имъ къ носу эту саблю и говорю: видите, паны воеводы, эту саблю? Этою саблею я вмѣстѣ съ крулемъ Стефаномъ Баторіемъ Вѣну взялъ, такъ ужъ васъ, говорю, мнѣ и брать стыдно... Ну, и не пикнули послѣ этого... Такъ, когда я привелъ этихъ воеводъ къ царевичу, онъ и говоритъ: „молодецъ, панъ Кубло! ты далеко пойдешь. Съ тобой однимъ, говоритъ, можно всю Московщину взять“.

— А я, пане,—съ своей стороны похваляется панъ Непомукъ,—тоже не ударилъ въ грязь лицомъ: когда его милость царевичъ посылалъ меня брать Черниговъ, вмѣстѣ съ паномъ Станиславомъ Боршемъ, то сказалъ: „на тебя, говоритъ, панъ Непомукъ, я надѣюсь какъ на каменную стѣну“. Вотъ, когда черниговцы заупрямились и воевода панъ Татевъ не хотѣлъ сдаваться, такъ я, пане, подѣхалъ къ городскому валу, далъ шпоры своей кобылѣ—огонь, а не лошадь—да и махнулъ прямо въ городъ. Какъ увидали меня черниговцы,—что эдакій чортъ скачетъ на эдакомъ дьяволѣ,—такъ тотчасъ же связали воеводу и отдали его мнѣ. Царевичъ и говоритъ мнѣ: „ну, говоритъ, панъ Непомукъ, когда ты мнѣ также и Бориса привезешь, какъ привезъ Татева, такъ я озолочу тебя...“

Оба врутъ вперегонку, и хотя не вѣрятъ другъ другу ни въ одномъ словѣ, однако, продолжаютъ врать, думая, что тотъ, кто слушаетъ, вѣритъ.

— Я, пане, никогда въ жизни не лгалъ,—говоритъ панъ Кубло,—и я бы давно былъ крулемъ въ Польшѣ, если бъ не моя откровенность: когда послѣ Стефана Баторія меня хотѣли выбрать въ короли, то я прямо сказалъ: „панове рады, говорю, не выбирайте меня, потому что я не люблю политики—люблю на чистоту“.

— А мнѣ, пане, его милость царевичъ прямо сегодня сказалъ: „такъ какъ ты, говоритъ, панъ Непомукъ, самый правдивый человѣкъ, какого я только знавалъ, то, когда буду московскимъ царемъ, назначу тебя моимъ главнымъ совѣтникомъ и ты будешь моею правою рукой“.

А вонъ и самъ Димитрій на московской землѣ. Не тотъ уже онъ, какимъ казался на польской: что-то особенное прибавилось въ выраженіи его лица, не измѣнившемъ всегда лежавшаго на немъ оттѣнка задумчивости, но какъ-то осложнившимся. Онъ стоитъ на возвышеніи и смотритъ съ своего высокаго бѣлаго коня на проходящее передъ нимъ войско. На немъ богатая соболя фerezея и такая же шапка съ бѣлымъ перомъ. Рядомъ съ нимъ стоитъ князь Рубецъ-Мосальскій, бывшій воевода путивльскій, и атаманы донскихъ и запорожскихъ казаковъ—Корела и Куцько. По другую сторону начальники польскихъ отрядовъ—Станиславъ Борша, Дворжицкій

и Бялоскурскій. Куцько и Корела недавно подъѣхали къ группѣ Дмитрія, пропустивъ впередъ свои отряды. Рубецъ-Мосальскій что-то объясняетъ, указывая рукою на двигающіяся колонны. Когда мимо группы Дмитрія двигались нестройные отряды запорожцевъ и польская пѣхота, Дворжицкій, показывая на развѣвajícíся то тамъ, то здѣсь знамена, сказалъ:

— Давно ли ваше высочество вступили на свою землю съ горстью нашихъ смѣльчаковъ, а вонъ ужъ у васъ цѣлая армія, а за вами—города и земли, склонившіе шею передъ вашимъ высочествомъ.

— Этого мало, панъ,—сказалъ отрывисто Дмитрій:—у моего царства толста шея.

— А шея-то, осударь царевичъ, головой кончается,—замѣтилъ Рубецъ-Мосальскій:—а голова-то въ Москвѣ кончается, да нонѣ что-то голова сама сошла съ плечъ.

— Какъ?—спросилъ Дмитрій.

— Да въ нѣтяхъ, государь, обрѣтается, а ты ее везешь въ Москву. Дмитрій глядитъ на свое войско, и видитъ, и не видитъ его, потому что за нимъ онъ еще видитъ что-то... „Голова въ нѣтяхъ была... да, въ нѣтяхъ... идетъ на Москву... а какъ далеко еще эта Москва, какъ высоко!“ И передъ нимъ проходятъ воспоминанья пережитого имъ уже на *московской* *землѣ*... Какъ мало прошло времени съ того момента, когда копыто его лошади въ первый разъ стукнуло о подмерзшую русскую землю, около Моравска, — и какъ много пережито. Изъ Моравска ведутъ связанныхъ Борисовыхъ воеводъ Бориса Лодыгина и Елизара Безобразова. Безъ шапокъ воеводы. Съ ужасомъ глядятъ на него глаза этихъ воеводъ—смерти ждуть. И глаза новыхъ подданныхъ обращены на него съ удивленіемъ...

— Жалую васъ моимъ государскимъ жалованьемъ,—говоритъ Дмитрій оторопѣвшимъ воеводамъ:—дарю вамъ жизнь—только служите мнѣ вѣрою и прямите правдою.

Воеводы бросаются на землю, къ ногамъ, цѣлуютъ полы его кафтана.

А вотъ ужъ и въ Черниговѣ гудутъ колокола. Народъ цѣлуетъ крестъ новому владыкѣ. И воевода Татевъ цѣлуетъ крестъ.

— Буди живъ, осударь царевичъ!—гудутъ голоса вмѣстѣ съ колоколами.

Не сдался только Новгородъ-Сѣверскъ съ своимъ упрямымъ воеводою Басмановымъ.

— А Басмановъ какого роду?—спрашиваетъ Дмитрій Рубца-Мосальскаго.

— Изъ татаръ, осударь царевичъ, какъ и Борисъ же,—отвѣчаетъ Рубецъ.

То вдругъ поле и войска, и картины битвъ застилаются иного рода картинами. Деревья парка не шелохнутся, только говоръ птицъ неумолчно свидѣтельствуетъ о полнотѣ жизни всего окружающаго. У терноваго куста, на травѣ, чернѣется милая головка. Это Марина, оберегающая дѣтей горлинокъ... А до орлинаго московскаго гнѣзда еще такъ далеко, такъ высоко!

„Челомъ бьетъ тебѣ, государь царевичъ, городъ Кромы“.

„Челомъ бьетъ тебѣ, государь царевичъ, городъ Бѣлгородъ“.

Это все клочки воспоминаній недавно и давно пережитого. Но теперь предстоитъ большое дѣло. Со всѣхъ сторонъ приходили вѣсти, что приближается огромная Борисова рать: одни языки говорили, что къ Сѣверску князь Мстиславскій ведетъ пятьдесятъ тысячъ московской рати, другіе увѣряли, что сто тысячъ; наконецъ, по словамъ третьихъ, сила эта выростала до двухсотъ тысячъ. А у Дмитрія только тысячъ пятнадцать, да еще этотъ татаринъ Басмановъ, какъ бѣльмо на глазу.

Димитріево войско все прошло мимо своего молодого вождя, а онъ все еще стоитъ на возвышеніи съ своимъ небольшимъ штабомъ. Тутъ же виднѣется и невзрачная фигура Гришки Отрепьева, на котораго веселый Куцько, веселый и накануне битвы, посматриваетъ иронически.

Перебѣжчики изъ Борисова войска говорили, что завтра, 22 декабря, московскія рати подойдутъ къ Сѣверску. Предстоитъ выдержать упорную битву—пропасть или побѣдить. На военномъ совѣтѣ рѣшено было, не дожидаясь нападенія борисовцевъ, ударить на нихъ и поразить неожиданностью.

Тревожна ночь накануне битвы. Лошади, предчувствуя тяжелую работу, не ржутъ. Въ станѣ тихо. Только около ставки Дмитрія двигаются въ темнотѣ какія-то тѣни: это вѣстовщики то приходятъ съ вѣстями, то уходятъ съ полученными приказаніями.

Соснувъ немного, Дмитрій еще до разсвѣта велитъ отслужить обѣдню въ своемъ походномъ дворцѣ, который сосѣдніе поселяне наскоро сколотили ему изъ уцѣлѣвшихъ отъ разрушеннаго Басмановымъ посада бревенъ. Службу отправляетъ съдой протопопъ черниговскаго собора, слѣдовавшій за Димитріемъ съ походною церковью... Тускло горятъ маленькія восковыя свѣчи, тусклы, задумчивы и лица молящихся...

Впереди, немного вправо, стоитъ Дмитрій. Лицо его болѣе чѣмъ обыкновенно задумчиво.

Тутъ же виднѣется черномазое, усатое лицо запорожца Куцька. Онъ внимательно слушаетъ службу, и только изрѣдка взглядываетъ то на Дмитрія, то на Отрепьева, стоящаго рядомъ съ своимъ другомъ, Тренею. Тутъ же торчитъ и бѣлобрысая голова маленькаго, коренастаго Корелы. Рубецъ-Мосальскій крестится истово, широко, размашисто.

— „На враги же побѣду и одолѣніе — подаждь, Господи!“ — возглашаетъ дьяконъ.

Димитрій вздрагиваетъ. Что-то острое прошло по душѣ его. Быть можетъ, завтра,—нѣтъ, не завтра, а сегодня, сейчасъ, съ разсвѣтомъ—конечная гибель. Эти смѣлыя головы будутъ валяться на окровавленномъ снѣгу, а эта голова, мечтающая о коронѣ царской... Дмитрій опять вздрагиваетъ—сиверко на дворѣ, сиверко на душѣ... О, кто двинулъ тебя на этотъ страшный путь, на эту стезю крови и смерти, бѣдный, непомнящій родства, юноша! А возврата уже нѣтъ съ этого пути — или тронъ, или историческая могила и вѣчное имя на страницахъ исторіи...

Разсвѣтаетъ. Къ ставкѣ Дмитрія во весь опоръ скачетъ донской казакъ. Это Треня, успѣвшій уже съ своимъ отрядомъ, съ сотнею удалцовъ, произвести развѣдки. Русыя кудри его и усы заиндевѣли на морозѣ...

— Идутъ борисовцы, государь царевичъ, — торопливо докладываетъ онъ:—въ лаву выстроились.

— Трубить въ трубы!—закричалъ Дмитрій, перекрестившись.

Передовые отряды построились и вышли въ поле. Знамена и значки такъ и искрятся въ морозномъ воздухѣ. Стѣною подвигается войско Бориса.

— На герцы, панове!—кричитъ панъ Боршъ.

— На майданъ — заманивать толстобрюхихъ! — кричитъ Корела къ своимъ донцамъ.

— А ну-те, хлопцы, на улицу—зъ москалями женихаться!—острить Куцько, вызывая въ поле охотниковъ—задирать москалей.

И словно стрижи изъ норъ, изъ рядовъ Дмитріева войска вылетаютъ удалцы на открытое мѣсто: то полякъ, красиво подбоченясь и покручивая усы, прогарцуетъ въ виду непріятеля, какъ бы вызывая его на мазура, то донецъ, словно бѣшеный, подскочетъ къ самому носу врага, гаркнетъ что-либо неподобное — и шарахнется въ сторону; то запорожецъ, выскочивъ, какъ Пилипъ съ конопель на середину поля и, вызвавъ не одну шальную стрѣлу изъ Борисова войска, покажетъ противникамъ дулю и гулко прокричитъ: „нате, чортовы дите, ийте оціен!“.

Москаля, съ своей стороны, посылаютъ смѣльчакамъ вслѣдъ сильныя московскіе трехпредложныя глаголы и эпитеты—„распро...“ да „распере...“ и такъ далѣе; но въ поле нейдутъ.

Хруститъ по снѣгу и звенить оружіемъ польская конная рота... Копья наперевѣсъ и сабли наголо летитъ она прямо на развернутый фронтъ московскаго войска, сшибается съ нимъ, ломить его, но, рискуя быть сдавленною какъ въ клещахъ, въ безпорядкѣ отскакиваетъ назадъ.

— Въ дѣло, гусары!—командуетъ Дмитрій.

— Бей по лицу крамольниковъ, панове! — съ своей стороны, командуетъ восвода, панъ Мнишекъ, выводя въ поле свою роту.

Гусары Дворжицкаго, конныя роты Мнишка и Фредра и отрядъ самого Дмитрія стремительно видаются на москвичей, на годуновцевъ... Слышится топотъ коней, лязгъ оружія, гулъ рожковъ и трубъ... Завизжали донцы, загикали, такъ что московскіе кони дрогнули и подались назадъ... Корела, Треня и нѣсколько другихъ головорѣзовъ прутъ къ самому главному стягу московскому... Запорожскія шапки смѣшались съ стрѣльцами...

— Матка! на матку, атаманъ!—кричитъ Треня, пробиваясь съ Корелой къ главному московскому стягу.

Корела направо и налево колотитъ своею тяжелою, утыканною острыми иглами, булавою. Лошадь его, поминутно становясь на дыбы, ржетъ и съ визгомъ кусаетъ московскихъ коней и ихъ всадниковъ.

— Пе бей матки, атаманъ! — кричитъ Треня: — это самъ князь — Мстиславскій.

Но было уже поздно. Булава звякнула по какому-то блестящему шишаку. Москвали крикнули и кинулись къ стягу.

— Мстиславскаго убили!

— Князь воевода упалъ!

— Не давайте вора́мъ воеводу!

Эти паническіе крики молніей прорѣзали московскія рати — и рати дрогнули, смѣшались, шарахаясь въ разныя стороны, какъ овцы въ бурю. Дмитріевцы налегли еще дружнее. Самъ Дмитрій, въ жару боевого увлеченья, смѣшался съ рядами москвичей...

— Братцы! родные! сдавайтесь мнѣ! — кричитъ онъ хрипло: — не лейте крови, московскіе люди!

— Царевичъ! царевичъ! — въ отчаяньи вопить Мнишекъ, пробираясь въ гущу сѣчи: — побереги себя, ваше высочество! Ваша жизнь дорога.

Напрасно. Рѣзня принимала характеръ бойни. Нѣтъ ничего ужаснѣе тѣхъ боенъ, какія устраивали люди, когда оружіе не было еще доведено до тѣхъ образцовъ совершенства, какія въ настоящее время изысканы наукою и военною мудростью для уничтоженія людей съ помощью дальнотрѣльной стрѣльбы и другихъ звѣрски-разрушительныхъ средствъ. Въмѣсто неумѣлой пули и плохой пушки тогда пускались въ ходъ желѣзо, сталь, сабля, кинжалъ, копьѣ, дубина, рогатина, кулакъ, человѣческіе зубы, которыми перегрызалось горло у обезоруженнаго, но неубитаго еще врага, и тому подобное холодное оружіе... Началась именно такая бойня на копьяхъ, на ножахъ, на кулакахъ, на зубахъ: свистъ и стукъ дубинокъ о человѣческіе черепа, стонъ пробитыхъ острымъ оружіемъ и удушаемыхъ руками, лошадиный храпъ и человѣческое ржанье, буквально ржанье съ визгомъ и гиканьемъ — все это представляло адскую картину голаго убійства.

Вдали отъ этой сѣчи, на возвышеніи, упавъ колѣнами на снѣгъ и на снѣгъ же припавъ горячею головою, Отрепьевъ молится... Подъ горячими слезами снѣгъ таетъ.

Немного въ сторонѣ, изъ-за покрытаго инеемъ куста, робко глядитъ на битву храбрый панъ Непомукъ.

— „Езусъ-Марія... Езусъ-Марія“, — дрожа всѣмъ тѣломъ, шепчетъ онъ.

Утро послѣ битвы. На срединѣ поля, гдѣ происходила самая густая рѣзня, зіяютъ три глубокія и широкія могилы. Въ эти ямы таскаютъ убитыхъ москвичей. Съ самаго разсвѣта идутъ эти страшныя похороны; хоронятъ всѣ, которые наканунѣ бились, и все не могутъ кончить этого ужаснаго погребенія. По полю, а особенно по ложбинамъ кровь замерзла лужами — хоть на конькахъ катайся. Раненые, разползшіеся по сторонамъ, весь снѣгъ искровявили, да такъ и окоченѣли — кто на пригорѣхъ, кто подъ кустомъ.

Ямы, наконецъ, наполнены — меньше зіяютъ могильныя пасти. Некого больше таскать.

Изъ церкви выходитъ Дмитрій съ своими приближенными и идетъ къ

ямѣ. Лицо его грустно. Онъ подходитъ къ каждой ямѣ и, крестясь, бросаетъ горсти земли.

— Сколько Борисовыхъ убіенныхъ насчитали? — обращается онъ къ Мнишку.

— Тысячъ до шести москалей, ваше высочество.

— По двѣ тысячи въ одной могилѣ—Боже правый!

По лицу его текли слезы. Нагнувшись къ трупъ стрѣльца, котораго еще гдѣ-то отыскали и несли въ яму, и поцѣловавъ его, Димитрій сказалъ, отирая слезы:

— Прощай, дорогой землякъ. Въ твоёмъ лицѣ я цѣлую всѣхъ твоихъ павшихъ товарищей. Я помолюсь за ихъ души въ Москвѣ всѣмъ освященнымъ соборомъ, и Богъ проститъ ихъ.

Потомъ, снова перекрестивъ всѣ могилы, онъ велѣлъ зарывать ихъ. Комья мерзлой земли грузно падали на мертвыя тѣла.

— О, Борисъ! Борисъ, душегубецъ великій!—сказалъ онъ, обращаясь на сѣверъ:—жди меня... Я приду.

ХІІІ.

Заговоръ въ Путивлѣ.

Послѣ побѣды надъ московскими ратями подъ Новгородъ-Сѣверскомъ и послѣ неудачной битвы подъ Добрыничами, Димитрій, боясь быть отрѣзаннымъ, отступилъ къ Путивлю. Большая часть польскихъ отрядовъ, а также и самъ Мнишекъ, ссылаясь на необходимость присутствовать на сеймѣ, воротились въ Польшу. Оставили Димитрія и запорожцы въ самую критическую минуту—въ разгаръ битвы подъ Добрыничами, когда подъ Димитріемъ убили лошадь и когда, благодаря великодушію Рубца-Мосальскаго, ему удалось спастись на лошади этого князя.

Не покинули Димитрія только донскіе казаки, которые застѣли въ Кромахъ и, благодаря изумительному военному таланту Корелы, постоянно тревожили и держали около себя, словно на привязи, всѣ рати Бориса, бѣжавшія сдвинуться съ мѣста. Корела же, хорошо зная сердце человѣческое, посовѣтовалъ Димитрію изморить своего противника выжидательнымъ положеніемъ.

— Я знаю, осударь царевичъ, людей—бывалъ у нихъ за пазухой,—говорилъ онъ.—Народъ, я тебѣ скажу, царевичъ,—это дѣвка. Коли ее самъ парень трогаетъ, она рыло воротитъ, да пожалуй и въ морду дастъ, хоть сама и рада, что ее трогаютъ. А не замай ее паревъ, уйди—она глаза проглядитъ, выжидаячи озорника. Коли онъ идетъ по улицѣ да глянулъ самъ на окошко, такъ дѣвка готова не то что за печку, а въ печку спрятаться, лишь бы-де постылый парень не увидалъ. А пройди этотъ постылый вольготно—„чортъ-де тебя ломай, красна дѣвка,—я другую найду“,—такъ дѣвка нзмается, выжидаячи постылаго, да не

токмо въ оконце выглядывать, а весь плетень исковыряетъ, лишь бы хоть однимъ глазкомъ накинуть на постылаго обидчика. Такъ и народъ, такъ и всѣ рати московскія. Прослышали они, что идешь ты у Бориса костыль отнимать... Ухъ! тяжолъ для нихъ этотъ костыль—много реберъ переломалъ имъ! А все чужой не трошь ихъ костыля: „наша--де, кусай меня собака, да не чужая“. Ну, и словно красная дѣвка, ошестинились на озорника. А какъ сядешь ты, царевичъ батюшка, въ Путивлѣ, да заживешь тамъ тихонько, такъ дѣвка-то и заходитъ у окошка, да подъ плетнемъ: „охъ, что-й-то постылый мой нейдетъ?“ А послѣ—„охъ, что-й-то соколикъ мой ясный не прилетываетъ? Безъ тебя, мой другъ, постеля холодна“... А Борисъ-то еще больше будетъ серчать да костылемъ стучать: „подайте мнѣ измѣнниковъ! подайте мнѣ всѣхъ, кто прямитъ вору-самозванцу“. Прости, осударь, — это къ слову пришлось, въ Борисову... Ну и тошно станетъ московскимъ людямъ съ Борисомъ оставаться... А ты станешь „соколикомъ“, милъ сердечнымъ другомъ—и дѣвка-то тебѣ сама на шею кинется: хорошъ-де, пригожъ, мой сердечный другъ—возьми меня, красну дѣвицу, замужъ за себя“.

И вотъ зажилъ Дмитрій въ Путивлѣ. Словно пчелы къ маткѣ потекли къ нему люди изъ всей русской земли: кто шелъ изъ любопытства—взглянуть на невиданное чудо да поразсказать своимъ, кто уходилъ къ нему отъ долговъ, отъ правежей, отъ царскихъ приставовъ, отъ кнута и висѣлицы, отъ горемычной жизни да безхлѣбцы. Всѣхъ принималъ Дмитрій и всѣмъ давалъ кормъ и работу...

Царство Бориса, видимо, расплзлось, какъ сгноенная въ долгой бучкѣ рубаха.

— А богомоль-отъ какой, а изъ себя такъ рыженькой, мать моя, да и съ бородавочкой—пятнышко родимое,—умилялись бабы, видѣвшія Дмитрія въ путивльской церкви.

— О—охъ, касатая, и не говори! Сама своими глазыньками видѣла. Подлинно царское тѣльце—бѣленькое—и все веснушечки это, касатая моя, инда я заплакала.

— Гдѣ не заплакать? Вся сердобушка моя изныла, гляючи на него. Ишь лиходѣи, отняли его у матушки родимой.

— Отняли, отняли, касатая. Такъ пришли эти Годуны-псы, да такъ ево, дитю малую, отъ титьки-то и оторвали, а оно рученками за титьку. А я въ слезы, касатая.

— За титьку?

— Такъ за самое-то титьку. О-о-охо-хо!

И эти бабы сплетенія переходили съ базара на базаръ, отъ города до города и пробивали стѣны Борисова царства, замочными скважинами проникали въ крѣпости, въ остроги, во дворцы,—и разъѣдали какъ моль царскую порфиру Годунова. И чѣмъ чудовищнѣе были эти бабы телеграммы, тѣмъ болѣе колыхалась отъ нихъ русская земля.

И Дмитрій точно зналъ, чѣмъ выиграть въ глазахъ бабъ—этихъ

вѣчныхъ и міровыхъ корреспондентовъ, этихъ вселенскихъ историковъ, публицистовъ и поэтовъ, оглашавшихъ человѣческія дѣянія и глупости въ поученіе всему свѣту, когда еще ни газетъ, ни исторіи не существовало:—онъ приказалъ съ торжествомъ привезти изъ Курска чудотворную икону Божіей Матери и со звономъ колоколовъ, и съ пѣніемъ псалмовъ и кропленіемъ народа святою водою обнести образъ вокругъ города по городской стѣнѣ.

— Сама Матушка Богородица пришла къ нему—попъ Оникѣй сказывалъ,— снова плетутъ бабы.

— Ой-ли, мать моя?

— Вотъ тѣ крестъ! Ночью гласъ бысть отъ иконы: „хощу, говорить, къ рабу божію Димитрію пойти“.

— Охъ, матыньки!

— И пришла голубушка.

— Матушка! Богородушка!

— Рыженькой-то какой, касатая.

Между тѣмъ, мужчины, конечно, нѣкоторые, не такъ относились къ „рыженькому“.

Въ Путивлѣ, недалеко отъ дворца Димитрія, стоитъ небольшой деревянный домикъ. Хотя время уже перешло за полночь, однако, въ домикѣ этомъ, сквозь щель закрытыхъ ставней, просвѣчиваетъ огонекъ. Кто не спитъ такъ поздно, когда весь городъ давно уснулъ, и только на городской стѣнѣ да на крѣпостномъ валу изрѣдка перекликаются часовые пушкари сонными голосами: „Славенъ городъ Путивль! слушай!..“—„Славенъ городъ Кромы“...—„Славенъ городъ Черниговъ!..“

Въ домикѣ этомъ, въ одной просторной комнатѣ, передній уголъ которой увѣшанъ иконами въ ризахъ, за большимъ столомъ, покрытымъ бѣлою скатертью, сидятъ на широкой лавкѣ трое монаховъ. Одинъ изъ нихъ старый, съ выбивающеюся изъ-подъ влобука сѣдою косичкою и постоянно моргающими глазами, а двое молодыхъ,—одинъ съ черными кудреватыми волосами и почти безбородый, другой—съ рыжими, широко размававшимися по плечамъ, волосами и такою же рыжею окладистою бородой. Передъ ними на столѣ складной мѣдный крестъ и старое евангеліе въ кожаномъ, засаленномъ и закапанномъ воскомъ переплетѣ и съ мѣдными, грубо выдѣланными застѣжками.

Противъ нихъ, на деревянномъ, съ высокою прямою спинкою, стулѣ сидитъ старый бородатый русакъ, одежда котораго изобличаетъ служилаго человѣка.

Сальная, въ высокомъ мѣдномъ подсвѣчникѣ, свѣча, сильно нагорѣвшая, слабо освѣщаетъ задумчивыя лица собесѣдниковъ.

— И что-жъ, отецъ Зосима, ты самъ видѣлъ Гришку?—спрашиваетъ служилый.

— Самъ, Микита Юрьичъ, — отвѣчаетъ старый монахъ, моргая глазами.

— И спозналъ его подлинно?

— Какъ, не подлинно, батюшка! Ево саково, бѣса, у Іева патріарха на Москвѣ не единожды видывалъ.

— А тотъ—самъ-отъ?

— Тотъ—особъ чловѣкъ: образомъ рудъ.

— Да, руденекъ.

— Бѣлолицъ, глазасть гораздо да и шильный, аки змѣй.

— Знаю, знаю—былъ на очахъ...

— Образина, чу, не наша,—вмѣшался рыжій.

— Литовецъ, поди.

— А може польская опара высоко подымается, — замѣтилъ служилый. — Да, знатно поддѣлали гривну-ту эту на шею царю и великому князю Борису Федорычу всеа Русіи.

— Чево не знатно! И крестъ-отъ истовый умѣетъ слагать, и рѣчью взялъ, и всѣмъ,—вставилъ рыжій.

— Такъ, такъ. Да все ку-быть чуется нѣчто иноземное въ немъ: та же, кажись, гривна, да звонъ не тотъ, — добавилъ старый монахъ. — А Гришка—это онъ самый: Юшка Богдашкинъ.

— Да, Юрка книжочій—знаю. Дока въ письмѣ-то.

— То-то и есть. Не попалъ въ жилу святѣйшій патріархъ Іовъ—не попалъ: въ грамотѣ Гришкой назвалъ пса польскаго, рудожолтаго бѣса. Не попалъ, не попалъ,—повторялъ служилый.

— Не попалъ, такъ мы попадемъ,—отозвался таинственно черный монахъ: — только бы кадило добыть, а тамъ мы попадемъ съ кадиломъ-то: все его польское гнѣздо, аки комаровъ, выжуримъ роснымъ ладономъ изъ святой Русіи.

— Да, да—темьянъ у насъ добрый,—улыбался рыжій.

— Что-жъ—зелье какое?—любопытствовалъ служилый.

— Зелье... точно...

— А сила въ немъ какая?

— Сила? Да вотъ какая: коли только къ голому тѣлеси приложить его, такъ все тѣло распухнетъ, аки единъ пузырь, а на девятый день смерть приключается.

— А кто же къ нему-то, къ тѣлу приложить?

— За-для чево тѣло, а кадило на что?

— Что-жъ кадило?

— Покадить нашимъ темьяномъ.

— Ну?

— Ну, и со святыми упокой.

— Служилый со страхомъ перекрестился.

— Что-жъ это за зелье?—спросилъ онъ.—Откуда оно?

— Съ могилъ. На девяти могилахъ копано, въ девяти водахъ мочено, въ девяти огняхъ сушено, девятью клятвами проклято, — оттого на девятый день, чу и смерть приходитъ.

— Какъ же—и патріархъ благословилъ на такое дѣло?

— Благословилъ, чу, и грамоту далъ съ анаемой ему Гришкѣ.

— Да какъ же Гришкѣ, коли онъ не Гришка?

Монахъ, видимо, былъ озадаченъ этимъ вопросомъ служилаго: анае-
матствовати, указано Гришку разстригу, а онъ не Гришка, а польскій
бѣсъ. Но онъ скоро нашелся.

— Анаема—окомъ божіимъ смотреть и ухомъ божіимъ слышать, —
сказалъ онъ:—она найдетъ, кого надобеть найти.

Въ это время за дверями три раза замяукала кошка. Монахи
вздروгнули.

— Кого кошка ищетъ?—тихо спросилъ служилый, подходя къ двери.

— Мышку,—былъ отвѣтъ изъ-за двери.

— Какую?

— Рыженькую.

Служилый отперъ дверь. Вошелъ низенькій старичокъ въ лисьей шубѣ
и въ бобровой шапкѣ. Снявъ шапку, онъ перекрестился на иконы. Голова
пришедшаго блеснула широкой лысиной ото лба.

— Ну, что, Микифоръ Саввичъ?—спросилъ служилый.

— Благодареніе Господу—добыли.

Монахи вскочили съ своихъ мѣстъ и перекрестились.

— Покажь, отецъ родной,—заговорилъ служилый.

Лысый полѣзъ за пазуху кафтана и вынулъ оттуда что-то завернутое
въ ширинку. Когда онъ развернулъ ширинку, то въ рукахъ у него оказа-
лось кадило церковное. Онъ бережно поставилъ его на столъ.

Кадило было не висячее, не на металлическихъ цѣпочкахъ, а стоячее,
со складною ручкою, какія теперь уже вывелись изъ употребленія.

Всѣ стояли молча, и никто не рѣшался заговорить первымъ. Нако-
нецъ, заговорилъ рыжій монахъ.

— Братіе!—сказалъ онъ торжественно:—дѣло сіе великое и страш-
ное. По указу царя государя и великаго князя Бориса Ѳеодоровича всеа
Русіи и по благословенію святѣйшаго патріарха Іова посланы мы, сми-
ренные иноки—инокъ Изосима, инокъ Иринархъ и азъ худой иночишко
Потанишко—посланы мы изліати гнѣвъ Божій на главу окаяннаго черно-
книжника и богоотступника, проклятаго папежина польскаго, иже похити
имя въ Бозѣ почивающаго царевича Дмитрія Іоанновича углицкаго и дер-
заетъ на превысочайшій руссійскаго царствія престолъ, аки песь смердя-
щій воскочити и на честнѣйшаго царя-государя и великаго князя Бориса
Ѳеодоровича всеа Русіи своею гнусною латинскою блевотиною блевати,
яко бы онъ, государь, московское скифетро укралъ. И указано намъ ино-
камъ смиреннымъ—иноку Изосимѣ да иноку Иринарху да мнѣ, худому и
гнусному иночишкѣ Потанишкѣ—онаго пса латинскаго гнѣвомъ Божіимъ
казнити и лютой смерти предати.

— Аминь,—глухо проговорилъ старый инокъ Изосима.

— Аминь,—повторилъ и черный чернецъ Иринархъ.

— Аминь, аминь,—подтвердили и старики не монахи.

— Се крестъ честный и евангеліе Господа нашего Исуса Христа,—продолжалъ рыжій чернецъ, указывая на крестъ и евангеліе:—подобаетъ намъ братіе, на семь евангелій клятися и ротисеся, яко да сохранити намъ тайну цареву, и на томъ крестъ цѣловати. Клянѣтесе ли, братіе, на семь.

— Клянемся именемъ Бога живого.

— Ротистесе-ли такожде?

— Ротимося Господомъ.

— Цѣлуйте крестъ и евангеліе Господа нашего Исуса Христа.

Въ этотъ моментъ послышался стукъ въ наружную дверь, затѣмъ ударъ, другой—и дверь грохнула въ сѣни. Присутствующіе въ комнатѣ такъ и окаменѣли на мѣстѣ. Рыжій монахъ схватился за голенище сапога и задрожалъ всѣмъ тѣломъ.

Въ одно мгновенье тѣ же удары обрушились и на внутреннюю дверь, въ самую комнату. Дверь не выдержала и соскочила съ петель. Въ дверяхъ показались стрѣльцы и польскіе жолнеры. Въ комнату вошелъ Рубецъ-Мосальскій съ оружіемъ въ рукахъ и въ кольчугѣ. Взглянувъ на столъ и увидавъ на немъ кадило, онъ сказалъ, обращаясь къ стрѣльцамъ и указывая на монаховъ и стариковъ:

— Вяжите ихъ! Поличное въ очи глядитъ. Вина ихъ сыскалася допряма.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого ночного происшествія нижняя околица Путивля представляла шумное зрѣлище. Туда валилъ народъ со всего города—тащился и старъ, и малъ, серьезные мужики и любознательныя бабы. Послѣднія поминутно ахали и безумолку болтали.

— Ахъ, касатая моя, въ сапогѣ, чу, нашли.

— У ево, у Митрей царевича?

— Что ты, дѣвынька! окстись! У монашки, чу, у рыжаго.

— Ахъ, онъ песъ рудой!

— Да на девяти, дѣвынька, могилахъ Борисъ Годунъ копалъ ево, зелье-то, да въ девятихъ, слышь, касатая, водахъ мочилъ ево.

Толпа затерла болтливыхъ бабъ. Рѣчи мужиковъ смѣнили рѣчи бабъ.

— Этой-то порчей зелейной, слышь, робя, они чернецы-то, и хотѣли извести царевича.

— Отъ Бориса, мекаю такъ?

— Отъ Борьки отъ самова. А царевичъ вьюношъ не промахъ — накрылъ аки мышъ рѣшетомъ.

— Чернецовъ, мекаю?

— И чернецовъ, и бояръ. Да и говоритъ: „эхъ, гыть, братцы, братцы! люди вы старые—что я вамъ сдѣлалъ? Я васъ въ ту пору, аки полоняниковъ моихъ, у Рыльска, помиловалъ—не сказнилъ, а опосля того кормилъ-поилъ васъ. За что-жъ вы, гыть, лиходѣяли надъ головой моей?

Богъ вамъ судья, гытъ, да народъ православный“. Это къ боярамъ-то. Да вывелъ ихъ, бояръ, на крылечко, да и говоритъ: „народъ православный! судите лиходѣевъ моихъ, какъ знаете, а я ихъ прощаю“.

— Ну, и доберь же онъ, не въ батюшку доберь!

— Ну, а на міру ихъ присудили сказнить: разстрѣломъ разстрѣлять, аки псовъ бѣшенныхъ.

— А чернодырыхъ?

— За приставы отдалъ. А судіямъ-то и говоритъ: „Братцы! простите ихъ, рабовъ Божіихъ: они-де не своею волей шли, а по крестному цѣлованью, аки отъ законнаго царя“.

— Доберь, и... и какъ доберь!

Въ это время на околицѣ показался взводъ стрѣльцовъ и польскихъ жолнеровъ. Впереди шли стрѣльцы, раздвинувшись на двѣ равныя колонки. Посерединѣ колонокъ шли два старика въ арестантскихъ чапанахъ и съ открытыми головами. На ногахъ у нихъ звенѣли кандалы, словно у скованныхъ лошадей въ полѣ, а въ рукахъ теплились свѣчи-маленькія, желтыя, восковыя. Свѣчи часто тухли то отъ движенія, то больше оттого, что у осужденныхъ дрожма-дрожали руки. Тогда священникъ въ черной рясѣ, шедшій впереди ихъ съ крестомъ, бралъ у нихъ свѣчки и снова зажигалъ отъ свѣчи, горѣвшей въ фонарѣ на ружьѣ одного стрѣльца.

Шествіе замыкалъ отрядъ жолнеровъ. Шествіе направлялось къ двумъ чернымъ, вымазаннымъ сажею столбамъ, стоявшимъ на краю околицы. Около столбовъ чернѣли свѣжія могильныя ямы.

Это вели на казнь тѣхъ стариковъ, которыхъ мы видѣли на ночномъ совѣщаніи надъ крестомъ и евангеліемъ. Они въ числѣ прочихъ служилыхъ людей были приведены къ Димитрію связанными, какъ слуги Годунова, и въ числѣ прочихъ же не только помилованы, но и почтены довѣріемъ Борисова противника. Но они все-таки измѣнили ему, приставъ къ заговору трехъ монаховъ, подсланныхъ въ Путивль Годуновымъ и патріархомъ Іовомъ.

— А по-что, мать моя, у нихъ свѣчечки въ рукахъ воскояровы?

— А это, касатая, душеньки ихъ теплются — опрощенья у Господа просятъ.

— Помилуй ихъ, Господи.

— О-охъ, касатая, темно тамъ, въ могилушкѣ сырой, а дороженька на тотъ свѣтъ далекая-далекая, такъ по темной-то по дороженькѣ свѣчечка и будетъ посвѣтывать.

— И-и, какая ты, мать, умная, все знаешь.

— Все, все, касатая, потому—Господь сподобилъ,—хвастается баба-лгунья.—А за ними-то, касатая, за колодничками, аньделы ихъ идутъ и горячими слезами по душенькамъ ихніимъ слезно обливаются.

— Идутъ, байшь?

— Идутъ, касатая, сама своими глазыньками вижу — они маленьки робятки, голеньки, безъ штанишекъ, вудреватеньки и съ крылышками.

Баба завралась окончательно — и ахнула: къ шествію прикнули, словно выросшія изъ земли, конныя фигуры стрѣлцаго сотника и польскаго хорунжаго... Шествіе остановилось какъ-разъ противъ черныхъ, позорныхъ столбовъ и вырытыхъ подъ ними, черныхъ же, словно два старыхъ разинутыхъ рта, ямъ. Священникъ сталъ рядомъ съ осужденными, а противъ нихъ — низенькій подъячій съ большой мѣдной чернильницей за поясомъ, на брюхѣ, и съ гусинымъ въ видѣ стрѣлы перомъ за ухомъ. Въ рукахъ у него бумага.

Началось чтеніе приговора. Слышны только отдѣльныя слова, безсвязныя фразы, словно бы это дьячокъ читаетъ ефимоны: „кадило церковное“... „темьянъ-ладонъ“... „зелье погибельное“... „по дьявольскому наущенію“... „и сыщется про то допряма“... „избыти мука вѣчная“... „ино будетъ учнутъ вѣдовствомъ воровать“... „оже будетъ про здоровье государево дурно помыслить“... „и того казнить жестокою казнію — рука-нога отсѣчь“... и такъ далѣе, — только и слышно „еже“ да „ино будетъ“, или отчетливая страшная фраза: „и того казнити смертію — голова отсѣчь“... И опять „еже“ да „ино будетъ“, и снова заключительная страшная фраза: „и того казнить смертно — огненнымъ боемъ“...

А ворона, сидя на столбѣ и какъ бы прислушиваясь къ тому, что читаютъ, и удивляясь человѣческому искусству выдумывать страшныя, неизглаголанныя муки своимъ братьямъ, зловѣще каркаетъ.

— Не дадутъ, не дадутъ, подлая, тебѣ мясца человѣчьяго — ишь избаловали человѣчинкой, — не каркай, подлая! — говоритъ старый, на деревянной ногѣ, стрѣлецъ и грозитъ воронѣ кулакомъ.

Наконецъ, все прочитано. Выходятъ изъ рядовъ четыре польскихъ жолнера и, взявъ подъ руки осужденныхъ, ведутъ къ столбамъ мимо могильныхъ ямъ...

Тотъ изъ осужденныхъ, низенькій, Никифоръ Саввичъ, что приносилъ кадило къ монахамъ, проходя мимо ямы, заглянулъ въ нее — заглянулъ въ свою могилу. Да, любопытно, очень любопытно заглянуть туда. Другой, Никита Юрьичъ, только вздрагиваетъ и хватается за жолнеровъ. Голова, вѣрно, кружится — какъ бы раньше не упасть *туда*.

Къ нимъ подходитъ священникъ съ крестомъ и что-то говоритъ. Осужденные крестятся, и звякаютъ ихъ молящіяся руки, закованныя въ длинныя кандалы, звякаютъ кольцами цѣпей, словно чотками монашескими...

— ... „земля есте и въ землю отыдете“, — слышится священническое утѣшеніе.

Да, утѣшительно, очень, очень утѣшительно!

Испуганная ворона, шарахнувшись со столба, пролетаетъ низко-низко, какъ бы желая заглянуть въ очи осужденнымъ.

— Чего не видала, подлая! — снова грозитъ ей безногій стрѣлецъ: — мою ногу слопала — будетъ съ тебя.

Бабы крестятся и испуганно глядятъ на стрѣльца.

На осужденныхъ надѣваютъ бѣлые мѣшки-саваны, и привязываютъ къ столбамъ.

— Выходи повзводно!—раздается команда стрѣлецкаго сотника.

— Пущай паны стрѣляютъ,—слышится протестъ изъ колонны стрѣльцовъ:—намъ по своимъ стрѣлять, рука не подымется.

— Инъ быть такъ,—соглашается сотникъ.

Снова раздается команда. Выходятъ попарно жолнеры и становятся въ двѣ линіи. Наводятся дула ружей на живыя мишени—на бѣлые мѣшки съ завязанными въ нихъ людьми.

— Разъ... два... три!..—Что-то машетъ не то платкомъ, не то бѣлымъ крыломъ, и въ тотъ же моментъ что-то хлопаетъ, точно десятки хлопнушекъ по мухамъ. Нѣтъ, это меньше и жалче, чѣмъ мухи. Бѣлые мѣшки разомъ осѣдаютъ, но не падаютъ. Изъ-подъ грубаго холста брызжетъ что-то красное...

— Охъ, кровушка! охъ, матушка!..

Ничего не видать за дымомъ. Кто-то подходитъ къ столбамъ, отвязываетъ бѣлые мѣшки, и мѣшки такъ-таки мѣшками и сваливаются въ ямы. За мѣшками въ ямы посыпалась земля. Лопатами и ногами пихаютъ туда землю. Полно—даже съ верхомъ насыпано.

Опять команда, какая то злая, съ какою-то острою нотою въ голосѣ сотника, не то польскаго хорунжаго. Колонны сомкнулись. Застучалъ барабанъ. Колонны прошли по свѣжимъ могиламъ.

А стрѣлецъ, на деревяшкѣ, ковыляя къ посадѣ, тянетъ:

Ой и спасибо, ужъ и спасибо тѣ, моему синему кувшину,

Охъ ужъ и розмыкалъ, ухъ и розкострижилъ злу тоску-кручину...

Да, кому синій кувшинъ, кому яма, а кому корона... Ужъ и жизнь же человѣческая!

XIV.

Ляпуновъ и офеня.

— Христось воскресе, Ипатушка!

— Воистину воскресе, бояринъ.

— Похристосуемся же, знакомый.

— Похристосуемся, бояринушка.

Такими привѣтствіями обмѣнялись, при встрѣчѣ, въ станѣ Борисова войска, которое все еще стояло подъ Кромами, осаждая атамана Кюрелу съ донцами, высокій, видный, среднихъ лѣтъ ратникъ въ богатомъ ополченскомъ одѣяніи и горбатенькій офеня съ коробкою за плечами, можетъ быть, оттого и казавшійся горбатымъ, что массивный коробъ, сидѣвшій у него на спинѣ постоянно, заставлялъ думать, что этотъ маленькій человекъ такъ и родился съ коробомъ на спинѣ.

Ратникъ сидѣлъ у шатра, на длинномъ, толстомъ обрубѣ дерева и перебиралъ какія-то бумаги. На бревнѣ же, которое было сверху стесано, стоялъ серебряный кувшинъ, а около него большая серебряная же стопа. И ратникъ, и офеня похристосовались троекратно.

— Какъ живешь-бродишь, „боярышенька золотая?“—спросилъ первый, улыбаясь.—Садись, медку испей.

Офеня низко поклонился.

— Спаси-те Богъ на добромъ словѣ,—отвѣчалъ онъ, въ свою очередь, осклабляясь.—Брожу по святой Руси, аки челнокъ у ткачихи.

Онъ сѣлъ на другой конецъ бревна и спустилъ на землю свой коробъ.

— Спозналъ меня?

— Какъ не спознать Прокопа Ляпунова свѣтъ рязансково? Единъ сизъ селезень промежъ сѣрыми утицами, единъ и Прокопъ Ляпуновъ на матушкѣ на святой Руси.

Ляпуновъ весело засмѣялся, тряхнувъ своими русыми кудрями.

— А ты все такой же балагуръ „боярышенька золотая?“ Гдѣ бродилъ съ тоя поры, какъ у меня въ Рязани иконы мѣнялъ? А много послѣ того воды утекло... много... болѣ чѣмъ у Бога положено... окіанъ море воды утекло... много... охъ, какъ много—въ пять-шесть годовъ (Ляпуновъ задумался). А теперь къ намъ съ коихъ странъ забрелъ?

— Изъ града Мангазеи, бояринушка.

— О такомъ городѣ я и не слыхивалъ.

— Въ Сибирской землѣ, бояринушка, далѣ, чѣмъ градъ Тоболескъ, на полуночну страну.

— А какъ туда попалъ?

— Изъ Архангельсково городу кочемъ.

— Кочемъ, водою? Да что ты меня морочить вздумалъ, „боярышенька золотая“? Видано ли, чтобъ изъ Архангельсково городу въ Сибирь водой пройтить?

— Видано, бояринушка. Пятой годъ тому будетъ, какъ я отъ васъ изъ Рязани пошелъ въ Архангельскъ да мимоходомъ забрелъ и въ Соловецкую обитель, къ угодничкамъ Зосимъ-Савватію, иконы мѣнять. И прилучись въ ту пору въ Архангельскѣ быть колмогорцу Еремкѣ Савину, а съ нимъ мы спознались на Москвѣ у князь Василей Мосальсково,—иконы я князю мѣнялъ тако-жъ; и въ тѣ поры царь Борисъ Ѳедорычъ спосылалъ его, князь Василья, въ Мангазею воеводой для поминочной рухляди и ясаку государева. И оный Еремка колмогорецъ, снарядивъ вочи, задумалъ везти судовыя снасти въ Мангазею моремъ. Такъ я съ нимъ-то и проѣхалъ моремъ въ Мангазею изъ Архангельсково.

— Какимъ же моремъ-то?

— Студенымъ, бояринушка. Ужъ и что это за дивы я видѣлъ тамъ дивныя: что плывемъ это мы моремъ-окіаномъ день и ночь, и что день, что ночь—все едино, только ко полудню солнышко по праву руку небомъ идетъ, а ко полуночи, бояринушка,—охъ, ужъ и не повѣришь!—всю-то ноченьку оно, солнышко красное, по морю по кіяну, аки лебедь, плыветъ, такъ-таки однимъ краешкомъ омокнется въ кіянь-море, да и плыветъ, и плыветъ, красное. И день свѣтло, и ночь свѣтло—инда одурь возьметъ, да такъ и заплачешь, самъ не знай о чемъ. И чудно это таково, и страхо-

вито, и божественнымъ аки духомъ нѣкимъ на тебя вѣтъ отъ пучины этой морской: гора это ледяная плыветъ по морю по вѣяну, а ни конца-краю ей нѣту-ти, ни до вершинушки ея окомъ не досягнути, не доглянути; и стоитъ это глыба на глыбѣ до самаго небесе, до престолу Божія. А на глыбинахъ-то этихъ, на горахъ ледяныхъ звѣри морскіе хвостатые да пернатые ходятъ да медвѣди бѣлые... А птицы-то, Господи, сколько, а рыбыны всякой. И китище это, китъ преогромный плыветъ да воду, аки рѣку къ небу, изрыгаетъ,—такъ молитвами чудотворцевъ московскихъ да угодниковъ кіевскихъ только и спасались. Тамъ-то я, бояринушка, и обѣтъ далъ — въ Кеивъ къ мощамъ угодниковъ печерскихъ сходить.

— Что-жь, и былъ въ Кіевѣ?

— Привелъ Господь, бояринушка. Это ужъ я въ Кеивъ прошелъ изъ Мангазеи грады на Тоболескъ, да на Неромкуръ, а съ Неромкура на Пермь, да по пути по дорожкѣ завернулъ домой въ Суздаль градъ, да оттоль въ Астрахань, да на Донъ, да ужъ съ Дону-то въ Кеивъ. Тамъ вотъ и ихнево Дмитрія рыженькаго видывалъ.

При словѣ „ихнево“ онъ указалъ на Кромы: издырявленный и изрытый норами, словно пчелиный сотъ, валъ ихъ видѣлся изъ палатки Ляпунова, стоявшей на возвышеніи. Ниже и выше и по сторонамъ бѣлѣлись шатры, сѣрѣли нагроможденные въ безпорядкѣ обозныя телѣги, чернѣли пушки съ зарядными ящиками, бродили, сидѣли, ѣздили, кричали, смѣялись и пѣли ратники московскаго и иныхъ російскихъ ополченій.

— Кого видѣлъ?—спросилъ съ удивленіемъ Ляпуновъ.

— Да вотъ ихнево, что въ Путивлѣ. Кромчане Дмитріемъ царевичемъ его называютъ.

— Какъ! ты еще въ Кіевѣ его видывалъ?

— Въ Кеивѣ, бояринушка.

— Гришку-то Отрепьева?

— Нѣту, бояринушка. Гришка-то особъ статья.

— Такъ кто же?

— А Богъ его вѣдаетъ кто. Онъ—одно слово. Рыженькій.

— Такъ и Гришка, сказываютъ, рыжъ же.

— Руденекъ, точно, бояринушка, рудой, точно, да не онъ.

— Такъ ты и Гришку знавалъ?

— Знаывалъ. И иконы мѣнивали, и медокъ пивывали.

— Гдѣ же?

— Да все въ Кеивѣ, бояринушка. Да и въ Путивлѣ ихъ обоихъ видывалъ.

Ляпуновъ даже вскочилъ, и сѣрые съ огнемъ глаза его расширились.

— Тыфу ты чортовъ сынъ! Да ты меня совсѣмъ съ толку сбилъ. Я ничего не уразумѣлъ изъ того, что ты мелешь.

— Не мелю я, бояринушка: толкомъ докладываю твоей милости.

— Ну, какъ же? То ты въ Кіевѣ, то ты въ Путивлѣ, то Гришка Отрепьевъ, то не Гришка, то того зналъ, то этого,—а кого—самъ бѣсъ

тебя не пойметъ. Тѣфу ты, дьяволъ, инда сердце ходенемъ ходитъ. Я тебя какъ собаку велю повѣсить. Что ты смущаешь народъ? Подосланъ, что ли? Такъ на осину тебя и вздерну.

— Дергай, бояринушка, да съ коробомъ вмѣстѣ—съ иконами Божьими: пушай Господь Богъ увидитъ правду Прокопа Ляпунова—какова ево правда.

Ляпуновъ взволнованно ходилъ взадъ и впередъ мимо колоды. Нѣсколько ратниковъ и одинъ старый стрѣлецъ направились было къ нему, но онъ нетерпѣливо махнулъ рукой—и тѣ удалились.

— Такъ распутай же этотъ клубокъ, что ты намоталъ: что такое этотъ Гришка, и что этотъ не Гришка. Это, самъ знаешь, не иконы мѣнять: тотъ-де, что съ бородою лѣпообразною и съ плѣшью—Микола-чудотворецъ, а тотъ, что на конѣ—Юрій-де побѣдоносецъ. Тутъ дѣло земское. Сказывай же,—все еще нетерпѣливо говорилъ Ляпуновъ, размахивая руками.

— И скажу все, бояринушка,—потерпи, не горячись. Видно, что тебя махонькаго въ горячей водѣ купали.

— Ну, такъ ихъ двое, чу?

— Двое. Слушай... Буду съ начала сказывать, какъ про бѣлаго бычка.

— Какъ ты съ нимъ спознался,—съ *ними*, я хочу сказать, съ проклятыми? Гришка — не Гришка, дьяволъ — не дьяволъ, тотъ — не тотъ, одинъ — не одинъ, оба рыженькіе, оба тутъ, мы въ дуракахъ—да эдакъ съ ума сойти можно. Вся Русь съ ума сойдетъ—поневолѣ рехнется. Зарѣзали—не зарѣзали, похоронили, а онъ ходитъ; говорятъ, Гришка ходитъ—нѣтъ не Гришка, а два Гришки, и оба рыженькіе, и тотъ, что зарѣзали—рыженькій. Да эдакъ вся Русь взбѣсится—это чортъ знаетъ что такое!

Дѣйствительно, положеніе русскихъ людей было ужасное. Кому вѣрить? За кого стоять? Кто лжетъ?

Ляпуновъ, какъ личность глубоко-впечатлительная и натура честная, испытывалъ ужасную нравственную пытку. Его умъ не могъ не чують какой-то фальши во всемъ, что дѣлалось на Руси при Годуновѣ, онъ и тутъ чуюлъ что-то, но что-то неуловимое, отъ чего, между тѣмъ, саднѣло на мозгу, на сердцѣ, чувствовалось, что тутъ что-то не такъ, не то. И вдругъ, этотъ горбатый офеня! Точно искры рассыпалъ во мракъ, а мракъ все не выясняется и, напротивъ, еще страшнѣе становится отъ этихъ искорокъ.

— Ну, говори же, а будешь вилять—кишки вымотаю на струны.

Но офеня былъ человѣкъ бывалый и зналъ людей. Онъ и свою силу зналъ, и силу того, что имѣлъ сказать нетерпѣливому рязанцу, и потому, улыбаясь, началъ нараспѣвъ.

— Начинается сказка про бѣлаго бычка. Пришелъ я въ тѣ-поры въ Кеивъ иконушки мѣнять.

— А въ какомъ году?

— Полтретья годка будетъ, а то и три влѣзетъ. Ну, и мѣняю, брожу по дворамъ, по монастырямъ, по черкасскимъ людямъ, а все глазкомъ на-кидываю, нѣтъ ли гдѣ случаемъ землячка, московской строки. Есть. Набрелъ я такимъ побытомъ и на Гришку, на Григорья Отрепьева.

— Да какъ же это ты набрелъ на него, не пойму я?

— Да знавалъ же я его на Москвѣ еще, какъ онъ былъ Юшка, Богдановъ сынъ, Отрепкинъ, малецъ такой шустрый, и у Романовыхъ жилъ. Еще Настеньки Романовой слѣды во садочкѣ на песку искалъ да слѣды эти цѣловалъ. А я Романовымъ въ ту пору иконы-жъ мѣнялъ, такъ Юша просилъ меня принести ему икону преподобной мученицы Анастасіи-римляныни. А послѣ того вотъ, какъ царь Борисъ Ѳеодоровичъ всѣхъ Романовыхъ за измѣну ли, за воровство ли какое, расточилъ, такъ Юша-то, тоскуючи по Настенькѣ, по Романовой же, отъ свѣту отрекся—въ монастырь ушелъ, и нареченъ былъ въ ангелѣхъ Григорій,—да какъ парень-то пронзительный и всѣ книжныя хитрости произошелъ, такъ святѣйшій патріархъ Іевъ и взялъ его къ себѣ письма ради. Онъ и прилѣпился къ книжному-то дѣлу аки клещъ—дозарѣзу, значить,—словно въ свою Настеньку. Мѣры человѣкъ не зналъ, зачитываться сталъ. Ну, на него и вышелъ поклепъ: чернокнижникъ-де, предать-де его за книжное любленіе огненной смерти—сжечь въ срубѣ. Не читай-де много — опаско это. Онъ возьми дайся бѣгу, да въ Киевъ. Тамъ мы съ нимъ и столкнулись—и поцѣловались, и поплакали вмѣстѣ объ Настенькѣ. Ухъ, и дѣвынька-жъ была! Такъ вотъ такъ-ту, бояринушка.

Ляпуновъ внимательно слушалъ. Для него все это было ново.

— Ну, какъ же тутъ царевичъ-то?—спросилъ онъ съ недоумѣніемъ.— Кто жъ тутъ еще другой?

— А другой—другой и есть, бояринушка. Юша же и свелъ меня съ нимъ-то, съ этимъ другимъ.

— Кто-жъ онъ такой?

— А и Богъ его вѣдаетъ... рыженькой да и только... съ бородавкой еще. Такъ инокомъ Димитріемъ съ бородавкой и звали.

— Ну, и какъ же? Какой онъ изъ себя? Что говорилъ о себѣ?

— Какъ тебѣ сказать, бояринушка? Рыженькой онъ-точно, сухопаръ гораздо, молчливъ... только,—какъ тебѣ это сказать понятнѣе,—словно бы онъ не тотъ, что есть. Инда страхъ нападалъ, какъ ему въ очи-то посмотришь: нѣтъ, не тотъ, не тотъ, думаешь, это человѣкъ, что глядитъ на тебѣ; такъ и чудится, что вотъ-вотъ изъ-за спины у него выглянетъ кто-то другой. Ну, и моторошно станетъ. А доберь гораздо и много видалъ на своемъ вѣку, хоша и младъ въюношъ еще; и какъ видалъ, гдѣ видалъ—этого не говорить.

— Какъ же не говорить?

— Да такъ—прималкиваетъ. Ты думаешь—вотъ скажетъ, а онъ нѣтъ—увернулся, и слѣдъ замело, и самъ онъ въ воду канулъ, а самъ тутъ сидитъ—молчитъ. Да единожды разъ чудо таково вышло: увидалъ это онъ у меня образъ преподобнаго князя Александра Невского, долго эдакъ смотрѣлъ на него, долго что-то думалъ, да потомъ и шепчетъ: „дѣдушка!“ говорить: „прародитель мой! помолись за меня“... да и заплакалъ. Диву дался я: не въ себѣ, думаю, человѣкъ; попритчилось, думаю. Да ужъ вотъ

нонѣ, когда въ Путивлѣ, въ церкви увидалъ его, аки царевича Димитрія, такъ и вспомнилъ, и раскусилъ „дѣдушку“-то его — не спроста, значить, говорилъ.

Видно было, что разсказъ офени производилъ на Ляпунова глубокое впечатлѣніе. Въ душѣ его зарождалось что-то новое, тревожное.

— Что-жъ послѣ-то было?—спросилъ онъ.

— Послѣ-то? А послѣ я ушелъ въ Саратовъ, а изъ Саратова въ Казань, а изъ Казани въ Нижній, а изъ Нижняго въ Москву. А по Москвѣ-то ужъ слухи пѣши ходятъ про царевича. Помѣнялъ я маленько товаромъ-то своимъ, да въ Калугу, а изъ Калуги въ Тулу, а изъ Тулы въ Орелъ, а изъ Орла махнулъ въ Черниговъ, да на дорогѣ-то ужъ и слышу неподобное: „царевичъ-де идетъ“. Ну, что-жъ, думаю, пущай идетъ, коли Богъ ноги далъ. Врешутъ, думаю, люди. Иду да иду съ коробомъ-то своимъ, посвистываю, да еще грѣшнымъ дѣломъ запѣлъ,—сиверко было, такъ я маленько выпилъ,—ну, эдакъ-то себѣ и подтягиваю со скуки,—въ Казани еще добръ поютъ ее шубники: „Что ты, Дуня, приуныла, пригорюнившись у окошка, шельма, сидишь?“ Коли вижу—ѣдетъ что-то навстрѣчу мнѣ. Гляжу, анъ ратные люди идутъ: хоругви это на солнышкѣ блестятъ, аки злато червленое, пѣшіе и конные невѣдомые люди, и казаки, и польскіе и малороссійскіе люди — видимо-невидимо. Я сторонюсь, шапку снимаю, кланяюсь господамъ ратнымъ. Коли вдругъ слышу: „Ипатушка богоносецъ!“ „боярышенька золотая!“ — Это меня за то „боярышенькой золотой“ дразнятъ, что ежели я прихожу въ какой домъ иконы мѣнять, то завсегда ищу боярышень —охотиѣ боярышни-то берутъ мой святой товарецъ. „Боярышня, говорю, золотая! не надо ли Миколу угодничка, али Троеручицу-матушку?“...

— Знаю!знаю!—нетерпѣливо махаетъ Ляпуновъ.—Что-жъ дальше-то было?

— Дальше-то? Вотъ что, бояринишка. Слышу это я: „Ипатушка богоносецъ! боярышенька золотая! какъ Богъ тебя милуетъ?“—Коли глядь—Юша Отрепьевъ! Съ ратными-то людьми ѣдетъ. „Куда, пытаю, Богъ несетъ и зачѣмъ?“—„Въ Москву, говоритъ, Ипатушка, бѣлокаменную съ осударь-царевичемъ Митрей Ивановичемъ“.—„Какъ?“—говорю. „Да такъ, гытъ, боярышенька золотая, привелъ Господь... Вотъ онъ и самъ батюшка подъ стягомъ ѣдетъ,“—Глядь—онъ и въ самомъ дѣлѣ ѣдетъ подъ стягомъ, подъ хоруговью,—да кто-бъ, ты думалъ, бояринишка?

Офеня остановился.

— Эй ты, тетка!—вдругъ закричалъ онъ на идущую мимо нихъ бабу съ ведрами.—Ходи сюда! Образа у меня всяки есть. Ужъ таку-то тебѣ, тетя, Богородушку уступлю—любо-дорого.

Ляпуновъ даже ногами затопалъ.

— Прочь, баба! проваливай!—закричалъ онъ.

Баба вскинула на него изумленные глаза и пошла дальше, бормоча:

— Ишь сердитый какой... белены объѣлся.

— Что-жъ ты, чортовъ сынъ, молчишь?—накинулся Ляпуновъ на офеню.

— Да ты кричишь, я и молчу,—спокойно отвѣчалъ тотъ.

— Ну, кто-жъ подъ стягомъ-то?

— Да все онъ же—рыженькой Димитрій съ бородавкой. Онъ и есть царевичъ.

— Такъ не Гришка Отрепьевъ?

— Нѣтъ, не Гришка... Гришка—это Юшка.

— А тотъ не Гришка?

— Не Гришка, стало быть.

— Такъ кто-жъ?

— А и Богъ его вѣдаетъ.

Ляпуновъ осмотрѣлся кругомъ. Заглянулъ въ палатку.

— Эй!—закричалъ онъ:—десятской!

Изъ-за шатра вышелъ рослый ратникъ съ рыжей бородой и крестомъ на шапкѣ—мясникъ мясникомъ.

— Взять вотъ этого да отвести къ князю воеводѣ за приставы,—сказалъ Ляпуновъ, указывая на офеню.—Я и самъ, чу, немедля приду.

Офеня сидѣлъ на колодѣ спокойно, какъ будто дѣло не его касалось.

— Эй, тетка! ходь сюда. Неопалимая Купина у насъ есть—всякой пожаръ Матушка Неопалимая Купина тушить.

Баба прошла мимо, косо взглянувъ на Ляпунова.

— Что-жъ ты смѣешься, собачій сынъ?—снова вскинулся этотъ послѣдній на офеню.

— Нѣту, бояринушка, не смѣюсь. И князь-воеводѣ скажу то же, что твоей милости докладывалъ.

Въ это время къ палаткѣ приближался кто-то быстрыми шагами, издали дѣлая знаки руками. Это былъ мужчина среднихъ лѣтъ, плечистый, коренастый, лицомъ напоминавшій Ляпунова. Онъ также одѣтъ былъ ратникомъ. Открытое, загорѣлое лицо его казалось встревоженнымъ.

— Ты что, Захарушка?—спросилъ Ляпуновъ.

— Вѣсти черныя. Новая бѣда стряслась надъ русскою землею.

— Что ты? Какая еще бѣда?

— Царя не стало.

Ляпуновъ перекрестился. И десятскій, и офеня стояли какъ вкопанные.

— Какъ! Что ты говоришь?

— Такъ, Прокушка. Басмановъ самъ вѣсти привезъ. И митрополитъ Исидоръ съ нимъ прибылъ новгородской и весь синклитъ. Ко кресту пригонять ратныхъ людей.

— Когда-жъ царя не стало?

— Въ саму недѣлю муроносицъ. Здоровъ былъ, батюшка.

Онъ отвелъ Ляпунова въ сторону.

— Дѣло неладно. Сказываютъ, царь самъ на себя руки наложилъ.

— Какъ?

— Зелемъ отравнымъ. Кровью изошелъ...

— Дивны дѣла ... дивны дѣла. Да и я тутъ узналъ несповѣдимое нѣчто. Рука Господня, десница Его тяжкая на Русь налегла. Охъ, быть бѣдѣ великой. Узналъ я вонъ отъ этого...

— Отъ офени-то?

Въ это время въ главномъ станѣ слышался вѣстовой барабанный бой и глухой ударъ въ колоколъ походной церкви. Мрачно застоналъ колоколъ. А въ Кромахъ раздался торжественный звонъ.

— Чу!.. Охъ, страшно... Господь идетъ. Пропала матушка Русь... плачь, земля русская!

XV.

Присяга царскихъ войскъ Димитрію.

Офеня въ палаткѣ воеводы „большого полка“. Палатка напоминаетъ собой обширную киргизскую вибитку или вежу и убрана очень богато—увѣшана коврами, шитыми убрусами, блестящимъ оружіемъ и другими походными принадлежностями. Посрединѣ палатки—раздвижной столъ на складныхъ ножкахъ, съ разбросанными на немъ свитками, столбцами и отдѣльными листами бумаги. Въ серебряной высокой вазѣ, въ формѣ удлиненной дароносицы, мокнутъ десятки гусиныхъ, лебединыхъ и орлиныхъ перьевъ. Массивная бронзовая итальянской работы чернильница изображаетъ свернувшуюся на камнѣ змѣю съ открытою пастью. Въ пасти этой находятся чернила для подписанія памятей, отписокъ, приказовъ, наказовъ, наградъ и смертныхъ приговоровъ.

За столомъ на складныхъ сидѣньяхъ сидятъ главные военачальники царскихъ ратей: молодой Басмановъ, прославившійся защитой Новгородъ-Сѣверска отъ Димитрія-невѣдомаго, князь Михайло Катыревъ-Ростовской, воевода въ большомъ полку; князь Голицынъ, Василій Васильевичъ, и князь Михайло Ѳедоровичъ Кашинъ — въ правой рукѣ; бояринъ князь Андрей Андреевичъ Телятевскій да князь Михайло Самсоньевичъ Туренинъ—въ передовомъ полку; Замятня Ивановичъ Сабуровъ да князь Лука Осиповичъ Щербатовъ—въ лѣвой рукѣ; тутъ же и князь Ѳедоръ Ивановичъ Мстиславскій и окольничій Иванъ Ивановичъ Годуновъ, да начальные воеводы рязанскаго ополченія молодые братья Ляпуновы, Прокопій да Захарій.

Татарскій обликъ Басманова съ круглою головою и узкими хитрыми глазами подъ бархатными бровями и открытыя лица обоихъ Ляпуновыхъ особенно выдѣляются изъ сонма воеводъ. Басмановъ смотритъ очень молодымъ человѣкомъ; но только энергическое и серьезное выраженіе лица какъ-то събдаетъ его молодость.

Лицо князя Телятевскаго, толстое, красное, несмотря на свою некрасивость, заставляетъ вспомнить хорошенькое личико его дочки Оринушки, любимой подружки царевны Ксеніи, а глаза князя Катырева-Ростовскаго, заплывшіе и потускнѣвшіе, никакъ не могутъ напомнить его

бойкенькой, большеглазой „дурашки-дочушки“, княжны Наташеньки, тоже любимицы царевны Ксеніи.

Офеня стоитъ передъ столомъ и спокойно встряхиваетъ своими русыми съ просѣдью волосами, поминутно падающими на лобъ. Всѣхъ этихъ князей-боярушекъ, окольничихъ-воеводушекъ онъ знавалъ и видывалъ — не впервые: у всѣхъ у нихъ во палатушкахъ бывалъ, иконушки княгинюшкамъ ихъ да боярынямъ на золоту казну мѣнивалъ. Не робкаго десятку Ипатушка суздалецъ-иконникъ.

— Такъ ты стоишь на томъ, что онъ — не Гришка Отрепьевъ? — говоритъ Басмановъ.

— Отчего не стоять? Стою и стоять буду, какъ на вотъ этой на матушкѣ на сырой землѣ, покуль въ нее, матушку, не заркоутъ, желтымъ пескомъ глазыньки не прикроутъ.

— Онъ же и благовѣрнаго князя Александра-Невскаго „дѣдушкой“ называлъ?

— Онъ же, батюшка бояринъ.

— Да, промахнулись, промахнулись святой патріархъ Іевъ съ покойничкомъ царемъ — не на ту птицу кречета выпустили: не поймать тепереву этого кречета-грамоту — по всей матушкѣ Руси летаетъ.

— А что-жъ онъ въ Путивлѣ дѣлаетъ? — вновь спрашиваетъ онъ, немного помолчавъ и шепнувъ что-то на ухо князю Катыреву-Ростовскому.

— Царское дѣло дѣлаетъ: ратныхъ людей обряжаетъ, суды судить, съ боярами да панами обѣдаетъ, съ попами разговоры говорить да измѣнниковъ казнить — все царское дѣло дѣлаетъ.

— Почто-жъ ты въ Кромы попалъ?

— А къ атаману Корелѣ, бояринушка.

— Чего-ради?

— По знаемости по прежней: я у него на Дону гащивалъ, иконы то-жъ ему мѣнивалъ, — стряпкѣ его — Дуней зовутъ. И въ Кромахъ мѣнялъ, да на стягъ большой, на платѣ, Ягорья Побѣдоносца имъ написалъ: съ этимъ стягомъ, сказываетъ Корело, и въ Москву войду.

Воеводы переглянулись.

— А свазывай, что ты видѣлъ въ Кромахъ, да говори безъ утайки, какъ на духу, — снова обращается къ нему татарскій обликъ Басманова.

— Что мнѣ таить-то, князи-бояра? Мнѣ и Корела-атаманъ, какъ отпускалъ изъ Кромъ, сказалъ: „Болтай, гыть, Ипатушка, сколько хошь, — все изъ-подъ ногтя да со-подъ оплеки выкладывай, коли пытать съ распросу въ московскомъ войскѣ стануть: я-де не боюсь Москвы. Достань-ко, гыть, суслика али тарантула въ его норѣ — такъ и меня-де съ моими казавами не достать въ норѣ толобрюхимъ москалямъ.“

Басмановъ лукаво улынулся и переглянулся съ Ляпуновыми.

— Правъ, воръ-разбойникъ, — пояснилъ онъ: — всю зиму возжалось съ нимъ войско царское, а и рать наша не махонькая, два-сорока-тысячъ, поди, будетъ, а вотъ не достали ево, аспида, въ норѣ тарантуловой.

Князь Катыревъ-Ростовскій поморщился. Другіе воеводы какъ-то досадливо крякнули.

— А поди самъ попробуй, возьми его, — отрывисто сказалъ Катыревъ-Ростовскій Басманову.

— Въ чемъ же его сила?—спросилъ этотъ послѣдній офеню.

— А н бѣсъ его знаетъ — простите, князи-бояра. Вся сила у него, дьявола, въ башкѣ. Ужъ и шельма же всесвѣтная, я вамъ доложу. Нарылъ это онъ норъ сусликовыхъ подо всѣмъ валомъ и подо всѣмъ, почитай, полемъ—городъ у него, у Ирода, тамъ цѣлый... Какъ кротъ подъ землей ходитъ казакъ-собачій сынъ (офеня увлекался рассказомъ). Вы думаете, князи-бояра, трудно ему изъ-подъ земли выюркнуть вотъ въ эту самую палатку? Да онъ, шельминъ сынъ, можетъ, слушаетъ теперь, что я вамъ докладываю—вотъ тутъ подъ землей сидитъ.

И офеня стукнулъ ногой въ землю.

— Водилъ онъ, однава, меня въ свои норы-то, со свѣчой ходили. Ужъ онъ кружилъ-кружилъ, ужъ онъ вился-вился, и вверхъ-то подыметъ, и книзу-то спустится, и вправо-то нора, и влѣво-то нора, и вверхъ нора, и внизъ нора, — ахъ ты, Владычица, да и только! И спать-то они, собачьи дѣти, въ норахъ, и тепло-то тамъ у нихъ, разбойниковъ,—морозъ, значить, не доходитъ. И варятъ тамъ, и жарятъ—у васъ же, князи-бояра, скотину воруютъ по ночамъ. И зелено вино у нихъ тамъ, и въ зернь-то они, песьи сыны, играютъ, и съ бабами по норамъ какъ суслики, короводятся.

— Чево ужъ!—замѣтилъ окольныйчій Иванъ Годуновъ:—сами мы не однава отсель видывали, какъ они, погавцы, блудницъ-то этихъ да пласавицъ на поруганіе намъ выпускали на валъ въ чемъ мать родила, а тѣ срамницы неподобное и неудобьсказуемое царскому воинству показывали.

Басмановъ только покачалъ головой. Ляпуновъ вспыхнулъ.

— Да, сказываютъ, и шатость въ войскѣ царевомъ не однава замѣчена, — замѣтилъ онъ горячо: — многіе изъ воинскихъ людей норовятъ ему и здѣсь. Письма воровскія изъ стана въ городъ на стрѣлахъ пуцаютъ.

— Пуцали, это вѣрно, — отвѣчалъ офеня.

— И зелье пищальное передавали казакамъ же, — добавилъ Ляпуновъ.

— И зелье передавали, бояринушка.

Въ это мгновеніе въ палаткѣ появилось новое лицо. За нимъ еще и еще — все духовныя лица. Это былъ новгородскій митрополитъ Исидоръ, вмѣстѣ съ Басмановымъ присланный для приведенія войска къ присягѣ новому царю — Ѳедору Борисовичу Годунову. И на Исидорѣ, и на его синклитѣ лица не было: волненіе, страхъ, неизвѣстность — все это сказывалось въ испуганныхъ глазахъ, въ безпокойныхъ движеніяхъ.

Воеводы встали со своихъ мѣстъ и поклонились святителю.

— Что случилось, святой отецъ?—тревожно спросилъ Басмановъ.

— Шатаются рати... шатость велія въ войскѣ, креста не цѣдуютъ, — дрожащимъ голосомъ говорилъ митрополитъ.

— Гдѣ же? Чьи полки, отче?

— Всѣ кричатъ, всѣ мятутся.

— Что-жъ говорятъ они?

— Не хотимъ-де служить Борисову роду, не цѣлуемъ-де креста Годуновымъ. Токмо нѣмцы одни не пошатнулись— „хотимъ-де служить и прямить законному наслѣднику“. И какъ только капитанъ ихъ, Розенъ, поцѣловалъ крестъ, такъ и всѣ нѣмцы тако-жъ поцѣловали.

Басмановъ и прочіе воеводы торопливо вышли изъ палатки. Ляпуновы бросились къ своимъ ополченіямъ — къ рязанцамъ. Они застали ихъ въ волненіи. Гулъ въ рядахъ стоялъ невообразимый.

— Братцы! православные!—громко, высокими грудными нотами началъ Прокопій, и ряды смолкли, надвинувшись ближе къ своему любимому дружиннику.—Братцы! вспомните своихъ женъ и дѣтей! Не забывайте, православные, и обо всей русской землѣ. Бѣда виситъ надъ нею вотъ уже десять лѣтъ. И надъ вами эта бѣда, братцы и надъ вашими семьями. Что вы ни посѣте—это не ваше; что ни сожнете—въ подушное идетъ, а вы голодаете. Некому было пожалѣть васъ — никому не жаль было русской земли. А все оттого, что на Руси правда пропала—нашу правду украли. На Москвѣ царь Борисъ сѣлъ неправдою—и съ того вся бѣда пошла, и съ той поры русская земля осиротѣла. Но Богъ не хотѣлъ нашей гибели: когда Борисъ хотѣлъ сѣсть на Москвѣ, онъ велѣлъ извести законнаго царя-царевича Димитрія. Богъ спасъ царевича. Онъ идетъ добывать Москву — свою отчину и дѣдину, и насъ вмѣстѣ съ нею. Станемъ же, братцы, за правду, за святую Русь да за истиннаго царя-батюшку. Хотите ли, братцы, служить и прямить царевичу Димитрію?

— Хотимъ! Димитрія царевича хотимъ!—заколыхались ряды.

Голоса рязанцевъ увлекли и другихъ. Послышались согласные крики и въ другихъ ополченіяхъ, стоявшихъ подъ Кромами.

— Царевича Димитрія! Ему прямить хотимъ!—волновались тульскіе ратники.

— Ломайте крестъ Годуновскій, братцы!—гудутъ ваширинцы.—Цѣлуемъ крестъ тому, кому Ляпуновъ да рязанцы цѣлуютъ.

Гулъ перешелъ къ алексинцамъ. Появились и всѣ остальные.

Вдругъ увидѣли, что стрѣльцы ведутъ какого-то парня, который, по-видимому, былъ перехваченъ недалеко отъ стана.— „Языка ведутъ! языка ведутъ!“ слышались голоса. Плѣннаго повели прямо къ Басманову, потому что стрѣльцы, обыскивая его, нашли за онучами письмо, адресованное въ Кромы. Сначала парень показывалъ, что идетъ изъ сосѣдняго села въ Кромы къ своимъ родичамъ; но потомъ сталъ путаться... Басмановъ видѣлъ, что тутъ что-то кроется, и велѣлъ созвать немедленно думу воеводскую въ своей палаткѣ. Пришли воеводы, и Басмановъ только при нихъ вскрылъ письмо.

„Мы,—громко читалъ Басмановъ,—Димитрій Ивановичъ, царь и великій князь всея Руси, посылаемъ вамъ, нашимъ вѣрнымъ кромчанамъ, но

вашему челобитью, двѣ тысячи польскихъ ратныхъ людей и восемь тысячъ російскаго воинства въ подмогу, дабы вамъ, вѣрнымъ кромчаномъ, за насъ, государя вашего, крѣпко стоять и нашу царскую честь оберегати; сами-жъ мы, Дмитрій Ивановичъ, царь и великій князь всея Русіи, не идемъ къ вамъ того для, что поджидаемъ сорокъ тысячъ польскихъ жолнеровъ съ воеводою Жолковскимъ, и какъ они къ намъ придутъ, то и мы къ вамъ будемъ непомедля. Вы же, призвавъ Бога на помощь, не тожко отгромите воровъ и измѣнниковъ нашего царскаго величества отъ своего богоспасаемаго града Кромъ, но и въ конецъ ихъ посрамите и въ полонъ поимите. И за то мы, Дмитрій Ивановичъ, царь и великій князь всея Русіи, будемъ васъ, вѣрныхъ кромчанъ, жаловати нашимъ великимъ царскимъ жалованьемъ, каковаго у васъ и въ мысли не бывало“.

Глубокое молчаніе. Воеводы испуганно глядятъ то другъ на друга, то на парня. Парень стоитъ-переминается, теребя въ рукахъ своихъ полстяной шлыкъ. Одна нога, за онучею которой найдено было предательское письмо, разута; онуча и лапоть заткнуты за поясъ.

— Какъ тебя зовутъ?—спросилъ, наконецъ, опомнившись, Басмановъ.

— Меня-то? Кузьмой.

— А чьихъ ты?

— Чьихъ? Гостиной сотни купца Орефина кабальной холопъ.

— А кто далъ тебѣ это письмо?

— На Путивлѣ осударевы бояра: „отнеси-де въ Кромы по крестному цѣлованью тайно“. А привезли меня осударевы ратные люди, что идутъ въ Кромы.

— А далеко они?

— Въ одномъ перегонѣ, ваша милость,— коней попасаютъ.

Услыхавъ это, Басмановъ тотчасъ же приказываетъ окольному Ивану Годунову гнать съ передовымъ татарскимъ полкомъ въ разѣздъ, на переемъ...

— Да чтобы языковъ изловили, а изловивъ, пришли ихъ ко мнѣ безъ мотчанія,—добавилъ онъ, посылая Годунова.

Годуновъ удалился немедленно. Кузьму также приказано было увести за приставы.

Первымъ заговорилъ Ляпуновъ, Прокопій.

— Чего же намъ еще ждать, бояре?—сказалъ онъ.—Видимо, Божья помощь не съ нами, а съ нимъ: не мы растемъ въ силѣ, а онъ растетъ, мы же малимся. Чего-жъ еще мѣшкать-то? Али мало крови русской пролито? Али хотимъ мы, чтобъ намъ поляки да латинцы дали царя? А къ тому идетъ.

Бояре молчали. Только изъ стана доносились бурные крики:

— „Долой татарское отродье! Къ бѣсу свиное ухо!“—Дмитрія Ивановича! царевича Дмитрія!... Долой воеводъ! сами пойдемъ...

— Слышите?—пояснилъ Ляпуновъ.—Это Божья воля.

— Божья, Божья,—невольно согласился и Басмановъ:—видимое дѣло—самъ Богъ ему пособляетъ. Вотъ сколько мы ни боремся съ нимъ, какъ

ни бьемся изо всѣхъ силъ, а все ничего не подѣлаемъ: онъ сокрушаетъ нашу силу, и всѣ наши начинанія разрушаетъ и ни во что ставить... Видимое дѣло—онъ истинный Димитрій, нашъ законный государь. Коли-бъ онъ былъ простой человѣкъ, воръ Гришка Отрепьевъ, какъ мы до сямѣсть думали, такъ Богъ бы ему не помогаль. Да и Гришка-то у него на лицо.

— Гришка въ Путивлѣ—его тамъ видѣли тѣ, кои его прежде знаывали,—пояснилъ Ляпуновъ.

— Истинно такъ,—продолжалъ Басмановъ.—Да и какъ простому человеку на мысль придетъ, чтобы на такое великое дѣло отважиться! Вотъ же сами видимъ, что въ полкахъ у насъ шатость, смятеніе...

А извнѣ снова доносились крики:

— На осину борисовцевъ! на осину воеводъ!... — Тула ему отдалась!...—Орелъ крестъ цѣловаль Димитрію!...

— Слышите, бояре?—снова говорилъ Басмановъ.—Медвѣдь выходитъ изъ берлоги. Русская земля встаетъ, городъ за городомъ, земля за землею передаются ему. А тутъ литовскій король помочь ему посылаетъ. Не безумень же король—видитъ, что истинному царю помогаетъ. И что-жъ мы подѣлаемъ? Придутъ польскія рати, учнутъ биться съ нами, а наши не захотятъ... Все руссійское царство приложится къ Димитрію, и какъ мы ни бейся, а бѣды не избудемъ,—покоримся ему. И тогда мы будемъ у него послѣдними и останемся въ безчестіи, а то и въ жестокой опалѣ и казни. Такъ ужъ по-моему, бояре, чѣмъ намъ неволею и силкомъ идти къ нему, лучше теперь, пока время, покоримся ему по доброй волѣ и будемъ у него въ чести.

Карьеристъ и практикъ Басмановъ, воспитавшійся въ гнусной школѣ батюшки-опричника, понималъ „честь“ по-боярски. Боярамъ это понравилось—и они стали колебаться. Одинъ Ляпуновъ рѣзко замѣтилъ:

— Не въ томъ, бояре, честь, чтобы поближе къ царю сѣсть, а въ томъ, чтобы землю руссійскую соблюсти и крови напрасно не проливать.

— „Идутъ! Идутъ!“—послышались голоса въ станѣ.—„Полякамъ бижаль! царевичамъ посылалъ! гайда! видиму-невидиму!“—кричали татары.

Это воротился Годуновъ.

— Какъ? что?

— Идутъ польскія рати! мои татары видѣли! Видимо-невидимо!—запыхавшись и дрожа бормоталъ Годуновъ Иванъ, вбѣгая въ палатку. Онъ былъ не изъ храбрыхъ...

Прошло нѣсколько дней. Московскія рати все еще стоятъ подъ Кромами. Но что это за необыкновенное движеніе и въ московскомъ станѣ, и въ Кромахъ, хотя еще очень рано—около четырехъ часовъ утра? Или назначенъ приступъ, послѣдній штурмъ, чтобы задушить Корелу и его атамановъ-молодцовъ въ тарантуловыхъ норахъ? Майское солнце, только что выглянувъ изъ-за горизонта, золотомъ брызжетъ и на московскіе стяги съ иконами и хоругвями, и на бѣлые, почернѣвшіе отъ времени шатры,

и на заржавленные бердыши стрѣльцовъ, и на казацкія пикъ, торчащія на кромскомъ валу. Тамъ и Корела въ киверѣ на бекрень, и Треня, у котораго и усъ одинъ и красный верхъ шапки обожжены порохомъ.

Въ московскомъ станѣ всѣ воеводы кучатся у разряднаго шатра. Басмановъ, Годуновъ и князь Телятевскій на коняхъ. Телятевскій машетъ пушкарямъ, которые и двигаютъ съ грохотомъ свои зѣвастыя пушки—иная въ два обхвата объемомъ. Пушки двигаются къ мосту, который перекинули изъ стана на ту сторону рѣчки, отдѣляющей Кромы отъ московскихъ ратей.

Не видать только Прокопа Ляпунова.

Вдругъ, словно черти посыпались съ валу казаки и съ гикомъ бѣгутъ на мостъ къ московскому обозу. Впереди Корела съ шестоперомъ въ рукѣ, словно Геркулесъ съ дубиной, и съ пистолетомъ въ другой. У Трени на длинномъ древкѣ пикъ развивается лента алая—„лента, алая ярославская“, изъ косы красной дѣвицы.

Застонали Кромы, застоналъ и обозъ московскій.

— Алла! алла!—закричали годуновскіе татары, предчувствуя что-то недоброе.

— За рѣку! за рѣку!—стономъ стонутъ московскія рати.

— Боже, сохрани! Боже, пособи Дмитрію Иванычу!—вырѣзываются изъ стона отдѣльные возгласы.

— Вяжи ихъ! вяжи бояръ и воеводъ!—трубитъ голосъ Ляпунова, который точно съ неба свалился съ своими рязанцами.

Рязанцы бросаются на воеводъ. Басманова тащутъ съ ковы и вяжутъ. Вяжутъ и Годунова, и Голицына, и Салтыкова.

— Присягай Дмитрію!—кричатъ рязанцы.

Толпы валятъ къ мосту. Тащутъ къ мѣсту и связанныхъ воеводъ. На мосту уже стоятъ нѣсколько священниковъ съ крестами въ рукахъ и принимаютъ отъ бѣгущихъ крестное цѣлованье на имя Дмитрія. Мостъ трещитъ отъ давки. А Ляпуновъ неумолкаемо звонитъ своимъ здоровымъ горломъ: „За рѣку, братцы, за рѣку! За святую Русь умремъ!“

— Пустите меня, братцы!—молится Басмановъ, обливаясь потомъ.— Я присягаю царевичу Дмитрію! У меня его грамота!

Басманова развязываютъ.

— Вотъ грамота царя и великаго князя Дмитрія Ивановича всея Русіи!—кричитъ онъ, поднявъ грамоту высоко надъ головою.— Измѣнникъ Борисъ хотѣлъ погубить его въ дѣтствѣ, но Божій промыслъ спасе его чудомъ своимъ. Онъ идетъ теперь добывать свою отчину и дѣдину. Самъ Богъ ему помогаетъ, и мы стоимъ за него до послѣдней капли крови. За нами, братцы! за рѣку!

— Многая, многая лѣта!—гудутъ толпы:—многая лѣта нашему Дмитрію Ивановичу!

— Любо! любо! ради служить и прямить ему,—стонетъ весь станъ.

Все бросилось на мостъ. Мостъ не выдержалъ московскихъ ратей, за-

трещалъ и рухнулъ въ воду. Смятеніе неизобразимое. Рѣка заиружена народомъ, лошадьми. Но и въ водѣ крики не умолкаютъ: „Многая дѣта! многая! прямить ему, прямить!..“

Небольшая кучка осталась въ обозѣ московскомъ — осколки жалкаго величія Годуновыхъ. Тутъ были и нѣмцы, съ капитаномъ Розеномъ во главѣ отряда.

— Гохъ,—кричали нѣмцы:—доннерветтеръ Гришкѣ-вору! Гохъ Борисень-киндеръ, гохъ!

— Вейте нѣмецкихъ таракановъ!—кричитъ Корела:—да не саблями бейте, не пулями, а батогами! Бейте, братцы, да приговаривайте: „вотъ такъ вамъ! вотъ такъ вамъ, нѣмецкіе тараканы! Не ходите биться противъ русскихъ людей!“

И рязанцы, москвичи да казаки съ хохотомъ кидаются на годуновцевъ, гоняются за ними какъ за телятами и бьютъ кого палкой, кого плетью, кого просто кулакомъ.

— Стойте, братцы, до послѣдняго! — вопять послѣдніе годуновцы, — князь Телятевскій и князь Катыревъ-Ростовскій, слясь прикрыть пушки.

И какъ имъ не защищать Годуновыхъ и ихъ пушки? Въ пылу схватки и передъ тѣмъ и передъ другимъ носятся милые облики ихъ дочушекъ любимыхъ—Оринушки и Наташеньки, которыя тамъ на Москвѣ, въ царскомъ теремѣ, золотомъ и жемчугомъ вышивають большую пелену церковную... Эхъ бѣдныя дочушки!

— Охъ, Оринушка, свѣтикъ мой! — стонетъ Телятевскій и съ тоской бросаетъ свою артиллерію.

— Охъ, Наташенька, перепелочка!—вздыхаетъ Катыревъ-Ростовскій и скачетъ въ Москву вслѣдъ за Телятевскимъ.

Остается у Годуновыхъ одинъ вѣрный человѣкъ—„дядюшка Иванушка“, окольничій Иванъ Годуновъ, котораго такъ занималъ когда-то чертежъ російскаго государства, нарисованный его племянничкомъ Ѳедюшею, теперь злополучнымъ царемъ московскимъ, — чертежъ, надъ которымъ нечаянно слились и щека и губы Ѳедюши-царевича со щечкою и губками аленькими Оринушки Телятевской. Годуновъ связанный лежитъ въ своемъ шатрѣ, а офеня Ипатушка сидитъ надъ нимъ и сгоняетъ съ несчастнаго мухъ. Бѣдныя Годуновы! Бѣдная Ксенія трубокосая!

XVI.

Грамота Димитрія.

Бѣдныя Годуновы! Бѣдныя дѣти, на которыхъ за преступленіе родителей народное сердце сорвало историческую обиду!

Не радостно во дворцѣ молодого Годунова-царя. Еще такъ недавно похоронилъ онъ отца, котораго такъ беззавѣтно любило его дѣтское, дѣтски-невинное сердце,—и сталъ самъ царемъ... Царь по шестнадцатому году!

какая горькая необходимость! Самая пора бы играть, веселиться юношескимъ сердцемъ и учиться, рисовать чертежъ россійскаго государства да разсматривать его вмѣстѣ съ Оринушкой Телятевской,—охъ, Оринушка,—а между тѣмъ надо управлять этимъ россійскимъ государствомъ, этою страшною машиною, которую расшаталъ батюшка. Охъ, да и какъ управлять этою машиною, когда, глядя на ея чертежъ, лежащій на столѣ, и вспоминая Оринушку Телятевскую, онъ видѣлъ, что большая половина этого чертежа... истлѣла, рассыпалась, выцвѣла?... За что? за чьи грѣхи? „за батюшково ли согрѣшенъе, за матушкино ли немоленье?“ или за тотъ грѣшный поцѣлуй, который надъ этимъ чертежемъ дала ему Оринушка? Охъ, нѣтъ, нѣтъ! не за Оринушкинъ поцѣлуй выцвѣла, истлѣла, рассыпалась половина чертежа... Черниговъ, Сѣвскъ, Рыльскъ, Путивль, Кромы. Орелъ, Тула — всѣ эти черныя точки на чертежѣ, изумлявшія „дядюшку Иванушку“, теперь уже *не ея* — сошли съ чертежа, укатились куда-то, укатились къ *нему*, къ этому невѣдомому, къ этому страшному, вставшему изъ гроба. И онъ самъ идетъ — все ближе и ближе къ Москвѣ движется этотъ страшный мертвецъ, это „навье“ загробное. И Москву онъ хочетъ взять, и шапку Мономаха, и тронъ, и скифетрo, — охъ, да Богъ съ ними! — только онъ возьметъ и *ее*, Оринушку,

А Оринушка плачетъ,—охъ какъ горько плачетъ она, сидючи въ теремѣ Оксиньюшки царевны. И Наташенька, княжна Катырева-Ростовская, плачетъ; только полныя плечики да груди бѣлыя дѣвическія подъ шитою сорочечкою вздрагиваютъ. И другія подруженьки въ теремѣ царевны плачутъ-разливаются, — ужъ такъ-то плачутъ, такъ надрываются, что и сказать нельзя... Объ чемъ же плачутъ дѣвушки подруженьки?—Да какъ не плакать имъ, когда Оксиньюшка царевна, подперевъ свою полную, бѣлую, акимлеко, щечку точеною рученькой, поетъ таково жалобно:

А сплachtetца на Москвѣ царевна,
Борисова дочь Годунова:
Ино, Боже, спасъ милосердой,
За что наше царство загибло—
За батюшково ли согрѣшенъе,
За матушкино ли немоленье?
А свѣты вы наши высокіе хоромы;
Кому вами будетъ да владѣти
Послѣ нашего царскаго житья?
А и свѣты бранныи убрусы,
Бережа ли вами крутити?
А и свѣты золоты ширинки,
Лѣсы ли вами дарити?
А и свѣтъ яхонты сережки,
На сучье ли васъ задѣвати
Послѣ царскаго нашего житья,
Послѣ батюшкова преставленья,
А и свѣта Бориса Годунова?

Плачутъ, надрываются подруженьки, все ниже и ниже склоняя свои головушки надъ работою — пеленою церковною золотною, — а жемчужныя

слезы на эту пелену золотую только капъ-капъ-капъ... О! сколько жемчугу бурмицкаго насыпалось изъ дѣвичьихъ глазъ!.. а сколько еще придется жемчугу сыпаться?

А даревна все поетъ, грустно глядя въ оконце:

А что ѣдетъ къ Москвѣ рострига,
Да хочетъ теремы ломати,
Меня хочетъ царевну поимати,
А на Устюжну на желѣзную отослати,
Меня хочетъ царевну постритчи,
А въ рѣшетчатый садъ засадити,
Ино охте мнѣ горевати,
Какъ мнѣ въ темну келью ступати,
У игуменьи благословитца...

Ксенія остановилась... Всѣ дѣвушки, а въ особенности Наташа Катывева-Ростовская и Ориша Телятевская рыдали навзрыдъ, громко, неудержимо. Ксенія бросилась къ нимъ и сама разрыдалась...

Въ это время въ теремъ вошла мамушка, да такъ и всплеснула руками... И тамъ-то, въ Кремлѣ, и на Красной площади, что-то смутное творится, и тутъ-то, — Господи! Такъ ноги и подкосились у старушки...

А въ Кремлѣ, и на Красной площади, дѣйствительно творится что-то смутное, пугающее. Вчера, съ самаго ранняго утра стрѣльцы и другіе ратные люди начали устанавливать пушки по кремлевскимъ стѣнамъ. Работа идетъ какъ-то тихо, вяло, неохотно — все изъ рукъ валится. И народъ со стороны города подойдетъ къ стѣнамъ, посмотреть-посмотрить, покачаетъ кто головой или улыбнется какъ-то нехорошо, — и отойдетъ.

— На кого, братцы, нарядъ-отъ ставите — пушачки эти? — спросить кто-либо у стрѣльцовъ.

— На воровскихъ казаковъ, — неохотно отвѣчаютъ стрѣльцы.

— Аль они въ Кремлѣ-то завелись? — ехидно спрашиваетъ другой.

— А тебѣ какое дѣло? Корела, слышь, атаманъ идетъ на Москву.

— Ну, и ладно — добро пожаловать.

Чуютъ въ Кремлѣ и въ городѣ князи, бояры и житые люди, что у черни что-то недоброе на умѣ.

И сегодня идетъ та же вялая работа. Рано, а ужъ жарко. Да и какъ не быть теплу? Июнь начинается — первое число. А давно ли хоронили царя Бориса, Ѳедоровича? Не смолкъ еще, кажется, и печальный звонъ колоколовъ, — а ужъ... Чу! что это такое? Гдѣ это опять звонъ, да не такой, не погребальный, а страшный набатный? Это въ Красномъ селѣ звонить колоколь... Что онъ, звонить, что вызваниваетъ-выговариваетъ? Нѣтъ, не пожаръ, пожару нѣтъ, дыму не видать... Народъ начинаетъ валить на улицы, на площади. А всѣ молчатъ — понурые какіе-то, ни слова не слышно. Да и какъ тутъ говорить? Боязно, страховато... Третьяго дни только казнили двухъ молодцовъ за то, что увидали за Серпуховскими воротами пыль большую и закричали, что кто-то идетъ. И теперь, должно быть, идетъ кто-то?..

Да, точно идетъ. Изъ Краснаго села толпы валятъ, провожаемые колокольнымъ звономъ. Везутъ кого-то. Толпы все растутъ и растутъ. Народная лавина двигается живою стѣною къ Кремлю, запружаетъ Красную площадь. Прорывается народъ, раскрывается народная глотка, долго молчавшая...

— Буди здоровъ, царь Дмитрій Ивановичъ!

Вотъ что рявкнула народная глотка!

И все валятъ и валятъ толпы на Красную площадь. Все запружено лаптями, сапогами, зипунами, армяками, синими и красными рубахами—отъ Троицы-на-рву, вдоль Кремля отъ Фроловскихъ до Никольскихъ воротъ и вплоть до выходовъ,—„Буди здоровъ, царь Дмитрій Ивановичъ!“ гудитъ почти неумолкаемо.

Кого-то взводятъ на Лобное мѣсто. Ихъ двое. Народъ машетъ шапками.

— Кто это, робя, на Лобномъ-отъ? — кричатъ прищемленный въ толпѣ знакомый уже намъ Теренька-плотникъ, парень все собиравшійся жениться.—Али *енз*?

— Попалъ въ небо! — огрызается рыжій плотникъ — пѣвунъ: — *енз*, чу, рыженькой.

— Кто-жъ, паря?

— Гонцы отъ его?

Изъ Кремля протискиваются, не щадя своего дорогого платья, большіе бояре, думные дьяки, стрѣльцы. Они норовятъ пробраться къ Лобному мѣсту. Они хотятъ говорить что-то...

— Православные! — возвышаетъ голосъ высокій, краснощекій бояринъ:—это воровскіе посланцы—Гаврилко Пушкинъ да Наумко Плещеевъ. Они воры.

— Молчи, бояринъ! къ бѣсу! въ шею его! — заорала толпа.

Бояринъ спустилъ ноту.

— Братцы! православные! коли они съ челобитной, такъ ведите ихъ въ Кремль, къ царю. Милосердый государь все разберетъ. А вамъ, братцы, не слѣдъ скопомъ собираться.

— Молчи! растакъ и перезтакъ! — застонало скопище. — Читай грамоту! Громче вычитывай! Громче, чтобъ до Бога слышно было — Богъ разберетъ. Читай!

Гаврило Пушкинъ, перекрестясь большимъ крестомъ, и поклонясь московскимъ церквамъ и народу на всѣ четыре стороны; сталъ читать. Рыкающая тысячами глотокъ толпа словно онѣмѣла и не дышала.

— „Мы, Божією милостію, царь и великій князь Дмитрій Ивановичъ всея Русіи“, — разносилось въ воздухѣ: — „ко всѣмъ нашимъ бояромъ, окольниковъ, стольникомъ, стряпчимъ, жильцомъ, приказнымъ, дьякамъ, дворянамъ, дѣтямъ боярскимъ, гостямъ торговымъ людямъ, къ лутчимъ и середнимъ, и ко всякимъ чернымъ людямъ нашимъ“...

— Слышь, паря, — чернымъ людямъ... *нашимъ*-ста, — шепчетъ радостно Теренька.

— Да ты, чортова перешница, слухай! Что мелешь?

— „Цѣловали есте крестъ блаженныя памяти родителю нашему царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русіи и намъ, дѣтямъ его, на томъ, чтобы не хотѣтъ вамъ иного государя на московское государство, кромѣ нашего царскаго роду. И когда судомъ Божиимъ не стало родителя нашего и сталъ царемъ братъ нашъ Ѳеодоръ Ивановичъ, и тогда измѣнники наши послали насъ въ Угличъ и дѣлали намъ такія тѣсноты, какихъ и подданнымъ дѣлать негоже, и присылали многожды воровъ, дабы насъ испортить и живота лишить; токмо милосердый Богъ укрылъ насъ отъ злодѣйскихъ умысловъ и сохранилъ въ судьбахъ своихъ до возрастныхъ лѣтъ. А вамъ всѣмъ измѣнники говорили, якобы насъ на государствѣ не стало и якобы похоронили насъ во градѣ Угличѣ, въ соборной церкви Спаса всемилостиваго“...

— Вона куда хватили! — снова шепчетъ нетерпѣливый Теренька. — А ты баишь, у тебя тады гашникъ порвался, какъ ево зарѣзали. — Ань ево не зарѣзали.

— Молчи, дурова голова! Гашникъ... что гашникъ?.. Тутъ во какое дѣло—царское, а онъ—гашникъ... Дуракъ, дуррракъ и есть!—совсѣмъ обозлился рыжій плотникъ.

А Пушкинъ все читаетъ. Громче и громче становится его голосъ, болѣе и болѣе грозныя слова несутся съ Лобнаго мѣста, слова объ измѣнникѣ Борисѣ, о Марьѣ, Борисовой жевѣ, Годуновой, о томъ, какъ они русскую землю не жалѣли, какъ царское и народное достояніе разоряли, и православныхъ христіанъ безъ вины побивали, бояръ, воеводъ и всѣхъ родовитыхъ людей поносили и безчестили, дворянъ и боярскихъ дѣтей разоряли, ссылками и нестерпимыми муками мучили, гостей и торговыхъ людей на пошлинахъ тяжко тѣснили...

— „А мы, христіанскій государь, жалѣючи васъ, пишемъ вамъ, дабы вы, памятуя крестное цѣлованье царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русіи и намъ, дѣтямъ его, доби́ли намъ челомъ и прислали бы къ намъ, нашему царскому величеству, митрополита и архіепископовъ, и бояръ и окольничихъ, и дворянъ большихъ, и дьяковъ думныхъ, и дѣтей боярскихъ, и гостей, и лучшихъ людей. И мы васъ пожалуемъ: боярамъ учинимъ честь и повышеніе и пожалуемъ прежними ихъ вотчинами, да и еще сдѣлаемъ прибавку и будемъ держать въ чести. А дворянъ и приказныхъ людей станемъ держать въ нашей царской милости. А гостямъ и торговымъ людямъ дадимъ льготы и облегченіе въ пошлинахъ и податяхъ, и все православное христіанство учинимъ въ покоѣ, тишинѣ и благоденственномъ житіи. А будетъ не добьете нынѣ челомъ намъ, нашему царскому величеству, и не пошлете милости просить ино дадите отвѣтъ въ день суда праведнаго, и не избыти вамъ грозной десницы Господа и нашей царской руки“.

Внушительно и страшно выкрикнулись послѣднія слова — „не избыти грозной десницы Господа и нашей царской руки.“ Страшное зрѣлище представляла и народная масса, которой предстояло рѣшить государственный вопросъ роковой важности. Тысячи глотокъ страстно, звонко и хрипло

вопили: „Буди здравъ, царь Димитрій Ивановичъ!“ и кидали вверхъ шапки, шляпы, шинки. Но и въ другихъ тысячахъ — во взорахъ выражалось тревожное острое опасеніе: а если и это обманъ? куда-жъ уйдешь отъ него?

— „Буди здравъ! буди здравъ!“ — „Многая лѣта!“ — „Буди здравъ!“

— Шуйскаго! Шуйскаго давай! — раздался чей-то здоровый басъ.

— Ладно, Шуйскаго! Шуйскаго! — подхватила громада. — Онъ розыскъ чинилъ въ Угличѣ. Онъ знаетъ, кого въ Угличѣ похоронили. Шуйскаго братцы, тащите!

Этого голоса нельзя не послушаться. Привели Шуйскаго. Поставили на Лобное мѣсто. Какъ ни хитры были лисьи глаза у Шуйскаго, но и въ нихъ играло что-то особенное, невиданное прежде на лицѣ осторожнаго, вѣчно ощупывавшаго глазами почву, боярина, — что-то такое неуловимое, какъ сокращеніе мускуловъ змѣи при движеніи. И борода, и волосы его, русые, но сильно убѣленные временемъ и думами, гладко причесанные для того, чтобы и по волосамъ, по ихъ свободному расположенію на головѣ никто не могъ догадаться, что думаетъ и замышляетъ эта змѣиная головка; и тщательно подобранные углы губъ, всегда оставлявшихъ за зубами что-то недосказанное, умышленно припрятанное въ запасъ; и лобные навѣсы надъ вѣчно-неоткровенными глазами, свѣсившіеся, кажется, еще ниже, чтобы поболѣе отгѣнить эти, даже на молитвѣ передъ одинокою иконою лукавящіе глаза, — все говорило, что онъ вновь готовится слукавить такъ ядовито, чтобы и убить своихъ враговъ, и столкнуть ихъ трупы съ своей дороги, и убить потомъ того, въ чью пользу онъ теперь слукавить, и затѣмъ увернуться отъ всего такъ ловко, чтобы впослѣдствіи, въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, исторія становилась втупикъ надъ вопросомъ: когда же онъ не лукавилъ — тогда ли, когда говорилъ правду, или тогда, когда лгалъ, и не была ли его ложь правдой и правда ложью?

Нѣсколько минутъ онъ стоялъ молча, какъ бы силясь преодолѣть волненіе, которое могло быть у него и искусственное: если этого волненія не было, то надо его было сочинить, представить...

— Говори! — закричало нѣсколько нетерпѣливыхъ голосовъ.

Шуйскій показалъ видъ, что не рѣшается говорить, а между тѣмъ онъ именно и хотѣлъ говорить, чтобы утопить Годуновыхъ, затѣмъ, чтобы послѣ, когда всплывутъ ихъ трупы на поверхность теченія историческихъ событій, на трупахъ этихъ доплыть до престола, когда того, въ пользу котораго онъ сейчасъ намѣренъ слукавить, онъ же столкнетъ въ воду и утопить.

— Говори! — повторились возгласы.

— Борисъ велѣлъ убить Димитрія царевича; токмо царевича спасли, а во-мѣсто его погребенъ поповъ сынъ, — отвѣчалъ онъ послѣ вторичнаго возгласа.

Слѣдовательно, теперь онъ говорилъ совершенно противоположное тому, что сказалъ этому самому Борису, возвратившись изъ Углича, куда Борисъ посылалъ его производить розыскъ, когда получена была вѣсть, что царевича

вича Дмитрія не стало. Тогда онъ сказалъ: „царевичъ со сверстниками-жильцами тѣшился—игралъ ножомъ въ тычку, и зарѣзался въ припадкѣ чернаго недуга“.

— Похоронили попова сына — слышь ты, дядя,— ехидно обратился Теренька къ рыжему плотнику.

Тотъ молчалъ, видимо, сконфуженный.

— А ты еще сказывалъ—гашникъ у тебя тады съ испугу порвался. Вотъ тѣ и гашникъ. Эхъ, ты! гашникъ!

Рыжій плотникъ только махнулъ рукой. Толпа заревѣла звѣремъ — плотина прорвалась.

— Долой Годуновыхъ! Всѣхъ ихъ друзей и сторонниковъ искоренить! Бейте, рубите ихъ! Не станемъ жалѣть ихъ, коли Борисъ не жалѣлъ законнаго наслѣдника и хотѣлъ его извести въ дѣтскихъ лѣтѣхъ. Господь намъ теперь свѣтъ показалъ—мы доселева во тьмѣ сидѣли. Засвѣтила намъ теперь звѣзда ясная утренняя—нашъ Дмитрій Ивановичъ!—Буди здравъ, Дмитрій Ивановичъ.

— Братцы! православный народъ! милосердые христіане! послушайте!—неожиданно раздался чей-то голосъ съ Лобнаго мѣста.

Всѣ невольно оглянулись, какъ бы смутились. На Лобномъ мѣстѣ стоялъ офеня, суздалецъ Ипатушка-иконникъ, котораго знала вся Москва и на иконы котораго молилась болѣе четверти вѣка.

— Братцы!—говорилъ иконникъ трогательно: — послушайте вы меня, православные христіане (онъ низко кланялся на всѣ четыре стороны)—не убивайте вы ихъ, не проливайте кровушки христіанской. Они — робятки еще: они вамъ зла не дѣлали. Не трожьте младую Оксиньюшку—богоискательна она, иконушки у меня брала да сама-жъ, матушка, иконами да милостынею нищую братью надѣляла. Не трожьте и Федюшку: онъ дите доброе. Возьмите у него скифетро царское, а ево не изводите—не берите грѣхъ на душу. Я отъ царевича пришелъ—онъ не ищетъ ихъ смертушки: онъ только скифетро батюшкино ищетъ. Помилуйте ихъ, православные!

— Ладно! — заревѣла толпа:—иконникъ правъ! Рукъ, робята, кровью не марай, а скифетро возьмемъ!

И толпа хлынула въ Кремль. Виднѣлись только вскоченныя головы да бороды, да тамъ и сямъ подымались къ небу кулаки съ возгласами: „Скифетро, скифетро! Скифетро, робята, не трожь—не ломай, а все остальное—разноси по рукамъ!“

— Что-жъ это за скифетро, дядя?—въ недоумѣніи спрашиваетъ Теренька все того же рыжаго плотника.

— То-то дядя! А лаяться-лаешься, собачій сынъ,—отвѣчаетъ рыжій.

— Я, дядя, не лаюсь. Что мнѣ!

— А гашникъ? Не лаешься!

— Что гашникъ! Вотъ скифетро-то я не знаю.

— А перо такое царское.

Красная площадь и въ особенности пространство между Лобнымъ мѣ-

стомъ, Троицею-на-рву и Спасскими воротами представляли неописанное зрѣлище: переднія толпы, тѣснимыя задними, не выдерживая напора, падаютъ, ругаются, на нихъ спотыкаются и падаютъ другіе; все, что въ боярскомъ платьѣ, старается улизнуть,—а улизнуть некуда—кругомъ живыя стѣны колышутся; ущемленные бабы вопятъ въ истошный голосъ. Испуганная птица—вороны, галки, голуби, воробьи, стрижи, облѣпившіе кремлевскія стѣны—все это взвилось надъ бѣшеной толпой и мечется изъ стороны въ сторону...

— Валяй, робята, разнесемъ!

— Рукъ не марай!

— Скифетро не трожь!

Эти голоса уже слышались въ Кремлѣ. Гигантскій хвостъ толпы еще колыхался у Спасскихъ воротъ. У Спасскихъ же воротъ, неизвѣстно какимъ чудомъ уцѣлѣвшій слѣпой нищій съ чашечкой сидитъ и слезно причитаетъ:

— Охъ, кровушка, кровушка! Ой и течи-течи кровушкѣ, во мать сыру-землюшку, течи-течи кровушкѣ семь лѣтъ и семь мѣсяцевъ. Охъ и солнышко красное! сушить тебя, солнышко, сушить землю кровную, на семь пядей смочену кровью христіанскою, сушить ровно семь годовъ да еще семь мѣсяцевъ... Охъ, и Русь ты матушка, ты земля несчастная, земля горемычная, лихомъ изнасѣянная, политая кровушкой—что на тебѣ выростетъ?.. Охъ, кровушка-кровушка! охъ горюшко-горюшко! охъ слезыньки-слезыньки! течи вамъ на сыру землю семь лѣтъ и семь мѣсяцевъ.

XVII.

Гибель Годуновыхъ. Нѣмецкій погромъ.

Въ то время, когда посланецъ Дмитрія, Гаврило Пушкинъ, читалъ народу привезенную имъ грамоту и когда народъ на этой грамотѣ положилъ уже свою страшную резолюцію—„разнести Годуновыхъ“, юный царь, Федя Годуновъ, еще не развѣнчанный, былъ одинъ въ своихъ покояхъ, и, несмотря на горе послѣднихъ дней, на грозившій ему страшный призракъ, подъ вѣянье золотыхъ грезъ своей молодости вспоминалъ, какъ недавно, на духовъ день, во время его царскаго выхода Ирина Телятевская вмѣстѣ съ прочими цѣловала его царскую руку, и цѣловала жарче, чѣмъ всѣ думные бояре, окольничіе, стольники, дѣяки и весь царскій чинъ, и какъ ему тогда стыдно стало, и какъ ему самому хотѣлось расцѣловать ее,—да нельзя—онъ царь и великій князь всея Руси. Зловѣщій говоръ толпы не достигалъ его покоевъ.

Вдругъ кто-то входитъ. Господи! — сама Ириша! Молодая кровь такъ и прилила вся къ сердцу—духъ захватило. Дѣвушка бросается на колѣни и хватается руки Федора, хватается судорожно, безмолвно.

— Оринушка! свѣтикъ мой! — обхватывая бѣлокурую головку, нагибается къ ней юноша-царь.—Что съ тобой?

— Царь-государь! солнышко незакатное!—безумно лепечетъ дѣвушка.

Онъ приподнимаетъ ее къ себѣ, снова обхватываетъ ея голову и губы ихъ сливаются...

— Одея!.. царь... соколикъ... охъ! солнышко мое... Уйди... схоронись... Богъ ты мой...

— Свѣтъ очей моихъ! Ориша!

— Охъ, бѣги... бѣги! Убьютъ тебя!.. тамъ на Красной площади... мнѣ сѣнная дѣвушка сказывала... На тебя, царя моего, идутъ... Охъ, смерть моя, хоронись... царь... Одея мой...

Отедоръ самъ началъ различать словно далекіе раскаты грома. Онъ опомнился. Крѣпко обнявъ дѣвушку, которая его крестила и цѣловала въ глаза, онъ вышелъ. Онъ направился въ Грановитую палату: онъ все еще не думалъ, что дѣло такъ далеко зашло.

Вскорѣ онъ увидалъ, что народная волна направляется прямо ко дворцу. Надо принять мѣры, а никого нѣтъ—всѣ бояре исчезли. Приходится самому раздѣлываться—вѣдаться съ народомъ. Онъ помнитъ, что онъ царь—надо царемъ, въ царскомъ величіи предстать предъ народомъ. Онъ облачается въ царственное одѣяніе... вѣнецъ... порфира... скифетр... А народъ уже тѣснится къ воротамъ—стрѣлцкая стража не выдерживаетъ натиска и отступаетъ. Волна вливается во дворъ, подступаетъ къ Красному крыльцу, заливаєть ступени, клокочетъ уже близко, въ переходахъ—и наконецъ, врывается въ Грановитую палату.

Молодой царь, блѣдный, какъ полотно, въ полномъ облаченіи, словно золотокованная икона, сидитъ на престолѣ. Молодое личико въ массивномъ, блистающемъ камнями вѣнцѣ кажется совсѣмъ дѣтскимъ.

По обѣимъ сторонамъ престола, съ иконами въ рукахъ, стоятъ—мать царя и сестра Ксенія: объ эту святыню должна разбиться народная ярость.

Нѣтъ не разбилась! Бѣдныя дѣти!

— А, Оедька, воровской сынъ, отдай царское скифетр!—раздались голоса.

— Долой съ чужого мѣста!

И толпа съ угрожающими жестами подступила къ престолу. Съ визгомъ, какъ укушенная собака, мать-царица, съ иконою впереди себя, ринулась на толпу, силясь заслонить собою сына. Нѣсколько здоровыхъ рукъ словно клещами сжали ея слабыя женскія руки, и икона съ грохотомъ упала на полъ.

— Ой, братцы! образъ—подыми бережно.

— Долой съ чужого мѣста!

— Скифетр отдай!

Бѣднаго юношу-царя сволокли съ престола; Ксенія, стоя въ сторонѣ съ образомъ, плакала, дрожа всѣмъ тѣломъ. Ее никто не тронулъ.

Мать-царица, освободившись отъ живыхъ клещей и видя, что сына ея ведутъ, снова бросилась на толпу, и снова была оттолкнута. Въ ослѣпленіи ужаса, она срываетъ съ шеи драгоцѣнное жемчужное ожерелье, и отчаянно вопить:

— Возьмите это! Охъ, берите все, только не убивайте его! батюшки! свѣты мои!

— Не бойся, не убьемъ—рукъ не станемъ марать,—огрызнулся кто-то въ толпѣ.

— Не душегубъ, робята!—раздается еще чей-то голосъ.

— Сказано—не будемъ.

И царя, и царицу-мать, и Ксенію вывели изъ Грановитой палаты. Офеня съ трудомъ протискался до Ксеніи и все шепталъ тѣмъ, которые вели ее:

— Полегше, робятушки, Бога-для! Не трожьте ее, не зашибите дитю неповинную... Полегше, голубчики, помягче, Христа-ради!

Толпа разсѣялась по дворцу. Въ одной комнатѣ наткнулись на двухъ прежнихъ посланцевъ Дмитрія: на нихъ были слѣды пытокъ и истязаній; тѣло ихъ было изсѣчено, изожжено. Отъ этого зрѣлища народъ окончательно озвѣрѣлъ, но все-таки не пролилъ ни одной капли крови.

— А! вотъ они что дѣлаютъ—Годуновы-то! Людей пекутъ! Вотъ какое ихъ царство! И намъ бы то же досталось.

— Разноси, робятушки; все по рукамъ, ломай до чиста. Все это нечистое—Годуновы осквернили.

— Валяй, братцы! не жалѣй! Новому царю все новое сдѣлаемъ.

И началось разрушеніе... Дворецъ опустошили, все, что можно было изломать, уничтожить, разбить, разнести—изломали, уничтожили, разбили, разнесли...

XVIII.

Въѣздъ Дмитрія въ Москву.

Двадцатаго іюня 1605 года вся Москва собралась встрѣчать своего чудомъ спасеннаго и словно бы изъ могилы вышедшаго царя. Какой яркій день, какое жаркое солнце, какъ жарко горятъ золотыя маковки московскихъ церквей, какъ весело смотрятъ всегда хмурыя кремлевскія стѣны, униженные народомъ, словно пестрыми гирляндами цвѣтовъ! Всюду, куда ни обращается взоръ—живое колыхающееся море головъ человѣческихъ, мало думающихъ, но жадныхъ ко всякаго рода зрѣлищамъ. Колышется море этихъ головъ и по улицамъ, и по площадямъ, колышутся живыя изгороди изъ головъ на стѣнахъ, на заборахъ, въ окнахъ, на крышахъ домовъ, даже по карнизамъ и у самыхъ куполовъ церквей. А возвышенный берегъ Москвы, что къ Серпуховскимъ воротамъ, словно вымощенъ живымъ булыжникомъ—московскими головами.

Скоро, скоро покажется невиданный, негаданный царь. Москва всѣ глаза проглядѣла, выжидая его съ самаго ранняго утра и готовая ждать до глубокой ночи.

Тутъ всѣ наши знакомые—толкаются въ живой толчеѣ: и офеня Ипатушка, суздальскій иконникъ, и толстый купчина съ сережкой въ ухѣ, толковавшій своему сосѣду, глуховатому старику, когда читали на Лобномъ

мѣстѣ анаѹему Гришкѣ Отрепьеву, что орлиное перо—царское перо; и Теренька съ рыжимъ плотникомъ, рассказывавшимъ о событіи въ Угличѣ и нынѣ посрамленномъ; и саженныя плечи изъ Охотнаго рѣда; и ражій дѣтина изъ Обжорнаго рѣда, котораго такъ занимало скифетрo.

Офеня, котораго неустанныя ноги успѣли за это время снести въ Тулу вслѣдъ за выборными отъ Москвы—княземъ Иваномъ Михайловичемъ Воротынскимъ и княземъ Телятевскимъ, отцомъ Оринушки, возившими къ Димитрію повинную грамоту отъ всѣхъ московскихъ людей,—офеня теперь былъ центромъ, около котораго тѣснились любопытствующіе москвичи въ ожиданіи царя.

— Такъ ты, его, Ипатушка, чу, и въ Тулѣ видалъ?—любопытствуетъ купецъ съ серьгой.

— Видалъ, кормилецъ. Бояръ это онъ на глаза къ себѣ пуцалъ, что съ Москвы пріѣхали челомъ бить да повинную принести—Воротынской князь да Телятевской, да Мстиславской, да Шуйскіе. Такъ маленько онъ ихъ ошпарилъ.

— Что ты? Какъ ошпарилъ?

— Да во-какъ. Въ ту пору съ Дону пришелъ атаманъ Смага съ казаками, такъ онъ Смагу-то этого да Корелу атамана, что въ Кромахъ сидѣлъ, допрежъ бояръ къ рукѣ своей допустилъ... А и такъ себѣ—непутящій и народъ, казачьи атаманы-то эти: ни князи они, ни бояра; а вонъ боярамъ-то носъ утерли.

— Ишь ты, вавилонія какая! Почто, значить, Борискѣ служили.

— Вѣрно—вавилонія. Такъ князи-то словно раки печеные стояли. А и самъ-отъ онъ, царевичъ, гораздо доберь. Сказывалъ мнѣ Григорій Отрепьевъ.

— Это Гришка-то рострига?

— Онъ самый. При емъ онъ состоитъ, аки дьякъ, не то жилецъ. Такъ сказывалъ: привезли это къ ему съ Москвы грамотку отъ покойничка, отъ Ѳедора Борисыча, когда онъ еще царемъ былъ. Пишетъ это онъ: благовѣрный-де государь Димитрій Ивановичъ всея Русіи. Прости-де меня, окаяннаго. Не я-де причиненъ въ кровопролитіи россійскомъ, а блаженныя памяти родитель мой, Борисъ Ѳедорычъ: онъ-де на тебя зло мыслилъ, а не я. Я-де уступаю тебѣ честь и мѣсто—ты-де законный царь. А я-де пью чашу смерти—зелье отравное. Богъ-де да благословитъ тебя на царство... Такъ чель это онъ, царевичъ, грамотку-то эту, а слезы у него въ три ручья—такъ и льютъ, такъ и льютъ, что зачѣмъ-де Ѳедоръ Борисычъ живота лишилъ себя—смертное зелье принялъ...

— Что ты, дѣдушка!—вмѣшались саженныя плечи:—Ѳедоръ-отъ не пилъ смертнаго зелья, а его удавили.

— Помилуй Богъ!

— Вѣрно, дѣдушка. Мнѣ это дѣло свѣдомо—самъ стрѣлецъ Якунько сказывалъ. Дѣло было такъ: приходимъ-де мы, свазывать Якунько,—я да еще двое стрѣльцовъ, Осипко да Ортемко, да дворяне Михайло Молча-

новъ да Шерешединовъ,—приходимъ-де, гыть, къ нимъ, Годуновымъ, въ палаты. Старуха-то царица Годуниха и ну-де вопить въ истощный голосъ. Плачетъ-де и дѣвка, дочка Оксинья. А и красавица-де говорить писаная: кровь съ молокомъ да еще и съ сахаромъ. Жалко, гыть, стало ее—дрожить вся сердешная. Мы ее, гыть, тихонько на руки, да словно перышко снесли въ другой покой и отдали мамушкѣ—береги-де голубку чистую. А сами къ нимъ—къ старухѣ да къ сыну. Развели и ихъ. Старухѣ-то петлю на шею—такъ только-де захрипѣла: „Оедюшка“-де да „Оксиньюшка“—на томъ и отошла. Мы, гыть, къ ему, къ молодому. А онъ, гыть, дѣтина дебѣлый, сбитень такой, кулачистый гораздо,—да, гыть, въ зубы! Осипко-то и свались. Ортемка къ ему—онъ и Ортемку въ салазки: и Ортемка тычкомъ. Такъ я, гыть, по-песью—какъ псы медвѣдя берутъ: я его гыть за тайный удъ—да и ну давить. Онъ и посинѣлъ. Тутъ Осипко-то очунялъ маленько, да дубиной его въ темя—такъ и захрипѣлъ боровомъ, вытянулся. Мы гыть, на его петлю—и довавилонили раба Божія. Такъ-ту, дѣдушка, дѣло было. Годуниху съ сыномъ удавили.

— Мати Божая! Владычица! Господи долготерпѣливый! что твои люди-то дѣлають?—ужаснулся офеня, всплеснувъ руками.—Такъ ихъ удавили, баишь?

— Удавили, дѣдушка.

Офеня заплакалъ. Мелкія, частыя слезы такъ и потекли по его посѣдѣлой бородѣ.

— Господи помилуй! Господи помилуй!—шепталъ онъ, утирая слезы.—Охъ, Оксиньюшка, горькая сироточка! охъ, дите безталанное, горемычное!.. Гдѣ-жъ она нонѣ, голубушка?—спросилъ онъ, немного помолчавъ.

— Одни сказываютъ якобы, въ Дѣвичьемъ, другіе—кабы у Мосальскаго, у Рубца князя,—отвѣчалъ купчина съ серьгой, и потомъ прибавилъ:—вотъ ты, Ипатушка другъ, плачешь объ ей, объ сироткѣ Годуновой. Жалостно—что говорить? А я вотъ, другъ, рыдалъ, аки баба кликуша, когда святѣйшій патріархъ Іевъ съ нами прощался. Ужъ и плакалъ же я, скажу тебѣ—боровомъ, кажись, ревѣлъ. Да и вся-то церковь плакала—что Боже мой!—ручьемъ лилась... Какъ узналъ это онъ, святитель, что царь Дмитрій Ивановичъ всея Русіи подлинно живъ, и что онъ, святитель-то, облыжно его, государя, Гришкой ростригой облаялъ, воромъ поносилъ, да анаѳематствовалъ надъ ево головушкой, такъ и говорить: „не быть мнѣ болѣ святителемъ—роspанагѣюсь-де я самъ, своими-де святительскими рученьками сыму съ себя панагѣю Божью“. Ну, другъ, и вошелъ это онъ во храмъ, аки подобаетъ патріарху, облачили ево, чу, во святительскія ризы, аки архіерея... Ладно. Стоимъ мы, смотримъ—что дальше будетъ? А онъ, другъ ты мой, возьми да и сими съ себя панагѣю-то. Мы такъ и ахнули! Снявши-то ее, другъ мой, онъ и кладетъ ее передъ образомъ Владимірской Божьей Матери, да эдакъ ручки-то вздѣвши горѣ, и говорить: „О всепѣтая, говорить, Мати! о, всемилостивѣйшая пречистая Богородица! Эта говорить, панагѣя и святительскій-де санъ возложены на

мя недостойнаго въ твоёмъ храмѣ, у твоего-де честнаго чутотворнаго образа. Возьми же-де ее сама таперь, Матушка, панагѣю-то свою: нонѣ де идетъ на твою православную вѣру вѣра еретича..." И какъ стали это съ ево, другъ мой, послѣ панагѣюшки-то сымать ризы архіерейски, какъ стали разоблачать сердешнаго—такъ вся церковь въ слезы, а бабы—ну, тѣ, вѣдь, водянистѣ насъ—такъ тѣ въ истошный голосъ—руки и ноги въ ево цѣлуютъ да воёмъ воютъ... Ужъ и поплакали же мы—и Боже мой! Откуда только и слеза бралась!

— Купчина правду говоритъ—это точно, что всѣ плакали, инда меня слеза прошибла, словно бы кто рогатиной подъ микитки сунулъ, выступилъ снова ораторъ изъ Охотнаго ряду, съ сажеными плечами, тотъ, что особенно интересовался „скифетромъ“ и судьбой Годуновыхъ и рассказывалъ, какъ стрѣльцы Якунько да Осипко да Ортемко покончили съ ними.— А ты, дядя, слухай, что опосля было (обращался онъ къ офенѣ). Все это не къ добру... Какъ выставили, чу, тѣлеса покойничковъ—Годунихи старой да сынка ейнаго, чтобъ народъ-отъ посмотрѣлъ, такъ я и видалъ ихъ тогда... Страшно таково было глядѣть на нихъ—не видалъ я допрежъ того удушенныхъ. А тамъ возьми да самого-то Бориса вынули изъ могилы, изъ Архангельскаго-то собора: негоже-де самоубивицу лежать съ благовѣрными царями. Ну, вынули. Какъ везли-то его гробъ къ Варсоноѣю, за Неглинную, такъ все время, сказываютъ, на гробъ-то воронъ сидѣлъ и каркалъ. Сгонютъ ево съ гроба-то, а онъ опять сядетъ, да крыльями машетъ, да „каръ-каръ-каръ!“ таково страшно... Не даромъ народъ толкуетъ...

— Что толкують?—съ испугомъ спросилъ купчина.

— Да что живъ онъ...

— Кто, родимый?

— Да онъ—Борисъ. Во мѣсто себя, сказываютъ, онъ велѣлъ похоронить идола—истуканъ такой, весь въ ево, какъ двѣ капли воды. Нѣмцы ему такой дѣлали.

— А гдѣ жъ онъ самъ?

— Знамо—хоронится. Вонъ воронъ-то и каркалъ.

— Что воронъ! Воронъ, знамо — птица, — возражаетъ скептикъ изъ Обжорнаго ряда.

— Птица! Птица птицѣ розъ... Вонъ и курица птица, — горячился ораторъ изъ Охотнаго ряду.

— Аяъ курица не птица!—сострилъ Обжорный рядъ.

Всѣ разсмѣялись. Посрамленный Охотный рядъ вспылилъ.

— Не птица, дурова ты голова! А коли ежели курица пѣтухомъ поетъ?—началъ онъ философствовать.

— Что-жъ, что поетъ? Знамо сдуру, какъ баба.

— Аяъ не сдуру, а къ худу, чу.

— Сказывай! У насъ, въ Обжорномъ, такихъ куръ ѣдятъ.

— Каковы куры...

— Что куры...

— А вотъ что куры!

И Охотный рядъ, чувствуя, что полемическая почва уходитъ изъ-подъ его ногъ, что словъ и логики больше не хватаетъ и что ни куры, ни вороны, ни всякая другая птица его не поддержать въ философскомъ спорѣ, вспомнилъ что у него есть сильнѣйшій аргументъ—кулакъ въ пудовую гирию вѣсомъ,—и влѣпилъ этимъ аргументомъ въ рыло Обжорному ряду.

— Вотъ что куры!

— А вотъ тѣ вороны!—отвѣчалъ тѣмъ же Обжорный рядъ.

И ряды вцѣпились другъ другу въ волосы, благо у каждаго на головѣ былъ ихъ цѣлый боръ дремучій. Насилу водой разлили горячихъ философовъ...

— Ишь куры!..

— То-то вороны!—бормотали они встряхиваясь.

— А какъ пришли это къ ему нѣмцы въ Коломенское — встрѣчать, снова завладѣлъ общимъ вниманіемъ офеня.

— Каки нѣмцы? — приводя въ порядокъ свой дремучій боръ, спросилъ Охотный рядъ.

— А здѣшни, что у Бориса-то служили.

— Это послѣ-то нашей трепки, какъ мы у голандца Гяюса тѣшились.

— Ну?—перебилъ его купчина съ серьгой.

— Ну, такъ вотъ и пришли нѣмцы съ повинной,—продолжалъ Офеня.— Прости насъ, говорятъ, царь и великій князь Димитрій Ивановичъ. всея Русіи, не прогнѣвайся, что мы Борису Годунову служили и супротивъ-де тебя шли. Мы-де шли по закону, по крестному цѣлованью. А какъ нонѣ-де Годуновыхъ не стало, такъ мы тебѣ крестъ цѣлуемъ—ради-де служить и прямить тебѣ.

— То-то... крестъ... это послѣ того, значить, какъ мы нѣмца Гяюса въ медовой бочкѣ кстили,—объяснялъ Охотный рядъ.

— А ты помолчи, парень,—останавливалъ его купчина.

— А ты что?

— Да что? Ты-то что къ ему въ ротъ съ ногами лѣзешь.

Въ толпѣ слышался смѣхъ. Но охотный рядъ не осмѣлился бить купчину, а только огрызнулся:

— Ноги въ ротъ—ишь выдумалъ, бѣсъ... Точно у меня не языкъ, а ноги... Ишь чортъ старый...

— Ну, и пришли нѣмцы, говоришь? Служить-де и прямить хотимъ?—наводилъ купчина офеню на прерванный рассказъ о нѣмцахъ.

— Точно, служить, чу, и прямить хотимъ. А онъ имъ говорить: „Добре, говорить, нѣмцы! Вы вѣрно служили Борису и подъ Кромами не сдались—ушли къ Борису. А теперь-де Бориса нѣтъ, и вы пришли ко мнѣ съ повинной—и за то-де я васъ жалую“. Да опосля того и пытается у старшаго нѣмца: „кто-де у васъ держалъ стягъ подъ Добрыничами“ — Я-де,

говорить, царь-осударь, держалъ стягъ подъ Добрыничами“—это нѣмчинъ-то отвѣчаетъ, да и вышелъ изъ ряду. А Димитрій Ивановичъ всея Русіи положилъ эдакъ ему руку на голову да и говоритъ: „памятенъ-де мнѣ твой стягъ, нѣмецъ. Вы, нѣмцы, мало-мало тогда не пымали меня, да мой конь унесъ. А досталось бѣдному коню, говоритъ, — онъ-де и нонѣ боленъ. А что, говоритъ, нѣмцы, вы тогда убили бы меня, коли-бъ пымали?“—„Это точно что убили-бъ“, говорятъ. А онъ-то смѣется: „у Бога, говоритъ въ книгѣ не то обо мнѣ написано“.

— А что-жъ тамъ написано?—полюбопытствовалъ Охотный рядъ.

— А то, что ты дурень,—отвѣчаетъ Обжорный рядъ.

Трахъ-тарарахъ! Въ зубы! По-московски—и пошла писать.

— Ёдетъ! Ёдетъ!—прошелъ могучій говоръ по толпѣ, и толпа колыхнулась, какъ море, толкнувшись о гранитную гору.

Задвигалось, ходенемъ заходило живое море головъ человѣческихъ — московскихъ головъ, хотъ и расходиться было негдѣ: упади съ неба яблоко—такъ бы и осталось на головахъ или на плечахъ, какъ вонъ тотъ малецъ въ красной рубашенкѣ и съ курчавой, льняной головенкой, пробирающійся по плечамъ толпы къ гиганту тяткѣ — къ саженымъ плечамъ изъ Охотнаго ряда.

— Тятка... тятка! — лепечетъ ребенокъ, которому хотя всего два года, но размѣрами онъ уже напоминаетъ гиганта тятку и приводитъ въ изумленіе всю Москву: у какой-де такой бабищи москвичи могъ найтись такой животище, чтобы выносить въ немъ и родить такого теленка! Тятка-тятка!

— Иди, иди! — у! подлецъ! — отвѣчаетъ нѣжный родитель.

Заколыхались человѣческими головами и кремлевскія стѣны, и ограды церковныя, и заборы, и крыши, и карнизы съ куполами на церквахъ—заколыхались, заходили, словно бы они могли сами ходить и колыхаться. Ишь заколыхалось все... земля ходитъ, братцы, стѣны у Кремля ворохаются... ишь сила какая!—удивляется кто-то.

Словно хвостатое и крылатое чудовище двигается по Зарѣчью, отливая на солнцѣ всѣми цвѣтами и красками какія только есть на землѣ. Впереди идутъ польскія роты. На оружіи и латахъ и шлемахъ бѣшенно играетъ солнце, московское солнце, словно удивляясь своему собственному блеску. Да и вычищено же это польское оружіе, эти латы—вѣдь, впереди сколько ему предстояло работы, этому оружію, сколько оно должно было иззубряться, кровью позапачкаться, слезами проржавѣть! Чисто оно теперь—не работало еще. И колючія копы блестятъ, остріями обращенныя къ небу—послѣ онѣ обратятся къ землѣ, къ людямъ, въ груди и сердца московскія. Польскіе трубачи и барабанщики бьютъ палками въ барабаны и въ трубы трубятъ такъ радостно, возбуждительно, что и рубить и любить хочется... Тутъ панъ Борша съ молодецки закрученными усами, тутъ и панъ Неборскій въ блестящихъ „вѣлькихъ бутахъ“, шитыхъ въ самомъ Краковѣ, тутъ и панъ Бялоскурскій, съ дорогою карабелею при боку —

сколько изящества и граціи среди московской мѣшковатости, въ виду московскаго зипуна и кики! А какая рыцарская величавость у пана Непомука, рассказывавшаго о двухъ заенцахъ! Сколько благородной гордости въ осанкѣ пана Кубло, котораго мы видѣли въ Краковѣ въ женскихъ ко-тахъ! Охъ, ты, милая, показная Польша! А вонъ за польскими ротами мѣшковато, грузно, аляповато, но стойко колотятъ московскую землю огромными сапожищами угрюмые московскіе стрѣльцы въ длиннополыхъ, словно дьячковскія полукафтаны, но красныхъ зипунахъ. Широкія бороды, широкія плечи, широкіе затылки — нескладно кроены, да крѣпко сшиты: такъ и видно, что топоромъ, а не рѣзцомъ работала надъ ними матушка природа, и только подъ топоромъ эти воловьіе шеи и подадутся. За стрѣльцами медленно двигаются царскія каптаны-колымаги, везомыя каждая шестернею отборныхъ коней, воспитанныхъ на царскихъ „кобыличьихъ конюшняхъ“: это не кареты, а какіе-то ковчеги, изукрашенные золотомъ, изнаваѣшанные золотными покроями. Отъ Рюрика всѣ князья и цари російскіе могли бы помѣститься въ этихъ ковчеггахъ... А сколько дворянъ на коняхъ, боярскихъ дѣтей, блистающихъ своими азіатскаго пошиба и цвѣта кафтанами съ шитыми золотомъ ожерельями, на которыхъ, словно на ризѣ Иверской Богоматери, золото, камни и жемчугъ очи слѣпятъ, нервы раздражаютъ... А эта московская музыка — накры и бубны: захлебываются — и гудутъ и визжатъ до того неистово-торжественно, что не у московскаго человѣка, а у нѣмца, особенно галанскаго, голова закружится можетъ... А за музыкантами опять московскіе воинскіе люди — тѣ исторически безсмертные воинскіе люди, которыхъ сама же Россія трепетала: „какъ бы-де воинскіе люди не пришли и дурна какого не учинили“. И они приходили, и всегда чинили дурно... А за воинскими людьми развѣваются въ воздухѣ церковныя хоругви, на шитьѣ и украшеніи которыхъ сосредоточено было столько хорошенькихъ глазокъ, столько благочестивыхъ помысловъ и воздыханій. А вслѣдъ за хоругвями и подъ ихъ сѣнію, аки подъ крылами ангеловъ, шествуетъ освященный соборъ — іереи, протоіереи, архіереи, архіепископы, митрополиты и весь святительскій сонмъ, блистающій лѣнотою брадъ честныхъ, нестригомыхъ, убѣленныхъ сѣдиною и черныхъ, русыхъ и рыжихъ и рудожелтыхъ, сіяющихъ златомъ и каменіемъ ризъ своихъ, аки красотою душевною и тѣлесною. Святые отцы шествуютъ съ священными иконами или евангеліями въ рукахъ и съ сердцами горѣ возносящимися. А по-конецъ всего сонма шествуютъ богатые иконы Спасителя, Богородицы и московскихъ чудотворцевъ, усыпанные крупнымъ, словно слезы людскія, жемчугомъ и окованные золотомъ и унизанные каменіемъ многоцѣннымъ, его же цѣну ты вѣси, Господи. За иконами шествуетъ, какъ нѣчто живое и видящее, святительскій посохъ — жезлъ Аарона, несомый посошниками: онъ шествуетъ отдѣльно отъ святителя, какъ ангелъ, ведшій іудеевъ въ землю обѣтованную... За посохомъ — самъ святитель, первопрестольникъ церквей всея Руси.

— Вотъ онъ! вотъ онъ, кормилецъ-поилецъ нашъ батюшка! — о — го —

го!—о!—о!—застонало море головъ человѣческихъ, простонала Москва горластая, плечистая, голосистая.

Это она увидала спасеннаго, нежданнаго, негаданнаго, точно свыше посланнаго царя.

— Ой, матушки! ой, голубушки! охъ! молодешенекъ-то какой! Соколикъ! ой, матыньки! ой!—завыли бабы въ-голосъ, въ-причитанье.—Солнышко ты наше ясное! звѣзда незакатная! о-о-о!

А онъ—на такомъ конѣ, какого еще не видывала русская земля... Раздобылъ гдѣ-то, выкопалъ изъ-подъ земли дядя народный, Богданъ Бѣльскій... Ужъ и конь же! Ушами ткани прядеть, ногами разговоры говорить, глазами кавыль-траву сушить, ржетъ до неба—ужъ и конь невиданный, ужъ и сбруя на немъ—и самъ чортъ не разберетъ, какъ она изукрашена, чѣмъ она изнавѣшена. На самомъ на царѣ—золотный кафтанъ: ожерелье на немъ—въ тысячи, а всему кафтану и цѣны нѣтъ.

— Вотъ онъ, батюшка голубчикъ! во-на! Ахъ ты, солнце праведное, взошло ты, ясное, надъ россійскою землею. Свѣти ты надъ нами отнынѣ и довѣку!

А онъ ѣдетъ да на обѣ стороны кланяется—а Москва такъ и стонетъ, такъ и надрывается.

А тутъ вокругъ него, словно боръ золотой съ серебромъ, бояре, князи, окольникове: бородами помаваютъ, золотымъ платьемъ глаза слѣпятъ, грузнымъ тѣломъ коней томятъ.

А это что за черти косматые-волохатые, какихъ Москва еще и не видывала? Косматые шапки на нихъ—съ головъ валятся, верхи на шапкахъ—по плечамъ треплются, макомъ цвѣтутъ. Ужъ и Господи! что у нихъ за посадка молодецкая, что у нихъ за усищи богатырскіе, что подъ ними за кони дьявольскіе! Это любимцы царицы—баловни ея,—казаки донскіе, запорожскіе, волжскіе и яицкіе. Со всей земли какъ пчелы слетѣлись удалцы невиданные... Впереди Корела со Смагою—загорѣлые, запыленные, словно въ аду побывали. Подальше—Куцько въ широчайшихъ штанищахъ, съ чубомъ въ дѣвичью косу, съ усами поларшинными: глядя на него, московскія бабы сквозъ землю проваливаются, груди надрываютъ—ахаютъ. А онъ только усомъ помаргиваетъ, веселыми глазами помигиваетъ. Тутъ же и курчавый Треня: онъ и не чувствуетъ, какъ крупныя слезы черезъ усы на шитое сѣдло капаютъ, на московскую землю скатываются.

Димитрій поднялъ голову—передъ нимъ словно выросъ Кремль во всемъ его своеобразномъ величїи. Вздогнулъ невольно пришлецъ—снялъ шапку, и дрожащія губы его проговорили, какъ-то выкрикнули:

— Господи Боже! благодарю тебя! Ты сохранилъ мнѣ жизнь и сподобилъ узрѣти градъ отцовъ моихъ и мой народъ возлюбленный!

И у него, какъ у Трени курчаваго, по щекамъ текли слезы умиленія.

И Москва не выдержала—зарыдала!—зарыдало море людское... О! бѣдные люди!

А колокола-то ревутъ-стонутъ, Господи! Да отъ такого рева оглохнуть можно, съ ума сойти слабонервному.

Димитрій на Красной площади, у Лобнаго мѣста, съ котораго еще такъ недавно оглашали всенародно его проклятіе: „анаѣема! анаѣема! анаѣема!“ А теперь людское море стонетъ: „Многая лѣта! многая!“—Бѣдные, глупые люди!

Димитрій въ Кремлѣ — въ Архангельскомъ соборѣ у гробовъ своихъ прародителей, великихъ князей и царей московскихъ... Онъ припадаетъ къ гробу Грознаго... Трепетъ охватываетъ всѣхъ при одномъ воспоминаніи сухощавой, изможденной страстями фигуры, съ лицомъ безумно-бѣшеннаго, въ костюмѣ юродиваго...

— Батюшка! батюшка! ты покинулъ меня на изгнаніе и гоненіе... но ты же и спасъ меня твоими отеческими молитвами.

И слезы его льются на гробъ Грознаго. Какъ не пошевелинулись кости этого страшнаго царя, когда на его гробъ капали слезы, можетъ быть, какого-нибудь проходимца, сочиненнаго Богданомъ Бѣльскимъ и вымуштрованнаго іезуитами? Нѣтъ, не пошевелинулись.

А Богданъ Бѣльскій стоитъ блѣдный, растерянный, съ безумно обращенными на гробъ Грознаго глазами. Ухъ-ухъ! что это? ему кажется, что гробъ Грознаго шевелится... шевелится... земля ходитъ...

Бѣльскій ухватился за что-то руками и въ ужасѣ закрылъ глаза...
— Святъ-святъ-святъ, Господь Саваоѣ!

XIX.

Заговоръ Шуйскаго.

Но не вся Москва ликовала, встрѣчая новоявленнаго царя. Не ликовала Ксенія Годунова, томясь въ своемъ мрачномъ одиночествѣ и слясь отогнать отъ себя свѣтлыя воспоминанія дѣтства, которыя вызывали теперь въ ней ѣдкія страданія, и милые образы своего отрочества, когда передъ ея стыдливymi дѣвическими глазами явился дацкой прынецъ Яганушка—платице на немъ атласъ алъ, шляпочка пуховая съ кружевцомъ, чулочки шолкъ алъ, башмачки сафьянъ синь... А эти страшные образы, которые она вызвать не смѣетъ въ своей памяти, потому что образы эти—посинѣвшій трупъ дорогаго отца, улавленная мать, обезображенное смертью лицо брата любимаго... Это — и прошедшее, и настоящее. А что въ будущемъ? Боже мой! лучше и не заглядывать въ эту мрачную бездну.

Не ликуетъ и Оринушка Телятевская... Молніей пробѣжало по ея молодому небу—по душѣ ея молодое счастье и этой же молніей расщепало ея надежды, ея сердце, всю ея душу. Все сожгла эта молнія: — и ея счастье—ѹедю царевича, и ихъ первый поцѣлуй, и тотъ чертежъ россійскаго государства, надъ которымъ они „нечаянно“ поцѣловались въ первый разъ... Нѣтъ, правда, чертежъ этотъ не сожгла молнія: онъ и до сихъ

поръ здѣсь, въ Петербургѣ; но Оринушкѣ легче ли было оттого, что черезъ двѣсти-триста лѣтъ ученые будутъ разсматривать чертежъ Ѳеи, какъ рѣдкость?

Не ликуютъ... да, много, много такихъ, которымъ не до ликованья. Вѣдь, несчастная земля такъ устроена, что какъ не свѣти на нее яркое солнце, все же оно будетъ освѣщать только часть земной поверхности, и чѣмъ ярче освѣщается та часть земли, которая обращена къ солнцу, тѣмъ мрачнѣе тѣнь на противоположной сторонѣ.

Когда Димитрій въѣхалъ въ Москву, одинъ человекъ особенно сильно почувствовалъ, что онъ очутился въ тѣни. Это былъ Шуйскій, князь Василій. Чего-жъ ему не доставало? Одного не доставало—счастья. Этотъ вельможа, у котораго всего было вдоволь—и могущества, и богатства, и и славы, и родни, и друзей—искреннихъ и не искреннихъ, этотъ счастливецъ не былъ счастливъ. На что ему было все то, чѣмъ онъ обладалъ, когда онъ—не любилъ! Проживъ болѣе пятидесяти лѣтъ, Шуйскій не зналъ, что такое любовь... Такъ—не пришлось, не выдалось это шальное, слѣпое счастье, а жизнь-то уплыла... Холодно стало, любить некого, когда во время не любилося, а теперь и дѣтей нѣтъ, которыхъ люди обыкновенно начинаютъ любить насчетъ своего личнаго счастья уже тогда, когда собственное счастье уже немножко молью тронуто, когда въ сердцѣ заводится червоточина, а на памяти образуется нѣчто въ родѣ маленькаго, а иногда и большаго кладбища съ дорогими покойниками... Такія кладбища съ свѣжими могилами оказались въ памяти и въ сердцѣ Ксеніи Годуновой и Оринушки Телятевской: у той—Ягавушка прынецъ дацкой въ платицѣ атласъ алъ, а рядомъ съ нимъ батюшка и матушка да братецъ родимый, у этой—Ѳея царевичъ да чертежъ!.. А у Шуйскаго—ничего: ни кладбища этого, ни дѣтей, ни любви.

Сидитъ Шуйскій въ своихъ роскошно, по-старинному, немножко, по-азіатски, во вкусѣ золотоордынскомъ убранныхъ палатахъ—и не весело ему. Тихо въ палатахъ, беззвучно, безжизненно, только съ улицы доносятся отзвуки жизни—ночные возгласы ликующей Москвы, веселые, а иногда и бранные пьяные крики, да иногда прорѣзываетъ ночной воздухъ одинъ ненавистный звукъ, въ которомъ слышится ненавистное для слуха Шуйскаго имя—„Димитрій! Димитрій!“

Шуйскій закрываетъ глаза, и чѣмъ плотнѣе онъ закрываетъ ихъ, тѣмъ назойливѣе лѣзутъ въ очи и развертываются досадливыя картины всей его, досадливо, неудачливо сложившейся и прожитой жизни. Вся эта жизнь, вся эта безконечная лента пути, разстилающаяся позади его, всѣ эти образы прошлаго, ѣдкіе, рѣжущіе, и ни одного свѣтлаго теплаго,—все это одна нескончаемая вереница неудавшихся стремленій жгучаго сердца и жгучаго мозга. Вездѣ удача, вездѣ успѣхъ, вездѣ бѣшеное счастье—и въ суммѣ жизни громадная неудача, страшная пустота и отсутствіе любви, отсутствіе чувства удовлетворенности, примиренія.

— „Димитрій! Димитрій!“—доносятся дикіе возгласы. И чему радуются

— Слава Богу, слава Богу, сподобились мы опять прирожденного царя найти. Авось, наша вѣра православная окрѣпнетъ, а то шатать ея что-то учили.

— Дай-то Богъ.

— Дай Богъ, дай Богъ. Ну, а какъ онъ — царь-то нашъ новый — истово ли крестится?—спросилъ Шуйскій, снова командировавъ свои умные глаза зачѣмъ-то къ образамъ.—Я, признаться, въ хлопотахъ-то и не успѣлъ замѣтить. Не отучился ли онъ, чего Боже храни, тамъ, въ литовской землѣ?

Купчина не сразу отвѣчалъ. Онъ припоминалъ что-то.

— Какъ тебѣ сказать, батюшка князь, — мудреное это, великое это дѣло перстное сложеніе. На перстномъ-то сложеніи, на перстѣ единомъ, я такъ мекаю, весь міръ стоитъ.

— Истинно такъ, истинно—на перстѣ единомъ,—поддакивалъ Шуйскій.

— Я такъ мекаю, батюшка князь, — продолжалъ купчина, видимо, любившій резонерствовать:—я такъ мекаю: коли на перстѣ міръ стоитъ—вотъ примѣромъ такъ (и онъ поставилъ прямо свой толстый, какъ огурецъ, большой палецъ правой руки), и коли ты перстъ-отъ этотъ повернешь не такъ, какъ указано, не истово повернешь,—ну, и міръ опрокинется, аки ендова. Такъ я говорю, батюшка-князь?

— Такъ, такъ. Такое умное слово хоть бы святителю такъ въ пору,—льстилъ Шуйскій.

— Ну, топерича, примѣромъ, онъ царь—я такъ мекаю,—разглагольствовалъ купчина:—у ево, у царя, примѣромъ, на перстѣ ендова. А ендова-то, батюшка-князь, кто?—вдругъ озадачилъ купчина Шуйскаго.

Но Шуйскаго не легко было озадачить. Онъ только спряталъ свои смѣющіеся глаза гдѣ-то подъ лавкой, и отвѣчалъ:

— Ендова—знамо міръ. Ты-жъ самъ сказалъ.

— Такъ, батюшка князь. Ендова—это росейская земля. Обороти онъ, царь-ту, перстъ-отъ свой книзу—что станетъ съ ендовой?

— Вѣстимо что—опрокинется.

— Опрокинется, батюшка-князь, опрокинется—прольется!

Купчина даже привскочилъ. Шуйскій изобразилъ ужасъ на лицѣ.

— И все это отъ единого перста, отъ перстнаго сложенія неистоваго, — продолжалъ купчина, радуясь, что пугаетъ Шуйскаго своимъ краснорѣчіемъ.—Не даромъ сказано—перстъ Божій.

— Вѣрно, вѣрно. Ну, а какъ же ты замѣтилъ — новый нашъ царь истово крестится?—сворачивалъ Шуйскій на суть дѣла,

— Охъ, батюшка-князь! Страшно и молвить. Волосы у меня дыбомъ встали, какъ увидѣлъ я, что хоть онъ и истово слагаетъ персты, да все мизинецъ-то у него не такъ смотритъ, не истово. Инда въ ознобъ меня бросило, какъ увидалъ я это. Мизинецъ, мизинецъ не такъ. Такъ вотъ я и думаю: охъ, батюшки, опрокинется ендова, пропадетъ земля росейская.

— Какъ же ты, Ѳеодоръ, думаешь?

— Да думаю, батюшка-князь, что онъ не истинный царевичъ Димитрій. Не такъ слагаетъ персты—не нажить бы намъ съ нимъ бѣды.

— И я такъ думаю,—загадочно сказалъ Шуйскій.—Обошелъ онъ насъ всѣхъ обманомъ, и горе московскому государству!

— Охъ, Господи! что-жъ съ нами будетъ?

— Не вѣдаю... Богу единому вѣдомо.

Шуйскій по обыкновенію не досказывалъ своей мысли: онъ всегда только закидывалъ удочку, и когда рыба клевала, онъ тогда и дергалъ удочку—и рыба не срывалась. Купчина окончательно опѣшилъ и только бормоталъ: „персть... мизинецъ... ендова... російское государство“... Самъ же сочинилъ ужасы, и самъ ихъ пугался.

— Нѣмцы, поди, и гостинный дворъ у насъ отберутъ?—тутъ же наталивался онъ на практическіе вопросы.

— Да,—утверждалъ его въ этой мысли лукавый собесѣдникъ.—Онъ ужъ и нонѣ съ иноземцами пѣвки-лавочки: безъ нихъ за столомъ и ложки не возьметъ... Когда онъ взошелъ въ Архангельскій соборъ, туда-жъ за нимъ вошли и псы бритые—попы латинскіе. Соборъ, значить, ужъ оскверненъ...

— Охъ, Господи! Да что-жъ это такое?

— А за псами бритыми вошли и нѣмцы въ храмъ Божій, и поляки, и литва, и угры. Святыни наши поруганы. А дальше еще того хуже будетъ: онъ разорить церкви православныя, и во мѣсто ихъ поставитъ латинскіе костелы и ропаты—и будутъ у насъ попы бритые,—продолжалъ Шуйскій все въ томъ же духѣ, видя, какое впечатлѣніе производятъ его слова.—Одного наипаче боюсь я.

— Чего батюшка-князь?—съ испугомъ спросилъ купчина.

— Вотъ чего, Ѳеодоръ. Слушай. Коли онъ проклятъ соборомъ и анаеема съ него не снята, да коли такой проклятой человѣкъ занялъ мѣсто помазанника, такъ анаеема-то переходитъ съ него на всю російскую землю. Вотъ что страшно.

Купчина испуганно перекрестился. Ему чудилось, что анаеема въ видѣ какого-то чудовища уже подходитъ къ нему, беретъ его за плечи, шепчетъ ему въ уши: „я анаеема—я за тобой пришла, за дѣтьми твоими, за твоими товарами, за твоею казною, за душою твоею“.

— Помилуй Гоеподи!—крестился онъ.—Научи же насъ, князь-батюшка, что намъ дѣлать? какъ избыть бѣды—гнѣва Божія? Я на все пойду. Всю Москву подниму на ноги. Москва знаетъ Ѳедора Конева: онъ крестился всегда истово, строилъ храмы Божіи, нищимъ не отказывалъ. Ѳедора Конева Москва послушаетъ.

— Коли такъ, Ѳеодоръ, то Богъ пособитъ тебѣ въ твоемъ великомъ дѣлѣ для спасенія святой православной вѣры. Только подобаетъ дѣло сіе творити съ великою тайною, дабы не провѣдалъ о томъ врагъ земли русской. И надо сіе дѣло совершать непомедля, а то я боюсь, какъ бы дьяволъ не осилилъ насъ...

— А что, батюшка-князь? Говори—не тай.

— Надо бы все покончить до вѣнчанія его на царство.

— Надо, надо. Ахъ ты, Господи! Вотъ не чаяли бѣды. Завтра же поговорю съ добрыми людьми, и мы тебѣ, батюшка князь, доложимся.

— Хорошо. Можетъ съ божьею помощію наше дѣло и выгорить...

Нѣтъ, не выгорѣло!

Прошло всего только четыре дня послѣ этого ночного совѣщанія у Шуйскаго. Утро 25-го іюня. Красная площадь запружена народомъ. Вотъ послалъ Богъ Москвѣ зрѣлище за зрѣлищемъ! Не успѣли встрѣтить диковиннаго царя, какъ опять есть на что поглазѣть. На площади стоитъ новенькая, съ иголки, плаха—„плаха бѣлодубовая“, высокая, красивая и прочная... Далеко можно на этой кобылкѣ уѣхать,—такъ далеко, что и вымолвить страшно. Шутка ли—на тотъ свѣтъ можно доскакать на этой кобылкѣ ровно во мгновеніе ока. Свиснулъ на кобылку, свиснулъ топоръ палача—и человѣкъ на томъ свѣтѣ, а на этомъ остается только голова да туловище: голова сама по себѣ, а туловище само по себѣ.

Кто-жъ это собрался скакать на тотъ свѣтъ? Кому надоѣло жить на этомъ?—Княжичку Васютѣ Шуйскому опостылѣла жизнь—не онъ ли собрался уѣзжать?

Да, онъ... „Идетъ! идетъ!“ прошелъ говоръ по толпѣ, такой же говоръ, какъ тотъ, который прошелъ по морю головъ человѣческихъ пять дней тому назадъ, когда въ Москву въѣзжалъ таинственный Димитрій; только тогда слышалось—„ѣдетъ! ѣдетъ!—а теперь: „идетъ! идетъ!“

И дѣйствительно идетъ князь Василій Ивановичъ Шуйскій, бывшій бѣлокуренькій Васюта княжичъ, Васюта недотрога. А теперь скоро топоръ дотронется до этой гордой шеи. Но это не тотъ уже осторожный, уклончивый Шуйскій съ лукавыми глазами. Этотъ идетъ прямо, гордо, словно царь. И глаза у него не тѣ: эти смотрятъ прямо, открыто, стойко и безстрашно—и въ лицо глазѣющей толпы, и въ лицо смерти. Его сопровождаетъ Басмановъ, не глядя своими татарскими глазами на толпу. А плаха такъ и блеститъ на солнцѣ. И еще что-то тамъ блеститъ. Шуйскій глянулъ на это нѣчто блестящее—это былъ громадный топоръ, воткнутый въ плаху. „Престолъ“, мелькнуло въ умѣ Шуйскаго.

Стрѣльцы плотно сомкнулись, оцѣпивъ Шуйскаго, палача и исполнителей приговора.

— „Сей великій бояринъ,—читаетъ знакомый уже намъ дьякъ съ орлинымъ перомъ за ухомъ,—князь Василій Ивановичъ Шуйскій измѣняетъ мнѣ, великому государю царю и великому князю Димитрію Ивановичу всеа Русіи, разсѣваетъ про меня недобрыя рѣчи, остужаетъ меня со всѣми вами, съ бояры и князи и дворяны и дѣти боярскіе и гостями и со всѣми людьми великаго россійскаго государства, называя меня не Димитріемъ, а Гришкою Отрепьевымъ. И за то онъ, князь Василій, довелся смертной казни“...

Тихо, мертво въ толпѣ. Только женскія груди тяжело дышуть—вздыхаютъ.

Шуйскій самъ подходитъ къ плахѣ, не спуская глазъ съ топора—такъ много въ немъ обаятельнаго! Потомъ крестится, кланяется на всѣ четыре стороны, на Кремль и на Замоскворѣчье, и громко возглашаетъ.

— Простите православные! Умираю за вѣру и за правду.

Женщины—давно простили. Мужчины—не всѣ.

Шуйскій еще ближе подходитъ къ плахѣ — и разомъ вспоминается ему Машенька Скуратова. „Неказистый да умный... умный да неказистый“...

Подходитъ палачъ и срываетъ съ плечъ его дорогой кафтанъ. Хочетъ снять и рубашку, чтобы толпа увидала голое княжое тѣло—не такое вѣдь оно, какъ смердь. Да и какъ не снять рубаху? Воротъ у нея такой богатый, весь въ жемчугъ залитъ—цѣлую пригоршню жемчугу можно содрать съ ворота. Но Шуйскій не даетъ рубахи палачу.

— Не трошь ее. Въ ней я хочу Богу душу отдать.

— Ничего, бояринъ,—душа безъ портовъ ходитъ.

Вдругъ кто то скачетъ изъ Спасскихъ воротъ изъ Кремля.

— Вѣстовой! вѣстовой!—проносится говоръ—то говоръ радости съ одной стороны, то говоръ разочарованія—съ другой. Какъ же? Обидно—не видать зрѣлища, какъ голова скатится на помость, очень обидно!

— Милость, милость прислалъ великій государь!—кричитъ вѣстовой.

Толпа заколыхалась. Палачъ съ сожалѣньемъ посмотрѣлъ на дорогую рубаху прощенного князя. Рука Шуйскаго машинально поднялась къ головѣ, какъ-бы ощупывая—тутъ ли она.

— Тутъ... на плечахъ... безъ шапки... будетъ и въ золотой шапкѣ съ крестомъ,—пробормоталъ онъ. А потомъ, обратясь къ палачу, сказалъ:—Такъ душа безъ портовъ ходитъ? Приходи же ко мнѣ, добрый человекъ, — я отдамъ тебѣ эту рубаху.

XX.

Заглазное обрученіе Димитрія съ Мариною.

Мы снова на югѣ—въ Польшѣ, въ Краковѣ. Надоѣла эта Москва съ ея казнями, удавленіями, плахами, палачами. Хочется отдохнуть, освѣжиться отъ этихъ тяжелыхъ историческихъ воспоминаній и картинъ, томящихъ душу, и перенестись въ область иныхъ воспоминаній, подышать другимъ историческимъ воздухомъ, не пропитаннымъ смрадомъ разлагающейся крови и историческихъ труповъ, которые приходится романисту выкапывать изъ могилъ и снова бросать въ могилы... Довольно труповъ! Воскресимъ ихъ въ нашей памяти живыми, съ живою, горячею кровью въ жилахъ и въ сердцахъ... Посмотримъ на нихъ, забудемъся вмѣстѣ съ ними, забудемъ, что и мы, воспоминающіе о нихъ, также перейдемъ въ область труповъ, только объ насъ никто и не вспомнитъ... Вспомнимъ же хоть мы о нихъ.

Въ Краковѣ, въ пышномъ палацѣ Фирлея готовится торжественный

обрядъ обрученія царя и великаго князя Дмитрія Ивановича всея Руссиі съ Мариною Мнишекъ, дочерью сендомирскаго воеводы Юрія... Не забылъ Дмитрій, бѣдный проходимецъ, невѣдомый калика переходжій, а нынѣ царь московскій,—не забылъ гнѣзда горлинки съ осиротѣлыми птенцами, которыхъ Марина кормила рисовой кашкой. Не забыла и Марина ни этого гнѣзда съ птичками, ни не разгаданныхъ глазъ проходимца, который теперь высоко, очень высоко свилъ свое орлиное гнѣздо и хочетъ взять въ это гнѣздо ее, Марину, чистую горлинку, можетъ быть затѣмъ, чтобы расклевать ея сердце, а пухъ пустить по снѣжному полю московскому. А грезы дѣтства? а корона на черной головкѣ? а невѣдомые народы и цари, преклоняющіеся предъ этой черной головкой и благословляющіе ее? Холодно, холодно на душѣ при одномъ воспоминаніи о Москвѣ.

Въ обручальномъ покоѣ палада Фирлея, на королевскомъ мѣстѣ, сидитъ король Сигизмундъ въ своей парадной шапкѣ. Такъ принято—и шапка на головѣ, и королевская надутость на лицѣ, и не человѣческая, королевская поза... Около него королевичъ Владиславъ, еще не успѣвшій утратить человѣческій образъ, и сестра короля, тоже мѣтившая замужъ за московскаго проходимца.

Нѣсколько въ сторонѣ стоитъ кардиналъ Бернардь Мацѣевскій, а съ нимъ два прелата въ богатѣйшемъ церковномъ облаченіи. За нимъ—толпа другихъ церковниковъ въ блестящихъ мишурнымъ золотомъ и серебромъ стихаряхъ. Свѣтло, парадно, торжественно! Внушительныя минуты, внушительное ожиданіе: эти минуты, можетъ быть, сдѣлаютъ то, что все московское царство съ его богатствами и неисчислимыми табунами москалей схизматиковъ можно будетъ къ рукамъ прибрать во славу католической церкви и золотой вольности польской.—Такая мысль написана на этихъ лицахъ, свѣтится въ очахъ.

Вдругъ въ дверяхъ показалась московская фигура. Кто это? Да это тотъ подъячій, который, еще при Борисѣ, оглашалъ съ Лобнаго мѣста анаѹему Гришкѣ Отрепьеву, который потомъ читалъ смертный приговоръ Шуйскому—подъячій или дьякъ съ орлинымъ перомъ за ухомъ: это—знаменитый дьякъ Аѹонасій Власьевъ, дѣлецъ стараго закала, въ родѣ дьяка Алмаза Иванова, который могъ какое угодно дѣло запутать такъ, что его на семи вселенскихъ соборахъ не распутать, и всякую дьявольскую путаницу распутать, одинъ изъ тѣхъ дьяковъ-дипломатовъ, политическое—московское упрямство которыхъ пушкой прошибить нельзя было. Объ этомъ дьякѣ Власьевѣ рассказывали слѣдующее. Еще при Грозномъ, Власьеву, бывшему тогда не въ важныхъ придворныхъ должностяхъ выпало на долю одно изъ самыхъ щекотливыхъ тогда дипломатическихъ порученій—встрѣтить какого-то иноземнаго посла. Тутъ вся трудность дипломатіи заключалась въ томъ, чтобъ своимъ поведеніемъ не умалить величія своего царя. Для этого, когда встрѣчаютъ посла хоть бы зимой, въ пути, въ саняхъ, то достоинство государей требовало, чтобъ и пріѣзжій посолъ, и встрѣчающій его бояринъ или дьякъ вышли изъ саней, и ступили ногами

на землю оба въ одинъ и тотъ же моментъ—ни тотъ ни секундой не раньше, ни этотъ ни секундой не позже. Кто раньше касался земли, тотъ унижалъ величіе своего государя, кто позже—тотъ возвышалъ. Хитрый Власевъ прибѣгнулъ къ такой геніальной дипломатической уверткѣ: когда онъ съѣхался съ иноземнымъ посломъ, съ какимъ-то „честнѣйшаго чину рычардомъ подвязочнымъ“, то-есть „рычаремъ“ — „рычардомъ“ или кавалеромъ ордена подвязки, и когда и этого „рычарда“ и продувного Власева холопи высаживали подъ руки изъ саней въ одинъ и тотъ же моментъ, то „рычардъ“ успѣлъ ногами коснуться земли, а бестія Власовъ на секунду поджалъ ноги и подрыгалъ ими въ воздухъ, желая показать чужому послу, что дипломатическое поле битвы осталось за нимъ и онъ возвысилъ честь своего государя и народа. Вотъ Виконсфильдъ! Этотъ дипломатическій *coup d'état* очень понравился Грозному, и Власевъ пошелъ въ гору.

Такъ вотъ этотъ-то Власевъ вступилъ теперь въ обручательную палату въ сопровожденіи пановъ — воеводы серадзкаго Александра Конецпольскаго и каштеляна гнѣзненскаго пана Пржіемскаго. Онъ представлялъ изъ себя и посла и особу царя Дмитрія, какъ жениха Марины. За нимъ холопи несли шолковый коверъ—подстилку подъ ноги жениху и невѣстѣ.

Власевъ, видя, что король сидитъ въ шпкѣ и важно надувшись, самъ надулся еще пуще, такъ что его московское пузо выпятилось еще больше, чѣмъ королевское, и, такимъ образомъ, возвысивъ величіе своего царя превыше величія королишки Жигимонтишки, произнесъ словно прото-дьяконъ съ амвона:

— „Вожією милостію, мы, великій государь *цесарь* и великій князь Дмитрій Ивановичъ, всеа Русіи самодержецъ, били челомъ и просили благословенія у матери нашей великой государыни, чтобы она дозволила намъ, великому государю, соединиться законнымъ бракомъ, ради потомства нашего цесарскаго рода, и пожелали мы, великій государь, взять себѣ супругою, великою государынею въ нашихъ православныхъ государствахъ, дочь сендомирскаго воеводы Юрія Мнишка, для того—какъ мы находились въ вашихъ государствахъ, и панъ воевода сендомирскій нашему цесарскому величеству оказалъ великія услуги и усердіе и намъ, великому государю, служилъ. И ты бы, король Жигимонтъ, братъ нашъ и сосѣдъ и пріятель, поволилъ бы сендомирскому воеводѣ и его дочери ѣхать къ нашему цесарскому величеству, и для братской любви самъ бы ты, король Жигимонтъ, былъ у нашего цесарскаго величества въ московскомъ государствѣ“.

Высокомѣрная рѣчь Власева, видимо, не понравилась королю; но дѣлать было нечего—пришлось уступить московскому медвѣдю. Да и панна королевна надула губки: ей бы такъ самой хотѣлось быть на мѣстѣ этой дѣвчонки Марыски, которая только тѣмъ и взяла, что у нея кокетливая рожица да хорошенькіе глазки. Вотъ невидаль! А панны королевны видъ величественнѣе, а какая ножка! въ ея башмачокъ входитъ только полъ-

бокала венгржина—а онъ предпочелъ эту дѣвчонку, неотесанный москаль галганъ.

Въ тотъ же моментъ въ дверяхъ показалась „эта дѣвчонка“. Точно птица бѣлая—именно бѣлою, чистою горлинкою вступала она въ это сановитое и родовитое собраніе, такая нѣжная, маленькая, прелестная и съ движеніями невиннаго ребенка, съ глазами потупленными, съ наклоненною головкою... Власьевъ такъ и ахнулъ и прикипѣлъ на мѣстѣ... Это входилъ бѣсъ, восхитительнѣйшій бѣсенокъ, которому можно прозакладывать жизнь, царства цѣлыя, душу свою... Да, это птица бѣлая—въ бѣломъ алтабасовомъ платьѣ, обрызганномъ жемчугами и брильянтами. На восхитительной головкѣ—неоцѣнимая коронка, а отъ нея нити золотыя, жемчужныя и брильянтовыя скатываются на волосы, черные какъ вороново крыло, и смѣшиваются съ прядями распущенной, роскошной косы, которую даже трудно было поддерживать, какъ казалось, такой изящной головкѣ и такой нѣжной шейкѣ... Панна королева поблѣднѣла даже, духъ у нея захватило при видѣ этой прелестнѣйшей птички—никогда она не казалась такъ хороша, какъ въ этотъ роковой моментъ.

Дѣвчонка взглянула на Власьева—такъ и осыпала старика рублями и жаромъ! Нѣтъ, это не бѣсъ — это ангелъ чистый, это дитя непорочное. Рядомъ съ нею стала панна королева—это гусыня рядомъ съ чистой голубицей. Король сталъ рядомъ съ кардиналомъ, и оба дулись—вздулся снова и Власьевъ ради чести великаго государя всея Русіи. Паны, составлявшіе ассистенцію, помѣстились по бокамъ. Тутъ же былъ и отецъ Марины: на полномъ лоснящемся лицѣ его всѣми литерами было написано: какова моя цурка! вѣдь только у такого отца, какъ я, и можетъ быть такая восхитительная дочушка.

Какъ бы отвѣчая на эту мысль, Власьевъ обратился къ нему съ краткой рѣчью и просилъ благословить дочь въ супруги великому государю московскому. Воевода нѣжно благословилъ свою цуречку, у которой отъ волненія задрожали губки какъ у ребенка, собирающагося плакать... „Татупю“, прошептала она тоскливо, какъ-бы предчувствуя, что ее ожидаетъ въ снѣжной сторонѣ. Къ счастью, ничего не предчувствовала бѣдная дѣвочка. Только маленькій алтарный служитель, хорошенькій мальчикъ въ длинныхъ ризочкахъ, дергая за полу своего учителя, пана пробоща, шепталъ испуганно:

— Ахъ, панъ пробощъ, это не панна Марина.

— А кто же, негодиве хлопчишко?

— То святая Цецилія. У нея лучи вокругъ головки.

Панъ пробощъ ущипнулъ его за ухо и ничего не сказалъ. Мальчикъ былъ правъ—головка Марины дѣйствительно искрилась лучами отъ брильянтовъ, и панъ пробощъ въ глубинѣ души чувствовалъ, что самъ онъ усерднѣе бы молился на эту Цецилію, чѣмъ на нарисованную.

Послѣ Власьева говорилъ панъ канцлеръ, Левъ Сапѣга — Цицеронъ своего вѣка и своего народа. Послѣ него—панъ Лицскій, воевода ленчинскій. За нимъ—кардиналъ.

— Царь Дмитрій,—говорилъ онъ съ закидываньемъ въ Москву іезуитской удочки,—признательный за благодѣянія, оказанныя ему въ Польшѣ королемъ и націею, обращается нынѣ къ его милости королю съ своими честными пожеланіями и намѣреніями, и черезъ тебя посла своего, проситъ руки вольной шляхтянки, дочери сенатора знатнаго происхожденія...

Кардиналъ при этомъ украдкой взглянулъ на панну королевну, которая сдержала невольный вздохъ и потупилась.

— Хотя выборъ царя,—продолжалъ ловкій іезуитъ:—и желалъ бы, можетъ быть, направиться въ болѣе высокія сферы.

Панъ воевода сендомирскій при этихъ словахъ такъ звякнулъ своей караблей и такъ „закренцилъ вонца“, что кардиналъ поперхнулся, а панна королевна вспыхнула. Марина стояла блѣдная.

— Ахъ, панъ пробощъ, какая она хорошенькая, какъ святая,—снова прошепталъ мальчикъ.

— Молчи, паскуденокъ,—я самъ вижу! (И снова щипокъ за ухо).

— Но царь желаетъ показать свою благодарность пану воеводѣ и расположеніе къ польской націи,—наладился кардиналъ.—Въ нашемъ королевствѣ люди вольные. Не новость панамъ, князьямъ, королямъ, монархамъ, а равно и королямъ польскимъ искать себѣ женъ въ домахъ вольныхъ шляхетскихъ. Теперь такое благословеніе осѣнило Дмитрія, великаго князя всей Русіи.

— Царя и великаго князя, — неожиданно поправилъ его Власьевъ, такъ что кардиналъ снова поперхнулся.

— И васъ,—продолжалъ кардиналъ!—подданныхъ его царскаго величества, ибо онъ заключаетъ союзъ съ королемъ государемъ нашимъ и дружбу съ королевствомъ нашимъ и вольными чинами.

— Veni Creator! — торжественно запѣли церковный гимнъ, и всѣ стали на колѣни, кромѣ Власьева и панны королевны.

„Veni Creator“ зазвучало въ сердцѣ Марины, и двѣ крупныя жемчужины выкатились изъ ея глазъ.

— Ахъ, панъ пробощъ, она плачетъ...

И мальчикъ самъ заплакалъ, хотя уже и не получилъ щипка за свой возгласъ.

При пѣніи гимна кардиналъ приблизился къ Маринѣ... „Veni Creator... Veni Creator“, колотилось у нея въ ушахъ и сердце. „Да пришелъ онъ... пришелъ... охъ, страшно“.

— Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое и забуди домъ отца твоего,—торжественно говоритъ кардиналъ.

— „Охъ, слышу и вижу я“,—шепчетъ Марина не устами, а сердцемъ:—„вижу... но не забуду домъ татки моего, никогда не забуду мое золотое дѣтство. Тато, тато. Урсулечка моя... Дольцю бѣдненькій“.

„Дольцю...“ Это онъ стоитъ въ отдаленіи блѣдный, блѣдный, это князь Корецкій, другъ ея дѣтства, который мечталъ вмѣстѣ съ маленькой Мариной открыть новую Америку и посадить свою Марыню на американскій

престолъ. Но увы — Америки новой не нашлось. „Бѣдный, бѣдный Дольцю!“

Потомъ кардиналъ, слѣдуя обряду обрученія, обратился къ Власьеву и спросилъ:

— Не давалъ ли царь обѣщанія другой невѣстѣ, прежде?

— Я почему знаю! онъ мнѣ этого не говорилъ, — обрубилъ простодушный москаль.

Всѣ разсмѣялись. Даже Марина улыбнулась и взглянула на чудака: чудакъ опять почувствовалъ, что изъ глазъ панночки посыпались рубли... „Охъ, рублемъ подарила... тысячу рублей“, думалось старому дипломату.

— Ахъ, панъ пробощъ, она улыбнулась — прошепталъ мальчикъ въ бѣленькой ризѣ и опять получилъ щипокъ.

Паны ассистенты объяснили русскому медвѣдю, что панъ кардиналъ спрашиваетъ по формѣ, по обряду — не обѣщалъ ли царь кому другому.

— Коли-бъ кому обѣщалъ, такъ бы меня сюда не прислалъ! — отрѣзалъ медвѣдь, и опять всѣхъ развеселилъ своимъ простодушіемъ.

Тогда кардиналъ, обращаясь къ нему, сказалъ:

— Говори за мною, посолъ! — и началъ говорить по-латыни.

Власьевъ повторялъ за нимъ, и съ такою удивительною правильностью, съ такимъ знаніемъ латинскаго языка, что паны рты разинули отъ изумленія.

— А! пшекленты москаль! только притворяется простачкомъ, а языкъ Гораціуша прекрасно знаетъ, — шептали они, поглядывая на продувного москаля.

А москаль, показавъ, что онъ отлично знаетъ латинскій языкъ, остановилъ кардинала и сказалъ:

— Паняѣ Маринѣ имѣю говорить я, а не ваша милость.

Потомъ чистымъ латинскимъ языкомъ проговорилъ Маринѣ обѣщаніе отъ имени царя.

Затѣмъ кардиналъ потребовалъ обыкновеннаго обмѣна колецъ. Власьевъ, вынувъ изъ коробочки перстень съ огромнѣйшимъ алмазомъ, величною въ крупную вишню, подалъ кардиналу. Алмазъ молніей блеснулъ въ очи пановъ. У панны королевны даже рѣсницы дрогнули при видѣ такого чудовища, а маленькій церковникъ только могъ пропищать:

— Ахъ, панъ пробощъ! глазамъ больно...

Кардиналъ надѣлъ чудовище-перстень на пальчикъ Марины.

— Ахъ, панъ пробощъ, какой пальчикъ!

Когда кардиналъ, снявъ съ пальчика Марины ея перстенецъ, хотѣлъ было надѣть его на толстый, обрубковатый палецъ Власьева, этотъ послѣдній съ ужасомъ отдернулъ свою руку, словно отъ раскаленнаго жельза. Этимъ продувной москаль хотѣлъ тонко дать замѣтить панамъ, что его царь — такое высочайшее лицо, что до перстня его невѣсты онъ не смѣетъ дотронуться голой рукой, а не то, что позволить надѣть его на свою грубую, холопскую лапищу. Напротивъ, онъ, взявъ перстень Марины черезъ платокъ, какъ что-то ядовитое для него, жгучее, и бережно спря-

талъ въ другую коробочку. Точно также Власьевъ протестовалъ, когда кардиналъ хотѣлъ, въ силу обряда, связывать руку Марины съ рукою посла: онъ потребовалъ, чтобы ему подали особый платокъ, и только тогда, когда плотно обмоталъ имъ свою руку, осмѣлился слегка дотронуться до руки царской невѣсты. Да и что это была за ручка! Власьеву казалось, что она тотчасъ же, словно сахарная, растаетъ въ его горячей и потной ручищѣ.

Обрядъ обрученія кончился, и собраніе двинулось въ столовую залу къ обѣду. За московскимъ посломъ сорокъ царскихъ слугъ-дворянъ несли чуть-ли не сорокъ-сороковъ подарковъ отъ царя невѣстѣ и ея отцу. Что за подарки! Какое богатство золота и драгоценностей! — и все это ради вонъ того милаго, грустнаго личика дѣвушки, которую видимо тяготила эта показная обрядность и которой сердце, какъ неосторожно тронутая стрѣлка компаса, трепетно билось между нордомъ и зюстомъ, не зная, на чемъ остановиться... Но сѣверъ, суровый, непривѣтливый, тянулъ могучѣе юга, мягкаго, податливаго... Паны и пани ахаютъ надъ подарками, а она глянетъ на какую-нибудь рѣдкость, чудовищную драгоценность, для нея предназначенную, глянетъ мелькомъ, зарумянится, потупитъ глаза и перенесетъ ихъ то на своего татка, то на Урсулу, то на Власьева, котораго отъ этихъ добрыхъ дѣтскихъ взглядовъ постоянно въ жаръ бросало... „Ужъ и буркалы-жъ какія! не даромъ завоевали московское царство буркалы эти дѣвичьи...“

Пріемъ подарковъ кончился. Собраніе — за обѣденными столами. На первомъ мѣстѣ — король; вправо отъ него — Марина; влѣво — панна королевна и королевичъ Владиславъ. Напротивъ — кардиналъ и папскій нунцій.

Власьевъ — рядомъ съ Мариной. Но какого стоило труда посадить его рядомъ! Онъ шелъ къ своему почетному мѣсту словно на висѣлицу. Онъ упирался какъ волъ.

— Не пристало холопусидѣть рядомъ съ царской невѣстой, — твердилъ онъ.

Но его усадили-таки. И зато какой трепетъ изображалъ онъ на своемъ плутоватомъ лицѣ, показывая, что боится, какъ бы ненарокомъ не прикоснуться своею холопскою одеждою къ одеждѣ будущей царицы. Въ продолженіе безконечнаго обѣда онъ не прикоснулся ни къ одному блюду.

— Что значитъ, что господинъ посолъ ничего не кушаетъ? — спросилъ король чрезъ пана Войну.

— Не годится холопу ѣсть съ государями, — отвѣчалъ лукавый старикъ.

И Марина во весь обѣдъ ничего не кушала. Великая миссія ея уже начиналась: она уже страдала, не испробовавъ счастья. Она прощалась съ дѣтствомъ своимъ. Она становилась въ фокусѣ великаго, народнаго, государственнаго дѣла, и не могла не видѣть, что на нее уже обращены взоры половины вселенной... Охъ, страшно у горна кузницы, въ которой куется счастье и несчастье милліоновъ человѣческихъ жизней!.. „Мамо! мамо!“ молится она своимъ дѣтскимъ сердцемъ къ матери; но матери нѣтъ у нея — она давно въ могилѣ.

А тутъ еще приходится танцовать послѣ обѣда—съ королемъ, съ королевичемъ. Пиръ небывалый! Историческій полякъ собрался историческаго москаля „ошукаць...“ И „ошукаль“ бы, если бы не...

Эхъ, Польша, старая Польша! какъ хорошо жилось въ тебѣ, какъ весело проходился жизненный путь подъ звуки мазура, подъ звяканье бокаловъ стараго венгржина! Но прошло это время, какъ все проходитъ на этомъ свѣтѣ.

— Марина,—говорить старый воевода, взявъ свою милую цуречку за руки:—иди сюда, пади къ ногамъ его величества короля, государя нашего милостиваго, твоего благодѣтеля, и благодари его за великія благодѣянія.

Гордый король встаетъ при этихъ словахъ. Эта дѣвчонка, стоящая передъ нимъ съ смущенною потупленною головкой, въ нѣсколько минутъ выросла—доросла до царскаго величія.

Но дѣвчонка все-еще чувствуетъ себя дѣвчонкой и падаетъ на колѣни, словно бы это была классная комната, а король—пани Тарлова, ея бабушка и учительница, а дѣвчонка не приготовила урока.

Король, наклонившись, поднялъ съ полу дѣвчонку, и снявъ передъ ней шапку, чего не дѣлалъ даже передъ царскимъ посломъ, сказалъ торжественно:

— Поздравляю тебя, Марина. То, чего ты удостоилась, дано тебѣ Богомъ для того, чтобы ты своего супруга, чудесно тебѣ отъ Бога дарованнаго, приводила къ сосѣдской любви и постоянной дружбѣ съ нами, для блага нашего королевства, ибо, если тамошніе люди прежде сохраняли согласіе и сосѣдственное дружество съ коронными землями, то тѣмъ болѣе теперь долженъ укрѣпиться союзъ пріязни и добраго сосѣдства. Не забывай, что ты воспитана въ королевствѣ польскомъ; здѣсь получила ты отъ Бога свое настоящее достоинство; здѣсь твои милые родители, твои кровные и друзья; сохраняй же миръ между обоими государствами и веди своего супруга къ тому, чтобы онъ дружелюбіемъ и взаимнымъ доброжелательствомъ вознаградилъ отечество твоего родителя за то расположеніе, какое испыталъ здѣсь. Слушайся приказаній и наставленій своихъ родителей, уважай ихъ, помни о Богѣ, живи въ страхѣ Божіемъ, и будетъ Божіе благословеніе надъ тобою и надъ твоимъ потомствомъ, если Богъ тебѣ даруетъ его, чего мы тебѣ желаемъ. Люби польскіе обычаи и старайся о сохраненіи дружелюбія и пріязни съ народомъ польскимъ.

Король перекрестилъ трепещущую дѣвчонку, которая снова, точно ребенокъ, упала къ ногамъ Сигизмунда. Она рыдала, захлебываясь слезами.

Даже суровый Власевъ не выдержалъ—у него на глазахъ показались слезы.

— Ишь бѣднаго ребенка раскивилили... Статочное ли дѣло говорить экому младенцу про великія государскія дѣла... Еще занеможетъ бѣдное дите, а съ меня взыщется,—бормоталъ онъ себѣ подъ носъ.

XXI.

Димитрій у Ксеніи и Ксенія у Димитрія.

Да, удивительная, непостижимая личность этотъ царь-бродяга, царь-проходимецъ, царь „непомнящій родства!..“ При всей своей кипучей дѣятельности, которой хватило бы на десять человѣкъ, при всемъ разнообразіи развлеченій и удовольствій, на которыя также хватало и силъ, и времени у этого изумительнаго человѣка, у этого „бѣса“, какимъ онъ послѣ показался москвичамъ—удовольствій, которымъ онъ, какъ и работамъ государственнымъ, отдавался со всѣмъ пыломъ молодости и со всею страстностью своей огненной, если можно такъ выразиться—тропической, африканской натуры, хотя его рыжеватость отрицала, кажется, въ его крови всякій намекъ на африканизмъ происхожденія,—при всемъ этомъ непостижимое существо, носившее имя Димитрія, сильно скучало по своей возлюбленной, по Маринушкѣ Мнишковой. Это была первая любовь—первая любовь демона.

А между тѣмъ и послѣ обрученія Марина не ѣхала къ своему коронованному жениху-проходимцу. Старый Мнишекъ отчасти потому медлилъ пріѣздомъ въ Москву, что выжидалъ, насколько крѣпко усядется на тронѣ удивительный женишокъ его красавицы Марыни, а отчасти для того, чтобы побольше выдоить у него денегъ. А онъ доилъ его безсовѣстно! онъ обиралъ и Власьева, который сыпалъ батюшкѣ своей будущей царицы золото просто лопатами, словно просо; онъ обиралъ и московскихъ купцовъ, заѣзжавшихъ въ Польшу, набирая у нихъ всякихъ дорогихъ товаровъ на сотни тысячъ, и въ то же время жаловался будущему зятю-царю, что онъ разорился на пиры для своей Марыни, для поддержанія гонору тестя царя-московскаго.

Съ другой стороны, хитрый воевода, желая еще дольше подоить московскую коровенку, послалъ Димитрію такую шпильку, которая попала въ самое сердце тому, кому предназначалась. Мнишекъ сообщалъ Димитрію въ одномъ письмѣ, что до него дошли невѣроятные слухи о томъ, якобы дочь Бориса Годунова, красавица Ксенія, „слишкомъ близка къ нему...“ Старая лиса, специально поставлявшая своему королю любовницъ, вродѣ Барбары Гижанки, ходокъ насчетъ женскаго естества и профессоръ амурныхъ дѣлъ, Мнишекъ хорошо зналъ, съ этой спеціальной стороны, сердце человѣческое, не зная его совершенно съ другой,—и ударомъ по столу заставилъ ножницы отозваться...

Дѣйствительно, старый воевода былъ правъ: между Димитріемъ и Ксеніею, какъ въ то время выражались русскіе люди, „доброе совершилось...“ Какъ оно „совершилось“—сами Димитрій и Ксенія не могли бы сказать; но оно совершилось...

Въ первые дни по вступленіи на престолъ, Димитрій, посѣщая московскіе соборы и монастыри, отпраздновалъ молиться и въ Новодѣвичій.

Послѣ службы онъ спросилъ настоятельницу—въ церкви ли находится Ксенія.

— Она моя племянница,—сказалъ онъ.—Хотя отецъ ея, Борисъ, и учинился измѣнникомъ мнѣ, великому государю, и за то погибъ лютою смертію, токмо дочь его въ томъ неповинна. Я хочу видѣть царевну Аксинью. Здѣсь она?

— Нѣтъ, царь-государь,—отвѣчала игуменья, низко кланяясь.

— Какъ нѣтъ? Мнѣ доложили, якобы она въ Новодѣвичьемъ.

— Точно, государь,—она въ нашей обители, но въ храмъ ея нонѣ не было.

— Чего для?

— Немоощствуетъ она, великій государь.

Дѣйствительно, Ксенія на этотъ разъ не было въ церкви. Узнавъ, что въ монастырь ожидаютъ царя, она сказала,сь больной и осталась въ своей кельѣ.

— Я хочу видѣть ее,—сказалъ Дмитрій.—У нея никого не осталось окромѣ меня—она сиротка.

Игуменья тотчасъ же послала сказать Ксеніи, что къ ней идетъ царь... Вышедъ изъ церкви, Дмитрій прямо направился въ келью сиротки, къ которой провела его сама настоятельница.

Онъ вошелъ въ келью одинъ, потому что никто не осмѣлился слѣдовать за нимъ безъ особаго приказанія. Первое, что онъ увидѣлъ — это мѣдное распятіе на черномъ аналоѣ и стоящую передъ нимъ на колѣняхъ женщину, всю въ чорномъ. Видна была только часть бѣлой молочнаго цвѣта шеи и большущая черная коса, двумя трубами ниспадавшая до земли... Дмитрію почему-то почудилось, что онъ видитъ затылокъ Марины, наклонившейся надъ гнѣздомъ горлинки...

Услышавъ шаги, Ксенія быстро поднялась съ колѣнъ и обернулась... Передъ глазами Дмитрія на мгновенье блеснуло что-то бѣлое, необычайно бѣлое, и нѣжное, сверкнули какія-то искры—и странно! темныя искры, словно изъ темнаго огня... и тотчасъ все исчезло... Дѣвушка упала ницъ передъ царемъ, передъ страшнымъ мстителемъ, отнявшимъ у нея отца, мать, брата, счастье.

— Здравствуй, царевна-племянница!—сказалъ Дмитрій ласково.— Я пришелъ повидать тебя.

Голова дѣвушки лежала на полу и тихо билась о камень.

— Встань, царевна.

Въ отвѣтъ—ни звука, только плечи вздрагиваютъ. Дмитрій нагибается и осторожно беретъ дѣвушку за плечи.

— Встань, бѣдная сиротка. Встань, Аксиньюшка,—говоритъ онъ еще ласковѣе.—Я не царь тебѣ—я дядя твой.

Отъ полу поднялось скорбное, заплаканное лицо дѣвушки. Она стояла на колѣняхъ, сжавъ руки, какъ передъ образомъ. Современный хронографъ, описывая необыкновенную красоту Ксеніи, прибавляетъ, что она особенно

блистала этою ангельскою красотою, когда плакала... Дмитрія поразила эта красота... Странно! ему опять почудилось, что передъ нимъ Марива, но только больше теплоты и дѣтскости видѣлось на этомъ прекрасномъ, полномъ личикѣ, въ этихъ большихъ, робкихъ, младенчески чистыхъ глазахъ...

— Господь съ тобой!—сказалъ онъ какимъ-то упавшимъ голосомъ.— Прости меня, не отъ меня твое горе.

Онъ растерялся — первый разъ въ жизни: въ голосѣ его звучала искренность и—трудно повѣрить!—робость—робость въ человѣкѣ, который изъ-подъ забора шагнулъ на престолъ, съ одною клюкою калики переходяго покорилъ царство!

— Аксиныюшка! видитъ Богъ — я не хотѣлъ... то Божій судъ... его воля. Встань, родная!

Онъ нѣжно поднималъ ее съ колѣнъ. Она робко глянула ему въ глаза своими большими дѣтскими глазами и снова заплакала.

— Государь, прости меня... я—я... и она закрыла лицо руками.

Дмитрій чувствовалъ, что и у него слезы подступаютъ къ горлу.

— Нѣтъ, ты меня прости, голубушка, родная моя, Аксиныюшка.

И нѣжно обхвативъ ея голову руками, онъ цѣловалъ ее въ темя, приговаривая: „Дитятко горькое... сиротинушка... дитя Божье, одинокое... нѣтъ, ты не будешь одна—я еще остался у тебя, у горькой, я дядя твой...“

Ксенія почувствовала, какъ на темя ея капаютъ теплыя слезы. Это его слезы! Она снова опустилась на полъ и, поймавъ его руки, припала къ нимъ горячими губами... „Нѣтъ, это не розстрига... это дядя Мнтя... подлинно онъ“, шепталось въ ея добромъ, растопленномъ слезами и лаской молодомъ сердцѣ... А онъ снова поднималъ ее, перекрестилъ, какъ ребенка, еще перекрестилъ, и еще—и тихо поцѣловалъ въ лобъ.

— Государь дядюшка, прости меня, я не знала...—И она опять цѣловала его руки.

— Сядь, родная, успокойся, поговоримъ съ тобой.

И онъ усадилъ ее на широкую лавку, покрытую чернымъ сукномъ, а самъ сѣлъ на деревянномъ, рѣзаномъ изъ цѣльнаго дуба сидѣннѣ, у стола, на которомъ лежала раскрытая, писанная уставомъ книга, а около нея—полуисписанная тетрадка. Тутъ же стояла и большая, потемнѣвшая отъ времени, мѣдная чернилица, на ручкахъ которой были такія же мѣдныя головки съ крылышками.

Дмитрій обратилъ вниманіе на тетрадку.

— Это ты пишешь?—спросилъ онъ, разсматривая писанье.

— Я государь,—отвѣчала дѣвушка, зарумянившись слегка.

— Какая-жъ ты искусница книжная. Уставомъ пишешь. А это противень?—спросилъ онъ, указавъ на раскрытую книгу.

— Противень, государь.

— И какая у тебя заставка вышла важная. Вязъ зѣло мудренаго узору. И киноварь знатная,—говорилъ онъ, любуясь писаньемъ дѣвушки.— Кому это?

— Матушкѣ игуменьѣ, государь.

Димитрій ласково посмотрѣлъ въ добрые глаза дѣвушки и задумался. Ему видимо хотѣлось спросить ее о чемъ-то, но слово не шло изъ горла—тяжелое слово...

— Ты давно здѣсь, другъ мой, Аксиныюшка?—нерѣшительно спросилъ онъ, рассматривая тетрадку.

— Со Предтечина дня, государь.

Нѣтъ, не шло изъ горла то слово... тяжелое слово...

— Тебѣ не слѣдъ здѣсь жить, Аксиныюшка, ты не черница. Не радостна жизнь чернецкая.

Ксенія молчала. Какая же у нея могла быть другая жизнь? Что у нея осталось? Дорогія могилы, но и онѣ заброшены, поруганы. Могила и ее ждетъ—могильная келья монастырская. И въ сердцѣ ея невольно заняла ея же собственная пѣсня:

Ино мнѣ постритчися не хочетъ;
Чернеческаго чина не здержати,
Отворити будетъ темна келья,
На добрыхъ молотцовъ посмотреть...

— Я тебя возьму отсюда во дворъ... твой теремъ тебѣ и остался—въ немъ и будешь жить,—снова сказалъ Димитрій.

— Спасибо, государь... я не знаю... мнѣ...

— Чго, мой другъ? Ты будешь не одна—всѣ твои подружки будутъ съ тобою. Мнѣ сказывали, у тебя въ приближеніи были Арина, князя Телятеевскаго дочка, да Наталья Ростовская княжна Катырева—ихъ и возьми къ себѣ въ сѣнныя.

Ксенія вспомнила свой теремъ, своихъ подружекъ—и горькая пѣсня снова заняла въ сердцѣ:

Ино охте мнѣ молоды горевати,
Какъ мнѣ въ темну келью ступати...

Слезы опять брызнули изъ добрыхъ глазъ—бѣлая грудь ходенемъ заходила.

— Да Господь же съ тобой, родимушка моя! Почто убиваешься? По матушкѣ—по батюшкѣ? Охъ, бѣдная сиротинушка. Да не сироточка ты—я у тебя остался, дѣвынька милая.

И онъ тихо гладилъ ей голову, какъ маленькому ребенку, и, пригнувъ къ себѣ на грудь, нѣжно шепталъ: „Господь надъ тобой... Господь надъ тобой. Я тебя такъ не оставляю, дитятко горькое“.

А она, безсознательно отдавшись этимъ ласкамъ, смутно ощущала внутри себя что-то могучее протестующее, и въ то же время всѣмъ тѣломъ чувствовала такую слабость, такую истому, что точно тѣло это все размякло, осунулось,—и вся она какъ-то навалилась на Димитрія. Она испытывала какое-то смѣшанное ощущеніе: то ей чувствовалось, что это она на груди у матери, у брата Ѳеодіа, то нѣтъ—что-то не то, что-то болѣе гомительное и ослабляющее... не то сонъ клонить, голова сама валится

съ плечъ, кружится... сердце не то остановилось, не то замерло, захлебнулось... это отъ слабости, отъ головокруженія. „Дядюшка... дядя“... шепчуть губы.

— Родная моя, голубушка.

— Слава государю нашему Дмитрей Иванычу—слава!

— Матушкѣ его благовѣрной государынѣ царицѣ—слава!

Димитрій опомнился. Это москвичи и подмосковники, узнавъ, что царь въ Новодѣвичьемъ, пришли поглазѣть на него и покричать. Къ тому же былъ праздникъ, такъ народу собралось видимо-невидимо. Очнулась и Ксенія: она освободилась изъ объятій своего новоявленного дядюшки — и вся зардѣлась.

— Такъ я отдамъ приказъ, Аксиньюшка, чтобы тебѣ твой теремъ приготовили,—сказалъ онъ, оправившись отъ волненія.

— Спасибо, государь. Только мнѣ негоже въ міръ идти—не пристало.

— Для чего не пристало?

— Я сирота, государь, безродная.

— Не безродная ты, Аксиньюшка: мой родъ—твой родъ.

— Митрей Иванычу слава!—ревѣли голоса. — Многая лѣта государю батюшкѣ!

Димитрій долженъ былъ выйти.

— Прощай, Аксиньюшка, — сказалъ онъ ласково, и, положивъ обѣ руки на полныя, круглыя плечи дѣвушки, поцѣловалъ ее въ лобъ и перекрестилъ. — Будь здрава и помолись обо мнѣ. Готовься въ теремъ свой.

И онъ вышелъ. Ксенія едва могла придти въ себя—такъ все это нечаянно случилось, что она даже не могла понять, что-жъ это такое было? Она ожидала чего-то страшнаго, чего-то такого, что вызывало въ ней ужасъ смерти и самыя мрачныя воспоминанья. Она и пришла въ ужасъ, когда вошло къ ней это ожидаемое, это что-то такое, чего она не могла себѣ представить. И вдругъ — словно заколдованная голосомъ чудовища, она забыла все, растерялась. Это было не то, чего она ожидала — и это срѣзало всю ея молодую волю, которая налажена была на протестъ, на борьбу, на ненависть. Случилось совсѣмъ не то: этотъ ласковый голосъ, эти добрые, участные глаза, эти слезы, ласки — все это потянуло къ себѣ одинокую, истосковавшуюся дѣвушку, для которой міръ сталъ пустыней. Это точно Ѳедя приходилъ—такъ не страшно съ нимъ—онъ родной... то несчастье, страшное несчастье—отъ Бога, отъ его святой воли, а этотъ, что приходилъ, ни при чемъ тутъ—онъ добрый, онъ плакалъ.

А подъ окнами, въ оградѣ монастыря и за оградой—гулъ стоитъ. Это „ему“ кричатъ, „его“ славятъ. И Ксеніи вспоминается ея прошлое. „Такъ и батюшку славилъ—и Ѳеодю—и меня“.

Она упала на колѣни и стала молиться.

Прошло нѣсколько недѣль. Ксенія опять въ Кремлѣ, въ своемъ теремѣ. Это тотъ же теремъ, тѣ же стѣны, тѣ же переходы, но не то кругомъ, что было еще такъ недавно: эти „бравные убрусы“, эти „золоты

ширинки“, эти „яхонты сережки“, о которыхъ она плакалась въ своей пѣснѣ—это все есть, но это не то... Не такъ стало и во дворѣ, въ царскихъ теремахъ, какъ было при батюшкѣ... Когда-то и при батюшкѣ было шумно, весело, но это было давно, когда она была еще маленькою царевною. А въ послѣднее время и при батюшкѣ, и при Ѳедѣ—тихо, суморачно, печально было... А тамъ... о! не дай Богъ и вспомнить! А теперь не то: все новыя лица кругомъ — эти казаки, литовцы, польскіе паны... и рѣчь-то не русская, незнакомая слышится... И шумно какъ — музыка разная, веселости всякія. И на Москвѣ шумно — то скомрохи по городу кричатъ, то домбры и накры гудутъ, волынки воютъ, дѣйства всякія на улицахъ. Ахъ, если-бъ такъ при батюшкѣ съ матушкой было да при Ѳедѣ. А тогда и Яганушка, прынецъ дацкой, живъ еще былъ—платице атласъ алъ, башмачки сафьянъ синь. Что это—лицо Яганушки совсѣмъ запомнилось? Какое оно было? Только и помнится, что бѣленькое, да чулочки шолкъ алъ...

Она была одна въ своемъ теремѣ. Вечерѣло. И Оринушка Телятевская и Наташа Ростовская пошли ко всенощной. Завтра, 24 іюля, память Борису, отцу Ксеніи, такъ и Оринушка и Наташа пошли помолиться, а завтра чтобъ панихиду отслужить по покойномъ Борисѣ. Самой-то Ксеніи горько и обидно выходить изъ терема и показываться въ церкви съ того дня, какъ народъ выволокъ ихъ всѣхъ, Голуновыхъ, изъ дворца и надругался надъ ними.

Душно Она сняла съ себя лишнее одѣяніе и осталась въ одной кружевной сорочкѣ и бѣломъ шолковомъ сарафанѣ. Нѣтъ, все еще душно—головѣ жарко—это отъ косы—тяжела ужъ она невмочь, а особливо, когда туго заплетена. Ксенія и косу расплела—такъ и укрылась вся косою, словно буркою черною. Только и бѣлѣется низъ сарафана да часть сорочки на груди.

Она задумалась. Вспомнилось, какъ торжественно праздновались бывало именины ея батюшки царя. Она положила голову на руки, припала къ окну, къ оконницѣ, да такъ и осталась.

Она не слыхала, какъ кто-то, тихо ступая по коврамъ, вошелъ къ ней и остановился. Это былъ царь. Догадавшись, что Ксенія опять плачетъ, онъ осторожно положилъ ей руку на голову. Дѣвушка востепенулась.

— Ахъ, это ты, государь.

Она растерялась отъ неожиданности и смутилась, что ее застали не въ порядкѣ, съ распущенною косою...

— Ты опять въ слезахъ, — сказалъ Димитрій съ нѣжнымъ укоромъ.

— Прости, государь дядюшка... я... я вспомнила...

— Что ты вспомнила, Аксиныюшка?

— Охъ, прости, государь. Я батюшку вспомнила.

— Что-жъ милая? Родителей и Богъ велитъ помнить и молиться о нихъ.

— Я молилась. Завтра батюшкова память, государь.

— А что завтра, другъ мой?

— Память святыхъ страстотерпцевъ россійскихъ князей Бориса и Глѣба, государь.

— Что-жъ ты одна? Гдѣ твои дѣвушки?

— У всенощнаго бдѣнія, госуларь.

— А ты для чего не пошла?

— Я... я боюсь, государь. Насъ тогда... изъ терема... ругались надъ нами...

Она не могла говорить дальше—слезы задушили ее, и она зарыдала. Димитрій бросился къ ней, схватилъ ее за руки, обнялъ и крѣпко притиснулъ къ себѣ, цѣлуя ея волосы, плечи, руки и безсвязно повторяя:

— Полно... полно, мое солнышко... забудь старое... милая моя, родимая моя! полно же надрываться... Аксиныюшка! золото мое червонное... да полно же, полно свѣтикъ мой...

И онъ цѣловалъ ее, припавъ на колѣни и путаясь головой въ ея волосахъ, снова вставалъ, цѣловалъ ея шею, глаза... А она — точно обомлѣла. Она забыла все, что около нея — гдѣ она, что съ ней дѣлается. И руки упали, и голова валится съ плечъ, и сердце замерло. Ей казалось, какъ будто она сама вся умираетъ въ сладкихъ судорогахъ. Охъ, если-бъ умереть такъ. Что это? Она никогда этого не испытывала. Она не чувствовала, какъ запонка ея сорочки выскочила изъ ворота и упала на полъ, какъ сорочка спустилась съ плечъ, съ груди, и какъ онъ припалъ горячимъ лицомъ къ ея жаркимъ, упругимъ сосцамъ.

— Милая, радость моя...

— Охъ... государь мой... дядюшка... дядя...

И руки ея сами собой распахнулись широко-широко. Она потянулась впередъ и, обхвативъ его голову, такъ и замерла.

— Дядя... Митя... голубчикъ...

Димитрій высвободился изъ ея объятій, блѣдный, дрожащій, растерянно обвелъ комнату глазами и, схвативъ дѣвушку въ охапку, словно маленькаго ребенка, несмотря на массивность и полноту ея тѣла, прижалъ къ себѣ и шатаясь, понесъ ее, самъ не зная куда... Ксенія тихо простонала и обвилась руками вокругъ его шеи...

— А мыши-то идутъ за гробомъ да горько-прегорько плачутъ...

А мышь татарская Оринка
Дудить на волынкѣ,
А мышь изъ Рязани,
Въ синемъ сарафанѣ.
Идучи горько плачетъ,
А сама въ присядку пляшетъ...

Это бормотала дурка Анисюшка, дворская потѣшница, которая была ко всѣмъ вхожа. Войдя въ руководѣльную Ксеніи и не найдя въ ней никого, дурка—она была карлица—затопала по ковру маленькими ножками и снова забормотала: „Ахъ она стрекоза-егоза, дѣвка-чернавка—на смѣхъ мнѣ сказала, что Оксиньюшка въ терему... Анъ ее нѣтути... Погоди ты у меня, коза, походить по тебѣ лоза“...

И она вышла на переходы, бормоча:

У дурки Ониньки
Шуба лисья
Душегрѣя плизья...

Игра въ снѣжки. Горе „свистуну“.

Ужъ больно доберь нашъ царь-отъ,—говорилъ Корела атаманъ, сѣдуча со своимъ товарищемъ, атаманомъ Смагою, и съ донскими казаками за городъ, гдѣ Димитрій велѣлъ устроить снѣжную и ледяную крѣпость, которую, ради упражненія людей въ воинскомъ дѣлѣ, нужно было брать штурмомъ.

— Чего не доберь!—отвѣчалъ Смага, коренастый брюнетъ съ волосою вкружаломъ и съ южнымъ типомъ лица.—А поди себѣ на бѣду.

— Да какъ не на бѣду—уйму не знаютъ эти польскіе стрижи—всѣхъ задирають, никого знать не хотятъ, по церквамъ съ собаками ходять.

— Э! ое що!—вмѣшался Куцько запорожець, отрывая ледяныя сосульки съ своихъ чорныхъ усищъ.—А ото у недилу, такъ вони на улици московокъ ловили та женихались зъ ними. Такъ просто оце за цицьку або тамъ за що друге ухопить московку, та й каже: „мы вамъ-ка царя дали, такъ вы насъ-ка вважайте—давайте все, що у васъ е...“ А московки у слезы. Гай-гай! пиднесуть имъ скоро москали тертого хрину.

— Да и поднесутъ,—замѣтилъ Корела.—Онамедни какой-то панишка Липскій наплевалъ въ бороду торговому человѣку Коневу и вылаялъ его матерно. Такъ московскіе люди, зѣло озартачившись, сцапали этого панишку да и повели по улицамъ, а одинъ паренъ идетъ за имъ, да по московскому-то звичаю-обычаю, кнутомъ его, да кнутомъ и подгоняетъ: „но-но, говоритъ польская лошадка! не брыкайся...“ Да какъ прогоняли этого панишку мимо посольскаго двора, и выскочи оттуда польскіе жолнеры съ саблями—ну, и пошелъ разговоръ: у москалей-то только кулаки да рукавицы, а у жолнеровъ-то—матки шаблюки... Ну, москалей-то и подарапали, а которыхъ и совсѣмъ порѣшили: „Медвѣдей-де на рогатину да шкуру долой. Мы-ста и всю Москву, растакъ да переэдакъ, вверхъ тормашки поставимъ да и всѣхъ-де москалювъ пржеклентныхъ изведемъ начистоту“. Довели это до царя. Царь и говоритъ жолнерамъ: „Выдайте, говоритъ, паны, тѣхъ, которые моихъ москалей избидѣли, а не выдадите, говоритъ, добромъ, такъ велю подвезти пушку да васъ всѣхъ отъ мала до велика, и съ гнѣздомъ-то вашимъ, испепелю“. А поляки, знамо, носы задирають, вонсы закручивають: „Такъ-то де ты, царь, платишь намъ за нашу службу? Мы-де за тебя панскую кровь проливали. Ты-де насъ пушкой не запугаешь: пуцай-де насъ побьютъ, а только-де помни, царь, что у насъ есть король и братья въ Польшѣ... Узнають, такъ не похвалятъ тебя, а мы-де умремъ всѣ храбро. И что-жъ бы вы думали? Еще онъ же и похвалилъ ихъ за храбрость: „молодцы-де, говоритъ, люблю!“ А все-таки велѣлъ выдать зачинщиковъ да и посадилъ ихъ въ башню на корточки на цѣлыя сутки—такъ на корточкахъ и высидѣли, потому,—ежели который повернулся бы, такъ прямо бы на острые шпигорья и напоролся... Ну, а московскіе люди, знамо, сердятся за это на царя: выдалъ-де насъ всѣхъ ляхамъ и съ головою.

— О!—ляхъ—се така птиця, що заразъ очи видовба, тильки їй па-
лець дай,—пояснилъ Куцько.—Пидведуть вони царя.

— Да онъ самъ идетъ въ бѣдѣ, — прибавилъ Корела.—И Богъ его
знаетъ, что за человекъ! Ничего и никого не боится. Теперь простилъ
вотъ этихъ Шуйскихъ, что ему яму копали. У! это такая семейка, эти
Шуйскіе, такое зелье, а особливо старый Васька — землепроходъ: и про-
дасть и купить, и все въ барышахъ останется... Наварятъ они ему каши.

— Да и Годуновыхъ простилъ,—прибавилъ Смага.

— Годуновы что! Этотъ Ванька Годуновъ — дуракъ дуракомъ, хоть
онъ его и сдѣлалъ сибирскимъ воеводой.

— Гай-гай! тутъ не безъ чогось, тутъ дивчиною пахне, — лукаво
замѣтилъ запорожець, у котораго всегда на умѣ было что-нибудь скромное.

— Какою дивчиною?—спросилъ Корела.

— А Годунивна-жъ.

— Это Ксенія-то?

— Та вона-жъ. Дуже, кажутъ, медомъ пахне—такъ москали и ли-
зуть до неї. Онъ и Тренька вашъ: съ самого Дону до неї прилинувъ,
щобъ хочъ окомъ однимъ на те трубокосе диво подивиться.

— Такъ что-жъ царь-то?

— Э! що? И винъ, мабуть, живой чоловікъ—меду хоче.

— Мало у него!

— Овва! якій медъ...

Въ это время впереди ихъ, на пригоркѣ, ясно обозначилось какое-то
бѣлое чудовищное зданіе. Это была построенная, по приказанію Дмитрія,
потѣшная крѣпость: стѣны ея и бойницы сложены были изъ ледяныхъ
глыбъ, и все остальное было изъ льду и снѣгу, политаго водой и замо-
роженнаго въ льдины. Зрѣлище было поразительное. Вся ледяная грома-
дина сверкала брилліантами. Солнце, переломляясь въ ледяныхъ глы-
бахъ и отражаясь отъ снѣжныхъ, замороженныхъ крѣпостныхъ валовъ,
блистало всѣми радужными цвѣтами. Въ амбразурахъ крѣпости поставлены
были какія-то чудовища, которыя изображали собою татарскую силу—
этихъ чудовищъ Дмитрій собирался громить, какъ онъ намѣреъмъ . былъ
разгромить и крымскую орду.

Надъ крѣпостью развѣвалось знамя: на бѣломъ полотнѣ красовался громад-
ный красный полумѣсяцъ, а подъ нимъ — поверженный и сломанный крестъ.

Московскія войска виднѣлись на стѣнахъ крѣпости и за валами. Они
изображали собой татаръ, и они же должны были защищать крѣпость отъ
царя, который командовалъ нѣмецкими ротами, польскими жолнерами,
а равно донскими и запорожскими казаками. Крѣпостью же и ея вой-
сками командовалъ князь Мстиславскій.

Москва, жадная до зрѣлищъ, привалила на это позорище. Тутъ тол-
кались и галдѣли уже знакомыя намъ лица — и изъ Охотнаго ряду вели-
канъ, и дѣтина изъ Обжорнаго ряду, и Теренька, все еще собирающійся
жениться, и рыжій плотникъ пѣвунъ, и офеня...

— А что, Теренька, ужъ, вѣрно, твою свадьбу будемъ справлять разомъ?—задиралъ рыжій плотникъ.

— Съ кѣмъ разомъ-то?

— А съ царемъ. Онъ, чу, женится на полькѣ, такъ и тебѣ польку съ Литвы привезутъ.

— А тебѣ, должно, съ Литвы гашникъ привезутъ. Ишь у тебя въ Угличѣ-то лопнулъ, какъ царевича зарѣзали,—отгрызнулся Теренька.

— А ты мотри-мотри! — показывалъ дѣтина изъ Обжорнаго ряду на чудовищъ, поставленныхъ въ амбразурахъ.—Вотъ дива! Что оно такое есть?

— А бѣсы... Али ты не видишь? Съ хвостами... ишь хвостича-то какіе!

— Съ нами крестная сила!—ахаетъ баба съ горячими аладьями.

Въ это время показался царь. Онъ ѣхалъ на бѣломъ конѣ, въ сопровожденіи Басманова и другихъ начальниковъ.

— Буди здоровъ! слава!—закричали русскіе.

— Гохъ! гохъ! гроссеръ кейзеръ!—вопили нѣмцы.

— Нѣхъ жіе! нѣхъ жіе!—вторили поляки.

— Ишь залаяли по-собачьи, вертоусы проклятые!—вставилъ свое слово Охотный рядъ.—Зудятъ у меня на васъ руки, погодите!

— Что-жъ братцы, это нашихъ собираются бить? — любопытствовалъ Обжорный рядъ.

— Да вѣстимо насъ дураковъ... Кто-жъ насъ не бьетъ?—съ досадою проговорила однорядка.

— Попробуй!

А дѣло похоже было на то, что собирались бить русскихъ: такъ выходило по планамъ осады.

Царь повелъ свои отряды на приступъ. Битва должна была произойти на снѣжкахъ, по московскому обычаю. По первому сигналу на осажденныхъ посыпались тучи снѣжныхъ комьевъ. Но ужъ для кого снѣгъ составляетъ родную стихію, какъ не для русскаго человѣка? На этотъ разъ осаждаемые отвѣтили такими снѣжными митральезами, что осаждающіе попятились назадъ. Многіе нѣмцы попадали. У иныхъ, и у нѣмцевъ, и у поляковъ, носы оказались разбитыми. Въ толпѣ послышался взрывъ хохота.

— Что взяли, вертоусы?—самодовольно замѣтилъ Охотный рядъ.

— Такъ ихъ, поджарыхъ!—подтвердилъ и Обжорный рядъ.

Басмановъ поскакалъ въ крѣпость для какихъ-то переговоровъ: онъ повезъ отъ царя приказаніе—не очень упорно защищаться, чтобъ не вышло въ самомъ дѣлѣ драки. Мстиславскій долженъ былъ повиноваться и укротить воинственный пылъ стрѣльцовъ и другихъ ратныхъ людей.

Снова приступъ—снова тучи комьевъ. Осажденные подались... по приказу.

— Братцы! нашихъ бьютъ!—завопилъ Охотный рядъ.

— Пе давай, робята, нашихъ въ обиду!—оретъ Обжорный рядъ.

— Валяй ихъ, вертоусовъ латинскихъ!

— Нѣмцы, я видѣла, со снѣгомъ камни метали, — вѣшталась баба.

— Бей ихъ, гусыниныхъ дѣтей! — раздаются крики.

И многимъ гусынинымъ сынамъ досталось-таки отъ московскихъ снѣжковъ.

Какъ бы то ни было, крѣпость была взята нѣмцами, поляками и казаками. Такъ было угодно царю. Онъ поступилъ тутъ безтактно, не желая никого обидѣть и, напротивъ, желая сблизить русскій народъ съ иностранцами, онъ всѣ силы употреблялъ, чтобъ выставить напоказъ всѣ лучшія стороны послѣднихъ; но русскіе были обижены этой безтактностью юнаго, пылкаго монарха, какъ онъ невольно обижалъ ихъ и въ другихъ случаяхъ: что для него казалось глупостью, предразсудкомъ, закоснѣлостью, то именно и было дорого москвичамъ.

Шуйскій все это видѣлъ и все взвѣшивалъ на своихъ аптекарскихъ вѣсахъ. Молодой, увлекающійся царь простилъ его, воротилъ изъ Вятки, куда онъ отвезенъ былъ прямо отъ плахи, съ Красной площади, и гдѣ пробылъ всего до октября; мало того, вѣруя въ честность и искренность людей — качества, которыми, къ удивленію, надѣлила природа этого неразгаданнаго человѣка необыкновенно щедро, качества истинно рыцарскія, положительно поражающія въ этомъ таинственномъ, точно съ неба свалившемся существѣ, — вѣруя исключительно въ добрыя начала и великодушно прощая злыя, — Димитрій возвратилъ Шуйскому все свое довѣріе.

И вотъ сидитъ этотъ убѣленный коварствомъ Васюта въ своихъ богатыхъ палатахъ, вечеромъ, послѣ взятія Димитріемъ ледяной крѣпости, и обводитъ своими лукавыми глазами собравшихся у него гостей. Тутъ и братья его Димитрій и Иванъ Шуйскіе, слабые копія своего брата Васюты. Тутъ и Голицынъ князь и Василій Васильевичъ, и Михайло Игнатьевичъ Татищевъ, и князь Куракинъ, и Гермогенъ казанскій. Тутъ и нѣкоторые изъ стрѣльцовъ, сотниковъ и пятидесятниковъ. Торчитъ и почтенная борода купчины Конева съ серьгой въ ухѣ.

— Что, Гриша, у тебя фонарь-отъ подъ глазомъ? Али не свѣтло нонѣ стало въ Москвѣ, что московскіе люди съ фонарями подъ глазами стали ходить, — ехидно обращается Васюта къ сотнику стрѣльцкому, дворянину Григорію Валуеву. — Ишь фонарище какой.

— Да это Литва проклятая, — нехотя отвѣчаетъ Валуевъ.

— Какъ Литва, Гриша — дѣпывается Васюта съ умысломъ, хотя знаетъ, въ чемъ дѣло. — Коли ты напоролся на польскіе вонсы — ишь они у нихъ, словно поросычьи хвосты, винтомъ закручены.

— Это нонѣ, какъ потѣшную крѣпость царь бралъ, такъ одинъ литовецъ угодилъ мнѣ камнемъ замѣсть снѣгу.

— И ты ему вонсы его не выдралъ?

— Царь не велѣлъ.

Такими и подобными шпильками Шуйскій подготовлялъ то, что ему нужно было.

— А ты, Ѳедоръ, почто бороду не сбрилъ послѣ польской харкотины? — шпигуетъ онъ Конева.

— За что брить святой волосъ?—пробурчалъ Коневъ.

— А коли его опоганили?

— Ну, послѣ освятили.

— Какъ освятили?

— Знамо какъ,—водой святой. Вѣдь, коли кошку дохлую, али собаку вкинуть въ колодець да тѣмъ его опоганять, такъ послѣ, вынявши падалъ, снова крестятъ и святятъ колодець. Такъ и бороду мнѣ отецъ Терентій освятилъ и окрошилъ.

— Такъ-то такъ, — продолжалъ Шуйскій:—а вотъ коли въ русскую землю, въ Москву матушку, въ сей кладезь православія набросали падали—кошекъ да псовъ дохлыхъ, папешской да лютеранской ереси, — такъ отъ этой падали ужъ не откропиться намъ—не очистить земли російской. А кто причиною?

— Царь,—угрюмо отвѣчалъ Гермогенъ казанскій.

— Истинно глаголешь, отецъ святой, — поддакивалъ Васюта. — Да, отцы и братія, наводилъ онъ на свое:—попуталъ насъ нечистый за грѣхи наши. Мы вонъ думали, что спасемся отъ Бориса, коли признаемъ царевичемъ разстригу. Онъ-де все-жъ нашъ, православной, знаетъ истовый крестъ и не даетъ въ обиду правой вѣры и обычаевъ нашихъ. Анъ мы обманулись—обошелъ насъ еретикъ. Какой онъ царь? Какое въ немъ достоинство, коли онъ съ шутами-скоморохами да сощѣльщиками тѣшится, самъ аки Иродіада плясавица пляшетъ и хари надѣваетъ? Это не царь, а скоморохъ?

— Ужъ что и говорить, коли хари надѣваетъ,—снова вставилъ богословское замѣчаніе купчина.—За это на томъ свѣтѣ черти надѣнутъ на него огненную желѣзную харю.

— Жупеломъ его ерихонскимъ!—не утерпѣлъ и пятидесятникъ стрѣлецкій.

— Жупеломъ, точно жупеломъ, — подтвердилъ Шуйскій, подлаживаясь подъ стрѣльцовъ.—Онъ не русскій царь, а польскій: больше любитъ иноземцевъ, чѣмъ русскихъ, о церкви Божіей не радѣетъ, позволяетъ еретикамъ некрещенымъ съ собаками въ церковь ходить, не соблюдаетъ постовъ, ходитъ въ иноземномъ платьѣ, обижаетъ духовный чинъ, посягаетъ, аки тать, на достояніе святыхъ монастырей... Вонъ арбатскихъ поповъ выгналъ на улицу, какъ непотребныхъ какихъ, а дома ихъ нѣмцамъ отдалъ. Чѣмъ эта нечисть лучше іереевъ Божіихъ? А ему нелюбы они, потому водится съ латинами проклятыми да съ люторами нехристями, пьетъ-ѣстъ съ ними изъ одной чашки, какъ песъ со свиніей, да еще то-перево и женится на нечести, на еретикѣ—на литовской дѣвкѣ Марішкѣ. Али это не безчестье всѣмъ нашимъ московскимъ дѣвицамъ? Али бы у насъ ему не нашлось изъ честнаго боярскаго дома невѣсты и породистѣе, и тѣломъ дебелѣе, и станомъ потолще, и лицомъ краше этой польской выхуоли? А что будетъ, какъ онъ женится на ней, на еретикѣ! Польскій король Жигимонтишка станетъ помыкать нами аки своими холопами: мы попадемъ въ неволю къ Литвѣ—а вонъ она, проклятая, какъ

вонсы закренила, какими вѣлькими бутами по нашей землѣ стучить— „наша-де будетъ!“ Теперь онъ хочетъ, въ угоду Жигмонту, воевать со свейскою землею, послалъ ужъ въ Новгородъ мосты мостить, да онъ же и крымскихъ татаръ задираетъ и съ турками воевать хочетъ. Такъ онъ насъ въ конецъ разорить. Наша кровь будетъ литься, наша казна ухнетъ— а ему что! Это не его, а наше. Доселѣ онъ въ Кіевѣ милостыней жилъ, подъ заборами спалъ, такъ ему не въ диковинку будетъ и всю Русь спустить. Это проходимецъ, бродяга непомнящій родства, овца безъ стада! А онъ у насъ царь! Срамъ, срамъ, срамъ! Мы скоро станемъ притчею во языцѣхъ... Царя изъ-подъ забора взяли! Да пусть и это не бѣда: изъ Руси матушки хоть жилы вымотай, а она все будетъ жить,—двужилъная... А вотъ вѣра-то святая погибнетъ, церкви въ костелы да въ капища перевернутся; вмѣсто іереевъ въ храмахъ латинскія собаки будутъ выть да скоморохи на сопѣляхъ да на гудкахъ играть станутъ... Вотъ оно гдѣ горе-то великое. Оле, оле, окаяннымъ намъ!

Гермогенъ вскочилъ и застучалъ своимъ посохомъ такъ сильно, что Шуйскій струсилъ: ему почудилось, что это всталъ изъ гроба Грозный и застучалъ своимъ желѣзнымъ посохомъ: „Васютка Шуенинъ! въ синодикъ хочешь!“

— Такъ прикажи, князь,—мы изъ него самого битокъ сдѣлаемъ,— лаконично заявляетъ Валуевъ съ фонаремъ подъ глазомъ.

— И этотъ самый битокъ собакамъ винемъ,—добавляетъ голова стрѣлецкій.

— Ну, московскія православныя собаки еретичьяго-то мяса и фѣсть не станутъ,—поясняетъ купчина.

— Нѣтъ, отцы и братія, это дѣло надо сдѣлать, подумавши и Богу помолившись,—снова начинаетъ Шуйскій.—Мы маленько пообождемъ— пускай колось созрѣетъ на нашей нивѣ, а мы тѣмъ временемъ серпы-то наточимъ да освятимъ ихъ, тогда и жать пойдемъ... Вотъ пущай пріѣдетъ его невеста-еретичка да со всѣмъ своимъ выхухолевымъ гнѣздомъ, съ батюшкой да съ матушкой, да со сродничками-то, пущай они привезутъ съ собой все золото и серебро и узорочье всякое, что имъ нашъ-отъ вѣнчаный бродяга подарилъ, да пущай запой свадебный сдѣлаютъ, да звоны всякіе по Москвѣ распустятъ, да вонсы задерутъ кверху,—такъ тогда мы всю эту польскую выхухоль и накроемъ, да и шкурку съ нея сдеремъ: и ихъ-то порѣшимъ, и казнѣ-то нашей будетъ прибыльнѣе... Вотъ какъ надо дѣлать—на чистоту!

— Ладно, обождемъ,—соглашается стрѣлецкій голова.

— Эхъ, жаль! Руки-то зѣло чешутся на этого польскаго свистуна,— протестуетъ Валуевъ.

А „свистунъ“, ничего не подозревая, въ этотъ самый вечеръ о немъ же хлопочетъ, о Шуйскомъ. Узнавъ отъ него, что онъ потому не женился до пятидесяти четырехъ лѣтъ своей жизни, что дѣвушка, которую онъ любилъ, вышла замужъ за другого, за Бориса именно, а теперь-де за него,

за стараго, никто не пойдет, энтузіастъ-свистунъ провѣдалъ, что у князя Вуйносова-Ростовскаго есть хорошенькая дочка княжна Марьюшка, пріятельница Ксеніи, и тотчасъ же приступилъ къ сватовству.

— Такъ пойдешь за него, княжна Марьюшка?—допытываетъ ее добродушный царь свистунъ.—Князь Василій Шуйскій хорошій человѣкъ. Пойдешь, черноглазая воструха?

— Пойду, государь, коли батюшка съ матушкой благословятъ, да ты укажешь,—отвѣчаетъ, краснѣя какъ макъ, черноглазенькая и курносенькая Машенька Вуйносова.

— Я не указываю, а совѣтую. Онъ хорошій человѣкъ.

А этотъ хорошій человѣкъ ножъ точитъ, да чтобы повострѣй былъ. Эхъ, горемычный царь-бродяга!

XXIII.

Телѣга со стрѣлечнимъ мясомъ.

Надъ Москвою виситъ снѣжное, темное, метельное, вѣтрами позѣывающее ночное небо. Снѣгомъ посыпаетъ это хмурое небо и дома, и церкви, и площади, и улицы съ переулочками. Спитъ Москва; только изрѣдка, словно изъ боязни, потявкаетъ гдѣ-нибудь добросовѣстный пестъ часовой и снова замолчить. Скоро уснулъ и позѣывающій вѣтеръ, которому, казалось, скучно было дуть на сонный городъ, и онъ самъ прикурнулъ. Уснули и часовые, что оберегали дворецъ кремлевскій и тоскливо посматривали на окна терема, въ которыхъ еще блестѣлъ огонекъ.

Это теремъ Ксеніи. Тамъ не спятъ. Молоденькія, свѣженькія личики дѣвушекъ наклонены надъ ветхой харатьей-рукописью, пожелтѣвшей отъ времени, какъ желтѣетъ лицо старости. Какой контрастъ смерти и жизни!—эта ветхая харатья, на которой полууставомъ начертаны безсмертныя слова человѣка давно умершаго, и эти свѣжія, полныя жизни личики, которыя въ мертвой харатѣи искали утѣшенія, отвѣта на ихъ вопросы жизни и смерти.

— Какъ же, голубушка царевна, ты сама прежде сего сказывала, что Даниилъ Заточникъ не похваляетъ монашеской жизни, а теперь что же?—слышится мелодичный голосъ княжны Вуйносовой.

Ксенія молча перелистываетъ рукопись—„Слово Даниила Заточника“.

— Протчи то мѣсто, царевна, гдѣ онъ говоритъ о мертвецѣ на свиніи, о бѣсѣ на бабѣ,—слышится другой голосокъ — Орянушки Телятевской.

Вотъ то мѣсто,—отвѣчаетъ Ксенія, останавливаясь на одной страницѣ. „Или речеши, княже, пострижися въ черны? Не видалъ есмь мертвеца на свиніяхъ ѣздячи, ни чорта на бабѣ, ни ѣдалъ есмь отъ нвіа смоквы. Луче ми есть тако скончати животъ свой, нежели, воспринимши ангельскій образъ, Богу солгати. Лжи бо, рече, мірови, а не Богу: Богу нельзя лгати, ни великимъ играти. Мнози бо, отшедше міра сего, пакы возвращаются, ахъ пси на свои блевотины, на мірское гоненіе, на играніе,

бѣсомъ: бѣси бо ими играютъ, яко обѣшенными птицами. Мнози бо обходятъ села и дома сильныхъ міра сего, яко пси ласкосердіи: идѣ же браци и пирове—ту черицы и черницы“...

— Такъ какъ же, голубушка царевна, ты пойдешь въ монастырь?—настаиваетъ княжна Буйносова.

— Да я и не буду такою черницею, чтобы мною бѣсы играли, яко обѣшенною птицею, — грустно отвѣчаетъ Ксенія. — Я не возвращусь въ міръ—не солгу Богови...

— Какъ же ты сама-то пѣвала, голубушка:

Ино мнѣ постритися не хочетъ,
Чернеческаго чину не здержати.
Отворити будетъ темна келья,
На добрыхъ молотцовъ посмотреть...

Ксенія молчитъ. Только листокъ „Слова“ дрожитъ въ ея рукѣ. Буйносова не выдерживаетъ и обнимаетъ ее молча. Какое-то горе постигло эти молодые существа—вѣроятно, новое горе.

— И я за тобой постригусь, царевна. Чего мнѣ ждать?—говоритъ княжна Телятевская въ грустномъ раздумьѣ.

Такой молодой, прекрасной—чего ждать? Да, вѣдь, и у нея есть прошлое съ его могильнымъ крестомъ. Одея царевичъ... первый поцѣлуй надъ чертежомъ російскаго государства...

— Такъ и я за тобой,—говоритъ и Наташа Катyreва-Ростовская.

— И я,—шепчетъ и Марьюшка, княжна Буйносова-Ростовская, невеста страшнаго Шуйскаго.

— Тебѣ нельзя—ты помолвлена,—возражаетъ Наташа.

Ксенія ихъ не слушаетъ. Она прислушивается къ чему-то другому, ей одной слышимому. Съ самыхъ страстотерпцевъ Бориса и Глѣба стали замѣчать, что съ Ксеніей что-то сдѣлалось, съ самаго кануна этого дня. Когда ея теремныя подружки Наташа, Оринушка и Марьюшка воротились отъ всенощной, онѣ нашли ее какой-то задумчивою, какою-то необычайно... Она цѣловала всѣхъ какъ-то особенно горячо и стыдливо, а потомъ плакала, а потомъ опять обнимала и цѣловала... Всѣ дни послѣ этого она какъ-то расцвѣла вся—что-то новое прибавилось въ ея красотѣ, въ движеніяхъ и особенно въ глазахъ: по временамъ подружки ея видѣли въ этихъ глазахъ что-то новое, имъ незнакомое... Часто она молилась съ какою-то страстностью, плакала... А съ зимы, особенно съ рождественскихъ праздниковъ, стала она что-то задумываться, спадать съ лица... Подружки уже было думали, что она сглажена недобрымъ глазомъ, испорчена... А тамъ стала она поговаривать о монастырѣ, о смерти... Во снѣ иногда она, слышали дѣвушки, шептала, вся разметавшись: „дядя... Митя... голубчикъ мой...“ А иногда тоскливо повторяла: „ѣдетъ она... ѣдетъ еретичка... приворожила Митю... съѣсть она его“...

Слова эти такъ и остались тайною Ксеніи и „дяди Мити“.

Спитъ Москва. Спятъ часовые. Не спятъ только дѣвушки въ теремѣ.

Но вонъ еще кто-то не спитъ. По заднему дворцовому двору, вдоль ограды, тихо пробираются двѣ тѣни. Видно, что ночные посѣтители направляются къ терему, руководимые мерцающимъ въ окнахъ огонькомъ.

— Эчъ, не сплять ще дивчата,—шепчетъ высокая тѣнь своему товарищу, низенькой тѣни.

— Да не спять же—такъ и дурка Онисья сказывала.

— А воно-жъ, Иродово цуцня старе, не зраде?

— Кто?

— Та дурка-жъ—не обмане?

— Нѣтъ—что ты! Не впервой.

— То-то. А'ще Тренька казавъ, що не вкраду трубокосу Оксану.

— Почто не вырасть? За деньги и у чорта хвостъ украду.

— Та ты, бисивъ москаль, не кричи. Сторожа почуе.

— Не почують—дурка ихъ до-пьяна напоила.

— Отъ Иродове цуцня! Яке разумне.

— Только одно опаско...

— Що опаско?

— Да наши слѣды на снѣгу отыщутъ.

— Тютю, дурный! А я-жъ тоби нови чоботы давъ. Хибя ты не бачивъ, що подошвы ихъ задомъ напередъ пидбити: закаблуками, бачъ, идемо впередъ, а носки назадъ. Се мени Харько Цуцикъ таки пошивъ—отъ чоботы!

Они приблизились къ самому терему. Огибая уголъ терема, низенькая тѣнь замыкала кошкой—и вдругъ попятилась назадъ. Изъ-за угла выступило нѣсколько фигуръ человѣческихъ съ завязанными лицами.

— Кто тутъ?

Нѣтъ отвѣта. Вновь пришедшіе нападаютъ на двухъ первыхъ. Слышится звяканье оружія. Кто-то вскрикиваетъ. Въ теремѣ движеніе... огни... кто-то бѣжитъ по переходамъ.

Пафъ! пафъ! раздаются выстрѣлы со стороны часовыхъ. Поднимается шумъ, стукъ оружія—во дворцѣ просыпаются.

Ночныя тѣни и фигуры съ завязанными лицами исчезаютъ въ разные мѣста, какъ привидѣнія. Слышенъ только говоръ дворцовой стражи, команда, крикъ, вопросы, отвѣты. Кого-то ищутъ, кого-то спрашиваютъ, кого-то ловятъ.

— Пымали хоть одного?

— Нѣтъ, проклятые, ушли. Это были бѣсы, а не люди.

Когда при помощи фонарей разсмотрѣли слѣды на снѣгу, то, къ удивленію, нашли, что два слѣда вели не то къ терему, не то отъ терема, и что особенно дивно было, такъ это то, что слѣды эти были какіе-то бѣсовскіе: видно, что слѣдъ къ терему велъ, судя по положенію ступней, а между тѣмъ гдѣ должны были быть каблуки сапогъ—тамъ носки, а пятки впереди.

— Вѣстимо бѣсы,—порѣшилъ одинъ стрѣлецъ.

— Что-ты! У нихъ, у бѣсовъ-то, курины ноги и куриный слѣдъ,—возражалъ другой.

— А ты видалъ нешто?

— Видалъ... Было дѣло...

— Ишь ты! И въ церкви черти съ копытцами писаны. У нихъ, значить, всякія ноги бываютъ. Это и былъ бѣсъ.

— Да, може бѣсъ Фармагей,—сказалъ Басмановъ, поглядывая на теремъ и что-то обдумывая.

Басмановъ, начавшій розыскъ, сразу увидѣлъ, что тутъ затѣвалось что-то двойное: одно, менѣе серьезное, съ участіемъ бѣса Фармагея, охотника до дѣвокъ и до женскаго естества, а другое—очень серьезное, мѣтившее на государственный переворотъ.

Оказалось, что заговоръ былъ на жизнь царя. Быть исполнителемъ замысла взялся Шерефединовъ, мастеръ своего дѣла, тотъ самый, который вмѣстѣ съ Молчановымъ и тремя стрѣльцами свелъ съ трона въ могилу молодого царя Годунова съ матерью. Но тутъ дѣло не выгорѣло: заговорщики, пробравшись во дворецъ, столкнулись тамъ съ другими молодцами, которые охотились на менѣе крупнаго звѣря—на дѣвическую красоту. Запорожецъ Куцько еще на Дону забралъ себѣ въ упрямую хохлатую голову—„або не бути, або трубокосу Оксану царевну добути“. Это былъ своего рода Гамлетъ—Гамлетъ-Куцько, который задался своимъ „быть или не быть“—„або не бути, або дивчину добути“. Сговорившись съ однимъ московскимъ пройдохой, съ Ваською Мышинымъ Царемъ, отчаянная башка котораго способна была на все, Куцько задался безумнымъ планомъ: украсть Ксенію „або соби, або Треньци“, котораго онъ очень полюбилъ. Но и это дѣло не выгорѣло.

— А, бисовы царевны! легче кавуни на чужимъ баштани у день красти, ніжъ оцихъ царевенъ у ночи,—жаловался онъ своему другу Треньци.

Шеферединова искали, но онъ словно въ воду канулъ. Дурка Онисья даже увѣряла княженъ-боярышенъ, что его черти съ квасомъ съѣли.

— Была я въ ту пору, дѣвыньки-княжонушки, на переходахъ, не спалось мнѣ, старой крысѣ, — рассказывала она на другой день въ теремѣ Ксеніи. — Вотъ и смотрю я, дурка Онисья — душегрѣя плисья, на дворъ, смотрю и считаю я снѣжинки, что съ Божьяго-то соболя рукава на землю сыплются. Считаю я, старая крыса — съ маковки лиса, — и насчитала я, дѣвыньки-княжонушки, до тьмы-темъ и до ворона я, дурка, насчитала. Коли и вѣжу идутъ два бѣса: головы рогаты, морды косматы, бороды козлины, буркалы совины, оба хвостаты, а руки когтаты. А ноги у нихъ, дѣвыньки-княжонушки, курины, да только въ сапогахъ, и ноги-то по куриному пятками впередъ, а колѣнками назадъ, и назадъ же сгибаются, аки у зайца. Я такъ и ахнула, старая дурка! Да коли гляжу—идутъ по двору, съ другого конца, аки человѣцы, токмо лицъ не видать... Идутъ къ царской палатѣ. А бѣсы-то какъ побѣгутъ за ними, да двухъ и схватили. ъ унесли. Одинъ-то и былъ, дѣвушки-княжонушки, Ондрейко Шеле-

фединовъ, новокщень изъ тотаръ. Его-то бѣсы съ квасомъ и съѣли, пока пѣтухи не запѣли.

По розыску Басманова открылось, что между стрѣльцами начался уже ропотъ, что были крикуны, которые называли царя разстригой. Семерыхъ такихъ крикуновъ взяли за приставы—и они повинились.

Это было ударомъ для Дмитрія: великое зданіе, которое онъ созидаль, съ самаго основанія начинала уже подтачивать червоточина. Вообще ему становилось подчасъ невыносимо тяжело. Но онъ продолжалъ оставаться неизмѣннымъ—онъ не ожесточался, а становился еще великодушнѣе онъ думаль побѣдить невѣдѣніе и просвѣтитъ человѣческую слѣпоту силою своего духа и тѣмъ свѣточемъ истиннаго счастья, которое онъ надѣялся дать своему народу. Удивительный мечтатель! Въ то же время его сокрушала переменна въ Ксеніи, ея тайная грусть, что-то тоскливое и тревожное въ ея еще недавно свѣтлыхъ, дѣтскихъ глазахъ. А она ему стала дорога, еще дороже послѣ рокового намека стараго Мнишка, что дѣвушка эта „слишкомъ близка къ нему“.

— Что же, государь, укажешь учинить виновнымъ—какую казнь?—спрашиваль Басмановъ насчетъ семерыхъ уличенныхъ въ измѣнѣ стрѣльцовъ.

— Не знаю, Петръ, — отвѣчалъ Дмитрій грустно, глядя на обручальное кольцо Марины, которое Власьевъ недавно прислалъ къ нему. — Хоть бы строку одну, хоть бы одно слово написала... гордая, проклятая полячка!—невольно сорвалось у него съ языка.

Басмановъ не зналъ, что ему дѣлать. Онъ видѣлъ, что царь груститъ, а развлечь его не умѣлъ.

— Укажешь, государь, имъ головы отрубить, или въ срубѣ сжечь, или, вырѣзавъ языки, колесовать и тѣла ихъ на колеса положить? А можетъ повѣсить? разстрѣлять? въ землю зарыть живыми?—допытывался Басмановъ, желая развлечь молодого царя прелестями разныхъ казней. — А, може, собаками затравить, аки волковъ въ овчарнѣ?

— Не знаю, Петръ, — все тѣмъ же усталымъ голосомъ отвѣчалъ странный юноша.

— Что скажетъ о томъ твое государево сердце, царь, то и повели.

— Сердце... да, сердце... У царя не должно быть сердца!—какъ-то страстно сказалъ странный юноша.

— Истинно, государь. Писаніе глаголетъ: сердце царевъ въ руцѣ Божіей,—извернулся Басмановъ.

— Нѣтъ, Петръ. У меня бы не должно быть *совѣсть* сердца. Сердце мое—это великое зло для страны и народа моего. Доброе сердце будетъ миловать и награждать не по дѣламъ и не по заслугамъ. Злое сердце—карать и мучить народъ безъ вины. Я жалѣю о родителѣ моемъ, блаженной памяти царѣ и великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ всеа Русіи... у коего было сердце... У меня вмѣсто сердца должно бы быть всевѣдѣніе: только тогда я былъ бы истинный царь. А всевѣдѣніе—токмо у Бога.

Басманова поразили эти слова. Онъ не нашелся, что отвѣчать: онъ видѣлъ что-то необычайное.

— Я—не Богъ. Я никогда не буду судить моихъ подданныхъ: пусть они сами себя судятъ. Отдай виновныхъ на судъ ихъ товарищей—созови стрѣльцовъ, и я къ нимъ выйду,—сказалъ повелительно непостижимый юноша.

Басмановъ, низко поклонившись, вышелъ. Непостижимый юноша остался одинъ въ грустномъ раздумьѣ.

Онъ сильно топнулъ ногой и всталъ. Глаза его упали на теремъ Ксеніи, „Бѣдная, бѣдная... И ее велятъ мнѣ удалить. Велятъ! мнѣ!.. о, шляхтичъ, попрошайка! Продалъ дочь, да еще и торгуется. Бѣдная Ксенія... Она сама хочетъ въ монастырь—она не та, что была, бѣдная! Она узнала объ этой шляхтянкѣ. Что-жъ мнѣ дѣлать? И ту, проклятую, я люблю—или ненавижу? Да, ненавижу, ненавижу! И для того хочу взглянуть въ ея змѣиныя очи. Бѣдная Ксенюшка—она не такая, голубица кроткая, плачущая“...

Вошелъ Басмановъ. Дмитрій молча взглянулъ на него.

— Стрѣльцы тебя ждутъ на дворѣ, государь,—сказалъ Басмановъ.

Дмитрій вышелъ на крыльцо, гдѣ уже находились Нагіе, Мстиславскій, поляки и нѣмцы алебардчики. Стрѣльцы безъ шапокъ и безоружные наполняли весь дворъ.

Увидавъ царя, стрѣльцы повалились на землю—головами, кто прямо въ снѣгъ, кто на камень. Дмитрій грустно посмотрѣлъ на эту новую мостовую изъ спинъ, головъ, черныхъ и рыжихъ, и сѣдыхъ, изъ затылковъ и сапогъ. Мостовая усиленно дышала, боясь шевельнуться. Одного слова вонъ того рыженькаго паренька достаточно было, чтобы вся эта живая мостовая превратилась въ безобразные трупы, чтобы кровью и мозгомъ головъ залить былъ весь дворъ съ его снѣгомъ и камнями. Не шевелятся широкія спины стрѣлецкія, не ворохнутся головы, припавшія къ землѣ, только дыханіе ихъ становится слышнѣе.

Но рыженькій паренекъ не сказалъ этого страшнаго слова.

— Умны!—сказалъ онъ съ улыбкой сожалѣнія.—Встаньте!

Стрѣльцы встали, такіе понурые, растрепанные, со свисшими на глаза волосами, не смѣя тряхнуть головами, по русской привычкѣ, чтобы эти включенные волосы привести въ порядокъ. Ухъ, крикнетъ—рыженькій паренекъ.

Но рыженькій паренекъ не крикнулъ. Напротивъ, съ грустью и дрожью въ голосъ, онъ сказалъ:

— Мнѣ жаль васъ, стрѣльцы. Жаль мнѣ, прискорбно, что грубы вы, аки невѣгласи, и нѣтъ въ васъ любви. Доколѣ вы будете заводить смуты и которы, доколѣ не престанете дѣлать лихо и бѣды землѣ своей? Она и безъ того лихолѣтствуетъ. Что же! хотите вы довести ее до конечнаго разодранія, аки ризу ветхую? Помяните измѣнниковъ Годуновыхъ—вспомните, какъ извели они изморомъ опальнымъ, ссылками и лютыми казнями знатные роды въ землѣ нашей и неправедно, аки воры, похитили престолъ царскій. Какую кару земля понесла! Мало она стонала! Не всѣ слезы выплакала! Чтобы отереть слезы русскаго народа! меня сохранилъ Богъ,

для васъ же, Онъ избавилъ меня отъ смертоносныхъ казней, а вы же, несчастные, ищете погубить меня, спрашиваю я васъ? Вы говорите:—я не истинный Димитрій... Такъ обличите меня, и тогда вы вольны лишить меня жизни. Мать моя и эти бояре свидѣтели—они знаютъ, кто я.

Онъ указалъ на Нагихъ, на Мстиславскаго, на Шуйскаго. Невинные глаза послѣдняго говорили: „Я чистъ, какъ младенецъ. Я самъ похоронилъ въ Угличѣ вмѣсто тебя поповича“.

Многіе изъ стрѣльцовъ плакали. Эти грубые пальцы, словно обрубки, эти кулаки, словно гири, поднимались къ глазамъ и утирали слезы, можетъ быть, въ первый разъ въ жизни. Ухъ, легче голову съ плечъ, чѣмъ плакать стрѣльцу! Ишь, проклятыя слезы.

А рыженькій паренекъ продолжалъ:

— Ахъ, стрѣльцы, стрѣльцы! И какъ могло учиниться такое великое дѣло, чтобы кто ни на есть, не будучи истиннымъ царемъ, обовладѣлъ таковымъ могущественнымъ государствомъ безъ воли народа? Самъ Богъ не допустилъ бы до этого. Я жизнь свою поставлялъ въ опасность не для корысти ради, не ради высоты своей, а чтобы избавить народъ мой любезный, упавшій въ нищету и неволю отъ руки измѣнниковъ. Перстъ Божій призвалъ меня къ сему великому дѣланію. Его всемогущая десница помогла мнѣ овладѣть тѣмъ, что мнѣ принадлежитъ по праву моему, по роду отцовъ моихъ. Я васъ спрашиваю: по что вы умышляете на меня! Говорите прямо! Говорите мнѣ безо всякаго страху: за что вы меня не любите? Что я вамъ сдѣлалъ?

Глубокая, горькая искренность звучала въ голосѣ. Стрѣльцы рыдали какъ дѣти: грубыя, жесткія, бородатыя, суровыя, но горько плачущія лица представляли умилительную картину. Одного Шуйскаго злоба заставила поблѣвть и позеленѣть.

Плачущіе бородачи снова повалились на землю.

— Царь государь, смилуйся!—вопили они.—Мы ничего не вѣдаемъ. Покажи намъ тѣхъ, что насъ передъ тобой оговариваютъ!

— Покажи имъ,—обратился онъ къ Басманову.

По знаку Басманова, алебардщики вывели семерыхъ стрѣльцовъ, повинившихся въ измѣнѣ.

— Вотъ они—смотрите!—сказалъ Димитрій.—Они повинились въ винѣ и показываютъ, что вы всѣ зло мыслите на вашего государя.

Сказавъ это, онъ быстро ушелъ во дворецъ, бормоча въ волненіи:

— Я не могу... у меня сердце есть... мнѣ жаль ихъ...

За минуту плакавшіе, стрѣльцы заревѣли, какъ звѣри, и кинулись на виновныхъ, кто съ крикомъ, кто съ воплемъ, кто съ визгомъ какимъ-то собачьимъ:

— Га, идолы! вы остужаете насъ съ царемъ-батюшкой!

— Крамольники проклятые! насъ топите!

Дворъ превратился въ кучу тѣлъ, метавшихся и напиравшихъ на одно мѣсто, взлѣзавшихъ другъ на друга. Виднѣлись только поднимаемые и

опускаемые кулаки и глухіе удары. Били не оружіемъ, а просто руками, отрывая отъ несчастныхъ руки, ноги, головы и разрывая потомъ эти части руками и зубами. Изъ головъ выдавливали мозгъ каблуками, выматывали кишки и таскали по снѣгу, выковыривали глаза пальцами и глазныя яблоки разбивали объ ограду. Ярость была такъ велика, что стрѣлецъ Якунька, задушившій молодого Годунова, откусилъ у одного виновнаго ухо, когда голова была уже оторвана отъ плечъ, и жевалъ это ухо, словно пельмень, рыча при этомъ: „А! еще хруститъ проклятое... хрящъ... хрящъ“... На землѣ валялись куски мяса... Звѣри! нѣтъ, хуже звѣрей, изобрѣтательнѣе ихъ художественнѣе въ жестокости...

Черезъ нѣсколько минутъ изъ Кремля вывезли телѣгу, наполненную кусками стрѣлцаго мяса.

На Красной площади телѣгу обступила толпа плачущихъ и рвущихъ на себѣ волосы стрѣльчихъ, стрѣлцкихъ дѣтей и родственниковъ растерзанныхъ. А Якунька стрѣлецъ, сидя на облучкѣ телѣги, покрикиваетъ:

— Эй, тетки-молодки, бѣлая лебедки! идите, — своихъ муженьковъ ищите алы уста, брови соколины своихъ судариковъ распознавайте, — слезами поливайте, а не найдете — и такъ домой пойдете... Но-но-но! пошевеливай...

XXIV.

Тѣнь Грознаго надъ Москвой.

Третьяго мая 1606 года, надъ Москвою, на ясномъ голубомъ небѣ, остановилось и тихо колебалось небольшое, продолговатое, бѣлое облачко, не болѣе, какъ въ ростъ человѣка, да и своими очертаніями походило оно на человѣческую фигуру. Длинное въ видѣ монашеской рясы, одѣяніе на длинномъ, тощемъ корпусѣ. Лицо у облачка — подозрительно похоже на сухощавое лицо человѣческое, съ сухимъ орлинымъ носомъ въ профиль, съ небольшою, словно выщипанною козлиною бородкою, на остромъ, выдавшемся впередъ подбородкѣ. Глубокія впадины для глазъ подъ нависшими, сдвинутыми бровями. На головѣ — монашеская скуфейка, изъ-подъ которой выбиваются небольшія пряди жидкихъ волосъ. Въ рукѣ — длинный заостренный посохъ.

Поражающее облачко! Шуйскій, случайно увидѣвъ его, остолбенѣлъ. То была на небѣ тѣнь Грознаго... Шуйскому чудилось даже, что тѣнь стучитъ по небу желѣзнымъ посохомъ и хрипитъ пропавшимъ отъ злобы голосомъ: „А! Васютка Шуенинъ! въ синодикъ захотѣлъ!...“

Это была дѣйствительно тѣнь Грознаго. Вотъ уже двадцать-третій годъ со дня смерти страшнаго царя тоскующая тѣнь его не знаетъ покоя. Тысячи, десятки, сотни тысячъ замученныхъ имъ, утопленныхъ, удушенныхъ, зарѣзанныхъ, повѣшенныхъ, сожженныхъ въ срубахъ, обезглавленныхъ, затравленныхъ собаками и медвѣдями, уморенныхъ голодомъ, замороженныхъ, отравленныхъ, напоенныхъ до смерти растопленнымъ оловомъ и

иными безчисленными муками замученныхъ, попавшихъ и непопавшихъ въ его ужасный синодикъ, „ихъ же число и имена единъ Ты, Господи, вѣси“, какъ онъ самъ же выразился въ этомъ историческомъ синодикѣ,—всѣ эти жертвы его страстей и невѣдѣнія вотъ уже двадцать-третій годъ не даютъ успокоенія сухимъ костямъ умершаго царя... И бродить его тѣнь по свѣту—кается, молится, плачетъ; босыми ногами исходила эта тѣнь царя, въ образѣ нищаго, весь шаръ земной, и въ особенности терлись превратившіяся въ камень крѣпости адамантовой подошвы Грознаго о землю святаго града Іерусалима и всей Сиріи, Палестины и Іудеи; исходили эти адамантовыя подошвы всѣ тѣ пути и стези, по которымъ ходили босыя ноги Спасителя и Его учениковъ; исходили они и Аравію, взбирались на горы Хоривъ и Синай; исходили и землю египетскую, и Оиваиду, Киликію и Каппадокію, Мидію и Пафлагонію, и Месопотамію, и Грецію, и Македонію, и Италію—всѣ мѣста, грады и вѣси, по которымъ ходили ноги апостоловъ. Но въ Москву до сихъ поръ, со дня смерти, тѣнь Грознаго не рѣшалась явиться, чувствуя на себѣ неизглаголанную тяжесть грѣховъ и не смѣя взглянуть на родныя, дорогія мѣста, всѣ избрызганныя человѣческою кровью.

Неодолимая сила привела теперь эту тѣнь сюда, на русскую землю, и поставила надъ Москвою.

И видится Грозному Москва въ необыкновенномъ оживленіи. Та же да не та же она. Новые дворцы въ Кремлѣ—невиданные, а многихъ палатъ и слѣду не осталось. И лица все незнакомыя. Охъ, лучше бы въ могилу—да могила не принимаетъ.

И видятся Грозному необычайные шатры, разбитые подъ-Москвою, на широкомъ лугу у Вяземы—невиданные шатры, цѣлый Кремль изъ шатровъ, блистающихъ неизмечтанною красотою и пестротою. И высится надъ всѣми шатрами одинъ громадный и роскошный шатеръ, словно бы бѣлый лебедь помежъ сѣренькими утками, и обхватываютъ его, словно красныя дѣвицы и добрые молодцы, играющіе въ „заплетися, плетень, заплетися“, другіе меньшіе шатры съ полотняною стѣною и полотняными на ней башнями.

Что-жъ это за шатры и для кого они? И что это за сотни и тысячи народу, конные и пѣшіе, снующіе у шатровъ? И все это не русскіе люди—въ нерусскомъ одѣяніи, съ нерусскими обликами, — и рѣчь слышится нерусская... А какой таборъ богатыхъ повозокъ, кибитокъ и роскошныхъ, разрисованныхъ яркими красками и украшенныхъ золотомъ и серебромъ колясокъ и каретъ — и все невиданнаго, не русскаго, заморскаго дѣла и заморскаго виду! И валить къ тому необычному табору толпами изъ Москвы и окрестностей ея московскій народъ. И вокругъ табора стоятъ тысячи конниковъ въ богатыхъ кафтанахъ и съ блестящимъ оружіемъ. А музыка-то заливается.—Господи! и бубны, и сурьмы, и домры, и накры, и литавры, и барабаны—тысячи голодныхъ волковъ, стаи собакъ и стада кошекъ не въ состояніи были бы заглушить этого рева, лая, воя и мяуканья, издаваемого сурьмами, домрами, и накрами, имъ же нѣсть числа.

И мятется тѣнь Грознаго въ облачкѣ, на синевѣ московскаго неба; трепещетъ облачко, словно бы живое...

И хлынули изъ Москвы вереницы всадниковъ—бояре и думные дворяне въ золотномъ платьѣ, обрызганномъ жемчугами и яхонтами, съ дорогими перевязями, на дорогихъ коняхъ въ дорогой сбруѣ, а за ними — толпы холопей изнаряженныхъ, изукрашенныхъ. И ѣдетъ еще невиданная на семъ свѣтѣ, уму непостижимая по великолѣпію, царская каптана, запряженная десятью царскими аргамаками—бѣлые въ яблокахъ, лучшіе аргамаки, выхоленные на царскихъ кобыличьихъ конюшняхъ. И за каптаномъ ведутъ коня невиданнаго — золото на чепракѣ, золото на уздѣ, золото на нагрудникѣ, золото на наколѣнкахъ, золото — стремяна.

„Куда везутъ мое добро? Кому ведутъ моихъ коней? Кому несутъ мое золото мои холопишки?“ — мятется тѣнь Грознаго на синевѣ безоблачнаго неба московскаго.

„А! Оедька Мстиславской! Оедюшка-ротозѣй, холопишко!“ узнаетъ тѣнь Грознаго своего бывшего холопа, Мстиславскаго. „Это ты, воръ, тащишь мое добро“.

И облачко трепещетъ — такъ бы, кажется, и распалось дождемъ на измѣнниковъ.

Оедька Мстиславской, сойдя съ коня и отдавъ его подъ-узды холопу, нечтительно входитъ въ самый большой шатеръ. За нимъ всѣ бояре и думные дворяне. Кто-жъ такой тамъ въ шатрѣ? Не царь ли? О, вѣстимо, царь. Да кто теперь царь на Москвѣ послѣ меня, Божіею милостію государя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русіи отъ востока и запада, сѣвера и юга? Кто-жъ другой—вѣстимо, Оедька убогій, сынъ мой. А може Уарушка ужъ, Митя маленькой? Какой махонькой онъ былъ, какъ я въ Бозѣ почилъ... въ Бозѣ... охъ, тяжело это почиванье въ Бозѣ по грѣху нашимъ“...

Кто же это выходитъ изъ шатра? Жена лѣпообразна, вся въ златѣ и каменьяхъ блистающихъ... въ бѣлыхъ ризахъ, аки одѣяніе ангела... черно-волоса, черноглаза, бѣлолица... Точно моя Василиса Мелентьева, что зарѣзалъ я... Охъ, много я перерѣзалъ... Нѣтъ, это не Василисушка... Словно бы моя Марьюшка Темрюковна... А словно бы и моя Машка Долгорукая, что утоплена мною... Кто-жъ это такая сія Лѣповида?..

И выходятъ изъ шатра большого и изъ шатровъ малыхъ другія жены, богато одѣтыя, и мужіе, златомъ и серебромъ окованы. О, какъ много народу, какъ много блеску! И Оедька Мстиславской выходитъ безъ шапки, и бояре, и думные дворяне безъ шапокъ—всѣ безъ шапокъ... „Словно бы это я самъ, царь Иванъ Васильевичъ, выходилъ... Ишь ты, какая Лѣповида, какъ важно глядитъ и никому не кланяется... фу ты—на ты...“

И выходитъ изъ шатра ляхъ толстый, много ляховъ выходитъ. „Зачѣмъ ляхи въ моей землѣ? Вотъ я васъ, проклятые! Андриюшку Курбскаго схоронили отъ меня... я васъ всѣхъ клюкой желѣзной, идолы!“

И тѣнь Грознаго мечется въ облакѣ бѣломъ, дрожитъ, а на землю спуститься не можетъ, чтобы посохомъ всѣхъ, посохомъ!

Къ толстому ляху подводятъ богатырскаго коня, въ невиданной сбруѣ—и чепракъ, и весь наборъ горятъ червоннымъ золотомъ, камнями и серебромъ подъ чернетью.

Оедька Мстиславской сажаетъ Лѣповиду и другую жену изукрашенну въ золотую каптану, везомую десятью лошадьми—бѣлая въ яблокахъ. Что за кони! что за каптана! А сколько сотъ другихъ каптанъ и колясокъ!

Поѣздъ двинулся къ Земляному городу. По обѣимъ сторонамъ пути стоятъ стрѣльцы пѣшіе, дьяволы усатые и бородатые, въ красныхъ суконныхъ кафтанахъ, словно въ стихаряхъ, съ бѣлыми перевязями на груди, и держа длинныя ружья съ красными ложами... Словно макъ, краснѣются кафтаны стрѣлецкіе.. Дальше стоятъ, какъ статуи на коняхъ, конные стрѣльцы и дѣти боярскіе, по одну сторону съ луками и стрѣлами, по другую съ ружьями — и все это горитъ краснымъ цвѣтомъ и блеститъ сталью граненою, нѣда старымъ глазамъ Грознаго больно. „Мои стрѣльцы подлецы! кому это служатъ они нонѣ?“ А дальше не мои ужъ — это польскіе гусары. У, проклятые полячишки! схоронили моего измѣнника Андрюшку Курбскаго... Гусары на коняхъ съ пиками въ рукахъ—древка пикъ красная, а около самыхъ копейныхъ лезвій бѣлая перевязи вѣтеркомъ колышутся. А музыка-то, музыка гремитъ и верещитъ! Трубятъ трубы на всѣ голоса, бьютъ литавры, словно бы хотѣли разрушить стѣны Іерихона. Но это не Іерихонъ, а Москва бѣлокаменная.

Невиданный поѣздъ вступаетъ въ Земляной городъ, Никитскими воротами вступаетъ въ Бѣлый, а тамъ въ Китай-городъ и черезъ Красную площадь въ Кремль.

Волшебный видъ! Тѣнь Грознаго такъ и замерла въ высотѣ, взирая на эту картину. Ему вспомнилось его собственное вшествіе въ Москву послѣ взятія Казани. „О, Господи! какъ это давно было и какъ хорошо было тогда, Боже всесильный“.

Впередъ идутъ думные дворяне и дѣти боярскіе, и впереди всѣхъ Аѳанасій Власьевъ, великій дьякъ, да князь Василій Рубецъ-Масальскій да Михайло Нагой... Всѣхъ ихъ узналъ Грозный. „А! Офонько Власьевъ—продувная выжига, что ради моей царской чести ногами по аеру дрегалъ. И Васька Рубецъ тутъ, и Мишутка Нагой, сродничекъ моей восьмой жены, законной Марьюшки Нагой. Охъ, лѣпа она была нагая—голенькая... Гдѣ-то она, Марьюшка, мотается теперь безъ меня?“

За дѣтьми боярскими идутъ пѣшіе польскіе гайдуки, числомъ триста, съ ружьями за плечами и шаблями при бокахъ. Голубые жупаны на нихъ, словно цвѣтъ цикорія съ васильками въ полѣ, а серебряныя нашивки и бѣлая перья на шапкахъ-магиркахъ словно свѣтъ съ кавыль-травой по василькамъ перекатываются... Идутъ они—въ барабаны бьютъ на трубахъ выигрываютъ... Дальше ѣдутъ польскіе гусары, по десяти человѣкъ въ рядъ, на статныхъ венгерскихъ коняхъ. Что за дьяволы крылатые! За спинами у гусаръ крылья развѣваются, словно у птицъ, въ рукахъ у нихъ золоченные щиты съ драконами и поднятыя вверхъ копыя съ бѣлыми и

красными значками; точно змѣи значки эти вьются въ воздухъ и пугаютъ московскихъ голубей и галокъ...

— Батюшки-свѣты!—взвизгиваетъ баба въ толпѣ зрителей.—Да это бѣсы.

— Что ты, окаянная, орешь! Али у тебя повылазили?—осаживаетъ ее дѣтина изъ Обжорнаго.—Эти съ усами.

— А крылья-то у нихъ не видишь, песь?

А за этими бѣсами съ усами и крыльями ведутъ подъ-уздцы двѣнадцать породистыхъ коней, да такихъ коней, что ногами разговоры говорятъ, гривы бѣлыя—что дѣвичья коса.

А за этими двѣнадцатью конями паны ѣдутъ — князь Вишневецкій, панъ Тарло, панъ Стадницкій Марцинъ, панъ Стадницкій Андреашъ, панъ Стадницкій Матіашъ, панъ Любомирскій, панъ Немоевскій, паны Лаврины и другіе. Ужъ и что это за паны вельможные! Ужъ и что у нихъ за посадка молодецкая! Ужъ и что у нихъ завонсы закрепцонные! Ужъ и что на нихъ за кунтуши за диковинные, что за кони подъ ними дивные! А около каждого цѣлое стадо панковъ—полупанковъ, шляхетской ассистенціи,—да все какъ одѣто, какъ изукрашено, какъ дорогимъ оружіемъ изнавѣшено! Эхъ, ты, Польша, Польша старая, вольная! Умѣла ты пожить, умѣла себя показать, да такъ казовымъ концомъ и въ могилу сошла.

А за этими панами и полупанками ѣдетъ самъ толстый ляхъ — панъ Мнишекъ, одинъ-одинешенекъ, словно вожакъ лебедь впереди стада лебединого, позади стада сѣро-утиного. Подъ паномъ Мнишкомъ конь, глядя на котораго Грозный свою клюку желѣзную грызетъ со злобы зависти. На панѣ Мнишкѣ малиновый кунтушъ, опушенный чернымъ соболемъ, которому и цѣны нѣтъ, а на шапкѣ перо птицы невиданной—птицы сиринъ, коей гласъ вельми силенъ, а хвостъ зѣло дивенъ. Шпоры и стремяна у пана Мнишка золотыя съ бирюзою, хоть на шею царской дочери такъ впору.

А за паномъ Мнишкомъ идетъ муринъ — черный арапинъ въ турецкомъ одѣяніи.

— Батюшки-свѣты! — снова взвизгиваетъ баба: — да это-жъ и есть тотъ зѣіоплянинъ черный, что у Ипатушки иконника на страшномъ Судѣ самое царицу Анаѣму, блудницу вавилонскую, за косы тащить.

— Врешь—царицу Каіафу, Пилатову жену-самарянку,—снова осаживаетъ бабу дѣтина изъ Обжорнаго.

А ужъ за чернымъ арапиномъ ѣдетъ въ дивной каптанѣ сама царица-несмѣяна, Лѣповида черноглазая, панна Марина. Батюшки-свѣты, что за каптана у нея!—вся красная, съ серебряными накладками, а колеса позолочены — видно всю жизнь этой каптанѣ съ Лѣповидой черноглазой суждено катиться по золоту... И внутри каптана обита краснымъ бархатомъ... Охъ, сколько красной кровушки прольется изъ-за той черноглазой, что сидитъ въ каптанѣ, на подушкахъ, по краямъ крупнымъ жемчугомъ унизанныхъ, въ бѣломъ атласномъ платьѣ, вся залитая, точно слезами крупными, драгоценными каменьями и жемчугами. А противъ нея — Урсула.

— Охъ, Марыню царица, у меня голова кружится отъ всего, что я вижу,—тихо говоритъ Урсула.—Это какое-то сказочное, волшебное, царство, а ты его царица. У тебя, Масю, не кружится голова отъ всего этого?

— Нѣтъ, не кружится,—отвѣчаетъ задумчиво Марина.

— О чемъ ты, Масю, думаешь? о женихѣ?

— Нѣтъ, о томъ гнѣздѣ горлинки, гдѣ...

Она не договорила. Она вздрогнула и глаза ея какъ-то странно расширились—она не сводила ихъ съ одного предмета... за окномъ каптаны...

У самой каптаны идутъ шесть хлоповъ въ зеленыхъ кабатахъ и штанахъ и въ красныхъ въ накидку плащахъ, а за ними, по обѣимъ же сторонамъ каптаны—московскіе нѣмцы алебарщики и московскіе стрѣльцы.

Маринѣ кажется, что изъ-за стрѣльцовъ глядитъ на нее знакомое лицо съ глубокими, неразгаданными глазами, то лицо, которое она видѣла, ровно годъ назадъ, въ Самборѣ, въ родномъ паркѣ, у гнѣзда горлинки... Да, это то лицо, тѣ непостижимые глаза... но Боже! какъ измѣнилось это лицо: оно стало еще неразгаданнѣе, еще непостижимѣе. Марина не выдерживаетъ взгляда этихъ, какихъ-то нечеловѣческихъ, неизъяснимыхъ глазъ—и потупляетъ свои. Она чувствуетъ, что теперь и у нея начинается кружиться голова... все кружится: люди, небо, весь міръ кружится.

Когда она снова подняла глаза—то лицо исчезло... торчатъ только бородатые и усатые головы стрѣльцовъ.

За каптаною Марины слѣдуетъ другая каптана, та, въ которой она выѣхала изъ своего родного далекаго Самбора. Эту карету-каптану везутъ восемь лошадей бѣлой масти—бѣлой, какъ дѣвическая совѣсть самой Марины. Эта карета снаружи обита малиновымъ бархатомъ, а внутри—краснымъ златоглавомъ. Возницы—тоже во всемъ красномъ, да и сбруя на лошадяхъ вся изъ краснаго бархата... Красное, вездѣ красное, какъ эмблема крови, и крупный жемчугъ, какъ напоминаніе крупныхъ слезъ. Но эта карета—пустая: птичка, что въ ней сидѣла, выпорхнула въ другое гнѣздышко.

— Батюшки-свѣты! какая она худенькая—худехонька да тонехонька, словно бѣлая березынька,—не вытерпнваетъ баба-визгунья.

— Тонехонька... Не всѣмъ же быть бочками беременными, какъ ты,—снова осаживаетъ визгуню дѣтина изъ Обжорнаго.—Ишь, на пузѣ хоть горохъ молоти, кобыла жеребая!

— Молчи ты, охальникъ, огурешна плѣснетъ, кобыля ладонница, чортова перешница...

А поѣздъ все двигается. За красною каретою слѣдуетъ бѣлая съ серебромъ, а на возницахъ черные бархатные жупаны съ красными атласными фрезами въ накидку: изъ кареты выглядываютъ пани Тарлова, княгиня Коширская, пани Гербуртова и пани Казановская. А тамъ еще кареты и еще коляски—и все это бархатъ да золото, пурпуръ да атласъ да каменья—смѣсь крови и слезъ.

А народъ-то за ними валить — Господи! и конца краю ему нѣтъ и, кажется, не будетъ, какъ не будетъ конца торжеству Польши, которая, казалось, прибирала къ своимъ рукамъ Москву богатую, но дикую, варварскую, чтобъ дать и ей свою волю, счастье, просвѣщеніе... Предвкушаетъ это великое торжество Польша, чувствуетъ роковой поворотъ историческаго колеса, и народнымъ гимномъ, подъ громы литавровъ и бубенъ, кричитъ до самаго неба:

W kazdym czasie,

Tak w szczesciu, jako i w nieszczesciu.

И содрогаеся на синеѣ неба тѣнь Грознаго отъ этого торжественнаго гимна. О, кто же она, эта царица новая? Полячка! еретичка! А кто же царь на мѣей Москвѣ? Гдѣ Ѳедька, гдѣ Митька царевичи? Али и ихъ ужъ нѣтъ? Али Андрюшка Курбскій сидитъ на моемъ престолѣ, держитъ мое скипетро, носитъ барму и шапку Мономахову на своей холопской головѣ? О! оѣсы, аспиды, василиски! я васъ! я опять приду къ вамъ — стережитесь, стережитесь, чѣрви пресмыкающіеся!

А звонъ-то колокольный! а крики народные! Осатанѣла Москва отъ безумія.

Поездъ останавливается въ Кремль, у Вознесенскаго монастыря. И бѣлое трепетное облачко виситъ надъ самымъ монастыремъ.

— Охъ, Господи! что это такое? Владычица! — съ испугомъ говоритъ офеня иконникъ, поглядывая на небо и крестясь испуганно.

— Что ты? чего испужался? — спрашиваетъ его Коневъ, стоя съ нимъ рядомъ въ толпѣ.

— Знаменіе Божіе! Охъ, святители!

— Да гдѣ ты знаменье-то видишь?

— А вонъ на небѣ... во облацѣ... видишь?

— Вижу... Что-жъ тамъ?

— Да обликъ-то чей? Аль не видишь? Не познаешь?

— Не вижу облика... облачко маховькое...

— Охъ, не облачко... самъ царь покойникъ — грозенъ батюшка Иванъ Васильевичъ.

Коневъ всматривается.

— А и впрямь онъ, родной... Ну, живехонекъ, — шепчетъ онъ съ испугомъ.

— Онъ... онъ... истинно онъ... это его душенька съ неба сошла поближе — поглядѣть на сына-то, на молодого царя, на Митрей Иваныча, и благословить его.

— Полно, такъ ли? — недовѣрчиво замѣчаетъ Коневъ.

— Почто не такъ? Знамо, сынокъ-отъ посягаетъ въ бракъ, ну, батюшка-то родимый и хочетъ благословить.

— А клюки ноли не видишь? У его вонъ въ рукѣ-то клюка желѣзна — посохъ. А это не къ добру.

— Сохрани Богъ, отврати.

Марина выходитъ изъ каптаны, поддерживаемая отцомъ и Мстиславскимъ. Урсуду поддерживаетъ дьякъ Власевъ. Марина всходитъ на ступеньки крыльца подъ звонъ всѣхъ московскихъ колоколовъ—окна монастырскія дрожатъ отъ этого звона, воздухъ содрагается, птицы мечутся въ испугѣ...

Изъ монастыря выходитъ мать-царица Марія, нынѣ старица Марѳа, чтобъ принять свою дорогую невѣстушку. Что написано на лицѣ у старицы Марѳы—этого никто не прочитаетъ.

Бѣлое облачко такъ и затрепетало. „Охъ, это Марьюшка моя, царица Марья... Охъ, да какая же она стала старая, скверная... грибъ грибомъ... мухоморъ эдакой... Господи! а я-то какой... и костей поди не осталось во гробу... одна тлѣнь—мерзость запустѣнія да затхлость могильная... О, гдѣ же мое царское величіе, моя красота, молодость моя?... Отдайте мнѣ жизнь мою—пусть я буду смердомъ послѣднимъ, только бы жить, жить, жить!..“

И облачко распалось. Москвичи съ удивленіемъ посмотрѣли на небо—солнце горитъ, на небѣ ни облачка, а какъ будто дождикъ брызнулъ... Власевъ схватился за лысину: „Что за диво! откуда это дождь—вотъ чудо невиданное“.

- Пропало облачко,—говорить офеня, крестясь.
- Пропало, исчезе яко дымъ,—вторитъ Коневъ.
- Не дымъ, а слезою сошло на землю—на Русь святую.
- Къ худу, охъ, къ худу знаменіе сіе.

XXV.

Смерть въ очи глянула.

Какъ ни было воображеніе Марины настроено на что-то необычайное фантастическое, но то, что она видѣла въ теченіе послѣднихъ дней, особенно со вступленія въ Москву—этотъ какой-то сказочный міръ, эти богатства, какія-то подавляющія, гнетущія, все это въ какихъ-то невиданныхъ формахъ и въ размѣрахъ, какихъ представить себѣ нельзя было, эта поражающая громадность всего, начиная отъ колокола который реветъ гдѣ-то надъ ея ухомъ и пугаетъ ее, и кончая золотой солонницей, величиною въ ведро, которую поднесли ей на хлѣбѣ, величиною съ колесо,—эти стѣны, эти люди, это море головъ, колыхавшихся вокругъ нея,—все это скомвало въ ни во что ея прежнія представленія, захлеснуло ее какимъ-то могучимъ валомъ и унесло въ невѣдомое море, разбило, утопило, разбросавъ въ стороны, какъ щепки, ея мысли, ея чувства... А онъ не потерялся въ этомъ омутѣ—онъ взялъ въ свои руки все,—все это страшное царство, этихъ страшныхъ людей, и ее самое взялъ, ея душу, ея волю...

Но... и Марина почувствовала словно кусокъ льду у сердца... Онъ не только взялъ ее, Марину, но и ту... ту, невѣдомую ей, но ненавистную... эту татарку... дочь этого царя татарина, царя-узурпатора, эту про-

тивную дочь Бориса... Онъ къ ней прикасался, къ этой татаркѣ, ее ласкалъ... Ксенія... какое холопское имя...

— Ахъ, Марыня, какъ долго онъ не является къ своей невѣстѣ съ утреннею визитою,—говоритъ Урсула на другой день утромъ, послѣ вѣзда Марины въ Москву.

Марина и ея свита ночевали въ Вознесенскомъ монастырѣ, въ особо отведенныхъ имъ и богато убранныхъ покояхъ, рядомъ съ покоями царицы-матери.

— Панна цезарина и не ожидаетъ такъ рано его величество,—отвѣчаетъ за Марину пани Тарлова, старосцина сохачевская, догадывающаяся, что невѣстѣ что-то не по себѣ.—Панъ воевода говоритъ, что царь собирается принимать великихъ пословъ Рѣчи Посполитой и потому занять теперь государственными дѣлами.

— А все же!—возражаетъ нетерпѣливая Урсула.—Мы только вчера пріѣхали, а ужъ онъ забываетъ насъ.

— Онъ не въ Самборѣ, моя милая,—старается остановить болтунью пани Тарлова. Она видѣла, что разговоръ этотъ производитъ непріятное впечатлѣніе на Марину.—Отъ его воли зависитъ жизнь милліоновъ: онъ все самъ долженъ рѣшать въ такомъ громадномъ царствѣ.

Въ это время доложили, что отъ царя присланъ великій канцлеръ, дьякъ Аѳанасій Ивановичъ Власьевъ, видѣть ея высочество, панну цезарину, и узнать о ея здоровьѣ. Искры брызнули изъ глазъ Марины, и она потупилась.

Власьевъ вошелъ, низко поклонился Маринѣ и сказалъ:

— Наияснѣйшая и великая государыня цесаревна и великая княгиня Марина Юрьевна всеа Русіи! Наияснѣйшій и непобѣдимый самодержецъ великій государь Дмитрій Ивановичъ, Божіею милостію цесарь и великій князь всеа Русіи указалъ спросить тебя о здоровьѣ и способно ли тебѣ будетъ принять великаго государя на пару словъ?

— Милостію Божіею я здорова и буду рада видѣть государя,—коротко отвѣчала Марина, скрывая блескъ глазъ.

Власьевъ вышелъ. Урсула не вытерпѣла и захлопала отъ радости въ ладоши, а пани Тарлова только покачала головою.

— Мы должны оставить панну цезаревну,—сказала она:—мы не смѣемъ здѣсь быть.

— Вотъ еще!—возражала Урсула.—Хоть бы въ щелочку посмотрѣть, какъ онъ будетъ объясняться въ любви. Ахъ, какъ смѣшно должно быть: въ коронѣ—и на колѣняхъ!

Онѣ вышли. Марина осталась одна и нервно мяла въ рукахъ батистовый платокъ съ гербомъ Мнишковъ... Царь не заставилъ себя ждать. Онъ вошелъ быстро и на мгновенье остановился. Какъ ни коротко было это мгновенье, но Марина успѣла скользнуть своими глазами по его глазамъ, которые напомнили ей не тѣ глаза, что она видѣла когда-то у гнѣзда горлинокъ, а тѣ, что смотрѣли на нее изъ-за головъ алебардщиковъ и

стрѣльцовъ. Ее поразили и костюмъ царя: красный бархатный опашень, усаженный жемчугомъ и опушенный соболемъ; изъ-подъ опашня видѣнъ былъ край бархатнаго кафтана, тоже залитого жемчугомъ, съ двуглавыми орлами и коронами; въ рукѣ шапка съ перомъ и блестящей запоной; красные бархатные же сапоги звякаютъ золотыми подковками... Не онъ... не тотъ... хоть все онъ же, тотъ же...

— Панна Марина-цезарина! я исполнилъ свое обѣщаніе, данное паннѣ у гнѣзда горлинокъ,—быстро проговорилъ онъ, подходя къ дѣвушкамъ.—Я добылъ престолъ моихъ предковъ моимъ мужествомъ. За панной цезариной очередь—исполнить свое слово.

— И я свое исполнила, государь: я отдала вамъ свою руку,—отвѣчала Марина, не глядя на него.

Что-то такое звучало въ ея голосѣ, какъ будто что-то рѣжущее, холодное,—и Дмитрій невольно отшатнулся. Широкія ноздри его расширились, какъ бы силясь забрать въ грудь больше воздуха.

— Но, панна Марина, я имѣю кажется, право надѣяться на большее?—сказалъ онъ сдержанно.

— На что-же, государь?—былъ отвѣтъ.

— На сердце панны Марины...

— Руку мою, ваше величество, вы завоевали мужествомъ. Недостаточно одного мужества, чтобы побѣдить сердце женщины.

Словно гальваническій токъ прошелъ по тѣлу Дмитрія. Перо на шапкѣ, которую онъ держалъ лѣвою рукою, задрожало—токъ черезъ сердце прошелъ къ оконечностямъ.

— Что же для этого нужно, панна Марина?—спросилъ онъ еще болѣе сдержанно, еще тише.

— Сердце, такое же вѣрное, какъ то, которое ваше величество желали бы побѣдить.

— Такое сердце и бьется въ моей груди, панна цезарина.

— Сердце женщины, ваше величество, прозорливѣе ума и сердца мужчины и царя...

Она говорила все это ровно, словно отчеканивая каждое свое серебряное слово. Это была уже не дѣвочка, не та, что кормила горлинокъ рисовой кашкой. Это былъ какой-то мраморъ—отъ него и вѣяло холодомъ.

— Панна цезарина! что съ вами? Я не понимаю васъ,—быстро заговорилъ Дмитрій, стараясь взять дѣвушку за руку, которую она отвела въ сторону.

— Ваше величество! можно управлять цѣлыми царствами, когда подданные вѣрны своему государю, но не такъ легко управлять сердцемъ женщины: тамъ подданные должны быть вѣрны государю, здѣсь государь долженъ быть *вѣренъ* (это слово Марина подчеркнула голосомъ) тому, кого онъ желаетъ имѣть своимъ подданнымъ—сердцу женщины и ей самой...

Дмитрій догадался. Ему чувствовалось, что онъ краснѣетъ—краснѣетъ въ первый разъ въ жизни. „Ксенія... бѣдная... что-то она?“

— Паина Марина, на всѣ мои письма вы не удостоили меня ни однимъ словомъ отвѣта. Я тосковалъ по васъ... я гонца за гонцомъ гналъ съ письмами къ вамъ, для васъ я забывалъ управленіе моимъ государствомъ... а вы не вспомнили обо мнѣ ни разу.

— Вы этого не можете знать, ваше величество. Если бы я не помнила васъ, я не была бы здѣсь.

— Марина! звѣзда моя!—заговорилъ онъ страстно.

— Ваше величество говорили мнѣ это и въ Самборѣ, въ паркѣ...

— Я повторяю.

— Ничто въ жизни не повторяется.

Мраморъ, гранитъ, пень какой-то, а не дѣвушка! Нѣтъ, это укушенная женщина, укушенная за сердце.

— Марина! царица моя! и это—первое свиданье послѣ цѣлаго года разлуки! Я не узнаю васъ!

— *Забыли...* отвыкли...

Димитрій не выдержалъ. Онъ упалъ на колѣни, такъ что звякнули золотыя подковки. Шапка съ перомъ отлетѣла въ сторону.

— Марина! жизнь моя! сердце мое! царство мое! — и онъ схватилъ ее за край платья, припалъ къ нему губами.—Ты моя! Я умру здѣсь...

— Встаньте, Димитрій,—я еще не царица, — говорила дѣвушка нѣсколько ласковѣе, поднимая его.—Коронованной головѣ неприлично быть у ногъ простой дѣвушки.

Онъ хотѣлъ обнять ее—она отстранилась.

— О, гордая полячка! ты не хочешь дать мнѣ поцѣлуя...

— Царь можетъ получить его только отъ царицы. Не забывайте, что я должна быть „женою Цезаря!“

Димитрій былъ окончательно ошеломленъ: Марина взяла его руку и поцѣловала!

— А теперь до свиданья, ваше величество. Я иду къ тому, кто выше васъ, кто далъ вамъ корону: я иду молиться Ему, о вашемъ здоровьѣ.

И она вышла.

Заряженнымъ сидѣть Димитрій на тронѣ въ золотой палатѣ послѣ перваго свиданья съ Мариной. „А! гордые полячишки! я осажу васъ... я собою съ васъ гоноръ. Вы у меня и ее подстроили — такъ я покажу вамъ себя!“

Обаятеленъ видъ неразгаданнаго проходимца на тронѣ. Тронъ — весь изъ чеканеннаго серебра, точно окладъ на гигантскомъ образѣ, такъ и отливаетъ блестящимъ инеемъ. Надъ трономъ балдахинъ изъ четырехъ громадныхъ щитовъ, такихъ же блестящихъ, расположенныхъ въ видѣ креста. На щитахъ золотой шаръ, а на немъ двуглавый орелъ, золотыми когтями впившійся въ этотъ золотой арбузь-державу и разинувшій два золотыхъ рта съ золотыми языками и съ золотыми коронами на обѣихъ головахъ—такъ, кажется, и готовъ броситься на враговъ русской земли,

заклевать ихъ золотыми клювами, растерзать золотыми когтями... Надъ спинкой трона икона Богородицы въ кованомъ золотомъ окладѣ, испещренномъ дорогими камнями. Балдахинъ поддерживается колоннами, какъ сѣнь надъ церковнымъ алтаремъ, а отъ щитовъ спадаютъ внизъ змѣинити изъ жемчуга и драгоценныхъ камней—и все это массивно, тяжело, величественно: виднѣются алмазы въ грецкій орѣхъ!.. У колоннъ два гигантскихъ; серебряныхъ, до половины вызолоченныхъ льва—они держатъ золоченые на серебряныхъ ногахъ подсвѣчники, а на подсвѣчникахъ—грифы: одинъ держитъ кубокъ, другой — мечъ. Миръ и война, жизнь и смерть, пиръ и разрушеніе.

По сторонамъ трона стоятъ четверо рындъ—неподвижны, какъ мраморныя статуи, и только молодыя, почти дѣтскія лица, и живые глаза изобличаютъ, что это живые люди, царскіе тѣлохранители: рынды въ высокихъ мѣховыхъ шапкахъ, въ длинныхъ бѣлыхъ одеждахъ и бѣлыхъ сапогахъ, со стальными блестящими бердышами въ рукахъ. Плечи и груди ихъ крестообразно обвиваются золотыми цѣпами.

По лѣвую сторону царя стоитъ великій мечникъ, юный князь Михайло Васильевичъ Скопинъ-Шуйскій. На немъ кафтанъ темнокаштановаго цвѣта съ золотыми цвѣтами, подбитый золотомъ. Въ обѣихъ рукахъ—обнаженный царскій мечъ съ богатѣйшею рукоятію, на которой блеститъ золотой крестъ. Крестъ и ножъ — какъ это совмѣстимо! Но такъ должно быть. Тутъ же стоитъ молодой стряпчій, Власевъ, сынъ великаго дипломата, дрыгавшаго по аеру ногами ради его, государевой, чести и славы. Власевъ держитъ царскій платокъ—ради его, государевой, нужды.

Самъ царь одѣтъ въ бѣлыя ризы, сверху до низу залитыя жемчугами и чудовищными камнями. На шеѣ — отложное ожерелье, унизанное алмазами и рубинами, такъ и ломить, кажется, молодую, здоровую шею проходимца. На груди у проходимца—большой яхонтовый крестъ на кованой золой цѣпи. Въ правой рукѣ проходимца—скипетръ—„скифетро“—дрожитъ оно немножко — заряженъ проходимецъ. На круглой головѣ проходимца плотно сидитъ массивный царскій вѣнецъ... О, проходимецъ! проходимецъ! какая мать тебя выродила, на чьихъ грудяхъ вспоилось такое удивительное дѣтище! Молодое лицо подергивается. Глаза немножко стоячіе, словно бы остеклѣли. Настоящая икона въ ризѣ, а не человѣкъ. Нѣтъ, не икона: словно бы отъ нетерпѣнія, онъ попеременно беретъ въ правую, бѣлую съ веснушками руку то „скифетро“, то государственное „яблоко“ съ крестомъ — державу... Цѣлое царство въ рукѣ, и онъ, подержавъ его, нетерпѣливо передаетъ въ руки Шуйскому—страшному Шуйскому, Василью, который стоитъ, аки агнецъ кроткій. Это не тотъ Дмитрій, что сейчасъ только ползалъ у ногъ дѣвушки... О, дѣвичьи ноги! чья голова не склонялась передъ вами?

Въ правую сторону отъ Дмитрія сидитъ освященный соборъ весь: патріархъ Игнатій, посаженный этимъ мальчишкой на патріаршій престолъ вмѣсто старика Іова, возсѣдаетъ на чернobarхатномъ тронѣ, и самъ—въ

чернобархатной рясы, по разрыву и по подолу усыпанной въ добрую ладонь шириною жемчугами бурмицкими и камнями самоцвѣтными — какъ огонь горятъ они на черномъ бархатѣ. Въ правой рукѣ святителя посохъ высокій съ золотыми змѣями на верхушкѣ и съ крестомъ. Передъ нимъ рясофорецъ держитъ массивное серебряное блюдо, а на блюдѣ золотой крестъ съ мощами и камнями и серебряный сосудъ съ святою водою и кропиломъ въ золотой рукояткѣ. Дальше — святые отцы: епископы, архіепископы, митрополиты. Сколько золота на ризахъ, сколько серебра въ бородахъ, сколько кротости и благочестія на лицахъ, сколько лукавства въ сердцахъ! А тамъ снова золото и серебро, да сѣдые бороды, да лукавыя головы — бояре, окольные да думные дворяне.

Въ золотую палату, въ это сонмище бояръ входятъ польскіе послы. Ихъ вводитъ окольный Григорій Микулинъ — русая борода, рысьи глаза, медовыя уста. Послы низко кланяются.

— Его королевскаго польскаго величества великіе послы панъ Микулай Олесницкій, староста малогосскій, и панъ Александръ Корвинъ-Гонсѣвскій челомъ бьютъ великому государю Дмитрію Ивановичу, цесарю, великому князю всеа Русіи и всѣхъ татарскихъ царствъ и иныхъ подчиненныхъ московскому царству государствъ государю, царю и обладателю, — возглашаетъ Микулинъ — медовыя уста.

Дмитрій не шелохнется — только глаза изобличаютъ, что это не икона въ окладѣ. Впередъ выступаетъ Олесницкій.

— Его королевское величество, государь мой и повелитель, Сигизмундъ, Божіею милостію король польскій и иныхъ, посылаетъ поздравленіе, изъявляетъ братскую любовь и желаетъ всякаго счастья великому князю московскому...

„Великому князю... только!..“ Молнія пробѣгаетъ по стоячимъ глазамъ проходимца — онъ приподнимается на тронѣ, вскидываетъ нетерпѣливо вверхъ глазами — Шуйскій снимаетъ съ его головы корону. Старый Шуйскій знаетъ, что это значитъ: обожженный царь хочетъ самъ говорить — вступить въ преніе съ послами, осадить ихъ, а въ коронѣ ему говорить нельзя.

Пока Олесницкій говорилъ дальше, Дмитрій лихорадочно брался то за державу — яблоко, то за скипетръ, такъ что Шуйскій не успѣвалъ подавать ему то и другое. „А — обожгли, обожгли молодца“, злорадно думала старая лиса съ лицомъ агнца пасхальнаго.

Олесницкій кончилъ и подалъ старику Власьеву грамоту. О! не провести этого продувнаго старика: онъ видитъ подпись на грамотѣ — „описка въ титулѣ... не весь титулъ...“ Подходитъ къ царю и показываетъ эту надпись царю, не распечатывая пакета. Снова молнія въ глазахъ проходимца. Онъ отворачивается отъ грамоты — и Власьевъ ужъ знаетъ, что ему дѣлать.

— Николай и Александръ, послы отъ его величества Жигимонта, короля польскаго и великаго князя литовскаго, къ его величеству непобѣдимому самодержцу! — громко, отчетливо возглашаетъ онъ. — Вы вручили

намъ грамоту, на которой нѣтъ цесарскаго величества. Эта грамота писана отъ его величества короля Жигимонта къ какому-то князю Русіи. Его величество есть цесарь на своихъ государствахъ, и вы везите эту грамоту назадъ и отдайте его величеству королю Жигимонту обратно.

„Яблоко“ и „скифетро“ такъ и ходятъ, то къ проходимцу, то къ Шуйскому. Быть бурѣ!

— Я принимаю съ должнымъ почтеніемъ грамоту въ томъ видѣ, въ какомъ далъ ее въ руки Аѳанасья Ивановича, и возвращу ее королю, которымъ ваше величество пренебрегаете, отказываясь принять его грамоту, — гордо отвѣчалъ Одесницкій. — Это первый случай во всемъ христіанскомъ мірѣ, чтобъ монархъ не оказалъ справедливаго уваженія королевскому титулу, признаваемому много столѣтій всѣми государствами свѣта, и не принялъ королевской грамоты. Ваше господарское величество не воздаете должнаго его величеству королю и Рѣчи Посполитой, сидя на томъ престолѣ, на которомъ вы посажены, при дивномъ содѣйствіи Божіемъ, милостию польскаго короля и помощію польскаго народа. Ваше господарское величество слишкомъ скоро забыли эти благодѣянія и оскорбляете не только его королевское величество, всю Рѣчь Посполитую и насъ, пословъ его величества, но и тѣхъ честныхъ поляковъ, которые стоятъ предъ лицомъ вашего величества, и все отечество наше. Мы не станемъ далѣе излагать цѣли нашего посольства и просимъ приказать проводить насъ къ нашему помѣщенію.

Яхонтовый крестъ на груди царя усиленно поднимался и опускался. Грудь дышала тяжело — воздуху не хватало... обида... не полный титулъ... попрекъ... А давно ли подъ заборами ходилъ? О! это такъ скоро забывается.

Нѣтъ, не вытерпѣлъ! Заговорила живая икона.

— Неприлично монархамъ, сидя на тронѣ, вступать въ разговоры съ послами, — заговорила икона на тронѣ. — Но насъ приводитъ къ тому уменьшеніе титуловъ нашихъ со стороны польскаго короля. Объявляю и повторяю: мы не князь, не господарь, не царь! Мы — императоръ и цесарь на своихъ пространныхъ государствахъ! Мы приняли этотъ титулъ отъ самаго Бога и пользуемся имъ не на словахъ, какъ нѣкоторые дѣлаютъ (о! поляки поняли, куда посланъ ударъ), а на самомъ дѣлѣ. Ни ассирійскіе, ни мидійскіе монархи, ни римскіе цезари не имѣли болѣе справедливаго права на свой титулъ, какъ мы. Не только мы не были княземъ, либо господаремъ, но, по милости Божіей, имѣемъ подъ собою, у стремени нашего, служащихъ намъ князей, господарей и даже царей. Нѣтъ намъ равнаго въ краяхъ полуночныхъ. Здѣсь нами повелѣваетъ одинъ Богъ. И мы сами такъ себя именуемъ, и всѣ монархи и императоры писали къ намъ съ такимъ титуломъ, только его величество король Жигимонтъ уменьшаетъ нашу честь. Мы не потерпимъ этого! Свидѣтельствуемся Богомъ, что не отъ насъ, а отъ вины польскаго короля можетъ возникнуть вражда и кровопролитіе между нами. Помните это!

Послы отстаиваютъ своего короля, говорятъ, что причиной кровопро-

литія будетъ не онъ. Димитрій ссылается на титулы прежнихъ царей московскихъ, видитъ оскорбленіе себѣ въ уменьшеніи титула. „Нѣтъ моего полнаго титула на грамотѣ—не возьму ее!“

Послы хотятъ откланиваться. Димитрій опять не выдерживаетъ — онъ еще не разрядился.

— Панъ староста малогосскій! — возвышаетъ онъ голосъ. — Я помню доброжелательство ваше ко мнѣ въ земляхъ его королевскаго величества, государя вашего. Вы оказывали расположеніе ко мнѣ. Потому не какъ послу, а какъ нашему пріятелю, я желаю оказать вамъ честь въ моемъ государствѣ: подойдите къ рукѣ моей не какъ посолъ!

И онъ протягиваетъ свою царственную руку. Олесницкій отказывается подойти — „не какъ посолъ“...

— Подойдите, панъ малогосскій! — возвышается голосъ съ трона.

— Я не могу этого сдѣлать, — отвѣчаетъ упрямый ляхъ.

„Га! и здѣсь упрямство!.. и здѣсь проклятая польская гордость, какъ и тамъ“.

— Подойдите какъ посолъ! — кричатъ съ трона, такъ что вся зала вздрагиваетъ, и святые отцы въ душѣ крестятся, и даже Шуйскому показалось, что онъ слышитъ голосъ Грознаго: „Васютка! въ синодикъ!“

— Подойдите!

— Подойду, если ваше господарское величество возьметъ грамоту его величества короля, — невозмутимо отвѣчаетъ Олесницкій.

— Возьму!

Послы подходятъ къ рукѣ проходимца и цѣлуютъ ее. Рука холодна какъ у мертвеца. Точно въ самомъ дѣлѣ это тотъ, зарѣзанный.

„А, проклятое племя!.. и все ради ея... Погодите, погодите—я ссажу вашего Жигимонтишку—вѣшалку королевскаго сана... Я не буду вѣшалкой—я приберу васъ къ рукамъ, табунное королевство...“

— Возьми грамоту, Аеанасій!

Власевъ взялъ грамоту и сталъ бережно распечатывать ее дрожащими руками. Да и какъ не дрожать рукамъ стараго дипломата, когда первый разъ принимается грамота съ неполнымъ титуломъ, а этого не бывало, какъ и земля стоитъ...

— Вѣнецъ, князь Василій!

Шуйскій надѣлъ вѣнецъ и пристально всматривался въ молодое лицо царя, въ глубинѣ своей лукавой души думая: „А что коли во мѣсто сего младаго лица подъ сею шапочкою будетъ лицо старое... мое лицо?..“ И онъ вздрогнулъ: смерть стала за плечами... въ очи глянула...

XXVI.

Свадьба—похороны.

— И на кой имъ песь, этимъ нехристямъ, скифетро-то наше понадобилось, дядя? Ну, инъ свое бы сдѣлали али бы тамъ купили у него.

— Купили! Ишь ты ловкой какой! Да гдѣ ты его купишь? Ишь выдумалъ что—купили! али бо сдѣлали!

Такъ разсуждаетъ Охотный рядъ съ Обжорнымъ, кучами толкаясь въ Кремлѣ около царскихъ теремовъ въ день коронованія Марины и въ день свадьбы ея съ Димитріемъ, 8-го мая, черезъ пять дней по въѣздѣ Марины въ Москву.

А въ теремахъ кипятъ приготовленья къ царской свадьбѣ. Назначаютъ дружекъ, свахъ, тысяцкаго. Готовятъ караван.

Маринѣ готовъ богатый русскій сарафанъ подъ вѣнецъ сарафанъ рѣдкостнаго вишневаго бархату, до того залитой жемчугами бурмицкими и скатными да камнями самоцвѣтными, что трудно даже различить цвѣтъ матеріи... И откуда бралось это богатство, какъ хватало золота и драгоценностей, откуда шли не пригоршнями, а четвериками да ковшами жемчуга да камни на эту роскошь? Откуда?—А блаженной памяти царь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи накопилъ: всѣ тѣ душеньки бояръ богатыхъ, князей, окольничьихъ, что записаны были у него въ синодикѣ для поминовенья и ихъ же имена и число ты единъ, Господи, вѣси,—всѣ эти казненныя душеньки уходили на тотъ свѣтъ, оставляя свои богатые животы на царя—все шло въ его казну... Вотъ откуда набралось это дикое, поражающее богатство...

Ведутъ Марину изъ ея покоевъ въ столовую избу. Невѣста покрыта фатою, а изъ-подъ фаты горятъ два черныхъ глаза, словно тѣ камни, что въ золотой, въ видѣ коронки, повязкѣ на черной головкѣ... Одной этой повязкѣ—цѣны нѣтъ... Черныя косы переплетены жемчугами—словно горохъ жемчугъ! Изъ-подъ сарафана выглядываютъ крошки-ножки: онѣ тоже всѣ въ жемчугѣ... Ведутъ ее боярыни—Мстиславская княгиня и княгиня Шуйская, жена Димитрія Шуйскаго.

Что написано на лицѣ у Марины — трудно прочитатъ... чернила еще не вышли... послѣ выйдутъ...

„Дольцю... Дольцю“... шепчетъ ея сердце, глаза котораго отвернулись назадъ, въ прошедшее... А сама она глядитъ впередъ—и идутъ послушныя головѣ, а не сердцу ноги, идутъ впередъ... При входѣ въ столовую избу протопопъ Терентій, большой риторъ и видный попина, благословляетъ ее крестомъ... На столѣ коровай и сыръ... „Это я, мое тѣло, мое сердце... Дольцю, Дольцю“...

Входитъ и онъ—не Дольця—а самъ, страшный, обаятельный Димитрій, который вырвалъ у Дольци чужое сердце и заковалъ въ золотую корону. На немъ—тѣ же богатые царскія ризы, на головѣ—вѣнецъ, по бокамъ скипетръ и держава, золотой арбузъ съ крестомъ. Холодомъ вѣетъ на Марину отъ этого величія, дрожь пробѣгаетъ по тѣлу, по волосамъ, по сердцу—но что-то неудержимо тянетъ ее впередъ, впередъ, въ этотъ холодный омутъ величія. Какъ оно обаятельно!

Ихъ опять обручаютъ. Они мѣняются кольцами, какъ тамъ, въ Краковѣ, съ Власьевымъ; но не тѣ ощущенья теперь: не на палецъ надѣлось

кольцо, а словно на сердце—и кольцо холодное, какъ холоденъ блескъ короны и державы... Они глянули другъ другу въ глаза—ни тѣ, ни другіе глаза не потупились, только ему показалось, что изъ-за ея глазъ, изъ глубины зрачковъ, выглянула Ксенія!.. Мимо... мимо, доброе, плачущее лицо.

Ихъ ведутъ въ граиовитую палату. И Мнишекъ идетъ, стараясь уловить взглядъ дочери. „Что съ татуней? Онъ блѣденъ“. А у татуни конь упалъ, когда въѣзжалъ во дворецъ, тотъ дивный конь, что вчера царь подарилъ. Дурной знакъ.

Онъ—на тронѣ... вѣнецъ... скипетръ—яблоко державное. А это кто съ обнаженнымъ мечемъ передъ нимъ? А эти юноши въ бѣломъ во всемъ и съ бердышами? Точно ангелы. Блескъ—блескъ—блескъ... У Марины голова кружится. Нѣтъ, это сердце дрожить, а голова бодро сидитъ на точеныхъ плечахъ, на лебединой шеѣ.

Онъ на тронѣ, а она стоитъ... подданная она... „Я—шляхтянка... Дольцю! Дольцю!“

Къ ней подходитъ бояринъ—сѣдой, почтенный, а лицо моложавое,—а глаза—„Боже! Езусъ-Марія: глаза того волка, что у татки на цѣпи былъ“. Это—Шуйскій, его глаза. Шуйскій говоритъ:

— Наияснѣйшая и великая государыня цесаревна и великая княгиня Марина Юрьевна всеа Русіи! Божьимъ праведнымъ судомъ, за изволеніемъ наияснѣйшаго и непобѣдимаго самодержца, великаго государя Дмитрія Ивановича, Божіею милостію цесаря и великаго князя всеа Русіи и многихъ государствъ государя и обладателя, его цесарское величество изволилъ васъ, наияснѣйшую великую государыню, взять себѣ въ цесаревну, а намъ, хлопемъ его государевымъ, въ великую государыню. И какъ Божіею милостію ваше цесарское обрученіе совершилось нынѣ, и вамъ бы, наияснѣйшей и великой государынѣ нашей, по Божіей милости и изволенію великаго государя нашего, его цесарскаго величества, вступить на свой цесарскій маестатъ и быти съ нимъ, великимъ государемъ, на своихъ преславныхъ государствахъ.

„Волкъ... волкъ... волчьи глаза... а лицо такое доброе, мягкое...“

И протопопъ Терентій опять благословляетъ ее крестомъ. Вотъ и татко тутъ, и княгиня Мстиславская—берутъ они ее подъ руки и взводятъ на тронное мѣсто. У татки руки дрожатъ. Ухъ, какъ она высоко сидитъ.

Слышатся шаги—много шаговъ, шорохъ платьевъ, бряцанье оружія, шпоръ. Входятъ панъ Олесницкій, панъ Гонсѣвскій, панъ Тарло, панъ Стадницкій, Сульця, бабуня Тарлова, пани Стадницкая, пани Гербуртова—паны и пани, пани и паны—все свои, вся Польша сошла възглянуть, какъ ихъ Марыня сидитъ на московскомъ тронѣ, въ московскомъ сарафанѣ. Легче стало на душѣ у Марины при видѣ своей Польши, а то все какія-то иконы въ ризахъ около нея стояли, мертвецы какіе-то бородатые да съ волчьими глазами. Нѣтъ только Дольци. Гдѣ-то онъ теперь? Думаетъ ли о своей маленькой Марынюшкѣ?

Входитъ Михайло Нагой, тотъ Нагой, что въ Угличѣ, когда зарѣзали

Димитрія царевича, кричалъ къ народу, указывая на Битяговскаго: „Вотъ лиходѣй царевичевъ, православные! Убейте Битяговскаго“.

Теперь Нагой принесть знаки царскаго достоинства—корону и діадему, а также крестъ. Кому онъ принесть ихъ? Своему племяннику? Но вѣдь онъ самъ хоронилъ его въ Угличѣ... Дивны дѣла, дивны дѣла твои Господи!

Царь беретъ и цѣлуетъ корону, діадему, крестъ. Цѣлуетъ ихъ и Марина. Какое холодное золото!

Сходятъ съ трона и рука объ руку выходятъ изъ дворца: его ведетъ подъ правую руку татуня, ее подъ лѣвую — княгиня Мстиславская. Впереди идетъ протопопъ Терентій и кропитъ путь святою водою. По сторонамъ—рынды въ бѣлыхъ кафтанахъ, въ высокихъ шапкахъ и съ серебряными бердышами на плечахъ... Все идетъ въ Успенскій соборъ между шпалерами стрѣльцевъ и алебардщиковъ. Тутъ же несутъ скипетръ и державное яблоко.

А народу-то, народу — кажется, Кремль весь провалится подъ топотомъ ногъ человѣческихъ, стѣны и храмы распадутся отъ звона колокольнаго, отъ сдержаннаго рокота нѣсколькихъ сотъ тысячъ народныхъ глотокъ...

— Вонъ она, матыньки, царская невѣста. Охъ, въ сарафаникѣ касатая.

— Цыпочка-то какая, матушка Богородушка! Ужъ и цыпочка — ахъ, святители!

— А скифетрo-то, скифетрo, паря! вонъ оно! вонъ оно, — ахъ ты, Господи!

— Гдѣ скифетрo-то? Покажь, покажь, ради Христа!

— Да вонъ оно, чортъ! вонъ на шапкѣ-то ишь перо какое! Ай-ай-ай! ужъ и скифетрo!

— Ишь ты, и вся не хитра, перина-то эта, а вонъ на ней, на перинѣ-то на этой, весь свѣтъ держится.

— Ай, батюшки! и Литва-то въ церковь идетъ. Ай, грѣхъ какой!

— Что ты врешь?

— Вотъ тѣ крестъ чесной — такъ-таки и вошли своими погаными ногами.

— Ай-ай-ай! ну, и пропало же наше скифетрo, братцы, — плакало... пропало...

А съ обонхъ клиросовъ при вступленіи въ соборъ жениха и невѣсты гремятъ и заливаются сотни голосовъ: „Многая лѣта! многая лѣта! многая лѣта!“... Да, многая... отъ 8-го мая до 17-го...

„Многая лѣта, многая, мысленно повторяетъ Шуйскій: „до седьмогo-надесять маія... память преподобнаго Стефана, архіепископа цареградскаго... охъ какъ много еще ждать... девять день — больше двухсотъ часовъ — болѣе десяти тысячъ минутъ! — о, и не сочтешь... милліоны біеній сердца... и съ каждымъ біеніемъ его волосъ сѣдѣетъ, а у меня ужъ и

сѣдѣть-то нечему. Дождусь-ли?... Многая, многая лѣта. Пятьдесятъ четвертый годъ оно бѣется, какъ голубь. Избилось все, истрепалось —ничего и никого не любить... Вотъ онъ—однѣхъ подошвъ не износилъ, а дошелъ до престола, а я бы и желѣзныя, адамантовыя, кажись, подошвы протеръ, а все не добрелъ“.

Марина чувствуетъ, что ее увлекаютъ какія-то волны: эти громовые возгласы: „многая лѣта“, этотъ цѣлый лѣсъ зажженныхъ свѣчей у образовъ и во всѣхъ паникадилахъ, эти блестящія ризы всего церковнаго клира и всего освященнаго собора, церемонія цѣлованія образовъ и мощей—все это какъ будто отняло у дѣвушки послѣднюю волю, и она машинально ходила отъ образа къ образу, отъ мощей къ мощамъ, поддерживаемая отцомъ и княгинею Мстиславскою.

Ей бросается въ глаза тронъ, два, три трона. Подходитъ патріархъ и, взявъ царя и ее за руки, возводитъ куда-то высоко, на чертожное мѣсто, черезъ двѣнадцать ступенекъ, къ этимъ самымъ тронамъ.

Одинъ тронъ стоитъ посрединѣ возвышенія—онъ весь золотой, усыпанный камнями — шестьюстами алмазами, шестьюстами рубинами, шестьюстами сапфирами, шестьюстами бирюзовыми камнями. По сторонамъ—два малыхъ трона: одинъ для Марины, другой — для патріарха, весь черный.

Царя сажаютъ на большой тронъ, Марину на малый, патріархъ занимаетъ черный тронъ...

Къ патріарху подносятъ крестъ, потомъ бармы и діадему, потомъ корону. Патріархъ даетъ все это цѣловать Маринѣ, возлагаетъ на нее руку, творитъ молитвы и коронуетъ ее.

Марина коронована.

Она опомнилась, когда почувствовала что-то холодное на лбу—это былъ золотой ободъ короны! Такъ вотъ оно коронованіе! Какъ легко, кажется, сдѣлаться коронованною особою. И изъ-за того только, чтобы чувствовать у себя на лбу холодъ золотого ободка, проливается столько крови...

А Шуйскій смиренно стоитъ у подножія чертожнаго мѣста и чувствуетъ, что гвоздемъ сверлитъ у него подъ черепомъ неотвязчивая мысль: „Двѣнадцать ступенекъ всего, а какъ высоко! А если изъ-подъ того вѣнца будетъ смотрѣть сюда другое лицо? Золото на сѣдыхъ волосахъ, а это молодое лицо—въ гробу“.

— Князь Василій, поправь ноги мнѣ и царицѣ,—тихо говоритъ царь.

Шуйскій вздрагиваетъ. Потомъ быстро поднимается къ тронамъ и переставляетъ ноги сначала у Димитрія, потомъ у Марины. „Ужъ и ножки же... На чемъ только она ходитъ? Словно у малаго ребенка“.

— Ахъ, Езусъ-Марія!—ужасается Урсула:—срамъ какой — старикъ за ноги беретъ.

— Конечно, пани, пріятнѣе, если бъ молодой взялъ,—вмѣшивается павъ Стадницкій.

Пани Тарлова грозитъ ему пальцемъ.

Марина, замѣтивъ перешептыванье и догадываясь, что это на ея счетъ, стыдливо опускаетъ глаза.

А служба идетъ своимъ чередомъ.

Послѣ херувимской, патріархъ возлагаетъ на Марину Мономахову цѣпь. Начинается обрядъ вѣнчанія.

Чѣмъ-то необычайнымъ отдаетъ отъ всего этого для непривычныхъ глазъ, а для Марины это имѣетъ еще и роковой смыслъ: совершается побѣда, выигранная цѣною всей жизни,

Но это только личная побѣда. А отъ нея весь Западъ ждетъ міровой побѣды—побѣды Запада надъ Востокомъ.

Въ ея сердцѣ и въ мозгу словно выросли изъ живого мяса слова самого святого отца папы:

„Мы оросили тебя своими благословеніями, какъ новую лозу, посаженную въ виноградникъ Господнемъ... Да будешь дщерь Богомъ благословенная, да родятся отъ тебя сыны благословенные, каковыхъ надѣется, каковыхъ желаетъ святая мать наша—церковь, каковыхъ общаетъ благочестіе родительское“. Страшныя, огненные слова—великое заклітіе.

А тамъ слухъ поражаютъ громовые возгласы: „Исаія, ликуй!“ Какое тревожное, острое ликование сердца и нервовъ—до боли, до боязни острое. Нѣтъ, это не ликование, а трепеть.

„А зачѣмъ онъ велѣлъ этому старику съ волчьими глазами переставить мнѣ ноги?“

— Гляди-тко, гляди-тко, отецъ Мардарій, Литва-то сидитъ въ храмѣ, вонъ на полу усѣлись, окоянные,—шепчетъ одинъ монахъ другому на клиросѣ.

— Ай, грѣхъ какой! Да это хуже, нежели бы пса въ церковь пустить.

— Что песъ! Песъ звѣрина несмысленная, а это сквернѣе, чѣмъ бабу къ алтарю подпустить: опоганили совсѣмъ домъ-отъ божій нехристи.

— И чего царь-отъ смотреть?

— И не говори! Князь Василей Ивановичъ только головой помаваетъ...

И онъ помавалъ. Ему это было на руку: царская-де роденька храмы оскверняетъ. Какой же онъ царь?

Вѣнчаніе кончилось. Царь и царица выходятъ изъ собора. Колокола задыхаются отъ звону.

На паперти князь Мстиславскій осыпаетъ золотыми монетами новобрачныхъ, вмѣсто хмѣлю—пусть-де весь жизненный путь вашъ будетъ усыпанъ золотомъ. А дьякъ Власьевъ да дьякъ Сутуповъ бросаютъ золото въ народъ. Куда дѣвалось и скипетро—не до него теперь! Куда упадетъ горсть монетъ, тамъ сотни головъ стучаются одна о другую и тысячи рукъ вцѣпляются въ волосы счастливецъ, на которыхъ угодить этотъ золотой дождь.

Когда толпа отхлынула отъ собора вслѣдъ за новобрачными, отецъ Мардарій, вышедъ изъ собора и увидавъ, что вся площадь устлана волосами изъ головъ и бородъ православныхъ, даже руками развелъ.

— Сигнѣй, а—Сигнѣй! посмотри-кось!—звалъ онъ сторожа соборнаго Евстигнѣя.—Волось-то что надрали православные.

— Что говорить, отецъ Мардарій,—много волосъ: и черные, и рыжіе, и всяки... вся площадь волосата стала.

— Что же ты съ ими дѣлать будешь?

— Не впервой народъ-отъ скубется: вотъ когда блаженной памяти царь Иванъ Васильичъ бралъ себѣ въ супруги царицу Марѳу Васильевну Собакину, такъ волосъ христіанскихъ было поболѣ надрано.

— Еще болѣ? Что ты!

— Болѣ не въ примѣръ. Та свадьба, правду сказать, православнѣе была.

— Православнѣе. И я такъ мекаю.

— Много православнѣе. Тогда мы съ женой волосъ-то хрестіянскихъ намели здѣсь на полтретья перины, а нонѣ и на двѣ перины, поди, не будетъ. Нѣтъ; мало волосъ—совсѣмъ не по православному... народъ мельчать сталъ шибко. Ну, и Литва тутъ — народъ-отъ при ней менѣ веселится—и волосъ менѣ скубеть.

— Не къ добру это, Сигнѣй.

— Гдѣ ужъ къ добру.

— Это не свадьба, а похороны.

Въ это время отъ толпы отдѣлились Теренька плотникъ, которому никакъ не удавалось жениться, и другой плотникъ, рыжій цѣвунъ. У Тереньки половина волосъ на головѣ была выдрана въ свалкѣ.

— Ну, Тереня, волосъ-отъ у тебя что надергали—полъ головы очистили,—говоритъ рыжій, поглядывая на голову Тереньки.

— Что волосы! Волосы выростутъ. А вотъ у меня, братъ, золота гривенка въ карманѣ—это почище волосъ.

— Ой-ли? Врешь?

— Не вру! вотъ она—съ двухголовой пичугой, братъ.

— Ай-ай-ай! и впрямь съ птицей — ишь пичуга какая! Двѣ головы.

— Двѣ, братъ, двужилъная: въ двѣ цѣны.

— А царапнуть бы, Теренюшка, во царевомъ кабакѣ за цареву здравіе.

— Можно. Вотъ такъ царь!

— Ужъ и подлинно царь—знатный.

— А то на—въ Угличѣ, слышь, зарѣзали. Нѣтъ, шалишь, не таковской онъ. Даромъ только гашникъ у тебя, братъ, пропалъ.

Рыжій только махнулъ рукой.

XXVII.

Надъ Москвой тучи собираются.

Брачное торжество Дмитрія и Марины было началомъ цѣлаго ряда небывалыхъ въ Москвѣ пиршествъ, продолжавшихся вплоть до послѣдняго кроваваго пира, который прямо съ брачнаго ложа свелъ этого неразгаданнаго сфинкса-человѣка въ могилу... нѣтъ! не въ могилу даже... Человѣкъ этотъ не имѣлъ и могилы,—и исторія одинаково затруднилась бы отвѣчать на вопросъ—„гдѣ могила этого сфинкса?“—какъ и на вопросъ:

„гдѣ была колыбель этого удивительнаго феномена?“ Въ четвергъ было вѣнчанье, а въ пятницу съ утра уже гремѣлъ Кремль отъ трубныхъ звуковъ, отъ колокольнаго звону, отъ неистоваго битья въ бубны и накры и отъ неумолкаемой пушечной пальбы.

— Ужъ я такъ жарилъ во всё колокола, что отъ звону-то этого всё голубиные выводки на колокольѣ поколѣли,—говорилъ отцу Мардарію сторожъ Сигиѣй, слѣзая съ колокольни.

Обѣдъ былъ въ грановитой палатѣ, а вечеромъ танцы въ новомъ дворцѣ царицы.

— Ужъ и плясавица же наша новая царица, такая плясавица, что и Иродіаду плясавицу за поясъ заткнетъ,—говорила дворскимъ бабамъ и дѣвкамъ дурка Онисья—душегрѣя плясы.

— И сама-таки, мать моя, плясала? —ужасаются дворскія бабы и дѣвки.

— Сама... сама, да еще эдакъ плечиками поводятъ, очами намизаетъ, хребтомъ выхлаетъ, а она, нехристи-то, ляхи, на нее, аки жеребцы, взирають.

Въ субботу опять содомъ въ Кремлѣ, и опять пиръ и танцы. Въ воскресенье—тоже. Въ понедѣльникъ... ну, въ понедѣльникъ случилось ужъ нѣчто необыкновенное.

У Успенскаго собора, тамъ, гдѣ недавно площадь была усеѣна клочками волосъ изъ головъ и бородъ москвичей, снова толпится разношерстный людъ. Тутъ же недалеко, на-устроенной изъ дерева эстрадѣ, тридцать четыре трубача дудятъ въ трубы, а другіе тридцать четыре музыканта, все изъ поляковъ, бьютъ въ бубны и другіе звонкіе инструменты. Подобная музыка въ то время—дѣло неслыханное: искони вѣковъ всё свои радости Москва выражала колокольнымъ звономъ—тѣмъ большая радость, тѣмъ большее число голубиныхъ выводковъ поморить Москва своимъ звономъ. А тутъ—о, ужасъ! вмѣсто колоколовъ—музыка: да это только въ аду бѣсы на сопѣлахъ играютъ...

Но тутъ же въ толпѣ толкаются какія-то бѣлыя фигуры въ бѣлыхъ колпакахъ... Одинъ толстякъ въ бѣломъ особенно жестикулируетъ.

Сваряжалъ я всякія яства и блаженныя памяти для царя Иванъ Васильевича съ его супругою Василисою Мелентьевною и съ Марьею Федоровною, готовилъ я яствія всякія и царю Федору Ивановичу съ супругою, и царямъ Годуновымъ, а такой скверны, какъ нонѣ, готовить не приходилось. Богъ миловалъ,—ораторотвовалъ онъ, размахивая руками...

Да что же стряпать-то нонѣ тебѣ пришлось, дядя? —любопытствовалъ знакомый намъ дѣтина изъ Обжорнаго ряда, котораго все, что касалось ѣды, особенно занимало, какъ спеціалиста.—Али конину?

Хуже, православные,—отвѣчалъ толстякъ, выражая на своемъ жирномъ лицѣ омерзѣніе и ужасъ.

— Что-жъ хуже конины-то? Ее татары жрутъ только.

— Хуже конины, православные,—твердитъ толстякъ.

— Такъ, може, кошекъ али собакъ?

Хуже того, православные,—и не угадаете.

Православные дѣйствительно растерялись. Что-жъ можетъ быть хуже кошки? Кто ее ѣстъ?

— Телятину!—сказалъ толстякъ трагически.

Всѣ остолбенѣли. Царь ѣстъ телятину! Царь велитъ для своего царскаго стола готовить телятину! Да этого не бывало, какъ и Москва стоитъ. Телятина самимъ Богомъ запрещена!

— Іоаннъ Богусловъ говоритъ: аще, говоритъ...—философствовалъ немножко выпившій стомаха ради отецъ Мардарій, впадая въ тонъ Горбунова.

— Батюшки свѣты! грѣхъ-отъ какой!—ахаетъ баба.

— Аще, говоритъ, телятина...

— Вотъ тѣ и скифетро, паря!

Волненіе въ толпѣ необычайное. Сообщенныя царскими поварами вѣсти о телятинѣ смутили москвичей больше, чѣмъ если-бъ имъ объявили, что царь приказалъ десятаго изъ всѣхъ обывателей московскаго царства повѣсить: на то онъ царь—и въ жизни и смерти своихъ холопей онъ воленъ. Но ѣстъ телятину—это... это такой ужасъ, отъ котораго у Москвы волосъ дыбомъ становился. Ужъ коли сказано—„аще“—ну, и дѣлу конецъ, тутъ ложись да и умирай!

— А все это ляхи надѣлали,—пояснялъ сторожъ Сягнѣй:—они царя въ соблазнъ вводятъ. Вотъ когда онъ вѣнчался, такъ я своими ушами слышалъ, когда у казанской Богородицы, въ правомъ придѣлѣ, свѣчи оправлялъ, — слышалъ, православные, какъ дьякъ Аѳанасій Ивановичъ Власьевъ говорилъ ляхамъ, что въ соборѣ-то при вѣнчаньи были: „царь-де осударь указалъ мнѣ объявить вамъ, паны, что, по нашему-де закону, въ храмъ божьемъ ни сидѣть, ни разговаривать не годится“. Такъ они, проклятые, не послушались указу царскаго: кои изъ нихъ садились на полъ подъ иконами, чтобъ царю не видно было, а кои такъ спинницами своими погаными къ святымъ иконамъ прислонились—и какъ ихъ, нехристей, Богъ за это громомъ не погромилъ!

— Царь что! Знамо, младъ вѣюношъ, отвыкъ отъ своихъ-то обычаевъ на чужой сторонѣ, а дома-то пріобыкнетъ, а вотъ уже сами поляки, псы смердящіе, такъ ихъ и роснымъ ладаномъ не выкуришь,—соглашались другіе слушатели.

— Мы ихъ выкуримъ вотъ чѣмъ! — показывалъ Охотный рядъ свой кулачище, величиною въ доброе копыто ломового жеребца.

— Мы имъ покажемъ Кузькину мать! — добавлялъ съ своей стороны Обжорный рядъ.

Какъ бы то ни было, въ народѣ уже бродило неудовольствіе на поляковъ, но Димитрій не могъ замѣтить этого. Онъ не замѣчалъ, что и его тронъ начинается пошатываться именно со дня роковой свадьбы. Онъ слишкомъ вѣрилъ въ свое могущество, въ обаяніе своего имени и въ преданность народа. Да другого ничего онъ и думать не могъ: онъ дѣйствительно показалъ себя великодушнымъ государемъ; онъ простилъ всѣхъ своихъ прежнихъ враговъ; онъ былъ милостивъ необыкновенно: по его пове-

лѣнію не было пролито ни одной капли крови его подданныхъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ признанъ царемъ. Между тѣмъ самъ онъ только и думалъ о величіи Россіи: онъ за сто лѣтъ до Петра уже задумалъ прорубить окошко въ Европу завоеваніемъ Нарвы. Съ весной, послѣ свадьбы, онъ думалъ идти добыть южныя моря, и уже отправилъ артиллерію въ Елецъ, чтобы оттуда спустить ее по Дону. Мы скажемъ глубокую историческую истину, утверждая, что Петръ черезъ сто лѣтъ явился только исполнителемъ намѣреній этого непостижимаго юноши, и Петръ достигалъ жестокостью и излишнимъ разореніемъ своихъ подданныхъ того, чего Дмитрій хотѣлъ достигнуть мягкими мѣрами и не разоряя страны. Этотъ юноша положительно задумалъ пересадить европейское образованіе на русскую почву, — и онъ бы сдѣлалъ это, если-бъ довѣрчивый великанъ не былъ погубленъ, благодаря своему великодушію, ничтожнымъ пигмеемъ — Шуйскимъ, у котораго и было только одно качество — коварство раба...

Были и около Дмитрія люди, которые понимали это и предупреждали его; но онъ постоянно отвѣчалъ имъ: „Не бойтесь, я не Борисъ...“ Это были — Григорій Отрепьевъ и его другъ Треня кудрявый, его совоспитанникъ, а нынѣ вольный донской казакъ. Отрепьевъ, одинъ изъ образованнѣйшихъ москвичей того времени, глубоко зналъ душу Москвы. Принадлежа къ тѣмъ москвичамъ, надо признаться, очень рѣдкимъ экземплярамъ, какъ дьякъ Власьевъ, которые уже вкусили и эллинской и латинской мудрости, Отрепьевъ не могъ дышать въ затхлои атмосферѣ старины и черезъ это долженъ былъ показаться чернокнижникомъ, магомъ, еретикомъ и — всѣмъ проститься съ Москвою, сдѣлаться эмигрантомъ, подобно Курбскому. Явленіе необыкновеннаго юноши подъ именемъ Дмитрія и отождествленіе этого имени съ его собственнымъ именемъ, съ именемъ Григорія Отрепьева, заставили этого послѣдняго снова воротиться въ Москву. Воротившись, какъ и Треня, онъ увидѣлъ, что Москва — все та же, и что Дмитрію не легко будетъ повернуть ея воловью шею такъ, чтобы она глядѣла на Западъ, къ солнцу знанія, а не рылась, какъ свинья подъ дубомъ, добывая только жолуди, когда тамъ, на Западѣ, можно было добыть и апельсины. Отрепьевъ видѣлъ, что едва Дмитрій начиналъ оглядываться на Западъ, какъ на него уже начали набрасывать тѣнь подозрѣнія — и жолуди выступали на сцену: онъ нарушаетъ старину, топчетъ-де наши жолуди вѣковѣчные и хочетъ-де кормить насъ проклятыми апельсинами да телятиной. Отрепьевъ не разъ намекалъ объ этомъ Дмитрію, но тотъ, въ упоеніи первыхъ дней любви, ласково отвѣчалъ ему:

— Не бойся, Григорій, я не Борисъ. Ты человекъ книжный, много знаешь, много думаешь, даже больше, чѣмъ слѣдуетъ, и оттого горчишное зерно тебѣ кажется арбузомъ. Знай свои книги, а кормило правленія оставь мнѣ — мой корабль пойдетъ шибко...

И онъ бы, безъ сомнѣнія, пошелъ, если-бъ на кораблѣ не было мышей, которыя и прогрызли его дно...

Вотъ почему торжество молодого царя не радовало Отрепьева... Въ то

время, когда передъ дворцомъ гремѣли бубны и литавры, а царскіе повара рассказывали ужасы о телятинѣ, Отрепьевъ и его другъ Треня сидѣли въ кельѣ Чудова монастыря и грустно о чемъ-то разговаривали.

— Такъ какъ же ты, Юша, мыслишь—опять кинуть Москву?

— Такъ намыслилъ, Тренюшка другъ: идти за море, потолкаться по чужимъ землямъ, поглядѣть, что тамъ дѣлается.

— Ну, и въ какія-жъ страны ты намыслилъ, Юша?

— Сказывалъ мнѣ французинъ Яковъ Маргаритовъ, дружинникъ царевъ, что можно-де по сухопутью дойти до францовскаго до стольнаго града, Паризіемъ именуется, а въ томъ-де градѣ дива неисповѣдимыя. А изъ Паризія-де града по сухопутью-жъ идти черезъ горы великія въ шпанскую землю, а лежитъ та шпанская земля отъ францовской на полдень, и въ той шпанской землѣ градъ Мадридъ дивный и монастырей много. Да изъ францовской же земли проходъ есть и до Рима града, въ коемъ въ оно время, какъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ по землѣ ходилъ, Августъ Кесарь царствова и мощи апостола Петра обрѣтаются. Да изъ францовской же земли недалече дойти и до галанской земли, идѣже астрадамовскія сукна дѣлаютъ. А изъ галандской-де земли моремъ недалече добѣжать и до аглицкой земли, а кораблемъ можно дойти и до индѣйскія земли, и до Аравіи, и до Ерусалима, и за океанъ въ землю америкійскую. И, Господи! чего-чего нѣтъ подъ солнцемъ, и все сіе возможно человѣку узрѣти. Вотъ хоть бы, другъ Треня, америкійская земля — вѣдаешь, гдѣ она обрѣтается?

— А гдѣ, Юша? Въ томъ „Космографіонѣ“, что мы съ тобой когда-то въ этой келейкѣ читывали, сказано, якобы америкійская земля лежитъ отъ аглицкой и отъ францовской и отъ шпанской земель къ западу, за великимъ окіаномъ, а гдѣ—не вѣдаю.

— Вотъ гдѣ она, Тренюшка.

— Какъ, Юша?—съ удивленіемъ спросилъ Треня.

— Такъ, подъ симъ поломъ.

— Что ты, Юша, шутишь?

— Не шучу я, другъ мой. Земля, вѣдомо тебѣ изъ „Космографіона“, круга, аки яблоко. Такъ вотъ на сей странѣ яблока обитаемъ мы,—аки мухи ползаемъ по яблоку, а на той странѣ яблока—америкійскіе люди: и выходятъ, что ихъ подошвы супротивъ нашихъ подошвъ. Вотъ куда душа меня тянетъ, Тренюшка другъ.

— А Настеньку Романову вытравилъ изъ души?—немного помолчавъ, спросилъ Треня.

— Ее не вытравить мнѣ и могилою. Съ собою унесу ея обличье кроткое — въ соніяхъ буду видѣть ее; я — не суженый для сей птички райской: я—воронъ, и самъ занесу мои кости за тридевять земель. А ты что мыслишь съ собой дѣлать?

— Думаю взглянуть еще разъ на Ксенію, а тамъ опять понесу мою буйную голову на тихой Донъ. Изъ монастырской кельи, все едино, что

изъ темной могилы, ей ужъ нѣту другого выхода, какъ къ Богу на небо. Ипатушка иконникъ сказывалъ мнѣ, что видѣлъ ее на Бѣлѣ-озерѣ, во инокиняхъ: изъ Оксиньи она стала старицею Ольгою... Пытала, сказывается Ипать, про Москву, про царя, про насъ—и плакала, говорить. Эхъ, хотъ однимъ глазкомъ взглянуть бы на нее, да тогда и опять на Донъ.

— Брось ты эту думу, Треня.

— Какъ бросить-то? Это не скорлупа орѣхова.

— Пойдемъ со мной—по сказкѣ французина Якова Маргаритова: размычемъ наше горе по свѣту.

— Нѣтъ, Юша, не пойду я, не то я задумалъ.

А что?

— Большое дѣло задумалъ я, Юша. Не даромъ мы съ тобой книгу „Космографіонъ“ читывали. Видишь, Юша, тѣсно и душно на Москвѣ и мнѣ тѣсно въ ней стало. За чѣмъ я шелъ сюда съ Дону, того не нашелъ—и Москва мнѣ опостылѣла: тоска такая, что хотъ руки на себя наложить, такъ впору. И замыслилъ я такое дѣло: есть у насъ на Дону старый казакъ, Верзигой зовутъ, и былъ онъ въ неволѣ у бусурманъ. Взяли его въ подѣздѣ ногайскіе тотаровья, годовъ двадцать тому назадъ, и продали его въ кизылбашскую землю, а изъ кизылбашеской земли торговые люди выторговали его и увели за рѣку Тигръ и Ефратъ, гдѣ былъ рай земной. А изъ-за Тигровой рѣки увели его торговые люди въ индійскую землю за Гангову рѣку. И жилъ онъ въ индійской землѣ лѣтъ съ десять, а то и болѣ. А водятся въ индійской землѣ слоны да пардусы, а живутъ индійскіе люди не подобнымъ образомъ, и на слонахъ, аки на волахъ, ѣздятъ, строячи на слонахъ шатры, и въ тѣхъ шатрахъ ѣздятъ. И золота въ индійской землѣ видимо-невидимо, и овощъ всякій, и звѣрь пушной. А царь въ индійскомъ царствѣ не одинъ, а все царьки, и у цариковъ промежъ себя частое розратье бываетъ, и на слонахъ бои бываютъ. А индійское царство супротивъ сибирскаго царства богаче и люднѣе не въ примѣръ... Вотъ, я и думаю Юша: коли Ермакъ Тимофеевичъ съ товарищи сибирское царство разгромилъ и подклонилъ, такъ для чего не разгромяю я съ войскомъ донскимъ царство индійское? Пройти можно тою дорогою, коею онъ изъ индійскаго царства вышелъ изъ полону: сперва идти на Волгу, а съ Волги на Яикъ, а съ Яика на Сыръ да на Аму-рѣку, а съ Сыръ да Аму-рѣки степью на верблюдахъ да на коняхъ степью, а тамъ горами, а за горами и индійское царство живетъ.

Отрепьевъ грустно слушалъ смѣлую фантазію своего друга и тихо качалъ головой.

— Что, Юша, качаешь головой? Не вѣришь?

— Вѣрить-то вѣрю, да не сбыточное это дѣло, чтобъ до индійской земли дойтить.

— По что не сбыточное? Али мы не читывали съ тобой, какъ Александръ царь Македонскій въ оную индійскую землю прошелъ?

— Ты опять, Треня, за Александра Македонскаго.

— Что-жъ! и онъ былъ человѣкъ. А какъ покорю индѣйское царство, такъ тогда не стыдно будетъ и царскую дочь за себя взять. Тогда и возьму я изъ монастыря Ксенію Борисовну царевну, и будетъ она у меня индѣйскою царицею, какъ Марина Юрьевна стала царицею московскою и всеа Русіи. Вотъ тогда и приходи къ намъ въ гости.

Отрепьевъ продолжалъ качать головой, съ грустной улыбкой глядя на своего друга.

— Эхъ, Треня, Треня! ты остался все тѣмъ же, какимъ былъ: аки соколъ, рѣешь думами по поднебесью—и легче тебѣ оттого. Когда-то ты загадывалъ гробъ Господень достать, какъ раньше того искалъ жаръ-птицу да царевну Несмѣяну.

— Что-жъ, Юша, царевну-то я нашелъ: чѣмъ Оксинья Борисовна не Несмѣяна царевна?

— Да ты-то, Треня, не царевичъ.

— Не царевичъ, а буду индѣйскимъ царемъ!

Отрепьевъ всталъ и, положивъ руки на курчавую голову друга, тихо проговорилъ:

— Да ниспошлетъ Господь Богъ свою благодать на эту хорошую голову! Думай, Треня, объ индѣйскомъ царствѣ, ищи его, и ты обрящешь царствіе божіе—душу свою соблюдеши въ чистотѣ и въ вѣрѣ. Никогда въ жизни не ищи малаго, а ищи великаго—и найдешь великое.

— Буду искать и Богъ мнѣ поможетъ найти,—сказалъ Треня глубоко растроганный.—И ударю я тогда челомъ всѣмъ индѣйскимъ царствомъ царю московскому Дмитрію Ивановичу всеа Русіи.

Хотя мечтатели и сознавали смутно, что около Дмитрія творится что-то неладное, однако, они и не подозрѣвали той глубины пропасти, которую успѣла тайно выкопать подъ ихъ юнымъ царемъ лопата лукаваго Шуйскаго, а лопата эта подъ корень копала дерево, которое, казалось, пускало глубокіе корни въ московскую почву.

Въ этотъ самый вечеръ, когда Треня мечталъ объ индѣйскомъ царствѣ и объ индѣйской царицѣ Ксеніи, а Отрепьевъ, по сказкѣ французина Якова Маргаритова, мечталъ пройти на нижнюю половину земли, за великій океанъ, и когда Дмитрій пировалъ въ покояхъ царицы въ обстановкѣ, перенесшей поляковъ во дворецъ ихъ короля (такъ все устроено было „по-польску“),—въ эти самые часы вотъ что творилось въ богатыхъ палатахъ Шуйскаго, именно со вторника на среду.

Въ уединенномъ покоѣ, скорѣе похожемъ на образную, чѣмъ на жилую комнату, происходитъ тайное совѣщаніе соумышленниковъ Шуйскаго. Тутъ—вышшіе бояре московскаго царства: старѣйшій всѣхъ родомъ, но не заслугами, недалекій князь Мстиславскій, постоянно повторявшій послѣднія слова Шуйскаго, Шуйскій съ братьями Дмитріемъ и Иваномъ, князь Василій Голицынъ съ братьями; тутъ виднѣется и грубое, дубоватое лицо Михайлы Татищева, и орлиный носъ Григорія Валужева, и плѣшивая голова дьяка Тимофея Осипова, великаго постника и святоши, который даже сахаръ счи-

талъ скромнымъ на томъ основаніи, что его будто бы пропускаютъ для очистки чрезъ жженныя кости, и который разъ каялся попу въ томъ, что въ постъ оскормился, по забывчивости взявъ въ ротъ зубочистку изъ гусинаго пера (тутъ онъ находилъ двойной грѣхъ: перо гусиное скромно само по себѣ, ибо гусь — скромное, а зубочистка скромна потому еще, что онъ на сырной недѣлѣ, послѣ рыбнаго кушанья, ковырялъ этой зубочисткой въ зубахъ); тутъ же серебрится и сѣдая борода купчины Конева съ серьгой въ ухѣ; тутъ и нѣкоторые изъ стрѣлцкихъ головъ, которыхъ Дмитрій отправлялъ въ Елецъ для предстоящаго похода Дономъ на Азовъ, сотники и пятидесятники... Всѣ слушаютъ Шуйскаго, который говоритъ медленно, но съ необыкновеннымъ для него воодушевленіемъ, — а Мстиславскій, какъ сорока, повторяетъ его послѣднія слова.

— Припомните, князи, бояре, думные, гостинные и ратные люди лучшіе! Еще въ прошломъ году я говорилъ, что царствуетъ у насъ не сынъ царя Ивана Васильевича, — и за то мало головы не потерялъ. Тогда Москва меня не поддержала.

— Москва не поддержала — это точно, — повторялъ послѣднюю фразу Мстиславскій.

— Что-жъ! пускай бы онъ былъ не настоящій царевичъ да человекъ хорошій, а то видите сами, что это за человекъ, до чего онъ доходитъ. Женился на полькѣ — и возложилъ на нее вѣнецъ. Некрещеную дѣвку ввелъ въ церковь и причастилъ! Роздалъ казну русскую польскимъ людямъ — отдастъ имъ и насъ въ неволю!

— Отдастъ, отдастъ въ неволю, — глупо повторяетъ Мстиславскій.

— Ужъ и топеревы поляки дѣлаютъ съ нами что похотятъ — грабятъ насъ, ругаются надъ нами, насилуютъ женщинъ, оскверняютъ святыни. Теперь собираются за городъ съ нарядомъ и съ оружіемъ ради якобы воинской потѣхи, а доподлинно затѣмъ, чтобъ насъ всѣхъ, лучшихъ людей, извести и забрать Москву въ свои руки. А тамъ придетъ изъ Польши большая рать — и тогда поработятъ всю русскую землю, искоренятъ нашу вѣру, разорятъ церкви божіи.

— Разорятъ, это точно что разорятъ, — повторяетъ Мстиславскій.

— Князи и бояре и всѣ лучшіе люди! помните мое слово: буде мы не срубимъ сіе пагубное древо въ лѣторасліи, то оно выростетъ до небесъ и подъ нимъ московское государство погибнетъ до конца! Погибнетъ — и наши малыя дѣтки, подымаючи ручки въ колыбелкахъ своихъ къ небу, будутъ плакать съ воплемъ великимъ и жаловаться Отцу небесному на отцовъ своихъ земныхъ за то, что они въ пору не отвратили бѣды неминучей. Возьмемъ же топоръ и срубимъ древо погибельное: либо намъ погубить злодѣя съ польскими людьми, либо самимъ загинути. Пока ихъ немного, а насъ много, и они пьянствуютъ, ничего не подозрѣвая, — теперь мы должны собраться и въ одну ночь выгубить ихъ. Готовьте топоры! точите, топоры, братцы!

— Точите, точите, братцы, — повторяетъ Мстиславскій.

— Они наточены, паточены остро, на шеи еретицкія! — отзывается все собраніе. — Веди насъ, князь Василій Ивановичъ!

— Ради вѣры православной я принимаю начальство, — говорить лизца, превращающаяся въ волка. — Идите и подбирайте людей. Ночью съ пятка на субботу, чтобы были помѣчены крестомъ дома, гдѣ живутъ поляки. Рано утромъ въ субботу, когда заговорить набатный колоколъ, пускай всѣ бѣгутъ и кричатъ, якобы поляки хотятъ убить царя и думныхъ людей, и Москву взять въ свою волю. Пускай кричатъ такъ по всѣмъ улицамъ. Когда народъ бросится на поляковъ, мы тѣмъ временемъ, якобы спасая царя, бросимся въ Кремль и... покончимъ съ еретикомъ. Если наше дѣло пропадетъ, пропадемъ и мы, то купимъ себѣ вѣнецъ непобѣдимый и жизнь вѣчную, а не пропадемъ — такъ вѣра православная будетъ спасена навѣки!

— Аминь! — мрачно произнесъ Гермогенъ, митрополитъ казанскій.

— Благослови, владыко, на святое дѣло, — сказалъ Шуйскій.

Всѣ встали и наклонили головы. Гермогенъ взялъ со стола крестъ и, трижды осѣнивъ имъ наклоненныя головы заговорщиковъ, передалъ этотъ крестъ Шуйскому, говоря:

— Буди благословенъ путь вашъ! Идите на дѣло святое за симъ крестомъ — Христосъ будетъ впереди васъ. Аминь...

XXVIII.

„Спи, спи, русская земля!“

Прошелъ еще день. Поляки ликовали. Съ великою торжественностью и великою пышностью справили они, въ четвергъ, „боске цяло“. Имъ казалось, что вольная, счастливая, блестящая Польша переселилась въ хмурую, холодную, хлопскую Московію и согрѣла ее своею вольностью, освѣтила своимъ блескомъ, оживила мелодіею польской рѣчи, польской пѣсни...

Ксендзъ Помасскій былъ такъ величественъ во время богослуженія, особенно, когда, благословляя царницу Марину, на головѣ которой горѣла брилліантовая коронка, онъ говорилъ:

— Благословенная изъ благословенныхъ дочерей святой матери нашей, церкви апостольской, великая царица московская! Надъ коронованною главою твоею блестятъ лучи славы безсмертной — это святая непорочная Дѣва Марія осѣняетъ своею божественною дланью. — Она черезъ божественнаго Сына своего возвела родъ человѣческій отъ смерти къ жизни, вывела изъ геенны огненной: ты выводишь народъ московскій изъ мрака невѣдѣнія, варварства и рабства къ свѣту истинной вѣры и просвѣщенія. И будетъ имя твое славно и честно изъ вѣка въ вѣкъ: оно станетъ на ряду съ именами первыхъ апостоловъ, и цари земные придутъ и поклонятся тебѣ... О, Самборъ! ты будешь новымъ Назаретомъ.

Паны и пани таютъ отъ удовольствія. Сама Марина глубоко взволнована.

— Ахъ, Марыяцю, вотъ смѣшно будетъ, когда въ косцелѣ поставятъ твой образъ и панъ пробощъ заставитъ молиться тебѣ, — шепчетъ ей Урсула,

когда ксендзъ кончилъ свою рѣчь.—Я тебѣ никогда не буду молиться, Марынцю,—свента Марынця! Какъ смѣшно...

— Перестань, Сульцю, ты все со своими глупостями,—отвѣчаетъ Марина, отворачиваясь.

— А я, ваше величество, буду молиться вамъ усерднѣе, чѣмъ всѣмъ другимъ святымъ,—шепчетъ пажъ Марины, юный паничъ Осмольский.

Марина грозитъ ему вѣеромъ, а юноша краснѣетъ, какъ вареный ракъ. Онъ давно питаетъ тайную страсть къ своей хорошенькой повелительницѣ, и еще въ Самборѣ вытравилъ у себя на тѣлѣ, подъ лѣвымъ сосцомъ, букву М.

На улицахъ Москвы и въ Кремлѣ также ликуетъ вольная, беззаботная Польша. То и дѣло слышатся выстрѣлы—это холостыя салютаціи къ празднику,—и какъ ни невинны эти забавы беззаботныхъ пановъ и ихъ гульливыхъ гайдуковъ, однако подозрительныхъ москалей это тревожитъ и раздражаетъ.

— И какого бѣса они все стрѣляютъ, нехристи? Только дѣтей пугаютъ,—говоритъ гигантъ изъ Охотнаго ряда, косо поглядывая на скачущихъ то тамъ, то здѣсь польскихъ жолнеровъ.

— Да вонъ тамъ за городомъ опять крѣпость потѣшную ставятъ—отнимать будутъ у насъ,—отвѣчаетъ дѣтина изъ Обжорнаго ряда.

— Держи карманъ! Дадимъ мы имъ!

— Вонъ и пушки повезли.

— То-то! пушай везутъ на свою голову. А вонъ, сказывалъ Коневъ, царь-пушка не пошла.

— Какъ не пошла?

— Да такъ—упералась, голубушка, да и ни съ мѣста.

— А они нѣшто и ее хотѣли взять?

— Какъ же... Да она у насъ, матушка, не дура.

— А вотъ дядя Сигнѣй—звонарь, что на Успенской колокольнѣ звонить, про чудо сказывалъ.

— Ой ли? какое чудо?

— А во какое, братъ: на Миколу стали звонить къ утрени въ царь-колоколъ, а онъ не звонитъ...

— Что ты? Какъ не звонить?

— Такъ и не звонитъ—нѣмой сталъ, акъ бы человѣкъ: и языкъ есть, да не звонитъ—на поди!

— Что жъ эго съ нимъ случилось?

— А осерчалъ на нехристей. Какъ онъ осерчалъ-то да пересталъ звонить, такъ Сигнѣй-то звонарь мало съ ума не сошелъ со страху. Бѣжить къ попу Терентію, да въ ноги: „Батюшка! говоритъ: пропала-де моя головушка! Царь-колоколъ кто-то расшибъ“.—„Какъ расшибъ?“—пытается попъ Терентій.—„Да такъ—не звонитъ, а и трещины не выдать“.—Пошли они къ ему, къ царь-то колоколу съ попомъ Терентіемъ, глядятъ со всѣхъ сторонъ—цѣлехонекъ. Раскачали языкъ, ударили—не звонитъ: словно въ перину кулакомъ бьетъ языкъ-отъ... А попъ-отъ Терентій—дока онъ, знаетъ свое дѣло—покачалъ эдакъ головой да и говоритъ: „Это-де зна-

меніе—чудо. Колоколъ-отъ не разшибенъ, а онъ-де онѣмѣлъ — осерчалъ на нехристей. Да къ патріарху слышь: такъ и такъ — царь-де колоколъ нашъ сталъ отъ серцовъ. Такъ ужъ самъ-отъ патріархъ насилу отчиталъ его да водой откропилъ отъ нѣмоты.

— Ну, и зазвонилъ?

— Зазвонилъ.

— Ахъ, они проклятые! Ишь усищи, словно кнуты подвитые.

Это замѣчаніе относилось къ знакомымъ намъ краковскимъ панамъ— къ пану Непомуку и къ пану Кубло, которые важно проходили въ это время по Красной площади, неистово звякая саблями и гордо поглядывая по сторонамъ. Имъ казалось, что вся Москва, разинувъ ротъ, любитъся ими. Да и какъ не любоваться, пане, такими молодцами? Одѣты они богато: на панѣ Непомукѣ голубой кунтушъ съ зелеными шароварами и красная магирка, на панѣ Кубло—красный кунтушъ съ желтыми канареечнаго цвѣта шароварами и синяя магирка; на ногахъ у перваго сафьяновыя сапожки, у пана Кубло—„вѣльки буты“, вмѣсто женскихъ стоптанныхъ котовъ.

— О, пане! столько у меня дѣла, столько, что хоть въ петлю полѣзай, а сдѣлай!—хвастается панъ Непомукъ. — Теперь ея милость царица московска, наияснѣйшая пани моя Марина, задумала маскарадъ на воскресенье: „и то, панъ Непомукъ, сдѣлай, и то прикажи, и это достань“... Просто бѣда! А его милость царь, помня нашу старую дружбу въ Самборѣ, говоритъ: „панъ Непомукъ, дружище, у меня князь Василій Шуйскій старъ становится, такъ я буду тебя просить занять его мѣсто въ боярской думѣ“. Ну, вотъ тутъ и разрывайся, панъ Непомукъ!

— О, пане!—вретъ въ свою очередь панъ Кубло; — а мнѣ его милость царь говоритъ сегодня: „Пане Кубло, говоритъ, на тебя вся моя надежда! Я посылаю Басманова съ войскомъ противъ татаръ—будь ему отцомъ и благодѣтелемъ: поѣзжай съ нимъ, и какъ ты, говоритъ, Вѣну бралъ съ Стефаномъ Баторіемъ, такъ помоги мнѣ взять Цареградъ“... Ну, какъ тутъ отказаться, пане?

— А я такъ вотъ что, пане, отрѣзалъ его милости царю: „Ваше величество! говорю, хотя князь Шуйскій и недалекій старичокъ, порядочная-таки, говорю ваше величество, съ позволенія сказать, тряпка, да все же онъ родовитый москаль... Такъ какъ бы намъ, говорю, ваше величество, не обидѣть Москву?“ — „О, панъ Непомукъ дружище!—говоритъ: мы съ тобой вдвоемъ управимся со всею Москвой“...

— А я, пане, вотъ что сказалъ его милости царю: „Ваше величество, говорю (такъ-таки прямо и бухнулъ),—я, признаться, люблю хорошенькихъ кобѣтъ, и московскія пани меня, говорю, на рукахъ носятъ,—такъ мнѣ, говорю, ваше величество, не хотѣлось бы разставаться съ хорошенькими московками, а панъ Басмановъ, говорю, и одинъ справится съ этою сволочью—турками“. А онъ грозитъ мнѣ пальцемъ и говоритъ: „У, плутишка, Іосифъ прекрасный! такъ я за то женю тебя на царевнѣ Ксеніи Годуновой“. Ну, пане, я такъ и растаялъ.

— Еще бы, пане.

— Да мнѣ что, пане! Противъ меня, пане, ни одна московка не устоитъ—такъ на шею сами и бросаются.

Въ это самое время черезъ площадь проѣзжала каптана, по обыкновению завѣшенная цвѣтною матеріею.

— Подайте Христа ради, поминаючи родителейъ своихъ, — проскрипѣлъ голосъ нищаго, сидѣвшаго у дороги.

Занавѣсъ каптаны отдернулась, и оттуда выглянуло хорошенькое женское личико, полное и румяное. Такая же полная бѣлая рука бросила нищему мѣдную монету.

— За здравіе царевны Ксеніи, — слышалось изъ каптаны.

Увидѣвъ хорошенькое личико, панъ Кубло пріосанился: руки, ноги, голова, усы—вся фигура его и движенія напоминали кобеля, рисующагося передъ своими дамами; не доставало только хвоста бубликомъ, но у пана Кубло хвостъ замѣняла сабля, торчавшая сзади и бившая его по ногамъ.

Когда женское личико вновь выглянуло изъ каптаны, чтобы бросить монету другому нищему, панъ Кубло подскочилъ козелкомъ къ самой каптанѣ и послалъ воздушный поцѣлуй неизвѣстной красавицѣ. Это увидѣлъ великанъ изъ Охотнаго ряду.

— Ахъ ты, гусынинъ сынъ! нехристь эдакая! Вотъ я тебя! — закричалъ онъ, показывая кулакъ.

— Лови его, проклятаго кулика! — крикнулъ дѣтина изъ Обжорнаго ряду.

Панъ Кубло и панъ Непомукъ, забывъ свою храбрость и величіе, кинулись улепетывать.

— Ату ихъ! ату ихъ, гусынинныхъ дѣтей!

— Держи ихъ, трясогузовъ проклятыхъ!

Герои улепетывали такъ быстро, что ихъ бы и конемъ не догнать, и скоро юркнули въ посольскій дворъ.

— Я, пане, не хотѣлъ рукъ марать съ этими грубыми галганами, — говорилъ, тяжело дыша, панъ Кубло: — у него, пане, одинъ грязный кулакъ, а у меня, пане, рыцарская сабля — стыдно бы было убивать эту бѣшенную собаку.

— А я, пане, потому ушелъ, — оправдывался, въ свою очередь, панъ Непомукъ: — что мнѣ его милость царь сказалъ: „береги свою жизнь, панъ Непомукъ, — она нужна для счастья всей русской земли“. Вотъ тутъ и вертись.

А между тѣмъ Дмитрій не замѣчалъ, а если и замѣчалъ, то не обращалъ вниманія на вспышки, на глухіе подземные удары, которые обнаруживали присутствіе подземнаго огня, готоваго пожрать нарождающееся царственное величіе необыкновеннаго юноши съ его грандіозными планами, съ его дерзкою рѣшимостью изумить весь міръ, прогремѣть до послѣднихъ предѣловъ земли. Упоенье любовью и личнымъ счастьемъ не отвлекало его отъ кипучей государственной дѣятельности, и Васмановъ, Власевъ, Сутуповъ, Рубецъ-Мосальскій и князь Телятевскій постоянно

призываемы были для представленія докладовъ, для подачи къ подписанію указовъ, грамотъ, законовъ и для выслушиванья разныхъ именныхъ повелѣній.

— Какъ ты много работаешь, милый,—говорила ему Марина утромъ въ пятницу, когда онъ пришлъ къ ней послѣ утреннихъ занятій. — Ты похудѣлъ даже.

— Это ничего, сердце мое коханое, я похудѣлъ отъ счастья,—отвѣчалъ онъ задумчиво.— Мы теперь не въ Самборѣ, не въ паркѣ у гнѣзда горлинки. Помнишь?

— Помню, милый. Думала ли я тогда, что такъ выйдетъ.

— Да. А какъ дрожали твои руки, сердце мое, когда ты тѣхъ птичекъ кормила рисовой кашкой. Но ты не видѣла, какъ мое сердце дрожало.

— Я слышала его, когда ты тамъ наклонился ко мнѣ. А знаешь, когда это было, милый?

— Какъ когда?

— Сегодня ровно два года. Это было 16 мая, на другой день послѣ того, какъ татко праздновалъ день твоего спасенья въ Угличѣ и какъ тогда противный панъ Непомукъ велѣлъ зарѣзать къ столу бѣдную горлинку.

Димитрій задумался—не то онъ вспомнилъ о неразгаданномъ своемъ прошломъ, не то слова Марины разбредили въ немъ другія воспоминанья.

— Два года... ровно два года... пятнадцатое—шестнадцатое мая. А сколько пройдено въ эти два года! До трона дошли,—говорилъ онъ какъ бы самъ съ собой.—До трона... а какъ невысоко до трона. Сердце мое! радость моя! такъ надо праздновать этотъ день—первыя именины нашей любви.

— Да. Еще когда пришла Ляля потомъ...

— Кто это такая Ляля, сердце мое?

— Ляля—покоювка моя, дѣвочка, что влюблена была въ пахолка Тарасика. Какъ увидала она меня послѣ твоего ухода изъ парка, такъ и руками всплеснула. „Ахъ, панночко!—говорить:—яки у васъ очи велики стали—ще бильши и кращи якъ були... Таки очи... якъ у Богородици, що зъ Рима привезли—Мадоною зовуть“...

— Ахъ, ты, моя Мадонна! Ляля правду сказала въ невинности сердца—ты Мадонна. Отиразднуемъ же сегодня именины нашей любви, а завтра за дѣло.

— За какое дѣло, милый? Точно ты мало дѣлаешь?

— О! у меня много дѣла впереди, сердце мое, много, такъ много, что во всю жизнь не передѣлаешь. Теперь ужъ готовятся рати и стягиваются къ Ельцу. Когда прибудетъ весь нарядъ и обозы съ кормомъ и припасами, тогда я самъ вмѣстѣ съ тобою, сердце мое, поведу мои рати къ Азову. Возьму Азовъ—это у меня будетъ первая дверь въ море. Черезъ эту дверь я выведу мои рати въ море, да въ союзъ къ королемъ Жигимонтомъ да съ королемъ Генрихомъ четвертымъ французскимъ (къ нему я посылаю посломъ, сердце мое, Якова Маржерета). да съ цесаремъ римскимъ ударю на Царьградъ и изгоню турокъ изъ Европы, освобожу святую Софію, Гробъ Господень...

— Ахъ, милый мой! великій мой! какой ты великій! — обнимала его восторженная Марина, мечты дѣтства которой, казалось, уже сбывались и она подносила ключи отъ Гроба Господня святому отцу, папѣ.

Но послѣдней мечты она не довѣрила своему Димитрію.

— Мой великій! мой славный!—шептала она.

— Мое величіе и моя слава впереди, сердце мое. Потомъ я хочу воротить русской землѣ то, что принадлежало моимъ прародителямъ—Рюрику, Синеусу, Трувору, князьямъ кіевскимъ, галицкимъ, полоцкимъ. Все это должно быть моимъ—отъ сѣверныхъ морей до южныхъ. Я хочу, чтобъ мои корабли ходили вокругъ свѣта. Потомъ я намѣренъ заложить въ Москвѣ университетъ.

— Такой, какъ въ Гейдельбергѣ, милый, куда уѣхалъ...

Она не договорила и покраснѣла. Димитрій замѣтилъ это.

— Кто уѣхалъ въ Гейдельбергъ, сердце мое?—спросилъ онъ.

— Мой знакомый... знакомый татки.. Урсулочки... (Она видимо смѣшалась).

— Да кто же, кто, другъ мой?

— Онъ... ты дрался съ нимъ... ранилъ его...

— А! князь Корецкій, что вздыхалъ по тебѣ.

Тѣнь пробѣжала по лицу Димитрія. Но онъ въ то же время почему-то вспомнилъ Ксенію... вечеръ 23-го іюля. „Митя... дядя... Митя мой!“ отозвалось у него въ сердцѣ—и онъ молча обнялъ Марину, не смѣя взглянуть ей въ глаза.

— А помнишь, душа моя, нашу охоту въ Самборѣ? — сказалъ онъ, стараясь скрыть свое смущеніе.

— Когда ты ходилъ на медвѣдя Годунова? Помню, еще бы не помнить этого дня!

— А что? испугалась развѣ?

— Да, милый. Охъ, какъ было страшно! Но главное не то, не это я помню.

— Что же это такое другое, сердце мое?

— А то, что тогда въ первый разъ я почувствовала, что люблю тебя. За тебя-то я и испугалась, милый.

Въ это время вошелъ старый Мнишекъ. Онъ былъ встревоженъ. Димитрій замѣтилъ даже, что у него дрожала рука, когда, въ знакъ благословенія, онъ положилъ ее на голову дочери.

— Что скажетъ панъ отецъ?—спросилъ царь.

— Сынъ мой! тебѣ угрожаетъ опасность. Сегодня пришли ко мнѣ жолнеры и говорятъ, что вся Москва поднимается на поляковъ. Заговоръ несомнѣнно существуетъ.

Царь хладнокровно замѣтилъ:

— Удивляюсь, какъ ваша милость позволяете жолнерамъ приносить всякія сплетни.

— Ваше величество,—отвѣчалъ воевода:—осторожность никогда не заставитъ пожалѣть о себѣ—и потому будьте осторожны!

— Ради Бога, панъ отецъ, не говорите мнѣ объ этомъ больше. Иначе—намъ это будетъ очень непріятно. Мы знаемъ, какъ управлять государствомъ. Нѣтъ никого, кто бы могъ что-нибудь сказать противъ насъ—мы никого не казнили, никого не наказали,—ни одна слеза не упала еще изъ глазъ

моихъ подданныхъ мнѣ на совѣсть. Но если-бъ мы увидѣли что-нибудь дурное—въ нашей волѣ лишить жизни виновнаго.

Онъ говорилъ медленно, строго, царственно. Живые глаза его сдѣлались какими-то стоячими, глубокими, безцвѣтными. Потомъ онъ прибавилъ:

— Хорошо. Для вашего успокоенія я прикажу стрѣльцамъ ходить съ оружіемъ по тѣмъ улицамъ, гдѣ поляки стоятъ.

Вошелъ Басмановъ. Лицо Дмитрія прояснилось.

— Что, мой вѣрный?—спросилъ онъ ласково.

— Не безопасно въ городѣ, царь-осударь,—тихо отвѣчалъ Басмановъ.

Дмитрій нетерпѣливо махнулъ рукой. Марина подошла и ласково положила ему руку на плечо.

— Выслушай его,—шепнула она, глядя ему въ глаза.

— Ну?—обратился онъ къ Басманову.

— Которые, царь осударь, шесть человѣкъ были взяты ночью на твоёмъ дворѣ—воры злодѣи твои.

— Вѣдь трехъ положили на мѣстѣ?

— Точно, царь осударь. А которые трое остались, и тѣ пытаны накрѣпко, и съ пытки ничего не сказали да такъ въ распросѣ и подошли.

Дмитрій задумался. Марина съ мольбою глядѣла ему въ очи—они опять были бездонные, безцвѣтные.

— Хорошо,—сказалъ онъ мрачно:—завтра мы сдѣлаемъ розыскъ. Дознаемся, кто противъ насъ мыслить зло. А нонѣ я хочу быть добрымъ. Ради моей царицы. Спасибо, мой вѣрный другъ!

Басмановъ низко поклонился и вышелъ.

Прошелъ и этотъ день—первая именины первой любви загадочнаго человѣка.

Вечеромъ въ новомъ дворцѣ были танцы. Гремѣла музыка, звенѣли шпоры пановъ, шуршали, раздражая мужскіе нервы, шолковыя платья хорошенькихъ пани... Носились, словно херувимчики, миловидные пахольята въ цвѣтныхъ изящныхъ костюмчикахъ, прислуживая Маринѣ и другимъ дамамъ. Пажъ Осмолюскій, стоя за стуломъ царицы, тайкомъ цѣловалъ ея роскошную, распущенную по плечамъ и перевитую золотыми битами и жемчугомъ косу. Счастье, счастье, безъ конца счастье!

Теперь все утихло. Гости разошлись. Въ дворцовыхъ сѣняхъ остались только пахольята и нѣсколько музыкантовъ—и всѣ спать, разметавшись, гдѣ попало.

Не спать одинъ Дмитрій на своемъ роскошномъ ложѣ рядомъ съ Мариной. Онъ слышитъ ея ровное, тихое, какъ у ребенка, дыханіе, чувствуетъ теплоту ея разметавшагося на подушкахъ молодого тѣла. Почему-то въ эту ночь передъ нимъ проходитъ вся его жизнь, полная глубокаго драматизма, поразительныхъ воспоминаній.

Угличъ... не то онъ самъ помнитъ себя въ Угличѣ, не то ему кто-то рассказывалъ объ этомъ. А кто? гдѣ? когда? Темно... темно тамъ, въ далекомъ дѣтствѣ... пропасть какая-то глубокая... ничего не видать.

А тамъ монастыри какіе-то... черныя рясы... книги пожелтѣлыя и воскомъ закапанныя... старцы ветхіе—и царевичъ. Да, это въ крови сидѣло, подъ черной рясой и скуфьей колотилось царское сердце, текла царская кровь, колотился подъ черепомъ этотъ мозгъ безпокойный, царскій.

„И отчего Богданъ Бѣльскій никогда мнѣ прямо въ глаза не смотритъ, когда я спрашиваю его о своемъ дѣтствѣ?... А кто этотъ княжичъ Козловскій, о которомъ онъ разъ проговорился? Кто онъ — гдѣ пропалъ?..“

Днѣпръ широкій... Кіевъ... пещеры... мощи угодниковъ... Гоща... Брагинъ... Самборъ... Краковъ... Путивль... Москва... Экая лента какая передъ глазами!.. И все чужіе люди назади... Хоть бы одинъ другъ дѣтства... Одна Марина—а отъ дѣтства никого...

Какъ тихо кругомъ... какъ тихо въ Москвѣ.

„Эхъ, Москва! Москва! эхъ, Русь моя дорогая! Возвеличу я тебя, просвѣщу свѣтомъ ученія, раздвину тебя отъ моря до моря, и будешь ты богатая и могущая, будешь ты царицею царицъ“.

— Охъ, милый гдѣ ты?—съ испугомъ шепчетъ Марина.

— Что ты, сердце мое?

— Ахъ, какъ страшно. Дай взглянуть на тебя.

И Марина обвинилась вокругъ его шеи, глядѣла ему въ очи. На дворѣ свѣтало уже..

— Да, это, ты—мой милый, мой царь... а я видѣла во снѣ не тебя... не здѣсь... другого... и онъ говорить, что онъ—ты... Какъ страшно...

— Ну, спи же, спи, дорогая моя.

Марина опять уснула. А онъ опять остался со своими думами.

„Да, я чужой имъ всѣмъ... И мать моя какая-то чужая мнѣ... Ахъ, дѣтство! дѣтство мое! Да что мнѣ на него оглядываться? Впереди еще цѣлая жизнь—цѣлый океанъ жизни... Какъ тихо въ Москвѣ—вся уснула... Одинъ царь ея не спитъ... Спи, спи, Москва! спи, русская земля великая! Скоро я разбужу васъ“...

Что это?... Издали, откуда-то изъ города, прокатился по небу набатный звонъ... Что это такое!

Мы знаемъ, что это такое... Это Шуйскій выступаетъ на сцену...

XXIX.

Русская земля проснулась.

Москва взялась за ножъ да за рогатину. Въ пятницу уже на глазахъ этой Москвы поляки видѣли что-то зловѣщее. Паны и гайдуки бросались по лавкамъ и пороховымъ складамъ покупать порохъ — на случай самозащиты, но вездѣ натыкались на эти зловѣщіе глаза и слышали въ отвѣтъ:

— Нѣтъ у насъ зелья.

— Есть зелье, да не про васъ, а на васъ, на ваши песьи головы.

По змѣиному шипу Шуйскаго часть войска, что готовилась идти въ

Елецъ, не шла, а окружила Москву змѣинымъ кольцомъ, чтобъ не выпустить того, кого обрekli на смерть...

— И сорока будетъ летѣть изъ Москвы — и сороку бей, — шепнулъ Шуйскій стрѣльцкому головѣ, участвовавшему въ заговорѣ: — то, може, не сорока, а онъ — бѣсъ еретикъ.

Въ роковую ночь, послѣ послѣдняго пира, когда поляки и москвичи спали, и когда Димитрій, лежа рядомъ съ Мариной, мысленно переживалъ всю свою загадочную жизнь и заглядывалъ въ темное будущее, не спали змѣиные глаза Шуйскаго, отдававшего разныя приказанія, да нѣкоторыя изъ его сподручниковъ тихо прокрадывались по спящимъ улицамъ Москвы и отмѣчали черными крестами дома, въ которыхъ жили поляки...

— Да почернѣе, братцы, мажьте, не жалѣйте сажу, чтобы видно было, гдѣ красненькаго подпустить... киновари этой латынской, еретической.

— Подпустимъ, подпустимъ киновари, батюшка князь, у насъ богомазы на этотъ счетъ есть знатные.

— А вы, братцы, расправляйте рѣзвы ноженъки да какъ учуете колоколъ полошной — это заговорить святой Илья пророкъ на Ильинкѣ, — такъ и пойте по улицѣ въ истошный голосъ: „Литва царя хочетъ убить! Литва Москву беретъ!...“ Да кресты-то имъ и укажьте — нашимъ-то православнымъ: гдѣ крестъ — тамъ Литва...

Полошной, набатный колоколъ на Ильинкѣ ударилъ въ тотъ самый моментъ, когда дискъ солнца только что коснулся горизонта и первый солнечный лучъ брызнулъ на колокольню и, скользя по роковому колоколу, освѣтилъ и озолотилъ рыжую бороду звонаря...

На этотъ ударъ отвѣтили сосѣднія церкви — въ самомъ звонѣ слышалась тревога, испугъ, какой-то странный металлическій призывный крикъ, и стонъ и вопль... Нѣтъ ничего страшнѣй набатнаго звона многихъ церквей. Теперь этотъ звонъ вывелся; но кто слышалъ пожарный набатъ, тотъ знаетъ, что колокольный крикъ — самый страшный крикъ, доводящій до ужаса, обезумливающій людей... Это крикъ стихійнаго отчаянья...

Скоро закричали всѣ церкви московскія съ ихъ тысячами колоколовъ, дрогнули всѣ колокольни и словно вся Москва — и дома, и улицы, и стѣны Кремля, и площади — все задрожало... Ужасъ, неизобразимый ужасъ!..

Москва, какъ ошалѣлая, металась по улицамъ, по площадямъ — искала крестовъ — и уже кое-гдѣ трещали и ломились ворота, звенѣли окна, падали ставни... Ближайшіе валили въ Китай-городъ, къ Кремлю... Всполошенная птица, какъ и люди, металась изъ стороны въ сторону, кричала, каркала, боясь сѣсть на крыши, на заборы, на церкви — все кричало и стонало...

А Шуйскій уже на Красной площади, на конѣ... Только что выглянувшее солнце золотитъ его серебряную бороду, искрится на сѣдыхъ волосахъ, на крестѣ, который онъ держитъ въ одной рукѣ, а въ другой — голый, сверкающій какимъ-то холоднымъ свѣтомъ мечъ... Онъ — на конѣ — такой бодрый, величественный... Куда дѣвались его лисьи прячущіеся глаза? Они смотрятъ открыто, строго, зло, не боясь свѣта солнца... Да

и чего имъ теперь бояться? кого? Прежде Шуйскій боялся царей и лукавилъ передъ ними, пряча свои лукавые глаза: лукавилъ передъ Грознымъ, лукавилъ передъ убогимъ. Федей царемъ, лукавилъ передъ Борисомъ Годуновымъ, лукавилъ передъ Федей Годуновымъ, лукавилъ до сегодня и передъ этимъ, что тамъ, въ Кремлѣ, спитъ' можетъ быть, лукавилъ и обманывалъ.

Тутъ же, около Шуйскаго, на площади, Голицыны, Татищевъ — тоже на коняхъ, въ боевомъ видѣ... Тутъ же и толпа пѣшихъ, большею частью тѣхъ, лица которыхъ видѣлись на послѣднемъ вечернемъ собраніи у Шуйскаго: Григорій Валуевъ, Тимофеей Осиповъ и другіе... Это они — только тѣ, да не тѣ лица: что-то особенное на нихъ написано. И блестятъ на солнцѣ ножи, топоры, стволы ружей, острія копей, рогатинъ...

А колокола захлебываются — гудятъ и ревуть... Реветь и народъ, заполняя своими тѣлами Красную площадь.

— Кого бьютъ? За кого стоять?

— Царя бьютъ.

— Царя! о! о! — стонетъ площадь. — Кто бьетъ?

— Литва!

— О! Литву... Литву бить! Литву топить!

И обезумѣвшая отъ колокольнаго звону и отъ собственныхъ криковъ городская толпа рванулась въ разные стороны искать поляковъ. Биться, драться — магическія слова для людей!..

— Кресты, братцы! кресты ищи! помни кресты!

И толпа отхлынула въ городъ — искать крестовъ... Тогда Шуйскій съ кучею заговорщиковъ двинулся въ Кремль — ему не Литва нужна была, а голова рыжая...

А рыжая голова не спала... точно она предчувствовала, что ей ужъ больше не придется вспоминать свою жизнь — и вспоминала въ послѣдній разъ.

Услыхавъ набатный звонъ, Дмитрій тихонько всталъ съ постели, боясь разбудить Марину, наскоро одѣлся и быстро направился на свою половину дворца... „Колоколъ зоветъ меня къ дѣятельности, къ царственному дѣлу... Довольно пировъ, довольно веселья... Мой медовый мѣсяцъ пусть кончится недѣлей — довольно... Теперь же за дѣло — и земля повернется на оси, когда я, вознесши мое царство превыше всѣхъ царствъ земныхъ, толкну ее ногою, какъ мячикъ игральный“, шепталъ онъ входя въ сѣни... Въ дверяхъ онъ столкнулся съ Дмитриемъ Шуйскимъ.

— Что это за звонъ?

— Пожаръ въ городѣ, царь осударь.

— Такъ я сейчасъ ѣду.

И онъ воротился къ Маринѣ, чтобы взглянуть на нее на сонную, и успокоить, если она проснется.

Но звонъ становился ужасенъ. Словно волна, онъ приблизился къ Кремлю, заливалъ уже Кремль, гудѣлъ надъ самымъ ухомъ. Это дядя Сигнѣй усердствовалъ въ Успенскомъ. На дворѣ голоса, угрожающіе крики... „А! рабы лѣнивые!... это вы о бичѣ соскучились. Я былъ слыш-

комъ добръ для васъ. Такъ я буду для васъ Ровоамомъ: отецъ мой билъ васъ жезломъ, а я буду бить скорпіями — вы сами этого хотите“.

А вотъ и Басмановъ—тревожный, испуганный.

— Что тамъ? Поди узнай!

Басмановъ отворяетъ окно на дворъ. На дворъ уже сверкаютъ сѣкиры, ножи, торчатъ рогатины.

— Что за тревога? что вамъ надобно? — Эй! — кричитъ Басмановъ стальнымъ голосомъ.

— А отдай намъ своего царя вора! отдай, тогда поговоришь съ нами!—отвѣчаетъ толпа.

— Подавай его сюда! вали сюда!

Басмановъ бѣжитъ къ Дмитрію, „Загула струна — загула — и лопнетъ... Лопнула!“ заколотилось у него въ груди.

— Ахти мнѣ, государь! Самъ виноватъ—не вѣрилъ своимъ вѣрнымъ слугамъ. Бояре и народъ идутъ на тебя,—говорилъ онъ, наскоро опаявшая саблю.

— А! холопы сѣмя!... А если я въ самомъ дѣлѣ не тотъ? — мелькнуло у него въ умѣ.—Нѣтъ! Нѣтъ!

Въ дверяхъ толпились нѣмцы алебардщики—они защищали входъ.

— Запирайте двери, мои вѣрные алебардщики!.. Если я голыми руками взялъ цѣлое царство московское, то съ вашей помощью я удержу эту ошалѣлую клячу. О! горе измѣнникамъ!

Но ошалѣлая кляча была сильнѣе, чѣмъ онъ думалъ. Еще съ вечера Шуйскій именемъ царя приказалъ дворцовой стражѣ — алебардщикамъ и стрѣльцамъ, разойтись по домамъ, такъ что изъ всего караула, состоявшаго изъ ста человѣкъ однихъ алебардщиковъ, осталось на стражѣ человѣкъ до тридцати. Съ Шуйскимъ же явилось ко дворцу болѣе двухсотъ заговорщиковъ.

Мастерски задумалъ Шуйскій свой роковой ходъ, мастерски и дѣлалъ его—ступалъ увѣренно, рассчитанно: семь разъ примѣривался, чтобы одинъ разъ отрѣзать ненавистную ему рыжую голову.

Когда его молодцы приблизились ко дворцу, онъ слѣзъ съ коня, набожно взошелъ на ступени Успенскаго собора и набожно поцѣловалъ соборныя двери.

— Кончайте скорѣе съ воромъ, съ Гришкою Отрепьевымъ! — сказалъ онъ, указывая на дворецъ крестомъ, тѣмъ, что далъ ему Гермогенъ казанскій.—Кончайте! Коли не убьете его—онъ намъ всѣмъ головы сниметъ.

Толпа ломилась бѣшено, дико. Алебардщики не выдержали и подались назадъ. Раздались выстрѣлы...

— Государь, спасайся!—кричитъ вѣрный Басмановъ.—Я умру за тебя!

Но упрямая рыжая голова еще вѣрила въ себя. Безстрашно, съ закушенными отъ злости губами, Дмитрій выступаетъ впередъ и громко требуетъ своего меча...

— Подайте мнѣ мой мечъ!

Но гдѣ царскій мечъ? Куда дѣвался мечникъ? Нѣтъ его. Вѣдь онъ тоже—Шуйскій-Скопинъ, и лукавой крови и въ него попала капля. Нѣтъ великаго мечника князя Михайлы Васильевича Скопина-Шуйскаго и нѣтъ на-лицо царскаго меча.

Царь выхватилъ алебарду у Вильгельма Шварцгофа и, показавшись въ наружныхъ дверяхъ, закричалъ къ толпѣ рѣзко, отчетливо:

— Я вамъ не Борисъ!

Толпа прикипѣла на мѣстѣ. Да, это царскій голосъ, страшный, какъ погребальный звонъ, рѣзкій, какъ свистъ сѣкиры палача. Ни съ мѣста—замерли, зачоченѣли, на звѣрей напалъ страхъ...

Изъ толпы просвистала пуля, грянуло... Но толпа ни съ мѣста... страшно... это царь... надо падать ницъ...

Но Басмановъ испортилъ все дѣло. Онъ вздумалъ защищать того, чей голосъ заставлялъ звѣрей трепетать. Онъ бросился впередъ, заслонилъ собою того, кто ужасъ наводилъ на толпу.

— Братцы,—говорилъ онъ:—бояре и думные-люди! побойтесь Бога, не дѣлайте зла царю вашему, усмирите народъ, не безславьте себя!

Дуракъ! погубилъ все дѣло... Татищевъ сразу понялъ это и, сказавъ крѣпкое слово, такое крѣпкое, какое въ состоянїи выговорить только ротъ русскаго человѣка, ударилъ Басманова ножомъ прямо въ сердце... Басмановъ, какъ снопъ, съ хрипомъ скатился съ лѣстницы.

Кровь пролита, крѣпкое слово сказано—и звѣри опомнились. Крѣпкое слово для русскаго человѣка—это нѣчто всесильное, непобѣдимое, нерушимое—сильнѣе и нерушимѣе благословенїя родительскаго.

Послѣ крѣпкаго слова Татищева для толпы уже не было страха. Толпа зарычала. Раздались выстрѣлы, крики, полилось рѣкой крѣпкое русское слово, полилось и нѣтъ удержу ярости русскаго человѣка.

Царь отступилъ—передъ нимъ уже были не люди, подданные. Алебардщики заперли двери, но ненадолго: трескъ и грохотъ падающихъ половинокъ показалъ, что все разрушается легче, чѣмъ создается.

Димитрій дальше отступилъ. О! давно-ли онъ только наступалъ, но не отступалъ? А теперь приходилось отступать. Куда? съ трона? въ могилу?..

Дрожить отъ ударовъ и слѣдующая дверь... это тронъ дрожить... порфира спадаетъ съ плечъ, корона валится съ головы... держава, скипетръ—все вываливается... разступается земля... шатается міръ...

О! а давно ли онъ этой землѣ, всему шару земному хотѣлъ пинка дать, на оси перевернуть?..

Димитрій схватился за голову—рветъ рыжіе волосы... За что?.. О! онъ знаетъ за что... за вѣру въ людей! Онъ имъ вѣрилъ, имъ... О! да скорѣе звѣрямъ можно вѣрить, чѣмъ имъ... Рви же, бѣдный, рви до послѣдняго свои рыжіе волосы!..

А звонъ—Господи! а крики,—да это небо взбѣсилось, земля обезумѣла, мѣдъ на колокольняхъ взбѣсилось—и звонить, звонить!

А Марина... Боже мой!—да къ ней пройти нельзя... началась разлука...

ухнул медовый мѣсяцъ — недѣля одна... Все ухнуло... Гдѣ-жъ Марина?... Вонъ ея окно... Въ окно крикнуть?

— Зрада! зрада! сердце мое! зрада!

Точно и голосъ-то не его... Да не его — не своимъ голосомъ кричить иногда человѣкъ, истинно не своимъ... У него взяли и царство его, и его Марину, и — его голосъ!

Нѣтъ спасенья... Бѣжать?... О! позоръ! позоръ бѣжать!.. Но и бѣжать-то ужъ некуда... А надо бѣжать... Какая-то страшная невѣдомая сила ему пинка дала... Подзатыльникъ землѣ.. подзатыльникъ московскому царству — и ему, царю, подзатыльникъ... Онъ начинаетъ съ ума сходить...

Нѣтъ еще, не сошелъ... Вонъ окно, вонъ спасенье... на эти лѣса, что поставлены для иллюминаціи... иллюминація *будетъ* въ воскресенье — это завтра — *будетъ*...

Онъ прыгнулъ на лѣса, какъ собака прыгаетъ изъ окна, прыгнулъ, споткнулся на лѣсахъ и полетѣлъ на землю, съ высоты тридцати футовъ. „О, зачѣмъ я не жуликъ, не воръ, а царь — я-бъ не споткнулся...“

Въ этотъ-же моментъ, когда онъ пожалѣлъ о томъ, что онъ не жуликъ и не умѣетъ изъ оконъ прыгать — онъ потерялъ сознаніе. Москва, тронъ, царство, Марина, свѣтъ божій — все исчезло — и самъ онъ исчезъ...

— Милый! милый! гдѣ ты? — спрашивала Марина, проснувшись и не видя около себя мужа.

Никто не отвѣчалъ. Слышался только набатный звонъ. Марина вскочила съ постели и подошла къ окну: въ городѣ слышался страшный шумъ, заглушаемый ревомъ колоколовъ.

— Пани охмистрина! пани охмистрина!

Но ревъ колоколовъ заглушалъ даже ея собственный голосъ — пани охмистрина не откликалась.. Напротивъ, слышались голоса извнѣ... грозные возгласы... „О, Езусъ-Марія!..“ молніей прорѣзала ее страшная догадка.. „Такъ скоро!..“

Марина наскоро надѣла туфли, первую попавшуюся юбку, и въ одной сорочкѣ, въ той, въ которой спала съ Димитріемъ, простоволосая бросилась въ нижніе покои, подъ своды, никого не встрѣчая на пути... Слышны уже были крики и выстрѣлы въ самомъ дворцѣ... Страшно, о! какъ страшно!.. „Гдѣ онъ? что съ нимъ?... Татко...“

Она бросилась опять наверхъ... Слышитъ стукъ оружія, человѣческихъ ногъ... Валить какая-то толпа, страшныя лица, страшныя возгласы...

— Ищи еретика!

— Давай его сюда, вора!

Марина прижалась... „Его ищутъ... онъ еще живъ... Боже!“ Толпа, не замѣтивъ своей царицы, сталкиваетъ ее съ лѣстницы... Бѣдная!.. Она закрыла лицо руками — и тихо заплакала, прижавшись въ уголокъ...

Вдругъ кто-то схватилъ ее за руки.

— Ваше величество! — это былъ ея пажъ, юный Осмольскій, который искалъ ее: — ваше величество! зрада! Спасайтесь!

— А мой царь? мой мужъ?

Осмольскій махнулъ рукой.

— Спасайтесь! Умоляю васъ!—и онъ силой увлекъ ее во внутренніе покои, прикрывая своимъ плащомъ ея голыя плечи и грудь. А давно ли онъ стоялъ трепетно за ея стуломъ и украдкой цѣловалъ ея роскошныя волосы? Теперь они безъ жемчуга и золота—разметались по бѣлой сорочкѣ и по голой спинѣ.

— О, Боже! царица! гдѣ вы были? Я искала васъ!—вскричала гофмейстерина.

Комната, куда Осмольскій ввелъ Марину, была наполнена придворными дамами. Картина была неуспокоительная: на лицахъ у всѣхъ былъ ужасъ. Та въ отчаяньи ломала руки, другая молилась, распростершись на полу. Между ними былъ одинъ только мужчина—и тотъ почти мальчикъ, вѣрный пажъ царицы, Осмольскій. Слыша приближеніе враговъ, онъ заперъ двери и съ саблею на-голо оберегалъ ихъ.

— По моему трупъ злодѣи пройдутъ до моей царицы!—говорилъ бѣдный юноша, сверкая глазами.

Дверь грохнула... Грянули ружейныя выстрѣлы—и трупъ былъ готовъ: какъ подкошенная травка, упалъ честный юноша на полъ, раскинувъ руки и глазами ища свою царицу. Если кто вѣрно и искренно любилъ ее, такъ это онъ, этотъ честный мальчикъ.

— О, варвары!—хрипѣлъ онъ, истекая кровью и слясая взмахнуть саблею.

Его изрубили въ куски, какъ капусту.

— А! змѣенышъ литовскій! Сѣки змѣеныша мельче—оживетъ!—кричала рыжая борода и бритая голова только-что вырвавшася изъ тюрьмы колодника.

И мелко-мелко изсѣкли тѣло бѣднаго мальчика. Женщины, какъ ягнята среди волковъ, сбились въ кучу—и ни слова, ни крика—только дрожать. Въ сторонѣ отъ этой трепетной кучки пани Хмелевская, тоже пораженная пулею, истекаетъ кровью. Только руки вздрагиваютъ да старое лицо подергивается смертными судорогами.

Въ этотъ моментъ, снизу, со двора, слышались крики:

— Нашли, нашли еретика!

Всѣ поняли, кого нашли. Марина даже не вскрикнула—она только сжала свои челюсти такъ, что они хрустнули.

— Прощай мой милый... прощай, мой царь...

И она вспомнила самборскій паркъ, гнѣздо горлинки... О! зачѣмъ было все то, что было?..

XXX.

Вѣрная собака надъ трупомъ Димитрія. Москва стрѣляетъ пепломъ отъ сожженнаго царя.

Какъ жалобно гдѣ-то воетъ собака... Ноетъ, плачетъ, буквально плачетъ бѣдный песъ, словно Богу на людей жалуется, оплакивая кого-то. Кого онъ оплакиваетъ?

— О, armer Hund,—бормочетъ сердобольный нѣмецъ, алебарщикъ

Вильгельмъ Фирстенбергъ, которому, несмотря на совершающіеся кругомъ ужасы, стало жаль бѣдной собаки.—Вѣрно не даромъ воетъ.

Подходить—и между лѣсами, подъ окнами дворца, видитъ распростертаго на землѣ—кого-же?—царя, котораго онъ еще недавно защищалъ отъ разъяренныхъ звѣрей, но не могъ защитить... О, бѣдный царь!

Такъ это надъ нимъ, надъ царемъ, раздается собачій плачъ!.. Никого не нашлось, кромѣ собаки, кто бы его оплакалъ... и она плачетъ... Это его собака—она, голодная, деревенская собака, какъ-то пристала къ нему на охотѣ, подъ Москвою, и съ тѣхъ поръ не оставляла его. Да, это она оплакиваетъ московскаго царя, такого же, какъ и сама она, приبلуду. То начнетъ лизать ему руки, лицо, то опять ударится въ слезы—воетъ, воетъ, такъ что сердце надрывается.

Заплакалъ и добрый нѣмецъ—честный слуга своего господина. Собака плачетъ!.. а люди... о, порожденіе скорпіевъ! люди или пресмыкаются, ползаютъ въ ногахъ, или топчутъ ногами...

Добрый нѣмецъ бережно приподнялъ несчастнаго царя. Онъ живъ еще, онъ дышетъ...

— Господи, да никакъ это царь-батюшка?

— Онъ и есть! Ахти, родимые! Что съ нимъ? Убить?

Это стрѣльцы увидали своего царя и бросились къ нему.

— Онъ упалъ, знать, сердешный,—расшибся... Ахти, горе какое!

— На вѣтеръ его, братцы, на вѣтеръ — онъ маленько оклемаеть...

Подняли на руки. Несчастный только стоналъ въ безпамятствѣ. Нѣмецъ алебарщикъ далъ ему понюхать спирту, потеръ виски. Мало-по-малу онъ началъ приходить въ себя, осматриваться. Его положили на плащъ:

— Гдѣ я? что со мной?

Собака съ радостнымъ визгомъ лизала ему руки, заглядывала въ глаза. Онъ узналъ собаку.

— Приблуда.. собака моя вѣрная... цабинька добрая...

Наконецъ, онъ узналъ алебарщика, стрѣльцовъ. Вспомнилъ... все вспомнилъ разомъ! Да и нельзя было не вспомнить: крики, звяканье оружія, выстрѣлы, бѣготня—все говорило само за себя. Стрѣльцы жалостно смотрѣли на своего злополучнаго царя. Онъ жалобно стоналъ.

— Охъ... спасибо, мои вѣрные... Что царица?

— Не вѣдаемъ, царь осударь: мы только что пришли къ тебѣ—услышали сполохъ, и пришли.

Изъ оконъ дворца кто-то крикнулъ:

— Вонъ онъ, еретикъ!

Димитрій услышалъ этотъ крикъ и затрепеталъ всѣмъ тѣломъ.

— Братцы! охъ, обороните вы меня отъ злодѣевъ, отъ Шуйскихъ, обороните, Господа ради, милые мои, православные!.. Ведите меня къ міру—на площадь—передъ Кремль. Братцы вы мои! милые! я вознесу васъ выше всѣхъ, озолочу васъ... боярскихъ женъ и дочерей отдамъ вамъ въ неволю—все добро ихъ ваше будетъ... Несите меня...

Въ это время слышались яростные крики заговорщиковъ:

— Вонъ онъ! вонъ онъ! Нашли еретика! Давай его сюда!

Заговорщики наступали. Стрѣльцы, сомкнувшись въ строй, прикрыли своего царя.

— Стой! ни съ мѣста!

Заговорщики не слушались. Стрѣльцы дали залпъ по дворянамъ—нѣкоторыхъ положили на мѣстѣ. Заговорщики дрогнули, попятились назадъ.

— Тутъ, братцы, бьютъ стрѣльцы.

— Заряжай!—командуютъ стрѣльцы.—Стрѣляй ихъ, лизоблюдовъ!

Лизоблюды окончательно смѣшались. Но въ это время показался самъ Шуйскій, верхомъ на конѣ и съ крестомъ. Приблуда, увидавъ его, бѣшено зарычала, бросилась тигромъ и вцѣпилась въ морду коня. Конь одыбился и чуть не сбиль Шуйскаго съ сѣдла. Собака кинулась на самого Шуйскаго, такъ что онъ насилу увернулся отъ ея зубовъ.

— Цыцъ, проклятый песъ! Стойте! стойте!—кричалъ Шуйскій пересохшимъ горломъ.—Куда бѣжите? Отъ него не спрячетесь—онъ не таковскій, чтобъ забылъ обиду. Это не простой воръ—змій свирѣпый! Душите его, пока онъ въ ямѣ, а выползетъ—то и намъ горе, и женамъ нашимъ, и дѣтямъ.

Заговорщики воротились. Стрѣльцы опять приложились къ ружьямъ. Критическая минута! Вся Россія на волоскѣ—на волоскѣ нѣсколько столѣтій, цѣлая будущая исторія страны—на одномъ тонкомъ волоскѣ: уцѣлѣетъ или не уцѣлѣетъ этотъ неразгаданный „змій“, задумавшій такъ много, или вмѣсто него надъ русскою землею очутится властителемъ амфибія—врагъ телятины. Выдержать ли волосокъ?..

Нѣтъ, не выдержалъ! Слишкомъ велика тяжесть, которая висѣла на немъ: шутка-ли—вся старая Русь на одномъ волоскѣ—Русь великопостная, Русь сугубой аллилуи и двуперстнаго сложенія, Русь поповская и монашеская, Русь скоромной гусиной зубочистки, Русь мухи, попавшей въ дароносицу и не обсосанной, Русь, боящаяся телятины...

Лопнулъ волосокъ!.. Кто-то геніальный закричалъ въ толпѣ заговорщиковъ:

— Коли такъ—такъ идемъ, братцы, въ стрѣлецкую слободу, побьемъ ихъ сукъ-стрѣльчихъ со щенятами-стрѣльчатами. Пущай они берегутъ вора, обманщика, злодѣя! Идемъ!

Стрѣльцы не выдержали. Сами бы они готовы были умереть, вынести великія муки, но дѣтки ихъ, жоны... Нѣтъ, это было выше ихъ силъ. Для дѣтей и жонъ—они отступились отъ царя...

Опять осталась около него одна Приблуда: ни у него, ни у нея никого не было на свѣтѣ...

Подошли заговорщики вмѣстѣ съ боярами и думными людьми. По лицамъ ихъ видѣлъ несчастный, что его ожидало.

— Батюшка!—вскричалъ онъ, поднимая руки къ небу:—батюшка мой! отецъ! царь Иванъ Васильевичъ!... Погляди на меня, на своего сына... Погляди, что со мной дѣлаютъ! Батюшка! родитель мой! защити меня...

— Какой онъ тебѣ батюшка, еретикъ окаянный!—закричалъ Григорій Валуевъ.—Песъ твой батюшка, сука твоя матушка...

Приблуда кинулась на оскорбителя и чуть не схватила его за горло.
— Цыцъ, дьяволь! цыцъ! Вотъ отецъ твой, окаянное отродье!—и онъ ножомъ отсѣкъ ухо у собаки.

Димитрія подняли и потащили во дворецъ, въ новый „парадизъ“ его. Самъ онъ не могъ идти: когда сорвался съ лѣсовъ, то вывихнулъ себѣ ногу, зашибъ голову, разшибъ грудь... Онъ былъ несказанно жалокъ... Рыжая, угловатая, такъ крѣпко сидѣвшая на плечахъ голова, еще недавно украшенная короной, дрожала. Лицо подергивало. Глаза искали своихъ въ толпѣ, но никого не находили... Только голубые, добрые глаза нѣмца Фирстенберга глядѣли участно... Вонъ трупъ Басманова распростертый на землѣ: открытые глаза, остеклѣвшіе давно, глядятъ на небо, на солнце... Нѣтъ, и тамъ, въ небѣ,—нѣтъ ни жалости, ни правды...

— Ихъ-то за что! бѣдныя мои!—невольно простоналъ злополучный царь, увидавъ въ сѣняхъ своего дворца обезображенныя трупы музыкантовъ и пахотъ.

Да, и этихъ не пощадили. Еще бы! Они—скоморохи, бѣсовскимъ гудѣньемъ занимались; а музыка—отъ бѣса... И гудцы ихъ, и сопѣли, и бубны, и накры, и домры — все разбито, растрошено въ дребезги — все это сатанинское...

А пахоты... совсѣмъ дѣти, съ дѣтскими личиками, но эти личики уже мертвы. Это змѣеныши литовскіе.

Парадизъ весь окровавленъ, загрязненъ—все въ немъ разбито, растащено...

Бѣдныя алебарщики... они обезоружены... они не смѣютъ поднять глазъ на своего царя... Только добрый Фирстенбергъ проскользнулъ вслѣдъ за думными людьми, и, видя, что царю опять становится дурно, что его поразила эта картина разрушенія,—сердобольный нѣмецъ хотѣлъ снова дать страдальцу понюхать спирту... Несчастный! Не успѣлъ онъ поднести роковой пузырекъ къ страдальцу, какъ надъ головой его свиснула алебарда, и сердобольный нѣмецъ съ разсѣченнымъ надвое черепомъ упалъ мертвымъ...

— Собакъ собачья и смерть!... Эти собаки-иноземцы и теперь не оставляютъ своего воровского государя! Надо всѣхъ ихъ побить!

— За что ихъ бить? Не они причины, а вотъ онъ... онъ всему злу корень.

— А! еретикъ окаянный!—кричатъ московскіе люди: — что! удалось тебѣ судить насъ въ субботу?

— А! ты Сѣверщину хотѣлъ отдать Польшѣ!

— Ты латынскихъ поповъ привелъ!

— А зачѣмъ ты взялъ нечестивую польку въ жену и некрещенную въ церковь пустилъ?

— Казну нашу московскую въ Польшу вывозилъ!

И при этомъ одинъ бьетъ его по головѣ, приговаривая—„вотъ тебѣ вѣнецъ!“—другой тычетъ пальцемъ въ глаза, поясняя: „у, буркалы воровскія!“—третій щелкаетъ его по носу, прибавляя „вотъ тебѣ тринка: вотъ тебѣ хлюстъ!“—четвертый дергаетъ за ухо... Несчастный молчитъ: низительно было бы передъ такимъ народомъ даже стонать... и онъ не стонетъ, онъ не хочетъ даже видѣть этихъ звѣрей... Онъ закрылъ глаза — онъ переживалъ то, что долженъ былъ переживать нѣкогда его предмѣстникъ, юный Годуновъ...

— А отгадай, еретикъ, въ которую щеку я тебя ударю?—говоритъ свирѣпый Валуевъ, и бьетъ его въ обѣ щеки.

Срываютъ съ него кафтанъ и надѣваютъ, снятую съ одного каторжника, дырявую гуньку кабацкую, а на каторжника надѣваютъ царскій кафтанъ.

— Смотрите, братцы, каковъ царь-осударь, всеа Русіи самодержецъ! Вотъ такъ царь!—кричатъ изверги.

— О! да у меня такіе цари на конюшнѣ есть,—издѣвается бояринъ; о которомъ Дмитрій какъ-то неосторожно выразился, что его лошадь умнѣе своего сѣдока. Бояринъ этотъ былъ Мстиславскій.

Наконецъ, начинается формальный допросъ. Григорій Валуевъ подходитъ, снова бьетъ несчастнаго въ щеку и спрашиваетъ:

— Говори, бл... сынъ, кто ты таковъ? кто твой отецъ? какъ тебя зовутъ? откуда ты?

— Вы знаете,—тихо отвѣчаетъ страдалецъ:—я царь вашъ и великій князь Дмитрій, сынъ царя Ивана Васильевича... Вы меня признали и вѣнчали на царство... Коли и теперь еще не вѣрите—спросите у моей матери—она въ монастырѣ... Спросите ее—правду ли я говорю... А то вынесите меня на Лобное мѣсто и дайте говорить...

Гдѣ ужъ тутъ говорить! Не этого хотятъ его враги. Если-бъ тутъ былъ народъ, онъ разорвалъ бы бояръ; но бояре знали народъ—они натравили его на поляковъ.

— Несите меня къ матери, къ народу.

— Сейчасъ я былъ у царицы Мары,—кричитъ князь Иванъ Голицынъ во всеуслышанье:—она говоритъ, что это не ея сынъ. Она-де признала его поневолѣ, страшась смертнаго убійства, а нонѣ отрекается отъ него!

Эти слова передаются надворъ, въ толпу. Вѣдь судъ идетъ якобы всенародный.

На дворѣ и Шуйскій Василій. Онъ все попрежнему на конѣ, съ крестомъ и мечомъ. Какъ ни много у него лукавства и силы воли, но его бьетъ лихорадка: „змій“ еще не задушенъ, можетъ выползти изъ ямы, и тогда—горе, горе Шуйскому! Да и народъ—это морскія волны въ моментъ захлеснуть и разобьютъ все, на что бы ихъ ни направили...

— Мать вона, слышь, отрекается отъ него,—говоритъ онъ толпѣ.— Да и какъ не отречься? Царевича-то я самъ видѣлъ въ гробу въ Угличѣ. Кончатъ бы съ этимъ зміемъ...

— Винится-ли злодѣй?—кричитъ толпа.

— Винится!

— Бей! руби его!—режутъ на дворѣ.

— Что долго толковать съ еретикомъ!—рѣшаетъ Валуевъ.—Вотъ я благословлю этого польскаго свистуна!

И выстрѣломъ изъ ружья разомъ убиваетъ несчастнаго...

Но людямъ мало простого, хотя бы самаго безчеловѣчнаго убійства. Надо насладиться еще своимъ позоромъ, надо надругаться надъ трупомъ—вотъ гдѣ наслажденіе человѣка, неизвѣстное звѣрю. Что-жъ, что трупъ не чувствуетъ? Все-таки надо бить его, терзать; повторять свое наслажденіе, предаваться иллюзіи убійства.

И вотъ москвичи повторяютъ наслажденіе убійства надъ трупомъ убитого ими невѣдомаго человѣка: кто даетъ мертвецу пощечины, кто деретъ за волосы, кто топчетъ ногами... Не домучили—перемучить надо: и его рѣжутъ ножами, бьютъ дубьемъ...

— А ну, братцы, кто разомъ два ребра перешибетъ кулакомъ?—кричитъ Валуеть.

— Я три сразу перешибывалъ,—отвѣчаетъ рыжій арестантъ со стриженою головою.

И начинается турниръ кулачный надъ трупомъ—московскій турниръ: кто сразу больше перешибетъ реберъ... Не долго били...

— Нечего бить, братцы,—всѣ перешиблены—каша одна...

И къ ногамъ обезображеннаго трупа привязываютъ веревку... мало того: надо москвичамъ показать себя еще отвратительнѣе, такъ отвратительно, какъ только можетъ быть отвратительна изобрѣтательность человѣческой глупости и жестокости... Трупъ влекутъ по лѣстницѣ... Колотится рыжая, раздробленная голова о дворцовыя ступеньки, о тѣ ступеньки, по которымъ ноги этой рыжей, раздробленной головы еще такъ недавно взбирались на тронъ. Колотится рыжая голова, а москвичи приговариваютъ:

— Но-но, литовская лошадка, вези еретицкую душу къ сатанѣ въ адъ.

Ташутъ его черезъ весь Кремль къ Красной площади. Шуйскій, увидѣвъ трупъ, невольно вздрогнулъ отъ ужаса:

— Да это не онъ—не его ташутъ... не его убили... Онъ опять придетъ... Смертная блѣдность покрыла лицо зачинщика всего этого дѣла, и крестъ задрожалъ въ его рукѣ... Охъ, это не онъ—не онъ!.. онъ змій... онъ въ Угличѣ изъ гроба выползъ... онъ опять выползетъ..

Даже собака Приблуда не узнала его!.. И только когда обнюхала оставленный имъ на землѣ кровавый слѣдъ—опять страшно завывала...

Трупъ ташутъ мимо Воскресенскаго монастыря, гдѣ жила царица Марѳа.

— Показать его царицѣ!—кричитъ кто-то.

— Вызвать царицу!

Останавливаются... Царица выходитъ... При видѣ того, что лежало на землѣ, старуха въ ужасѣ закрываетъ глаза...

— Говори, царица Марѳа, твой ли это сынъ?—кричатъ убійцы.

Старуха открываетъ глаза, съ содраганіемъ смотритъ на кучу безобразнаго мяса и говоритъ загадочно:

— Это—не мой. Было бы меня спрашивать, когда онъ живъ былъ. а теперь, какъ вы его убили, онъ уже не мой!

Шуйскій, услыхавъ это, взглянулъ на царицу такими добрыми глазами, что бѣлый голубь, котораго старуха прикормила къ себѣ, и онъ всякій разъ садился ей на плечо, какъ она показывалась на дворъ, и который сѣлъ и теперь ей на плечо въ ожиданіи корма,—даже глупый голубь понялъ всю ехидность глазъ Шуйскаго и съ испугу улетѣлъ на колокольню.

Но слово сказано—воротить нельзя...

Обезображенный трупъ волокутъ далѣе, и на пути измышляютъ невоз-

можныя, самыя дикія надругательства. Болѣ всего усердствуютъ Охотный и Обжорный ряды. Они идутъ впереди этой возмутительной процессіи и несутъ: одинъ воткнутую на палку гнилую тыкву, другой — трубочистную метлу на шестѣ, третій—дохлую кошку, насаженную на рогатину...

— Что это, братцы, на рогатинѣ? Ноли кошка?

— Нѣту—это стягъ еретичій, хорогва литовская.

— А метла для чѣго?

— Это, братецъ ты мой, скифетро еретичье...

— Подлинно, подлинно, — поясняетъ Коневъ: — его еретичьи законы этимъ самымъ скифетромъ въ трубѣ писаны.

— А тыква, братцы, зачѣмъ?

— Аль ты не видишь? Это, значить, держава еретичья—яблоко державное.

И въ довершеніе надругательства москвичи колотятъ въ разбитые чугуны.—„Колокольный звонъ, братецъ ты мой! знатный звонъ!..“ Тѣшится дикій народъ, тѣшится боярская, торговая и холопыя Москва, не умѣя измыслить ничего лучше этого...

Другая толпа тащитъ за ноги же трупъ Васманова, менѣе обезображенный. Бѣшеная оргія съ этой дикой процессіей останавливается на Красной площади.

Трупъ царя кладутъ на маленькій столикъ, на которомъ обыкновенно мясники рѣзали печенку для кошекъ Охотнаго ряда. Столъ былъ длиною не болѣе аршина, и потому царевы ноги свѣсились съ него...

— По одежкѣ протягивай ножки!—острить Обжорный рядъ.

Подъ ноги царя кладутъ трупъ Васманова.

— Ты любилъ его живого, пилъ и гулялъ съ нимъ вмѣстѣ—не разставайся съ нимъ и послѣ смерти,—поясняютъ москвичи.

— Православные! православные!—кричалъ Григорій Валуевъ, верхомъ скачущій изъ Кремля.—Еретичьяго бога нашелъ: вотъ онъ, его богъ!

— Покажь! покажь!

Валуевъ показываетъ маску, найденную въ покояхъ Марины, которая къ завтрашнему дню готовила маскарадъ.

— Вотъ смотрите! Это у него такой богъ, а святые образа лежали подъ лавкой.

И маску кладутъ трупъ на грудь. Достаютъ какую-то дудку послѣ убитаго музыканта и всаживаютъ въ ротъ мертвому царю.

— Подуди-ка, подуди! Ты любилъ музыку—подуди-ка намъ! Допрежъ сего мы тебя тѣшили—теперь ты насъ потѣшь!

На грудь царя кладутъ мѣдную копѣйку.

— Это ему плата, какъ скоморохамъ даютъ...

Къ трупъ валитъ еще новая, опьянѣвшая толпа... Это тѣ, которые „работали“ въ городѣ—били, рѣзали и грабили поляковъ... Покончивъ „работу“ и накатившись въ польскихъ погребяхъ „венгржину“ и „старей вудки“, москвичи идутъ тѣшиться къ трупъ Дмитрія—и тѣшатся: бьютъ мертвеца...

— И моя-де денежка не щербата.

— А вотъ и я! Знай Кузьму Свиной-Овинъ!

— А вотъ и я руку приложилъ! Помни Тереньку плотника! А я еще спорилъ съ дядей изъ-за гашника... А дядя-то правъ! Точно царевичъ въ Угличѣ зарѣзанъ...

Тѣшилась Москва весь день... Ночью, мертвецки пьяная, уснула мертвымъ сномъ...

Пуста Красная площадь—ни души, ни звука—точно вся Москва вымерла...

Около трупъ неразгаданнаго историческаго сфинкса оставалось ночью одно только живое существо—собака Приблуда... Какъ жалобно воетъ бѣдный песъ!

Прошло нѣсколько дней. Москва маленько отдохнула послѣ своей „работы“, проспалась послѣ кроваваго пира. Теперь она готовится что-то новенькое. За Серпуховскими воротами, на Котлахъ, разложенъ огромный костеръ. Около него москвичи толпятся, словно около водосвятія. Какъ ни жарокъ майскій день, но москвичи все больше и больше разжигаютъ костеръ. Кто несетъ охапку дровъ, кто бревно, кто доску, кто старую рогожу—и все валяютъ въ огненную кучу... „Чтобы жарче, братцы, было“... Для чего? зачѣмъ этотъ костеръ?

— И кинулись мы, братецъ ты мой, на домъ-атъ самого воеводы, на Мнишковъ домъ, этой самой Маришки еретички отца,—разглагольствовалъ, поглядывая на огонь костра, стрѣлецъ Якунька, тотъ самый, что съ Молчановымъ да Шеферидиновымъ да съ стрѣльцами Осипкомъ да Ортемкою удушили молодого Годунова царя съ матерью.—И шарахнули мы съ молодцами на этотъ самый на домъ на Мнишкинъ. Наперли это на ворота, понатужились, ухнули дубинушку—трахъ! высадили ворота въ чистую... А тамъ у него, у дьявола, все скоморохи—музыканты да пѣсельники бѣсовскіе—мы и ну ихъ трощить—въ лоскъ вытрощили, весь дворъ тѣлесами ихъ погаными умостили... Ладно! и на душѣ-то весело—малина да и только! Катай ихъ, гусыниныхъ сыновъ! Ну и катали же, я тебѣ скажу,—страхъ!.. А самъ-отъ Мнишкинъ воевода заперся въ каменныхъ палатахъ, что за каменной стѣной стоятъ. Мы и ну лупить въ стѣны, а которые изъ молодцовъ и черезъ стѣну перебираться стали, по плечамъ... Ну, думаемъ, знатной ухи наваримъ... Коли глядь—бояре ѣдутъ... „Стойте, говорятъ, православные! Нечего-де ихъ бить: мы-де ихъ еретickaго царя ужъ сверзли—придушили... аки пса“... Ладно—придушили, такъ придушили... Мы дальше... Такъ-ту до самой ночи и работали...

— Ужъ и страхи же, мать моя, были, какъ его-то, еретика, покончили,—говорила тутъ же у костра баба другой бабѣ, повидимому, деревенской.—Какъ оставили его, мать моя, ночью на Красной площади, такъ все-то ноченьку бѣсы вокругъ него короводились: то псомъ воютъ, то въ бубны бьютъ, въ сопѣли играютъ...

— А мнѣ, родимушка, дядя Сигнѣй-звонарь сказывалъ,—повѣствовала другая баба:—все ноченьку около него, еретика, огоньки бѣгали...

— Ой ли? свѣчечки, должно?

— Нѣту, родимушка: языцы огненны — бѣсы, значить... У бѣса-то вѣтъ языкъ огненный.

— Охъ, Господи! А голубки-то надъ его могилой слетались, сказываютъ...

— Каки голубки?

— Бѣленьки, мать моя... Сидятъ на могилѣ, да и только.

— Да то не голубки, касатушка.

— А кто жъ?

— Бѣсики махоньки.

— Охъ, владычица! страсти какія!

— Везутъ! везутъ! — прошелъ говоръ по толпѣ.

Это везутъ вырытый изъ могилы трупъ неразгаданнаго человѣка... Всѣ отъ него отказались — и земля отказалась: земля не принимаетъ его трупа... И для земли онъ неразгаданное нѣчто, какъ былъ неразгаданнымъ для людей... Надо сжечь его — огонь все принимаетъ...

Привезли останки трупа... Въ рогожѣ онъ... Изъ-подъ рогожи выскользнула бѣлая рука, бѣлая, какъ мраморъ... Часть рыжихъ волосъ виднѣется изъ-подъ рогожки...

Бросили въ костеръ несчастный трупъ... Не горитъ — только темный дымный столбъ поднимается къ небу... И огонь не беретъ его... Ужасъ нападаетъ на толпу... Господи! кто жъ онъ? Святой мученикъ или самъ сатана?... Сатана, рѣшила Москва — такъ и царь рѣшилъ, новый царь, Василій Шуйскій...

Вынимаютъ трупъ изъ костра баграми — не сгорѣлъ, обуглился только... Рубятъ трупъ на мелкія части... „Руби мельче!“ настаиваетъ обезумѣвшая толпа... Изрубили мелко, мелко... Швыряютъ куски въ костеръ — ждуть, шипитъ человѣческое мясо, шкварчитъ словно на сковородѣ...

Все сгорѣло. Потухъ костеръ. Осталась одна зола. Пушкарѣ собираютъ эту золу и всыпаютъ въ заряженную пушку...

— Повороти пушку жерломъ въ ту сторону, откуда пришелъ онъ, — командуетъ пушкарскій десятникъ.

Поворачиваютъ. Напряженно ждетъ Москва.

— Пали!

Вмѣстѣ съ дымомъ вылетаетъ изъ жерла пушки пепелъ и вмѣстѣ съ дымомъ исчезаетъ...

— Погибе память его съ шумомъ — исчезе аки дымъ, — говоритъ Коневъ, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ.

— Этотъ дымъ всей россійской землѣ глаза выѣстъ, — глухо произноситъ кто-то въ толпѣ, и толпа вздрагиваетъ.

Откуда ни возмись, выбѣгаетъ собака — это Приблуда — и, обнюхивая воздухъ и землю, начинаетъ жалобно выть...

— Къ худу... къ худу... къ худу, — слышится говоръ въ толпѣ.

А худо тутъ же — въ глаза глядитъ русской землѣ...

К о н е ц ъ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. М о р д о в ц е в а.

I.

СОЦІАЛИСТЪ ПРОШЛАГО ВѢКА.

II.

ТУЛЬСКІЙ КРЕЧЕТЪ.

III.

Видѣніе въ публичной бібліотекѣ.

IV.

ВОСПОМИНАНІЯ О ШЕВЧЕНКѢ.

V.

КРЫМСКАЯ НЕВОЛЯ.

VI.

ЛЮБОВЬ СПАСЛА.



Томъ XLIII.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. Ѳ. Мертца.
1902.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 11 сентября 1902 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“. Спб., Фонтанка 95.

СОЦІАЛИСТЪ ПРОШЛАГО ВѢКА.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ ¹⁾).

I.

На крейсерѣ.

„Въ шестьдесятъ лѣтъ всѣ расколы исчезнутъ. Сколь скоро заведутся и утвердятся народныя школы, то невѣжество истребится само собою. Тутъ насиліе ненадобно“.

Екатерина II (Дневникъ Храповицкаго).

По темно-бирюзовой глади Чернаго моря, отъ кавказскаго берега къ крымскому, медленно двигался парусный военный фрегатъ.

Это было еще тогда, когда о возможности двигаться по водѣ иначе какъ при помощи парусовъ или веселъ умъ человѣческій еще не загадывалъ:—это было въ 77-мъ году XVIII столѣтія.

Тихій весенній вѣтерокъ, ласково повѣвавшій со стороны кавказскихъ горъ, чуть-чуть надувалъ бѣлые паруса фрегата, которому, казалось, никогда не суждено переплыть эту безконечную темно-бирюзовую равнину. Кругомъ — подавляющее однообразіе. На голубомъ небѣ ни облачка. На морѣ—хоть бы парусъ заблѣлся гдѣ, хоть бы темная точка показалась на горизонтѣ. Только дельфины, которымъ, казалось, тоже наскучило это однообразіе, то тамъ, то здѣсь, выставляли изъ воды свои темныя изогнутыя спины и, словно по командѣ, кувыркались опять въ море.

На фрегатѣ почти незамѣтно было движенія. Матросы, за неимѣніемъ работы, почти всѣ расположились въ передней части судна, и только болѣе копотливые да вахтенные неторопливо возились у своихъ мѣстъ — кто у

¹⁾ Матеріалами для этой повѣсти послужили документы, извлеченные изъ государственнаго архива проф. В. И. Ламанскимъ и напечатанные имъ въ первомъ томѣ „Памятниковъ новой русской исторіи“.

снастей, кто у руля. Около офицерскихъ каютъ, въ тѣни, подъ тентомъ, на складныхъ табуретахъ сидѣло нѣсколько молодыхъ офицеровъ—кто курилъ и молчалъ, кто изрѣдка перекидывался словами то съ тѣмъ, то съ другимъ товарищемъ.

— А и скучна, господа, эта крейсерская служба,—говорилъ бѣлокурый съ голубыми глазами офицерикъ, задумчиво поглядывая на море.

— Что говорить!—тоска порядочная,—лѣниво, какъ бы нехотя, отвѣчалъ другой, темнолицый и сѣроглазый, ни на кого не глядя.

— Тоска—мало тоска!—Точно бѣлка въ колесѣ: отъ Кафы къ Суджукъ-Кале, отъ Суджукъ-Кале опять къ Кафѣ... Ужъ и дельфины надоѣли....

— А тебѣ бы въ баталію сейчасъ... Чесменскимъ героемъ сразу бы стать...

— Не героемъ... А вотъ хоть бы какъ Евдокимъ Михайловичъ—счастливецъ! чего онъ не видѣлъ!

— Успѣешь еще... Да что вы все молчите, Евдокимъ Михайловичъ! Хоть бы рассказали, какъ вы мыкались по всѣмъ морямъ, что народу перевидали... А?

Тотъ, къ кому относились эти слова, сидѣлъ немножко поодаль и задумчиво глядѣлъ въ даль, медленно пуская дымокъ изъ коротенькаго чубука. Это былъ мужчина лѣтъ за тридцать, худощавый, сильно загорѣлый брюнетъ съ добрыми задумчивыми глазами. Въ этихъ глазахъ, какъ и въ кроткой улыбкѣ, было, казалось, что-то свое, особенное, что никому не высказывалось и о чемъ, казалось, постоянно думалось.

Когда его окликнули товарищи, онъ улыбнулся своею доброю, загадочною улыбкою, но ничего не отвѣчалъ.

— А? много видали?

— А загаръ-то у васъ на лицѣ почище нашего.

— Да,—отвѣчалъ тотъ, къ кому обращались:—я всякаго солнца извѣдалъ—и южнаго, и сѣвернаго.

— Да также восточнаго и западнаго,—засмѣялся голубоглазый, сверкнувъ своими бѣлыми зубами:—счастливецъ вы!

Тотъ, къ кому относились эти слова, молча и съ улыбкой пожалъ плечами.

— А въ сколькихъ кампаніяхъ вы, Евдокимъ Михайловичъ, участвовали?—спросилъ другой офицеръ.

— Въ тринадцати.

— Какъ разъ чортова дюжина!—засмѣялся первый.

— А въ архипелажской экспедиціи находились?—спросилъ второй.

— Находился... Что за рай земной этотъ Архипелагъ, эти Циклады и Спорады!.. А все дома, на Оке, лучше.

Ему вспомнилось, что въ карманѣ у него, на груди, письмо... Онъ невольно ощупалъ грудь... Да, тутъ... И ему мучительно захотѣлось домой—туда, далеко, на берегъ родной Оки...

„Я жду тебя, жду... Я Богу молюсь, морю молюсь: отдай мнѣ его, синее море“...

Онъ взглянулъ на море—оно было больше чѣмъ синее. Только неда-

леко, на небольшомъ пространствѣ, оно казалось совсѣмъ чернымъ, точно кто окрасилъ его въ этомъ мѣстѣ самую густую тунью: — это по небу плыло маленькое, одинокое облачко, и тѣнь отъ него ложилась такимъ чернымъ пятномъ на бирюзовое море...

„Отдай мнѣ его, синее море“... Нѣтъ, пока еще не отдаетъ — крѣпко держитъ... А такъ ли тамъ, надъ Окою, какъ тогда, шепчется съ весеннимъ вѣтеркомъ кудрявая береза?... Не то она шепталась, не то мы... Нѣтъ — мы... Это не береза нашептывала мнѣ, не ея то былъ голосъ: „возьми меня, милый, за синее море, возьми съ собой“...

— О чемъ это вы опять задумались, Евдокимъ Михайловичъ?

— А? Что такое?

— О чемъ задумались? — приставалъ блондинъ.

— Да такъ... ни о чемъ, собственно...

— О далекихъ моряхъ? о своихъ экспедиціяхъ?

— Да, пожалуй...

— А расскажите намъ, пожалуйста, гдѣ вы бывали? — Вотъ ужъ, сколько мы съ вами въ морѣ, а вы намъ до сей поры не рассказали о своихъ морскихъ странствіяхъ... Вспомните старину — расскажите... Можетъ и на насъ повѣетъ вѣтерокъ съ далекихъ морей да океановъ.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, расскажите, Евдокимъ Михайловичъ, — просилъ и другой офицеръ.

— Право, разгоните тоску и свою, и нашу... Вы, видимо, о чемъ-то тоскуете.

Туманъ, туманъ по долинь,
Широкой листь на ялинъ,
А ще ширшій на дубочку,
Понялъ голубъ голубочку,
Да не свою, а чужую...

Это тянулъ тихо, заунывно какой-то матросикъ, забившись промежду снастей.

— Что воешь? али подыхать собрался?

— Это онъ объ своей Марусѣ...

— Ишь панихиду тянетъ — со святыми упокой, — шутили другіе матросы: — и языкъ-то у хохла суконный, и пѣсня-то суконна.

— Что жъ, Евдокимъ Михайловичъ, — расскажете?

— Что жъ вамъ рассказать? — спросилъ онъ.

— Да всю вашу морскую жизнь... Вспомните все...

— Хорошо — такъ и быть... Вспоминать — значитъ, переживать... Попробую пережить опять мое прошлое, побывать съ вами въ далекихъ моряхъ...

— И расчудесно! — давно бы пора.

— Отлично! Мы слушаемъ.

— Да вся суть-то, господа, недолга — исторійка невеличка — мыканье какъ мыканье, да въ душѣ-то за все мыканье много перебивало: и

камушки-то самоцвѣтныя въ душѣ свѣглись, а порой и жерновомъ осельнымъ сердце-то приваливало, какъ тамъ, помните, что привалиша камень съ кустодіею. Всего въ душѣ перебивало... Спервоначалу-то, еще мальцемъ когда былъ, гардемаринномъ, такъ все больше нудили лѣтомъ по чухонскому океану—то около Кронштадта, то у Ревеля толчемся. Испыталъ я и эту морскую болѣзнь, а потомъ обтерпѣлся. А молодая-то душа все вдаль рвалась: крылья-то ужъ Господь Богъ далъ ей могучія—непосѣда душа человѣческая, все едино, что вотъ у васъ...

Онъ кивнулъ голубоглазому блондину, который жадно слушалъ.

— Крылья—и летѣ-летѣ на крилу вѣтренюю,—улыбнулся смуглый.

— Да, точно, жадеиъ духъ человѣческій — все ищетъ, все рыщетъ по свѣту, пока въ могилку не заглянетъ... Ну-съ, государи мои, плескались мы сначала у родныхъ береговъ, а какъ доплескался я до мичмановъ, такъ и выпустили изъ клѣтки—лети, душа!.. Сначала вышли мы въ свое пока море—до Копенгагена... И то такъ и вѣлъ глазами все невиданное:—и солнце-то, кажись, не такъ ходить, и люди-то не такъ созданы... Да это что! простора еще не было... А тамъ—дальше да больше, больше да шире,—и до Портсмута добрались, и весь этотъ „туманный Альбіонъ“ очами поѣдалъ, и съ Цезаремъ, кажись, да съ его легіонами блуждалъ по этимъ сѣрымъ берегамъ... А тутъ ужъ, понимаете, государи мои, самъ сѣдой старецъ, его величество океанъ, на васъ дышетъ величіемъ божіимъ... Я, дуракъ, упалъ на колѣни передъ нимъ, заплакалъ отъ счастья—слезы только капъ-капъ-капъ... Слышу, божеская грудь на меня, на ничтожнаго мичманишку, дышетъ, великая грудь... А Алексѣй Григоричъ Орловъ увидалъ меня въ такомъ блаженномъ оцѣпененіи да и улыбается: „что, говоритъ, Кравковъ, пробрало?..“ И точно, я будто бы самъ выросъ на сѣдыхъ гривахъ этого великана—точно я выше сталъ, въ груди силы прибыло — самъ чуялъ, какъ крылья въ душѣ вырастаютъ...

— Ну, и что жъ дальше? Въ океанѣ...

— Въ океанѣ, сударь мой, я точно выросъ—въ лейтенанты меня произвели... Ну, и полетѣли мы дальше по сѣдому океану: Франція, Испанія, Португалія — все это я топталъ вотъ этими ногами, вспоминая подчасъ мою далекую Оку, мою скромную деревеньку и усадѣбку...

Онъ разомъ замолчалъ и задумался... Ему, казалось, слышался голосъ: „я морю молюсь: отдай мнѣ его, сине море!..“

— Франція, Испанія, Португалія,—повторялъ его слова безпокойный блондинъ;—а тамъ, дальше?

— Не выдержалъ!—какъ-то глухо произнесъ рассказчикъ.

— Чего не выдержали, Евдокимъ Михайловичъ?

— Душа не выдержала, тѣло не выдержало души—передила чаша черезъ край—я занемогъ...

— Чѣмъ?

— Обѣлся, обожрался... Не я, не тѣло обѣлось, а духъ мой: ужъ

больно жадно духъ мой пожиралъ новыя впечатлѣнія... Въ Италіи уже, въ Ливорно, я слегъ...

— Что жъ съ вами было?

— Не знаю, голубчикъ,—горячка что ли, только когда я началъ оправляться, такъ Орловъ велѣлъ меня отправить въ Петербургъ уже по сухопутью.—Это было въ маѣ 1771 года. А въ слѣдующемъ году я ужъ опять мыкался по морямъ, да не по южнымъ, не подъ жаркимъ солнцемъ Италіи, а подъ солнцемъ Ледовитаго океана. Что за угрюмое море, государи мои!—и какъ величественно непривѣтливо!.. Изъ Архангельска я обогнулъ Нордкана Среди этого Ледовитаго чорта можно съ ума сойти!—представьте только въ своемъ воображеніи: плывете вы день, плывете другой, третій, четвертый, а солнце все не заходитъ, все вертится, какъ ошалѣлое, кругомъ съ утра до вечера, съ вечера до утра, все плавааетъ этотъ страшный огненный шаръ надъ горизонтомъ и не тонетъ въ море... Страшно становится подъ конецъ! хочется уйти, спрятаться отъ этого обезумѣвшаго небеснаго свѣтила, думается, что оно сбилось съ своего пути, потеряло ночь и не можетъ найти ее, просишь у Бога ночи—нѣтъ, нейдетъ ночь... Изобразите себѣ въ мысляхъ эту картину: солнце потеряло свой закатъ, солнце свѣтитъ не оттуда, откуда оно свѣтило вамъ всю жизнь—съ востока. съ юга, съ запада—нѣтъ! оно свѣтитъ съ сѣвера и тѣнь вашу посылаетъ на югъ... Отъ этого вида точно и мозги-то ваши опрокидываются. Обезумѣло, какъ есть обезумѣло солнце!—Я самъ чуть не обезумѣлъ, я не могъ спать—я началъ было пить съ тоски, я просилъ ночи, тьмы, а тьма пропала...

— А матросы что?—весь красный отъ волненія спросилъ голубоглазый,

— Что матросы! Говорятъ: вотъ благодать! Кабы-де у насъ въ деревнѣ такъ весь годъ свѣтло было, такъ и лучины бы не надо было запасать.

— Молодцы матросики! Вотъ философы!—засмѣялись оба офицера.

— Да, только они и отраду давали: послушаешь это, какъ они насчетъ солнца-то острятъ да выгадываютъ, ну, и полегчаетъ на душѣ... Солнушко, говорятъ, съ пьяну съ дороги сбилось, дверей не найдетъ—и шатается по небу... Кита, говорятъ, спужалось, боится въ воду окунуться...

— Ну, а какъ вы оттуда выбрались?

— Кругомъ, мимо Гиммерфеста да стороной отъ Гольфстрема, и обогнули всю Норвегію и Швецію, да опять въ чухонское море, въ Ревель.

— А какъ же вы попали въ Архипелагъ?

— Это послѣ. Это я потомъ назначенъ былъ въ эскадру контръ-адмирала Самойлы Карлыча Грейга. Такъ ужъ съ нимъ мы ходили до Копенгагена сначала, а оттуда въ Портсмутъ, а далѣе—опять въ Средиземное море, къ Ливорно, а ужъ оттуда въ Архипелагъ.

— Что же вы тамъ дѣлали?

— Да все крейсировали, какъ и здѣсь, турецкіе корабли ловили.

— А много изловили?

— Не мало... Больше все топить приходилось... Тамъ меня и въ капитанъ-лейтенанты произвели...

Течетъ рѣчка лозоньками,
Плачетъ дѣвка слезоньками,—

тянулъ за душу все тотъ же унылый, однообразный голосъ.

— Это Маруська-то что-ль плакалась?

— Маруська, знамо, все по еѣ...

— Ваше благородіе! ваше благородіе!—точно изъ земли выросъ матросикъ.

— Что ты?—тревожно спросили офицеры.

— Кажись, турка крадетца...

— Гдѣ? гдѣ видишь?

— Вонъ тамотка... во-во, должно, къ Анапу улепетываетъ...

— На фрегатѣ все зашевелилось. Раздалась команда. Заскрипѣли блоки, снасти. Матросы, словно кошки, разсѣялись по реямъ. Заходили паруса, точно живые: надулись Богъ-вѣсть откуда взявшимся вѣтромъ... Точно само море проснулось...

— Ну вотъ, скучали безъ работы, вотъ и работа будетъ, — на ходу бросилъ словами Кравковъ своимъ собесѣдникамъ, быстро, отрывисто отдавая приказанія.

— Живо—готовъ фитили! Осмотрѣть запалы!

— Вотъ тѣ и Маруська...

— Лѣвѣй, лѣвѣй, чортъ!

Фрегатъ накренился, сдѣлалъ полуоборотъ и на всѣхъ парусахъ полетѣлъ къ Анапѣ.

II.

На родинѣ.

Въ ясный, лѣтній вечеръ, когда солнце опускалось уже на темныя игольчатыя вершины сосенъ и елей, обывательская тройка, мѣрно позвякивая колокольчикомъ, тихою рысцою катила по извилистому проселку, постукивая о сухую землю нешинованными колесами простой извозничьей телѣги. Проселокъ извивался вдоль Оки по направленію къ Гороховцу.

На облукѣ сидѣлъ ящикъ въ синей посконной рубахѣ и въ шляпѣ гречушникомъ и, какъ бы для очищенья совѣсти, постоянно махалъ надъ лошадиными крупами обдерганнымъ внутикомъ, сопровождая эти помахи-ванья эпическими, лѣнивыми и ему, и лошадямъ прискучившими возгласами: „но-но, боковы! съ горки на горку—дастъ баринъ на водку... но-но, пошаливай!“—хотя флегматическія лошадки и не думали шалить.

— Трогай-трогай!—понукалъ, въ свою очередь, сидѣвшій въ телѣгѣ „баринъ“,—ужъ не далеко осталось.

— Но-но, погромыхивай, боковы! недалече—помахивай!

Сидѣвшій въ телегѣ „баринъ“ былъ Кравковъ, Евдокимъ Михайловичъ, тотъ самый загорѣлый капитанъ-лейтенантъ, котораго мы видѣли на Черномъ морѣ и который рассказывалъ о своихъ далекихъ скитаніяхъ двумъ молодымъ морячкамъ-мичманамъ.

Кравкову, небогату, но даровитому отъ природы юношѣ, съ самой школьной скамьи молодая жизнь улыбалась. Умный отецъ его, мелкопомѣстный дворянинъ Владимірскаго намѣстничества, служившій въ гвардіи и вышедшій въ отставку съ небольшимъ чиномъ, замѣтивъ способности „вростроглазаго Евдоши“, порѣшилъ, что онъ умомъ и знаніемъ долженъ завоевать свое счастье, и отдалъ его въ морской кадетскій корпусъ. „Недаромъ, Великій Петръ любилъ море—въ морѣ сила, моремъ свѣтъ держится, — пусть же мой Евдоша хлебнетъ изъ этого ковша, какъ Илья Муромецъ, и наберется силы“, часто говаривалъ онъ про своего бойкаго сынишку. И Евдоша не обманулъ ожиданій отца: изъ Евдоши вышелъ способный морякъ, хотя, когда онъ уже мичманомъ явился на родину, некому было на него порадоваться. Онъ нашелъ въ своей деревенькѣ только двѣ могилки — отца и матери, да зеленѣющую надъ ними кудрявую березку.

Поплакавъ подъ этой березкой, онъ опять воротился къ своему морю, которое, какъ поэтъ въ душѣ и мечтатель, любилъ больше всего на свѣтѣ. И вотъ, какъ мы видѣли въ предыдущей главѣ, начались его мыканья по синимъ, по зеленымъ и по фіолетовымъ волнамъ океана. Всѣ товарищи любили Кравкова, какъ задушевнаго, честнаго до мозга костей и въ высшей степени симпатичнаго человѣка, пылкаго фантазера и хорошаго собесѣдника. Начальство отличало его передъ всѣми какъ способности моряка, хотя и косилось на него за одну его, съ ихъ точки зрѣнія, слабость—за гордость, холодность отношеній къ высшимъ, за самостоятельность убѣжденій. Онъ никогда не заискивалъ въ начальствѣ, не забѣгалъ впередъ, не умѣлъ мило льстить, изловчаться. Когда даже всесильный Орловъ трепалъ его любезно по плечу, онъ какъ будто хмурился. „Я не теленокъ, чтобъ меня гладили“, говорилъ онъ при этомъ товарищамъ. Онъ много читалъ. Мыкаясь по свѣту, онъ доставалъ въ Европѣ такія книги, какихъ въ Россіи достать было не легко. Руссо съ его философіею природы былъ его любимымъ писателемъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ глубоко любилъ высокую, чарующую своей простотой, поэзію Евангелія, и оно вмѣстѣ съ Руссо составляло его настольную книгу.

Въ поэзіи моря, какъ и въ поэзіи Евангелія, онъ видѣлъ идеалы своей жизни и другихъ идеаловъ онъ не искалъ бы, кажется, совсѣмъ, если бы въ его отзывчивое сердце не заронилъ лучъ живой, реальный идеалъ съ плотью и кровью, и съ прелестными сѣрыми глазами.

Когда видъ могучаго океана въ первый разъ произвелъ на его душу потрясающее впечатлѣніе и когда подъ тяжестью своихъ собственныхъ порывовъ его нервы не выдержали, и онъ слегъ въ Ливорно, откуда Орловъ и отправилъ его для поправленія здоровья на родину,—онъ въ своей го-

роховедкой вотчанинъ встрѣтился съ тѣмъ реальнымъ идеаломъ съ сѣрыми глазами, который и занялъ въ его душѣ мѣсто рядомъ съ поэзіею палестинскихъ рыбаковъ. Это была дочь его сосѣда, богатаго барина, масона и „вольтеріанца“—шаловливая Катя, выросшая на полной свободѣ, какъ дѣшная бѣлка и какъ бѣлка подвижная и стремительная. Катя полюбила загорѣлаго моряка, котораго она слушала съ замираніемъ сердца, когда онъ рассказывалъ ей отцу о своихъ скитаніяхъ по голубымъ и фіолетовымъ морямъ. Влюбленные пожелали принадлежать другъ другу во что бы то ни стало. Но такъ какъ Катя хорошо знала характеръ своего упрямаго отца, который не разъ высказывалъ, что скорѣе застрѣлитъ свою любимицу дочь, какъ бѣлку, чѣмъ позволить ей унижить свой родъ—выйти за какую-нибудь „мелкую сошку“,—то молодые люди и порѣшили выждать совершеннолѣтія Кати, чтобъ потомъ, не нарушая ни гражданскихъ законовъ, ни законовъ приличія, соединиться уже на вѣки.

Только не такъ вышло, какъ имъ мечталось.

Во время послѣдней крейсировки на Черномъ морѣ, Кравковъ получилъ извѣстіе, что его невѣсту самодуръ-отецъ хочетъ насильно отдать замужъ за богатое и титулованное ничтожество. Возвратившійся изъ Владиміра въ азовскую флотилію, бывшій въ отпуску, лейтенантъ, пріятель Кравкова, привезъ ему письмо, въ которомъ невѣста умоляла его немедленно пріѣхать:—„и мое, и твое счастье на волоскѣ“, писала она между прочимъ:—„а если ты не пріѣдешь, то мнѣ останется только въ Оку броситься“.

Кравковъ тотчасъ же подалъ въ отставку и при прошеніи представилъ свидѣтельство врачей о болѣзни, а самъ поскакалъ въ Петербургъ—лично хлопотать и объ отставкѣ, и о пенсіонѣ.

Въ адмиралтействъ-коллегіи все одѣлали быстро, и на докладъ коллегіи послѣдовала высочайшая резолюція о выдачѣ Кравкову пенсіона.

Но тутъ-то и начались тѣ мытарства, та всероссійская правда, которая губитъ меткія и честныя единицы ради интересовъ крупныхъ государственныхъ паразитовъ. Несмотря на высочайшую резолюцію, графъ Чернышовъ, Иванъ Григорьевичъ, вице-президентъ адмиралтействъ-коллегіи, рѣшительно отказалъ выдать Кравкову пенсію.

Нѣтъ у васъ, государь мой, пенсіонной для васъ суммы!—рѣзко сказалъ онъ Кравкову при всѣхъ просителяхъ:—мы обязаны оберегать интересы ея императорскаго величества.

Кравковъ очень хорошо зналъ, какъ этотъ господинъ оберегалъ интересы государства. Моряки его не иначе называли какъ „воръ-президентъ“ адмиралтействъ-коллегіи, а не вице-президентъ. Сама императрица была о немъ самаго низкаго мнѣнія. Она сама говорила Храповицкому о всѣхъ его проделкахъ—и о томъ, какъ онъ у князя Орлова „зажилилъ каминъ“—подлинныя слова Екатерины—„и не возвратилъ взятыхъ на то денегъ, когда ѣздить въ Англію“, и о томъ, какъ онъ оттягалъ картины у вдовы герцога Квинстона и пр.

Этот-то господинъ ни за что, ни про что при всѣхъ оборвалъ Кравкова, который еще никому не кланялся.

Несчастный очутился безъ копейки денегъ.

— И не ищите правды,—говорили Кравкову его петербургскіе товарищи по корпусу, когда онъ хотѣлъ жаловаться на Чернышова:—всѣ они таковы—воръ на ворѣ и воръ у вора изъ рукъ дубины рвутъ... У насъ правда только на бумагѣ.

Собравъ послѣдніе гроши, оставшіеся отъ жалованья, и продавъ мундиръ, онъ поскакалъ въ свою деревеньку, на Оку, увозя изъ Петербурга очень нехорошее чувство къ „властителямъ и судьямъ“ вообще.

„А что-то тамъ—дома?—не опоздалъ ли? не все ли ужъ потеряно?“ острымъ ножомъ рѣзали сердце вопросы, когда изъ-за зелени лѣса блеснула синеватая полоса родной рѣки.

— Да что ты такъ тащишься, любезный! точно тебя за смертью послали! —волновался онъ.

— Но-но, боковы! помахивай!

— Кой чортъ помахивай! еле ноги переставляютъ! болванъ!

— А! ѣшь-те муха! шевелись—пошевеливай!

Но вотъ показалась знакомая роща, гдѣ когда-то Евдоша, еще рѣзвымъ мальчикомъ, за бѣлками гонялся, а тамъ—все еще чернѣются знакомыя грачевыя гнѣзда. Грачи ужъ вывелись—вонъ какъ орутъ надъ рощею. И скворешня знакомая торчитъ надъ скотнымъ дворомъ. Какъ почернѣла, а тогда была еще новенькая. А гдѣ теперь тотъ „Петька“—скворецъ, котораго юный Кравковъ передъ отправленіемъ своимъ въ морской корпусъ самъ воспиталъ и который такъ хорошо величалъ самого себя—„скворгушка, скворгушка?“

Вонъ и березка кудрявая, подъ тѣнью которой пріютились двѣ знакомыя могилки съ покосившимися крестами.

Знакомая родная деревенька съ черными избушками и хлѣвушками и осиротѣлая родная усадьба—какое все это маленькое, жалкое, но дорогое сердцу!

Но не такъ его сердце рвется къ этой родной усадьбѣ, какъ вонъ къ тому большому барскому дому, что стоитъ за Окой, какъ разъ противъ его скромной усадьбки. Домъ съ колоннами, съ цвѣтникомъ, съ садомъ, съ теплицами.

Но отчего всѣ окна въ немъ закрыты ставнями? Отчего не видно кругомъ движенія, жизни? Ни на террасѣ, ни на берегу ни души—точно все вымерло. Ея любимая лодочка „Дельфинъ“ привязана у плота. Надъ ея мезониномъ не развѣвается знакомый маленькій флагъ съ изображеніемъ на немъ якоря.

Что все это значитъ?.. Уѣхали? Но куда?..

Только бѣлые голуби кружатся у ея балкона...

„Неужели опоздалъ!“ У Кравкова сердце точно упало и замерло...

Ямщикъ, употребивъ послѣднія энергическія усилія, заставилъ, наконецъ, свою тройку лихо подкатить къ невысокому крыльцу усадьбки.

Изъ воротъ съ лаемъ выбѣжали собаки. На крыльцѣ показалась бѣлокурая дѣвочка—скорѣе дѣвушка, лѣтъ шестнадцати, и остановилась въ изумленіи.

— Барбось! а, старый, не узналъ!

Собака, не узнавъ лица своего господина, котораго давно не видала, узнала его голосъ и завизжала отъ неожиданнаго счастья, показывая такую безумную радость и столько искренности, сколько самый любящій человѣкъ не сумѣетъ высказать словомъ и ласками.

— Батюшки! баринъ пріѣхалъ!—закричала и дѣвочка захлебывающимся голосомъ, стремительно убѣгая въ дверь, изъ которой снова опять выскочила красная какъ кумачъ.

— Здравствуй, Поля,—ласково сказалъ Кравковъ, вылѣзая изъ телеги и съ трудомъ отбиваясь отъ Барбоса, примѣру котораго послѣдовали и другія младшія собаки: „значить такъ слѣдуетъ — это баринъ“, быстро сообразила четвероногая дворня.

Дѣвушка робко подошла къ Кравкову и схватила было его руку, чтобъ поцѣловать ее; но тотъ отнялъ руку и поцѣловалъ дѣвушку въ голову. Она еще болѣе вспыхнула.

— Лукьяновна-няня здорова?

— Здорова-съ, баринъ. Да вонъ и сама баушка.

На крыльцѣ, на которое уже успѣлъ взойти и Кравковъ, въ дверяхъ показалась старуха. Она безмолвно всплеснула руками и закрыла ими лицо...

— Охъ, баринушка! охъ, милый! о-охъ!

— Здравствуй, няня...

У Кравкова голосъ сорвался. Онъ предчувствовалъ что-то недоброе. Онъ увидѣлъ, что заплакала и дѣвушка, а старуха вся дрожала, всхлипывая.

— Что съ тобой, няня!—что случилось?

Онъ самъ испугался своего вопроса... Зачѣмъ онъ спросилъ?.. Онъ боялся отвѣта на свой, прорѣзавшій его собственное сердце, вопросъ.

— Охъ, батюшка! родной мой! баринушка!

— Да что же? Что съ вами!

Онъ уже боялся спросить: „что случилось?“

— Охъ, родной! охъ, батюшка! свѣтикъ ты мой!

— Да скажи ты, Поля, что съ няней?

Но и дѣвушка только пуще расплакалась.

Тогда старуха, отнявъ руки отъ лица, стала порывисто крестить своего барина.

— Постой—постой, родимый... Дай сердцу-то на мѣстѣ стать—все расскажу.

— А лошадокъ-то, баринъ, распрягать велишь? вмѣшался ямщикъ.

— Извѣстно—распрягай.

— Ишь упарили!—и дорожка же!

— Что-жъ мы тутъ стоимъ?—заговорила вдругъ старушка:—пожалуй въ горницу, батюшка, а ты, Полюша, бѣги—ставеньки открой.

Кравковъ машинально, самъ того, не сознавая, отворилъ дверь въ сѣни, а потомъ направо, въ знакомую съ дѣтства „горницу“. Въ ней было темно, какъ въ могилѣ. Разнородныя ощущенія влещами сдавили сердце... Такого смутнаго страху онъ и среди бурнаго океана не испытывалъ...

Ставня открылась, и свѣтъ словно бы испуганно ворвался въ комнату, въ одну ея половину, боясь проникнуть дальше. Скрипнула и отворилась другая ставня...

Знакомыя стѣны, столъ, стулья и на стѣнѣ потемнѣвшая гравюра, изображающая Петра Великаго въ бурю на Ладожскомъ озерѣ... Какія ничтожныя волны въ сравненіи съ тѣми, которыя онъ видѣлъ!

На кругломъ столѣ, у кожанаго дивана, лежала женская соломенная шляпка съ голубыми лентами и тутъ же маленькая палевая перчатка.

У Кравкова не то радостью, не то новымъ страхомъ сжалось сердце... Нѣтъ, это не радость...

Вошла нянюшка и, взглянувъ на шляпку и на своего барина, вновь заплакала...

— Ну, говори же, няня, разомъ:—умерла?—глухимъ голосомъ, съ трудомъ выговорилъ онъ послѣднее слово.

— Охъ, нѣтъ, родимый...

— Нѣтъ, говоришь? Няня, гдѣ жъ она?

— Охъ, постой—постой, болѣзнь, — все, горемычная, расскажу... Пришла это она, голубушка, ни жива, ни мертва, положила это на столъ свою шляпочку и вонъ энтю перчаточку, да и говоритъ: нянюшка—гитъ—меня батюшка силкомъ замужъ хочетъ отдать за Никиту Кирилыча, а я, гитъ—не хочу за него, я, гитъ—и передъ Богомъ, и передъ людьми невѣста твою барина, Евдокима Михайлыча... Охъ!

Старуха остановилась и опять заплакала. Кравковъ съ трудомъ передохнулъ.

— Ну, говори, няня,—не плачь.

— Не буду, не буду, родной, всхлипывала старуха:—вотъ она, горлинка божья, и говоритъ: я, гитъ, нянюшка, ушла отъ родителя,—я, гитъ, хочу ѣхать къ Евдокимъ Михайлычу, поѣду, гитъ. во Владимірѣ, а оттолѣ-де напишу ему, чтобъ пріѣзжалъ за мной.—Что жъ—говорю—и съ Богомъ, дитятко, коли ужъ васъ Господь раньше благословилъ къ супружеству,—поѣзжай, говорю, ластушка.—Въ ночь, гитъ, и выѣду, только бы мнѣ лошадокъ достать да ямщика.—Что жъ—я говорю—барышня, за лошадами дѣло не станетъ:—мой-де-Ермилъ съ Полюшей и проводятъ тебя до Владиміра. Только я это, родной мой, выговорила, какъ слышу у крыльца конскій топотъ. Барышня глянула въ окошко да такъ и помертвѣла: отецъ—говоритъ—а съ нимъ вмѣстѣ тотъ злодѣй... Что я буду дѣлать! Пропала я, бѣдная!—А сама ручки ломаетъ...

Старуха опять остановилась. Кравковъ сидѣлъ блѣдный, съ широко раскрытыми, точно отъ ужаса, глазами.

— Ну... кончай же... Они увезли ее?

— Охъ, нѣту, родной... Дай передохнуть... Вбѣжали это въ комнату... А—говорить старый-то баринъ—ты здѣсь!—ахъ ты, гитъ, упрямая дѣвченка!—вся въ меня, только я, гитъ, сильнѣе тебя... Да взялъ ее, голубушку, эдакъ въ охапку, какъ дитю малую, и понесъ на крыльцо... А она, сердешная, только молить слезно: пустите, пустите меня... А родитель-то ейный, отецъ-отъ, вынесъ ее эдакъ, голубушку, на крыльцо да и передаетъ съ рукъ на руки нелюбу-то злодѣю.—Берите, гитъ, дочь мою изъ родительскихъ рукъ:—она-де теперь ваша и передъ Богомъ, и передъ людьми. Теперь она, гитъ, глупа, молодешенька, свою талану-счастья не разумѣетъ, а послѣ меня же-де благодарить будетъ.—Да такъ ее въ руки-то злодѣю и вложилъ, какъ ребеночка... А она, сердешная, какъ вскрикнетъ не своимъ голосомъ, какъ вскрикнетъ!... О, Господи! Господи!

— Такъ и увезли?

— Нѣту! охъ—нѣту! Коли-бъ увезли...

— А что? Говори же, не мори меня!

— Баринушка мой! не могу—языкъ не выговорить...

— Что же?—Господи!

— Слушай же... Все доскажу—дорѣжу тебя... Какъ злодѣй-то взялъ ее въ руки, а она, ластушка, какъ вскрикнетъ, да и вырвись изъ рукъ погубителя-то свою... Охъ!... А отецъ-отъ опять за нее... А она какъ кинется на берегъ да съ кручи-то прямо въ Оку... Только и видѣли ее...

Кравковъ не имѣлъ силы даже вскрикнуть...

— А какъ барышня бѣжали къ Окѣ, такъ онѣ сказали: „я къ тебѣ иду—возьми меня“—да съ этимъ словомъ и нырнули съ кручи,—добавила Поля, которая стояла у дверей и рукавомъ рубахи утирала глаза.

Кравковъ продолжалъ сидѣть попрежнему. Онъ даже не плакалъ.

Старуха, нѣсколько успокоенная тѣмъ, что онъ, казалось, не такъ сильно былъ пораженъ ея рассказомъ, какъ она того ожидала, стала припоминать подробности.

— И платице-то на ей, на голубушкѣ, было свѣтленькое да веселенькое такое...

— По бѣлому полю цвѣтики махоньки,—поясняла Поля.

— Стали искать это ее въ рѣкѣ баграми да неводами,—продолжала старушка.

— А самъ баринъ въ лодкѣ въ барышницей,—опять поясняла внучка.

— Не мѣшай, глупая... Искали-искали ее. Недалече вить и отнесло ее... Вонъ тамъ и нашли...

— Супротивъ, почитай, березки,—не вытерпѣла Поля.

— Вынули это ее, сердешную, а у нея и головка падаетъ, и косынька-то растрепалась... Я мигомъ простыни притащила, чтобы на простынку-то ее

положить да качать... На твоихъ простынкахъ, родной, и качали ее... Спать бы ей, горемышной, съ тобой на этихъ простынкахъ да радоваться—такъ нѣтъ—не привелъ Богъ...

— А я ей платье. барышнѣ-то, разстегнула—баринъ велѣлъ,—добавила Поля:—самъ онъ хотѣлъ разстегнуть, да руки трясутся...

— Убивица онъ—вотъ что, а не отецъ!—съ сердцемъ сказала старушка.

— Что же—не откачали?—чуть слышно спросилъ Кравковъ.

— Гдѣ откачать, батюшка!.. Такъ и отвезли ее на ту сторону съ нашими простынками... Послѣ ужъ я ихъ взяла... А на третій день и похоронили сердешную... Еще городской попъ отъ не хотѣлъ ее хоронить—утопленница, говоритъ,—безъ попа-де да безъ ладону померла,—такъ еный баринъ кнутомъ попу пригрозилъ—ну, и схоронили голубушку тамъ же, въ садикѣ у нихъ.

— А самъ баринъ уѣхалъ,—вставила свое слово Поля.

— Куда уѣхалъ?

— Въ чужія земли, сказываютъ, уѣхалъ, а домъ велѣлъ запереть наглухо,—отвѣчала старуха.

Кравковъ взялъ въ руки маленькую перчатку, поглядѣлъ на нее и снова положилъ на столъ... Въ этотъ моментъ онъ почувствовалъ себя такимъ одинокимъ сиротой во всемъ мірѣ, такимъ чужимъ для всѣхъ... Ничего у него не осталось—ни моря, ни жизни...

Онъ упалъ головой на столъ и зарыдалъ... Старуха и дѣвушка стояли около него и тоже плакали.

III.

Въ тихомъ омутѣ.

Для Кравкова началась не жизнь, а вѣчная агонія.

Въ то время, когда онъ былъ въ морѣ, когда у него было дѣло, которое онъ страстно любилъ, которое составляло цѣль и всю окраску его жизни, въ которое онъ, наконецъ, воплотилъ идеалъ своего духа,—для него міръ не казался пустыней:—въ этомъ мірѣ была у него цѣль, къ которой онъ шелъ, и жизнь казалась ему вѣчнымъ движеніемъ впередъ, постепеннымъ достиженіемъ чего-то искомаго, что и было его идеаломъ, хотя, быть можетъ, неясно сознаннымъ, смутно представляемымъ.

Потомъ, когда онъ нашелъ—въ этомъ исканіи своего идеала—и нашелъ совершенно случайно, точно съ завязанными глазами, какъ древніе изображали „слѣпое счастье“, нашелъ другой идеалъ—идеалъ личнаго счастья, міръ казался ему раемъ, въ которомъ все было уготовано для его личнаго блаженства.

И вдругъ все это было разрушено... Онъ бросилъ море, своихъ товарищей, свои привычныя и любимыя занятія, все, что наполняло его жизнь, бросилъ для новой жизни, которая представлялась ему такою лучезарною;—и что же нашелъ!

Онъ разомъ потерялъ все. Жизнь потеряла для него всякій интересъ, и весь міръ сталъ для него пустыней...

Куда идти? Чего искать? Да для чего, зачѣмъ? Идти развѣ туда же, въ Оку...

Но это бы еще ничего, что міръ сталъ для него пустыней. Можно было бы и въ пустынь забыться. Но забыться нельзя... Взамѣнъ всего, что у него было, ему оставили что-то незабываемое, отъ котораго и въ пустынь нельзя спрятаться... Ему оставили страданія острые, жгучія... Куда отъ нихъ бѣжать? Какъ тутъ забыться!.. Онъ былъ глубоко одинокъ; но онъ былъ не одинъ: и днемъ, и ночью за нимъ ходило это незабываемое—эти острые, жгучія муки...

Онъ потерялъ сонъ... Цѣлыя ночи онъ или сидѣлъ на берегу Оки, тамъ, у березокъ, или отправлялся на ту сторону рѣки, гдѣ подъ землею лежало что-то для него не умершее... Онъ сидѣлъ и думалъ—мучительно думалъ...

Если-бъ еще онъ могъ вновь отдаться дѣлу, которое онъ любилъ; но онъ самъ порвалъ съ этимъ дѣломъ такъ рѣзко, въ такихъ окончательныхъ формахъ, что возвратиться къ нему не было никакой возможности... Да и зачѣмъ теперь ему дѣло?

Какія безконечныя ночи! и дни безконечные... Хоть бы сномъ забыться... И на Окѣ тихо, и въ лѣсу тихо—ничто не шелохнетъ... Онъ сидитъ на берегу Оки, сжавъ голову руками...

Что это? какъ будто кто плачетъ? Кому же плакать, какъ не его собственной душѣ?

Нѣтъ—плачетъ кто-то...

— Кто тутъ?

Нѣтъ отвѣта. Это ему представляется—чудится въ ночной тиши...

Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, кто-то плачетъ и близко, явственно всхлипываетъ. Онъ поднимаетъ голову... Да, точно плачетъ...

— Кто тутъ? кто плачетъ?

Онъ всталъ и направился къ тому мѣсту, откуда слышался плачь. Подъ кустомъ что-то бѣлѣлось. Словно чѣмъ-то ожгло его по сердцу...

— Кто это?

— Это я, баринъ,—отвѣчалъ всхлипывающій голосъ.

— А, это ты, Поля... Зачѣмъ ты здѣсь? О чемъ плачешь?

Дѣвушка еще сильнѣе заплакала.

— Что съ тобой, Поля? зачѣмъ ты не дома, не спишь?

— Ахъ, баринъ... А вы сами... котору ночь не спите...

Онъ схватилъ себя за голову.

— Я не могу спать, Поля... А ты ступай, не мѣшай мнѣ...

Вѣроятно, онъ скоро покончилъ бы съ собой, если-бъ жестокая горячка не уложила его въ постель. Двѣ недѣли онъ былъ между жизнью и смертью. Старушка-няня и, въ особенности, ея внучка не отходили отъ больного. Въ бреду онъ говорилъ такія вещи, которыхъ ни старуха, ни дѣвушка не понимали: то чудились ему какія-то далекія моря, по которымъ онъ, ка-

залось, плавалъ, и произносилъ непонятныя слова; то жаловался на какихъ-то злыхъ и безсердечныхъ людей; то вспоминалъ какое-то письмо и звалъ кого-то. Всего страшнѣе казалось для его юной сидѣлки, для Поли, когда онъ говорилъ съ какимъ-то моремъ, какъ-будто съ живымъ человѣкомъ: „отдай мнѣ его, сине море, отдай, отдай!..“

Поля совсѣмъ извелась за это время, но не оставляла больного, какъ ни уговаривала ее старая бабушка. Когда старухи не было въ комнатѣ, дѣвушка часто становилась на колѣни и по цѣлымъ часамъ молилась. Когда больной сталъ приходить въ себя и къ нему иногда возвращался сонъ, дѣвушка украдкой цѣловала у соннаго руку и тихо плакала.

Нѣкоторые ближайшіе сосѣди, узнавъ о возвращеніи Кравкова и о постигшемъ его несчастіи, пріѣзжали къ нему; но старуха, видя, что пользы отъ этихъ посѣщеній нѣтъ никакой, старалась не пускать ихъ къ больному.

Но и горячка прошла, какъ все проходитъ на свѣтѣ, только нравственное состояніе Кравкова не улучшалось. Прежнихъ стремленій уже не было въ душѣ; острые боли также въ ней нѣсколько поулеглись, но тупая тоска не покидала его, какъ не покидали и воспоминанія о его „потерянномъ раѣ“. Онъ потерялъ и вѣру въ людей. А между тѣмъ жить надо было. Ни постигшее его великое горе, ни тяжкая болѣзнь не разрушили его организма, а только надломили энергію его духа, оборвали въ душѣ какія-то струны...

„Живи, Кравковъ, живи“, говорилъ онъ самъ съ собою, медленно поправляясь и бродя одиноко по берегу Оки: „не умеръ—значитъ, долженъ жить... А для чего? А какое тебѣ дѣло до этого? Велѣно жить—и живи... Это твоя барщина... Вонъ твои мужики работаютъ на тебя—это ихъ барщина...“

Но, кромѣ личнаго горя, въ его душѣ вставали общіе вопросы жизни.

„Гдѣ же правда?... Тамъ, въ роскошныхъ палатахъ, ея нѣтъ—она и не завиталась тамъ... У Чернышова правда? У всѣхъ этихъ напудренныхъ вельможъ, у которыхъ на словахъ общественное благо, а на глазахъ крокодиловы слезы?... Знаю я эту правду, и ей служить я не буду...“

— Ты что, Поля?

— Меня за вами баушка послала, баринъ.

— А что?

— Баушка говоритъ, обѣдъ простынетъ... Кушать пожалуйста...

— А, хорошо... Ты что, Поля, такая блѣдная?

— Я ничего, баринъ... такъ...

— Ты за мною замаялгсь, бѣдненькая, когда я былъ боленъ?

— Нѣтъ... это что же-съ?... это такъ...

— Хорошо, Поля, я сейчасъ приду.

„Развѣ вотъ у этихъ бѣдныхъ людей правда? Вонъ они какъ за мной ходили... Вотъ хоть бы и Поля... Да это, можетъ быть, отъ холопской ихъ преданности? Это ихъ барщина—ходить за мной...“

„Говорили—у масоновъ правда...“ Знаю я эту правду! Въ Херсонѣ вонѣ офицеры втянули меня въ эту бездну, и я насилу выкарабкался... Тамъ все барство, всѣ бары лѣзутъ въ масоны, князья и вельможи... Вотъ, говорятъ, и Чернышовъ масонъ... Не таковы были люди Христовой правды: они ходили босикомъ, въ милотяхъ и шкурахъ козьихъ, рыбу ловили, отъ рукъ своихъ кормились... А эти!—это Навуходоносоры, велятъ, чтобъ имъ кланялись, какъ тому идолу на полѣ Деирѣ... Нѣтъ, не тутъ правда... Была для меня правда въ морѣ, только въ морѣ она и потонула... Кому я тамъ служилъ? Имъ же—Навуходоносорамъ, и они же меня бросили въ печь огненную...”

— Что вы, баринушко, мало кушаете у насъ?

— Нѣтъ, няня, я хорошо ѣмъ.

— Ужъ и хорошо, словно цыпленокъ клюетъ... А яишенка-то какая?

— Яичница чудесная, няня.

— Чудесная, а не кушаете... А все оттого, что вокругъ своей печали ходите.

— Какъ такъ, няня?

— Да все думаете въ мысляхъ... А коли у человѣка мысли, нѣту того хуже. Краковъ улыбнулся.

— Какъ же, няня, безъ мыслей-то жить?

— А какъ други-то люди живутъ!

— Гдѣ жъ они?

— Да хоша бы Петръ Ильичъ либо Андрей Исаичъ... Понавѣдались бы когда къ нимъ, а то они къ вамъ, вотъ бы мыслей то и не было... А они же всѣ навѣщали хвораго-то.

— Твоя правда, няня, побываю у нихъ.

— Они люди простые, хоша и господа тоже.

„Можетъ, я тутъ, въ этой глуши, среди простыхъ людей, найду правду и душевный покой... Они же живутъ—не рвутся къ небу... Да у нихъ, впрочемъ, и горя такого не было...”

— А это Полюша вамъ рыжичковъ набрала.

— Спасибо ей, она добрая дѣточка.

— Въ сметанкѣ-та да съ сольцой—и-и-скусно.

Кравковъ послушался старухи и сталъ иногда видѣться съ сосѣдями. То онъ ихъ навѣститъ, то они къ нему пріѣдутъ. Хотя общество ихъ и не было ему по душѣ, да и интересы этихъ захолустныхъ, небогатыхъ помѣщиковъ были самые узенькіе, обыденные, вертѣлись то около поля съ запашками, то около охоты за зайцами и утками, или же вращались въ сферѣ мѣстныхъ сплетенъ, однако, и съ этими дикарями онъ чувствовалъ менѣе свое одиночество. Но порой и эти сосѣди съ ихъ скучными разговорами наводили на него тоску. Какъ идеаль ихъ стремленій было то же масонство; но Кравкову опротивѣла одна мысль о масонахъ.

Онъ чувствовалъ, какъ тоска и пустота жизни затягивали его, словно омутъ. Онъ опять сталъ задумываться. Опять воспоминанія прежней, такой

разумной и свѣтлой жизни туманомъ падали на его душу. Опять въ этомъ прошломъ воскресалъ дорогой образъ. Онъ снова запирался дома, или безцѣльно бродилъ по лѣсу, по окрестностямъ. Но онъ чувствовалъ, что и тамъ, по лѣсу, за нимъ бродило что-то... Это бродило за нимъ его прошлое, его тоска... Отъ нея некуда уйти—развѣ въ могилу?

Но послѣдняя мысль казалась ему оскорбленіемъ всего его свѣтлаго прошлаго—безумною, грѣшною мыслью, барскимъ капризомъ... „Отъ барщины бѣжать? Нѣтъ, живи, страдай...“

Всего мучительнѣе терзало его сознаніе, что онъ не можетъ возвратиться къ прежней жизни, которая теперь представлялась ему потеряннымъ раемъ. Мысль его, когда она на минуту отрывалась отъ созерцанія того, что имъ было потеряно вотъ здѣсь, на этомъ самомъ берегу,—блуждала по далекимъ морямъ, гдѣ надъ его головой сверкало чудное солнце юга, гдѣ чарующею картиною развертывались передъ нимъ волшебныя страны. Ему казалось, что онъ опять бродитъ по оливковымъ и апельсиновымъ рощамъ острововъ Архипелага, слышитъ прибой фіолетовыхъ волнъ вѣчно говорливаго моря... Тамъ, въ Геллеспонтѣ, созерцая берега нѣкогда бывшей Троянской земли, онъ переживалъ тысячелѣтія, своею душою чувствовалъ то, что чувствовали когда-то эти герои и полубоги Греціи, съ которыми онъ породнился мыслью еще на школьной скамьѣ...

„Но какъ воротиться въ этотъ дивный міръ? Черезъ Петербургъ?“...

Но передъ нимъ вставалъ во всемъ омерзеніи барской спѣси возмутительный образъ Чернышова, и его гордый духъ возмущался... „Ни за что не поклонюсь презрѣнному сановнику!“

„Но какъ же жить?“ снова терзался онъ вопросомъ.

„А живи такъ, какъ совѣтуетъ старуха-нянька—безъ мыслей“, отвѣчаетъ внутри его какъ бы чей-то посторонній голосъ.

И онъ рѣшился жить „безъ мыслей“:—онъ отдался теченію той жизни, которая его окружала.

Кравковъ снова сталъ видѣться со своими сосѣдями, ѣздилъ съ ними на охоту, толковалъ о мужикахъ, объ урожаяхъ, о собакахъ. Онъ дѣлалъ то, что дѣлали всѣ. Но такъ какъ ни пороши съ заячьими слѣдами, ни собаки, не могли наполнить собой всей пустоты жизни, то дополненіе это старались находить въ винѣ,—въ этомъ зеленомъ россійскомъ океанѣ Кравковъ и надѣялся утопить свое горе.

Изъ нижеслѣдующаго читатель увидитъ, насколько Кравковъ успѣлъ въ этомъ.

IV.

Въ иргизскихъ снитахъ.

Прошло три года.

Лѣтнимъ утромъ 1780 года, за Волгой, по дорогѣ отъ села Малыковки, что нынѣ городъ Вольскъ, Саратовской губерніи, къ Яику шелъ какой-то прохожій, опираясь на длинную палку, какія обыкновенно носятъ странники.

Прохожій былъ мужчина лѣтъ тридцати-пяти, хотя рѣзкія морщинки,

проведенныя на его лицѣ не то горемъ, не то думами, придавали этому строгому съ задумчивыми глазами лицу гораздо болѣе лѣтъ. На головѣ у него была простая мужичья войлочная шляпа, какъ-то не по-мужичьи опущенная на глаза, которымъ, казалось, тяжело было смотрѣть на все окружающее. Одѣтъ прохожій былъ въ грубую синюю крашенинную рубаху съ косымъ воротомъ, въ такіе же штаны, заправленные въ высокіе мужицкой работы сапоги. На плечахъ сѣрый зипунъ и котомка, да за поясомъ тыкваторлянка для воды.

Хотя по всему одѣянію это былъ совсѣмъ мужикъ, но въ лицѣ его, въ выраженіи глазъ и въ какомъ-то неуловимомъ огнѣ ихъ, было что-то такое, что какъ будто говорило, что глаза эти на своемъ вѣку перевидали что-то другое, не то, что доступно простому мужику въ его обыденной обстановкѣ, а голова эта, прикрытая мужицкою шляпою, передумала много такого, о чемъ мужичья голова никогда и не загадываетъ.

Въ волосахъ прохожаго и въ бородѣ съ чернымъ волосомъ рѣзко переплелись серебряныя нити сѣдины.

Онъ остановился, повидимому, затѣмъ, чтобъ передохнуть. Солнце уже пекло сильно. Прохожій окинулъ взоромъ растилавшуюся передъ нимъ необозримую равнину. Это была степь, по которой семь лѣтъ тому назадъ бродилъ невѣдомый скиталецъ, за которымъ пошла потомъ половина Россіи.

— Экое море, Господи!—тихо, съ какимъ-то умиленіемъ въ голосѣ проговорилъ прохожій. — Только это не то море—не фіолетовое... А далеко-далеко оно, это фіолетовое море, словно моя молодость и мое счастье.

Онъ задумался. Безбрежная степь невольно навѣвала на душу думы. Тихо, безмолвно кругомъ. Изрѣдка надъ степью пролетитъ сѣдой лунь, плавными замахами широкихъ крыльевъ нарушая мертвое однообразіе пустыни, да въ голубомъ прозрачномъ небѣ, трепеща острыми крылышками, рѣшетъ сизая пустельга. Единственные живые голоса степи—это монотонно сюрчащіе кузнечики.

„Такъ вотъ гдѣ мыкался Пугачовъ, гоняясь за своею долей и за своею страшною смертію... Только я ужъ не ищу своей доли...“

Онъ сбросилъ съ себя котомку, отвязалъ отъ пояса тыкву-горлянку и сталъ жадно пить находившуюся въ ней воду.

— Что-жъ мудренаго, что за Пугачовымъ всѣ пошли, когда кругомъ одна неправда? Гдѣ же правда-то?... Говорятъ, тамъ, за этой степью, въ тихомъ уединеніи лѣса...

Онъ снялъ съ головы шляпу и горько улыбнулся, глядя на нее. Потомъ глянулъ на свою рубаху, на запыленные сапоги, на котомку.

— Капитанъ-лейтенантъ въ сермягѣ... Что жъ! чѣмъ я лучше ихъ, что, кромѣ сермяги, ничего не знали?... А я зналъ—и того довольно съ меня... Вспоминай прошлое... Эхъ, Руссо, Руссо! тысячу разъ правы твои святыя слова: только въ природѣ человѣкъ находитъ истинное упокоеніе... Да, вотъ она—тихая, безмолвная, кроткая, а какъ много душъ сказываетъ она, мать-природа... О, моя матушка, матушка!

Онъ заплакалъ, закрывъ лицо ладонями. Голова его тихо качалась изъ стороны въ сторону.

— О, какъ горька ты и сладка, память прошлаго... Матушка, матушка моя! Долго сидѣлъ онъ такъ, не поднимая головы, потомъ отнялъ руки отъ лица, оглянулся кругомъ и сталъ опять надѣвать на себя котомку.

— Иди-иди, капитанъ-лейтенантъ,—съ горькою усмѣшкой проговорилъ онъ:—а то прошлое твое по пятамъ идетъ за тобою.

Онъ тихо поплелся дальше. На дороге изъ сухого чернобыльника выскочилъ зайчикъ-тушканчикъ, сѣлъ на заднія лапки и съ любопытствомъ глядѣлъ на прохожаго.

— Что, дурачокъ! не боишься людей? — Люди, вѣрно, еще не научили тебя страху...

Тушканчикъ въ нѣсколько прыжковъ очутился опять въ травѣ.

Путникъ продолжалъ идти, отъ времени до времени поглядывая въ разстилавшуюся передъ нимъ даль. Степи, казалось, конца не будетъ.

Но вотъ на горизонтѣ показались неясныя очертанія лѣса. Вдали желтѣли нивы созрѣвшаго хлѣба и виднѣлись, разбросанныя по равнинѣ, коническія шапки стоговъ сѣна.

— Должно быть, близко,—тихо проговорилъ путникъ:—это признаки жилья людского.

На нивахъ темнѣлись отдѣльныя точки. Ясно было, что это люди.

Скоро путникъ различилъ, что это были жницы, убиравшія хлѣбъ. По темному одѣянію онъ принялъ было ихъ за мужиковъ, но, подойдя ближе, увидалъ, что это все были бабы и дѣвушки. Всѣ онѣ по одеждѣ напоминали черничекъ.

У самыхъ нивъ дорога раздѣлялась на два пути. Прохожій остановился, видимо недоумѣвая, какою дорогою идти ему дальше.

Онъ подошелъ къ жницамъ, которыхъ было нѣсколько десятковъ, и снялъ шляпу.

— Богъ въ помощь, люди добрые,—сказалъ онъ, кланяясь.

Жницы поднялись, держа въ рукахъ серны и пучки сжатой пшеницы.

— Спасибо тебѣ, человѣче, на божьемъ словѣ,—отвѣчала одна изъ нихъ, пожилая, съ добрыми карими глазами.

— Скажите, матушка, какой дорогой я пройду въ скиты?—спросилъ прохожій.

— Коли ты съ добрыми мыслями, такъ пройдешь прямою дорогою,—былъ загадочный отвѣтъ.

— Съ добрыми, матушка.

— А откуда ты, человѣче?

— Теперь изъ Малыковки.

— А кто тебѣ напутствіе далъ во скиты?

— Василій Алексѣевичъ Злобинъ.

— Злобинъ Василій Алексѣевичъ намъ вѣдомъ—хорошій человѣкъ... Что-жъ ты въ скиты—по какому-такому дѣлу?

— Ищу, матушка, тихаго пристанища въ горькой жизни.

— А! только наше пристанище трудъ любить — да потрудится человекъ во славу Божию.

— И я ищу труда.

— Дѣло благое... Такъ вотъ тебѣ дорога въ скиты—такъ и иди въ лѣсъ.

Путникъ поблагодарилъ, поклонился и пошелъ тѣмъ путемъ, который отклонялся вправо,—это и была дорога въ иргизскіе скиты, нынѣ уже не существующіе: они уничтожены въ сороковыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Скоро путникъ вошелъ въ лѣсъ, прохладная тѣнь котораго, казалось, живительно подѣйствовала на усталаго странника. Онъ снялъ шляпу и поднялъ свое задумчивое лицо. Въ грустныхъ глазахъ засвѣтилось что-то радостное.

— Какъ тихо тутъ, безмятежно... Ужели тутъ обрѣту я свое пристанище? Можетъ быть! Вѣрно, недаромъ говоритъ старая пѣсня, которую я слышалъ когда-то еще отъ покойницы бабушки, что горе-злосчастіе отстало отъ горюна только тогда, когда за нимъ захлопнулись монастырскія ворота.

Гдѣ-то за лѣсомъ вился къ небу синій дымокъ. По временамъ доносился крикъ пѣтуха да лѣнивый лай собаки.

— Да, жилье близко.. Не видѣть ужъ мнѣ отсюда синяго моря...

Лѣсъ началъ рѣдѣть. Показались заборы, огороды, строенія. Изъ-за деревьевъ блеснулъ крестъ. Прохожій перекрестился.

— Благословенъ путь твой, человекъ! — раздался вдругъ чей-то голосъ сзади.

Прохожій невольно вздрогнулъ и обернулся. Изъ лѣсной тропочки выходилъ на дорогу сѣдой старичекъ въ скуфейкѣ. Въ рукахъ у него была плетенка, доверху наполненная черно-сизою ежевикой.

— Благословенъ путь твой, человекъ!—ласково повторилъ старичекъ.

— Спасибо вамъ, дѣдушка-отче,—отвѣчалъ прохожій, невольно потупляясь передъ свѣтлыми, совсѣмъ молодыми глазами старичка.

— Въ скитокъ къ намъ путь держишь, милый?—еще ласковѣе спросилъ старичекъ.

— Въ скитъ, отецъ святой... Могу я видѣть Никиту Петровича?

— А кто тебѣ, миленькой, сказалъ про грѣшнаго Никиту?

— Василій Алексѣевичъ Злобинъ.

— А—онъ, родной...

— Вотъ и письмо у меня къ Никитѣ Петровичу.

— Такъ-такъ, миленькой,—улыбался старикъ:—я этотъ самый Никита и буду.

— Вы?.. Извините, я не зналъ...

Старичекъ еще добродушнѣе улыбнулся.

— Какъ же, миленькой, знать всяко древо въ лѣсу? А я здѣсь—то же древо старое во скитскомъ нашемъ вертоградѣ... Какъ же тебѣ знать меня, не выдавши?

Пришлецъ снялъ съ головы свою коническую шляпу и вынулъ изъ нея завернутое въ платокъ письмо.

— Вотъ вамъ, Никита Петровичъ, письмецо отъ Злобина.

Старичекъ, поставивъ свою плетушку на землю, взялъ поданное ему письмо, посмотрѣлъ на надпись, разломилъ большую сургучную печать и сталъ читать написанное на четвертушкѣ синей бумаги. По мѣрѣ чтенія, лицо старика принимало какіе-то неуловимые оттѣнки—не то на немъ отражалось изумленіе, не то радость, не то сомнѣніе. Нѣсколько разъ онъ вскинулъ на прищельца своими ясными очами.

— Такъ вы и будете оный податель?—спросилъ онъ, ворочая письмо въ своихъ сухихъ пальцахъ.

— Я, Никита Петровичъ.

— Евдокимъ Михайлычъ Кравковъ?

— Да, я самый,

— Господинъ капитанъ-литенатъ?

— Да, точно.

— Зѣло радъ... такой высокій чинъ—и въ нашу бѣдную обитель...

— Ежели только примете... Вотъ мой указъ объ отставкѣ...

Кравковъ вынулъ изъ того же платка вчетверо свернутый листъ бумаги. Старикъ съ улыбкой посмотрѣлъ на него своими ясными глазами.

— Нѣтъ, нѣтъ, увольте, батюшка, Евдокимъ Михайлычъ, господинъ капитанъ-литенантъ,—торопливо заговорилъ онъ:—мы не сыщики, мы не связываемъ душу живу указами да пачпортами—это дѣло темное, не наше, нечистое дѣло... Кто убо воспретилъ птицѣ небесной летати по аеру?—ни самъ Господь... Вонъ она, птичина божья, полетываетъ (старикъ указалъ на кружившихся надъ скитами голубей)... Такъ душу ли живу вязать пачпортами! Христось тому не училъ, не спрашивалъ онъ указовъ да пачпортовъ, когда звалъ съ собою апостоловъ,—нѣтъ, не спрашивалъ!.. Воспомяните оно мѣсто во святомъ Евангеліи: „ходя же при мори Галилейстемъ, видѣ два брата, Симона глаголемаго Петра и Андрея брата его, метаящая мрежи въ море, бѣста бо рыбае. И глагола има: грядите по мнѣ и сотворю вы ловца человекомъ. Они же абіе оставивша мрежи, по немъ идоста“... Спрашивалъ онъ отъ нихъ пачпортовъ? а? А они спрашивали его—кто-де ты такой?.. Спрашивать, кто ты да какъ—это уже дѣло Пилатова, не наше: ему подавай пачпорта да указы... „Ты ли еси царь іудейскій“ — это онъ вопрошалъ... А мы—нѣтъ: мы по слову Христову всякаго страннаго принимаемъ въ обитель свою—она божья, не наша...

Старикъ говорилъ горячо, страстно. Ясные глаза его теплились глубокою искренностью—онъ забылъ даже, что они стоятъ еще въ лѣсу, что собесѣдникъ его, быть можетъ, усталъ, проголодался. Много, видно, онъ испыталъ на вѣку, много видѣлъ несчастныхъ жертвъ этихъ пачпортовъ „да указовъ“, много знавалъ людского горя, виною котораго было это „Пилатово дѣло“, эти допросы да пытанья, оттого и говорилъ со страстностью.

— Они, Пилаты, вяжутъ душу живу, печатаютъ ее кустодіею—душу-то живу, словно ко Христу привалили камень съ кустодіею... Такъ нѣтъ, не

удержали подъ печатью душу живу—воскресла; воскресъ батюшка Христосъ!.. Пущай они, Пилаты, печатають душу, а мы—нѣтъ; мы просимъ у Владыки свѣта: кто дастъ мнѣ крилѣ яко голубинѣ—и полечу... да и полечу, полетитъ душа моя безъ пачпорта, а Владыка свѣтъ вездѣ найдетъ ее: еще взыду на небо—ты тамо еси, еще сниду во адъ—ты тамо еси, еще возьму крилѣ мои рано и вселюся въ послѣднихъ моря—и тамо бо наставить мя и удержать мя десница твоя...

„Вселюся въ послѣднихъ моря“—что-то какъ бы рѣзнуло по сердцу слушавшаго эту горячую рѣчь путника: „да—и тамъ я чувствовалъ его“...

— А то—на! душу въ подушное обратили, словно осла подъяремнаго; плати, душа, подушное... Душу-то платить за себя заставляютъ, и кому же платить? на какое дѣло?.. Богъ тебѣ далъ душу живу—ее припечатали кустодию! Богъ тебѣ далъ свой образъ, и подобіе его оскобили... Дивлюсь, какъ носовъ не пообрѣзали, оно было бы еще глаже...

Старикъ, однако, опомнился и какъ-бы смутился немного.

— Что-жъ я развякался такъ! не обезсудь, родной... Странничекъ истомился въ путинѣ, а я его морю... А все эти указы да пачпорта... пусто-бъ имъ.

Онъ торопливо взялъ свою плетенку съ ежевикой.

— Такъ пойдемъ же, родной, господинъ капитанъ-литенантъ, пойдемъ въ обитель нашу... Тамъ и потолкуемъ, а ты отдохнешь да и подкрѣпишься, чѣмъ Богъ послалъ.

Они пошли дальше. Передъ изумленными глазами Кравкова постоянно развѣтывалась картина, которой онъ не ожидалъ: изъ зелени лѣса выступило цѣлое поселеніе—церковь, большіе, длинные дома и цѣлыя группы построекъ... Все это смотрѣло такъ привѣтливо, весело. Изъ-за домовъ выглядывала голубая поверхность огромнаго озера, окаймленнаго лѣсомъ. Густыя ветлы, клены, дубъ, липа, береза—все это такъ живописно освѣняло таинственное поселеніе, спрятавшееся въ зеленую чащу среди необозримой заволжско-яицкой степи. По озеру кое-гдѣ скользили рыбацкія лодки. На огородахъ виднѣлись люди—бабы и дѣвки копались въ грядкахъ, полонили, поливали. Слышался стукъ топора, визгъ пилы. На всемъ лѣсномъ оазисѣ видимо кипѣла жизнь, но такъ ровно, тихо, гармонично. Попадавшіеся на встрѣчу старичку и Кравкову—мужики не мужики, монахи не монахи, а что-то среднее—низко кланялись... „Господь посреди насъ“, отвѣчалъ имъ на это старичекъ, и они проходили далѣе.

— Вотъ наши палестины—пустыня прекрасная,—добродушно сказалъ старичекъ, когда они вошли на обширный дворъ, среди котораго стояла небольшая деревянная церковь, украшенная по верху осьмиконечными крестами...

Старичекъ ввелъ Кравкова подъ крытое крыльцо длиннаго деревяннаго дома, гдѣ въ тѣни навѣса, у стѣны и по краямъ, находились широкія деревянные лавки.

Вдругъ въ воздухъ пронесся, рѣзкій металлическій крикъ, и эхо откликнулось ему по лѣсу и за озеромъ. Кравковъ невольно вздрогнулъ. Крикъ повторился еще и еще. Били въ чугунную доску.

— Било заговорило, — съ улыбкою замѣтилъ старичекъ: — къ обѣду зоветъ братію... Оно у насъ голосисто—до Бога кричить... Часъ присѣсть обѣдать—и вы съ нами потрапезуете... А послѣ того мы съ вами и покалякаемъ.

На дворъ какъ муравьи посыпались со всѣхъ сторонъ люди... Кравковъ не вѣрилъ, что онъ въ степи, въ безлюдномъ Заволжѣ, гдѣ онъ видѣлъ только дикихъ сайгаковъ, убѣгавшихъ при видѣ человека, да медленно плавающего надъ степью беркута, либо бѣлаго луны.

V.

„Прекрасная пустыня“.

— А ты поуспокойся, родной,—не надрывай сердца-то.

— Не могу, святой отецъ, видѣть Бога,—не могу... Ужъ очень долго все это въ душу пряталъ, вотъ душа и не выдержала, прорвалась...

— Знаю, знаю, родной... Самъ я такой же жерновъ осельный, на душѣ носилъ...

— И я несу...

— Ладно... У насъ ты его на мельницу сдашь, жорновъ-отъ осельный... Ну, такъ какъ же? — Досказывай все, какъ на духу—легше станетъ на душу камень гнести, а то и совсѣмъ съ души свалится... Ну, такъ пріѣхалъ ты домой...

— Да, пріѣхалъ, думалъ счастье найду съ нею...

— Такъ, а родители уже померли?

— Померли, давно... Вотъ пріѣзжаю я, думаю, въ рай пріѣхалъ, а меня встрѣтило лютое горе...

— Что-жъ, представилась отроковица?

— Нѣтъ... Я и сказать не могу—языкъ коснѣетъ...

— Что жъ, родной, дѣло прошлое—не воротить.

— Да, не воротить... Она ждала мня, а отецъ силой отдавалъ ее за злодѣя.

— Точно, силой, это нехорошо... не силой, а любовью надо: не силой Христосъ насъ привелъ къ себѣ, но любовію... Кая же любовь выше, аще положить душу за други своя... Сила—это дѣло Пилатова... Ну?

— Она вырвалась изъ рукъ злодѣя и утопилась въ Окѣ...

— Ахъ, бѣдная отроковица, бѣдная! погубила свою душевную чистую.

— И мою погубила...

— Что ты! что ты! Пока человекъ живъ — божье око бдитъ надъ нимъ, а божье милосердіе — море неисчерпаемое, на всѣхъ достанетъ.

Въ сторонѣ, на берегу озера, подъ ветлами, слышалось тихое, мелодическое пѣніе. Пѣлъ чей-то свѣжій, юношескій голосъ:

О прекрасная пустыня!

Самъ Господь пустыню восхваляетъ,

Отцы въ пустынь скитаютъ,

Ангелы отцомъ помогаютъ,
Апостоли отцовъ ублажаютъ,
Пророцы отцовъ прославляютъ,
Мученицы отцовъ восхваляютъ,
А вси святїи отцовъ величаютъ
Отцы въ пустынь скитають
И горъ воды испиваютъ,
Древа въ пустынь процвѣтають,
Птицы ко древамъ прилетаютъ,
На кудрявыя вѣтви посѣдаютъ,
Красныя пѣсни воспѣваютъ,
Отцовъ въ пустынь утѣшаютъ...

Съ глубокимъ вниманіемъ слушалъ Кравковъ это тихое, грустное пѣніе. Они сидѣли съ Никитою Петровичемъ въ скитскомъ саду, подъ грушею. Тутъ же былъ и скитскій пчельникъ. Пчелы суетливо жужжали по цвѣтамъ, а другія, словно пули, быстро летали то къ озеру за водой, то назадъ, въ свои ульи.

— Кто это поетъ?—задумчиво спросилъ Кравковъ.

— А вьюноша тутъ у насъ... Двое ихъ у насъ два брата, иноки младые, Герасимъ да Савватій... Вотъ тоже, что и ты, изъ благородныхъ, даже можно сказать, изъ высоко-благороденныхъ.

— Кто же они?

— А изъ роду Персицкихъ... Отцы ихъ и дѣды атаманствовали въ вольскомъ войскѣ... Знаешь, чать, о вольскомъ войскѣ?

— Какъ же... Вольскіе казаки, говорятъ, къ Пугачеву тогда пристали, такъ послѣ усмиренія бунта вольское войско уничтожили — на Терекъ перевели.

— Точно-точно. Вонъ и наше яицкое войско за ту же провинку уральскимъ сдѣлали, чтобъ и имени-де, и духу бунтовничаго не осталось... Такъ вотъ эти-то вьюнохи Персицкіе не захотѣли властямъ неправеднымъ покориться, не поѣхали на Терекъ, а пришли къ намъ въ пустыню, еще малыми робятками да вотъ и теперь живутъ у насъ во славу божію, — трудятся, и оба какіе грамотники!—всѣ стихи духовные наизусть знаютъ... Вотъ нашли же угѣху въ пустынь, да еще въ такихъ молодыхъ лѣтахъ... Найдешь и ты свою утѣху.

— Дай-то Богъ!

Голосъ невидимаго пѣвца смолкъ, а собесѣдники все, казалось, къ чему-то прислушивались, не то къ тихому шопоту листьевъ, не то къ умолившей мелодїи, которая какъ бы еще стояла и медленно замирала въ очарованномъ воздухѣ.

— Тихо у васъ, хорошо,—невольно вздохнулось Кравкову.

— Да, тихая пустыня, безмолвная—это точно... Но кто въ ней, въ пустынь-то этой, долго пожилъ, для того она не безгласна, другъ мой... Преклони токмо ухо къ ней, она съ самимъ Господомъ говоритъ... Слышишь?

— Да, кажется, и я слышу...

Но это не пустыня говорила. Изъ-за ветель доносилась еще болѣ тихая, плачущая мелодія:

Какъ расплается, какъ растужится мать
сыра земля предъ Господомъ:
Тяжело-то мнѣ, Господи, подъ людьми стоять,
Тяжелѣй того—людей держать,
Людей грѣшныхъ, беззаконныхъ,
Кои творятъ грѣхи тяжкіе,
Досаду чинятъ отцу-матери,
Убіѣства-татѣбы дѣлаютъ страшныя,
Повели мнѣ, Господи, разступитися,
Пожрать люди грѣшницы, беззаконницы.
Отвѣчаетъ землѣ Иисусъ Христосъ:
О мати ты, мать сыра земля!
Всѣхъ ты тварей хуже осужденная,
Дѣлами человѣческими оскверненная!
Потерпи еще время моего пришествія страшнаго:
Тогда ты, земля, возрадуешься:
Убѣлю тебя снѣгу бѣлѣй,
Прекрасный рай проращу на тебѣ,
Цвѣты райскіе пущу по тебѣ...

— Ужъ и мастеръ же пѣтъ Герасимушко!.. Да и оба они, и Савватій—оба хороши пѣвцы... Какъ хорошо службу поютъ! Это, сказываютъ, въ роду у Персицкихъ господъ... И отцы ихъ, атаманьё,—у! пѣвуны же, сказываютъ, были, на все войско... А вотъ симъ вьюношамъ Господь послалъ талантъ пустынножительства: не скорбятъ о прелестяхъ міра сего тлѣннаго, о родѣ своемъ, объ атаманствѣ и забыли, кажись, что они изъ породы Персицкихъ ¹⁾...

¹⁾ Иргизскіе иноки, братья Персидскіе, Герасимъ и Савватій — это личности вполне историческія, не вымышленныя. Когда послѣ пораженія Пугачова Михельсономъ подъ Чернымъ Яромъ, между трупами пугачовцевъ найденъ былъ документъ, обличавшій, что волжское войско передано Пугачову, то войско это было уничтожено и переселено на Терекъ. Молодые же Персидскіе, происходившіе отъ атамановъ волжскаго войска, братья Герасимъ и Савватій („дѣти майора Персидскаго, какъ ихъ называли въ официальныхъ бумагахъ), ушли на Иргизъ, гдѣ и оставались иноками до уничтоженія, уже въ сороковыхъ годахъ минувшаго столѣтія, иргизскихъ раскольничьихъ общинъ, гдѣ они пользовались большимъ уваженіемъ. По уничтоженіи иргизскихъ монастырей, Герасимъ и Савватій Персидскіе, уже маститые старцы, воротились къ себѣ на родину, въ Дубовку, гдѣ у нихъ оставались имѣнія, и у себя на хуторѣ, на рѣчкѣ Бердеѣ, основали свой собственный скитъ. Слава объ этомъ скитѣ и о самихъ подвижникахъ прогремѣла по всему среднему Поволжью, по Дону и по Уралу, гдѣ раскольники знали Персидскихъ и считали ихъ, какъ значится въ дѣлахъ, „великими свѣтилами правды“. О скитѣ же ихъ старовѣры выражались: „солнце православія зашедши на Иргизѣ, по милости божіей возсіяло на Бердеѣ“. Когда слухи объ этомъ дошли до правительства, то оно приказало запечатать и скитъ Персидскихъ. Но энергія братьевъ-инокъ была несокрушима. Они осно-

Старикъ остановился. Онъ увидѣлъ, что Кравцовъ, закрывъ лицо руками, плакалъ. И у старика слезы навертывались на глаза.

— Что-жъ, сынокъ, поплачь, поплачь маленько... Это хорошо, это душа твоя плачетъ, это пустыня въ нее вошла, святая, тихая пустыня... Ну, старое-то, горькое все, прискорбное, нечистъ свѣтская—все это слезами сладкими изойдетъ... Это, другъ, пустыня очищаетъ тебя, аки баня пакибытія... Это душа въ тебѣ возрождается и, аки младенецъ, исходя изъ утробы матерней, плачетъ... Хорошія это слезы, другъ, и я плакалъ такими...

— Нѣтъ, не такія это слезы... Это слезы стыда, позора... Вѣдь они, мои злодѣи, душу мою отравили... Тамъ у меня, въ душѣ, проказа!

— А ты забылъ о прокаженномъ, другъ мой?

— Нѣтъ, помню... Но тогда былъ Христосъ на землѣ, а меня некому очистить.

— Не говори такъ, мой другъ: Христосъ и понынѣ на землѣ, Онъ среди насъ...

— Да я-то его не вижу... Я чертей видѣлъ, а Христа нѣтъ.

— Какихъ чертей ты видѣлъ, дружокъ?

— Да они меня, злодѣи-то мои, други и сосѣди, они меня спонили совсѣмъ, чтобъ овладѣть мною... А я пилъ съ тоски, потому что спать не могъ... И ко мнѣ стали черти являться...

— Это, другъ мой, мечтаніе.

— Я самъ знаю, что мечтаніе, да только я видѣлъ эту мечту... Голуби—я ихъ видѣлъ...

вали на Бердеѣ тайный скитъ, превративъ въ моленную простую „овечью избу“, чтобы тѣмъ усыпить бдительность властей, подобно тому какъ первые христіане усыпляли бдительность язычниковъ-римлянъ, отправляя свои богослуженія въ катакомбахъ, въ пещерахъ, „въ норахъ“ и „язвинахъ“. Но власти и объ этомъ довѣдались. Братьевъ Персидскихъ, уже очень дряхлыхъ старцевъ, арестовали.—„У отцовъ нашихъ войско волжское взяли, говорили они передъ властями.—и насѣки атаманской лишили („насѣка“—атаманская будава и доселѣ); съ насъ же ризы ангельскія снимаютъ и посохи странническіе отнимаютъ. Поручены казачкія вольности на Дону, на Яикѣ и на Волгѣ—нѣтъ болѣе славнаго войска яицкаго и волжскаго, и не возвратится вспять казачья вольность. Мы скрыли себя въ пустынь, тамъ стали въ ряды воинства Христова; но пришелъ врагъ и разогналъ наше войско. Вотъ мы и рѣшились искать новаго убѣжища, дабы умереть не въ острогѣ и предстать предъ Господомъ не въ сѣрой свитѣ (армякъ, чапанъ) арестанта, но во иноческомъ одѣяніи“. Къ скиту Персидскихъ на Бердеѣ стали тяготѣть раскольники съ Дона, Бузулука, Медвѣдицы, съ Бурлука, Иловлы и Волги. Всѣ эти свѣдѣнія о Персидскихъ я извлекъ изъ архивныхъ дѣлъ саратовскаго губернскаго правленія, когда занимался тамъ изслѣдованіемъ движеній въ расколѣ Поволжья, равно исторіею уничтоженія иргизскихъ монастырей и гоненія на раскольниковъ въ Саратовѣ, Хвалынскѣ, Вольскѣ. Камышинѣ, Дубовкѣ, Царицынѣ и во всемъ нижнемъ Поволжьѣ (гоненія эти особенно сильны были въ 40-хъ годахъ). Дворянскій родъ Персидскихъ доселѣ извѣстенъ въ нижнемъ Поволжьѣ: изъ атамановъ Персидскіе превратились въ предводителей дворянства и т. п.

— Какіе голуби?

— Да когда злодѣи довели меня до изступленія, вокругъ моей головы все голуби летали.

— Что жъ—это мечтаніе... Ты былъ боленъ...

— Да, боленъ былъ... А они, пользуясь этимъ, подлецомъ меня сдѣлали, злодѣемъ, убійцей!.

— Что ты! Господь съ тобой!

— Да... Я никого не убилъ, не зарѣзалъ, но хуже того:—я моихъ крестьянъ продалъ имъ, какъ скотину... Я и себя разорилъ и крестьянъ...

— А Господь на что? Онъ поможетъ имъ: у Него, свѣта, всего много.

— Но я души продалъ—родныя души: я продалъ свою няньку-старуху, которая выносила меня на рукахъ, не спала за мной и дни, и ночи... Я продалъ и внучку ея—бѣдная Поля!

— Кто жъ эти злодѣи твои были?

— Да все сосѣди—все дворяне, благородные...

— Охъ ужъ эти благородные! отъ нихъ-то все и зло на землѣ!

— Отъ нихъ—это я самъ на себѣ испыталъ... Чѣмъ выше человѣкъ стоитъ, тѣмъ онъ бездушнѣе... Отъ чернаго рабочаго народу нѣтъ такого зла, а все зло отъ нашего брата—отъ благородныхъ... Они, благородные, довели меня до безумія, до скотства. А какъ увидѣли, что я въ безуміи могу что либо учинить надъ собою или надъ другими, меня какъ вора или разбойника взяли подъ караулъ да и отвели во Владимірѣ. А сколько времени тамъ меня морили!.. Да и это еще ничего. Нѣтъ, имъ нужно было до конца сгубить мою душу. По знакомству съ графомъ Воронцовымъ, Романомъ Ларионовичемъ, нашимъ генералъ-губернаторомъ, они уговорили его назначить меня на мѣсто. А у графа свой умыселъ былъ.. Водилась у него нѣкая метреса, дѣвка, тоже изъ благородныхъ, да надоѣла ему. Такъ онъ и возымѣлъ мысль сбыть ее съ шеи, отдѣлаться. А такъ просто, какъ отъ холопки, отдѣлаться нельзя: благородная вѣдь, шляхетскую честь надо соблюсти, надо выдать за благороднаго же. Я какъ разъ и пригодился. Взялъ онъ, Воронцовъ-то, да и назначилъ меня во Владимірѣ въ верхній земскій судъ засѣдателемъ, а тамъ и сталъ ухаживать за мною, познакомилъ со своею метресою. Та ужъ была подучена—она и обвела меня своею красотой да и притворною невинностью. Лицомъ же, на мое несчастье, она походила на мою покойную невѣсту. Я и поддался соблазну—женился на ней: думаю, по крайней мѣрѣ, заживу человѣкомъ, успокоюсь въ своей семьѣ... А, вмѣсто успокоенія, я нашелъ сущій адъ. Она не любила меня, а вышла за меня, чтобъ мною прикрыть свое поведеніе. Тогда я все понялъ. Она не думала скрывать отъ меня своихъ поступковъ, а говорила, что какъ прежде любила графа, такъ и теперь любить. Да только графъ-то ее ужъ не любитъ: у него завелась новая утѣха. Чтобъ отдѣлаться отъ насъ, онъ перевелъ меня на службу въ Пензу, подальше отъ себя. А тамъ мнѣ еще хуже стало—я не вынесъ моихъ мученій. Я хотѣлъ покончить съ собой, но рука не подымалась...

— Какъ можно! эка грѣхъ какой! Ужъ что же хуже самоубивства!— качалъ головой старикъ.

— Не втерпѣжъ было... А вѣдь никому о своемъ горѣ не говорилъ— вамъ это первымъ рассказываю...

— Что жъ, мнѣ можно: мнѣ какъ будто на духу.

— Вы какъ отецъ меня приняли...

— И точно, я всѣмъ здѣсь отецъ, потому — старше всѣхъ: тоже, значить, ветхъ денми...

— Да... Я такъ и рѣшилъ съ собой: пойду искать добрыхъ, простыхъ людей...

— Простые-то добрѣе, потому къ Богу ближе живутъ.

— Правда, я самъ это чувствую здѣсь... У васъ рай.

— Точно, рай; пустынюшка матушка.

— Спасибо Злобину, Василию Алексѣевичу, онъ направилъ меня къ вамъ...

— И благо учинилъ: у насъ тихо... Вонъ какъ хорошо нашъ скитской соловушко распѣваетъ, благо праздничекъ Богъ далъ: всѣ скитские-то по ягоды да по грибы пошли, и онъ вотъ, Герасимушко нашъ, пустыню воспѣваетъ...

А изъ-за ветель дѣйствительно неслось пѣніе:

О прекрасная пустыня,
Любимая моя другиня!
Безмолвная мати пустыня,
Безмолвная, не празднословная,
Безропотна, не строптива,
Смиреномудренна, терпѣлива...

— А какъ же жена?—спросилъ старикъ.

— Она осталась въ Пензѣ.

— И не знаетъ, что съ тобой?

— Не знаетъ, да она и не хочетъ знать. Она тяготилась мною, да и мнѣ она стала въ тягость... Впрочемъ, она, кажется, нашла свое счастье... Она обо мнѣ жалѣть не будетъ... Я для нея, какъ и для всего свѣта, въ воду канулъ.

VI.

Передъ исправникомъ.

Кравковъ окончательно поселился въ скитахъ. Жизнь его такъ уходила, что онъ искалъ покоя, забвенья. Скитская же жизнь вполне отвѣчала идеалу человѣка, утомленнаго жизнью, съ разбитымъ прошлымъ и съ будущимъ, въ которомъ не свѣтилось ни одного луча надежды. Если-бъ онъ былъ другимъ человѣкомъ, онъ бы примирился и съ тою жизнью, какъ мирятся миллионы. Но въ душѣ его теплилось что-то такое, что

освѣщало передъ нимъ возмутительныя стороны той жизни, которую онъ бросилъ, и онъ не искалъ возврата къ ней... У него въ душѣ было много поэзіи, теплоты. Еще если бъ у него осталось море да молодая вѣрованія; такъ нѣтъ—голубое море съ его безконечною далью у него отнято, а молодая вѣрованія его, разбиты. Такъ лучше ужъ тутъ, въ этой пустынѣ, среди природы похоронить себя.

А въ этой пустынѣ была своя жизнь и много поэзіи. Скиты представляли значительное поселеніе людей, совершенно свободныхъ, ни отъ кого не зависѣвшихъ, не знавшихъ ни что такое исправникъ, ни что такое подати и паспорта. Въ скитахъ въ это время находилось болѣе ста мужчинъ, и старыхъ, и молодыхъ, и даже дѣтей, и до пятисотъ женщинъ. Пустыня эта была, въ сущности, не пустыня, а только уединенная колонія, маленькое теократическое, но, въ сущности, демократическое государство, незнавшее ни войнъ, ни рекрутчины, ни начальства. Начальство они были сами. А кто заслуживалъ между ними наибольшаго уваженія, тому они охотно и съ любовью повиновались. Дѣлать имъ было нечего: у нихъ все было общее. Да и дѣлать было не изъ чего: ихъ уединенная, дѣйствительно прекрасная „мати пустыня“ была маленькая земляца, буквально „текущая медомъ и млекомъ“. У нихъ было обширное хозяйство. Обширныя дѣвственныя степи, которыхъ отъ сотворенія міра не касалась ни соха, ни плугъ и по которымъ только разгуливали стада робкихъ сайгаковъ,—степи эти, прародительницы нынѣшней „самарской житницы“, родили имъ золотую пшеницу самъ-сто. Озера и рѣки Иргиза давали имъ въ изобиліи рыбу. По землямъ ихъ паслись цѣлыя стада крупнаго и мелкаго скота. Это былъ дѣйствительно рай.

Всѣ скитники работали на общину. Но это была такая легкая, такая благодарная работа.

Были въ скитахъ и такія радости жизни, которыя возможны только тамъ, „въ мірѣ“... Гдѣ молодость, здоровье—тамъ и любовь, иначе жизнь была бы неполная.

Три года прожилъ Кравковъ въ скитахъ и чувствовалъ, что въ душу его сошелъ миръ: тѣ глубокія раны, которыя онъ носилъ въ сердцѣ, зажили. Отъ всего прежняго остались только тихія, дорогія воспоминанія, а все острое, жгучее—точно подернулось дымкою дали, смягчилось въ своей рѣзкости и жгучести...

„Ученый морякъ, капитанъ-лейтенантъ, поклонникъ Руссо,—съ тихою улыбкою думалъ онъ иногда:—а теперь раскольникъ-скитникъ... А побылъ бы Руссо въ моей шкурѣ, въ шкурѣ бѣднаго російскаго дворянина, тогда бы онъ понялъ, что такое скитъ для русскаго, что такое „пустыня“ для затравленнаго звѣря“...

И сидя на берегу Калача—такъ называлось озеро, надъ которымъ расселились скиты—онъ закидывалъ въ воду удочку и тихо подтягивалъ молодымъ инокамъ, Герасиму и Савватию Персидскимъ, которые пѣли одинъ изъ любимыхъ скитниками „противоцерковныхъ стиховъ“.

Кто Бога боится, тотъ въ церковь не ходитъ,
Съ попами-дьячками хлѣбъ-соли не водитъ,
Къ Богу съ покаяньемъ часто прибѣгаетъ
И властей-начальства знать совсѣмъ не знаетъ.

Озеро раздѣляло мужской скитъ отъ женскаго, который былъ красиво расположенъ по ту сторону. Скитницы въ это время мочили у берега лень и, слушая, какъ поютъ „братья“, съ своей стороны голисисто запѣвали:

По грѣхѣмъ нашимъ, на нашу страну
Попусти Богъ бѣду такову:
Облакъ темный всюду осѣни,
Небо и воздухъ мракомъ потемни,
Солнце въ небеси скры своя лучи
И луна въ ночи свѣтлость помрачи,
А и звѣзды вся потемниша зракъ,
А и свѣтъ дневной преложися въ мракъ...

Тихо—дѣйствительно пустыня, дѣйствительно рай. Ни прилива, ни отлива въ этомъ морѣ тиши и упокоенія.

Но когда въ душѣ улеглись жгучія боли, когда прошлое—и то далекое, счастливое, свѣтлое, и это недавнее горькое—когда это прошлое отошло уже въ область воспоминаній, а настоящее какъ бы застыло въ той формѣ жизни, о которой можно было бы сказать—„идѣ же нѣсть ни болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе“, Кравковъ почувствовалъ, что ему чего-то недостаетъ... Недостаетъ прилива и отлива въ этомъ тихомъ пристанищѣ, недостаетъ бурь въ этомъ безпечальномъ морѣ тишины... Да, неоставало чего-то.

Будь онъ такой же, какъ Герасимушка Персидскій, который ничего, кромѣ Волги и Дубовки, не видалъ, для котораго весь міръ въ этой опрокинутой надъ пустынею скорлупѣ голубого неба, ограничиваемаго вонъ этимъ горизонтомъ, онъ удовольствовался бы пѣніемъ „Стиха преболѣзненнаго воспоминанія о озлобленіи каѳоликовъ“ или объ „Аллилуевой женѣ милосердной“, собираніемъ грибовъ и ежевики, уженіемъ рыбы въ Калачѣ и Иргизѣ, дѣленіемъ дня и всей жизни между заутренями и обѣдами, вечерними и всенощными; но, на несчастье или счастье, онъ видѣлъ когда-то такое, чего Герасимушкѣ и во снѣ не грезилось, читалъ то, чего Герасимушкѣ не понять, передумалъ столько, сколько всѣ головы обоихъ скитовъ, вмѣстѣ взятыя, не передумали во всю свою жизнь. Часто, сидя на берегу Калача и закинувъ удочку въ воду, онъ совсѣмъ забывалъ гдѣ онъ, а вмѣсто скита на томъ берегу озера передъ его глазами разстилался троянскій берегъ, въ виду котораго стоялъ когда-то ихъ корабль, а въ душѣ безконечною лентою развертывались картины, одна другой ярче, одна другой заманчивѣе... „Что то дѣлается тамъ, внѣ этой мертвой пустыни? Все такъ же ли бьетъ ключомъ жизнь, какъ тогда, давно когда-то?“—Ему страстно захотѣлось хотъ еще разъ взглянуть на эту жизнь, хотъ издали прислушаться къ ея чарующему шуму... Вѣдь это

все равно, что заживо погребенному выйти изъ темной могилы и посмотреть вновъ на голубое небо, на жаркое солнце, увидѣть тѣ мѣста, по которымъ онъ когда-то, до погребенія своего, ходилъ, не думая, что все это у него разомъ отыметсѣ, что все это станетъ для него недоступнымъ, недосыгаемымъ.

Хоть бы разъ еще увидѣть родную Оку, тотъ берегъ съ березою, съ которыми связано было столько сладкихъ и горестныхъ воспоминаній. Тамъ же и родная усадѣбка, и родная деревенька, которую онъ такъ безсовѣстно продалъ. Тамъ же и дорогія могилы... И все это брошено, забыто!

Въ душѣ его заговорило горькое, мучительное сознаніе того, какъ безчеловѣчно поступилъ онъ съ людьми, которые безконечно были ему преданы, которые, кажется, вымолили его у смерти, когда онъ, послѣ страшнаго нравственнаго потрясенія, безпомощно метался въ своей одинокой горенькѣ... Нѣтъ, не безпомощно: надъ нимъ плакали и страдали. Два любящія существа не покидали его ни на минуту, забывая и сонъ, и покой,—и онъ ихъ безчеловѣчно продалъ какъ гончихъ собакъ, продалъ — одну уже на закатѣ ея жизни, когда ей самой былъ нуженъ и уходъ, и покой, другую — на самомъ расцвѣтѣ ея молодой жизни... Между тѣмъ, она его любила: онъ не могъ этого не видѣть при всемъ безумномъ эгоизмѣ, на который только способно личное, острое страданіе, забывающее все, кромѣ своихъ личныхъ болей...

Нѣтъ, онъ долженъ поправить эту безчеловѣчную ошибку, если только уже не поздно. Онъ долженъ ихъ выкупить, дать имъ волю вновъ жить своею жизнью хотя бы вотъ въ этихъ скитахъ. У него еще сбережено нѣсколько сотъ рублей, и онъ выкупить изъ кабалы бѣдную старушку и столько же, если не болѣе, несчастную дѣвушку.

Въ одно утро, когда всѣ скитники собрались за трапезу, Кравкова не оказалось между ними. Прошелъ день, другой, третій, прошла недѣля — нѣтъ Кравкова. „Добрый баринъ“, какъ всѣ привыкли его звать въ скитахъ, исчезъ, словно въ воду канулъ. Всѣ пожалѣли о немъ, потому что всѣ любили его за скромность, хотя не могли не видѣть, что у него есть за душою что-то свое, чѣмъ онъ ни съ кѣмъ не дѣлился; но какъ всѣ догадывались, что это было горе, которое таилось въ его душѣ, то его жалѣли и любили еще болѣе.

„Не перекипѣлъ еще“, бормоталъ про себя, качая сѣдою головою, Никита Петровичъ: „не убродилось душевное пиво — нѣтъ, не убродилось... Понесъ свою душу супротивъ всѣхъ четырехъ вѣтровъ житейскихъ, размечуть ее буйные вѣтры... не скитская душа — воинствующая“...

Прошло недѣли три. Въ Макарьевской слободѣ, что подъ Нижнимъ, проходилъ какой-то мужикъ съ котомкой за плечами, опираясь на длинную палку. Онъ шелъ черезъ базаръ, не обращая вниманія на обычную

базарную суетню и на то, что базарные люди передъ кѣмъ-то снимали шапки. Этотъ кто-то былъ исправникъ, какъ можно было судить по его полицейской формѣ, а еще болѣе по начальническому виду.

— Эй! ты кто?—послышался вдругъ окрикъ.

Всѣ воззрились на того, на кого кричалъ исправникъ. А тотъ, къ кому относился окрикъ, продолжалъ идти далѣе, ни на что не обращая вниманія.

— Эй ты, бродяга! тебѣ говорятъ!—повторился окрикъ.

Опять нѣтъ отвѣта. Пухлые щеки исправника побагровѣли отъ гнѣва.

— Задержать его!—крикнулъ онъ десятскимъ.

Нѣсколько человѣкъ перегородили дорогу прохожему. Тотъ остановился, удивленно поглядывая на нихъ. Подошелъ исправникъ.

— Ты кто такой?—съ прежнимъ гнѣвомъ спросилъ онъ.

Прохожій спокойно поглядѣлъ ему въ лицо, смѣрилъ съ головы до ногъ, и что-то въ родѣ усмѣшки блеснуло въ его черныхъ задумчивыхъ глазахъ. Это окончательно взорвало полицейскаго претора.

— Какъ ты, мерзавецъ, смѣешь не отвѣчать мнѣ!—окончательно накинулся онъ на страннаго человѣка.—Да я тебя, мерзавца.

— Ты? меня?—спокойно спросилъ прохожій съ тою же усмѣшкою.

Исправникъ даже отшатнулся.

— И ты еще смѣешь тыкать меня! ты! ты!

— Я слѣдую твоему примѣру,—былъ тотъ же спокойный отвѣтъ.

— Да ты знаешь ли, кто я!

— Знаю... Человѣкъ, роняющій власть.

— Какъ! я!..—Исправникъ не нашелся даже что сказать.

— Да, ты... Ты роняешь власть...

— Я исправникъ!

— Вижу... Тѣмъ хуже для тебя: ты не на мѣстѣ...

— Да какъ ты смѣешь со мной такъ говорить!

— Потому что ты такъ говоришь...

— А! такъ я тебѣ покажу! Говори, кто ты такой?

— На это отвѣчу, ибо ты, яко исправникъ, имѣешь право на такой вопросъ,—я капитанъ-лейтенантъ.

Исправника, видимо, озадачилъ такой отвѣтъ. Онъ сразу какъ бы смутился. Но, увидѣвъ, что окружившая ихъ базарная толпа какъ будто бы насмѣшливо улыбается, снова покраснѣлъ отъ досады.

— Какой ты капитанъ! ты бродяга.

— Нѣтъ, я не бродяга... Со мной указъ объ отставкѣ.

— Такъ ты самозванецъ!

— Такой же, какъ и ты.

Въ толпѣ послышался сдержанный смѣхъ. Исправникъ злобно оглянулъ народъ. но ничего не сказалъ.

Между тѣмъ, прохожій снялъ съ себя котомку, неторопливо вынулъ изъ нея книгу, изъ книги—вчетверо сложенный листъ и подалъ его исправнику.

— Вотъ мой указъ.

Исправникъ торопливо развернулъ бумагу. Руки его дрожали. Быстро пробѣжалъ онъ написанное, бормоча: „капитану-лейтенанту Евдокиму Михайловичу сыну Кравкову... изъ адмиралтействъ-коллегии... подписалъ вице-адмиралъ Чичаговъ... печать... скрѣпа“...

— Такъ вы Кравковъ?

— Да, я Кравковъ.

— А если видъ подложный?

— Можете справиться по принадлежности.

— Но и настоящій указъ можно добыть какимъ ни-на-есть способомъ отъ другого лица.

— Я не добывалъ.

— Зачѣмъ же вы такъ ходите?

— Такъ хочу.

— Для чего вы носите бороду?

— Бородъ нынѣ носить не воспрещается.

— Но вы дворянинъ.

— Чѣмъ же борода безчеститъ дворянина? бороду и Спаситель носилъ.

— Такъ то Спаситель... А вы російскій дворянинъ.

— И русскіе цари носили бороды.

Исправникъ не зналъ, что дальше говорить.

— А зачѣмъ вы крестьянское платье носите?

— Такъ хочу... Не хочу имѣть никакой отлички отъ крестьянина — онъ такой же человѣкъ, какъ и я.

Въ толпѣ послышался ропотъ удивленія и одобренія. Исправникъ чувствовалъ неловкость своего положенія, но старался выдержать роль претора до конца.

— Дворянину въ неподобной одеждѣ ходить нельзя.

— Почему же?

— Соблазнъ... неподобно... въ законѣ не указано...

— На это нѣтъ закона, какъ равно закономъ не воспрещается дворянину ѣсть черный хлѣбъ вмѣсто бѣлаго...

— Вотъ такъ отрѣзалъ, братцы, — послышалось замѣчаніе въ толпѣ.

— Нну! язычекъ же! — бритва...

— Ай да баринъ! умѣетъ отвѣтъ держать...

— Комаръ носу не подточить... Вотъ тѣ и тихоня!.. И насчетъ одежды — нну!

Исправникъ грозно оглянулъ толпу. Все шарахнулось назадъ.

— Все же я долженъ васъ арестовать, — рѣшилъ, наконецъ, исправникъ.

— За что? какъ!

— За ношеніе неподобной одежды.

— Но мой указъ, мое званіе!

— Ваше поведеніе недостойно вашего званія... Я васъ арестую.

— Вотъ тѣ и клюква! — не выдержалъ кто-то въ толпѣ.

Исправникъ нетерпѣливо обратился къ десятскимъ.

— Разогнать эту сволочь! прочь отсюда! въ шею ихъ!

Десятскіе бросились на народъ. Передніе осадили заднихъ, тѣ бросились бѣжать. Десятскіе пустили въ ходъ палки.

— Идите за мной,—продолжалъ исправникъ, пряча бумагу Кравкова за бортъ кафтана.

— Но зачѣмъ? Я иду къ себѣ на родину.

— Куда это?

— Во Владимірѣ, въ Гороховецѣ.

— А откуда?

— Я иду изъ-за Волги, изъ Иргизскихъ скитовъ.

— А зачѣмъ вы тамъ были?

— Я просто жилъ тамъ... Я могу жить, гдѣ хочу.

— Но я все-таки обязанъ представить васъ высшему начальству — препроводить въ намѣстническое правленіе... Какъ рѣшить начальство...

Кравковъ долженъ былъ покориться необходимости.

Его, какъ арестанта, отправили въ Нижній при бумагѣ и велѣли сдать въ намѣстническомъ правленіи „подъ росписку“, словно пакетъ какой-нибудь.

„Пилатово это дѣло—темное, нечистое“, —вспоминались ему дорогой слова Никиты Петровича: „вотъ и узналъ, что дѣлается на божьемъ свѣтѣ, вдали отъ пустыни... Опять бы туда? а то хоть на край свѣта, только бы подалее отсюда!..“

VII.

Передъ генералъ-губернаторомъ и архіереемъ.

2-го октября 1784 года Кравковъ предсталъ передъ лицо исправляющаго должность нижегородскаго и пензенскаго генералъ-губернатора, генералъ-поручика Ребиндера, одного изъ тѣхъ Ребиндеровъ, объ одномъ изъ коихъ мы читаемъ очень характерное замѣчаніе въ „Дневникѣ Храповицкаго“ подъ 4-мъ марта 1787 года, гдѣ говорится: „Услыша, что Ребиндеръ съ графомъ Стакельбергомъ поѣхали верхами, сказано (т. е. Екатерина II сказала Храповицкому), что когда лифляндцы вмѣстѣ сойдутся, всегда говорятъ по-чухонски. Послѣ того вошелъ Ребиндеръ и въ томъ признался“.

Эта мѣткая характеристика въ устахъ замѣчательной женщины и императрицы могла быть примѣнена въ то время и ко всѣмъ Ребиндерамъ, въ томъ числѣ и къ нашему—къ нижегородскому. Эти люди, охотнѣе говорившіе по-чухонски чѣмъ по-русски, не знали и не хотѣли знать страны и ея народа, которыми, однако, управляли въ качествѣ правителей и намѣстниковъ, и не могли любить ни первой, ни послѣдняго.

Тщательно выбритый, завитой и напудренный Ребиндеръ съ удивленіемъ и какою-то нескрываемою гадливостью смотрѣлъ на стоявшаго передъ нимъ мужика съ умными задумчивыми глазами.

— И вы — капитанъ-лейтенантъ подлинно? — спрашивалъ онъ съ ядовитою вѣжливостью.

— Подлинно капитанъ-лейтенантъ, — былъ отвѣтъ.

— И вы проходили морское ученіе?

— Проходилъ.

— Въ какомъ заведеніи?

— Въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ.

— И экспедиціи дѣлали?

— Да, болѣе десяти.

— Что же заставило васъ бросить службу?

— Нежеланіе продолжать ее.

— Странно... Можетъ быть, неудовольствія по службѣ?

— Нѣтъ, меня отличало начальство.

— Какъ же вы могли промѣнять лейтенантскій униформъ на это... на эту сермягу?

— Промѣнялъ...

— Не понимаю!

— Много пришлось бы рассказывать... не стоитъ...

— Но что-жъ вы дѣлали? гдѣ жили? что намѣрены дѣлать?

— Я воротился домой... Меня обобрали и обманули... Я поступилъ на службу — меня опять безбожно обманули... Я бросилъ службу... сбросилъ съ себя оболочку даже, подъ которую прячется одна ложь, и ушелъ туда.

— Куда же? — съ едва скрываемою ироніею спросилъ Ребиндеръ: — гдѣ это вы нашли такую Аркадію?

— За Волгой.

— За Волгой? вотъ тутъ?

— Нѣтъ, на Иргизѣ.

— На Иргизѣ? гдѣ же это?

— За Малыковкой.

— Я этой мѣстности не знаю.

— Ниже Симбирска и выше Саратова... Въ Иргизскихъ скитахъ.

— А! въ скитахъ! Такъ вы раскольникъ? — Вотъ что! дворянинъ — и раскольникъ! — Ребиндеръ пожалъ плечами.

— Нѣтъ... я не раскольникъ... Я только нахожу сомнѣнія въ разсужденіи церковныхъ, не почитаю не только духовенство, но и церковь...

— О! — Ребиндеръ всталъ. — Даже церковь?

— Да... И то, что попы называютъ таинствами, я не признаю...

— Что же вы признаете?

— Евангеліе и правду...

— О! — улыбнулся вельможа: — я неправославный, въ вашей религіи я несиленъ... Я лучше попрошу его преосвященство переговорить съ вами о семъ предметѣ... Прощайте!

— Можете увести его, — обратился онъ къ стоявшимъ у порога съ ружьями солдатамъ.

Кравковъ, горько улыбнувшись, вышелъ.

„Прежде къ Пилату,—шепталъ онъ:—а теперь, видно, къ Аннѣ и Каіафѣ поведутъ... Ходи, Кравковъ, ходи... Вотъ тебѣ и свѣтъ широкій, вотъ тебѣ и фіолетовыя моря!..“

На другой день Кравкова вели по улицамъ Нижняго какъ простого арестанта. И передъ нимъ, и за нимъ шли два солдата съ ружьями. Передъ его глазами открывалась красивая панорама Волги и далекаго Заволжья. Онъ вспомнилъ, какъ давно когда-то, еще мальчикомъ, онъ былъ въ Нижнемъ съ отцомъ, и эта далекая панорама поразила его юное воображеніе. Неужели же можно добраться туда, въ эту недосыгаемую даль?—думалось ему тогда. А въ такія ли дали послѣ забрасывала его судьба! — Такія ли панорамы развертывались передъ его изумленными очами, когда корабль его носило по океанамъ!.. А теперь... вонъ куда занесло его утлую ладью...

Кравкова ввели къ архіерею. Горькое чувство шевелилось въ душѣ арестанта.

— Приблизися, сынъ мой,—тихо сказалъ архіерей, опершись тучнымъ тѣломъ на аналой, на которомъ лежали крестъ и раскрытое Евангеліе, и заплывшими жиромъ глазками осматривая съ ногъ до головы интереснаго арестанта.

Кравковъ не двигался. Губы его судорожно передергивались.

— Пойди, сынъ мой,—повторилъ епископъ, возвышая голосъ.

— Зачѣмъ? Что мнѣ тутъ дѣлать?—произнесъ арестантъ.

— Сотвори крестное знаменіе и поцѣлуй крестъ и слово Спасителя твоего.

— Для чего!.. Я не хочу этимъ играть... Я много цѣловалъ его, я его слезами обливалъ...

— Паки поцѣлуй,—настаивалъ епископъ.

— Да зачѣмъ вамъ это? зачѣмъ вамъ этотъ крестъ, какое вамъ дѣло до Спасителя?—съ страстною горечью произнесъ арестантъ.

— Какъ какое дѣло!—изумился епископъ.

— Не Его ли именемъ вы мучите народъ, глубоко вѣрующій, глубоко любящій, народъ, у котораго вѣра чище вашей и искреннѣе!.. Не его ли именемъ вы загоняете его въ пустыни и дебри!.. Не Его ли именемъ возжигаютъ костры и сожигаютъ на нихъ тысячи невинныхъ! Не Его ли именемъ пролиты рѣки крови, когда онъ Самъ пролилъ свою божественную кровь за насъ, чтобы только мы не были звѣрьми, не ѣли бы другъ друга!.. Не Его ли священнымъ именемъ сильные угнетаютъ слабыхъ, богатые обираютъ нищихъ!.. Не Его ли именемъ прикрываютъ все глубоко неправо и глубоко безнравственное!.. Вы, вонъ, въ шелковой рясѣ, въ богатыхъ палатахъ, тотъ весь въ золотѣ, у тѣхъ власть и богатство,—и вы ли смѣете безтрепетно богохульствовать, произносили его чистое имя Того, Который не имѣлъ гдѣ главу преклонить! Вы ли Его служители? Нѣтъ, вы служители Ирода!.. Это Онъ, божественный страдалецъ, къ вамъ обращался, говоря: „о, порожденія ехиднова! како можете добро глаголати, зли суще?“

— Что ты! что ты! ты богохульствуешь, еретикъ!—могъ только произнести архіерей, все далѣе и далѣе отступая вглубь обширнаго кабинета, съ испугомъ оглядываясь по сторонамъ.

— Нѣтъ, вы богохульствуете каждымъ вашимъ словомъ, каждымъ поступкомъ!—продолжалъ арестантъ:—вы отъ Его божественнаго ученя, отъ всѣхъ правилъ и заповѣдей Его не оставили неисказаннымъ и неоскверненнымъ ни одного слова, ни одной іоты, какъ слѣпые и злые люди не оставили камня на камнѣ отъ того храма, гдѣ Онъ, божественный страдалецъ, училъ любить ближняго какъ самого себя... А гдѣ вашъ ближній? Вы загнали его въ лѣса, въ пустыни, въ норы и язвины, вы отдали его кровное достояніе богачу, а его хижину оставили безъ крыши, вы одѣли сильнаго пурпуромъ, а его тѣло отдали на жертву холода и дождей, вы обули богача въ сафьянъ и замшу, а ближняго гоните босымъ и голоднымъ на барщину... О, порожденія ехиднова!..

Кравковъ вдругъ остановился, какъ бы сразу проснувшись или опаматовавшись отъ бреда. Онъ протянулъ впередъ руки...

— Простите меня, ваше преосвященство!—со слезами въ голосѣ заговорилъ онъ:—я не хотѣлъ оскорбить васъ... Я не къ вамъ относилъ мои слова!.. Я небу жаловался, я вѣтру кричалъ... Ваше преосвященство, я такъ много думалъ, такъ много страдалъ...

— Успокойся, сынъ мой... Богъ тебя проститъ... Въ тебѣ говоритъ заблужденіе, духъ гордыни,—началъ было архіерей.

— Гордыня! въ армякѣ-то этомъ!—И арестантъ съ горечью показалъ на свой жалкій костюмъ.

— Гордыня и въ рубищѣ ходитъ... А ты, сынъ мой, смиришь...

— Что вы мнѣ говорите!—опять страстно воскликнулъ арестантъ:—меня прислали къ вамъ, чтобъ вы меня увѣщевали какъ раскольника, какъ какого-нибудь начетчика... Да я Вольтера всего прочелъ, Руссо наизусть знаю, Дидерота, Даламберта, Гельвеція! Надъ святыми словами Евангелія я до сихъ поръ плачу, какъ ребенокъ... Я правды ищу, правды, слышите ли! А гдѣ она? У васъ, въ консисторіи—что ли? въ синодѣ?—у исправниковъ? у губернаторовъ? Я Христовой правды ищу, а вы увѣщевать меня хотите!.. Раскольникъ я!.. Да не вы ли Христа раскольникомъ сдѣлали!.. Увѣщевать!—въ чемъ же? что я сдѣлалъ? кому зло учинилъ? какое преступленіе совершилъ? Развѣ то, что эту подлую, по-вашему, одежду на себя надѣлъ? За это и исправникъ меня арестовалъ... А вы-то что тутъ, слуга Христовъ? Вы тоже развѣ исправникъ? Развѣ Никодима приводили ко Христу съ солдатами?

Онъ снова остановился, точно его покинули силы. Архіерей въ смущеніи перебиралъ четки.

— Чего же тебѣ надобно?—спросилъ онъ въ нерѣшительности.

— Мнѣ ничего не надо,—отвѣчалъ Кравковъ упавшимъ голосомъ:—но вамъ-то что отъ меня нужно? что нужно имъ? за что они меня взяли? за что арестовали какъ убійцу?.. Я одно только прошу—отпустите меня, не мучьте.

— Но ты покорись властямъ.

— Какимъ?

— Предержавшимъ властямъ... Ему же убо урокъ урокъ, а ему же дань дань...

— Знаю, знаю... Дань-то особенно... Да я то не податной—я дворянинъ... говорю это съ сожалѣніемъ...

— Все равно... власть... А ему же убо страхъ страхъ...

— Знаю, давно знаю! Это Его-то святые слова исказили, изъ Евангелія сдѣлали уложеніе о наказаніяхъ. О, порожденія ехиднова!

Архіерей позвонилъ. Кравковъ вздрогнулъ и снова какъ бы опомнился.

— Отпустите меня, ваше преосвященство.

Въ кабинетъ съ низкимъ поклономъ вошелъ съдой монахъ.

— Отецъ-экономъ,—обратился къ нему архіерей:—проведи господина капитанъ-лейтенанта въ слѣдственную—впредь до особаго распоряженія.

— О, порожденія ехиднова!—тихо бормоталъ Кравковъ, слѣдуя за отцомъ-экономомъ.

VIII.

Передъ Шешновскимъ.

Раннимъ утромъ, 18-го ноября 1784 года, въ Петербургъ, черезъ московскую заставу, вѣзжали сани-пошевни. По взмыленной и заинде-вѣвшей тройкѣ, отъ которой паръ шелъ клубами, видно было, что ѣздоки торопили ямскихъ лошадей, и только, когда у шлагбаума подвязывали къ дугѣ колокольчикъ, усталымъ конямъ дали нѣсколько секундъ на передышку. Дѣло ѣздовыхъ было, повидимому, спѣшное.

Кто же были эти путники?—Тайной экспедиціи канцелярскій чиновникъ Григорьевъ съ „будущимъ“, какъ значилось въ подорожной, на которой сверхъ того чернѣли три крупно написанныя магическія слова: „по высочайшему повелѣнію“. Вотъ почему такъ взмылены ямскія лошади, и почему часовой такъ торопливо подвысилъ шлагбаумъ.

А кто былъ этотъ „будущій“ безъ имени! Конечно, Кравковъ. Это онъ сидитъ, закутанный въ нагольный арестантскій тулупъ, и задумчиво глядитъ на выступающій изъ тумана Петербургъ.

„Вотъ и онъ опять—Вавилонъ новый. Захотѣлось Кравкову выглянуть изъ „прекрасной пустыни“ на свѣтъ божій, ну, вотъ и гляди, разглядывай, пока тебя изъ тюрьмы въ тюрьму будутъ перевозить“.

Замелькали знакомыя петербургскія улицы, мосты, будки, часовые.

„Все-то прячутся, все-то стерегутъ кого-то, точно дикими звѣрями населенъ городъ. Нѣтъ, хуже чѣмъ звѣрями—благородными Чернышовыми, добрыми Шешковскими, Вяземскими“.

Подъ визгъ полозьевъ, захватывавшихъ камни мостовой и рѣзавшихъ душу, Кравковъ, казалось, слышалъ, какъ Герасимушка Персидскій тянулъ свою тоскливую мелодію:

Оле бѣдствія на святой Руси,
Оле лютости по всей земли:
По глухимъ дебрямъ всѣ скитаемся,
Отъ звѣрей лютыхъ уязвляемся,
Всюду бѣднія утѣсняемся,
Изъ отечества изгоняемся.

„Ахъ если бы можно было вонъ бѣжать изъ этого отечества туда, къ фіолетовымъ волнамъ, подъ яркое солнце“.

Сани остановились у крыльца большого съ колоннами дома.—Пріѣхали!—Какъ-то холодно стало на сердцѣ у пріѣхавшаго.

„Въ 80-хъ годахъ прошлаго вѣка—говоритъ В. И. Ламанскій въ своемъ изслѣдованіи о Кравковѣ *)—русское образованное общество, къ лучшимъ представителямъ котораго, за исключеніемъ, быть можетъ, балахнинскаго исправника, принадлежали всѣ лица, такъ вдругъ единодушно заинтересовавшіяся личностью Кравкова,—это общество, по крайней мѣрѣ, большинство образованнаго дворянства, не отличалось особенной преданностью церкви и православію, считало сотнями въ своихъ рядахъ ревностныхъ масоновъ, иллюминатовъ или усердныхъ поклонниковъ Вольтера, Дидро, д'Аламбера, Гельвеція. Ни въ Нижнемъ, ни въ Петербургѣ особенно никого тогда не могло удивить, что какой-то русскій дворянинъ, отставной капитанъ-лейтенантъ, съ неуваженіемъ отзывается о русской церкви, не почитаетъ ни таинствъ ея, ни обрядовъ. Кошунство надъ вѣрою, насмѣшки надъ христіанствомъ были въ то время у насъ до такой степени въ модѣ, что имъ предавались часто даже люди вѣрующіе, изъ боязни прослыть отсталыми. Въ рѣчахъ Кравкова, такъ вдругъ поразившихъ высокопоставленныхъ лицъ и въ Нижнемъ, и въ Петербургѣ, были высказаны тѣ вольныя мысли о церкви, которыхъ держались и они сами, и огромное множество ихъ друзей и знакомыхъ, и, наконецъ, нѣсколько сотъ тысячъ русскихъ крестьянъ и купцовъ-раскольниковъ, которыхъ въ то время запрещено было преслѣдовать. Въ простыхъ словахъ Кравкова: „гдѣ хочетъ, тамъ и живетъ, и что хочетъ, то и думаетъ“, выразились самыя невинныя и естественныя требованія каждаго свободнаго человѣка, самое первое правило начала свободы совѣсти, начала, торжественно провозглашенныя законодательствомъ того времени! Тѣмъ не менѣе, и Ребиндеру въ Нижнемъ, и высшимъ лицамъ въ Петербургѣ мысли Кравкова представляются „зловредными“. Подобно балахнинскому исправнику, арестовавшему Кравкова, всѣ они одинаково были поражены не мыслями Кравкова, а тѣмъ обстоятельствомъ, что ихъ возвѣщалъ отставной капитанъ-лейтенантъ съ бородой, въ неподобной одеждѣ; что онъ, осуждая греко-россійскую церковь, ея таинства и обряды, въ то же время называлъ себя христіаниномъ, почиталъ Николая Чудотворца. Раскольника-крестьянина не арестовалъ бы и балахнинскій исправникъ; дворянина-масона, деиста или атеиста преспокойно оставили бы въ покоѣ, но дворянинъ-раскольникъ былъ явленіемъ до такой

*) „Памятники новой русской исторіи“; томъ I.

степени страннымъ, что не могъ не возбудить къ себѣ сильнаго подозрѣнія и въ балахинскомъ исправникѣ, и въ исправляющемъ должность генералъ-губернатора, и въ князѣ Вяземскомъ, и въ самой императрицѣ Екатеринѣ II. Всѣ они были изумлены этимъ случаемъ не только, какъ лица правительственныя, представители государства, но и просто какъ люди образованные, представители русскаго общества второй половины XVIII вѣка“.

Какъ бы то ни было, Кравкова въ тотъ же день представили предъ ясныя очи Степана Ивановича Шешковскаго.

Шешковскій—это была замѣчательная личность въ исторіи второй половины прошлаго вѣка. На памятникѣ его, который доселѣ можно видѣть на кладбищѣ Александро-Невской лавры, въ сосѣдствѣ съ памятникомъ фонъ-Визина, сохранилась лаконическая эпитафія: „Служилъ отечеству 56 лѣтъ“. Но какъ служилъ!—Должность его была скромная: онъ титуловался только оберъ-секретаремъ тайной экспедиціи. Но Степана Ивановича боялись не только простые смертные, но даже первые чины имперіи... Попасть въ руки Степана Ивановича—это все равно, что попасть въ волчій капканъ. Подъ рукой, вельможи рассказывали, что Степанъ Ивановичъ такъ привыкъ дѣлать „обыски“ и „допросы“, что когда ему некого было обыскивать и допрашивать, то онъ обыскивалъ самого себя. Самъ онъ о себѣ говорилъ, что у него „восковое сердце“, что злыми языками толковалось такъ, что онъ изъ своего сердца, что хотѣлъ, то и дѣлалъ, но оно такъ же нечувствительно было къ чужому горю и къ чужимъ слезамъ, какъ простой кусокъ воску.

Шешковскій встрѣтилъ Кравкова извиненіемъ, что его, можетъ быть, напрасно побеспокоили; но что, по долгу службы, онъ проситъ господина капитана рассказать ему о себѣ все „какъ отцу родному“. Кравкову человѣкъ этотъ съ „восковымъ сердцемъ“ показался добрякомъ, и, перемученный дорогою, разбитый нравственно, съ чувствомъ усталости въ душѣ, онъ дѣйствительно началъ говорить ему „какъ отцу родному“. Упавшимъ голосомъ, часто останавливаясь, какъ бы переживая все то, что онъ говорилъ, Кравковъ дѣйствительно рассказалъ ему все, что намъ уже извѣстно,—что довело его до рѣшимости порвать связи съ міромъ, глубоко опостылѣвшимъ ему. Рассказалъ и о своей неудачной женитьбѣ, о женѣ, которая надбавила горечи въ тотъ ковшъ горя, который ему пришлось испытать.

— Впрочемъ,—прибавилъ онъ съ горечью:—напрасно я вамъ объ этомъ и сказываю: она, я думаю, уже давно замужемъ. Сказалъ я о ней для того только, что я твердо рѣшился удалиться отъ свѣта и отъ масоновъ, ибо и въ Пензѣ, и во Владимірѣ—все масоны, да и графъ Воронцовъ самъ сказывалъ, что онъ масонъ: я-де и Чернышова вашего поставилъ масономъ. Я рѣшился искать прямо христіанской жизни и ушелъ изъ Пензы, продалъ свое платье, одѣлся въ это и пошелъ въ раскольничьи скиты. Тамъ я и нашелъ людей, прямо живущихъ по закону божію.

Глаза Шешковскаго, ясные и прозрачные, какъ глаза невиннаго младенца, казалось, выражали сочувствіе къ арестанту, которому, видимо, на

дошло все то, что онъ долженъ былъ повторять въ десятый разъ, вовсе того не желая.

— Раскольниковы скиты,—повторилъ Степанъ Ивановичъ мягко:—но вѣдь тамъ живутъ люди, неимѣющіе никакого просвѣщенія, наполненные суевѣрствомъ и невѣжествомъ, и самые простые мужики. Кажется бы, по состоянію вашему, отнюдь неприлично по здравому разуму прилѣпляться къ такимъ простякамъ, забывъ свою честь, что вы почтены въ государствѣ.

Кравковъ слабо махнулъ рукой.

— Мнѣ ни честь, ни достоинства ненужны, а пріятна ихъ жизнь и обряды въ богопочтеніи. Я почитаю—они основаны на истинѣ священнаго писанія, а посему я ихъ и считаю настоящими христіанами.

Глаза Степана Ивановича встрѣтились съ глазами сидѣвшаго въ сторонѣ, у окна, какого-то старичка и что-то строчившаго. Старичекъ понялъ этотъ взглядъ и сталъ строчить еще усерднѣе.

— Но вѣдь эти люди,—продолжалъ онъ еще болѣе мягко,—наполнены суевѣрствомъ и невѣжествомъ, то кажется никакъ несовмѣстно и неприлично вамъ быть въ ихъ сообществѣ, а надлежитъ, оставя такое заблужденіе, искать, по состоянію вашему, лучшей участи и уклониться отъ ихъ прелестнаго ученія.

Кравковъ сдѣлалъ нетерпѣливый знакъ. Все это такъ ему надоѣло!—а этотъ еще повторяетъ одно и то же—„несовмѣстно, не прилично!“

— Я ничего не хочу!—рванулъ онъ было съ мѣста, но остановился.—Одинъ рабъ двумъ господамъ служить не можетъ... Бороды брить, другого платья носить и лучшей участи имѣть я не желаю, а только прошу отпустить меня за границу.

— За границу?—Степанъ Ивановичъ насторожилъ уши.

— Да, за границу.

— Что же вы тамъ будете дѣлать?

— Тамъ дѣла больше чѣмъ здѣсь.

Степанъ Ивановичъ опять глянулъ на строчащаго старичка, какъ бы говоря глазами: „строчи, строчи—ничего не могли пропустить“.

— Гмъ, дѣла больше чѣмъ у насъ... А въ какомъ мѣстѣ?

— Ужъ я тамъ выберу себѣ мѣсто, какое Богъ назначить.

— Такъ-съ, отлично... А дѣлать-то что будете?

— Работать, читать...

— И читать?

— Да, и читать.

— А что-бы такое, позвольте спросить?

— Философовъ, Руссо—да мало ли кого!

— Такъ, такъ, отлично—и философовъ, и Руссо... Раскольники и Руссо—это что-то не вяжется, господинъ капитанъ-лейтенантъ... Суевѣрство...

Кравковъ нетерпѣливо пожалъ плечами.

— Что вамъ дались раскольники! замѣтилъ онъ.—Эти люди, живущіе

въ лѣсахъ, какъ затравленные звѣри, упражняются въ богомоліи и въ трудахъ, да они-жъ, бѣдные, и подати платятъ.

— А много ихъ тамъ?—любопытствовалъ Степанъ Ивановичъ.

— Въ томъ скиту,—отвѣчалъ Кравковъ,—гдѣ я былъ, живетъ человѣкъ сто-другое мужчинъ, да сотъ до пяти женщинъ, и старухи—всѣ трудятся въ работахъ и подати платятъ.

— Да они и должны платить,—возразилъ Шешковскій,—ибо они имѣютъ земля и промыслы.

— Да земля-то вѣдь божья,—съ своей стороны, возразилъ русскій соціалистъ прошлаго вѣка:—а Богъ не велѣлъ никому никакого насилья дѣлать, ибо Онъ сотворилъ всѣхъ равными.

«Ого-го», казалось, говорили глаза Степана Ивановича, обращенные къ пишущему старичку:—«слышите? смекаете?—это пугачовщиной пахнетъ»...

Но онъ этого не высказалъ, а сдѣлался еще любезнѣе.

— Ахъ, государь мой, началъ онъ снова:—какъ вамъ нестыдно, имѣвши чинъ и, притомъ, штабъ-офицерской быть такъ упрямому противъ установленнаго въ государствѣ порядка и защищать такихъ людей, которые, живучи въ праздности, подъ видомъ ложной святости, стараются своими хитростями вовлечь людей въ свои пагубныя сѣти; что самое случилось и съ вами.

Терпѣніе Кравкова, наконецъ, лопнуло... «Чего имъ отъ меня нужно? Что я имъ сдѣлалъ!» Онъ уже начиналъ чувствовать, что пропала его свобода, что паутина, въ которой онъ очутился, запутывала его все больше и больше... «Прощай, свобода! прощайте, голубыя моря!»

—Такъ какъ же-съ, государь мой?—стоялъ надъ душой страшный паукъ, въ образѣ «добраго друга».

— Какъ! Да ежели я сдѣлалъ какое зло,—съ отчаяньемъ заговорилъ арестантъ, то въ вашей волѣ можете меня мучить, бить, или живота лишить. Я на все готовъ. Только души у меня отнять не можете. Буде же хотите—судите меня воинскимъ судомъ. Хоть сжечь велите, только я отъ своего намѣренія не отступлю!

Степанъ Ивановичъ пожалъ плечами, какъ бы сожалься «оподлившагося» дворянина.

— Никто васъ мучить не будетъ,—снисходительно замѣтилъ онъ,—да и нѣтъ нужды.

— Такъ что же вамъ отъ меня нужно?

Степанъ Ивановичъ какъ-то странно улыбнулся.

— Можно думать,—сказалъ онъ, продолжая улыбаться,—что вы столь упорствуете для того, что васъ старички послали посланникомъ за нихъ пострадать и для того вамъ въ напутствіе дали образъ святителя Николая...

— Это благословеніе матери,—нетерпѣливо перебилъ его Кравковъ.

— Положимъ... Но старички весьма ошиблись,—продолжалъ болѣе серьезно Шешковскій:—нынѣ, по власти божіей и по милости всемилостивѣйшей государыни, наша вѣра христіанская соблюдается отъ всѣхъ по

самому Евангелію и преданіямъ святыхъ отецъ. А люди эти, держащіеся стараго обряда, достойны сожалѣнія, ибо отчуждаются церкви Христовой по однимъ только обрядамъ. Впрочемъ, они также христіане, почему и васъ, кажется, мучить нужды настоять не будетъ, а только требуется отъ васъ, по общимъ государственнымъ законамъ, повиновеніе, какъ отъ свѣдущаго по службѣ человека и заслужившаго штабъ-офицерскій чинъ.

На всю эту рѣчь Кравковъ ничего не отвѣчалъ: такъ опротивѣли ему эти казенныя, лицемерныя рѣчи людей, которые сами ни во что не вѣрили, даже въ человѣческую честность.

— Какъ же, государь мой?

Кравковъ все молчитъ. Только губы его нервно вздрагиваютъ.

— А? согласны, мой добрый другъ?

Опять молчаніе. Слышится только тяжелый сдержанный вздохъ.

— А ?скажите же, государь мой.

— Я уже болѣе говорить не буду,—отвѣчалъ Кравковъ, не поднимая головы.—Я все сказалъ... Отпустите меня за границу—вѣдь другихъ отпускаютъ.

— Конечно... только...

— Ну, а если нельзя, пошлите на каторгу, тамъ я буду работать, или отошлите въ острогъ, я и тамъ трудиться буду. А здѣсь я запертъ и живу въ праздности.

Шешковскій сталъ ходить по комнатѣ и что-то соображать.

— Хорошо,—сказалъ онъ, а потомъ, обращаясь къ строчившему старичку, спросилъ,—готово?

— Готово-съ, ваше превосходительство.

— Литерально?

— Литерально-съ, ваше превосходительство.

Затѣмъ Шешковскій обратился опять къ Кравкову.

— Теперь неуждно ли вамъ, государь мой, руку приложить,—указалъ онъ на бумагу, поданную ему старичкомъ.

— Къ чему!—нетерпѣливо отвѣчалъ арестантъ.

— А къ вашимъ показаніямъ.

— Зачѣмъ это?

— Такъ заведено-съ, порядокъ, государь мой.

— Не стану я руку прикладывать! Дѣлайте, что хотите! Я вѣдь ужъ забылъ и писать.

Кравковъ задыхался. Онъ видѣлъ, что его уже сдѣлали государственнымъ преступникомъ.

— Я не хочу писать! не хочу самъ затягивать свою петлю!—повторялъ онъ, пятясь къ порогу:—я разучился писать!

— Полноте-съ... А Руссо, а философы?

— Пустите меня! у васъ и говорить разучишься... Я совсѣмъ перестану говорить... Для васъ слово божье, рѣчь—и то уже преступленіе... Дѣлайте со мной, что хотите!

— Такъ не подпишете?

— Нѣтъ!

— Напрасно-съ, только время сами затииваете... А, впрочемъ, — все равно... На этотъ разъ можете идти...

Онъ хлопнулъ въ ладоши. Въ дверяхъ показались солдаты съ ружьями.

— Проводите господина канцелярскій-лейтенанта... До свиданья, государь мой... Подумайте на свободѣ.

Кравковъ вышелъ, не произнеся болѣе ни одного слова.

Онъ сдержалъ слово, данное Шишковскому: до 11-го января 1785 года онъ не произнесъ ни одного слова. Онъ не говорилъ даже съ караульными солдатами. Онъ сдѣлался молчаливымъ. «Слово, рѣчь—уже и это преступленіе»...

11 января Кравковъ заговорилъ вотъ по какому случаю. Въ этотъ день у князя Вяземскаго былъ парадный обѣдъ по поводу одной радости, выпавшей на долю князя наканунѣ: 10-го января, Вяземскій, по должности генераль-прокурора, докладывалъ императрицѣ вѣдомость о политическихъ преступникахъ, содержавшихся въ крѣпостяхъ.

— А что дворянинъ-старовѣръ Кравковъ?—спросила Екатерина.

— Продолжаетъ упорствовать, ваше величество.

— Какъ упорствовать?

— Все молчитъ, государыня.

— То есть, какъ же молчитъ?

— Не произносить ни единого слова, вотъ уже который мѣсяцъ: ни на вопросы не отвѣчаетъ, ни даже съ караульными не говоритъ.

— Какъ же? Съ чего же это?

— Да послѣ перваго вопроса, ваше величество: велѣли ему руку приложить къ его показаніямъ, такъ не захотѣлъ, уперся, говоритъ: „совсѣмъ перестану говорить, ибо-де у насъ, въ Россіи, простое слово божіе, рѣчь—и то уже преступленіе“.

— Такъ и сказалъ?

— Такъ и сказалъ, государыня.

Краска не то негодованія, не то стыда, такъ и залила все лицо Екатерины.

— Какво!... Это все вы своимъ неумѣньемъ обращаться съ преступниками, своею жестокостью доводите ихъ до того, что они говорятъ—и вправдѣ говорить, что въ Россіи простое слово божіе, рѣчь—и то уже преступленіе.. А! что скажутъ обо мнѣ въ Европѣ? что я людоедка? что мнѣ мои подданные боятся говорить правду?.. Какая-де въ Россіи свобода!—только на словахъ...

Князь Вяземскій стоялъ блѣдный, потерянный. Храповицкій, присутствовавшій тутъ же, весь красный, утиралъ фуляромъ потъ, каплями выступавшій на лбу, на щекахъ и даже подъ косою.

— Что жъ вы ихъ пытаете—что-ли?—продолжала императрица:—морите голодомъ?—И это въ мое-то царствованіе, когда я торжественно

передъ всей Европой провозгласила уничтоженіе пытокъ, всякихъ насилій надъ подданными, даже преступными! когда я хочу только милости и милости! когда я хочу быть только ихъ матерью!.. А! слово въ Россіи—преступленіе! И это говорить не мужикъ, а просвѣщенный человѣкъ, выдавшій Европу! Вотъ до чего вы довели моихъ подданныхъ вашею жестокостью...

Совсѣмъ уничтоженный, князь Вяземскій умолялъ объ отставкѣ... Храповицкій, нагнувшись надъ какою-то бумагою, которую онъ переписывалъ, весь смущенный, прикладывалъ къ этой бумагѣ фуляръ, сисясь что-то вытереть.

При видѣ его смѣшной фигуры императрица вдругъ улыбнулась.

— Что, закапалъ потомъ „Обманщика“?

— Ненарокомъ, выше величество, простите,—бормоталъ онъ:—вспотѣлъ нечаянно.

— Самъ же перепишешь...

— Перепишу, государыня,—вспотѣлъ...

— Вспотѣлъ въ чужой банѣ.

Гнѣвъ императрицы окончательно прошелъ. Она взглянула на Вяземскаго.

— Ты просишь отставки?

— Не гожусь я, ваше императорское величество, увольте, не гожусь.

Екатерина милостиво положила ему на плечо руку.

— Только ты одинъ и годишься, — ласково пояснила она:—ни изъ князей Голицыныхъ, ни изъ Долгоруковыхъ нельзя сдѣлать генераль-прокурора. А ты—мой ученикъ, я тебя сама формировала, и сколько я за тебя выдержала:—всѣ называли тебя дуракомъ *).

Вяземскій, упавъ на колѣни, цѣловалъ край платья императрицы и плакалъ.

— Матушка!.. великая, великая!—бормоталъ онъ безсвязно.

Эта-то неожиданная нахлобучка, а потомъ милостивое признаніе, что онъ не дуракъ, дало Вяземскому поводъ устроить званый обѣдъ для друзей. А такъ какъ причиною нахлобучки былъ Кравковъ, то генераль-прокуроръ въ тотъ же день рѣшился быть какъ можно мягче и снисходительнѣе къ своимъ арестантамъ, а въ особенности къ Кравкову. 11-го же января онъ велѣлъ отнести своему арестанту обѣдъ со своего стола. Этотъ то обѣдъ и заставилъ Кравкова говорить. Узнавъ, что это обѣдъ отъ Вяземскаго, и вспомнивъ, сколько времени они его мучаютъ напрасно, Кравковъ не могъ подавить припадка вспышки и сказалъ караульнымъ, принесшимъ обѣдъ: „отдайте его собакамъ“.

Вечеромъ, когда ему принесли и ужинъ съ княжескаго стола, послѣдовала та же исторія. Этотъ княжескій ужинъ Кравковъ выбросилъ въ тотъ сосудъ, который арестанты называютъ „чиганашкой“.

*) „Дневн. Храповицкаго“, изд. Барсукова, стр. 4, 279, 323.

— Скажите Шешковскому, обратился онъ при этомъ къ караульнымъ:—если со мною ничего не сдѣлаютъ и станутъ меня еще здѣсь держать, то вѣдь руки у меня нескованы, —я самъ что-нибудь надъ собою сдѣлаю.

Это такъ напугало Вяземскаго, что онъ тотчасъ же поскакалъ къ митрополиту Гавріилу.

— Ваше высокопреосвященство, помогите,—молилъ онъ митрополита.

— Въ чемъ, сіятельнѣйшій князь?

— Государыня думаетъ, что я жестоко обращаюсь съ моими арестантами и не умѣю ихъ направить на путь истины. А мнѣ вотъ на шею посадили раскольника-дворянина такого, что Вольтера да Руссо читаетъ и въ скитахъ жилъ. Какъ мнѣ съ нимъ сладить насчетъ вѣры!—Позвольте мнѣ его къ вамъ прислать, ваше высокопреосвященство.

— Хорошо, пришлите.

IX.

Передъ княземъ Вяземскимъ.

Въ чемъ состояло объясненіе митрополита съ Кравковымъ, какъ они поняли другъ друга—изъ дѣла неизвѣстно. Но несомнѣнно, что митрополитъ не возбудилъ въ странномъ раскольникѣ того глубокаго презрѣнія, какое возбудили въ немъ и архіерей нижегородскій, и Ребиндеръ, и Шешковскій, и Вяземскій. Оно и неудивительно: митрополитъ Гавріилъ былъ умнѣе всѣхъ ихъ и болѣе всѣхъ понималъ душу человѣческую. Недаромъ, Екатерина особенно уважала этого іерарха, посвятила ему даже своего „Велисарія“ и всегда называла его „мужемъ острымъ и резонабельнымъ“. Этотъ же митрополитъ, глубоко возмущаясь стариннымъ обычаемъ, въ силу котораго провинившихся священниковъ сѣкли, какъ Сидорову козу, исходатайствовалъ у правительства указъ объ уничтоженіи этого гнуснаго обычая-закона.

Какъ отнесся митрополитъ къ воззрѣніямъ Кравкова, можно отчасти судить по письму его къ князю Вяземскому, по поводу того же Кравкова.

„Сіятельнѣйшій князь Александръ Алексѣевичъ, милостивый государь!—писалъ онъ.—Присланный отъ вашего сіятельства ко мнѣ флота капитанъ 2-го ранга, Евдокимъ Кравковъ, многократно былъ увѣщиваемъ, но остался въ прежнихъ мысляхъ. Онъ приверженъ къ толку старообрядцевъ, называемому поповщиною, но, при всей той приверженности, имѣетъ мнѣнія и раскольниками нетерпимыя. Его отзывы и разсужденія показываютъ человѣка разстроенныхъ мыслей. А какъ въ такое состояніе приведенъ онъ печальными обстоятельствами и причиною того почитаетъ другихъ, то происшедшее отъ сего въ немъ негодованіе производитъ недовѣрчивость, отвращеніе и упорство. Исправить его, кромѣ снисхожденія, не можно. Онъ чрезъ время, увидѣвши не то, что нынѣ заключаетъ, можетъ смягчиться

въ своемъ упорствѣ. Я его съ симъ къ вашему сіятельству провождаю.

„Снисхожденіе“, только „снисхожденіе“. Но этого государственные умники никакъ не могли понять. Имъ хотѣлось непременно переубѣдить человѣка, который былъ умнѣ ихъ и притомъ же доведенъ до крайняго нервного возбужденія, благодаря все тѣмъ же умникамъ.

— Что дворянинъ-старовѣръ?—снова спросила императрица Вяземскаго черезъ нѣсколько дней.

— Послѣ увѣщанія митрополита, ваше величество, спокойнѣе сталъ.

— А касательно мыслей?

— Упорствуешь, государыня.

— А что митрополитъ сказалъ?

— Митрополитъ, государыня, пишетъ, что исправить его, кромѣ снисхожденія, ничѣмъ не можно.

— Снисхожденіе!—живо заговорила императрица:—слышите, что говорить умный человѣкъ? А? слышите?

И Вяземскій, и Храповицкій, тутъ же занимавшійся „перлюстраціей“, вытянулись.

— Точно, государыня,—процѣдилъ первый.

— Снисхожденіе... милость,—поддакивалъ второй.

— Да, милость, только милость, а не строгость править міромъ,—горячо сказала императрица:—вспомните, неразумный сынъ премудраго и милостиваго Соломона черезъ свою строгость царства лишился... Это зато, что онъ наказывалъ подданныхъ скорціями.

— А князь кормить Кравкова устрицами, матушка.

Екатерина невольно улыбнулась. Это говорилъ Нарышкинъ Левъ, показавшись на порогѣ внутреннихъ покоевъ. На плечѣ у него было полотенце.

— Устрицами?

— Точно, матушка.

— Не устрицами, государыня, а точно отъ своего стола посылалъ,—оправдывался Вяземскій.

Императрица замѣтила полотенце на плечѣ у своего друга „Левушки“.

— Это что у тебя за полотенце?—улыбнулась она.

— Да вотъ покои твои убиралъ, матушка,—невозмутимо отвѣчалъ Нарышкинъ.

— А Захаръ что же?

— Не хочетъ.

— Какъ не хочетъ!

— Такъ и не хочетъ—сердится на тебя, матушка.

— За что еще?

— Да говорить,—государыня всю прислугу избаловала: сама изволить печи топить, а прислуга дрыхнеть... Такъ, говорить, житья не будетъ во дворцѣ.

Екатерина засмѣялась.

— Это правда, я немножко виновата передъ Захаромъ: сегодня утромъ я проснулась раньше обыкновеннаго: дѣла было много и показалось мнѣ холодно... Я пожалѣла прислугу и не разбудила, да сама и растопила дрова... Нечего дѣлать, надо просить прощенія у Захара Константиновича.

Императрица, видимо, была довольна этой невинной, но ловкой шуткой своего „Левушки“. Этотъ „Левушка“ при помощи своихъ дурачествъ, умѣлъ необыкновенно искусно льстить. Хитрый царедворецъ, прикидывавшійся по-вѣсой, больше всѣхъ зналъ слабость императрицы въ популярности и всегда умѣлъ ловко угодить этой слабости. Онъ такъ поступилъ и въ данномъ случаѣ: рѣчь шла о снисхожденіи, о милости, объ умѣ и добротѣ Соломона; „Левушка“ все это слышалъ изъ сосѣдней комнаты—и явился съ полотенцемъ на плечѣ, чтобъ „насмѣшить свою матушку“...

— Такъ устрицами, князь, кормишь Кравкова, а не скорпіями?—продолжала шутить матушка.

— Стараюсь, государыня.

И онъ действительно постарался.

Въ тотъ же день онъ вѣдѣлъ привести Кравкова въ присутствіе тайной экспедиціи, гдѣ, конечно, былъ и неизбѣжный Шенковскій. Послѣдній былъ не въ духѣ, узнавъ, что императрица не одобряетъ ихъ жестокаго обращенія съ арестантами.

— Сама печи топить, прислугу жалѣючи, а мы вонъ якобы мучимъ нашихъ молодцовъ,—бормоталъ онъ, расхаживая маленькими шажками по присутствію:—что жъ намъ ручки что-ли у нихъ цѣловать, когда они упорствуютъ?.. Устрицами Кравкова кормимъ, скорпіями... Да онъ, подлецъ, и стоитъ скорпіевъ—здакій кремень... Устрицами... А все этотъ Левка на-ушникъ—все онъ переноситъ, шпынь проклятый... Совсѣмъ избаловали арестантовъ:—пытать, слышь, не могли... Да чѣмъ его, подлеца, кромѣ дыбы, проймешь?—Эхъ, то-то времячко было, то-то лафа была Андрею Ивановичу Ушакову, когда у него подъ руками и застѣнокъ, и дыбушка-матушка, и здакія разныя плеточки, — сразу все выпытають. А мы вотъ въ сухомъ ятку допрашивай, не смѣй и посѣчь“...

Вошелъ Кравковъ. Онъ много взмѣнился за послѣднее время, постарѣлъ, посѣдѣлъ хоть ему едва только минуло сорокъ лѣтъ.

— А господинъ капитанъ-лейтенантъ, сколько лѣтъ, сколько зимъ!—дружески подошелъ къ нему Степанъ Ивановичъ.

— Какъ ваше здоровье, господинъ капитанъ?—спросилъ Вяземскій, кивая головой:—сама всемилостивѣйшая государыня интересуется вашимъ дѣломъ.

— Благодарю, я здоровъ,—былъ короткій отвѣтъ.

Очень радъ... Ну, а какъ насчетъ вашего рѣшенія?

Какого рѣшенія?

Насчетъ, то-есть, мыслей въ разсужденіи религіи?

Мои мысли на этотъ счетъ извѣстны его высокопреосвященству.

— Все это такъ-съ... Его высокопреосвященство, конечно, смотритъ со стороны догматики, а мы, согласитесь, должны относиться къ дѣлу съ государственной точки зрѣнія.

— Со стороны, такъ сказать, цивильной,—пояснилъ Шешковскій.

— И шляхетской,—добавилъ князь Вяземскій.

— А также и въ разсужденіи раскола.

Кравковъ молчалъ.

— Какъ же, капитанъ? не бросили вы вашихъ бредней?—не вытерпѣлъ Шешковскій.

— Какихъ бредней?—спросилъ Кравковъ.

— Ахъ, капитанъ! да неужели вы сами не понимаете, сколь для васъ постыдно, заслуживши чинъ штабъ-офицерскій, войти въ такое заблужденіе, которому слѣдуютъ люди, не имѣвшіе никогда никакого просвѣщенія, удалиться отъ общества и тѣмъ паче оставить святую церковь, всѣ ея преданія и вѣрить такимъ людямъ, которые не только никакого понятія, въ чемъ они сомнѣваются, не имѣютъ, но что и сами, по глупости своей, истинно полагаютъ, то и тому правдоподобнаго доказательства дать не могутъ.

— Но вѣдь я же это слышалъ! Что вамъ до меня?

— Намъ васъ жаль.

— Такъ отпустите меня.

— Куда? въ скиты?

— Да хоть гдѣ-нибудь дайте спокойно умереть.

— Зачѣмъ умирать?

— Ну, уйти отъ всѣхъ, отъ этой горькой жизни, забыться...

— Что-жъ! если вы хотите посвятить себя на службу Богу и удалиться отъ суеты...

Кравковъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе, но смолчалъ.

— Что жѣ! вы можете избрать мѣсто, по желанію вашему, въ монастырѣ, гдѣ быть вамъ не только не постыдно, но и полезно бы было для васъ, и, притомъ, надѣюсь, на сіе бы и всемилостивѣйшая государыня изъявить изволила свое благоволеніе.

Говоря это, князь Вяземскій невольно вспомнилъ: „а всѣ тебя считали дуракомъ... кто же это всѣ? а? — ужъ не Левка ли Нарышкинъ наушникъ, шпынь и льстецъ“...

— Ну такъ какъ же?—снова обратился онъ къ арестанту.

— Устрицы... все только устрицы... скорпіи бы,—пробормоталъ про себя Шешковскій:—ахъ Андрей Ивановичъ!...

Вяземскій старался не слышать его словъ: онъ рѣшился до конца быть мягкимъ.

— А? что же вы на это скажете, мой другъ? въ разсужденіи монастыря...

— Помилуйте!—не выдержалъ арестантъ:—что вамъ до меня за нужда! Богъ насильно никого къ спасенію призывать не велѣлъ, а открылъ путь

всякому, кто какъ желаетъ спастись... Что вамъ до меня? Какъ я о величїи божїи мыслю и ищу спасенїя—знать никто не можетъ.

„Ахъ—думалъ онъ при этомъ:—какъ умнѣе всѣхъ ихъ Никита Петровичъ, простой мужикъ... А вѣдь эти государствомъ правятъ“.

— Зачѣмъ вы хотите меня непременно въ монастырь засадить?

— Не мы—продолжалъ пилить Вяземскій, стараясь оправдать довѣріе государыни, что онъ не дуракъ: — не мы, но самъ Богъ чрезъ посредство постановленныхъ пастырей церкви Христовой, которымъ онъ ввѣрилъ самъ, по словеси своему, пасти стадо, призываетъ васъ къ истинному богопознанію. Положимъ, что вы, конечно, вѣруете въ Бога, чаєте себѣ спасенїя, но равнымъ образомъ и всякій христіанинъ того же желаетъ и ищетъ того по своему состоянію. Всякій исполняетъ всѣ обязанности, налагаемыя закономъ и вѣрою, и церковь святую почитаетъ матерью своею, всѣ ея преданїя, установленныя отъ Христа, и преданїя, святыхъ отецъ по возможности исполняетъ; а вы совсѣмъ отчуждились отъ церкви и ее оставили. Повѣрьте, если бы сіе не было прискорбно и вы не были бы достойны сожалѣнія въ разсужденїи такихъ странныхъ кроющихся въ васъ воображеній, то, конечно бы, понапрасну не стали бы принуждать васъ къ присоединенію къ церкви Христовой, страшась, дабы не отдать отвѣта Богу, что объ васъ не старались или мало объ обращенїи вашемъ попеченїя имѣли, тѣмъ болѣе, что и всемилостивѣйшей государынѣ весьма сіе угодно, ибо она, аки мать, о чадахъ своихъ печется, но видитъ своего подданнаго, падшаго въ такое заблужденіе. И для того мы (онъ взглянулъ на Шешковскаго, который нетерпѣливо шуршалъ бумагой)—мы, будучи обязаны вѣрностію къ самодержицѣ своей, должны о васъ имѣть сожалѣніе и, сколь возможно, привести къ познанію истины.

Вся эта проповѣдь, дышущая грубѣйшимъ матеріализмомъ, полная кощунства надъ вѣрою и ученїемъ евангельскимъ, терзала и мучила Кравкова, стояла ему всякой пытки.

Онъ глубоко поникъ головою. Упавшія на колѣни руки сжались съ такою силою, что кости хрустнули.

— Такъ какъ же? ясны для васъ мои доводы?—продолжалъ пилить Вяземскій.

Кравковъ всталъ, но голова его осталась опущенною на грудь.

— Я родился во тьмѣ,—тихо сказалъ онъ:—хочу такъ же и умереть... Я не знаю, что кому нуды имѣть обо мнѣ попеченіе... Я ни отъ кого ничего не требую и не желаю, ни о чемъ никого не просилъ и не прошу... Если же я сдѣлалъ что противное закону, то вы вольны меня разжаловать, наказать по законамъ и хотя лишить жизни.

— Зачѣмъ же! помилуйте!

Кравковъ махнулъ рукой и быстро вышелъ изъ присутствїя.

„Трудно иногда представить себѣ,—говорить по этому случаю г. Ламанскій, — до какого уродства и безобразія способны доходить люди въ своемъ безвѣрїи и индиферентизмѣ, когда по какимъ-нибудь внѣшнимъ

разсчетахъ и соображеніяхъ считаютъ себя призванными являться защитниками вѣры, христіанства, ученія любви и свободы не только не нуждающагося въ ихъ покровительствѣ, но еще осаверняемаго ими въ своей святынѣ! Кто хлопочетъ объ обращеніи Кравкова?—Князь Вяземскій, низкой души человѣкъ, нечестный гражданинъ. грязный въ своей семейной жизни! О нравственности и крѣпости христіанскихъ убѣжденій Шешковского и другихъ нечего и упоминать“.

Х.

„Матерняя резолюція“.

Послѣ этихъ неудачныхъ увѣщаній Кравкова оставили на время въ покоѣ. Дни проходили за днями, а ни къ нему никто изъ властей не заглядывалъ, ни къ себѣ его не призывали. Казалось, что объ немъ всѣ забыли. Но тѣмъ сильнѣе въ немъ заговорила память прошлаго.

О томъ далекомъ, свѣтломъ прошломъ, когда передъ нимъ заманчивой панорамой разстилалось таинственное, но полное иллюзій будущее, когда во власти его, казалось, находились цѣлыя моря и океаны съ невѣдомыми странами и народами, когда онъ самъ бороздилъ эти моря и рвался въ новыя, невиданныя страны и когда впереди, среди этихъ грезъ и дѣйствительности, вставалъ свѣтлый образъ навѣки погибшаго друга,—объ этомъ далекомъ прошломъ онъ даже и не вспоминалъ, потому что не могъ реально представить его себѣ. Ему теперь казалось, что этой полосы въ его жизни совсѣмъ даже не было, что все это пронеслось въ волшебномъ снѣ, въ молодыхъ грезахъ. Онъ даже не могъ теперь представить себя тѣмъ Кравковымъ, какимъ онъ былъ когда-то въ этихъ разлетѣвшихся грезахъ, въ этихъ „соніяхъ“, пробужденіе отъ которыхъ было такое страшное. Развѣ это онъ, вотъ этотъ одинокій Кравковъ, плылъ тогда на фрегатѣ отъ кавказскаго берега въ Крыму, въ Кафѣ и рассказывалъ молодымъ офицерамъ Павлюку и Шастову, о своихъ далекихъ плаваніяхъ? Да развѣ это онъ плавалъ? Развѣ онъ восторженно молился сѣдому океану и плакалъ отъ умиленія?.. Нѣтъ, это былъ кто-то другой, а не онъ... Да, этого прошлаго не было—оно было только во снѣ... И та, когда-то свѣжая, а теперь уже почти забытая могила на берегу Оки, и та, которая лежала въ этой могилѣ, и ея соломенная шляпка на столѣ, и одна перчатка, и то послѣднее письмо—„отдай мнѣ его, сине море“,—все это было во снѣ...

Но у него осталось еще и другое прошлое, близкое — и вотъ о немъ онъ теперь вспоминалъ, какъ о чемъ-то недосыгаемомъ.

Обширная луговая поляна залита лучами утренняго солнца. Съ одной стороны ее окаймляетъ зеленый лѣсъ, звенящій голосами птицъ, съ другой — ровные, плоскіе берега Иргиза, а дальше—бесконечная степь, что раскинулась въ ширь отъ Волги вплоть до Яика-Урала. Изъ-за лѣсу блеститъ на солнцѣ золоченый крестъ скитской церкви. Въ прозрачной синевѣ

яружатся голуби. А здѣсь, на полянѣ, кипитъ работа. Отъ самаго лѣсу вытянулся строй косарей, человекъ до ста, и, широко размахивая косами, эта длинная лава косцовъ медленно двигается впередъ, шаркая острыми косами по зеленой травѣ, убранной цвѣтами. Высокая, сочная трава такъ и разстиляется, такъ и падаетъ ницъ передъ этими витязями. А витязи эти — скитскіе „старцы“-косари, большею частью, народъ молодой, здоровый. А противъ этой длинной лавы „старцевъ“ идетъ другая, еще болѣе длинная лава „старицъ“ — все это бабы молодая, сильная. „Старицы“ идутъ лавою косцовъ въ двѣсти. Косы сверкаютъ на солнцѣ, какъ алмазные полосы.

— Вонъ какъ старица Платонида забираетъ впереди всѣхъ, словно лебедь плыветъ.

— Ужъ и мастерица же косить! Двухъ мужиковъ за поясъ заткнетъ.

— Вонъ какую широкую полосу гонить — богатырь старица!

— Одно слово, по писанію — „широковидная“.

— Да и сестра Виринея шибко рѣжетъ.

— А нашъ-отъ старецъ Вавила, гляньте, какимъ козыремъ идетъ.

— Словно Самсонъ на филистимлянъ.

Обѣ лавы косарей все ближе и ближе сдвигаются. Уже небольшая полоса нескошенной травы раздѣляетъ мужскую лаву отъ женской. Сестра Платонида и старецъ Вавила первые прорѣзали свои полосы до конца и остановились красные, разгорѣвшіеся.

— Богъ въ помощь, матушка Платонидушка.

— Спасибо на божьемъ словѣ, Вавилушка братецъ.

Косцы вынимаютъ изъ-за голенищъ деревянные лопатки и шаркаютъ ими о притупившіяся косы. Наближаются и другіе косцы — лава къ лавѣ.

А Кравковъ вмѣстѣ съ Герасимушкой и Саватѣюшкой Персидскими идутъ за лавами косцовъ и собираютъ въ плетешки перепелиныя яйца: послѣ скошенной травы перепелиныя гнѣзда открываются то тамъ, то здѣсь, и Кравковъ съ своими молодыми друзьями собираетъ сѣренькія, пятнистыя яички, потому что все равно ихъ сороки повыпиваютъ. Вонъ они, долгохвостыя, такъ и вьются надъ скошенными полосами, ища легкой добычи. А изъ этихъ перепелиныхъ яичекъ какія вкусныя яичницы готовятъ въ скитахъ!

Первая полоса скошена. Косы притупились. Косцы собираются у „стана“ и, устѣвшись кругами на землѣ, начинаютъ „отбивать“ небольшими молотками на такихъ же небольшихъ наковальняхъ притупившіяся лезвія косъ. Звонъ раздается по всей полянѣ, и эхо его повторяется въ лѣсу по ту сторону Иргиза.

Передохнувъ, идутъ косить вторую полосу. А тамъ вскорѣ и копны готовы — вся поляна такъ и устѣяна копнами. Тутъ ужъ „копнить“ сѣно — это бабье дѣло: на такое дѣло сестры большія мастерицы.

А тамъ, глядишь, и ржи, и пшеницы стали созрѣвать. Новая работа всему скитскому населенію, — и такъ почти круглый годъ: уборка, молотьба, помолы на скитской мельницѣ. А тутъ же и возка арбузовъ и дынь съ

бахчей, соленье и квашенье тѣхъ и другихъ на зиму... Горы огурцовъ, капуста...

Проходитъ лѣто. Наступаютъ осенніе заморозки—„звонкая осень“, когда шибко уватанная и промерзшая дорога звенить на зарѣ подъ кованными колесами. Но снѣгу еще нѣтъ, ибо заволжская осень суха и ясна. Озеро уже подернуто тонкимъ, прозрачнымъ, какъ стекло, льдомъ. Ледъ дѣлается все толще и толще. Раннимъ утромъ Кравковъ отправляется съ юными Персидскими „глушить“ рыбу по замерзшимъ берегамъ Калача, особенно по ту сторону озера, въ приглубыхъ заливахъ и въ длинныхъ „куткахъ“, по берегамъ, поросшихъ рѣзучею осокою. Въ рукахъ у нихъ „чекмари“—длинные палки съ круглыми въ кулакъ наконечниками изъ корня того же дерева, изъ котораго сдѣланъ „чекмарь“. Ледъ такъ еще тонокъ, что Кравковъ и его юные друзья ложатся на животы и ползкомъ перебираются на ту сторону Калача. Сквозь прозрачный ледъ видно далеко въ глубину—вода какъ хрусталь чиста, въ глубинѣ видны плавающія рыбы. По мѣрѣ движенія охотниковъ по льду, онъ гнется, трещитъ—вотъ-вотъ проломится; но они ползутъ осторожно. Вотъ они и переползли, идутъ вдоль берега. Здѣсь вода еще прозрачнѣе. Видно дно озера какъ на ладони—и пріютившаяся подъ водою травка, и заснувшая на зиму зеленая лягушка, уткнувшаяся носомъ въ какую-нибудь ямочку. Они идутъ тихо, чуть скользятъ по зеркальной поверхности. Вонъ подбилась къ подводной травкѣ щука и стоитъ неподвижно, только гибкій хвостъ ея немного шевелится. Кравковъ поднимаетъ высоко надъ головою „чекмарь“ и со всего размаху бьетъ имъ по льду какъ разъ противъ головы щуки. Ударъ оглушаетъ ее—она вертится на мѣстѣ. Еще ударъ и еще, — и хищная рыба опрокидывается пластомъ. На томъ мѣстѣ, гдѣ ударили „чекмаремъ“, во льду образовалась чудная, всѣхъ радужныхъ цвѣтовъ звѣзда. Кравковъ еще сильнѣе бьетъ по льду „чекмаремъ“ — и ледъ пробить. Въ отверстіе засовывается рука, и щука вытаскивается на поверхность. А тамъ Герасимушка „глушить“ огромнаго карася, Саватѣюшка никакъ не можетъ заглушить жирнаго линя.

Слышно, какъ на току молотить братія: и старцы, и здоровыя старицы; далеко разносятся въ утреннемъ воздухѣ звонкіе удары цѣповъ о промерзшую, гладкую, какъ ровная доска, токовину. Въ лѣсу звучать топоры о замерзшія деревья — это братія готовятъ дрова на обитель. Все работаетъ — и работаетъ не по принужденію, а изъ любви, по охотѣ, и потому во всемъ довольство, обиліе.

Гулко въ морозномъ воздухѣ раздаются удары въ скитское било—это святой отецъ, Никита Петровичъ, созываетъ въ обитель свою братію, старцевъ и старицъ, труждающихся и обремененныхъ, — это значитъ, что настала часъ общественной трапезы. Всѣ сходятся въ просторную избу и садятся за огромные столы, а служки, молодые послушники, разносятъ по столамъ яства, а во время трапезы кто-либо изъ братіи, которые грамотные, читаютъ по очереди то Евангеліе, то дѣянія апостольскія, то житіе святыхъ, либо другое что божественное.

Такъ вспоминалъ Кравковъ скитскую жизнь, сидя въ своемъ одиночествѣ и не зная, что въ эти самые часы рѣшается навсегда его участь.

Въ кабинетѣ императрицы идетъ докладъ. Екатерина, нѣсколько откинувшись на спинку кресла и поглаживая рукой перламутровый разрѣзной ножъ, слушаетъ докладъ Вяземскаго и поглядываетъ иногда на Храповицкаго, который за отдѣльнымъ столомъ углубился въ какіе-то корректурные листы. У окна Левъ Александровичъ Нарышкинъ тихонько дразнить поугая, просовывая къ нему въ вѣтку кончикъ носового платка.

„Онъ, Кравковъ (читаетъ Вяземскій), какъ человекъ противъ званія своего дѣлаетъ поведеніемъ и жизнью своею нетерпимый въ обществѣ не только соблазнъ, но самымъ своимъ ложнымъ мнѣніемъ развращаетъ и другихъ, отторгнувшись отъ святой церкви и наставленіемъ неправомыслящихъ невѣждъ, избралъ лучшее сожитіе съ тѣми невѣждами, нежели въ обществѣ людей законами и вѣрою охраняемыхъ, такъ что никакія увѣщанія духовной и мірской власти о повинновеніи церкви и установленнымъ государственнымъ законамъ воздѣйствовать въ немъ не могли, за что, по силѣ законовъ, и достоинъ онъ, Кравковъ, жестокому наказанію...“

Замѣтивъ, что при послѣднихъ словахъ императрица какъ-будто поморщилась, докладчикъ въ нерѣшительности остановился.

Наказанію да еще жестокому, — сказала она, глядя на Вяземскаго: — не люблю я этихъ словъ.

— Эти слова изъ закона, ваше величество, — оправдывался докладчикъ.

— И въ законѣ такихъ словъ не должно быть: жестокость, наказаніе...

— И скорпіи, матушка, — вкинулъ свое слово „Левушка“, ударивъ поугая по носу.

— Именно скорпіи... Я не хочу быть похожею на Ровоама.

— А Соломона, матушка, ты превзошла, — продолжалъ хитрый „Левушка“.

— Ну, Левъ Александровичъ, ужъ ты не въ мѣру льстишь мнѣ, — замѣтила императрица.

— Нѣтъ, государыня, никогда я вамъ не льстилъ, а всегда говорилъ сущую правду... Вудъ на вашемъ мѣстѣ Соломонъ и приди къ нему княгиня Дашкова съ моимъ братцемъ, какъ тѣ двѣ матери съ ребенкомъ...

Екатерина разсмѣялась.

— А вѣдь ты правъ: она бы Соломона въ гробъ вогнала.

Въ это время къ столу въ нерѣшительности приблизился Храповицкій.

— Ты что, Александръ Васильевичъ? спросили его.

Вотъ тутъ, ваше величество, княгиня...

Опять княгиня! — Дашкова?

Такъ точно, государыня.

Что же она?

Вотъ тутъ въ корректурѣ „Обманщика“ княгиня сдѣлала маленькую поправочку въ словѣ.

Какую же?

Слово „это“ замѣнила словомъ „сіе“.

— Оставь „это“... Неправда ли, Левъ Александровичъ, „это“ болѣе по-русски, чѣмъ „сіе“.

— Правда, матушка, развѣ несмѣшно было бы сказать: сей попугай большой разбойникъ?

— Вѣрно, вѣрно...

— А сія княгиня—сіе какъ-то возвышеннѣе.

— Ахъ ты, шпынь... Ну, продолжай, обратилась она къ Вяземскому.

— Слушаю-сь.

— И я слушаю.

— „За что, по силѣ законовъ, и достоинъ онъ Кравковъ“...

Вяземскій остановился.

— Только не жестокому наказанію,—повторила Екатерина:—напиши тяжкому осужденію.

— Слушаю-сь... „тяжкому осужденію; но поелику довольно изъ собственныхъ его изрѣченій да и по существу самыхъ его дѣяній видно, что въ сіе заблужденіе впалъ и столь упорно настоитъ по всѣянному въ него отъ вышеписанныхъ невѣждъ суевѣрію, которое онъ, по слабости разсудка своего, мнитъ быть истиннымъ, а сіе самое и ввергло его въ совершенную фанатизму“...

— Да, да,—соглашалась императрица:—фанатизма—это дѣло серьезное, и фанатики—люди опасные... Ну, продолжай.

... „ввергло его въ совершенную, фанатизму,—съ удовольствіемъ на лицѣ повторилъ генераль-прокуроръ эту фразу—или лучше скъзать, что лишенъ онъ, конечно, здраваго разсудка. Почему, а болѣе подражая матернему ея величества челоувѣколюбію и милосердію...

При этихъ словахъ что-то неувимое мелькнуло по лицу Екатерины, отразилось въ ея глазахъ и тотчасъ же сгасло точно искра. Нарышкинъ еще усерднѣе занялся попугаемъ.

... „отъ положеннаго законами жестокаго наказанія“,—продолжалъ Вяземскій.

— Осужденія,—поправила императрица.

... „отъ того осужденія его избавить; но, дабы онъ не могъ, по такому своему упорству и пренебрегаючи не только общее, но и собственное благосостояніе, между обществомъ по разнымъ мѣстамъ шататься, а тѣмъ самымъ не подавалъ бы другимъ слабаго разсудка людямъ соблазна, а не меньше по объятому имъ суевѣрству чрезъ странныя разглашенія о святой церкви, то послать его за надежнымъ присмотромъ въ шлиссельбургскую крѣпость“...

— Нѣтъ,—остановила докладчика императрица:—не въ шлиссельбургскую.

— Въ петропавловскую?

— Нѣтъ, въ ревальскую.

— Слушаю-сь... „въ ревальскую крѣпость, гдѣ велѣтъ тамошнему коменданту содержать его подъ такою стражею, чтобъ онъ никакъ оттуда

уйти не могъ, и для того отвезть ему особый покой; однако-жъ, будущимъ при той стражѣ подтвердить, дабы съ нимъ поступано было съ сохраненіемъ человѣческаго состоянія, не дѣлая никакихъ оскорбленій“.

— Это хорошо, — одобрила императрица.

— Э, ваше сіятельство, да вы не однимъ языкомъ язвите, — пробормоталъ Нарышкинъ, отдергивая руку отъ клѣтки съ попугаемъ.

Екатерина глянула въ его сторону: — Что, укусилъ?

— Типнулъ, матушка... Настоящая киягиня, и язычокъ такой же.

— Ахъ ты, новѣса!

— Я серьезно, матушка, говорю: вѣдь у попугаевъ и пераклитовъ языкъ подобнаго сложенія человѣческому — это вѣрно.

— Какъ?

— А вы развѣ не изволили этого доселѣ замѣтить?

— Не замѣчала.

— Извольте посмѣтрѣть.

И Нарышкинъ, съ трудомъ поднявъ массивную клѣтку, поднесъ ее къ императрицѣ.

— Купать, попку купать! Онъ этого не любитъ.

— Дуггакъ! дуггакъ! дуггакъ! — закричалъ попугай и заметался въ клѣткѣ.

— Извольте видѣть его языкъ?

— Вижу... точно, сложеніе подобное... *je ne savais pas cela... je donnerais à la perruche la survivance de votre charge...* *) Удивительно...

Клѣтку опять поставили на мѣсто.

— Мѣшай дѣло съ бездѣльемъ, — улыбнулась императрица. — Я слушаю докладъ.

„А какъ онъ, Кравковъ — продолжалъ докладчикъ — человѣкъ лишившійся здраваго разума, то иногда что-либо станетъ дѣлать или говорить непристойное, въ такомъ случаѣ коменданту его отъ того удерживать по данной ему, по высочайшему учрежденію, власти. Буде же, паче чаянія, оный Кравковъ станетъ что врать важное, то въ такомъ случаѣ писать о томъ къ генералъ-прокурору, а стражѣ, находящейся при немъ, наиприлежнѣйше истолковать, чтобы отъ него, яко отъ безумнаго человѣка, ничего не слушать и никому бѣ, кромѣ его, коменданта, о томъ враньѣ никакъ не разглашали подѣ опасеніемъ военнаго суда. Писемъ писать ему не велѣтъ и ни отъ кого къ нему не брать, чего ради, бумаги, пера, чернилъ и всего къ письму способнаго ему ни для чего не давать, также строго смѣтрѣть, чтобы онъ чего надѣ собою или надѣ стражею сдѣлать вреднаго не могъ, и для того ножа и никакого орудія, чѣмъ человѣкъ себя и другаго повредить можетъ, не давать“...

— Вотъ какъ полкѣ, — пробормоталъ „Левушка“.

... „да и караульнымъ въ томъ покоѣ, гдѣ онъ содержанъ будетъ,

*) „Дневн. Храповицк.“, изд. Барсукова, 5.

никакого орудія не имѣть. На пропитаніе жъ и одежду выдавать ему на каждый день по семи копѣекъ“...

— По десяти,—поправила Екатерина:—онъ штабъ-офицеръ.

... „по десяти копѣекъ. Въ какомъ же онъ состояніи находится будетъ и придетъ ли онъ въ познаніе истины, генераль-прокурору урезъ каждые четыре мѣсяца, при требованіи на него кормовыхъ денегъ, репортовать. Если же, паче чаянія, оный Кравковъ пожелаетъ позвать къ себѣ попа для исповѣди или святого причастія, то онаго къ нему, хотя бы онъ былъ и здоровъ, допустить: буде жъ будетъ въ болѣзни, то потому жъ преподать ему о семъ спасительномъ для него способѣ совѣтъ, сказавъ, однако жъ, священнику, что буде онъ, Кравковъ, откроетъ ему свое заблужденіе и станетъ просить его о присоединеніи къ церкви, то чтобъ онъ въ то же время далъ знать коменданту, а оный имѣетъ донести о томъ генераль-прокурору. Если же онъ умретъ, то похоронить его, Кравкова, по церковному чиноположенію и объ томъ коменданту той крѣпости описать“.

Докладчикъ кончилъ и поклонился.

— Быть по сему,—послѣдовала высочайшая резолюція.—А что „лексиконъ риѣмъ“?—обратилась Екатерина къ Храповицкому.

— Первые тетради готовы, государыня.

— А „Февей“ переписывается?

— Почти готовъ, государыня.

— Спасибо за проворство.

— Еггмолловъ дуггакъ! дуггакъ Еггмолловъ!—вдругъ закричалъ попка.

— Молчи, попочка, услышитъ—побьетъ.

Екатерина улыбнулась:—„это ты его научилъ, повѣса“?

— Нѣтъ, матушка, онъ своимъ умомъ дошелъ.

Екатерина погрозила „Левушкѣ“ пальцемъ, а къ Вяземскому наклонила голову; тотъ понялъ, что его отпускаютъ, поклонился и вышелъ.

— Матерняя, истинно, матерняя резолюція,—шепталъ онъ съ умиленіемъ.

„Лица, осудившія Кравкова за его неправославіе (такъ характеризуетъ г. Ламанскій „златый на сѣверѣ вѣкъ“), сами нисколько не сочувствовали и не вѣрили православію: иначе они не поступили бы такимъ образомъ съ Кравковымъ. Если бы, напримѣръ, Кравковъ былъ деистъ или атеистъ, то никто не тронулъ бы его,—очевидно, не изъ признанія свободы совѣсти, а потому, что всѣ тогдашнія правительственныя лица въ Россіи, вмѣстѣ съ большинствомъ образованнаго общества, сами глубоко сочувствовали Вольтеру и энциклопедистамъ. Никому изъ правительственныхъ лицъ не могла тогда придти въ голову дикая мысль о томъ, чтобы хватать въ тайную экспедицію людей за деизмъ, атеизмъ или масонство (которое въ послѣдствіи Екатерина стала преслѣдовать только за сочувствіе масоновъ къ великому князю Павлу Петровичу),—словомъ, всѣхъ образованныхъ русскихъ неправославныхъ, и такъ насильственно обращать ихъ въ православіе! Извѣстны сношенія Екатерины II съ Вольтеромъ и энциклопедистами; Дидро она даже приглашала въ воспитатели къ своему

сыну; а тогдашній оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода, П. П. Чебышевъ, громко хвалился своимъ атеизмомъ... Но отчего же тайная экспедиція, встрѣтясь съ Кравковымъ, вдругъ такъ воспламеняется жаромъ учительства и непременно отъ него требуетъ, чтобъ онъ обратился къ церкви?—Мы видѣли, что Кравкова пытаются (хотя не въ застѣнкѣ, а мягко, любезно) и осуждаютъ не за то собственно, что онъ мыслилъ и вѣровалъ неправославно, несогласно съ церковью, а за то, что онъ, природный руссійскій дворянинъ и отставной штабъ-офицеръ, носилъ бороду и неподобную одежду, мыслилъ и вѣровалъ, какъ непросвѣщенный невѣжда. Тайная полиція руссійской имперіи въ 1784—1785 годахъ ловить дворянина Кравкова и сажаетъ его въ казематъ ревельской крѣпости, слишкомъ на 11 лѣтъ (вѣчно, до смерти), за то единственно, что онъ вѣровалъ и мыслилъ по-мужицки, неприлично своему званію, несогласно съ тогдашними исправниками, губернаторами и С. И. Шешковскимъ, княземъ А. А. Вяземскимъ и императрицей Екатериной. По существу не напоминаетъ ли это дѣло священной тайной инквизиціи, о которой если не самъ Шешковскій, то князь Вяземскій и императрица отзывались, безъ сомнѣнія, не иначе, какъ съ благороднымъ негодованіемъ? И не есть ли случай съ Кравковымъ одна изъ самыхъ обыкновенныхъ исторій въ лѣтописяхъ всѣхъ прежнихъ и нынѣшнихъ полицейско-военныхъ государствъ, въ которыхъ тайная полиція не только разыскиваетъ и предупреждаетъ преступленія, но сама судить и наказываетъ людей, по ея мнѣнію, виновныхъ, обладаетъ безконтрольною властью, распоряжается огромными тайными суммами и заправляетъ внѣшнею и внутреннею политикою страны? Съ этой высшей точки зрѣнія, я боюсь, исторія бѣднаго Кравкова покажется русскому читателю самымъ незначащимъ анекдотомъ“... *).

Замѣчанія глубоко вѣрныя.

Такъ кончилась первая попытка „хожденія въ народъ человѣка легальнаго“. Но съ самимъ этимъ человѣкомъ еще не все было покончено.

XI.

Послѣдняя встрѣча.

Въ маѣ 1785 года, изъ кронштадтской гавани собирался выходить въ море фрегатъ „Витязь“, тотъ самый, который въ 1777 году мы видѣли крейсирующимъ въ Черномъ морѣ, между Кафою и Суджукъ-Кале. Но якорь почему-то не подымали. Матросики, наладивъ все къ отходу, стояли и бродили межъ снастями въ ожиданіи приказа капитана. Одинъ изъ нихъ стоялъ въ сторонѣ и, поглядывая за бортъ, на воду, тихонько про себя мурлыкалъ:

Течетъ рѣчка лозоньками,
Плачетъ дѣвка слезоньками.

*) „Памятн. новой русск. исторіи“, I, 47—48.

— Да зачѣмъ, братцы, дѣло стало?—интересуется одинъ матросикъ.

— А нечистый ево знаетъ,—должно, господа офицера съ кумушками прощаются.

— Эй, Маруська! слышишь, хохле!

А тотъ, къ кому относились, продолжалъ жалобно мурлыкать:

Не плачь, дѣвка, не журился,
Ще жъ я молодъ не женился.

— Эй, чортъ, Маруська! тебѣ говорятъ!

— А что?

— Чево мы стоимъ—не сымаемся?

— Охвицеръ говоритъ, ресторантовъ ждутъ.

— Куда жъ ихъ? Али въ морѣ топить?

— Нѣтъ, въ Ревель, Богу работать.

Дѣйствительно, на пристани показалась партія арестантовъ, конвоируемая солдатами. Тутъ были и старые, и молодые, и бритые, и съ бородами; у иныхъ были урѣзаны либо правое, либо лѣвое ухо; виднѣлись и такіе, у которыхъ были вырваны ноздри—это больше старики.

Скоро арестанты были доставлены на бортъ фрегата, и корабль, пользуясь попутнымъ вѣтеркомъ, вышелъ въ море.

Одинъ изъ арестантовъ, котораго сопровождали особо два солдата, обратилъ на себя вниманіе матросовъ. Въ лицѣ его, необыкновенно грустномъ и въ то же время чѣмъ-то оживленномъ, въ какой-то горькой улыбкѣ и въ выраженіи черныхъ, ясныхъ и задумчивыхъ глазъ было что-то особенное, чего не замѣчалось ни у одного изъ прочихъ арестантовъ. Матросы замѣтили, что онъ глядѣлъ куда-то далеко, туда дальше, гдѣ море сливается съ небомъ, а по впалымъ щекамъ его медленно катились слезы.

— Глянь-ко, Маруська, на тово вонъ съ бородой—видишь?

— Вижу... что плачетъ?

— Да, онъ самый.

— Что жъ? на кого не доведись: невольникъ.

— Да тебѣ развѣ повылазило?

— А что?

— Али не видишь, кто это!

— А Богъ ево знаетъ.

— Да это Евдокимъ Михайлычъ.

— Что ты! Кравковъ?

— Онъ и есть, что капитаномъ у насъ былъ.

— Ай, ай! съ нами святъ!—и точно онъ.

— Господи! вотъ диво-то! за что ево?

— А Богъ ево знаетъ... А какой добрый былъ человѣкъ.

Матросы нарочно подошли ближе къ таинственному арестанту, показывая видъ, что идутъ по дѣлу. Арестантъ взглянулъ на нихъ, и въ глазахъ его, сквозь застилавшія ихъ слезы, какъ бы что то затеплилось, точно радость.

— Здравствуй, Маруська! здорово, Гавриловъ!—произнесъ съ улыбкою арестантъ.

Матросы точно остолбенѣли. Кравковъ продолжалъ глядѣть на нихъ.

— Развѣ не узнаете Кравкова—капитана?

— Какъ не узнать, ваше высокородіе! Да какъ же это, Господи!

— Эй, проходи, служба!—загораживалъ собою Кравкова одинъ изъ конвойныхъ:—проходите, господа служба; разговаривать не приказано.

— Да мы Богъ знаетъ какъ! мы и не знаемъ что!

— Мы всей душой, вашескородіе!

— Бога за васъ молимъ дежно-ношно!

— Сказано, проходи! Капитану пожалуюсь!—горячился конвойный.

— Отойдите лучше, братцы,—тихо сказалъ Кравковъ:—онъ человѣкъ невольный—подъ присягой... Спасибо за то, что не забыли.

— Ахъ, вашескородіе! Евдокимъ Михайлычъ! да мы Богъ знаетъ какъ!

— Прходи! проходи!

Въ это время изъ офицерской каютъ-кампаніи вышли два офицера съ какою-то бумагою въ рукахъ. Это были списки арестантовъ, препровождавшихся на „Витязъ“, который долженъ былъ сдать ихъ въ Ревель коменданту крѣпости.

— Да неужели-жъ это онъ?—говорилъ, видимо волнуясь, бѣлокурый, лѣтъ подъ тридцать, офицеръ съ голубыми глазами.

— Конечно, онъ,—отвѣчалъ другой, темнолицый, смуглый, съ сѣрыми глазами.

— Удивительно! и за что это!

— Падѣло полагать, за масонство.

— Но вѣдь онъ не любилъ масоновъ.

Они подошли къ конвойнымъ.

— Гдѣ тутъ капитанъ-лейтенантъ Кравковъ?—спросилъ смуглый.

— Да здѣсь они, ваше благородіе,—весело отозвался тотъ матросикъ, котораго дразнили Маруськой.

— Вотъ они, вотъ Евдокимъ Михайлычъ!—подтверждалъ другой матросъ.

— Я здѣсь, господа!—съ дрожью въ голосѣ проговорилъ Кравковъ.

Они остановились въ изумленіи, пораженные... Его голосъ, его глаза, и лицо его, но не то, какимъ они его знавали прежде, живымъ, цвѣтущимъ, полнымъ энергіи... Да, это онъ—только въ какомъ видѣ, въ какой одеждѣ!..

— Здравствуйте, господинъ Павлюкъ! здравствуйте, Шастовъ!

— Да, это Кравковъ говоритъ. Это самъ онъ, не тѣнь его.

— Евдокимъ Михайловичъ! голубчикъ!

— Что съ вами, дорогой другъ!

— Какъ видите, я арестантъ,—отвѣчалъ Кравковъ, указывая на конвойныхъ.

— Но какъ! за что?

— За неподобную одежду.

— Ваше благородіе, извольте проходить;—опять заговорилъ конвойный.

— Что!—крикнулъ на него бѣлокурый Шастовъ.

— Разговаривать, ваше благородіе, не приказано.

— Молчать!—вотъ ты такъ не смѣй разговаривать!

— Я что, ваше высокородіе, мнѣ приказано—присяга...

— Молчать! я лучше тебя знаю службу.

И онъ бросился обнимать Кравкова: „голубчикъ! да какъ же это! гдѣ вы пропадали? какъ попали сюда, опять на „Витязя“—и въ такомъ... ахъ, Боже мой!..“

— Вотъ что лучше, господа,—взволнованнымъ голосомъ сказалъ другой офицеръ, Павлюкъ:—проведи ты, Саша, Евдокима Михайловича къ намъ въ каюту, а то здѣсь неловко... видишь!.. А я ужъ самъ провѣрю арестантовъ (онъ поправился), я самъ провѣрю людей по спискамъ и тотчасъ же приду къ вамъ,—сказалъ онъ, протягивая Кравкову обѣ руки.

Шастовъ и Кравковъ вошли въ офицерскую каюту. Все напоминало послѣднему его службу на этомъ фрегатѣ—каждая мачта, каждая снасть, паруса, и знакомыя, хотя постарѣвшія, лица матросовъ, и эта каюта, на оконномъ стеклѣ которой все еще видны были нацарапанныя алмазомъ изъ перстня слова: „прощай товарищъ“. Это когда-то нацарапалъ Кравковъ, въ день своего прощанья съ фрегатомъ и съ добрыми друзьями,

— Цѣла,—грустно улыбнулся онъ, показывая на надпись.

— Да, голубчикъ... А вы-то!

— А меня ужъ нѣтъ—стерся...

— Богъ съ вами!

— Да, стерся совсѣмъ, и окно мое разбито—разбита жизнь и душа...

— Ахъ, голубчикъ! да что же это! какъ?

И Шастовъ снова обнималъ своего стараго друга, бывшего начальника и товарища.

— Да скажите же, за какое это преступленіе?

— Говорю вамъ за ношеніе неподобнаго платья.

— Какого же, голубчикъ?

— Мужицкаго—мужицкой рубахи и бороды.

— Неужто за это?

— Главнымъ образомъ за это.

— Да какъ же все случилось? Расскажите все, что было съ вами съ того дня, какъ мы съ вами простились въ Херсонѣ.

— Слишкомъ много рассказывать да и тяжело, признаться.

— Нѣтъ, это облегчить вамъ душу, наше къ вамъ участіе, мы какъ родные...

— Да какъ вамъ сказать! Все это такъ просто, а, между тѣмъ, такъ ужасно... Въ Петербургѣ, воротясь изъ Херсона, я ничего не нашелъ, кромѣ оскорбленія.

— Какъ! Отъ кого?

— Отъ Чернышова... Меня выбросили какъ выѣденное яйцо... Но я спѣшилъ домой, меня тамъ ждала невѣста... Да только, вмѣсто невѣсты я нашелъ ея могилу да забытыя ею у меня на столѣ шляпу и перчатку..

— Ахъ, голубчикъ! вотъ горе-то!

— Да что объ этомъ! Если бъ умерла она — это бы еще ничего: Богъ далъ—Богъ и взялъ... А то ее заставили утопиться изъ-за меня.

— Господи! да кто же это!

— Отецъ... Что потомъ было—ну, да объ этомъ я могилѣ разскажу... А тамъ меня разорили—и меня, и душу мою ограбили.

— Кто же, голубчикъ!

— Да все люди, которымъ я вѣрилъ... Потомъ меня же осквернили: душу мою, что ограбили у меня, бросили подъ ноги животному... И все это властители и судія надѣлали. Вмѣсто людей, я нашелъ звѣрей, вышедшихъ изъ лѣсу и облекшихся въ шитые кафтаны.

— Понимаю... Видывалъ и я такихъ.

— Я бѣжалъ отъ нихъ, какъ Іоаннъ, въ пустыню и только тамъ нашелъ людей.

— Гдѣ же это, голубчикъ?

— Тамъ, куда звѣри въ шитыхъ кафтанахъ не заходятъ: я ушелъ къ гонимымъ, къ отверженнымъ—и тамъ нашелъ людей... Это простые люди, мужики—да душу-то свою они не промѣняли на шитые кафтаны... И я сбросилъ съ себя кафтанъ, надѣлъ ихъ рубаху, дѣлалъ ихъ дѣло, думалъ по-ихнему и нашелъ, что Руссо былъ правъ, совѣтуя человѣку одичать. Только я не успѣлъ одичать: я вышелъ изъ пустыни посмотрѣть, что дѣлаютъ звѣри въ кафтанахъ, и вотъ они меня загрызли... Удивительно только! Звѣрье всякое повышло изъ лѣсу, надѣло на себя шитые кафтаны да рясы, а людей позагнали въ лѣса...

Шастовъ, повидимому, многого не понималъ изъ того, что говорилъ Кравковъ, но онъ помнилъ, что у него и прежде была эта манера—говорить какъ-то иносказательно, полузагадками и сравненіями.

— И долго вы тамъ пробыли?—старался онъ выпытать у собесѣдника болѣе ясныя свѣдѣнія о его прошломъ.

— Въ скитахъ-то?

— Да... А вы развѣ въ скитахъ жили?

— Въ скитахъ въ Иргизскомъ кадетскомъ корпусѣ,—улыбнулся онъ:—только не въ шляхетскомъ, а въ мужичьемъ, въ сиволапомъ.

— Да за что же васъ собственно осудили?

— Ей-Богу не знаю: читали мнѣ длиннѣйшую резолюцію, изъ коей я ничего не понималъ,—не то я раскольникъ, не то сумасшедшій, не то одержимый фанатизмомъ.

— Такъ за это только?

— За это—за фанатизму, а фанатизма моя вся въ томъ и состоитъ, что я непохожъ на нихъ: не кусаюсь и не мучу никого именемъ Христовымъ, какъ они.

— И къ чему же васъ присудили?

— Къ заключенію до смерти.

— Господи! на вѣчное заточеніе.

— На вѣчное и одиночное... Позволили только похоронить меня, когда умру, по церковному чиноположенію, да позволили еще, съ разрѣшенія коменданта, сдѣлаться подобнымъ имъ звѣремъ, когда того пожелаю.

— Какъ это?

— Да когда я открою попу свое заблужденіе, а какое—я и самъ не знаю, и когда пожелаю присоединиться къ церкви.

— А развѣ вы отъ нея отrekliсь?

— Меня обвиняють въ этомъ за то, что я вѣрю только словамъ Христа, а не ихъ искаженіямъ этихъ словъ,—вотъ за Христа-то на меня и взѣлся Шешковскій... Вѣрь Вяземскому, а не Христу—это значитъ присоединиться къ церкви... Э! да что я объ этомъ говорю! Развѣ я первый? Обидно то, что я не послѣдній.

Дѣйствительно, онъ не былъ послѣднимъ. Ровно сто лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Еватерина II сказала великую истину, поставленную въ эпиграфъ этой повѣсти, что „въ шестьдесятъ лѣтъ исчезнуть всѣ расколы. если только заведутся и утвердятся народныя школы и если по отношенію къ раскольникамъ не будутъ употреблять насилія“, но расколы до сихъ поръ не исчезли. А почему? —На это я отвѣчать не рѣшаюсь, тѣмъ болѣе, что отвѣтъ тутъ ясенъ для всякаго, даже не учившагося въ семинаріи.

ТУЛЬСКІЙ КРЕЧЕТЪ.

ИСТОРИЧЕСКІЙ РАЗСКАЗЪ.

А чи диво ся, братіе, стару помолодити? Коли соколъ въ мытѣхъ бываетъ, птицъ възбиваетъ, не дастъ гнѣзда своего въ обиду.

Слово о полку игоревѣ.

I.

Такимъ лѣтнимъ вечеромъ, когда сумерки уже совсѣмъ спустились на землю, сверху по рѣкѣ Упѣ, мѣрно покачиваясь, плыла лодка. Тула, къ которой приближалась лодка, неясно вырѣзывалась на темной синевѣ неба то высокою, словно мачта, колокольнею, то неровными уступами крѣпостной стѣны, и огоньки, мигавшіе то тамъ, то сямъ въ отдаленіи, казались свѣтляками въ Иванову ночь. Слышенъ былъ иногда тихій плескъ воды отъ опускавшихся въ нее и подымавшихся веселъ...

— Да ты перестань, Воскря, веслами-то баловать: и такъ доплывемъ — рано еще...

— Кѣтъ, Поноша, мнѣ пора домой: къ завтраму, къ пріѣзду государыни, мой Кречетъ велѣлъ изготавить всеподданнѣйшій докладъ по одному несма деликатному дѣлу.

Успѣешь, ты вѣдь извѣстный на все намѣстничество строчила...

— Не слушайте, Воскря, Францеля Венеціана, пойте, а то скоро городъ, неловко будетъ, — послышался молодой женскій голосъ.

Ладно...

И здоровый мужской голосъ затянулъ протяжную, нѣсколько заунывную пѣсню.

Не было вѣтру, не было вѣтру — вдругъ нявя-ануло.

Не ждала гостей, не ждала гостей — вдругъ наѣ-ехали:

Полонъ дворъ, полонъ дворъ — вороны-ихъ коней...

Да, и къ намъ завтра гости нагрянутъ... Коней-то, коней-то что будетъ!

— Да, до шестисотъ лошадей на каждой станціи заготовили — не шутка это.

— Еще бы! подъ одной свитой государыни четырнадцать больших каретъ, да подъ дворцовой челядью со всѣми приспособленіями да уготовленіями сто двадцать шесть меньшихъ каретъ, фургоновъ, повозокъ и всякой иной околесины...

Полны горницы, полны горницы—моло-ды-ихъ гостей,
Полны свѣтлицы, полны свѣтлицы—красныхъ дѣвушекъ...

— А что народу, говорятъ, по всей дорогѣ нагнали! Иныхъ, говорятъ, версть за сто и больше отъ тракту сбивали, словно на барщину—дорогу ровнять.

— Да это что!—дорогу и мосты поправить всегда нелишнее. А то вотъ что выдумалъ нашъ Кречеть—свѣтлѣйшему Потемкину подражать: велѣлъ согнать народъ къ дорогѣ тысячами, да чтобъ всѣ были въ праздничномъ одѣяніи, въ красномъ да пестромъ, да чтобы „у всѣхъ на лицахъ изображено было неизрѣченное блаженство и нарочитое радостное умиленіе, со вѣрноподданически почтительною веселостію сопряженное“, какъ именно значится въ ордерахъ, что мы разослали по пути слѣдованія государыни...

— Ха-ха-ха! неизрѣченное блаженство при голодахъ-то!

— Вотъ смѣшно! почтительное веселіе сопряженное! смѣялся женскій голосокъ.

— Да, смѣйтесь, милыя государыни мои,—а мнѣ было не до смѣху, когда Кречеть-то приказывалъ мнѣ таковыя ордера строчить...

Подломилися, подломилися—сѣни но-овыя,

Съ частымъ-мелкими, съ частымъ-мелкими—переру-убами...

— Этого мало. Со всего намѣстничества мы велѣли согнать весь скотъ и лошадей къ почтовому тракту, чтобы когда будетъ ѣхать государыня, такъ видѣли бы по обѣимъ сторонамъ дороги пасущіяся стада скота и табуны лошадей и чтобы пастушки одѣты были по буколикѣ, эдакими, знаете, амурами да пейзажами и чтобы на свирѣляхъ нѣчто чувствительное наигрывали...

— Ха-ха-ха! какой вы, право, шутникъ!

— Да я вовсе не шучу, государыни мои: мы нарочито такъ распорядились.

— Что вы! можно ли это!

— У насъ все можно... Я третьегодни проѣзжалъ съ губернаторомъ осматривать этотъ путь для доклада намѣстнику, такъ диву дался: тѣ деревушки, у которыхъ, за неимѣніемъ корму, голодная скотина крыши соломенные съѣла—такъ теперь покрыты казенной соломой заново, избы подмазаны и выбѣлены, а иныя деревушки совсѣмъ снесены, которыя побѣднѣе...

— А какъ же мужики? Гдѣ они будутъ жить?

— Это ихъ дѣло... На мѣсто ихъ разрушенныхъ избушекъ Заборовской Иванъ Андреичъ, губернаторъ,—премилый баринъ!—наставилъ раз-

ныхъ разрисованныхъ декорацій съ гротами и нимфами—издали-то, дескать, примутъ за настоящее... Рай да и только!

— Гдѣ жъ вы набрали этихъ нарисованныхъ деревень съ нимфами?

— А напрокатъ взяли у тѣхъ губернаторовъ, у потемкинскихъ, гдѣ государыня уже проѣзжала и умилялась благосостояніемъ ея подданныхъ...

— Ахъ какой наглый обманъ!—протестовалъ свѣжій женскій голосокъ.

— Обманъ—точно-съ—и наглый, да что подѣлаете съ Кречетомъ-то, съ Михайлъ Никитичемъ? У него все напоказъ да напрокатъ взятое—даже честность... Я докладывалъ ему: не надо-де государыню обманывать—она-де, милостивая мать наша, — пожалѣетъ о бѣдности своего народа, войдетъ въ его положеніе... Такъ и слушать не хочетъ: съ ней-де ѣдутъ иностранные послы, такъ они-де острамятъ нашу матушку Россію на всю Европу...

Не плачь-но, не плачь-но—душа Марьюшка,
Я построю тебѣ, построю тебѣ—сѣни но-овыя...

Пѣсня замирала далеко въ сонномъ воздухѣ. Лодка почти не двигалась...

— Ахъ, какъ хорошо! Всегда бы тутъ стоять—всю ночь до зари,—задумчиво сказалъ другой женскій голосъ.

— Нѣтъ, я люблю больше утро, чѣмъ ночь,—отвѣчалъ тотъ голосъ, что пѣлъ:—когда просыпается природа, ахъ, какъ она тогда хороша!

— Точно просыпающаяся Аполлинарія Николаевна,—замѣтилъ тотъ, котораго окликали Поношей.

— А развѣ вы видѣли меня просыпающеюся, гадкій Поношка!—рѣзко отозвался женскій голосъ.

— А какъ-же съ! очень часто-съ...

— Ахъ, гадкій Поношка! Когда жъ это?

— Всякій разъ, когда вы играете со мной въ „Титовомъ милосердіи“ и когда является... (Молчаніе).

— Кто? Кто является?

— Онъ... (Опять молчаніе).

— Ахъ! говорите, гадкій Поношка, кто онъ?

— „Титъ“... „милостивый“...

— Ну, ужъ! вотъ еще!...

Лодка силою теченія все ближе и ближе подвигается къ городу. Въ темнотѣ рисуется едва замѣтный силуэтъ моста, перекинутого черезъ Упу. Городскіе огоньки блестятъ ярче, отражаясь въ водѣ. Явственнѣе доносится лай собакъ.

— А что еще пишетъ Храповицкій вашему Кречету изъ Крыма?

— Много интереснаго: въ восхищеніи отъ Крыма, Севастополя и отъ Бахчисарая... Государыня не нарадуется этому пріобрѣтенію и всю честь сего дѣла относитъ къ Потемкину, жаль, говоритъ императрица, что не тамъ построены Петербургъ... Всѣ-де завоеванія императора Петра на сѣверѣ не стоятъ одного Крыма.

— Да, оно и точно.

— Описываетъ еще триумфальныя ворота въ Перекопъ и въ Кременчугъ, на перекопскихъ написано золотомъ: предпослала страхъ и привнесла миръ; а на кременчугскихъ: возродительницѣ сихъ странъ.

— А если все это только декорация съ амурами?

— Что жъ! безъ амуровъ и трава не растетъ.

— Не цвѣтетъ, скажи... Такъ ли, Аполлинарія Николаевна?

— Я почему знаю...

Слышно было, какъ въ городскомъ саду, подъ крѣпостными стѣнами, трещалъ соловей...

— Вонъ и у него амуръ на умѣ... Ужъ какъ малъ, а все-жъ и его, какъ говоритъ Тредьяковскій—

...безпокоятъ Венеринъ амуръ—
Всякую голову мучить свой дуръ.

Лодка повернула къ берегу и пристала къ мосткамъ, сильно качнувшись. Дамы ахнули и ухватились за мужчинъ...

— То-то, за соломенку хватаетесь, Аполлинарія Николаевна...

— Какая соломенка! цѣлое бревно...

— Гдѣ ужъ намъ до тоненькаго „Тита“!

Изъ лодки вышли трое мужчинъ и двѣ дамы въ соломенныхъ шляпкахъ. Тотъ, котораго звали Францель Венеціаномъ и который рассказывалъ о приготовленіяхъ къ встрѣчѣ Екатерины, сталъ было прощаться.

— Ни-ни, милый человѣкъ, ни за что!—останавливалъ его тотъ, котораго звали Поношей.

— Нѣтъ, ей-же-Богу, у меня дѣло есть—этотъ всеподданнѣйшій докладъ,—отбивался Францель Венеціанъ.—Да и будетъ ужъ, погуляли: объѣдали, пили, катались, природою наслаждались...

— А ужинать? Нѣтъ, братъ Францель Венеціанъ, безъ ужина не отпущу.

— Да, да, оставайтесь, Семенъ Никифоровичъ,—настаивали и дамы:—безъ васъ будетъ скучно.

— Эхъ! была не была!—и Семенъ Никифоровичъ махнулъ рукой.

II.

На другой день, именно, въ день пріѣзда императрицы Екатерины II въ Тулу, 20-го іюня 1787 года, въ Семену Никифоровичу Веницееву—такъ звали катавшася на лодкѣ правителя канцеляріи тульского и калужскаго намѣстника Кречетникова,—рано утромъ прибѣжалъ дежурный чиновникъ и велѣлъ его разбудить.

Францель Венеціанъ—такъ звали Веницеева въ пріятельскомъ кружкѣ—съ трудомъ открылъ глаза: послѣ вчерашняго кутежа голова его вмѣщала въ себѣ невообразимый хаосъ, а лицо и глаза были красны. Онъ бессмысленно смотрѣлъ на посланнаго...

— Что тамъ случилось?—спрашивалъ онъ, хватаясь за голову:—ахъ, моя бѣдная башка!

— Да случится ничего, Семенъ Никифоровичъ, не случилось,—отвѣчалъ посланный:—только Михайло Никитичъ требуетъ васъ сію минуту.

— Ахъ, Боже мой! это всеподданнѣйшій докладъ ему нуженъ... Доложите, что сейчасъ принесу.

Чиновникъ ушелъ. Веницеевъ отчаянно махнулъ рукой.

— Ахъ, проклятое бражничанье! Что я теперь буду дѣлать! Вѣдь у меня и строчки нѣтъ готовой... Дѣло-то помню, да на бумагѣ ничего нѣтъ... Архицъ!

Въ комнату вошелъ небритый, сухой старикъ, стриженный нодъ гребенку, съ грязнымъ передникомъ и въ башмакахъ на босу ногу.

— Чего изволите, баринъ?

— Воды со льдомъ принеси въ сарай да побольше, — окачиваться буду.

— Слушаю-съ... Государыню встрѣчать изволите?

Веницеевъ съ нетерпѣніемъ махнулъ рукой и подошелъ къ зеркалу...

— Бражникъ, сушій бражникъ,—бормоталъ онъ.—Ахъ, проклятая гулянка! Ну, и-вертись теперь съ докладомъ, какъ вьюнъ на песокъ.

Менѣе чѣмъ черезъ часъ, съ лицомъ однако все еще краснымъ, но нѣсколько болѣе благообразнымъ, Веницеевъ былъ уже въ кабинетѣ Кречетникова. Этотъ сановникъ, причислявшій себя къ „орламъ изъ стан Екатерины“, въ самомъ дѣлѣ старался казаться орломъ и корчилъ изъ себя Потемкина: лицо его всегда силилось „внушать“, и потому отдавало деревянностью и надутостью... Языкъ, особенно съ подчиненнымъ, былъ отрывистъ, кочковать, голосъ грубый, словно лаянье большой собаки...

— Готовъ докладъ?

— Готовъ-съ, ваше превосходительство.

— Ну, такъ читайте!

Веницеевъ неторопливо полѣзъ въ портфель, вынулъ нѣсколько папокъ съ бумагами, положилъ на столикъ у окна, взялъ бѣлые, неисписанные листы, и, закрывшись ими, сталъ медленно и внятно читать изложеніе „деликатнаго дѣла“. Кречетниковъ, ходя по кабинету съ заложенными за спину руками, слушалъ его и иногда взглядывалъ въ большое зеркало, стараясь сдѣлать то внушительное, то очаровательное лицо, не замѣчая, что оно при этомъ дѣлалось совсѣмъ глупымъ... По временамъ онъ взглядывалъ въ окно и прислушивался къ шуму голосовъ на улицѣ, по которой съ зари сновалъ народъ... Веницеевъ все болѣе и болѣе входилъ въ роль, конецъ доклада вышелъ особенно звучнымъ, точно ломоносовская ода...

— Прекрасно, прекрасно! — соблаговолилъ Кречетниковъ похвалить чтеца, когда онъ кончилъ.

Веницеевъ поклонился и сунулъ бумагу въ папку.

— Теперь только подписать, подайте сюда...

Веницеевъ замялся и схватилъ папку подъ мышку.

— Подайте-же, я подпишу,—настаивалъ Кречетниковъ:—у меня сегодня пропасть дѣлъ.

Веницеевъ сразу припомнилъ и вчерашнее катанье по Упѣ, и эту проклятую пѣсню—„не было вѣтру—вдругъ навянуло“, и ночную пирушку съ актрисами... „Не было горя—вдругъ навянуло“, ныло у него въ тяжелой, недоспанной головѣ... „навянуло!“...

— Ну, что же!

— Виновать, ваше превосходительство... Я читалъ то, что еще... не написано...

— Не написано!

— Виновать... вотъ здѣсь...

Кречетниковъ схватилъ бумагу:—на ней не было ни слова...

— Какъ, вы осмѣлились не исполнить моего приказанія!... Императрица будетъ въ Тулу непременно къ обѣду, а я не представляю ей этого доклада... Вы, сударь...

Кречетниковъ задыхался... Веницеевъ ждалъ, когда пройдетъ первая вспышка...

— Вы, вы, сударь... Вы не исполняете вашихъ прямыхъ обязанностей, невнимательны къ моимъ приказаніямъ!...

Веницеевъ молчалъ, глядя на бѣлые листы бумаги.. — „Навянуло“... ахъ, чортъ, вотъ исторія...

— Императрица сама изволить интересоваться этимъ дѣломъ, а вы меня подводите...

Кречетниковъ снова зашагалъ по кабинету и нечаянно увидалъ свое лицо въ зеркалѣ: оно было непривлекательно... совсѣмъ невнушительное и не-очаровательное...

Веницеевъ поймалъ моментъ...

— Прошу одного снисхожденія: позвольте мнѣ выполнить вчерашнее приказаніе въ присутствіи вашего превосходительства,—заговорилъ онъ.

— Поздно, сударь, поздно... Вы все бразничаєте!

— Осмѣливаюсь увѣрить, ваше превосходительство...

Кречетниковъ быстро повернулся къ Веницееву...

— Меня не въ чемъ увѣрять, когда я знаю, что вы всю ночь не были дома,—вы находились въ кругу вашихъ пріятелей, весьма подозрительной нравственности...

„Вотъ тебѣ и на!.. Не было вѣтру—вдругъ навянуло... Ахъ, Поношка.. Поношка, ну, и задамъ же я тебѣ, ракаля“... Онъ молчалъ, понутивъ голову... „Пронеси, Господи“...

— Что-жъ теперь намъ дѣлать, сударь? а?

— Еще успѣемъ-съ...

— Это невозможно!—Кречетниковъ глянулъ на часы.

— Честью ручаюсь, что все будетъ готово.

— Хорошо, садитесь здѣсь и работайте, а я пойду: у меня просители, у меня голова кругомъ идетъ...

Онъ принялъ торжественную осанку и какъ пѣтухъ зашагалъ на встрѣчу куръ...

— „У тебя кругомъ идетъ, а у меня вверхъ ногами,—бормоталъ про себя Веницеевъ, усаживаясь за столъ и нагибаясь къ бумагамъ: — помоги мнѣ, памятушечка моя, ты всегда меня выручала!...

„Не было вѣтру, не было вѣтру—вдругъ навянуло“...

— Ахъ, отвяжись ты, проклятая!—невольно вымолвилъ онъ вслухъ.

Веницеевъ писалъ, не подымая головы. Изрѣдка только онъ перелистывалъ лежавшее передъ нимъ дѣло, задумывался, грызъ перо, теръ переносицу, какъ бы въ ней ища вдохновенія, и снова писалъ. Привычная рука не дрожала... Перо скрипѣло ровно, энергически выводя круглыя буквы съ завитушками...

„А Поля-то прелесть... услада сердечная... Что это онъ вралъ о „Титовомъ милосердіи“, невольно вспомнилось ему, когда онъ передохнулъ: „говорятъ, императрица охотно слушаетъ сію пьесу“...

„Не было вѣтру, не было вѣтру“...

— Тьфу ты, дьяволъ!

И перо опять заскрипѣло... Бѣлые листы исписывались и сохли въ сторонѣ...

— Безъ песку... она, говорятъ, не любитъ, чтобъ пескомъ засыпали... Надо на „матернее милосердіе“ напирать... А то „Тить“—ишь ты, раваля, только Полю смущаетъ... Да, да, „матернее милосердіе“, „матернее око“, „матернее сердце“—это хорошо...

Опять перелистыванье дѣла, треніе переносицы и скрипъ пера...

— Го-го-го-го! мотрите-тко, какое есть! сажонное! — доносилось съ улицы рокотанье толпы:—Екатерина, значить,—съ естемъ золотымъ пишется...

— Фивись! важно!—откинулся на стулъ Веницеевъ:—вотъ и кончено...

„Не плачь-но, не плачь-но, душа Марьюшка“...

— Вотъ навязалась!.... А увижу ли близко самое государыню и этого, любимчика, Мамонова?... „Бражничаютъ“... гм... и какъ онъ пронюхалъ?...

Въ кабинетъ вошелъ Кречетниковъ.

— Готово?

— Готово-съ, ваше превосходительство, только сшить, — вскочилъ Веницеевъ.

— Подайте, я самъ прочту.

Кречетниковъ уже боялся быть обманутымъ второй разъ. Веницеевъ подалъ ему написанное и ждалъ, съ скрытой улыбкой поглядывая на своего начальника...

На улицѣ становилось все шумнѣе.

Кречетниковъ долго и внимательно читалъ...

— Такъ, такъ... стиль хорошъ... и матернее око—это на мѣстѣ...

Записка прочитана наконецъ...

„А около естя, гляди-тко, голеньки робятки“,—доносилось съ улицы.—
„Это аньделочки—съ крылышками“...—„Какіе аньделочки! амуры-ста!“—
„Что ты врешь!..“

— Прекрасно! Теперь только я васъ прощаю,—выронилъ слово громовержецъ, подписывая докладъ.—Будеть чѣмъ императрицу встрѣтить—она уже на пути къ намъ...

III.

Екатерина дѣйствительно находилась уже „на пути царственнаго шествія“ въ Тулу...

Что это было за шествіе!...

Извѣстно, что императрица выѣхала изъ Петербурга для обозрѣнія, какъ выражалась сама, „своего маленькаго хозяйства“ еще зимой, въ январѣ 1787 года. Современные „хвалители Семирамиды сѣвера“ такъ описывали это „шествіе“: „Начало года,—вѣщаетъ историкъ Сумароковъ,—представить намъ событіе великолѣпнѣйшее, достопамятное въ эпохахъ міра!... Екатерина предпринимаетъ обозрѣть новое свое царство Тавриду, и цари послѣшаютъ во срѣтеніе ей!... Шествіе слѣдовало на 14 большихъ каретахъ и на 126 саняхъ. Они занимали собою въ дорогѣ болѣе версты. Поселяне смотрѣли на то съ изумленіемъ. Порядокъ и довольство, соблюдаемые при дворѣ, сохранялись съ точностію и въ пути. Передовые гофъ-фурьеры приготовляли въ назначенныхъ мѣстахъ трапезы, ночлеги. Императрица, по обыкновенію, пробуждалась въ 6 часовъ и занималась дѣлами. Останавливались для обѣдовъ въ 2. По вечерамъ, послѣ разговоровъ и игры въ бостонъ, расходились въ 9 часовъ. Лишь перемѣнные чертоги напоминали о разлукѣ съ Петербургомъ. Какое пріятное общество изъ просвѣщенныхъ людей! Какая свобода, простота!... Сколько разныхъ анекдотовъ!... Иностранные министры сидѣли съ императрицею поочередно. Тогда продолжались жестокіе морозы, доходившіе до 17 градусовъ, и шествующіе кутались въ соболяхъ, попирали ногами богатые ковры... Повсюду встрѣчи отъ намѣстниковъ, губернаторовъ, дворянства, купечества! Повсюду колокольные звоны! Ночью горѣли на улицахъ костры дровъ... Престолюдины сбѣгались къ окнамъ своей повелительницы: она запретила отгонять ихъ и, показываясь, удовлетворяла любопытству“...

Это ли не „событіе, великолѣпнѣйшее, достопамятное въ эпохахъ міра“...

Другой „хвалитель“, французскій посолъ, графъ Сегюръ, лично слѣдовавшій въ этомъ „шествіи“, гласитъ: „Наши кареты на высокихъ полозьяхъ какъ будто летѣли... Въ это время—во время самыхъ короткихъ дней въ году, солнце вставало поздно, и черезъ шесть или семь часовъ наступала уже темная ночь. Но для разсѣянія этого мрака восточная роскошь доставила намъ освѣщеніе; на небольшихъ разстояніяхъ, по обѣимъ сторонамъ дороги, горѣли огромные костры изъ сваленныхъ въ кучу сосенъ, елей, березъ, такъ что мы ѣхали между огней, которые свѣтили

ярче дневныхъ лучей. Такъ величавая властительница сѣвера среди ночного мрака изрекла свое: „да будетъ свѣтъ“!.. Можно себѣ представить, какое необычайное явленіе представляла на этомъ свѣжномъ морѣ дорога, освѣщенная множествомъ огней, и величественный поѣздъ царицы сѣвера со всѣмъ блескомъ самаго великолѣпнаго двора“...

Нѣтъ, мы себѣ этого представить не можемъ... Гдѣ намъ!

Мы можемъ представить себѣ только „явленіе обычайное“, не „царей свѣщающихъ во срътеніе царицѣ“, а „поселянъ“, „простолюдиновъ“, согнанныхъ къ дорогѣ съ строжайшимъ наказомъ, чтобы „у всѣхъ на лицахъ изображено было неизреченное блаженство, съ почтительною веселостію сопряженное“...

Съ самаго ранняго утра Заборовскій вихремъ носился по дорогѣ, окруженный капитанъ-исправниками и другими, высшими и низшими чинами полиціи. Сколько челюстей было выбито въ это достопамятное утро, сколько окулъ сворочено на сторону, сколько спинъ отодрано за то, что на голодныхъ и измученныхъ лицахъ недостаточно изображалось „неизреченное блаженство“ или же оно недостаточно „сопрягалось съ почтительною веселостію“!...

У одной группы мужиковъ и бабъ, пригнанныхъ къ дорогѣ изъ самаго дальняго угла тульского уѣзда, Заборовскій замѣтилъ блѣдную, съ отекившимъ лицомъ бабу, которая вынимала изъ сумки какіе-то, какъ показалось Заборовакому, комья грязи и раздавала по кусочку этой невообразимой черноты плачущимъ дѣтямъ.

Что это у тебя, бабка?—подскакалъ онъ къ группѣ.

Растерявшаяся баба изумленно смотрѣла на него. Мужики посмывали шляпы и шапки.

— Какіе это у тебя комья грязи?—допытывался губернаторъ.

— Хлѣбецъ святой, батюшка, — отвѣчала догадавшаяся баба.

— Хлѣбъ! такой хлѣбъ!

— Такой, кормилецъ... Да и такова, родимый, ужъ нѣту-ти...

Заборовскій всплылъ и накинудся на всю группу.

— Лѣнтяи! Пьяницы! Весь хлѣбъ на зиму пропили!.. Если я еще у кого увижу тутъ кусокъ такой грязи, на мѣстѣ заporю! въ Сибирь сошлю! помните это!

У другой группы онъ увидѣлъ мужика въ лохмотьяхъ: старикъ-мужичекъ, опираясь на клюку, казалось, съ „неизреченнымъ блаженствомъ“ смотрѣлъ за господъ, блиставшихъ золотомъ и мишурой... Въ самомъ дѣлѣ, онъ первый разъ въ жизни видѣлъ такой блескъ, какого доселѣ не видалъ ни на полахъ въ ризахъ, ни на образахъ въ своей бѣдной сельской церкви, и искренно радовался, что хоть „передъ смертушкой“ Богъ сподобилъ видѣть его „экое—ахъ!“

Ты какъ попалъ сюда, оборванецъ!—осадилъ своего коня Заборовскій какъ разъ передъ носомъ зазѣвавшагося старика въ лохмотьяхъ.

— Ахъ, золотой мой! въ экихъ ризахъ, батюшка!—съ умиленіемъ бор-

моталъ старикъ, уставившись очарованными глазами на блиставшаго златомъ губернатора.

— Какъ ты смѣлъ сюда явиться!—съ большимъ гнѣвомъ закричалъ Заборовскій.

— Пришелъ, золотой мой, матушку нашу кормилицу посмотрѣть—помолиться на ейный образъ...

— Въ такихъ-то лохмотьяхъ, пьяница!

— Такъ-ту, золотой мой, ничево-ничевошутки—я такъ и въ церкву хожу, къ самому Боженъкѣ...

— Да вамъ приказано было одѣться чисто, по праздничному—намъ Богъ великій праздникъ посылаетъ: всепресвѣтлѣйшую императрицу встрѣчаемъ, а вы, каналы!...

— Ахъ, золотой мой: у меня нѣтутъ ничевошутки праздничново—это и праздничное.

И старикъ добродушно встряхнулъ своимъ лохмотьями и улыбался безъ всякой горечи...

— Такъ вонъ отсюда! дальше отъ дороги!.. А увижу—закатаю!

Въ третьемъ мѣстѣ онъ дѣйствительно „закаталъ“ „пастушка“, который отлучился „до вѣтру“ отъ пригнаннаго къ дорогѣ стада...

Недаромъ, въ „Дневникѣ“ Храповицкаго черезъ нѣсколько дней послѣ этого записано: „Надежда на Заборовскаго въ хорошемъ управленіи губерніями, ему порученными: въ немъ замѣчена твердость“...

Въ то время, когда Заборовскій сѣкъ „пастушка“, вдали, разставленные вдоль дороги конные махальщики, замахали, — и все оцѣпенѣло въ ожиданіи...

IV.

Въ „Дневникѣ“ Храповицкаго подъ 20-мъ іюня этого года записано: „Пріѣхали къ обѣду въ Тулу“.

Мое перо не въ силахъ изобразить всю прелесть и торжественность царственнаго вшествія въ этотъ городъ, съ такимъ искусствомъ устроеннаго Кречетниковымъ и Заборовскимъ, и еще менѣе перо мое въ состояніи будетъ изобразить чувства, одушевлявшія собравшихся изъ сосѣднихъ уѣздовъ и губерній россіянь. Мы предоставимъ описаніе это очевидцу, слова котораго воспроизведены въ 1842 году „Москвитяниномъ“:

„Еще за нѣсколько дней до прибытія великой государины,—говоритъ почтенный очевидецъ,—множество дворянъ и даже простолюдиновъ пріѣхали и пришли къ намъ изъ Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Калужской губерній, чтобы видѣть ее, поклониться ей и, если можно, сказать: „Матушка! мы твои вѣрные подданные, любимъ, обожаемъ тебя и благословляемъ судьбу, благодаримъ Бога, что мы русскіе“...

„Съ самой зари того незабвеннаго дня, въ который ожидали высочай-

шаго прибытія, все уже поднялось на ноги, всё, какъ говорится, разряженные въ пухъ, спѣшили на Кіевскую улицу, чтобы занять лучшее мѣсто. Рогатки, брошенныя поперекъ переулковъ, упирающихся въ Кіевскую улицу, прервали сообщеніе. Канаты протягивались отъ крѣпости до триумфальныхъ воротъ, сооруженныхъ по этому случаю, и ѣзда по ней совершенно прекратилась. Однѣ колонны гражданъ торопливо шли за городъ, другія въ поле; но вся масса народа двигалась и стояла по Кіевской улицѣ. Многіе помѣстидись на кровляхъ домовъ, у открытыхъ окошекъ которыхъ чинно и жеманно сидѣла тульская аристократія и дамы средняго состоянія. И всё говорили объ одномъ предметѣ, и всё одушевлялись одною мыслию, однимъ желаніемъ скорѣе увидѣть матушку-царицу. Да, съ позволенія вашего, понимаете ли вы это слово: „Матушка!“ Не думаю! Надобно жить нашимъ умомъ, нашими чувствами и въ наше время, чтобы вполне понять всю его силу и значеніе. Вѣдь его не выразить никакія сладкія слова, не объяснить никакой академическій лексиконъ: это языкъ нашего народа, какъ цѣлой націи великой имперіи, которой подсказало его сердце и звуки русскаго слова выразили: мать отечества!.. Посмотрѣли бы вы тогда на этотъ веселый народъ, послушали бы вы его радостнаго говору!.. Не ищите народности въ книгахъ—она живетъ въ толпѣ простолюдиновъ. Трудно ее схватить: она почти неуловима“...

„Въ восемь часовъ утра намѣстникъ нашъ, Михаилъ Никитичъ Кречетниковъ, проѣхалъ верхомъ по Кіевской улицѣ загородъ, отдавая на пути приказанія его окружающимъ. Какъ теперь помню, день былъ прекрасный. Уже солнце подходило къ полдню, а матушки все еще не было. Да скоро ли ты, наша родная, къ намъ пожалуешь, говорили многіе, и всё смотрѣли туда, отколь ожидали ненаглядную... И вотъ въ исходѣ перваго часа громъ артиллеріи, бѣглый оружейный огонь, звонъ колоколовъ и отдаленное ура раздались и потрясли воздухъ. Сладостныя, блаженныя минуты! Вы памяты намъ, сторожиламъ. Наконецъ, какъ бы пришедъ въ себя отъ упорительнаго самозабвенія, сказали другъ другу: „Матушка ѣдетъ! матушка ѣдетъ!“ и парадная карета, вся въ золотѣ, съ короною на имперіалѣ, съ восьмью опущенными стеклами, въ которой сидѣла императрица, быстро вѣхала въ городъ и помчалась внизъ къ крѣпости. Намѣстникъ и губернаторъ, оба верхами, скакали первый по лѣвую, а второй по правую сторону кареты. Кромѣ военныхъ генераловъ и штабъ-офицеровъ, цѣлый эскадронъ драгуновъ съ обнаженными палашами конвоировали великую. Вслѣдъ за ней тянулись вереницею придворные экипажи, мы потеряли имъ счетъ—такъ много было ихъ въ этомъ блестящемъ и великолѣпномъ поѣздѣ. Августѣйшая путешественница съ милостивыми взглядами, съ очаровательною улыбкой изволила раскланиваться на обѣ стороны торжествующему народу, оглашавшему воздухъ радостными кликами. Императрица остановилась во дворцѣ, находившемся на оружейномъ заводѣ—тамъ, гдѣ нынѣ воздвигнуто громадное зданіе, извѣстное подъ именемъ паровой машины. Волны народа хлынули на дворцовую площадь.

Оба берега Упы и оба моста, перекинутые чрезъ эту рѣку, амбразуры на крѣпости, обращенной къ заводу, унижены были любопытными...

„Между тѣмъ, какъ множество красивыхъ лодокъ скользило по Упѣ и все находилось въ дѣятельномъ движеніи, матушка царица благоволила подойти въ открытому окну и привѣтствовала народъ поклономъ. Народъ, увидѣвъ саамодержавную, вмѣсто отвѣта, грянулъ свое любимое: ура! Но стоявшіе позади государыни графъ Иванъ Григорьевичъ Чернышовъ и оберъ-камергеръ Шуваловъ дали знакъ рукою, и все замолкло. Великая вторично поклонилась и довольно громко сказала: „Здравствуйте, дѣти!“ Тогда восклицаніямъ не было конца, многіе упали на колѣни, и у каждого прошибла горячая слеза на глазахъ“...

„О, если бы можно было ювелиру оправить въ золото эту крупную, горячую слезу народную, какъ оправляютъ они дорогіе камни,—она была бы для насъ драгоцѣннѣе брилліанта!“...

„Въ вечеру того же дня государыня была въ театрѣ, находившемся на площади, гдѣ теперь построенъ экзерцицъ-гаузъ. Общее желаніе публики требовало: „Титова милосердія“. Но по высочайшей волѣ отмѣнили эту трагедію, а дали „Хвастуна“, сочиненнаго Княженинымъ. Тогда „Хвастунъ“ былъ въ почетѣ: рѣдкіе не знали изъ этой комедіи хоть нѣсколько стиховъ. Спектакль шелъ превосходно. Государыня изъясляла удовольствіе свое, аплодировавъ актерамъ, изъ которыхъ двухъ тогда же приказано было отправить на казенный счетъ въ Петербургъ. Нашъ Пономаревъ (это знакомый уже намъ „Поноша“, что вчера вмѣстѣ съ Веницеевымъ, „Воскрею“ и двумя дамами-актрисами катались на лодкѣ по Упѣ, пѣли, а потомъ всю ночь прокутили у „Поноши“ на именинахъ) — Пономаревъ сдѣлался извѣстнымъ въ послѣдствіи. Заборовскій поднесъ Екатеринѣ Великой оду, сочиненную на ея прибытіе г. Воскресенскимъ (это „Воскря“-то, что вчера пѣлъ „не было вѣтру—вдругъ навянуло“), студентомъ московскаго университета, уже служившимъ въ приказѣ общественнаго призрѣнія. Воскресенскому прислали приличный подарокъ и, сверхъ того, ему приказано было сказать, что его стихотвореніе „очень хорошо“...

Когда императрица поѣхала изъ театра, блистательная иллюминація уже освѣщала весь городъ. Огромная прозрачная картина съ ея вензелевымъ именемъ (это картина, какъ толковалось на улицѣ, „съ естемъ золотымъ“) и эмблематическими изображеніями во вкусѣ того времени (это — „анделочки голеньки“) поставлена была напротивъ дворца, по ту сторону Упы. Къ каждому боку этой великолѣпной картины примыкали два ряда высокихъ пирамидъ, обнизанныхъ тысячами шкаликовъ. Дворецъ, соборъ, оружейный заводъ и крѣпость казались облитыми яркимъ, ослѣпительнымъ огнемъ. По рѣкѣ плавала большая шлюпка, украшенная разноцвѣтными фонарями, въ которой находились пѣсенники. Два оркестра военной музыки, помѣщенные на платформахъ, попеременно играли лучшія пьесы знаменитыхъ композиторовъ. Вездѣ волновался народъ, веселый, радостный, счастливый — словомъ, каждый изъ насъ забылъ собственное горе и заботы, сопряженные

съ хлопотливостью, забылъ и вражду, все, все забылъ, кромѣ одной отрадной мысли, что мы завтра увидимъ нашу самодержавную, нашу добрую, привѣтливую государыню, нашу матушку-царицу. Умники говорятъ, что на землѣ нѣтъ блаженства—пустое! Будьте вѣрными подданными, исполняйте совѣстливо и честно ваши обязанности, и вы согласитесь со мною, что и на землѣ можно еще получить радости небесныя“...

Дѣйствительно, гдѣ „умникамъ“ понять это! Да „умники“ и не съумѣли бы изобразить все такъ, какъ это сейчасъ изображено—куда имъ...

V.

Тѣмъ же вечеромъ, скорѣе ночью, послѣ театра, далеко за полночь уже, у Веницеева собрались его пріятели, которыхъ онъ созвалъ, какъ выражался самъ, „для вспрыснутія монаршей милости“. Что это была за „милость“—пока еще никто изъ друзей Веницеева не зналъ. На „вспрыснутіе“ явились Поноша, закадычный другъ Веницеева, который былъ большой любитель театра и поэзіи, другой актеръ, который всегда игралъ императора Тита въ „Титовомъ милосердіи“ и котораго за это и прозвали „Титомъ милостивымъ“, знакомыя уже намъ дамочки-актрисы, Аполлинарія Николаевна и Наташа Дикова, и, наконецъ, Воскресенскій-Воскрѣ. Все это была та же компанія, которая наканунѣ пріѣзда Екатерины въ Тулу каталась на лодкѣ вверхъ по Упѣ, къ нимъ присоединился небывшій тогда и „Титъ милостивый“.

Веницеевъ былъ въ наилучшемъ расположеніи духа, да и гости были веселы и одушевлены, исключая Аполлинарія Николаевны, которая смотрѣла задумчиво и грустно.

Гости собрались въ кабинетъ хозяина, въ просторной комнатѣ, удобно меблированной и незаваленной ни книгами, ни бумагами, а только украшенной нѣсколькими картинами буколическаго содержанія. У дверей стоялъ все тотъ же небритый Архипъ, но только въ башмакахъ уже не на босу ногу.

— Подавай прежде змѣю шипучую, а потомъ закуску, а потомъ опять змѣю,—скомандовалъ хозяинъ.

Архипъ исчезъ и тотчасъ же явился назадъ съ подносомъ и „змѣею“ въ засмоленной бутылкѣ и поставилъ все это на столъ.

— Да ты прежде, Францель Венеціанъ, скажи, какая тебѣ „милость“ вышла,—сказалъ Пономаревъ.

— А ты, Поноша, скажи „покажи“ а не „скажи“,—весело перебилъ его хозяинъ.

— Ну, „покажи“—посмотримъ.

Хозяинъ досталъ изъ стола маленькую шкатулочку и поставилъ на столъ.

— Открой—лаконически сказалъ онъ.

— А если тамъ мышъ?—отстранился Пономаревъ...—Я мышей боюсь.

— Не мышъ.

— А если это Пандоринъ ящичекъ?—замѣтилъ Воскресенскій.

— Не Пандоринъ, а мой.

Воскресенскій приподнялъ крышку.

— Золотая табакерка!

— Вынь!

Онъ вынулъ.

— Батюшки, какая тяжелая! чуть не уронилъ...

— Ахъ какая прелесть!—ахнула Наташа Дикова.

— Открой, понюхай!—командовалъ хозяинъ.

Воскресенскій открылъ табакерку.

— Батюшки! червонищи!

— Поздравляемъ! поздравляемъ!—заговорили всѣ, протягивая хозяину руки.—За что это?

— Архипъ! выпусти змѣю!

Архипъ сталъ откупоривать бутылку.

— Расскажи же, за что, Француска?—спросилъ Пономаревъ.

— А вотъ слушайте. Воротившись отъ тебя съ пирушки далеко за полночь, я не помню какъ добрелъ до постели...

— Я васъ довелъ, баринъ, вмѣшался Архипъ, возясь съ бутылкой.—Вы все еще изволили говорить сами съ собой: „имѣю счастіе всеподданнѣйше доложить“...

— Такъ-такъ! Это я спяну-то сочинялъ докладъ государынѣ, что мнѣ Кречетъ приказалъ изготовить къ утру... Воображаю, что молоть...

Пробка хлопнула и ударилась объ потолокъ.

— Ахъ!—вскрикнула Наташа Дикова.

— Ничего - съ, сударыня, это несмертельно... Въ бокалы змѣю!—распоряжался хозяинъ.—Ну-съ, государи мои, умеръ я, лежу въ гробу у Морфея,—вдругъ меня будятъ: къ намѣстнику-де докладъ подавай...—А у меня въ головѣ адъ кромѣшный и скрежетъ зубовъ—пожаръ въ головѣ... „Заливай, говорю, Архипъ, пожаръ!“—Залили маленько... Являюсь къ Кречету, словно куръ изъ шей.—„Что всеподданнѣйшій докладъ?“ рычитъ левъ.—Готово-съ, говорю... Вынимаю бумагу, а на бумагѣ пустыня аравійская—хоть бы буква... Напрягаюсь, читаю словно пономарь, и „матерное милосердіе“ тутъ и все эдакое...—„Прекрасно!“ рычитъ: „давайте подпишу!“—Туда сюда...—„Давай!“ рычитъ...—„Нечего, говорю, дать: пустыня аравійская“... Ну, и пошла писать...

Вдругъ всѣ расхохотались. Хозяинъ оглянулся, и самъ, что называется, покотился со смѣху.

Подлѣ стола, опершись одною рукою на столъ, а другою заложивъ за жилетъ, стоялъ Пономаревъ „въ позѣ высококомѣрія“. Всѣ узнали въ этой позѣ Кречетникова: такъ хорошо Пономаревъ его передразнивалъ...

Такъ вы, сударь, осмѣлились не исполнить мое приказаніе!

— Виновать, ваше высокопревосходительство.

Пономаревъ сдѣлалъ видъ, что Кречетниковъ, польщенный „высокопревосходительствомъ“, дѣлаетъ еще болѣе глупое лицо, но смягчается.

— Ну такъ вотъ-съ, ваше высокопревосходительство, я и сѣлъ тамъ же строчить—и настрочилъ... А когда пріѣхала государыня, то черезъ часа два ко мнѣ въ канцелярію влетаетъ самъ Заборовскій... „Великая государыня, говоритъ, васъ требуетъ“... У меня признаюсь, душа дальше пятокъ ушла... Иду ни живъ, ни мертвъ... Принимаютъ милостиво, съ очаровательною, ангельскою улыбкою... А тутъ кругомъ кладбище да небеса: кресты да звѣзды да косы, боги олимпійскіе, а не люди... Слышу ангельскій гласъ—это сама изволить говорить: „Вашъ докладъ я прочитала съ особеннымъ удовольствіемъ. Охраняйте Михайла Никитича: онъ человѣкъ военный и легко можетъ ошибиться въ дѣлахъ гражданскихъ“... Да мнѣ вотъ сію сокровищницу, скинію завѣта (онъ указалъ на золотую табакерку)—въ ланы мои скверныя и вложила... Я—бацъ на полъ, въ ножкамъ ангельскимъ—да и ну ревѣть кабаномъ... Такъ меня самъ Кречетъ изволили любезно вывести...

— Браво!—закричалъ Пономаревъ:—урра!

— Урра!—подхватили гости, а дамы хлопали въ ладоши.

— Теперь берите змія за хвостъ—разомъ, государыни мои и государи!—воскликнулъ хозяинъ.

Всѣ взяли по бокалу. Хозяинъ поднялъ свой надъ головою, а другой рукой приглашалъ гостей къ вниманію.

— За драгоцѣнное здравіе мудрѣйшей изъ царей земныхъ и царицъ—матери отечества.

— Урра! ура!

Когда было выпито за здоровье императрицы и гости сѣли, Воскресенскій всталъ и поднялъ руку.

Смотрите, господа—что это!—громко сказалъ онъ, выставляя указательный палецъ.

На пальцѣ блеснуло что-то иридіевыми блестками.

— Что такое! что? покажи, Воскръ!

На пальцѣ оказался золотой перстень съ брилліантомъ.

— Откуда это?

— Государыня пожаловала за поднесенную ей оду...

— Твою?

— Мою.

— Ахъ тихоня! Когда-жъ ты поднесъ ее?

— Не я поднесъ, а губернаторъ... И мнѣ изволили прислать сіе благополучіе и повелѣли сказать, что стихотвореніе мое „очень хорошо“...

— Каковъ тихоша! Недаромъ онъ вчера все пѣлъ:—„Не было вѣтру—вдругъ навянуло“... И точно вдругъ на всѣхъ „навянуло“... На нее, на матушку нашу, мало молиться...

Всѣ разсматривали перстень, хвалили. Одна Аполлинарія Николаевна сидѣла грустная и молчаливая.

— Вы что такая скучная, богиня моя?—ласково спросилъ ее хозяинъ.

— У насъ горе,—отвѣчалъ, вмѣсто нея, Пономаревъ. Аполлинарія Николаевна вспыхнула.

— Какое у насъ горе, богинюшка?—настаивалъ хозяинъ.

— Большое,—снова отвѣчалъ Пономаревъ:—ужъ намъ (онъ сдѣлалъ удареніе на словѣ „намъ“) не придется больше вмѣстѣ съ милою богинюшкою играть „Титово милосердіе“.

— Почему же?

— Да и на насъ съ „Титомъ милостивымъ“ тоже „навянуло“...

— Что такое? Я ничего не понимаю.

— Такъ слушай и понимай. Когда мы сегодня кончили „Хвастуна“ и не успѣли опомниться отъ радости, что намъ сама всемилостивѣйшая государыня изволила своими ангельскими ручками плескать, какъ за кулисы входить самъ...

Пономаревъ остановился...

— Кто самъ?—допытывался хозяинъ.

Вдругъ всѣ разсмѣялись... Пономаревъ опять изображалъ Кречетникова...

— Государыня императрица,—началъ онъ голосомъ и манерою намѣстника, и лицо его было надутو и необыкновенно смѣшно:—изволила остаться весьма довольною нашею и вашею (онъ кивнулъ по направленію къ „Титу милостивому“) игрою, и повелѣтъ соизволила объявить вамъ свою монаршую волю и милость: государыня приказала отправить васъ на петербургскую сцену на счетъ ея величества...

Веницеевъ со слезами на глазахъ бросился цѣловать обоихъ актеровъ...

— А какъ же мы-то тутъ безъ васъ?—какъ бы спохватился онъ.

— И вы съ нами,—отвѣчалъ Пономаревъ.

— Какъ же это, Поноша, другъ?

— А вотъ какъ... Вашъ Кречеть скоро высоко взлетитъ и очутится въ Питерѣ—и ты съ нимъ, а значить и съ нами.

— Но, другъ, это еще покрыто мракомъ...

— Нѣтъ не мракомъ... Не далѣе, какъ сегодня, я уловилъ за кулисами разговоръ его съ губернаторомъ, хоть они шептались: соколъ-то твой говорилъ Заборовскому, что государыня осталась необыкновенно довольна всѣмъ, что видѣла по дорогѣ въ предѣлахъ его намѣстничества, и сказала якобы ему: „спасибо вамъ, Михайло Никитичъ: я нашла въ Тульской губерніи то, что желала бы найти во всѣхъ другихъ губерніяхъ“...

— Это правда: государыня такъ именно и изволила выразиться.

— Но это не все,—перебилъ его Пономаревъ:—главное-то изъ того, что я подслушалъ, не сказалъ.

— Что же это такое, другъ?

— А вотъ что... Соколъ-то твой и говоритъ Заборовскому: „вамъ, Иванъ Александровичъ, говорить, я обѣщаю свое намѣстничество—исходатайствую, а за себя я уже просилъ Нарышкина, Льва Александровича,

чтобъ меня-де поставили поближе къ государынѣ—въ Питеръ... Хоть онъ-де, говоритъ, Нарышкинъ, играетъ роль шута у государыни—новаго-де Балакирева изображаетъ, однако-де въ милости у государыни обрѣтается, въ фаворъ, ибо смѣшитъ ее послѣ обѣда для пищеваренія—и онъ-де мнѣ обѣщалъ свою протекцію“...

— О! въ такомъ случаѣ изъ этого ничего, кромѣ зла, не выйдетъ,—замѣтилъ Веницеевъ.

— Почему же?

— Ты не знаешь Заборовскаго, другъ мой: онъ подкапывается очень искусно подъ Кречета, и повѣрь мнѣ, напакоститъ ему за сегодняшній разговоръ—вотъ увидишь.

— Чѣмъ же онъ можетъ напакостить?

— А тѣмъ, что сегодня же передастъ Нарышкину этотъ разговоръ; самъ выскочитъ, а Нарышкинъ завтра же такого поднесетъ Кречету, что тотъ и не расхлебаетъ...

VI.

Нарышкинъ дѣйствительно „поднесъ“...

Утро. Солнце только-что выглянуло изъ-за горизонта и брызнуло пурпуромъ на золотые кресты и церковныя маковки, на зубчатыя верхушки крѣпостной стѣны. День обѣщаетъ быть тихимъ, жаркимъ. Стрижи и ласточки, какъ просыпанный въ воздухѣ макъ, рѣютъ вокругъ церквей и надъ крѣпостными стѣнами, словно торопясь прожить свой короткій вѣкъ и уловить всѣ его нехитрыя радости...

Императрица, съ перомъ въ рукѣ, откинувшись на креслѣ, задумалась. Передъ нею на столѣ лежитъ не конченное письмо. Лѣвой рукой она задумчиво перебираетъ и какъ бы выглаживаетъ кружева своего бѣлаго утренняго капота...

„Да, невидное, небывалое царство... Что царство македонское, что Римъ, что Византія, что имперія Карлова!.. Встали бы они да посмотрѣли на мое царство... мое... вотъ въ этой слабой женской рукѣ оно, въ моемъ женскомъ сердцѣ оно все, необъятное... И я его всего не видѣла, не исходила—жизни не хватитъ, чтобы видѣть все то, что мое... И я его приумножила... Ангальтъ-Цербстъ... о, мое маленькое, дѣтское гнѣздышко!.. гдѣ оно?—маленькое, маленькое, дорогое... А въ этомъ гнѣздышкѣ я мечтала быть принцессой такого-же маленькаго гнѣздышка, какого-нибудь Зигмарингена... Бѣдное гнѣздышко!—я промѣняла тебя на орлиное гнѣздо...

„Царица савская... царица сѣвера... нѣтъ и юга, знойнаго, жаркаго юга... царица Тавриды... царство Митридата Великаго стало моею губерніею... тавроскины мои подданные... Я была въ гостяхъ у дочери Агамемнона—у Ифигеніи—моей подданной... Царство Гиреевъ—мое царство... Херсонесъ, гдѣ крестился Владиміръ святой, Херсонесъ мой... Кафа, гдѣ томились въ

цѣпяхъ и продавались на рынкахъ невольники—моя Кафа... Что приобрѣлъ Петръ на сѣверѣ—то бѣдно, жалко... Что приобрѣла я на югѣ—богато, роскошно. Это лучшіе алмазы въ моей коронѣ...

„Скоро двадцать пять лѣтъ, какъ я царствую... 28-го іюня будетъ двадцать пять лѣтъ—черезъ недѣлю... А какъ недавно было то, кажется недавно, словно вчера... Ночь, мрачная, томительная, а впереди—либо монастырская келья, либо темный казематъ, либо... и вдругъ яркій день—и тронъ мой, весь мой: отъ нижней ступеньки до орла... и корона моя, шапка Мономаха на головѣ ангальтъ-цербсткой дѣвочки...

„Тяжела, говорятъ, шапка Мономаха... да, но только не для меня... Вотъ ни одного сѣдого волоска она не вплела своею тяжестью въ мою женскую косу“...

И императрица вынула изъ-подъ чепца прядь волосъ и задумчиво перебирала ихъ въ рукѣ...

„Нѣтъ, не посеребрила моей головы шапка Мономаха... А какъ, казалось бы, я должна была бы постарѣть! какъ посѣдѣть!—чего не перемудала моя голова за всю Россію въ эту цѣлую четверть столѣтія!“...

За дверью послышалось шуршанье бумагою.

— Кто тамъ?

— Храповицкій, ваше величество.

— Что?

— Стихи принесъ, что приказывали переписать—о Тавридѣ.

— Войди.

Въ комнату неслышными шагами вошелъ кругленькій, толстенный, съ пухлыми щеками и завитою косою человѣчекъ, и, низко поклонившись, подалъ императрицѣ чотко исписанный листъ бумаги.

— Жарко сегодня?

— Прежарко, ваше величество.

— Потѣешь?

— Преужасно потѣю, ваше величество.

— Купайся чаще.

Екатерина встала и подошла къ окну. Передъ дворцомъ уже кучился народъ, глазѣя на окна, словно бы изъ каждаго должна была вылетѣть жаръ-птица. Полицейскіе съ алебардами внушительно показывали глазѣющимъ кулаки—„нѣ шумаркай-де—нишкини—ни-ни—разбудишь“.

Едва императрица показала у окна, какъ народъ, несмотря на полицейскихъ, рывкнулъ: „Матушка! ура! го-го-го-го!“

Екатерина отдвинулась съ улыбкою вглубь комнаты, но она не могла не замѣтить, что сквозь толпу пробирался ко дворцу Нарышкинъ, который несъ на плечѣ что-то круглое, черное, взоткнутое на трость, а въ лѣвой рукѣ—какія-то двѣ птицы, въ родѣ утокъ...

„Что бы это было такое? Что еще выдумалъ Левушка? Прокажу какую-нибудь? Это не даромъ“...

Она обратилась къ безмолвно стоявшему у дверей Храповицкому:

— Тамъ я замѣтила Льва Александровича Нарышкина, онъ несетъ что-то такое странное... Вели дежурному камеръ-юнкеру позвать его ко мнѣ. Храповицкій исчезъ.

„Я сегодня замечталась, такъ Левушка навѣрное чѣмъ-нибудь холоднымъ окатитъ мои грезы... Честный, вѣрный другъ... Сколько лѣтъ ужъ онъ бережетъ меня—четвертый десятокъ будетъ... не чета другимъ, не корыстолюбецъ, ничего не ищетъ“...

Въ комнату, отвѣшивая низкіе поклоны, вошелъ Нарышкинъ. Онъ былъ весь красный—видимо усталъ. На трости у него оказался черный, какъ черноземъ, ржаной хлѣбъ, проткнутый насквозь, а въ рукѣ пара застрѣленныхъ вряковыхъ утокъ.

— Что это такое, Левъ Александровичъ?—спросила улыбаясь, изумленная императрица.

Нарышкинъ, преспокойно, неторопливо, съ серьезнымъ лицомъ, положилъ на столъ свою ношу и обтеръ фуляромъ вспотѣвшій лобъ.

— Это я принесъ вашему величеству тульскій ржаной хлѣбъ, да пару утокъ, которыхъ вы жалуете...

„Что-нибудь не такъ“, промелькнуло въ головѣ императрицы, „подъ этой шуткой кроется что-нибудь серьезное... тульскій хлѣбъ... хлѣбъ дешевъ... народъ благоденствуетъ“...

— А по какой цѣнѣ за фунтъ купили вы этотъ хлѣбъ?—вдругъ спросила она.

— По четыре копѣйки за фунтъ, государыня.

Первый разъ, кажется, въ жизни Екатерина недовѣрчиво посмотрѣла на своего „шпыня Левушку“.

— Быть не можетъ!—съ силою сказала она. — Это цѣна неслыханная...

— И невиданная, ваше величество.

— Какъ же мнѣ донесли, что въ Тулѣ такой хлѣбъ...

— Такой ли, государыня?—На „такой ли“ Нарышкинъ сдѣлалъ особенное удареніе.

Императрица подошла къ короваю и стала внимательно разсматривать эту черную, отвратительную массу „нечистаго“, какъ говорятъ мужики, хлѣба, то есть хлѣба не изъ одной муки.

— Да это не хлѣбъ!—съ ужасомъ воскликнула императрица: — это земля!—почти земля!

— Нѣтъ, ваше величество, это... почти хлѣбъ...

— Боже мой! и эти комья земли ѣдятъ люди!

— Нѣтъ, государыня, пейзаны... добрые мужички...

Императрица посмотрѣла на него строго...

— Не забывайте, Левъ Александровичъ!... Въ такомъ дѣлѣ остроуміе неумѣстно...

Нарышкинъ почтительно поклонился. На лицѣ императрицы выступили гнѣвные пятна...

— Какъ же мнѣ донесли, что въ Тулѣ здѣсь ржаной хлѣбъ не дороже одной копейки мѣдью?...

— Нѣтъ, государыня, это неправда; вамъ донесли ложно. Я самъ покупалъ на торгу этотъ хлѣбъ и знаю ему цѣну.

Императрица въ волненіи заходила по кабинету, боясь выглянуть въ окно...

— Удивляюсь, — продолжала она: — какъ же меня увѣрили, что въ здѣшной губерніи былъ обильный урожай въ прошломъ году?

— Нынѣшняя жатва, ваше величество, можетъ будетъ удовлетвори-тельна, а теперь, пока голодно...

Императрица снова посмотрѣла на Нарышкина, подошла къ столу, взяла лежавшій на немъ писанный листъ бумаги и молча подала своему шутивому оберъ-шталмейстеру.

Нарышкинъ посмотрѣлъ на бумагу, пробѣжалъ ее—это былъ вчерашній рапортъ Кречетникова—и снова положилъ на письменный столъ.

— Прочли?

— Прочель-съ... Можетъ быть, это ошибка... Впрочемъ, иногда рапорты бываютъ не достовѣрнѣе газетъ...

Императрица опять подошла къ столу и долго смотрѣла на то, что изображало собою подобіе хлѣба... Она глубоко задумалась... Съ площади доносился гулъ голосовъ...

„Такъ вотъ оно, мое величіе... на чемъ покоится оно... вотъ мои гордыя мечтанія... Бѣдные люди!... Такъ вотъ, отчего не посѣдѣли мои волосы подъ шапкой Мономаха... оттого... оттого, что въ моемъ царствѣ есть такой чорный хлѣбъ... онъ чернитъ мою сѣдину... Изъ окна золотой кареты я не вижу, что ѣсть мой добрый народъ... А я мечтала, я радовалась“...

Краска все болѣе и болѣе заливала ея лицо...

Она быстро оборотилась къ Нарышкину и протянула ему руку...

— Благодарю, всѣмъ сердцемъ благодарю васъ, другъ мой! вы одинъ у меня честный и вѣрный другъ... Если бы не вы, я не знала бы правды...

Она говорила съ жаромъ, со слезами на глазахъ... Нарышкинъ упалъ на колѣни и цѣловалъ ея руки...

— Матушка! матушка! вы великая царица! вы святая, великая женщина.

— Благодарю... благодарю... нѣтъ, я... я все-таки женщина...

— Святая, великая!

— Встаньте, мой другъ.

Императрица подняла его. Нарышкинъ всталъ. Въ глазахъ Екатерины блеснулъ опасный огонекъ...

— Такъ Кречетниковъ обманулъ меня?

— Нѣтъ, государыня... это изъ усердія... чтобъ не огорчить васъ...

— Не огорчить! А что подумали бы обо мнѣ мои добрые подданные, которые питаются вонъ этимъ хлѣбомъ изъ земли?..

— И то не всѣ его имѣютъ...

— Что подумали бы они, если-бъ я приняла здѣсь балъ, предложен-

ный мнѣ дворянствомъ, и веселилась бы въ то время, когда самые трудолюбивые изъ моихъ подданныхъ...

Она не договорила и посмотрѣла на хлѣбъ...

— Не имѣютъ даже и такого хлѣба?—подсказалъ Нарышкинъ.

— Да... Я и то дурно сдѣлала, что была вчера въ театрѣ.

— Нѣтъ, государыня, осмѣлюсь думать, что вы изволили хорошо поступить, посѣтивъ здѣшній театръ.

— Почему же?—удивилась Екатерина.

— Роль „Хвастуна“ прекрасно игралъ какой-то здѣшній актеръ Пономаревъ...

— Да, я замѣтила его и велѣла взять въ петербургскую сцену.

— Точно такъ, ваше величество... А изволили ли вы замѣтить, кого напоминалъ „Хвастунъ“? кого игралъ Пономаревъ?

Императрица задумалась, потомъ улыбнулась...

— А!.. немножко Кречетникова, кажется... да, да... то-то я вспоминала, на кого онъ похожъ...

— На Михайла Никитича.

— Точно, точно...

Она посмотрѣла на Нарышкина. Тотъ улыбался, стоя въ самой почтительной позѣ.

— Какое же отношеніе между театромъ и этимъ хлѣбомъ и — голодомъ? (Императрица показала на столъ, гдѣ лежалъ хлѣбъ, потомъ на окно, за которымъ носились волны народнаго говора).

— Непосредственное-съ, — отвѣчалъ Нарышкинъ: — въ театрѣ я думалъ о Михайлѣ Никитичѣ, объ его умѣнѣ „хвастаться“ — и сегодня самъ пошелъ на торгъ...

— И открыли этотъ хлѣбъ?

— И открылъ-съ этотъ хлѣбъ...

— Да, правда... У васъ государственный умъ...

— Нѣтъ-съ, истиникъ нищейки вашего величества...

— Вы неподражаемы, Левушка... Что жъ я буду дѣлать съ этимъ хлѣбомъ?

Нарышкинъ задумался... Онъ повидимому не рѣшался отвѣчать... Наконецъ, онъ подвѣлъ голову...

— Что же? — переспросила императрица.

— Взять съ собою въ Петербургъ, помѣстить въ Эрмитажъ, а кусокъ послать Вольтеру...

Ярвая краска снова залила лицо императрицы... Она съ минутой колебалась, но потомъ снова побѣдила себя...

Еще разъ благодарю васъ, глубоко благодарю... Какой урокъ! Какой жестокий урокъ вы мнѣ преподали!..

Она закрыла лицо руками... Нарышкинъ ползалъ у ея ногъ и цѣловалъ край ея капота...

— Прости! матушка, прости!.. величайшая, священнѣйшая, мудрѣйшая изъ женщинъ!..

— Нѣтъ, нѣтъ! счастливы государи, у которыхъ есть такіе друзья, какъ у меня...

На порогѣ показался красивый, съ женственнымъ лицомъ, съ высокимъ осанкой, молодой человекъ, и съ нѣмымъ удивленіемъ смотрѣлъ на эту живую сцену... Глаза императрицы блеснули какимъ-то внутреннимъ тепломъ.

То былъ Мамоновъ!

VII.

Черезъ два часа послѣ вышеприведенной сцены, въ томъ же кабинетѣ совершался обрядъ „волосочесанія“, какъ называетъ Храповицкій въ своемъ „Дневникѣ“. „Волосочесаніе приближается къ концу. Императрица, выслушавъ докладъ оберъ-камергера Шувалова о томъ, что на ружейномъ заводѣ уже все приготовлено для принятія ея величества и что въ сверлильномъ отдѣленіи ожидаетъ императрицу особый цилиндръ и серебряный молотокъ, которымъ мастера надѣются, всемилостивѣйшая государыня соизволить собственноручно ударить по раскаленному цилиндру, — смотрится въ зеркало, которое поднесли къ ней двѣ камеристки. Мамоновъ, стоя у окна, тщательно разсматриваетъ свои розовые, изящно выхоленные ногти. Нарышкинъ не менѣе серьезно занятъ ловлею большой мухи на другомъ окнѣ. Въ сторонѣ, у маленькаго столика, пыхтитъ и потѣетъ Храповицкій, занятый „перлюстраціею“, присланной изъ Петербурга иностранной почтой. Сзади императрицы, отражаясь въ зеркалѣ, стоитъ только что допущенный къ аудіенціи Кречетниковъ.

На столѣ все тотъ же роковой каравай хлѣба и двѣ кряковыя утки.

Императрица видитъ въ зеркалѣ, какъ Кречетниковъ косится на этотъ хлѣбъ, причемъ лицо его, за минуту счастливое и самодовольное, то блѣднѣетъ, то багровѣетъ.

— Очень рада Михайло Никитичъ, что въ городѣ и въ губерніяхъ, вамъ порученныхъ, все обстоитъ благополучно, — ласково говоритъ императрица, всматриваясь въ зеркало и отстраняя волосокъ отъ своего мраморнаго лба.

Кречетниковъ молча кланяется и силится подавить вздохъ.

— Я и за себя, какъ женщина, рада, когда все благополучно: меньше сѣдѣю...

Кречетниковъ опять кланяется и косится на хлѣбъ...

— Васъ, кажется, интересуется этотъ хлѣбъ и утки?

Кречетниковъ кланяется и что-то невнятно мычитъ.

— А это мнѣ принесъ какой-то добрый мужичекъ: „нашей, говоритъ, деревенской хлѣба-соли матушкѣ-царицѣ на поклонъ приволокъ“...

Она снова нригнулась къ зеркалу и поправила височки.

— Я поблагодарила его и спрашиваю: почему у нихъ такой хлѣбъ продается въ деревнѣ? Говоритъ, по четыре копѣйки... Я не повѣрила...

Нарышкинъ, наконецъ, поймалъ муху двумя пальцами, и она у него отчаянно зажужжала. Императрица оглянулась, и чуть замѣтная улыбка скользнула по ея лицу...

— Четыре копейки, это цѣна небывалая...

— Такъ точно, ваше императорское величество... но скоро урожай, — растерянно заговорилъ Кречетниковъ.

— А до урожая? Теперь еще июнь...

— Будутъ приняты мѣры, ваше императорское величество... тотчасъ же...

— Да, да, надобно поскорѣе помочь горю, чтобы не случилось большой бѣды.

— Слушаюсь... непременно-съ...

— А заводъ вы мнѣ сами покажите.

— Слушаю-съ ваше императорское величество!

Нарышкинъ пріотворилъ окно и выпустилъ муху на свободу.

— Ура! ура! ура! — послышалось съ площади.

VIII.

Прошло полтора года.

Въ морозный январскій вечеръ 1789 года, на сценѣ петербургскаго театра, идетъ сенсационная и патриотическая по тому времени пьеса, „Титово милосердіе“. Театръ полонъ. Несмотря на вѣтшій 20-ти градусный морозъ, отъ котораго кучера и извозчики спасаются либо собственными кулаками, либо кабакомъ, въ театрѣ жара невообразимая. Разряженные, напудренные „щеголихи“ и „модницы“, съ изящными мушками на щекахъ, и на подбородкахъ, и надъ соболиными бровками и вездѣ, гдѣ имъ указывала сидѣть мушиная символика, постоянно махались вѣерамп, разливая вокругъ себя горячее море благовоній, не забывая въ то же время „махаться“ и въ переносномъ смыслѣ со своими „петиметрами“, „ферлакурами“ и вадыхателями. Парики и подвитыя косы „ферлакуровъ“, „петиметровъ“, представляли необозримую выставку парикмахерскихъ художественныхъ произведеній.

Императрица сидѣла, полуприкрытая драпировками, въ боковой ложѣ. Въ углубленіи, изъ-за ея спины, выглядывали — то красивое, видимо скупающее лицо Мамонова, то круглыя, насмѣшливыя щеки сатира — Левушки Нарышкина, то лукавые глаза Шувалова.

Императрица видимо была въ хорошемъ расположеніи духа.

Пьеса шла очень удачно. Публика усердно аплодировала. Актеръ, игравшій „Тита“, былъ очень хорошъ: онъ обращался съ остальнымъ персонажемъ пьесы необыкновенно милостиво, но зато съ царственнымъ величьемъ, такъ что императрица, глядя на него, невольно закусывала губы, чтобы скрыть улыбку.

А узнаете, государыня, кто играетъ „Тита“? — тихо спросилъ Мамоновъ.

— Какъ же: это Пономаревъ, котораго я отняла у Тулы.

— Но кого онъ напоминаетъ, ваше величество, своею царственною осанкою?—лукаво спросилъ Нарышкинъ.

— Да, кого-то напоминаетъ...

— А вы извольте, государыня, присмотрѣться къ первому ряду креселъ.

— А что тамъ?

— Не замѣчаете? Вотъ величественно косится сюда...

— Ахъ—да, да! Онъ поразительно его передразниваетъ...

Въ первомъ ряду креселъ императрица дѣйствительно узнала того, на кого ей указывалъ Нарышкинъ: плоскій широкій затылокъ, круто заплетенная густая коса, надменно поднятыя плечи и грудь, глупое, вызывающее улыбку, величіе на лицѣ; это былъ онъ—Кречетниковъ.

— Тульскій кречетъ, воображающій себя орломъ изъ стаи Великой Екатерины.

— Да, да,—улыбнулась послѣдняя:—но онъ меня сегодня порадовалъ.

— Чѣмъ, государыня?

— Да вы знаете, что благодаря нераспорядительности генераль-провіантмейстера Маврина, войскамъ, въ столицѣ расположеннымъ, угрожаетъ голодъ: такъ Михайло Никитичъ мнѣ доложилъ, что онъ берется помочь горю...

— Это тульскимъ-то хлѣбомъ, государыня?

— Да, онъ говоритъ, что въ одной богородицкой волости есть до двухсотъ-тысячъ четвертей хлѣба лежачаго.

— А если это такой же хлѣбъ, дешевый, какой вы изволили вывезти изъ Тулы для Эрмитажа и для Вольтера?..

Императрица сверкнула глазами...

— Нѣтъ—нѣтъ... не напоминайте мнѣ объ этомъ...

Она обернулась назадъ и нечаянно уловила пристальный, нѣжный взглядъ Мамонова, устремленный на одну изъ противоположныхъ ложъ... Мамоновъ не замѣтилъ, что его взглядъ былъ пойманъ, а Екатерина, принявъ прежнее положеніе, пыливо, но осторожно, не показывая виду, стала искать глазами невѣдомый ей предметъ, приковавшій къ себѣ взоры и вниманіе молодого царедворца... Она нашла этотъ предметъ... Да, да—это она, безспорно она... Ее пожираетъ онъ глазами... Это княжна Дарья Щербатова... Не даромъ онъ посылалъ ей лучшихъ фруктовъ, какіе были отобраны только для него... Вонъ у нея на лицѣ чуть замѣтная „мушка взаимности“... Это онъ съ нею „махается“... Негодница!.. Она тоже глядитъ на него, вѣеромъ машетъ—къ себѣ примахиваетъ...

Выраженіе мягкости разомъ застыло на лицѣ Екатерины: его замѣнило холодное величіе. Нарышкинъ замѣтилъ это—продувной сатиръ давно все замѣтилъ, но и виду не показывалъ, что чувствуетъ грозу въ воздухѣ, чувствуетъ ее давно—и ждетъ перваго удара... Быть удару—облачко, черное, зловѣщее, разомъ налетѣло на полуденное солнце... Надо отвратить ударъ...

— Александръ Матвѣичъ, кажется, очарованъ тульскимъ кречетомъ—глазъ съ него не спускаетъ весь вечеръ:—завидываетъ онъ.

Переносить взоръ на Мамонова, на Кречетникова... Мамоновъ, дѣйствительно, смотритъ туда, на первый рядъ креселъ, на Кречетникова.

— Я ухожу, у меня голова разболѣлась...

Императрица встаетъ. За нею встаютъ всѣ...

Уходя, Мамоновъ оборачивается и кидаетъ тревожный, тоскливый взглядъ на предательскую ложу... Тамъ махаютъ вѣеромъ.

IX.

— Поноша! другъ сердечный!

— Францель Венеціанъ! какими судьбами!

— Да съ Кречетомъ налетѣли сюда.

— А! видѣлъ... такъ и ѣлъ меня глазами... Ну, облобызаемся же.

— Облобызаемся... А! и Аполлинарія Николаевна! наше вамъ, съ походомъ!

— Здравствуйте, Семенъ Никифоровичъ... Что въ Тулѣ?

— Объ васъ вспоминаютъ... А что онъ?

— Кто онъ?

— Ну извѣстно онъ, курсивъ, большими литерами... Не онъ ужъ „Тита“ играетъ?

— Не онъ...

Аполлинарія Николаевна зардѣлась... Пріятели обнимались, жали другъ другу руку, спрашивали—кто про Тулу, кто про Петербургъ... Это было за кулисами, тотчасъ по окончаніи „Титова милосердія“.

— Совсѣмъ къ намъ теперь, дружище? а?—спрашивалъ Пономаревъ Веницеева.

— Да совсѣмъ было, если-бъ чадущко опять не напуталъ.

— Какой чадущко?

— Да, соколъ-то нашъ ясный—совсѣмъ дѣло изгадилъ.

— Кречетниковъ?

— Кому же больше! Такого мастера путать и гадить на заказъ не сдѣлать.

— Въ чемъ же дѣло-то?... растолкуй.

— Да вотъ въ чемъ: свѣтлѣйшій, Потемкинъ-то, благоволитъ моему дураку... чадущкѣ-то, соколу, и общалъ замолвить за него словечко у государыни, какъ пріѣдетъ сюда. А ждутъ свѣтлѣйшаго на-дняхъ... Вотъ мы и прискакали сюда. Насъ приняли милостиво: государыня изволила даже говорить чадущкѣ-то моему о томъ, какъ думаетъ встрѣтить свѣтлѣйшаго послѣ его славныхъ побѣдъ надъ турками, велитъ украсить въ Царскомъ триумфальныя ворота разными арматурами, а на транспарантѣ въ честь его чаписать стихи изъ оды Петрова „На взятіе Очакова“:

„Ты въ плескахъ внидешъ въ храмъ Софіи“;

— Ого!—протянулъ Пономаревъ:—куда хватило...

— Да, братъ, думаютъ, что съ весной нашъ свѣтлѣйшій и „таврическій“ войдетъ въ Царьградъ съ побѣднымъ вѣнкомъ на головѣ...

— Ну, такъ чѣмъ же напуталъ соколъ твой?

— Да... Императрица, къ слову, замѣтила, что ее беспокоитъ недостатокъ провіанта для войскъ, здѣсь расположенныхъ, а мой-то враль, изъ усердія и хвастовства, и бухни, что у насъ въ Тулѣ лежачимъ хлѣбомъ хоть прудъ пруди. Государыня обрадовалась, приказала тотчасъ же закупить у насъ хлѣбъ, велѣла дураку моему распорядиться... Онъ прилетѣлъ, требуетъ меня, велитъ писать о хлѣбѣ: я ему напоминаю, что онъ самъ же недавно подписалъ рапортъ о томъ, что въ его намѣстничествѣ хлѣба едва ли хватитъ для весеннихъ посѣвовъ—и вдругъ такой шкандалъ!—Какъ, говорю, вы, не спросясь, эдакъ отвѣтили государынѣ?—Сорвалось, говорить!—Ну значитъ сорвалось и наше счастье.

— Господа! гдѣ тутъ господинъ Веницеевъ?—послышался голосъ режиссера.

— Что вамъ угодно? Я Веницеевъ.

— Пожалуйте въ фойе—васъ проситъ тульскій и калужскій генералъ-губернаторъ, генералъ-поручикъ Михайло Никитичъ Кречетниковъ.

— Сейчасъ иду... Н-ну чадо! опять, полагаю, что-нибудь напуталъ...

Х.

Во дворцѣ, въ кабинетѣ императрицы, Храповицкій, сидя за особымъ столомъ, осторожно шуршитъ бумагами, сортируя почту. Онъ видимо напряженно прислушивается къ тому, что происходитъ въ слѣдующей комнатѣ, за дверью, но, кажется, привычный слухъ его ничего не можетъ уловить...

Но вотъ слышно немного—сморкаются... „Плачутъ, должно“...

Опять шуршанье бумагой и опять напрасное прислушиванье...

— Плюньте, матушка,—явственно слышится оттуда, изъ-за двери.

„Это Захаръ... успокоиваетъ“...

Опять сморканье, болѣе рѣшительное, энергическое... „Ну, слава Богу—кажись, успокоились“...

Отворяется дверь, и оттуда выходитъ Захаръ въ бѣломъ фартукѣ и съ полотенцемъ въ рукѣ. Захаръ очень пасмуренъ.

— Ну что, Захаръ Константинычъ?—заискивающе спрашиваетъ Храповицкій.

Захаръ только махнулъ рукой.

— Гнѣвны?—снова спрашиваетъ Храповицкій.

— Смутны,—нехотя отвѣчаетъ Захаръ.

— А съ чего, Захаръ Константинычъ?

— Паренекъ дуритъ...

— Ахти!—удивляется Храповицкій.—Что-жъ онъ, дурачокъ!

-- Да онамедни въ театрѣ съ княжной Щербатовой махался—перемигивался, такъ замѣтили.

— Ахъ дурачокъ, дурачокъ!

— То-то, и я ему говорилъ такъ же, такъ поди съ нимъ—не внемлетъ: житье мое здѣсь, говоритъ, настоящая тюрьма...

— Ахъ парень, парень! съ жиру бѣсится, отъ своего счастья бѣгаетъ.

-- И я тоже говорю, такъ нѣтъ: скучно, слышь, ему, надоѣло, что послѣ всякаго собранія, гдѣ есть дамы, привязываются, дескать, ревнуютъ...

Храповицкій укоризненно покачалъ головой...

Изъ той комнаты раздался звонокъ. Храповицкій вздрогнулъ и торопливо принялся опять за свою почту. Захаръ, перекинувъ полотенце на другое плечо, тихо пошелъ на звонокъ.

— Ахъ, дуракъ, дуракъ, вотъ истинно дуракъ!—бормоталъ самъ съ собою Храповицкій.—И съ кѣмъ вздумалъ махаться! И это послѣ Фицгерберта-то—съ англичками объѣдками...

Захаръ вышелъ съ радостной улыбкой и какъ-то весело перекрестился...

— Что? зачѣмъ звали?

— Славу Богу, успокоились, а то ничѣмъ не угодишь, все гнѣваются...

— А выдуть?

— Сказали, выдуть: почту бы приготовили, да Кречетникову приказано явиться.

— Почта готова.

— А паренька, говоритъ, велю свѣтлѣйшему пожурить, какъ пріѣдетъ, все его ждутъ.

Захаръ ушелъ, разводя руками и самъ съ собою что-то разговаривая. Храповицкій разложилъ почту на большомъ столѣ, всталъ и подошелъ къ зеркалу. Лицо его было красновато, какъ послѣ выпивки.

— Ишь не доспалъ, рожа-то красная... А все этотъ тульскій калифъ затащилъ, угостилъ... да и дома тоже на ночь... Дурная привычка.

За той дверью слышались шаги. Храповицкій отскочилъ отъ зеркала и нагнулся надъ бумагами.

Отворилась дверь изъ той комнаты и въ кабинетъ вошла императрица. Въ ней теперь казалось болѣе женственнаго, чѣмъ царственнаго. Глаза смотрѣли немножко припухшими, усталыми и мягкими: замѣтно было, что она плакала, хотя теперь на лицѣ не осталось и слѣда горя, и оно было спокойно.

Храповицкій низко поклонился. Ему милостиво отвѣчали.

— Привелъ почту въ порядокъ?

— Привелъ, государыня.

— А прочелъ рапортъ вице-губернатора?

— Не успѣлъ, ваше величество.

— Прочти.

Храповицкій отыскалъ на столѣ требуемую бумагу и пробѣжалъ ее глазами.

— А? каковъ лгунишка Кречетниковъ! Что доносить здѣшній вице-губернаторъ?

— Здѣшній вице-губернаторъ рапортуетъ, отвѣчалъ Храповицкій, глядя въ бумагу,—что по сообщенію Кречетникова богородицкіе поселяне просятъ по четыре рубля за куль муки съ поставкою въ Тулу...

— А! каково! Зачѣмъ было лгать? Кто просилъ?

Въ это время дверь изъ переднихъ покоевъ, изъ пріемныхъ апартаментовъ, отворилась, и на порогъ показался юный, розовый, какъ дѣвушка, съ дѣвическою косою и черными агатовыми глазами дежурный камеръ-юнкеръ, юноша лѣтъ двадцати, и вытянулся въ струнку. Глаза императрицы ласково остановились на немъ.

— А, Зубовъ... Что тамъ?

— По приказанію вашего императорскаго величества генералъ-поручикъ Кречетниковъ ожидаетъ повелѣній,—отчеканилъ юноша.

— Пусть войдетъ.

Юноша стукнулъ ножкой объ ножку, и исчезъ за дверью.

— Какой милый мальчикъ,—выронила императрица.

— И хорошо воспитанъ, государыня, скромнень, какъ дѣвушка, и музыку любить,—вставилъ Храповицкій, почтительно вытягиваясь, чтобъ положить бумагу передъ императрицей.

На порогъ показалась знакомая уже намъ фигура тульского намѣстника. Всегда юпитеровски-величественный и какъ Нарцисъ самодовольный, онъ выступалъ теперь немножко мокрой курицей, со склоненною на бокъ повинною головою, съ опущенными руками... „Изъ усердія, единственно изъ усердія—повинную принесть—повинную мечъ не сѣчетъ“, говорила вся его фигура. Даже Храповицкій немножко улыбнулся: точь въ точь соблудившая псица „Муфти“...

— Вы, Михайло Никитичъ, поторопились порадовать меня вашимъ хлѣбомъ, напрасно,—сказала императрица тономъ неудовольствія.

— Виноватъ, ваше императорское величество,—былъ смиренный поклонъ,—можетъ быть не такъ донесъ здѣшній вице-губернаторъ.

— Не такъ рапортовалъ вашъ, а не мой вице-губернаторъ,—строго замѣтила государыня, и, взявъ со стола бумагу, подала оторопѣвшему савновнику:—прочтите сами!

Дрожащими руками взялъ „великолѣпный калифъ Тулы“, какъ его называли пересмѣшники, поданную ему бумагу и сталъ разсматривать ее какъ какую-нибудь хитрую ткань.

— Видите, богородицкіе поселяне просятъ по четыре рубля за куль,—пояснила императрица уже спокойнымъ тономъ.

— Да-съ, точно, ваше величество... это недоразумѣніе. Я немедленно разъясню, напишу... самъ на мѣстѣ разслѣдую...

Въ это время какъ бы изъ-за спины императрицы выросъ Мамоновъ... Онъ былъ блѣднѣе обыкновеннаго... По глазамъ замѣтно было, что и онъ плакалъ... Императрица испытующимъ, но ласковымъ взглядомъ

посмотрѣла на него: ей, казалось, стало жаль этого блѣднаго заплаканнаго лица...

— Я разслѣдую-съ... я хлѣбъ найду,—продолжалъ бормотать Кречетниковъ, весь красный.

— Хорошо, хорошо, постарайтесь,—сказала, повидимому, сжалившись и надъ нимъ императрица, дѣлая видъ, что отпускаетъ его.

Кречетниковъ торопливо положилъ бумагу на столъ, поклонился, пробурчалъ—„постараюсь... священная воля... хлѣбъ лежачій“—поперхнулся и, снова поклонившись, отретировался за дверь...

— А! какъ нахвасталъ!—съ улыбкой обратилась государыня къ Мамонову:—да еще имѣлъ безстыдство сказать, что не такъ донесъ здѣшній вице-губернаторъ... А! я ненавижу ложь—это подлость, во еще гнуснѣе извращивать вину на другого...

Мамоновъ ничего не отвѣчалъ: онъ, казалось, и не слышалъ того, что ему говорили. Правой рукой онъ держался за грудь, какъ бы чувствуя тамъ острую боль...

— Une oppression de poitrine, n'est-ce pas?—участливо спросила государыня.

— Да, ваше величество, больно,—тихо отвѣчалъ молодой царедворецъ.

Императрицѣ стало еще болѣе жаль его... Видимо желая его развлечь, она заговорила о Кречетниковѣ.

— Каковъ! И это уже во второй разъ такая исторія съ хлѣбомъ... Помните?

— Помню, государыня.

— А какъ онъ открывалъ Калужскую губернію, а?

— Этого я не слышалъ, ваше величество.

— Это исторія презабавная... Къ открытію губерніи прибылъ Платонъ, что нынѣ митрополитъ московскій. Спрашиваетъ, все ли готово къ открытію? Кречетниковъ отвѣчаетъ, что все, только слѣдуетъ просмотрѣть церемоніаль. Присылаетъ церемоніаль къ Платону. Платонъ одобряетъ всѣ статьи, кромѣ одной, гдѣ сказано было, чтобы во время шествія въ церковь намѣстника, то есть вотъ этого самаго Кречетникова, во всѣхъ церквяхъ производимъ былъ колокольный звонъ... Каково!

— Да, это скромно,—улыбнулся Мамоновъ.

Очень скромно,—согласилась императрица,—только Платонъ не соглашался. Началась переписка. Платонъ стоитъ на своемъ. Наконецъ, Кречетниковъ самъ ѣдетъ къ Платону, настаиваетъ. Платонъ и отвѣчаетъ ему: „эта почестъ—говорить—воздается только царскому величію“. Только этимъ и умирилъ его. Но зато онъ у себя въ домѣ поставилъ тронъ и хотя не сидѣлъ на немъ, но стоялъ на ступеняхъ этого трона, подъ балдахиномъ, и говорилъ рѣчь къ собранію дворянъ.

— Воображаю, государыня, какъ онъ былъ смѣшонъ,—замѣтилъ Мамоновъ.

Да... но послѣ онъ былъ жалокъ,—продолжала, увлекаясь, импе-

ратрица.—Послѣ открытія губерніи, онъ пріѣхалъ сюда, лично представить мнѣ отчетъ обо всемъ... А я уже знала о колокольномъ звонѣ: мнѣ Платонъ же и донесъ... Встрѣчаю его ласково, благодарю, разирашиваю обо всемъ. Онъ сіяетъ отъ удовольствія. А я тайно и спрашиваю его: „да Платонъ-то, говорю, усердно ли вамъ содѣйствовалъ?“—„Съ полнымъ усердіемъ, говоритъ, ваше величество.—„Да не было ли, говорю, съ его стороны какихъ-нибудь странныхъ желаній: на примѣръ, не требовалъ ли, говорю, онъ отъ васъ пушечной пальбы при вѣздѣ своемъ въ городъ?“—Нѣтъ, говоритъ, государыня.—„А я, говорю, что-то такое слышала; но согласитесь, говорю, что вѣдь это было бы такъ же смѣшно, какъ если-бъ вы, говорю, потребовали, {чтобъ онъ сопровождалъ васъ ко локольнымъ звономъ“...

Мамоновъ разсмѣялся самымъ искреннимъ смѣхомъ. Даже Храповицкій почтительно хихикалъ.

На порогѣ опять вытянулась стройненькая фигурка юноши съ агатовыми глазами.

— Кто тамъ? — былъ ласковый вопросъ.

— Господинъ директоръ академіи наукъ, княгиня Дашкова, ваше величество! — отрапортовалъ красивый юноша.

— Господинъ — княгиня, — улыбнулась императрица: — я жду ее.

XI.

Въ 7-мъ часу вечера на 5-е февраля этого (1789) года прибылъ наконецъ, въ Петербургъ съ новозавоеваннаго юга „великолѣпный князь Тавриды“.

Кречетниковъ, послѣ деликатной головомойки съ „лежачимъ хлѣбомъ“, теперь опять высоко поднималъ голову и не иначе смотрѣлъ на свѣтъ божій, какъ черезъ человѣческія головы, ибо все казалось ему ниже его недосигаемой персоны; такъ онъ увѣренъ былъ въ расположеніи къ нему Потемкина. Потемкинъ, дѣйствительно, покровительствовалъ ему по неуловимымъ капризамъ своего характера или, можетъ быть, по такому же неуловимому закону контрастовъ, въ силу котораго блондины предпочитаютъ брюнетокъ, сила покровительствуетъ безсилію, старость льнетъ къ дѣтямъ, геній снисходитъ къ посредственности: понимая хорошо недалекость и пѣтушиныя замашки „тульскаго калифа“, зная его неудержимую слабость къ прекрасному полу и заносчивость, называя его не иначе, какъ „мадамъ“ — любимое слово Кречетникова — Потемкинъ все-таки покровительствовалъ ему.

Однимъ словомъ, съ пріѣздомъ Потемкина „тульскій кречетъ“ оказался „въ мытѣхъ“ и сталъ „высоко взбивать птицъ“ — болѣе мелкихъ чиновныхъ пташекъ, съ которыми ему приходилось имѣть дѣло. О „хлѣбѣ“ и о головомойкѣ онъ совсѣмъ забылъ, сколько ни напоминалъ ему объ этомъ Веницеевъ.

На другой же день послѣ прїѣзда Потемкина, по личнымъ указаніямъ императрицы, на театрѣ въ Эрмитажѣ давали самую новую и модную тогда пьесу—„Горе богатырь“, комическую оперу, сочиненную самою государынею при композиторскомъ содѣйствіи придворнаго капельмейстера Мартини. Въ оперѣ этой, какъ толковали тогда и какъ понимаютъ это теперь, Екатерина осмѣивала попытки шведскаго короля Густава III овладѣть Петербургомъ. Какъ извѣстно, попытки эти окончились срамомъ для „Горе богатыря“.

„На театрѣ“, какъ записано у Храповицкаго, кромѣ самой императрицы, Потемкина, Мамонова, Льва Нарышкина, Храповицкаго и другихъ приближенныхъ, присутствовали и иностранные послы Кобенцель и Сегюръ. Мало того, виднѣлась въ рядахъ знати и пѣтушиная фигура Кречетникова: быть приглашеннымъ въ Эрмитажъ—это высокая честь, и онъ чувствовалъ сердцемъ, мозгомъ, ногтями и каждымъ волоскомъ, что вполне достоинъ этой чести.

Пьеса шла блистательно. Особенный, конечно, взрывъ одобреній вызвалъ дуэтъ самого „Горе богатыря“ съ Гремилой.

— Это слава его „гредить“ по всему свѣту,—лукаво замѣтилъ Потемкинъ, слегка кланяясь императрицѣ.

Лицо Екатерины было необыкновенно оживленно. Это оживленіе и искусная прическа сгладили всѣ тончайшія морщинки, проведенныя безжалостною шестидесятою весною ея жизни на ея прекрасномъ, философскомъ челѣ. Она казалась совсѣмъ молодою, свѣжею, полною энергіи. Недаромъ, накануне, за туалетомъ, она сказала Храповицкому и Шувалову: „я увѣрена, что, имѣя уже шестьдесятъ лѣтъ, проживу еще двадцать съ нѣсколькими годами“.

— Да,—съ улыбкой отвѣчала императрица:—„Гремила“ родная сестра „Шумихѣ“ и такъ же удачливы, какъ Тома съ Еремой... Et vous, monsieur le comte?—обратилась она къ сидящему около нея Сегюру.

— Oh! c'est ravissant! — восторженно отвѣчалъ тотъ, какъ истый французъ:—c'est... c'est... du genie...

— Merci, monsieur, —отвѣчали уклончиво.

— Oh! votre majesté! qui se sent morveux, se mouche... C'est bien delicat de répondre par des plaisanteries à des manifestes et déclarations impertinantes...

Въ антрактѣ, когда опустилась занавѣсъ, глазамъ изумленныхъ зрителей представилась слѣдующая картина, эффектно изображенная на этой новой занавѣси: Екатерина на тронѣ: она держитъ въ рукѣ лавровый вѣнокъ и возлагаетъ его на голову склонившагося на ступеняхъ трона Потемкина; надъ вѣнкомъ надпись изъ иммортелей:

„Ты въ плескахъ увидишь въ храмъ Софіи“.

Восторженное „браво!“ „да здравствуетъ Екатерина!“ заглушили оркестръ, который игралъ:

Громъ побѣды раздавался,
Веселился храбрый Россъ...

Потемкинъ, насупившись, грызъ ногти... Онъ порывался было уйти, но императрица ласково удержала его... Сегюръ любезно улыбался и едва замѣтно кланялся ему, показывая видъ, что аплодируетъ будущему покорителю Цареграда.

— Да это и правда, — сказала императрица, какъ бы отвѣчая на мысль французскаго посла: — я увѣрена, что у меня скоро будетъ князь „Таврическій-Цареградскій“...

— Въ этомъ увѣренъ и Кречетниковъ, — кивнулъ въ его сторону Потемкинъ, продолжая кусать ногти.

— Да, онъ увѣренъ въ побѣдахъ Потемкина...

— Какъ и въ своихъ надъ прекраснымъ поломъ...

Императрица невольно разсмѣялась, глянувъ туда, куда ей указывалъ Потемкинъ; она увидала, какъ Кречетниковъ, словно индѣйскій пѣтухъ съ красными щеками и шеею, топтался около княжны Щербатовой, за-слоняя ее отъ Мамонова, который видимо злился...

— Охъ, отобьетъ у нашего паренька крало, — подмигнулъ Потемкинъ. Императрица отвернулась: такъ смѣшонъ показался ей Кречетниковъ въ роли „ферлакура“.

— Отобьетъ, отобьетъ...

Храповицкій усиленно вытиралъ фуляромъ свой влажный лобъ...

— Потѣешь? — улыбнулась ему Екатерина.

— Преужасно, ваше величество, — былъ стереотипный отвѣтъ.

— А Сегюръ и Сенъ-При увѣрены, — серьезно заговорила императрица, обращаясь къ Потемкину: — что Турецію подѣлить можно...

— И даже должно, — такъ же серьезно отвѣчалъ Потемкинъ.

— А какъ?

— Дать куски Англіи и Франціи... конечно, и Австріи.

— А Гишпанія?

— И Гишпаніи тоже малое „морсо“.

— А Италіи? — задумчиво спросила императрица.

— Италіи нѣтъ... Италія только въ географіи да на картѣ.

— И то правда, нѣтъ ея, некому больше давать „куски“.

— А остатка довольно будетъ для великаго князя Константина Павловича, — улыбнулся Потемкинъ: — съ него довольно.

— Да, pour un cadet de la maison, очень довольно, — улыбнулась и императрица, а потомъ серьезно прибавила: — бабка и отецъ — здѣсь, внукъ и сынъ Константинъ, во градъ Константина Великаго...

— Такъ и пророчествовано — задумчиво пояснилъ Потемкинъ, какъ бы прислушиваясь къ музыкѣ.

— Да... Зачѣмъ не быть обѣимъ отраслямъ въ такой связи, какъ дворы бурбонскіе Франція и Гишпанія, а Романовы — Россія и Туреція.

По окончаніи пьесы вниманіе императрицы снова было привлечено

неподражаемымъ тульскимъ намѣстникомъ. Екатерина, вставая, взглянула было собственно по тому направленію, гдѣ сидѣла княжна Щербатова уже не съ „мушкою взаимности“, а съ „мушкою отвергнутой пассіи“, но вмѣсто княжны увидѣла Кречетникова, который восторженно обнималъ кого-то.

— Кого это хочетъ задушить „мадамъ“?—спросила она Потемкина, указывая на Кречетникова.

— Львова... Они съ Кречетниковымъ старые друзья.

— А о хлѣбѣ, какъ я вижу, онъ совсѣмъ забылъ,—замѣтила императрица:—онъ твердо вѣритъ евангелію.

— Я заставлю его и о хлѣбѣ вспомнить,—отвѣчалъ свѣтлѣйшій.

Императрица оглянулась: она замѣтила всѣхъ... не было только одного, кого она искала: не было Мамонова...

Прошло нѣсколько недѣль. Кречетниковъ давно воротился изъ Петербурга въ свою намѣстническую резиденцію и, упоенный благосклонностью къ нему свѣтлѣйшаго, опочилъ на лаврахъ. Каждый день принималъ просителей въ торжественной „аудіенціи“, утверждалъ журналы намѣстническаго правленія, выслушивалъ доклады, во время которыхъ, подражая Потемкину, грызъ ногти, катался на своихъ любимыхъ „королькахъ“—маленькія, изящныя лошадки, чудилъ „по-потемкински“, то-есть гонялъ иногда курьеровъ за „тѣстомъ калужскимъ“, которое любилъ Потемкинъ, въ Калугу, но не для Потемкина, а для себя, гонялъ и въ Вязьму за „бубликами“ и такъ далѣе.

О покупкѣ хлѣба для Петербурга, хотя и отдалъ приказъ, но скоро и объ этомъ забылъ, а больше, по вечерамъ, въ дворянскомъ собраніи, волочился за хорошенькими „дворяночками“... „Мадамъ“, „мадемуазель“, „у насъ въ Петербургѣ“, „при дворѣ“, „сама императрица“, „мой другъ свѣтлѣйшій“—только и раздавалось по собранію.

Но больше всего ему нравились „аудіенціи“: тутъ онъ окончательно подавлялъ всѣхъ царственнымъ величіемъ и „екатеринскою очаровательностію“... Выходы къ „аудіенціи“ совершались съ такою неизмѣнною помпою: когда просители и чающіе „представиться“ собирались въ залу и наступалъ назначенный часъ „выхода“, то по звонку изъ внутреннихъ апартаментовъ два ливрейныхъ офиціанта, въ пудрѣ, башмакахъ, съ нашивками на всѣхъ частяхъ тѣла, въ огромныхъ треуголкахъ и съ булавами, отворяли настежъ двери изъ гостиной съ такимъ трепетомъ, какъ будто бы оттуда долженъ былъ выйти огонь небесный и всѣхъ пожрать: тогда изъ дверей выступали два новыхъ офиціанта, но безъ шляпъ, а лишь съ глупыми, то-есть важными лицами, а за ними уже—слегка улыбающійся отъ этой дурацкой церемоніи, Веницеевъ несъ портфель, не подъ мышкою—этого не дозволялось—а впереди, словно евангеліе, выносилъ дьяконъ, либо скинію завѣта несли трепетные левиты... За этою скиніею уже выступалъ, словно журавль въ болотѣ, самъ Кречетниковъ: онъ потому напоминалъ журавля, что тонкія ноги его всегда были обтянуты

шолковыми чулками, а башмаки съ золотыми пряжками висились на тонкихъ, какъ у китайнокъ, красныхъ каблукахъ.

Въ утро описываемаго нами дня, въ пріемной залѣ намѣстника толпилось очень много чающихъ: тутъ были и военные, и статскіе, мужчины и женщины, и въ числѣ послѣднихъ виднѣлось не одно молодое, красивенькое личико. Дежурный чиновникъ обходилъ всѣхъ просителей и не-просителей, спрашивалъ ихъ имена и мѣстожительства и записывалъ въ свою памятную книжку. Тѣ, которые были въ этой залѣ въ первый разъ, съ удивленіемъ, а иные со страхомъ, посматривали на царскій тронъ, стоявшій по срединѣ комнаты и осѣняемый балдахиномъ съ золотымъ двуглавымъ орломъ и кистями: на тронѣ помѣщался мраморный бюстъ императрицы въ лавровомъ вѣнкѣ.

— Ваше званіе и фамилія?—спросилъ дежурный чиновникъ, подходя къ одному просителю, стоявшему сзади всѣхъ въ статскомъ платьѣ.

— Свободный художникъ Сбавъ-Спеси изъ Петербурга,—отвѣчалъ статскій.

— Какъ-съ?

— Сбавъ-Спеси, сударь... Моя фамилія малороссійская.

Дежурный чиновникъ записалъ.

— А по какому дѣлу?

— По порученію свѣтлѣйшаго князя Потемкина-Таврическаго.

— Къ его превосходительству Михайлу Никитичу?

— Нѣтъ-съ... Къ одному зазнавшемуся дураку...

Чиновникъ не зналъ, какъ понять подобную штуку, и съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на дерзкаго незнакомца. Но этотъ послѣдній преспокойно вынулъ изъ-за кафтанныго борта бумагу и подалъ изумленному чиновнику. Тотъ развернулъ, читаетъ, ничего не можетъ сразу понять... Бланкъ дѣйствительно Потемкина... „Свободному художнику Сбавъ-Спеси“,—бормочетъ чиновникъ, пробѣгая бумагу: „поручаю вамъ немедленно отправиться въ Тульскую губернію къ извѣстному вамъ зазнавшемуся дураку и снять съ него портретъ“...

Чиновникъ еще болѣе недоумѣваетъ... Но на бумагѣ печать—гербовая именная печать свѣтлѣйшаго и его собственоручная подпись... Эта подпись ему знакома... Что жъ бы это значило?... Ясно, что это одна изъ тысячи причудъ свѣтлѣйшаго, которому и Михайло Никитичъ сталъ подражать.

Въ этотъ моментъ изъ внутреннихъ покоевъ раздался звонокъ. Дежурный чиновникъ, сунувъ незнакомцу его странную бумагу, поспѣшилъ къ своему посту—къ столу у окна.

Просители торопливо становились на мѣсто, оправлялись, откашливались. Военные старались молодцовато выпятить грудь, какъ будто у нихъ тамъ дѣлалось стѣсненіе. Дамы обдергивались, охорашивались по своему, словно птички передъ полетомъ. „Свободный художникъ“ стушевался гдѣ-то назадъ...

Одновременно съ этимъ, первые два офиціанта бурно распахнули обѣ половинки двери, точно оттуда долженъ былъ выбѣжать кто-нибудь бѣше-

Видѣніе въ публичной библіотекѣ

ИСТОРИЧЕСКІЙ СОНЪ.

I would recall a vision which I dream'd
Perchance in sleep...

(Byron „The dream“).

Ясный, тихій іюльскій день клонится къ такому же ясному, тихому вечеру. Спускающееся гдѣ-то тамъ за финляндскимъ горизонтомъ солнце обливаетъ червоннымъ золотомъ массивный куполъ Исаакія, острые шпицы адмиралтейства и Петропавловскаго собора. Вдоль Невскаго тянутся непривычныя для глазъ свѣтловыя полосы отъ правой стороны къ лѣвой, а гигантская тѣнь отъ публичной библіотеки все вырастаетъ и тянется все дальше и дальше.

Тихо въ публичной библіотекѣ. Время стоитъ лѣтнее, жаркое. Учащаяся молодежь еще не съѣзжалась къ пріемнымъ экзаменамъ—набирается силъ среди родныхъ полей и лѣсовъ; остальная петербургская интеллигенція отдыхаетъ по дачамъ, по деревнямъ, на водахъ; ученые люди дѣлаютъ свои лѣтнія ученыя экскурсіи; въ Петербургѣ остаются только товарищи министровъ, наборщики да дворники. Читальныя залы и отдѣленія публичной библіотеки пусты. Оттого и тихо такъ.

Только въ ларинской залѣ надъ большимъ столомъ наклонилась сѣдая борода и шуршитъ жесткими, пожелтѣвшими листьями старой книги. Въ „Россика“, въ углу, виднѣется классическая фигура сиящаго сторожа. Тихо кругомъ, такъ тихо, точно на кладбищѣ. Да это и въ самомъ дѣлѣ великое, міровое кладбище головъ человѣческихъ—геніальныхъ, умныхъ и—уввы! глупыхъ. Только извнѣ въ это тихое пристанище смерти и безсмертія доносятся неясные отзвуки жизни. То задребезжитъ нетерпѣливый звонокъ конки, то прогремываетъ по глухому торцу извозчичья карета, то отзовется гдѣ-то гармоника,—и опять все тихо. На карнизахъ, за окнами голуби хлопаютъ крыльями объ стѣны и гнусливо воркуютъ. То прорѣжетъ воздухъ рѣзкій пискъ стрижей, и словно растаетъ въ этомъ же воздухѣ.

Какъ тихо, какъ хорошо, какъ задумчиво работается среди этого могильнаго уединенія, лѣтомъ, въ нашемъ драгоцѣнномъ книгохранилищѣ! Только тотъ, кто работалъ въ немъ лѣтомъ и раздумывался надъ отшед-

шею въ вѣчность жизнью и мыслью людей, имена, чувства, дѣянія и помыслы которыхъ какъ бы замурованы, словно египетскія муміи въ катакомбахъ, въ этихъ безконечныхъ рядахъ массивныхъ швацовъ и витринъ—только тотъ пойметъ чистыя наслажденія, даваемые душѣ этой работой, а иногда—и жгучую, обидную тоску о томъ, что все это, отошедшее въ вѣчность, должно было бы быть не тѣмъ, чѣмъ оно было...

Ударъ крыльевъ голубя о стекло выводитъ сѣдую бороду изъ задумчивости. Она встаетъ и разминаетъ окоченѣвшіе отъ продолжительнаго сидѣнья члены.

Влѣво, въ мраморномъ креслѣ, съ обращеннымъ къ западу блѣднымъ лицомъ поκειται мраморный старикъ. Нервное, худое, высохшее до костей лицо его глубоко-задумчиво и глубоко-скорбно, до того скорбно, что оно кажется перекошеннымъ отъ злобы. Но это не злоба, а скорбь, беспросвѣтная, безнадежная за все человѣчество скорбь.

Сѣдая борода тихо, какъ-то робко приближается къ мраморному старику, сидящему въ глубокомъ мраморномъ креслѣ. Костлявыя, худыя руки съ тонкими и крючковатыми, словно когти хищной птицы, пальцами, кажется, безсильно впившись въ мраморъ ручекъ кресла, да такъ и окаменѣли въ своемъ безсиліи. Худое, остроконечное и ссохшееся, какъ у Агриппины-старшей, лицо вытянуто впередъ—словно старикъ что-то созерцаетъ, вслушивается во что-то, что внѣ его слуха, а въ мозгу, что не отъ міра сего, но и отъ этого именно міра. Бѣлки мраморныхъ глазъ кажутся бѣлками слѣпого, который прислушивается къ работѣ своего собственнаго мозга, заключеннаго подъ этимъ мраморнымъ черепомъ. Жидкіе, тонкими прядями волосы обрамляютъ покрытый рѣзкими морщинами геніальный лобъ. Голову обхватываетъ узкая ленточка—ну, сущая Агриппина-старуха! Тонкія губы до того ввалились въ беззубый ротъ и до того сжаты, что, кажется, деснамъ больно, хоть онѣ и мраморныя. Жестко сидѣтъ старику—ужъ онъ слишкомъ долго сидѣлъ на своемъ вѣку, бичуя зло и глупость человѣческую, издавая книгу за книгой, которыя, какъ безпощадная артиллерія, пробивали брешь за брешью въ отжившихъ, но все еще крѣпкихъ, какъ стѣны пеласгійскихъ построекъ, человѣческихъ ложныхъ вѣрованій—и подъ него подложили мраморную подушку, чтобъ ему не жестко было сидѣть и громить старыя стѣны человѣческой глупости.

Сѣдая борода остановилась въ нѣмомъ созерцаніи передъ этимъ страшнымъ старикомъ.

На мраморномъ крылѣ кресла глубоко прорѣзаны рѣзцомъ скульптора слова:

Houdon fecit, 1781 *).

„Такъ вотъ, ты гдѣ, могучій фернейскій отшельникъ. Какъ ты старъ, худъ и безпомощенъ. А не мощнымъ ли дыханіемъ этого беззубаго, ста-

*) Работы Гудона (Гудонъ сдѣлалъ) 1781.

рушечьяго рта ты затушилъ костры инквизиціи, пылавшіе столько столѣтій и приносившіе кровавыя гекатомбы тому доброму Богу, который весь былъ кротость и всепрощеніе? Не твои ли жалкія, костлявыя руки остановили безжалостныя руки палачей, занесенныя въ застѣнкахъ и въ мрачныхъ тюрьмахъ надъ жертвами человѣческой глупости и неправды? Не эти ли слабыя руки расшатали старые порядки всего міра и внесли въ этотъ міръ новый свѣточъ знанія, правды, человѣчности.—А какъ ты теперь жалокъ!—Тебя притащили сюда съ какого-то чердака, гдѣ былъ ты заброшенъ съ старымъ, негоднымъ хламомъ, и помѣстили на почетное мѣсто—рядомъ съ „котомъ царя Алексѣя Михайловича“.

Сѣдая борода подходитъ къ витринѣ, изъ которой выглядываетъ этотъ котикъ „тишайшаго“. Подъ нимъ двѣ подписи—одна по русски, та, что приведена выше, другая—французская, современная самому котiku:

*Le vrai portrait du chat du grand Duc de Moscovie, 1661 *)*.

„Здравствуй, виця. Какъ-то ты терся и мурлыкалъ около державныхъ ногъ „тишайшаго“? хорошо ли исполнялъ свою службу—хорошо ли ловилъ въ царскомъ терему мышекъ, не щадя живота своего? А можетъ и воробышковъ ловилъ вопреки государевымъ указамъ? И по крышамъ гулялъ съ дворскими кошечками? А служилъ ли ты вѣрою и правдою, безъ мотчанья, благовѣрному государю и великому князю Федору Алексѣевичу!—Вѣдь этотъ портретъ снятъ съ тебя какъ разъ въ годъ рожденія этого царевича, и ты вѣрно игралъ съ нимъ въ его царской колыбелькѣ. А дожилъ ли ты, старый котъ, до рожденія благовѣрной царевны Софьи Алексѣевны и благовѣрнаго царевича Петра Алексѣевича?“

Глубоко задумалась сѣдая борода, стоя у витрины съ котикомъ. Вѣдь и портретъ исторической звѣрушки способенъ навести на серьезныя историческія размышленія: для историка—все, всякая тряпка отъ прошлаго, портретъ кота—все это матеріаль, какъ для геолога, зубъ мамонта.

Тѣнь отъ зданія бібліотеки растетъ и тянется все дальше, дальше. Бьетъ восемь часовъ.

Кто-жъ это смотритъ такъ величаво на задумавшуюся сѣдую бороду? Это она—великая—„Семирамида Сѣвера“. Во весь свой царственный ростъ выступаетъ она изъ золотой рамы. Величаво поставилъ ее на своемъ полотнѣ даровитый художникъ. Около нея жертвенникъ съ горящимъ надъ нимъ огнемъ. Около нея книги—слѣды ея царственныхъ работъ и думъ. Атласное, тяжелое бѣлое платье, кажется, скрипитъ у нея на высокой груди отъ дыханія. Горностаевая мантия небрежно спущена съ плечъ и тянется по коврау.

Что выражаетъ ея неувимая улыбка?—А то, что она умнѣ всѣхъ, могущественнѣе, и—какъ женщина—хитрѣе. Значитъ, была хитра, коли одурачила этого мраморнаго старика, этого злюку, ядовитаго язычка кото-

*) Истинное изображеніе (портретъ) кота великаго князя московскаго, 1661.

раго боялась вся Европа. Храповицкій наивно записалъ въ своемъ „Дневникѣ“ эту ея ловкую продѣлку подъ 6-мъ февраля 1791 года: „Австрійцы за насъ не вступятся—говорила Семирамида Сѣвера Храповицкому въ то время, когда тотъ занимался „до поту перлюстраціей“:—имъ обѣщанъ Бѣлградъ отъ прусаковъ, кои, съ согласія Англіи, берутъ себѣ Данцигъ и Торунь.—Я послала письмо къ Циммерману въ Ганноверъ по почтѣ, черезъ Берлинъ, дабы чрезъ то дать знать прусскому королю, что турокъ спасти онъ не можетъ. Я такимъ образомъ смѣнила Шуазеля, переписываясь съ Вольтеромъ“ (Дневникъ Храповицкаго, изд. Барсукова, 357).

Чисто женская продѣлка!—Ловкая Семирамида знала, что и Фридрихъ-Вильгельмъ прусскій занимается въ Берлинѣ, какъ и она сама въ Петербургѣ, „перлюстраціей“ чужихъ писемъ, и непременно прочитаетъ ея коварное письмо къ Циммерману, какъ въ Парижѣ, прежде, читали ея письма къ Вольтеру. А мудрый философъ думалъ, что она пишетъ ему лично: нѣтъ, ей хотѣлось свалить Шуазеля этимъ письмомъ—и она свалила его.

Въ другомъ мѣстѣ, подъ 5-мъ августа того же года, у Храповицкаго записано: „Въ продолженіе разговора я напоминалъ государынѣ о смѣнѣ Шуазеля перепискою съ Вольтеромъ, и что нынѣ по корреспонденціи съ Циммерманомъ смѣнили Герцберга.—И впрямь такъ—изволили сказать:—я и забыла“ (стр. 370).

Гдѣ же помнить всѣхъ, кого вы провели и вывели!

Сѣдая борода стояла передъ портретомъ, стояла, покачала задумчиво головой, и снова присѣла къ столу, гдѣ лежала большая старая книга съ жесткими пожелтѣвшими листами. И опять та же невозмутимая, могильная тишина и тѣ же слабо доносящіеся извнѣ отзвуки жизни—замирающій стукъ экипажей, замирающій въ воздухѣ глухой звонъ далекаго колокола.

Вечерній звонъ, вечерній звонъ!
Какъ много думъ наводитъ онъ...

Далекою стариною, молодостью повѣяло отъ этого стиха, словно отъ засохшаго и полинялаго лепестка розы въ пожелтѣвшемъ отъ времени альбомѣ.

А эти книги на полкахъ, массы книгъ—это тѣ же засохшіе лепестки жизни, слѣды думъ, страданій, счастья: это стоятъ на полкахъ высушенные человѣческія головы, сердца и остовы покойниковъ.

Сѣдая борода, отодвинувъ отъ себя книгу, откинулась на спинку кресла и задумалась. Ни надъ чѣмъ такъ хорошо не думается, какъ надъ умной книгой.

Но что это какъ будто стукнуло тамъ, въ той половинѣ залы, гдѣ сидитъ мраморный старикъ? Нѣтъ, это такъ, это треснулъ на полкѣ гдѣ-то пересохшій переплетъ книги.

Стукъ повторился. Какъ будто скрипнула шашка паркета, другая—и паркетъ пересохъ, какъ кожаный переплетъ книги.

Слышутся какъ будто шаги въ „Россика“. Но это, конечно, сторожъ. Нѣтъ, сторожъ спитъ.

Что же это? Шаги приближаются, медленные, тяжелые шаги. Да, кто-то идетъ.

Сѣдая борода оглядывается туда, откуда приближаются шаги. Что же это такое! Происходить что-то непостижимое, страшное...

Это идетъ тотъ мраморный старикъ, что сидитъ въ мраморномъ креслѣ. Не можетъ быть, чтобы это былъ онъ — мраморъ не можетъ ходить. Но нѣтъ, онъ идетъ: полы мраморной мантии шевелятся; ноги въ мраморныхъ сандаляхъ передвигаются мѣрно и медленно, какъ старческія ноги вообще; голова старика замѣтно трясется, плотно сжатые губы беззвучно шевелятся и безжизненно-мраморные глаза свѣтятся жизнью. Они устремлены впередъ, туда, гдѣ въ золотой рамѣ стоитъ у пылающаго жертвенника Семирамида Сѣвера съ опустившеюся съ плечъ горностаевою мантией.

Что-жъ это такое! Не бредъ ли разстроеннаго воображенія? Не сонъ ли? Нѣтъ, вонъ голуби попрежнему воркуютъ за окномъ и шуршатъ о карнизъ крыльями; съ Невскаго доносится глухой гулъ удаляющихся экипажей; все тотъ же вечерній звонъ доносится откуда-то издалека и точно таетъ въ воздухѣ.

Зашуршало что-то вправо и словно стѣна дрогнула. Это дрогнула золотая рама, задрожало полотно и отъ него медленно, неслышно отдѣлилась женщина въ горностаевой мантии: она вышла изъ полотна и какъ тѣнь сошла на полъ, шурша складками атласнаго платья.

Вотъ она двигается, волоча за собою горностаевую мантию. На лицѣ — все та же привѣтливая, но загадочная улыбка.

И мраморный старикъ, и женщина въ горностаевой мантии сближаются, идутъ на встрѣчу другъ другу. И лицо мраморнаго старика скривилось улыбкой. Опущенныя руки поднимаются и почтительно складываются у сердца, дрожащая голова низко наклоняется.

— Ah! c'est vous. mon philosophe *)! — слышится тихій, ласкающій голосъ.

— C'est moi, madame! C'est moi qui salue la grande Semiramis du Nord **)! — шепчутъ мраморныя губы.

— Какая счастливая встрѣча! Что привело васъ въ мое скромное царство? А меня еще такъ огорчало было ваше письмо къ князю Голицыну, въ которомъ вы писали обо мнѣ: „Où est le temps que je n'avais que soixante et dix ans? J'aurais couru l'admirer! Où est le temps que j'avais encore de la voix! Je l'aurais chantée sur tout le chemin du pied des Alpes à la mer d'Archangel ***)! А теперь вы пришли ко мнѣ — какъ я рада!

*) А! это вы, мой философъ!

**) Это я, государыня! Я привѣтствую великую Семирамиду Сѣвера-

***) Гдѣ то время, когда мнѣ было только семьдесятъ лѣтъ? Я пришелъ бы, чтобы удивляться ей! Гдѣ то время, когда у меня еще былъ голосъ! Я воспѣлъ бы ее на всемъ пространствѣ отъ подножія Альпъ до Архангельскаго моря.

— Да, государыня, я пришелъ къ вамъ, несмотря на мои годы: меня давно манила къ себѣ великая сѣверная звѣзда... Я имѣлъ счастье писать вашему величеству: „C'est maintenant vers l'étoile du nord qu'il faut que tous les yeux se tournent. Votre majesté impériale a trouvé un chemin vers la gloire inconnue avant elle à tous les autres souverains! *)—и вотъ я у вашихъ ногъ.

Что-то захрустѣло въ родѣ костей — и мраморный старикъ опустился на колѣни.

— О! встаньте, встаньте! Не вамъ склонять передо мною ваши достойныя колѣни: весь міръ долженъ склониться передъ вашимъ гениемъ.

И она тихо положила руку на мраморное плечо старика.

— Встаньте!

И старикъ, стуча костями и мраморомъ, всталъ.

— Я повинуюсь вашему величеству. Но вспомните, что я писалъ вамъ, когда вы любезно приглашали меня на вашу карусель: „La reine Faëstrix ne donna jamais de carrouzel, elle alla cajoler Alexandre le Grand, mais Alexandre serait venu vous faire la cour **)*“.

— И вы пришли вмѣсто него? Это очень любезно съ вашей стороны.

— Смѣю ли я, государыня, такъ думать! Я скромный отшельникъ Фернея, жалкій старикъ.

— Не говорите такъ! Весь міръ вамъ рукоплещетъ...

— Рукоплескалъ, государыня... Теперь міръ рукоплещетъ — только вамъ!

— Oh! vous me cajolez, mon philosophe ***).

— Non, madame, tout le monde, tout l'univers vous cajole ****)!

— О! вы непобѣдимы...

— На словахъ, государыня, только... А вы...

— Что я! слабая женщина... Не будь у меня друзей такихъ, какъ вы, я была бы ничто... Помните, я писала вамъ по поводу вашихъ словъ объ Александрѣ Македонскомъ: „По истинѣ, государь мой, я болѣе дорожу вашими сочиненіями, чѣмъ всѣми подвигами Александра, и ваши письма доставляютъ мнѣ болѣе удовольствія, чѣмъ угодливость, которую бы мнѣ оказалъ этотъ государь“.

— Вы слишкомъ милостивы, государыня, — ослабляется беззубый ротъ.

— О, нѣтъ! я только справедлива. Вы же ко мнѣ, дѣйствительно, болѣе чѣмъ милостивы.

— Чѣмъ же, ваше величество?

*) Теперь всѣ взоры должны обратиться къ звѣздѣ Сѣвера. Ваше императорское величество нашли путь къ славѣ, доселѣ невѣдомой всѣмъ прочимъ государямъ!

**) Царица Фелестрина никогда не устраивала каруселей, — она приходила только льстить Александру Великому; но Александръ самъ явился бы къ вамъ, чтобы ухаживать за вами.

***) О! вы мнѣ льстите, мой философъ.

****) Нѣтъ, государыня, — весь міръ, вся вселенная льститъ вамъ!

— А хоть бы вашими письмами къ князю Голицыну.

— А развѣ онъ давалъ ихъ читать вамъ, государыня?

По лицу вопрошаемой скользнула неувидимая тѣнь и спряталась въ глазахъ.

— Да, показывалъ.

Но лицо ея говорило не то, что говорили уста. Въ ея тонкой улыбкѣ скользила картина, перенесшая ее въ прошлое, въ ея кабинетъ: у окна стоятъ Левушка Нарышкинъ и ловить муху, а въ сторонѣ, у особаго столика, сидитъ Храповицкій и, утирая фуляромъ красное вспотѣвшее лицо, перлюстрируетъ письма Вольтера къ князю Голицыну; сама же она сидитъ за своимъ письменнымъ столомъ и пишетъ тайное посланіе Фридриху прусскому о раздѣлѣ Польши: „*Tout cela, monsieur mon frère, me confirme dans le sentiment que pour aller à jeu sûr, il sera plus convenable—de rendre mon parti en Pologne supérieur par une somme considérable—pour acheter cet état qui n'attend que des marchands pour se vendre *)*“.

— Да, — повторила она съ тою же загадочною улыбкой: — я читала ваши письма къ князю Голицыну. Еще въ одномъ вы обращаетесь къ поэту Томасу.

— Помню, помню, государыня.

— И говорите: „*M-r Thomas! vous qui êtes jeune et qui avez meilleure voix que moi, vous avez déjà célébré Pierre I en trois chants, je vous en demande un quatrième pour Catherine Seconde **)*“.

— Это правда, государыня.

— Но я продолжаю утверждать, что вы больше приписываете мнѣ, чѣмъ я заслужила. Вы пишете Голицыну: „*Le titre de mère de la patrie restera à l'impératrice malgré elle. Pour moi, si elle vient à tout d'inspirer la tolérance aux autres princes, je l'appellerai la bienfaitrice du genre humain ***)*“.

— Oui, madame! c'est vrai ****), — лукаво улыбается старикъ.

— Нѣтъ, это слишкомъ много. Вы даже говорите тамъ, что le mérite

*) Все это, государь, братъ мой, укрѣпляетъ меня въ сознаніи, что для того, чтобы идти на вѣрную игру, слѣдуетъ только дать моей партіи въ Польшѣ перевѣсъ съ помощью суммы, достаточной для того, чтобы купить эту страну, которая ждетъ только покупателей, чтобы продаться имъ.

**) Г. Томасъ! вы, у котораго есть молодость и голосъ лучше моего — вы уже прославили Петра I въ трехъ гимнахъ: я прошу у васъ четвертаго — для Екатерины Второй!

***) Титулъ Матери отечества останется за императрицею даже вопреки ея волѣ. Что касается меня, то — если она внушитъ другимъ государямъ такое же милосердіе — я назову ее благодѣтельницею рода человѣческаго.

****) Да, государыня, — это правда.

des français est qu'on célèbre mes louanges dans leur langue qui est devenue, je ne sais comment, celle de l'Europe *).

— Но это правда, государыня,—улыбается лукавый старикъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Изъ угожденія мнѣ вы унижаете Францію и весь Западъ. Когда я васъ спрашивала, сожжена ли книга аббата Базэна, вы отвѣчали, что еще нѣтъ, и прибавили, будто бы во Франціи подозрѣваютъ, что книга написана въ Россіи, ибо истина, какъ вы выразились, приходитъ съ Сѣвера, съ Запада же только бездѣлушки—„la vérité vient du Nord, comme les colifichets vient—de l'Occident **“).

— И здѣсь я не преувеличилъ, государыня.

— О вы слишкомъ добры къ намъ, сѣвернымъ варварамъ.

— Mais non, madame ***)! Я повторяю ваши слова: „я только справедливъ“.

— Даже тогда,—съ ярко блеснувшимъ взоромъ перебила она его,—когда предсказывали, что мои подданные будутъ ставить мнѣ храмы, какъ божеству?

— Даже и тогда, государыня.

— А помните, что я отвѣчала вамъ на это?

— Простите, всемилостивѣйшая государыня, забылъ,—вѣдь я такъ старъ.

— Такъ я напоминаю вамъ. Я отвѣчала: „Отъ всякаго другого, кромѣ васъ и вашихъ достойныхъ друзей, я не желала бы быть поставленною въ число тѣхъ, которыхъ такъ давно боютворило человечество. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни мало во мнѣ самолюбія...“

На этомъ словѣ она точно поперхнулась, а старикъ закашлялся...

— Но,—продолжала она, поразмысливъ,—невозможно желать видѣть себя приравненною лотосамъ, луковницамъ, кошкамъ, телятамъ, шкурамъ звѣрей, змѣямъ, крокодиламъ и всякаго рода животнымъ. Послѣ такого исчисленія, какой человѣкъ пожелаетъ храмовъ! Нѣтъ, лучше оставьте меня на землѣ—я лучше хочу получать ваши и вашихъ друзей письма—Даламберовъ, Дидеротовъ и другихъ энциклопедистовъ...

Въ этотъ моментъ въ „Россика“ что-то зашуршало. Изъ какого-то шкафа тихо выѣзла человѣческая фигура, въ форменномъ камзолѣ и въ парикѣ. Ба! да это старый знакомый, добрейшій Степанъ Ивановичъ Шешковскій. Услыхавъ слово „энциклопедисты“, онъ сейчасъ догадался, что ему, вѣрно, предстоитъ „дѣло“—кого-нибудь „взять“ и „допросить“. Онъ спрятался за спящаго сторожа и выжидалъ удобной минуты. Но онъ жестоко ошибся, услышавъ послѣдующій разговоръ женщины въ горностаевой мантии съ морнымъ старикомъ.

*) Заслуга французовъ состоитъ въ томъ, что они воздаютъ мнѣ хвалу на своемъ языкѣ, который сдѣлался, я не знаю почему, языкомъ всей Европы.

**) Истина приходитъ съ Сѣвера, подобно тому какъ бездѣлушки—съ Запада!

***), Нѣтъ, государыня.

— А подвигается ли дѣло съ печатаніемъ энциклопедіи? — спросила первая.

— Нѣтъ, государыня.

— Почему же?

— Не позволяютъ продолжать.

— О, какая жестокая несправедливость! Повѣрьте мнѣ, всѣ чудеса на свѣтѣ не въ состояніи смыть пятна отъ помѣшательства печатанію энциклопедіи *).

— Что дѣлать, государыня! Не всѣ такъ смотрятъ на печать, какъ вы, либеральнѣйшая и мудрѣйшая изъ владыкъ міра.

— Правда, государь мой, я глубоко убѣждена, что свобода печати — великое благо народовъ.

— Къ сожалѣнію, государыня, не всѣ такъ думаютъ.

— Да, истинно жаль... И энциклопедисты преслѣдуются?

— Преслѣдуются, государыня.

— Oh, malheur aux persécuteurs! **) — воскликнула она страстно. Шешковскій вздрогнулъ и поблѣднѣлъ.

— Malheur aux persécuteurs! — повторила женщина въ мантии: „они заслуживаютъ того, чтобъ ихъ помѣстили въ разрядъ тѣхъ божествъ, о которыхъ я говорила — змѣй, крокодиловъ и дикихъ звѣрей: вотъ ихъ истинное мѣсто“ ***).

При послѣднихъ словахъ, Шешковскій, блѣдный какъ полотно, снова скрылся въ шкафъ.

У ногъ женщины въ горностаевой мантии послышался шорохъ. Она оглянулась. У подола ея, шурша атласнымъ платьемъ и выгибая пушистую спинку, терся и ласково мурлыкалъ котикъ царя Алексѣя Михайловича,

— А, это ты, кидя! — ласково сказала женщина въ мантии.

Мраморный старикъ скорчилъ лукавую улыбку.

— Даже звѣри несутъ дань удивленія вашему величеству.

Она нагнулась, чтобы погладить котика.

— Кисынька! кисынька! — позвала она.

— Кисынька! кисынька! — злобно сверкнувъ глазами, отвѣчалъ ей котъ человѣческимъ голосомъ, и, распушивъ хвостъ, прыгнулъ въ свою витрину.

Въ этотъ моментъ изъ-за полотна въ золотой рамѣ тихо выдвинулись тѣни и стали подвигаться къ женщинѣ въ горностаевой мантии. Но она не видѣла ихъ, стоя лицомъ къ востоку.

— Malheur aux persécuteurs! — проговорилъ какъ бы про себя мраморный старикъ.

— Malheur! malheur! malheur aux persécuteurs! — откликнулись на его слова двигавшіяся къ нему тѣни.

*) Эти слова взяты изъ письма Екатерины II къ Вольтеру.

**) Горе преслѣдователямъ!

***) Тоже изъ письма Екатерины Алексѣевны.

Женщина въ мантии вздрогнула и обернулась.

— Новиковъ и Радищевъ!—чуть слышно прошептала она.

Затѣмъ, гордо поднявъ голову и сдѣлавъ повелительный жестъ рукою, громко сказала:

— Шешковскій!

Степанъ Ивановичъ какъ изъ земли выросъ.

— Что прикажете, ваше императорское величество?

Она жестомъ указала на вытянувшіяся противъ нея тѣни и, не взглянувъ на стоявшаго сзади мраморнаго старика, величественно вошла въ свою золотую раму.

Огонь на жертвенникѣ вспыхнулъ ярко. освѣщая корчившіеся въ пламени листы какихъ-то книгъ, изъ которыхъ на крышкѣ одной ясно вырисовались слова: „Путешествіе изъ С.-Петербурга въ Москву“.

Мраморный старикъ задумчиво воротился въ свое мраморное кресло и снова окаменѣлъ.

— Ваше превосходительство! ваше превосходительство!—раздался голосъ сторожа.

— Что! что такое!—очнулась сѣдая борода.

— Звонятъ-съ, пора уходить, девять часовъ, сейчасъ запрутъ библіотеку.

— А-а! а мнѣ казалось...

Воспоминанія о Шевченкѣ.

Въ издающемся въ Львовѣ журналѣ „Правда“, пісьмо літературно-політичне, рочникъ IX, 1876, въ № 1 и 2, напечатаны „Воспоминанія о Тарасѣ Григорьевичѣ Шевченкѣ“, писанныя очень близкимъ къ покойному поэту лицомъ—Варѣоломеемъ Шевченко, сестра котораго была въ замужествѣ за братомъ поэта, Осипомъ Григорьевичемъ.

Такъ какъ воспоминанія эти представляютъ интересныя свѣдѣнія изъ жизни поэта и, въ особенности, изъ его дѣтства, свѣдѣнія, доселѣ нигдѣ не напечатанныя, а равно нѣкоторыя характеристическія черты, живо обрисовывающія самую личность даровитаго украинца, то мы считаемъ нелишнимъ познакомить съ ними нашихъ читателей въ русскомъ переводѣ (подлинникъ писанъ по-малорусски).

Въ 1828 г. мнѣ было семь лѣтъ, когда отецъ мой отвелъ меня въ школу въ Кириловѣ (Звенигородскаго уѣзда, Кіевской губерніи). Школа помѣщалась въ большой избѣ подлѣ церкви, на площади. Эта изба была ободрана, не обмазана; стекла въ окнахъ разбиты. Отъ сосѣднихъ избъ она развилась только своею величиною да еще тѣмъ, что стояла на отшибѣ, одиноко и безъ двора, а на кириловскій кабакъ не походила только тѣмъ, что содержалась въ большемъ безпорядкѣ, чѣмъ онъ, и болѣе него была запущена. Управляли и распоряжались школою кириловскіе дьячки, Петръ Боюрскій и Андрей Знивеличъ; они же и учили. У каждаго изъ нихъ были свои ученики: я попалъ къ Петру и нашелъ только четырехъ учениковъ, тогда какъ у Андрея ихъ было 18. Въ школѣ, во всю ея ширину, стоялъ длинный столъ, за которымъ и учились вмѣстѣ всѣ школьники и Боюрскаго, и Знивелича. Кому не доставало мѣста за столомъ, тотъ сидѣлъ просто на полу. Наставники наши не очень заботились о нашемъ ученіи: бывало, цо два, а то и по три дня они не заглядывали въ школу. Умолчу о томъ, гдѣ проводили они эти дни; прибавлю лишь, что когда они навѣдывались въ школу, то мы дрожали отъ страха, какъ листья на осинѣ; трепетали мы, ожидая своихъ наставниковъ и не зная, въ

какомъ расположеніи духа явятся они въ школу. Мы держались крѣпко одного—не высматривать учителей, ибо всѣ мы вѣрили, что въ такомъ случаѣ учитель непременно будетъ сердить, и тогда—горе учащимся!..

Каждый школьникъ былъ обязанъ въ сосѣднемъ саду Грицка Пьянаго нарѣзать (извѣстно, тайкомъ, чтобъ не увидѣлъ хозяинъ) вишневыхъ розогъ и принести ихъ въ школу, дожидаясь, пока будетъ этими розгами высѣченъ. Сѣкли же насъ и, часто и сильно! Несѣчнымъ оставался лишь тотъ, до котораго не дойдетъ очередь, потому что учитель, утомясь сѣченьемъ, ляжетъ, бывало, отдыхать. Когда же, бывало, учитель явится въ школу въ добромъ духѣ, то выстроитъ насъ всѣхъ въ рядъ и спрашиваетъ: „А что, мальчуганы! страшенъ я вамъ? боитесь вы меня?“ По его приказанію, мы должны были всѣ въ одинъ голосъ гаркнуть: „нѣтъ, не боимся!“ — „И я васъ тоже не боюсь“, шутилъ учитель, распуская насъ по домамъ и ложась спать.

Мало ли что можно поразсказать объ этой незабвенной для меня школѣ, да врядъ ли это кого интересуешь, кромѣ меня и моихъ товарищей, изъ которыхъ едва-ли насчитаешь два-три человека, что выучились въ школѣ читать. Всѣ они возвращались къ сохѣ и боронѣ съ такою же грамотностью, съ какой въ первый разъ входили въ школу. Моя рѣчь не о ней; я вспомнилъ ее только потому, что тамъ я впервые услышалъ про Тараса Шевченко.

Какъ-то разъ учитель былъ крѣпко сердить и пересѣкъ большую половину учениковъ. Положили старшаго изъ всѣхъ (давно уже умершаго), Василя Крицкаго. Вставши изъ-подъ розогъ и оправляя штаны, Крицкій сказалъ: „Эхъ! нѣтъ на тебя Тараса!“ Услышавъ это, учитель еще больше разсвирѣпѣлъ: снова разложили и снова принялись драть Крицкаго.

Этотъ случай на меня, какъ на новичка, произвелъ большое впечатлѣніе; дѣтское сердце мое страстно захотѣло довѣдаться, что это за Тарасъ такой, котораго нельзя и помянуть въ школѣ. Вышедъ изъ школы вмѣстѣ съ Крицкимъ, я спросилъ его про Тараса. Крицкій разсказалъ мнѣ, что въ школѣ не очень давно учился школьникъ, Тарасъ Грушевскій—это уличное прозвище Шевченко; разъ учитель пришелъ очень пьяный, Тарасъ его связалъ и высѣкъ розгами, а самъ бросилъ школу и теперь гдѣ-то во дворѣ у барина. Крицкій прибавилъ еще, что Тарасъ любилъ рисовать, и что рисунки его есть у школьнаго его товарища, Тараса Гончаренко. Вскорѣ я зашелъ къ Гончаренкѣ и видѣлъ эти рисунки Тараса Грушевскаго, налѣпленные на стѣнахъ избы: тутъ были и кони, и солдаты, нарисованные на грубой сѣрой бумагѣ.

Послѣ того я, кажется, до 1837 г. ничего не слыхалъ про Т. Г. до тѣхъ поръ, пока братъ его, Никита, пришедши разъ ко мнѣ, просилъ написать отъ него письмо къ Тарасу. Тогда я узналъ, что онъ живетъ въ Петербургѣ и учится живописи. Когда я писалъ это письмо—не знаю съ чего и какъ,—мнѣ захотѣлось и отъ себя приписать ему поклонъ. Черезъ нѣсколько времени Никита опять пришелъ просить меня прочесть ему

отвѣтное письмо, полученное имъ отъ Тараса. Онъ передавалъ поклонъ и мнѣ. Это было наше первое заочное знакомство.

Всѣ письма къ Никитѣ Тарасъ писалъ по-малороссійски; я и подумалъ, что онъ дѣлаетъ это потому, что считаетъ насъ дураками, непонимающими русскаго языка. Меня это обидѣло, но я объ этомъ никому не сказалъ ни слова; а Никита просто-на-просто разсердился и просилъ, чтобъ я написалъ это Тарасу. Не припомню хорошенько, что, именно, написалъ я на такую тему. Мало-по-малу затѣмъ иногда, хоть и рѣдко, Тарасъ писалъ ко мнѣ, прося передать братьямъ его то то, то другое. Очень жаль, что я не сохранилъ его первыхъ писемъ. Помню хорошо одно: узналъ Тарасъ, что маляръ, Ѳедоръ Бойко, женатый на его сестрѣ, началъ не въ мѣру пить и съ пьяныхъ глазъ обижаетъ свою жену, сестру Тараса. Вотъ и пишетъ онъ черезъ меня Никитѣ такое письмо: „скажи этому поганому маляру, если онъ не броситъ пить да бить сестру, такъ ей-богу угодить въ солдаты“. Помню еще, что въ одномъ изъ писемъ ко мнѣ Тарасъ прибавилъ: „скажи брату Никитѣ, когда будетъ ко мнѣ писать, такъ пусть пишетъ по-нашему, потому что иначе и читать не стану: мнѣ и безъ того вся эта московщина огадила“. Тогда я понялъ, что ему хочется хоть изрѣдка помѣняться роднымъ словомъ; съ тѣхъ поръ я всякій разъ писалъ уже ему по-нашему.

Навѣрно не припомню, когда, именно, мы познакомились съ Тарасомъ лично; кажется, онъ два раза пріѣзжалъ въ Кирилловку, но меня, точно на зло, оба раза тамъ не было,— я ѣздилъ въ Одессу. Хорошо помню, что, напечатавъ въ первый разъ своихъ „Гайдамаковъ“, онъ мнѣ прислалъ ихъ съ надписью: „Братові Варѣоломею Шевченку на завичну знамість“ *). Прочитавъ эту книжку, я мало въ ней понялъ, ибо совсѣмъ не зналъ исторіи Украины; я только плакалъ, читая о тѣхъ народныхъ страданіяхъ украинцевъ и притѣсненіяхъ со стороны жидовъ и поляковъ, которыя вызвали гайдамачину. Болѣе всего мнѣ понравилось введеніе: „Все йде, все минає и краю не має“.

Я далъ „Гайдамаковъ“ прочитать моему хорошему пріятелю (теперь уже покойнику), Якову Чоповскому, жившему тогда въ Звенигородкѣ. Тотъ, возвращая книгу, объяснилъ мнѣ, о чемъ въ ней идетъ рѣчь, какъ и что... Я написалъ Тарасу, совѣтуя ему не выступатьъ съ такими произведеніями; это письмо мое онъ отдалъ Виктору Забѣлѣ... Такъ я полагаю, потому что Забѣла, пріѣхавъ въ Каневъ, когда мы хоронили Тараса, показывалъ мнѣ это письмо. Помнится, въ 1844 г. Тарасъ опять пріѣхалъ въ Кирилловку и прямо ко мнѣ, меня не было дома; разузнавъ, гдѣ я, Тарасъ пришелъ ко мнѣ въ главную контору имѣній Энгельгардта. Взошелъ въ избу, гдѣ я сидѣлъ, Тарасъ обнялъ меня, поцѣловалъ и сказалъ: „вотъ тебѣ родня“. Въ то время мы и въ самомъ дѣлѣ породнились, потому что его братъ Осипъ женился на моей сестрѣ.

*) Эту книжку у меня добрые люди зачитали.

Тарасъ звалъ меня къ себѣ, въ избу своего брата Никиты, но на бѣду у меня въ ту пору была работа въ конторѣ, и, чтобы ее отложить, нужно было спрашиваться у „начальства“. Я не посмѣлъ, а Тарасу ждать было некогда, и онъ уѣхалъ изъ Кирилловки, не повидавшись со мною болѣе.

Вскорѣ, впрочемъ, уже въ 1845 г., Тарасъ снова былъ въ Кирилловкѣ, и на этотъ разъ мнѣ удалось поговорить съ нимъ. Случилось это въ храмовой праздникъ кирилловской церкви, на Ивана Богослова (26 сентября). Церковный ктиторъ, Игнатій Бондаренко, пригласилъ насъ къ себѣ на медъ. День былъ теплый, ясный; у ктитора было много народу, и мы, усѣвшись въ саду, подъ яблоней, потягивали медъ (объ этомъ медѣ Тарасъ и послѣ вспоминалъ въ письмахъ). У ктитора бражничалъ какой-то слѣпой гуслирь; Тарасъ сейчасъ къ нему: „пой думы“. Тотъ никакихъ думъ не зналъ, Тарасъ сталъ просить его пѣть пѣсни, а самъ ему подтягивалъ. Потомъ гуслирь заигралъ „казачка“, Тарасъ подговорилъ бабъ и дѣвокъ,—и пошла пляска.

Разъ ходили мы съ Тарасомъ по саду, онъ началъ декламировать: „за горами горы хмарами повиті“... Я слушалъ, притаивъ дыханіе, волосы у меня поднялись дыбомъ! Я сталъ совѣтовать ему, чтобы онъ не слишкомъ забираяся за „хмары“-то... А онъ сталъ показывать мнѣ какіе-то портреты и говорилъ, что это все его пріятели, что всѣ они сговорились работать для народнаго просвѣщенія. Эта работа должна была идти такимъ путемъ: каждый изъ нихъ, сообразно съ своими достатками, назначалъ сумму, какую онъ можетъ внести въ общественную кассу. Кассою заправляетъ выборная администрація, касса пополняется какъ взносами, такъ и процентами, а какъ возрастетъ достаточно, тогда и будутъ изъ нея выдавать бѣднымъ людямъ, которые, окончивъ курсъ гимназическій, не въ состояніи поступить въ университетъ. Тотъ, кто бралъ это вспомошествованіе, обязывался, по окончаніи университетскаго курса, служить шесть лѣтъ сельскимъ учителемъ. Сельскимъ учителямъ предполагалось у казны и у дворянъ-помѣщиковъ выхлопотать плату; а если эта плата окажется недостаточною, то прибавлять изъ кассы. Я спросилъ Тараса,—какимъ же путемъ можно дѣлать, чтобы правительство дало разрѣшеніе заводить по селамъ школы? Онъ отвѣчалъ, что это сдѣлается очень просто: по казачьимъ и казеннымъ селамъ правительство школъ не запрещаетъ, а завести ихъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ—надо склонить помѣщиковъ. Тарасъ прибавилъ, что мысль, какъ бы по всей Украинѣ завести хорошія школы, родилась у него еще тогда, когда онъ былъ въ Кирилловской.

Дума о необразованности нашего народа и о необходимости просвѣтить его давно сидѣла и у меня въ головѣ; слова Тараса меня очень обрадовали, но мнѣ показалось, что, заботясь о народномъ просвѣщеніи, не слѣдовало бы создавать такія вещи, какъ „за горами горы“. Тарасъ задумался, долго ходилъ онъ по саду, опустивъ голову, и до самаго вечера я не добился отъ него, кромѣ „ні“ или „а вже пакъ такъ“. Пришедши

вечеромъ въ избу, онъ сѣлъ къ столу и склонился на свою толстую палку, (которую кто-то прислалъ ему съ Кавказа.— Долго сидѣлъ онъ такъ молча, да ужъ жена моя спросила.

— Что вы это такой скучный, Тарасъ Григорьевичъ? Или вамъ что-нибудь непріятно?

— Нѣтъ, сестра,—отвѣтилъ онъ:—такъ... Не одно у меня въ головѣ...

Здѣсь надо прибавить, что Тарасъ имѣлъ необыкновенный даръ слова: начнетъ, бывало, что рассказывать, всѣ его слушаютъ молча, точно какого проповѣдника.

Изъ Кириловки онъ поѣхалъ въ Кіевъ. Братья проводили его до кабака и затащили его выпить на прощанье.

Выпили больше, чѣмъ требовалось, и вышло вотъ что: жидъ шинкаръ началъ бранить какого-то крестьянина, Тарасъ не вытерпѣлъ: „Чего глядите, ребята! Растяните жида да и вздуйте“. Эти слова, какъ огонь, разожгли парней. Не успѣлъ жидъ глазомъ моргнуть, какъ его разложили, въ одинъ мигъ явились розги, и сѣкли жида до тѣхъ поръ, пока Тарасъ сказалъ: „будетъ“. Нечего говорить, что изъ-за этого жида сдѣлали цѣлый „бунтъ“. Пошли доносы, что Шевченко проповѣдуетъ Коліевщину и для начала, набравъ сто человѣкъ поселянъ, хотѣлъ вырѣзать всѣхъ жидовъ въ Кириловкѣ!.. Полиція стала на дыбы, однако, кончилось тѣмъ, что Тарасовы братья откупились и заслонили собой тѣхъ, которые принимали участіе въ жидовской поркѣ.

Тарасъ не любилъ рассказывать про свое прошедшее, и я, замѣтивъ это, старался не удовлетворять моего любопытства, спрашивая его и тѣмъ нарушая его душевное спокойствіе. А все-таки его прошедшее сильно меня занимало. Бывало, какъ встрѣтимся (а встрѣчались мы до его ссылки очень рѣдко), такъ я и начну ему рассказывать мое минувшее. Разъ я ему говорилъ, какъ, желая учиться и знать, мнѣ приходилось гнуть спину передъ каждымъ, у кого можно было достать книжку. „Такъ, братецъ, такъ!“—отвѣчалъ на это Тарасъ:—„и я знакомился и дружился сначала со сторожами, а потомъ съ мелкими чиновниками, покуда бокомъ да скокомъ пробрался въ эту святыню науки! За то же, какъ сдалъ экзаменъ, такъ натворилъ такого, что стыдно теперь и вспомнить! Да!.. сдалъ я экзаменъ да какъ загулялъ, такъ опамятовался только тогда, когда моей гульбѣ минуло два мѣсяца! Прочухавшись, лежу я себѣ утромъ да и думаю: а что жъ теперь дѣлать? Какъ глядь! хозяйка вошла да и говоритъ: „Тарасъ Григорьевичъ! мнѣ больше нечѣмъ воевать! мнѣ съ васъ слѣдуетъ за два мѣсяца за квартиру, столъ и прачку. Либо давайте деньги, либо ужъ не знаю, что съ вами и дѣлать“. Я попросилъ немножко подождать, а самъ задумался, что и впрямь дѣлать? Только ушла хозяйка, приходятъ приказчики, одинъ за другимъ, да все то за деньгами: „пожалуйте, говорятъ, по счету-съ“. Что тутъ подѣлаешь! Беру „сметцы“ и говорю: „ладно! оставьте счета, я пересмотрю и пришлю деньги, а себѣ на умѣ: когда-то пришлю и откуда денегъ возьму? Только я это думаю,

вдругъ приходитъ ко мнѣ Полевой и говорить, что думаетъ издать „12 русскихъ полководцевъ“, такъ чтобъ я ему ихъ портреты нарисовалъ. Обрадовался я, думаю: правду люди говорятъ—„голенькій охъ, а за голенькимъ Богъ!“ Условились мы съ Полевымъ, далъ мнѣ онъ задатокъ—вотъ этими деньгами, я и выбрался изъ бѣды! да съ тѣхъ поръ и далъ себѣ зарокъ—всякій разъ хозяйкѣ платить за мѣсяцъ впередъ, такъ какъ отлично знаю, что у меня деньги въ кошнѣ никогда не залежатся“.

По отъѣздѣ Тараса изъ Кирилówki въ Кіевъ я долго не имѣлъ о немъ никакихъ извѣстій и уже не скоро узналъ, что его и кое-кого изъ его знакомыхъ посылали куда-то далеко; но куда, за что и какъ—про это никто не могъ дознаться. Ходили всякіе слухи: одинъ сказывалъ другому, каждый свое, каждый потихоньку; но, надо сказать правду, никто вѣрнаго ничего не зналъ.

Сижу я разъ за работою въ кирилóвской конторѣ, слышу звонокъ; смотрю—почтовые лошади и телѣжка; съ нея слѣзъ какой-то немолодой офицеръ, гусаръ, и пошелъ къ главноуправляющему. Немного погодя, и гусаръ, и главноуправляющій пошли въ садъ, а черезъ садъ прямо ко мнѣ, во дворъ... тамъ произвели обыскъ... Чего они искали—и до сихъ поръ не знаю, а потомъ уже главноуправляющій сказывалъ, что тотъ гусаръ его сосѣдъ по имѣнію въ Бѣлоруссіи и что отъ него онъ узналъ навѣрное, что Тараса вправду сослали за то, что хотѣлъ сдѣлаться гетманомъ Малороссіи... Надо замѣтить, что и гусаръ, и главноуправляющій были оба поляки.

Такъ шло время. Ни я, ни Тарасова родня ничего про него не знали; не знали даже, гдѣ бы намъ о немъ справиться, гдѣ бы адресъ его достать...! Напрасно! Соѣдемся, бывало, покручинимся, скажемъ другъ другу, что вичего не знаемъ,—и только. Правда, въ Кіевъ и другіе большіе города я не ѣздилъ, а въ селахъ что и отъ кого узнаешь? Заѣзжала къ намъ „буркова“ шляхта и мсдола всякую всячиву, но все, что ни говорилось, сводилось на то, что Тарасъ хотѣлъ быть гетманомъ и за то его сослали въ Азію. Были и такіе шляхтичи, что говорили: „если бъ Шевченкѣ удалось стать гетманомъ, то' навѣрно тогда воскресла бы и Польша!“... Такъ-то они знали Шевченко и его мысли, и взглядъ на шляхетную Польшу...

Въ 1858 г. я поселился въ Корсуни, и мнѣ случалось ѣздить въ Полтавскую губернію,—тутъ-то отъ все-накихъ господъ я въ первый разъ узналъ, что Тараса помиловали и вернули изъ ссылки. Господи, какъ я обрадовался!.. Но радовался я недолго. Если бъ это была правда, думалъ я, то навѣрное Тарасъ написалъ бы мнѣ. Повидался съ Никитой, передалъ ему, что самъ слышалъ; оба мы и вѣрили, и не вѣрили, и не знали, что дѣлать... какъ вотъ, въ іюнѣ 1859 г., сижу я въ своей избѣ, вижу—прѣхала простая пароконная телѣга; на телѣгѣ кто-то сидитъ съ большими сѣдыми усами, въ парусинномъ сѣромъ пальто и въ лѣтней шляпѣ; вижу—прошелъ онъ мимо двери моей избы съ улицы прямо къ воротамъ. Я подумалъ, что, вѣрно, кто-нибудь изъ ищущихъ себѣ службы

въ экономіяхъ. Однако, сердце у меня тревожно екнуло, и какъ-то инстинктивно я выбѣжалъ на улицу и пошелъ навстрѣчу пріѣзжему, а онъ тѣмъ временемъ успѣлъ уже перейти черезъ дворъ и черезъ другія двери вошелъ въ сѣни; я воротился, смотрю, онъ отворяетъ дверь въ избу и говоритъ мнѣ: „ну, узнавай что-ли!“ Я и не опомнился!.. „Батько ты мій рідный!“ вскрикнулъ я и опрѣметью винулся ему на грудь... Это былъ Тарасъ! Мы молчали да только рыдали, обнявшись, какъ дѣти. Выбѣжала моя жена—и та въ слезы... и въ ту же минуту мы словно всѣ онѣмѣли: словъ не было, только слезы такъ и лились. И молча стояли мы такъ на одномъ мѣстѣ, и рыдали слезами радости, пока не подошелъ Тарасовъ извозчикъ и не спросилъ, что ему дѣлать.

Тарасъ остановился у меня на все время, какое хотѣлъ пробыть на Украинѣ.

„Да, да, брате“, говорилъ мнѣ Тарасъ: „у тебя, у тебя буду я; потому что на всей святой Украинѣ нигдѣ и ни у кого мнѣ не будетъ такъ тепло, какъ у тебя“. Въ то время Тарасъ прожилъ у меня мѣсяца съ два, а можетъ немного и меньше. Это были его послѣднія гостины и у меня, и на Украинѣ... Не довелось намъ больше свидѣться живыми... не такъ ждалось, да такъ сбылось...

Живучи у меня, Тарасъ искренно полюбилъ мою семью, особенно одиннадцатилѣтняго моего сына, Андрея: ѣдетъ, бывало, идетъ ли куда—Тарасъ всегда возьметъ его съ собою. Андрей пѣлъ ему наши пѣсни, которыми Тарасъ, какъ самъ говаривалъ, „упивался“, и рассказывалъ мальчику, что какая пѣсня значитъ.

Лѣтней порой, особенно во время сѣнокоса и жнитва, мнѣ сидѣть было некогда: надо было отъ зари до зари хлопотать около работъ, потому съ Тарасомъ мнѣ приходилось бесѣдовать только тогда, когда ему придетъ, бывало, охота пойти со мной въ поле, или вечеромъ, когда я вернусь рано и онъ еще не легъ спать. Онъ вставалъ ужасно рано: въ 4-мъ часу. Встанетъ и сейчасъ въ садъ, а садъ въ Корсуни (имѣніе князя Лопухина) чудо хорошъ! Мѣсто и само по себѣ, по природѣ, прекрасное; а къ тому же князь не пожалѣлъ денегъ, чтобъ развести свой садъ на диво. Выберетъ, бывало Тарасъ въ этомъ саду какой-нибудь красивѣйшій уголокъ и срисуетъ его на бумагу. Кажется, ни одного уголка въ саду не оставилъ онъ, чтобъ не срисовать въ свой альбомъ. Но поэтическая душа нашего мученика-гусляра любила больше тѣ уголки сада, въ которыхъ человѣческое искусство не замѣняло матери-природы. Ему больше нравились глухіе, густые уголки сада.

Ѣздя со мною по работамъ, Тарасъ всегда старался обратить мое вниманіе на то, чтобъ какъ можно больше заводить машинъ, чтобъ какъ можно меньше дѣлали людскія руки, а больше паръ. При такихъ поѣздкахъ Тарасъ иногда расскажетъ, бывало, кое-что изъ своего тяжкаго житья въ ссылкѣ; но какъ расскажетъ: начнетъ, бывало, скажетъ нѣсколько словъ краткихъ, точно рванныхъ. Да и такіе рассказы случались рѣдко:

Тарасъ не любилъ трогать свое старое горе! Изъ того, что я отъ него слышалъ, мнѣ извѣстно, что вскорѣ послѣ того, какъ онъ вернулся въ Кіевъ, бывши послѣдній разъ до ссылки у меня, его арестовали, отвезли въ Петербургъ и посадили въ Петропавловскую крѣпость; тамъ просидѣлъ онъ мѣсяца четыре *), и оттуда его прямо послали за Араль солдатомъ. Сидя въ крѣпости, Тарасъ отпустилъ бороду, не брился и съ бородою явился за Араль. Разъ ходилъ онъ около Арала и вдругъ встрѣчаетъ казачьяго офицера изъ уральскихъ казаковъ; офицеръ подошелъ къ нему и сталъ просить благословенія, принявъ его за раскольникяго попа; Тарасъ отказывался, увѣрялъ, что онъ не попъ, но офицеръ сталъ божиться и присягать, что про благословеніе его никто на свѣтѣ не узнаетъ; потомъ вынулъ изъ кошелька 25-рублевую бумажку и суетъ ее въ руку Тарасу, прося принять на молитвы. Тарасъ не взялъ деньги и не далъ благословенія. Однако, офицеръ этимъ не удовлетворился и не повѣрилъ, что Тарасъ не попъ, сосланный за Араль правительствомъ. Это происшествіе заставило Тараса поскорѣ сбрить свою бороду.

Черезъ нѣкоторое время прибыла туда экспедиція, снаряженная правительствомъ для описанія Аральскаго моря. Начальникъ экспедиціи, капитанъ Бутаковъ, выпросилъ у Тарасова начальства, чтобъ его отпустили съ нимъ. Начальство долго не разрѣшало, а потомъ отпустило. Тарасъ вспоминалъ всегда Бутакова, какъ человѣка образованнаго, честнаго и правдиваго, и съ искреннимъ добрымъ сердцемъ. „Это самъ Богъ послалъ мнѣ спасителя“, говорилъ онъ: „безъ Бутакова я бы погибъ, а проведя два года въ товариществѣ съ этимъ человѣкомъ, я свыкъ съ моимъ несчастіемъ“.

Послѣ экспедиціи Тараса перевели въ Оренбургъ, а потомъ заключили въ Новопетровское укрѣпленіе, гдѣ онъ пробылъ до своего освобожденія. Изъ жизни своей въ Новопетровскѣ Тарасъ разсказалъ мнѣ одинъ такой случай: „Иду, говорить, по улицѣ, встрѣчаю офицера, надо шапку снять, а я что-то задумался да и снялъ шапку не той рукой, какъ предписано уставомъ. За это меня, раба божьяго, подъ арестъ на недѣлю“...

Я не знаю человѣка, который могъ бы любить наши пѣсни больше Тараса. Вотъ, бывало, какъ я только ворочусь вечеромъ съ работы домой, Тарасъ тотчасъ же ведетъ меня въ садикъ и давай пѣть. А пѣвцы мы были безголосые; но Тарасъ бралъ больше чувствомъ: каждое слово пѣсни выливалось у него съ такимъ искреннимъ, чистымъ чувствомъ, что едва ли какой пѣвецъ-артистъ выразилъ бы лучше Тараса. Любимѣйшею его пѣснью была: „ой зійди, зійди, зоренька вечірна“. Окончивъ эту пѣсню, онъ сейчасъ начиналъ другую: „зійшла зоря изъ вечера, не назорялася, прійшовъ милый изъ похода, я й не надивилася“.

Записывая эти воспоминанія черезъ 16 лѣтъ, я будто и теперь слышу, какъ Тарасъ при лунѣ поетъ у меня въ садикѣ, какъ въ голосѣ его звучитъ

*) Это невѣрно. Шевченко былъ сосланъ тотчасъ послѣ производства надъ нимъ слѣдствія. Д. М.

чувство, какъ голосъ говоритъ. Какъ теперь вижу, какъ иногда, подъ конецъ пѣсни, задрожить его голосъ и на длинные усы катятся слезы.

Ссылка и солдатство за Араломъ не загубили, не зачерствили нѣжнаго, добраго, мягкаго, любящаго сердца Тараса... Онъ любилъ жить семьяниномъ и, глядя на мое житье, не разъ говаривалъ: „Сподобить ли меня Господь завести свое гнѣздо, — избушку, женку и дѣтишекъ?“ Часто мы толковали объ этомъ, и всегда Тарасъ просилъ моего совѣта и помощи въ отысканіи ему мѣста на острѣдность и „дівчины“, но чтобы она была вполнѣ украинка, простая, не барышня, а сирота и наймичка.

Вотъ и стали мы кое-куда ѣздить и искать ему для „гнѣзда“ такое мѣсто, чтобъ Днѣпръ былъ у самаго порога. Вскорѣ мы и нашли такое мѣсто и — право, чудно! — надъ самымъ Днѣпромъ, съ маленькимъ лѣсомъ. Эта земелька, десятины въ двѣ, принадлежала къ владѣніямъ пана Парчевскаго.

Стали мы ладиться съ этимъ помѣщикомъ; они ни то, ни се: радъ бы и продать, и видно, что что-то мѣшаетъ или просто хочетъ поводить. Въ ту пору Тарасъ простился съ Украйною и поѣхалъ въ Петербургъ, поручивши мнѣ купить землю у Парчевскаго или гдѣ въ другомъ мѣстѣ и построить ему избу. Съ тѣхъ поръ и началась наша переписка. Всѣ письма Тараса я переслалъ вамъ; они напечатаны и немногое нужно къ нимъ прибавить.

Въ послѣдній разъ, снаряжая Тараса въ Петербургъ, я проводилъ его до Межирѣчья, а онъ всю дорогу твердилъ: „не медли жъ, братъ, съ землей, кончай скорѣй съ Парчевскимъ да строй избу такъ, чтобъ намъ вмѣстѣ поселиться доживать вѣкъ“. Въ Межирѣчѣ Тарасъ не миновалъ-таки бѣды. Польскіе панки устроили полеванье и зазвали къ себѣ Тараса. Это было лѣтомъ 1859 года. Погода стояла чудная. Тарасъ хоть и не любилъ охоты, но любилъ повеселиться въ обществѣ. Въ веселой компаніи пошла и рѣчь веселая. Стали говорить про монаховъ; Тарасъ не любилъ врать, говорилъ, что думалъ, и высказалъ свой взглядъ на нихъ. Въ то время, будто нечаянно, былъ въ Межирѣчѣ жандармскій офицеръ, поляки тотчасъ подослали къ нему жидъ съ доносомъ, что Шевченко богохульствуетъ. Позвали его къ жандарму.

— „Про васъ тутъ говорятъ, что вы богохульствуете“, — сказалъ онъ.

— „Можетъ, говорятъ, — отвѣчалъ Тарасъ, — про меня можно плести всякія небылицы, потому что я уже патентованный; вѣтъ про васъ такъ навѣрно ничего не скажутъ“.

И опять повезли Тараса, сперва въ Черкасы, а потомъ въ Кіевъ. Въ Кіевѣ губернаторомъ былъ въ ту пору князь Васильчиковъ; онъ спросилъ у Тараса всѣ подробности „богохульства“, посоветовалъ ему скорѣе ѣхать въ Петербургъ, „гдѣ люди развитые и не придираются къ мелочамъ изъ желанія выслужиться насчетъ своего ближняго“.

Мысль о женитьбѣ и поселеніи на Украйнѣ глубоко васьла въ голову

Тарасу. „Жени меня, братикъ“, писалъ онъ ко мнѣ: „потому что если не женишь, то придется жениться хоть на чертовой сестрѣ“.

Тѣмъ временемъ Парчевскій извѣстилъ меня, что прежде чѣмъ условиться ему съ Тарасомъ насчетъ земли, надо спросить генераль-губернатора, можно ли еще Шевченкѣ купить землю? „А то, чтобъ не вышло чего“... Не сойдясь съ Парчевскимъ, сталъ я искать землю въ другихъ мѣстахъ... Нашелъ много; но, какъ на зло, купить ничего не привелось, и странное дѣло! повсюду главнымъ препятствіемъ было: „надо спросить генераль-губернатора“. Такъ все и спрашивали до тѣхъ поръ, пока несчастному поэту пришлось добыть землю... подъ гробъ.

Не пришлось ему и жениться!

Получая отъ него письма о желаніи его стать подъ вѣнецъ, я сначала заподозрилъ, не полюбилась ли ему жившая въ моей семьѣ гувернантка Н. Ш., какъ вдругъ Тарасъ пишетъ про Хариту!! Эту Хариту жена моя взяла къ себѣ еще ребенкомъ и воспитала ее. Во время пріѣзда Тараса къ намъ, въ 1859 году, Харита была какъ разъ въ самой порѣ. Нельзя сказать, чтобъ она была хороша, но въ ней было что-то симпатичное; тихій характеръ, нѣжное и доброе сердце Хариты, чистая душа и молодость были ея красотою. „Узнай, братецъ, не подала ли бы за меня Харита полотенцевъ?“ писалъ мнѣ Тарасъ. Я посоветовался съ женою и исполнилъ его волю: спросилъ Хариту, не пошла ли бы за Тараса?—„Что это вы придумали!.. за такого стараго да лысаго...“—отвѣчала мнѣ Харита. Я больше и не уговаривалъ; а чтобы не огорчить Тараса, написалъ, что Харита ему не пара, потому что она необразованная; дастъ Богъ дѣтей — какъ она ихъ воспитаетъ, и чѣмъ—духовно, кромѣ любви, сѣмѣтъ подвѣлиться съ мужемъ? Тарасъ не обратилъ вниманія на эти рѣчи и писалъ: „мать, голубчикъ, вездѣ одинаково мать! Было бы доброе сердце, то все будетъ“. Я снова спросилъ Хариту и опять получилъ тотъ же отвѣтъ: „такой старый!..“ Что мнѣ было дѣлать? Написать Тарасу правду — все равно, что пырнуть его ножомъ въ сердце. Сказать, что онъ состарѣлся для 18-ти-лѣтней дѣвушки, значило дать ему понять, что его молодость, его пора жениться на молодой уже прошла и на вѣкъ!.. И гдѣ же прошла? Гдѣ истратилась? За Араломъ, въ степяхъ, на строевомъ ученіи, подъ солдатскимъ ружьемъ! Напомнить мученику его муки, его ссылку, поднять въ душѣ его тѣ тяжкія думы, которыя и безъ того не давали ему покоя!.. Нѣтъ! у меня духу не хватило на это... Уговорить Хариту—значило морально приневоловать ее. Конечно, и я, и жена могли бы это сдѣлать и выдать ее „за такого стараго, лысаго, съ сѣдыми усами“; но что-жъ бы изъ этого вышло? Не сдѣлали ли бы мы ее несчастною? Не плакалась ли бы она потомъ на насъ?..

Очутившись въ такомъ неловкомъ положеніи, находясь между „двухъ огней“, я долго боролся, не зная, что дѣлать; „наложить ли руку“ на сердце Хариты и уговорить ее или солгать Тарасу? Я выбралъ послѣднее и написалъ Тарасу, что Харита стала груба, упряма и зла. А между тѣмъ,

и сама судьба шла ему наперекоръ: къ Харитѣ присватался молодой, красивый и хорошій парень; Харита, давно его любившая, тотчасъ подала рушники; я написалъ объ этомъ Тарасу и думалъ, что онъ успокоится. Но вскорѣ онъ выкопалъ себѣ еще какую-то Лукерью, завезенную кѣмъ-то изъ Украины въ Петербургъ, чуть ли, помнится, не Маркомъ Вовчкомъ. Почему же онъ не повѣнчался съ этой Лукерьей, я ужъ не знаю: Тарасъ подробностей не писалъ. Все же мысль о землѣ и хатѣ его не оставляла, и я надѣялся, что къ веснѣ 1861 года Тарасъ пріѣдетъ въ Украину, въ свою усадьбу... И вправду пріѣхалъ онъ, пріѣхалъ къ веснѣ, но какъ пріѣхалъ—въ гробу!... а онъ...

„Такъ мало, небагато
Благавъ у Бога! тільки хату.
Одну тахиночку въ гаю,
Та дві тополі біля неї“...

Что же мнѣ еще о немъ вспомнить? О томъ, какъ мы встрѣчали его въ Кіевѣ, какъ хоронили, какіе случаи были при похоронахъ, при покупке земли на могилу и послѣ похоронъ,—про все это припомню въ другой разъ. А вспомнить надо, хоть тяжело вспоминать!... Теперь же вспомню вотъ что: разъ, при поѣздкѣ въ Кирилловку, Тараса пригласилъ къ себѣ старый священникъ, который зналъ его еще, когда онъ былъ ученикомъ кирилловской школы. Сынъ этого священника, тоже священникъ, желая, чтобъ было веселѣе, пригласилъ еще одного молодого священника, своего товарища. Тарасъ сидѣлъ все со старикомъ-отцомъ, расспрашивая его о своихъ старыхъ школьныхъ товарищахъ. Разговоръ съ молодыми священниками какъ-то не клеился, и они, видимо, негодовали, что Тарасъ говоритъ только про „мужиковъ“... Послѣ того, какъ Тарасъ простился и уѣхалъ отъ священника, одна старуха Лимариха спросила молодого попа: „а что, батюшка, вы видѣли Тараса? каковъ онъ?“

— Да, видалъ,—отвѣчалъ священникъ;—но если бъ ты знала, бабушка, какъ онъ глупъ!

— Что это вы, батюшка, говорите! Развѣ это правда?—удивлялась старуха.

— Святая истина! я нарочно пригласилъ моего товарища, чтобъ Шевченкѣ было веселѣе, чтобъ было ему съ кѣмъ потолковать, а онъ себѣ со старымъ, да только и спросу у него, что про оборванцевъ—вотъ про Дмитрія Смалько да про ему подобныхъ (Смалько былъ товарищемъ Тараса по школѣ, а потомъ церковнымъ сторожемъ). Да еще, точно на смѣхъ, просилъ призвать Смалько, и какъ тотъ пришелъ—давай съ нимъ цѣловаться!

— Чудно что-то вы говорите, батюшка;—замѣтила старуха:—съ нами Тарасъ никогда не молчитъ; развѣ что ему нечего было говорить съ вами...

Попъ закусилъ губы и умолкъ.

Изъ родныхъ своихъ братьевъ и сестеръ Тарасъ больше всѣхъ любилъ сестру (теперь уже покойницу) Арину и вотъ за что, какъ самъ онъ мнѣ сказывалъ.

Бывши еще мальчикомъ лѣтъ шести, ему вздумалось идти туда, „гдѣ конецъ свѣту, гдѣ небо упирается въ землю“, и „посмотрѣть, какъ тамъ бабы кладутъ на небо вальки“. Вотъ разъ, послѣ обѣда, онъ и пошелъ прямой дорогой; идетъ, идетъ, и солнце заходить стало, а конца свѣту все не видать. Тарасъ разсудилъ, что онъ вѣрно поздно вышелъ изъ дому и сегодня „до конца свѣту“ не дойдетъ. Онъ воротился, но на другой день, чуть начало всходить солнышко, онъ, не говоря никому ни слова, отправился въ путь. Прошедъ до села Подиновки (версты четыре отъ Кирилловки), онъ удивился, что есть еще села, кромѣ Кирилловки. Миновавъ Подиновку, онъ взялъ влѣво, перешедъ черезъ лѣсокъ и вышелъ на чумацкую дорогу. Тутъ ему захотѣлось и ѣсть, и пить; и усталъ онъ ужъ очень сильно, а „конецъ свѣту“ все-таки былъ еще далеко. Отдохнувъ немного, пошелъ онъ дальше; вдругъ навстрѣчу ему ѣдетъ обозъ чумаковъ. Чумаки, видя, что такой порой (солнце уже заходило) маленькій ребенокъ бродитъ по лѣсамъ, остановили Тараса и спросили:

— Ты чей, мальчуганъ?

— Тятѣкинъ и мамкинъ.

— Отколѣ идешь?

Тарасъ показалъ рукою на одну сторону.

— Куда же ты идешь?

Онъ показалъ на другую сторону, сказавъ туда.

— Зачѣмъ же ты туда идешь?

— Хочу поемотрѣть, гдѣ конецъ свѣту,—отвѣчалъ Тарасъ и попросилъ у чумаковъ воды напиться. Чумаки дали ему воды и хлѣба и, боясь, чтобъ ночью не напалъ на ребенка какой звѣрь, взяли его, посадили на возъ, дали ему въ руки кнутъ и повезли. На счастье, они ѣхали черезъ Кирилловку.

Вѣхавъ туда, Тарасъ узналъ свое село и сказалъ:

— Нну!! такъ я опять воротился назадъ!... Эва! такъ и не дошелъ до конца свѣта!

Воротясь домой, Тарасъ засталъ, что братья и сестры (матери уже не было) пороли горячку, ища его. Старшій братъ хотѣлъ его за это побить; но сестра Арина вступилась за него, не дала бить и посадила ужинать галушками. Не успѣлъ онъ съѣсть и одной галушки, какъ сонъ одолѣлъ его и онъ свалился; сестра взяла его на руки, положила на постель, перекрестила и промолвила, цѣлуя его: „спи, бродяга“. Этотъ случай Тарасъ завсегда вспоминалъ съ любовью.

Въ заключеніе скажу, что Тарасъ родился не въ Кирилловкѣ, какъ доселѣ думали и какъ думалъ онъ самъ, а въ селѣ Маринцахъ, верстъ восемь отъ Кирилловки; тамъ и въ метрики записанъ; въ Кирилловку же семейство его было переселено тогда, когда ему шелъ еще 3-й годъ; поэтому, можетъ быть, онъ и полагалъ, что родился въ Кирилловкѣ.

КРЫМСКАЯ НЕВОЛЯ.

Историческая повѣсть.

I.

Весна и лѣто 1672 года были тяжкою годиною для всей нынѣшней южной Россіи и, въ особенности, для западной, заднѣпровской или правобережной Украины.

На юго-востокѣ Россіи, по всему среднему и нижнему Поволожью, послѣ погрома скопищъ Стеньки Разина и казни его самого, шло кровавое „смиреніе“ несчастнаго края тяжкою рукою боярина князя Одоевскаго въ примѣръ „грядущимъ родамъ“.

На юго-западѣ—въ правобережной или „тогобочной“ Украинѣ—населеніе стонало подѣ страшною пятою невиданнаго, небывалаго гостя—самого турецкаго падишаха, Магомета IV, съ его дикими ордами, крымскою, бѣлогородскою и иными.

Виновникомъ нашествія на заднѣпровскую Украину Магомета IV и его полчищъ былъ гетманъ Дорошенко. Гордый, самолюбивый и непреклонный, онъ пылалъ гнѣвомъ и на Польшу, которая считала западную Украину своею прислужницею, и на Москву, которая не рѣшалась брать его, Петра Дорошенко, подѣ свою высокую руку съ обѣими Украинами, правобережною и лѣвобережною, и на Запорожье, которое не хотѣло идти у него въ поводу. Въ порывѣ своего казацкаго гнѣва, думая насолить и Польшѣ, и Москвѣ, и Запорожью, онъ, повинувшись только своему страстному темпераменту, вдругъ объявилъ себя подданнымъ Магомета IV и звалъ его на Польшу. Падишаха нетрудно было соблазнить такимъ приглашеніемъ: Польша открывала ему и всему мусульманскому міру широкія ворота въ западную Европу, куда падишахи давно порывались пробраться по трупамъ Австріи и Венеціи, но доселѣ получали отпоръ... Крестъ заступалъ дорогу полумѣсяцу въ его побѣдномъ шествіи на западъ...

Съ ранней весны 1672 года турецкія и крымскія орды стали наводнять Подолію и Волинь. Самъ Магометъ IV съ трехсотъ-тысячнымъ войскомъ шелъ на Каменецъ-Подольскъ. Это было поражающее шествіе. Съ

владыкою и повелителемъ правовѣрныхъ двигались не только сотни тысячъ войскъ всѣхъ оружій, всѣхъ типовъ и національностей — турки, арабы, анатолійцы, египтяне, румелійцы, албанцы, греки, арнауты, болгары, молдаване, сербы, армяне и черкесы, необозримыя стада вьючнаго и невьючнаго скота, обозы телѣгъ, каретъ, кричащихъ на всю степь арбъ, но и цѣлые подвижные города палатокъ, мечетей и лѣса бунчуковъ хвостатыхъ, значковъ и знаменъ. Тутъ же шествовали съ крикомъ, плачемъ и воплемъ цѣлыя ватаги плѣнныхъ, преимущественно женщинъ, дѣвушекъ и красивыхъ мальчиковъ и дѣвочекъ.

Всесокрушающимъ ураганомъ прошли эти орды до Каменца—перваго укрѣпленнаго пункта западно-цивилизованнаго міра... Крики „Алла!“ вездѣ носились въ воздухѣ, какъ злобѣщія карканья стай вороновъ и орловъ-стервятниковъ... Отъ топота и ржанія лошадей и рева стадъ стонали степи и лѣса.

Каменецъ не могъ противиться страшнымъ силамъ падишаха: онъ былъ взятъ и поруганъ—надъ изломаннымъ крестомъ водрузился полумѣсяцъ.

Вотъ какъ, въ краткихъ словахъ, описываетъ украинскій лѣтописецъ это нашествіе: „Того-жъ годи, на непрестанное Дорошенково желаніе помочи отъ турка, самъ турецкій царь, или султанъ, пришелъ подъ Каменецъ-Подольскій, куда присѣли и ханъ съ Дорошенкомъ. И по двоухъ недѣляхъ граждане, безъ войска бывшіе, Каменецъ турчину отдали, гдѣ для вѣзду султанова, очищая мѣсто, изъ гробовъ людей мертвыхъ выбираю и внѣ города вывожено, а по улицамъ, гдѣ было болото, мосты дѣлано въ присутствіи Дорошенка властолюбца. И тамъ же изъ костеловъ и церквей мечети пороблено и кресты, и звоны низвержено, только три церкви себѣ русь выпросили, а армени одну. И оттуда царь турецкій везира и хана, и Дорошенко съ войскомъ посылалъ города разорять, а людей въ полонъ брать... И тогда изъ Украины польской жолнере всѣ, при Ханенку бывшіе, до короля помаршировали; но наказнаго Ханенковаго тогда уловивши, Дорошенко убилъ“...

Другой лѣтописецъ еще болѣе мрачными красками рисуетъ эту бѣдственную годину правобережной Украины. „Того жъ лѣта—говорить онъ—турчинъ зо всѣми войсками рушилъ подъ Каменецъ, рассказавши и хановѣ крымскому, ку себѣ ити. И такъ, ханъ крымскій зейшовшися зъ гетманомъ Дорошенкомъ, тягнули мимо Ладыжинъ на Батогъ. И тамъ гетманъ Ханенко и рейментаръ панъ каштелянъ подлѣскій мѣли потребу зъ оными, але же ихъ силы великія, не додержавши, мусѣли уступати до Ладыжина ись шкодою. А ханъ и Дорошенко, не займаючи Ладыжина, зъ войсками потягнули просто подъ Каменецъ до турчина, гдѣ и турчинъ притягнувши, Каменецъ найшовши не въ готовности, бо войска зъ Каменця вышли на тотъ часъ были, за упрошеніемъ мѣщанъ, же не сподѣвалися того приходу турчиноваго. Гдѣ тилько недѣль двѣ держалися, але знать южъ божескій гнѣвъ наступилъ, бо порохи въ цекгавзу запалились, гдѣ много замку выкидало. И такъ, Каменецъ здали, гдѣ и самъ турчинъ, маючи тамъ уѣхати, приказалъ, абы умерлыхъ зъ склеповъ выбрано и за мѣсто вы-

везено, що заразъ учинено: всѣхъ умерлыхъ такъ зъ склеповъ, яко изъ гробовъ выкопывано и за мѣсто вожено, а образы божіе, беручи зъ костеловъ и церквей, по улицахъ мощено, по болотахъ, по которыхъ турчинъ вѣхалъ въ Каменецъ и его подданный, незбожный Дорошенко, гетманъ. Не заболѣло его сердце такого безчестія образовъ божіихъ за для своего несчастливаго дочаснаго гетманства! И того часу мечети зъ костеловъ и церквей починено, зъ фары самому царевѣ турецкому... И въ Каменцѣ турки усѣ звонъ поскидали и порозбивали, а иные Дорошенко побралъ, также и крестъ нигдѣ не одержался—поскидаво“... *).

Лѣтописецъ говорить о церквахъ, иконахъ, крестахъ... А что было съ людьми!..

II.

— Гетманъ їдетъ! гетманъ їдетъ!—послышалось въ толпѣ каменецкихъ обывателей, которые съ горестью и тревогою смотрѣли, какъ толпы татаръ и турокъ, съ кирками, мотыками и лопатами въ рукахъ, выравнивали дорогу и чинили мостъ черезъ пропасть, отдѣлявшую городъ отъ цитадели.

— Какой гетманъ? Ханенко—польской стороны?—спрашивали другіе.

— Э! гдѣ тамъ Ханенко! Ханенко съ панами ляхами, съ Лянсконскимъ да старостою Потоцкимъ пятами покивали изъ Каменца нашего.

— А! такъ это потурнакъ—Дорошенко...

— Овъ... Совсѣмъ побусурманился... И не запеклось кровью его сердце, гляючи, какъ гробы нашихъ отцовъ вырывали да образа въ грязь кидали...

— Кто жъ это съ нимъ, молодой, при боку?

— А Мазепа жъ—писарь.

— А! слышали: этоть, сказываютъ, мягко стелеть...

Это они говорили о двухъ всадникахъ, спускавшихся съ цитадельной горы на мостъ. Одинъ изъ нихъ былъ черный, плотный мужчина съ по-нурыми усами и черными стоячими глазами, въ богатомъ контушѣ и въ невысокой шапочкѣ съ перомъ. Это былъ Дорошенко. Другой, молодой, бѣлокурый, съ ласковыми сѣрыми глазами и по-польски „закренцонными“ усами—Мазепа, начавшій уже дѣлать себѣ карьеру.

— Подъ Москвою намъ быть не рука,—тихо говорилъ Мазепа, глядя гриву своего коня.

— Да, оно правда: батько Хмельницкій далъ маху,—задумчиво отвѣчалъ Дорошенко.

— А твоя милость поправить дѣло,—подольстился Мазепа.

*) Изъ „Лѣтописи самовидца“, по прекрасному изданію г. Ореста Левицкаго (Кіевъ, 1878, стр. 114—115, 273—274).

— Да крови это много стоитъ.

— Такъ... безъ крови и зубъ не падаетъ... А вѣдь твоя милость какой зубъ у Москвы вырвешь...

Дорошенко сурово потупился и ничего не отвѣчалъ.

— А жить подъ турчиномъ—не то, что подъ Москвой: у турчина, что у Христа за пазухой, а у Москвы и за пазухой ежовыя рукавицы,—продолжалъ подольщаться бѣсъ.

Дорошенко какъ-то сердито потянулъ правый усъ еще ниже.

— Да, вонъ ханъ крымскій—чѣмъ не панъ?—глядя въ сторону, проворчалъ онъ:—тотъ же царь, у Москвы поминки беретъ, а не то, что ей даетъ...

Рабочіе крымцы и турки, при видѣ гетмана, перекидывались между собою словами и дѣлали знаки почтенія. Дорошенко привѣтливо кивалъ имъ головой, а Мазепа шутилъ по-татарски, и татары отвѣчали ему веселымъ смѣхомъ.

— У! собачьи сыны! — сквозь зубы процѣдилъ одинъ изъ каменчанъ.

— Потурнаки проклятые!—пояснилъ другой.

Отъ толпы каменчанъ отдѣлился одинъ, хорошо одѣтый въ синюю свитку, старикъ и, приблизившись къ проѣзжавшему мимо Дорошенкѣ, снялъ шапку.

— Ясневельможный пане гетманѣ!—заговорилъ онъ:—учини милость твою.

Дорошенко осадилъ коня.

— Что тебѣ нужно, старикъ?—спросилъ онъ скороговоркой.

— Смилуйся, пане! не вели церкви грабить и надъ образами ругаться.

Хмурое лицо гетмана потемнѣло еще больше. Онъ еще сердитѣе дернулъ себя за усъ.

— Это не моя воля,—какъ-то не то досадливо, не то съ подавленнымъ стыдомъ отвѣчалъ онъ.

— Какъ не твоя, паночку!—взмолился старикъ.

— Не моя: это воля пресвѣтлаго султанскаго величества,—отрѣзалъ гетманъ.

— О, Боже жъ нашъ! Боже!

— Его пресвѣтлое султанское величество караетъ вашъ городъ за ваши вины,—поторопился пояснить Мазепа.

— Какія жъ наши вины, паночку!

— Вы противности чинили волѣ падишаховой...

Въ этотъ моментъ недалеко раздался конскій топотъ и дѣтскій крикъ.

— Мамо! мамо! оо!—отчаянно голосилъ ребенокъ.

Всѣ оглянулись. Вдоль пропасти, черезъ которую перекинутъ былъ цитадельный мостъ, по узенькой тропѣ скакалъ татаринъ съ колчаномъ и стрѣлами за спиною; одной рукой онъ обхватилъ дѣвочку, лѣтъ около десяти или немного менѣе, которая билась на сѣдлѣ, стараясь вырваться. Дѣвочка была прелестна: золотистые, какъ червоное золото, волосы ея го-

рѣли на солнцѣ; бѣлое личико, черныя дугой брови, бѣлая, шитая краснымъ сорочечка—вся она смотрѣла какимъ-то цвѣточкомъ.

— Мамо! мамо! ой мамуленько!

За татаринѣмъ, отчаянно рыдая, бѣжала женщина.

— Ратуйте, кто въ Бога вѣруетъ!—вопила она:—татаринъ дитину укралъ!—оо! ратуйте! ратуйте!

Нѣкоторые изъ каменчанъ бросились было на переемъ хищника, но онъ прищипорилъ коня и умчался, какъ вихорь, оставивъ за собою только клубы пыли.

Несчастная мать, въ изнеможеніи упавъ на землю, билась и ломала себѣ руки.

Дорошенко и Мазепа, воспользовавшись общей суматохой, незамѣтно скрылись въ извилистыхъ улицахъ города.

III.

Стояла теплая, сухая, прекрасная осень, какая только можетъ быть въ Крыму.

Въ Крымъ, черезъ Перекопъ, возвращались два татарскихъ загона—одинъ изъ-подъ Каменца, другой изъ-подъ Полтавы. Оба загона были обременены богатою добычею. Вьючныя лошади изнемогали отъ тяжести всякаго награбленнаго хищниками добра, которое бѣдными конямъ внавалили на спину. Изъ переметныхъ сумъ и мѣшковъ, перекинутыхъ черезъ ихъ спины, выглядывали цвѣтныя ткани, богатая суконная и шелковая одежда, шали, ковры и прочее, прикрытое отъ пыли и дождя кошмами и войлоками. Тамъ же погромыхивала золотая, серебряная и мѣдная посуда, чары, рюмки, стопы, блюда, оклады съ иконъ и церковная утварь. Иногда наверху всего этого торчала и покачивалась изъ стороны въ сторону хорошеенькая головка дѣвочки или мальчика: юные половняники это ѣдутъ въ невѣдомую чужую сторону, въ крымскую неволю... Маленькія ножки ихъ притомились въ далекой дорогѣ и отъ тоски по родной землѣ, по матерямъ, съ которыми ихъ разлучила неволя,—и г. г. „добрый“ татаринъ усадилъ ихъ на коня, на вьюки грабленнаго—„добрый“ ради того, чтобъ добыча его не захворала въ пути, не убавилась бы въ красотѣ и цѣнѣ на невольничьемъ рынкѣ, а то какъ бы и совсѣмъ не померла.

Тутъ же шли и невольники—полоняники и половняки: и олодые парни и цѣлушкы, молоденькія бабы, большею частью подолянки и волынянки; около иной молодой матери бѣжали дѣти—это, значить, захвачена вся семья въ полѣ, а отецъ или убитъ, или безъ вѣсти пропалъ. Между полоняниками видѣется больше крупный народъ, здоровый—эти пойдутъ по высшей цѣнѣ на человѣческомъ рынкѣ. Иные изъ невольниковъ идутъ навязанные на канаты, смирами, а иногда и скованные. Болѣе смвряные, повидимому, идутъ на

свободѣ. Женщины также идутъ не на сворахъ. За ними особенно смотрятъ хищники, особенно ухаживаютъ, чтобы дорогой не захворали, и спали съ лица, не потеряли бы красоты—словомъ, не подешевѣли бы... ихъ и кормятъ лучше, и отъ непогоды и солнца укрываютъ, равно какъ и хорошенькихъ дѣтей...

Сами татары идутъ и ѣдутъ вразсыпную: имъ теперь остерегаться нечего—въ своей землѣ... Перекопъ пройденъ уже: Орѣ-Богазь и Орѣ-Капи назади остались—вонъ, вправо, безъ конца синѣется Черное море, а прямо—безбрежное море степи, кое-гдѣ всхолмленное курганами и упирающееся въ отроги зеленыхъ, чуть синѣющихся издали крымскихъ горъ.

Позади всего идутъ стада скота и табуны лошадей.

Степь послѣ дождей покрылась второю роскошною зеленью. Цѣлое цвѣтное море разстилается и вправо, и влево, и прямо передъ глазами. Голубые колокольчики, гіацинты—словно роскошный коверъ брошенъ на степь могучею рукою. Маки и тюльпаны такихъ яркихъ цвѣтовъ, какіе умѣетъ создать и раскрасить только щедрое южное солнце, словно спорять между собою красотою и роскошью.

Дивный край, дивное небо, чудное море, божественная степь!.. а люди, что идутъ по ней, чувствуютъ себя несчастными вдали отъ своего неба, отъ своихъ степей...

Вонъ идетъ небольшая группа полоняниковъ: одинъ уже пожилой, но здоровый мужчина, въ ободранномъ костюмѣ московскаго ратнаго человека, уже полусѣдой, онъ бодро приглядывается къ степи, къ далекимъ горамъ—словно бы онъ домой возвращался; рядомъ съ нимъ прелестная съ огненными волосами дѣвочка,—та, которую въ Каменцѣ татаринъ похитилъ на глазахъ ея матери и въ виду Дорошенка и Мазепы; по сторонамъ ихъ—парень, „парубокъ“ съ высоко подстриженной черноволосою головою, въ бѣлой рубахѣ и широкихъ украинскихъ штанахъ, и дѣвушка въ красной запаскѣ и съ черною косою... Ратный часто поглядываетъ на маленькую свою спутницу...

— Что, дѣвынька, не устали ножки?—ласково спрашиваетъ онъ дѣвочку, золотоголовую подоляночку, глядя ея золотую головку:—устали? а?

— Ни, дидушка,—отвѣчаетъ дѣвочка, вскидывая на него свои большіе, черные, грустные глаза.

— А объ матушкѣ да объ батюшкѣ, дѣвынька, ты не кручинься: погоди маленько... я старый воробей—бывалъ въ полону—знаю ихъ порядки... Мы съ тобой убѣгемъ—пра, дѣвынька!

Дѣвочка грустно улыбается и боязливо взглядываетъ на татарина, идущаго поодаль.

— А ты ево, гробоносово, дѣвынька не бойся, киваетъ онъ на татарина:—онъ, какъ сова, ничего не разумѣетъ по нашему... ишь только буркалы пялить...

Татаринъ глядитъ на дѣвочку и улыбается.

— Ишь—тоже зубы щерить, собака!

Татаринъ еще пуще щерится на дѣвочку; и его восхищаетъ этотъ прелестный ребенокъ...

IV.

— И вы то жъ носы-тѣ не вѣшайте, — обратился словоохотливый ратный къ взрослой „дивчинѣ“ и къ „парубку“: — я этотъ полонъ знаю — не впервой, чать... Мое дѣло старое — всюду бывано, все видано... Взяли меня впервой въ полонъ эти же черномазы — крымскіе татаровя, лѣтъ тридцать тому назадъ загономъ, и свели въ городъ Кафу — ужъ и городина же! — на базарѣ нашево брата, полоняника, что телятъ стадо — видимо-невидимо!.. И работалъ я въ Кафѣ на каторгѣ съ нашими же московскими да черкасскими людьми лѣтъ съ десять будетъ. А въ Кафѣ на базарѣ жъ купилъ меня турчинъ и повезъ моремъ до Царя-города, а въ Царѣ-городѣ проданъ я былъ въ Анадольскую землю, а изъ Анадольской въ Кизылбашскую, и былъ я, дѣтушки мои, бусурманенъ: по средамъ и пятницамъ и въ великіе и малые посты мясо и всякую скверну ѣдалъ... А все это наплевать!.. А въ Анадолиі работалъ у армянина на огородѣ и вѣру держалъ арменскую — съ нашею православною малость схожа — и проскуры арменскія ѣдалъ, токмо шихъ арменской не исповѣдывалъ, а у татаровей по-татарски маливался въ шапкѣ — всево бывало... А изъ Кизылбашей продали меня къ фараонамъ къ самимъ, и у фараоновъ я жилъ, и по-фараонски хаживалъ и ѣдалъ — эко диво! — наплевать на все!... А у фараоновъ отгромили меня шпансково короля нѣмцы-дуки, а дуки-нѣмцы продали меня францовскимъ нѣмцамъ во францовскую землю, а во францовской землѣ я у папезина ксенза бывывалъ и секраментъ ихъ ѣдалъ — что мнѣ! — наплевать! — свово-Бога, Миколу угодника я не забывалъ... А французскіе нѣмцы дали мнѣ памятку на бумагѣ, и вышелъ я изъ францовской земли вольно, и по-францовски и по турецки говаривано и пѣсни пѣто.. А оттелева прошелъ я въ цысарскую землю, а изъ цысарской земли на Аршавъ городъ, а изъ Аршава города въ Кеивъ... Такъ-то, дѣтушки, всево видано... не пропадемъ и топереве...

Солнце клонилось къ западу. И вьючныя лошади, и полоняники, и сами татары, видимо, притомились. Пора бы и привалъ дѣлать. Золотоголовая подоляночка, внимательно слушавшая неутомимаго „москаля“, шла молча, по временамъ оглядываясь назадъ.

— Что, дѣвынька, оглядываешься? — ласково спросилъ ее „москаль“: — али батюшку съ матушкой ждешь съ родной сторонки?

У дѣвочки навернулись слезы на глазахъ... Вотъ-вотъ брызнуть изъ прекрасныхъ глазъ на чужую землю...

— Не плачь, дитятко, — утѣшалъ ее сердобольный москаль: — еще увидимъ батюшку съ матушкой — пра, увидимъ... Я тебя на рукахъ вынесу изъ полону...

И онъ снова гладилъ ее по головкѣ...

— А какъ былъ я въ Кафѣ на каторгѣ,—продолжалъ онъ болтать,—видимо, желая отогнать тоску и отъ себя, и отъ своихъ спутниковъ:—какъ работали мы въ Кафѣ, такъ научили меня ваши черкасскіе полоняники одной пѣсенкѣ... Ужъ и пѣсня же, я вамъ скажу!... Это объ томъ, примѣромъ сказать, пѣсня, какъ тотаровя въ полонъ взяли воыначку—вотъ такую-жъ дѣвыньку. какъ и ты, обватился онъ къ своей маленькой спутницѣ.

У дѣвочки у самой давно ныла на сердцѣ эта пѣсня: ей часто пѣвала ее мать...

— Ужъ и пѣсня же!—продолжалъ болтливый москаль и тихонько затянулъ ее, безбожно коверкая на московскій ладъ украинскую рѣчь пѣсни:

Какъ изъ-за гары-гары,
Изъ-за темнаво лѣсу
Тотаровя бѣгутъ,
Въ палонъ валыначку ведутъ.
А у валыначки каса
Изъ залатова воласа...

— Вотъ все едино, что твоя, дѣвынька.

И онъ дотронулся рукой до золотой головки дѣвочки. Ближайшій татаринъ продолжалъ идти молча, добродушно и ласково взглядывая на своихъ плѣнныхъ и, въ особенности, на дѣвочку:—пускай-де не скучаютъ—съ цѣны не спадутъ.

И москаль опять затянулъ, лукаво поглядывая на татарина, какъ бы говоря: „вишь ты, собачій сынъ, и не думаемъ утекать отъ тебя—пѣсни поемъ“...

У валыначки каса
Изъ залатова воласа
Темнай боръ освѣтила
И зеленую дубраву,
И битую дарогу.
За нею въ пагоню
Батенька ее.
Кивнула-махнула
Бѣлаю рученькай:
Вернися, родненькай!
Ужъ меня ты не отнимешь,
Самъ марна загинешь:
Заносешь галовушку
На чужую старонушку,
Занесешь ачицы
За турецки границы...

Въ это время въ передовомъ загонѣ раздался сигнальный рожокъ. Ему отвѣтили другіе рожки изъ другихъ концовъ. Все разомъ какъ бы встрепенулось...

— Баста—привалъ!—сказалъ москаль, лукаво подмигивая своему татарину.—Аллахъ керимъ! ала-ла! знай нашихъ!

Татаринъ совсѣмъ дружески осклабился и показалъ на небо и на землю, повторяя: „Алла-Алла“...

V.

Привалъ сдѣлали вокругъ высокаго кургана, гдѣ по близости было вырыто въ небольшихъ ложбинахъ нѣсколько колодцевъ. Скотъ развьючили. И татары, и ихъ полоняники собирались въ группы, рвали сухую траву и колючки, собирали кизякъ и сносили все это въ кучи, чтобъ разводить огонь на ночь и готовить и себѣ, и полоняникамъ ужинъ. „Москаль“ таскалъ всякую сушь охапками и складывалъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ рядомъ съ подолянкой въ красной запискѣ усѣлся на отдыхъ его маленькая, золотоголовая дѣвочка.

Степь ожила, несмотря на то, что близилась ночь. По всей равнинѣ, какую только можно было окинуть глазомъ, бродили разноцвѣтныя группы людей, стада скота и лошадей,—говоръ, лошадиное ржанье. Небо темнѣло. Кое-гдѣ начинали уже вспыхивать и потухать огоньки. Надъ моремъ и на морѣ лежали багровыя полосы вечерней зари. Въ воздухѣ слышался звонкій влечотъ запоздавшихъ и возвращавшихся въ свои неприступныя дебри и на скалы орловъ. Въ травѣ стрекотали и неугомонно ковали свою однообразную пѣсню земляные кузнечики. Засвирестѣла грустная свирель пастуха у воловьего стада. Слышалось человѣческое вытье—тягучая, безконечная и тоскливая какъ чужбина татарская пѣсня...

„Москаль“ притащилъ и свалилъ къ ногамъ своей любимицы „дѣвыньки“ послѣднюю охапку суши и кизяковъ, а потомъ досталъ изъ-за пазухи пучокъ свѣжихъ цвѣтовъ.

— Вотъ тебѣ, дѣвынька, твяточки, лазоревы и аленьки, и сини, побалуй ими, дитятко,—любезно презентовалъ онъ цвѣты своей любимицѣ.

Дѣвочка взяла цвѣты, съ грустною улыбкою полюбовалась ими и раздѣлила пучъ съ сосѣдкой.

— А я вотъ костерчикъ налажу на ночь: оно хорошо, тепленько,—хлопоталъ неугомонный „москаль“.

Къ нимъ подходили другіе полоняники и татары. „Москаль“ заговаривалъ со всѣми — кто, какъ, откуда, гдѣ попался? — Кивалъ головой, ахалъ, причмокивалъ губами, утѣшалъ... Онъ былъ какъ дома: всѣхъ за дорогу успѣлъ переузнать, называлъ по именамъ... Онъ и съ татарами, казалось, былъ другъ: кому подмигнетъ, улыбнется, потреплетъ по плечу заговорить: „эй ты, Гирейка! якши! чурухъ—су... я манъ—коба... кизилъ—якши!“ Иной улыбнется, тоже скажетъ „якши“ или иное слово, другой нагайкой стегнетъ—„москаль“ почешется, поворчитъ: „ишь лядина! съ нимъ шутишь, а онъ—на! дерется...“

Татары раздавали ужинъ полоняникамъ—по куску хлѣба и баранины. „Москаль“ развелъ огонь, отдалъ половину своего куска баранины „дѣвынькѣ“...

— На, дѣвынька, кушинькай мясцо.

— Я, дидушка, не хочу.

— Ладно, не хочу, жуй помаленьку.

Степь окуталась мракомъ ночи, только костры мигали по равнинѣ, да двигались тѣни татаръ: это они связывали и ковали на ночь ненадежныхъ полоняниковъ.

Пришли и къ „москалю“ съ небольшою желѣзною цѣпью. Онъ спокойно протянулъ ноги.

— На, Гирейка, куй.

Его заковали. Онъ съ улыбкой глянулъ на цѣпь, на татарина.

— Якши, братъ Гирейка... Заковалъ лошадку—якши?

— Якши,—былъ отвѣтъ.

Для „бранокъ“ — такъ въ Украинѣ назывались полонянки—татаринъ принесъ кошму, чтобъ они укрылись подъ ней отъ ночного холода и росы. „Москаль“ накиннулъ на дѣвочку свой зипунъ.

— Въ емъ тепло тебѣ будетъ спать, дѣвынька,—пояснилъ онъ.

Ночь окончательно спустилась на равнину. Нѣкоторые костры, маленькіе, потухали, другіе сильнѣе разгорались, и вокругъ нихъ видѣлись красныя отъ пламени лица хищниковъ, благодушествовавшихъ въ своемъ родномъ краю послѣ столь долгаго отсутствія.

„Москаль“ опять завелъ рѣчь о томъ, какъ онъ жилъ въ Кизылбашской землѣ да у фараоновъ, какъ онъ прошелъ „скрость“ всего свѣта и какъ вездѣ все живутъ такіе же люди, и какіе у нихъ чудные порядки, и какъ для него все было равно, все ни по чемъ—„плевать на все“... Ко всему-то онъ привыкъ, со всѣмъ сжился, только вездѣ тихонько своему Богу молился, московскому Миколѣ, и хрестился двумя персты...

„Дѣвынька“ сидѣла около него, не спуская съ него глазъ. За дорогу онъ такъ успѣлъ привязать ее къ себѣ своею добротой, ласковостью, вниманіемъ и постоянно веселымъ расположеніемъ духа, что дѣвочка не отходила отъ него и съ нимъ ничего не боялась. Онъ замѣнилъ для нея отца и мать, и родину.

— А де жъ васъ, дидушка, татары взяли?—спросила она.

— Да меня они, собачьи дѣти, въ степи изловили... Окольникій, князь Григорей Григорьичъ Ромодановской, меня съ вѣстями спосылалъ въ Запороги, такъ они, аспиды, и настигли меня... Товарищи-те мои ушли, а меня вонъ застукали, что волка въ полѣ... Да, доброта! мы съ тобой, дѣвынька, таково тягунца зададимъ, что любо-дорого...

Костеръ погасъ. Подоляночка, слушая безконечныя рассказы „дѣдушки москаля“, уснула, согрѣвшись подъ его зипуномъ...

— Ну, баинькай, дитятко,—перекрестилъ онъ ее и самъ свернулся около нея калачикомъ.

Все тише и тише становилось кругомъ. Говоръ умолкалъ. Слышно было только, какъ лошади, жуя траву, фыркали. Кое-гдѣ бродили тѣни межъ потухшими кострами—это ходили сторожевые татары, присматривая за

половняками... Скоро уснуть и „москаль“, забывшись на далекой Москвѣ...

Такъ провели половняки свою первую ночь въ Крыму...

VI.

Передъ вами Кафа—знаменитая, бессмертная Кафа, нѣкогда, еще за тысячелѣтія до нашей христіанской эры, гордость классическихъ, античныхъ пресокъ. Кафа, въ которой звучалъ тогда-то языкъ Гомера, Пиндара, Эвφοкла, Еврипида и Демосфена, — Кафа, впоследствии гордость турокъ и потомъ турокъ и крымскихъ хановъ, — Кафа, съ сотысячелѣтнимъ своимъ и пришлымъ населеніемъ, съ богатѣйшимъ въ мірѣ портомъ и гаванью, залуженною торговыми и военными кораблями и галерами, съ высокими стѣнами, башнями и бойницами, съ роскошными дворцами, мечетями, фонтанами и водопроводами... Богатыя мечети съ тянущимися къ небу минаретами... Яркое голубое небо, отражающееся въ еще болѣе голубомъ до черноты и зелени—морѣ.

Въ Кафѣ слышится стонъ стонъ надъ городомъ—не стонъ болѣющего и умирающаго сердца, а нестройный стонъ,—могучее дыханье жизни, говоръ тысячъ людскихъ глотокъ, и настоящій стонъ,—стонъ невольниковъ и ихъ кобзарей, выкрикивающихъ на галерахъ, въ гавани, свою любовь къ родинѣ, по вольной жизни... На мечетяхъ и минаретахъ, въ тѣни колоннадъ и оконцевъ, стонутъ голуби...

Въ Кафѣ нами та Кафа, которая гремѣла въ XVII вѣкѣ подъ именемъ Стамбула—малаго Стамбула, или Крымъ-Стамбула, какъ богатѣйшій и вольнѣйшій рынокъ въ мірѣ...

Утро. Обширный рынокъ, обставленный мечетями и гордыми минаретами, полонъ невольниковъ, только-что приведенныхъ двумя татарскими войсками изъ Московской Руси, съ Подолія, съ Волыни, изъ Польши и Малороссіи. Несчастныя живой товаръ сидитъ и стоитъ группами. Богатые покупатели—турки, армяне, крымцы—ходятъ отъ группы къ группѣ, прицѣпываются, высматриваютъ здоровыхъ работниковъ и красивыхъ дѣтей и женщинъ... Послѣднія со стыдомъ и плачемъ прячутъ свои лица отъ насытыхъ глазъ азіатовъ... Дѣти прячутся за старшихъ...

А кругомъ роскошь зданій, журчащіе фонтаны, синее чудное море почти у ногъ... Толпа все валитъ и валитъ на этотъ рынокъ, на это чудное, чарующее и страшное зрѣлище...

Мастерскою кистью рисуетъ подобный рынокъ одинъ даровитый, украинскій писатель „Осанистые бородачи въ бѣлыхъ, пунцовыхъ, зеленыхъ, пестрыхъ чалмахъ и разноцвѣтныхъ шелковыхъ кафтанахъ; черномазые африканцы въ красныхъ, какъ жаръ, фескахъ, курткахъ, шароварахъ, сверкающихъ золотыми позументами, оружіемъ и дикими своими глазами; кар-

тинные азіятскіе рыцари на картинно изукрашенныхъ коняхъ рисуются какъ дорогіе цвѣты въ заглохшемъ саду, среди голосистыхъ носильщиковъ и звякающихъ кандалами невольниковъ, среди вьючныхъ верблюдовъ, муловъ, ословъ и запряженныхъ волами фургоновъ. А южное солнце, незаслоненное облаками въ этомъ благодатномъ климатѣ, яркими бликами и рѣзкими тѣнями рисуетъ богато развитую растительность, восточную архитектурную пестроту, беспорядочный громоздъ азіатскаго быта, роскошныя одежды, грязныя лохмотья и веселыя лица крымцевъ, адзамулановъ, изоглановъ, янычаръ, спаговъ, позолоченныхъ евнуховъ и грустныя фигуры невольниковъ...

А вонъ тамъ, въ гавани, на синевѣ моря, качаются галеры-каторги, и на нихъ развиваются по вѣтру казацкіе чубы—это „бѣдные невольники“, нагіе до пояса, прикованные къ своимъ сидѣньямъ, работаютъ тяжелыми веслами и прислушиваются, какъ на берегу кобзарь, уже негодный къ работѣ, плачемъ „невольницкихъ думъ“ зарабатываетъ себѣ кусокъ хлѣба, забывъ уже и думать, послѣ сорокалѣтней неволи, о возвратѣ на милую Украину. Кобзарь голосно, съ глубокимъ плачемъ не слезъ, а сердца, выстонываетъ о томъ, какъ „на Чорномъ морѣ въ святую недѣлю на проклятой галерѣ-каторгѣ не сизые орлы заклекотали, а бѣдные несчастные невольники въ тяжелой неволѣ застонали, на колѣни упали, руки къ небу подымали, кандалами брязчали, Господа милосердаго слезно блатали: „подай намъ, Господи, съ неба частый дождикъ, а снизу буйный вѣтеръ,—то не встала ли бы на Чорномъ морѣ великая буря, да не вырвала ли бы она якорей у турецкой каторги: ужъ намъ эта турецкая бусурманская каторга надоѣла, бѣлое тѣло казацкое молодецкое около желтой кости пообѣла...“

И слушаютъ этотъ стонъ кобзаря тѣ невольники, что работаютъ въ гавани на каторгѣ, и вотъ эти новенькіе, что сидятъ на рынкѣ—кто въ тѣни кипариса, кто на яркой солнечной припекѣ—и тихонько плачутъ...

И рядомъ съ этимъ—„неумолкающій стонъ голубей въ тѣни минаретовъ и кипарисовъ (говоритъ тотъ же зарѣзавшій свое славное имя писатель); вторящіе имъ съ минаретовъ призывы правовѣрныхъ на молитву; разноязычный говоръ толпы и рѣзкіе звуки базарной музыки съ пронзительными выкрикиваньями пѣвцовъ, рассчитанными на крѣпкіе нервы,—все вмѣстѣ составляло мучительный концертъ среди блистательной и дикой сцены...“

А подъ этотъ рѣжущій душу потокъ звуковъ, подъ стоны голубей, не нашихъ, а восточныхъ, которые дѣйствительно „стонутъ“, а не воркуютъ,—сѣдоволосый кобзарь продолжаетъ свой эпическій, сердце обливающій кровью плачъ: а паша турецкій, бусурманскій, по рынку похожаетъ, тотъ плачъ невольницкій зачуваетъ, на слугъ своихъ, на турокъ янычаръ со зла гукаетъ: „эй вы, турки янычары, къ невольникамъ ступайте, по три пучка терновыхъ и червоной таволги набирайте, бѣднаго невольника по трижды по одному мѣсту стегайте...“

А подъ эти стоны, слезы, выкрикиванье торгъ на рынкѣ идетъ своимъ чередомъ...

VII.

У фонтана, въ тѣни кипарисовъ, знакомый уже намъ по имени татаринъ Гирейка картинно расположилъ свой „товаръ“: впереди на кошмѣ сидитъ золотоголовая подоляночка, что украдена на глазахъ Дорошенка и Мазепы; сорочечка на ней чистенькая, сама вся она вымытая, на загорѣлой шейкѣ искрятся бусы и кораллы; золотые волосы, распущенные по плечикамъ, такъ горятъ, словно тонкія нити изъ червоннаго золота; рядомъ съ нею „дивчина“ въ красной запаскѣ; она тоже принаряжена, и ея вороненныя косы пышно спускаются на плечи и на спину; за ними— „москаль“, равнодушно глядящій на пеструю толпу и съ нѣжностью переносящій взоры на свою любимицу „дѣвыньку“, и „парубокъ“ съ высоко-подстриженною черноволосою головою.

Къ этой живой группѣ подходитъ бородатый съ мягкими глазами и въ богатой одеждѣ турокъ: ярко-зеленый, шитый золотыми позументами халатъ, кинжалы и пистолеты за поясомъ, перстни и кольца на пухлыхъ пальцахъ—все такъ и горитъ на солнцѣ. Глаза его сразу падаютъ на золотую головку, на прелестное испуганное личико, да такъ и вливаются въ ребенка. Затѣмъ переносятся на большую „дивчину“, на „парубка“ и на „москаля“... „Москаль“ дружески ухмыляется.

Начинается торгъ. Покупщикъ прежде всего останавливается на дѣвочкѣ. Продавецъ Гирейка, видя, что дѣвочка поразила богатаго покупателя своею красотою, стоитъ на высокой цѣнѣ. Покупщикъ скупится, придирается...

— Ишъ ты, дьяволъ,—бормочетъ въ слухъ „москаль“:—говорить, тѣльцемъ-де худа дѣвынька...

Продавецъ не уступаетъ, стоитъ на своемъ; покупатель сердится—оба говорятъ разомъ, размахиваютъ руками.

— То-то, дьяволы!—продолжаетъ ворчать „москаль“:—раздѣть тебя хотятъ, дѣвынька.

Дѣвочка вспыхиваетъ, закрывается руками... Слезы выступаютъ на глазахъ...

Покупщикъ требуетъ, чтобъ раздѣли дѣвочку: ему нельзя не видѣть всего ея тѣла; а то можетъ продорожиться—купить съ какимъ изъясномъ...

Гирейка начинаетъ развязывать сорочку у дѣвочки; та не дается, плачетъ, бросается къ своему „дѣдушкѣ“...

— Ой, дѣдушка! ой, стыдно!

— Нѣту, нѣту, ничево, дитятко,—успокаиваетъ ее „москаль“:—онъ ничего—не тронетъ, только глазкомъ малость накинеть, такъ, чуточку, чиста ли тѣльцемъ ты, ягодка.

Дѣвочка все-таки сопротивлялась, плакала.

— Ой, мамо! мамо! оо!

— Дѣвынька! дитятко! крохотка! не бойся, золотая моя!—уговаривалъ ее „москаль“.

Съ трудомъ сняли съ нея сорочечку. Голое тѣльце, словно точеное, такъ и блеснуло передъ изумленными глазами покупателя. Даже посторонніе зрители ахнули: такъ прелестно было тѣльце ребенка-невольницы...

Покупщикъ сдался, и тотчасъ же ударили по рукамъ. Дѣвочка была продана въ гаремъ богатаго паши.

За дѣвочкой начался новый торгъ; пашѣ, какъ видно, понравилась и взрослая украинка, уже готовая красавица, въ яркой запаскѣ и съ роскошною черною косою. Къ счастью для нея, тутъ не пришлось прибѣгать къ разоблаченію казоваго конца интереснаго товару: чернокосую украинку не раздѣвали до нага, а только осторожный и разборчивый покупатель тщательно осмотрѣлъ ея фигуру, статность, желательную полноту и округлость, кой-до-чего съ улыбкой дотронулся, несмотря на сопротивленіе дѣвушки и на успокоительныя замѣчанія „москаля“—„ничего-де, красавица—пуцай пощупаетъ маленько, безъ этого же нельзя: товаръ осмотрѣть надоть, —прикинуть... не стыдись, красавица“...

Ударили и тутъ по рукамъ. Покупщикъ досталъ изъ кармана широкихъ шароваръ замшевый, шитый шелками и бисеромъ кисетъ, зазвенѣлъ золотомъ, сталъ отсчитывать договоренную плату... Но въ этотъ моментъ къ нему приблизился „москаль“...

— Ваша милость! сундукъ премудрости! паша батюшка!—скороговоркой затараторилъ онъ: — купи и меня! якши, сундукъ премудрости! купи, родной!

Паша съ изумленіемъ посмотрѣлъ на него, вопросительно взглянулъ на продавца. „Москаль“ и къ нему приступилъ, упрашивалъ, чтобъ онъ и его продалъ вмѣстѣ съ дѣвынькой; что безъ него она пропадетъ, что онъ самъ здоровъ, работать можетъ и на дворѣ, и въ саду, и воду носить, и лошадей поить и чистить—все можетъ... Онъ, мѣшая русскія слова съ татарскими и турецкими, коверкая все на московскій ладъ, объяснялъ, что лучшаго пашѣ работника и не надо, что онъ тридцать лѣтъ жилъ въ неволѣ, всякое невольничье дѣло знаетъ, какъ свои пять пальцевъ. Онъ, наконецъ, спустилъ съ плечъ рубаху, показывалъ, какія у него могучія плечи, руки, грудь...

— Купи, паша! купи, сундукъ премудрости! вонъ видишь, какой я—быкъ быкомъ—якши! Алла!. Да я твоей милости за десятерыхъ работать стану и пѣсни пѣть, и плясать въ угоду твоей милости... Вотъ я какой!—колесомъ передъ тобой ходить стану...

И онъ, взявшись въ боки, сталъ выплясывать и присвистывать, и приговаривать:

Хвостъ вытащилъ, носъ увязъ,
Носъ вытащилъ, хвостъ увязъ.

Паша и Гирейка хохотали, какъ сумасшедшіе. Кругомъ собирались зрители и любовались этимъ необыкновеннымъ „урусомъ“. Онъ вдругъ перемѣнилъ тонъ и здоровымъ голосомъ зазвонилъ, какъ звонятъ въ Москвѣ у Ивана Великаго:

Отецъ Яковъ! Отецъ Яковъ!
Дома ль попъ? дома ль попъ?
Къ заутрени звонъ—къ заутрени звонъ:
Тили -тили-тонъ! тили-тили-тонъ!

Весь рынокъ дивовался, хлопалъ въ ладоши, изумлялся, откуда это явился невиданный „дервишъ“. Со всей площади и съ пристани собрались татарчата. Всѣ покупатели бросили свой торгъ и приблизились къ Гирейкинымъ невольникамъ...

Участь „москаля“ была рѣшена: паша купилъ и его вмѣстѣ съ двумя хорошенькими плѣнницами.

VIII.

Прошло не мало лѣтъ. Дорошенко, долго верховодившій западною Україною, то отдававшій ее туркамъ и татарамъ, то торговавшійся изъ-за нея съ Москвою и съ лѣвобережною Україною, теперь уже болѣе не верховодилъ ничѣмъ, а сидѣлъ въ „московской неволѣ“, въ селѣ Ярополчѣ, волоколамскаго уѣзда, хотя и съ почетнымъ званіемъ „воеводы“. Мазепа, по своему обычаю, предалъ его и передался на сторону его врага, гетмана лѣвобережной Украины, Ивана Самойловича, чтобъ и его потомъ утопить въ ложкѣ воды. Лишь изрѣдка вспоминали они о разграбленномъ турками, по ихъ милости, Каменцѣ, о бывшейся на сѣдлѣ у татарина золотоволосой украиночкѣ...

Вмѣсто нихъ, въ заднѣпровской Украинѣ верховодилъ уже Юрасъ Хмельницкій, котораго султанъ выпустилъ изъ чернеческой кельи и неволи и, вмѣсто четокъ, далъ ему въ руки гетманскую булаву, съ тѣмъ, чтобы онъ, Юрасъ, покорилъ подъ ноги блистательнаго падишаха всю Украину и титуловался бы такъ: Я Григорій-Гедесонъ-Венжикъ Хмельницкій, зъ божой ласки-божіею милостію ксіонже русскій, сарматскій и гетманъ запорожскій“.

Два лѣта—1677 и 1678 года—водилъ Юрасъ огромныя полчища татаръ и турокъ подъ Чигиринъ, желая добыть себѣ этотъ крѣпкій оплотъ и столицу правобережной Украины.

Вотъ какъ картинно и образно описываетъ „самовидецъ“ это Юраскино нападеніе на Чигиринъ въ 1678 году. „Турчинъ, жалѣя прошлогоняго въ войску убытка и безчестія (въ прошломъ году Юрася отбили отъ стѣнъ Чигирина съ великимъ урономъ), выправилъ уже большія войска турецкія и татарскія съ Юрасемъ Хмельниченкомъ и вейзиромъ Мустафою подъ Чигиринъ, которые, пришедши іюля 8, доставали Чигиринъ многократ-

ными приступами съ стрѣльбою и гранатами, и подкопами, и всякими промыслами долго. Однако жъ и войско, подъ командою Ржевскаго и Коровки, мужественно непріятеля отъ стѣнъ градскихъ стрѣляя, отбивали и, изъ города выбѣгая, въ шанцахъ янычаровъ били и живыхъ ловили. Войска жъ государскіе, въ Бужинѣ дождавшись князя Булата съ колмыками и донскими козаками, когда двинулись далѣе, то на переправѣ Ятисъ рѣки съ Капланъ-пашею цѣлый день войну страшную имѣли до ночи. Рано же переправившись, сильно еще подъ горою, съ которой турки пушками на нихъ стрѣляли, принуждены были биться до ночи-жъ, а ночью выправили Василія Дунина-Бурковскаго, полковника черниговскаго, къ Чигирину, придавъ и великороссіянъ не малое число, которые, не дошедши верха горы и спустившись, стрѣльбою-жъ своею возбудили турокъ такъ, что стали на обозъ казачій зъ арматъ паки жестоко палить, и чрезъ цѣлый день баталію отправляя, еще мусъли заночевать; но въ субботу, пошедши стройно, турковъ зъ горы збили и арматъ 27 взяли. Однакъ, турки, оглянувшись, что погони за ними нѣтъ на полѣ, ажъ до обозу москву и рубая гнали; токмо единъ полковникъ великороссійскій якъ окидався рогатками и удержався, такъ до него и всѣ войска зъ обозу притягши, весь день той съ турками воевались, которые убоявся великихъ силъ государевыхъ обоего народа, за Тясминъ перешли. Войска же государевы, приступивши къ Чигирину, надъ боромъ около озера цѣлую недѣлю праздно стояли, чимъ ободрившись, турки начали Чигиринъ крѣпчѣе доставать. И когда гетманъ Иванъ Самуиловичъ выслалъ въ городъ свѣжее войско, не пріобыкшее къ штурмамъ, при отходѣ въ обозъ пріобыкшихъ,—то турки, сдѣлавъ подкопъ и въ замку диру вырвавши въ пятницу, Ржевскаго командира первѣе убили, а потомъ 10-го, въ недѣлю о полудни, когда тое жъ войско попившись послуло, тогда въ городъ на учинившуюся подкопами прорву наши не бросились, чтобы тотчасъ на дирахъ бить турковъ и землею въ мѣхахъ затыкать по прежнему дыры, но всѣ утекать начали и, на мосту обломившись, топились въ водѣ и на греблѣ въ бѣгу давились, гдѣ пропало на нѣсколько тысячъ козакъ, токмо пѣхота подъ горою, а москва въ замку боронились до ночи, турки же остальныхъ въ городѣ и за городомъ вездѣ нещадно рубали. И въ ту пору, ночью, сердюки, оборонивши на греблѣ переходъ москвѣ, понабивали въ замкѣ полныя арматы порохомъ и, замокъ запаливши, туда жъ на греблю напоромъ чрезъ турецкое войско, уже Тясминъ перешедшее, пробились, бо и турки въ ту пору въ ужасѣ были, когда запаленные порохи и арматы, порвавши зъ собою въ гору арматные запасы и великимъ трескомъ, весь воздухъ тѣмъ освѣтивши, высоко поднести и съ высоты на обозы пущати начали...

IX.

Это былъ страшный взрывъ—взрывъ, отъ котораго, казалось, заколебалась и долго трепетала земля, дрожалъ дремучій боръ на горѣ, по ко-

торой расположены были московскія войска съ ихъ полководцами—княземъ Ромодановскимъ, Касимовскимъ царевичемъ, гетманомъ Самойловичемъ, Мазепою, калмыцкимъ княземъ Булатомъ и другими; трепетала и, казалось, кипѣла огненною пѣною вода въ Тясминѣ, черезъ который въ безпорядочномъ бѣгствѣ спасались обезумѣвшіе отъ ужаса турки: шаталась и взлетала въ воздухъ, по частямъ, цѣлыми башнями и оторванными стѣнами, чигиринская крѣпость, цитадель; взлетали на воздухъ дома, и уже оттуда, точно съ неба, падали обезображенные трупы турокъ, казаковъ, москалей, разбитыя пушки, лафеты, пороховые ящики—все это, казалось, падало съ неба, изъ пылающаго воздуха, разносимое въ разныя стороны,—падало въ воду, на московскіе, малороссійскіе и турецкіе обозы; инныя пушки и чиненные снаряды, брошенные взрывомъ на воздухъ, разрывались и стрѣляли уже тамъ, словно бы невидимыя силы стрѣляли съ неба на землю... Ночь на нѣсколько времени превратилась въ день, въ страшный, огненный, съ огненнымъ и каменнымъ дождемъ день... Та горсть храбрецовъ,—москали и казаки,—которые рѣшились взорвать сами себя вмѣстѣ съ крѣпостью, цитаделью и орудіями, казалось, мстили за себя, падая съ неба на турецкое войско обезображенными трупами, какъ бы обхватывая бѣгущихъ своими кровавыми руками или поражая ихъ своими оторванными, разможженными головами... Это было ужасное зрѣлище!

— Господи! да не яростію твоею обличиши мене, ниже гнѣвомъ твоимъ накажеші мене!—испуганно бормоталъ Самойловичъ, блѣдный и зеленый, стоя рядомъ съ княземъ Ромодановскимъ и глядя на эту страшную картину разрушенія и на бѣгущее въ безпорядкѣ турецкое войско, освѣщенное заревомъ чигиринскаго пожара.

Мазепа, стоявшій тутъ же около Ромодановскаго, удерживая своего бѣлаго какъ снѣгъ коня, оторопѣвшаго было отъ грома взрывовъ, съ улыбкою посмотрѣлъ на гетмана.

— „Это не Дорошенко“, мелькнуло въ его лукавомъ умѣ:—„поповичъ—заразъ за молитву... орарь бы тебѣ въ руки, а не гетманскую булаву“...

— Кнасъ! вели мой калмыкъ айда!—нетерпѣливо обратился князь Булатъ къ Ромодановскому, сверкая своими узенькими, словно осокою прорѣзанными, глазками:—вели турка рубиль, кололъ, топилъ—айда!

Ромодановской вздрогнулъ... Онъ самъ чувствовалъ, что теперь какъ разъ бы пора сказать это „айда“, чтобъ сразу покончить съ турецкимъ войскомъ и съ этимъ „сопливымъ“. Юраською, которому впору только гусей пасти; но онъ молчалъ, боясь встрѣтиться съ глазами князя Булата и Мазепы... Вѣдь у него тамъ, у Юраськи, заложникомъ его любимый сынокъ... А турки еще на прошлой недѣлѣ присылали къ нему сказать, что если онъ, князь Ромодановскій, поведетъ свое войско на турокъ, то они тотчасъ же, вмѣсто сына, пришлютъ ему его кожу, набитую сѣномъ... Страшно... Можетъ быть и теперь, въ эту страшную минуту, съ него, съ живого сдираютъ кожу... „Оо!“ невольно застоналъ онъ...

— Вели айда—калолъ, хадылъ, рубиль—айда, кнасъ!—приставалъ Булатъ.

— Рано... повременимъ... не приспѣлъ часъ, — отговаривался Ромодановскій.

— Точно рано, ваша милость, — поддѣлывался Мазепа, пряча свои лукавые глаза, ибо и Мазепа догадывался, почему Ромодановскій медлитъ.

Чигиринъ между тѣмъ догоралъ. Отдѣльныя вспышки прекратились — нечему уже было вспыхивать, и злополучный городъ только мѣстами тлѣлъ и дымился.

— Се бысть градъ — и се не бѣ, — грустно качалъ головою Самойловичъ.

— Что говорить ясневельможный гетманъ? — почтительно любопытствовалъ Мазепа.

— Пропалъ Чигиринъ, пропала слава стараго Хмеля! — такъ же грустно отвѣчалъ гетманъ: — не въ батька сынъ пошелъ.

— Не въ батька, а по батькови, — двусмысленно замѣтилъ Мазепа.

— Какъ не въ батька, а по батькови? — удивился гетманъ.

— Юрась волю Богдана творить...

— Что ты, Иванъ Степановичъ!

— Такъ... его это воля, батькова — стараго Хмеля...

Самойловичъ удивленно глядѣлъ на него, видимо, ничего не понимая. Мазепа ударилъ себя по лѣвой груди.

— Вотъ тутъ воля покойника, — танственнымъ сказалъ онъ.

— Какъ! что ты?

— Я досталъ тайные пакты покойнаго Богдана съ султаномъ на подданство.

Самойловича какъ бы осянула новая мысль. Онъ круто повернулся на сѣдлѣ и показалъ рукою куда-то далеко, на сѣверъ.

— Такъ и онъ шелъ по его сдѣламъ? — сказалъ онъ загадочно.

— Кто, ясневельможный гетманъ?

— Дорошенко...

— По его жъ... другіе слѣды вѣдь ведутъ прямо туда...

Мазепа не окончилъ; но Самойловичъ самъ догадался, куда ведутъ эти другіе слѣды...

Х.

Свѣтало. Чигиринъ кое-гдѣ дымился, представляя черную и сѣрую груду развалинъ и пепла. За Тясминомъ слышались еще отголоски доканчивавшейся борьбы. Турецкое и татарское алаканье становилось все слабѣе и слабѣе. Отряды, преслѣдовавшіе бѣглецовъ, возвращались изъ-за Тясмина къ своимъ главнымъ силамъ. Казаки и московскіе рейтары гнали плѣнныхъ небольшими партіями. Везли часть захваченнаго турецкаго обоза съ пушками и палатками. Тутъ же слѣдовало и стадо верблюдовъ, на которыхъ, повидимому, торжественно возсѣдали турки и татары.

— Это что такое? — съ удивленіемъ спросилъ Ромодановскій, все еще несходившій съ коня, и съ тайною боязнью присматриваясь къ верблюдамъ и турецкимъ палаткамъ. — Кого они ведутъ?

— Это верблюды, бояринъ,—отвѣчалъ Мазепа, отъѣхавшій отъ Самойловича, душу котораго онъ уже успѣлъ смутить своимъ лукавымъ намекомъ на „Сиберію“.

— А что на верблюдахъ? турки?—удивлялся и чего-то опасался князь.

Мазепа прищипорилъ коня и и понесся съ горы къ приближавшимся казакамъ съ верблюдами. Скоро онъ воротился и съ улыбкой подъѣхалъ къ Ромодановскому.

— Что скажешь, Иванъ Степанычъ?—тревожно спросилъ воевода.

— Да наши казаки, бояринъ, захватили нѣсколько сотъ гетмановъ на верблюдахъ,—съ прежнею коварною улыбкой отвѣчалъ Мазепа.

— Какихъ гетмановъ?

— Юраськовъ Хмельницкихъ...

— Какъ! и онъ взятъ!—еще болѣе встревожился бояринъ.

— Не самъ онъ, а его товариство... Изволь самъ посмотрѣть...

Ромодановскій, царевичъ Касимовскій, Самойловичъ, Мазепа и князь Булатъ съѣхали съ холма, на которомъ, во главѣ своихъ войскъ, наблюдали за ходомъ битвы и дѣйствіями отрядовъ, высланныхъ на защиту Чигирина и на его гибель.

Рейтары стаскивали съ верблюдовъ что-то вродѣ человѣческихъ фигуръ, наряженныхъ турками, и со смѣхомъ бросали ихъ въ воздухъ, на земь или кидали въ Тясминъ.

— Пропадай ты, аспидъ, ишь идола чево понадѣлали!

— Не кидай въ воду, братцы! бабамъ повеземъ—на огороды ставить...

— Ужъ и точно воробьевъ пужать! ахъ они дьяволы! али мы воробьи!

— Вороны, братцы! ахъ и смѣху же!

Увидавъ начальство, рейтары перестали смѣяться и браниться.

— Что это, братцы?—спросилъ Ромодановскій, подъѣзжая къ одной фигурѣ.

— Чучела огородны, бояринъ,—это онъ нарядилъ болвановъ и посадилъ на верблюдовъ, чтобы насъ пужать.

Ромодановскій не могъ не разсмѣяться: на верблюдахъ дѣйствительно торчали наряженные соломенные чучелы...

— Сіе турчинъ такъ дѣлалъ обманомъ, ради показанія великости своего войска, дабы мы все порохъ и пули на праздныя палатки и болваны выстрѣляли,—объяснилъ Самойловичъ,

Ромодановскій только руками развелъ.

Къ Самойловичу подскакалъ, весь въ пыли и копоти, черниговскій полковникъ Дунинъ-Бурковскій. Одинъ усъ его былъ обожженъ, верхъ на шапкѣ прогорѣлъ, у коня грива осмолена...

— Что, Василю мой любимый?—участливо спросилъ гетманъ.

— Пропалъ Чигиринъ!—запыхавшійся отвѣчалъ полковникъ.

— Вижу, брате...

— Только не пропала казацкая слава и твоя, пане пулковнику!—любезно поклонился Мазепа.

— Эхъ! — отчаянно махнулъ рукой Бурковскій: — вели, пане гетмане, гнаться за проклятыми... Много полону — и казаковъ и московскихъ людей — угнали...

— А изъ сердюковъ? — спросилъ Мазепа.

— Покотомъ полегли...

— Какъ! всѣ?

— Не считалъ... только своего вѣрнаго джуру видѣлъ на арканѣ.

— Пилипа! — Камяненька! — убили!

— Не знаю... видѣлъ только, какъ татаринъ на арканѣ потащилъ его...

Ромодановскій приказалъ трубить общее отступленіе... Мазепа мрачно глянулъ на Чигиринъ: ему разомъ припомнился Каменецъ, золотоволосая дѣвочка, бьющаяся въ рукахъ татарина, и этотъ его вѣрный джура Пилипикъ на арканѣ...

XI.

Мы опять въ Крыму, — въ томъ волшебномъ краю, гдѣ растутъ кипарисы и тополи, можетъ быть самые стройные въ мірѣ, гдѣ небо и солнце и зелень, и горные ручьи, и море, и горы, и долины такъ прекрасны, что казалось бы, тамъ, какъ въ раю — неизсякаемая жизнь, неумирающее счастье, нестарѣющая молодость пріютились на вѣки, и люди не знаютъ страданій...

Казалось бы... а между тѣмъ, въ описываемое нами время это была юдоль человѣческихъ страданій, какъ ни старалась, повидимому сама природа дать тамъ человѣку довольство и счастье...

Чѣмъ-то сказочно ужаснымъ представлялся тогда Крымъ для русскаго человѣка и, въ особенности, для украинца: — Крымъ былъ страной человѣческой „неволи“, неволи „бусурманской“...

И неудивительно... Вонъ и теперь, турецкіе союзники, крымцы, возвращаясь съ Украины, изъ-подъ Чигирина, гонятъ толпы плѣнниковъ: нынѣшній разъ имъ удалось захватить еще больше, чѣмъ подъ Каменецъ, полоняниковъ и полонянокъ. Одну партію ихъ, большую, погнали прямо въ столицу хановъ, въ Бахчисарай, другую — черезъ Акмечеть, Карасубазаръ и Солкаты на Кафу, на главный невольничій рынокъ.

Въ этой партіи знакомый намъ Гирейка имѣлъ всего только двухъ полоняниковъ, вмѣсто прежнихъ четырехъ, но онъ надѣялся хорошо сбыть свой товаръ. Гирейка всю свою жизнь провелъ въ томъ, что ходилъ съ загонями на Украину и притомъ съ единственною цѣлью — захватить какъ можно больше живого товару и потомъ какъ можно выгоднѣе продать его въ Кафѣ. Онъ былъ торгошъ въ душѣ и хищникъ по призванію: грабежомъ только и жилъ. Онъ ничего не сѣялъ, не держалъ ни огорода, ни виноградника, а только торговалъ: когда есть у него люди — людьми торгуетъ; своихъ полоняниковъ продалъ — покупаетъ у своихъ же земляковъ,

чтобъ перепродать въ третьи руки и получить „бакшишъ“; нечего купить или не у кого — онъ мѣняетъ людей на людей, на лошадей, на собакъ, на кинжалъ, на чубуки; нѣтъ ни людей, ни собакъ, ни чубуковъ, онъ мѣняетъ и продаетъ старые халаты, туфли, пояса.

Теперь у Гирейки два рослыхъ и крѣпкихъ полоняника: одинъ черномазый, черный какъ голенище украинецъ, съ черными какъ уголь волосами-чубомъ, и съ сѣрыми какъ камни Чатырдага глазами; другой—рыжий, веснучатый, мордатый и широкоплечій московскій стрѣлецъ изъ полка Касимовскаго царевича. Гирейка ихъ очень бережетъ — приковалъ одного къ другому цѣпью, и глазъ съ нихъ не спускаетъ.

Партія проходитъ черезъ Акмечеть. Толпы татаръ, конныхъ и пѣшихъ, вьючныя лошади, верблюды—все столпилось у моста черезъ Салгиръ. Крикъ, гамъ, ревъ верблюдовъ, ржанье лошадей, руготня и возгласы всевозможныхъ глотовъ — невообразимы. Плѣнныхъ гонять черезъ рѣку въ бродъ. Рѣчка бурлитъ необыкновенно, извиваясь и прыгая по камнямъ, словно за нею кто гонится по пятамъ; но она неглубока, потому что большихъ дождей давно не было.

Гирейка переводитъ и своихъ плѣнниковъ въ бродъ, поглядывая на небо, скоро ли солнце станетъ клониться къ западу, а то порядкомъ—таки жарко.

— А это палаты калги-салтана,—указываетъ украинецъ своему товарищу на фантастическій, весь расписанный дворецъ на берегу Салгира, осѣненный роскошными тополями.

— А кто этотъ калга-салтанъ?—спрашиваетъ стрѣлецъ, дивуясь сказочному терему, въ которомъ, казалось ему, долженъ былъ жить самъ Черноморъ—чудо-юдо, самъ съ локотокъ, борода въ полтретьядцать локтей, Черноморъ, о которомъ ему рассказывали еще въ дѣтствѣ, въ сказкахъ.

— Калга-салтанъ будетъ по-нашему какъ бы гетманъ передъ царемъ, такъ онъ супротивъ хана.

— А самъ ханъ не тутъ рази живетъ?

— Нѣтъ, онъ въ Бахчисараѣ, туда дальше—назадъ.

— А ты, ноли, и тутъ бывалъ, и тамъ?

— Бывывалъ, съ Иваномъ Степановичемъ Мазепой мы тутъ было кашни доброй наварили... Мазепа отъ коша, изъ Запорожья, съ листами посыланъ былъ, такъ и меня съ собою бралъ: я у него въ джурахъ состоялъ.

— А вонъ тамъ гора какая, у! да и гора же, братецъ!

— Эго вправо?

— Да, вонъ словно шатеръ...

— Эго гора Чатырдагомъ прозывается.

— А за горою что тамъ?

— Тамъ море.

— Море! Что ты! Хвалынское, чаю?

— Нѣтъ Черное море.

— Ишь, анаемы, куда загнали насъ!.. Далеко отселева родная сторо-нушка московская...

— Да, далеко,—вздыхнулъ и чубатый украинецъ.

— И нѣту намъ топерь туды ни пути, ни дороженьки... Эхъ! не родила бы мать на свѣтъ, не чай такъ ту маяться... Эхъ служба царская!..

XII.

Чубатый украинецъ и былъ тотъ „джура“ Мазепинъ, котораго въ моментъ взрыва Чигирина Дуинъ-Бурковскій видѣлъ на арканѣ у татарина. Джуру звали Пилипомъ, по прозванію, данному ему въ Запорожьѣ Камяненко. Родомъ онъ былъ изъ Каменца, и потому казаки и прозвали его Камяненкомъ.

Станный былъ этотъ Пилипъ. Маленькимъ Пилипикомъ онъ бѣгалъ по Каменцу, любилъ купаться въ Днѣстрѣ, смѣлѣе всѣхъ сверстниковъ бросался вплавъ на ту сторону быстрой рѣки, дерзко лазилъ по высокимъ скаламъ, висѣвшимъ надъ городомъ, ловче всѣхъ „выдиралъ“ изъ недоступныхъ норъ сивоворонокъ, щуровъ и стрижей; съ ловкостью бѣлки лазилъ по деревьямъ. Его мать никогда не видала такого отчаяннаго ребенка, такого головорѣза, какимъ былъ этотъ „Удовиченко“, названный такъ потому, что мать его, родивъ еще дѣвочку Катрю, сестру Пилипика, овдовѣла. Пилипикъ почти не жилъ дома и въ одинъ день, именно, въ тотъ, когда мать его мучилась родами его сестренки, пропалъ безъ вѣсти, когда ему было двѣнадцать лѣтъ... Мать долго плакала, искала его, думала, что онъ утонулъ или его звѣри растерзали въ лѣсу; а потомъ и плакать перестала...

А Пилипикъ очутился въ Запорожьѣ... Этотъ отчаянный мальчикъ, воспитанный на разсказахъ одного стараго, слѣпого „сѣчевика“, доживавшаго свой вѣкъ въ Каменцѣ, увидавъ у своего „дидуса сѣчевика“ двухъ запорожцевъ, отправлявшихся въ Сѣчь, тайно ушелъ изъ своего родного города и черезъ день настигъ запорожцевъ уже далеко въ степи. Онъ сказалъ, что хочетъ „козаковать“—идти съ ними въ Сѣчь, хочетъ „славы лицарства добувать“. Запорожцы долго надъ нимъ смѣялись; но когда увидѣли, что онъ серьезно отъ нихъ не отставалъ, бѣжалъ за ихъ конями и плакалъ, имъ стало жаль мальчика. Они было хотѣли воротить его домой къ матери, но онъ и слушать этого не хотѣлъ и говорилъ, что скорѣй умереть, чѣмъ воротится.

— Зарубайте меня,—твердилъ упрямецъ:—а домой не вернусь.

Нечего оставалось дѣлать—не пропадать же христіанской душѣ въ степи, запорожцы взяли его съ собой. Попеременно онъ ѣхалъ за спиною то у того запорожца, то у другого, держась за „чересъ“ и говоря, что онъ непременно хочетъ быть „козарлюгой“, а то и „атаманомъ“, а можетъ и „кошевымъ“ и будетъ бить татаръ какъ саранчу.

Въ Запорожьѣ сначала дивовались этой „чудной дитинѣ“, смѣялись, что Харько Дуда и Игнатъ Рудый „привели дитину“, а кто изъ нихъ былъ за „батька“, кто „за матирь“—того не знаютъ; а потомъ всѣ по-

любили небывалаго „козака“ и вырастили изъ него запорожца на славу. Сначала онъ имъ кашу варилъ, сало толокъ на кашу, цибулю крошилъ, тарань чѣстилъ, дегтемъ чоботы мазалъ, коней пасъ; а потомъ, глядь! — и готовъ „козакъ“: „совсѣмъ козакъ—и чубъ такъ“...

Полюбилъ Пилипа и „батько Сирко“. А когда потомъ запорожцы поймали Мазепу, который везъ отъ Дорошенка, въ подарокъ хану, „невольниковъ“ и хотѣли убить его, да не убили только потому, что „батько кошевой“ сказалъ, что, можетъ, этотъ продувной Мазепа и „пригодится козакамъ“;—когда Мазепа самъ сталъ запорожцемъ, то тоже полюбилъ Пилипика и взялъ его къ себѣ въ качествѣ „джуры“, и Пилипъ не разставался съ Мазепой: былъ съ нимъ и въ Москвѣ, гдѣ Мазепа мелкимъ бѣсомъ разсыпался и передъ Артаменомъ Матвѣевымъ, и передъ княземъ Голицынымъ, былъ и въ Крыму...

Только вотъ подъ Чигириномъ Пилипу не посчастливилось. Онъ говорилъ Мазепѣ, что его никогда не возьмутъ въ полонъ: что живымъ онъ самому чорту въ руки не дастся... Но случилось такъ, что дался не чорту въ руки, а ловкому Гирейкѣ. Въ моментъ бѣгства татаръ изъ-подъ Чигирина Пилипъ, погорячившись, заскакалъ слишкомъ далеко, рубя татарву „мовъ капусту“,—и вдругъ, ничего не помнитъ... Что-то жесткое, волосяное захлестнуло ему шею, сдавило, сволокло съ сѣдла во мгновение ока, — и Пилипъ потерялъ память...

Очнувшись, онъ увидѣлъ себя въ цѣпяхъ и около улыбающагося татарина—это и былъ Гирейка. Тутъ же лежалъ связанный по рукамъ и по ногамъ рыжій стрѣлецъ. Продувной Гирейка, захлестнувъ его на всемъ скаку арканомъ, словно степного жеребца, и протащивъ по степи съ полверсты, все еще опасался, что рыжій и мордатый „урусъ“ скоро опомнится и задушитъ его, жидкаго Гирейку, двумя пальцами, и потому тщательно спелѣналъ его сыромятными свивальниками, и, сидя на корточкахъ и скаля отъ удовольствія свои бѣлые какъ у собаки зубы, глодалъ оставшуюся отъ вчерашняго ужина лошадиную ногу, мокая ея, за неимѣніемъ соли, просто въ землю, благо онъ сидѣлъ на солончакѣ и любовался, какъ товарищи его, Халиль-Бурундукъ, Якши-Рамазанъ и Шашлыкъ-Мустафа, тоже пеленали и упаковывали своихъ непокорныхъ плѣнниковъ.

Такимъ-то образомъ запорожецъ и Мазепинъ джура Пилипъ и рыжій стрѣлецъ, Петра Дюжой очутились въ классической странѣ невольничества, въ волшебномъ Крыму.

XIII.

Холмистою степью шли полоняники послѣ выхода изъ Акмечети. Влѣво отъ нихъ и конца, кажется, нѣтъ этой степи, словно бы она спорила съ голубымъ небомъ, все далѣе и далѣе отодвигая его въ ту невидимую даль, къ той заслоненной небомъ и степью дорогой полуночной сторонѣ. А тамъ, въ этой полуночной сторонкѣ,—милая родина, земля святорусская, „города христіанскіе“, тамъ—какъ говорить въ думѣ „невольницкій плачъ“—

Тамъ тихіи воды,
Тамъ ясній зори,
Та край веселый,
Та міръ крещеный,
Святоруській берегъ,
Города христіанські...

Тамъ Кієвъ, Чигиринъ, Черкасы, „Днипро словутиць“, „великій лугъ—батько“ да „Сичъ—мати“... Тамъ и „зозуля куєть“, и „соловейко щебечеть“, „макъ цвите“, „калина росте“, „дивчата співають, возакивъ у неволи спомінають“...

И не было для Пилипа ничего въ свѣтѣ милѣе его дорогой Украины... И для Петры Дюжово ничего въ мірѣ не было милѣе его дорогой московской сторонки, гдѣ „не бѣлы снѣжки во полѣ бѣлѣются“, „не одна дороженька въ полѣ пролегаетъ“, гдѣ не мало „попила его буйная голушка, — пила она, погуляла, что за батюшковой да за матушкиной за легкою за работой“...

Такія мысли проходили по душѣ нашихъ полоняниковъ, когда они медленно двигались гористою степью отъ Акмечети къ Карасубазару. Влѣво—все родное, милое, далекое, навѣки потерянное. Вправо и впереди—чужое, страшное, невѣдомое. Сколько они ни шли, а право все высился къ голубому небу суровый Чатырдагъ, а отъ него, какъ бы цѣпляясь другъ за дружку, темнѣли такія же почти великаны-горы, заслоняя собою чужое, непривѣтливое море. Но какъ ни тяжело у нихъ было на душѣ, они старались казаться бодрыми, веселыми. Да и можетъ ли запорожець въ „тугу“ вдаваться, нѣтъ въ какой бы то ни было неволѣ?—На то онъ казакъ. А московскому ратному человѣку тоже зазорно голову вѣшать. Вонъ онъ не забылъ, какъ, стоя въ караулѣ въ Москвѣ, у Лобнаго мѣста лѣтъ семь тому назадъ, видѣлъ, какъ казнили воровского атамана, Стеньку Разина. Развѣ онъ вѣшалъ носъ? — Нѣтъ! онъ бодро смотрѣлъ въ очи всей Москвѣ... „А Петра Дюжой чѣмъ хуже Стеньки? А эти поджарые да горбоносые да узкоглазые татаршки чѣмъ лучше московскаго стрѣльца?“ думалъ про себя Петра: „семи смертей не бывать, а одной не миновать...“

И вдругъ по странному капризу воли, въ силу природной и нагулянной удали, стрѣлецъ, забравъ какъ можно больше въ свою широкую грудь воздуха, тряхнувъ рыжими волосами, затянулъ на всю степь сильнымъ груднымъ голосомъ:

Ужъ ты поле мое, поле чистое,
Свѣтъ—раздольюшко широкое!
Чѣмъ ты, полюшко, пріукрашено?
Пріукрашено поле все твяточками,
Какъ твяточками—василечками.
По среди-тѣ поля часть ракитовъ кустъ,
Подъ кустомъ—ту лежитъ тѣло бѣлое,
Тѣло бѣлое, молодецкое...
Молодой стрѣлецъ тамъ убитъ лежитъ,
Не убитъ лежитъ—шибко раненой...

При первыхъ звукахъ пѣсни, Гирейка вострепнулся какъ ошпаренный кипяткомъ: не взбѣсился ли ужъ рыжій „урусъ“? не помѣшался ли, какъ это часто бываетъ съ полоняниками? — Такъ вѣтъ—онъ бодро глядитъ и, подперевъ правую щеку ладонью, забираетъ все выше и выше соловьемъ заливаются... И товарищъ его, запорожецъ, смотритъ весело... А пѣсня такъ и льется... Со всѣхъ сторонъ, изъ всего загона понаскакали татары, окружили Гирейкиныхъ молодцевъ, дивуются, ослабляются, головами качаютъ... „Якши—ай якши... Ля илляхъ иль Аллахъ“...

И другіе полоняники подходятъ, слушаютъ...

Гирейка въ восторгѣ. Онъ видитъ, что это у него такой товаръ, за который дорого дадутъ на рынкѣ въ Кафѣ. Онъ самъ былъ свидѣтелемъ, какъ одинъ паша заплатилъ большія деньги за скворца за то только, что онъ хорошо пѣлъ, а другой паша купилъ за пригоршень золота для своего гарема попугая, котораго старый дервишъ научилъ выкрикивать: „Ля илляхъ иль Аллахъ, Мухамедъ расуль Аллахъ!“ И онъ за своего пѣвучаго „москова“ возьметъ втридорога. А Пилипъ, слушая своего товарища стрѣльца, вспомнилъ, какъ онъ еще въ дѣствѣ слышалъ отъ „дидуса сичовика“ рассказъ о казакѣ Байдѣ, какъ этого Байду турки повѣсили за ребро на крюкъ, а онъ не только не просилъ пощады, а напротивъ—попросилъ, чтобы ему передъ смертью дали „люльки“ покурить.

А когда стрѣлецъ, выкрикнувши всю пѣсню, подъ конецъ загелосилъ на всю степь:

Что вѣнчала меня сабля вострая
Съ молодой женой—пулей быстрою,—

Одинъ хохоль-полоняникъ не вытерпѣлъ и даже свистнулъ:
— Ффюю! ишь москва!—отъ народецъ!..

XIV.

Прошло еще нѣсколько дней. И эта послѣдняя партія невольниковъ, какъ и всѣ прежнія, дойдя до Кафы, растаяла на базарѣ какъ снѣжная лавина, спустившаяся въ жаркую долину; какъ распроданное стадо овецъ, они давно томятся—кто на турецкихъ галерахъ, кто въ землѣ Анадольской, кто въ Кизилбашской, кто въ Мультианской, а молодые „бранки“ изнываютъ по гаремамъ, какъ говоритъ дума, — „потурченныя, побусурмевенныя для роскоши турецкой, для лакомства несчастнаго“.

Стрѣлецъ Петра Дюжой за свои пѣсни попалъ въ самый Цареградъ и тамъ, потерявъ счетъ середамъ и пятницамъ, съ отчаянья махнулъ рукой на посты и жретъ скоромное въ надеждѣ, что когда Богъ его выручитъ изъ неволи, то онъ во всемъ покается попу на духу. Запорожецъ Пилипъ остался въ Кафѣ:—его купилъ паша для садовой работы.

И началась для вольнаго запорожца жизнь, полная томительнаго однообразія. Съ ранняго утра до глубокой ночи, позвякивая цѣпами, которыми были закованы его ноги, онъ копался въ саду своего господина, расчи-

щая, подметая и посыпая пескомъ садовыя дорожки, поддерживая цвѣточные грядки и клумбы, очищая фонтаны, журчавшіе въ саду, поливая цвѣты и зеленый дернъ, окаймляющій дорожки, гряды и клумбы, собирая листья и сушь отъ деревьевъ. Одно было для него утѣшеніемъ—это то, что въ этой неволѣ, работая въ саду подъ руководствомъ стараго глухого татарина-садовника, онъ сошелся съ другимъ, ветхимъ-преветхимъ невольникомъ же, который оказался немножко землякомъ и который томился въ Крыму уже около десяти лѣтъ. Старый невольникъ оказался „москалемъ“, который находился уже во второй разъ въ неволѣ, и много неслыханнаго рассказывалъ о своей первой неволѣ. Это былъ тотъ „москаль“, который перебивалъ когда-то и въ Анадольской, и Кизилбашской землѣ, работалъ и на галерахъ, былъ и у фараоновъ, и у испанскаго короля, у нѣмцевъ-дуковъ, и во францовской землѣ у францовскихъ нѣмцевъ и, бусурманился, и всѣ вѣры испробовалъ, и всякую нечисть ѣдалъ—и все это ему было „наплевать“... Онъ рассказалъ своему новому товарищу, что теперешній господинъ ихъ, Облай-Кадыкъ-паша, купилъ его на базарѣ, лѣтъ около десяти тому назадъ, съ двумя его, запорожца, землячками—съ „черкашенками“, изъ которыхъ старшая, живя въ гаремѣ у Облай-Кадыкъ-паши, давно „потурчилась“ и „побусурманилась“ и уже нарожала пашѣ съ полдюжины черномазыхъ пашатъ; а другая, которую паша купилъ маленькою дѣвочкою, теперь выросла, стала красавицей писаной и скоро будетъ любимой пашихой ихъ господина. Онъ же, старый москаль-невольникъ, рассказалъ, что онъ души не чаялъ всегда въ этой „дѣвынькѣ“ и хотъ почти никогда ее не видитъ, но она помнитъ его, стараго невольника, и иногда присылаетъ ему съ молоденькимъ евнухомъ, съ черномазымъ арапченкомъ, какихъ-нибудь лакомствъ.

Запорожцу очень хотѣлось бы увидать своихъ землячекъ, но онъ такъ и не видалъ ихъ: хотъ одно окно изъ гарема и выходило въ садъ, но оно всегда было завѣшено; а сами жены паши выходили въ садъ, въ сопровожденіи евнуха-арапченка и старухи, только по ночамъ или когда въ саду никого не было.

Другимъ утѣшеніемъ для молодого невольника служило то, что садъ ихъ господина глядѣлъ на море. Какой-то неизъяснимой тоской и умиленіемъ ныло сердце невольника, когда онъ видѣлъ въ морѣ турецкую галеру-каторгу, на которой работали прикованные къ ней казаки-невольники и иногда пѣли грустныя пѣсни, напоминая имъ о далекой родинѣ, о дорогой Украинѣ, и невольному садовнику-запорожцу они напоминали о томъ же далекомъ, навѣки потерянномъ раѣ.

Разъ какъ-то, работая по обыкновенію въ саду, онъ увидалъ рабочую большую галеру, которая тянула за собою нѣсколько нагруженныхъ турецкихъ судовъ. На морѣ стояла тишь, и потому суда могли двигаться только на буксирѣ у галеры, которая работала веслами. Галера шла близко отъ берега, а такъ какъ садъ Кадыкъ-паши выходилъ къ морю, къ берегу, отъ котораго отдѣленъ былъ высокою желѣзною рѣшеткою, густо пророс-

шею темною зеленью дикаго виноградника, то и видно было, что на веслахъ работали невольники: виднѣлись черныя лица эфіоповъ, но большею частью, собственно, за веслами сидѣли люди, въ которыхъ нельзя было не узнать украинцевъ. Это были дѣйствительно казаки-невольники, почти голые, съ обросшими бородами и давно небритыми головами. Галера шла необыкновенно тихо.

Пилипъ пересталъ работать, оперся на заступъ и слѣдилъ глазами за галерой: видны были даже лица невольниковъ. Вдругъ на галерѣ разда-лось тихое пѣніе, словно бы кто плакалъ... Сердце запорожца такъ и за-ныло тоскою... Тихій голосъ пѣлъ:

Що на Черному мори
Та на билому камени,
Тамъ стояла темниця кам'яная.
Що у тій-то темниці пробувало симсотъ козаківъ,
Біднихъ невольниківъ...

Пилипу знакома была эта „невольницкая дума“. Онъ слыхалъ ее и въ дѣтствѣ, на площадяхъ родного Каменца, и на базарахъ, и уже въ Запорожѣ потомъ. Дума эта всегда вызывала слезы у слушателей. И Пилипъ всегда слушалъ ее съ болью въ сердцѣ, и всегда бывало думалъ: „а каково-то имъ самимъ, этимъ невольникамъ, о которыхъ поетъ дума? Что они бѣдные чувствуютъ?“... И вдругъ онъ слышитъ эту думу теперь, когда самъ сталъ невольникомъ, и хотя томится не тридцать лѣтъ, какъ тѣ, что въ думѣ, и нелишенъ видѣть ни „свиту божого“, ни „солнца праведнаго“, однако, все же въ неволѣ...

Онъ стоялъ какъ очарованный и слушалъ: какъ въ темницу пришла „дивка бранка, Маруся попивна Богуславка“, какъ она спросила каза-ковъ-невольниковъ, чтобъ они угадали, какой „теперь въ нашей христіан-ской землѣ день“; какъ невольники отвѣчали — почемъ имъ знать, какой теперь день у нихъ на Украинѣ, когда они ужъ тридцать лѣтъ въ неволѣ маются и „божого свиту“, и „солнца праведнаго въ глаза не видають“; какъ имъ на это Маруся Богуславка отвѣчала, что теперь на родной ихъ сторонѣ, на Украинѣ — „великодная суббота“ и „завтра святой праздникъ — роковой день великдень“; какъ невольники, услыхавъ это, бѣлымъ лицомъ до сырой земли припадали, Марусю Богуславку кляли-проклинали, что она имъ о такомъ великомъ праздникѣ въ тяжелой неволѣ напоминала; какъ потомъ Маруся Богуславна, взявъ тихонько у своего и невольницкаго „пана турецкаго“ ключи отъ темницы, всѣхъ невольниковъ на волю вы-пустила, и просила ихъ, чтобъ они, когда придутъ домой на Украину, въ „города христіанскіе“, зашли къ ея отцу — матери и сказали, чтобъ они не продавали ни скота своего, ни имѣнія, и ее, Марусю Богу-славку, изъ неволи не выкупали:

Бо вже я потурчилась, побусурменилась,
Для роскоши турецької,
Для лакомства несчастного...

Пилипъ, слушая пѣніе, стоялъ между грядками, расположенными подъ самымъ балкономъ гарема. Балконъ былъ весь увитъ ползучими растеніями и дорогими цвѣтами, такъ что изъ саду ничего не было видно, что дѣлалось на балконѣ. Но при послѣднихъ словахъ думы онъ услыхалъ шорохъ на балконѣ. Прислушиваясь далѣе, онъ ясно слышалъ, что тамъ кто-то тихо, но горько рыдаетъ — такъ и захлебывается слезами, такъ и задыхается... Услыхавъ это рыданье, запорожецъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ: казалось, это голосъ его матери; это мать рыдаетъ надъ его горькой невольницкой долей и надъ своею собственной недолей...

А съ галеры, между тѣмъ, доносилось:

Ой вызволи, Боже, насъ всихъ, бидныхъ невольникивъ,
Зъ тяжкой неволи,
Зъ виры бусурменської,
На ясни зори,
На тихи воды,
У край веселый,
У мѣръ хрещеный!
Выслухай, Боже, о просьбахъ щирыхъ
У несчастныхъ молитвахъ
Насъ, бидныхъ невольникивъ!

Голосъ замеръ, а запорожецъ все стоялъ и слушалъ, какъ потерянный. Слезы текли по его щекамъ. Вдругъ что-то какъ бы упало на балконъ и застонало...

— Оо! я не хочу—я не хочу бути проклятою Марусею Богуславскою! О Господи!—раздался оттуда болѣзненный крикъ, и потомъ все смолкло...

Запорожецъ догадался, кто это рыдалъ такъ горько на балконѣ и чей это былъ голосъ.

— Она, она, голубушка,—тихо бормоталъ, со слезами на глазахъ, покачивая головою, старый москаль-невольникъ, который подошелъ къ запорожцу.—Она, ластушка...

— Кто вона?

— Дѣвынька моя, сироточка-черкашенка...

XV.

Это было въ 1683 году, когда турки осаждали Вѣну, а Янъ Собѣскій, король польскій, вмѣстѣ съ польскими и казацкими войсками шелъ на выручку погибавшаго цесаря.

Крымскія войска, по повелѣнію султана, съ раннею весною также вышли съ ханомъ въ подмогу турецкимъ силамъ, обложившимъ цесаря и его столицу. Ушелъ на войну и Облай-Кадыкъ-паша, оставивъ свой домъ и гаремъ на попеченіе матери. Уже по возвращеніи изъ похода онъ намѣревался взять въ жены молоденькую украинку, золотокосую подоляночку.

Въ отсутствіи паши и рабамъ туземцамъ, и невольникамъ стало нѣ-

сколько легче: меньше работалось и вольнѣе дышалось. И въ саду какъ-будто стало свободнѣе. Хотя старый садовникъ татаринъ и оставался по-прежнему суровымъ и требовательнымъ, попрежнему пускалъ иногда въ ходъ „червоную таволгу“, которая гуляла по спинамъ невольниковъ; однако, какъ онъ былъ глухъ, то невольники, работая отъ зари до зари, могли хоть иногда промурлыкать подъ носъ родную пѣсенку, побесѣдовать и вспомнить про свою сторону.

Притомъ, съ того дня, какъ запорожецъ услышалъ на гаремномъ балконѣ голосъ, напомнившій ему далекую родину и покинутую мать, и когда въ голосѣ этомъ сказаласть тоска по волѣ, ему легче жилось: казалось, что какое-то другое, хотя невидимое, но родное существо раздѣляетъ съ нимъ и его неволю, и его недолю... А раздѣленное горе всегда какъ-то менѣе тягостно и дауще, чѣмъ одинокое, замкнутое, нераздѣленное.

Однажды, во время какого-то большого татарскаго праздника, когда почти всѣ обитатели дома Кадыкъ-паши находились въ мечети, и даже старая Акъ-Яйлы съ арапченкомъ евнухомъ, отправились на молитву, запорожецъ, усѣвшись у фонтана, подъ тѣнью кипарисовъ, затынулъ свою любимую „сиротскую“ пѣсню:

Стоить яворъ надъ водою, надъ воду схилився,
Молодъ козакъ, молодъ козакъ, да вже й зажурился.
Якъ же мени не хилитись—вода корень мые,
Якъ же мени не журитись, якъ серденько мліе?
Хожу-нужу, хожу-нужу, якъ те сонце въ крузи,
Чи я встаю, чи лягаю—завше серце въ тузи.
Летить орелъ по-надъ море та й летючи крикнувъ:
Ой якъ тяжко въ сій сторонци, де я не привикнувъ!
Ой е въ мене на Вкраини риднесенька мати;
Та де жъ тая Вкрайнонька—дежъ то їи взяти!

Онъ не кончилъ. На балконѣ опять слышались всхлипыванье и тихіе голоса.

— Годи-годи, Катруню! годи, любко!—уговаривалъ одинъ женскій голосъ.

— Охъ, моя матинко! охъ, мое серденько!—плакался другой, сисясь удержать рыданія.

— Не плачь-бо, Катруненько, утрись, стара скоро прійде.

— Я не буду, не буду—оохъ!—и рыданія еще болѣе усиливались.

Запорожецъ понялъ, что это все его пѣсня надѣлала. Онъ пересталъ пѣть, глянулъ на балконъ—ничего не видать, только всхлипыванья и тихіе голоса.

— Се, мабудь, козакъ.

— Та козакъ же-жъ.

— Хиба ты его бачила?

— Давно бачила.

— Молодой?

— Молодой ще... гарный...

У Пилипа сердце заколотилось въ казацкой груди. Онъ еще внима-

тельнѣе сталъ прислушиваться. Всклипыванья становились все тише и тише. Онъ тихонько подошелъ къ балкону, осторожно глянулъ наверхъ—и 'остановился какъ вкопанный: густая вьющаяся зелень, окутывавшая балконъ, казалось, непроницаемою сѣтью, тихо раздвинулась, и изъ-за зелени выглянуло прелестное личико съ заплаканными глазами и золотоволосою головкою. Большіе заплаканные глаза глядѣли прямо на Пилипа. Пилипъ, казалось, одервенѣлъ на мѣстѣ, не спуская глазъ съ таинственного, свѣтлаго видѣнія. Видѣніе улыбнулось, покраснѣло,—улыбнулся и Пилипъ, но покраснѣть не могъ, ибо голенища не краснѣютъ, а его лицо было чернѣе голенища отъ загару...

Пилипъ перекрестился... Онъ самъ не могъ понять съ чего онъ, ни съ того, ни съ сего, перекрестился—должно быть, съ дуру... Только нѣтъ, не сдуру: и тамъ, изъ-за зелени показалась бѣлая, вся въ перстняхъ ручка и тоже перекрестилась...

„Мана... суца мана... та яка жъ гарна!“—сдуру думалось Пилипу.

— Чоловиче, чоловиче добрый! помолись за Катрю!—послышалось изъ-за зелени... Это говорила „мана“.

— Помолюсь,—пробормоталъ Пилипъ, совсѣмъ растерявшійся.

— А якъ тебе зовуть, чоловиче?—снова послышалось изъ-за зелени.

— Пилипомъ...

— И я за тебе, Пилипе, помолюсь...

Въ зелени мелькнула бѣлая рука, и съ балкона слетѣло что-то синее. Пилипъ нагнулся и подвѣлъ—то была широкая шелковая лента—„стричка“.

— Се тобі на забудь,—послышалось изъ-за зелени.

Пилипъ такъ и остался съ разинутымъ ртомъ...

XVI.

Съ этого дня Пилипъ уже жадно, хотя чрезвычайно осторожно наблюдалъ за балкономъ. Первую ночь послѣ видѣнія имъ „маны“ въ зелени провозился въ своей невольницкой конурѣ почти напролетъ до утра; все мерещилась ему эта „мана“ прелестная, эти заплаканные глаза, золотая головка, бѣлая, въ дорогихъ кольцахъ рука. Онъ и молился въ ту ночь усерднѣе и уже постоянно поминалъ на молитвѣ Катрю. Голубую ленту онъ осторожно вдѣлъ въ воротъ своей рубахи и боялся до нее дотронуться, чтобъ не испачкать грязными руками. Неволя его какъ будто улетѣла куда-то, и онъ уже не хотѣлъ воли, не хотѣлъ уходить изъ этого сада, обнесеннаго тюремною рѣшеткою: сюда, казалось, прилетѣла сама и его воля, и сама Украина.

Его казацкое сердце клокотилось, когда онъ укравкой замѣчалъ, что зелень на балконѣ какъ бы шевелилась. Но сама „мана“ не показывалась. Зато однажды къ ногамъ его упалъ пучочекъ „любистку“, и онъ его торопливо подвѣлъ, положилъ за пазуху и съ радостью вспомнилъ, что „любистокъ — для любощивъ“. Другой разъ невидимая рука бросила ему

связочку „руты“, а потомъ вѣточку „барвинку“. Наконецъ, еще разъ у ногъ его очутилась серебряная монета, а въ другой — золотая.

Скоро еще одно обстоятельство порадовало казацкое сердце Пилипово. Когда поспѣлъ въ Кафѣ виноградъ, то старый татаринъ-садовникъ погналъ Пилипа и его товарища, стараго „москаля“, въ другой садъ, принадлежащій Кадыкъ-пашѣ, въ виноградный, находившійся загородомъ, гдѣ предстояла имъ какая-то работа. Проходя базаромъ и позвякивая кандалами, они обратили на себя вниманіе какого-то незнакомаго человѣка — не татарина и не турка, а, повидимому, христіанина. Онъ и оказался христіаниномъ и при томъ украинцемъ, изъ Кіева. Въ ту далекую отъ насъ пору, когда продажа плѣнныхъ была дѣломъ общепринятымъ, существовалъ и выкупъ плѣнныхъ. Но выкупали только богатыхъ полоняниковъ. Для этого родственники богатаго полоняника, братъ или отецъ, выправивъ ханское позволеніе или султанскій фирманъ, отправлялись въ невѣрную землю, большею, частью на невольничьи рынки, въ Козловъ, въ Кафу или Цареградъ, и тамъ искали или спрашивали о своемъ, дорогомъ имъ, полоняникѣ, чтобы выкупить его. Такимъ оказался и тотъ кіевлянинъ, встрѣтившійся на рынкѣ съ невольниками Кадыкъ-паши. У него полонили сына, ходившаго вмѣстѣ съ другими казаками на выручку Вѣны, осажденной турками и крымцами. Крымцы-то, какъ онъ узналъ, и увели его сына въ полонъ. Поэтому онъ и искалъ его въ Кафѣ и, увидавъ нашихъ невольниковъ, тотчасъ обратился къ нимъ съ вопросомъ — не видали ли они или не слыхали ли чего о такомъ-то и такомъ полоняникѣ. При этомъ онъ подалъ имъ милостыню, узнавъ въ нихъ своихъ земляковъ, а въ одномъ — даже запорожца и бывшаго джуру Мазепы. Задобривъ деньгами и ихъ татарина-надсмотрщика.

Наши невольники обрадовались ему, какъ родному. Вѣдь шутка ли — съ родной стороны! Это не то, что теперь, когда и на край свѣта скоро, словно на крыльяхъ вѣтра, телеграфъ переноситъ всѣ извѣстія обо всемъ, происходящемъ въ мірѣ, а тогда не только телеграфовъ и газетъ, но даже почтъ не было.

И много-много интереснаго рассказалъ имъ кіевлянинъ!.. Въ Москвѣ померъ царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ... Да тамъ же были бунты — стрѣльцыбунтовались... Старый „москаль“ при этомъ извѣстіи только въ затылкѣ почесалъ... Мазепа все идетъ въ гору и въ гору... Горько стало Пилипу при воспоминаніи о Мазепѣ: забылъ онъ своего вѣрнаго джуру, изъ головы и изъ сердца выкинулъ...

Но всего любопытнѣе и радостнѣе для нашихъ невольниковъ была вѣсть о томъ, какъ Янъ Собѣскій, король со своими ляхами и казаками турокъ и татаръ погромилъ у города Видня.

— Какъ вейзиръ, — рассказывалъ кіевлянинъ, идя рядомъ съ невольниками — съ войсками своими подступилъ подъ городъ столечный цесарскій. Видно, такъ цесарь, давши бой и не могучи вылодати силамъ великимъ турецкимъ, въ городѣ Виднѣ замкнулся и тамъ городъ, приказавши своимъ

гетманамъ, уступилъ въ свои высшія панства за-для скупленія войска, а городъ черезъ цѣлое лѣто у великомъ обложеніи zostавалъ, которое обложеньцы и просили короля польскаго, Яна Собѣскаго, о поратованя, который стоялъ на границѣ своей за Краковомъ, который видячи такъ великую налогу отъ бусурмановъ христіанамъ, якъ найскорѣй войска збиралъ такъ кварцяные, якъ и посполитое рушеня, затыгаючи по усей земли своей и по Украини—заразъ плату давано. И такъ барзо великіе войска скупилъ, и Бога узявши въ помощь, пойшолъ противъ войскъ турецкихъ. О чемъ довѣдившись, турчинъ Видно мощно доставати и самъ зъ войсками иными противъ короля польскаго пойшолъ, легче тіе войска важачи. Але оного фортуна омилила: бо що учинилъ бы засадку войскъ своихъ пихоты тысяча чотыредесять, усе тое знесено отъ короля польскаго, ажъ и самъ везиръ не выдержалъ зъ своими войсками, але за помощію божією и тіе разбити стали, же у малой купи мусълъ уткати, оставивши гарматы, нематы—усе, що при соби миля. А и тіе войска, що города Видня доставали, побити, ледви що утикло: незличное множество бусурманъ пропало. Где и самъ король, въ городи Видни побувавши и скупившись зъ иными ксіонженты христіанскими, зъ войсками великими пойшли наздогонъ за везиромъ, не даючи оному отпочинку. Изнову у Дуная у мостовъ миля потребу и тамъ турковъ збили, которые великимъ гуртомъ на мостъ пойшли, съ которыми и мосты на Дунаи обломилися, гдѣ знову много погинуло отъ меча и потонуло. А которые жолнирове, мосты направивши, за турками пойшли, где по килька кротъ еще турокъ громили...

— Такъ ихъ! такъ ихъ, собачьихъ сынивъ! — невольню вырвалось у запорожца, все время жадно слушавшаго.

— А проклятую татарву громили?—спросилъ старый москаль, косясь на проводника татарина.

— И татарву громили.

— Слава тебѣ Господи!—перекрестился москаль.

— Такъ-такъ, слава Господу... Усвхъ потребъ по чотыри кротъ валечныхъ было,—продолжалъ, вздохнувъ, кіевлянинъ — и на всихъ потребахъ турки шванковали и городовъ много турецкихъ попустошили и куды хотили войска польскіе и казацкіе ходили и пустошили у кильканадцять миль отъ Цариграда. И въ такихъ потребахъ нашей много погинуло и живыхъ жолнире побрали... *).

Запорожець и „москаль“ значительно переглянулись.

— Може и нашего Кадыка взято, процѣдилъ запорожець.

— А можетъ и въ Крымъ наши придуть,—добавилъ москаль:—разорить бы совсѣмъ это гдѣздо проклятое...

Нѣтъ, не скоро оно было разорено: еще сто лѣтъ послѣ этого стояло, и въ этомъ гнѣздѣ еще сто лѣтъ „не соколы ясные квилили—проквляли“, а „бѣдные невольники плакали—рыдали“.

*) Этотъ рассказъ кіевлянина взятъ изъ „Лѣтописи самовидца“, изд. Ор. Левицкаго (стр. 158—160).

XVII.

Ночь. Къ сѣверу отъ Кафы, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города, на темной синевѣ неба неясно вырѣзываются три человѣческія тѣни. Тѣни двигаются въ противоположную отъ Кафы сторону—на полночь. Двѣ изъ тѣней—большія, высокія, мужскія тѣни; третья что-то небольшое: не то подростокъ мальчикъ, не то женщина. У всѣхъ по длинному посоху въ рукѣ, и у мужчинъ — третья тѣнь дѣйствительно была женская — по котомкѣ за плечами.

Тѣни двигаются скоро, не останавливаясь и въ глубокомъ молчаніи. Сзади ихъ темнѣло синее море на безконечное пространство, и темными, тонкими стрѣлками тянулись къ небу едва замѣтныя линіи минаретовъ Кафы и корабельныхъ мачтъ въ кафенской гавани.

— Ну, вотъ мы, дѣвынька, и на волѣ,—сказала, наконецъ, одна тѣнь, тяжело передохнувъ:—глянь-ко, оглянись, передохни.

Тѣни оглянулись и повернулись лицомъ къ Кафѣ.

— Видишь, дѣвынька, гдѣ была твоя неволя?—спросилъ тотъ же голосъ.

— Бачу, дидушка,—отвѣчалъ тихо женскій голосъ.

— То-то... Помнишь, какъ только насъ гнали въ неволю и ты, крошка малая, плакала, убивалась по родимой матушкѣ, я говорилъ тебѣ: не плачь-де, дѣвынька—мы еще будемъ на волѣ... Помнишь?

— Помню, дидушка,

— А давненько-таки было—а?—давно-давно...

— Девять литъ, дидушка.

— Такъ, такъ, точно девять годковъ.

— Тоди мени було девять литъ, а теперь восимнадцать...

— Такъ-такъ, дѣвынька: восемнадцать—точно какъ разъ невѣста...

А ты что, Филиппушко, молчишь?—обратилась первая тѣнь къ другой, высокой.

— Такъ, дядюшка,—былъ тихій отвѣтъ.

— Али волѣ не радъ? а, Филиппушко?

— Де вже не радъ!

— То-то... А ты, дѣвынька, не устала?

— Ни, дидушка.

— То-то—у тебя ножки-тѣ не наши, махоньки...

— Ничого, дидушка.

— То-то... На насъ не гляди—у насъ ноги лошадины—намъ что! наплевать... Да вотъ, сгоди малость, и отдохнемъ,—только бы подалѣ отъ города, отъ неволи проклятой. А тамотка дальше мнѣ дорога знакомая: когда я былъ въ полону въ Кизилбашской землѣ да въ Анадольской, такъ отседела кочермами хаживали и въ Кафу, и въ Азовъ городъ, что въ Азовскомъ морѣ, въ донскомъ устьѣ, а Азовскимъ моремъ хаживали къ Арабатъ-городку. А этотъ Арабатъ-городокъ отседела будетъ доброва ходу сутки, прямо къ полуночи, а отъ Арабатъ-городка идетъ стрѣлка, коса сказать бы, верстъ на сто, въ море, и по этой по стрѣлкѣ, пройдя Ара-

бать-городокъ отай мы, дойдемъ межъ Гнилымъ моремъ и Азовскимъ, до самова прорана до Гнилова, и черезъ тотъ черезъ проранъ мы дойдемъ до матерой земли. А тамъ ужъ и Днѣпръ-отъ и Муравской шляхъ—рука подать.

— Такъ мы не черезъ Перековъ идемо?—спросили.

— Нѣтъ! тамъ бы насъ, голубчиковъ, сцапали... Нѣтъ, шалишь! я старъ воробей: горохъ клевать не стану черезъ силки. А мы пройдемъ межъ двухъ морей, стрѣлкою, значить, а той-ту стрѣлкѣ ширины всево съ полверсты, а длины до ста верстъ, и вся она камышомъ проросла: такъ лови насъ промежъ двухъ морей да въ камышахъ-ту... Поймай-ко вѣтра вилами... Вотъ оно что, дѣвынька.

Чѣмъ дальше шли ночные путники, тѣмъ становилось яснѣе кругомъ—ночныя тѣни словно улетали куда-то, а одна половина неба голубѣла и блѣднѣла. Кафа съ ея минаретами скрылась за пригорками. Виднѣлось только море, но не одно, а два, даже три—и назади, и впереди.

— Вонъ тамъ, дѣвынька, за нами—Черное море, тамъ и Кафа проклятая.

— А се яке море,—онъ тамъ, дидушка?

— Это, дѣвынька, море Азовское на насъ глядитъ, а вонъ лѣвѣе—и Гнилое.

— А ото якій городъ?

— То Арабатъ-городокъ 'будеть... Такъ-ту—ночка на исходѣ: пора намъ и привалъ сдѣлать въ какой ни-на есть яругѣ. Днемъ ужъ иттить не будемъ,—шалишь!—Днемъ—спать... И твои ножки, дѣвынька, отдохнуть маленько,—такъ-ту... А на Кафу намъ теперь да на неволю наплевать,—вотъ что!

И ночные путники скрылись въ балкѣ, поросшей густыми кустарниками и колючимъ терновникомъ.

XVIII.

Ночные путники были—старый „москаль“, что перебивалъ „во всѣхъ неволяхъ“, молодой джура Мазепинъ, Пилипъ „Удовиченко“ или Камяненко, и золотоголовая „дѣвынька“, что девять лѣтъ назадъ была полонена въ Каменцѣ на глазахъ Дорошенка и Мазепы. Ее звали Катрею.

Какъ они ушли изъ своей неволи, это знали только они да та другая полонянка украинка, которая давно „потурчилась“,—„побусурменилась“ и, въ качествѣ любимой жены Облай-Кадыкъ-паши, привела ему уже нѣсколько черноглазыхъ пащенятъ. Она усердно помогала своимъ землякамъ и своей молоденькой землячкѣ уйти тайно изъ дома паши, отчасти руководясь чувствомъ ревности: она знала, что Кадыкъ-паша, взявъ себѣ новую жену, молоденькую Катрю, ей дастъ отставку, и ловко спустила свою невольную соперницу. Она снабдила ихъ всѣмъ на дорогу—и платьемъ, и обувью, и деньгами, и провизіей... Правда, она горько заплакала было, прощаясь съ подругой своей неволи, но вспомнивъ о дѣтяхъ, утерла заплаканные глаза и замолчала... Мать и въ неволѣ была матерью...

Когда утромъ въ домѣ Кадыкъ-паши спохватились, что исчезла его любимая невольница, а также бѣжали и два другихъ невольника, отчаянью

старой Акъ-Яйлы не было конца. Стали искать евнуха—какъ же онъ не досмотрѣлъ, когда это было его дѣло, потому что онъ былъ приставленъ къ гарему,—и нашли бѣднаго арапченка висѣщимъ съ балкона безъ всякихъ признаковъ жизни: узнавъ раньше другихъ о бѣгствѣ своей госпожи, въ которую онъ притомъ былъ страстно влюбленъ, онъ повѣсился съ отчаянья и горя.

Весь первый день провели бѣглецы въ яругѣ, прикрытые кустами и оврагами. Они закусили, отдохнули, наговорились о своей неволѣ, которая была уже за плечами у нихъ. Больше всѣхъ по обыкновенію говорилъ старый „москаль“. Вспомнилъ и свою Москву, рассказывалъ о московскихъ порядкахъ, не забылъ повторить и о своихъ похожденияхъ въ Кизилбашской и Анадольской землѣ, у фараоновъ и у шпанскихъ нѣмцевъ, у францовскихъ людей и у мултянъ.

Въ ночь они двинулись далѣе и, тайно пробравшись мимо крѣпостцы Арабатъ, стоявшей у входа на Арабатскую стрѣлку, очутились на этой послѣдней. Здѣсь они чувствовали себя уже гораздо безопаснѣе: по обѣимъ сторонамъ у нихъ синѣлось море, а по берегамъ росли непролазные камыши, въ которыхъ никакая погоня ихъ не могла бы отыскать. Въ камышахъ водилась всевозможная дичь, и когда на слѣдующее утро они остановились отдохнуть, то увидѣли, что вся стрѣлка кишитъ утками, гусями, бакланами, куликами, цаплями, гайстрами, журавлями и всякою водяною и болотною птицею.

— Здѣсь мы, дѣтки, и гусятинкой и утятинкой побалуемся,—сказалъ старый „москаль“.

— Я вже самъ думавъ,—добавилъ запорожець.

Дѣйствительно, имъ нетрудно было дорожными палками зашибить пары двѣ утокъ. Они ихъ тутъ же ошипали и выпотрошили; но огонь боялись раскладывать до ночи, чтобъ дымъ не навлекъ на нихъ преслѣдованія крымцевъ. Ночью же въ глубинѣ камышей они развели костеръ и на камышовыхъ тростникахъ, служившихъ вмѣсто вертеловъ, приготовили себѣ роскошный ужинъ.

Молодая украинка, вырвавшаяся изъ неволи, изъ проклятаго гарема, была необыкновенно счастлива. Съ нею былъ тотъ „чернявый, чернобровый козаченько“, котораго она давно, еще въ своей гаремной темницѣ, горячо полюбила. Это былъ тотъ „козакъ“, о которомъ она дни и ночи мечтала въ своей неволѣ. Онъ также полюбилъ „руденькую браночку“ всѣмъ своимъ „щирымъ козацькимъ“ сердцемъ. Да и хороша же эта „руденькая браночка“, Катруня такъ хороша, что казакъ только рукой махалъ отъ невозможности сказать, какъ она хороша.

А старый „москаль“ только радовался, ухмыляясь себѣ въ бороду и точно не замѣчая, какъ хохолъ съ хохлушечкой въ камышахъ тихонько обнимаются да цѣлуются...

— Что! али лебедушку пымали?—окликнетъ онъ ихъ иногда, якобы не нарочно.

— Та ни... такъ... отъ-тутъ бисивъ очереть,—зайкнется казакъ.

— То-то — ачереть.. Вонъ я слыхалъ, черкасы поють:

Ачереть, асака,
Чорны брови въ казака...

— Ха-ха-ха! — И „москаль“ весело смѣется своей же шуткѣ; а молодые хохоль съ хохлушечкой выходятъ изъ камышей красные, какъ раки..

На третій день ужъ или на четвертый дошли бѣглецы до конца Арабатской стрѣлки. Дальше идти было некуда: впереди вода, проливъ, и по бокамъ моря.

Увидавъ это, Катруня тотчасъ ударилась въ слезы. Испугался и запорожецъ, хотъ тотчасъ же понялъ, что москаль даромъ бы не повелъ сюда, если бы не зналъ ходу.

— Что ты дѣвынька! объ чемъ? — утѣшалъ ее „москаль“.

— А вода... якъ же мы...

— Что вода! — вода вода и есть... А на что Богъ камышъ выростилъ — ачереть — а?

Ачереть, асака,
Чорны брови въ казака.

И неунывающий „москаль“ опять засмѣялся.

— Вотъ что, дѣвынька, — продолжалъ онъ серьезно: — намъ и это дѣло знакомое — видывали у фараоновъ... Навяжемъ мы это камышу видимо-невидимо да сухо, сноповъ съ двадцать, а то и съ полтретьядцать и болѣ, да перевяжемъ ихъ осокой, да снопъ на снопъ, да еще рядъ сноповъ, — и выдетъ у насъ плотъ знатный, гонка сказать бы, паромъ — и на этомъ-ту плотикѣ мы и переѣдемъ проранъ-ать... Вотъ что! — это дѣло плевое — наплевать-ста! — такъ-ту, дѣвынька.

XIX.

Цѣлый слѣдующій день бѣглецы употребили на изготовленіе себѣ плота для переправы черезъ Геническій проливъ, отдѣляющій Азовское море отъ Сиваша. Они всѣ работали усердно: мужчины срѣзывали ножами сухой камышъ или собирали лежацій, поломанный вѣтромъ, а спутница ихъ складывала его снопами. Она сначала стала было свивать перевесла изъ осоки и куги для перевязки сноповъ, но тотчасъ же порѣзала осокой нѣжныя, ни къ чему не приученныя въ гаремѣ руки, — и ей велѣли бросить это непривычное дѣло.

— Не твое это дѣло ручки рѣзать, дѣвынька, — остановилъ ее москаль: — да оно и не твоимъ силамъ: навяжешь такихъ перевеселъ, что какъ сошьемъ ими плотъ-отъ нашъ, а онъ на серединѣ-тѣ прорана и ухнетъ — расползется, тоды и лови рыбку на днѣ моря.

Что ихъ допекало въ этой работѣ, такъ это комары: они носились въ камышахъ, надъ камышами и надъ Сивашомъ просто облаками. Но и тутъ бывалый „москаль“ нашелся: онъ набралъ сухихъ водорослей, сдѣлалъ изъ нихъ жгуты, зажегъ ихъ, далъ въ руки своимъ молодымъ спутникамъ по жгуту, которые, медленно тлѣя, дымили и отгоняли комаровъ.

— Вотъ вамъ „курушки“ — курилки сказать бы,—говорилъ этотъ словоохотливый старикъ: — такъ я, курушками-те, отбивался отъ пчелы, когда еще, робенкомъ, жилъ съ отцомъ съ матерью въ Звенигородѣ... Давно это было—уу, давно!.. А какъ въ Анадоліи жилъ, въ полону, такъ и тамотка-чу бусурмановъ научилъ курушки дѣлать.

На другой день плотъ былъ готовъ. Къ дорожнымъ посохамъ, къ концамъ, навязаны были родъ голиковъ изъ жесткаго тростника, и эти голики замѣнили бѣглецамъ весла. Плотъ былъ спущенъ на воду и держался хорошо, ровно, спокойно и достаточно высоко надъ поверхностью воды. Первою взошла на плотъ Катря, которую задорожець перенесъ черезъ воду на рукахъ. Потомъ разомъ, съ двухъ концовъ, взобрались на плотъ и мужчины.

Москаль перекрестился и поклонился на всѣ четыре стороны. За нимъ перекрестились и его молодые спутники.

— Съ Богомъ... Прощай, чужая сторонка, прощай, неволя проклятая!—торжественно произнесъ старикъ.

Стали гребти стоя, словно лопатами. Къ счастью, полуденный вѣтеръ благопріятствовалъ бѣглецамъ и несъ ихъ быстро на ту сторону пролива. Вправо синѣлось Азовское море. Въ туманной дали бѣлѣлись паруса, какъ бѣлыя крылья птицы.

— Тамъ и я когда-то плаывалъ къ Азову городу,—показалъ въ ту сторону старикъ: — и въ Азовѣ городѣ нашего брата невольника видалъ довольно—и черкасы, и донски казаки, и нашъ братъ, московской чело-вѣкъ—всего вдосталь.

И Филипу при этомъ невольно вспомнилась дума о томъ, какъ изъ города Азова три брата убѣгали отъ тяжелой неволи... И ихъ вотъ теперь трое — и они бѣгутъ отъ той же неволи. Катруня представлялась ему младшимъ братомъ, тѣмъ „пѣшимъ пѣшеницею“, который не поспѣвалъ за старшими. И ему стало страшно: а что какъ и она изнеможетъ въ дорогѣ? А дорога еще дальняя — и конца-краю ей невидать... Когда-то они еще доберутся до Муравскаго шляху, до Конскихъ водъ? А ноги въ степи? А что если и Катруня по-сбиваетъ себѣ ножки объ „сырое коренье“, объ „бѣлое камень“ — будетъ за ними поспѣшать, кровью слѣды заливать?

— Ты что, Филиппушко, носъ-ать повѣсилъ? — вдругъ обозвался старикъ:—а?

Молодой казакъ невольно встрепенулся, оглядѣлся кругомъ, глянулъ на дѣвушку, которая стояла на плоту и задумчиво глядѣла въ невѣдомую даль.

— А?... засмутился парень?

— Ни, я такъ...

— То-то такъ... Ишь, дѣвынька, знатно плывемъ, знатная посудина, корабль... Словно въ пѣснѣ:

Изъ-за Волги кума
Въ рѣшетъ приплыла,
Веретенами гребла,

Донцемъ правила,
Гребнемъ парусила.

— Вотъ и берегъ, доплыли! Молись да цѣлуй родную земелюшку—она наша—нашей московской землѣ сусѣдушка...

XX.

Въ Батуринѣ, въ домѣ генеральнаго есаула, Ивана Степановича Мазепы, совершается брачный пиръ. Мазепа женить своего вѣрнаго „джуру“ Пилипа Камяненко на сироткѣ Катрѣ, воротившейся со своимъ женихомъ изъ крымской неволи и незнающей ни роду, ни племени. Извѣстно было только то, что ее маленькою полонили въ Каменцѣ у матери вдовы, и Мазепа припомнилъ даже моментъ, какъ несчастная мать золотокосой дѣвочки въ отчаяннѣ билась на землѣ, когда они съ Дорошенкомъ случайно проѣзжали мимо. Теперь эту полоняночку, уже взрослую красавицу, великодушно воротили изъ полону старый „москаль“ и ея женихъ, „джура“ Пилипъ.

Молодые только что отъ вѣнца и пируютъ, пока „друзки“ готовятъ для нихъ „комору“—брачную постель. Они сидятъ противъ посаженного отца жениха—противъ Мазепы. Иванъ Степановичъ глазъ не спускаетъ съ красавицы въ золотой коронѣ изъ своихъ собственныхъ роскошныхъ волосъ.

Тутъ же, въ концѣ стола, и старый „москаль“, на радостяхъ порядкомъ выпившій. Онъ, глядя на свою дѣвыньку, которой онъ заступалъ на свадьбѣ родного отца, утираетъ кулакомъ слезы.

— Ахъ, дѣвынька! ахъ, красавынька! привелъ-таки Богъ дождаться...

Гостей много, и все войсковая знать, старшина казацкая съ женами. Пиръ въ полномъ разгарѣ: Мазепа такъ и сыплетъ на всѣ стороны „жартами“, а больше все въ сторону молодыхъ... „жарты“ милыя, веселыя, остроумныя...

Входятъ „друзки“, кланяются, обращаясь къ Мазепѣ.

— Старосты, паны пидстаросты! Благословить молодыхъ, на упокой повести!

— Богъ благословить,—отвѣчаетъ Мазепа, сверкнувъ на молодую своими лукавыми, бѣсовскими глазами.

— Въ-друге и въ-трете благословить!

— Тречи разомъ!—воскликаетъ Мазепа.

Молодая вспыхиваетъ и закрываетъ лицо руками... Ее и молодого берутъ подъ руки и уводятъ...

А „свашки“ поютъ, поднимая бокалы съ виномъ:

Не плачь, не плачь, Катруненько,
По своему дивованнячку...

— Ахъ, бидна!—ахаешь одна толстая пани полковникова.

— Да, бидна, пани пулковникова,—улыбается Мазепа: — зновъ у крымскую неволю повели...

Но никто не зналъ, а меньше всего молодые, что они — родные братъ и сестра...

К о н е ц ъ.

ЛЮБОВЬ СПАСЛА

Историческій разсказъ.

I.

„Императрица-поденщица“.

Весна 1793 года выдалась очень ранняя и теплая, и императрица Екатерина Алексѣевна переѣхала изъ Зимняго дворца въ Царское Село въ первой половинѣ мая.

Это были тревожные и трудные годы продолжительнаго и громкаго царствованія Семирамиды Сѣвера, какъ величалъ ее ловкій и плутоватый льстецъ Вольтеръ въ своихъ письмахъ. На плечахъ у нея войны съ Турціей, со Швеціей, раздѣлъ Польши, а столпы государства, на которые она могла опираться, падаютъ одинъ за другимъ: нѣтъ Потемкина, Паниныхъ, Грейга, Вяземскаго.

Давно ли Храповицкій записывалъ въ своемъ „Дневникѣ“ подъ 11-мъ октября памятнаго года: „въ обѣдъ пріѣхалъ курьеръ, что 1-го октября князю Потемкину опять хуже. *Слезы*“. Подъ 12-мъ: „курьеръ къ пяти часамъ пополудни, что Потемкинъ повезенъ изъ Яссы и, не переѣхавъ сорока верстъ, умеръ на дорогѣ, 5-го октября, прежде полудня... *Слезы и отчаяніе*. Въ 8 часовъ пускали кровь, въ 10 часовъ легли въ постель“. Подъ 13-мъ: „проснулись въ огорченіи и слезахъ. Жаловались, что не успѣваютъ приготовить людей. Теперь не на кого опереться“. Подъ 16-мъ: „*продолженіе слезъ*. Мнѣ сказано: „какъ можно Потемкина мнѣ замѣнить! Все будетъ не то. Кто могъ подумать, что его переживутъ Чернышевъ и другіе старики? Да и всѣ теперь, какъ улитки, станутъ высывать головы“. Я отрѣзалъ тѣмъ, что все это ниже ея величества.— *Такъ! да я стара...*“¹⁾.

¹⁾ „Дневникъ Храповицкаго“. Н. Барсуковъ. Стр. 377—378.

Да, старость незамѣтно подкралась. А кто поддержитъ? — Зубовъ? — Гдѣ ему! — онъ еще мальчикъ... И подъ 17-мъ чѣсломъ Храповицкій записываетъ: „Дуралеюшка Зубовъ удивился, услыша отъ Димитрія Прокофьевича Трощинскаго, что секретари ея величества докладываютъ по входящимъ бумагамъ...“ ¹⁾.

„Дуралеюшка!“ — вотъ замѣна Петемкину.

Все напоминаетъ о старости. Подъ 25-мъ октября слѣдующаго года неизмѣнный Храповицкій отмѣчаетъ: „Милостиво разговаривая о домѣ Убри, гдѣ я живу, сказывать изволила, что въ 1766 году (шутка-ли! болѣе четверти столѣтія назадъ...) на масляной были въ немъ у Пассека Петра Богдановича; знаетъ столовую съ пятью окошками, и тогда Строгановъ проѣхалъ въ маскарадномъ платьѣ, и кучеръ одѣтъ арлекиномъ. Съ удовольствіемъ повторили: „какъ все это еще помнится!“ ²⁾

А тутъ ужасныя событія во Франціи. Шагъ за шагомъ слѣдующій за императрицею въ ея домашней жизни Храповицкій 31-го января 1793 г. отмѣчаетъ въ „Дневникѣ“: „по утру дошло къ ея величеству извѣстіе, que le malheureux Louis XVI fut decapité le 10 (22) janvier 1793. Наложень трауръ на шесть недѣль“. И тутъ же дѣлаетъ глупѣйшее замѣчаніе: „стеченіе чиселъ—10-го генваря 1775 года въ Москвѣ казненъ Пугачовъ“... Король Людовикъ XVI и—Пугачовъ!—А далѣе: „ея величество слегла въ постель—и больна, и печальна“... ³⁾.

Около половины марта въ Петербургъ прибылъ графъ д'Артуа, братъ обезглавленнаго короля, впослѣдствіи король Карлъ X. Его приняли съ подобающими почестями. А подъ 11-мъ апрѣля у Храповицкаго отмѣчено: „золотая шпага со всаженымъ солитеромъ въ 10,000 рублей и съ надписью на чашкѣ: „avec Dieu pour le roi“ — положена была на гробницѣ святого Александра Невскаго. Митрополитъ, отслуживъ молебенъ, окропилъ ее святою водою, а Зубовъ съ прочими подарками отвезъ къ графу д'Артуа“. ⁴⁾.

Въ апрѣлѣ будущій король французовъ выѣхалъ въ Англію, но англичане не позволили ему даже пристать къ берегамъ негостепріимнаго острова... „Симъ поступкомъ очень недовольны здѣсь“, — замѣчаетъ по этому поводу Храповицкій.

Вотъ въ какіе дни и при какихъ обстоятельствахъ начинается наше повѣствованіе.

Солнце стояло уже высоко надъ зеленѣющимъ молодою листвою царскосельскимъ паркомъ и жгло, точно лѣтомъ, а императрица все еще работала въ своемъ кабинетѣ. По временамъ она отодвигала отъ себя бумаги и задумчиво глядѣла въ окно, выходившее въ паркъ.

¹⁾ Тамъ же, стр. 378.

²⁾ Тамъ же, стр. 413.

³⁾ Тамъ же, стр. 420.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 424, 425, 429

Въ дверяхъ кабинета показался Захаръ съ полотенцемъ въ рукахъ. Онъ былъ мраченъ. Императрица замѣтила это и невольно улыбнулась. Она догадалась, что любимый камердинеръ ея за что-нибудь сердится на нее. Не проходило, впрочемъ, дня, чтобы онъ не ворчалъ на свою повелительницу.

— Что, Захарушка?—спросила императрица, желая скрыть улыбку.

Захаръ молча подошелъ къ рабочему столу императрицы и провелъ пальцемъ по краю гладкой его поверхности, необтянутой сукномъ, потомъ еще провелъ, точно выдѣлывая узоры, и нагнулся къ столу.

— Хоть указы пиши,—проворчалъ онъ.

— Ты что, Захарушка?—переспросила императрица, показывая видъ, что не замѣчаетъ его выходки.

— Указы, говорю, пиши на столъ, только безъ пера и чернилъ,—огрызнулся Захаръ.

— Да въ чемъ дѣло-то, Захаръ Константиновичъ?—нарочно дразнила государыня своего вѣрнаго слугу.

Захаръ, показавъ государынѣ палецъ, которымъ водилъ по столу, съ добродушнымъ азартомъ проговорилъ скороговоркой:

— Тебѣ, государыня, ничего, а мнѣ отъ Марьи Саввишны достается: пыль, говоритъ, у государыни въ кабинетѣ никогда не стираешь — хоть узоры рисуй и указы пиши на небели... А когда ее стирать, когда ты ни свѣтъ ни заря подымаешься!

— Нельзя, Захарушка, не вставать рано: дѣла много, — добродушно отвѣчала государыня.

— Дѣла много!—накинулся на нее Захаръ:—да что ты у насъ—каторжная, что ли? И на каторгѣ меньше работаютъ. А то—на!—императрица всероссійская, а хуже поденщицы хребетъ-отъ гнетъ надъ бумагами. Мало у тебя совѣтниковъ-дармоѣдовъ? Гдѣ бы ихъ заставить поработать да жиру поубавить, а она сама надрывается. А за все отвѣчай Захаръ.

Въ это время въ дверяхъ кабинета показалось новое лицо. Это былъ мужчина лѣтъ за сорокъ, съ полными розовыми щеками и розовыми губами сердечкомъ, съ гладко выбритымъ подбородкомъ и тщательно напудренными и зачесанными съ высокаго лба волосами съ завитою косицей. Въ рукахъ у него была папка съ бумагами.

— А! это ты, Александръ Васильевичъ! — ласково сказала государыня:—здравствуй!

— Здравія желаю вашему величеству, — былъ отвѣтъ съ низкимъ поклономъ.

— Разобралъ московскую почту?

— Разобралъ, государыня.

— Князь Прозоровскій, ваше величество, доноситъ о розыскѣ по дѣлу мартинистовъ...

По лицу императрицы скользнула неувловимая тѣнь.

— Что же?—спросила она.

— Разобраны, государыня, бумаги Новикова, князя Николая Трубецкого, Лопухина и Тургенева.

— И что же?

— Новаго, государыня, ничего не открыто.

— Я такъ и знала,—залучиво проговорила императрица:—покойный князь Григорій Александровичъ былъ правъ, — какъ бы про себя добавила она.

Потомъ, отодвинувъ одинъ изъ ящиковъ стола, государыня достала оттуда вчетверо сложенный листъ бумаги и развернула его.

— Ты, кажется, этого не знаешь,—сказала она Храповицкому (это и былъ самъ Храповицкій, знаменитый авторъ „Дневника“):—да, не знаешь,—повторила она, глядя на бумагу.—Когда въ позапрошломъ году я назначила князя Прозоровскаго московскимъ главнокомандующимъ, князь Потемкинъ писалъ мнѣ: „ваше императорское величество выдвинули изъ вашего арсенала самую старинную пушку, которая непременно будетъ стрѣлять въ вашу цѣль, потому что своей собственной не имѣетъ, только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью имени вашего величества въ потомствѣ“¹⁾. Я думаю теперь, не слишкомъ ли строго я поступила съ Новиковымъ, заключивъ его на пятнадцать лѣтъ въ Шлиссельбургскую крѣпость.

Храповицкій молчалъ, глубоко смущенный. Онъ слышалъ отъ Попова, бывшаго секретаря князя Потемкина, что и его имя значится въ спискѣ массоновъ²⁾,

— Впрочемъ,—какъ бы опомнившись, заговорила императрица:—Новиковъ умнѣ ихъ всѣхъ, а потому и опаснѣе, а для тѣхъ—для Трубецкого съ товарищами — достаточно и ссылки въ деревню³⁾. А ты слышалъ,—весело добавила государыня,—какой въ Москвѣ былъ разговоръ у крестьянина князя Трубецкаго съ казеннымъ крестьяниномъ?

— Нѣтъ, не слыжалъ, государыня.

— А вотъ—казенный крестьянинъ спрашиваетъ крестьянина князя Трубецкаго: „зачѣмъ вашего барина сослали?“—За то,—отвѣчаетъ:—сказываютъ, что искалъ другого Бога.—На это казенный:—„такъ онъ виноватъ—на что лучше русскаго Бога!“—Неправда ли, какъ хороша *cette naïveté*?⁴⁾.

— И точно, ваше величество,—согласился Храповицкій: — *sancta simplicitas!*

Подписавъ нѣсколько бумагъ, государыня встала, и, подавая ихъ сво-

¹⁾ Словарь Бантышъ Каменскаго, II, 46—58.

²⁾ „Поповъ мнѣ божился, что по дѣлу Новикова я только въ одномъ реестрѣ прежнихъ массоновъ упомянуть“ (Дневникъ Храповицкаго, стр. 430).

³⁾ „Державинъ мнѣ сказывалъ, что при немъ ея величество меня и Ал. Ив. Васильева назвала мартинистами, и что Новиковъ сочтенъ умнымъ и опаснымъ человѣкомъ“ (тамъ же, стр. 430).

⁴⁾ „Дневникъ Храповицкаго“, стр. 411.

ему секретарю, шутливо сунула ими въ выпятившійся животъ осчастливленнаго этимъ царедворца, прибавивъ:

— Je vous tueraï avec un morceau de papier! ¹⁾.

— О, ваше величество,—отвѣшивая глубокой поклонъ, отвѣчалъ Храповицкій:—не только ничтожнымъ клочкомъ бумаги, но единымъ словомъ, единымъ мановеніемъ руки ваше величество можете и убить человека, и вознести на вершину счастья...

Государыня, какъ бы желая размять усталые отъ долгаго сидѣнья за бумагами члены, подошла къ окну, выходявшему въ паркъ.

— Какъ хорошо на дворѣ! — сказала она, открывая окно:—пойти прогуляться по парку, а то сегодня Захаръ задалъ ужъ мнѣ порядочную головомойку.

— За что, государыня?—почтительно улыбнулся Храповицкій.

— За то, что рано встаю и работаю — не даю ему пыль стереть въ кабинетѣ: говорить, что я не императрица, а какая-то поденщица...

— И точно, ваше величество, Захаръ Константиновичъ правъ, онъ говоритъ это изъ глубокой преданности къ вашему величеству,—подтвердилъ Храповицкій:—непосильны труды ваши, государыня.

— Труды-то велики, правда,—возразила императрица:—но Богъ даетъ силы мнѣ трудиться... А можно ли, управляя Россією, быть государемъ нетрудолюбивымъ и недѣтельнымъ? ²⁾.

Храповицкій поклонился, ожидая отпуска.

— Да, правъ, правъ Захаръ,— снова улыбнулась императрица: — не государыня я, а поденщица... А все Богъ помогаетъ, русскій Богъ: на что лучше русскаго Бога!—заклчила она словами казеннаго крестьянина и наклоненіемъ головы отпустила Храповицкаго.

II.

Бѣлые павлины.

Едва Храповицкій откланялся императрицѣ, какъ въ кабинетѣ показался еще одинъ посѣтитель. Это былъ молодой человекъ, почти юноша, невысокаго роста, но широкоплечій и мускулистый, съ прекрасными черными глазами, въ которыхъ было что-то женственное.

При входѣ его лицо государыни, за минуту передъ тѣмъ задумчивое и озабоченное, разомъ прояснилось.

— А! это ты, Платонъ! Что это у тебя? — спросила государыня.

¹⁾ „Дневникъ Храповицкаго“, стр. 401: „Ея величество изволила шутить и, толкнувъ меня въ брюхо бумагами, сказала: je vous tueraï avec un morceau de papier!“.—Такъ, ничто же сумняся! и записалъ.

²⁾ „Дневникъ Храповицкаго“, стр. 392—393.

— Записка Мильотія о *Venus de Medicis*, — отвѣчалъ пришедшій и почтительно поцѣловалъ у государыни руку.

— Это та *Venus*, что въ гротѣ Лѣтняго сада? — спросила императрица.

— Да, государыня, ее поставилъ тамъ еще императоръ Петръ Первый.

— Что жъ онъ пишетъ?

— Говорить, что не въ бережи находится и худыя руки къ ней придѣланы. Онъ совѣтуетъ взять ее оттуда.

— Знаю, — возразила императрица: — мнѣ и Храповицкій то же сказывалъ... Только я что-то тутъ подозреваю.

— Что же, государыня?

— *J'ai l'avis de bonne part que Millotty est le confident et l'espion secret du duc d'Orleans*, — тихо сказала императрица. — Я и Храповицкому сказала, чтобы Венеру не трогать. Пусть стоитъ тамъ, гдѣ ее Петръ Первый поставилъ. Да, кстати, — прибавила государыня, подходя къ камину.

Она взяла съ каминна футляръ и, поставивъ на столъ, открыла. Тамъ оказалось шесть крупныхъ камней, рѣзанныхъ на камнѣ.

— Это мнѣ вчера поднесъ Храповицкій за 510 рублей, — сказала государыня.

— А гдѣ онъ приобрѣлъ ихъ? — спросилъ Зубовъ (это былъ онъ).

— У того же Миліоти.

Зубовъ сталъ разсматривать камни.

— Я ихъ уже видѣлъ разъ, государыня, — сказалъ онъ.

— Гдѣ видѣлъ?

— Миліоти продавалъ мнѣ ихъ и вотъ объ этомъ камнѣ говорилъ, что это рѣдкостный антикъ *et comme une chose sainte*. А я въ этой камнѣ тотчасъ же узналъ *Gelon roi de Siracuse*, что былъ вдѣланъ въ *portemontre de Mirabeau*.

Императрица задумалась. Она вспомнила, что Храповицкій говорилъ ей о какомъ-то курьерѣ, тоже итальянцѣ, соотечественникѣ того же подозрительнаго Миліоти, и о кучерѣ или извозчикѣ, который служилъ прежде, у кого — она не могла припомнить.

— Ахъ, да, вспомнила, — сказала она, разсматривая камню съ изображеніемъ сиракузскаго царя Гелона, — онъ служилъ у *prince de Ligne*, а курьера я сама знаю — это Чинати, курьеръ Храповицкаго изъ кабинета по должности секретарской.

— Чинати? это у котораго хорошенькая дочка? — спросилъ Зубовъ.

Императрица взглянула на него испытующимъ взоромъ, и онъ сильно покраснѣлъ.

— А ты гдѣ ее видѣлъ?

— У Марьи Саввишны, — отвѣчалъ юный царедворецъ въ глубокомъ замѣшательствѣ.

Онъ смѣшался не отъ этого вопроса, вопросъ былъ естественный: императрицу интересовало все, что касалось ея юнаго любимца, о кото-

ромъ она говорила, что „il est d'une humeur égale et très aimable, а сердце предоброе и благородное“, что „Зубовы всѣ люди добросердечные, mais la perle de la famille, selon moi, c'est Platon“. Онъ смутился отъ взгляда государыни, потому что въ этотъ моментъ вспомнилъ, что нѣсколько дней тому назадъ, когда у графа д'Артуа былъ прощальный вечеръ и ужинъ, на которомъ присутствовалъ и Зубовъ, онъ замѣтилъ совершенно нечаянно, когда садился въ карету, что за нимъ подсматриваетъ переодѣтый Захаръ и, конечно, не изъ собственного любопытства: онъ понялъ, что за нимъ слѣдятъ. И дѣйствительно, у Храповицкаго подъ 14-мъ апрѣля записано: „Нѣсколько времени недовольны прогулками Зубова. Были и о томъ рѣчи съ Зотовымъ (Захаромъ), и сегодня, именно, ему приказано было примѣтить, не поѣдетъ-ли онъ куда послѣ ужина прощальнаго отъ графа д'Артуа. Зотовъ ѣздилъ самъ смотрѣть. Зубовъ пріѣхалъ прямо домой“¹⁾).

— Такъ, я подозреваю,—продолжала императрица, играя камеей Гелона:—не заводитъ ли здѣсь этотъ Миліоти яacobинскаго клуба, а камеи и археологія—это ширмы.

— Очень можетъ быть,—согласился Зубовъ.

— Боюсь, какъ бы этотъ сиракузскій царь Гелонъ,—продолжая играть камеей, заключила императрица:—не попалъ въ руки Степана Ивановича Шешковскаго: онъ большой знатокъ всякихъ камей.

Зубовъ понялъ, что императрица придаетъ серьезное значеніе археологическимъ подходамъ подозрительнаго Миліоти. Шешковскій, оберъ-секретарь тайной экспедиціи, была личность, наводившая на всѣхъ ужасъ. Имѣть дѣло съ любезнымъ Степаномъ Ивановичемъ—значило, по меньшей мѣрѣ, познакомиться съ кнутомъ. Недаромъ Потемкинъ, при встрѣчѣ съ нимъ, спросилъ, смѣясь: „Что, Степанъ Ивановичъ, кнутобойничаешь?—„Помаленьку, ваша свѣтлость, помаленьку“,—отвѣчалъ Степанъ Ивановичъ, потирая руки.

Но въ это время вниманіе императрицы было отвлечено отъ камей чѣмъ-то другимъ. Она взглянула изъ окна въ паркъ и улыбнулась.

— Посмотри,—сказала она, подзывая къ окну Зубова:—ты видишь этихъ павлиновъ?

— Въ первый разъ, государыня, вижу бѣлыхъ павлиновъ,—отвѣчалъ Зубовъ, любясь красивыми птицами:—откуда они?

— Мнѣ подарилъ ихъ сегодня одинъ богатый мужикъ, Никита Федоровъ. Но что это проказникъ Левушка продѣлываетъ съ ними?

Вопросъ этотъ былъ вызванъ слѣдующею сценой. Оберъ-шталмейстеръ императрицы, Левъ Александровичъ Нарышкинъ, котораго она дружески называла „Левушкой“, „шпынемъ“ и „проказникомъ“ и о которомъ въ своихъ „Запискахъ“ говорить, что „никто не заставлялъ ея такъ смѣяться, какъ Нарышкинъ, отличавшійся необыкновеннымъ комическимъ та-

¹⁾ „Дневникъ Храповицкаго“, стр. 425.

лантомъ“¹⁾), присѣдалъ передъ павлиномъ и, снимая и надѣвая шляпу, повидимому, дразнилъ красивую птицу. Павлинъ видимо сердился и распустилъ свой великолѣпный хвостъ, которымъ, казалось, хотѣлъ защитить свою робкую самку.

Нарышкинъ замѣтилъ въ окнѣ императрицу и сдѣлалъ ей глубокій реверансъ.

Императрица знакомъ позвала его въ комнаты.

— Ты что тамъ дурачился? — съ улыбкой спросила государыня вошедшаго къ ней оберъ-шталмейстера.

— Я не дурачился, всемилостивѣйшая государыня, — скромно отвѣчалъ Нарышкинъ, почтительно цѣлуя руку императрицы: — я бесѣдовалъ съ Романовичемъ и съ Романовной, государыня.

— Съ какими это еще Романовичами и Романовнами? — удивилась императрица.

— Съ Гавріиломъ Романовичемъ Державинымъ, пѣвцомъ „Фелицы“, а нынѣ тещиной подметкой...

Екатерина улыбнулась. Она вспомнила, что недавно, при Нарышкинѣ и при Храповицкомъ, выразилась о Державинѣ послѣ его доклада, что онъ ходилъ съ такими просьбами, какими бабы разжалобили тещу и жену его²⁾.

— Ну, и что жъ? — спросила она.

— Ояъ, государыня, распустилъ хвостъ и говорить: — меня сама матушка царица „обѣлила“ и теперь, *j'ai un coeur de roche* и не боюсь тещи...

Императрица погрозила Левушкѣ пальцемъ. Она любила его дурачества, подъ которыми всегда прятались серьезные намеки. Государыня недовольна была навязчивостью и безтактностью Державина и недавно, въ присутствіи Нарышкина и Храповицкаго, по поводу надоедливой просьбы одной барыни, велѣла сказать ей: „*j'ai un coeur de roche*“ — и спросить Державина — „не знакома ли ему: теща его всѣхъ просительницъ знаетъ“³⁾. — Екатерина и потому любила шутки своего оберъ-шталмейстера, что онъ своими дурачествами, за которыми скрывалась глубочайшая преданность къ ней Нарышкина, развлекалъ ее и давалъ ей возможность отдохнуть душой послѣ утомительныхъ государственныхъ занятій.

— Такъ это ты бѣлаго павлина принялъ за Державина? — спросила она, любясь изъ окна красивой парочкой.

— Такъ точно, государыня; а было бы обиднѣе, если бы я ворону въ павлиньихъ перьяхъ принялъ за пѣвца Фелицы, — былъ отвѣтъ.

— А Романовна кто же?

— Это одна убійца, государыня.

¹⁾ „Записки Екатерины“, 117.

²⁾ „Дневникъ Храповицкаго“, стр. 389.

³⁾ Тамъ же, стр. 395.

— Убійца!—изумилась Екатерина.

— Да, матушка, убійца, безжалостная убійца, убійца борова голландскаго и свиньи ..

Екатерина невольно разсмѣялась. Она догадалась, на кого направленъ этотъ колкій намекъ. Въ то время въ Петербургѣ много надѣлала шуму тяжба оберъ-шенка и сенатора Александра Александровича Нарышкина, брата Левушки, съ княгиней Дашковой, „двора ея величества статсъ-дамою, академіи наукъ директоромъ императорской россійской академіи президентомъ и кавалеромъ“, знаменитою Екатериною Романовною, по приказанію которой были убиты принадлежавшіе Нарышкину боровъ и свинья, зашедшіе на дачу княгини Дашковой.

— Понимаю, понимаю, Левушка, — серьезно сказала государыня; — такъ ты все еще на нее сердишься за „Каноника“, за „шпыня“?

Это былъ тоже историческій намекъ, очень знаменательный въ исторіи русской журналистики.

— Нѣтъ, матушка, я не сержусь на ворону въ павлиньихъ перьяхъ, которая по лѣсу летала и каркала, будто она троны раздаетъ, —отвѣчалъ Нарышкинъ не менѣе серьезнымъ историческимъ намекомъ. — А вотъ ты, государыня, сдѣлала большой промахъ.

— Въ чемъ, Левушка?

— А въ томъ, матушка, что сочинила про вербу — „За мухой съ обухомъ“ (извѣстное шуточное сочиненіе Екатерины, въ которомъ изображена княгиня Дашкова).

— Почему же?

— А потому, матушка, что надо было сочинить другую провербу — „За свиньей съ обухомъ“...

— Матушка! иди чесаться!—раздался вдругъ голосъ сзади.

Всѣ оглянулись. Въ дверяхъ стояла Марья Саввишна Перекусихина, ближайшая и довѣренная камеръ-юнгфера императрицы.

III.

Влюбленная парочка.

Надъ царскосельскимъ паркомъ стоитъ прелестная майская, палевая ночь. Блѣдныя звѣзды робко мигаютъ на небѣ, на которомъ блѣднорозовая заря борется съ палевыми, робкими сумерками. Въ паркѣ царитъ ночная тишина, и только издали откуда-то доносится ровномѣрное выкрикиванье безсоннаго коростеля.

Въ одной изъ глухихъ аллей парка бѣлѣтся женское платье. Стройная фигура молодой дѣвушки тихо двигается по аллеѣ. Въ рукахъ у дѣвушки желтый, пышно распустившійся одуванчикъ. Она бережно отрываетъ одинъ лепестокъ цвѣтка за другимъ и что-то тихо шепчетъ.

Что же иное можетъ шептать молоденькая дѣвушка, обрывая лепестки цвѣтка, кромѣ того, что внушаютъ ей неизмѣнные, божественные законы природы? Это не она сама, не дѣвушка, а всемогущая творческая природа вмѣстѣ съ этою палевою ночью и блѣдными звѣздами нашептываютъ ей: „любить—не любить, любить—не любить?“—Это шепчетъ въ ней міровая гармонія, міровая любовь, которая создала и эти палевыя ночи, и эти блѣдныя звѣзды, и всю вселенную.

Съ этою блѣдною палевою ночью гармонируетъ и типъ молодой дѣвушки. Это типъ не сѣверный. Что-то есть въ немъ такое, что говоритъ о жаркомъ югѣ, о пламенномъ южномъ солнцѣ, о странахъ и горизонтахъ, незнающихъ блѣдныхъ палевыхъ ночей. Хотя она блондинка, но въ черныхъ глазахъ ея отражается знойное небо юга.

— Не любить, — грустно прошептала она, обрывая послѣдній лепестокъ цвѣтка.

Она остановилась и стала искать чего-то глазами. Въ лицѣ ея, немножко продолговатомъ, и въ формѣ губъ было что-то совсѣмъ дѣтское, хотя она смотрѣла совсѣмъ взрослою дѣвушкою, и стройный съ округленными плечами бюстъ ея былъ гармонично развитъ. Это былъ бюстъ Психеи, когда молодая грудь ея еще не трепетала блаженствомъ отъ прикосновенія крылатаго бога.

Дѣвушка скоро нашла то, чего искала. Впереди ея, у самой дорожки, стройно высилась надъ юною травкой желтая головка одуванчика. Дѣвушка нагнулась и сорвала цвѣтокъ.

Руки ея опять стали осторожно обрывать лепестокъ по лепестку.

— Любить—не любить! Любить—не любить...

Она такъ погрузилась въ это серьезное занятіе, что и не замѣтила, какъ сзади тихо подошелъ къ ней немолодыхъ уже лѣтъ мужчина, плотный и сильный брюнетъ, съ черными вьющимися на вискахъ и на затылкѣ волосами. Лицо его, несомнѣнно, обнаруживало южное происхожденіе — происхожденіе отъ расы, которой солнце, природа и исторія выковали характерный, невырождающійся типъ. Въ пришедшемъ было что-то цыгановатое, мягкое и вкрадчивое. Онъ и подкрадывался къ задумавшейся дѣвушкѣ съ ухватками кошки, подстерегающей зазѣвавшася воробья.

— Любить—не любить!—любить не...

— Любить! — раздался тихій, вкрадчивый и страстный голосъ надъ ухомъ дѣвушки,

Она вся вздрогнула и уронила изъ рукъ полуоборванный цвѣтокъ.

— Ахъ, это вы, синьоръ Витторе!—прошептала она, вся вспыхнувъ.

— Я, *mia cara*... А вы не ждали меня?—вкрадчиво спросилъ пришедшій, цѣлуя руку дѣвушки.

— Я думала, что вы не придете,—отвѣчала она.

— Виновать, моя красавица; но меня задержали все по поводу моихъ камней: ими такъ интересуются всѣ ваши вельможи... Что же мы, однако, здѣсь стоимъ?—продолжалъ пришедшій.—Насъ могутъ увидѣть тѣмъ болѣе, что вы, моя миньона, въ бѣломъ платьѣ—это неосторожно... Знайте *per*

редъ, мое сокровище, что на свиданія по ночамъ надо ходить въ чемъ-нибудь темномъ, сѣренькомъ.

И, взявъ дѣвушку подъ руку, онъ повелъ ее въ глубь аллеи. Онъ чувствовалъ, что дѣвушка дрожала.

— А вы вся дрожите,—замѣтилъ онъ.—Вамъ холодно?

— Нѣтъ, ночь теплая,—чуть прошептала дѣвушка.

— Или вы все еще боитесь меня?

— Нѣтъ, я васъ не боюсь: если бы боялась, то не вышла бы къ вамъ... А я всего боюсь.

Они завернули въ глухую аллею и сѣли на скамейкѣ, скрывавшейся въ молодой зелени густыхъ бузиновыхъ кустовъ.

— А знаете, милая Кира, можетъ быть, это наше послѣднее свиданіе,—взявъ холодную, нѣжную руку дѣвушки, тихо произнесъ тотъ, кого она назвала синьоромъ Витторе.

Дѣвушка замѣтно поблѣднѣла при этихъ словахъ, и прекрасные глаза ея расширились.

— Какъ послѣднее?—испуганно прошептала она.

— Да, боюсь, какъ бы не вышло такъ,—отвѣчалъ тотъ глухо.

— Что же случилось? что вы задумали, Витторе?—еще съ большей боязнью спросила дѣвушка.

— Можетъ быть, мнѣ придется бѣжать...

— Бѣжать!—съ ужасомъ повторила дѣвушка.

— Да, милая Кира, или попасть въ тайную экспедицію, къ Шешковскому въ руки.

— Боже мой! за что же?

— Я ни въ чемъ не провинился, милая Кира; но меня, кажется, въ чемъ-то подозрѣваютъ... А у васъ, вы знаете, міа сага, достаточно малѣйшаго подозрѣнія, чтобы на вѣки сгинуть въ Шлиссельбургской крѣпости...

— Господи! въ чемъ же васъ подозрѣваютъ?—ломала руки дѣвушка.

— Этого-то я и не знаю, дорогая Кира, и только на васъ моя и надежда.

— На меня, Витторе?—изумилась дѣвушка.

— Да, моя дорогая, и вы одна можете спасти меня,—отвѣчалъ пришедшій, какъ бы въ отчаяніи опуская голову.

— Но, ради Бога! какъ и чѣмъ? Говорите, не мучьте меня!—волновалась дѣвушка.

— Слушайте,—сказалъ Витторе, понизивъ голосъ и ближе придвигаясь къ дѣвушкѣ.—Мнѣ передавали по секрету, что Храповицкій, секретарь императрицы и докладчикъ, тайно отъ всѣхъ ведетъ дневникъ. Каждый день онъ записываетъ все, что бываетъ при дворѣ и, въ особенности, во внутреннихъ покояхъ государыни. Онъ заноситъ въ свой дневникъ каждое ея слово, ея именныя распоряженія, даже ея частные разговоры, шутки, каламбуры,—словомъ, все. Вѣдь, вашъ батюшка состоитъ гофъ-курьеромъ при Храповицкомъ?

— Да, онъ кабинетскій гофъ-куррьеръ,—отвѣчала дѣвушка.

— И часто у него бываетъ?

— Каждый день,—почти неотлучно.

— А вы, дорогая Кира, бываете въ его апартаментахъ?

— Пѣтъ, зачѣмъ? Онъ холостой мужчина.

— Но вѣдь вы же знакомы съ кѣмъ-нибудь изъ его домашнихъ?

— Да, его эконожка бываетъ у насъ, а съ ея дочерью Катей я дружна почти съ дѣтства.

Синьоръ Витторе, видимо, обрадовался.

— Ахъ, Кира, Кира моя! сага mia!—прошепталъ онъ, сжимая руки дѣвушки:—ты и твоя Катя,—вы одни можете спасти меня.

— Но какъ, милый Витторе?—недоумѣвала дѣвушка.

— А вотъ какъ, дорогая миньона: не можетъ ли милая Катя достать мнѣ дневникъ Храповицкаго хоть на одинъ часъ?

— Но зачѣмъ онъ вамъ, Витторе?

— Прочитать только то, что тамъ обо мнѣ написано,—только, моя радость!

— Но какъ же его достать, Витторе, когда Александръ Васильевичъ всегда запираетъ его въ свой письменный столъ?

— Нѣтъ, моя дорогая, не всегда запираетъ. Мнѣ навѣрное передавали, что онъ по ночамъ пьетъ и ложится спать всегда сильно отуманенный Бахусомъ — per Вассо ¹⁾! Часто поэтому дневникъ его остается въ кабинетѣ на столѣ до утра. Въ это-то время Катя, вставъ пораньше, когда Храповицкій еще валяется въ спальнѣ, и можетъ тихонько взять дневникъ и принести къ тебѣ, а ты—мнѣ.

— Но Александръ Васильевичъ за это время проснется и схватится дневника,—возразила дѣвушка.—Что тогда съ нами будетъ?

— Правда, правда, моя умница! Ну, мы тогда поступимъ иначе.

— Какъ же?—спросила Кира, которая горячо приняла къ сердцу опасное предложеніе вкрадчиваго итальянца, лишь бы только спасти его—свою любовь, свое счастье.

— Катя писать умѣетъ?

— Конечно, мы съ нею вмѣстѣ учились.

— Такъ пусть она спишетъ то мѣсто изъ дневника, гдѣ говорится обо мнѣ.

— А если не говорится?—спросила Кира.

— Навѣрное говорится; мнѣ даже говорилъ объ этомъ вашъ батюшка. Онъ самъ разъ утромъ видѣлъ въ кабинетѣ Храповицкаго на столѣ дневникъ и прочелъ одво мѣсто, гдѣ говорится: „докладывалъ по запискѣ Миліотія“—о чемъ,—вашъ батюшка не разобралъ, потому что дальше было написано по-французски; но ясно, что говорилось о Венерѣ Медичи-

¹⁾ Объ этомъ свидѣтельствуешь Бантышъ-Каменскій. (Словарь III стр. 507).

совъ, что въ гротъ Лѣтняго сада, что статуя рѣдкая, да только въ небреженіи находится и руки къ ней приставлены худыя. Это я, дѣйствительно, писалъ въ своей запискѣ. А что дальше написано тамъ по-французски, то изъ этого всенепремѣнно явствуется, что то написано для конфиденту, по тайности.

— Но вѣдь Катя, Витторе, не знаетъ по-французски,—замѣтила Кира, видимо рѣзочарованная и опечаленная этимъ несчастіемъ.

— Ничего, моя радость!—успокоивалъ ее собесѣдникъ:—непонятныя слова пусть она только скопируетъ, срисуетъ, и ужъ я пойму все—мнѣ не превывать.

Дѣвушка молчала, обдумывая все ей сказанное.

— Такъ будетъ это, моя Кира, будетъ? ты спасешь меня?—страстнымъ шопотомъ допрашивалъ итальянецъ.

— Да, да, мой Витторѣ! мой возлюбленный! Что бы ни было—я все сдѣлаю!—порывисто шептала дѣвушка, пряча свою пылающую головку на груди своего демона.

А ночь стояла все та же блѣдная, палевая, тихая,—и только вдали коростель выбивалъ свою однообразную пѣснь любви...

IV.

„Россія дороже всѣхъ боговъ Олимпа“.

Тихая палевая ночь не долго, однако, прикрывала своимъ прозрачнымъ покровомъ влюбленную парочку. Сѣверныя майскія ночи очень предательскія, не то, что южныя, черныя, непроницаемыя, какъ тайны влюбленныхъ. И наша парочка должна была скоро разойтись, потому что сѣверовосточный край горизонта алѣлъ и алѣлъ съ каждою минутою.

Дѣвушка возвращалась домой торопливо, лихорадочно, и, казалось, вся рдѣла отъ счастья. Ей сдавалось, что если бы кто встрѣтилъ ее теперь, освѣщаемую утренней зарей, сіяющую внутреннимъ блаженствомъ, то непременно замѣтилъ бы *это—то*, что тамъ было, замѣтилъ бы на ея пересохшихъ и какъ бы припухшихъ губкахъ, на ея пламенѣющихъ щекахъ, на лбу, на волосахъ—на всемъ ея существѣ...

— Онъ любитъ, онъ любитъ!—неслышно шептали теперь ея горячія губки, и ей казалось, что эта розовая полоса зари, которая глядѣла на нее изъ-за деревьевъ парка, тоже шептала: „онъ любитъ, любитъ!“.

И ей стиновилось стыдно этой розовой зари... „Она видѣла, какъ я его цѣловала, я, я!...“

А онъ удалялся, потупивъ въ раздумьѣ голову, повидимому, сердитый и усталый.

— Она достанетъ, непременно достанетъ, рег Вассо!—шептали его невидимыя подъ густыми усами губы.

Кто же былъ онъ? Читатель, конечно, догадался, что это былъ италянецъ Миліоти, о которомъ императрица говорила съ Храповицкимъ и Зубовымъ, — знатокъ классическихъ древностей и обладатель дорогихъ камней. Въ немъ было, дѣйствительно, что-то таинственное. Онъ уже нѣсколько лѣтъ проживалъ въ Петербургѣ, былъ вхожъ ко всей знати, какъ знатокъ и цѣнитель всякихъ антиковъ, говорилъ, помимо родного языка — языка Данта и Петрарки, на языкѣ Вольтера и Дидро, зналъ по-польски и почти чисто объяснялся по-русски. Многіе видѣли въ немъ авантюриста, которымъ въ тотъ странный вѣкъ, когда бѣглецы ссыльные, какъ Морицъ Беніовскій, дѣлались королями Мадагаскара, а бѣглый донской хорунжій, Емелька Пугачовъ, оспаривалъ императорскую корону у Семирамиды Сѣвера, — въ этотъ странный вѣкъ авантюристами была запружена вся Европа.

Дѣвушка же, которую этотъ таинственный антикварій называлъ Кирою и которая, повидимому, любила его первою, чистою, какъ грезы ребенка, и такою же, какъ первыя грезы молодости, пламенною любовью, была единственная дочь Чинати, о которомъ тоже упоминала императрица и который былъ у Храповицкаго кабинетскимъ курьеромъ по секретарской части, слѣдовательно — лицомъ придворнымъ. Онъ уже давно состоялъ на русской службѣ, пріѣхавъ въ Россію съ отцомъ еще въ дѣтствѣ, и былъ отличаемъ при дворѣ, какъ одинъ изъ самыхъ ревностныхъ и толковыхъ исполнителей приказаній, исходившихъ свыше.

Миліоти часто бывалъ у этого Чинати, какъ у своего соотечественника, и тамъ онъ познакомился съ молоденькою и прелестною Кирою.

Подобно тому, какъ юная Дездемона, слушая трепетной душой повѣствованія Отелло о его дивныхъ и трагическихъ похожденияхъ, пламенно полюбила своимъ дѣтскимъ сердцемъ смуглаго, какъ голенище, мавра, такъ и молоденькая Кира сначала заслушивалась до умиленія, до слезъ поэтическихъ рассказовъ таинственнаго Витторе Миліоти о чудной странѣ, омываемый голубыми морями и накрытой, какъ дивнымъ шатромъ, темносинымъ небомъ, — о родинѣ ея отца, о ея природѣ и людяхъ, о пышныхъ дворцахъ „царицы морей“ и „вѣчнаго города“, о горахъ, извергающихъ съ вершинъ своихъ пламя, о лаврахъ и миртахъ, зеленыющихъ круглый годъ, объ апельсинахъ, зрѣющихъ зимой подъ знойнымъ солнцемъ, и о величественныхъ пальмахъ, — полюбила его, наконецъ, со всѣмъ пламенемъ только-что распустившагося, подобно розѣ подъ весеннимъ солнцемъ, молодого, отзывчиваго, какъ Эолова арфа, прекраснаго сердца, хотя онъ былъ втрое ея старше.

На другой день послѣ свиданья влюбленныхъ въ паркѣ по той же аллеѣ проходила императрица. Это была ея утренняя прогулка въ промежуткѣ двухъ докладовъ — секретарскаго и сенатскаго.

Государыня шла въ глубокой задумчивости. Для нея, повидимому, не существовало ни этой свѣжей, только что распускающейся зелени, ни этихъ скромныхъ подсаженниковъ, глядѣвшихъ на нее изъ гущины сочной весенней травки, ни этого голубого неба. Казалось, она къ чему-то прислу-

шивалась, но не къ тому, что вокругъ нея, вѣтъ, а къ чему-то въ ней самой, въ ея сердцѣ, въ ея памяти.

Задумчиво остановилась она около статуи Аполлона Бельведерскаго и, казалось, что-то припоминала.

Да, она припоминала что-то очень далекое—и такое дорогое, и такое горькое. Молодость припоминала она при видѣ этой статуи. Она тогда не была еще Семирамидой Сѣвера. Она не раздавала тогда еще троновъ, царственныхъ порфиръ и вѣнцовъ. Но тогда она могла давать что-то болѣе дорогое—любящее, не извѣрившееся сердце. А теперь это царственное сердце извѣрилось въ людяхъ—и соловьи, какъ прежде, не запоютъ уже въ этомъ сердцѣ: они умолкли въ немъ, какъ умолкаетъ все глубокой осенью.

Она вспомнила одинъ случай изъ того дорогого прошлаго... И Левушка тутъ былъ тогда, Левушка, уже старикъ теперь, хотя такой же повѣса, какъ и тогда. И онъ, тотъ юноша, такъ напоминавшій собою Аполлона... А теперь она отнимаетъ у него полцарства—все отнимаетъ, что тогда дало ей молодое, не извѣрившееся сердце...

— Такъ быть должно,—тихо прошептали ея сурово сжатые губы:—слава и могущество Россіи—прежде всего!

Она невольно вздрогнула... За зеленью, что была позади статуи, она увидѣла Нарышкина, Левушку, о которомъ сейчасъ невольно вспомнила...

— Левушка, это ты? — невольно вырвалось у государыни.

По щекамъ Нарышкина текли слезы...

Глубоко преданный Екатеринѣ почти съ дѣтства, другъ ея молодыхъ лѣтъ, когда она была еще великой княгиней, другъ самоотверженный и безкорыстный, онъ, казалось, жилъ ея жизнью, ея счастьемъ, ея славой. Онъ старился вмѣстѣ съ нею.

Когда она, такая задумчивая и грустная, одиноко шла по аллеѣ, Левушка издали, невидимо, наблюдалъ за нею. Онъ не могъ не видѣть, какъ безжалостные годы отражались на ея лицѣ, вырѣзывая морщинку за морщинкой на этомъ мраморномъ челѣ, вплетая сѣдые паутинны въ ея роскошную косу. Онъ своимъ преданнымъ сердцемъ понималъ, о чемъ она такъ глубоко задумалась. Онъ вмѣстѣ съ нею переживалъ и ея и свою жизнь, хотя въ его жизни, праздной и веселой, не было столько заботъ—царственныхъ заботъ, тревогъ, огорченій и разочарованій. Онъ тихо шепталъ, слѣдя издали за нею: „матушка! матушка!“.

Когда она остановилась у статуи Аполлона, онъ вспомнилъ то же, что она вспомнила—свою и ея молодость, вспомнилъ и того друга своей молодости, у кого отнимаютъ теперь царство...

И у него, вѣчно беззаботнаго повѣсы, у него, проказника до гробовой доски, невольно потекли изъ глазъ слезы...

— Другъ мой! ты плачешь?—невольно вырвалось у императрицы.

Нарышкинъ упалъ передъ ней на колѣни и, цѣлуя край ея платья, беззвучно плакалъ.

— О чемъ ты?—спрашивала государыня, глубоко тронутая небывалою сценою.

Нарышкинъ молчалъ и плакалъ. Это встревожило государыню.

— Левъ Александровичъ! я тебѣ приказываю сказать, о чемъ ты плачешь? Встань!—повелительно, но ласково сказала императрица.

Нарышкинъ выпрямился.

— Повинуюсь именному указу вашего императорскаго величества!—сказалъ онъ торжественно, хотя слезы продолжали крупными каплями катиться по его полнымъ щекамъ.

— О чемъ это?—еще милостивѣе спросила государыня.

— О тебѣ, матушка!—былъ отнѣтъ,

— Обо мнѣ?—удивилась императрица.

— И вотъ объ немъ!—указалъ онъ на статую Аполлона.—Ахъ, какъ это давно было!

Императрица поняла его, потому что привыкла угадывать даже мысли своего стараго друга.

— И мнѣ жаль его, другъ мой,—грустно сказала она.

— Пощади его, государыня, хотя ради его божественнаго прошлаго,—тихо, едва слышно, произнесъ Нарышкинъ.

— Божественнаго? Да, оно было божественно, — загадочно сказала императрица: — но боги Олимпа теперь стали простыми орнаментами для смертныхъ.

— Такъ, твоя правда, государыня.

— Чего же ты просишь?

— Только пощады для него, государыня.

— Я пощажу его лично, другъ мой; но знай, что Россія, ея слава и могущество дороже для меня всѣхъ боговъ Олимпа, дороже моего сердца, дороже моего личнаго счастья! Что совершается — должно совершиться. Я думала войти въ Польшу къ готовой конфедераціи, но, вмѣсто того, войска мои дошли до Варшавы, и конфедерацію открыли за спиной арміи. Они сами не сдержали слова, и теперь беру я Украину взаменъ моихъ убытковъ и потери людей... Теперь Кречетниковъ доноситъ, что во всѣхъ земляхъ, отъ Польши пріобрѣтенныхъ, всѣ охотно мнѣ присягаютъ. Гарнизонъ Каменца-Подольскаго тоже присягнулъ мнѣ добровольно ¹⁾.)

Въ это время по аллеѣ быстро приближался Храповицкій. Онъ былъ красенъ и торопливо вытиралъ фуляромъ вспотѣвшій лобъ.

Увидѣвъ его, императрица спросила:

— Что, Александръ Васильевичъ, потѣешь?

Это былъ почти всегдашній вопросъ Екатерины при встрѣчахъ со своимъ потливымъ секретаремъ, о чемъ онъ съ неизмѣнной добросовѣстностью и записывалъ въ своемъ „Дневникѣ“.

¹⁾ „Дневникъ Храповицкаго“, стр. 422, 424—425.

— Преужасно потѣю, ваше величество!—съ низкими поклономъ отвѣчалъ Храповицкій.

— Такъ кунайся чаще. Что это у тебя?

— Абрахамъ, ваше величество, что вы изволили приказать купить у Миллотія.

— На себя купилъ?

— На себя, государыня.

— А покажи.

Храповицкій подалъ пріобрѣтенные имъ абраксасы.

Императрица внимательно разсматривала ихъ и показала Нарышкину.

— Хочу послать ихъ, для счастія, какъ талисманъ, къ воюющимъ братьямъ короля французскаго,—показала государыня.

— Что же эти головки изображаютъ, матушка?—спросилъ Нарышкинъ.

— Одна, *in taglio*—*celle d'Angélie, mère d'Auguste*, а эта—*celle de Mécène*. Спасибо Александръ Васильевичъ!—милостиво поблагодарила Храповицкаго императрица ¹⁾.

Изъ-за поворота аллея показалась знакомая уже намъ парочка бѣлыхъ павлиновъ.

— А! вотъ и Гаврило Романовичъ съ княгиней Дашковой!—съ прежней беззаботностью воскликнулъ Нарышкинъ, увидѣвъ красивую парочку.

— Кстати, — обратилась императрица къ Храповицкому: — надо же отблагодарить Никиту Ѳедорова за павлиновъ.—Какъ ты думаешь: можно дать ему серебряную кружку?

— Отчего же, ваше величество! можно, я думаю,—отвѣчалъ Храповицкій.

— Но вѣдь я даю кружки за другія дѣла,—возразила Екатерина.

— Что же, государыня, тѣ кружки бывають съ надписью, за что пожалованы; а Никита Ѳедоровъ мужикъ богатый, и деньгами подарить его веловко,—отвѣчалъ докладчикъ.

— Хорошо. Такъ приготовь для него кружку во сто пятьдесятъ рублей.

— Слушаю, ваше величество.

V.

Набинетскій шпіонъ.

Прошло нѣсколько недѣль.

Въ кабинетѣ императрицы идетъ докладъ по дѣламъ тайной экспедиціи. Докладываетъ новый генераль-прокуроръ, Александръ Николаевичъ Самойловъ, смѣнившій престарѣлаго князя Вяземскаго, котораго съ торжествомъ похоронили въ лаврѣ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ.

Самойловъ — родной племянникъ покойнаго князя Потемкина по матери. Это бывшій боевой генералъ, который 6-го декабря 1788 года первымъ ворвался въ неприступныя твердыни Очакова.

При докладѣ присутствуетъ одинъ только Платонъ Александровичъ Зубовъ.

— Кто производилъ обыскъ? — спросила императрица, когда Самойловъ удобнѣе раскладывалъ внесенныя въ кабинетъ бумаги.

— Самъ Степанъ Ивановичъ, государыня, — отвѣчалъ Самойловъ.

— Шешковскій въ этомъ дѣлѣ мастеръ, — замѣтила Екатерина, взглянувъ на Зубова.

— Въ квартирѣ производилъ обыскъ или въ другихъ мѣстахъ? — спросилъ этотъ послѣдній, видя на себѣ пристальный взглядъ государыни.

Зубовъ зналъ, что императрица особенно заботилась, чтобъ онъ внималъ въ государственныя дѣла, и потому требовала, чтобы при докладахъ онъ возможно внимательнѣе слѣдилъ за всѣмъ, не былъ безучастнымъ зрителемъ и не изображалъ изъ себя олицетвореніе разсѣянности и скуки, какъ предмѣстникъ его, графъ Дмитріевъ-Мамоновъ.

— Всюду, гдѣ признавалось необходимымъ, ваше превосходительство, — отвѣчалъ Самойловъ на вопросъ Зубова: — и на квартирѣ, и внѣ квартиры.

— Что же найдено особенно подозрительнаго? — спросила Екатерина.

— Наибольшую подозрительность, ваше величество, возбудили выписки изъ какого-то дневника, — отвѣчалъ докладчикъ. — Сначала арестованный запирался, упорно отрицалъ значеніе выписокъ; но когда я пригрозилъ ему пристрастіемъ, то онъ сознался, что это выписки изъ дневника Александра Васильевича Храповицкаго.

— Храповицкаго! — изумилась императрица и даже привстала. — Моего личнаго секретаря?

— Такъ точно, ваше величество, — отвѣчалъ Самойловъ.

— Такъ Храповицкій ведетъ дневникъ?

— Судя по выпискамъ, государыня, — да.

— Значить, тайно отъ всѣхъ?

— По всѣмъ вѣроятіямъ, а иначе кто-нибудь зналъ бы объ этомъ. Ясно, что онъ таится.

— А если таится, значить, считаетъ дѣло преступнымъ.

Императрица въ волненіи встала и подошла къ Самойлову.

— Покажи мнѣ эти выписки, — сказала она.

Самойловъ подалъ нѣсколько листовъ исписанной бумаги, въ осьмушку, мѣстами пропитанныхъ для чего-то масломъ. Императрица стала разсматривать бумаги.

— А чья это рука? не самого арестанта? — спросила она.

— Нѣтъ, государыня, его руку я знаю, — отвѣчалъ генералъ-прокуроръ.

— Чья же, если не его?

— Еще не дознано, ваше величество.

— Не говорить?

— Упорно уклоняется отъ отвѣта на сей вопросный пунктъ.

— Значить, у него есть сообщники?

— Надо такъ полагать, государыня.

Екатерина съ брезгливостью, но съ любопытствомъ стала разбирать рукопись.

— Кажется, женская рука,—замѣтила она.

— *Cherchez la femme*,—вставилъ Зубовъ.

— Именно *cherchez la femme*!—и мы ее найдемъ!—настойчиво сказала императрица, рассматривая листки.—Начинается двадцатымъ числомъ, но какого мѣсяца и года—не видно... „Докладывалъ но запискѣ Мильотія о *Venus de Medicis*,—съ трудомъ разбирала она,—*Venus de Medicis*, находящейся въ гротѣ Лѣтяго сада, что статуя рѣдкая, но не въ бережи и худыя руки къ ней придѣланы“...

Екатерина остановилась, пораженная изумленіемъ.

— Да, дѣйствительно,—сказала она, глядя на Зубова:—на-дняхъ Храповицкій, именно, объ этомъ мнѣ докладывалъ, это вѣрно.

— И при мнѣ объ этомъ была рѣчь,—добавилъ Зубовъ.

— Посмотримъ—что дальше,—продолжала государыня разбирать рукопись:—„отозвались (это, по всей вѣроятности, я — „отозвались“—вѣжливо, почтительно, а не „отозвалась“) —отозвались *qu'on a l'avss de bonne part, que Milioty est confident et l'espion secret du duc d' Orleans*“... Такъ вотъ оно, откуда вѣтромъ повѣяло! вотъ для чего понадобились эти выписки! А французскія слова и реченія описаны, видимо, чрезъ промасленную бумагу, карандашемъ—просто срисованы. Надо полагать, что прекрасная сообщница не знаетъ французскаго языка и копировала слова безсознательно: вѣроятно, подучена болѣе умнымъ—прибѣгнуть къ маслу умно!

Императрица глядѣла на присутствовавшихъ гнѣвными, блестящими глазами. Тѣ молчали.

— Посмотримъ, что дальше... „Венеру не трогать (читала она); пусть стоитъ тамъ, гдѣ Петръ Первый поставилъ“.—И сіе съ подлиннымъ вѣрно: я такъ и сказала—не трогать.—Двадцать перваго, второго, третьяго и четвертаго Александръ Васильевичъ, какъ видно, ничего не изволили записать, но зато разразились двадцать пятаго... Почитаемъ—это настоящій романъ... „Милостиво разговаривая о домѣ Убри, гдѣ я живу, сказывать изволили (опять почтительно—замѣтили въ скобкахъ—„изволили“), что въ 1766 г. на масляной была въ немъ у Пассека Петра Богдановича (и то правда—была и сказывала ему); знаетъ столовую съ пятью окошками (знаю и номню), и тогда Строгановъ проѣхалъ въ маскарадномъ платьѣ и кучеръ былъ одѣтъ арлекиномъ“.—Правда, правда.—„Съ удовольствіемъ повторили, какъ все это еще помнится!“—Да, точно, повторяла съ удовольствіемъ. Это было тогда, когда ты, Платонъ Александровичъ, еще не родился, съ улыбкой обратилась императрица къ Зубову:—ты родился въ 67-мъ году, такъ?

— Такъ точно, государыня,—отвѣчалъ Зубовъ, краснѣя.

— Вонъ какая я старуха!—не безъ волненія произнесла государыня.

Она нѣсколько разъ прошла по кабинету въ глубокой задумчивости. Ни Самойловъ, ни Зубовъ не осмѣлились прервать ея молчанія. Казалось, она забыла и присутствовавшихъ, и интересовавшія ея выписки.

Наконецъ, она остановилась, какъ бы опомнившись.

— Любопытствуемъ, что дальше,—сказала она, поднося выписки къ глазамъ.—Двадцать восьмое. „Передъ обѣдомъ отъ ея величества присланъ ко мнѣ Поповъ, чтобы я у Миліоти купилъ на себя абрахас и Поповъ не зналъ, что такое абрахас“.—Бѣдный Васенька не знаетъ, что такое абрахас,—улыбнулась государыня:—вѣрно ученъ на мѣдныя деньги, а теперь, благодаря уму своему и свѣтлѣйшему, ворочаетъ миліонами... Такъ, такъ, все это вѣрно и съ абраксасами вѣрно: Александръ Васильевичъ не лжетъ на меня—это хорошо. А вотъ и двадцать девятое. „По утру (читаетъ государыня) я подалъ абраксасы, которыя для счастья, какъ талисманы, хотѣли послать къ воюющимъ братьямъ короля французскаго, но не хороши и не показались (правда, правда). Однако же полюбились двѣ большія головы, *in taglio, celle d'Aurélien mère d'Auguste et celle de Mécène*. Ихъ купили, всѣмъ хвастали, а меня благодарили“.—И то не ложь: хвастала и благодарила.—Все это очень, очень любопытно.—А что дальше?—Четвертое число: „Поднесъ шесть крупныхъ рѣзныхъ камней за пятьсотъ десять рублей. Очень были довольны, и мнѣ сказали, что цесаревичъ очень полюбилъ и хвалилъ старшую принцессу (это невѣсту-то свою, принцессу Баденъ-Дурлахъ), но женихъ застѣнчивъ и къ ней не подходитъ (да, молодо—робѣетъ,—улыбнулась государыня,—и теперь продолжаетъ робѣть мой любимый внучекъ, Саша, хотъ и мужемъ ужъ сталъ, скромникъ; зато княжна Лизочка не промахъ). Она очень ловка и развязна: *elle est nubile á treize ans*“.—Правда, правда, совсѣмъ ребенокъ: шутка—тринадцать лѣтъ,—и ужъ женщина, жена!—говорила какъ бы сама съ собой императрица.—Да оно и лучше, для здоровья лучше, природу насиловать вредно, особенно когда дѣвочка уже сформировалась и развилась... Ну, я заботилась, сейчасъ видно, что бабушка, а скоро и прабабушкою буду.

Государыня съ доброю улыбкою посмотрѣла на Зубова, а потомъ на Самойлова. Тѣ почтительно молчали.

— А! вотъ скоро и конецъ,—сказала она, посмотрѣвъ на листки.—Пятое: „Было со мною изъясненіе (читалось дальше). Въ камняхъ вчерашнихъ Зубовъ узналъ (это объ тебѣ,—улыбнулась Екатерина Зубову) — узналъ *Gelon, roi de Syracuse*, что былъ обдѣланъ *porte-montre de Mirabeau*, который Мильота выдавалъ ему за рѣдкость *et comme une chose sainte*. Подозрѣніе на Мильоти. Не заводитъ-ли здѣсь якобинскаго клуба? Я сказалъ, что зналъ отъ Чинати. Два раза начинали о семъ говорить и приказали мнѣ, чтобы Чинати замѣчалъ, но послѣ того позванъ былъ Самойловъ (это онъ о тебѣ ужъ,—и то вѣрно), и онъ, вышедъ отъ

ся величества, просилъ меня, чтобы его ознакомить съ Чинатиѣмъ, моимъ курьеромъ, изъ кабинета по должности секретарской“.

Государыня взглянула на генераль-прокурора.

— Точно, государыня,—я просилъ объ этомъ Александра Васильевича:—подтвердилъ Самойловъ.

— Все это вѣрно,—согласилась Екатерина.—Посмотримъ, чѣмъ кончаются выписки.—Шестое: „Донесъ, что послалъ своего Чинатія къ Самойлову. Такъ и велѣла (это мои слова), чтобы онъ поговорилъ и съ извозчикомъ, который былъ у принца de-Ligne и теперь живетъ у Мильоти. Тутъ надобно только примѣчать, и когда начнутся шалости, то велѣть ему выѣхать изъ Россіи“.

— Все,—заклчила императрица:—шалости начались... А не знала я, что мой Александръ Васильевичъ шпионить за мной... Вотъ оно что... Не ладно—шпионъ въ моемъ кабинетѣ... Надо съ нимъ покончить... Кабинетскій шпионъ-съ.

IV.

„Сошлю его прямо... въ сенатъ!“.

Императрица передала выписки изъ „Дневника“ Храповицкаго генераль-прокурору и слѣла на прежнее мѣсто. Мраморное лицо ея какъ бы застыло.

— Я слушаю,—сказала она помолчавъ.

Самойловъ, положивъ къ прочимъ бумагамъ выписки и помѣстившись противъ государыни, началъ свой докладъ.

— Какъ справедливо изволилъ замѣтить его превосходительство, Платонъ Александровичъ,—„cherchez la femme“,—началъ генераль-прокуроръ:—я и самъ прежде всего остановился на этой мысли. Прежде всего я задался вопросомъ: откуда отъ кого могъ узнать онъ, что Александръ Васильевичъ ведетъ дневникъ, когда ни ваше величество и никто изъ насъ даже не подозрѣвали ничего подобнаго. Онъ могъ узнать это только отъ самаго близкаго къ Александру Васильевичу человѣка, отъ его домашнихъ.

— А Чинати по землячеству и по службѣ не могъ ему сказать объ этомъ?—спросила императрица.

— На этой мысли и я останавливался, государыня,—согласился генераль-прокуроръ.—Первымъ дѣломъ я и взялъ Чинатія къ допросу. Онъ сознался, не отрицаетъ, что Мильоти бывалъ у него часто; о дневникѣ Александра Васильевича онъ не зналъ, а только догадывался, потому, что видѣлъ у него въ кабинетѣ, всего разъ какъ-то, какъ Александръ Васильевичъ вписывалъ что-то въ книгу, переплетенную въ красный сафьянъ съ золотыми узорами по краямъ и на корешкѣ, и съ золотымъ обрѣзомъ,

и предположилъ, что это дневникъ. Но онъ никому объ этомъ не говорилъ, развѣ что проговорился нечаянно Миліотію, когда тотъ однажды сказалъ ему, что слышалъ нерѣдко передаваемые отъ придворныхъ особъ, словесно, мудрыя и острыя изреченія вашего величества и выразилъ сожалѣніе, что жаль-де, если эти драгоцѣнныя перлы реченій великой монархини пропадутъ безслѣдно, не бывъ никѣмъ записаны, и что будто бы Чинатій на сіе возразилъ: „кажется-де, что Александръ Васильевичъ иныя мудрыя изреченія записываетъ въ своемъ дневникѣ“. Изъ его показанія само собою истекало, во первыхъ, что Александръ Васильевичъ, дѣйствительно, ведетъ дневникъ, что и подтверждаютъ прочитанныя вашимъ величествомъ выписки.

— Конечно,—подтвердила государыня:—это ясно, какъ свѣтъ.

— Во-вторыхъ,—продолжалъ генераль-прокуроръ:—кто о семъ дневникѣ зналъ, кромѣ Чинатія и Мильотіа. Остановившись на сихъ данныхъ, я долженъ былъ искать третье лицо—сообщницу сего дѣла...

— Съ этого и слѣдовало начать,—возразила Екатерина.

— Прежде всего,—продолжалъ Самойловъ:—я остановился на дочери Чинатія, на дѣвицѣ Кирѣ.

— А ее Кирою зовутъ?—спросила государыня, взглянувъ на Зубова.

— Кирою, ваше величество,—отвѣчалъ Самойловъ.

— Какое романическое имя,—замѣтила государыня.—Продолжай, я слушаю.

— На допросѣ Кира показала, что знала о существованіи дневника; но отъ кого она узнала о семъ,—отвѣчать на сіе упорно отказалась.

— Понятно,—замѣтилъ Зубовъ:—щадить отца, какъ любящая дочь.

Екатерина перенесла свой спокойный взглядъ на Зубова, но ничего не сказала.

— Тогда,—продолжалъ генераль-прокуроръ:—я обратилъ вниманіе на почеркъ выписокъ. Оказалось, что у Кирѣ почеркъ совсѣмъ другой. Ясно, что не она дѣлала сіи выписки. Засимъ я обратился къ домашнимъ Александра Васильевича, къ тѣмъ лицамъ, которыя имѣли свободный доступъ въ кабинетъ Александра Васильевича. И здѣсь я нашелъ соучастницу онаго Мильотіа. Это—молоденькая дочка экономки Храповицкаго, дѣвица Екатерина. Сначала я свѣрилъ почеркъ ея руки съ почеркомъ на сихъ выпискахъ—оказался одинъ и тотъ же. А затѣмъ оная дѣвица Екатерина и сама созналась, что сдѣлала эти выписки изъ дневника Александра Васильевича; но для чего и для кого—на сіе отвѣчать отказалась.

— Но для какой цѣли нужны были Миліоти эти выписки?—спросила императрица.

— Въ показаніяхъ насчетъ сего предмета, ваше величество, Миліоти видимо изворачивается.

— Что же онъ говоритъ?

— Говоритъ пустое, государыня: будто бы онъ ищетъ у насъ придворныхъ казнокрадовъ, и все это, яко бы, для пользы вашего величества

— Какихъ казнокрадовъ?—удивилась императрица.

— Миліоти, ваше величество, говоритъ, будто бы подозрѣвалъ— не обманываетъ-ли васъ Александръ Васильевичъ, докладывая вашему величеству, что купилъ у него абѣхас и рѣзные камни, положимъ, за пятьсотъ рублей, а ему-де, Миліоти, выплатилъ всего сто и тому подобное.

— Да, это видно, что плутъ изворачивается,—замѣтила государыня.

— Ну, и что-жъ,—спросилъ, въ свою очередь, Зубовъ:—что онъ узналъ изъ выписокъ—обманываетъ Храповицкій государыню или нѣтъ?

— Нѣтъ:—говоритъ,—что цѣна за рѣзные камни, 510 рублей, показана правильно.

— Значитъ, Александръ Васильевичъ меня не обкрадываетъ?—улыбнулась Екатерина.

Генераль-прокуроръ молча поклонился. Государыня задумалась.

— Ясно, этотъ плутъ имѣетъ какія-то другія цѣли. Но какія?—задалась она вопросомъ.

— Я полагаю, ваше величество, что у него цѣли политическія,—отвѣчалъ Самойловъ на этотъ вопросъ.—Вы сами изволили высказать подозрѣніе не шпіонъ ли онъ герцога Орлеанскаго Людовика.

— Очень можетъ быть. Дюкъ Орлеанскій опытенъ въ интригахъ, да и на „колесницѣ вольности“ умѣетъ разъѣзжать и l'égalité. проповѣдывать... Mais l'égalité est un monstre qui veut être roi“,—съ негодованіемъ сказала Екатерина.—Тутъ, конечно, не послѣднюю роль играетъ и польская интрига, и Миліоти—ихъ орудіе. Нѣтъ сомнѣнія, что изъ дневника Храповицкаго онъ надѣялся вывѣдать и наши политическія намѣренія, и наше мнѣніе о немъ самомъ—о плутѣ: не догадываемся ли мы о его политическихъ шашняхъ. А эта дѣвчонка просто завлечена имъ; можетъ быть, даже онъ влюбилъ ее въ себя, дѣвочка и готова за него идти на плаху... Охъ, ужъ эта любовь! и не дѣвочкамъ кружить головы, и у старцевъ отнимаетъ рассудокъ. А какова у него рожа, у этого плута?—спросила государыня.

— Онъ видный мужчина, ваше величество, хотя и втрое старше и Екатерины, и Киры,—отвѣчалъ генераль-прокуроръ.

— О, наша сестра на года не смотритъ,—улыбнулась государыня:—я сама съ двѣнадцати лѣтъ влюблялась въ стариковъ, а юношей презирала. Конечно, ты этихъ дѣвчонокъ оставилъ на свободѣ?

— Кира, ваше величество, на свободѣ,—отвѣчалъ Самойловъ:—но Екатерина и ея мать содержатся при тайной экспедиціи. Можетъ быть, отъ нихъ что-либо и узнаемъ еще.

— Только ты не вели Шешковскому трогать ихъ,—приказала императрица:—онъ радъ кнутобойничать... Я этого не люблю, подъ пыткой человѣкъ теряетъ рассудокъ и нивѣсть чего говоритъ и на себя, и на другихъ... Пусть помнитъ Шешковскій.

— Слушаю, ваше величество.

— А извозчикъ, что служилъ у принца de Ligne?

— И онъ въ тайной, ваше величество. Его касательство въ этомъ дѣлѣ ограничивается простымъ знакомствомъ съ Чинатиѣмъ, а съ Миліоти онъ даже незнакомъ.

— А Чинати?

— И Чинати, ваше величество, только ступенька той лѣсенки, которая привела къ открытію дверей въ кабинетъ Храповицкаго и дала плуту возможность выкрасть, при помощи глупой дѣвочки, то, въ чемъ онъ надѣялся найти государственную тайну,

— Я такъ и думала, — согласилась государыня: — я Чинатія лично знаю: онъ такой же вѣрный и честный человѣкъ, какъ и Храповицкій. А что плутъ Миліоти подозрѣваетъ его яко бы въ утайкѣ казенныхъ денегъ и во взяткахъ, то я руку свою дамъ на сожженіе, что Храповицкій не беретъ взятокъ.

— Въ такомъ смыслѣ, ваше величество, прикажете доложить и сенату?—спросилъ генераль-прокуроръ.

— Такъ и доложи, — былъ отвѣтъ.

Потомъ государыня, обращаясь въ Zubovu, который перелистывалъ выписки изъ дневника Храповицкаго, съ улыбкой замѣтила:

— А! каковъ Александръ Васильевичъ! Я не знала, что онъ мой Тацитъ, а, быть можетъ, и Овидій. Ужъ эти мнѣ сочинители! вездѣ свой носъ суютъ. Тамъ Державинъ, говорятъ, строчить свои воспоминанія и всѣхъ за шиворотъ тащить въ храмъ Клію, а тутъ и Храповицкій каждое мое словечко суетъ въ ридикюль этой же бабы сплетницы, которую называютъ исторіею. Бѣда съ сочинителями на государственной службѣ!

— А самъ Храповицкій знаетъ что-либо объ этомъ казусѣ съ его тайнымъ дневникомъ?—спросила императрица Самойлова.

— Нѣтъ, ваше величество, онъ ничего не знаетъ.

— И не догадывается?

— И не догадывается, государыня.

— А чѣмъ же вы объяснили ему арестъ его экономки и ея дочери?

— Мнимымъ, яко бы, оговоромъ Миліоти, будто бы экономка въ бытность Миліоти у Храповицкаго для продажи абраксасовъ, похитила у него одинъ абраксасъ.

— Очень хорошо, — одобрила государыня. — Такъ ты вотъ-что, Александръ Николаевичъ, не докладывай этого дѣла сенату. Пусть никто не знаетъ нашей тайны и тайны Храповицкаго, только ужъ послѣ этой исторіи я удаляю отъ себя домашняго шпіона. Хоть онъ и честный человѣкъ и, можетъ быть, прославляетъ меня въ своемъ дневникѣ всякими ласкательствами, только лучше подальше отъ сочинителя. За вѣрную службу и за проворное бѣганье я обязана дать ему на башмаки: я пожалую его чиномъ тайнаго совѣтника — за тайный дневникъ и сошлю его прямо... въ сенатъ!

VII.

Дѣвѣ пріятельницы.

Въ царскосельскомъ паркѣ, въ знакомой уже намъ боковой аллеѣ и на знакомой скамейкѣ, гдѣ нѣсколько недѣль тому назадъ Кира имѣла ночью свиданіе съ своимъ возлюбленнымъ Витторе, мы снова видимъ ту же хорошенькую Кирю.

Но какъ все измѣнилось съ тѣхъ поръ! Теперь не палевая ночь, а яркое лѣтнее утро. Зеленъ лѣсъ и кустовъ бузины, обрамляющихъ скамейку, — въ полной красѣ. Изъ пышной травы выглядываютъ не одни скромные подсиѣжники, а всѣ роды и скромныхъ, и нескромныхъ цвѣтовъ, какими только можетъ похвастаться передъ гордымъ югомъ не менѣе гордый своєю флорою петербургскій сѣверъ.

Но зато лучшій, самый нѣжный цвѣтокъ этой флоры — хорошенькая Кира — кажется такимъ поблекшимъ, завидящимъ. Она сидитъ глубоко печальная. Прелестные глаза ея заплаканы, даже припухли отъ слезъ. Она плакала все это время о немъ, о томъ, съ кѣмъ провела здѣсь когда-то нѣсколько блаженныхъ минутъ, нѣсколько такихъ мгновеній счастья, которыя не вытравляются изъ памяти даже годами, долгими годами, хотя бы это были счастливые годы, а при несчастіи, какъ извѣстно.

Nessun maggior dolore, che ricordarsi
Tempo felice.

И Кира вспомнила эти блаженные, незабываемыя минуты. И это было такъ недавно и въ то же время — такъ давно! Здѣсь, на пескѣ, у скамейки, еще сохранились, кажется, слѣды его ногъ, — а его самого нѣтъ! Мало того, онъ находится въ тяжкомъ заточеніи. Ей чудится, что взволнованной душой она еще слышитъ его ласкающій шопотъ — „моя Кира! mia cara!“ — и уже теперь больше никогда не услышитъ его, никогда!

Горе ея увеличилось еще и оттого, что она не знала, въ чемъ его обвиняютъ. Неужели все это надѣлали выписки изъ дневника Храповицкаго, которыя сдѣлала, по его и по ея просьбѣ, Катя? Что же въ тѣхъ выпискахъ преступнаго? Вѣдь, Кира читала ихъ — прочла прежде, чѣмъ отдать своему бѣдному Виктору. Неужели же только за это онъ погибаетъ? Но, вѣдь, Катю и ея мать освободили изъ тайной, а виноватѣе всѣхъ была Катя — она сдѣлала эти несчастныя выписки. Неужели же онъ, ея Викторъ, въ самомъ дѣлѣ — шпионъ герцога Орлеанскаго, какъ подозреваетъ его государыня? Нѣтъ, ея благородный Витторе не можетъ быть шпиономъ, если даже онъ и служитъ герцогу. Онъ такой же посолъ своего государя, какъ и всѣ послы, и всѣ они хитрятъ, лукавятъ, притворяются въ пользу своихъ государей. Чѣмъ же благороднѣе его тѣ, которые занимаютъ, по повелѣнію своихъ государей, „перлюстрацію?“ Сама госуда-

рыня прочитываетъ „перлюстрованныя“ письма иностранныхъ пословъ и агентовъ. Это ей говорилъ отецъ. Какой же преступникъ ея Викторъ? Онъ только вѣрный слуга своего государя.

— Кира! милая Кира!

Это восклицаніе принадлежало дѣвушкѣ, быстро приближавшейся въ эту минуту къ Кирѣ. Пришедшая была выше Кирѣ, плотнѣе и мужественнѣе. Смуглое, круглое лицо ея съ сѣрыми глазами обрамляли черные вьющіеся волосы. Жизнь и энергія молодости сказывались въ каждомъ ея граціозномъ движеніи.

Кира со слезами бросилась на шею пришедшей.

— Катя! Катя! прости меня, — съ плачемъ бормотала она.

— Полно, дурочка, не плачь! Нечего мнѣ и прощать тебя, не въ чемъ, — весело отвѣчала пришедшая.

— Да, вѣдь, ты за меня, душечка, высидѣла въ тайной.

— Эка невидаль! Меня не сѣкли и не пытали. А вотъ теперь я опять на волѣ, вольный казакъ!

И пришедшая расцѣловала свою пріятельницу и усадила на скамью.

— Вотъ она, какая я! въ тайной была! — весело разсмѣялась она.

— Расскажи же, душечка, все, что съ тобою тамъ было. За что тебя взяли?

— Да все за эти бумажки, что я тебѣ тогда передала. Признаться, Кирушка, я сначала очень струсилла. Кто не слыхалъ изъ насъ, что дѣлаетъ въ тайной этотъ Шешковскій! Ну, думаю, смерть моя пришла. Взяли насъ съ матушкой и разсадили по разнымъ казематамъ. Шешковскій и Самойловъ сначала узнали мою руку. — „Ты, — спрашиваютъ, — это писала?“ — Думаю себѣ, какъ ни запирайся, узнаютъ. Велѣли мнѣ что-то написать, чтобы узнать мой печеркъ. Ну, какъ его скроешь? Все равно доберутся. Я и написала. Поглядѣли, сличили — одна рука. „Ты писала?“ — Я. — „Изъ своей головы?“ — Нѣтъ, говорю, у Александра Васильевича изъ книги списала. — „А какая книга?“ — Красная, говорю. — „А большая?“ — Большая — „Много тамъ написано?“ — Много. — „А почему ты узнала, что у Александра Васильевича есть такая книга?“ — Видѣла, говорю, у него на столѣ. — „А для чего ты-то списала?“ — Просили, говорю. — „Кто просилъ?“ — Миліоти, говорю, итальянецъ; а объ тебѣ ни слова...

— Душечка моя! — бросилась къ ней Кира.

— Ну, сказала это. А они: — „почему ты, именно, это списывала, а не другое?“ — А потому, говорю, что онъ такъ просилъ: списать ему, именно, то, что объ немъ говорится, о какихъ-то камняхъ. — „И ты это, говорятъ, и передала ему?“ — И передала. — „А когда?“ — Когда онъ заходилъ къ Александру Васильевичу. — „Ну, говорятъ, надо ихъ поставить на очную ставку.“ — Тутъ я опять струхнула — не знала, что такое очная ставка. Провели его. Спрашиваютъ: — „отъ кого ты получилъ эти выписки?“ — Молчать, словно воды въ ротъ набралъ. Опять: „говори, а то силой заставимъ“. — „Не скажу“, говорить.

— Милый! бѣдный!—прошептала Кира, и слезы опять заструились изъ ея глазъ.

— Тогда они ко мнѣ: „ты передала ему выписки?“—Я,—говорю.—Онъ такъ глянулъ на меня большими своими глазами и, казалось, усмѣхнулся.— „Ну, что?“—говорятъ они ему. — „Коли она ужъ созналась,—отвѣчаетъ онъ,—такъ и мнѣ,—говорить,—таиться нечего“.—Ну, и развели насъ опять по разнымъ казематамъ.

— А что, милая, онъ очень измѣнился, похудѣлъ?—спросила Кира.

— Нѣтъ, ни капельки,—отвѣчала ея подруга:—только сердитый такой.

— Ну, а потомъ что было?

— Потомъ ничего. Сижу себѣ, вспоминаю волюшку, ну, и подчасъ—таки всплакну. Особливо боялась я пытокъ—все ихъ ждала. Бывало, несутъ мнѣ ѣсть, а я ужъ и думаю: настали мои послѣдніе часочки. Шешковского боялась я. Да еще страшно было думать объ эшафотѣ...

— Ахъ, бѣдная, бѣдная!

— Вовсе не бѣдная! А теперь совсѣмъ веселая.

— Какъ же тебя опустили?

— И сказать смѣшно! Приходить это вчера Степанъ Ивановичъ Шешковскій-то, а я ужъ и съ бѣлымъ свѣтомъ прощаюсь. „Здравствуй,—говорить,—дочурочка моя Катя!“ Такъ и сказалъ—„дочурочка Катя“.—„Ты говорить,—была умница, не запиралась; за это,—говорить,—всемиловѣйшая государыня и оказываетъ тебѣ матернее прощеніе. Только,—говорить впередъ ничего такого не дѣлай, а то ужъ тогда худо будетъ. Тебя говорить злой человѣкъ подвелъ.“

— Это объ немъ?

— Знамо, объ немъ. А потомъ и говорить:—„только, смотри, обѣщайся и клянись Всемогущимъ Богомъ, что ты никому и никогда, а особливо Александру Васильевичу не скажешь, за что тебя брали въ тайную—объ выпискахъ и объ дневникѣ никому не говори. А скажи, что тебя и мать твою брали по клеветѣ: что тотъ-де злодѣй, Миліоти, всклепалъ на васъ, будто бы вы украли у него драгоцѣнный какой-то камень, когда онъ съ своими камнями приходилъ къ Александру Васильевичу. Только это-де и говори“—А потомъ, душечка Кира, подходит ко мнѣ и говорить: „молись теперь каждый день за здравіе всемиловѣйшей государыни, а я тебя, дочечка моя, въ головку поцѣлую“. Да такъ-таки подошелъ ко мнѣ, взялъ меня руками за голову и поцѣловалъ въ лобъ, словно отецъ.— „Кто у меня,—говорить,—въ тайной побывалъ, знаетъ какой я добрый — всѣмъ словно отецъ родной. Иного,—говорить,—и жаль, да что дѣлать?—Все это,—говорить,—мои дѣтки, которые несчастненькіе.“

— Такъ и отпустилъ?

— Такъ и отпустилъ, милая.

— А съ нимъ что?

— Съ нимъ—не знаю. Какъ увели его послѣ очной ставки, такъ я его больше не видала.

Кира опять заплакала. Пріятельница старалась утѣшить ее, но все напрасно.

— Нѣтъ, я должна что-нибудь сдѣлать! — сказала Кира рѣшительно.

— Ахъ, душечка, что же ты сдѣлаешь?

— Я и сама теперь не знаю... Подумаю, рѣшусь на что-нибудь. Лучше съ нимъ на плаху, чѣмъ такую муку терпѣть... Все равно, я безъ него не жилица на этомъ свѣтѣ, такъ ужъ лучше одинъ конецъ!

— А какой же конецъ, милая?

— А не все-ли равно? Скажу, что я съ нимъ за-одно — меня и возьмутъ... Тамъ-то я хоть увижу его, на очную ставку сведутъ вмѣстѣ, все же легче.

— Ахъ, Кира, Кира! бѣдная моя! пожалѣй себя.

— Чего мнѣ себя жалѣть? для кого? для чего? Его не будетъ — и меня не будетъ.

Недалеко слышались чьи-то голоса, и дѣвушки поспѣшили удалиться.

VIII.

Э п и л о г ъ.

Утромъ 1-го сентября 1793 года къ московской заставѣ, что за Лиговкой, подкатилъ дорожный крытый тарантасъ, запряженный тройкою почтовыхъ лошадей.

Въ тарантасѣ сидѣли среднихъ лѣтъ смуглый мужчина и молодецкая бѣлокурая дѣвушка. Хотя прелестные глазки послѣдней были заплаканы, но все ея молодое личико свѣтилось счастьемъ.

Шлагбаумъ былъ опущенъ, и тарантасъ остановился.

— Кто ѣдетъ? — окликнулъ заставный сторожъ.

Смуглый мужчина, вынувъ изъ дорожной сумки подорожную, молча подалъ ее заставному. Тотъ почтительно подалъ ее подошедшему офицеру.

Офицеръ развернулъ подорожную и мгновенно вытянулся.

— По высочайшему повелѣнію... Виктору Миліотію... съ женою Киною, — скороговоркою, какъ бы про себя, бормоталъ офицеръ и побѣжалъ въ караулку.

Черезъ минуту онъ выбѣжалъ оттуда и подалъ бумагу проѣзжающему.

— Подвысь! — скомандовалъ онъ.

Шлагбаумъ поднялся, и тарантасъ скоро скрылся въ пыли.

Вечеромъ того же дня въ Зимнемъ дворцѣ происходилъ такой разговоръ (это было передъ сномъ).

— Ну, что, Марья Саввишна, паренекъ-то нашъ?

— Спокоюсь, маяушка,—сидѣлъ это у меня, только ужъ безъ Александра Васильича.

— А все знаетъ про Киру-то?

— Все знаетъ, матушка; говоритъ: черномазаго-то этого любовь этой дѣвчонки спасла.

— Правда—все любовь... Богъ внушаетъ человѣку это чувство—божественное оно!

— Именно, божественное... Спокойной ночи, матушка! Дай я перекрещу тебя моею вѣрною, рабскою рукою... Храни тебя, Богородица!

Въ тотъ же день въ „Дневникѣ“ Храповицкаго записано:

„1. Къ ночи изъ Таврическаго переѣхали въ Зимній дворецъ“.

Затѣмъ слѣдуетъ:

„2. Торжество мира. Я пожалованъ въ тайные совѣтники и сенаторы, оконча тѣмъ службу при дворѣ“.

„3. Благодарилъ ея величество въ ея кабинетѣ и поднесъ, на прощаніи, три рѣзные камня, бывъ принятъ благосклонно“.

„5. Приносилъ благодарность ихъ императорскимъ высочествамъ“.

„7. Въ сенатѣ мнѣ сказанъ чинъ и я приведенъ къ присягѣ“.

Этимъ кончается знаменитый „Дневникъ“ Храповицкаго, сослужившій службу любящимъ сердцамъ.

СОДЕРЖАНІЕ XLIII ТОМА.

	Стр.
I. „Соціалистъ прошлаго вѣка“, историческая повѣсть.	3— 65
II. „Тульскій кречеть“, историческій рассказъ . . .	65—102
III. „Видѣніе въ публичной бібліотекѣ“, историческій сонъ	103—112
IV. „Воспоминанія о Шевченкѣ“	113—124
V. „Крымская неволя“, историческая повѣсть. . . .	125—162
VI. „Любовь спасла“, историческій рассказъ	163—191

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ НА

XV-ый годъ
изданія.

„СЪВЕРЪ“

XV-ый годъ
изданія.

еженедѣльный иллюстрированный литературно-художественный журналъ.

Въ 1902 году гг. подписчики «Съвера» получаютъ: 52 №№ журнала; 52 №№ газеты; 12 №№ журнала «Парижскія моды, Хозяйство и Домоводство», 12 №№ выкроекъ. Кроме того, на основаніи приобретеннаго отъ автора права печатанія всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ его произведеній, редакция дастъ въ теченіе 1902 года, въ книгахъ «Библіотеки Съвера»,

24 тома

СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

24 тома

• Д. Л. Мордовцева, •

ВЪ КОТОРЫХЪ ВУДУТЬ ДАНЫ:

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1—„Идеалисты и реалисты“, ист. ром. | 11—„Мамаево побоище“, ист. п. | 35—„Грустное воспоминаніе“, разск. |
| 2—„Гайдамачина“, ист. моног. | 12—„Архимандритъ-Гетманъ“, ист. пов. | 26—„Наши пирамиды“, разск. |
| 3—„Вспышки понизовой вольницы въ 1812 г.“, истор. мат. | 13—„Лжедмитрій“, ист. ром. | 27—„Два призрака“, былъ-фантазія. |
| 4—„Блглый король“, ист. пов. | 13—„Свѣту большаго“, ист. ром. | 28—„Кто онъ?“, еванг. былъ. |
| 5—„Новые люди“, повѣсть. | 15—„Воспоминанія о Шевченкѣ“, пер. съ малор. | 29—„Тысяча лѣтъ назадъ“, ист. пов. |
| 6—„Царь безъ царства“, ист. р. | 16—„Соціалистъ прошл. вѣка“, ист. пов. | 30—„Поиманы есте Богомъ“, истор. пов. |
| 7—„Русскія историческія женщины“ (допетровской Руси), ист. раз. | 17—„Тульскій кречетъ“, ист. п. | 31—„Державная сваха“, былъ. |
| 8—„Русскія женщины новаго времени“ (первой половины XVIII вѣка), истор. очер. | 18—„Видѣніе въ публичной библіотекѣ“, истор. повѣсть. | 32—„Любовь спасла“, ист. былъ. |
| 9—„Русскія женщины новаго времени“ (второй половины XVIII вѣка), истор. очерки. | 19—„Крымская неволя“, ист. п. | 33—„Жертвы вулкана“, истор. ром. |
| 10—„Русскія женщины новаго времени“ (XIX-го в.), ист. оч. | 20—„Говоръ камней“, 14 разск. | 34—„Иродъ“, истор. романъ. |
| | 21—„Тимошъ“, истор. повѣсть. | 35—„Прометеево потомство“, ист. ром. |
| | 22—„Русскіе полонники въ Турціи“, ист. пов. | 36—„Жельзомъ и кровью“, ист. романъ. |
| | 23—„Фанатикъ“, ист. повѣсть. | |
| | 24—„Кавказскій герой“, ист. былъ. | |

Кромѣ этого, годовые подписчики получаютъ ВЕЗПЛАТНО большой романъ того же автора

„ЗНАМЕНІЯ ВРЕМЕНИ“

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 28 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

На годъ безъ до- ставки въ СПБ.	Безъ дост. въ Москвѣ: 1) у Метцль и К ^о . 2) у В. Альшвангъ и А. Гер- лаха (противъ Мал. театра)	Безъ дост. въ Одессѣ въ кон- торѣ кіосковъ Г. В. Свисту- нова	Съ пе- рес. во всѣ го- рода и мѣсти.
6 р.	6 р. 25 к.	6 р. 50 к.	7 р.

На 1/2 года съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 м.—1 р. 75 к., на 1 м.—60 к. За границу 11 р. Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ года и помѣсячно. Поручительство гг. казначеевъ и управляющихъ не требуется. Подписки въ кредитъ не принимаются. Подписавшіеся съ разсрочкою и уплатившіе не позднѣе 1-го декабря 1902 года подписную плату сполна, получаютъ премію наравнѣ съ гг. годовыми подписчиками.

Кромѣ всего вышеуказаннаго, гг. подписчики „Съвера“ могутъ получить, въ видѣ особой преміи, полное собраніе сочиненій

Е. П. ГРЕБЕНКИ,

въ 10 томахъ, съ приложеніемъ портрета автора, его автографа и біографіи.

Указывая на Гребенку, безсмертный Бѣлинскій говоритъ: „Въ талантѣ Гребенки большая аналогія съ малороссійскими пѣснями. Онъ дома, когда говоритъ о родинѣ, рассказываетъ о бытѣ минувшихъ племенъ, приводитъ преданія старины о запорожцахъ. Въ романахъ Гребенки много неподдѣльной теплоты. Стародавній бытъ Украины прекрасно отразился въ романѣ „Чайковский“. Авторъ возвышается до пафоса очевидца, сочувствуя своему предмету, какъ бы раздѣляя казацкую удаль и принимая горячо къ сердцу страданія южной Руси“. Отзывъ Бѣлинскаго можетъ служить лучшей рекомендаціей и вѣрнымъ указаніемъ на большія литературныя достоинства произведеній Е. П. Гребенки.

Гг. подписчики „Съвера“, желающіе приобрести таковыя, доплачиваютъ за всѣ 10 томовъ только 3 р. безъ перес. и 3 р. 50 к. съ перес. (безъ разсрочки). Для книж. магаз. и постороннихъ лицъ цѣна 6 р. безъ перес. и 6 р. 50 к. съ перес. Съ наложен. платежомъ высылаются по полученіи 1 р.

Подписки просятъ адресовать въ Главную контору журнала „Съверъ“ (СПБ., Невскій, 170) на имя редактора-издателя Ник. Фед. МЕРТЦА.

Stanford University Libraries



3 6105 015 016 624

DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

